РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

М.М.МЕЛЕНТЬЕВ

МОЙ ЧАС И МОЕ ВРЕМЯ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В настоящем издании представлены воспоминания Михаила Михайловича Мелентьева (1882–1967). Перед читателем пройдет вся жизнь этого незаурядного человека, врача от Бога, тонкого ценителя музыки, коллекционера, оставившего в дар своему родному городу Острогожску замечательное собрание произведении искусства, человека, обладавшего удивительным даром творить добро окружавшим его людям.

- Михаил Михайлович Мелентьев и его книга «Мой час и мое время»
- Часть первая. ГОДЫ 1882—1933
  -
  - Глава первая. НЯНЬКА ПЕЛАГЕЯ (1882–1889)
  - Глава вторая ШКОЛА (1890–1897)
  - Глава третья. СЕМЬЯ И ДВОРНЯ
  - Глава четвертая. В АПТЕКЕ (1899–1902)
  - Глава пятая. ГОРОД
  - Глава шестая. В ГИМНАЗИИ (1903–1905)
  - Глава седьмая. УНИВЕРСИТЕТ (1905–1911)
  - Глава восьмая. ПРОСКУРОВ (1911–1912)
  - Глава девятая. КЛИНИКА (1912–1914)
  - Глава десятая. КРОНШТАДТ (1914–1917)
  - Глава одиннадцатая. «САНИТАФЛОТ» (1917–1923)
  - Глава двенадцатая. ПЕТРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА (1923–1933)
- Часть вторая ГОДЫ 1933—1941
  - Глава первая. ТЮРЬМА (18 февраля — 4 октября 1933 г.)
  - Глава вторая. ССЫЛКА (1933–1936)
  - Глава третья. ОПЯТЬ В МОСКВЕ (Март 1936 — 19 апреля 1937)
  - Глава четвертая. В МОСКВЕ БЕЗ ВОЛОДИ (19 апреля 1937 — 19 августа 1941)
- Часть третья. ГОДЫ 1941–1946
  - Глава первая. В ЧКАЛОВЕ — ОРЕНБУРГЕ (19 августа 1941 — 22 апреля 1943)
  - Глава вторая. ВО ВЛАДИМИРЕ-НА-КЛЯЗЬМЕ (16 мая 1943 — 31 мая 1946)
- Часть четвертая. ГОДЫ 1946 — 1964
  - Глава первая. ТАРУСА (1946–1948)
  - Глава вторая. КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ИГУМНОВ

- Глава третья. ТАРУСА (1949–1953)
- Глава четвертая. ТАРУСА (1954–1957)
- Глава пятая. ТАРУСА (1958–1964)

- notes
  - 1
  - 2
  - 3

Михаил Михайлович Мелентьев и его книга «Мой час и мое время»

В настоящем издании представлены воспоминания Михаила Михайловича Мелентьева (1882–1967). Перед читателем пройдет вся жизнь этого незаурядного человека, врача от Бога, тонкого ценителя музыки, коллекционера, оставившего в дар своему родному городу Острогожску замечательное собрание произведении искусства, человека, обладавшего удивительным даром творить добро окру жавшим его людям. В книге помещены также воспоминания сестры Михаила Михайловича Анны (Анны Михайловны Долгополовой, 1884–1970), с которой его всю жизнь связывали самые близкие отношения.

Родиной Михаила Михайловича был провинциальный город Острогожск Воронежской губернии. Острогожск, заложенный казаками в XVII веке, в истории русской культуры более всего известен, быть может, как родина художника И.Н.Крамского, сыном которого в начале XX века в городе было построено здание для совместного размещения библиотеки и художественной галереи имени своего отца. Едва ли не единственная поэтическая картина этого небольшого города в русской классической литературе — в «думе» К.Ф.Рылеева «Петр Великий в Острогожске»:

Там, где волны Острогощи
В Сосну Тихую влились; <…>
Где в лугах необозримых,
При журчании волны.
Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны;
Где, в стране благословенной.
Потонул в глуши садов
Городок уединенный
Острогожский казаков.

Именно этот тихий городок застал автор воспоминаний. Архитектурный облик Острогожска сложился в основном в XVIII веке, и тогда же во многом установились нравы и порядки городской жизни, законсервировавшиеся на столетие. Эти черты бытовой обстановки и образы людей давно ушедшей эпохи оживают на страницах воспоминаний М.М.Мелентьева. Перед

читателем пройдут и неповторимые подробности духовной жизни русской провинции, отнюдь не тусклой и не инертной, чутко реагировавшей на все процессы, происходившие в России.

Михаил Михайлович родился в небогатой купеческой семье. Мать его была неграмотна, отец — малограмотен. В семье росли восемь детей (выжившие из двенадцати родившихся). Образование старших братьев закончилось приходским училищем. Темы семьи, традиционного быта и начального образования предстают перед читателем в двойном освещении в воспоминаниях Михаила и Анны Мелентьевых. Михаил и Анна были первыми в семье, кто настоял на продолжении образования, следующей ступенью которого служила классическая гимназия.

Конец века, на который пришлись детство, отрочество и ранняя юность Анны и Михаила, для Острогожска, как и почти для всей России, был временем, в некотором, но очень существенном отношении, схожим с петровским. Несмотря на политическую стабильность и «замороженность» России Победоносцева, шел неудержимый процесс распространения европейской культуры за пределы дворянского сословия и столичной разночинной интеллигенции, прежде всего в среду купечества и мещанства. По сути дела, это была вторая после Петра волна исхода из традиционного быта и бытия, определявшихся складом патриархальной жизни в соединении с православной религиозностью. Исхода на сей раз ненасильственного, хотя в историческом масштабе и достаточно стремительного.

История семьи Мелентьевых дает немало материала для размышления над этими глубокими переменами. В воспоминаниях Анны Михайловны особенно явственно звучит мысль о дистанции между сословиями, остро ощущавшейся в ее детстве и отрочестве. И в то же время не возбранен был, хотя и нелегок, путь преодоления этой дистанции — через получение образования, дававшегося гимназией и дополнявшегося навыками этикета, культурными запросами и оценками, впитывавшимися из окружающего «воздуха», из общения с семьями дворянской и разночинной интеллигенции. Немало страниц в воспоминаниях брата и сестры посвящено пробуждению тяги и страсти к образованию, нелегкому пути от начальных классов приходской школы до гимназии.

Желание получить высшее образование привело Михаила Мелентьева в Москву. Ценой отказа от своей доли наследства он получил возможность учиться на медицинском факультете Московского университета. Годы учебы его, 1905–1911,— эпоха первой русской революции и последующего накала партийной

борьбы. В его воспоминаниях мы находим интересные подробности о тогдашней обстановке в университете, об отношениях к событиям в Москве и в провинции.

Анна Михайловна в эти же годы окончила Высшие женские курсы В.И.Герье (впоследствии, уже в пожилом возрасте, она воспримет как знак судьбы встречу и завязавшуюся дружбу с дочерью основателя курсов Софьей Владимировной Герье, убежденной теософкой). В 1908 году она вышла замуж за Владимира Саввича Долгополова, давнего острогожского друга молодых Мелентьевых, выпускника Лесотехнической академии. Вместе им суждено было прожить сорок один год и пройти все испытания, выпавшие на долю их поколения.

После университета М.М.Мелентьев отбывает воинскую повинность в днепровском пехотном полку, офицеры которого послужили в свое время прототипами героев «Поединка» А.И.Куприна. Демобилизовавшись, в 1912–1914 годах молодой врач работал в Москве, одно время возглавлял городскую больницу в Наровчате (Пензенская губерния). Эти страницы воспоминаний дают важные и интересные черты организации медицины и пути становления врача в предреволюционной России.

В 1914 году Мелентьев вновь оказался на военной службе и был направлен морским врачом в Кронштадтский военно-морской госпиталь. Глава «Кронштадт» — одна из самых драматичных в его воспоминаниях. Ему пришлось пережить наиболее кровавую страницу Февральской революции, массовые расправы матросов и «народа» с офицерами, самое начало того «красного террора», который, приобретая все более и более организованные формы, на протяжении десятилетий, то затухая, то вспыхивая с новой силой, будет терзать Россию. Здесь была расстреляна и его друг, девушка, оставшаяся на всю жизнь единственной любовью Михаила Михайловича.

Приехав в 1918 году в Москву, он, по собственному признанию, испытывал ощущение «конченого человека». Между тем, именно в это время начался новый этап в жизни мемуариста. В круг его опеки попал четырнадцатилетний юноша Владимир Свитальский. Одинокий, нравственно твердый и сильный по характеру человек, Мелентьев и раньше, и позже не раз принимал на себя роль руководителя и советчика, к нему тянулись и у него искали поддержки люди с тонкой душой и изломанные жизнью. Но для Владимира Свитальского Михаил Михайлович стал не только близким другом и советником, но и фактически заменил ему родного отца, отношения с которым у юноши были весьма

сложными. Вскоре Свитальский переселился к Мелентьеву и на долгие годы стал для него самым близким человеком.

В 1923 году, в период относительной нэповской «оттепели», начался, возможно, самый благополучный и устойчивый период в жизни автора воспоминаний. Он переезжает в подмосковное Алабино, где вместе с близкими ему по нравственному складу и судьбе коллегами продолжает в местной больнице традиции земских врачей. Мелентьев занимает удобную и большую квартиру во флигеле бывшего демидовского «замка». Здесь складываются особые, присущие ему формы быта и домашнего уюта. Он получает возможность разместить и расширить свою коллекцию старинных вещей и фарфора, собирать которую он начал еще в ранней юности. Его усилиями квартира постепенно превращается в своеобразный музей. Двери дома широко открыты для гостей, создается свой круг общения, в который входят многие музыканты и художники. Тогда же начинается его многолетняя дружба с известным пианистом К.Н.Игумновым.

Володя Свитальский в это время явственно обнаруживает свой дар художника-графика. Учится он, правда, неохотно и нерегулярно, что объясняется, с одной стороны, отказом принять принципы современной школы графики — школы Фаворского — и вместе с тем… все острее проявляющимся сложным характером юноши, с самого начала сознательной жизни ощутившего себя «лишним» и обреченным человеком. Михаилу Михайловичу все это доставляло немало хлопот и огорчений. В 1931 году Свитальский, практически случайно замешанный в студенческое сопротивление властям, попадает в Бутырскую тюрьму и затем на Соловки. В 1933 году завершается и алабинский период жизни Мелентьева.

В этом году в связи с «делом» четырнадцати врачей (во главе с личным врачом М.Горького Д.В.Никитиным) был арестован и Михаил Михайлович. Во время следствия у него была изъята и более не возвращена часть дневников, которые он ценил и бережно хранил. После семимесячного заключения в Бутырской тюрьме он получил приговор: высылка на три года свободнопоселенцем в Медвежью Гору. Здесь Мелентьев занимает ряд весьма высоких медицинских должностей, работая одновременно на нескольких местах. Своим талантом врача и человеческой чуткостью ему удается снискать расположение самых противоположных людей, сошедшихся на этом острове «архипелага ГУЛАГ». Воспоминания дают немало подробностей, новых имен и судеб в истории сталинской «тюрьмы и ссылки» и рисуют, в частности, почти парадоксальную картину «расцвета

культуры» в далеком карельском поселке, где «умелой рукой» было собрано немало талантливых и творческих людей, брошенных на строительство Беломоро-Балтийского канала.

Михаил Михайлович — продолжает писать здесь свои дневники и ведет большую переписку с друзьями, бережно им впоследствии хранившуюся. В Медвежью Гору, испытав немало мытарств после своего освобождения из Соловков, к нему приехал Свитальский. Именно здесь были созданы его лучшие графические сюиты: силуэтные иллюстрации к «Евгению Онегину» и «Борису Годунову», выпущенные вскоре в преддверии столетней годовщины гибели поэта массовым тиражом. Роль самого Мелентьева в этом неоценима: не только создание благоприятных для работы Володи внешних условий и человеческого климата, но и подбор необходимых текстов и материалов, мягкое и взыскательное обсуждение достигнутого, «продвижение» через друзей и знакомых готовых работ, публикация которых осложнялась лагерным прошлым художника. Свитальский собирался посвятить М.М.Мелентьеву свои иллюстрации к «Борису Годунову». Книга вышла без этого посвящения, но в истории книжной графики XX века имя незаурядного художника должно быть неотделимо от имени его старшего друга и покровителя.

В марте 1936 года, получив свободу, Мелентьев возвращается и Москву и поступает на работу в диспансер. В Москве его ожидал и тяжелейший «квартирный вопрос». В апреле 1937 года сильнейшим ударом для него стала трагическая смерть Свитальского в Загорске. Под впечатлением свежей потери Мелентьев создает свой первый опыт воспоминаний — «Книгу о Володе» (1938). Она проникнута теплотой и любовью к этому талантливому и непростому человеку и в то же время включает в себя массу писем и документов, с беспощадной правдивостью рисующей нравственные парадоксы его жизни. Книга эта для современного нам читателя во многом может служить документальной параллелью к романам К.Вагинова «Козлиная песнь» и «Зависти» Ю.Олеши с их двойными трагическими коллизиями: столкновением «бывших» людей, сохранивших изысканную культуру, с новым миром, ее презирающим, и, с другой стороны, открывающими декадентский излом и внутренний трагический разлад в душе героев. «Книга о Володе» включала немало тем, делавших невозможной публикацию ее в то иремя. Несмотря на это, Михаил Михайлович давал читать рукопись достаточно широкому кругу. О сильном впечатлении свидетельствуют письма читателей, помещенные в его мемуарах. За главным героем, возбуждавшим зачастую смешанные чувства,

тогдашние читатели разглядели и второго героя, самого доктора Мелентьева, чье душевное благородство вызывало неизменное восхищение. Широкому читателю «Книга о Володе» становится известной только сейчас.[1]

Вслед за «Книгой о Володе» Мелентьев начал писать свои воспоминания, обрабатывая бережно им хранившиеся дневники и переписку.

Великая Отечественная война стала одним из самых насыщенных событиями и встречами периодов биографии Михаила Михайловича. Осенью 1941 года Михаил Михайлович вместе с семьей сестры отправляется в эвакуацию в Чкалов (Оренбург), где работает заведующим городской поликлиникой. В 1943 году, ненадолго вернувшись из эвакуации в Москву, он уезжает во Владимир, где до конца войны возглавляет обе городские больницы. Эти четыре года жизни уложились в один полновесный том его четырехтомных машинописных воспоминаний, где звучат голоса десятков корреспондентов Мелентьева, составляющих внушительную повесть о жизни в тылу, о мере отчаяния, борьбы и надежды, которыми жили простые люди и отечественная интеллигенция.

Живя во Владимире, Михаил Михайлович узнал, что в Тарусе продается дом, принадлежащий артистке Н.А.Смирновой и С.В.Герье (дочери основателя московских Высших женских курсов). Дом этот был куплен Михаилом Михайловичем вместе с сестрой Анной Михайловной. Первого июля 1946 года Мелентьев перевез часть своего имущества из Москвы и Владимира в Тарусу, после чего начал обустраивать в своем вкусе дом и приводить в порядок сад. В доме разместились картины известных мастеров, старинная мебель, книги, коллекция фарфора. А хозяин дома, вышедший уже на пенсию, продолжал свою врачебную деятельность в местной больнице.

Каждый год тарусский дом гостеприимно распахивал свои двери для гостей. Вокруг Михаила Михайловича собирались талантливые незаурядные личности: музыканты К.Н.Игумнов и Н.И.Голубовская, С.М.Симонов, А.А.Егоров и В.С.Белов, художники Н.В.Крандиевская-Файдыш, А.В.Григорьев, Зоя Сахновская, Е.В.Поленова-Сахарова (дочь В.Д.Поленова), писатели Ю.Казаков, С.Федорченко, сестра Марины Цветаевой Валерия, дочь философа В.В.Розанова Татьяна, мемуарист, известный в прошлом политический деятель В.В.Шульгин и много других по-своему интересных людей.

В полуголодной и разоренной послевоенной стране дом Михаила Михайловича давал уют и отдохновение многим и

многим остро нуждавшимся в этом людям. В «Синей книге» — домашнем альбоме, заполнявшемся гостями Мелентьева, — сохранились теплые слова, посвященные дому и его хозяину. Вот что написал Сергей Сергеевич Толстой (внук Л.Н.Толстого): «Чего хочет сердце человеческое? Оно хочет прежде всего тепла и ласки. Трудно представить себе большее тепло и большую ласку, чем те, которые дает Михаил Михайлович.

Чего хочет душа человеческая? В наше время душа человеческая, может быть, хочет больше всего покоя, отдыха. Трудно представить себе кого-либо, кто так мог бы "упокоить" человека и так "успокоить" душу, как Михаил Михайлович.

Чего жаждет ум человеческий? Он жаждет больше всего умной сочувственной беседы, беседы с таким собеседником, который и слушает, и сам говорит, беседы зараз и отзывчивой, и сообщающей. И еще он, ум человеческий, жаждет приобщения к творчеству другого, равно как к возможности проявить свое творчество. Нет, думаю, такого замечательного собеседника и такого по-настоящему творческого человека, как Михаил Михайлович.

Чего, наконец, жаждет тело человеческое? Увы, столь многого, что это трудно перечислить, вплоть даже, иной раз, до одеколона после бритья. И это все, включая одеколон, оно получает в гостеприимном, душевном, ласковом доме Михаила Михайловича».

Здесь, в Тарусе, еще раз проявился особый талант Михаила Михайловича, сопутствовавший всей его жизни: талант соучастия, сочувствия, душевной поддержки другого человека. Именно об этом его качестве по-разному, но с одинаковой благодарностью, вспоминают его корреспонденты. В этом, может быть, одна из главных тайн личности доктора Мелентьева. Сверх тех свидетельств о нем, которые читатель встретит на страницах книги, приведем еще отрывок из воспоминаний его племянницы Ирины Владимировны Долгополовой: «Был у него удивительный дар, дар общения с людьми, независимо от того, рафинированный ли это интеллигент или мужичок из деревни около Тарусы, приехавший на базар продать поросенка или курицу, или озлобившийся до предела человек, или человек, решивший умереть, потерявший веру в свои силы… Михаил Михайлович всегда выходил из этих бесед с глазу на глаз победителем. Люди уходили от него улыбаясь, говоря при этом, что очень любят его».

В конце жизни Мелентьев решил передать свою коллекцию в музей родного города Острогожска. В собрании его к тому времени были ценнейшие вещи: акварели Альберта Бенуа, «Этюд с аистами» В.Д.Поленова, набросок Ф.А.Малявина к картине

«Рязанские бабы», большое полотно Ф.А.Бронникова «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу…» (о нем некогда писал Ф.М.Достоевский), французские гобелены, выполненные по картинам Монсантье, бисерные вышивки старинных мастериц, стекло и фарфор знаменитых русских заводов, изысканная мебель красного дерева, множество других художественных вещей и среди них конечно же работы В.А.Свитальского, созданные некогда в доме Михаила Михайловича. Все эти работы занимают отдельный зал острогожского музея, у которого посетителя встречает надпись: «Дар землякам доктора М.М.Мелентьева».

В последние годы жизни Михаил Михайлович написал завещание, в котором прежде всего просил родных сохранить «Книгу о Володе» и тома воспоминаний «Мой час и мое время»: «Нужно только хранить их. О чем я и прошу. Каждая книга, как и человек, имеет свою судьбу. Я верю, что когда-то и мои книги увидят свет».

Для того, чтобы это пожелание стало реальностью, должен был измениться политический и цензурный режим. Отдельные фрагменты воспоминаний начали появляться в печати с 1990 года. Полностью же обе его книги выходят из печати только сейчас, в первый год следующего века. Когда-то друживший с Мелентьевым Михаил Дмитриевич Беляев (известный литературовед и создатель музея-квартиры Пушкина в Ленинграде), познакомясь с частью воспоминаний в 1946 году, писал: «То из них, что Вы мне читали, безусловно хорошо и по содержанию, и по форме. Кроме того для будущего читателя они важны уже одним тем, что явятся записками среднего человека, т. е. как раз тем, чего всегда не достает истории и без чего история неполна и непонятна». Можно, наверное, согласиться с этим суждением, добавив только, что перед нами предстает здесь жизнь человека «среднего» в социальном, но отнюдь не в нравственном измерении.

Воспоминания Мелентьева дождались печати во многом благодаря многолетним усилиям Ирины Владимировны Долгополовой, его племянницы, дочери Анны Михайловны. С Ириной Владимировной читатель не раз встретится и на страницах книги. Она родилась в 1910 году, закончила Политехнический институт в Ленинграде. В войну ей пришлось долго работать в блокадном Ленинграде, выполнять тяжелейшие задания по эвакуации заводов и налаживания производства оружия и боеприпасов на новых местах. После войны она несколько лет работала в Германии по обеспечению репарационных поставок, затем по восстановлению ранее эвакуированных заводов. Много душевных сил и тепла отдала она

заботе о пожилых матери и дяде. Следуя семейной традиции, и сама Ирина Владимировна продолжает писать воспоминания, которые ждут еще своего издателя. Хочется пожелать ей здоровья и бодрости духа и еще и еще раз поблагодарить за заботу о семейной летописи, значение которой выходит далеко за рамки одной семьи.

Евгений Вилькк, кандидат филологических наук

Часть первая. ГОДЫ 1882—1933

«Для того, чтобы писать свои воспоминания, вовсе не надобно быть ни великим мужем, ни знаменитым злодеем, ни известным артистом, ни государственным человеком, — для этого достаточно быть просто человеком, иметь что-нибудь для рассказа и не только хотеть, но и сколько-нибудь уметь рассказывать».

А.И.Герцен

«Жизнь каждого есть сказка, только один раз рассказанная в мире. Если она даже тускла, коротка, несчастна, она все же лучше песен ангелов, ибо всякое Я есть ангел и песня его единственна».

В.В.Розанов Москва 19 мая 1939 г

.

Глава первая. НЯНЬКА ПЕЛАГЕЯ (1882–1889)

«Благослови, Бог, жизнь и смерть простых, добрых людей».

Ф.М.Достоевский.

Пятьдесят лет назад. Вечер. Сидит нянька Пелагея на старом бабушкином стуле. На столе горит маленькая керосиновая лампа. Нянька поднимает и опускает фитилек. Огонек лампочки то меркнет, то вспыхивает. Я стою у нянькиных колен. Мне скучно. Меня не забавляет огонек. Или, может быть, уже перестал забавлять. Я тяну няньку за руку — нянька, расскажи сказку! И в который раз слушаю напевное: «Сынку, сынку, Ивашенька, плыви, плыви до бережка…».

Нянька старая, грузная. Из-под тугой черной «головки» нависли седые космы волос. Она нюхает табак из желтой берестяной тавлинки, и на груди ее и большом животе густые следы табаку.

Нянька, несомненно, похожа на ведьму, которая желает схватить Ивашеньку и съесть его. Но та ведьма страшная, злая. А нянька… защитила меня сегодня своим телом, когда отец хотел наказать меня. Нянька тайно носит мне большие бутылки молока, которые я выпиваю в постели, закрываясь с головою. Тайна вовсе не в молоке, тайна в большой соске, которую нянька натягивает на бутылку, и без которой я не могу обойтись. Никто этого не понимает, кроме няньки. Все издеваются надо мной. Намазали недавно соску горчицей. Обливаясь слезами, я мыл ее. И одна нянька пожалела меня.

Мир для меня поделен на две половины — на одной я с нянькой, на другой — все остальные.

Даже матери нет в это время.

Живем мы с нянькой вдвоем в комнате, внизу. Все остальные живут наверху. У образа теплится лампада. Утром и вечером мы молимся с нянькой Богу. Я повторяю за нею «Богородицу» и прошу помиловать всех старших, братцев, сестриц и няньку Пелагею.

В комнате жарко. Кровать моя поставлена у самой печи. Пуховая мягкая перина, теплое стеганое одеяло, и сплю я плохо. Мне страшно. Я прячусь с головой под одеяло, но «страшное» ползет и туда. Мне снится один и тот же сон: по буграм и ямам, голым и безлюдным, ищет меня сгорбленный старичок Химич. В

руках у него фонарь. Я прячусь от него, но он вот-вот найдет меня и тогда случится что-то роковое. Я бегу, задыхаюсь, тяжелые ноги не несут меня, нестерпимо бьется сердце, и хриплым перехваченным голосом я зову няньку. Я весь в поту. Страшно! А нянька так громко храпит и не вдруг подойдет. И долго еще я боюсь темноты ночей.

В семь лет иду на первую исповедь. Годы «младенчества» отошли. Мы с нянькой долго обсуждаем мои грехи, чтобы не забыть, в чем покаяться. Наконец я говорю, что лучше всего сказать мне: «Батюшка, я во всем грешен». Но нянька не одобряет этой формулы. Она кажется ей чем-то неугодной Богу. Иду к отцу Дмитрию, но исповедь его показалась мне поспешной и поверхностной. Отец же Авраамий исповедует долго и сурово. У него на аналое большая раскрытая книга, и он постоянно заглядывает в нее. Он-то уж ничего не пропустит. Выпрашиваю пятачок и иду еще и к нему.

Домой возвращаюсь «новым человеком». Душа омыта. Совесть чиста. Настроение торжественное, серьезное. Вот только бы не согрешить! Рано укладываюсь спать. Но Боже мой, как хочется есть! Муки голода принимают нестерпимый характер. Нянька-друг не выдерживает моих страданий, ропщет, что хотят уморить ребенка, и потихоньку накармливает меня. Увы, увы… Подвиг не свершен. Я чувствую себя упавшим на землю. Каюсь, но уже поздно.

А ранним утром — праздничное платье. Переполненная церковь. Много больших, чудесно пахнущих просфор, ибо в обычае причастнику послать просфору всем своим близким. И, наконец, трепетная, притихшая толпа перед «Чашею» и слова, навеки западавшие в сердце:

Ни лобзания Ти дам яко Иуда,
Но яко разбойник исповедаю Тя.

…А нянька становится совсем старой и дряхлой. Видит плохо. Ходит с трудом. Часто падает. Я поднимаю ее, скрываю ее «старение», защищаю ее. Но в семье все чаще и чаще поговаривают о том, что пора отправить няньку к ее родным. И как-то, возвратясь домой, я не нашел няньки. Кровать ее была опустошена. Все мелочи быта ее исчезли. Сама наша комната встретила меня чуждо и неприветливо. Я залился слезами и понял все сразу. Я требовал если уж не возвращения няньки, то хотя бы свидания с нею.

Нашел я ее в маленьком домике на далекой окраинной улице. Встретились мы взволнованно. Нянька не жаловалась, не

роптала. Она обнимала меня и плакала безнадежными старческими слезами. Я принес ей нюхательный табак от себя, чай, сахар, деньги — от матери. Свидание было нелегким и недолгим. Мне было неловко. Мне было совестно за себя и за старших. Но что мог поделать я! Я только многое понимал и чувствовал острее, чем предполагали взрослые. Это нередко у детей, и «это» сковывало непринужденность и радость встречи с нянькой. Я почувствовал тогда, что прежнее наше с нянькой ушло навсегда, что она и я стали другими, что чувство виновности перед ней неизбывно.

«Нет ничего в мире прекраснее звездного неба и чувства долга в человеческом сердце», — говорит Кант. В наших сердцах «прекрасного» не оказалось.

Я продолжал бывать у няньки. Беспокоился, если долго не видел ее. Но дни ее оказались считанными. Когда я как-то пришел к ней, не застал ее в живых: «Заболела, свезли в больницу, там и умерла». Где похоронили, указать не могли.

Бродя летом по кладбищу, сколько раз думал я — в какой безымянной могиле лежит моя нянька Пелагея? Конечно, я проходил мимо нее, но сердце мое молчало, оно не остановило меня и не сказало мне — здесь! Должно быть, моя детская привязанность к ней не была для этого сильна, а ее любовь ко мне не такова, чтобы преодолеть молчание могилы.

Глава вторая ШКОЛА (1890–1897)

В школу свел меня брат Федя. Он был тогда уже в третьем классе. Его присутствие в школе очень облегчало мое положение в ней. Мальчик был я робкий, застенчивый и не сильный, а школа гудела сотнями настоящих бойких и крепких драчунов.

Помещалась школа в старом остроге — одноэтажном каменном здании с толстыми стенами и глубокими амбразурами окон. Помещение школы было недостаточно, и младший класс занимал кухню с громадной русской печью, на которую в наказание наша учительница Мария Панкратьевна саживала провинившихся. Она же скороговоркою от частого применения одной и той же словесной формулы, выносила приговоры: «На колени, без обеда, шапку», — что означало: залезть на парту и стать коленями на выступы, чтобы было осязательнее. «Без обеда» — это было добавочное время после окончания школьных уроков: час, два и до пяти. Срок определялся Марией Панкратьевной тут же. А «шапку» она забирала с собою и передавала ее школьному сторожу. Делалось это для того, чтобы наказанный не ушел раньше назначенного ему срока. Однако сторож был умнее и добрее учительницы. Этот старый человек с большой рыжей бородою жил при школе со своей старухою. Комнатушка их была чиста, тепла и уютна. По окончании занятий, когда все расходились и оставались одни «безобедники», он, бывало, и приютит, и пожалеет, и шапку отдаст куда раньше срока. Мы понимали цену его поступка и никогда не выдавали его.

Пришел я в школу, не зная ни одной буквы, должно быть, не полистав раньше ни одной книги. Учение велось сурово. Давалось оно мне трудно. Я был в беспрерывном страхе от всего окружения. Благополучно прошедший школьный день казался мне чудом. Очень больно дрался законоучитель, отец Павел. Это был высокий тонкий человек, больной чахоткой. Его худоба и черный респиратор на губах вселяли ужас. Он бил щелчком по лбу указательным пальцем правой руки. Он не был зол, он был серьезен и вскоре умер, но в его поведении и учении было больше от грозного еврейского бога Ягве, чем христианского милосердия. Я совсем не помню, кто его заместил, а вот он остался в памяти грозной колоритной фигурой, внушающей страх, но и уважение.

Средний класс вел учитель Петр Дмитриевич. С виду это был добродушный, благожелательный человек, но уже с молитвы перед учением он проявлял свое «коварство». Держа «Часослов» в руках, он, казалось, читал по нем длинный 50-й псалом Давида «Помилуй мя Боже», но на самом же деле, зная его наизусть,

высматривал невнимательных к молитве и тут же начинал суд и расправу. Он любил, набравши в течение дня партию «виновных и нерадивых», вести ее к себе через весь город домой. По дороге вся эта партия осужденных плакала или делала вид, что плачет, и громко на всю улицу взывала: «Петр Дмитриевич, простите, больше не буду… Петр Дмитриевич!» На встречных эта картина производила сильнейшее впечатление, но, жалея провинившихся, никто не осуждал наказующего, ибо все твердо верили, что «корень учения есть горек». Петр же Дмитриевич приводил толпу на постоялый двор, который содержал его отец, размещал ее на нарах и заставлял доучивать недоученное. Один раз и я посидел там. В другой же раз, дойдя до угла, откуда шла дорога домой, свернул к себе. Меня за это вначале исключили из школы, затем, оставивши на неделю без обеда, вернули обратно. Стоило это мне многих слез и страха. Пугали «волчьим билетом». Это, по общему толкованию, было такое состояние, что наказанный нигде не мог жить больше трех дней. Его никто не мог пустить к себе переночевать, и он должен был все время пешком переходить с места на место. Словом, положение рисовалось похуже положения «Вечного жида».

В старшем классе преподавал заведующий школой Михаил Прокофьевич Гончаров. Это был очень добрый и приятный человек, но пьяница. Порок этот в нем доставлял нам немало развлечений, особенно, когда Михаил Прокофьевич «выпимши» приходил в класс. Веселью и смеху тогда не было конца, и мы бывали искренне огорчены, когда приходила жена Михаила Прокофьевича и уводила его. Вся школа, не стесняясь, распевала о нем:

Михаил Прокофьевич Гончаров
Просил денег у богов
На починку сапогов.
Боги ему отказали,
С неба дулю показали.

Окончил я это приходское училище десятилетним. Научился в школе читать, писать, немного считать. Сказать правду, учили в школе слабо, но не менее слабое отношение было и в окружении к учению. Нам никто ни в школе, ни дома не прививал серьезного отношения к знанию. Это, конечно, объяснялось средою, которая посылала детей в эту школу. Из сотен учеников приходского училища на моей памяти только трое пошли в высшую школу. Все остальные закончили свое образование или этой школою, или уездным училищем, куда поступил и я.

Острогожское уездное училище было основано при Екатерине II. В нем учились Станкевич Николай Владимирович, Костомаров, историк, Крамской, художник. Было удивительно, что на расстоянии двух кварталов, в одно и то же время, существовали такие две различные по духу, направлению и уровню школы. Штатным смотрителем уездного училища был тогда просвещенный и гуманный Кирилл Григорьевич Греков, не чуждый литературе, закончивший карьеру в Петербурге. Законоучитель отец Григорий Дьяков, маститый, умный и образованный. Был он добр, внимателен и зорок. Будучи уже в университете, я бывал у него на дому и помню содержательную и живую его беседу. Сорок лет он священствовал в Рождественской церкви, глубоко корнями врос в жизнь прихода, и в неторопливой однообразной жизни был мудр, благожелателен и прост. Остальные учителя были также на большой высоте. Были старики, были молодые, но ни те, ни другие не были ни чеховскими, ни гоголевскими персонажами. Помню учителя математики Майбороду. Помню, как он рассказывал нам о картине Верещагина «На поле брани», которую он увидел тогда на выставке в Харькове. Для нас, мальчиков, глубоких провинциалов, ничего не видевших, ни о чем подобном доселе не слышавших, его рассказы были целым откровением. И когда я потом сам увидел эту картину в Третьяковской галерее, воспринял ее как дорогое видение, мерещившееся с детства.

В уездном училище мы узнали начатки русской истории, услыхали о Пушкине и Лермонтове, узнали, как велик мир и как он устроен.

Вместе со мною в училище это поступил маленький худенький Саша Лаврентьев. Я знал его раньше. Он как-то отбил меня на улице от двух мальчишек. В нем были боевые качества, которых не было у меня. В серенькой блузке из плохого сукна, от которого пахло дешевым мылом, он был храбр, отважен и ловок. Он хорошо учился. Он импонировал мне. Наша дружба завязалась на почве нашей полной «несхожести». В разгар экзаменов во второй класс Саша заболел и через несколько дней умер.

Давно это было. Многое ушло из памяти. А вот смерть этого одиннадцатилетнего мальчика, имя которого я, должно быть и не помнил бы, как не помню никаких других имен того времени, осталась в воспоминании на всю жизнь. Осталась «вечная память» о первой дружбе, первой смерти и первой потере. День смерти Саши, первое июня, всю жизнь для меня был траурным днем.

Окончил я уездное училище в 1897 году, и было мне тогда 14 лет.

Глава третья. СЕМЬЯ И ДВОРНЯ

Контуры семьи в моем сознании обрисовываются лет с семи-восьми.

Отец Михаил Иванович — рослый, красивый, с прядью волос на лбу, был приветлив и добр. Его мальчиком (он рос без отца), привез шурин из Курской губернии в Острогожск на передке своих дрог, и, ссадив у лавки местных богачей Чукардиных, поехал по своим делам дальше. Семья отца не всегда была бедна. Его мать, Александра Васильевна, «деньги решетом мерила», но муж ее, Иван Федорович, так неудачно торговал, что стало «и решета купить не на что».

Из мальчика «вышел толк». Он был сметлив, деловит и грамотен. К двадцативосьми годам у отца уже было свое дело, и тогда он женился в 1871 году, в день своих именин восьмого ноября, на дочери государственного крестьянина слободы Новой Сотни, Екатерине Матвеевне Меркуловой.

Мать была единственной дочерью деда Матвея Михайловича, а последний — единственным сыном прадеда Михаила Федоровича и жены его Аксиньи Дмитриевны. Семья прадеда сидела на земле и большом огороде-леваде по берегу реки Острогощи. Умер Михаил Федорович в поле в холеру 1831 года. Он был степенен, тих, прилежен к храму. Прабабушка властвовала над ним, она была движущей силой семьи.

Единственного сынка, деда Матвея Михайловича обучили грамоте и по слабости здоровья пустили «писарчуком» в волостное управление. Я его очень хорошо помню. Во всей семье он был не только самым грамотным человеком, но и бывалым. У меня сохранился его «Псалтирь» с записями семейных событий, главным образом, рождений его внуков. Он хорошо знал церковную службу, разбирался в «пасхалиях», знал по именам всю царскую фамилию, был долгое время волостным старшиною, разъезжал на тройках и принимал губернаторов. Но он не был деловым человеком, не нажил никакого состояния и к старости ничего не имел. Он продолжал мягкую, быть может, слегка созерцательную линию своего отца, по-видимому, наследственную в семье.

У деда было пять сестер, из которых мы, дети, знали и любили только одну бабушку, Матрену Михайловну. Она не была замужем, не была и монашенкой, но жила по-монашески в своем маленьком домике, выделенном ей прадедом. Матрена Михайловна была грамотна, пешком ходила к киевским и московским чудотворцам. Была и у преподобного Сергия, и

чудесно и ласково рассказывала нам об убиенном царевиче Дмитрии, о красотах Киево-Печерской лавры, о святом из дальних или ближних пещер, ежегодно уходящем в землю на одно маковое зернышко, а «когда он скроется, — тут и свету конец». А лубочная картинка преподобного Сергия, кормящего медведя, долго висела у меня в комнате, смутно напоминая о тех возможных временах, когда мечи будут перекованы в орала и лев ляжет рядом с ягненком.

Мать, Екатерина Матвеевна, небольшого роста, хрупкая, с прекрасным цветом лица, с прямым пробором густых, темно-каштановых волос, была красивой русской женщиной, разумной и доброй. Она рано осталась сиротою. Мать ее, первая жена дедушки, умерла молодой от чахотки. Дедушка, оставшись с нею, побоялся учить Катю грамоте. Так и прожила она неграмотной всю свою жизнь. Выданная в семнадцать лет замуж, мать родила двенадцать человек. Я отлично помню целый ряд «рождений», когда от нас, детей, закрывалась половина дома, появлялась «бабушка Саватьевна», а через день-два приносили нам нового братца или сестрицу. Эти дни всегда были таинственны и тревожны. Нами никто не занимался, и мы сиротливо держались табунком, разговаривали шепотом и останавливали друг друга при шалостях.

Один раз роды прошли неблагополучно. Болезнь приняла опасный характер, и матушку из ее комнаты перенесли в гостиную и приступили к соборованию. Комнаты были полны народу, все стояли с зажженными свечами и плакали. Страшней я ничего не помню.

Занятая детьми, матушка почти не выходила из дому, разве в церковь и изредка в гости. В делах отца она ничего не понимала, вовсе их не касалась и за всю свою жизнь ни разу не была ни в одном «присутственном месте», как не была и на рынке, и ни в каком другом магазине, кроме мануфактурного, куда езживала время от времени «набирать», что было ей нужно для всего дома, но никогда сама не расплачивалась. Счет обычно присылали потом. Всю семью обшивала и обвязывала она сама. К Рождеству и Пасхе она одевала нас во все новое, и без «обновки» мы не помним этих праздников. И вместе с тем, она была всегда весела, обходительна с людьми, правдива, не суетна. И хотя говаривала про нас в иные минуты, что «вот у людей дети, так дети», но мы отлично знали про ее любовь к нам, нисколько ее не боялись, могли ее ослушаться, но берегли и покоили ее.

Выросло нас «две кадрили»: четыре брата и четыре сестры, все с разницей лет в два года, исключая последнего Гриши, выжившего после четырех смертей и отставшего на восемь лет.

Сестра Паша, самая старшая, вышла замуж, когда мне было семь лет. Первая ее дочь Неонила ходила вокруг купели в нашем зале, когда крестили ее дядюшку Гришу, и спрашивала: «Что же он пока, жиденок?» Следующий брат Лука. Он рано стал помогать отцу и всегда казался нам — младшим — взрослым и далеким. Потом шла милая и кроткая сестра Оля. Она была нашей любимицей. По семнадцатому году ее выдали замуж за человека, много старше ее и к ней неподходящего. Я хорошо помню эту свадьбу: ярко освещенный дом, музыка, гости. Приглашенные лакеи на огромных подносах разносят конфеты, а у нас у всех на сердце — точно мы на похоронах. Под утро, после бала, когда новобрачные переезжали к себе, от горя и страха за Олю с матушкой случился сердечный припадок. Такова была жизнь, таковы были нравы. И вовсе не потому, что люди были злы. Ни отец, ни матушка не хотели зла Оле и не хотели сделать ее несчастной. Выдали же ее замуж за Константина Семеновича Бреуса, потому что считали его, во-первых, хорошим и положительным человеком (таким он и оказался во всю последующую жизнь), во-вторых, и самое главное, потому что отец был тяжело болен. Знал свое состояние. Беспокоился, что будет с семьею, и хотел при жизни своей видеть Олю «пристроенной». Со своей стороны, и Оля понимала как положение семьи, так и свое, и не считала себя вправе отвергать эту партию, в которой было все, кроме любви.

За Олею шла наша четверка: Федя, я, Аня и Люба. Федя прихрамывал с детства. Он прекрасно учился, имел ясную и хорошую голову, честную, прямую натуру. Он был мастер на все руки — и столярничал, и переплетал. По окончании уездного училища отец «виял его в дело». Аня, живая, настойчивая девочка, училась в прогимназии. Люба, рыхловатая, болезненная, закончила свое образование младшим классом, и наконец, восьмой, Гриша, толстый мальчуган, любимец матушки, баловень и капризник.

Дедушка Матвей Михайлович, со своею второй женой, властной и дельной Марией Степановной, жил в пригородной слободе Новая Сотня, в своем наследственном доме. Мы, дети, очень любили бывать у них, и в летние месяцы гащивали по нескольку дней. Жизнь там, «на катамарии», как говаривал отец, была совершенно отлична от жизни нашего дома. Там были большой сад и малинник, огород, колодезь со студеной водою. Тихая река Острогоща. Маленькие уютные комнатки с белыми полами, часы с кукушкой. Раннее вставание, ужин на свежем воздухе без свечей под яблоней и, как последнее развлечение дня, возвращение стада с бородатым козлом впереди. Ужин часто

готовился на костре. Дедушка варил «полевую кашу», вкуснее которой трудно было что придумать. Или бабушка готовила вареники с творогом, а дедушка приговаривал:

Вареники-мученики, Великую муку терпели, В горячей воде кипели…

И так далее. Целая поэма о варениках… Жизнь наша там — это было блаженное ничегонеделание на лоне природы, в кругу людей простых и чистых, как сама природа. Я не помню ни одной ссоры, ни одного грубого слова, ни одной жалобы на бедность, на недостаток, на людскую несправедливость. Было мудрое восприятие жизни, как она есть, без зависти и злобы. Считалось, что блага жизни, большие или меньшие, достаются по рождению, по способностям, или, в крайнем случае, по удаче. Дедушка очень хотел, чтобы кто-нибудь из его внуков стал «Горного института инженером», выше этого его вожделения не шли. Его честному воображению здесь был предел земного величия и благополучия. Увы, так и не достигнутого ни одним его внуком, ни правнуком.

Жизнь дома на Богоявленской улице была совсем иной. Это была жизнь муравейника, деятельного, рабочего, кипучего. Отец вставал зиму и лето в четыре часа утра. Горничная Вера тут же подавала ему «маленький самоварчик». Часа два-три отец проводил один, обдумывая свой деловой день, попивая чай и похаживая по комнатам, слабо освещенным лампадами. В последние годы жизни он стал тяготиться своим торговым делом. Его тянуло к земле, в поле, в лес. Он стал арендовать землю у города и завел сельское хозяйство. Но ему было скучно и здесь. Он подумывал о переселении куда-то в Сибирь, на вольные земли. В городе его уважали и любили не за богатство, богат он не был, а за его простоту, щедрость, веселость, доброе слово. Он никого не прижимал, ни на ком не наживался, и когда однажды в половодье тонула лошадь и узнали, что она Михаила Ивановича, тут же люди бросились и вытащили ее. Он был бессменно много лет гласным городской Думы, занимал и другие какие-то выборные почетные должности, но держался в стороне от общества, никогда не бражничал и целые вечера проводил за книгой, читая вслух матушке, тут же сидевшей со своим неизменным чулком. В минуты отдыха и раздумья, заложив руки за спину, в мягком мерлушковом халате отец ходил по комнатам и напевал тихо и не спеша:

Поехал казак на чужбину-долину
На добром коне вороном.
Он свою Украину навеки покинул.
Ему не вернуться в отеческий дом…

Или еще другую, не менее грустную:
Плывет лебедь, плывет лебедь,
Плывет лебедь с лебедятами,
Со малыми со детятами…

И мне всегда, тогда и теперь, кажется, что тосковала душа отца по другой жизни, другим людям и другим интересам. Отсюда были и его сборы в вольные степи и вольные земли, неведомо куда, неведомо зачем. Да сердце и не спрашивает этого.

Жили мы в большом двухэтажном доме, построенном отцом. При доме был большой двор с массою дворовых построек и порядочный фруктовый сад со старыми карагичами. Вся усадьба была огорожена высоким плетнем, через который так удобно было лазить в соседние дворы и сады. На улицу вели широкие ворота с калиткою, всегда закрытые. За воротами у дома была поместительная скамья, и вдоль тротуара росли развесистые тополя. В верхнем этаже дома было семь комнат и застекленная обширная галерея. Зала, гостиная, кабинет-спальня отца, угловая, две передних и комната девочек, откуда шла внутренняя лестница в нижний этаж. Вся жизнь протекала 8 «угловой» и большой передней с черного хода. Зала и гостиная, заставленные массой цветов, до которых матушка была большая охотница, считались парадными комнатами, обычно не освещались и были вечерами таинственны и страшны. В гостиной, рядом с угловой, было еще не так боязно, — рядом были люди, но зато висящий там старинный образ Николая Угодника следил за тобою глазами по всей комнате. В зале было пострашнее. Свет из угловой через гостиную проникал туда совсем слабо. Громадные фикусы давали уродливые тени и хватали тебя лапами. Но самое «ужасное место» была парадная передняя, совершенно уже темная и далекая. Несешься, бывало, оттуда сам не свой, и только у порога угловой возвращались мужество и самообладание.

В нижнем этаже помещались кухня, комнаты для женской прислуги и всей дворни и наша с Федею.

Дворня была большая, редко меняющаяся в своем составе, близкая и дружественная. Жили десятилетиями и уходили не по ссоре, а по обстоятельствам. Старый приказчик Алексей Иванович Пильников поступил к отцу задолго до моего рождения и прожил в нашей семье больше сорока лет, до своей смерти. Ночевать он ходил домой, но с раннего утра уже был на базаре и вместе с «хозяином» или без него закупал продукты для всего дома. Он имел свой дом, его жена была приятельницей матушки, их дети были крестниками или ее, или отца. Детьми мы выпрашивали у

Алексея Ивановича «счастливую копеечку». Говорил он нам — «ты», впрочем, без старших, и недолго. Обедал он вместе с нами и являлся всегда подтянутым, с расчесанной бородой, как-то по-старинному вежливый. И за стол не садился до тех пор, пока не сели хозяин с хозяйкою. Забавен он был в Рождество и Пасху, являясь ранним утром «с визитом», в древнем сюртуке, в косоворотке и высоких сапогах. Накануне он ушел давно знакомым и близким, а пришел торжественным и официальным. Его приглашали к столу, усаживали в гостиной и вели с ним подобающий празднику разговор — где кто был у обедни, как пели певчие, какой был дьякон. Разговора этого хватало ненадолго, и Алексей Иванович, вспотев от потуги поддержать праздничную тему, вынимал большой цветной платок, вытирал свою совершенно лысую голову, и не теряя тона, откланивался и отбывал. А вот не приди он о утра, тревожились бы, и праздник был бы не в праздник!

Из остальной дворни остановлюсь еще на горничной Вере Трофимовне Кравченко, приказчике Константине Егоровиче Буткове и моем сверстнике и друге Алексее Дурных.

Вера поступила к нам подростком с жалованьем 1 рубль в месяц, дожила до старой девы, и лет сорока вышла замуж за вдовца картузника, немолодого и робкого мужика. Мальчиком я выучил ее грамоте, ставя ее на колени и всячески проявляя свою учительскую власть. Она терпела и отблагодарила меня четками, принесенными из Киева, куда она ходила пешком. Четками же потому, что я был богомолен, прислуживал мальчиком в алтаре и читал дома акафисты вслух, на которые приглашалась и она.

В семье вся жизнь шла по церковному кругу: мясоеды, посты строгие и нестрогие, праздники большие и маленькие, среды и пятницы, в которые также не ели скоромного, даже и мы, дети. Отец не был ревностно религиозен. Конечно, он говел в Великий пост, ходил в двунадесятые праздников церковь, но он же и говаривал: «Сегодня свеча, завтра свеча, а там и халат с плеча». У матушки был дар веры, и верила она слепо, крепко до слез. Занятая первую половину жизни детьми, она бывала в церкви не часто. Но с годами, особенно овдовев, она стала бывать в ней ежедневно, не любя говорить об этом, и не навязывая никому своего отношения к церкви и Богу.

Я с детства был проникнут духом аскетизма и постничества. Отцу это не нравилось, матушка одобряла. А я зимою, встав в три-четыре часа утра, бежал по пустынным улицам городка в свою приходскую церковь, часто заставал ее еще закрытою и, переждав в сторожке, входил в нее с церковным сторожем и зажигал первый огонек, который потом множился и разливался по всей церкви.

Начиналась ранняя заутреня с пятью-десятью человеками вначале, а затем церковь наполнялась. К «Херувимской» в церкви устанавливалась особая тишина. Серьезность и важность момента службы охватывала всех. Двери алтаря закрывались наглухо, и наступало мгновение высокого молитвенного состояния.

В это время мне пришлось прочитать «Детство, отрочество и юность» Толстого. Книга эта раздвинула мне рамки жизни, но не аристократическое положение героев захватило меня. Я не мог оторваться от тех строк, где описывается бедная монашеская келья, — тихий угол молитвенного труда и подвига. И тогда я сказал матушке, стесняясь и волнуясь, чтобы она отдала меня в монастырь. Она не огорчилась, а перекрестившись, сказала: на все воля Господня.

Около этого же времени родители побывали на богомолье в Киеве. Это было целое событие. Отец еще куда-то выезжал, матушка же — никогда. Киев и лавра поразили их. Одаривая нас крестиками, деревянными ложками со сложенным троеперстием, матушка сказала мне: «А мы уже с отцом пожалели, что не взяли тебя с собой, Михаил, гляди бы и оставили там». Вот, повторяю, откуда в ту пору и четки в подарок.

Выйдя замуж и оставив нас, Вера продолжала ходить к матушке и носить ей свое горе. Придет — выскажется, выплачется, тут же посмеется и пойдет опять тянуть свою долю. В последний раз я видел ее в 1929 году. Услышав о моем приезде, она тут же пришла, чтобы чем-нибудь услужить мне.

Бутков Константин Егорович, из обедневших дворян, поступил к нам тоже еще при отце, а весною 1919 года привез мне в Москву посылку с едою. Большого роста, увалень, в громадных валенках, скорее похожий на медведя, чем на человека. В детстве он был моим постоянным партнером в «азартную игру» — фильки, требовавшую большой сноровки, чтобы устроить противной стороне «трынку», «рог», а всего триумфальней «бочку», для чего надо было все взятки сдать противнику, и тогда он лазил три раза взад-вперед под столом, по которому в это время победители неистово стучали кулаками. И вот, добравшись в 1919 году до Москвы поездом, Константин Егорович обратную дорогу проделал пешком, живя продажею календарей, закупленных им «для разживы». Это путешествие потребовало от него месяца времени и большой выносливости. Я до сих пор внутренне сжимаюсь, когда вспоминаю об этом.

Алексей Дурных — тоже из дворян. Его мальчиком, лет десяти, привезли к нам во двор, а ушел он от нас на военную службу. Он был моим сверстником и другом. Вырос он рослым красавцем, смуглым черноволосым цыганом, со сросшимися

бровями. Был он грамотен, любил книгу. Нрава был бешеного. Пошел он во флот, дослужился до кондуктора и в 1914 году был у меня в Москве в офицерском кителе, с кортиком, в полном расцвете сил и мужской красоты. Но странности его характера в этот приезд особенно бросались в глаза.

Я знал давно, что Алексей в первое же свое посещение известного дома в Кронштадте заразился болезнью, которую стали называть потом «не позором, а несчастьем» Он много и упорно лечился. Я показывал его знаменитому профессору Поспелову. И тот успокоил его и заверил в полном благополучии.

На деле вышло не так. Алексей погиб в начале 1915 года от прогрессивного паралича. Смерть эта кажется мне обидной и несправедливой. До Кронштадта Алексей не знал женщин, боясь заболеть сам. После Кронштадта он избегал их, боясь заразить. Так не повезло этому человеку.

Я назвал трех, но не могу не остановиться еще на одном, это — на стороже Кузьме на нашем заводе. Жил он у нас лет тридцать. Человек этот повторил собою тургеневского Ермолая с некоторыми вариациями, как дань времени и месту. Охотник, собачник, любитель всякого зверья и птицы, он жил не в своей семье, а на дворе со своими питомцами, которые бегали за ним по пятам и которых он для виду, для других яростно ругал и шпынял ногами. Во дворе у него постоянно появлялись то медвежонок, то волчонок, то лисица. Когда это зверье подрастало, часто бывали неприятности, бывали жалобы, судебные дела. Кузьма плакал, сдирал шкуру, но тут же заводил нового любимца. Жить с людьми, только с людьми, он не мог. Летом 1918 года Кузьма Васильевич тяжело болел. С завода он переехал к себе домой, и я там навестил его. Старый служака явно умирал, но в углах и под кроватью гнездились собаки.

Окончив уездное училище, я должен был выбирать, что делать мне в жизни. Мне шел пятнадцатый год. Отец желал одного, чтобы я, как и два старших брата, остался при своем деле. Все остальное пугало его. Я же не чувствовал никакой склонности к торговле и хотел одного — учиться. Отец не уступал мне, я не уступал отцу. За меня вступились дедушка и мать. Отец после долгих колебаний, наконец, сдался, и был приглашен репетитор, чтобы подготовить меня в четвертый класс гимназии.

Шестого января 1898 года скончался дедушка. Шестнадцатого февраля ночью с отцом случился припадок грудной жабы. Разбудила нас с Федей кухарка Прокофьевна: «Скорее, скорее, папаша умирает». Нашли мы отца в гостиной на большом диване в смертных муках сердечного приступа. Весь дом был на ногах. Послали за доктором и священником. К утру стало

немного лучше. Припадок ослабел. Больного перенесли в самую большую комнату дома — в залу. Созвали врачей города. Послали телеграмму отцу Иоанну Кронштадтскому. Отец был спокоен и, когда сердце отпускало, заканчивал свои дела на земле. Меня отец просил заняться «своим делом».

Первого марта отец скончался. Страшна была эта смерть главы семьи в девять человек мал-мала меньше. Еще страшнее становилась она по тем обязательствам, которые должны были выполнить по обычаю, в память усопшего. Поминки шли на третий, девятый, двадцатый, сороковой дни, и полгода, и год. А мы в это время жили под страхом описи всего имущества и наложения печати на двери нашего дома. Этого не случилось, потому что деловые круги города на первых порах поддержали нашу семью, а брат Лука с помощью старых служащих отца сумел стать на ноги и повести дело в дальнейшем уже самостоятельно.

Моя же судьба в этот тяжелый год решилась тем, что в декабре я выдержал экзамен уже не в гимназию, а на аптекарского ученика, и в январе следующего, 1899 года, пошел служить в местную аптеку.

Глава четвертая. В АПТЕКЕ (1899–1902)

Мне было 16 лет. Я был красивеньким, чистеньким и скромным мальчиком. Я не курил, не пил, любил книгу, любил домашний уют и ни о чем другом не мечтал, как только о том, чтобы учиться в гимназии. И учиться даже не ради каких-нибудь отдаленных целей, а вот ради самой гимназии, прельщавшей меня формы, товарищей и тех знаний, что они получали там.

А вот жизнь мне отказывала в этом. И чем заветнее была мечта, тем казалась она неосуществимей. И полубогами казались мне эти существа с ранцами за плечами, в фуражках с белым кантом и гербом из лавровых листьев и букв «ОГ».

Директор гимназии, в кабинете которого я писал экзаменационную работу по латыни и который помог мне, видя мое затруднение, передавал мне предложение принять меня в четвертый класс. А вместо этого я очутился в задней неопрятной, полутемной комнате местной аптеки, комнате без всякой мебели, с одной моей кроватью и жестким соломенным матрацем, купленным для этого случая матушкой, так как я наотрез отказался взять с собой перину, на которой спал дома до сих пор.

Алексей Дурных, привезший меня сюда, последнее близкое лицо в этом новом мире, новом, неприятном и страшном, поставил мои вещи, пожелал мне удачи и ушел, оставив меня одного.

Из-за стены неслись звуки двух гитар:
Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли…
……..
Пусть больнее и больней
Занывают звуки.
Чтобы сердце поскорей
Лопнуло от муки…

В доме у нас не было никакой музыки. Да и почиталась она «в гитарном исполнении» музыкой полупочтенной, так, каких-то канцеляристов. Тем более эта музыка подействовала на меня, что было в новинку, что пришлась в такую горькую, одинокую минуту. Я лег, укрылся одеялом с головою и горько поплакал.

По существу, в это время я был действительно одинок. Аня и Люба были еще молоды — четырнадцати и двенадцати лет, чтобы понимать мое положение. Братьям было не до меня. Замужние

сестры — да, Оля — она понимала. Но она сама была так напугана жизнью, так тяжело она ей давалась, что она воспринимала жизнь как страдание и без борьбы сама несла свою тяготу и мне могла посоветовать то же самое. Оставалась матушка. Вот с нею и началось сближение с этого времени. Отпуская меня в аптеку, она знала, что я хочу не этого. Изменить положение она не могла, но она пожалела меня и утешила, она благословила меня образом Спасителя, отслужила молебен, беспокоилась обо мне во все дни, пока я не приходил домой.

А приходил я один раз в неделю на один день. Работа пала на мои плечи тяжелая. Начиналась она с восьми часов утра и кончалась в двенадцать часов ночи. Притом, через день-два приходилось дежурить ночами, и получал я за это в первый год пять рублей в месяц, второй — десять, третий — пятнадцать, при готовом столе и квартире. И тогда это не казалось мало, и не казалось, что рабочий день слишком длинен, а отдых слишком короток и редок. Тогда все работали так. Это было в порядке вещей. И если люди не изнашивались очень и не наживали тяжелых неврастений и шизофренических состояний, то это, конечно, потому что работа протекала в спокойных условиях, как спокойна и нетороплива была сама тогдашняя жизнь.

Освоился я с работой довольно быстро. Названия латинской кухни дались мне легко, и отношения с сослуживцами и хозяевами установились отличные. Софья Федоровна Яковлева, бывшая учительница в гимназии Ани и Любы, дочь нашего городского врача Госсельмана, ее сестра — вдова полковника Эльвинг, и их мать — были людьми другого мира, до тех пор мною невиданного. Они владели немецким и французским языками, и эта иностранная речь была постоянной в их быту. Они долго жили в Москве и получили там образование в московских институтах. У них был рояль, и они хорошо играли на нем. Весь их быт, обстановка, прислуга, умение жить и пользоваться благами жизни более удобно, красиво и утонченно — все было ново для меня. Жизнь у них и потом с ними была для меня большою школою. Я наблюдал, учился, перенимал. Между ними и мною завязалась дружба на всю жизнь, несмотря на большую разницу лет.

В настоящее время жива только Софья Федоровна, и вот, что она написала мне 1 сентября 1940 года: «Дорогой Михаил Михайлович! Вот уж я три недели в Доме инвалидов. Мне здесь очень хорошо, и я всем довольна. Хлеба дают 500 грамм в день. На месяц получили по 500 грамм сахару. В комнате у нас 14 человек. Женщины все простые, и только трое нас "почище". Скоро обещали привезти обувь. Большое Вам спасибо за Вашу

многолетнюю заботу обо мне и за помощь и поддержку, какие Вы мне оказывали все это время. Не забывайте меня и впредь. Обнимаю Вас и крепко целую. Софья Яковлева».

За три года, проведенные мною в аптеке, свершилось, отстоялось и завязалось все последующее для жизни. Прежде всего упрочилось благосостояние нашей семьи. Брат Лука развернулся в недюжинную коммерческую силу. Сестра Аня завоевала себе право продолжать образование в гимназии. Матушка, приглядываясь к нам и к тому новому, что мы вносили в жизнь, не только не противилась ему, но становилась нашей советчицей и пособницей. Федя и Люба, уж, конечно, были с нами. У милой сестры Оли, или, как мы стали называть ее, «Бреусочки», росло трое детей, и она вся ушла в них, чтобы собрать потом обильную жатву радости, утешения и горя. Самая старшая из нас, Паша жила своей незамысловатой жизнью, растя пятерых дочерей и сына.

По-прежнему, как и при отце, собирались у нас по воскресеньям зятья с женами и детьми. По-прежнему Алексей Иванович являлся первым визитером в Рождество и Пасху. По-прежнему в «прощеный» день ездила матушка на кладбище просить прощения у родителей, а после ужина-заговина все собирались в гостиную, все — и родные, и дворня — просили прощения друг у друга, если кого кто чем обидел, кланяясь в ноги младший старшему. Обряд этот с детства производил на меня сильное впечатление. Я всегда едва удерживался от слез, а следующий день — начало Великого поста — казался мне грозным судным днем, к которому, действительно, надлежало готовиться. И однако, хотя формы жизни, в основном, оставались все прежними, внутреннее содержание их незаметно и постепенно становилось менее строгим и менее страшным. Посты соблюдались, но не так строго. Сила греха понемногу ослабевала. Зависимость от мнений и суждений окружающих явно нарушалась. Хотелось жить, и начиналась жизнь не по чужому мнению, а по своему влечению. Словом, из жизни исчезал тот испуг и страх жизни, которым проникнуто было все наше детство, и становилось спокойнее и сильнее дышать.

Можно утверждать, что это был естественный процесс «роста» и что он закономерен для всех. Это так и не так. Много лет еще продолжал я жить в нашем городе, и много лет мог наблюдать все тот же старый, мне знакомый, испуг на лицах, связанность движений, боязнь чем-нибудь не быть похожим на свое ближайшее окружение.

В семнадцатилетнем возрасте я начал вести дневник. Много лет спустя я перечитал его. Наивно. Часто смешно и

сентиментально, Боже мой, как я жалел, что скупо и мало записывал тогда!

Все ты возьми, в чем не знаю сомнения,
В правде моей разуверь, обмани,
Дай мне минувших годов увлечение.
Дай мне надежд золотые огни.

Основной тон писаний — неудовлетворенность и тоска. После шести дней работы в аптеке с возможностью почитать урывками по вечерам, хотелось от свободного дня новых впечатлений, какого-либо развлечения, наконец, просто дружеского и товарищеского общения. Ничего этого не было. Всякий раз я с нетерпением ждал итого дня и всякий раз он обманывал меня. Уже накануне, идя домой, ждешь, бывало, найти не только что-нибудь новое и интересное, а даже что-то необычайное, а застаешь все ту же знакомую, дорогую, но прискучившую обстановку. Я не знал еще тогда, что «самые лучшие новости в жизни — это отсутствие новостей». Но для молодости, должно быть, эта истина никогда не станет истиной. Наутро я обычно не знал, куда себя девать, особенно зимою, особенно в будние дни. Ну, в праздник пойдешь к поздней обедне и там кого-нибудь встретишь и с кем-нибудь поболтаешь. После раннего обеда, между двенадцатью и часом пойдешь на каток зимою, а летом вечером в городской сад, а зимою вечер дома с сестрами, часто с их подругами, или посидишь с Алексеем за воротами. И вот свободный день окончился, и надо ждать его опять шесть дней. Изредка бывали любительские спектакли, приезжал цирк или малороссийская труппа. И это было целым событием в жизни. Помню спектакль, на котором мне впервые пришлось побывать в нашем «Обществе трезвости». Ставили любители пьесу Мясницкого «Заяц». Такого сильного впечатления никогда потом не произвел на меня ни один театр. Я не мог оторвать глаз от сцены и очень жалел, что спектакль окончился, огни рампы погасли, и мне надо уходить домой.

Но особенно горько и тоскливо бывало мне в августе, когда гимназисты и гимназистки собирались к началу учебного года. Веселыми гурьбами ходили они мимо аптеки. Это было истинное страдание одинокого обиженного сердца, и понять это может не всякий.

Но вот обязательные три года работы учеником в аптеке закончены. Надо ехать в университетский город и держать экзамен на «аптекарского помощника». Я переселяюсь домой и весело и уютно провожу с сестрами и матушкой Рождественские

праздники. В конце января 1902 года я трогаюсь в Москву. Помню ранее темное утро, последние наставления матушки, ее слезы, а накануне молебен и томительный прощальный вечер с зятьями и замужними сестрами. Аня и Люба провожают меня на вокзал. Они вдоволь наплакались, не спали ночь и переживают мой отъезд почти трагически. Ночью дорогу распустило. Мы пешком плетемся за нашими санями по булыжной мостовой. Бойко обогнавший нас извозчик на пролетке пропел нам: «Ах вы, сани, мои сани…». Не успев поцеловать сестер, я на ходу вскакиваю в поезд.

Ехал я, конечно, третьим классом. В купе со мною оказался добродушный сельский лавочник с толстой серебряной цепью по животу. С ним ехал его сын, молодой парень, роль которого при отце в дороге состояла в беганию на каждой станции за водкой отцу. Но отец от этого вовсе не становился пьян. Он был только в несколько приподнятом хорошем настроении и основательно обсуждал, на которой станции водка была получше.

Узнав, что я еду в Москву в первый раз, он принял во мне живое участие и с вокзала повез меня с собою в Чижовские номера на Никольской, снял мне здесь комнату, показал дорогу к моему университетскому преподавателю, остерег меня советами от злых людей и тогда только оставил меня. Пусть будет ему легка земля.

Москва ошеломила меня своим шумом и богатством. Магазины, лари, ларьки, разносчики напирали на тебя буквально на каждом шагу и предлагали буквально все, в чем нуждается и не нуждается человек. Поражало неисчислимое количество извозчиков — от самых надменных до самых скромных.

Моей задачей было поселиться во что бы то ни стало в квартире, где живут студенты. Я должен был приглядеться к ним и написать Ане с Любою — боги они или люди, и если люди, то такие ли, как о них пишут, окруженные нимбом науки, подвигов и разума. Вот я и начал искать такую квартиру с того, что купил газету и на последней странице в объявлениях нашел: «Сдаются комнаты». Взял извозчика и сказал: «На Пушкинскую улицу». Старик извозчик задергал вожжами, понукал и привез меня к памятнику Пушкину, сказав притом, что Пушкинской улицы он не знает, и что такой в Москве нет. Я удивился и показал ему газету, а он, не глядя на нее, сказал: «А московская ли это газета?» Тут только я сообразил, что газеты бывают разные, расплатился и, сев у памятника Пушкину, увидел, что газета моя была петербургская.

Кто научил меня искать комнату по билетикам на окнах в воротах, не помню. Знаю только, что я очень скоро нашел

комнату не только в квартире, где жили студенты, но комнату со студентом. Это уже превосходило все мои желания. Сожителем моим оказался болгарин Христодулов, юрист, брюнет, с небольшой бородкой, в светлой студенческой тужурке, или в сюртуке в парадных случаях. Он или играл в карты целыми ночами по московским попам, или, проигравшись, сидел дома, придумывая себе какие-нибудь болезни. Был он хитер, но добродушен, постоянно нуждался в деньгах и брал взаймы у всех в квартире какие-то гроши. Жить с ним было удобно, просто и весело. Он долго йотом пересылал мне поклоны и все обещался «заплатить должок».

Совсем иного склада был студент-медик Александр Михайлович Балашов. Это был серьезный, занимающийся человек, сдержанный, даже сухой с малознакомыми людьми, но остроумец, шутник и доброй души человек с людьми, которых он допускал до себя. У него я многому научился. Он первый показал мне некоторые начатки «искусства жить», умения пользоваться своим временем, не «объедаться» людьми, избирать людей. Наконец, он свел меня в оперу и концерт, научил ходить по книжным магазинам и просматривать книжные витрины. С Александром Михайловичем сохранились отношения на всю жизнь. Впоследствии, когда он был директором крупнейшей психиатрической больницы под Москвой, мы встречались с ним уже по служебным делам, вспоминали начатки нашего знакомства, и как он прозвал меня тогда «аптекарем».

Занятия и экзамены мои шли своим чередом и подходили к концу. Но мысль вернуться на работу в аптеку была мне невыносима. Я написал Оле и Ане об этом. А когда брат Лука приехал в Москву, поговорил с ним. От него, по-существу, зависело все. «Смотри, чтоб верно было», — сказал он мне и дал свое согласие на мою дальнейшую учебу.

И вот диплом на «аптекарского помощника» получен. Пальто московское куплено, и я в самом радужном настроении с последним гривенником в кармане залез на верхнюю полку вагона, купил два апельсина и через тридцать часов, накануне Пасхи, приехал домой. Была половина апреля. Весна была в природе. Весною цвела душа моя. Трудности, предстоящие мне, не пугали меня. Идти своею дорогою всегда легко. Окружающие меня, мои близкие, были созвучны моим стремлениям и поддерживали во мне решимость выйти на более широкий путь. Дружба моя с матушкой и сестрами крепла и принимала характер союза. Дома мне было уютно и радостно, как никогда.

С 1 мая я шагал на учебу.

Глава пятая. ГОРОД

«Там, где волны Острогощи
В Сосну тихую влились;
Где в стране благословенной
Потонул в глуши садов
Городок уединенной
Острогожских Козаков».

К.Ф.Рылеев.

«Острогожск построен в 1652 году, а заселен по указу царя Алексея Михайловича Заднеп-ровскими казаками. За верные службы свои против Ногайцев и Крымцев получали от Царей — Алексея Михайловича, Петра I, Екатерины — похвальные грамоты и право свободного винокурения и другие привилегии».

Острогожск начал свое бытие при царе Алексее Михайловиче. В 1663 году в нем был основан Пятницкий девичий монастырь, церковь которого, уютная и нарядная, уже приходской, просуществовала до моего времени. В ней хранилось Евангелие издания 1698 года с надписью: «Лета 1713 апреля 4-го. Сию книгу в окладе раб Божий Максим Родионов Хромой, Василья Долгова зять, даровал в монастырь девичий, в церковь великомученицы Параскевы, нареченныя Пятницы, за отпущение грехов своих и за поминовение родителей своих. А не мощно ж его из сего девчьего монастыря ни продать, ни заложить; для того, что сие Евангелие не монастырское и не мирское, но Максима Родионова Хромого».

Читал я об Острогожске «Записки цензора и академика А.В.Никитенко» и «Летопись города Острогожска», составленную настоятелем острогожского собора протоиереем Дмитрием Склобовским.

Никитенко жил в Острогожске между 1816 и 1820 годами. Он пишет: «Замечательный город был в то время Острогожск. На расстоянии многих верст от столиц, в степной глуши, он проявлял жизненную деятельность, какой тщетно было бы тогда искать в гораздо более обширных и лучше расположенных центрах Российской Империи».

«И материальный, и умственный уровень его стоял неизмеримо выше не только большинства уездных, но и многих губернских городов. Недаром Острогожск прозывали в краю "Воронежскими Афинами"».

Склобовский написал свою «Летопись» в 1900 году. Спасибо ему за это. Кроме него никто не удосужился заняться этим. Мы

люди вчерашнего дня.

Вспоминаю одно высказывание историка В.О.Ключевского, слышанное мною у него на лекции: «Приезжаете на Западе даже в самый маленький городок и видите, что культура наслаивалась там столетиями. Когда же попадаешь у нас даже в большой губернский город, то походишь, посмотришь и невольно спросишь: давно ли горели?» Да, давно ли горели!

Склобовский назвал свою монографию «Летописью города и семи церквей его». И сделал он это правильно и умно, потому что прежняя материальная культура города представлена, главным образом, церквями. Сейчас церкви Острогожска закрыты и гибнут или частью уже погибли. И что же остается от города? Кучка деревянных одноэтажных домишек — и только. Не надо даже и гореть. Все равно это не история.

А церкви города были изумительные. Двухэтажный ампирный собор стройки 1780 года на высоком берегу реки виднелся издали, а внутри весь белый, он поражал простором купола, благородством линий и исключительной красоты иконостасом, низенькие царские двери которого представляли собой скульптурную группу тайной вечери. В четырех простенках висели громадные панно на евангельские темы художника Величковского. Ничего лишнего, никакой загроможденности иконами; легкое серебряное паникадило парило в воздухе, не давя и не нарушая общего впечатления гармонии.

В Богоявленской церкви, скромной и невидной извне, был многоярусный, в 21 аршин высотою, иконостас в стиле барокко такой красоты, равного которому я не знаю. Словом, каждая церковь имела свою художественную ценность, созданную XVIII веком, когда мели строить и строили церкви с верою и любовью, что, по-видимому, делало даже самых простых людей понимающими и ценящими красоту. Угасли вера и любовь, и пропал вкус. Исчезло чувство гармонии и меры. Конечно, не у всех, у избранных оно осталось, а масса потеряла и перестала понимать и чувствовать красоту, в создании которой она когда-то сама принимала участие.

Однако не буду продолжать — об этом дальше. Я пишу не о том, что есть, а о том, что было. А было то, что чудесный звон юродских и пригородных церквей давал содержание всей жизни юрода. Особенно хорош он был в Пасхальную ночь. Спать в эту ночь никто не ложился. Все, кто мог, тянулся к церкви. Время идет двенадцати. На соборной колокольне начинают бить часы: час, та… семь… десять, одиннадцать, а вместо двенадцатого удара раздается одновременный гул колоколов всех церквей. И несется потом этот перезвон всю Пасхальную неделю, сливаясь в

одно с весенним пробуждением природы.

Умирал ли кто в городе и хоронили его потом — церковный звон оповещал об этом. И этот звон, как звон буден, праздника, Великого поста, крестного хода, имел свой язык, свою выразительность, свою печаль и свою радость.

Двадцать девятого августа весь город встречал икону Сицилийской Божьей Матери, несомую за семнадцать верст из Дивногорского монастыря. Тысячи народа с утра выходили за город и шли верст за восемь к Коротоякскому лесу. Там отдыхали, питались и поджидали шествие с иконою, чтобы общей массою вернуться в город. А на встречу у города, у кладбищенской церкви, собиралось все духовенство всех церквей в полном облачении, с хоругвями, все учащиеся всех школ, кавалерийский полк с оркестром. Звонили все колокола города, неслось мощное пение тысячных толп. И вдруг все затихало. Оркестр начинал играть «Коль славен» и все шествие направлялось к собору. И в эту ночь тысячи пришедших в город получали от жителей и ночлег, и еду, без чьего-либо приказания и распоряжения, а единственно «Христа ради».

Никитенко, говоря об острогожском обществе, пишет: «Нельзя обойти молчанием его духовенство. В мое время оно там поистине стояло на высоте своего призвания». Это же самое должен повторить и я: тридцать лет я знал все духовенство города, и за все это время оно было на большой высоте. Среди духовенства я не помню ни одного пьяницы, ни одного порочащего свое звание человека. Это были маститые, сидящие в своих приходах по нескольку десятков лет священники, имеющие вес и значение у своих прихожан. Все их знали в лицо и все при встрече с ними приветствовали их. Конечно, среди них были признаваемые и более почитаемые, как, например, отец Дмитрий Склобовский, Алексей Сцепенский, чья импозантная фигура с посохом и в камилавке заставляла всех при встрече давать ему почтительно дорогу. Отец Дмитрий Адамов, Алексей Тростянский. Были и менее известные, но ни одного такого, повторяю, о котором бы говорили дурно и которого бы осуждали. В нашей приходской Покровской церкви настоятелем был отец Дмитрий Адамов. Он же был и законоучителем в женской гимназии со дня ее основания. Этот человек, несомненно, был на голову выше всего своего прихода. Он много читал, владел даром слова, имел прекрасную внешность и хороший голос и, самое главное, был умен. Овдовев, он пошел в черное духовенство и был потом архиереем.

Прислуживая мальчиком в алтаре, я очень любил и ценил его службу. А чтение им «Канона» и «Часов» в заутрене ранним

зимним утром доставляло истинное молитвенное удовольствие.

Помню один год. Я со своими друзьями — Егором Журавлевым и Мишей Марченко — не пошел встречать икону, а поехал кататься на лодке. Это был протест и бравада против «несознательности и темноты» масс. И получилось очень грустно и очень некстати. Пустынная река без единого человека показалась угрюмой и страшной. Разговор наш не клеился, и мы невольно прислушивались к далекому звону. А тишина нас угнетала, а лодка не шла, потому что не греблось. Мы заскучали и после некоторой борьбы с собой повернули обратно.

И против чего и кого был направлен этот протест?! В этом торжестве не было никакой лжи, никаких «скрытых пружин действия», никакой политики. Народ сам шел, гонимый верою, усердием и, может быть, наконец, инстинктивным осознанием необходимости отдыха и переключения впечатлений после тяжелого летнего труда. А духовенство? Духовенство так же верило, как и народ.

Кстати, один маленький штрих к истории города и к истории его духовной жизни. Двести лет существовал город, и было, должно быть, в нем немало людей умных, полезных, добрых. Но никого не помнил народ и никого не передал легенде кроме одного «Христа ради» юродивого — Ивана Васильевича. К нему на могилу у алтаря летней кладбищенской церкви ходили, и у него искали помощи и исцеления. Он оказался нужнее всех. Умер он в 1823 году, прожив 107 лет. Это он говаривал: «Врагов прежде нужно заслужить. Не напоя, не накормя, врага не добудешь».

Чтобы закончить мои строки о былой церковной жизни города, я должен еще сказать о нашем соседе, отце дьяконе Покровской церкви, Гаврииле Павловиче Лебедеве. Жил он от нас через дом в маленькой церковной избушке, около которой, на чистом дворе, пышно цвели разноцветные мальвы. Помню я его старым, седым, с большою бородою и длинными по плечам волосами. С посохом в руках, в очках и мягкой широкополой шляпе, каждый день, зиму и лето, шел он мимо моих окон и, нагибаясь, говорил свои ласковые слова. Он был другом всей детворы, он помнил дни именин каждого из нас. И как бы мы были огорчены, если бы он не пришел и не принес большой просфоры, а в подарок или крупное красное яблоко, или необыкновенных размеров апельсин, величине которых он сам радовался и которыми любовался, как мудрец.

Он был одинок, детей у него не было. Его дьяконица, Мария Ивановна, невозможная женщина и пьяница, умерла рано. И Гавриил Петрович ходил много лет к ней на могилу ежедневно. Прислуживала ему старая рябая Наталья, и две его маленькие

низенькие комнатушки поражали своею чистотою и особым запахом старых вещей, ладана и каких-то трав. Стены были покрыты иконами в рамках за стеклом — грамотами Святейшего Синода с большими блеклыми муаровыми лентами и сургучными печатями. На окнах в кухоньке стояли десятки кустарных глиняных кукол, больших, ярко раскрашенных.

Идешь, бывало, мимо поздней ночью с какой-нибудь гулянки домой и видишь — сквозь ставенки окон светится слабый огонек. Поглядишь в щелочку, и представляется одна и та же картина: в свете двух-трех лампад стоит Гавриил Павлович на коленях, старый, обомшелый, и читает «Правила» к утренней службе и молится. А в три часа ночи он выходит уже из дому и шествует к церкви, мерно переставляя свой посох.

Он был велик ростом, кряжист, никогда не болел, и не было случая, чтобы он пропустил хотя бы одну службу в церкви. Голос у него, несмотря на годы, был звонкий, приятного тенорового тембра, с четкой дикцией. Служил он просто и искренне. Его чистое сердце ничего не искало и ничего не домогалось. Ему много раз предлагали место священника, и он отказывался «по своему недостоинству». Дожил он до восьмидесяти лет и умер в 1909 году «безболезненно и мирно», проболев всего несколько часов.

Я был в приходской школе, когда начали строить Юго-Восточную железную дорогу и она пролегла, захватив и Острогожск. До этого ездили на лошадях, верст 25 до станции Евдаково или Пухово, по дороге Ростов — Москва. На месте, где стоит нынешний вокзал, были «пески», и такие глубокие, что езда по ним была возможна лишь очень медленным шагом. Через них шла дорога от Думного моста, у которого стоял наш завод, до дамбы с мостами через два пруда и реку Тихую Сосну. А дамба приводила уже к городу, стоящему на горе, куда вела «провальня», бока которой были отвесны и выложены кирпичом.

Посреди песков у дороги стояла малюсенькая избушка, с большими образами под маленьким навесом. И оттуда навстречу проезжавшим выходил старик «со зонтиком» с непокрытою головою, в белой длинной посконной рубахе и, позванивая, обходил воз за возом. Проезжавшие останавливались, доставали медяки, крестились, а часто шли к избушке, к образам, прикладывались и двигались дальше. В базарные дни, а особенно в четыре ярмарки, бывшие в городе, возы, запряженные конями и волами, тянулись беспрерывной вереницей, и тогда звон колокольчика не переставал раздаваться «с рассвета и до поздней ночи». Особенно была людна ярмарка и «десятую пятницу», в день «Живоносного источника». Эпиграф из «Сорочинской ярмарки»

Гоголя совершенно соответствовал картине ярмарки моего времени:

И Боже ты мой, Господи,
и чего нима на тий ярмарци:
колеса, скло, тютюн,
крамари всяки…

Сколько было в ней красок, звуков, движения. Занимала ярмарка громадную площадь, и возы с поднятыми оглоблями, и палатки с товарами заполняли ее так, что оставались только узенькие проходы. Весь город считал своим долгом побывать на ярмарке. Это было одно из немногих городских развлечений. И матушке, бывало, закладывали линейку, она забирала нас и закупала там всякую всячину, которую можно было купить в любом магазине города.

Другим таким «стихийным» развлечением был весенний разлив реки. Тихая наша Сосна далеко выходила из своих берегов и заливала громадную площадь от города до Думного моста и дальше. Завод наш часто бывал островом, и Кузьма не раз сиживал со своими собаками на чердаке и крыше своей сторожки. И опять весь город поднимался на эти «большие воды». Часами стояли, смотрели и принимали самое живейшее участие в маленьких происшествиях, неизбежных при таких событиях.

Следующими развлечениями были свадьбы и похороны значительных граждан города. И в том, и в другом случае церкви были переполнены. На свадьбы, чтобы попасть в церковь и рассмотреть, каковы жених с невестой, забирались заранее. А во время похорон ожидали процессию на углах целыми толпами. На углах, потому что в обычае было останавливаться на каждом перекрестке, служить короткую литию. За это время можно было посмотреть и покойника, какой он, и сильно ли убиваются родственники, и сколько священников идет за гробом.

Постоянным развлечением летом служил городской сад, а зимою гулянье и катанье по главной Воронежской улице.

Сад был обширен, тенист, содержался в порядке. Вечерами в нем играл оркестр военной музыки, и бывать в нем было очень приятно. Сад этот некогда составлял городскую усадьбу господ Тевяшовых, о которых Склобовский пишет: «Никакой другой род не принес столько жертв и не оказал столько доблестных заслуг, как этот знаменитый род Тевяшовых, имеющий за собою целый, по меньшей мере, свыше двухсотлетний круг непрерывной и самой благотворной и доблестной общественной деятельности, как в Острогожске, так и в уезде оного».

В мое время председателем уездной земской управы и предводителем дворянства были два брата Тевяшовых — Василий и Владимир Николаевичи, и одна улица города была названа их фамилией. На усадьбе городского сада были расположены мужская гимназия и здание «благородного собрания», обширная веранда которого выходила на самую центральную площадку сада. На этой веранде вечерами собиралось высшее общество города и щеголяло костюмами, манерами и часто непринужденными беседами на французском языке.

Гулянье и катанье на Воронежской улице происходило в праздники по вечерам и на масленице, а также в царские дни, после парада у собора, когда полк возвращался в казармы в сопровождении оркестра и все, кто был свободен, двигались вместе с ним.

Постоянного театра не было. Изредка играли любители в зале «Общества трезвости». Наезжали малороссийские труппы и цирк. Были разные паноптикумы и фокусники. Показывали чучела телят с двумя головами, карликов и великанов и другие подобные раритеты. Потом появлялся фонограф, и мы с благоговением сидели вокруг ящика с трубочками в ушах и прислушивались к тусклой и неясной речи. Изредка бывали концерты, вроде Капеллы Славянского, и показывали «туманные картины» с чтением.

Такая бедность зрелищ и развлечений имела, однако, и свою хорошую сторону. Она, несомненно, у многих создавала повышенный спрос на книгу, уважение же к книге было общим и росло с каждым годом. Еще будучи в уездном училище, мы с Федей выписывали чудесный тогда журнал «Вокруг света» с приложением романов Жюль Верна, Фенимора Купера и других, которыми зачитывались не только мы — дети, но и отец. Затем широко выписывали журналы «Родина», «Нива», «Живописное обозрение», все с приложениями русских и иностранных классиков, газету «Свет» с такими книжками романов, которые зачитывались до дыр.

При уездном училище была прекрасная библиотека, хорошо переплетенная, старинные шкафы которой, таинственные д притягательные, занимали отдельную комнату. В городе, сколько я себя помню, всегда была общественная библиотека, сначала частная — Слюсарева, потом К.Г.Грекова. Библиотеку эту впоследствии купил город, и она за 30 копеек в месяц давала все новинки журнальные и монографические.

В 1874 году была открыта женская прогимназия, в 1879 году — мужская. Обе затем преобразованные в гимназии. Наличие в городе этих учебных заведений играло, конечно, колоссальную

роль в его культурной жизни. Нужно, между прочим, отметить, что начальницей гимназии со дня ее основания и до 1918 года неизменно была Юлия Оттовна Эльснер, которую знал и уважал весь город. Да и вообще, «текучести кадров», как выражаются теперь, жизнь тогда не знала. Люди обыкновенно сидели на своих местах до смерти. Так было с учителями, врачами, духовенством и всем другим служилым людом.

В городе был окружной суд. Стоял на своих «постройках» драгунский кавалерийский полк. В уезде были имения Станкевичей, Черткова, Бибикова, Тевяшовых, Ржевских. Общество города жило отдельными кругами. Тон жизни задавался земской и городской верхушкой, судейскими, военными; они-то вместе с врачами, учителями и тремя-четырьмя купеческими семьями и составляли то «благородное собрание», которое летом блистало на его веранде, а зимою танцевало на своих балах.

Купечество было не сильное. Оно поглощалось массой интеллигенции и быстро вырождалось в служилое интеллигентное сословие. Городским головою много трехлетий был купец Петр Алексеевич Жалин. Улица, на которой он жил, и при нем, и после его смерти всеми звалась Жалинской. Он был крупным благотворителем и жертвователем на разные нужды города.

Кстати, один штрих. Купец Павел Дмитриевич Вавилов захотел привести в порядок то древнее Евангелие в Пятницкой церкви, о котором я упоминал выше. Оно требовало ремонта и соответствующего оформления. Так вот, Вавилов обратился в Московскую Археологическую комиссию за соответствующими эскизами и потом уже заказал художнику «серебрянопозлащенный оклад», который вышел чрезвычайно стильным с весом в 14 фунтов 42 золотника, и было это в 1891 году. А вот когда в Москве в 1914 году на университетском храме св. Татьяны появились крест и надпись «Свет Христов просвещает всех», совершенно искажающие стиль здания, устроитель не подумал тогда обратиться к Вавилову и спросить его совета, как делать эти дела. Умер Павел Дмитриевич в 1915 году, оставив городу под больницу на главной улице прекрасный дом с большой усадьбой.

До поездки в Москву в 1902 году я ничего не слышал и не знал о «бунтах» против царя и недовольстве существующим строем. Конечно, нам говорили о злодейском убийстве Александра II, но факт этот не получил своего истолкования и оставался отдельным поступком, всеми жестоко осуждавшимся.

Наряду с этим я отлично помню то впечатление, которое

произвела смерть Александра III. О болезни его печатались бюллетени, молились о его здоровье, тревожились о будущем страны, и вот отец, придя как-то из города и собрав всю семью, сказал, что умер царь. Это воспринялось как событие громадной важности и горя. Затем я помню коронацию Николая II, когда город бурлил и веселился несколько дней, зажигая по вечерам плошки. Дымили они и воняли чрезвычайно, но великолепие это иллюминации никогда не было превзойдено в моем представлении. Думаю, потому что живой огонек плошки сильнее действует на восприятие, чем электрические лампочки.

Наконец, я помню приезд в город дяди Николая II, великого князя Сергея Александровича. Встречали его колокольным звоном, жгли смоляные бочки и бегали за ним, как за диковинным зверем. А он, очень высокого роста, худой и стройный, шел пешком посреди улицы, окруженный толпою взрослых и детей, которых никто не гнал и от которых его никто не охранял. Этим я хочу сказать одно, что до японской кампании толща народная чужда была освободительных идей, и только после этой войны освободительное движение захватило массы и стремительно пошло вперед.

И, наконец, последнее. Чем и как закончил свой труд Склобовский. Он разослал «Летопись города Острогожска» по всем церквям города, переплетя ее вместе с листами чистой бумаги, а заключительные строки его труда гласили: «Нами намечены главные стадии, по которым совершались исторические судьбы нашего города с его главными учреждениями. Имея в виду дальнейшее течение религиозно-общественного развития и последующий ход исторических событий и фактов, мы вводим с этих пор при церквах города, в интересах истории и статистики, своевременные записи, имеющие составить собою, таким образом, непрерывное продолжение летописи, особенно последнее время приобретающее значение существенной, обязательно-восполняемой потребности».

Глава шестая. В ГИМНАЗИИ (1903–1905)

Итак, готовиться я стал с Мишей Марченко. Мы с ним учились вместе в приходской школе, а затем в уездном училище. Это был способный юноша, с большими знаниями, первый ученик седьмого класса, поднаторевший в давании уроков.

Начинать мне пришлось с азов. С особою трудностью, пока я не привык к нему, мне давался греческий язык. Через несколько месяцев я довольно свободно читал в подлиннике «Одиссею» Гомера. Ряд предметов, как то историю, Закон Божий, русский и славянский языки, географию, я прочитывал сам. Работать нужно было много, и я работал.

В августе следующего года я выдержал экзамен в седьмой класс. Длинный светлый коридор, пахнущий краской, со множеством выходящих в него дверей, такой всегда пугающий, торжественный и чужой, стал своим. Вся сознательная жизнь прошла в стремлении к этой минуте, и нужно было время, чтобы освоить это достижение.

Когда через несколько дней я вошел в класс, первым моим впечатлением была грубость нравов класса. В воздухе висела «извозчичья» терминология, шумели, бегали и дрались как малолетние. В классе было 23 ученика, сыновья служилой интеллигенции, торговцев, сельских священников. Много было приезжих, и эти жили на так называемых гимназических квартирах за 15–25 рублей в месяц на всем готовом, и там, обычно, рано осваивали табачок и водочку.

По уровню знаний и общего развития класс не был силен. Первый ученик, Моня Маршак, брат известного потом поэта Маршака, дальше рамок школьной учебы не шел. Поражала в классе «разрозненность». Сидели годами на одной парте, казалось, были друзьями, но общение ограничивалось классом и к дому не доходило. Не было никаких кружков. Всякий жил своей жизнью. Это было вовсе не то, чего я ожидал увидеть. По возрасту в классе я оказался самым старшим, по пережитому тоже. Никто, кроме меня, дальше Острогожска, ну, может быть, Воронежа, не бывал, а я мог рассказать о Москве. Кроме того, знания мои были свежи, я был хорошо подготовлен и, не пытаясь выйти в первые, сразу занял солидное место хорошего ученика. Кроме того, на письменном экзамене по алгебре я решил задачи двум «переэкзаменовщикам» своего класса. Это обеспечило мне хороший прием у моих товарищей.

Преподавательский состав в гимназии был очень хорош. По большей части это были люди немолодые, семейные, давно уже

жившие в Острогожске, с установившейся обшей и профессиональной репутацией. Те, что были моложе, были слабее, неустойчивее, иногда с явными человеческими слабостями, но все же и они стояли на большой высоте. Первым из учителей я назову Владимира Ивановича Теплых. Он преподавал нам латинский и греческий языки: первый пять раз в неделю, второй — шесть раз.

Учителя древних языков в нашей литературе привыкли изображать садистом, маньяком, в лучшем случае, чудаком. Владимир Иванович был умен, культурен, мягок, хотя и требователен. Он разбирался в каждом ученике и сделал свои уроки приемлемыми, а это для его предметов и переживаемого времени было уже необычайно много. Он нам импонировал своим щегольским костюмом, манерами, выдержкой, умением занять нас. А его чтения нам из древней жизни мы слушали с наслаждением, хотя он и уверял нас, что во время урока мы готовы слушать с одинаковым вниманием все, даже о «состоянии финансов в Абиссинии» лишь бы только он не вызывал нас к кафедре.

Был он одинок, много путешествовал, много читал, имел свою большую библиотеку. Жил всегда в больших квартирах и любил тишину до того, что в одном доме, где он занимал нижний этаж, он прислал всем живущим наверху мягкие туфли. О его частной, домашней жизни нам ничего не было известно, близко к себе он никого не подпускал, хотя в клубе он поигрывал в карты и кое у кого бывал. Это создавало вокруг него некоторую таинственность.

В гимназии его уважали и любили все. В младших классах он преподавал географию, и это были интереснейшие уроки. Умер он в 1918 году, ни в чем себе не изменив, оставаясь все таким же элегантным и внутренне, и внешне.

Следующий, Матвей Иванович Макаров, математик, рослый красавец с большой рыжей бородою и совершенно голым черепом, что, однако, его нисколько;не портило. Это был истинный джентльмен: вежливый, спокойный, никогда не повышающий голоса. В нем все было барственно. Это был врожденный штатский генерал. Он не довел нас до конца и был переведен в Киев директором реального училища. Уже студентом я был у него там — он цвел по-прежнему и так же был мил, барствен и обходителен.

Затем идут: чех — Метт Роберт Августович, лингвист, преподававший греческий, латинский и французский языки, педантичный, подтянутый, глубоко порядочный. Он дожил до глубокой старости и умер в 1925 году, всеми почитаемый.

Немец Вихман Густав Густавович, смешивший нас своими «отделанными переводами» с немецкого на русский и в этих целях как-то спросивший класс: «Как по-русски называется уткин муж?» Историк Кемарский, застенчивый, приятный человек, уже из молодых. Милославский, физик, «старый студент», рубаха-парень, неровный, вспыльчивый, но не злой, нет. Оба выпивали. Антонов, учитель русского языка, жевавший свою бороду, которого, не знаю, ЗА что, прозвали «Сапогом». Он был добродушен, прост, доступен, быть может, немного старомоден. И, наконец, отец Евгений Оболенский, с академическим значком, вылощенный, подстриженный, с «улыбочкою» и «вежливостью», чем-то неприятными. Он утерял всю непосредственность «старого батюшки» и ничего не приобрел взамен.

Что касается директора, Никодима Петровича Грекова, то он у нас в классе не преподавал, близко мы с ним в классе не соприкасались, а был он из поповских детей — простой, невздорный и неплохой. Звали его «Циклопом» за манеру щурить один глаз при проборке ученика.

Одноэтажное здание гимназии было уютно расположено частью в городском саду, частью внутри обширной, озелененной усадьбы. Классы выходили в светлый просторный коридор. Большой актовый зал с люстрою и портретами царей во весь рост был всегда торжествен и пустынен. Церковь, построенная П.А.Жалиным и выходившая тремя громадными дверями в коридор, представляла собою высокий зал с колоннами. Она была вся белая, спокойной архитектуры, с окнами в сад. Нас выстраивали рядами от алтаря с широким проходом посередине — малыши слева, старшие справа. Директор стоял за малышами, Теплых — за нами.

День в гимназии начинался общею молитвою в церкви. В воскресные и праздничные дни была вечерняя и утренняя службы, на которые мы собирались в мундирах. Пел гимназический хор, и пел всегда плохо, несмотря на то, что и голоса были, и учитель пения был штатный, а вот не выходило, тогда как в приходских церквях города пели чудесно. Гимназическая церковь считалась аристократической и посещалась высшим обществом города. Да и бывать в ней, действительно, было приятно. Здесь не было толпы, была полная тишина, служба была проста, трогательна и не длинна. Нас, гимназистов, редко когда проверяли в явке в церковь, а собиралось всегда много. Звонари, псаломщики, ктитор, прислуживавшие в церкви, — это все были гимназисты, что тоже создавало некоторый интерес: а ну, как это Лихоносов сегодня «Апостола» прочтет, как певчие споют, какой перезвон будет и т. д. У гимназисток не было своей церкви, и их изредка, в

«царские дни», приводили к нам, а это уже было целое событие.

Два года, проведенные мною в гимназии, я считаю лучшими в своей жизни. Дома была чудесная близость с матушкой и сестрами. Аня тоже была в гимназии, и ее подруги, Люба и мои товарищи составили дружный кружок молодежи, часто у нас собиравшийся. В обстановке дома с пустынными парадными комнатами и ютящейся жизнью в «угловой» произошла коренная перемена. Все комнаты стали обитаемыми, жить стали не для гостей, а для себя. Куплен был рояль, со стен гостиной исчезли олеографии с видами «святых мест» и высочайших особ. Появление гостя не требовало обязательного угощения и суеты. Часы дня были регламентированы. Словом, все, мешающее свободно и легко чувствовать себя дома, понемногу исчезало. Зависимость «от кого-то» ослабевала. И вместе с тем, дом оставался по-прежнему уютным, сверкающим чистотою и порядком. Так же везде горели лампады, так же готовились к праздникам и свершали весь круг церковной жизни, быть может, только слегка смягченный и более осмысленный. Кружок товарищей цвел молодостью, бурными надеждами и мечтами об «исключительном». На сегодня из шести человек кружка осталось в живых только двое: один из них Дмитрий Григорьевич Лихоносов, после большого взлета в своей жизни, доживает свой век в Доме престарелых ученых. Другой — пишущий эти строки. Не стало четырех. Не всех их мне жаль одинаково.

Нестеренко Сергей… Мы сидели с ним в восьмом классе за одной партой. В нем было что-то беспокойное, прыгающее. Он слишком много махал руками. Сама игра его на рояле не успокаивала, а скорее раздражала. И в университет он поехал не в Москву или Харьков, а в Неаполь, а почему в Неаполь — он и сам не мог сказать. Осенью 1918 года при «великом движении на юг» он застрял в Тихорецкой, больной сыпным тифом. Аня видела его там, «несчастного путника на большой дороге». Там он и скончался.

Василевский Генрих — поляк. Настоящий пан. Большой, толстый, с крупною красивой головой, умница, похабник, страстный охотник. Что с ним, где он? Пропал, пропал…

Лихобабенко Иван Максимович. Ну, с этим все было посложнее и остановлюсь я на нем подольше.

Герцен в «Былом и думах» пишет о своей дружбе с Ники Огаревым: «Я не знаю, почему дают какую-то монополию воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает разницу полов, что она страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее

характер. Та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности».

Вот и наша страстная дружба с Лихобабенко началась с первой встречи с ним. Жизнь моя в гимназии была полна им. Это был красивый хохол, мягкий и ленивый. Его одинаково влекло и к хорошему, и к дурному. Последнее в его жизни взяло верх. К концу второго года в гимназии мы с ним поразошлись, но интереса друг к другу не утеряли на многие годы. После окончания гимназии он поехал в Харьков на медицинский факультет. В университете он ничего не делал, в конце концов оставил его и в 1912 году приехал в Москву и поступил в Институт восточных языков. В это время он был женат на девушке из очень аристократического и состоятельного семейства. Конечно, из затеи с языками ничего не вышло. К весне жена его оставила, а он переселился в какие-то дрянные номера и не знал, что с собою делать. В это время я уже был два года врачом и работал в клинике. Вся жизнь этого человека, в конечном счете, ушла на карточную игру, водку и женщин. В 1919 году Лихобабенко погиб в Крыму.

Наконец, последний — Степан Долгополов. Об этом сердце болит больше всех… Милый Степан, честолюбивый, мужественный, он в войну 1914 года показал себя героем и, призванный прапорщиком запаса, получил капитана со всеми орденами до Георгия включительно. Он окончил Киевский Политехнический институт, рано женился на нашей же гимназистке, роман с которой начался еще в гимназии, и на всю жизнь один. Он был однолюб. Я знал его с детства. С толпою мальчишек, босоногих, загорелых, в широких соломенных шляпах ходил он мимо нас купаться. В пятом-шестом классе гимназии он имел кличку «Капитан» за стройную фигуру, строгий нрав и надменный характер. Из семьи социалистов-революционеров он не наследовал соответствующей клеточки и, не будучи «правым», не был «левым». После революции держал себя независимо, честно и мужественно. Занимал затем на Украине пост министра путей сообщения и был расстрелян в Одессе, задержавшись в ней. Много лет прошло с тех пор. Еще больше прошло их со времени нашей последней встречи, а образ Степана — светлый, чистый и гордый — жив.

В гимназические годы мы пережили Японскую войну. Осталась она в памяти манифестациями по городу, экстренными выпусками телеграмм, ужасом Цусимы, вагоном с иконами Куропаткина и, затем, успехом Витте в Портсмуте. Охватившее

потом всю страну «движение» коснулось и нашей гимназии. Чего она требовала — не помню, знаю только, что все осталось на своем месте. Разве вот Владимир Иванович Теплых подал заявление об уходе с места инспектора гимназии. «Я понял тогда, — говорил он Лихоносову и мне много лет спустя, — что мне не удержать вас от стихийного движения. Я впервые почувствовал в это время, что у меня заболело сердце».

Экзамены на аттестат зрелости, конечно, были и страшны, и трудны. Но в них была и своя прелесть. Все обычные дела и интересы отошли на задний план. Вся воля и желание направлены были к одной цели — выдержать. Каждый вечер небольшой группою гуляли мы по нашему чудесному кладбищу. В городской сад не шлось, там было слишком «рассеянно» и шумно для нашего сосредоточенного состояния. А на кладбище так чудесно сплеталось «все похоронено и все впереди». По-существу, это было наше последнее «вместе». Мы чувствовали и знали это, и не могли, радуясь, не грустить. С дипломами в руках класс собрался в последний раз на площадке городского сада, на полукружии скамей перед верандою клуба. Пошумел, пошутил и разошелся уже навсегда.

Глава седьмая. УНИВЕРСИТЕТ (1905–1911)

«Вступив в университет, я был поражен его страшною запустелостью.

Или вымысел, или ложь было все, что там и сям, в исторических или художественных воспоминаниях, записано об университетах прежние десятилетия их существования, или, действительно, университеты неимоверно пали с тех пор.

Они пали не в смысле людности, они пали в том главном смысле, что к ним не приносилось больше никакой жажды знания, и если на что-нибудь отвечали, то, во всяком случае, не на вопрос, не на любопытство ума».

В.В.Розанов

Обычно о годах университетской жизни пишут много, и пишут восторженно. В моей душе нет ни тепла к этим годам, ни даже грусти о них. Пусто. Они не порадовали меня ничем: ни дружбою, ни яркими встречами и впечатлениями, ни даже покойною академическою обстановкой работы. Жизнь моя шла помимо университета. Здесь были только учеба и сдача множества зачетов, коллоквиумов, экзаменов. Было много беспокойства, чтобы не упустить то или другое, записаться в ту или иную группу работы и притом успеть сделать это до какой-нибудь новой очередной забастовки в университете. К тому же, желания бастовать у меня лично никогда не было. Но я решил раз и навсегда для себя, что лишенный «чувства революционера», я не смею противиться массе: глас народа — глас Божий, поэтому лишь только я узнавал, что от и до в университет ходить нельзя, я и не ходил, а если срок бывал большой, то уезжал к себе домой в Острогожск. Все это вместе взятое — и политика в учебе, и учебная суета — сделали мне университет неприятным. И это чувство я перенес на товарищей по курсу и преподавательский персонал. За пять лет пребывания в университете все мои отношения с товарищами ограничились интересами аудитории, и за все пять лет я ни разу не подошел ни к одному профессору и не попытался завязывать каких-либо деловых отношений. Притом

я вовсе не был озлоблен. И прекрасно шел. Я ни разу не провалился ни на одном проверочном испытании и сумел окончить университет в неполные пять лет. Несомненно также и то, что на мое восприятие университета влияло и «студенческое бытие». Жизнь по дешевым комнатам, с обедами в студенческих столовых, а главное, одиночество студента-провинциала, без знакомых и близких в большом городе. К тому же я никогда ни в каких землячествах не состоял, пива не пил, в биллиард не играл, словом, у студента не было ничего студенческого. Это и было прярой причиной душевного разлада этих пяти лет.

Приехал я в Москву в августе 1905 года вместе с товарищем по гимназии Костей Маршевым. Остановились мы в Настасьинском переулке на прежней моей квартире. Там хозяйка хотя была и новая, кое-кто жил еще из старых, и встретили меня радушно. На медицинский факультет меня не приняли за его перегруженностью, а зачислили на какое-то отделение физико-математического факультета, мне предстояло хлопотать о переводе, что, по общему суждению, было безнадежно. Беда моя была в том, что я был Харьковского округа и хотя аттестат мой был хорош, тем не менее шансы мои, действительно, были малы. Однако на самом деле я лишний раз убедился, что нужно уметь хотеть, и что нет препятствий, которых нельзя было бы преодолеть. Через три недели я был переведен на медицинский факультет, не без труда, не без волнений, быть может, даже не без влияния личного от меня впечатления. Я до сих пор горжусь этой победою. Тогда же, счастливый, я уехал к А.М.Балашову на дачу и два дня бродил по осеннему чудесному лесу, собирая грибы.

А занятия в университете хотя официально и начались, но не шли. Политическая атмосфера была накалена. Все предвещало великую бурю. Семнадцатого октября на Театральной площади, тогда немощеной и пустой, проректор университета А.А.Мануйлов, грузный, большой и одноглазый, с трудом поднятый на бочку, возвещал о «конституции» и «созыве Государственной Думы», а спустя несколько дней состоялись грандиозные похороны первого выборного ректора университета, князя Сергея Николаевича Трубецкого. С раннего утра к приходу петербургского поезда собралась громадная толпа к вокзалу; провожала прах до университетской церкви; ожидала на улице окончания церковной службы, а затем направилась к Донскому кладбищу, где уже при факелах опускали гроб в могилу и произносили речи. Много лет спустя мне пришлось встречаться и разговаривать с племянницей Сергея Николаевича — графиней С.В.Олсуфьевой, и она сказала мне: «Для семьи Сергея Николаевича были полной неожиданности эти толпы народа и

превращение его похорон в демонстрацию. Семье это было крайне тяжело и неприятно». А мне, участнику похорон, пришлось слышать тогда передаваемое из уст в уста: «Семья покойного просит кроме "Вечной памяти" ничего не петь». Было ли у толпы, провожавшей Трубецкого, какое-нибудь представление о нем, как о философе и общественном деятеле? Конечно, ни малейшего. На сто тысяч человек, шедших за его гробом, читали его философские статьи, ну, сколько — 10–15 человек.

А почему же толпа шла? На расстоянии многих и многих лет и учитывая весь опыт жизни и наблюдения, я могу ответить на этот вопрос так: толпа шла, потому что в Москве все были сыты, за исключением забулдыг и пьяниц, и у всех было много свободного времени.

Толпа, шедшая в демонстрации, не была рабочей толпой обездоленных или безработных. Это была толпа любопытных обывателей и множества девиц, ищущих приключений.

Я наблюдал затем эту толпу на митингах в университете. Это была праздная толпа студентов и курсисток, потому что университеты и курсы были закрыты, и они не учились. Толпа разношерстных людей, ищущих, чем бы поживиться, чтобы развлечься, и на конец, толпа людей — типа статистов революции, которые и были дрожжами и вожаками того смутного времени, и часть которых том так метко назвал В.В.Розанов — «социал-сутенерами». И во всякий подходящий случай обертывался в то время демонстрацией, что особенно легко у некультурного и отсталого народа.

Другими, еще более грандиозными похоронами того времени были похороны Баумана. Ну, этот был уж вовсе без роду и племени. Накануне его похорон о нем никто и ничего не знал, и не слыхав. А хоронило его, по уверению тогдашней прессы, двести тысяч человек. Поди же, заслужи такие похороны и собери столько народу! За Достоевским шло… тысяч пять, за Менделеевым тысяча шла, за Лесковым не набралось и сотни, а за В.М.Дорошевичем шло шесть человек.

Митинги в университете в эти недели шли беспрерывно, с полдня и до полуночи ежедневно. Общие помещения университета были открыты для всех и переполнены толпами. Когда Москва погрузилась в темноту, было предложено участникам митингов являться со свечами, и я помню одну ночь, когда аудитории, дворы и коридоры университета покрылись движущимися, светящимися точками, что при гаме и шуме производило впечатление ночного карнавала.

Понятно, что ожидать занятий в университете уже не приходилось. Делать было нечего. Я бродил по городу и бывал

везде, где собирались толпы. Я хотел все видеть и хотя бы со стороны принять во всем участие. В квартире опасались за мою безопасность и уговаривали посиживать дома, но к такому равнодушию к происходящим событиям я был неспособен. Однако как ни бурны были события, как ни много было сходок, разговоров и пересудов, а жизнь с каждым днем становилась невыносимо скучной и пустой. Из дому меня гнал Костя табачным дымом. Книг не было, пойти было не к кому. Денег было в обрез на самое необходимое, заняться было нечем. Сообщение с домом было прервано. Ни почта, ни железная дорога не работали. Я начинал хандрить и впадать в тоску — состояние, мне вовсе не свойственное. Как-то утром, просматривая газету, я наткнулся на объявление: «Студенческий революционный красный крест призывает к материальной помощи». Я подумал, не нужен ли им работник, и пошел по адресу в университет. В «Кресте» была аптека, и меня сразу взяли в нее. На деле, правда, аптеки не оказалось, но необходимость в перевязочном материале, медикаментах и первой помощи была велика, и я взялся организовать это дело. С бумажкой революционного студенческого «Красного креста» и в сопровождении двух дружинников я обошел крупные московские аптекарские фирмы — Феррейна, Келлера, Вольта и кого еще, не помню, с просьбой снабдить «Крест» всем необходимым. И через несколько часов мы буквально были завалены всем, что просили. «Красный крест» входил как составная часть в революционный боевой студенческий штаб, который расположился в юридическом корпусе университета. Там и мне отвели маленькую аудиторию и наказали быть «наготове». Я ни с кем не был знаком, и никто меня не знал. Я пришел, и меня взяли. Присматривались день, стали считать «своим» и признали хозяином своей части, и записали фамилию.

А коридор шумел массою мужской молодежи, часть которой имела повязку на руке, носила оружие и являлась дружинниками. Что делала молодежь, какие были задачи штаба, я этого ничего не знал и не считал для себя возможным о чем-нибудь спрашивать. Я принимал участие своей долею, знал, что дальше не пойду, и на этой черте остановился. Не помню, сколько дней прошло — два-три — дела не было никакого. Обстановка «Запорожской сечи» была не по мне. Несомненно, часть «коридорного народу» была, что называется, «с бору по сосенке». Им нужно было провести время, выпить, подебоширить, ну, и поохотиться, быть может, за сильными впечатлениями. Одну ночь я остался дома, и наутро все вино в моей аптеке, присланное фирмами, оказалось выпитым.

Часть «дружинников» из гимназической и студенческой

молодежи, идеалистически и революционно настроенная, также ходила подавленная обстановкой, и мы все собрались уходить, когда нам сказали, что штаб переводится на Коровий брод в Техническое училище и будет произведена чистка переходящих туда. Последнюю ночь на Никитской во всем Юридическом корпусе оставался я с двумя дружинниками. Штаб переехал днем. Нас должны были перевести на утро.

Глубокой ночью сидели мы трое в узеньком проходе за студенческими местами в аудитории. Все огни были потушены. Горела лишь маленькая затемненная лампочка в нашем углу. На керосинке закипал чайник. Беседа шла шепотом. Чуть дремалось. С улицы доносился шум и рев, то стихавший, то нарастающий. Это толпа манифестантов проходила мимо. Вдруг полетели камни в наши окна, полетели стекла, и одновременно с улицы стали рваться в дверь нашего корпуса. Мы погасили свет и стали совещаться, что нам делать. Минута была страшная. Темнота и крепкая дверь спасли нас.

На Коровьем броду я пробыл неделю. Обстановка там оставалась прежней. Дела никакого, — и я в начале декабря уехал в Острогожск.

Как билось мое сердце при приближении к дому, как крепко любил я женскую часть нашей семьи! С братьями не было той интимной близости, что была с матушкой и сестрами. Луку я уважал, Федя был мил, а Гриша был еще мал. И опять я в своей гимназической комнате и в первую ночь не могу уснуть от счастья, уюта и тепла. Неделю я не хочу никого видеть и никуда идти. Мне хорошо только дома. Я рассказываю, что делается в мире, а мои слова дополняются газетами, описывающими декабрьское восстание в Москве, борьбу на Пресне, военное положение и последующие репрессии. Город полон тревожных слухов. Кто-то пустил версию о готовящемся у нас еврейском погроме, а в городе-то и евреев было не больше десятка — все старики, всем давно знакомые, свои и близкие. И все же как-то вечером трое от студентов, и я в том числе, направились к соборному протоиерею отцу Дмитрию Склобовскому с вопросом: «Как думаете вы предотвратить погром?» Маститый старик встретил нас просто и мудро. Слова его были скупы и значительны. Он больше слушал наши глупые речи, чем сам говорил. Нам стало стыдно и стало вдруг понятно — ну, какой там погром?! Уходя, мы невольно поклонились ему ниже, чем когда пришли.

Так и шла зима — в мышиной беготне — от двора к двору, от слуха к слуху. Мы никто ничего не делали. Мы все мало знали, мало учились, были невежественны и, увы, не сознавали этого,

разве в минуты просветления, и тогда решали — будем работать, будем заниматься. Но дальше «будем» это не шло. И окружающая нас среда тоже не знала культуры труда. Все жили поверхностно, служили, а не работали. Работал лишь мужик один, и он кормил нас всех, бездельников. И от этой беспутной жизни интеллигентского безделья и интеллигентского житья меня бросало в мою комнату, и отдышавшись в ней один, я опять присоединялся к «своим», ибо был кость от кости, плоть от плоти их.

Весною двери университета открылись, и до июля я оставался в Москве, работал в анатомическом театре на трупах. Было страшно, было зловонно. Черви в трупе копошились под скальпелем, а мысли — под черепной коробкой: зачем все это, если человек обречен быть падалью? Но скальпель двигался вперед, от одного органа к другому, а мысли цепенели в вопросе и горечи. Зато как радостно зазеленели поля по дороге домой и одно слово твердили колеса вагона: скоро, скоро, скоро…

Осенью в Москву поехала со мною и сестра Аня. Она поступила на женские курсы, основанные Герье. Поселились мы, конечно, вместе. Жизнь вдвоем была и веселее, и уютнее. Но заниматься было труднее. Уж очень короток тогда был академический год, думаю, иной раз, в зависимости от ранней Пасхи, — не больше пяти месяцев. В самом деле, как правило, лекции и практические занятия начинались не ранее 15 сентября. В начале декабря студенты начинали разъезжаться на Рождественские каникулы. В половине января занятия в полном объеме еще не начинались, а к Страстной неделе прекращались уже совсем. А неделя эта бывала нередко с двадцатых чисел марта. Вот и посчитайте. Кроме того, прибавьте масленицу и разные праздничные дни. Словом, весь строй русской жизни шел так, что заниматься было некогда, и одни лишь экзамены были уздою, которые держали хоть ненадолго, припадочно, у книги, у письменного стола.

Весною 1907 года я впервые побывал в Петербурге. Столица произвела внушительное впечатление. После матушки-Москвы, небогатой углами, но тароватой пирогами, поражала архитектура города, его просторы, перспективы и Нева с мостами. Шла сессия Второй Государственной Думы, Брат Степана Долгополова — Николай Саввич — был членом Думы и провел меня на заседание. Молодой наш парламент бурлил и кипел. Пуришкевич, светлый блондин в сюртуке, был в ажиотаже и в движении. Процедура заседания Думы, ее великолепное помещение, сама возможность существования этой народной высокой трибуны, такой еще новой и непривычной в жизни, — все кружило голову.

Я думаю, она кружилась и у большинства членов Думы, недаром эта Дума получила впоследствии название «Думы народного гнева». А при каком же гневе бывает ясная и спокойная голова?!

Лето прошло, как всегда, в Острогожске, в уюте семьи и дома. Из Петербурга я притащил с собою, как дань «за Думу», большой тюк нелегальной литературы для эсэровской организации города. В благодарность «организация» пригласила меня на свое конспиративное заседание. Идти мне не хотелось. Я держался в стороне от всех партийных группировок и не хотел себя ничем связывать. Но положение мое в маленьком городке, где все студенчество было или «эс-деками» или «эс-эрами» и мои ближайшие товарищи имели «партийные тайны», было трудным. Все наседали на меня и требовали участия в движении. Поэтому я решил пойти и испытать себя еще, не могу ли я сжиться с ними. Оказалось — не могу. Ни цели их, ни конечные стремления были неприемлемы мне. Не об этом шла речь. И когда я посмотрел «их» в закрытой винной лавке, где шла эта «конспирация», и послушал их речи на ужасном нашем местном воляпюке, с ужасным глубокомыслием произносимыми, я опять сказал себе: «Не могу!» Их узость, грызня с «эс-деками», а последних — с «эс-эрами», каноничность программы и требования партийного подчинения при явном их общем невысоком моральном уровне и низком общем развитии были не по мне. Мне скажут: «Да ведь это же низы: чего хотите вы от них?» Я верхов не встречал, и не с ними мне предстояло конспирировать. И почему, я думал, мне нужно связывать свою волю с какою-то чужою, которая, не знаю, чище ли моей. И почему служение народу и общему благу обязательно должно идти скопом, партией, сектой? Я понимал, что такое служение эффективнее, но также знал примеры служения и индивидуального. К этому времени я уже читал «Былое и думы» Герцена и понимал, что ни «эс-деком», ни «эс-эром» ни он, ни Огарев быть не могли. Я не был ни тем, ни другим, а все же не мог быть партийным. Это говорило лишь за то, что индивидуализм вовсе не есть привилегия крупных людей, но свойствен бывает и маленьким людям. Словом, с «этим» было покончено раз и навсегда.

Осенью мы сняли квартиру у Никитских ворот и поселились впятером — все острогожцы.

В Москве, где церковь Студита стоит,
Где ветхий дом попа дрожит
От звона колокольни старой.
Коммуна наша основалась…

У каждого была своя комната. Было взято пианино напрокат, и зиму мы прожили дружно и весело. В октябре приехала матушка к нам в гости, и это происшествие было необычайное и для нее, и для нас. В жизни она продолжала идти с нами. К этому времени она уверилась уже совершенно в том, что «ученые люди» — люди вовсе не плохие, не гордые и не страшные, и что жить с ними и по ним проще, человечнее, интереснее. Она поняла силу предрассудка в прежнем быту и с нами боролась с ним в нашем провинциальном болоте, оставаясь, однако, верна себе в одном — это в своей нерушимой вере в Бога и в церковь. А мы и не посягали на это. Мы могли быть равнодушны к церкви, но с Богом никто из нас не порывал, и она видела это. Если я иной раз и прикуривал ей папиросу от лампадки, она говорила: «Господи, не поставь ему это во грех!» Но: она знала, что при первой же возможности я свезу ее на ту или иную церковную службу и буду стоять за ней, пока она сама не устанет и не пожелает поехать домой.

С осени всю зиму я слушал курс русской истории, который читал по субботам от одиннадцати до часу В.О.Ключевский. Читал он в так называемой «Богословской» аудитории, самой большой в университете, где перед ним от девяти до одиннадцати читал богословие профессор Елеонский. Так как на Ключевского попадать было трудно, то народ собирался заранее и выходило так, словно переполненная аудитория слушала Елеонского. На самом же деле аудитория жила своей жизнью, да его и не слышно было; он сам, время от времени останавливая шум, говорил: «Не шумите! Я сам себя не слышу, а вы шумите». Но вот он кончал, и вся масса собравшихся провожала его аплодисментами. Он, бедный, не обижался. Придерживая на груди наперсный крест, он ласково раскланивался и медленно шел к выходу.

Василия Осиповича встречали овациями. Поблескивая очками, склонив голову набок, он терпеливо ожидал тишины, опершись одной рукой на кафедру. Был он небольшого роста, сухонький, седенький, с длинными жиденькими волосами с зачесом назад, с маленькой бородкой и усами. Глаза его, остро и пытливо, смотрели в себя и в толпу. Наступала мертвая тишина. Аудитория полудышала. Пауза. И тихим голосом начинался изумительный показ истории в лицах. Тут проходили «Тишайший» со своим собинным другом Патриархом Никоном, Петр I за пирушкою в Кронштадте, царь-девица Елизавета Петровна с Разумовским, матушка Екатерина… И каждый говорил своим языком и своею манерою; языком, конечно, своей эпохи, образным, выпуклым, живым. Это была неподражаемая передача того, чему, казалось, Василий Осипович сам был свидетелем. Это

была тончайшая игра ума, глубокого знания, проникновения в эпоху и, конечно, таланта, исключительного, самобытного таланта.

В начале декабря, как полагалось, все разъехались, а я остался держать экзамены на третий курс. Не выходя из пустой квартиры, с раннего утра до полуночи осваивал я курс нормальной анатомии.

Все отделы ее были уже пройдены за эти два года, а все же работа была колоссальная. Только свалив с плеч анатомию, поехал я домой, чтобы тут же после праздников вернуться обратно. А в феврале сестра Аня выходила замуж, и опять я поехал домой на свадьбу, но просидел в Козлове, в снежном заносе, восемь суток. На свадьбу запоздал и до сих пор жалею об этом. Уж очень мне хотелось быть участником счастливого события в семье, хотелось посмотреть, как выглядела эта свадьба теперь, после двух, бывших раньше. Ни на чем так не видно уровня семьи, как на значительных событиях в ней. Знаю только теперь уже, когда мы начинаем один за одним сходить в могилу, что время это было лучшим в нашей семье — все были молоды: старшему Луке было 32, все были здоровы, и все выходили на свою неплохую дорогу в жизнь.

Мужем Ани стал наш давний общий приятель Владимир Саввич Долгополое, старший брат Степана, гимназического моего товарища. Он только что окончил Лесной институт в Петербурге и собирался в научную экспедицию в Сибирь. В начале весны они и уехали туда с Аней. А мы с Лихоносовым уехали в мае за границу и пробыли там четыре с половиной месяца. Три месяца прожили под Берлином в немецкой семье, избегая русских, а потом с «круговым билетом» проехали по Южной Германии, послушали, как на Рейне немцы поют о «Лорелей и ее золотых волосах», побывали в Париже — замечательном городе, после которого я долго не мог пить русского виноградного вина и есть русского сыра. Посидели несколько дней в Зальцбурге, бродя в горах, слушая перезвон колоколен его многих церквей и перелистывая книгу посетителей в домике Моцарта, где он написал свою «Волшебную флейту». А затем Вена с ее Пратером, о котором так много читалось у Шницлера, и наконец опять Берлин, Варшава, а по дороге — мать городов русских Киев, до того меня пленивший, что я готов был менять Москву на него. А в Киеве милый Степан — рыцарь и герой, с которым мы провели день с утра до вечера и который, только целуясь на прощанье, шепнул мне: «А я ведь женился», — будто я не знал этого помимо него, и будто я не догадался, что уже жена его поила нас чаем, а не только наша общая знакомая, Зоя Ботвинкина. Такой он был.

Путешествие за границей, даже такое, как наше, без руководителя и без достаточной к нему подготовки, дает колоссально много. Дело не в том, чтобы обегать музеи десятка городов, которые мы проехали. Мы не готовились быть искусствоведами и не готовили монографий о Рубенсе или Ван Дейке. В конце концов музеи нам надоели, а вот побродить по паркам, проехать по Сене, посидеть у собора Парижской Богоматери или в Люксембургском саду всегда было и приятно, и давало представление о жизни страны. Под Берлином мы делали большие прогулки пешком, сиживали в пивных, бывали часами в лесу и в полях, и я до сих пор с особым удовольствием вспоминаю сумерки на лоне природы, вдали высокие черепичные крыши, звон к «Angelus'y» и багрово-красное закатное небо, как давалось оно на старых литографиях. Ну, скажут мне, за этим не надо было ездить за границу — закатов и своих довольно. Да, закатов, конечно, но только это не в стране, где межи обсажены фруктовыми деревьями, а деревья никто не ломает и плодов не рвет. Где каждый кусок земли любовно обработан, а труд человеческий ценится и уважается всеми. Где у дверей квартиры оставляется хлеб, молоко и продукты, и никто этого не крадет и не портит. Э-э, да что говорить, мне казалось тогда, что нам, русским, нужно еще тысячу лет, чтобы изменить наше внутреннее отношение, хотя бы к той же материальной культуре.

Зима 1908–1909 годов прошла в Москве обычным порядком. Только жили мы уже своей семьею, — Аня с мужем и я. С нами приехала в качестве ведущей хозяйство Мария Васильевна Диденкова, старинная приятельница матушки. Это была милая, умная и бывалая старуха, прекрасная белошвея. Я любил ее с детства. А вообще же считаю, что уюта в доме без старой женщины не может быть. Правда, бывает с ними трудновато, но зато уж по пословице: «Есть старый в доме — убил бы, нету старого в доме — купил бы».

В феврале Аня родила девочку. Назвали ее Ириной. К этому времени приехала к нам матушка, причем с нею вышел такой казус. Ехала она одна. На вокзале я должен был ее встретить. Там я ее не нашел и бросился домой. На углу Тверской и Малого Палашевского переулка, где мы тогда жили, я вдруг слышу крик: «Миша, Миша!» — и увидел матушку в толпе, сидящей со своими вещами на извозчике: оба неграмотные крутили здесь на перекрестке и не могли найти квартиры, и оба не знали, что делать им дальше. Я тут же взял матушку на руки и снес ее на третий этаж. А она, бедная, напуганная, все никак не могла прийти в себя и относила к молитве и чуду встречу со мною.

К Пасхе приехала к нам Люба, и я вспоминаю этот праздник,

первый вне Острогожска, тихим, мирным, без визитеров, без дворни и с массою цветущих гиацинтов. Звонили московские сорок сороков, светило яркое солнце. Окна были открыты. И сердце пело любовью, радостью весны и молодости. Скоро мы все разъехались. Матушка с Любой вернулись домой. Аня с Володею уехали в Дерюгино — имение великого князя Михаила Александровича, где Володя взял место лесничего. А я перебрался на Моховую, в студенческую комнату, додерживать свои очередные экзамены.

Каникулы мы провели вдвоем с матушкою. Люба гостила в Дерюгино. Вдвоем с матушкой, потому что к этому времени Лука с семьею, которая все увеличивалась, занял большой отцовский дом, а матушка, Люба и я переехали во флигель в три комнаты, построенные Лукою для себя тут же, на усадьбе. Флигель был уютен, с балконом и галереей. Население дома и флигеля встречалось за обедом в доме, а затем каждая семья жила своим порядком и своею жизнью. Это было очень удобно для матушки, которой трудно было уже вести хозяйство дома и очень устраивало нас с Любой в смысле большей интимности нашего жилища. Гриша и Федя поместились в комнате, где когда-то жил я с нянькой Пелагеей.

Грише в это время шел уже пятнадцатый год. Он учился в гимназии, играл на всех музыкальных инструментах и вырастал в юношу милого облика, без дурных задатков и наклонностей. Федя жил делами и интересами всей семьи. Свое «личное» развертывалось слабо. Он возился с детьми Луки, езживал в городской сад. Был членом купеческого клуба, хотя карты не брал в руки, и пользовался другими удовольствиями города.

Дворня дома оставалась, в основном, прежней, менялись второстепенные персонажи. Алексей Иванович, как и встарь, приходил к обеду. На его глазах росло уже третье поколение, но он не очень старился и все так же был быстр в движениях, расплачиваясь за это шишками на лбу.

Учебный год я начал один, в комнатушке на Плющихе, поближе к клиникам, где шла вся работа. Аня приехала с Ириною и няней много позже и остановилась в номерах Фальцфейна на Тверской. А на Рождественские каникулы мы вместе с ней уехали в Дерюгино. Мне, городскому жителю, все здесь было ново и занимательно. На маленькой, запушенной снегом станции, встретила нас тройка лошадей и широкой лесною просекой домчала к дому дерюгинского лесничего. Обширный дом стоял в глубине усадьбы. В доме было одиннадцать комнат. Он был хорошо меблирован, содержался в порядке, и было в нем тепло и обжито. Старик лакей — Егорыч, переходящий от лесничего к

лесничему вместе с домом, был мастер на все руки: и по хозяйству, и по деревенским удовольствиям. Он никогда не выезжал в город и стал частью деревенской природы. Охотился, удил рыбу, ставил силки, коптил окорока ветчины и был занимательным рассказчиком, не без юмора и «охотничьей правды». В распоряжении лесничего была четверка лошадей, оранжерея, большой огород, коровы, свиньи, разная птица. Если к этому прибавить, что в доме никто не скучал, все были заняты своим делом, а Ирина росла голубоглазой, чрезвычайно милой девочкой, то станет совершенно ясно, как хорошо и по-новому пожилось мне там. К Рождеству я уехал в Острогожск, повидал матушку, устроил традиционный студенческий концерт в пользу бедных студентов и в половине января вернулся в Москву, уже на девятый семестр.

Большую часть лета 1910 года мы с матушкой прожили в Дерюгино, и окончилось наше гостевание там очень печально. Одиннадцатого июля в полдень я лежал в гамаке с книгою. День был чудесный. Матушка, Аня, маленькая Ирина и ее няня Аксинья, вывезенная из Острогожска, бывшая наша горничная, что-то шили на террасе. Вдруг тревожным крик оттуда: «Миша, Миша, иди скорее!» Я нашел всех женщин в панике, а Ирину — побелевшую и сникшую — лежащей на руках Ани. У уголков рта Ирины тоненькой струйкой сочилась сукровица. Вышло так, что Ирине нужно было дать микстуру. Аня, которая никому этого обычно не доверяла, занятая на этот раз шитьем, попросила Аксюшу дать ей лекарство. Аксюша налила чайную ложку из пузырька, стоявшего на окне в столовой, и дала Ирине. В пузырьке оказалась карболовая кислота, которую кто-то из сотрудников Володи выписал себе накануне и оставил здесь. Пузырьки и цвет микстуры и карболки были одинаковы, что и спутало Аксюшу. Пока привезли врача, я сумел ввести зонд и промыть желудок. Шла вода с кровью и массою слизи и хлопьев слизистой желудка. Девочка, вначале бывшая в полузабытьи и молчавшая, стала громко стонать, не открывая глаз.

Врач, милейшая Александра Павловна, любившая Ирину, сама мать, не только не дала помощи своим приездом, но своим испугом женщины и матери еще больше внесла ужаса и неуверенности в том, все ли возможное сделано. А девочка жестоко страдала. Стоны ее, то усиливавшиеся, то ослабевавшие, неслись беспрерывно. Становилось то легче, то хуже. Появилась маленькая надежда. Аня не вставала с колен от изголовья Ирины; то надеялась вместе с нами, то теряла надежду. И как ни страшны были стоны девочки, они еще говорили о жизни. Но умолкала она, и еще страшнее становилось молчание. Среди ночи я пошел в

соседнюю комнату чуть прилечь и сейчас же забылся. И тут же увидел сон: чудесная музыка, какой-то веселый, очаровательный бал, несутся молодые красивые пары, и все так легко, беззаботно, изумительно. И опять: «Миша, Миша, скорее, Ирине плохо!»

Пятнадцать часов неслись стоны несчастной девочки. Наконец, все тише, тише, появились паузы, начало клокотать в горле, и вдруг все затихло. Ручки и ножки такой очаровательной формы вытянулись, маленькое тельце затрепетало, и все кончилось. Наступила такая тишина, что слышно было шуршание крови в ушах. Сколько прошло так, не знаю. Аня поднялась, поцеловала ручки и ножки Ирины, и пошла из комнаты.

Мы вышли в цветник. Начинался новый день в мире. Солнце только что всходило. Была изумительная тишина еще не проснувшейся природы. Благоухали цветы. На песке виднелись следы маленьких ножек Ирины и ее колясочки. Мы сели на ступеньках террасы. Аня рыдала. Я прижимал ее к себе и говорил о «страшном» мире, о людском горе, напоминал ей о потерях у знакомых нам и близких, о том, что она ждет ребенка, еще и ради него должна превозмочь свое страшное горе. И дальше, дальше, не знаю еще что.

Володя был в командировке, и мы не знали точно, где. Начались поиски его по телеграфу. В дом Аня не входила, и мы провели с ней день в лесу. С наступлением темноты мы вернулись, но прошли в другую половину дома, не заходя к Ирине. Так прошли второй, третий, четвертый, пятый дни. Сведений об отце не было. Мы с Аней жили в лесу. Стояли жаркие, душные дни. Тело Ирины в закрытой наглухо комнате, замороженное и засыпанное хвоей, начало покрываться пятнами и разлагаться. После одной ночи, войдя к ней, я ужаснулся, найдя страшную перемену, и решил немедленно положить трупик в гроб.

На седьмой день приехал отец. Девочку отпели, гроб закрыли. После этого вошла Аня в комнату, и стало словно немножко полегче. Гроб поставили в цинковый, этот поставили еще в деревянный ящик и на следующий день отправили железной дорогой в Острогожск. Через несколько дней разъехались и мы все в разные стороны. Мы с матушкой к себе, Аня с Володей на юг. Недели через две Аня приехала к нам. Ей было всюду тяжело. Она не находила себе места и с трудом переносила людей. Тянула к себе могила Ирины. И вот мы, опустив шторы, разговаривая вполголоса, выезжая за город и никого не принимая, заживляли потихоньку ее рану.

Душа кровоточила у всех. Виновных не было, и все были виноваты. Аксюша в утро смерти Ирины пыталась покончить с

собою. Ее успокоили и отправили тут же домой. Больше мы никогда ее не видели. В жизни есть такой конец, к которому ведут все предшествующие события. Логическая нелепость тем страшна, что она логична и нелепа. В большом доме с массой прислуги и близких людей одна маленькая девочка, самое дорогое и в доме, и в жизни. Все заботы и внимание принадлежат ей, и протягивается любящая рука и дает ей яд из склянки, случайно кем-то поставленной и одинаковой по виду и цвету с лекарством. Судьба, судьба!

Аня оставалась еще в Осторогожске, когда я уехал в Москву. Дни мои в университете были на исходе. Десятый семестр, предстоящий мне, по существу превращался уже в сессию выпускных государственных экзаменов. Предстояло свалить с плеч громадную работу. К Покрову, сдав два больших экзамена, я решил передохнуть дома дней десять. По невылазной грязи, в дождь, уже не по улице, а по тротуарам, вез меня извозчик домой часов в девять вечера. Матушка меня не ждала, и как дрогнул ее голос, когда она услышала мой. А я чувствовал себя счастливым маленьким мальчиком, когда после ужина и чая и длинных разговоров лег спать у нее в комнате, при свете ее неугасимой лампады. Долго не мог я заснуть. Слышалось тихое дыхание матушки.

Окончание университета было не за горами. Куда-то нужно было ехать после и начинать свою самостоятельную жизнь. Мы не мыслили с матушкой жить раздельно. К нам примыкала и Люба. Но корни сердца матери были глубоко зарыты в Острогожске, и пересаживать ее на новую почву, и неизвестно еще какую, было для нее больно и трудно.

А огонек ее жизни едва теплился. Уже много лет она была тяжелой сердечной больной, давая время от времени такие сердечные припадки, что всякий раз в доме все замирало и ожидало конца. И чем слабее становилась она, тем просветленнее и чище становилась ее душа, что, в свою очередь, отражалось на выражении ее лица, в последние годы предельно мягком и ласковом. Она, несомненно, была счастливым человеком, и она знала это. Она в своей ежедневной молитве ничего не просила себе у Бога, она лишь благодарила Его. Вся семья относилась к ней с исключительным вниманием и любовью. С нами тремя она была ближе, но это не исключало ее большой привязанности и к братьям, и к замужним сестрам, особенно к Оле, которую она не только любила, но и уважала за ее страдание, ум, ласку, за ее чудесных подрастающих детей.

Скоро я опять в Москве, в своей одинокой комнатушке, держу экзамены и в это время чудесно встречаюсь с Лидией

Кирилловной Грековой. Она когда-то готовила меня к экзаменам в уездное училище. Сама она тогда только что окончила институт и была так красива и женственна, что ее образ был незабываем. Она сделала блестящую партию потом, выйдя замуж за очень богатого человека. Весь город был в церкви на ее венчании. А затем были слухи о полном их разорении, и вот встреча с нею в Москве. Она так была мила и ласкова ко мне, как в детстве, но красива по-новому. А я был рад ей, как детской мечте, принявшей реальный образ. И в эти суровые рабочие дни встреча с нею и часы, проведенные у нее и в театре с ними, были мне очень отрадны.

Шестого декабря у Анюшки родилась дочь. Назвали ее опять Ириной. А к 18 декабря главные предметы были мною уже сданы, и я поехал к себе домой. Это были мои последние каникулы, но складывались они очень грустно. Матушка чувствовала себя очень слабой. Люба переживала личную драму, отказав своему жениху, не без борьбы с собою и нами. У Гриши не ладилось ученье в гимназии. У Марии Васильевны Диденковой произошло кровоизлияние в мозг, а в общем, со всех углов ползла какая-то тоска, и было не по себе, и наша уютная, налаженная жизнь вдруг чем-то внешне и внутренне разладилась.

Четвертого января с утра я был в клубе, чтобы присмотреть, как готовят зал к студенческому вечеру. Выйдя на Воронежскую улицу, я увидел бедную похоронную процессию, екнуло сердце. Я подошел и узнал, что хоронят Марию Васильевну. Матушку я застал в гостиной на диване. Конечно, ничего не сказал ей. У нее была небольшая температура, и она охотно говорила о прошлом, какие носили костюмы, что и как танцевали. Любе к вечеру было приготовлено новое платье, и она внимательно его осмотрела и сделала свои замечания.

День шел, как всегда. Я почитал вслух ей «Соборян» Лескова, а к вечеру пришла Оля, и мы отправились в концерт. Такой тоски, какая была в этот вечер, я не помню. Все обертывалось тоскою не только для меня. Люба и Оля переживали то же самое. Оля ночевала у нас. Матушка, когда мы пришли, была уже в постели, чувствовала себя неплохо и успела немного заснуть. Ранним утром Оля спешила к себе домой, и матушка рассказала ей сон: «Пришел дедушка Матвей Михайлович, походил, посмотрел и говорит: "Собирайся-ка, Катя, со мною, пора". Тут я и проснулась». Часов в девять матушка вошла ко мне в комнату, как всегда, с чулком в руках. Села неподалеку, расспросила у меня, как было в концерте, а затем несмело стала уговаривать меня остаться на Крещение, «чтобы в такой большой праздник не быть в дороге». «Да ведь нельзя мне, — ответил я, — экзамены, готовиться

нужно». И вдруг услышал падение, глубокий вздох. Матушка лежала на полу. Пульса я не мог найти, и она не дышала. Все было кончено.

Мы подняли ее, положили на постель. Свисали руки, сердце не билось. Сомнения не было. Послали за нашим врачом Николаем Николаевичем Гиацинтовым, за сестрами, известили большой дом. «Старая хозяйка умерла», — пронеслось молнией. Николай Николаевич, наблюдавший матушку лет пятнадцать, был сражен не меньше нас. Осмотрел он ее, послушал и молча отошел со своей трубочкой. А в это время передняя, галерея уже оказались забитыми людьми, и дом, за полчаса до этого такой тихий, наполнился шумом, плачем и гамом. Я вышел и попросил всех удалиться. Двери подъезда закрыли. Сестры сделали последний туалет матушке. В гостиной раскрыли большой стол и накрыли его белыми простынями, простынями же закрыли зеркала, но переносить матушку с ее постели на смертное ложе мы медлили. Здесь, в своей постели, она еще была «своя». Это еще не была смерть, это был сон, и мы хотели продлить его. Конечно, в нашем сознании, в нашем «вдруг», в нашем смятении: ведь минуту назад сердце ее было согрето любовью, а сейчас… не может быть! Надо ущипнуть себя, встряхнуться, отогнать это злое видение.

Был канун Крещения. С утра началась снежная метель. Все пути и дороги были засыпаны. Приезжавшее служить панихиды духовенство пробиралось с трудом. Из церкви доставили подсвечники и зажгли большие восковые свечи. У изголовья монашенки непрерывно читали «Псалтирь». Когда случился ужас с Ириною, мы закрыли двери в комнату, где лежала она, и никто не остался при ней и на ночь. Для матушки это было непривычно. Простой народ не отходит от своих умерших, пока не погребут. И, помню, она с грустью сказала: «Вот умру, и оставите вы меня одну. Как мне тяжко думать об этом». Ни в этот день и ночь, ни на следующие сутки я не отошел от нее. Да и кроме меня, были сестры, была, наконец, «меньшая братия», ютившаяся около нее. Ночью под седьмое приехал Лихоносов. Принесли дубовый полированный гроб. Под утро, когда еще было темно, собралась вся семья, и положили матушку в гроб.

К девяти часам толпа народу собралась у наших ворот. Приехало духовенство, певчие, принесли хоругви. После последней панихиды начался вынос. С колоколен понесся похоронный перезвон. Процессия тронулась в путь. Гроб несли на руках. Громадная церковь была полна народу. После службы, тем же порядком, тронулись к кладбищу. Я не ел и не спал трое суток. Голова была предельно ясна. Я не сводил глаз с дорогого лица и с

ужасом думал о том, что скоро навеки оно скроется. И вот кладбище, расчищенная дорога к нашему месту, могилы отца, деда, Ирины, открытый склеп матери. Последнее целование, крышка закрылась. Гроб, медленно покачиваясь, опустился в склеп. Толпа разошлась. Остались каменщики и несколько человек нас. Погода прояснилась. Каменщики закладывали склеп. Последний кирпич. Не видно стало и гроба.

В большом доме шли поминки. Нищих и бедных оделяли на дворе деньгами и белым хлебом с медом. Двор был полон людей и экипажей. У нас во флигеле, по обычаю, уже вымыли полы, все вещи заняли свое место. Монашенки ушли, в комнате матушки горела ее неугасимая лампада, и все было так, ровно ничего не случилось. Тикали часы, лежали ее очки, стояла корзинка с ее клубками и нескончаемой работой. У основания указательного пальца ее правой руки так и осталась на коже бороздка, по которой тянулась нескончаемая нить ее вязаний. Мы сели у нее в комнате, на ее низеньком диване и креслах — четыре-пять человек, близких ей и нам с Любою. Темнело. Огня не зажигали, о чем-то тихо переговаривались. Душа сочилась и ныла живой кровоточащей раной. Уже не плакалось. Я задремал и тут же, вздрогнув, пришел в себя. В ушах звенело чтение монахинь с постоянным повторением: «Упокой, Господи, новопреставленную рабу твою, Екатерину».

Это было 7 января. На следующий день вечером я выехал в Москву с Лихоносовым, который не хотел оставлять меня одного. Одиннадцатого числа я выдержал экзамен по физиологии. Я двигался, делал свое дело, готовился к экзаменам и держал их; встречался со многими людьми и разговаривал с ними, и никто не догадывался, что я болен. А я действительно был болен, не физически, а болен душевно. И один Лихоносов во всей Москве, живой свидетель моих отношений с матушкой, знал это.

Двенадцатого февраля были закончены экзамены, а 14 февраля был сороковой день по смерти матушки. И снится мне под утро сон. Я в своей давней детской комнате сижу у стола лицом к окнам и вижу, как идет маститая фигура отца дьякона Гавриила Павловича с посохом в руке. Идет медленно, как всегда. Проходит первое окно, останавливается у второго с форточкой, стучит в стекло и говорит в форточку: «Пора идти, вставай!» Я тут же просыпаюсь и слышу первый удар колокола у церкви Благовещения, что на Бережках, куда я должен был пойти.

Через несколько дней после этого мы уехали с Лихоносовым в Петербург. Прожил я там месяц. Мне предстояло отбыть вольноопределяющимся один год воинской повинности. Мне очень хотелось проделать это на флоте. У меня было письмо к

известному дворцовому коменданту Воейкову с обязывающей его просьбой устроить меня по моему желанию. У Воейкова я побывал, мне нужно было передать ему это письмо но от возможного его содействия я, поблагодарив его, отказался. Он был удивлен и проводил меня менее любезно, чем встретил. У меня же в то время было настроение, близкое к пессимистической философии Екклесиаста: «Все суета, суета сует и всяческая суета»; «Не стоит ни о чем хлопотать, как будет, так и будет, пускай идет, как идет».

Это было вызвано не только смертью матушки, но и смертью Льва Толстого, о которой я не упомянул в свое время, и которая произвела на меня, как и на всю Россию, потрясающее впечатление. Его уход из Ясной Поляны 28 октября 1910 года, болезнь и смерть в Астапове 7 ноября, эти трагические последние десять дней на земле великого Льва оставили глубокий след в моей душе. Это не умирающее в нем с годами стремление к личному самоусовершенствованию заражало и обязывало.

Словом, к главному санитарному инспектору флота, доктору А.Ю.Зуеву, я пошел со своим желанием, не подкрепленным никем и ничем. Был очень ласково принят, что выгодно его отличало от сухопутного начальства того же ранга, но зачисления на флот не получил. Меня обещали иметь ввиду, а пока предложили оставить свое заявление. Горько мне это было. Но я помирился с назначением меня в город Проскуров, в 46-й пехотный Днепровский полк младшим полковым лекарем. Сшил себе в Петербурге военную форму у лучшего портного и отправился в Дерюгино, к Ане.

Однако прежде, чем оставить совсем Петербург, я хочу еще рассказать о том, как мы с Лихоносовым побывали на заседании Государственного Совета. Помещался он, как известно, в великолепном Мариинском дворце, построенном Николаем I для своей дочери Марии Николаевны. Пропуск на заседание мы получили очень легко у коменданта дворца, какого-то генерала, причем он был так любезен, не забыл о нас, и в день заседания справился, пришли ли мы и удобно ли сидим.

Небольшая зала заседаний с креслами для членов Совета была внушительно оформлена. Поражали места президиума обширностью и сложностью своего размещения. За креслами президиума висело огромное полотно Репина, повторяющее в картине картину зала. Перед началом заседания ливрейные лакеи в туфлях с пряжками курили по залу благовониями. Наконец, стали собираться члены Совета в шитых золотом мундирах, многие в белых панталонах. Некоторые из членов Совета были так стары, что по два лакея подводили их к местам, и они, сидя в

креслах, как китайские болванчики кивали головами.

Здесь мы увидели А.Ф.Кони, тоже старого, идущего с трудом, с палкою, с крупной, квадратной, но умною головою; графа С.Ю.Витте. У него болели зубы, он был в «кислом» виде и держался за щеку. А что у него болели зубы, об этом прошел шепот по залу. Видели громадного и толстого Максима Максимовича Ковалевского… Да что перечислять? «Имен» была целая плеяда.

Заседание предстояло бурное. Председатель Совета министров П.А.Столыпин должен был дать объяснение Совету о проведении им ряда законов без санкции законодательных палат, и потому зал заседаний был полон. Председательствовал граф Сольц. Деталей заседания, я, конечно, не помню. Но выступления Витте, Столыпина, Тян-Шанского доставили большое культурное удовольствие. Это был триумф ума и глубокой культуры. Были ли они свойственны всему Государственному Совету, судить не берусь, но знаю одно: вышел я из залы заседаний с одним чувством: «Учиться, учиться и учиться».

В Дерюгино в это время гостила Люба. Маленькой Ирине второй шел уже пятый месяц. Пережитые нами за последний год потрясения лежали еще свежими следами в наших сердцах и нашей памяти. К этому времени относится фотография нас троих, снятая ранней весною на террасе дерюгинского дома. Я посредине, в военной форме, которую привыкал тогда носить. Аня слева от меня, в матушкином пальто, которое ей привезла Люба, и Люба в Аниной ротонде. Они обе склонились на плечи ко мне, мы все еще сиротливо и брошенно чувствовали себя и находили опору и поддержку друг у друга. Видна усталость, некоторая надломленность. На лице Ани следы пережитых страданий.

После Пасхи мы поехали с Любой в Острогожск. Нам предстояло там уложить и отправить наши вещи, так как нами было решено, что Люба не останется с братьями, а поедет со мной. Мы в последний раз приехали к себе, в родительский дом. Наши комнаты оставались нетронутыми. В комнате матушки, перед ее образами, продолжала гореть лампада. Нам предстояло потушить ее и разрушить наше жилище, которое к тому же переставало быть нашим, или, по крайней мере, моим. Дело в том, что получив согласие Луки на продолжение образования, я дал обещание отказаться после окончания университета от своих прав на наследство и, приехав теперь, выполнил свое обещание, побывал у нотариуса и был уже дома гостем, а не хозяином. Нити рвались одна за другой.

Ни мне, ни Любе не хотелось задерживаться долго. К тому же

мне пора было уже являться в полк. Вещи собраны, уложены в ящики, частью отправлены в Проскуров, частью оставлены на месте, в том числе моя библиотека и мой архив, собираемые мною с раннего детства. Мы идем с Любой и Олей, близкой и милой нам всегда, на кладбище, служим у родительских могил панихиду и теплым майским вечером покидаем Острогожск. Люба возвращается к Ане, я еду к месту службы. На какой-то станции мы разъезжаемся с Любой в разные стороны; трогаются поезда, один момент мелькнуло ее лицо и скрылось. Начиналась новая жизнь.

Глава восьмая. ПРОСКУРОВ (1911–1912)

В Проскуров приехал я утром. Тут же на вокзале взял меня под опеку рыжий молодой еврей. Он захватил мои вещи, повел к извозчику, сел на козлы и повез меня в гостиницу. Здесь он нанял мне номер и начал было раскладывать мои вещи, разговаривая при этом без умолку и предлагая напрокат квартиру, обстановку, женщину на ночь. Снести это долго было нельзя, и я попросил его уйти.

В полку я нашел одного штабс-капитана, оставленного с дежурной ротой для охраны территории полка. Полк же был в лагерях в Меджибоже. Капитан был ленив, добродушен и ласков. Он, по-видимому, наслаждался покоем и отсутствием начальства. В одежде был заметен некоторый беспорядок и «неглиже». Манжеты, хорошо видные из-под коротких рукавов летнего кителя, были разного цвета. По его совету я в этот же день уехал в лагеря. От станции железной дороги до Меджибожа было несколько верст пыльным, неблагоустроенным шоссе. Извозчик, веселый и добродушный, на козлах с собою имел мальчика лет восьми, жестоко страдающего приступами коклюша.

> «Зачем же вы возите его с собою, ведь он болен? А дорога так пыльна».
> «Затем, — ответил он мне, — что доктор предписал ему перемену места».

В лагере я прежде всего явился к старшему полковому врачу А.А.Щенникову. Это был уже немолодой человек, полный, румяный, мягкий. Его девизом было: «Пей пивечко, оно здоровечко». И он с утра ежедневно начинал выполнять свою программу. Вторым врачом был маленький, худенький и злобный человечек из южан, всеми, по его словам, обижаемый и обходимый. Работы у них обоих не было почти никакой, или они сделали так, что ее не было. Чем занимался Щенников, я не знаю, должно быть, он отписывался у себя в канцелярии. А вот его помощник принимал в «околотке» — грязном, запущенном, без кабинета для врача. Не одевая халата и не снимая фуражки, он стоял у стола, а в затылок перед ним шли солдаты. Он их бегло спрашивал, никого не раздевал и тут же передавал в руки фельдшеров. Последние же творили над ними «суд и расправу». Кому ставили банки, кому что-то смазывали йодом, кому давали касторку, больше в наказание за явку в околоток, чем по

требованию болезни. Один из фельдшеров делал отметки в тетради, которую приносили с собою от каждой роты солдаты. Через полчаса прием восьмидесяти человек врачом был закончен. Оставалось обойти лежащих больных тут же, при околотке, что заняло еще меньше времени. На этом, по существу, рабочий день врача закончился, т. е. его могли вызвать в полк в экстренных случаях или вызвать на дом к кому-либо из командного состава. Он должен был попробовать пищу, что делал обычно по дороге домой из околотка. Но все это были уже «исключения», и надо сказать, не частые.

И при такой загруженности работою, при полном отсутствии интереса к ней, настроение у товарища было «бодливое». Он негодовал на всех и вся, кроме себя. Это была хроническая обида, выслушивать которую было скучно и неприятно. Надо сказать, что уважения к «врачу» в полку не было, и это отношение стало традицией. И оно поддерживалось и законом, который трактовал врача как более низкую единицу в полку, по сравнению со строевым уставом, и кадрами самих военных полковых врачей. В Проскурове их было человек пятнадцать-шестнадцать, разного ранга и положения.

Но в случаях, требующих действительной врачебной помощи, как хирургической, так и терапевтической — переломы, вывихи, воспаление легких — все направлялось в киевский военный госпиталь. Даже страшно подумать об этом. Из шестнадцати человек военных врачей никто не умел вправить вывих. Сравнить только это положение с положением и работою любого земского врача. Последний, будучи тоже третьим элементом в земстве, однако, пользовался уважением и заставил себя признать. А военного врача уважать было не за что, и его не уважали. И «пас он заднюю». И свел он свою роль к «прислуживанию» и зависел во всем от милостей и расположения к нему большого и малого строевого начальства.

В лагере меня задержали неделю или полторы, а затем отправили обратно в Проскуров на работу в сводный лазарет, при 12-м уланском Белогородском кавалерийском его Императорского величества Франца Иосифа полку.

Надо прямо сказать, что вся обстановка жизни и работы, куда я попал, как-то унижали меня в моих собственных глазах. Начать с того, что одев форму и отвечая за свое «военное поведение», я не знал различий чинов с их звездочками и полосочками. Не был ознакомлен ни с каким военным уставом и нормами моего поведения. Я шел ощупью, присматриваясь и расспрашивая. И надо отдать справедливость военному начальству, оно не придиралось, и благодушно относилось к промахам, и было в

этом отношении шире и терпимее, чем начальство медицинское, недаром о нем говорили: «Нет хуже сволочей, чем начальство из врачей». Затем принижала меня обстановка работы. Надо сказать, что кроме клиник и клинического приема я ничего другого не видел. И вдруг «околоток». Одно звучание этого слова было мне ненавистно. Я старался облагородить и учреждение, и работу, сколько мог, своим отношением к работе и требованиями к вспомогательному персоналу. А все же «околоток» оставался околотком.

И наконец, третье, что лишало меня сознания человеческого достоинства — это полная зависимость от начальства в назначении для меня места жительства и работы. Я раньше даже не представлял себе такой кабалы. Ну, мне нужно отбыть год воинской повинности. Я назначен приказом по армии в Проскуров. С этим я мирюсь. И жизнь свою на год рассчитываю в нем. И вдруг, пожалуйте, шахматная доска так велика, а ходов в размещении пешек так много, что вы не уверены в завтрашнем дне, где будете. Это было мне невыносимо в двух направлениях. Прежде всего я сам по природе человек оседлый. А во-вторых, что было самое важное для меня тогда, это положение Любы со мною. Завозить ее совсем в какую-то глушь, жить с ней на бивуаках в номере гостиницы или ютиться в комнатушке «при собрании» было для меня неприемлемо. Я чувствовал себя обязанным по отношению к ней и не хотел и не мог ставить ее в неблагоприятные для нее положения.

Ну, словом, я возвращаюсь в Проскуров, селюсь пока что в пустом собрании Днепровского полка, осваиваю работу в лазарете и подыскиваю квартиру. В лагере ко мне приставили «дядьку» — смирного и унылого денщика Карпа. Я его продержал у себя до приезда Любы, а затем отпустил и больше денщика не брал. Карп мне писал такие донесения: «У Карпа голова болит, Карп в сарае лежит, отдыхает». А мне было невыносимо наблюдать, как этот человек целыми днями ничего не делал и изнывал от безделья. И делать ему у меня нечего было. А дома у него, должно быть, была семья, и дела было непочатый край.

Территория уланского полка лежала дальше за территорией пехотного. Она была лучше обстроена, наряднее, лучше озеленена. Не могу не вспомнить первого своего визита туда. Я должен был найти старшего врача и опять представиться ему. По дороге к лазарету на крыльце полкового собрания я увидел рослую представительную фигуру «в серебряном приборе», в пенсне. Мне показалось, что это должен быть обязательно старший врач. Я подошел к нему, взял под козырек и спросил, не тот ли он, кого я ищу. Оказалось, не тот. Это был ветеринарный

врач полка, Дмитрий Львович Вышипан, ставший год спустя мужем Любы и близким нам человеком на всю последующую нашу жизнь.

«Сводный лазарет» обслуживал все воинские части Проскуровского гарнизона — кавалерийский полк, пехотный, казачьи артиллерийские бригады и артиллерийский полк. При нем была школа ротных фельдшеров. Двухэтажное каменное здание, довольно вместительное, могло бы быть прекрасной больницей. В действительности же это было убогое заведение, из которого все серьезные больные переправлялись в Киев. Хорошо оборудованная операционная всегда была на ключе, и в ней никаких операций не производилось. В госпитале лежали или испытуемые, т. е. симулянты, желающие освободиться от воинской повинности, или больные с тем или другим поражением кожи. При лазарете числилось три врача.

Старший полковой врач Гейлих, мизерной внешности человечишко и еще более убогих интеллектуальных качеств как врач и администратор, больными не занимался. Он свою роль свел к «Мамаеву нашествию» на больных. Поднимаясь в палаты раз или два в месяц, не одевая халата, он выписывал всех, у кого на сегодняшний день была нормальная температура. Я вел терапевтическое отделение лазарета, и эта его «консультация» особенно затрагивала меня. На мои протесты он отвечал: «Ну, завтра положите выписанного опять. Нужно же мне проявить свое усмотрение и поддержать свой авторитет».

Не могу не рассказать одного случая. С одним из учеников фельдшерской школы случился приступ уремии. Молодой мальчик ослеп и бился в судорогах. Доктор Гейлих жил рядом с лазаретом. К нему и побежали товарищи больного за помощью. Он ответил распоряжением на случай смерти больного, к больному не пошел и помощи ему не оказал. Тогда они бросились ко мне далеко в город. Было уже сильно под вечер. Они рисковали многим, идя без пропуска. Я тут же буквально побежал за ними, сделал все, что мог и о чем вычитал в руководствах. Больной остался жив.

Понятно, как реагировали на эти два поступка все причастные к лазарету. Об этом не говорилось и говорить было нельзя. Это было скрытно, в глубинах сознания, а вне проявлялось услужливостью и особою теплотою и лаской ко мне в глазах. К тому же я прекратил посылки тяжелых терапевтических больных в Киев. Я стал лечить их на месте. У меня не было опыта, но я возмещал это вниманием к больному и постоянным чтением. В случаях же трудных для меня просил товарищей по городской больнице на консультацию. Через год,

когда я окончил срок своей службы и уезжал в Москву, фельдшера и ученики фельдшерской школы лазарета пожелали сфотографироваться со мною, каждый своей группою.

Третьим врачом в лазарете был Листов Петр Владимирович, молодой, приятный и умный человек. Он вел кожное и, так называемое, хирургическое отделение, где вскрывал нарывы и фурункулы. Мы пригласили и его сфотографироваться с нами. Я до сих пор храню эти фотографии, на обороте которых и просил снимающихся оставить свои автографы. Больше мы в жизни никогда не встретились, но переписка, очень для меня лестная, держалась с некоторыми много лет.

Подъезжая как-то этим первым летом к лазарету, я услышал, что за мною дребезжит извозчичья пролетка. Остановившись у подъезда, я увидел на пролетке сестру Аню и Анну Борисовну Познанскую. Это было так неожиданно и так дорого, что я почувствовал себя счастливым человеком. Они внесли в мою жизнь, тогда казавшуюся мне очень скучной и очень серой, радость и свет. Прожили они у меня неделю. С Анной Борисовной проехали мы в имение к ее дядюшке, генералу Познанскому. Мне, совсем не бывавшему на проселочных дорогах и в деревне, это путешествие на лошадях доставило громадное удовольствие.

Кстати, о Познанских. Семья их сыграла большую роль в нашем развитии — Ани, меня и Любы — в гимназические годы. Отец, Борис Станиславович, юрист и писатель-этнограф, приятель А.И.Эртеля, был украинофилом, революционером и был сослан в наши края, где и осел. Я узнал его уже маститым, пожилым человеком с внешностью гетмана, одетого дома в украинское платье. Его две дочери — Люба и Галя — стали нашими приятельницами.

В доме была большая библиотека, старенький клавесин, много музыки и необычайная для нас простота и естественность в обращении. Молодежь известного круга, то есть настроенная прогрессивно или, как тогда говорили, передовая, собиралась у Познанских очень часто. Допоздна не засиживались. Угощали нас редко, а повеселившись у клавесина или послушав Бориса Станиславовича, которого в семье звали «таткой», расходились по домам.

Это была школа определенного направления, связанная с корнями освободительного движения шестидесятых годов. Это был круг людей честных и глубоко порядочных. В семье был единственный сын — Дмитрий Борисович", блестящий молодой человек. Весною 1905 г. он окончил Харьковский университет, был оставлен пря кафедре и зимою, вследствие закрытия университета, временно уехал врачом в деревню, в земскую

больницу. Время было неспокойное, в деревне шла борьба партий.

Дмитрий Борисович сразу окунулся в эту гущу и вскоре был зверски убит. Мне пало на долю сообщить об этой смерти семье. Я заехал за их постоянным доктором, направил его к ним, и потом, будто невзначай, подошел и сам. Уж не помню, как мы сообщили эту страшную новость. Но помню, как перед этим мы долго сидели с доктором и не решались этого сделать. А Борис Станиславович как на грех, был чрезвычайно оживлен, показывал нам старое оружие и не давал случая нанести ему страшный удар. «Один сын не сын, два сына — полсына, три сына — сын», — говаривал он впоследствии. От этого удара оправиться он никогда не смог и скоро скончался. Дочери с матерью продолжали жить в Острогожске и сумели в маленьком городке жить умно и интересно. Мы же, уже покинув Острогожск, поддерживали с ним самые дружеские отношения.

Ко времени приезда моих гостей я снял квартиру в четыре небольших комнаты, в саду. Очень «стильной» вышла у меня столовая: простой некрашенный стол, табуреты и такой же небольшой шкаф-буфет для посуды. При отъезде моем охотников на эту столовую было больше всего. В моей комнате, самой большой, но сумрачной из-за деревьев сада, лежал на полу большой персидский ковер, перешедший ко мне от матушки, стоял очень старинный и неудобный письменный стол и мое большое кресло из дому. Комната Любы, небольшая и веселая, имела девичий вид. И, наконец, наша приемная, с низенькой мягкой матушкиной мебелью и пианино, взятым напрокат, была уютна. Надо отдать справедливость евреям. Жить с ними было удобно. Это они мне и квартиру нашли, и мебель подыскали, и все за сущий бесценок и в рассрочку. Бюджет мой был очень невелик. Кроме жалованья у меня ничего не было. Люба по уговору с братьями должна была получать от них ежемесячно какую-то сумму, точно нами не установленную. Она и получала ее, но в таком маленьком размере и так неаккуратно, что это едва хватало ей быть прилично одетой. А требования проскуровской жизни в этом смысле были высоки, гораздо выше острогожских. Люба приехала к концу лета. Карпа я отпустил тогда и взял прислугой Пелагею Ефимовну — Палашу, которая потом пошла в приданое за Любой и прожила с ней около тридцати лет.

Мы оба с Любой брали уроки музыки, много читали и, не спеша, завели небольшой круг знакомых, преимущественно не из полковых. Надо сказать, что в отдельности все персонажи того и другого полка были, в общем, приятны, в целом же это было невыносимое общество, в котором кавалеристы кичились перед пехотинцами и считали их низшей расой, а все же вообще лезли

из кожи вон друг перед другом, причем у громадного большинства и лезть-то было не из чего — все жили на маленькое, скудное жалованье, все были средними маленькими людьми, все жили интересами сегодняшнего дня, не выходившими за пределы полка и разрешавшимися на так называемой «брехалке» — скамейке около «собрания». И я поставил себе за правило не иметь никакой близости с сослуживцами, не пить самому водки и не угощать ею. Это было покойно и удобно. Это сберегало мое время и мое жилище от скуки и от сплетен, от неприятностей. Ввиду же того, что я был внекадровым и всегда говорил о своем уходе после обязательного срока службы, — мне прощалось мое поведение, и не только прощалось, но и уважалось, быть может, потому что такое поведение для врача считалось даже достойным.

Шестого декабря Люба, на балу в Белгородском полку, познакомилась с Дмитрием Львовичем Вышипаном, о котором я упоминал уже раньше. Через несколько дней он нашел случай побывать у нас. Знакомство завязалось. Мы были одного направления и одних исходных точек в жизни. Некоторая «кавалеристичность» в поведении и манерах Дмитрия Львовича оказалась наносной и очень поверхностной. Он был умен и скоро понял, что это не нужно. Ранней весной он поговорил со мной о своем намерении жениться на Любе. Отношения и чувства Любы к нему мне были известны. И я сказал ему: «Не будем спешить, проверьте друг друга, поезжайте еще к сестре Анне Михайловне, познакомьтесь с нею. Без нее я не хочу решать этого дела». Так и сделали. Сперва уехала Люба, потом Дмитрий Львович. Погостил он там несколько дней и вернулся женихом. Свадьбу же отложили до осени.

В начале лета я уехал на неделю в Острогожск. Там ставили часовню на могиле матушки и отца, и мне хотелось поруководить этим делом. Остановился я у Феди, который жил тогда за городом, на заводе. У него был свой выезд, и не составляло труда отвезти и привезти меня. Жизнь в старом доме шла прежней чередой. Те же люди, та же дворня, тот же порядок жизни. Наш флигель был занят конторой, и я не зашел туда. Дела братьев ширились, и они выходили в «первых людей города». Сестры Оля и Паша жили каждая своей жизнью.

Первая нашла себя в детях. Молодняк ее, действительно, был хорош. Она была близка с детьми, а они наследовали от матери ее деликатность, тонкость восприятия и стремление к культуре. Сын Саша вырастал в дельного, собранного мальчика, пытливого и серьезного. Старшая дочь Тоня, нежная девочка, определилась в хорошую музыкантшу. Младшая Леля, болезненная и хрупкая,

жалась к матери и только начинала учиться. Времена, когда гимназия казалась не только ненужной, но и вводящей человека на какие-то кривые пути, отошли. Все дети учились в гимназии. Жизнь шаг за шагом отвоевывала у старого новые позиции. В доме Оли, таком хмуром раньше, сейчас звенели молодые голоса и смех, да и сам дом был не тот. Константин Семенович, с решительностью хорошего хозяина, выстроил новый прекрасный дом, весь второй этаж которого в семь светлых больших комнат занимала семья. У дома разительно быстро вырос сад. И дом, и сад были полны цветов, до которых Оля была большая охотница. Словом, жизнь этой семьи расцветала полным цветом.

Не то было у Паши. Муж ее, Николай Васильевич Кузнецов, взятый отцом в зятья и поставленный им на ноги маленького хозяйчика, не пошел вперед с самого начала. Отец, видимо, ошибся в нем, а быть может, хотел составить «счастье» Паши, так как Николай Васильевич ей очень нравился. Словом, и при отце, и без него Николай Васильевич работал плохо, лениво и все время пользовался поддержкой отца, а потом братьев. Дело закончилось тем, что к описываемому мною времени Николай Васильевич просто поступил на службу к братьям и здесь, как говорится, нашел себя. У Кузнецовых был свой маленький домик, купленный им еще отцом, далеко от центра города. В доме и около дома все было запущено, неряшливо, но семья эта не унывала, жила весело, беспечно, примитивно. Конечно, никогда не хватало денег, но когда не хватало «очень», шли на «мелентьевский двор» и там их получали. Это был простой и верный способ их добычи. В семье росло пять человек девочек. Все были рослые, красивые. Старшая — Неонила, которую я знал и любил с детства, в это время кончала уже гимназию. Остальные тоже все учились.

Большую часть своего дня в Острогожске я проводил на кладбище и следил за установкой часовни. Остаток времени уходил на сестер и кое-каких знакомых, еще остававшихся в городе. «Все течет, все изменяется», но быстрее всех и сильнее всего изменяется человеческий поток. Давно ли и весь город меня знал, и я всех знал в городе. Сколько же прошло времени — год-два, и ни одного товарища по гимназии, по университету — все разъехались. Сплошь новые молодые лица, чужие и незнакомые. И я мог повторить: «Здравствуй, племя младое, незнакомое!..».

Лето в Проскурове прошло оживленно и быстро. Месяца два с нами прожила Аня с Ириной. Долго погостили Гриша, Лихоносов. Гриша продолжал учиться в гимназии, но неуспешно. А сердиться на него было как-то трудно. Он был так мил и ласков, без всякого притворства, что обезоруживал любой гнев. Дома им никто не

интересовался, и он был предоставлен самому себе. Возраст был самый опасный, и было уж то хорошо, что мальчик не пьет, не курит, а что занимается фотографией да музыкой в ущерб учебе — это горе было и полгоря.

Во второй половине августа состоялись корпусные маневры, и я дней десять не нужно, но очень занимательно разъезжал по деревням и весям Подольской губернии. Купался во всех речушках, где было можно, вставал до рассвета. Целый день был на воздухе и чувствовал себя беззаботно и молодо.

В сентябре пришел конец и военной службе, и Проскурову. Вьшшпан перевелся на службу в Подволочинск, в Стародубский полк, и Пелагея Ефимовна с вещами переехала туда. Мы с Любой тронулись к Ане, куда попозже приехал и Дмитрий Львович. И в Брасове, другом имении великого князя, 28 сентября состоялась свадьба Любы с Дмитрием Львовичем. Дом был большой и нарядный. «Молодые» ехали к свадьбе великокняжеской каретой, четверней. Знаменитого Апостола с «Жена да убоится мужа» читал Лихоносов, такой нарядный и важный, каким потом я его не видал никогда. Шаферами были Владимир Саввич, Степан и я. К свадьбе приехали сестры Оля и Паша. Чужих не было никого, и эта интимность свадьбы в прекрасной деревенской обстановке была чудесна. Мы пили шампанское за нашу молодость, за радость, которая была в наших сердцах, за наше светлое будущее, и поминали при этом недавно ушедших. Светотени в жизни явление неизбежное. Но горе подчеркивает радость, радость примиряет с горем. Отсюда рождается грусть, чувство приятное в молодости, глубокое — в старости.

Через несколько дней после свадьбы все мы разъехались по своим местам и делам. Молодые уехали в Подволочинск, сестры — в Осторогожск, Степан — в Киев, я — в Москву, работать в клинике, Лихоносов — в Петербург.

Глава девятая. КЛИНИКА (1912–1914)

Ехать мне в Москву что-то было невесело. Возможности мои были маленькие. Денег у меня не было. На заработок я не мог рассчитывать, но раздумья о том, чтобы не ехать, не было. Комнату со столом я нашел у родственницы моей бывшей хозяйки по аптеке Софьи Федоровны. Родственница жила одна с прислугой Ольгой Максимовной Борисовой, занимая квартиру в три комнаты, очень близко к Новой Екатерининской больнице. В квартире было тихо, и я сразу окунулся в работу в клинике и бактериологическом институте Блюменталя. Скучать было некогда, да я и не умел скучать. Я уходил из дому рано утром и приходил поздно вечером. Работать я стал у профессора Владимира Федоровича Полякова. Своей клиники он не имел.

Директором клиники в Новой Екатерининской больнице был профессор П.М.Попов. Но Поляков имел несколько палат и вел самостоятельный курс со студентами. Мне он понравился в мои учебные годы за прекрасное чтение лекций, живое и насыщенное и за очень теплое и мягкое обращение с больными. Врачебная молодежь охотно посещала его занятия. Профессор Попов, лейб-медик, ассистент Захарьина, был также прекрасным преподавателем, но он был более «мастит», более занят и меньше уделял внимания нам, маленькой братии… Кстати, оба — и Попов, и Поляков — хромали, один направо, другой налево. Жили они между собою дружно, успех делили без зависти, и взаимное уважение их друг к другу создавало в клинике атмосферу, полную достоинства.

Это давало тон поведения и всем остальным врачам. Никто из старших и младших не посмел бы шептать о ком-либо или втихомолку осуждать его действия и заводить склоку. Это было просто невозможно. Да и поступки и действия каждого в работе были настолько у всех на виду, и каждый был так обязан учреждением безупречному поведению, что, если он хотел оставаться в нем, должен был, безусловно, повиноваться его неписанному кодексу морали и труда.

С осени в клинике можно было наблюдать одну и ту же картину — это наплыв молодых врачей на работу. Денег никаких не платили, а присмотревшись к работе, выбирали из экстернов уже ординаторов, которым платили гроши. Считалось — хочешь учиться, или имей на это материальные возможности, или имей волю и терпение к учению. Так вот, коридоры клиники осенью шумели врачебным молодняком. Проходил какой-нибудь месяц, оставалась половина, а потом и единицы. Все неподходящие, не

сумевшие пойти в ногу с учреждением, не осилившие требований — все отметались. Происходил естественный отбор. Так создавались университетские кадры. Конечно, отступления здесь, как и во всяком деле, были. Были родственники, были богатые, были бедные «с рукой», были «без руки», но все это были исключения, которые лишь подтверждали правило.

Время до Рождественских каникул промелькнуло быстро. Да и его было всего два с половиной месяца. Жил я так замкнуто и так занято, как никогда. Заработка у меня не было никакого. Я жил на деньги, которые мне посылала Люба из своей крошечной части наследства, выделенного ей братьями. Деньги были маленькие, и мне хватало лишь на оплату квартиры и стола. А положение в клинике обязывало и к кое-каким расходам и соблюдению декорума в костюме и поведении. Ходить долго в военной форме было нельзя. Нужно было заказать все штатское платье и заказать у приличного портного. Вида «нуждающегося» у меня никогда не было в жизни, да и моей психологии «быть бедным» было вовсе несвойственно, что, по-видимому, передавалось и окружающим. Меня всегда и все считали «в достатке». И в клинике держалась, без всякого, конечно, с моей стороны содействия, эта репутация.

Я мог, конечно, обратиться за помощью к братьям, и, вероятно, они мне не отказали бы. Но я не делал этого. А сами они мне не предложили или не догадались предложить помощь. Короче говоря, на Рождественские каникулы поехал я к Ане в Брасово с наслаждением. Мне нужна была передышка и от работы, и от скудного моего житья.

Большой барский дом дышал зимним уютом и теплом. По утрам, еще в темноте, топились печи, трещали березовые дрова, и было так хорошо просыпаться и засыпать под этот шум, никуда не спеша, ни о чем не заботясь. На праздники приехала также и Люба с мужем, и мне эти последние праздники в деревне памятны вечерами у камина, китайскими фисташками и, особенно, романсом, который тогда пела Аня:

Тишина, не дрожит на деревьях листва,
Не колышется ветром трава.

Музыка и слова этого романса пришлись к общему настроению и переживаниям. К тому, что жизнь в Брасове подходила к концу, что Саввичу предстояло отбыть воинскую повинность и он с семьей по завязавшимся связям уезжал служить в Проскуров, в артиллерийский полк.

Вернувшись в Москву, я, ввиду ранней Пасхи в этом году,

начал исподволь подыскивать себе работу на летние каникулы. И как-то в «Русских ведомостях», моей газете с первых лет студенчества, я прочитал объявление, что «председатель Наровчатской земской управы приглашает врача в городскую больницу. Личные переговоры могли произойти в Большой Московской гостинице». Я пошел, и дело решилось в три минуты. Председателя не остановило мое заявление, что я беру работу лишь до осени, до начала клинических занятий, а меня не испугала Пензенская губерния и отдаленность Наровчата от железной дороги.

Первого марта, в новом весеннем пальто от Мандля, сел я в купе второго класса на Казанском вокзале. В Москве была весна, улицы были очищены от снега. На всех углах продавали мимозы и подснежники. Это было лучшее время в Москве, когда не было еще пыли, воздух был чист и весь народ московский по-весеннему молодел, хорошел и гулял в новых весенних костюмах по московским бульварам. Приближалось вербное гулянье и катанье на Красной площади, и Пасха с ее звоном сорока сороков. И вот вместо этого, глухая, с керосиновой лампочкой «станцушка» Самаевка, где меня ожидала тройка лошадей с большим овчинным тулупом и 14 верст пути до Наровчата по хорошей зимней дороге. Это по-своему тоже было неплохо.

Сведения, которые я почерпнул в словаре Ефрона и Брокгауза О Наровчате, меня не удовлетворили, и я пристал с расспросами к знающему человеку: «А что, от Самаевки до Наровчата есть шоссе?» — «И еще какая шосса, хоть блином покати». — «А гостиница в Наровчате есть?» — «А есть, какая хочешь. Да город такой, что Рязани не уступит». Эти данные упокоили и обрадовали меня совершенно.

Однако никакого шоссе от станции до города не оказалось. Да это в зимнюю дорогу было и неважно. А вот когда я предложил ямщику подвезти меня к гостинице, и ее тоже не оказалось, это было уже горько. Однако выход из положения был в том, что одна вдова-купчиха пускала к себе в дом приезжающих. Пустила она и меня.

Мне везло на Куприна. В Днепровском полку оставались еще кое-какие персонажи его «Поединка». «Наровчат — одни колышки торчат» оказался его родиной. Кроме двух каменных церквей города, он выгорал каждые десять лет дотла, и память об этих пожарах и страх перед ними довлели над всеми жителями. Городишко был из рук вон плох. Какая та'м Рязань! Не было ни одной мощеной улицы, не было тротуаров. В весеннюю грязь низки были высокие боты. А тут еще из-под всякой подворотни, при вашем рассеянном внимании, вас обливали помоями, ибо

считалось, что улица есть самое законное место для этого. Острогожск, наш милый Острогожск, был столицей в сравнении с Наровчатом.

Но… и в Наровчате жили люди, а людям был нужен врач. А его как раз в это время не было в больнице. Я соскучился о самостоятельной большой работе. В клинике хорошо разрешать ряд назревших вопросов, получить уверенность в своих действиях, но сидеть на трех-пяти больных скоро становится скучновато. И потому, когда прошла молва о московском докторе, и доктор увидел в первый базарный день у больницы сотни саней с поднятыми-оглоблями и жующими у рептухов лошадьми, доктор не испугался. Конечно, принять триста человек одному было невозможно. Но суметь разобраться в приеме и отобрать тяжелые случаи от легких, было нужно. Пропускал всю массу больных мимо себя в кабинете с двумя фельдшерами, которые писали рецепты и направляли больных в перевязочную. Случаи неясные и случаи тяжелые я задерживал и разбирался в них несколько после, или клал их в больницу.

После первых же дней работы мне стало ясно, какое страшное распространение сифилиса, главным образом бытового, имеется в населении, и какое значение имеет это наблюдение в определении ряда хронических заболеваний. Надо сказать, что успех врача на первых порах на новом месте определяется надолго его первыми шагами. Особенно учитывают это хирурги и бывают осторожны в выборе первых операций. Мои первые шаги в работе были счастливы. И этого было достаточно, чтобы вера во врача, ждущая, кстати, всегда своего приложения, нашла свой объект. Я скоро и прочно завоевал авторитет, а впрочем, это было и не трудно. Помимо меня в городе тогда был еще один врач — «уездный». Но он, будучи не старым и не глупым, сильно пил. Приехавшие уже при мне потом врачи: хирург и женщина-врач без специальности, — не могли завоевать положения, первый — по ряду несчастных случаев, происшедших у него в операционной, вторая — по отсутствию такта и знаний.

Словом, спрос на меня рос с каждым днем. Город и уезд обрушились на меня лавиной своих обращений. Удовлетворял я немногих. Остальных приучил обращаться в поликлинику при больнице и не бояться самой больницы. Для этого, в свою очередь, нужно было, чтобы больница не пугала больных. Пользуясь расположением председателя управы С.И.Колпашникова, я добился капитального ремонта больницы, неплохого двухэтажного каменного здания, но нелепо распланированного и запущенного. Персонал больницы был неплохой: и работящий, и знающий. Фельдшера с меньшей

культурой, чем фельдшерицы. Ладить с ними всеми было не трудно, хотя провинциальная амбициозность и давала себя по временам знать.

Труднее было с санитарками, или как их звали там, «хожалка-ми». Получали они что-то 3–4 рубля в месяц жалования. Все были неграмотными и считали свою работу если не «позорной», то зазорной. Конечно, это были простые деревенские женщины, выкинутые из деревни нуждою, большею частью бобылки, вдовы, разводки, не имеющие никакого представления ни о санитарии, ни об уходе за больными, ни просто о больничных порядках.

Прихожу я как-то ранним утром в больницу, когда меня не ждали, и застаю большое оживление. Во всех палатах и коридорах посторонний народ, разговоры, еда. Оказалось, что это был день поминовения усопших и в больницу понесли не родственники, а просто православные, поминальную еду: блины, пироги, кутью и кормили ею всех, и все ели, в том числе, конечно, и вся больничная прислуга. Такое явление в этот день было и в тюрьме.

Подобных сюрпризов и курьезов было немало. Нужна была колоссальная воспитательная работа. Я начал ее с того, что добился увеличения содержания хожалкам до 6 рублей в месяц. Одел всех в больничные платья и халаты. Поднял их престиж в собственных глазах и в глазах населения. И постепенно, повседневной работой, требованиями и наставлениями выковывал «больничную няню».

Надо отметить одно во всей обстановке работы — это чрезвычайную податливость всех на все новое, лучшее, свежее. Беда была не в общих условиях, а в отсутствии культурных людей, желающих и умеющих работать. Беда была в самих культурных людях, которые не ехали в глушь, а приехав, спивались или опускались, обвиняя при этом обстоятельства, обстановку, а не себя.

Пробыл я в Наровчате до октября — всего семь месяцев. И на своем маленьком фронте за этот короткий период времени добился, помимо упомянутого, организации клинической лаборатории, расширения каталога медикаментов вплоть до титрованных препаратов листьев наперстянки, увеличения штата врачей больницы и санитаров. Я связался со Всероссийским обществом по борьбе с сифилисом и получил одобрение на открытие специального отделения. Уже вернувшись в Москву к работе в клинике, я получил от Наровчатского земства приглашение приехать на сессию земского собрания и выступить с докладом по медико-санитарной организации в городе и уезде. И я поехал и доклад сделал, и до сих пор удивляюсь своей

тогдашней смелости.

Чтобы закончить рабочую сторону моего пребывания в Наровчате, расскажу два случая. В конце Пасхальной недели вызвали меня в деревню на тяжелое маточное кровотечение. Дело это было не мое, но ехать, кроме меня, было некому. Взял я с собой опытную фельдшерицу с Рождественских курсов, вдовую попадью Анну Гавриловну Миролюбову.

Подъезжаем к избе. Улица полна народу, а в избе от дверей до кровати узенький проход. Все набито женщинами. Попросили их выйти. Посмотрели больную. Анна Гавриловна поставила диагноз «предлежание последа». Требовалось немедленно вызвать роды. Потребовали доставить больную в больницу. Муж вначале отказал, потом согласился. Выхожу из избы. Разговорился с окружающими, пошутил с ними, а они мне и говорят потом, освоившись: «А мы про тебя так думали: "Смерть идет"». Больная была выписана поток здоровой.

Второй случай — тройка от местных «спичечных» богачей Лошкаревых. Больна молодая хозяйка, больна тяжело. Еду. Весь дом на голове. На крыльце встречают старики. Проводят в парадные комнаты. Из всех дверей и щелей выглядывают домочадцы и дети. Спрашиваю, где же больная. Мнутся, говорят, приведем сюда. Температура — сорок градусов. Не позволив, потребовал провести к больной и нашел ее в какой-то темной «боковушке» на громадной постели, к которой и не доберешься, вшивую и грязную. Осмотрел. Гнойное воспаление околоушных желез. Потребовал немедленно везти в больницу и там оставить. Ни за что! Это позор на весь славный Лошкаревский род. «Возьми какие хочешь деньги, лошадей будем подавать каждый день, только не позорь и не увози». Отказался наотрез. Припугнул смертью. Умышленно никаких уговоров и никаких лишних слов. Сурово. Повезли! На удивление всей округи. Больная выздоровела.

Я привел эти случаи для показа переживаний молодого врача, которому жизнь «закаляла характер», и таких случаев было в то время немало. После мне уже не приходилось работать без хирурга и гинеколога, да я и не стал бы, а тогда молодая смелость «города брала».

Пережив по приезде день-два у вдовы, я переехал на хлеба к уездному земскому агроному. Он жил в своем доме с большим садом, только что овдовел, скучал и грустил. Взял он с меня 25 рублей в месяц — и за квартиру, и за полный пансион. И было мне у него и спокойно и тихо, и сытно. Но грусть вдовца не долго терзала сердце хозяина. Поехав по делам в Пензу на Святой неделе больным и стонущим, он приехал оттуда с молодой женой

омолодившимся. Мне наблюдать это запоздавшее счастье не хотелось, и я снял отдельную квартиру в три комнаты с террасой в саду в центре города, опять-таки за какие-то гроши.

Скоро ко мне приехали гости. Квартиры моей не стало хватать, и я занял тут же в доме еще две комнаты. А гости были такие: первая приехала Люба с Палашей. Любе предстояло родить, и решено было проделать это около меня.

21 мая 1913 года. Наровчат. «Милая Анюшка! Теперь бы только ты поскорее была здесь. Люба чувствует себя хорошо. Она много бывает на воздухе, и румянец вновь появляется на ее щеках. Только и портят ее эти пятна на лице. Противные пятна. Всякий раз, когда они так резко бросаются в глаза, они портят мне настроение. И не потому, что они некрасивы, а оттого, что говорят о болезни. Хоть бы это поскорее все кончилось. Мне просто страшно думать, как это будет.

Пришедшая обстановка почти полностью обставила нашу квартиру, и у нас вид хорошо меблированной дачи. Вот, если бы ты решила, что останешься здесь на всю зиму со мной, можно было бы выписать твое пианино и вновь послушать "Тишину". А это бы вполне завершило круг моих желаний на этом месте. Но об этом поговорим по твоем приезде. Пишу я редко, потому что у меня много дела и, кроме того, летом и не пишется. За все эти три месяца, что я здесь, я кроме медицинских журналов и газеты ничего не прочитал. И только сегодня записался в библиотеку. Но удастся ли прочитать что, не знаю. Миша».

Затем приехали Аня с Ириной и няней. Погостили Оля с младшей девочкой. Приехали мужья Ани и Любы и Анна Борисовна Познанская. Последняя дразнила меня тем, что я становлюсь «Ионычем» из чеховского рассказа. А дразнила она меня так, потому что со всех сторон «благодарные пациенты» посылали мне все, чем кто был богат: цыплят, цветную капусту, мед, яблоки и т. д. Денег в большинстве случаев я не брал, а с бедноты и вообще никогда ничего не брал. Но уж отказываться от земных плодов и живности не приходилось, да и производилась эта операция помимо меня, с Палашей, которая быстро вошла в повадки жреца Калхаса.

Двенадцатого июля у Любы родилась девочка. Назвали мы ее Екатериной. Пришлось нанять еще одну няню, и семья моя насчитывала 10–12 человек. Жизнь в Наровчате была дешева: цыплята стоили 15–20 копеек штука, курица — 35–40 копеек, ягода всякая была ни по чем. Лето мы прожили отлично. Нашлось в Наровчате и общество. Исправником в городе был Николай Васильевич Калайда. Этот «падший ангел» был перед этим полицмейстером в Петербурге. Его большая семья и продолжала

жить там, а на лето в Наровчат приезжала, как на дачу. Старшая дочь Калайда окончила консерваторию по пению и пела отлично. Два сына-красавца прекрасно играли на рояле. Это ли был не клад для захолустного городишки? Мать, Варвара Александровна, петербургская служилая дама, давала тон всей семье. Была она еще не стара, умна и привыкла жить «открытым домом». У Калайда был рояль, и я с благодарностью вспоминаю целый ряд чудесных музыкальных вечеров, проведенных у них.

В конце сентября мы все в разные сроки двинулись в Москву. Мужья сестер поступили в Петровскую академию, я вернулся в клинику. Поселились мы все на Соломенной Сторожке, заняв две зимние дачи. Каждый имел свою комнату. Всяк занимался своим делом. Сходились к обеду, часам к шести, часто и вечера проводили вместе. Праздновали сообща все семейные праздники, и в жизни было много шутки, веселья и пения. В октябре у Ани родилась вторая дочь — Верочка. Приехал Гриша — экстерном держать экзамен на аттестат зрелости. Приезжали в Москву братья.

Так прошла зима дружно, за работою, с маленькими развлечениями и выращиванием трех девчурок, из которых Ирине исполнилось уже четыре года. Ей под Рождество зажгли елку. Впрочем, не только ей, а и всем нам. Дмитрий Львович, самый из нас высокий и крупный, был наряжен Дедом Морозом. Постучал в окно, и мы впустили его, запушенного снегом, с мешком за плечами, полным рождественских гостинцев. Нужно было увидеть Ирину, чтобы поверить в реальность Деда и потом радоваться принесенным подаркам. И пели, пели, порой без конца. Пела Аня, пел Дмитрий Львович, пел Иван Иванович Гусак, учитель французского языка, вывезенный нами из Проскурова. И вот теперь, когда песня ушла совсем ив нашей жизни, когда даже не приходит на ум запеть, понимаешь, сколько беззаботности было в наших сердцах и как мы все были тогда молоды.

Весною 1914 года я занял место в туберкулезном санатории в Гжели, Бронницкого уезда. Это было недалеко от Москвы, в чудесном сосновом бору. Санаторий был новый, прекрасно построенный, всего на 60 человек, из которых половина была платных — 60 рублей в месяц, половина бесплатных, главным образом, для рабочих фарфорового производства Гжельского района. Врачу предоставлялся отдельный дом в пять комнат на отдельной усадьбе. Кроме врача, была еще фельдшерица Александра Петровна Рубецкая — опытный и добросовестный работник. Она занимала отдельную квартиру в две комнаты с кухней и террасой. Няни из санатория тоже каждая имела комнату. При санатории были небольшая молочная ферма и

огород.

Весь небольшой штат санатория, живя при нем, имел свои выходные дни, но часами работы регламентирован не был. Помимо наших утренних и вечерних часов визитации, мы присутствовали за каждой едою больных и никогда не покидали санаторий вместе. Няни, конечно, чередовались в работе, но рабочий день их был с утра до вечера и никто не считал себя перерабатывающим. У всех было время и для своей работы, и для отдыха.

Приехал я в санаторий 1 апреля. В лесу еще лежал снежок. Шумели верхушки сосен. Тишина и безлюдье. Больные на открытой террасе молча лежали в меховых мешках. В помещении санатория везде открыты окна настежь. Светло, чисто, просторно. Просмотрел истории болезней, температуру, наметил, кого взять в первую очередь для осмотра. За первой же едой сказал несколько приветственных слов больным и спросил, не имеют ли они каких замечаний и пожеланий.

И потекли чудесные дни сочетания работы и досуга в лесу. Сошел снег. Показались сморчки. Запели птицы. Все зазеленело.

Санитарная организация Бронницкого уезда была сильна и авторитетна. Председателем земской управы был Александр Александрович Пушкин — сын поэта. Сравнивая два земства — Бронницкое и Наровчатовское — можно было видеть, что значит хорошо подобранный коллектив и просвещенное руководство Московского губернского земства. Одно только напрашивалось в упрек. Мне казалось это тогда и не ушло сейчас, что медицинская земская организация была почти исключительно санитарной, и мало была лечебной. Для отсталых земств этот период санитарный еще не кончился, и он был нужен. Для Московского же земства того времени пора было уже наступить перелому в сторону лечебную. Не целиком, конечно. Засилья лечебного не должно было быть. Но большее внимание к лечебному делу должно было быть уделено.

Помимо ведения санатория, я два раза в неделю принимал легочных больных при участковой больнице, обследовал туберкулезные очаги среди кустарей фарфорового производства, читал лекции по туберкулезу, проводил «День ромашки», и надо сказать, что это разнообразие работы, вынесение ее за стены палаты, придавало ей большой интерес и большую жизненность.

Все лето со мною прожила Люба со своей девочкой и Палашей. Дмитрий Львович работал в Москве и, наезжая к нам, заявлял, что он в городе «не живет, а только потеет». Долго погостила Олюшка. Свою близость с нами она поддерживала и перепиской, и наездами к нам. А мы любили и ценили этого на

редкость душевного и скромного человека больше всех в нашей семье.

Каждую неделю приходил ко мне в гости лагерь московской школьной детворы, обитавший в соседней деревенской школе. Я впервые столкнулся с этим симпатичным начинанием, и мне любопытно было наблюдать детвору, угостить ее и послушать их пение:

Как вдали за рекой,
Раздается порой
Ку-ку, ку-ку…

А в общем, лето шло в таком дружном единении с больными, с окружающими, с природой, что каждый день начинался и заканчивался одним чувством: «Как хорошо жить!» И даже дифтерит зева, которым я заболел в середине лета, не нарушил этого праздничного ощущения. Я только хотел одного, чтобы поскорее пропали «палочки» в зеве и я опять мог бы работать и общаться со всеми. И палочки очень скоро прошли.

Это было в конце июня. А в начале июля небо Европы стал» покрываться тучами. Надежды на ясную погоду с каждым днем уменьшались, и наконец тревога разразилась громовым ударом — войной. Но, Боже мой, как были мы легкомысленны и ничего не видели впереди! Ничего! Первым уехал на войну Владимир Саввичу вторым — Дмитрий Львович. Я уже стал собираться, когда получил приказание явиться в Петербург, в «Красный крест».

Война нас не пугала, и не потому, что мы были храбры, а потому, что никто из нас не знал и не представлял себе все грозное значение и ужас войны. Благополучие нашей жизни сделало нас непонимающими «несчастных положений», а газетный оптимизм и писания о «войне — прогулке в течение трех месяцев», поддерживали в нас наши заблуждения и нашу, не стыжусь написать, легковерную глупость. Собираясь на войну, я был озабочен, не мало ли беру с собою воротничков и манжет. Призрак вши и несменяемого неделями белья никого не беспокоил. Ну, что об этом говорить! Одетый с иголочки в военную форму, с изящными дорожными вещами, я сел в купе скорого поезда Николаевской железной дороги и поехал в Петербург.

Глава десятая. КРОНШТАДТ (1914–1917)

Явившись в управление «Красного креста» в Петербурге, я получил полагающиеся мне за что-то большие деньги и предложение обождать назначения день-два. Делать мне было нечего. Знакомых ни души. В номере гостиницы не сиделось. Погулял я, погулял, да зашел в Управление санитарной части флота, справиться о своем давнем заявлении. А там накинулись на меня с упреками, почему не являюсь, когда мне послан ряд телеграмм с уведомлением о назначении меня во Второй Балтийский экипаж младшим врачом с предписанием немедленно явиться. В ответ на это я показал бумажку о зачислении меня в «Красный крест». Тут же после телефонных переговоров понес я свои большие деньги обратно в «Крест» и, получив маленькие и одевшись в морскую форму, поехал в Кронштадт.

Скрывать нечего. Я был рад этой неожиданной перемене в моей судьбе и чувствовал себя просто счастливым, садясь у Николаевского моста на пароход «Котлин». Воды и пароходов в моей жизни не бывало, за исключением поездки по Рейну. И это «морское путешествие» по Маркизовой луже до Кронштадта доставило мне немало удовольствия. По дороге я присмотрел моряка, со мною одинаково обмундированного, подошел к нему и не ошибся — оказался врач из Кронштадтского госпиталя. Он научил меня первым шагам и довел до секретаря главного санитарного инспектора порта доктора Данчалова. Последний представил меня главному инспектору его превосходительству Михаилу Николаевичу Обезьянинову, очень похожему по внешности на императора Александра II. Оба они поговорили со мной и предложили обождать назначения день-два. Очень бросалась в глаза разница в манере и поведении у моряков и у армейцев. Моряки держали себя просто, вежливо и корректно. А те уж очень петушились.

Кронштадтский военно-морской госпиталь, расположенный в глубине прекрасной большой усадьбы со старыми деревьями, был громаден и импонировал внешне и внутренне. Построенный при Николае I в форме буквы «Н» в три этажа, он незадолго до войны предыдущим главным доктором Василием Исаевичем Исаевым был приведен в блестящий вид, соответственно современным требованиям, и был единственным лечебным учреждением для всего населения Кронштадта — военного и гражданского. В госпитале были отделения родильное и гинекологическое, бараки с детскими инфекциями. И эта многосторонность лечебного действия чрезвычайно выгодно отличала его от обычных военных

госпиталей, замкнутых в круг однообразного мужского молодого материала.

Однако все это я узнал потом. А тогда был огорошен совершенно незнакомым мне флотским миром, сведениями о войне и растущим страхом перед нею, а также неизвестностью своей судьбы и разговорами десятка двух врачей, таких же мобилизованных новичков, как и я. Все они тыкались в разные двери и жили слухами, пугающими и себя, и других. Тогда я выбрался из госпиталя и пошел бродить по городу. Посидел у моря на Петровской пристани, и это меня успокоило. В сумерки вернулся в гостиницу, где остановилась вся наша врачебная братия. И мы все вместе провели вечер, пугая друг друга войной, особенно на море, где «буль-буль, и пошел ко дну».

Наутро в госпитале я спросил, где помещается терапевтическое отделение, и пошел туда. Там я нашел маленького худенького и невзрачного доктора в очках, через которые смотрели зоркие, умные глаза. Это оказался Алексей Николаевич Сиротинин, москвич, брат знаменитого академика и лечб-медика Василия Николаевича Сиротинина. Узнав, что я из Москвы, Алексей Николаевич обрадовался, разговорился и, прогуливаясь по коридору, мы проговорили часа два. Беседа наша закончилась его предложением поселиться у него, на что я возразил: «Да ведь я не знаю, оставят ли меня в Кронштадте». «А я сейчас справлюсь», — сказал Алексей Николаевич и, вернувшись, подтвердил свое предложение поселиться у него. Это был неожиданный счастливый случай. В этот же день вечером я переехал в небольшую, хорошо обставленную комнату большой, культурной квартиры Сиротинина. А со следующего утра пошел работать в терапевтическое отделение. Из сорока врачей, мобилизованных и поступивших в распоряжение главного инспектора Кронштадтского порта, оставлено было в госпитале два человека. Это доктор А.И.Крупский, впоследствии известный акушер, и я. Остальные все пошли или на суда, или в береговые команды и подразделения. Наше счастье обусловливалось тем, что мы были оба из клиник, и что в госпитале как раз была нужда в акушере и терапевте, знающем клиническую лабораторию.

Состав врачей госпиталя был очень солиден и представлен всеми специальностями. Все это были люди уже на возрасте, в чинах, все доктора медицины, многие проделавшие большие морские кампании, многие пережившие осаду Порт-Артура. Все они прочно обосновались в Кронштадте семьями, в больших квартирах, занимались практикой, хорошо зарабатывали. Каждое утро вся врачебная корпорация встречалась в сборной комнате врачей госпиталя — громадной со сводами, обставленной

прекрасной кожаной мебелью. С утра и часов до двух, а потом вечером, кипел электрический самовар, и лакей разносил чай желающим. Здесь врачи читали газеты, узнавали последние новости, играли в «трик-трак» и за новый и никому не известный анекдот платили премию. Большинство врачей держалось просто, «без чинов», в них чувствовался «старый студент» и, прежде всего, врач. Чинопочитание отсутствовало, т. е. никто никогда не говорил друг другу: «Ваше превосходительство» или «Ваше высокородие». Все звали друг друга по имени и отчеству, вплоть до тайного советника Обезьянинова. И это нисколько не мешало служебным отношениям, не мешало быть подтянутым и знать свое место.

Помимо госпитальных врачей, в береговых частях, экипажах, учебно-минном и артиллерийском отрядах, машинной школе, инженерном училище, школе юнг и в разных учреждениях порта и, конечно, на судах, — я не говорю о действующем флоте, он не стоял в Кронштадте, а судах, приписанных к порту, — везде были врачи, что составляло, в общем, большую влиятельную врачебную корпорацию, подчиненную главному санитарному инспектору Кронштадтского порта и главному доктору госпиталя.

Несмотря на эту громадную и продуманную организацию, работать в госпитале было тяжело, а порой и неприятно. Уж очень велика была машина, не была она гибка, и очень много было приказного, казарменно-военного. Многочисленная санитарная рота, состоящая при госпитале и набранная из «второго» сорта людей, была обязана ухаживать за больными, за помещением, чистотой и порядком. Над санитарами стояли сестры. Казалось, все предусмотрено, и организационно — правильно. Но не каждый матрос мог быть братом милосердия. А требовать из-под палки труднейшего служения ближнему и, притом, больному, часто неопрятному, от молодого и недовольного своим положением парня, явно было несостоятельно. Сколько раз думалось мне: ну, что бы вместо десяти санитаров иметь мне три женщины платных, и было бы отлично. Но этого не было. И нужно было много усилий, чтобы подобрать подходящих санитаров и сестер и сработаться с ними.

Но тут бывало еще и другое. Приходите вы как-нибудь утром на обход и застаете новых сестер и новых санитаров. Назначения не выполнены, никто ничего не знает, и никто вас не предупредил о переводе вашего персонала в другое отделение. А я с самых первых дней работы получил палаты с тяжелыми больными, и было их у меня по 75 человек и больше. Со временем, когда мой удельный вес в госпитале возрос, конечно, брать от меня персонал стало труднее и эти неожиданности были пореже, а все

же текучесть персонала была значительна, особенно сестер, молодых девиц, пока, наконец, не подобрались люди постарше и посерьезнее.

Трудно было также с питанием больных в смысле дифференцирования диетического стола, с тишиной в палатах, с курением, со сменою белья, с посещением палат чинами разного звания и ранга и их распоряжениями. Вспоминаю одно из посещений командиром Кронштадтского порта, адмиралом Виреном. В сопровождении многочисленной свиты он обходил палаты. Дошел до моих с тяжелыми больными. А у меня как раз сплошь были тяжелейшие больные, бредящие, со стрептококковыми плевритами и воспалением легких. Такие больные поступали обычно целыми партиями после каких-либо парадов и смотров. Адмирал молодцевато вошел в палату и гаркнул: «Здорово, ребята!» Ответить ему никто не смог, кроме одного санитара. Адмирал сконфузился, никого ничего не спросил и тихо вышел вон. В то время на меня подобные сцены действовали раздражающе. Надо сказать, что никогда и нигде я не видел так часто слез на глазах за ласковое слово и человеческое отношение, как тогда в госпитале. Чувствовалось, сколько обиды и горечи несли в себе эти юные сердца. Молодость всегда требовательна и ищет в жизни правды и справедливости. Призванная на защиту родины, она всюду видела жертвы только со своей стороны и, сжав челюсти, наблюдала безобразие окружающей жизни.

«Работа в госпитале, — писал я тогда, — составляет главный интерес моего дня. Мне не только не скучно бывать там два раза в день, но для меня это уже потребность». Теперь я думаю, что главным импульсом этого отношения, наравне с профессиональным интересом, была любовь и жалость к моим больным. Я знал, что они меня ждут, ждут помощи от меня, ждут участия, и я шел к ним. В Рождество, собрав среди своего кружка деньги, я зажег больным елку. А.Н.Сиротинин хорошо прочитал рассказы Чехова. Приглашенные музыканты позабавили больных немудреной музыкой. Я оделил всех сладостями и сдобным хлебом, и мы все вместе попили чаю. Это было в госпитале ново и необычно.

Работать со мною моему среднему персоналу было нелегко. Я не спускал ни невнимания, ни халатности. Я помнил всегда все свои назначения и проверял их. Сестры уходили от меня пачками, пока не подобрались подходящие. И тогда между нами завязалась дружба на долгие годы. Неподходящих санитаров я просто просил убрать. Вспоминаю один свой грех. Санитар Бычков, красавец, крупный матрос со сросшимися бровями над переносицей, не

выполнил моих приказаний, сделанных накануне. Я рассердился, ударил его по лицу и сказал: «Вы, верно, пьянствовали. Я вас уберу отсюда». А он мне вполголоса тихо ответил: «Я не пью, я баптист». Перейдя в свой кабинет, я позвал и его, попросил у него прощения, сказав: «Мой поступок извиняет лишь то, что я заставлял вас исполнять мои приказания для больных, а не для себя».

В ближайший мой дежурный день по госпиталю, глубокой ночью ко мне постучали. Вошел Бычков. Вынув из кармана в прекрасном мягком кожаном переплете Библию, он стал призывать меня вступить в ряды баптистов. Я отнесся к этому шутя, расспросил его о нем, его домашних и отпустил. На следующее дежурство Бычков пришел с большим начетчиком с теми же целями… Оказалось, что громадная часть госпитальной роты была баптистами. Кончилось мое сватовство в баптисты тем, что я получил адрес тайных собраний, побывал на одном из них и наотрез отказался. Быть «братцем» — это было не по мне. Бычков же, вскоре переведенный в действующий флот, долго переписывался со мною.

Осенью я сделал в Обществе морских врачей сообщение: «О редком случае цинги», — и был избран библиотекарем и казначеем Общества. В следующем году последовали еще два моих доклада: «О лимфогранулематозе» и «О прививках против брюшного тифа». Последний вопрос занимал меня еще в Наровчате. Здесь, подобрав литературу, я предлагал приступить к этим прививкам немедленно. Общество согласилось со мною, переслало доклад в Санитарную часть флота, и с весны 1915 года, впервые в России, я приступил к проведению широких прививок против брюшного тифа. Дело было новое, ответственное, многие врачи боялись браться за него, а я охотно накапливал большой материал и сделал в течение года лично 35 тысяч прививок. Доклад же мой был напечатан в «Морском враче», и я получил за него 18 рублей «литературного гонорара».

Уже в первые дни работы в госпитале я обратил внимание на беспомощное положение больных дизентерией, и на отсутствие какой-либо мало-мальски продуманной системы их лечения. Назначения делали противоречивые, исключающие друг друга, наблюдений систематических не велось. И больно, и страшно было видеть положение этих больных и их гибель. Я был молод и считал тогда, что пусть будет несовершенен какой-либо метод и способ ведения той или иной болезни, пусть будет этот метод и связанные с ним наблюдения, чем никакого метода, а случайные назначения и непродуманное лечение. Я собрал всех таких больных к себе и упорядочил их ведение, а главное, уход по

одной системе, конечно, индивидуализируя по ходу каждого отдельного случая. Результаты получились неплохие. Безнадежная картина палата с такими больными исчезла из нашего поля зрения. Я дважды возвращался к этой теме в своих докладах в Обществе и напечатал в «Морском враче» статью об этом.

Я остановился на этой стороне своей жизни в Кронштадте, чтобы подчеркнуть, что интересы дела играли там превалирующую роль в моей жизни.

При госпитале была прекрасная большая медицинская библиотека и выписывались все русские и иностранные медицинские журналы. Врачи госпиталя и порта были объединены в научное общество, существовавшее более пятидесяти лет. Общество издавало свои труды, кроме того, имело центральный медицинский журнал по флоту «Морской врач». Библиотека госпиталя занимала громадное помещение с хорошей читальной залой. Для заседаний Общества имелся отдельный большой зал с прекрасными портретами Боткина и Пирогова. При госпитале существовала фельдшерская школа с четырехгодичным курсом, куда принимались юноши, окончившие городские и уездные училища. Врачи госпиталя состояли преподавателями этой школы. Вместе с тем, были и периодические курсы для санитаров и сестер милосердия, и госпиталь имел свою отдельную морскую общину сестер милосердия «Красного креста».

Жизнь личная в Кронштадте была богата и сложна. Я обойду ее. Скажу только, что нигде в другом месте и никогда не был так счастлив и так много не грустил как в Кронштадте.

Несколько слов о семье Сиротининых. Алексей Николаевич держался во врачебном кругу обособленно. Происходило это оттого, что он не любил военной службы, был глубоко штатским человеком и настоящим интеллигентом, причем московской складки. Он был умен, остер, желчен, много читал, был вдумчивым врачом, без знахарства, карьеры не делал, скучал и тяготился кронштадтской обстановкой. Все свободное время он проводил дома, лежа на диване с, книгой. Его жена, Лидия Александровна, красивая, крупная женщина лет сорока, по своему складу ума и характера очень к нему подходила. Сдержанная в манерах и разговоре, строго и просто одетая, она держала себя всегда «немножко поодаль», как бы боясь амикошонства городских дам с их болтовнёю и сплетнями. Она была хорошо образована, знала языки, играла на рояле. На всем ее облике — спокойном и достойном — всегда лежала печать затаенной грусти, что я относил к вечной тревоге за здоровье старшего сына

Павлика, мальчика 19 лет, жившего постоянно в Крыму, в Бобровском санатории, из-за туберкулезного поражения почек. Следующий сын — Володя, семнадцати лет — прекрасно учился в последнем классе реального училища. И, наконец, девочка Таня, десяти лет, училась дома с матерью.

Средства к жизни в семье были ограничены. Алексей Николаевич занимался частной практикой неохотно. Подрабатывала немного уроками Лидия Александровна. Расходы на семью были несколько увеличены содержанием Павлика в Крыму. Приглашением меня поселиться семья несколько увеличивала свой бюджет. Платил я 60 рублей в месяц на всем готовом. Плата была очень мала, но брать больше с меня не хотели. Эта семья никогда и ни на чем не наживалась. Квартира Сиротининых занимала в бельэтаже шесть комнат, помимо комнаты для прислуги и подсобных помещений. В квартире было уютно, нарядно и порядливо. Держали две прислуги. Горничная, в кружевной наколке и белом переднике, была вежлива и расторопна. В квартире никогда не было ни суеты, ни ссор, ни неприятностей. Утром мы с Алексеем Николаевичем вместе уходили в госпиталь, а вечерами очень часто с Лидией Александровной гуляли в Петровском парке. Мне очень памятна эта первая осень в Кронштадте. Стояли чудесные дни. Вечерами в Петровском парке играя духовой оркестр. На море, недалеко от парка, стояли корабли, в оттуда слышался мелодичный бой склянок. Я один, или с Лидией Александровной, шуршим листьями по аллеям парка или сидим у моря. Осень всегда на меня дышала грустью. Кронштадтская же грусть была особенно грустна. Я бродил и читал про себя одни и те же строки:

Осень! Обсыпается весь наш бедный сад,
Листья пожелтелые по ветру летят.
Весело и горестно сердцу моему,
Молча твои рученьки грею я и жму…

Шла война. Жизнь в Кронштадте казалась очень тихой и спокойной. Но все же в этой жизни была постоянная тревога, умирало очень много людей. Умирали у меня больные, умирали врачи, были жертвы на море, и очень часто среди дня открывались двери госпитальной церкви, тут же в коридоре среди палат, и нас всех звали на очередную панихиду. И снова и снова звучали старые и мудрые слова: «Ты един еси бессмертный, сотворивый и создавый человека. Земние убо от земли создахомся и в землию тую жде пойдем».

Пасха в 1915 году пришлась на 22 марта. Двадцать третьего

марта были именины Лидии Александровны. Она тяготилась гостями и решила на несколько дней уехать в Москву. В Пасхальную ночь мы всей семьей были у заутрени в Морском соборе. Лидия Александровна чувствовала себя больною, с трудом выстояла заутреню и едва-едва дошла домой. Это было для нее необычно. По приходе домой она справилась с собой и обычным порядком сидела во главе Пасхального стола, ласковая, спокойная и внимательная. После раннего обеда, в первый день Пасхи, она собралась в дорогу, и мы поджидали лишь лошадей, которые должны были доставить ее к поезду до Ораниенбаума. Алексей Николаевич уже начинал ворчать за опоздание, как зазвучали колокольчики, мы все пошли в переднюю. Лидия Александровна, уже одетая, отдавала последние приказания и… вдруг зарыдала. Быстро овладев собой, она простилась со всеми и спокойно села в сани. Лошади тронулись, мы чуть постояли, а потом каждый пошел к себе.

Через два дня, возвратившись из госпиталя, я позвонил, как обычно, у дверей нашей квартиры. Раздавшийся звонок прозвучал громко и зловеще. У меня упало сердце, и предчувствие чего-то страшного охватило меня. Дверь открыли не сразу. Горничная, вся в слезах, впустила меня в переднюю. И здесь встретил меня Алексей Николаевич и, рыдая, проговорил: «Лида умерла». В заказном письме, полученном Алексеем Николаевичем в этот день из Петербурга, Лидия Александровна написала: «Я больна раком. В течение Великого поста я выясняла у профессоров в Петербурге свое положение и решила не бороться с этой болезнью, а сдаться и умереть сразу, не мучая ни себя, ни семью операциями и медленным умиранием. Умереть я решила не дома, как это и делают некоторые животные. Я ухожу далеко, чтобы вы, мои близкие, не видали меня ни мертвой, ни некрасивой. Прошу меня не искать». Затем следовали строки, полные любви к детям и Алексею Николаевичу. К письму была приложена квитанция на сданные в камеру хранения вещи Лидии Александровны.

К вечеру Алексей Николаевич и Володя уехали в Петербург. Большая темная квартира примолкла глухо и настороженно. Я лежал на диване, оглушенный и подавленный. А горничная рассказывала, что всю Страстную неделю Лидия Александровна очень часто рыдала, запираясь иногда в ванной, прячась от Тани. Приехавший на другой день Алексей Николаевич привез вещи Лидии Александровны, оказавшиеся маленькой корзиночкой, наполненной обрезками лоскутков, едва-едва обвязанной тоненькой веревочкой. В туалетном столике Лидии Александровны Алексей Николаевич нашел ее часы, серьги и кольца, которые она носила постоянно.

И что же оказалось?! Любимый человек в семье — жена и мать — страдает глубоко и страшно. И никто этого в семье не видит и не замечает. Невнимание близких и всех нас, домашних, было так велико, что вместо багажа берется какая-то пустая корзиночка, снимаются с себя постоянные украшения туалета, и никому это не бросается в глаза. И, конечно, это случилось не с одной Лидией Александровной, а это вообще наше невнимательное отношение друг к другу. Любим, но любим невнимательно, привычно и равнодушно.

Алексей Николаевич в Петербурге ничего нового не узнал и никаких следов Лидии Александровны не нашел. К родным Лидия Александровна в Петербурге не заходила, в Москву не приезжала. Академик Сиротинин, пользуясь своим положением, поставил полицию на ноги. Оставалось ждать известий от нее. А жизнь семьи была разбита. Тяжелый кошмар давил дом. Все оставалось на своих местах, но все было страшным и ненужным. Наконец, в начале июня полиция сообщила, что труп Лидии Александровны найден на берегу Волхова, недалеко от Чудова. Мы сразу же поехали с Алексеем Николаевичем и тут же увидели ужасающую картину разложения, чего так не хотела Лидия Александровна. Похоронили ее в Москве.

К осени Алексей Николаевич оставил Кронштадт и уехал в Гульрипши. Я же взял квартиру и поселился один на территории госпиталя. Было у меня две комнаты, передняя и кухня. Был приставлен матрос-вестовой. Он приходил по утрам, готовил кофе, топил печи, убирал квартиру. Обедал я не дома. Жил, как всегда, довольно замкнуто, но не без людей, главным образом приезжих, и маленького круга друзей вне врачебного общества. С последним отношения были неплохие, но почти исключительно деловые. Я настойчиво уклонялся от вечеров, вечеринок, полубальчиков. Мне было скучно там, и чувствовал я себя «рукавом не к шубе». Один раз я не смог отказаться и причинил себе и хозяевам одни неприятности. Собрались, и все сели играть в карты. Я не играл. Тогда хозяева, с большим трудом, составили мне партию в лото. Я принужден был сесть, но долго не вынес и, к смущению хозяев и своему, попросился домой до ужина. С тех пор меня уже и не приглашали.

В это время я очень сблизился с семьею генерала Федора Алексеевича Тимофеевского. Кронштадтский старожил, он написал историю города и много лет был редактором «Кронштадтского вестника». В мое время он жил в здании Морского собрания, заведуя его делами. После концертов и спектаклей, на которых мы всегда бывали с его дочерью, Капитолиной Федоровной, учительницею немецкого языка в

гимназии, мы поднимались внутренней лестницей к ним и заканчивали вечер в маленькой семейной компании, весело и непринужденно.

Мать, генеральша Варвара Васильевна, полная и красивая, и младшая дочь Зоя удачно дополняли нашу компанию. А приезжающие к ним и ко мне вносили разнообразие и оживление в наше общество. Тогда уж обычно ужинали мы в собрании без старших, которые почитали это для себя неподходящим.

А Морское собрание, с чудесным зрительным залом, рядом нарядных гостиных, торжественной столовой, биллиардными, прекрасно обставленное и прекрасно содержимое, было фешенебельным и аристократическим клубом, доступ в который был затруднен. Нижний этаж собрания был занят колоссальной библиотекой, систематически собиравшейся со времен великого князя адмирал-генерала Константина Николаевича, на процентные отчисления от жалования офицерского состава флота. Читальня библиотеки, уединенная, с мебелью красного дерева, низкими шкафами, на которых стояли бронзовые бюсты древних мудрецов, и большою затемненною лампою над длинным овальным столом, была замечательным уголком, «книжным эрмитажем», где я проводил немало часов и где мы часто встречались с Капитолиной Федоровной, которую я звал для краткости и большей интимности «Ка». Здесь мы строили наши общие планы, делились прочитанным, грустили и смеялись.

Помимо зимнего Морского собрания было и летнее — в небольшом, но хорошем саду с площадкой для тенниса. Если зимой мы почти каждый вечер бегали с Ка на коньках на Итальянском пруду, где играла музыка и было так чудесно бодро, то летом мы играли здесь в теннис и, утомившись, «отпаивались» в тени душистым квасом.

Приезжало ко мне довольно много народу. Два раза гостила Аня. Владимир Саввич был на фронте. Во время осады Ново-Георгиевска он, по сдаче крепости, был взят в плен. Судьба его долго нам была неизвестна и страшна. Затем оказалось, что он бежал из плена, чудесно несколько раз уходил от рук немцев, пока не добрался домой. Это был героический подвиг во имя семьи. Он мог умереть ради нее, но жить без нее он не мог. Приезжал Саша Бреус, сын Оли. Мальчик из него вышел серьезный и деловой. Он принадлежал к тем людям, которые не только имеют свои мнения и убеждения, но и отстаивают их ценою своей жизни, что он и доказал впоследствии. Мальчик этот был мне дорог вдвойне. И по матери, и сам по себе.

Наконец, гащивал у меня и брат Гриша. В 1914 году провалился он на экзамене на аттестат зрелости. Я не мог

простить ему этого и прекратил с ним отношения, что меня удручало, должно быть, больше, чем его. Узнав, что он оканчивает Тверское кавалерийское училище, я написал ему дружеское письмо и позвал к себе. Он живо откликнулся и приехал ко мне красавцем-корнетом гусарского Мариупольского полка. Ему был 21 год. Высокий рост, прекрасная фигура, ласковые серые глаза и чудесные зубы. Притом, в его натуре было столько детского и непосредственно чистого и здорового, что сердце к нему тянулось невольно. Успех у женщин был большой у него, но он не был «ловцом» и наивно признавался мне, что женщины нравились ему до первого поцелуя. Он был весел, ловок, играл хорошо на рояле и ряде других инструментов и как-то артистически умел ничего не делать. В кронштадтском обществе гусар был редкостью, и Гриша пользовался в нем завидным успехом на радость мне и утешение.

После отъезда Алексея Николаевича на Кавказ, под постоянным моим наблюдением остался Володя Сиротинин. Он поступил в Технологический институт, отказался жить у дядюшки-академика, жил по-студенчески и очень хандрил. Этот способный и тонкой душевной организации мальчик не обещал долго жить. Было раз, что он написал мне в начале зимы: «Надоело все. Денег мне мало, и денег мне не хватает. Ожидать трамваев скучно. Дождь идет так часто и небо так хмуро, что я не могу больше жить. Напишите папа об этом, а я решил угореть». Поднял я тревогу, поднял на ноги родных в Петербурге, привез его к себе, уравновесил и еще больше поверил, что не жить ему.

И брата Гриши, и Саши Бреус, и Володи Сиротинина, и Капитолины Федоровны давно нет в живых, как нет в живых и моего милого приятеля матроса Ивана Ивановича Градина. И все они, за исключением Гриши, умерли не своею смертью. Впрочем, об этом после.

Градина я узнал по курсам санитаров, на которых вел занятия. Потом он работал в приемном покое и постоянно встречался со мною во время дежурств. Пленили меня в нем сначала его внешность и его чудесные глаза, а потом мягкая славянская душа. Родом из Юрьевца, поволжанин, бедняк, он рано пошел добывать себе кусок хлеба, рано начал пить водку, рано познал порок и все тяготы жизни. Плавал по Волге матросом, зимами чернорабочил и пронес через грубую страшную жизнь тоску по настоящей, светлой и радостной жизни. Сколько раз этот крепкий молодой матрос плакал у меня при мысли о возможном возвращении к прежней жизни, сколько раз я пытался заставить его учиться и идти вперед, чтобы этого не случилось. Но слишком слаба была воля у этого славянина, и ясно было и

здесь, как и у Володи Сиротинина, что не жилец он, — эта трагическая фигура в 23 года. Странно сочетались в этом человеке тонкая, привязчивая душа Вертера с водкой и разгулом русского мужика. К сожалению, у меня не сохранилось ни одного письма Градина, которые он писал мне с транспорта «Аргунь». Тоска и привязанность этого человека были поразительны. Письма его были тем сильнее и страшнее как человеческий документ, что с трудом написанные рукою, не привыкшей к перу, они со страшной искренностью и непосредственностью вскрывали безвыходность в его сознании его положения. И криком души были строки: «Я погиб, погиб безвозвратно для лучшей жизни. Мне надо умирать!»

Наконец, несколько слов о семье Вержбицких. Анастасия Алексеевна Вержбицкая, единственная женщина-врач на флоте до войны, осталась вдовою с четырьмя детьми и старухою матерью без всяких средств к жизни и без врачебного диплома. Получив звание врача, добилась у морского министра места в морском госпитале. Человек с большою волею, собранной к одной цели — поднять детей, она завоевывает в Кронштадте особое положение как детский врач в рабочей среде. Здесь ее знают все, и к ней идут. Постепенно к семье приходит полное благополучие. Дом — полная чаша. Два мальчика — Борис и Глеб — в реальном, девочки — Ольга и Татьяна — учатся дома и музыке, и языкам. Ведь дом согрет любовью и заботой бабушки Анны Ивановны. Во дворе, на улице, в квартале — это первая семья. Ее все уважают, любят и берегут.

Мне пришлось близко и надолго войти в эту семью. Мальчики росли под моим влиянием, и недавно еще Борис, профессор Ленинградского университета, говорил мне, как я подстегнул его однажды своим письмом уже из Москвы, когда он перестал заниматься. И я знаю, какую роль в жизни его и Глеба я сыграл. Я очень любил гостить в этой семье, объединенной властью матери и любовью бабушки, где росли дети, с которыми я играл в «подкидные дурачки» и которых, я знал, веду за собою.

В декабре 1916 года я поехал на Всероссийский терапевтический съезд. Сестер в Москве уже не было. Они перебрались в Острогожск и поселились в старом долгополовском доме. Москва встретила меня предрождественской суетою, звоном сорока сороков и театрами. Шестнадцатого декабря я был в опере, и там разнеслась весть об убийстве Распутина. Это было началом новой истории в России.

Рождество я провел у сестер. Тепло и уют родного крова вновь охватили меня. Не был я в Острогожске четыре года, и больно и радостно было мне побывать на родине. Старый

отцовский дом расширен и очень благоустроен. Братья богатели. Оля и Паша почти подняли свой молодняк и по-прежнему жили в своих углах. Девочки Ани и Любы уже составили хор, им троим вместе было 12 лет, и они серьезно и забавно пели под аккомпанемент рояля. На праздники приехали также Лихоносов и Дмитрий Львович. В городе еще жили Познанские. Алексей Иванович и вся остальная дворня была еще на месте. Со всеми я повидался, походил по таким знакомым навеки улицам, и сколько не было еще прежнего, я чувствовал одно:

Проходит все, и нет ему возврата,
Жизнь мчится вдаль,
Мгновения быстры.
Где звуки слов,
Звучавших нам когда-то,
Где…

Двадцать седьмого декабря — день именин Феди — праздновали в отцовском доме. Было много прежнего народу, порой казалось, что вернулась наша гимназическая ассамблея. Ставили шарады, перевернули весь дом. Люба Познанская, верящая в карты и гадания, «бросила на картах» молодому князю Шаховскому — начальнику дистанции дороги. Бросила, смутилась и тут же спутала карты. Потом, подойдя ко мне, сказала: «Я испугана. Шаховскому выпала смерть». Выехал я из Острогожска в салон-вагоне Шаховского до Лисок. Там пересел на Петроград, а потом по льду от Ораниенбаума тройкой с колокольчиками — до Кронштадта. Я очень любил эту часть пути. Мне в ней все напоминало прежнюю Русь и петровские времена.

В моем кронштадтском «эрмитаже», необитаемом почти три недели, ждал меня сюрприз. Не успел я остаться вечером один, как со всех сторон полезли крысы. Пока я еще сидел за столом и горел свет, крысы немного стеснялись. Но лишь только погасил свет, они полностью вступили в свои права, и я почувствовал себя епископом Гаттоном, только без преступлений последнего, и тем более несправедливо обиженным. Едва-едва дождался я утра. А 9 января, развернув «Русские ведомости», я прочитал на первой странице извещение о смерти князя Шаховского, последовавшей в Москве после операции гнойного аппендицита.

Предгрозовое состояние Февральской революции в Кронштадте почувствовалось числа 25–26 февраля. Ползли по Петрограду тревожные расплывчатые слухи, никому неясные, никому непонятные.

Жизнь продолжала идти своим чередом. Двадцать шестого

февраля встречали нового командира Кронштадтского порта. Был большой парад, были разговоры об этом назначении, и не было ясного сознания надвигающихся событий. Как ни близок был Петроград, в Кронштадте, по-видимому, даже самые высокие власти не отдавали себе отчета в петроградских событиях.

Числа 27 февраля адмирал Вирен прислал доктору Вержбицкой манную крупу для раздачи больным детям рабочих. В этот же день вечером в Кронштадтском Морском собрании на какой-то скучной научной лекции я видел представительного красавца, начальника штаба адмирала Бутакова, — и подумалось мне еще: ну, как это в такое беспокойное время может он тратить свои часы на такие пустяки? А на следующий день стало известно, что на 1 марта адмирал Вирен назначил на Якорной площади города собрание рабочих со своим участием.

Вечером 28-го я был зван в гости к главному санитарному инспектору порта доктору М.М.Обезьянинову. Были званы человек шесть-семь, часть из них играла в карты, часть сидела в гостиной у камина, но на душе у всех было неспокойно, тревожно. Говорилось как-то вполголоса, никто ничего не знал верного, но приехавший из Петрограда в этот день полковник Юркшусов, управляющий делами госпиталя, привез уже ясно звучащие слова: «Тревога и революция». Их не повторяли, но их уже знали.

За ужином в прекрасной большой столовой матросы в белых перчатках и белых куртках подавали на громадных блюдах сибирскую рыбу нельму и жареных фазанов. Пили вино. Пытались развлечься, но развлечение не приходило. Я, между прочим, сказал, что собираюсь с утра пойти на Якорную площадь, на собрание рабочих, созываемое Виреном. Присутствовавший доктор А.С.Иванов, человек мне крайне далекий и неприятный, попросил меня по дороге зайти за ним.

Вернулся я домой в начале второго ночи. Все было тихо. А утром, когда я встал в восьмом часу и выглянул на улицу, — улица была полна народу, и не обычного, кронштадтского, а совсем нового. Я подождал немного своего вестового — он не шел. Я оделся и вышел. Толпы народа заполнили все улицы и шли к центру. Дальше я встретил колонну армейцев, затем матросов, разнобойно одетых, идущих не в ногу, но добродушных и веселых. Они мне кричали: «Идем с нами!» Я в тон отвечал: «Поворачиваю». «Чести» никто не отдавал, да о ней уже не могло быть и речи.

У Иванова я застал «смятение и ужас»: «Ночью, часа в три, восставшие матросы вошли во дворец Вирена, вывели его раздетым и разутым в ров у Морского собора и, надругавшись

жестоко над ним, убили. Там же убит и начальник штаба Бутаков. А сейчас на судах и экипажах идет расправа с офицерами. Многих уже спустили под лед, других арестовали».

Новости были потрясающие. Дальше идти было некуда ни в прямом, ни в переносном смысле. Я переждал несколько минут и пошел в госпиталь. Там события шли также с головокружительной быстротой. Докторская комната шумела встревоженными голосами. Каждую минуту входил новый глашатай происходящих событий. Всем стало ясно, что все старое кончилось и началось новое. Но зачем только так страшно началось?! Наспех выбрали нового главного доктора госпиталя — Иванова — ни по чему иному, как за быстроту восприятия происходящего. А он — это олицетворение новой жизни, истерик и морфинист — беспрерывно пил стаканами эфирно-валериановые капли и своими безумными глазами наводил еще больший страх и большее смятение.

Не успел я вернуться домой, как увидел идущих ко мне двух матросов из санитарной роты с винтовками за плечами. Я открыл им дверь и спросил, что они хотят? «Мы пришли за оружием», — ответили они мне. Оба были уже навеселе. Оба держались и сконфуженно, и развязно вместе с тем. Один из них, играя револьвером, сказал мне: «Ничего ведь не стоит сейчас пристрелить вас. И ответа за это не будет никакого. Да мы вас уважаем и не тронем». Другой одел мои белые перчатки, лежавшие на столике в передней, и, любуясь собой в зеркало, попросил подарить их ему. Оба же закончили просьбой дать им выпить. У меня ничего не было, но они увидели денатурированный спирт на полке в кухне и выпили по стакану. На этом мы и расстались.

В этот день в городе и на судах продолжалась расправа, главным образом, с командным флотским составом. Сухопутные офицеры почти не пострадали. Врачей не тронули ни одного, только сняли с работы двух стариков, бурбонов и взяточников, да отстранили главного доктора Обезьянинова. Его же помощника, милейшего Афанасия Александровича Сухова, «генерала и кавалера многих орденов», на следующий день опять восстановили в должности.

Кто был вдохновителем и руководителем событий этого дня в Кронштадте, — не знаю. Несомненно, здесь было много стихийного, слепого и страшного мщения. Роковую роль в жестокостях играли женщины, работницы порта. Эта слабая часть человеческого рода оказалась неумолимой и жестокой, и своими истерическими и исступленными воплями: «Бей его, бей!» — побуждала мужчин к убийствам и расправам там, где они этого и

не предполагали делать.

Я сам был свидетелем, как группа матросов вела капитана первого ранга Степанова в тюрьму. Ничего плохого за этим человеком не числилось, и вели его добродушно и мирно, выполняя задачу этого дня. И вдруг навстречу куча разъяренных баб, угорелых от крови и массового убийства: «Бей его, бей! Куда ведете?! Одним меньше будет!» И бросились, и начали бить человека, совсем незнакомого, не сделавшего им ни малейшего зла. Через минуту бесформенная масса валялась на снегу.

К вечеру во внутреннем дворе госпиталя высилась громадная куча обезображенных людских тел с офицерскими погонами. Шел снежок и тихо засыпал этот трофей революции, а женщины лезли через заборы, стояли у всех щелей, любопытствовали, смеялись и оскверняли своими нечистыми побуждениями самое важное в жизни каждого человека — смерть. С наступлением темноты город погрузился во мрак. Улицы опустели. Выходить никто не решался. Время от времени раздавались то там, то здесь выстрелы. Ходили вооруженные патрули и задерживали отдельных смельчаков.

Я с трудом добрался до Морского собрания, ставшего штабом восстания, и по темной лестнице со двора вошел к Тимофеевским. Они все были невредимы, конечно, встревожены, но держались достойно и просто. Минувший день совершенно изменил не только вид города, внешний вид людей и все формы человеческих отношений, но изменил всего человека в целом. Вернее, не «изменил», а «проявил» человека, выявил его «скрытое», таящееся в глубине, забитое положением и всякого рода соображениями. И вдруг все это спало, и человек предстал без надстроек. Зрелище это было пугающим. Красоты в новом человеке оказалось еще меньше, чем в старом, и час, проведенный мною у Тимофеевских, был для меня часом отдыха у старых друзей, которые не сбросили своей кожи.

На утро последовало продолжение, только более вялое, событий предыдущего дня. Ввиду того, что болезни и больные не считались с окружающей действительностью и продолжали жить своей жизнью и требовали к себе внимания и заботы госпиталя, жизнь в нем должна была идти своим порядком. А порядок этот был совершенно нарушен. Госпитальная рота перестала работать, хозяйственный аппарат госпиталя сразу застопорил. Нужны были немедленные меры для организации госпитальной жизни на новых началах.

Я предложил врачам госпиталя связаться с новой властью. Уполномочили меня. И я отправился в Морское собрание. Вид его был ужасен. Толпы народа заполняли до отказа его помещения.

Все это толклось, кричало, грызло семечки и плевало. Пройдя через закрытые двери к «власти», я нашел ее, осаждаемой тысячью дел и вопросов. Председатель Временного комитета — студент, сын местной дантистки, с которым я встречался и раньше — не мог совладать с толпой, и я с трудом договорился с ним о включении представителя от госпиталя в формирующийся Совет рабочих и матросских депутатов. Кроме того, в госпиталь был назначен матрос-комиссар, и с ним предстояло разрешить все трудности момента. В Кронштадтский Совет рабочих, матросских и красноармейских депутатов госпиталь избрал меня. Я не был трибуном и меньше всего в жизни интересовался политикой. Еще меньше был я по природе, говоря лесковским языком, «потрясателем основ», и если избрали меня, то объясняется это тем, что остальная врачебная братия еще меньше подходила к этой роли. Я был рыбой-раком на безрыбьи.

Во второй половине этого дня к моей квартире на тройке подкатил Гриша. Он был на каких-то курсах в Москве. Революция в ней протекала бескровно, на розовой водице, с объятиями и поцелуями незнакомых на улице. И вот он решил порадоваться вместе со мною и всем славным кронштадтским народом. Я пришел в ужас, увидя его. Ловля офицеров еще продолжалась. Куча убитых в Госпитальном дворе росла. Офицерские погоны у оставшихся рассматривались каждым солдатом и матросом как личное оскорбление, и вдруг Гриша, в блестящей гусарской форме, с вензелями на погонах и палашом в руках. Первым делом я опустил шторы на окнах, снял с него блестящую форму, одел в штатское, а потом уж, поцеловав, сказал ему: «Зачем, зачем ты приехал?» Два дня я не выпускал его из комнаты, а затем, прикрыв тулупом, отправил под вечер в Ораниенбаум. Гора свалилась с плеч.

В эти дни мне пришлось побывать с комиссией в тюрьмах Кронштадта. Они были переполнены до отказа. Не убитые и не спущенные под лед, за редкими исключениями, офицеры были все там. Скученность была такая, что в некоторых камерах заключенные могли только стоять. Питание было не налажено. О бане и смене белья не могло быть и речи. Дальнейшая участь заключенных никому не была ясна. Поговаривали и о суде над ними, и просто о расстреле: «Приставить к стенке — и готово, чего тут разговаривать».

В это время из Петрограда, из Комитета Государственной Думы Временным правительством был прислан в Кронштадт комиссар Думы Полетаев. Он должен был придать кронштадтским событиям более «мягкий» характер, ввести их «в законное революционное русло», утихомирить страсти. Но

прислали его, не снарядив с ним вооруженной силы. И что же он мог сделать?! Моральное его значение было равно в Кронштадте нулю. Временное правительство признавалось по летучей формуле «постольку-поскольку». Знаменитый приказ «Совдепа» № 1 почитался законом. Знаменем дня были: Гоц, Либер, Дан, Церетели и Чхеидзе.

Я был на приеме у Полетаева. Поместили его в одной из гостиных Морского собрания. Доступ к нему был не труден, веры в него не было никакой, и «просители» не очень его обременяли. После короткого моего разговора с ним была ясна полная его беспомощность. Да он и сам не пытался скрывать ее. У этого представителя власти не было силы. Это была трагическая фигура — ее не трогали, но и не признавали. Миссия его не удалась совершенно, и он спустя неделю скрылся как-то незаметно. Хочу, впрочем, думать, что судьба офицеров, посаженных в кронштадтскую тюрьму, разрешилась благополучно благодаря ему. Их постепенно и без шуму переправили на Ораниенбаумский берег.

Первое время заседания Кронштадтского Совета происходили ежедневно, с утра до вечера, без заранее подготовленной повестки по массе вопросов текущей политики и управления городом и крепостью. Председатели и президиум Совета сменялись то и дело, что вызывалось их отставанием от движения влево депутатской массы Совета. Затем заседания перенесли во вторую половину дня, упорядочив немного их ведение, уменьшив состав Совета точным представительством от различных групп. И все же оставались многолюдные, страшные, сумбурные заседания, длившиеся по многу часов, до глубокой ночи, где выступали десятки ораторов, часто лишь для того, чтобы слыть активными в глазах пославших их. Деловая работа в Совете была почти невозможна, но в Совете, несомненно, выковывалась общая линия поведения, и линия эта не шла к Временному правительству, а с каждым днем отдалялась от него, пока не привела к руководству коммунистов. Интересно было наблюдать, как вчерашний политический авторитет и признанный вождь становились на сегодня утерявшими свое значение. После Полетаева, кадета, приехал в Кронштадт с.-д. Скобелев. За ним «властители дум» — Церетели и Чернов; затем «сам» Керенский.

Но все это было напрасно. Они упустили свое время и свое значение. Всех их покрыл Луначарский. И он покинул Кронштадт победителем. Спустя некоторое время кронштадтские моряки были аттестованы Троцким как «краса и гордость революции». В начале мая появились и постоянные депутаты-коммунисты в составе Совета. Это были — молодой кудрявый еврей Рошаль,

гардемарин Раскольников и врач Дешевой. Последний был ничтожеством и не сделал никакой карьеры, казалось, для него так доступной в это время. Первый вскоре погиб в гражданской войне, Федя же Раскольников в 22 года занимал разные высокие посты, пока не кончил бегством с поста полпреда в Болгарии в 1939 году.

Я заседал в Совете в группе беспартийных, довольно тогда многочисленной, но лишенной руководства и действовавшей разрозненно, как, впрочем, оно и полагалось беспартийным. С каждым днем становилось яснее, что нам, «диким», нет места и что мы не ко времени. Тем острее я это чувствовал для себя, придерживаясь Временного правительства, разрыв с которым для Кронштадтского Совета был вопросом дня. Должно быть, в половине июня в Совете обсуждался вопрос о наступлении на фронте. Временное правительство искало поддержки в этом вопросе и требовало помощи. После многих часов прений в Совете, особенно острых и страстных, приступлено было к голосованию, сначала поднятием рук, а затем поименно. И тут получилось, что за наступление поднял руку я один; 80 человек воздержались, остальные, что-то человек 160,— были против. На следующий день в двух местных газетах по результату голосования появились статьи, а я созвал своих выборщиков и предложил им избрать другого депутата. На этом моя «политическая карьера» и кончилась, впрочем, не совсем. В местной газете «Народных социалистов» я поместил несколько фельетонов, основной темой которых был призыв победителей к великодушию. Это, должно быть, побудило городскую группу интеллигенции выдвинуть меня кандидатом в гласные думы. Был я в списке пятым. Список, по которому я шел, был не в чести, и в гласные я не попал. Однако через 15 лет об этой моей неудаче вспомнили и майским вечером на Лубянке подробно обо всем расспросили и с миром отпустили.

Освободившись от Совета, я очень был рад вернуться всецело к работе и мирному частному существованию. Квартиру в госпитале я оставил. Продолжать жить в ней было неприятно из-за массы претензий на нее. Поселился я у протоиерея Морского собора, отца Сергия Путилина, одинокого человека, жившего со старой прислугой Прасковьюшкой в большой квартире Морского собора. Впоследствии, в 1920 году, Путилин стал во главе кронштадтского восстания. В мое же время он пытался связать церковь с революцией и числился «красным». Это был умный, образованный священник, еще не старый и очень живой. Я помню, как он пришел в первые дни переворота на митинг матросов и закончил свое очень удачное выступление предложением:

«Пойдемте же в храм и испросим благословение Божие на нашу новую жизнь! А если вы мне скажете, как же мы пойдем туда, где еще так недавно пели "Благочестивейшего, самодержавнейшего…", — то на это я вам отвечу: "А как же вы возвращаетесь на ваши суда, где вы тоже так недавно пели: "Боже, царя храни"?»

Новая моя квартира в три комнаты, заново отделанная, выходила шестью окнами на Екатерининский канал. Была мне эта квартира не по душе, и чувствовал я себя в ней не на месте. Было это, конечно, не от жилища, а от внутренней тревоги и душевного разброда. Я опустил шторы на окнах и стал перечитывать Тургенева, никуда не выходя из затемненных комнат, кроме госпиталя.

Город понемногу пустел. Все, кто мог, исподволь перебирались на материк. С каждым днем становилось труднее с питанием. Жизнь на острове была, по существу, невыносима. В ней столько было страшного и жуткого, что она граничила с кошмаром. Работать в госпитале тоже было тяжело, и в работе не было ни прежнего удовлетворения, ни прежнего наслаждения. И не по чему иному, как из-за развала в работе, из-за того, что некому стало ходить за больными и выполнять назначения врача. Масса сил и времени шла на разговоры, на бесплодные попытки примирить непримиримое, на удовлетворение неисчислимых претензий и требований среднего и низшего персонала.

Кроме того, все мы, занимавшие «командные должности», барахтались в попытках получить хоть некоторое доверие к себе у новых хозяев. Для этого был создан Союз офицеров-республиканцев, декларировавших свою лояльность и преданность новому строю в особом заседании Кронштадтского Совета. Но все это было ни к чему. Ни словам, ни делам никто не верил. Такова была обстановка, таков был лозунг дня. Котел жизни бурлил и кипел по всей стране, но нигде его кипение не происходило в такой накаленной атмосфере, как в Кронштадте. Мне случалось в это время бывать в Петрограде, и жизнь там и отношения были несравнимы с кронштадтскими. Во всяком случае, достоинство человеческое и свобода личности там были еще не попраны.

Для показа амплитуды настроений того времени расскажу о вечере у академика Василия Николаевича Сиротинина. Было у него, в его обширной квартире, человек 10 гостей — все видных петербургских людей. Засиделись допоздна. Выпили. Разговор, конечно, не сходил с темы — текущего момента. Во Временное правительство из собравшихся никто не верил. Романовых считали для власти погибшими. Вопроса о Советах не

существовало, а серьезно обсуждались кандидаты «Рюриковичи» на престол. После долгих прений остановились на князьях Долгоруковых. Вот только не знали теперь путей избрания кандидата на престол. Но, по-видимому, верилось, что Учредительное собрание, о созыве которого уже было объявлено, могло бы заняться этим делом. Для меня, «кронштадтца», эти разговоры показались тогда сверхъестественными, и я не знал, что думать о себе и что думать о них.

В начале июля я уехал в Острогожск, к сестрам. В четырехместном купе I класса ехало нас шесть человек. Все новое и страшное в жизни, оказалось, было только в Кронштадте. Во всей же стране старого был еще непочатый угол. В купе ехали пожилая, солидная барыня, помещица из-под Козлова, а при ней, в III классе, горничная с собачкой. На станции Избердей барыню встречала тройка добротных лошадей в фаэтоне и подвода под вещи, и барыня очень меня приглашала поехать к ней на день-два погостить. И как я жалею до сих пор, что не доставил себе этого последнего удовольствия!

Провожал меня в Петрограде Иван Иванович Градин — матрос с транспорта «Аргунь». Стоял «Аргунь» в Кронштадтском порту без дела. Никаких учебных занятий не производилось. Смысла жизни на корабле не было никакого. Дни там текли праздно, нудно и беспорядочно. Нужны были крепкие душевные устои, чтобы противостоять растлению этой жизни. Градин пристрастился к картам и водке. Денег ни на то, ни на другое не было. Началось их добывание всяческими путями. Это его и мучило, и засасывало. На извозчике, под дороге к вокзалу, я уговаривал Градина оторваться от этой праздной и развратной жизни, перейти в какой-нибудь отряд на фронте, бросить Кронштадт и искать в другом месте своей доли и счастья. Должно быть, в моих словах было много истинного чувства и привязанности к этому человеку. Они тронули извозчика, невольного участника нашей беседы, и когда мне пришло время расплачиваться с ним, он отказался взять деньги, сказав: «С такого человека не берут». Я крепко пожал ему руку.

В Острогожске мелентьевский дом и двор существовали по-прежнему. Братья продолжали вести свои дела, и ничто, казалось, не обещало нарушить их благополучия. Сестры — Аня и Люба — растили свой молодняк, ждали вестей с фронта от мужей, похаживали в гости, занимались музыкой, а вечерами весело играли в крокет с Гришею и его товарищами по полку. А эта беззаботная кавалерийская молодежь, еще с «погонами» и денщиками, бездумно жила настоящим днем, не загадывая, что ее ожидает завтра. И было мне разительно наблюдать эти две жизни

— кронштадтскую и острогожскую — причем, в Острогожске не верилось в Кронштадт, в Кронштадте не верилось в Острогожск. Не помню уже, что привело меня на заседание Совета в Острогожске. Не говорю уже о том, что заседание его показалось мне мелким и пустым, оно таило в себе элементы провинциальной курьезности, что особенно ярко сказалось в предложении председателя Совету — почтить меня вставанием. И Совет «почтил» меня. Конечно, я тоже встал, с ним, чтобы, поблагодарив, уйти. Большего триумфа, чем в этот раз, в моей жизни никогда не было.

Возвращение в Кронштадт было мне тягостно, я задыхался в нем. Условия работы в госпитале не становились легче. Чашу моего терпения переполнило поведение одного санитара. Он не только не работал сам, но и мешал работать другим. Я потребовал его перевода от меня. Комитет госпитальный медлил. Тогда я, придя как-то утром на обход, объявил, что не пойду в отделение, пока там санитар. Ко мне присоединились сестры и остальной персонал. Санитара тут же сняли, но мне стало ясно, что отстаивать рабочий порядок таким путем долго нельзя, и я решил уйти. Как раз в это время со мной велись переговоры о переводе меня на работу в Управление санитарной части флота «Санитафлот». Я колебался и не хотел менять лечебную работу на административную, да и не считал себя к ней расположенным. Однако описанная история с санитаром и тягостная кронштадтская атмосфера побудили меня принять это предложение. И я, подыскав себе комнату на Большой Конюшенной, переехал в Петроград в конце сентября.

Глава одиннадцатая. «САНИТАФЛОТ» (1917–1923)

Начиналась совершенно новая жизнь, на новом месте, с новыми людьми, с новою службою. Комната, которую мы нашли с Ка, была велика, с большими окнами, с внутренним балконом (фонарем), но она была в узком, глубоком дворе и уже в сентябре было в ней сумрачно и прохладно. Электричество горело не подолгу и нерегулярно. Несмотря на несколько квитанций в разные кооперативы, с едою было трудно, а обеды в Адмиралтействе были скудны и их надо было ловить.

Из близких людей в Петрограде в это время был Саша Бреус, но видеться с ним мы часто не могли. Из Института путей сообщения Саша перешел этой осенью в Константиновское артиллерийское училище, и отпускали его оттуда лишь в праздники. Переехали еще в Петроград старики Тимофеевские, но жили они далеко, бывать у них мне было приятно, но не было Ка. Она оставалась в Кронштадте, и не было для меня там «духа животворящего». На службе я был неопытен и неловок. Я присматривался, натаскивался, обучался. Народ там был неплохой. Но я им был чужой, да и они были мне не близки. Главного санитарного инспектора флота А.Ю.Зуева на месте не было, он находился в экспедиционной поездке на юге. Заменяли его доктора Квицинский и Тимирев, оба в генеральских чинах, оба добродушные и доброжелательные люди, но не было у меня ничего общего с ними, разве кроме страха перед развертывающимися событиями в стране.

Работа в «Санитафлоте» шла своим порядком, применяясь к новым требованиям, но требования эти не имели ни определенного направления, ни твердого руководства. Временное правительство судорожно металось и доживало свои последние дни. Наступал октябрь. Стояли темные, серенькие дни, часто дождило. Петроград полнился слухами и тревогою. Где-то что-то решалось, где-то что-то готовилось. Но масса продолжала жизнь своею маленькою жизнью и заботами. Числа с 23 октября напряжение и тревога достигли своей высоты и разрешились 25-го несильною и нечастою перестрелкой. Опустевали на минуту улицы и при малейшем затишье тут же заполнялись людьми. Насколько внешне все это было неимпозантно и не нарушало жизни города, может быть видно из того, что работа в «Санитафлоте» не прерывалась ни на один день, что дорога к Адмиралтейству все это время была свободна и каждый вечер я

свободно проходил к Городской Думе и там, на ее заседаниях, старался понять и разобраться, что же, собственно, происходит.

Много лет прошло с тех пор; что говорилось тогда в Думе, я плохо помню, но обязательный образ доктора Шингарева с его благородной манерой выступать до сих пор жив в моей душе, и до сих пор звучит музыкою его обращение: «Граждане гласные!» Помню его призыв: «Остановиться, пока не поздно. Удержаться и не пролить первой капли братской крови, такой страшной капли, ибо ею начнется гражданская война, самая страшная из войн».

Появление большевиков у власти сказалось в «Санитафлоте» назначением комиссара и его помощника. Это было, пожалуй, много для штата и диапазона работы «Санитафлота». Комиссар прошел для меня как-то бесследно, он пребывал где-то вне, а его помощник, добродушный матрос Павлов, остался в памяти своею подписью на бумагах: «по Павлов», что должно было означать «помощник комиссара Павлов».

В середине ноября доктор А.Н.Сиротинин и я поехали на съезд морских врачей в Севастополь. Я раньше не бывал в Крыму, и мне показалось волшебным море, солнце, горы, белый город и сама гостиница Киста у Графской пристани с чудесными номерами и еще не нарушенным порядком. Здесь я встретился и поближе познакомился с А.Ю.Зуевым. Отсюда на машине проделал чудесную дорогу через Байдарские Ворота в Ялту, где у Массандры был туберкулезный санаторий для туберкулезных больных моряков — детище Зуева, им задуманное, им построенное, им пестуемое. Много лет спустя Александр Ювенальевич, будучи уже очень больным и не у дел, прислал мне небольшую картиночку маслом, работы морского министра И.К.Григоровича, жившего после революции продажею своих «марин». Картиночка это была подарена им Зуеву и изображала на фоне моря церковь санатория, построенную в стиле XIV века. Маленькая, совсем маленькая, со старинными образами, с панелями, обитыми цветной набойкой, со строго выдержанной утварью, церковь поражала своею простотою и строгостью. Через нее и санаторий стал мне ясен образ Зуева. Это они заложили фундамент моего глубокого уважения и любви к нему.

На занятиях съезда морских врачей останавливаться не стану, это был «кимвал бряцающий», как и остальные съезды того времени. Но, должно быть, тогда они были нужны. Уж такая природа человека, что он приходит к простому через сложное.

Возвращались мы обратно с тем же Алексеем Николаевичем в международном вагоне. Около Харькова вагон наш был атакован солдатами, бегущими с фронта. Они ворвались в него, заполнили все помещения, рвали дверь нашего купе, но мы ее не открыли и

так отсиделись до самого Петрограда. Когда же мы здесь вышли, то были поражены теми разрушениями вагона, которые произвели эти пассажиры.

Около этого же времени состоялся в Петрограде Всероссийский съезд медицинских работников, на котором можно было наблюдать глубокое расхождение между врачами и фельдшерами, переименованными тогда в лекарских помощников. Казалось, их разделило прошлое, настоящее и будущее. Громадная, сплоченная масса фельдшеров, молодых по возрасту, выступала как один человек. Заявление их было четкое и простое. Они знали, чего хотели, и разили врачей не только своим молодым напором и задором, как это некоторое время объясняли, но и своим полным согласием с Октябрем. Врачи же пока еще не знали, что думать, как думать и как поступить, и являли собою типичную интеллигенцию, не могущую поступиться своей идеологией, с которой она срослась. Словом, получилось то, что должно было получиться. Сословие фельдшеров, всегда недовольное своим положением, считавшее себя ущемленным в своих правах, стыдящееся даже своего наименования «фельдшер», получило на этом съезде реванш и завладело в дальнейшем на ближайшие годы командными высотами в руководстве делом здравоохранения и в Союзе медицинских работников. Для меня этот съезд был уроком. До него я не представлял себе ясно всей борьбы и всей разницы мировоззрений. После съезда понял, что есть три пути поведения. Первый — это идти в наступление. Второй — войти в ряды Октября. Третий — делать свое дело, не будучи ни эллином, ни иудеем. Первые два пути были не по мне, и я пошел «в поте лица добывать хлеб свой».

А вот Саша Бреус, высокий, некрепкий мальчик с седым завитком у лба, единственный сын у родителей, пошел первым путем. Когда он исчез из Петрограда и куда исчез, я не знаю. Он мне ни разу ничего не сказал о своих намерениях. Не видя его, я наивно думал, что он уехал домой, не представляя для него другой дороги. А между тем, он уже в декабре был ранен где-то под Ростовом, и когда до родителей дошла весть о его ранении, Оля поехала искать его. С невероятным трудом, с подсказом сердца матери нашла она его в одном из госпиталей и привезла домой, на костылях, скрывая и пряча его действия, его ранение, само его пребывание в родительском доме.

С наступлением зимы жить в моей великолепной комнате стало невозможно. Я переехал на Никольскую к простым, добрым людям, имевшим нотный магазин на Владимирской и еще как-то умудрявшимся жить тепло и уютно. Здесь мне было очень хорошо, а игравшая за стеной на рояле совсем молодая девушка,

кончавшая гимназию, придавала моей жизни здесь особый оттенок. Поздно вечерами она особенно часто играла 22-ю «Песнь без слов» Мендельсона. По-видимому, трагический порыв этой песни, ее мрачность, почти безысходность отвечали ее душевному состоянию. Я же с тех пор связал с этой музыкою и тем временем разгон Учредительного собрания, арест, а затем убийство Шингарева и Кокошкина и их похороны. Происходили они в церкви Святого Духа Александро-Невской лавры. Два гроба. Масса духовенства. Толпы народу. И совершенно подавляющая жуткая тишина. Это был день и это были часы полной безнадежности и отчаяния за Родину, за близких, за себя.

Незадолго до переезда в Москву, в феврале 1918 года, мне пришлось прослушать оперу Вагнера «Парсифаль». Это было изумительным событием в те времена. Мистическое действие оперы у чаши Грааля, очищение и духовное совершенствование в ней — все звучит таинственным, потусторонним, незримым. И это, когда в стране жизнь человеческая была ничто и кровь человеческая лилась рекою. Начиналась опера в 6 часов вечера. Кончалась в 12. Поставлена она была изумительно. Эта опера и драма «Царь Иудейский» К. Р. в эрмитажной постановке, в сопровождении музыки Глазунова, которой начиналось и заканчивалось всякое действие, а заканчивалось действие музыкой, потому что действие доходило до такого пафоса, что для выражения его не было слов человеческих. Эти два спектакля, повторяю, были изумительным явлением того времени.

Москва встретила нас более светлыми небесами и более приветливыми людьми. Да и жизнь в ней во многом была легче и мягче петроградской. Еще чем-то торговали в магазинах, еще что-то можно было достать поесть, еще деревня верила в свою Москву и кормила ее.

Июль 1918 года. Острогожск. «Мой родной! Сегодня всю ночь мы с Володей говорили о тебе. Все думаем и решаем, как тебе лучше поступить. Одно ясно. Езжай сюда, и езжай как можно скорее. С работой, вероятно, все устроится. Если же ты решишь оставаться в Москве, то мы вышлем тебе, пока еще мы не отрезаны, тысячи 2–3 денег. Сообщи только, что ты остаешься в Москве. Время ужасное. События надвигаются быстро. Возможен и переезд и всех нас из Острогожска куда-нибудь на юг. Лучше всем быть на этот случай вместе. Гриша в Москве. Найди его и забери с собою. Аня».

Гриша жил тогда у тетушки своего однополчанина на Никитском бульваре, в особняке, занятом потом Домом печати. Полувоенный, полуштатский вид Гриши отвечал своей неопределенностью и его внутреннему состоянию. Настоящего он

не принимал и не понимал. Денег не было. Положения не было. Будущее было неясно. Он учился на каких-то технических курсах, но никаким техником быть не мог, да и ничем он не мог быть. Состояние его корнетом в гусарском полку было тем же «выходом из положения», так как никаких качеств военного человека у Гриши не было, даже водку пить и в карты играть не мог научиться. Я был очень рад Грише, и я был ему нужен. А мне его молодая беззаботность, живой, веселый смех очень скрашивали жизнь. Окончил ли он свои технические курсы или нет, уж не помню, но только в это время в Кунцеве была открыта школа маскировки, куда, вместе с другими кавалерийскими офицерами, был приглашен и Гриша.

Я один раз побывал там у него, посмотрел, порасспросил его, что и как, думал после этого дня два-три, а потом сказал: «Гриша, бросай все и уезжай из Москвы домой в Острогожск. Там осмотришься, посоветуешься с братьями и на месте увидишь, что делать тебе дальше». Сказано — сделано. Помню переполненный поезд, с Гришей масса вещей, которые он везет для сестер из их московского имущества, и наше прощание. Ласковые серые глаза Гриши, объятия и поцелуи, последние в нашей жизни. Я уже тогда почти знал это и предчувствовал, почему эти мгновения и остались во мне навсегда. Поезд ушел, а я пешком пошел к себе домой с вокзала. Скоро школа маскировки была закрыта, все ее сотрудники арестованы и расстреляны.

Во вторую половину лета, во время отпуска поехал и я в Острогожск. Гриши уже там не было. Он отправился на юг. «Милый Миша, — писал он мне, — страшно мне жаль, что не удалось встретиться с тобой перед отъездом. Получил ли ты в Москве мои вещи и деньги? Скоро я приеду и вытащу тебя. Твой Гриша».

Братья продолжали еще жить на своих местах и вести кое-как свое дело. Но жизнь постепенно принимала новые формы, и становилось ясно, что жить по-старому и работать больше нельзя. Аня и Люба с мужьями, вернувшимися с фронта, жили каждая своею семьей. Мужья их работали в разных советских организациях, наследственно развивавшихся на почве старого земства. А у Бреусочки все так же роскошно цвели левкои и ее чудом скоро выросший сад был тенист и уютен. Константин Семенович, деловитый и заботливый хозяин, продолжал еще что-то делать, что-то суетиться. Саша, хотя и ходил еще с палкою, но уже окреп, больше вырос, больше возмужал, и в нем не осталось и следа еще недавнего провинциального благодушия и некоторой наивности. Он знал что-то свое, носил его в себе, был замкнут и, я бы сказал, отчужден от нас. А 25 июля, в день именин тетки Ани,

он уехал в Харьков, дав честное слово матери, что едет учиться.

Сама Оля, завоевав и отстояв долгими годами все свои позиции в жизни и в семье, была уже давно не прежней, угнетаемой старым мужем и свекровью женою и невесткою. Это была счастливая мать трех взрослых детей, хозяйка в доме, уважаемая и любимая людьми и мужем. Но она по-прежнему была скромна, много читала, беззаветно любящая и любимая.

Паша жила, как и раньше, в своем доме «крошечка в три окошечка». Город тогда и своим внешним видом, и общим укладом жизни еще мало отличался от того, что я знал раньше и к чему привык. Так же звонили колокола, так же церкви были полны народу, так же собирались громадные базары, где все было обильно и дешево. Но на всем этом чувствовалась уже обреченность. Новые люди и новые песни напирали со всех сторон.

Возвращаться в Москву мне было грустно. События, развертывающиеся в стране, гражданская война, ширящаяся и множащаяся, грозили мне полной отрезанностью от близких. Работы своей в «Санитафлоте» я не любил, и часто мне снились мои палаты с больными и весь обиход прежней кронштадтской жизни. В Москве я был одинок, меня там никто не ждал. Приятен и интересен был доктор А.Ю.Зуев. Это был мудрец. Он, как это бывает у очень умных стариков, умел весело и просто мириться со многим. Умел ждать и по-стариковски, с юмором и хитрецою, переживать то, что мы, помоложе и поглупее, переживали трагически. Он был членом ряда научных обществ, в свое время — лейб-медиком и тайным советником, и мог вместе со мною не раз, во время ливня в Москве, снять обувь и идти по улице босиком, ибо обуви не было и обувь нужно было беречь. Причем инициатива этого исходила не от меня, а от него. Он очень скучал о своем сыне и жене, которые остались в Петрограде. Берег для них и сахар, и лишний рубль, отказывая себе во всем, не пользуясь ничьими услугами, и сам стирал себе носовые платки. Он много раз бывал за границей, имел там большие связи, был религиозен и ценил церковную службу. На праздники он уезжал в какую-то деревушку под Москву, завел там дружбу с церковным сторожем, гащивал у него в семье и позванивал вместе с ним иногда на колокольне. А сторож и не подозревал совсем, кто и что Александр Ювенальевич, и писал ему: «Наш милый Ювеналич! Детишки о тебе соскучились, приезжай». Словом, это был единственный человек тогда в Москве, к которому тянулось сердце и с которым нарастало сближение.

28 сентября 1918 года. Острогожск. «Мишенька, родной! Пользуюсь случаем, что едет знакомый в Москву, и посылаю

весточку тебе. Мы живы и здоровы пока. Живется последнее время худо. Понаехали матросы, красная гвардия из Полтавы, и делают, что хотят. Офицеров пугают расстрелом, а несчастных "буржуев" извели контрибуциями. Теперь отбирают коляски и лошадей. У Мелентьевых взяли Серого и экипаж, гоняли три дня по городу, а теперь угнали совсем куда-то. Живем под страхом. Входят, берут, что захотят, и жизнь человеческая для них не стоит ни гроша. На всех, на своих и чужих, жалко смотреть. Мы с Митей стараемся поменьше слушать и смотреть кругом. У Ани родился сын, и назвали его Вовкой. Сестра Люба».

И в этом же письме приписочка от Ани:

«Мой родной! Ждем гайдамаков с австрийцами, а пока во власти отходящих частей, которые делают с нами, что им угодно. Когда кончится этот кошмар, неизвестно. Подумать только. После кошмара войны еще худшее продолжение. Дети тебя вспоминают, и все мы тебя целуем».

А из Кронштадта в это время Вержбицкая писала: «Положение у нас в городе очень серьезное. На Ино был страшный взрыв. Народ волнуется. Того и гляди, начнется побоище. В городе холера. Умерло несколько врачей. Голод раскрывает свои объятия. Еду достают с большим трудом. Хлеба дают по четверти фунта в день. Что делать с детьми, не знаю».

И оттуда же в это время письмо от приятеля-студента, вскоре погибшего: «Что я делаю? Да ничего! Как будто служу, но и самому в этом разобраться трудно. С учением скверно, очень скверно. Заниматься нет никакой возможности, да и не хватает сил. Встретил на днях в Питере товарища по Политехническому институту. С места в карьер он предложил мне ехать с ним учиться за границу, так как здесь нам больше делать нечего. Я же был настолько огорошен этим, что не сумел сразу ему ответить. Товарищ уехал, а я сижу и жалею».

В конце октября, к Октябрьским торжествам, я поехал в Кронштадт. Ехал я туда с лицом, возбуждавшим подозрение об ожидавшем меня там счастливом свидании, вернулся оттуда с болью мучительной и сердцем разбитым.

Капитолина Федоровна Тимофеевская, от которой мне осталось слышать только: «Ты Кай, и я твоя Кая», — зачем я и ехал, — не смогла мне этого сказать, ибо была перед этим арестована и вскоре расстреляна. Никто из близких ее не видел, и никто не мог ей сказать последнего ласкового слова. Она погибла таинственно и одиноко.

И другая смерть — моего милого приятеля Градина. Его расстреляли в день Рождества Богородицы, 8 сентября, на одном из фортов близ Кронштадта. Обстоятельства этой смерти я знаю

подробнее. В компании с одним матросом с «Аргуни» же решено было ограбить какого-то старика на одной из лайб. На шестерке подошли они к ней. Старик поднял крик, грабители не успели скрыться. Суд. И мне сказывали, что на суде Градин вел себя с достоинством, ни от чего не отрекался. Команда «Аргуни» подала заявление о взятии его на поруки, но времена были не милостивые, и вот он, молодой и красивый, полный жизненных соков, стоит ранним осенним утром на пустынном берегу форта и смотрит смерти в глаза. Кругом вода и камни. А ведь сколько хорошего и милого было заложено в этом человеке! Страшна жизнь. Страшен человек даже сам для себя!

А Глеб Вержбицкий, мальчик-подросток, прислал мне в это время следующее стихотворение:

Звуки замолкли, и жизнь прекратилась,
Даль затянулась туманом седым,
Птица крылами в окошко забилась,
С криком тревожным, тоскливо больным.

Пятна кровавые, алою жутью
Взгляд наполняют предсмертной тоской.
Глаз застилается слезною мутью,
Ужас с улыбкой ползет ледяной.
Блеклые листья, как щеки у трупа.
Смерть возвещают со стоном глухим.
Свечи канунные теплятся скупо.
Смертью стирается жизненный грим.

К трупу с ворчаньем подходит гиена,
С жадностью темное мясо грызет.
Душно в часовне от запаха тлена,
«Вечную память» хор певчих поет.

Тихо, ни звука в объятьях могилы,
Синий мертвец лобызает свой гроб,
Череп с усмешкой свирепой гориллы
Хочет скрепить свой расколотый лоб.

Волны кровавые жизнь захлестнули,
В землю толпами идут мертвецы.
Войны бушуют, и властвуют пули.
Смерти-царицы слепые гонцы.

Возвращаясь из Кронштадта и стоя на палубе, я всматривался

в видневшиеся вдали форты и думал: на каком же из них? А дно залива казалось мне могилой.

А в Москве через месяц-полтора встреча с Володею (В.А.Свитальским). Внешним поводом для нашего сближения были книги, но внутренние основания заключались в нашем обоюдном одиночестве — у Володи, потому что у него только что умерла мать, и не было близости с отцом, что не пришла ему еще пора любви и увлечений, а у меня, потому что я считал ее уже прошедшей. Да и, кроме того, я не мог начинать вновь плести паутину своего личного счастья, когда она только что была порвана и так страшно, и так трагично. Словом, нужны были единственные, быть может, в мире сочетания, чтобы «пришлись мы друг к другу». В этом-то и заключается могущество и игра его величества случая.

Наступающая зима пугала. Центральное отопление в доме держало температуру не выше шести градусов. Жиры и сахар из жизни почти исчезли, т, е. они были на рынке, но стоили таких денег, что служащему со средним заработком были недоступны. Гражданская война захватывала все новые области. Острогожск переходил в это время из рук в руки.

Двадцать третьего ноября вечером заболел Константин Семенович. Этот кряж, никогда не болевший, кричал от невыносимых страданий. Всю ночь стояла жестокая вьюга. Под городом, в шести верстах, был фронт. Врачи были перегружены работою и отказывались придти, а кто и приходил, ничего не мог. Видно, была ущемлена грыжа, и нужна была срочная операция. Но в создавшихся условиях это было невозможно. К вечеру на следующий день Константин Семенович скончался.

Жизнь моя в Москве была занята службою, чтением Достоевского, посещениями Володи и маленькими интересами квартиры, в которой я жил. Хороша очень была в то время игуменья Измарагда из Маклоковского монастыря Тверской губернии. Постоянно она у нас не жила, но держала комнату для своих деловых наездов в Москву. Маленькая (поперек шире своего роста), с тройным подбородком, она была очень жива в движениях. Небольшие острые и умные глаза буравили собеседника. Выросла она в монастыре с четырех лет, читала только по-славянски, отлично знала монастырскую жизнь, церковную службу, церковные уставы. Своей неутомимой энергией, собирая по копеечке, скопила такие деньги, что заново отстроила монастырь, в котором игуменствовала.

Перед войною 1914 года она достраивала подворье в Петербурге и как-то так рассказала о своих поисках архитектора: «Вот, не попадалось нужного человека, чтобы и по вкусу

привелся, и денег не брал. Загоревала это я, затужила, даже всплакнула немного. Ну, а потом помолилась, прочитала акафист "Благоверному" и спать легла. И вот вижу, приходит ко мне "Благоверный" в латах, весь сияющий, и говорит мне: "Пойди-ка ты, матушка, в собор, где мощи мои почивают, отстой службу там, молебен отслужи, и будет тебе по молитве твоей". Тут же я и проснулась. Встала. Поблагодарила Господа, подателя всяких благ, взяла извозчика и поехала в лавру. Отстояла я службу с умилением. Подошла к молебну, а сама уж посматриваю, где ж человек, нужный мне? И будто подходящего нет никого. И усумнилась я, грешница. Да в наказание себе стала на колени да и простояла так, пока к кресту надо было идти. Отхожу это я, приложившись, а ко мне старичок подходит, так себе, в шинельке, должно быть, отставной какой, и спрашивает меня: "А вы откуда, матушка, и по каким делам у нас в столице?" И я рассказала ему все — о моем горе с архитектором. А он мне в ответ: "Что ж, матушка, молитва ваша исполнилась. Вот вам адрес моего сына. Он архитектор, строитель храмов. Во всем вам подходящий". Я, это, старая дура, обрадовалась, схватила бумажку, поблагодарила и пошла к выходу. На паперти хотела прочитать, куда это мне ехать, а написано по-граждански. Как раз проходил какой-то высокий генерал. Я к нему: "Ваше превосходительство, не растолкуете ли мне, как по этому адресу доехать?" Он остановился, почитал, рассказал, что и как, а потом спрашивает: "А по каким это делам вы, матушка, хлопочете?" А так и так мол, строю подворье с храмом во имя митрополита Алексея, московского чудотворца. "А откуда же деньги у вас?" А вот, не оскудевает рука православная, собрала по копеечке, да и члены у нас есть, по десять рублей в год вносят. Тут он вынул золотой и визитную карточку и говорит: "Ну, запишите и меня", — и отошел. С архитектором все устроилось, и когда я к вечеру добралась домой, а жила я всегда в Петербурге у графини Игнатьевой, И она была секретарем нашего общества, и отдала ей золотой и карточку, она мне и говорит: "Да знаешь ли ты, мать, с кем ты разговаривала, и кто тебе золотой дал?" А откуда мне знать-то? "Да ведь это же великий князь Константин Константинович, поэт — К. Р.". Тут-то я уж долго в себя придти не могла».

В 1919 году положение игуменьи Измарагды было еще неплохим. Монастырь существовал. Деньги водились. И она, наезжая в Москву, много помогала, главным образом, высшему духовенству, архиереям, которых любовно называла «золотые головки». Так, она оплачивала квартиру и содержание архиепископа Варшавского Серафима Чичагова, жившего у нас на

квартире со своим келейником. Этот маститый старик, сановный и красивый, был не удел. В Варшаву его не пускали. Против патриарха Тихона он что-то фрондировал. Он много писал, читал, играл часами на гармониуме и, конечно, хандрил. Помню, в день Введения пошли мы с ним в храм Христа Спасителя. По дороге он встретил Софью Ивановну Тютчеву, поговорил с нею и рассказал мне потом, что она была воспитательницей царевен, но оставила царскую семью, когда туда вошел Распутин. У храма Христа владыку узнали богомольцы, и несколько женщин на коленях ползли за ним по ступеням храма, испрашивая его благословения и славя его.

Служил патриарх Тихон с сонмом духовенства и знаменитым протодиаконом Розовым. Мы стояли с владыкою в алтаре. Он не любил «сослужить». Громадный, блистающий золотом, мрамором и огнями, алтарь был изумителен. Сложное и стройное действие происходило в нем. Все было сосредоточено у престола и у центральной фигуры действия — патриарха Тихона. А он, серьезный, сосредоточенный, почти потусторонний, неторопливо, без единого лишнего движения совершал таинственное, божественное и страшное. Остальные все, а их было много, человек до сорока, архиереи, протоиереи, архимандриты, помогали ему в этом таинственном без единого слова, своею сосредоточенностью, сходясь и расходясь вокруг него в сложном ритуале моления, поклонов и лобзаний. Это было незабываемое священнодействие, о котором тысячу лет тому назад послы святого князя Владимира говорили ему: «И не знаем, где мы были, на небе или на земле».

В марте Володя заболел корью. Это заболевание надолго привело его в нашу квартиру. Судьба этого мальчика с каждым днем все более захватывала мое сердце, а обстоятельства его жизни, казалось, помогали этому. Когда наступил день его полного выздоровления и переезда к отцу, мы оба грустно переживали это событие. Тогда еще ни у него, ни у меня не было даже намека на возможность окончательного его переезда ко мне.

К этому времени относится и появление артистки из «Летучей мыши» Сусанны Николаевны. Она столовалась у нас в квартире. Я встречал ее, перекидывался необходимыми словами вежливости и искренне считал, что никак не могу быть в плане ее любви и жизни. И в самом деле. Совсем молодая артистка, с данными для карьеры, и я, немолодой врач, без денег, без положения и, по существу, — без перспектив. А между тем на моем письменном столе начали появляться цветы. Шутливо и искренне доказывал я ей ее ошибку. Она, как водится при этих «острых заболеваниях», убеждала меня в противном и некоторое

время верила в свое чувство ко мне. «Вы не поверите, как я стосковалась по Вас, а Вы все так же неприятно холодны. Хочется, чтобы Вы зашли ко мне. Двадцать первого — мое рождение. Кое-кто у меня будет. Хотелось бы видеть и Вас. Не сердитесь на меня. Сусанна». Время, и очень недолгое притом, работало на меня. Одним неудачным романом в жизни получилось меньше, а простыми дружескими отношениями больше. Лето Сусанна Николаевна прожила с Володей в Маклокове. Это скрасило пребывание там обоих. С осени Сусанна Николаевна была принята в Малый театр, но чтобы удержаться там, нужна была большая работа, а ее тянула женская доля. Она не могла жить одна. Поиски «его» и все неудачные, одна привязанность тяжелее другой. Глаза становились все больше, личико все меньше. Бросила Москву и уехала к родителям в Ташкент. Доехала ли? Не знаю до сих пор.

6 июля 1919 года. Кронштадт. «Дорогой Михаил Михайлович! Живем по-старому, только с каждым днем слабеет уверенность, что завтра будем сыты. Свирепствует сыпной тиф. Несколько докторов и сестер умерло от него. Ночью бросали у нас эс-эровские прокламации. Втихомолку расстреляли несколько человек. Скоро мы, оканчивающие семиклассники, будем сниматься все вместе. Надоело мне реальное, и друг другу тоже мы все надоели. И взаимное уважение потеряли. Ничего трогательного в расставании, как это было у Вас при окончании гимназии, у нас нет. Борис Вержбицкий».

Отпуск 1919 года я провел в Маклокове с Володей. Это были дни, о которых так говорит Тютчев:

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…

Никогда потом мы не разговаривали с Володей так много и не спеша, как там. Город потом никогда не давал нам такой возможности. Там же было единственное сочетание условий: наша взаимная новизна и полная отрешенность от всяких забот. Конечно, у меня, как и всегда и везде, нашлись другие интересы, и больные. Володя в своем письме к Сусанне Николаевне так дает это:

«В Маклокове очутился М. М. Конечно, все им очарованы. Недаром он лечит всех заболевших "кротких, ушедших от мирной жизни" монашек с казначеей включительно. Недаром он каждый праздник пьет у игуменьи Измарагды чай, недаром через день

меняет рубашки и брюки, недаром он сияет гладко выбритым подбородком и начищенными ботинками. Я не удивляюсь, что, ходя во всем белом, он имеет название "божественный человек". Чтобы усладит» его слух церковным пением, в квартиру игуменьи был приглашен монастырский хор, который для него пел песни под названием "канты". Больше всего ему понравилась песня, которая начинается словами: "Ты не пой, соловей, возле кельи моей". Очень красивая песня! "Зверинец" не успокоился до сих пор и все еще рассказывает легенды и истории, в которых Вы и я играем "главную роль". Если Вы попросите М. М. что-нибудь рассказать Вам, он, наверное, с удовольствием исполнит Ваше желание. Боюсь, что мое письмо, при его продолжении, примет тон тех писем, которые наши бабушки и прабабушки перевязывали розовой ленточкой и от любопытных взоров ветреных дочерей прятали их на дно старинного сундука, доверху полного приданым. До свидания. Владимир Свитальский».

А 28 июня в Кронштадте расстреляли группу врачей, и в том числе Алексея Николаевича Сиротинина. О том, что он арестован, слухи в «Санитафлот» дошли. Сделать ничего было нельзя. Перед этим месяца за два я очень уговаривал его бросить Кронштадт и переехать в Нижний Новгород, где был наш морской лазарет для Волжской флотилии. Он отказался, не хотел разлучаться с семьею доктора Фишера, с которой жил по возвращении своем в Кронштадт. Теперь оба погибли. Ни тот, ни другой, насколько я знал их, а знал я их обоих очень близко, никакого активного участия в организации против советской власти не принимали, но, конечно, оба не мыслили по-советски, а особенно Алексей Николаевич, но оба честно работали, верные своему врачебному долгу. Предварительное заключение было недолгим. Алексей Николаевич отнесся к аресту равнодушно. В камере он писал лирические стихотворения и был уже потусторонним. После смерти Лидии Александровны его мало что привязывало к жизни. Старший сын его, Павлик, доживал последние дни, Володя исчез в сумраке гражданской войны, и о нем не было слышно. Оставалась дочь Таня, девочка, не близкая ему. «Умный человек не может не грустить», — сказал Тургенев. В глазах Алексея Николаевича была застарелая грусть. Человеческая пошлость и глупость угнетали его. Когда же к этому присоединилась еще и злоба, его грусть стала переходить в тихую меланхолию. Он был не своим при прежнем режиме, когда его считали «красным» и обходили его. Он стал чужим при новом режиме, и его расстреляли за это. Большего крушения, чем жизнь Алексея Николаевича, я не знаю. Он потерял семью, потерял надежду на лучшее будущее своего народа, как он себе его мыслил. По

существу, ему нечем было жить, и он с большой грустью смотрел вокруг себя, ничего не ожидая. Передавали, что его, как и других, заставили себе копать могилу. Едва ли мог он это сделать. Для этого он был физически немощен и слаб. Единственно, что он мог еще выполнить в жизни, — это спокойно умереть. Он так и умер.

19 августа 1919 года. Кронштадт. «Дорогой Михаил Михайлович! Спешу воспользоваться оказией, чтобы переслать Вам письмо. Живем хуже прежнего. Нет пищи, нет дров. Но все же живем лучше других. Я лично живу очень плохо. Я очень бы хотел с Вами увидеться. Приехав сюда, вы многих бы не досчитались. Жить ничуть не интересно и не хочется. Борис Вержбицкий».

А в Острогожске у Бреусочки вот что происходило в это время. «После смерти отца остались мы втроем — мама, Тоня и я. Жилось неспокойно. Маму несколько раз "ставили к стенке", угрожая расстрелять, и требовали золота, но все же мы прожили кое-как до сентября. И вот пришло известие, что Саша умер. Мы бросили все и помчались в Харьков. Что было с мамой, что это была за поездка, трудно представить. Остановились мы в Харькове у дяди Лукаши и там по наведенным справкам нам указали станицу Тихорецкую как место, где надо искать Сашу. И вот (это самое ужасное, самое тяжелое во всей этой эпопее), мама, взяв Тонечку, поехала искать Сашу. Зачем? Куда? И, не найдя мертвого, потеряла живую. Вернувшись в Харьков, мама сняла нам комнату, а сама поехала в Острогожск, взять кое-что из вещей. Дня через два после ее отъезда заболела Тонечка. Жуткий бред, температура до 40 градусов, и когда мама вернулась, Тоне уж было очень плохо. Мама ухаживала за нею всего четыре дня. У Тони определили менингит. Болела она две недели, даже меньше. Страдала ужасно. Никого не узнавала. Но перед смертью пришла в себя и еле-еле внятно простилась с мамой».

Аня жила в Тихорецкой, когда Оля приехала туда, и она мне рассказывала: «Оля искала следы Саши по госпиталям, кладбищам и церковным записям. Изо дня в день, с утра до вечера расспрашивала она всех, кто мог что-либо сказать. Пересмотрела все намогильные надписи и не нашла никаких следов. В это время сообщили из Ростова, что Гриша заболел сыпным тифом и лежит в госпитале. Время было ужасное. Дороги все забиты военным снаряжением и людским потоком. Кого-кого я только не видела там, в каких ужасных положениях и в каком ужасном виде. Сама я с детьми каким-то чудом добралась от Острогожска до Тихорецкой и осела в ней. Саввич только что перенес несколько приступов возвратного тифа, был мобилизован, и мы его видели мельком. Оля прожила в Тихорецкой две недели и уехала ни с чем».

Ноябрь 1919 года. Кронштадт. «Дорогой М. М.! В Кронштадте жить опасно, благодаря частым налетам. Мама особенно боится, так как они целят всегда в электрическую станцию, где Борис работает. Вчера произошел ужасный пожар, уничтоживший все мясные склады. Я учусь в реальном, но занятия идут очень плохо. Из занятий сделали митинги. По стенам развесили плакаты с идиотским содержанием. Дров в реальном нет, стекла выбиты. Словом, "трудовая школа". У меня отобрали велосипед и не заплатили ни гроша. Глеб Вержбицкий».

Наступили холода. В комнате с каждым днем столбик ртути падал все ниже. На пальцах рук появились трещины от холода: от холодного воздуха, холодной воды, холодных вещей, — и я перебрался тогда в утлый церковный домишко у Старого Пимена, где топились печи и было тепло. Шла вторая зима военного коммунизма. Война отдалялась от Москвы. Мирная жизнь захватывала все большие области, но жить еще не становилось легче. А между тем, в этой жизни — трудной, холодной и голодной — была своя привлекательность. В ней не было рутины, застоя, в ней была молодость и новизна. И что-то страшное, и что-то бесконечно свободное. Была удаль, бесшабашность. Но было и понятно, что долго так тянуться не может.

13 мая 1920 года. Москва. «Родная Аня! Твое письмо, и печальное, и тяжелое, все же доставило мне радость. Теперь я, по крайней мере, знаю, что ты и дети живы. Почему не напишешь о Саввиче? Твоего первого письма я не получал. Письмо, которое дошло до меня, написано, по-видимому, в самом начале твоего выздоровления от сыпного тифа. Сам я живу по нынешним временам, пожалуй, что и хорошо. Я сыт. Есть пшено и сельди. Но готовить еду надо самому, так как другие комбинации не удаются. Сыпным тифом пока не болел. Мечтаю о провинции; жить нужно только там: там простор, там солнце, там отдых и неторопливая жизнь. Не падай духом, родная! Ясные дни настанут, особенно для тебя с твоею на редкость милою детворою. Миша».

29 июня 1920 года. Москва. «Ну вот, мне теперь и легче будет думать о тебе, Анюшка, так как твое письмо многое разъяснило мне о твоей жизни. Теперь я знаю, что ты не одна, с детьми, и что с тобою и Мада, так удивительно тебя не оставившая. Поехать мне к вам этим летом не удастся. Я не огорчаюсь, но как-то уверен в том, что жизнь идет вперед семимильными шагами и неизбежно приведет нас друг к другу. Я на днях приехал из Петрограда и Кронштадта. Прожил я там три недели, и прожил неплохо. Был там по делу, но был довольно свободен и дело, порученное мне, было живым, а порою даже и интересным. Я

должен был ликвидировать под Кронштадтом Чумной форт. Дорога туда и обратно была предоставлена мне в международном вагоне. Опустевший Петроград, а в нем по слухам насчитывается сейчас всего 450 тыс. жителей, очень красив, торжественно красив. Улицы пустынны, извозчика нет ни одного, воздух чистоты удивительной, дали превосходные, каналы свободны. Что же касается голода, то мы привыкли к нему и приноровились к скудной еде, к одному черному хлебу. Дома у меня в Москве под окном на крыше цветник в ящиках и плошках. Порядок в комнате наводит монашенка из Страстного монастыря, которой я за это плачу 1/2 фунта хлеба в день. Еду продолжаю готовить сам. Получаю академический паек, создающий мне полное благополучие. Миша».

22 июля ст. ст. 1920 года. Москва. «Моя милая, несчастная сестрица! Тяжелый круг жизни выпал нам, и мне понятны твои уходы в прошлое, хотя тебе, счастливой матери, и настоящее дает безгранично много. Мне очень хочется увидеться. Вопреки всем твоим предположениям о размеренной жизни старого холостяка, жить с тобою я вовсе не боюсь. Думается мне, что с годами, с большим пониманием жизни и людей, становишься менее эгоистичным. Нам обязательно надо жить вместе, или в одном городе, и видеться каждый день. Стариться вместе.

25 июля твои именины. Я так вспоминаю их: детство. Отец дьякон. Большая просфора. Плитка шоколаду с картинкой и наши маленькие подарки. Дальше. Наш сад. Лиза Станович. Я чем-то озлен и порвал на тебе новенькое, только что подаренное матушкою платьице. Каким я тогда несчастным преступником чувствовал себя! Дальше. Насыпанная горка в саду. Наша горка. Бенгальские огни, что-то вроде живых картин, пение, стихи и Лиза Станович. Тот же сад. Парадный стол. Приглашенные гости и одно желание, чтобы все было хорошо, и опять Лиза Станович. Дальше. Дерюгино. Веранда. Большой яркий цветник. Досадно много чужих людей. Мы уже взрослые, самостоятельные. И, наконец, совсем недавно. Соломенная Сторожка. Зарево войны. Последние дни вместе. Взбудораженность чувств ожидания. Разлука. И с тех пор этот день, связанный с тобою, проходит для меня без тебя, где-то вдали. Моя родная! День нашего свидания настанет. Будем только здоровы. Миша».

Летом 1920 года я был в Кронштадте несколько раз. Бывать там мне было очень грустно, а вместе с тем и интересно, и приятно. В семье Вержбицких мне все было дорого. И ласку, и уют я имел там исключительные. Интересно же было потому, что я еще не оторвался от Кронштадта и от госпиталя, все мне было там знакомо и небезразлично, и самый воздух госпиталя

волновал меня. А окна моей бывшей квартиры в госпитале притягивали меня, и я ходил мимо, всматриваясь и ожидая увидеть за ними образы Алексея Николаевича, Градина, Ка. Я сидел в Петровском парке у берега моря, слушал его прибой, и под его аккомпанемент передо мною проносилось прошлое, ведь совсем недавнее прошлое, но какое далекое, отодвинутое вглубь веков революцией и всем новым, что она внесла.

В Петрограде в это время я познакомился с профессором Словцовым — вице-президентом Института экспериментальной медицины. Маленький, седенький, скромный и незаметный, он очень пришелся мне по душе и стал ночевать у меня в Москве в свои наезды туда. В это время он работал по заданию правительства по вопросам питания и как-то записал в мою книжку для посетителей:

Ой, полным-полна коробочка,
Все доклады опростал.
Только средства не придумал я,
Чтоб народ сытнее стал.

Борис Иванович был религиозен. Образок Серафима Саровского сопровождал его. Он скрывал это. Но религиозность Бориса Ивановича давала себя знать особою тишиною и лаской. Вскоре он умер. В нем давно была видна обреченность. Болезнь его при жизни так и не была определена. Считали его заболевание злокачественным малокровием, а на вскрытии нашли рак желудка.

Октябрь 1920 года. Кронштадт. «Дорогой М. М.! Занятия в училище идут слабо. Но есть надежды на улучшение. Русский язык преподает отец Сергий Путилин, и преподает великолепно. Занимаюсь военным строем. Представитель власти сказал нам, что к весне нам не миновать солдатчины. Вообще, жизнь у нас подлая. Даже и кино закрылось. Не знаю, на что вы надеетесь. Мы все давно потеряли всякую надежду на лучшее. Посылаю Вам новое стихотворение. Пришлите Ваш отзыв о нем.

Красноармейский паек
Теперь для всех маяк один
Горит во тьме житейской
В морщинах сумрачных годин —
Паек красноармейский.

Наш быт совсем пещерным стал
С закваскою плебейской.

И наш конечный идеал —
Паек красноармейский.

Мы гимнов не поем весне,
Забыли блеск апрельский,
А видим извне и во сне —
Паек красноармейский!

Для нас погиб былого мир
С культурой европейской,
Все наше счастье, наш кумир —
Паек красноармейский!»

26 ноября 1920 года. Москва. «Милая Анюшка! Совсем, совсем была близка возможность побывать если не прямо у тебя, то близко, чуть не около. А там уж думал, доберусь и до тебя. Вообще, на юг можно перевестись, но только на большие роли. А я не хочу много брать на себя. С посылкою твоею вышел курьез. Ты дала мой телефон 1-85-75, а нужно 2-85-75. Приехавший попал к чужим людям, те от посылки не отказались, полакомились, а потом позвонили мне. Спасибо им и за это».

31 декабря. Москва. «Милая Анюшка. Письмо твое получил, справки о Саввиче наводил, но пока безрезультатно. Ни его, ни Степана в Главном управлении лагерями не числят. Нашел я и инспектора лагерей, однако, он ничем мне не помог. Сегодня мои именины. Они теперь приходятся под Новый год. Уж который раз я провожу их без вас. Комната моя в праздничном виде. Для чая накрыто три маленьких столика. Самим мною испечена белая булка. Придут сослуживцы. Понятно, что это не интересно, но это "жизненно" нужно. Получил я письмо от Паши, послал ей кое-что. Как живет она, приблизительно знаю. По письму переменилась она мало, а горя перенесла много».

7 января 1921 года. Москва. «День Рождества. Тихо и грустно. Я приложил много усилий к тому, чтобы создать праздник, и это мне удалось. Побывал вчера вечером у всенощной. Вспомнил всех Вас, а затем зажег елочку и ужинал в обществе двух милых дам и Володи. Было хорошо. Все тревоги в жизни отошли куда-то далеко, и многое, многое всплывало в памяти о прежней жизни и о Вас. Дай Бог и Вам хороших праздников и хорошего настроения».

Две «милых дамы» были: Александра Петровна Баранова с дочерью. Семья Барановых жила в Пименовском переулке, напротив нашего поповского домика, в собственном большом

особняке. Принадлежала семья к крупнейшему московскому купечеству. Глава ее, Александр Александрович, инженер-технолог, после революции был приглашен профессором в Высшее техническое училище. Он владел, как и вся семья его, тремя европейскими языками, имел громадную ценную библиотеку с редкими инкунабулами и был настоящим ученым, каких, по-видимому, во времена Островского не попадалось в его «темном царстве», как и в мое время мне не попадались уже типы Островского. С семьей этой я познакомился при очень печальных обстоятельствах в ее жизни. Единственный сын, мальчик двенадцати лет, Гогошка, был убит из револьвера во время игры своим товарищем. Было это в марте 1920 года. Меня пригласили констатировать смерть. Помню, я был поражен тогда достойной выдержкой родителей. Ни лишних движений, ни лишних слов. Это меня всегда пленяло в человеке. Дальше наши отношения завязались на почве обмена фарфора на пшено. У меня были его излишки из академического пайка. Барановым его не хватало. Они жили тогда еще «большим двором», давним, прижившимся и от них не отходившим. А фарфора у Александры Петровны была громадная коллекция. Впрочем, эта «меновая торговля» через одну вдовую попадью тянулась недолго. Александра Петровна вскоре перешла на более простой способ — дарственный. Отношения завязались и упрочились на многие годы.

12 января 1921 года. Кронштадт. «Дорогой М. М. Сообщаю о маминой болезни. У нее нашли выпотный плеврит и выкачали много эксудату. Теперь ей дали двухмесячный отпуск. Мы все ждали и перестали Вас ждать. Вам непременно нужно время от времени приезжать к нам и нас "взболтнуть". Как раз теперь уже пора. Глеб написал новое стихотворение "Слухи", за которое отец Путилин его расцеловал. Приезжайте обязательно. Борис Вержбицкий».

30 января. Москва. «Милая Анюшка! Твои письма с неустанным "как плохо, как плохо", — и ходишь после них день-другой сам не свой. Ход моих мыслей не сложен: звать тебя в Москву пока нельзя. Ехать мне в Екатеринодар тоже нельзя. Остается помощь отсюда. Это я и стану делать. Жить здесь становится труднее. Рынки закрыты, выдачи плохи. Пайки уменьшаются. Картофель давно-давно стоит 500 руб. фунт. Кружка молока — свыше 2000, фунт сахару не купить и за 15 тыс. Черный хлеб — тысячу рублей за фунт и дороже. Становится любопытно, что же будет дальше. Лихоносов в Ялте. Плохо с глазами. По-видимому, нехорошо и вообще. Мучает меня молчание Оли. Писал я ей много раз. Она не отвечает. Пишет ли она тебе?»

5 марта 1921 года. Москва. «Милая Анюшка! Иринушка написала мне, что тетя Оля очень плохо живет. Напиши мне, что знаешь о ней. Она мне не ответила ни на одно письмо, и мне это до того больно, что она начинает мне сниться, а все ее отношение ко мне мучает меня и является каким-то трагическим недоразумением. Иринушке посылаю книги, тебе — белье и чесучу на костюм. Буду рад, если она доставит тебе удовольствие».

Телеграмма: «Москва — Петровка 17. Санитафлот. Борис тяжко ранен в позвоночник. Вержбицкая».

Я знал, что в Кронштадте восстание, знал, что там творится что-то страшное, но как всегда в этих случаях думал, что близких это страшное минет и не коснется. И вот: «Борис ранен в позвоночник». Этот 16-летний мальчик, чистый, трудолюбивый и сильный, был дорог мне. А чем я мог помочь ему в этом страшном несчастье? Даже поехать к нему и побыть около него не мог. Кронштадт был недоступен. Я должен был оставаться на месте и, кроме того, молчать. Молчать и о событиях в Кронштадте, и о ранении Бориса. Все было настороже вокруг. Никто никому не верил. Все подозревали друг друга. Из газет я знал, что видную роль в восстании играл отец Сергий Путилин. Что он был образован, талантлив и с широким кругозором, — я знал это. Но что в нем была отвага и такая решимость, какую он проявил, этого даже я не подозревал.

21 апреля. Москва. «Сегодня выяснилось, милая Анюшка, что я могу послать тебе не 300 тысяч, а больше. Я рад этому и с утра с весенним солнышком в таком настроении, которое теперь бывает не часто. Писать о себе не хочется и стыдно. Живу по настоящему времени хорошо. Конечно, сам готовлю себе еду, сам убираю комнату (монашенка отказалась, а другого человека не найду), сам забочусь обо всем. Вот нужно менять комнату, и я подыскиваю подходящую. Сам я выгляжу неплохо, могу иногда чуть-чуть пофрантить и, в общем, опустился не очень, хотя внешне и внутреннее несомненно опростился».

13 апреля. Москва. «Малая Никитская, Георгиевский пер., д. 5; Письмо это и 500 тыс. денег передаст тебе какой-то кооператор, посланный мне Лихоносовым. Я так хорошо устроился на новой квартире, что могу теперь назвать тебя сюда. У меня большая комната с верандой и камином в особняке, чистый двор, и думается, что если ты приедешь, то можно будет занять помещение еще и для тебя».

23 апреля. Кронштадт. «Дорогой М. М.I Ноги мои как будто лучше. Чувствительность восстановилась. Необходимо вот питание, а его нет. Балкон у нас открыт, свету и воздуху много.

Если можно, скорее приезжайте. Борис Вержбицкий».

5 мая. Москва. «Милая Анюшка! Жизнь здесь не кажется мне настоящей, и опротивели занятия в "Санитафлоте". Нужно на что-то решиться и вернуться к лечебной работе и настоящему врачебному делу. Получил письмо от Лихоносова. Больной глазами, лежит он в Ялте, неподвижно на спине. Письмо написано под его диктовку. Вот бедный! Он просит твой адрес. Напиши ты ему ласковое письмо, ободри и утешь его. Святую провел хорошо: нарядно, празднично, с куличом и пасхой. Был, конечно, у заутрени, а потом "разговлялся" с Александрой Петровной и Володею. На столе в вазе "невестою" красовалась большая ветка цветущей яблони. О твоем приезде сюда дописаться нельзя, а нужно лично договориться, и я сейчас весь в планах о поездке к тебе. Ехать придется на общих основаниях, что, говорят, ужасно».

10 июня. Кронштадт. «Дорогой М. М.! Жду Вас, жду и никак не могу дождаться. Мне очень тяжело. Ноги мои вот теперь в каком положении: ступни обоих ног сгибаются, чуть шевелятся икры, но ни сгибать, ни разгибать ног не могу. В общем, жизнь кончилась. Настоящего нет. Будущее безотрадно. Есть только воспоминание ближайшего прошлого, когда я был здоров. Если можете, приезжайте, конечно, уже не радость делить, а горе. Интереса я больше не представляю, я уже не человек, а подобие человека. Но мне будет очень радостно, если Вы приедете. Борис Вержбицкий».

22 июня. Москва. «Милая Анюшка. Спасибо тебе за куличи. Пострадали они мало. Не посылай ты мне больше пока ничего. Меня и так угрызает мое буржуазное существование по сравнению с твоим. Правда, я все делаю сам для себя, только белье не стираю. Но у меня много книг и красивых вещей, и своя жизнь, не очень захватанная лапами современности. А делаю я все весело, легко, давно примирился с неизбежным и не порчу настроения ни себе, ни Володе. Кстати, о нем. Отец Володи уехал в Петроград и оставил его мне. Я рад этому. Жить с ним и трудно, и помощник он мне плохой, но я привык к нему, привязался и очень бы скучал без него. То, что ты написала мне об Иринушке, что она раненько утром, по собственному желанию встала и пошла на рынок и в церковь, это до того дорого и мило моему сердцу, что я и сказать не могу. Ведь в этом целый мир чувствований, моральных качеств и понятий. И это в десять лет».

В июле я уехал к Ане. Дорогу до Ростова проделал в отдельном вагоне какого-то крупного и ответственного работника. В Ростове же перешел в общий вагон и из-за тесноты просидел всю ночь на ступеньках в тамбуре, любуясь летнею

ночью и степным простором. Аня и дети были здоровы. Отравляла им жизнь дама с дочерью, которых Аня пустила к себе на время в комнату из сострадания к их положению и которые, заняв угол, оказались потом очень неприятными. Аня преподавала в школе, но кормить детей, себя и воспитательницу при детях на свой заработок не могла, а продавала вещи или выменивала их на продукты.

Рынок в Екатеринодаре поражал своим обилием. Громадные арбы были полны плодов земных, и сидели на них толстые, краснощекие, загорелые тетки и спокойно и величественно ответствовали на униженные предложения горожан тех или иных предметов обихода: «Не треба», или в одном случае: «Растопырку давай», — это ей понадобился зонтик. Торговля была меновая, но требовались мануфактура, одежда, обувь.

Самое грустное в жизни Ани было отсутствие каких-либо сведений о Саввиче — жив, не жив, если жив, где? Свободен, несвободен, если свободен, почему не дает знать о себе? И т. д., до бесконечности. Будущее без отца и мужа рисовалось мрачным, и это не давало покоя. Дети были умны и милы, многое понимали чутьем, жались к матери. С ними же, страдая и неся все тяготы жизни, оставалась Мария Варсонофьевна — старая дева с музыкой и французским языком, которую дети, от «мадемуазель», ласково и сокращенно называли «Мада» и «Мадушка». Когда-то она получала за свои труды определенное содержание. Теперь уж давно ничего не получала, а детей и Аню не оставила. Это был спокойный, неторопливый человек, всегда подтянутый, опрятно одетый, доброжелательный ко всем, религиозный и глубоко порядочный. Находилась она у Ани уже пять-шесть лет.

Прожил я в Екатеринодаре две недели. Съездили мы в это время с Аней и в Новороссийск, как-то и где-то разыскивая следы Саввича. Ничего там не нашли, а посидели у моря и погрустили. В Екатеринодаре я повидал сестер Познанских и Варвару Александровну Калайда. Познанские переменились мало, обе они работали и растили дочку Любы — мою крестницу. Муж Любы Познанской пропал без вести, его поглотила гражданская война — явление очень частое в то время. Варвара Александровна, эта петербургская барыня, была в очень жалком положении. Муж ее также был неизвестно где. Три сына ее погибли. Она жила с двумя дочерьми. Старшая пела в местной опере, но кормила опера очень плохо, а ее муж также пропал без вести.

Итого, в маленьком кругу из четырех женщин — у Ани, Любы Познанской и Варвары Александровны с дочерью — мужья были неизвестно где. А сами они — ни вдовы, ни солдатки и не брошенные мужьями — страдали о них, растя своих детей, жили

какими-то слухами, И это была не жизнь. В Москву я возвращался один. Аня решила свой переезд сюда отложить до весны. Расстались мы тяжело. Ехал я обратно санитарным поездом. Шел он очень медленно. Пробыли мы в пути 11 дней. Ехали сравнительно удобно — у каждого было свое лежачее место, и была даже предоставлена еда. В Донской области, на одной из глухих и палимых солнцем станций, ко мне подошла старушка «из бывших» в очень жалком состоянии и рассказала мне: «Я ехала из Ростова в Москву к дочери. По дороге со мною случился понос, и меня из вагона на этой станции высадили. Здесь у меня украли деньги, паспорт и вещи. Теперь я вот сколько времени не могу попасть на поезд. Я погибаю. Помогите». Мне удалось ее поместить к нам, сначала в тамбуре, пока мы ее не «обработали на вшивость», а затем дали и койку. Даже самые жестокие примирились с нею и подкармливали ее. Так довез я ее до Москвы. Мне очень дорого воспоминание об этом.

В дороге я познакомился с Натальей Павловной Вревской, с тех пор моим другом. Она после нескольких лет отсутствия из Петрограда, возвращалась туда к мужу, профессору-химику.

28 августа 1921 года. Москва. «Милая Анюшка. Прости, что не написал до сих пор. Приехал я в Москву лишь двадцать третьего к вечеру. Поезд наш остановился в Перове, и оттуда я добирался к себе "ломовиком". Спасибо тебе за всю твою ласку, любовь и привязанность. В это свидание наше я увидел опять, что наша близость сохранилась, что осталось взаимное понимание и есть уверенность ц прочности наших отношений. Обнимаю всех».

23 сентября. Москва. «Милая Анюшка. Есть слухи о Грише» что он жив и здоров. Кстати, получила ли ты какую-нибудь помощь от Луки? Я писал ему. Спасибо тебе за такую отличную оказию. Передаю с нею 200 тыс. и вещи, что наскоро мог собрать».

19 октября. Екатеринодар. «Миша, родной! Здесь свирепствует эпидемия дифтерии, и совершенно нет сыворотки. Достань скоро и пошли. Несколько дней тому назад всех нас собрались выселять, занимая дом под амбулаторию. Насилу себя отстояла. Вообще, не жизнь, а малина. Напиши мне, платят ли вам жалованье, и как обстоит дело с продуктами? Опять я пишу тебе безобразное, нудное письмо. Но, знаешь, у меня такое чувство, что кроме этих писем у меня ничего и нет. Всюду безумная тоска, всюду так гадко. Иногда мы посмеемся у нас в учительской, но со слезами на глазах. Все всегда голодны, и все думают только о том, как бы поесть. Твое письмо я получила и счастлива фразою: "Когда бы ты ни приехала, всегда хорошо"».

16 ноября. Москва. «Милая Анюшка! Не пиши мне о

погибании. Надо жить с мыслями о жизни во что бы то ни стало, тогда меньше и напастей в жизни бывает. Возвращаюсь к прежнему. Найдешь лучше приехать, приезжай. Третью неделю живет у меня Лихоносов с женою. Обвенчали их в нашей приходской церкви у Георгия на Всполье, а свадьбу по-хорошему справили у меня. От Лихоносова я узнал, что Вышипан тяжело переболел сыпным тифом, а у Любы родилась 1 октября дочь Галина. Знаешь ли ты об этом? Лихоносов устраивает мне оказию к тебе в лице председателя Кубанского союза кооператоров. Он привезет тебе 500 тыс. рублей. Посылки никакой, к сожалению, не берет. Пиши мне, это необходимо для моего самочувствия. Мое благополучие угнетает меня. В лихоносовскую свадьбу, когда горел камин, и комната была ярко освещена, и было красиво, и стол был так обилен, мне было больно вспоминать о тебе. Неонила Кузнецова написала мне, что Паша продала дом, а деньги все ухлопала на свадьбу Шуры. Гадко и противно».

20 ноября. Кронштадт. «Дорогой М. М.! Посылаю Вам с оказией Ваши золотые часы. Бабушка вздыхает, что Вы их обязательно проедите. Ноги мои, хоть медленно, но поправляются и я могу ходить на костылях. Словом, дешево продаются, за ненадобностью, два кресла на колесах. До нас дошли слухи, что Вы женились. При этом известии Леля недовольно передернула плечами и хмыкнула, Таня же вскрикнула: "Да как он смел!", — Галька же превратился в вопросительный знак и многозначительно улыбнулся. Жизнь у нас трудная, несмотря на напряженность работы у мамы. Крепко Вас целую. Борис Вержбицкий».

23 ноября 1921 года. Москва. «Милая Анюшка. Пересылаю письмо из Парижа. Полагаю, что теперь все ясно и ты перестанешь убиваться о Саввиче. Все твои мрачные предположения не оправдались. Итак, все страшное прошло, не станем о нем вспоминать, а станем жить если не настоящим, то будущим. Его-то как раз у тебя и не было. Люба пишет мне, что Бреусонька пыталась много раз писать нам, но не могла. Она все еще в состоянии оцепенения, почти не разговаривает и каждый день ездит к Тоне на могилу. Начинаю думать, что Господь наказывает хороших людей за плохих».

26 декабря. Екатеринодар. «Милый крестный! Поздравляю тебя с днем рождения. Мне уже одиннадцать лет. Вся моя мечта очутиться около тебя в Москве и посмотреть твой маленький музей. У нас хлеб черный стоит уже 15 тыс. рублей фунт. Мамочка очень жалела, что не поехала тогда с тобою. Милый крестный! Пришли мне, если можно, книг. Очень скучно без них. Когда ты уехал, я достала "Дети капитана Грандта", и мне эта

книга очень понравилась. Отчего ты мне ни разу не написал ни одного словечка? Я так ждала от тебя письма. Пожалуйста, напиши скорее. Целую крепко. Твоя Ирина Долгополова».

6 января 1922 года. Москва. «Милая Анюшка! К вам едет знакомая моего сослуживца и везет тебе 3 миллиона денег. Ни у кого не занимал, а получилась счастливая получка в кооперативе, где я состою агентом по закупке книг. Посылаю также сахар, сгущенное молоко, тебе и Маде по куску мыла, шелковое одеяло для Иринушки, другое на продажу. Для девочек ленты, книги и какую-то еще чепуху. Книги с чудесными рисунками Каррика, которые, я думаю, больше могут доставить удовольствия взрослым, чем детям. Вчера я получил письма из Парижа, копии с которых прилагаю. Письма переписывал Володя. Почерк у него своеобразный, но разобрать его можно. Теперь, когда вопрос о помощи из-за границы через американскую миссию стал на ноги, для меня отпадает единственное и главное сомнение для твоего переезда сюда — еда обеспечена, и надо ехать. А ты не хандри, все тяжелое уйдет, дети милы, обстановка здесь иная, Саввич жив и здоров и, Бог даст, будет с тобою, чего же лучше».

25 января. Москва. «Милая Анюшка! Как надоела зима, мороз и холод! В комнате у меня утром 6, вечером 10. Но "весна идет, весна идет, мы молодой весны гонцы". Приезжай. Александра Петровна тоже заразилась моим ожиданием тебя и, особенно, детворы. Ее "Бехштейн" к услугам детей, а пока что фунт черного хлеба стоит уже 25 тысяч, фунт подсолнечного масла — 110 тыс. и т. д. Хорошо, что я ничего не покупаю, и это меня мало задевает. На предстоящее лето, когда ты уже будешь здесь, я строю планы побывать у остальных сестер, и особенно у Бреусоньки. Она камнем лежит на моем сердце».

В половине января приехал в Москву по делам Вышипан. Для меня этот приезд означал наступление «нормализации в жизни страны». Да оно так, по существу, и было. Однако испуг расстояний, железных дорог еще держался. В эти годы Вышипаны жили частью в Харькове, частью же под ним в земледельческой школе, где Вышипан был директором. Жизнь там первое время была сносной. Ну, а потом начался бандитизм, их до ниточки ограбили и чуть не убили. Но все же семья вся была вместе, и горе и невзгоды переносились легче. Это только крепче спаяло. А теперь, прихворнув у меня в Москве, Вышипан, недавно перенесший сыпной тиф, жестоко испугался своего недомогания. Ему рисовалась одна и та же картина — вот он опять заболел чем-то тяжелым, не скоро встанет, а быть может, и умрет. А там, далеко, Любочка с двумя девочками, «Галочка совсем-совсем маленькая, белокурая и ласковая». И этот большой, крупный

мужчина плакал, не скрывая своих слез.

Слава Богу, все обошлось. Здоровье вернулось, и Вышипан поехал домой, везя семье московские подарки. А в начале февраля приехала Аня. Она позвонила по телефону с вокзала, я бросился туда и, нагрузив их на ломовика, привез домой, и стал я «сам-шесть». Помню первый завтрак. Сварили картофель. Они не видели его несколько лет, и я был счастлив наблюдать удовольствие, с которым они его ели. В доме я занимал две комнаты. Мы вернулись с Володей в нашу с балконом и поселились там при нуле градусов. Аня сразу получила отдельный теплый угол. Начало было хорошее. Продолжение следовало такое же. Мадушка занималась детьми, Аня поступила на службу в Государственный банк. Вове шел четвертый год. Он был очень мал, не по годам, но здоров и шустр. Верочке — восемь лет. Тоненькая, хрупкая, с грустным личиком, матовой кожей и большими глазами. Она была склонна к музыке, к танцам, и все ее движения были женственны и грациозны. И, наконец, Ирина — крепкая девочка, чуть строгая, чуть молчаливая. Вот так и зажили мы тогда. Лето, конечно, провели в Москве. Тогда на дачу, кажется, еще никто не выезжал. Питанием были обеспечены через американскую миссию. Сведения о Саввиче принимали характер систематический и приятный.

10 сентября. Кронштадт. «Вы спрашиваете, почему мы молчим. Но разве Вы не понимаете того, что нам нечего отвечать на Ваши письма? Вы своим поведением заставили нас убедиться в том, что мы напрасно считали Вас близким человеком. Когда нас постигло из ряда вон выходящее несчастье, когда нам стала необходима поддержка, и поддержка именно Ваша, то ее не оказалось. Вспомните сами. Вы получили телеграмму, и как Вы отозвались на нее? Мы представляли и рисовали себе такую картину: Михаил Михайлович получает телеграмму, немедленно приезжает в Кронштадт, привозит с собой специалистов, словом, делает то, что должен делать в таком случае близкий человек. Мы ждали Вас, Вы не приезжали. Сначала Вашим оправданием в наших глазах было, что мы представляли некоторую опасность для Вас и Вы из понятного чувства самосохранения не решались приезжать. Но шли месяцы. Наконец, истек год, пошел второй, а Вы не были с нами. Мы не получили от Вас даже самого дешевого из того, что могут дать люди — доброго совета. Какими никчемными и нелепыми казались Ваши письма туда, где люди потеряли голову от переживаемого ужаса и ожидали, может быть, даже смерти. Да, трудные были дни, Михаил Михайлович, и мы перенесли их без Вас. А вы, как доктор, не могли не понимать серьезности положения. Да кроме того, Вы ведь нам не чужой, и

Вы сами заставили нас так думать своим отношением к нам. Вспомните наши ночные разговоры. Наши взгляды на жизнь вырабатывались под Вашим влиянием. Каждое Ваше слово было для нас законом. Мы верили Вам. Но последние два года ослабили нашу веру и поставили ребром вопрос: так ли Вы близки к нам? Решать этот вопрос и больно, и жутко. Борис и Глеб Вержбицкие».

22 сентября 1922 года. Кронштадт. «Вы, может быть, правы, говоря, что мы забыли суровую действительность, что наши несчастья в наши дни, увы, стали обычными. Поверьте, что наше письмо к Вам написано не из желания причинить Вам боль, мы слишком любили Вас, и тоже бескорыстно. Но наше несчастье заслонило от нас все и заставило забыть о многих и многих потерях, понесенных другими людьми. Нам так хотелось видеть Вас с нами, и все препятствия, разделяющие нас, казались нам ничтожными. Мы, повторяем, забыли о других жертвах беспощадной эпохи. Суровая действительность сделала нас эгоистами. В этом, пожалуй, наша вина, и от этого наше предыдущее письмо вышло таким резким. Другому мы так бы не написали. Да, Вы, хоть и говорите, что требования, предъявляемые нами, дали повод к охлаждению, все же по-прежнему близки и дороги любящим Вас Борису и Глебу».

Между тем, положение «Санитафлота» и мое в нем с каждым днем становилось все неустойчивее. Это было время поглощения армией флота. Все организации флотские понемногу вливались в армейские. Сам морской комиссариат был уничтожен, и понятно, санитарная часть его тоже теряла свою самостоятельность и стала сначала морским отделом «Главсанупра», а затем, в дальнейшем, должна была организационно умалиться еще больше. Александра Ювенальевича Зуева, последнего главного санитарного инспектора флота, давно не было в Москве.

Этот бодрый, здоровый, крепкий человек, девизом которого было «Больше всего любите Ваше дело», с осени 1920 года стал «сдавать ногами». Какое-то сложное, невыясненное заболевание спинного мозга сделало его ноги неустойчивыми и потерявшими координацию движений. Невропатологи считали, что произошло это от недостаточного питания и постоянного охлаждения тела. И в самом деле, получая в сутки 200 граммов черного хлеба, больше похожего на «макуху», и урезывая себя во всем ради семьи, А. Ю. недоедал 1918, 1919 и 1920 годы. Кроме того, в доме и на службе температура была ниже ноля, одет он был плохо. Работа же и ответственность его были очень велики. На всех фронтах гражданской войны участвовали и морские части. Их надо было медицински обслужить. Все делалось, перебрасывалось и

создавалось телеграфно, и за всем надо было успеть. Он долго не хотел уступать болезни. Способа передвижения для него, кроме пешего, не было никакого, и было страшно и больно смотреть, как этот большой человек топтался на одном месте, не решался перейти улицу, потому что ноги не слушались, могли затормозить каждую минуту, а это грозило попасть под автомобиль в 1921 году. А. Ю. перешел на инвалидность и уехал в Петроград. Мы все плакали, прощаясь с ним. Бывая затем в Ленинграде, я заходил к нему. Двигался он с трудом, но голова его была свежа, ум ясен, интерес к жизни колоссальный. К девяти иностранным языкам, которые знал, он присоединил изучение японского и в это время делал уже рефераты из японских медицинских журналов. Флот он любил по-прежнему безгранично и очень страдал за его умаление. В 1924 году Александр Ювенальевич скончался.

Так вот, «Санитафлота» уже не существовало. Со мною уже не раз велись разговоры о переводе в главные доктора морских госпиталей или в Севастополе, или в Петрограде. Но я на это не шел. Я видел уже, что беспартийному на это идти нельзя. Это означало впереди неминуемый провал с судом или без него. Кроме того, у меня и не было вкуса к этому, должно быть, и способностей нужных. Я отказывался, тянул, сам не зная, что мне делать. Просьбы мои об увольнении с действительной военно-морской службы встречали отказ. Так, ничего не решив, я уехал в октябре в санаторий для ученых в Ай-Тодор и Гаспру. Из Севастополя до Ялты шел морем на маленьком тральщике. Был шторм, бросало нас жестоко, всю ночь пробыл я на палубе и, по существу, в первый раз увидел героику моряка и понял как следует пословицу: «Кто на море не бывал, тот страху не знавал». Из Ялты до Ай-Тодора я с удовольствием прошел пешком. Одет я был матросом… и своим видом очень смутил ученый народ. Надо сказать, что впечатление у меня от этого народа осталось отвратительное. Настоящих ученых в санатории не было. Были больше величины, живущие отраженным светом. Но, Боже мой, сколько в них было спеси, самомнения и трусости! А ученые женщины, или жены ученых! Недаром в свое время Константин Леонтьев сбежал из Москвы «от профессорских жен».

7 октября. Крым. «Милая Анюшка! Живу я хорошо. Долго бы жить так, конечно, не прожил, но несколько недель можно и должно. Я часто думаю, как бы тебе так пожить и отдохнуть. Сложился мой день так. Встаю с солнышком. Это теперь не очень рано. К девяти по звонку иду к завтраку. Сервировка и общая обстановка приличны. Живу я в Ай-Тодоре в комнате государыни Марии Федоровны. Ящики комодов и шкафов в ней пахнут еще

мускусом, запах которого, говорят, она любила. В Гаспре сохранилась комната, в которой в свое время жил и болел Лев Толстой. А весь дом и домовая церковь при нем до сих пор еще хранят мистический дух Александра Николаевича Голицына — министра духовных дел при Александре I. После завтрака идем к морю. Это не близко, и там проводим время до двух, когда обедаем. В пять пьем чай, а в восемь ужинаем. Освещения нет никакого, наступает темнота, становится холодно, грустно и скучно. Большинство ложится спать. Я не могу много спать и оттого сплю плохо. Вижу странные и тревожные сны. Первый день ученое население дома косилось на меня, ну а потом, когда я оделся "комсоставом", все стали милостивее, а особенно дамы. Напиши мне, пожалуйста, в Севастополь, в Управление флота, как Вы живете и что с Володей. Я бы на обратной дороге получил твое письмо и знал, что с Вами».

Прожил я в санатории всего 18 дней, больше не смог. Окружающие люди угнетали меня, и кроме того, меня как чеховских трех сестер тянуло в Москву, в Москву. Там ожидало мое неопределенное служебное положение, ожидал Володя, которого я наметил вернуть к отцу. И то, и другое мучило меня. Разрешилось это к концу года так: потерянным и возвращенным Володею и моей демобилизацией с военно-морской службы. Начиналась новая глава жизни, которая называлась «Петровская больница».

Глава двенадцатая. ПЕТРОВСКАЯ БОЛЬНИЦА (1923–1933)

Я расскажу вам повесть сердца.
Как плачет в нем печальная душа.
Данте

Восемнадцатого февраля 1933 года, в воскресенье, во втором часу дня я в последний раз остановился в дверях своей квартиры в Алабино и навсегда попрощался с чудесными комнатами, где прожил 10 лет. С тех пор прошло много событий — и личных, и мирового масштаба, и Володи вот уже нет седьмой год, а Алабино все еще продолжает жить в сердце и снится всегда как-то «обиженно». Я все еще продолжаю жить в нем, но как-то «сбоку», не по праву. Часть моей квартиры уже занята другими, все вещи мои почти вывезены, а я медлю с отъездом, собираюсь и знаю, что надо ехать, что достоинство не позволяет мне дальше цепляться за то, что уже ушло, а выехать не могу. И этот сон, варьируясь в деталях, но оставаясь в основном всегда одним и тем же, не часто, но и не редко, нагоняет на меня великую грусть. После этого сна я почти осязательно понимаю, что жизнь прожита, что ничто из прошлого не вернется, что —

Все это было, было, было,
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернет?

Обычно в повседневной жизни забываешь об этом, не помнишь. Это чувство от Алабина и эти воспоминания о нем не только у меня, его хозяина. Профессор К.Н.Игумнов, пианист, писал мне недавно из Эривани: «Часто вспоминаю алабинский быт. У меня здесь в архитектурном сборнике есть фотография дворца. Вообще, старых друзей и старые переживания я очень оценил, особенно в эти дни изгнания».

Итак, Петровская больница в Алабино. Мне сорок лет. После некоторой карьеры на флоте я оказываюсь ничем и никем. Это неприятно, но не настолько, чтобы очень портило настроение. На первом плане Володя, его здоровье и почти необходимость для него покинуть Москву. На Пасхальной неделе 1923 года я забираю его и через полтора часа пути в нетопленном и

переполненном вагоне оказываюсь в новом мире, с новыми людьми и новыми интересами.

Петровская больница Московского губернского земства имела хорошее прошлое. Врач Александра Гавриловна Архангельская, умершая в 1905 году, оставила и до моих дней славу о себе. «Барыня наша», — вспоминали с любовью и уважением старики. Архангельская была отличным окулистом и хирургом. Больница и все окрестные деревни были заполнены больными, съезжавшимися, по подсчетам заведующего губернским санитарным бюро Московского земства, доктора И.В.Попова, к Архангельской из 26-ти окружных губерний. Больница была прекрасно обстроена. Терапевтический корпус с центральным отоплением, проведенной холодной и горячей водой, был просторен, светел и наряден. Через дорогу от усадьбы больницы лежала знаменитая усадьба Демидовых с дворцом и флигелями, построенными М.Ф.Казаковым при Екатерине II. Парк, река Десна, чудесная церковь у парадного въезда в усадьбу. Дворец уже без окон и дверей, восьмигранной формы, с широким куполом, благородных линий екатерининского величия. Четыре флигеля по радиусам дворца с закругленными входами, создающими, вместе с дворцом, изумительный архитектурный ансамбль.

В Москве уже серели улицы булыжником. Здесь же лежала зима, было бело, заброшенно, пустынно. Часть флигелей также зияла пустыми глазницами своих окон. Тишина и безлюдье пугали. Москва была близка по расстоянию и далека по достижению. Поезд приходил и уходил по одному разу в сутки. Телефонной связи не существовало. Поражал разительный контраст столицы и глубокой провинции, почти со средневековым укладом жизни. Керосину не было. Горели фитильки. С едою было затруднительно. Деньги, менявшие свой курс ежедневно, были не в спросе. В жизни деревни чувствовался, еще больше, чем в городе, конфликт между старым и новым. Старое из сознания не ушло, новое еще не привилось. Получалось впечатление «всех сбитых с толку». Обо всем этом можно было думать в сгустившихся сумерках, при плохонькой керосиновой лампе в первый длинный вечер.

На утро же эти думы должны были уступить свое место заботе о больном человеке. Работы было много, врачей было мало — всего два, я третий. «Размеренный труд есть главный ключ к человеческому счастью», — сказал замечательный Уильям Мейо. Это глубокая правда. В девять часов утра я начинал обход больных своего отделения, и это было всегда настолько содержательно, интересно и нужно, что я всегда шел с охотою. К

одиннадцати приходил домой, к завтраку. К этому времени Володя уже обычно был выбрит и одет, стол накрыт и хорошо сервирован. Подавали какую-то кашу на молоке и кофе, а по воскресеньям — горячий пирог. После завтрака, неспешного, но и не длительного, я уходил принимать больных. Прием был неограничен, обычно бывал невелик, но бывал и многолюден. Приема я не любил, а все же и в нем был свой интерес. К двум-трем часам дня я был уже дома. В три часа подавался обед. До пяти я читал, гулял, лежал, в зависимости от погоды и настроения. В пять часов опять шел в отделение и оставался там по потребности, но не позже восьми-девяти часов вечера. В девять часов подавался ужин, также нарядно, как и обед. Вечер до двенадцати проходил по-разному. Если мы были только с Володей вдвоем, расходились по своим комнатам, и каждый занимался своим делом. Так же было и при Александре Петровне. Но часто вечер проводили все вместе или у камина, или у рояля, или на прогулке и балконе летом.

По четвергам в больнице был неприемный день, и зимою обычно я накануне уезжал в Москву и возвращался или вечером на следующий день, или утром в пятницу. Возвращался всегда с нетерпением и радостью, глубоко вдыхая чудесный алабинский воздух полей и лесов. Володя очень часто оставался один и тогда встречал меня вместе с нашей очередною Машею или Танею, и оба наперерыв сообщали мне события прошедшего дня. И как бывали уютны эти вечера «возвращения» с московскими новостями, новыми книгами и Володею, что-либо нарисовавшим, придумавшим или напроказившим. И как часто бывал я похож на евангельского фарисея, говоря: «Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как москвичи: не езжу на трамваях, ругаясь и толкаясь, не стою в очередях, не злюсь на всех и вся за темноту, грязь в квартирах и уборных, на невозможность попасть даже в баню».

Летом обыкновенно с нами живала Александра Петровна, Аня с детьми, приезжала Любочка со своими девочками. Сообщение с Москвою с каждым годом становилось удобнее, проще и скорее, и очень многие стремились погостить в Алабино не только летом, но и зимою. А я любил Алабино осенью и зимою больше, чем летом. К 1 сентября обычно кончался «дачный сезон», пустела усадьба, квартира чистилась и приводилась в зимний порядок. Чудесные запахи и краски осени сменялись белым покровом. Сколько чудесного в этой смене времен года, сколько радости дарует нам природа! А в квартире, заставленной массой растений, горит камин, тикают часы, лежат грудами книги и рисует или режет гравюру на дереве Володя. И никогда, никогда нам не было с ним ни скучно, ни одиноко.

С годами флигеля усадьбы были отстроены и заселены, но дворец продолжал нести наказание за свое аристократическое прошлое. Чудесные кафельные печи в нем разбили ломами. Чугунных львов и сфинксов времен Екатерины свезли в «Главметаллолом», так же как и бронзовое надгробие работы Мартоса из церкви над усыпальницей Демидовых. Э-э, да что говорить! Страшны невежество и темнота населения, но еще более страшны они у властей предержащих.

Комната Володи была совсем маленькая, в одно окно на юг. В ней стояли круглый стол, мягкое кресло и кровать. Обогревалась комната лежанкой и была очень тепла. Лежанку Володя разрисовал под кафель, на стенах развесил много гравюр. Выбирал он их с большим разбором, но редко оставлял их надолго, находилось еще что-нибудь лучшее, что и сменяло прежнее.

Моя комната была вместе с гостиной. В ней стояли рояль, два дивана с креслами и масса другой мебели. Комната была в шесть окон, на запад и север по три окна, и так велика, что я устраивал в ней одно время концерты и без тесноты размещал до семидесяти человек. В этой же комнате был и камин. У среднего окна на север росла старая мощная ель, на которой часто прыгали белки. У крайнего окна на запад росло чудесное «трепетное» дерево, на которое я так часто любовался в ранние утренние часы. «Трепетное» дерево — это осина, оклеветанная и связанная с предателем Иудою, пример того, как бывает страшна и несправедлива клевета и как она переживает века.

Две остальных комнаты квартиры были заняты столовой и Александрой Петровной. Кстати, о последней. Она вместе с Володею с годами составила мою семью. У нее была своя крепкая семья, муж и дочери, с которыми она и продолжала жить, но она тянулась и к нам и часто подолгу жила с нами. Володя прозвал ее «мадам де Алабино», признавая ее своею, был поверенным ее огорчений и тайн. Для всех окружающих положение Александры Петровны было не совсем понятно, но все считались с ним, вообще мало разбираясь в такой «семейке», как моя, видели только, что все мы друзья, близки друг другу, заботливы, и начинали уважать, не спрашивая.

Как дома были любовь, уют, порядок, содержательная книга, хорошее общество и музыка, так в работе было много настоящего дела, истинного добра, успеха и признания. Володя не раз говаривал, что я «развел» больных. Это было неверно. Это мы, врачи Петровской больницы, развели больных — доктор Славский, Громов и я, начав с годового приема в 15 тысяч, довели его до 60 тысяч в год. Это была совместная и дружная

плодотворная работа, каждого по своей специальности и своим наклонностям. Наши достижения были так велики, что нас затевали одно время сделать «участковым институтом». У нас проходили практику студенты и молодые врачи. Нами были созданы прекрасная лаборатория с реакцией Вассермана, рентгеновский кабинет, хорошая медицинская библиотека. Число врачей из трех возросло до пятнадцати, был введен сестринский уход за больными, а наши общие обходы отделений больницы с последующими конференциями были настоящей школой не только для молодежи, но и для нас — ведущих врачей. Словом, эти годы были годами расцвета больницы, и ее значение в уездной и губернской организациях было очень велико.

Врачебная организация Звенигородского уезда была сплочена и сильна не только профессионально, но и духовно. Во главе ее стоял врач Дмитрий Васильевич Никитин. Он долгое время лечил Льва Толстого, М.Горького, много раз был зван в Москву в клиники, но говаривал: «Там и без меня много врачей, здесь я нужнее», — и 25 лет оставался в Звенигороде, пользуясь авторитетом, и как врач, и как человек. Его квартира холостяка, заваленная книгами, служила школою поведения и работы не одному поколению молодых врачей. Здесь, накануне уездных санитарных советов решались все вопросы дела и этики, назначались кандидаты, отмечались достойные, порицались виновные, и на всем сказывалось влияние высоконастроенной личности Дмитрия Васильевича. А после заседаний подавался громадный самовар, незатейливая еда, а иногда и водочка. И все молодо, весело и непринужденно заканчивали вечер, часто распевая за полночь студенческие песни.

Заседания врачей губернских лечебниц происходили в Москве и носили другой характер. И здесь не было места ни склоке, ни подсиживанию, ни дрязгам, и здесь атмосфера была деловая. Старики, земские врачи, держали знамя высоко, но уж потому, что заседания эти происходили в присутственном месте и в присутственные часы, они носили хотя и товарищеский характер, но более официальный, сухой. И вот не было тогда точной регламентации работы «от» и «до», не было никаких законов о труде, пугающих наказаниями, не было массы начальства, которое ловило бы тебя, следило за твоей работой и обследовало бы ее по пятнадцать раз в месяц, а работа шла. Суждения и наблюдения товарищей были такою силою и таким двигателем, которых и немыслимо было ослушаться. Несколько лет я был в Организационной комиссии врачей губернских лечебниц, ездил по всем лечебницам и видел и наблюдал, что значит товарищеский контроль.

Словом, ежемесячно эти выезды в уездный центр и губернский на совещания врачей, в этот орган самоуправления, были хорошею школою общественной работы. Они всегда давали направление в работе, учили этой работе, воспитывали и, вместе с тем, вносили разнообразие в однотонную жизнь какого-нибудь глухого врачебного участка. С 1928 года начался поход против этих врачебных организаций. Во главе здравотделов поставили товарищей от станков, он и швец, и жнец, и на дуде игрец, и лишь только потому, что он коммунист и все может. Потом спохватились, стали требовать хотя бы фельдшерского звания, но дело было сделано и жизнь посерела, потеряла свои краски. Дмитрий Васильевич Никитин был снят с работы в Звенигороде за подпись в протесте населения против закрытия церкви. Хирург Славский, умница, оригинальный мыслитель и один из редакторов «Общественного врача», ушел еще раньше после ряда неприятностей «по профсоюзной линии» и уединился в свою «келью под елью», куда и устремился к нему народ. Печкин Николай Николаевич, отличный хирург, изумительной чистоты души человек, талантливый музыкант, которого ценило и уважало население, тоже был снят по церковным делам. Э-э, да что перечислять, это было время переоценки ценностей, смены старых людей на молодежь, ей верили, старикам — нет, и особенно старикам-вожакам. И соответственно этому процессу замещения мельчала жизнь, мельчала работа и в Алабино, и много раз подумывал я о том, что пора бы и мне вовремя подобру-поздорову убираться восвояси. Да вот, жалко было бросать дело, которое так горячо строилось, жалко было бросать людей, которые пели:

Белый дом, зелена крыша,
Там живет наш доктор Миша.

А нужно было бросить, и если бы бросить, то и жизнь пошла бы по-иному и моя, и Володина.

Тринадцатого декабря 1925 года умерла Верочка, дочь Ани. Болела она всего два дня токсической формой скарлатины. В последние часы ее жизни мы собрались у ее смертного ложа. Надежды на жизнь были уже утеряны. Камфара, кофеин. После последнего укола еще проблески сознания и: «Спасибо, крестный». А через несколько минут последний вздох, и тишина смерти. Какое-то время мы остаемся на своих местах. Глухая ночь. И никому в мире нет дела до нашей страшной потери. Да, но ведь каждую секунду в мире умирает один человек!!!

В белом нарядном платье, в цветах лежала наша Верочка,

вдруг такая большая: «Не плачьте; она не умерла, но спит». Увы! Увы! Эти слова Христа, сказанные Иаиру, не были произнесены здесь.

А как страшно звучали слова «отпускной молитвы» над нашей милой, ласковой, чистой девочкой: «Или аще клятву отца своего или матери своея наведе на ся, или своему проклятию подпаде или клятву преступи…». Они устрашили наши сердца. А на кресте Верочки Анюшка написала: «Верочка, всеми любимая и всех любившая. Родилась 1 октября 1913 г. Умерла 13 декабря 1925 г.».

25 июля ст. ст. 1926 года. Алабино. «Милая Анюшка! Я очень помнил о дне твоих именин, как и вообще очень помнил о тебе. Но письма раньше не написалось, а на телеграмму не случилось денег. Вот бывает же так. Мне очень досадно, что это так случилось. Я всегда считал тяжким грехом недостаток внимания к близким. Прости меня, пожалуйста.

Ночь. Поздно, и хочется сказать тебе еще несколько слов. Странное самочувствие. Вот кажется, что сам себе портишь жизнь, и знаешь, как это выправить, но не можешь и не хочешь устранить главную причину: нужно бросить Алабино! А жизнь московская пугает меня. Вот и разберись в этом. Ну, все пустое. Ночь, я устал в Москве, хочется в милое Алабино. Его воздух живителен, чист, бодр. И у всякого свои есть радости и печали. Стары мы и устали, и даже мысли о смерти перестали нас страшить. И вот будем жить дальше и хоронить друг друга в назначенные нам сроки… Однако, что это я… Это поздняя ночь. Будем жить. Жизнь все же хороша, как ее ни портят люди. Приезжай, пожалуйста, в Алабино, когда вернешься в Москву. Миша».

25 июля ст. ст. 1928 года. Алабино. «Милая Анюша! Ну, вот тебе и 42, и не так страшно, и не так много. Так пойдет и дальше. Наблюдая 75-летних стариков, я нахожу у них наше самочувствие. Природа разумно устроила, создав легкие мысли о смерти, и чем она ближе, тем меньше она пугает и тем дальше будто кажется. Одно только — с годами надо развивать в себе умение жить настоящим, умение ценить его и дорожить им. По существу, мы не живем так. Утром нас занимает вечер, вечером мы думаем об утре. Настоящего не существует. Прошлое да будущее. От того нет удовлетворения от жизни, от того нет настоящей полноты в ней.

Уходящие годы на близком человеке виднее, чем на самом себе. Со стороны все виднее. Я вот представляю себе всю нашу семью и ясно вижу, что жизнь ушла и скоро, очень скоро попадешь в разряд, о которых церковь так молится: "Отец и братии наших зде лежащих и повсюду православных".

Помнишь отца дьякона с просфорой и шоколадкой, такого желанного и ласкового, и старого? А ведь мы не такие ласковые. Нам не дано этого. И в жизни чужих детей (а я — в никаких) мы не оставим никакого следа после себя. Ну, довольно, у тебя, верно, ватага людей, а тут письмо мое, да еще прескучное. В Алабино гостит сейчас Н.П.Вревская и придает дому солидный вид. Я же жадно считаю число банок с наваренным вареньем. Максимовна тоже объята этим азартом, и поэтому варит его охотно. Лета не было. Купался всего два раза. Хочу надеяться на хорошую осень. Ах, как пора, пора бросать Алабино, а вот нет сил. Миша».

На Пасхальной неделе 1924 года приехала в Москву Бреусочка. Пришла она со двора на террасу, и тут, подходящую к двери, я ее И увидел. Мы не виделись шесть лет — с 1918 года, когда я был в Острогожске. С тех пор она потеряла мужа, сына и дочь. Только за год перед этим стала отвечать на письма и вышла из того оцепенения горя, в котором пребывала. Ей было всего 46 лет, и она внешне не увяла, не состарилась, не опустилась, но у нее появилась новая черта, впрочем, закономерная в ней, — это «я раба Господня, да будет по глаголу Твоему» — смирение. Не пришибленность, а именно глубокое духовное смирение, так и сиявшее в ее чудесных глазах. Все перегорело, все духовно пережилось и пришло к смирению. И одета она была так же смиренно: не в шляпе, а в платочке, не бедно, добротно, но темно и просто. Как я любил и уважал ее! С этих пор мы виделись каждый год. В 1925 году, будучи на съезде в Харькове, я бывал у нее ежедневно. Жила она с Лелею и зятем в двух полутемных комнатах нижнего этажа большого дома с окнами во двор-колодец. Зять, крупный инженер Гайдаров, говаривал, что у него «самая красивая жена и самая лучшая теща в Харькове». В комнате стояла мебель — приданое Бреусочки. Но Боже мой, как грустны были эти вещи здесь, «осколки разбитого вдребезги». Не надо никогда, потерпевши крушение, собирать обломки.

На пианино стоял большой портрет Тони. Конечно, потеря Саши была страшна, но Тоня… Тут же в папках лежали и ноты ее. Леля переживала эту потерю не легче матери. В этом, как и в остальном, они слились в одно целое. Судьба, однако, разила Бреусочку не до конца. Она оставила ей самую младшую и самую хрупкую девочку, чтобы в заботе о ней найти смысл жизни. Жила она материально неплохо. Зять относился к Бреусочке прекрасно, но Олюшка оставалась верна себе во всем. Она хотела иметь «свои» деньги и зарабатывала их вязанием на машине дамских кофточек. Мастерица она была прекрасная, работу ее брали нарасхват, а мне хочется плакать, когда я вспоминаю ее у окна,

поближе к свету, проворно-проворно двигающую ручку машины. Святая! Конечно, святая! Без тени сознания своего скромного подвига во имя любви к живым и умершим, ибо она каждый день, хоть на минутку, приходила на кладбище со свежим букетиком на свои заработанные деньги.

В 1926 году мы пожили вместе — Аня с детьми, Бреусочка и я — под Воронежем на даче у Вышипана. Помню летние сумерки на опушке леса, вдали «стогны города», терпкий запах полыни, выгоревшую землю и нашу взаимную любовь, так теснившую грудь скорым расставанием.

В 1927 году у Лели родилась дочь, а у Бреусочки внучка Таня, и она уже не могла повидаться с нами. А в 1928 году я возвращался с Кавказа в октябре. Бреусочка ждала меня на Харьковском вокзале и робко звала хоть денек побыть с нею, а я отказался. И вот в памяти громадный пустой перрон глубокой ночью, темный спящий поезд, вокзальный неуют и холод, и Бреусочка с домашним печеньем. Она захватила его с собою, потому что не надеялась угостить меня дома. Это было наше последнее свидание. Впрочем, нет, но об этом дальше.

Весна 1929 года. «Родные мои! Христос воскресе! Простите, что я не писала, но у меня нет ни минутки свободной. Ждали мы, что Татка подрастет и станет с нею легче, оно стало еще труднее. Начинает всюду ходить, все ей надо. А вечерами, когда Татка спит, я брала работу. Надо было же заработать на лето себе. Лето хочется пожить с вами вместе. Если я вас не повидаю летом, то, кажется, умру от тоски. Сейчас праздник, а у нас как в могиле — темно. Если бы вы знали, как я скучаю о вас! Особенно тяжело в праздник. Ваша Ольга Бреус».

«Родные мои! Мы решили на лето ехать в Острогожск. Приедем к Феде, поживем денек-два, найдем комнату на вашей же улице, и будем ходить в гости друг к другу. Только одно нас пугает, что мы приедем, а вы — нет. Настроение у нас подавленное, тяжелое, и хочется его пережить со своими родными. В Острогожск мне ехать так тяжело, что сказать не могу. Если бы не Таточка наша, никуда бы не поехала, а то жаль ребенка оставлять в такой квартире на все лето. Пишите скорее. Мне только хочется быть там, где вы. Ольга Бреус».

«Аничка, родная! У нас произошли большие события. Мы переменили квартиру. Я сама себе не верю, как могло это произойти.

Нашла квартиру я. Ехала с кладбища, вижу в окно трамвая маленький домик с садом, и подумала, как хорошо было бы жить в нем. Это недалеко от кладбища, в нагорной части, тихая улица. И вот я встала и пошла мимо. Во дворе женщина что-то делала. Я

подошла и спросила, нет ли здесь военного, который хочет жить в доме Военведа, и представь себе, что такой оказался. Я посмотрела квартиру, мне понравилось. Я приехала домой, стала говорить нашим. Они не верят. Я упросила их поехать, посмотреть. И вот мы на новоселье. Квартира наша очень грязная, запущенная. Много придется затратить и денег, и труда, чтобы привести ее в порядок, но мы на все пошли. Одна комната у нас большая, в два окна и дверь в сад. Садик, правда, небольшой, но кругом тоже сады и в окно к нам смотрит солнце. Мы же не видели его пять лет в нашей квартире. Сегодня утром проснулась Татка и кричит: "Баба! Смотри, солнце". Мы чувствуем себя как узники, выпущенные из темницы. Другая комната темная, но стеклянная дверь дает столько света, что в ней не темнее, чем у нас было. Зато у нас настоящая дача, не надо никуда ехать. Мы и не поедем, а на дачные деньги приведем летом квартиру в порядок. Жаль только одного, что никого вас не увижу, родные мои! Мне в этом году не повезло. Работала я, деньги не брала, думала получить все сразу. А хозяина моего, частника, опечатали, торговлю закрыли и деньги мои пропали. Что с него, бедного, получить, когда ему самому есть нечего! Как я рада светлой квартире, вы и представить себе не можете! И на кладбище мне ходить теперь очень близко. Пиши, родная, как вы живете и как у вас с хлебом. Мы эту зиму измучились. Для того, чтобы получить хлеб, надо было вставать в 5 утра, стать в очередь и простоять на морозе часа 2–3, а часто и не достанешь. А потом очереди за картофелем, за крупой. Потом надо готовить обед. Кухня холодная. К вечеру я совсем без сил, ничего не могу делать, скорее спать. Не согреешься, уж опять вставай. А хлеб у нас темный, очень плохой, но мы к нему уже привыкли. Напиши, родная, скорее. Ольга Бреус».

«Милая Анюшка. Очень рада за тебя, что ты хорошо провела лето. Мне очень хотелось приехать к вам в Острогожск, но лето выпало у нас рабочее, трудное. Я дома с Татой одна, дела много: и за ней надо смотреть, и в очередях стоять. Татка тоже уже привыкла к очередям — стоит терпеливо, а если чего не достанем, то говорит: "Пойдем в гугое место". Квартирой мы очень довольны. Весною, когда цвели груши и яблони, было чудно хорошо. Конечно, в саду кроме нас еще 20 человек хозяев. Но все же это лучше, чем было в нашей прежней квартире. Жалею только об одном, что не повидала Вас. Заехала бы к нам на недельку, доставила бы нам эту радость. Ольга Бреус».

В это же лето 1929 года мы с Володею прожили месяц у Феди в Острогожске, сменив там Аню с Вовой. Мне очень хотелось повидать там Бреусочку, и я писал ей, зовя ее, но хорошо не

отдавая себе отчета в том, что она, во-первых, привязана к дому работою и внучкой и, во-вторых, в том, что у нее могло и не быть денег на поездку. Да и вернее всего, что и не было. Она же писала Ане, что за работу ничего не получила. Но тогда это до сердца не дошло, и на зовы Бреусочки заехать к ним, раз я так близко, я отозвался всяческою невозможностью. А возможности, конечно, были. В Осторогожске я ничем не был занят, кроме пестования Володи, а он бы отлично прожил неделю и без меня. Впрочем, я был занят. Я там грустил. Бродил по улицам, по кладбищу. Разыскал старую дедовскую усадьбу, с трудом, но разыскал, хотя от прежнего там остался один лишь колодезь на леваде с такою же студеною водою и уютной тропочкой к нему среди буйной огородины. Не старая женщина, проведшая меня к колодцу, расспросила, кто и что я. Оказалось, она слышала о старом Меркуле и хорошо знает и братьев. Она с грустью посмотрела на меня и, покачивая головою, сказала: «Это как в книжке». Но особенную боль доставила мне ранняя обедня в Покровской церкви. Мальчиком я прислуживал в ней и знал многих-многих прихожан. И вот, закрыв глаза, я наполнил церковь старыми призраками. Вечные слова службы, все те же, неизменно трогательные, помогли иллюзии. А когда открыл глаза, я увидел полупустую церковь, знакомую мне до мельчайших деталей, и никого, никого из прежних. И был я всем чужд и незнаком, и так же чужды были мне окружающие.

Зашел я также в гимназию. Она, как и встарь, готовилась к новому учебному году и встретила меня старым запахом ремонта. Церковь, конечно, разорили и устроили в ней гимнастический зал. Актовый зал, такой большой и торжественный раньше, был ободран от царских портретов и залеплен плакатами. Я остановился у окна против бывшего восьмого класса, где стаивал на переменах, и увидел идущим по коридору учителя по естественной истории Евдокимова, бывшего и при мне. Он узнал меня. В свое время он женился на Лидочке Грековой и, конечно, знал об ее отношении ко мне. Это не сделало его очень любезным при встрече со мною. Увидел я также и саму Лидочку Грекову издали на улице, стойко сохранившей свой вид. Но встречи я избежал, ибо могу сказать про себя: «Ненужные мне люди забрали у меня половину времени моей жизни, а я был щедр к ним и по натуре, и по отсутствию у меня искусства жить».

Федя в Острогожске жил на бывшей Тевяшовской улице, в бывшем доме доктора Евменьева. Я бывал в нем в студенческие годы, и он был также полон для меня прежними людьми, из которых никого не было уже в живых. Дом этот в пяти минутах ходьбы от Богоявленской улицы и отцовской усадьбы. Много раз я

проходил мимо нее, замедляя шаг и трепетно всматриваясь в окна и во двор. Войти в дом так и не решился. Что-то не пустило меня, что-то удержало. А по вечерам в городском саду, как и встарь, играл оркестр духовой музыки — те же вальсы, отрывки из опер и романсы, что и раньше. Я сходил один раз. Прошел по аллеям. «Все вырождается в руках человека», — вспомнилось мне при этом изречение Ж.Ж.Руссо.

Ну и, наконец, кладбище. Кладбищам в революцию особенно не повезло. Их разрушали бессмысленно и грубо, как это может делать, должно быть, только русский человек. Вековечные памятники из чугуна и камня были повалены, расхищены, разрушены. Аллеи из чудесного старого клена вырублены. Решетки поломаны. Наша решетка и часовня над отцом и матушкой были еще целы, но в каком виде! А тополя разрослись в мощные деревья, равно как и куст шиповника, отсаженный когда-то из нашего сада. Был август месяц. Трава вся выгорела. На всем лежал густой слой пыли и запустения. На кладбище ни одного человека. Я один. Обхожу ряд знакомых могил. Был у Саши Лаврентьева и у Кости Маршева. Многих не найти. Многого не узнать. Опускаюсь на скамью у нашей часовни. В ней был когда-то образ, горела лампада. Стояли цветы…

Забвенье — печальный, обманчивый звук.
Понятный лишь только в могиле.
Ни радости прошлой, ни счастья, ни мук,
Предать мы забвенью не в силе.
Что в душу запало, останется в ней.
Ни моря нет глубже, ни бездны темней.
Глаза мои были сухи, сердце же было полно слез.

В десятых числах декабря получили мы из Харькова телеграмму: «Мама тяжело больна. Леля». Собрали домашний совет и порешили отправить Зою Мелентьеву. Она прекрасная медицинская сестра, ласковая, покойная — и за Бреусочкой походит, и Леле поможет.

20 декабря 1929 года. Харьков. «Здоровье тети Оли, немного улучшившееся, дня три тому назад сделало резкий скачок в сторону ухудшения. Точно не установлено, но есть подозрение на брюшной тиф, или паратиф.

До 17 декабря самочувствие, при сравнительно высокой температуре и болях, оставалось неизменно хорошим. Не было упадка сил, подавленности.

17 числа картина резко изменилась, наступило общее тяжелое состояние. Всю работу по уходу несу я. Строгую диету, к

счастью, ввели с самого начала болезни. Я уже писала вам, кажется, что ваши соображения послать меня вполне оправдали себя. К Тате я за это время очень привязалась. Николай Николаевич очень мил и заботлив. Внимательное отношение его к тете Оле трогает. Зоя Мелентьева».

А 25 декабря пришла телеграмма: «Тетя Оля очень плоха». Двадцать шестого я выехал в Харьков. Ночью в вагоне меня занимали глупые, пошлые мысли и заботы. О том, что с Бреусочкой очень плохо и она может умереть, я как-то вовсе и не думал. Я просто не верил в это и был далек от этого. Начал беспокоиться лишь на извозчике по дороге с вокзала. Было морозное, ветреное утро без снега. Лошадь скользила и шла очень медленно. Двери квартиры не были закрыты. Из коридора я вошел в большую комнату и увидел Бреусочку уже положенной и убранной в постели со сложенными на груди руками. Я упал на колени около, прижался губами к ее руке. Рука еще была тепла и гибка. Рыдал я долго, исступленно, раскаянно. Меня никто не удерживал и не останавливал. «Когда же, когда?» — «Полчаса назад», — ответила мне Зоя.

Хоронили Бреусочку на следующее утро. Отпели дома. Неприятного вида священник наскоро, без веры и души, прочитал и попел над нею священные слова. А когда Леля, измученная, с невыразимой тоской и рыданьем спросила его: «Батюшка, увижу ли я ее когда, есть ли жизнь там?»— он ничего не сумел ответить. Могила была приготовлена рядом с гробом Тони. Ее свинцовый гроб виднелся в глубине. Пахучая, теплая земля лежала большой грудою — и впервые и могила, и земля не показались мне страшными. «Господня земля, и что наполняет ее». Николай Николаевич стал на колени у гроба, поклонился ему и сказал громко: «Спасибо, Ольга Михайловна, за все добро! Прости, в чем согрешил!»

Это было в субботу, 28 декабря. Вечером и на следующий день утром я пришел к могиле, почти сознавая, что это в последний раз. Тридцатого я был уже в Москве и сразу же проехал в Алабино. Тридцать первого был день моих именин и рождения. Мы провели его вдвоем с Володей. Так был встречен 1930 год, год опять тяжелых испытаний для меня.

Помню Пасху этого года. Володя, Александра Петровна, профессор Игумнов и я. Квартира полна цветущих растений. Парадный пасхальный стол. Мы с Константином Николаевичем у заутрени. Чудесная церковь, нарядные ризы духовенства, слаженный деревенский хор и толпа подростков, врывающихся в двери храма и нарушающих благочестие службы. А вскоре затем закрытие храма, разбитые стекла в нем, поруганный алтарь и

«головокружение от успехов». Жизнь после некоторого взлета резко серела. Шла перестройка на колхозный лад. Кроме того, кругом Алабина сносился ряд деревень для нужд военного ведомства, и я никогда не забуду длинного обоза крестьянских телег со скарбом, стариками и детьми, в полном молчании перебирающихся на новое местожительство.

И в жизни Петровской больницы давно кончился подъем и начался спуск. В сущности, в это время я при ней был пережитком. Но «жизнь наша вовсе не наша, и все в ней делается помимо нас». В сумерки под 1 мая разразилась катастрофа с Володею. По дороге на вокзал в Скарятинском переулке его нагнала машина и «двое молодых людей попросили меня проехаться с ними. В руках у меня была чудесная рамочка, которую мне очень хотелось подарить Вам, Михотя, и мне было досадно, что я уже не могу этого сделать. А в остальном, Вы же знаете, как я люблю приключения». Комната в Москве после обыска была опечатана. Володя в течение недели был на Лубянке.

С благодарностью вспоминаю «Политический Красный крест» на Кузнецком мосту и до сих пор не понимаю, как позволено было существовать этой человеколюбивой организации. Многим она меня утешила, во многом скрасила жизнь Володи в Бутырках. Сколько раз в течение летних месяцев поднимался я на третий этаж тоже неприглядной квартиры, где несколько женщин, возглавляемых Екатериной Павловной Пешковой, творили свое доброе дело. Это они сообщили, где он, это они пересылали в сроки и без сроков передачи в тюрьму, это они могли сообщить хоть что-нибудь о здоровье заключенного и о ходе его дела, могли передать в нужные руки ходатайство и бумаги, смягчающие его судьбу.

Они же сообщили и приговор, и устроили свидание с ним. С раннего утра занималась там очередь в определенный дни, по буквам алфавита. Трепетная толпа, объединенная одним горем, толпа не рынка, не зрелища, а тюрьмы, облагороженная любовью и страданием. Там были рады уже тому, что брали передачи «ему» и от «него» передавали мешочек с грязным бельем. Значит, «он» на месте еще и здоров, ибо в больницу передачи не брали. И сколько было там примет благоприятных и неблагоприятных, и сколько было там «опытных и знающих» толкователей этих примет!

В декабре кончилось Бутырское пленение Володи и началось Кемское. Это было за много сотен километров дальше от Бутырок, но ближе по связи, по возможности обменяться письмами. Началось житье ими и посылками ему. В этом, по существу, и прошли два года в Алабине — 1931-й и 1932-й.

Расскажу попутно историю еще одной жизни.

20 мая 1931 года. «Многоуважаемый Михаил Михайлович! Шлю Вам привет из Наро-Фоминской больницы. Лежу в заразном бараке. Чувствую себя плохо. Все болит, и особенно левый бок. Температура повышена. Просила дать мне бумагу о моей болезни и нетрудоспособности, но мне ответили — пока полежите. Сердце мое все истерзалось. Осталась я одна. Дуню, наверное, пока я в больнице, угонят, как угнали уже многих. Боюсь, как бы Антонию без меня не взяли. Взойдите в мое положение! Что буду я делать одна, когда не в состоянии понести и 5 фунтов. Хотя бы Вы что-нибудь мне написали и с кем-нибудь ручно передали. Письма и посылки в больницу передают, но личного свидания не разрешают. Может быть, Вы увидите Антонию. Скажите ей, чтобы прислала мне молитвенник и Часослов маленького формата. Неизвестность хуже всего. Буду ждать от Вас какого-нибудь слова. Не забывайте меня, находящуюся в большом горе и всегда Вас уважающую. Игуменья Афанасия».

В 1925 году на Пасхальной неделе пришла на квартиру ко мне в Алабино монашенка, низко поклонилась и передала мне просьбу от сестер Зосимого монастыря навестить их больную игуменью.

Лестные слухи о ней дошли до меня давно. В 1923 году в «Известиях» был «подвал» о ней как о человеке, «наследственно расположенном управлять и властвовать». Игуменья Афанасия из богатой купеческой семьи Лепешкиных. Дед ее, Лепешкин, Сергей Логинович, построил Зосимов монастырь на свои средства в 40-х годах девятнадцатого столетия. И что скрывать, мне давно хотелось и в монастыре побывать, и игуменью повидать, так что эта просьба шла навстречу моему желанию и я охотно назначил день визита.

Через несколько дней, на опушке леса, у уединенной платформы ждала меня приличная пролетка со стариком-кучером на козлах. Дорога по лесу, местами еще покрытая снегом, была ужасна. Пять-шесть верст мы ехали около двух часов. Вот уж действительно пустыня — ни пешком, ни на колесах не добраться: болота, кочки, заросли, дороги никакой. Наконец, показались башни и белые стены монастыря. Подъехали к «Святым воротам». Монастырский двор-кладбище был не обширен, тих и пустынен. В центре стоял небольшой белый храм, окруженный намогильными крестами, кое-где с горящими лампадами. По мосткам прошли к игуменскому корпусу, где меня встретила маленькая, согбенная старая монахиня, ласковая и приветливая. В корпусе стоял какой-то давний, уютный запах — древней мебели, печеного хлеба, ладана. Тикали часы, и стояла

ничем ненарушимая тишина. Монахиня пригласила меня к столу «откушать», а сама пошла доложить игуменье о моем приезде.

Попросили меня к ней не вдруг. Я, что называется, был «прилично задержан». Ну, а затем, поднявшись во второй этаж по внутренней лестнице, увидел на белоснежной постели, у чудесного ковра на стене, красавицу игуменью в белом апостольнике, большеглазую, черноокую, не молодую, но и не старую, нет, а очень моложавую, с прекрасным цветом лица. Держалась она величаво-спокойно. Говорила чуть-чуть нараспев с низкими контральтовыми нотами. Ближайший угол и стена были заняты образами. У большого распятия горела лампада и стоял аналой.

И тут я себе ясно представил сцену, о которой мне рассказывали раньше: «Игуменью Афанасию попросили быть на заседании уездного исполнительного комитета. Происходило заседание в клубе, на сцене. Игуменья пришла в сопровождении своей келейницы, строгая, стильная в своем монашеском одеянии, и красивая. Кто-то из исполкома, нарушая неловкость, внесенную ее появлением, стараясь шутить, сказал, указывая на портрет Маркса: "А вот, матушка игуменья, Маркс. Он является, собственно, учеником первого социалиста Христа". Мать Афанасия обвела неторопливо сцену глазами и ответила: "Вот портрет ученика вы поместили здесь, а почему же нет портрета Учителя?"».

Здоровье игуменьи оказалось в очень плохом состоянии. Двадцать семь лет жила она в этом монастыре, в сыром лесу, в болоте с давней малярией, лихорадила годами, не лечилась, и это разрушило ее организм. Семнадцати лет, после института и уроков музыки у знаменитого Пабста, пришла она сюда и с тех пор почти не выезжала. Я сказал ей, не скрывая, о ее положении и предложил на ближайшее лето выехать в другое место и попытаться полечиться там. Требование было жестоким. Положение в монастыре было сложно и внешне, и внутренне. Но это нужно было сделать, если она хотела жить и работать! А она хотела и того, и другого. В монастыре было до трехсот человек сестер, в том числе 60 беспомощных старух. Всех их нужно было прокормить, отопить, одеть, обуть. Только последние три-четыре года монастырь, после революционных потрясений, вновь оправился и перестал голодать. Но счастье это было очень непрочно. Политика и в центре, и на местах клонилась к новым ограничениям монастырских порядков, и нужны были бдительность и неусыпное внимание, чтобы как-то держаться, как-то спасаться, как-то лавировать. Поплакала игуменья, погоревала, и все это — с ясным сознанием огромной

ответственности за триста душ, и отпустила меня, не дав ответа.

Однако в дальнейшем ухудшение здоровья заставило ее смириться. В Алабино было сухо, солнечно, дачу можно было снять, больница и я были рядом, и мать Афанасия решила на лето переселиться «под мою руку». А я взял на себя ответственность поднять ее на ноги. Это была трудная задача, но Бог помог мне, и к концу лета моя больная настолько поправилась и окрепла, что смогла вернуться к себе и приняться за свои дела. А мы стали друзьями. Сколько раз потом бывал я в монастыре, в его тихой ограде, на вечерних и утренних службах, бывал с наслаждением и уважением к женщинам, создавшим чинное благолепие церковного служения, крепкую рабочую общину, широкую благотворительность, благотворное и благородное влияние на окружающее деревенское население.

Но — Carthaginem esse delendam — монастыри должны быть разрушены. Уж не помню, в котором году, в 1929-м или в 1930-м, игуменья Афанасия должна была покинуть монастырь и переселиться в Алабино. Взяла она с собою старушку мать Антонию, которая состояла при ней с первых дней ее монастырского жития, и послушницу Дуню — молодую, крепкую женщину, очень к ней привязанную. Зажили эти три человека уж совсем на моих глазах крепкою жизнью верующих людей. Игуменья Афанасия правила ежедневную службу, молилась и являлась умственным центром этой маленькой общины. Она же, вместе с матерью Антонией, стегала одеяла, Дуня выполняла более тяжелую работу и служила для сношений с внешним миром. На первую и последнюю недели Великого поста двери их жилища закрывались для всех. Это были дни молитвенного труда и молчания. Но зато и праздник Воскресения был воистину праздником Воскресшего Христа. И на фоне общей растрепанной жизни, суеты, безверия, мечущихся и беснующихся людей их маленькая утлая община была оазисом. А о всем их окружении можно было сказать словами Данте: «На Бога не восстали, но и верны ему не пребывали. Небо их отринуло, но и ад не принял серный, не видя чести для себя в таких». И только они одни в поле моего зрения были исключением из этого круга людей, и только они были мужественны. Их все побаивались, к ним ходили за помощью, за утешением, советом, но ходили в сумерки, вечерком, ночью, чтобы меньше видели, меньше сказали. Они же ни к кому не ходили, потому что боялись с собою принести подозрение и кару на ту семью, где бы они побывали. Не знаю, кто сказал, что «ошибаться с большинством не оправдание, ибо умножение заблуждения еще более пагубно». Эти три женщины сумели не поддаться массе, толпе и сохранили свое лицо, свою

веру до конца. Они не умножили собою заблуждения, ибо знали, что оно пагубно.

В первый день Троицы 1931 года я пришел к игуменье Афанасии, зная, что у нее праздник и что она по-праздничному бездеятельна и будет рада мне. Нашел я ее в десяти шагах от ее дома, в небольшом перелеске. Она только что закончила последнее воспаление легких, была слаба, и все ее радовало в ее возвращении к жизни. Стоял чудесный день, жужжали пчелы, пахло лесом. Божий мир стоял во всей своей красе. А через час, когда я ушел, пришла грузовая машина, привезла оперативных работников НКВД, те перевернули жилище, обыскали его, ничего не нашли, конечно, и забрали игуменью Афанасию с собой, в районный центр Нару-Фоминскую. Вот оттуда-то, из больницы, и послала она мне свое письмо.

Развязка наступила очень скоро. Через несколько дней игуменью Афанасию выслали на поселение в Среднюю Азию. Дуня уехала с нею, так как она все эти дни не отходила от больницы, дежурила там и упросила выслать ее вместе с игуменьей. На второй день по приезде на новое место жительства скончалась игуменья Афанасия. На следующий день скончалась Дуня. Их погребли в одной могиле.

Словом, нити, привязывавшие меня к Алабино, рвались одна за другой, и относись человек вдумчивее к своей собственной судьбе, он мог бы избежать много печального, но нужны вдумчивость и сосредоточенность, такие же, каким, предположим, наделены были Оптинские старцы. Они часто видели вперед, как нужно поступить и что должно сделать тому или другому человеку, и часто предостерегали от того или иного пути. Мы этого не можем, ибо знаки судьбы всегда скрыты, всегда неясны, предостережения отдаленны, и нужно быть мистичным, чтобы уметь их разгадывать. В мистике есть своя истина, и ее не видят только те, кто не хочет или не может видеть.

Уже после отъезда Володи в Кемь в Алабино стали наезжать один за другим четыре брата Коншиных из известной семьи серпуховских Коншиных. Прижились и тесно вошли в круг моей жизни Сергей и Анатолий Николаевичи — два младших брата. Сергей, музыкант, милой души парень, дельный, живой и веселый. Он приезжал чаще всех. И вот нет Сережи неделю, нет две. Случилось это уже к концу 1932 года. Нет его и до сих пор. Николай, старший, умер в Соловках. А Сережа и поныне томится в лесах за бухтой Нагаева. Это за разговор и свидание с англичанином — бывшим директором Коншинской фабрики. Жутко становится жить в Алабино. Но, казалось, что и всем жутко, казалось, что —

Глухо всюду, темно всюду,
Что-то будет, что-то будет…

Так вот, с такими переживаниями потерь и утрат заканчивался 1932 год. Зимними вечерами один, в своей чудесной и опустевшей квартире в Алабино, сидел я за письменным столом, пытаясь уже тогда писать книгу о Володе, или у камина в большом кресле, читая «Историю народа Израильского» Ренана и книги по раннему христианству и истории религий. Уже тогда ясно я чувствовал назревавшую перемену в моей судьбе, но заранее слепо покорился ей. Годы по десятилетиям в моей жизни были годами перемен. Родился я в 1882 году. В 1892 году поступил в уездное училище. В 1902 году сдал экзамен на аптекарского помощника. В 1912 году бросил военную службу и поехал в клинику. В 1922 году бросил службу на флоте. Предстояла и теперь какая-то перемена в жизни. Какая только? А я и не гадал. Я не был занят собою. «Мое сердце было не здесь. Мое сердце было не здесь».

Я жил по инерции для себя, и активно — для помощи Володе и другим близким. Так наступил 1933 год.

Часть вторая ГОДЫ 1933—1941

Глава первая. ТЮРЬМА (18 февраля — 4 октября 1933 г.)

Кто не был — тот будет.
Кто был — не забудет.
Входящий — не грусти.
Уходящий — не радуйся.

Встретили мы 1933 год у меня в Алабино. Собрались: Аня со своими, Абрам Эфрос с женой и сыном, доктор К.Г.Славский, Людмила Нифонтовна Маслова и Сережа Симонов, всего со мною 12 человек. Никто никуда не спешил, все оставались и на следующий день. После ужина засиделись допоздна у камина, слушая игру на рояле, разговаривая. В комнатах было тепло, душисто, нарядно, и слова наши звучали в унисон с обстановкой. Все отдыхали от жизни и своих забот, все дышало миром, разнообразием интересов, достаточной культурой.

Под «старый Новый год» приехал К.Н.Игумнов. Кроме него никого не было. Горел камин. Пустела бутылка вина. Во втором часу ночи К. Н. сел за рояль и закончил свою игру колыбельной песней Чайковского: «Ветра спрашивала мать, где изволил пропадать».

А в начале февраля стало известно, что арестован доктор Дмитрий Васильевич Никитин. Спустя неделю та же участь постигла Николая Николаевича Печкина. Я побывал у родных арестованных, ничего о них не узнал, ибо и они ничего не знали, а 18 февраля, часов в шесть утра, стук в двери внизу, на лестнице, и затем испуганный шепот Маши: «Милиция требует открыть дверь». — «Откройте». А сам стал одеваться.

Через минуту в мою комнату вошли два чина с завхозом больницы и, вглядываясь в обстановку и мое поведение, заявили о своем праве на производство у меня обыска. Продолжая одеваться и не проявляя беспокойства, я попросил показать ордер и затем предложил им приступить к «делу». Чины слегка замялись, не зная, откуда и с чего начать, а затем «занялись». В большое удивление их привел словарь Брокгауза и Ефрона: «Неужто вы прочитали все эти книги, Михаил Михайлович?» — и начали их перелистывать.

Между тем, Маша подала чай. Чинам очень хотелось чайку, и я предложил им его, но они, замявшись и по долгу службы, отказались. Конечно, они знали меня, и надо отдать им должное, им было совестно передо мною и неловко. А я, сидя с книжкой на

диване, читал ее и не читал. Внутренне собранный, окаменевший, я наблюдал, как они перебирали мою переписку, просматривали ящик за ящиком письменного стола и, подавленные количеством книг и рукописного материала, решили забрать последний весь целиком, для чего послали завхоза за мешками. Обходя комнаты, они дошли до картины академика Бронникова «Гимн пифагорейцев». О ней в 1876 году писал с большой похвалой в своем «Дневнике писателя» Достоевский. Картина остановила их внимание на себе. Они смотрели, молчали, и наконец младший сказал: «Ох, расстрелять бы их всех, сукиных сынов!»

Найдя большую пачку квитанций на посылки и переводы Володе в Кемь, чины насторожились. Вот, подумалось, верно, им, «настоящее». Они ухватились за нее, перебрали, отложили отдельно в сторону и спросили объяснений.

Так шло это «дело» до двенадцати. Я позавтракал, собрал белье и необходимую еду в рюкзак и портфель. Чины написали протокол обыска, заполнили два больших мешка перепиской, фотографиями и книгами, а затем объявили мне, что они должны на несколько дней арестовать меня и увезти в Нару. Я попросил их закрыть и запечатать квартиру. Маша вынесла несколько самых ценных растений в другое помещение, я же, окинув взглядом комнаты, где прожил десять лет, и попрощавшись с Машей, стал спускаться по лестнице. Чины хотели, чтобы я помог им нести мешки, но я отказался, сказав: «Что мне нужно, я несу, что же нужно вам, — уж потрудитесь сами». И они понесли.

Был воскресный день. По дороге на платформу и на платформе была масса народу, приехавшего ко мне на прием. Но никто не подошел ко мне и никто не сказал слова привета. В Наре, по дороге в ГПУ, навстречу мне попались сначала женщина с полными ведрами воды, а потом похороны. Я счел эти две встречи хорошим предзнаменованием. В ГПУ последовала очень коротенькая беседа с начальником, предварительно повидавшимся с моими спутниками. Он спросил меня, как вели себя агенты, производившие обыск.

Я ответил: «Отлично. Они были вежливы и ничего себе лишнего не позволили». В глазах начальника я прочел участие к себе и жалость.

Затем повели меня в «узилище». Я шел впереди, за мною шел милицейский. По дороге он спросил тихо, не нарушая дистанции: «Батюшка, Михаил Михайлович, за что ж это вас?» — «Не знаю, — ответил я, — мне не сказали».

В «узилище» ввели меня в камеру № 5. В коридоре и в камере встретили меня возгласами удивления, привета и уважения. Народ оказался мне знакомый — крестьяне из окружных

деревень. Это был разгул применения закона от 7 августа 1932 года «О неприкосновенности священной социалистической собственности», когда давали по десять лет за десяток яблок, подобранных в колхозном саду, и килограмм манной крупы, украденной в кооперативной лавке. Отношение к наказанию и срокам, и собственной вине было явно несерьезное. Проглядывала усмешка, и настроение в камере было неплохое, дружное, бодрое. Сношения с внешним миром были налажены. Под низенькое оконце камеры подходила то одна жена, то другая, выпускали повидаться и на волю. Все, и сидящие, и охраняющие, были знакомы между собою или связаны через знакомых. Конечно, некоторый острожный режим и этикет соблюдались, но они не были страшны.

Вечером после уборки, когда нас заперли, началась «самодеятельность» в развлечении. Я рассказал о происхождении Земли и человека на ней, а старик крестьянин очень удачно рассказал сказку о том, что там, где есть Бог, там есть и черт: «Жил-был кузнец. Он верил в Бога, верил и в черта. Входя по утрам в кузницу, он сначала молился на образ, а потом, оборачиваясь к двери, на которой был нарисован черт, говорил: "Здравствуй и ты, чертушка!" Так и жил он в ладу с Богом и чертом, и жил хорошо. Сыну кузнеца не нравилось это, и когда отец умер, он, молясь образу, оскорблял черта и бил его изображение молотком. И через это стал он жить все хуже да хуже. Работы становилось меньше, работа не ладилась. И вот как-то поутру приходит к нему наниматься молодой парень: "Возьми да возьми меня". — "Да мне и самому делать нечего", — отвечает кузнец. "А ты возьми меня, увидишь, работа будет". Взял его кузнец, и действительно, пошла работа. И стал кузнец богатеть, и ехали к нему со всей округи. И слава о нем пошла, как о хорошем кузнеце. И вот в это время зашла в кузницу какая-то старушонка милостыню попросить, а парень схватил ее, положил на горн, раздул огонь и сжег старушонку; одни косточки остались. Испугался кузнец и говорит: "Да что же это ты наделал? Засудят нас теперь, затаскают, пропали мы". А парень и говорит: "Не бойся, хозяин, пойди и принеси по кувшину молока и воды". Принес кузнец, а парень попрыскал косточки водою, а потом молоком, и обросли косточки мясом, и появилась пригожая молодуха, кланяется в пояс и благодарит, что ее омолодили. И пошла работа пуще прежнего, и дошла слава о кузнеце до самого царя. И привезли его в кузницу — старого-престарого — в золотой карете, чтобы кузнец омолодил его. А кузнец испугался, руки и ноги у него задрожали, ни за что не решается он поступить с царем, как со старушонкой. А парень отозвал кузнеца в сторону

и говорит: "Не бойся, хозяин, все будет в порядке, делай, что я тебе прикажу". И омолодили они царя. И вышел из него такой бравый молодец, что ни в сказке сказать, ни пером описать. По-царски наградил царь кузнеца и отъехал к себе во дворец. А парень тут же и говорит кузнецу: "Ну, хозяин, теперь ты богат, делать мне у тебя нечего, прощай, живи хорошо". И как ни упрашивал его кузнец остаться, — не остался. И исчез, как пришел, неизвестно куда, неизвестно откуда. А тем временем царь вернулся к своей царице, а она старая-престарая — не пара ему. И повез царь царицу к кузнецу за молодостью. И как кузнец ни отговаривался, пришлось ему под угрозою смерти положить царицу на горн, раздуть огонь, сжечь ее. А вот сколько ни брызгал потом кузнец молоком и водою на кости, ничего у него не выходило. Были кости и есть кости, а царицы нет. Тут и понял кузнец, кто таков был его работник. Подошел к двери, поклонился в пояс изображению черта и сказал: "Помоги, чертушка, вовек не забуду твоей милости". И как из-под земли вырос парень и говорит: "Что, испугался, хозяин? Дело поправимое". Побрызгал косточки, и появилась царица, а когда она уехала, сказал черт кузнецу: "Ну, теперь будешь знать наперед, что не только нужно жить в ладу с Богом, но и с чертом"».

Утром, после уборки и чая, состоялся замечательный концерт на гребешках, в самый разгар которого меня вызвали и повезли в Москву. В вагоне мы сидели с моим провожатым, как не имеющие дела друг к другу. В Москве сели на трамвай и доехали до Лубянки, 14, где так приветливо и нарядно в глубине усадьбы стоит двухэтажный барский особняк барочного стиля. Внутри особняка все было вылощено. В верхних этажах пристроенного к нему громадного дома все поражало чистотою. Провожатый оставил меня с моими мешками в коридоре, но несомненно, что я своим видом и багажом нарушал строгий стиль этого дома и, кроме того, мог увидеть и услышать то, что мне не полагалось, и меня скоро убрали в один из многочисленных кабинетов!; выходивших дверями в коридор. Просидел я там с трех до семи вечера, когда меня позвали к следователю. Следователь, «товарищ Гиммельфарб», молодой человек, начал свое дело вступительным словом «о полном моем признании и разоружении», обещая в этом случае возможные милости и угрожая в случае запирательства тяжелыми последствиями, а я был в самом искреннем недоумении, о каком признании в каком преступлении шла речь. Но Гиммельфарб не верил мне. Он дал мне бумагу и перо и настаивал на письменном изложении моего раскаяния, которое, по его мнению, должно было охватить меня,

раз я попал к нему.

Во время этих препирательств вошли к нам в кабинет еще двое: один, похожий на «Анатэму», — старший следователь Рогожин, — и совсем начинающий — Оленцев. Гиммельфарб, с плохо разыгранным возмущением, обратил внимание Рогожина на мое запирательство, и последний обрушился на меня с «матом» и кулаками. Все было рассчитано на то, чтобы оглушить, огорошить криком, угрозами, оскорблением. Первую минуту я пытался что-то сказать, остановить этот поток брани, но тут же понял, что это ни к чему, и замолчал.

Набесновавшись, Рогожин ушел, а вслед за ним, изящно и легко, вошел старший рангом Якубович — элегантный, вылощенный, вкрадчивый. Приемы этого были другими. Он начал с того, что, взглянув на меня, стал припоминать, где он со мною встречался. Спросил фамилию, а затем рассыпался в комплиментах, говоря, что я в Алабине «царь и бог», и закончил замечанием для Гиммельфарба, что я «тонкий враг, с которым нелегко, по-видимому, будет справиться».

После его ухода продолжалось наше сидение с Гиммельфарбом. Ему явно наскучило убеждать меня. А я не ел больше суток, устал и был полон новых впечатлений и новых откровений в бытии. Мне хотелось закрыть глаза и забыть хоть на мгновение о том постыдном, чему «свидетелем Господь меня поставил». Но этого сделать было нельзя. Гиммельфарб требовал от меня открытых глаз и признания, то уговаривая, то угрожая холодной и жаркой комнатами и еще чем-то неведомым и страшным. И тут же звонил своей даме сердца, по-видимому, машинистке, уговаривая ее никого, кроме него, не любить и убеждая в своей верности навек.

Так тянулось это нудно и трафаретно до двух часов ночи, когда, наконец, Гиммельфарб при мне позвонил Рогожину и сказал ему: «Прошло семь часов, но добиться ничего не могу». Выслушав ответ, он предложил мне идти за ним, причем в последнюю минуту разыграл ко мне, не хотящему разоружиться, чувство гадливости честного революционера к подлому «к.-р.» И как ни слабо было это сделано, это не смешило тогда, а оскорбляло.

Шли мы низкими лестницами вниз до подвала, где помещался «собачник». Так называлось помещение для арестованных, куда приводили их с воли. Здесь Гиммельфарб сдал меня приемщику, а последний запер меня в камере, где было уже несколько человек. Все лежали в верхнем платье на асфальтовом загаженном полу. Я постлал газету и лег на нее. Не успел задремать, как меня вызвали в коридор и приказали

«раздеться, как в бане». Обыскав белье и платье, и осмотрев мое тело, приказали одеться и свели в маленькую одиночную камеру, где я тоже лег на пол и только что начал дремать, как опять был позван и сведен в душ и дезинфекционную камеру. Вода, как всегда, произвела на меня отличное действие. Она вернула меня мне, успокоила, и единственная была частью прежней моей жизни.

«В подвал А, камера три», — услышал я, когда меня повели из душа. Прошли через маленький двор, спустились вниз, вошли в коридор, открылась и закрылась дверь камеры. Первое впечатление — тепла и даже уюта. Пять человек, бывших в камере, проснулись, перекинулись со мною несколькими словами. Я постлал свою газету на пол, лег и только что успел опять задремать, как раздался сигнал к вставанию и уборке. Было 6 часов утра 20 февраля.

Дневной свет в камеру из оконца под потолком проникал очень слабо, и освещалась она непотухающим электричеством. Камера была мала. В ней стояли четыре койки, две дополнительно помещались на полу. Матрацы на день свертывались. Ложиться днем запрещалось. Ходить было совершенно негде, и все сидели на оголенных кроватях. Ни одеял, ни простынь, ни подушек не полагалось.

Заключены в камере были: известный профессор церковного права Гидулянов, два агронома, из которых один подозрительно был поставлен в привилегированное положение (книги, свидания, другой стол), почтенный доктор А.Н.Краевский из областного Московского института, как оказалось потом из нашего разговора с ним, привлеченный «по нашему делу», и очень вежливый, в прошлом лицеист, а теперь фотограф из Серпухова.

В десять часов утра меня вызвали к следователю. «Занимался» со мною Оленцев. Несомненно, он натаскивался на мне, приобретая профессиональные навыки. Был неловок, излишне развязен, глуп. Я не стал вовсе разговаривать с ним. И он, с плохо разыгранным гневом, отослал меня.

Вернувшись в камеру, я стал расспрашивать Краевского, что значит весь этот дурной сон? И он ответил мне, что так же мало знает, как и я, но от него требовали показаний в участии в «к.-р.» врачебной организации, и он «признался». Остальные в камере тоже подтвердили, что другого выхода нет и быть не может. Для чего «это» нужно, никто не знает, но что это «так нужно», все знают. «Вас будут допрашивать и мучить все равно до тех пор, пока Вы не признаетесь. Проще сразу написать, что им нужно. Не путайте только людей лишних в это дело, а ограничивайтесь теми, кто уже признался». А профессор Гидулянов сказал: «Я

написал вчера у следователя "роман" и об одном просил его, чтобы никому из моих товарищей и знакомых этого романа не читали и не показывали».

Я слушал все это, верил им и не верил, до того чудовищным казалось все это, и наконец освоил и поверил. И когда настала ночь и я только что уснул, и меня вызвали к следователю, я пошел с ясным намерением — «написать и признаться». Пенсне мое при обыске отобрали, Гиммельфарб достал из своего стола несколько пар пенсне и с большой услужливостью предложил мне выбрать подходящее. Я стал писать.

Но о чем и что писать? Врачебных знакомств я никогда не поддерживал и ни у кого из врачей не бывал. У меня в Алабино, кроме Печкина, из врачей тоже никто не бывал, да и последний приезжал не ко мне, а на могилу своей дочери. Нужно же было быть членом периферийной врачебной «к.-р.» организации, которой руководили доктора Печкин и Никитин, работавшие в Москве и связанные с центральной организацией.

Я написал правду о своих взглядах, о том, что не одобрял политику советской власти по отношению к церкви, религии и интеллигенции, и написал ложь о своем пребывании в «к.-р.» организации. Последняя вышла очень слаба за отсутствием какого-либо фактического материала и лиц. Гиммельфарб прочитал это, поправил мой черновик, даже старался помочь мне, и к шести часам утра на двух страницах обыкновенного писчего листа «признание» мое было готово.

Когда я вернулся в камеру, лечь спать уже не пришлось. В десять часов утра меня снова вызвали к следователю. Опять Оленцев: «Написали филькину грамоту, кому она нужна». Разговор был не долог. Мы «разошлись на Пушкине», и Оленцев сердито приказал отвести меня обратно. Ночью вызов к Гиммельфарбу. Он получил новое назначение и потерял всякий интерес ко мне. Но тем не менее, его беспокоила моя исповедь. По-видимому, ему попало за нее. Особый интерес на этот раз к доктору Д.В.Никитину и его пребыванию за границей у Горького, в Сорренто, в зиму 1931–1932 годов, и свидание с дочерью Льва Толстого — Татьяной Львовной Сухотиной — в Риме. Я правдиво передал, что слышал в свое время от Дмитрия Васильевича. Все было просто, без заговора и не контрреволюционно.

Привели меня обратно не в прежнюю камеру, а уже в четвертую, уже не в подвале, светлую, просторную, и мне стало ясно, что посадили меня в камеру № 3 для «обработки» и для того, чтобы проверить мои отношения с Краевским. В камере № 4 я сутки пробыл с ученым секретарем и библиотекарем Комиссии содействия ученым Остроуховым. Этот маленький, худенький

человечек, лингвист и настоящий интеллигент, начертал по камере маленькие крестики, ограждая ими себя от всякого зла. Он же читал молитву Господню по-латыни, по-гречески, по-немецки, по-французски, по-славянски и по-русски. Мы с ним отлично поговорили, и я отдохнул и отдышался оттого, что поплакал немного.

На следующую ночь к нам подсадили инженера-поляка и помощника начальника пищевой группы ГПУ Алексеева. Последний, прекрасно одетый, брезгливо посмотрел на нас и наши постели без простынь и подушек, постелил белоснежный носовой платок под голову на матрац и лег, не снимая верхнего платья. Он ждал, что его вот-вот позовут, что это недоразумение, ошибка. Но прошел день, два, три, неделя, а его все не звали. От лоска, брезгливости и самоуверенности не осталось и следа. Он оказался простым и добрым парнем, в прошлом приказчиком аптекарского магазина, знатоком церковной службы и всех московских хоров и дьяконов. Потом был артиллерийским солдатом, наконец, коммунистом и сотрудником ГПУ.

Так четверо и сидели мы по 13 марта, прислушиваясь к тишине коридора, все ожидая вызова, разговаривая вполголоса. Особенно «сторожки» были ночи. Это был сон и не сон. Малейший шорох заставлял нас открывать глаза и поднимать голову. День же мы сидели на наших постелях, и я играл роль Шехерезады, нескончаемо рассказывая о прежде читанном, виденном, слышанном. За это время я получил передачу и опять всплакнул. А весна становилась все ощутимее; и хотя окно наше было закрыто снаружи щитом, но солнышко все же проникало к нам и слышны были капели и буйное щебетанье воробьев. В душе жило ожидание чуда, и оно должно было совершиться вот-вот. Чудо не совершалось, а нарастала усталость ожидания и досада на каждый «просроченный день».

И вот тринадцатого вечером: «Мелентьев!» — вызов к следователю. Вместо Гиммельфарба — дама-девица, не молода и не стара, курит, суха, с дурным цветом лица, резка в движениях. Сразу же потребовала написать, какие цели преследовала наша периферийная «к.-р.» группа. У меня от волнения пересохло во рту, я сидел, молчал и чувствовал полное бессилие что-либо написать. Тогда она бойко, по готовому трафарету, набросала «о нашем недовольстве» и наших «намерениях». И так как здесь была одна фантазия и ни одного факта, ни одного лица, я, потребовав исключения некоторых явных несообразностей, подписал ею написанное, после чего был отпущен с заявлением о предстоящей ночной беседе.

В двенадцатом часу шепотом, как всегда: «Мелентьев, с

вещами!» Ухнуло сердце. Дрожащими руками свернул узелок. Прощаюсь. Общий голос: «Домой!» А у самого надежда и сомнение. А двери не открываются, и меня не зовут. Так идут часы ожидания и полудремы. И только утром: «Давайте с вещами!» И стало почти ясно — не «домой», а в «Бутырки».

Вышел на воздух. Серело утро. Просыпались воробьи. От воздуха закружилась голова, а впереди раскрытые дверцы «черного ворона». И впервые отчаяние, безнадежное отчаяние: за что? В «вороне» — отдельная каморка. Темно. Трудно и нечем дышать. Долго стоит на месте, потом трогаемся. Повороты, езда прямо, не видно ничего. Остановились. Кого-то выводят. Открылась и моя дверь. Провели в «вокзал Бутырок». Было 6 часов утра 14 марта.

Просторный приемный зал «Бутырок» был полон шума и движения. Толпа женщин со швабрами, тряпками и громкими разговорами занималась уборкой. Меня заперли в маленькую боковую камеру, и я тут же уснул. Разбудил меня врач. Избегая встречаться глазами и сразу поставив перегородку между собой и мной, он посчитал мне пульс, спросил, не жалуюсь ли на здоровье. Я поблагодарил и сказал, что здоров. Затем меня обыскали. И у старого, простого человека, производившего это, я заметил сочувствие в глазах и деликатность в его манипуляциях. После душа меня опять заперли одного, а затем вывели с «вокзала», ввели в неприветливый коридор с выбитым асфальтовым полом и остановили у камеры № 44. Было четыре часа вечера. Щелкнул замок. Дверь открылась, я шагнул и только что хотел с удивлением и ужасом спросить провожатого, туда ли он привел меня, как дверь уже захлопнулась, а из табачной мглы и людского месива раздалось: «Сто четвертый!» — «Здравствуйте!» — сказал я громко. Мне ответили приветствием и вопросом, кто я. «А идите-ка сюда», — это позвал меня известный в Москве акушер старик Александр Михайлович Бедняков.

Камера, рассчитанная на 24 человека, была переполнена до отказу. На нарах, шедших с обеих сторон от двери до противоположной стены с двумя окнами, помещалось человек сорок. Остальные толклись в проходе между нарами. Часть проводила свое время под нарами, что называлось «под юрцами». Первое впечатление было страшное. Электрическая лампочка без абажура, горевшая день и ночь, была окружена ореолом табачного дыма, испарений от громадной «параши» и человеческого дыхания. В камере стоял непрерывный гул голосов и топота ног, покрываемый руганью и «матом». Дышать еще было возможно поближе к окнам, у двери же люди задыхались и требовали держать окна открытыми, обитавшие же под окнами

замерзали, боялись простудиться и окна закрывали. На этой почве несколько раз в день происходили жестокие схватки. Во главе камеры был поставлен выборный староста. Власть его была неограничена. Вся жизнь камеры регламентировалась им. Очередь на места в камере соблюдалась строго. Начинать надо было от дверей у «параши» и по мере выбывания кого-либо понемногу подвигаться вперед. Средний срок достижения места на нарах ближе к окнам определялась в два месяца.

Никогда и нигде раньше в жизни я не наблюдал такой власти куска хлеба, как в камере. «Пайка» — 300 грамм черного хлеба, при очень скудной остальной еде, была явно недостаточна, и те, кто получал передачи и мог отдать свою «пайку», мог купить обслугу по камере, уборку и вынос «параши», купить место на нарах, купить место у окна, оплатить ею починку вашего платья, стрижку и бритье наточенной нечеловеческим упорством пряжкой от брюк и т. д.

Первые две ночи я ночевал «под юрцами». Страшна до тихого отчаяния была первая ночь: заплеванный и выбитый асфальтовый пол, трудность подлезания под низкие нары, невозможность там, за теснотою, лежать на спине — все было страшно. Но и это место я получил предстательством Беднякова. К третьей ночи освободилось место у стола под окнами. Его избегали из-за холода. Я не побоялся. Через три дня я лежал на столе, а на десятый день был на нарах недалеко от окна. Сделал я такую блестящую карьеру, потому что прочитал с успехом несколько лекций и получил передачу, вследствие чего мог устраивать комбинации со своею «пайкою».

Народ в камере был, что называется, с бору и с сосенки, и в этом состояла громадная трудность внутреннего порядка и внутренних отношений. Сидели: протоиерей, академик и археолог Борис Федорович Колесников, державшийся на высоте своего сана и служения. Профессор Иван Иванович Лавров — путеец, интеллигент вежливости не нонешней. Несколько агрономов, астроном Владимир Иванович Козлов — молодой ученый. Экономисты, академик-дендролог, фамилию которого забыл, студенты — молодые мальчики, террористы и диверсанты, группа евреев, занявших отдельный угол на нарах и руководимых крупным комиссаром из Казани Левицким, чрезвычайно неприятным человеком. Простые старые люди, не то крестьяне, не то рабочие, робкие и голодные, и, наконец, «свои в доску» уголовные типы — воры, растратчики и даже убийцы.

Понятно, что такое смешение «чистых и нечистых» требовало твердой власти в камере и жестокой дисциплины. Воровство в камере при мне случилось один раз. Вор был обнаружен, жестоко

избит и, по требованию камеры, выведен вон. Вспоминаю старика 73-х лет, Туровского — мужа известной профессорши пения Московской консерватории. Он сам всю свою жизнь просидел в Государственном банке в Петербурге, занимал большие должности. Продолжал работать после революции, но вполне, по-видимому, не мог освоить ее идеологии и проникнуться ее духом. И вот он за последний год, не зная, на основании каких строк из Библии, начал предсказывать «конец большевикам в 1933 году» и попал в «Бутырки». Вызванный из камеры к следователю, он стал доказывать ему правоту своего пророчества, был нами за это руган и наставлен в поведении на будущее. Он, между прочим, рассказал чудесный анекдот о Петре Великом: «Как-то Петр крестил у штурмана и спросил его, сколько взял поп за крестины. "Да дорого, Ваше величество". — "Ты что ж, это, Спиридон, не унимаешься? — сказал Петр попу. — Вот тебе мое последнее слово: завтра явись ко мне и скажи, сколько звезд на небе, что стоит моя царская персона, и о чем я думаю. Не скажешь — голову снесу". Закручинился Спиридон. Пришел домой сам не свой. Ну, разве можно сосчитать, сколько звезд на небе, сказать, что стоит его персона — скажешь мало, плохо, скажешь много, льстишь. А потом, что думает Его величество? А у Спиридона был брат Семен, пьяница, поп. "Я, — говорит, — пойду, ты не ходи", — и пошел. "Приказали Ваше императорское величество прибыть". — "А ну, так сколько звезд на небе?" — "Три тысячи сто сорок одна" — "Врешь, сукин сын!" — "Сам три раза считал, Ваше величество, извольте проверить". — "Ну, а сколько стоит моя персона?" — "Двадцать девять сребреников, Ваше величество". — "Почему так?" — "Да Господь Иисус Христос все же подороже Вас был, а заплатили за Него тридцать". — "Ну, хорошо, а о чем я думаю?" — "А что ж, Ваше величество, Вы думаете, что перед вами поп Спиридон, а на самом деле я его брат Семен…"».

Помню, как-то утром увидел я крупного молодого мужчину, бритого, с длинными волосами. Сидит он на нарах и плачет. А мы с профессором Лавровым «держали общий чай». «Позвать его чайку попить, что ли? — сказал я. — Утешить человека». — «Позовите». Пошел, это, я в носках по нарам, подхожу, присаживаюсь на корточки и спрашиваю: «Ну, что же Вы плачете?» — «А-а, как же мне не плакать?» — «Не плачем же мы, не плачьте и Вы. Да кто Вы будете?» — «Я? Я — бас». — «Ну, вот видите, какой солидный голос, а плачете. Пойдемте-ка лучше чай пить». На следующий день бас пел у нас на вечере.

На третий день по доставке меня в Бутырки я был позван к следователю-женщине, разговаривавшей со мной последний раз на Лубянке. Она предложила мне переписать последнее вранье и

внести в него ряд небезобидных поправок. Я отказался. Вначале разговор был мирен, затем она стала браниться. Я тогда посмотрел на нее и сказал: «Я сейчас в таком положении, что ничего другого не могу сказать Вам, кроме следующих строк:

Если жизнь тебя обманет.
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет…»

Она примолкла, потребовала себе завтрак и медленно стала его есть передо мною, щеголяя маникюром. А я, небритый, голодный, в неряшливом платье, сидел перед нею и ждал, что она будет делать со мною дальше. Позавтракав, она позвонила кому-то по телефону и сказала о моем отказе внести добавления. Выслушав что-то в ответ, она вывела меня в коридор и приказала мне ждать, стоя в углу. Прошло четыре часа, прежде чем она вновь позвала меня и спросила, одумался ли я. «Конечно, нет, — ответил я. — Ваше "наказание" только озлило меня». Она позвонила и отправила меня в камеру.

Последняя моя беседа со следователем, уже Оленцевым, была в Пасхальную ночь, 1 апреля. Он спросил меня, как я себя чувствую и не расскажу ли ему о своих занятиях гипнозом. Я улыбнулся: «Лекция в три часа ночи — занятие столь же забавное, сколь и грустное». После этого мы мирно проговорили с час и о гипнозе, и еще о каких-то посторонних вещах. Провожая меня, Оленцев сказал: «Не опускайте крылья, все будет хорошо». С тех пор в камере, где я рассказал это, да и я сам, стали верить, что меня со дня на день должны отпустить.

А время подходило уже к 1 мая. Если бы в первые дни кто сказал мне, что я могу просидеть месяц-два, я не поверил бы и пришел в отчаяние. Но… «Всюду жизнь», как в известной картине Ярошенко. И к чему только человек не привыкает. В камере говорили, что я «рожден для нее». И мое спокойствие, ровное, веселое поведение заставляло людей искать общения со мною. Мне отказали в очках и лишили меня возможности чтения, но Козлов и другие по очереди читали мне, и это было истинным удовольствием. Вообще, хороший человек больше познается и больше ценится в несчастье. Это давно известно. Но должно быть, и несчастье часто выявляет в человеке хорошее, скрытое раньше. Мне везло на хороших людей в тюрьме.

Шумная, гудевшая сотней голосов камера, помимо ночи, затихала в двух случаях — это когда открывались двери камеры, и когда с «пересылки», обыкновенно вечером, вдруг неслось:

«Камера 44 — Петров на пять лет, Иванов на десять лет, Семенов на три года и т. д.» Это означало, что взятые днем из камеры, узнав в «пересыльной» сроки своих наказаний, доводили их до сведения оставшихся. Вечерние эти вещания производили сильнейшее впечатление: все затихали, все слушали, затаив дыхание. Это была проверка предположений, это была основа для выводов о себе. Затихала камера и во всех случаях, когда открывались ее двери, и на пороге появлялся «чин». Это означало, что кого-то вызовут или к следователю, или «с вещами». А это были моменты, которых все ждали и которых боялись. В камере верили, что вызовы днем никогда не приводят домой. Ночные же — очень часто. Несомненно, в этом была доля истины.

А вообще же «заключений», «наблюдений» и, главное, «примет» было множество. Все становились суеверными. Севшие на подоконник воробьи и голуби означали число вызванных с вещами в этот день. Гадали на спичках, гадали на картах, которые делали и берегли с величайшей осторожностью. Выпущенные домой должны были тут же на углу сломать свою ложку, чтобы не вернуться обратно. Помню одного рабочего-коммуниста, гадавшего все время и себе, и другим на картах. Его вызвали ночью «с вещами». Собираясь, он в камере раздал все свое тюремное имущество и передачу, полученную им в этот день из дому. «Я иду домой». На следующий день мы увидали его выглядывающим с третьего этажа.

Итак, дело подходило к 1 мая. Вызовы из камеры «с вещами» участились. Это было обычное «опорожнение» тюрьмы перед праздниками. Двадцать восьмого апреля днем появившийся в дверях «чин» стал читать фамилии по длинному списку. Камера заволновалась, засобиралась. Не успели уйти вызванные, как вновь список и вновь вызовы: «Соберись с вещами!» В этот раз вызвали и меня. Дело обернулось просто. Камеру 44 освобождали под женщин, а нас разводили по другим камерам. Я попал в 73-ю, в одном коридоре с камерой 78, где в свое время сидел Володя. Это явственнее напоминало мне его и сближало с ним. Семьдесят третья камера была заново отремонтирована, пол был плиточный, окна выходили во двор, где происходила прогулка. Коридор был светлее, веселее, и народу в камере было меньше. Приняли нас «по закону», т. е. не положили от «параши», а дали нам «места по стажу».

Под 1 мая устроили вечер. В камере составился недурной хор. С нами попал и наш бас. Известный искусствовед Сергей Матвеевич Ромов читал Маяковского. Он 24 года прожил безвыездно в Париже, и тоска по родине привела его в Москву. Думал он по-французски, а речь свою переводил с французского

на русский. Он почему-то сразу уверовал, что я выйду раньше его и непременно на волю, и шептал мне ночью: «В Чистом переулке живет моя жена. Пожалуйста, пойдите и скажите ей, чтобы она дала знать Ромену Роллану, что Серж Ромов сидит в тюрьме и ждет его помощи».

Первого мая вечером в камеру впустили высокого, худого, лет 33-х наборщика из типографии Левенсона. Он утром разбил окно витрины Торгсина на Арбатской площади, вовсе не преследуя грабежа, а желая лишь этим актом привлечь толпу к грабежу ненавистного Торгсина и показать этим иностранцам, приехавшим на торжества, «истинное положение дел». Витрину он разбил, но толпа за ним не последовала. На него бросилась милиция, он побежал, отстреливаясь, кого-то ранил. Пробыл он в камере недолго. Он потребовал разбора своего дела без проволочки, заявив: «Я ничего не скрываю, ни от чего не отказываюсь. Морить меня голодом в тюрьме нечего. Или расстреляйте, или выпустите». Это свое требование он подкрепил голодовкой, которую тут же объявил. Через несколько дней его взяли из камеры. Насколько я припоминаю, за всю мою жизнь это был первый человек, говоривший то, что думал, и делавший то, что находил нужным делать. Он был просто серьезен. Насколько он был нормален, судить не берусь. Но слова его были последовательны, мышление логично, свое намерение и дело он обдумал самостоятельно один, никого не привлекая. А что расчеты его оказались ошибочными, это нередко бывает в жизни и в более крупных делах.

Припоминаю и другого человека — профессора Искрицкого. Благородной внешности, большого достоинства. Он был взят по дороге в институт и сидел в камере без всяких вещей и передач. Кусок бумаги, нужный повседневно, он заменил куском шелка, отрываемого от подкладки пальто. Его скоро вызвали. Судьба его мне неизвестна, как и дело, по которому он сидел. Но его молчаливое, гордое страдание, полное лишений, осталось в памяти.

С каждым днем весны и лета камера пустела. Можно было сделать научный вывод, что контрреволюцией занимаются в длинные зимние вечера. Позвали как-то ночью и Ромова. Собрали мы его. Повесил он по мешку спереди и сзади и стал похож на Рождественского деда. «Домой, домой», — шептали мы ему. Наконец, дверь открылась, захлопнулась, и инженер из «Интуриста» Минин голосом кантора возгласил: «Был человек, и не стало человека».

Прошел день, наступила ночь. Вдруг открылась дверь, и в камеру Дедом Морозом вполз Ромов. «Как я устал, как я

устал», — прошептал Сергей Матвеевич. Мы обступили его, сняли мешки, освободили место на нарах, а он нам рассказал: «Друзья мои, повезли меня вовсе не домой, а на Лубянку. Привели к следователю в кабинет. Тот посмотрел на меня и говорит: "Ну, что мне с вами делать?" А я ему в ответ: натурально, выпустить. А он: "Вот вы все так говорите. А в самом деле, куда мне вас девать? В лагерь послать, только хлебом вас там кормить. У нас там по-французски никто не разговаривает. Здесь держать, достаточно подержали. Ну, вот что, мы вас выпустим и посмотрим, как вы будете работать. А там видно будет"». — «Ну и что же, зачем же вас опять сюда привезли?» — «А я почем знаю». В следующую ночь: «Ромов». — «Сергей Матвеевич». — «Соберись с вещами. Больше мы его не видели.

Летом нары были сняты, натянуты холщовые мешки на металлические рамы. Получилась у каждого отдельная постель, и жить в камере стало много легче. Число заключенных дошло одно время до 20-ти человек. Старостою камеры был в это время старый эс-эр, агроном, бывший председатель Тверской земской управы Покровский Сергей Александрович, человек атлетического сложения, прямой и честный. Мы лежали с ним рядышком у самого окна и очень дружили. Другим моим соседом был инженер — строитель Турксиба, орденоносец Перельман, культурный и приятный человек. Его очки были впору по моим глазам, и это дало мне возможность обходиться без чтеца.

И я за это время прочитал ряд вещей Бальзака, Флобера, Вассермана, Джека Лондона. Впервые узнал и полюбил Конрада Берковича. С волнением перечитал «Доминика» Фромантена, «Анну Каренину», народные рассказы Толстого, причем наблюдал, какое громадное впечатление эти рассказы производят на простых людей, «Братьев Карамазовых», Гончарова, да и многое, многое еще, и в том числе «Евгения Онегина», кажется, впервые не торопясь и до конца.

Почти каждый вечер кто-нибудь из нас выступал с тем или иным сообщением. Один студент, простой парень из-под Нижнего Новгорода, два вечера занял нас рассказом о «бойцовых петухах и гусях». Это было изумительно живое и образное изображение азартной игры, к которой готовились месяцами и на которой проигрывали сотни рублей золотом. Я выступал очень часто на самые разнообразные темы и как-то раз на тему «Искусство жить». Поднялась жестокая дискуссия, затянувшаяся на несколько вечеров, обострившая ряд отношений. Тогда подошел ко мне худенький утлый еврей — баптист Школь — и заявил: «Тема, поднятая Вами, интересна и нужна, но должен сказать Вам, что если Вы хотите кого-либо чему научить, то нельзя это делать с

азартом, насмешкой и злом. Апостол Павел говорил: "Учить надо всегда только со слезами"». Эти замечательные слова поразили меня.

Надо сказать, что в тюрьме произошло у меня изумительное обострение памяти. Я вспомнил очень многое, давно мною читанное и узнанное, и оказалось вдруг, что я как-то много знаю и о многом могу рассказать. В жизни это потом опять исчезло. И я это явление отношу за счет однообразных тюремных дней, сосредоточенности, неторопливой жизни, а также и умеренной еды. Недаром говорится: «Сытое брюхо к науке глухо».

Несколько вечеров заняло чтение вслух «Рыбаков» Григоровича. Читал Минин, и читал превосходно, сделав небольшие купюры. Вся камера слушала, затаив дыхание, и моментами едва удерживала слезы. Вот, что значат подходящая обстановка и выразительность передачи!

Большое разнообразие в жизнь камеры вносили: баня, обыски и прогулки. Выпускали нас гулять ежедневно на двадцать минут во внутренний двор тюрьмы, куда выходили окна многих камер, где многих можно было увидеть, многому удивиться, а иногда и кое-что узнать. Один раз нас вызвали на прогулку в проливной дождь. Кроме меня, никто не пошел. Я же храбро, не торопясь, делал свои круги все 20 минут и заставил мокнуть ненавидимого всеми нами стража «Вафлю», прозванного так за рябое лицо. Закончил я прогулку под аплодисменты всех камер. Вернулся к себе мокрый до нитки, но довольный и почти счастливый, конечно, не мокрым «Вафлею», а хорошим душем и взбодренностью.

Обыски бывали обыкновенно ночью. Среди сна поднимали нас с вещами, выводили в нижний этаж «пересыльной» и здесь обыскивали и нас, и вещи, одновременно обыскивали и камеру. Эта позорная процедура оскорбляла нас своей бессмысленностью и грубостью проведения. И что отбирали, и что могли отобрать? Сделанные из хлеба шахматы, карандаш, изредка колоду карт, изданную в камере и никогда не служившую азартной игре.

Жаловаться в камере на свою судьбу не было принято, и про бегающих по камере и нервничающих говорили: «Жареный петух в задницу его клюнул». Прекрасно держалась студенческая молодежь. Она не скулила, гордо голодала, лишнего не болтала. Сидел одно время в камере Холодовский Андрей Михайлович, мальчик лет девятнадцати, из морской среды, как водится, террорист и диверсант. Я встретил его потом на Медвежьей Горе, откуда его скоро услали в спецлагеря. Так вот, им нельзя было не любоваться и не уважать его. Спокоен, ровен, знает, что хочет, знает, что его ждет, и ни одного лишнего движения. У меня

болело сердце, глядя на него, и думалось, сколько пользы и радости мог бы он внести в жизнь, и откуда он такой — «сверхчеловечный».

Ну, однако, довольно. Всему бывает конец. Пришел он и моему пребыванию в камере № 73. Одиннадцатого сентября днем, когда я и не думал ни о каком вызове, ведь меня с апреля месяца никто не вызывал, открылась дверь, и возглас: «Мелентьев!» Я от неожиданности и волнения неуверенно ответил: «Михаил Михайлович». — «Соберись с вещами». Камера реагировала на это общим движением. Я сжился с нею и с первых дней заведовал «культпросветом». Но увы, увы! Никто не утешил меня, что я иду домой. Всем, и мне, было ясно, что зовут в «пересыльную».

Я собрал вещи, простился со всеми. Все окружили меня, а потом открылась дверь, я вышел. Дверь захлопнулась, и в коридоре я увидел всех своих «сообщников», знакомых и незнакомых: Д.В.Никитин, Н.Н.Печкин, профессор Холин, доктор Краевский, доктор Кайзер и другие — всего 14 человек. Все с мешками, взволнованы, но все «держатся» и даже стараются шутить. Нас вывели в «пересыльную» и, не вводя в камеру, дали прочитать каждому приговор по его делу. Все, кроме Никитина и Печкина, получили по 3 года лагерей, первые же двое по пяти лет. Мне был назначен город Дальний в ДВК. Как мы ни ждали этого, как ни мала была надежда на освобождение, а все же она была. Всякое несчастье, даже ожидаемое, всегда воспринимается как неожиданное. Таким неожиданным несчастьем оказались для нас всех и три года лагерей.

Камера № 1 пересыльной тюрьмы — большая, с нарами в два этажа — приняла нас радушно. Здесь обычно не задерживались. Проходил день-два, шел этап, и шла отправка. И мы ждали этого. Но дни шли, а нас не трогали. По утрам мы устраивали научные медицинские конференции, вечерами читали лекции на общие темы или устраивали литературные чтения. От этого времени у меня сохранился листок, избежавший обыска, со следующим стихотворением, написанным одним пареньком после одного из моих выступлений:

М. М. посвящаю
Я слышу, ветер как шумит
И слезы осени роняет,
Я слышу, голос как звучит,
В нем много радости играет.

Передо мною человек —
Его глаза — страницы книг,

Которых в жизни я не знал.
Он так приятен и велик.

И этот вечер пусть ушел
Своим тоскующим прощаньем.
Я слышу, голос как звучит
Строками умного молчания.
Москва, Бутырки.
28/IX-33 г.
Иван Горелов

Между прочим, Д.В.Никитин рассказал мне под большим секретом, что как-то, в самом начале лета, вызвал его к себе следователь и заявил: «Всем известно, доктор, что вы из Италии привезли сыворотку, применяемую при воспалении легких. Не могли бы вы заочно применить ее одному больному?» Дмитрий Васильевич ответил отказом. Через час вызвали опять и предложили написать записку домой, чтобы прислали новый костюм. Дмитрий Васильевич написал. Затем его отправили к парикмахеру, привели в приличный вид, дома же у Никитина, между тем, никого не застали, посланный вернулся без костюма, и следователь вызвал его и предложил ему поехать домой, переодеться и ехать немедленно на консультацию. «Что же дальше скрывать, доктор. Вас вызывает Горький, заболевший воспалением легких». Через час Дмитрий Васильевич входил, как ни в чем ни бывало, в особняк Рябушинского у Никитских ворот, прожил там у Горького полтора месяца до его выздоровления, потом месяца два у себя дома, по выражению Лескова, «в самом неопределенном наклонении», пока в начале сентября не взяли его опять в «Бутырки».

Восемнадцатого сентября мне разрешили увидеться с родными. Помещение, где происходило свидание, было мне уже знакомо по свиданию с Володей, и вообще, идя последовательно его путем в Бутырской тюрьме, я все время имел его образ перед глазами и в минуту уныния говорил себе: «Ты не лучше его. Прошел он этот путь. Иди и ты». На свидание пришла, конечно, Анюшка. Она показалась мне человеком из другого мира. За семь месяцев тюрьмы я видел всего одну женщину — это следователя. Но разве могла она идти в счет! От Анюшки я узнал, что почти вслед за моим арестом освободили Володю и что он «по минусу» живет в Моршанске. Какой страшной иронией обертывался для меня мой трехгодичный срок и как некстати, как некстати был мой арест и вся эта история со мною. А все же он на свободе! Но

как будет он жить!

Тридцатого числа свидание было повторено. Просочились какие-то слухи о пересмотре наших дел. Из Алабино все вывезено, и профессор Лавров помогал при перевозке. А 3 октября, в сумерки, открылась дверь камеры, перечислены все докторские фамилии, и: «Соберись с вещами». Внизу нам передали на руки приговоры о лагерях, отправили в баню, а затем поместили в одну из комнат Бутырского «вокзала», отдельно от большой толпы, стоявшей в «вокзале» и ждавшей отправки этапом.

Прошло два-три часа томительного ожидания и разных догадок, когда, наконец, нас стали вызывать по два-три человека в совершенно неожиданных комбинациях. Дошла очередь и до меня вместе с доктором Печкиным, и за дверями мы узнали, что заключение в лагеря нам заменено административной высылкой: Печкину — в Кемь, мне — в Медвежью Гору, на прежние сроки.

Снабдив затем нас черным хлебом и коробкой консервов, посадили в автомобиль и свезли на Октябрьский вокзал — людный, с массой цветов и нарядной публикой. А мы, небритые, в одежде, на которой спали почти восемь месяцев, в зимних пальто и ботинках, зашнурованных веревочками. К отходу поезда «чин», сопровождавший нас, прошел в вагон, пожелал нам доброго пути, поезд тронулся, и мы, ошеломленные столь разительной и быстрой переменой в нашей судьбе, не верили, что мы без стражи и на свободе. Не помню, спал ли я ночь. Должно быть, спал. А с утра мне все казалось сном. Вот-вот проснусь в камере, и нары будут моей действительностью. И ходил, и действовал я, как лунатик.

В Ленинграде на вокзале мы с Николаем Николаевичем побрились, постриглись, немного почистились, расцеловались и поехали по своим путям. Мучительно не шли и болели ноги в икрах. Пройдешь несколько шагов, остановишься, потрешь их и потом только можешь двигаться дальше.

Иринушки днем не было дома, и я поехал к Наталье Павловне Вревской. Университетский двор, знакомая квартира, сама Наталья Павловна, изумленная и обрадованная, а у меня все время чувство миража, а главное, непосвященности людей, с которыми я общаюсь, в «тюремную историю». Ничего они не знают, и ничего они не узнают, пока сами всего не испытают! Рассказать этого нельзя. И я таил в себе свое знание, свою мудрость. Озлобления у меня за происшедшее не было никакого. Я смотрел на него, как на очень нужное в моей жизни, без чего я оставался бы неразумен и слеп.

Вечером я был у Ирины. Ее радость и ласка тронули меня. Она рассказывала мне о пережитом за это время, о Володе, об

Алабино, о квартире там, опечатанной и распечатанной, об усилиях рыжего завхоза больницы овладеть моими вещами, и особенно большими зелеными рюмками для вина — они особенно «бросились ему в голову». О слухах, легендах и впечатлении, вызванных моим арестом и еще о многом хорошем, смешном и низком, всегда рядом идущим в жизни. И когда я после ванны лег в мягкую постель со свежим бельем и подушками, я почувствовал себя счастливым как в детстве. В камере у меня учились делать мягкую подушку из грязного белья, которое я рыхло складывал в наволочку. И вот прошло и это! Я вновь возвращаюсь к жизни. И в каких бы формах не протекала она, она — жизнь — все же есть благо единственное и неповторимое. Как ни мало понимал это Володя, как ни бросался он своей жизнью и ни во что не ставил ее, а по временам и у него было сознание ценности жизни, недаром он ее в своем полудетском письме ко мне приводит строки из М.А.Кузмина: «Минута, что проходит, никогда не вернется, и вечно помнить это бы нужно; тогда вдвое бы слаще все было, как младенцу, только что глаза открывшему, или умирающему».

Через день я уехал в Медвежью Гору.

Эпилог

В августе 1960 года в полдень я сидел у себя в комнате и увидел, как мимо моих окон прошел молодой человек в белом плаще. Дело было в Тарусе.

Я вышел к нему в переднюю, и он встретил меня такими словами: «Мне нужно поговорить с Вами наедине».

Вошли ко мне в комнату, и он тут же показал мне книжечку, сказав при этом: «Я следователь и приехал к Вам из Москвы по делу Вашего ареста».

Книжечку я не стал смотреть, а спросил: «Что же Вас интересует? Ведь уже прошло двадцать семь лет со дня этого события. И сколько человек по нашему делу осталось в живых?» — «Из четырнадцати человек Вашей группы остались в живых всего два человека, а интересует нас ход следствия над Вами, причина Вашего ареста по вашему мнению, и почему Вы до сих пор не подали заявления о реабилитации?..»

Началась беседа-допрос, и продолжалась она более трех часов. Следователь исписывал лист за листом, причем ход следствия, его ведение, поведение следователей во время допросов, — стояли в центре его внимания. «Были ли угрозы? Побои?..»

Интересная подробность — в деле не оказалось первого протокола допроса, какой мы с таким трудом вместе со следователем Гиммельфарбом «состряпали», и какой следующий следователь назвала «филькиной грамотой». К делу был подшит только протокол, написанный рукой дамы-девицы. Следователь его прочитал, и мне было интересно его послушать. Это было убогое творчество общедекларативного характера в одну страницу писчего листа бумаги. В нем не было упомянуто ни одного лица «нашей периферийной контрреволюционной ячейки», никаких действий по свержению существующего строя. Это был набор фраз «о возмущении и недовольстве»…

Словом, мне не было стыдно увидеть свою подпись под этим протоколом. И не зря продержала меня «следовательша» четыре часа на ногах в углу коридора у своего кабинета.

Причин нашего ареста объяснить следователю я, конечно не мог. Это было время повальных арестов и высылок в лагеря; было ли это следствием патологической подозрительности, предательства или высших, недоступных нашему пониманию соображений — кто мог сказать? Но я ему рассказал о том, что мне в свое время рассказал доктор Н.Н.Печкин, которому не верить было нельзя.

Николай Николаевич был выслан в Кемь. Вскоре же после его водворения в Кеми заболела жена самого высокого лагерного начальства. Печкин определил у нее внематочную беременность. Требовалась немедленная операция. Начальство посомневалось доверить ее Печкину, но было принуждено обратиться к нему. Операция прошла благополучно. И вот недели через две-три начальство пригласило Печкина к себе домой на чашку чая. С чаем появилась и водочка. С водочкой у начальства появилось и доверчивое расположение к доктору, который спас жену от смерти. И вот оно, это начальство, и рассказало: «Ты думаешь, Николай Николаевич, что я не знаю настоящей причины твоего ареста и считаю тебя в чем-либо виноватым? Дело все в том, что Ягоде нужно было убрать от Горького доктора Никитина… Он и арестовал его. Но оказалось, трудно было состряпать какое-либо обвинение против него, да и защитники были у него сильные. И вот Ягода был вынужден посадить в тюрьму ближайшее к Никитину врачебное окружение. Так попал и ты. А я как раз в это время был в Москве, и вся эта махинация проходила на моих глазах…»

Следователь писал и слушал, слушал и писал…

А почему я до сих пор не подал заявления о реабилитации?

Да потому, что судимость с меня снята, и я считал, что достаточно и этого. Последние несколько лет меня уже никто не

беспокоил моим прошлым, и я надеялся так жить и дальше… А вот почему, скажите мне, появился интерес к этому «нашему делу», когда при этом почти все участники его уже умерли?

«Секрета делать не стану, — ответил мне следователь. — Один из сыновей пострадавшего и уже умершего поднял вопрос о посмертной реабилитации своего отца. А в этих случаях просматривается все дело о всех участниках. Вот почему приехал я и к Вам…»

Все, что было записано следователем, было мне прочитано, мною подписано. Дело велось просто, по-человечески, и я предложил следователю стакан чаю, но он отказался. Его ждала машина, и он спешил вернуться в Москву.

Конечно, эта беседа взволновала меня. В ней была горечь от прошлого и радость от настоящего. До чего дожили!.. Следователь из Москвы едет в Тарусу, чтобы не беспокоить старика. Экий «реванш»! Во время моей беседы Марианна, внучка, прильнула к двери со стороны передней, и весь дом был в курсе, что ничего плохого нет, а то поднялась бы тревога… Мы крепко все напуганы, и испуг пока крепко в нас держится…

Второго ноября 1960 года была прислана такая бумага:

«Прокуратура Московской области. Сообщаю, что по Вашему делу, по которому Вы были осуждены в 1933 году, прокурором области внесен протест в Мособлсуд, откуда о принятом решении Вам будет сообщено дополнительно.

Ст. помощник прокурора, советник юстиции Яковлев».

А седьмого декабря того же года я получил из Облсуда Московской области справку, что:

«Постановлением Облсуда от 12 ноября 1960 года отменены постановления тройки ПП ОГПУ и дело, за отсутствием состава преступления, производством прекращено».

Глава вторая. ССЫЛКА (1933–1936)

Всюду жизнь.

5 октября 1933 года. Ленинград. А.П.Барановой.

«Дорогой друг! Я причинил Вам столько неприятностей, что не знаю, можно ли простить меня. Событие, которого Вы так страшились и в которое я верил и не верил, не минуло Вас. Но в этом случае утешает меня сознание моей полной невиновности.

Я очень мечтал повидать Вас перед отъездом на вокзале, но нас лишили этой радости. Думаю и как-то надеюсь устроиться впереди хорошо и начать "загонять деньгу", а Вы не откажитесь совершить путешествие в Медвежью Гору, дорога туда так проста. В себя я еще не совсем пришел. Перемена мною еще не освоена, странная голова, руки отвыкли держать перо, ноги — ходить. Доехал до Ленинграда хорошо, в плацкартном вагоне. Живу у Ирины, "привыкаю к жизни". Завтра уезжаю "к себе". Это не пугает меня. Место, говорят, отличное, а работа найдется.

Спасибо Вам за Вашу неизменную доброту, я ее чувствовал все время и хочу одного — не остаться в долгу. И верьте мне, мы еще "повоюем", т. е. поживем, порадуемся и забудем плохое за хорошим. Осмотревшись на месте, я тут же напишу Вам».

8 октября. Медвежья Гора. Ей же.

«Робинзон осматривается и начинает понимать, что жить, пока не подойдет корабль и не подберет, можно. Невесело, конечно, но это больше оттого, что скучно жить с чужими людьми. На работу устроился на здравпункт Лесозавода. Конечно, примитивно, но там дают квартиру и обед в столовой "ИТР". Подыскиваю еще работу. Денег, денег! Когда переселюсь на квартиру, напишу подробнее. Пока же сижу в общем номере гостиницы и чувствую себя на площади, что Вы и видите по моему письму, — оно и несвязно, и неразборчиво написано».

20 октября. «Chere Madame! День у меня сегодня вышел трудный. Вернулся я поздно, и в радость мне Ваше письмо, да такое, что я не знаю, "вправду оно или нарочно". В самом деле приедете? Да, сюда из Москвы идет прямой вагон. Погуляете по Невскому, посидите в сквере у Казанского собора, пообедаете в "Европейской" и вернетесь в свой вагон. А уж на обратной дороге сможете и пожить в Ленинграде, если потянет. Путь прост, да только Вы в самом деле хотите ехать сюда? А осень, а слякоть, а дождь? Правда, погода пока здесь отличная, но ведь каждый день она может обернуться ненастьем. А потом скучно будет Вам здесь, и сидеть-то больше придется одной, и притом не в кресле, а на

стуле. И развлечений никаких нет. И музыка представлена одним духовым оркестром. А с едой как? Ну, обед я Вам добуду. Кое-что достанем на рынке. Дрова есть, плита топится. Вы, конечно, будете сыты. Возьмите только какую-нибудь работу с собой. Это обязательно, и все, что нужно для жизни "семейным бытом", мелочи сервировки для уюта, чтобы не было бумажек и кульков на столе. Ах, ах, ах, да неужто Вы приедете? Поезжайте только обязательно "мягким". Денег у меня пока нет, но деньги будут. Кстати, хлеба я получаю 800, ведь хватит нам?

Вечера я все провожу дома. Начинают меня звать в гости, но я пока только благодарю и обещаю. Кстати, жить мы с Вами попытаемся без домработницы. Дрова и воду носят, обед будет готовый. А как не хочется видеть постоянно в маленькой квартире чужого человека и слушать его! Итак, приедете? А уж приедете — курите, пожалуйста. Что с Вами поделаешь? От Вас одной это мне не будет "уморительно"».

26 октября. «Chere Madame! Ну, на что я мог быть сердит на Вас?! Как это могло придти Вам в голову?! Все мои мысли сейчас в свободные минуты заняты Вашим приездом. Обдумываю, как Вы устроитесь, как буду кормить Вас, как мне достать ряд мелочей, без которых досадна или неустроена жизнь. Очень огорчен, что не могу сейчас послать Вам денег, но это за мной. Работаю я много, но работа не по мне. Встречаюсь со многими людьми, но чужды они мне по всему своему укладу и, главным образом, по "зеленому вину". Кстати, Вы приедете сюда, конечно, моею женою. Здесь большинство семей "разнофамильны", и смущаться Вам своей фамилией не придется. Для здешней же психологии это проще. Вот пишу Вам эти предупреждения, а кажутся они мне невероятными. Мне трудно пока поверить, что вот здесь у меня, заброшенного в новый город, в город без традиций, без прошлого, без людей оседлых, а случаем и силою населенных, город, в котором нет религии, и в этом городе вдруг появитесь Вы — яркое напоминание прошлой моей жизни.

Если бы вы знали, как я постарел, как я изменился, и главное, моя старость сказывается в каком-то равнодушии к Володе. Я бодр, весел и энергичен, но в душу мою ползет какая-то безнадежность, какая-то безысходная грусть от жизни. Мне представляется ликвидация без меня моей алабинской квартиры — репетицией "на после моей смерти". Я будто пережил самого себя и со стороны наблюдал, что будет после меня. Это глупо, конечно, но чувствование это поддерживается моим состоянием "ссыльного" за тысячу верст. Ну, довольно. Эта "резиньяция" напала на меня от досады, что письма еще не доходят. И сплю-то я здесь как-то по-иному, не так, как спал раньше. И сны иные, и с

утра самочувствие пустое. Нет цели в дне, нет в нем интереса. Ну, до свиданья. И верьте, если нет писем, это не я виноват, а почта.

P. S. Вы спрашиваете, как я одет и что мое зимнее пальто? Пальто, хоть я и спал на нем 8 месяцев, — и под юрцами, и на полу, и на нарах, — я сумел сохранить, и вида своего оно не потеряло. Умилил меня здесь на днях портной. Нашел я его каким-то чудом. Он пришил мне все пуговицы ко всему моему одеянию, кое-что поправил, кое-что починил. Так как другой смены платья у меня не было, то я ожидал у него. Уходя, хочу расплатиться, а он категорически не берет. Пожал я ему руку и пошел. И такое отношение у многих-многих, "чувствующих" человека. Много еще хороших людей есть на свете, и хорошее в человеке живет еще».

30 октября. «Chere Madame! Никаких разрешений на приезд ко мне не надо. Вы забываете, что я свободный человек. Хлопотать о комфорте для Вас здесь — это мое удовольствие. Вы знаете, я и сам не люблю житья богемы. Но когда это делается только для себя, то это не таит в себе такого удовольствия. Понемногу мое хозяйство принимает настоящий вид. Одно за другим я беру препятствия. Не забудьте, что я вошел в квартиру с котомкой за плечами. Еще и еще жалею, что "поистратился", а то даже и здесь многое можно достать. Вещи, полученные мною из Москвы, сразу дали "тон" квартире и принесли столько удобств, что я должен привыкать к ним. О чем я еще мечтаю — это о "гобеленах", конечно, без рам. Привезите их. В свернутом виде они занимают очень мало места. Нужно же и можно себя побаловать. Я никуда не хожу, и мне хорошо лишь дома. Оттого я и забочусь о своем угле. Вот если бы Вы могли вместо шляпы одеть каркас для абажура! А? Словом, приезжайте».

9 ноября. «Chere Madame! Что же это случилось с Вами? Две недели ни одной строчки! Больны? Ну, мне бы сообщили об этом. Нет, я думаю, причина здесь — почта. Я уверен, что часть наших писем теряется. Это нужно иметь ввиду и не подозревать друг друга в "забвении". Что я хочу Вам сказать? Не ожидайте денег от продажи мебели. На дорогу нужно всего рублей 60, а здесь мы проживем. Сделайте так, как я советую Вам. А то Вы будете собираться еще полгода. Живу я неплохо. Получил еще работу, но это мало, мало. Деньги нужны, и нужно их зарабатывать, пока работается. Времени свободного у меня еще достаточно, а я считаю, если останутся свободными лишь вечера, и то довольно. На праздниках был в клубе на спектакле. Пьеса современная, любителями разыгранная, но мне было занимательно. Очень длинны лишь антракты. Читаю Бальзака, толстые журналы и очень соскучился о медицинской прессе, но достать ее здесь пока

не смог. Третий день легла зима: мороз, снег, ветер. Но отношение к зиме здесь несерьезное. У большинства до сих пор не вставлены рамы, да я и сомневаюсь, чтобы они были запасены. Отепление везде проведено плохо, и, по-видимому, все надеются на карельские леса. Вот как застыли у меня ноги! Что будет у Вас на ногах? Здесь все утверждают: валенки на улице не нужны, валенки нужны дома. Поэтому, обувайтесь потеплее и приезжайте скорее.

P. S. Если Ирина в Москве, возьмите у нее Фромантена "Доминик". Я почитал бы его Вам вслух».

1934 год

12 января. «Chere Madame! Вот Вы уехали, а я целый день "не в себе". Пошел обедать — выбил два талона. А теперь вот слежу по часам о предполагаемых событиях Вашей жизни. Завтра Вы уже в Москве, как все-таки скоро, ведь я Вас вчера видел! Придя с вокзала, чтобы утешиться, почитал Петрова-Водкина. Что-то не нравится он мне».

15 января. «Сегодня был "у хозяина". "Хозяин" не прежний. Вместо красивого появился некрасивый, но обходительность та же. Следующую явку дал мне на 15 марта. Жизнь, таким образом, как и всегда, оказывается проще ожиданий. Достал медицинские журналы. Дочитываю "дурацкого" Петрова-Водкина.

Споры из-за меня принимают бурный характер, и вчера между главками произошла сцена. Боюсь, как бы не подложили мне свинью с работой в санатории. РИК решил не отпускать меня, хотя бы наполовину.

Жду с нетерпением письма от Вас. Получил очень милое письмо от Игумнова. Кланяется Вам и обещает даже летом заехать. Вы вот иногда недолюбливаете его. А я привязан к нему и ценю его не только как тонкого и талантливого музыканта, но и как человека».

21 января. «Вчера получил Ваше письмо. Вышло оно у Вас не совсем "обстоятельное". Должно быть, дорога сказывается. Я продолжаю сидеть в затворе. Надоели мне все здесь. Вчера имел двухчасовую беседу с "горздравицей". Остался доволен. Она деловая, хочет работать, но у ней нет "людей совета и разума". Разговор был исключительно мирен. Она очень журила меня за то, что я уступил квартиру и перешел на чердачок, в "гробик", и пленяла мое воображение возможностями, какие будут у меня со временем. Словом, я получил полный реванш».

2 февраля. «Chere Madame! Простите за перерыв в моих

письмах. Приезд Анюшки на два дня и ее отъезд — спешный и тревожный, по телеграмме, а также переход мой на работу в тубсанаторий не давали мне возможности сесть за письма. Кроме того, у меня гостит Иринушка. Мне хочется побыть и с нею, поразвлечь ее. Я что-то устал, и в ближайшие дни, по отъезде Ирины, полежу на диване, почитаю и наберусь сил для жизни. Жить остаюсь пока в своем "гробике". Конечно, в нем удобно. В санатории отделывают дом, и в нем уже намечена мне квартира. Вчера вечером выступал в санатории с докладом. Это нужно было сделать, чтобы пригляделись ко мне, узнали. Цель достигнута, и я сегодня признан своим. Был с визитом бывший приват-доцент Греч. Вид у него "урка" — неопрятен, курит махорку, вонюч, облез. Постараюсь больше не видеться с ним. Нашелся и другой знакомый. Это заведующий плановым отделом Бело-Балткомбината А.И.Лежнев. Знаю я его лет 30 с Острогожска. Никогда не был с ним близок. Пути наши никогда не шли рядом. Но человек он крупный, интересный и притом "Лермонтист". Этому я рад. Жаль только, что он так занят, что часто его не увидишь. Теперь с отъездом Вашим, Ани и Ирины у меня нет никаких планов на будущие приезды. Надо устраиваться с квартирою да утрясаться со своими службами. Что-то бросать, что-то оставлять. Пожалуйста, пишите».

10 февраля. «Chere Madame! Наступили морозы. Сегодня с утра до 30. Все залито особым перламутровым светом, и "дымы" из многочисленных труб струятся, как "жертва, угодная Богу", прямыми столбами к небу. Полное безветрие резонирует всякий звук. Все скрипит бодро и весело, и ноги мои весело меня донесли в санаторий. Ну, это между прочим, так себе, лирическое вступление в прозу. А проза заключается в следующем: три дня тому назад позвонил мне "хозяин", просил побывать у него вечерком. Задумался я тут и начал вспоминать, не согрешил ли чем? Но ничего не нашел — "праведен бо и безгрешен". Но тут же и вспомнил, что и без вины можно быть виноватым. Ожидание срока показалось мне томительным, я лег и уснул. Лучшего в моем положении и придумать было нельзя. Встретили меня ласково и спросили с участием: "А почему Вы отказываетесь от работы в Бело-Балткомбинате?" Поговорили. Меня уверили, что мне там будет очень хорошо, а я заверил, что давно мечтал об этом, да вот горздравотдел не пускает. Мне пообещали поговорить об этом и попросили придти опять. О дальнейшем я напишу потом. Как видно, все идет своим порядком: "Тихонько, тихонько — все будет", — говорят татары. И мы будем гордиться, что нами так интересуются и из-за нас "спорят семь городов". Кстати, уж напишите, что Вам купить на 100 рублей в закрытом

распределителе ББК, двери которого нам уже открыли. "Барыня прислала сто рублей. Ни да, ни нет не говорите… и т. д." В самом деле, напишите, что Вам купить.

Мое же приглашение в ББК к худу ли, к добру ли, раздумывать нечего. Работают люди в ББК, поработаем и мы, чем мы лучше. Живу пока в "гробике". От санаторного питания становлюсь сонлив и толст. Боюсь, что скоро мои воротнички не будут мне годиться и усилится одышка. Вот вам пока и все».

15 февраля. «Когда мне подали сегодня Ваше письмо, я уже почти знал, что умерла Вера Михайловна! Все, кажется, оправдывает эту смерть: и возраст, и болезнь, а больно! С нею ушло наше старшее поколение. Она была последней его представительницей. И вот теперь мы стали на очередь. Круг жизни свершился. Страшно за близких, страшно за себя. Ведь Веру Михайловну знал я лет 35, знал еще почти молодой, бодрой. С ней связана вся молодость. Ну, пусть ей будет легка земля. Жизнь свою она прожила достойно, и в болезни, и в смерти своей тоже не оказалась обременительной.

Живу я хорошо и думаю иногда — откуда это у меня такая "сила к жизни"? Вернее всего, от привычки и от инерции. А так ведь нет у меня ни смысла в жизни, ни цели. Были и пропали, а, быть может, и не были. Очень люблю сидеть у себя вечерами один. Попишу, почитаю, похожу, вымоюсь, приведу что-то в порядок и мирно скоротаю вечер. С комбинатом еще не оформил. Там меня ждут. Я там нужен, но мне надо сначала расстаться с заводом. Если я к маю обзаведусь квартирой, приедете Вы или нет? Только сделайте так, чтобы не было страхов — ни за себя, ни за комнату. Учтите опыт прошлого и не портите себе жизнь страхами».

24 февраля. «С 20-го начал работать в ББК. Присматриваюсь, привыкаю, но чувствую себя пока еще дико, не хозяином положения. Все мне там кажется убогим и беспорядочным до удивления. Нужно много внимания приложить и усилий, чтобы подняться хотя бы только "на высоту элементарного удовлетворения" больного человека. Работа предстоит нужная, большая и интересная. Здесь я на месте и всего больше принесу пользы. День мой складывается так: с 9 до 12 в санатории, до 3-х — ББК, с 5 до 8 прием в железнодорожной амбулатории, где согласились уплачивать мне полную ставку за полрабочего дня. Думаю, что я не перегрузился. По существу, я так почти и работал в Алабине. Очень настаивают на моем приеме в РИК. Но когда же? А принимать бы следовало, уже по одному тому, что все равно домой везут. Так я хочу поработать до лета, а там видно будет. Конечно, при такой нагрузке за мною нужен "уход", и мне

нужно иметь домоправительницу. Напишите же, что Вам купить?»

6 марта. «Chere Madame! Только что вернулся из Повенца, куда меня вызывали на консультацию. К нагрузке моих трех служб присоединяется еще практика у "высокопоставленных", и я могу сказать, что "лучшая практика" скоро вся будет в моих руках. Рядовых людей я видел много, и мне занятно познакомиться с верхушкой, хотя бы и медвежьегорской. Однако все это пустяки, а не пустяки то, что я, кажется, в первый раз в жизни действительно "расписан по часам" до отказа, и читать и хандрить уже некогда. Из "гробика" меня настойчиво выселяют, а зима стоит холодная, весной что-то не пахнет. Ну вот, на погоде я и закончу. Устал, хочу спать».

17 марта. «Спасибо за "цветы". Я положил их под стекло и радуюсь весеннему виду. Тепло и у нас сегодня. Даже тает. А к вечеру дождик пошел. Прошедшая неделя у меня была праздником: приезжал Володя. Приехал, как всегда, неожиданно. Безрадостно и грустно его житье в Моршанске. Беспомощен он в жизни. В Москве я просил его заглянуть к Вам и передать привет. Он будет там пытаться попасть на работу в Дмитров. Отца своего он нашел в Ленинграде, и тот прислал ему сюда покаянное письмо со слезами и жалобами на свое одиночество. По-видимому, он будет немножко помогать ему».

23 марта. «Ваше письмо нашли случайно в кармане у пьяного сторожа дома. Радуюсь, что конфекты и папиросы дошли до Вас и доставили Вам удовольствие. Сегодня у меня выходной день, но я побывал в больнице у тяжелобольного, а потом сделал два визита на дом: один к очень "высокопоставленному" лицу, другой — наоборот. В первом случае был зван на обед. Должен был переодеться и не без интереса около трех часов пробыл в обществе, здесь очень замкнутом и недоступном. Успехи мои здесь пока не падают. Вчера неожиданно для меня, позвонили из управления ББК и сказали, что оплата мне увеличивается вдвое. Я несколько удивленно поблагодарил. А сегодня получил опять настойчивое предложение принимать ответственных работников РИКовской амбулатории, два раза в неделю по два часа. Не отказал, но и не согласился. Надо от чего-то отказаться другого, а где отпустят? В работу втянулся. Удачно, что она течет в трех разных местах с разными людьми и разными требованиями. Это менее утомительно. А все же Вы жалейте меня и пишите чаще. У Вас времени больше».

27 марта. «Голубчик Аня! Я встревожен и обижен твоим долгим молчанием. Я бы, конечно, давно написал тебе, но меня, что называется, "заря выгонит, заря вгонит". Я буквально не имею свободной минуты — не читаю, не пишу писем и едва успеваю

просмотреть газету. Кстати, как мне горько, что ты не возобновила подписку на "Литературную газету". Моя работа очень расширилась. Это утомительно, но и очень интересно. Театральный сезон у нас в полном разгаре, и было несколько концертов-вечеров очень недурных. "Всюду жизнь". А все же нехорошо так долго молчать».

4 апреля. «Голубчик Аня! Наконец-то пришло твое письмо. Я и тосковал, и обижался, и не понимал, что бы это значило.

А эти дни Страстной недели и так мне грустны, и так я не нахожу себе места. Ну, все хорошо, что хорошо кончается.

К лету, к твоему приезду с Вовою будет готова квартира в парке санатория на высоком берегу реки Кумсы с видом на Онежское озеро и горы. Еда обеспечена, люди интересные есть.

То, что ты пишешь о Володе, для меня непонятно. Я снабдил его и деньгами, и обильной едою. Купил ему здесь брюки, пальто и дал много белья. Почему же он оказался в Москве без всего — не знаю. Он же пока не пишет, и я не знаю, что с ним. Кстати, я его здесь предупреждал, чтобы он не обращался к тебе за деньгамиі А ты не давай ему их. Пусть он получает их из одних моих рук.

На днях, знаешь, кто пришел ко мне здесь? Помнишь сиротку-девочку из приюта, которую призревала покойная матушка и с которой мы игрывали? Конечно, я не узнал бы ее. Но она удостоверила свою личность фотографией нас — трех братьев. Видел я ее пока мельком и предложил зайти в выходной день».

5 апреля. «Chere Madame. Посылаю Вам с оказией папиросы. Пусть они будут Пасхальным подарком. Огорчаюсь, что нечем больше порадовать Вас. Меня выселяют из моего "гробика". На улице я, конечно, не буду, но предстоят всякие мытарства. Так вот и идут дела, то опускаясь, то подымаясь. Огорчаюсь не очень. Ну, конечно, легче было бы, если бы этого не было. Идет дождь такой силы, что барабанит в окна и все затянуто мглой. Итак, Христос Воскресе!»

10 апреля. «Голубчик Аня! "Гробик" я бросил и переехал в комнату дежурного врача в санатории. Как это неуютно — ты понимаешь. Прошлую Пасхальную ночь я провел в "Бутырках" у следователя. Эту — получше, а все же не так, как хочет и просит душа.

Милая сестринушка! Все слухи из Москвы говорят о "смягчении режима". Не подать ли нам прошение прокурору по моему делу? Напиши, что думаешь об этом.

В заключение расскажу "пикантный случай". Лежнев переслал с Володею Ирине томик Стендаля на французском языке из очень

хорошего нумерованного издания. А потом оказалось, что Лежнев скрал его у бывшего секретаря нашего посольства в Париже — тоже "отдыхающего" теперь здесь. Секретарь — библиофил, библиоман — томик разрознил целое издание, секретарь огорчен до слез. Надо томик ему вернуть. Чего не делает любовь, особенно запоздалая!»

14 апреля. «Chere Madame! Сегодня начерно закончена уборка квартиры. Все расставлено, разложено. Квартиру убирали простые деревенские женщины. Я принес им хлеба и сахару и ласково поговорил с ними. И вот сегодня они пришли меня проведать и поздравить с новосельем. Это тепло меня тронуло.

Квартира дрянная. Много труда стоило привести ее в "мой вид". Печи горячие, натоплены, пожирают массу дров, а мороз по комнате так и ходит. Из соседней квартиры слышен плач детей. При квартире нет никаких "кулис" — ни сеней, ни чуланчика — ничего. "Мебель" с Лесозавода доставили, и я пишу за своим столом с двумя ящиками, доставлены также пять табуреток, тумбочка и еще два стола. Все новенькое, чистенькое и пахнет сосною. Ваше описание "бала" у Кропоткиных вышло ярким и жутким. Вывод один: мы уже откружились, другие еще кружатся. Это настоящий "перпетуум мобиле". Хорошо, что человеку даны воспоминания. Плохо настоящее, отдохнешь на прошлом, которое, по закону, всегда мило. Наступают белые ночи, которые сливаются в моем представлении с какой-то бледной немочью, немного жуткою, немного таинственной».

19 апреля. «Chere Madame! Устроился я по общему отзыву "на отлично". Труды мои и старания не пропали даром. Но Боже мой, как я оброс хозяйством! Оброс, словно на десять лет. Понемножку гуляю по окрестностям. Виды здесь отличные — от парка в горы ведет изумительная дорога, а там широко видно вокруг и речка бурлит внизу. Очень хорошо! Лето здесь, по общим отзывам, отличное. Затянувшийся Ваш грипп надо стряхнуть с плеч. Весною надо чувствовать себя молодою и здоровой. У меня порою очень болит большой палец на правой ноге, но я делают вид, что это вовсе не у меня, и, сжавши зубы, похаживаю весело и молодо».

25 апреля. Милая Анюшка! Сегодня приехала Ирина. Медвежку она полюбила и желает взять от нее все возможное. На завтра уже заказаны билеты на "Красный мак", который идет здесь в трех небольших сценах и хорошо поставлен художником Алексеевым. Кстати, этот старый знакомый тоже здесь. Он нашел меня, а мне это удовольствия не доставило. Кроме того, к услугам Ирины парикмахер, маникюрша, хорошая баня, отдельная комната, хороший стол, известное положение и лучшее здесь

общество, так что и "мы не лыком шиты". В городе уже почти сухо. В парке лежит еще снежок. Ирина приехала в летнем и, пожалуй, не ошиблась. Кстати, сюда же приезжает на днях Жорж Бубликов. Отец Жоржа здесь. Я чем могу, помогаю ему, не только ради сына, но и ради его самого. Жоржу я рад, это значит, что летом в нашем обиходе будет отличный пианист. За все мои поручения и беспокойство прости. Не могу я жить бивуачно. Но я "такой" не только для себя».

7 мая. «Chere Madame! Из расчетов на белые ночи выключили электричество и лишили меня возможности использовать вечера для писем. Имейте это ввиду и не осуждайте. Погода стоит отличная. Солнце, тепло, холодны лишь вечера. Озеро еще подо льдом. От тепла и солнца я все время хочу спать. Думаю, оттого, что в прошлом году у меня не было ни лета, ни солнца в тени камеры № 73. Погостил у меня с неделю Саввич. Куда спокойнее и порядливее с ним, чем с Ириной. Старые люди, они и деликатнее, и потоньше молодых. Читаю с большим интересом переписку Чайковского с Мекк. Думаю, Вам это тоже будет интересно».

14 мая. Получил Ваше письмо сегодня. Вы одна пишете мне. День я свой начинаю в 8 часов. На часы смотрю с 6-ти. В начале 9-го приходит мой "неверный Ричарда". Из окна я вижу, как он идет под горою по снежному двору, идет, не торопясь, будто на прогулке. Я так в жизни никогда не ходил. Работа в лазарете в комбинате мне приятнее всего. Санаторных привилегированных бездельников я не люблю. А в лазарете меня ждут и встречают особенно ласково. В гости не хожу. Иногда немножко и недалеко гуляю. Время от времени в санатории бывают вечера. Обычно на них не хожу, но на днях посмотрел "Чужого ребенка". Эта пьеса в Москве, говорят, идет в трех театрах. Пойдите. Проведете недурно вечер — весело и умно».

15 мая. «Голубчик Анюшка! Озеро тронулось. Пароходы пошли, и вам можно от Ленинграда поехать сюда водным путем. Есть к тебе срочное поручение. Зайди в магазин медицинской книги и по прилагаемому списку привези книги. У нас здесь образовалось научно-медицинское общество врачей. Я избран товарищем председателя и должен выступить в ближайшее время с докладом. Ночи здесь "побелели" настолько, что в 10 часов можно свободно читать. Из развлечений здесь: звуковое кино и ряд тщательно поставленных спектаклей. На днях премьера пушкинского вечера. Идут в отрывках: "Цыганы", "Борис Годунов", "Скупой рыцарь". Если Вова играет в теннис, пусть возьмет ракетку. Итак, мои дорогие гости, приезжайте. Пусть вам дорога сюда будет радостной и легкой, а пребывание здесь послужит

отдыхом для зимних трудов».

27 мая. «Chere Madame! Вчера получил Ваше письмо с "табачным поцелуем". Ну, и насмешили Вы меня! Это было неожиданно и мило. Для того, чтобы табачный дух крепко держался, посылаю Вам еще 18 коробок папирос, а Вы курите и продолжайте меня "та-бачно целовать". Это все же лучше, чем ничто. В санаторий приехала новая партия больных, и работа у меня в эти дни "авральная", голова кругом идет. Да и в лазарете нагрузка увеличивается, и популярность моя растет, а это всегда в ущерб свободному времени. Вспоминаю наше с Вами житье здесь, у Лесозавода. Мне оно сейчас кажется сурово-подвижническим. Ничего лишнего, все в обрез, денег у меня мало, скромно без конца. И Вы в заботах по хозяйству. И наши завтраки, такие однообразные, но тем более вкусные, что готовились Вами. Спасибо, что Вы тогда приехали. Как Вы скрасили мне тогда жизнь, так же как и своим приездом в Алабино, первым приездом, когда мы с Володей жили еще в одной комнате при кухне и все у нас лишь только "начиналось". Здесь порядок жизни сейчас похож на алабинский: тот же режим, то же довольство, та же обслуга, делающая все досадное и мелкое в жизни. Мне грустно было представлять Вас одну на Ваганьковском кладбище. С каким бы удовольствием проводил бы я Вас туда. А с другой стороны, отвык я от Москвы, от трамваев, толпы, толкотни. Набаловался я парком, недалекими хождениями, постоянной машиной у моего крыльца, тем, что все меня здесь уже знают и дают дорогу».

3 июня. «Chere Madame! Вчера получил письмо от дочери Веры Михайловны Левашовой — Унковской. Получил я его на почте, распечатал и прочитал извещение о ее смери. Прочитал и тут же заплакал и проплакал всю дорогу до дому. Умерла Вера Михайловна в жестоких мучениях в институте Склифосовского. Я не так давно имел от нее оттуда письмо, написанное уже умирающим почерком и недописанное. Мне очень и очень ее жаль. Вы чуждо относились к ней, как "к моей поклоннице". А она была прекрасный человек и стойко и бодро переносила свои страдания. Страшно становится жить. Скоро весь мир будет состоять из людей, тебе чуждых и равнодушных. А она была своя, и сознание ее приверженности делало жизнь ласковей и теплее».

21 июня. «Chere Madame! Благодаря Вашей "болтливости" в письмах, я в курсе всех московских дел и настроений и не чувствую себя оторванным от них. А что же мы можем при нашей довольно оживленной переписке писать кроме мелочей нашего повседневного существования? А мелочи эти и создают ту "болтливость", о которой Вы упоминаете, так что Вы уж,

пожалуйста, не меняйте Вашей манеры письма и пишите побольше и почаще. Погода продолжает стоять отвратительная, о купанье нечего и думать. Север остается севером. На этом грустном восклицании я закончу свое письмо».

7 июля. «Chere Madame! Наступила чудесная погода. Купаемся. Река неглубока. Дно песчаное. Течение быстро, и купаться очень приятно.

Не охотник я строить планы и загадывать вперед, а все же ловлю себя на одной мысли — поселиться в небольшом городишке в своем домишке, как это сделал сейчас брат Лука в Звенигороде. Сказывают, у них очень мило, только очень трудновато. Хочется своего угла, кусочка огорода, грядки с левкоями, хочется оседлой жизни и сознания, что вбитый гвоздь твой».

15 июля. «Chere Madame! Погода стоит тропическая. На солнце — до 52. Все черны. Черен и я. Вчера в санатории я устроил очень удачный концерт. Настоящая певица. Жорж у рояля, и — чудесное концертино. Вечер был тепл и тих. Мы слышали музыку с террасы. Никогда не думал, что концертино может быть так изысканно приятен. Чайковский и Шопен были на нем даны превосходно».

25 июля. «Получил сегодня Ваше письмо утром, а смог прочитать его только вечером. По этому судите, как я занят. Письма Ваши читаю, как хороший старый роман, и бываю огорчен, что продолжения надо ждать до следующего номера. Новость у меня такая, что меня малость обворовали. Ночи очень душны. Я между 3 и 5 часами утра открыл окно. Вор влез ко мне и оделся. Другого ничего не взял и меня не убил, хотя я спал головою к окну и он мог меня оглушить и спокойно все вынести из комнаты. Обездолил он меня не очень. Взял все, что я "нажил" здесь: костюм, ботинки, две рубашки и другие принадлежности туалета. Словом, "урка" оделся. Помогай ему Бог в новом виде».

21 июля. «Chere Madame! Получил сегодня Ваше "хандристое" письмо. Бывает так, что ничего сердцу не мило. И другое сегодня письмо — от доктора, дядюшки Володи из Ленинграда. Он извещает, что умер отец Володи. Дядюшка просит известить Володю и прислать от него доверенность на получение своей доли наследства. А я не знаю, где Володя. Он с отъезда не написал мне ни разу и не ответил на мои письма в Моршанск. Известие о смерти Александра Григорьевича тронуло меня* крылом смерти. Последнее, что я читал от него, — это его письмо Володе, полное раскаяния, грусти и тревоги о Володе. Да, голубчик, очередь за нами. Через 10 лет и могил наших нельзя будет найти. Ну, а пока что дни стоят изумительные. Солнце

южное. Ирина и Вова из душной квартиры перебрались на сеновал. Старожилы, которые для того только и существуют, чтобы ничего не помнить и все путать, утверждают, что такого июля не было 40 лет. Таких теплых ночей мы не знали и под Москвой. Помните, какие сырые и холодные ночи были в Алабино? Кстати, недавно я получил письмо из Алабино от двух древних старух. Обе неграмотные, они ездили в Москву, чтобы там написать и оттуда направить мне письмо. Конечно, я им ответил, и конечно, от письма получил свою долю удовлетворения».

2 августа. «Chere Madame! Получил сегодня Ваше "письмо-роман". Жду продолжения. Пожалуйста, не задерживайте. Подписчик волнуется и горит нетерпением по отделу "вопросов и ответов". От Володи нет вестей, словно в воду канул. Написал во все пункты его общения, ко всем его друзьям, и не придумаю, что бы это значило.

Вас продолжает интересовать вор. Извольте. Когда он лез ко мне, он рассчитывал лишь на глубокий сон, спешил и был осторожен. Нужна ему была лишь одежда, чтобы изменить свой облик и бежать из лагеря. Вор не курил, иначе я тут же бы проснулся. Он очень удачно выбрал "воровской час" и остался в выигрыше, а я — в проигрыше. Так и всегда бывает в жизни — это ее закон».

6 августа. «Chere Madame! Стоит чудесный день, солнечный, яркий. Небольшой ветерок шепчется с верхушками сосен: озеро синеет, до самого горизонта. Вспоминается детство, летняя пора, воскресный день, безмятежное, безоблачное самочувствие от тишины, тепла и запаха цветов в саду. Сейчас утро. Сижу в кабинете в санатории. Распутал и разрешил ряд жалоб больных, часто смешных, часто нелепых, а нужно держать серьезный тон и прятать улыбку и жалость к "бедному, страдающему брату".

Вечер того же дня. Опять кабинет санатория. Прошел еще один день. Начало его Вы знаете, продолжение состояло в просмотре четырех газет. Серо, скучно, буднично. Затем пошли на озеро купаться. Дорога туда нудная и пыльная. Озеро плещется тихими волнами, дно песчаное. До глубокого места идти долго. Я люблю такое дно. На берегу полно молодежи. Все в купальных костюмах. И тут, на свету, на солнце, на воде познаешь, особенно познаешь, как ты стар. Потом обед вдвоем с Аней. Ирина и Вова угорели от свободы, водяной шири, солнца и к обеду не пришли. Ну, а после обеда в полутемной комнате час легкого сна. Утешает здесь очень театр. Он "очень вырос". Постановки его безупречны. Никогда М. Горе и не снилось такого театра. Что значит "З. К."».

12 августа. «Проходит лето. Уже раньше надвигаются

сумерки, уже есть вечера. Только не видится в природе "желтого траура". Вечнозеленые сосны не дают его, и поэтому нет здесь нашей осени. И антоновских яблок нет. А какая же осень без антоновки?! У меня на столе астры, левкои, гвоздики и даже горшочки с фуксией, с мещанской фуксией. Я рад всякому растеньицу. Жду Вашего решения о времени Вашего приезда сюда. Мое мнение: или сейчас — на "бархатный сезон", или же зимою, когда ляжет снег и будет чистая зимняя панорама в нашем парке».

19 августа. «Chere Madame! Болею третий день, не работаю, ничего не ем. Вид как у мученика, от голода и боли в животе. Человек я немолодой, в животе и смерти Бог волен. А Вы все откладываете Ваш приезд. Вот возьму с досады и помру. Приезжайте, пока не поздно».

23 августа. «Chere Madame! Пожалел Вас и помирать раздумал, тем более, что впереди отпуск, возможна поездка в Москву или Ваш приезд сюда и мой отдых на диване с книжкою. Купите в Ленинграде по дороге несколько бутылок красного вина, а то здесь все "мадеры да портвейны". Да привезите рюмки, нельзя же пить вино из чашек».

27 августа. «Голубчик Анюшка! Сегодня твоя открытка из Ленинграда. Я рад, что вы так долго гуляете там. Побывать в окрестностях Ленинграда — это наслаждение. Неделю, как вы уехали. Читаю "Угрюм-реку". Бранюсь, нахожу очень слабо, а с досады читаю. После болезни поправился, только очень устаю и очень раздражаюсь. Сестры в лазарете поплакивают от меня, а я потом хожу с сознанием "содеянного" и каюсь, конечно, про себя. Когда я вспоминаю лето и свое поведение, думаю, что тоже иногда "пылил", и мне горько от этого, как, впрочем, было горько и тогда же. Голубчик Анюшка! Ты сумела беззаветно отдаться своим детям, ты, не задумываясь, отказалась от себя. У меня этого нет. Я люблю, но и требую ответа в тех или иных формах. Оттого тебе легче, мне труднее. Ты отказалась от прав и знаешь только обязанности. Да будет так. Помоги тебе Бог. А у меня заветное желание пожить еще с тобою, только с тобою. Пусть дети растут и идут своею дорогою. Старикам молодежь нужна, но в большой дозе она тяжела. Если бы ты знала, сколько раз мне хотелось подойти к тебе, приголубить, поцеловать и сказать, как истекает мое сердце к тебе любовью и жалостью. Но… "постанов" у меня иной. Я стыдился этих проявлений и подавлял их. Спасибо тебе за лето, не суди меня очень… Поздняя ночь. Шумит кровь в ушах от тишины и усталости, и ясно одно сознание — недолги, недолги наши дни, а пройдено нами вместе полвека».

5 сентября. «Голубчик Анюшка! Написали мне, что ты

работаешь не по силам. Побереги себя. Я знаю, что работы много, что делать ее нужно, но делай ее поспокойнее, не надо надрываться. Я до того соскучился о книге, что все свободные минуты провожу за чтением. Закончил "Письма декабристов" и "Якобинский заквас" Форш. Недурно. Есть и стиль, и юмор, и вкус. Ко мне привели художника Механаджана, "З. К.", писать маслом мой портрет. Накурил, насорил махоркой, и я рад ему и не рад. На днях он приступит к работе. Его надо и подкормить, и приласкать. Итак, не неистовствуй в работе. Шейка у тебя* и без того худенькая, тоненькая. Крепко обнимаю».

17 сентября. «Голубчик Анюшка! Живу я хорошо. Дуня наша "на высоте домработницы". Кот Васька упитан, красив, ласков, только до сих пор нельзя оставить на полу ни галош, ни туфель. Но ведь у каждого есть свои слабости. Побывал у меня профессор Шальнов и привез кепку от тебя. Вот давно я стремлюсь перейти со шляпы на кепку, но кепка, присланная тобою, опять привела меня в дурное состояние. Не умею я носить ее, пропади она пропадом! Кстати, напиши мне адрес Паши. В Острогожске ли она? Боюсь за родительские могилы там. Боюсь, что их никто не зарегистрирует, сроют их, и следа не будет. Слышала ли ты что-нибудь о Володе? Пожалуйста, сообщи».

5 октября. «Голубчик Анюшка! Последнее письмо твое грустное. Думаю, что ты устала и придаешь незначительным обыденным фактам большее значение, чем они того заслуживают. А заглядывать в наше стариковское будущее и вовсе не стоит. Впереди ведь у всех постарение, болезни, смерть. Ну, что же думать об этом?! Испытания наши были еще очень малы и могут быть очень тяжелы. Радуюсь, что слова церковной службы стали доходить до тебя. Великое это утешение и радость. В церковной службе заложено столько вековой мудрости, красоты и грусти перед неизбежным, что только слепой и глухой духовно может быть равнодушен к ней. Завидую тебе, что ты можешь получить это утешение. Александру Петровну встретил я на вокзале с машиною и на следующий день на машине же побывал с нею в Повенце. Ты можешь понять, как осталась она довольна».

18 октября. «Голубчик Анюшка! Приехал из Москвы Лежнев и рассказал мне, что ты здорова, бодра, производишь хорошее впечатление. А когда я сказал о грустном тоне твоих писем, он отнес это на письменную передачу и некоторую концентрацию грусти, свойственную нашему возрасту. И об Ирине вести неплохие. С Александрой Петровной живем мы мирно. Ведет она себя на этот раз "непритязательно", т. е. видит, что я устаю, и не обижается, если не все время провожу с нею. В две недели раз обедает у нас профессор Осадчий П. С… Люблю этого умного

старика. Любочке послал литеру для приезда сюда и обратно и думаю, что она вот-вот будет здесь. Так понемножку и перевидаю всех своих близких».

10 ноября (из дневника). Вчера уехала сестра Люба. Погостила она у меня две недели. Спокойно, не суетясь, полная внутреннего достоинства. Ценишь ее всегда больше, расставаясь. Вечером сегодня зашли артисты Виктор Армфельд — певец, и Полуянов из балета. Первый породист, второй на уклоне своей карьеры. Кроме того, 4 года лагерей наложили на него свою печать. С утра сегодня визит к помощнику начальника комбината — Павлову. В прошлом матрос, красивый русский молодец: рослый, русые, мягкие волнистые волосы, приветливое лицо, и болен «боязнью болезни», боязнью смерти.

Дочитал сегодня переписку Чайковского с фон Мекк. Волнующая и интересная книга. Изумительный роман, изумительные люди. Надежда Филаретовна по плечу Чайковскому, она достойная партнерша в переписке.

12 ноября. Получил письмо от Володи из Ленинграда. Это от марта первое. Просит, как и всегда при обращении, денег. Конечно, послал.

15 ноября. Нахожусь в отпуску. Тихие дни дома, книги, недолгие разговоры с Александрой Петровной. Давно не отдыхал так. Отпуск 1930 года провел в Москве у «Бутырок». В 1931 году — в доме отдыха Малого театра — неуютно, людно, время под осень. Было нехорошо. В 1932 году — у Любочки в Воронеже с поездкою по Дону до Павловска. Болела душа о Володе, не было покою. В 1933 году — отель «Бутюр». Тоже несколько беспокойно. Жаль только, что перестали давать электричество, сидим с керосиновой лампой. Оно, конечно, умиротвореннее, старомоднее, нервам легче.

Маленький человечек Механаджан пишет мой портрет. Очень полюбили его мои дамы — Александра Петровна и Дуня. Последняя нежно называет его «клопиком». Почему так, не знаю.

Ночью считал как-то учеников по классу гимназии, вспоминая по партам. Сколько уже умерло, о скольких ничего не знаю. Вспоминал, как в 1918 году во время пребывания моего в Острогожске я гулял по кладбищу. Звуки похоронного марша. Подхожу и узнаю, что привезли Костю Маршева, убитого на фронте. Вот была встреча после многих лет со студенчества!

28 ноября. Дня три тому назад отъезд мой в Москву был на столько решен, что я послал чемодан на вокзал, а сам зашел за документами в управление комбината. Но что-то «защелкнулось», и я остался. Командировка сорвалась. Я не спрашиваю, мне никто ничего не объясняет. Молчаливый уговор.

Выпала зима, горы снегу, воздух изумителен, не хочется идти в комнату, но и погулять негде — все занесло. Все же как своеобразна жизнь здесь: в ней нет провинциализма уездности. Это даже не русская будто жизнь, все ее формы новы и только складываются. Бытописателю здесь большая тема. Жаль только, что тема опасная и легко можно очутиться в положении Глумова из «На всякого мудреца довольно простоты».

29 ноября. «Голубчик Анюшка! Ты, конечно, сама не верила, когда писала мне о том, что я выкинул тебя из своего обихода. Я не оправдываюсь. Последние полтора месяца я не писал тебе, был очень занят. Болел "сам руководитель комбината", и я много часов проводил у него. А затем я о себе, больше чем кто-либо из вас, могу сказать: "Моя жизнь вовсе не моя, и все в ней делается помимо меня". Это к тому, что "руководитель" обещал мне по выздоровлении командировку в Москву, и я начал собираться. "Уезжал я каждый день и через день", телеграфировал даже Лихоносову о выезде, а вот продолжаю сидеть в углу своего дивана и уже не собираюсь. Отпуск мой на исходе. Я радуюсь этому. У меня слишком много свободного времени, я стал плохо спать, поздно ложусь, поздно встаю, часто хандрю. Александра Петровна уезжает числа 10-го. Очень она постарела. Появилось много старческого в психике, и напоминает она мне старую графиню Ростову в последней главе "Войны и мира". В театре идет "Чудесный сплав", и недурно. Пожалуйста же будем писать друг другу».

6 декабря (из дневника). Третьего дня утром на рассвете вошел ко мне Володя: «Михотя!» — «Володя!» Он обнял меня и, еще занесенный снегом, сел ко мне на постель. Я — не одеваясь, он — не раздеваясь, тут же засыпали друг друга рядом вопросов. «Ну почему, почему Вы не писали?!» — «Михотя, потом»… Не знаю, сколько прошло времени. Кровь приливала и отливала от сердца. Любовь, жалость, сострадание. Жизнь Володи в Ленинграде не только без постоянного угла, но и просто без угла, — в подъездах, на чердаках, на лестницах.

«Дуня! Горячей воды, свежее белье, полотенце». Все долой, что на нем. И сразу же другой вид. Мягкие воротнички рубашки, туфли вместо валенок, пижама вместо полушубка. Папиросы вместо махорки, горячий кофе. Боже мой! Как может человек роптать на Бога и хотеть жить своим разумом. Всего несколько дней назад я роптал за неудающуюся мне поездку в Москву, а Бог сулил мне иное, самое нужное и дорогое в жизни.

9 декабря. Сегодня уехала Александра Петровна. Я и грущу, я и доволен. Нам нужно побыть с Володею вдвоем. Сегодня годовщина увоза Володи из Москвы в Кемь четыре года тому

назад. Тогда, после свидания с ним, оглушенный горем разлуки, вышел я из Бутырской тюрьмы, постоял у высоких стен и, чтобы ни с кем не разговаривать, поехал прямо в одинокое Алабино. И тогда же вечером начал писать книгу о нем. Сейчас эта «рукопись» на «хранении» на Лубянке. А сегодня по отъезде Александры Петровны я поставил ему стол в ее комнате и слышу из-за стены, как он возится там:

С кем незнаком судьбы переворот,
У всякого свои есть радости, печали,
То вдруг гроза, то солнышко взойдет…

Не поэт Беранже, но ради приезда Володи, простим ему это.

15 декабря. «Chere Madame! Письма Ваши получил. На днях мы переходим в квартиру наверх. Ваше отсутствие переживается грустно. Уезжать всегда приятнее, чем оставаться. Что же касается более сложной темы моего отношения к вам — это трудный вопрос, и останавливаться на нем я не стану. Скажу лишь, что с годами от близких людей требуешь и большей простоты, и серьезности, и даже деловитости. Вы же, в некоторых отношениях, все еще остаетесь с молодыми чувствами и запросами. Тургенев говорит: "Сохранить до старости сердце молодым и трудно, и почти смешно". Не будем же смешными. По существу, на этом и построены некоторые наши расхождения».

27 декабря. «Милая Анюшка! Сегодня день смерти Бреусочки. Уж пять лет нет ее. Ранними утрами, когда еще сумеречно, топятся и шумят печи, вспоминается прошлое без конца.

И грусть, и радость те же в ней.
И знает ту ж она тревогу,
И так же вновь теснится грудь,
И так же хочется вздохнуть.

В новой нашей квартире высокие потолки, много света, очень тепло. Володя приведен в порядок внешне, отчасти и внутренне. Много работает. Все его вещи взяты местными журналами и оценены. Много тяжелого пережил он, такого, чего никогда не выпадало на нашу долю. Благодарю Бога, что он нашел меня на месте. Момент, когда он пришел к моим дверям, был для него исключительно тяжел. По отношению к нему особенно приложима тургеневская мысль: "Чего не полюбишь, того не поймешь". Он внешне гораздо хуже выявляется, чем есть на самом деле. Очень жаль, что Ирина ни слова не написала о делах

Володи в "Academia". Ему это очень важно. Имею письмо от Софьи Федоровны Яковлевой. Она в отчаянном положении. Вот уж по пословице: "Жизнь прожить — не поле перейти"».

29 декабря (из дневника). Неделю назад перешли в новую квартиру. Собственно, ради лишнего венецианского окна с чудным видом на реку Кумсу, Лысую гору, озеро. Закончил читать Гревса «Историю одной любви» — Тургенев-Виардо, и очень рад, что попалась мне эта книга. Иногда старомодна, но проникнута истинной любовью и мудростью. С Володей живется тихо. Он отдохнул от всех ужасов пережитого, поправился, поуспокоился и принялся за силуэты к «Онегину». Вчера был выходной день, и в разное время побывали у меня три «к.-р.» — три профессора: Осадчий, Ленский и Шальное. Каждый занятен по-своему, все бодрятся, все работают, и все с надрывом.

1935 год

3 января. «Chere Madame! С Новым годом! Встретил я его с книгою в руках, в постели. Читаю очень занятные воспоминания Жихарева. И забавно, и язык хорош. Почитайте. Вам понравится. В квартире у нас 20 градусов тепла. На воздухе то же число минуса. Если б Вы знали, как недостает мне в эти предрождественские дни "опиума для народа"».

8 января. «Голубчик Аня! Текут дни. Приближается день смерти матушки. У меня заготовлено несколько восковых свечей, и я хочу зажечь их на маленькой елочке, посидеть один и побеседовать с давно ушедшей о возможном скором свидании. Такой грусти много способствует зимняя уютность квартиры с ее теплом. Окна запущенны и тем отделили весь мир куда-то далеко. Дремлет Дуня, дремлет часами кот у самой горячей печки. Тихо, по-мышиному возится у своего стола Володя, возится, почти не вставая. А я со своим багажом имею резиденцию на диване.

Вчера был на концерте. Оркестр, человек 25, под управлением Пшибышевского, бывшего директора Московской консерватории. В программе 4-я симфония Бетховена, Чайковский, Бородин, Римский-Корсаков. Концерт этот, конечно, чудо для Медведки. Все исполнители не профессионалы, а вложили столько энтузиазма и любви, что вызвали бурю оваций».

8 февраля. «Chere Madame! Сегодня получил Ваше грустное письмо. В нем боязнь, и старость, и смерть. Я не пессимист, и когда Шопенгауэр утверждает, что "старость — это пора, когда все

скверно и с каждым днем становится все сквернее, пока не закончится самым скверным — смертью", — я ему не верю и не хочу верить. Наоборот, я хочу петь гимн старости, быть может, даже потому, что уже не могу петь гимн молодости.

9 февраля. Вчера погасло электричество, и я не мог закончить письма. Попытаюсь это сделать сегодня. Сейчас освободили много лиц моего положения. Пусть Анюшка справится и похлопочет. Я не уехал бы тотчас же отсюда, но чувствовать себя свободным очень хочу. Был несколько раз у нас в гостях приятель Володи по Соловкам — Борис Николаевич Молас, старый петербуржец, работник из Академии наук, в прошлую войну он оказался при принце Ольденбургском, человек из общества, человек бывалый. Он "Божьей милостью" рассказчик. Я заслушался его рассказов о дореволюционном, военном и послевоенном Петербурге. Жаль, что Вам не случилось быть его слушательницей. Впрочем, это кому как. Слушать — ведь это тоже искусство».

13 февраля (из дневника). Жизнь напоена работою, встречами, книгами. Жизнь здесь — это не жизнь глубокой провинции, совсем нет. Большая библиотека комбината превосходна. Театр Комбината из артистов Москвы и Ленинграда настолько культурен, чтобы давать Пушкина, Бомарше, Островского в своих постановках и в своей трактовке. Бывший директор Московской консерватории Пшибышевский сорганизовал хороший симфонический оркестр. А что касается человеческого материала, то он отобран очень знающей рукой и представлен здесь во всем великолепии типов, профессий, званий и степеней, — от «урка» до самого крупного ученого специалиста. Издается два журнала, несколько газет. Чувствуется также во всем дыхание Ленинграда. Общий тон жизни здесь деятелен, полон общих интересов общественно-политических, литературных, искусства. Скучать здесь трудно, разве из-за собственной пустоты. Жалеешь только, что мал день и приходится урывать часть недостающего времени у ночи. Володя работает над силуэтами к «Онегину», работает по-своему, т. е. даже не прочитав всего «Онегина», и я должен был проштудировать его, разметить текст для иллюстраций и прочитывать ему намеченные строфы. После этого уж начиналась его творческая работа. В ней он ревнив и до окончания силуэта обыкновенно не говорит о нем и не показывает.

15 февраля. «Chere Madame! Письма Ваши — это хроники, это полное представление о всей текущей жизни дома, квартала, Москвы. Будущие бытописатели, разбираясь в моем архиве, на основании Ваших писем нарисуют полную картину нашего

теперешнего интересного житья. Не смейтесь, не смейтесь, это так. Переходя к деловой части, прошу материал на костюм мне сюда не пересылать. Ленту же на шляпу пошлите. Думаю, можно заказным письмом. Ваш шум, рядом с Вашей комнатой, на кухне, думаю, уступает горлодеру-мальчишке у моего соседа агронома. Такого горластого подлеца давно не слушал. Это, кажется, единственный минус моей квартиры. Впрочем, как же это я! А отсутствие уборной? Для этого на дороге, на самом видном месте, перед всеми окнами дома, поставили "шале". Двери в нем не закрываются как по случаю неопрятного поведения, так и вследствие навалившего снегу. Словом, настоящий "расейский нужник", притом с открытыми дверями. Простите, простите, не буду! Завтра-послезавтра начинается у меня опять страдная пора с новой партией больных в санатории. Кроме того, в лазарете ББК у меня очень ответственная интересная тяжелая больная. За нее, если она выздоровеет, мне обещают поставить памятник при жизни, а я думаю, что мне никто его не поставит и после смерти. Как-то ночью вызвали меня к высокопоставленной даме. Мужу показалось, что у нее "перестал биться пульс". Послали машину за мной. Вхожу, весь дом на ногах, все встревожены, а она лукавым глазом посмотрела на меня, и сразу все стало ясно. Так вот и идут дни, переплетая серьезное с пустым и обертывая все серьезным, так как жизнь уходит, а что же может быть серьезнее этого?»

17 февраля. «Голубчик Анюшка! Сегодня на редкость милое твое письмо, и отвечаю я на него с радостью и любовью. Спасибо, что подписалась на Лермонтова и Пушкина. Будешь получать, никому, кроме Ирины, не давай на показ. Люди все в книге равнодушны, а следы на ней оставляют.

У нас одинаковое в этом году восприятие зимы. Мы легко ее переносим, конечно, потому что установилась некоторая гармония между организмами нашими и бытовыми условиями. У тебя нет очередей, теплые коридоры, у меня — теплая квартира, нет колки дров, от чего даже пальцы на руках не пухнут и не дают трещин. А зима уже на исходе. Вчера было по-весеннему тепло. Положение квартиры так хорошо у меня, что весна и лето в ней мыслятся, как праздник: много неба, шири-дали, и вообще, жизнь мне кажется всегда праздником. Работы много, но и новых книг много, и интересных людей достаточно, а дома так уютно, тепло и чисто, что где бы я ни побывал, мне дома всего лучше. Мой "двор" в полном порядке. В театре на днях видел "Без вины виноватые" Островского. Многих он довел до слез. Жданова играл Лихачев, когда-то поразивший меня в "Орленке" в Москве, в театре Незлобина. И этот кумир здесь, но как постарел, подурнел!

Ну, пожалуйста, пиши, не делай меня "без вины виноватым". Я ни одного письма, следуя примеру великого старца Гладстона, не оставляю без ответа».

27 февраля. «Chere Madame! Напишите мне, какого апреля Пасха. Здесь никто ничего верного сказать не может. Вот уж третий год я лишен всего аромата Великопостной службы и Пасхальных песнопений.

У меня на руках с 15 февраля очень тяжелая больная. Вся Медвежка следит за тем, выздоровеет она или нет. Времени она отнимает у меня очень много, но я не ропщу. Здесь много настоящего клинического интереса и даже азарта. Утомляют меня ночами только "септические кошмары", которые мне начинают сниться. В выходной день обедал Осадчий. Были рябчики, старик остался очень доволен. Люблю я его. Вам он очень кланяется. А сегодня зажарили зайца. Вышло очень вкусно. Деликатесы эти "признательного" характера. Из Мурманска же сегодня привезли копчушки изумительные и свежие сельди. Вот как живут у нас ссыльные! Думаю я, как Вы обходитесь с папиросами?! В прошлом месяце 20 коробок не хватило Володе, и покупали для него еще табак в пачках. Он почти не выходит из дому и не встает из-за своего стола, охваченный работой над "Онегиным". Кроме того, работает и на местные издания. Разговаривать он стал еще меньше. Встречаемся мы с ним почти только за едою, что мне очень грустно».

6 марта. «Вы спрашиваете, Shere Madame, какие книги могу я Вам порекомендовать читать. Уж больно сам-то я читаю мало. Почитайте воспоминания Талейрана, Штакеншнейдера, чудесную книгу Андре Моруа "Лорд Дизраэли", занятна книга "о Ломоносове" Шторма. Потом в "Литературном наследстве" прекрасную статью Дурылина о Гете. Мне удается читать урывками. Спрос на меня растет, а времени не прибавляется. Последние два дня был зван к "самому Рапопорту". Держится просто, но опасливо, спиной никогда не оборачивается. Вчера проговорили больше часу, с глазу на глаз, искали общих знакомых и, конечно, нашли. Мне пока эти визиты интересны. Вчера я удосужился побывать в кино. Шла "Гроза" — очень хорошо. За много лет я впервые в кино, да еще и в звуковом. Кстати, незвуковое кино с музыкой больше мне нравится, звучание же очень несовершенно. Быть может, это только здесь. Одиннадцатого у нас премьера "Евгения Онегина". Все мы ждем этого спектакля с нетерпением, удивлением и недоверием. В самом деле, опера без профессиональных певцов?! Это ведь не комедия в любительском спектакле.

Ах, как мне надоела работа в санатории, времени берет

много, а интереса и денег дает мало. Держат только квартира да парк. Мои лекции в санатории имеют большой успех. Прочитал две, на днях прочитаю еще. Ну, вот и все. Переставайте хворать. Бывайте ежедневно на воздухе и будете здоровы».

10 марта. «Голубчик Анюшка! Ты советуешь мне подать прошение о досрочном освобождении. Я сделаю это очень охотно после того, как ты поговоришь с женами моих соучастников и выяснишь их точку зрения на этот счет. В моем положении здесь произошла перемена. Районный "хозяин" передал меня в ведение 3-го отделения комбината, — к худу ли, к добру ли, не знаю. Думаю, что положение мое в комбинате довольно "известное" и едва ли это грозит мне неприятностями. Погода стоит отличная — много солнца, ярко, бодро. Утра стали светлы, сумерки красивы, окна пооттаяли, и вид из них панорамный. Живем мы очень мирно — это главное. Без этого я не мыслю себе домашнего уюта. Да мы так и "приучены" с детства к миру».

13 марта. «Chere Madame! Стоит весенняя погода. Обтаяли все бугры; настроение почти гимназическое, хотя и пошел уж третий год моего пленения. Если бы жизнь приняла более "доверчивый" характер, то нужно, прежде всего, иметь свой угол. Никаких квартир в многоквартирных домах. И в жизни прежде всего надо исходить от своего угла, а не от службы. Последняя по закону вероятия всегда и везде найдется. Когда я читал Жихарева "О Липецких водах", решил — "ограничат", поеду туда. Средняя полоса России, недалеко от родных мест, близка по климату и изобилию плодов земных. Чем плохо? Но все это гадательно. Легко может оказаться, что прошлогодние гнезда не для нынешних птиц.

Нехороша атмосфера в санатории. Она насыщена склокою, взаимным недоверием, ненавистью. Около жирного пирога этого идет борьба, доносы, вызывают комиссию за комиссией, и вся эта мышиная возня покрывается сакраментальной формулой "контрреволюционного гнезда". Не люблю я санаторной работы. В ней нет честности, присущей больничной и амбулаторной работе. Пишу Вам утром в выходной день. Встал я неторопливо, неторопливо позавтракал, и не один, как обычно, а с Володей. Неторопливо пишу и письмо Вам. Смотрит яркое солнце. Подниму голову, и передо мною дали, небо, сосны. Хорошо жить на свете даже и тогда, когда знаешь, что каждую секунду в мире умирает человек».

21 марта. «Chere Madame! В эти дни Бело-Балткомбинат вел со мной переговоры об увеличении моих часов работы в комбинате. Считают, что раз районный «хозяин» передал меня им, я должен принадлежать им полностью. Однако это не

прошло. Из санатория меня не тронули, не по чему иному, как по пословице: "Не имей сто рублей, а имей сто друзей". Дело окончилось прибавкой часа работы, причем с очень щедрой оплатой его. И я кричу — победа, победа! По этому поводу у меня завтра пирог вечером. Мне это уж давно нужно было сделать. 14 марта состоялась премьера "Евгения Онегина". Спектакль вышел хорошим. Затея эта казалась безумной. Успех получился изумительный. Я давно не получал такого удовольствия, как от этого спектакля. Я был растроган и взволнован. Придя домой, написал большую статью о премьере, и вчера она появилась в газете и никто меня за нее не ругает, а наоборот, все хвалят. Я горд и рад».

29 марта. «Chere Madame! Вчера получил Ваше весеннее письмо. В нем мимозы, нарядные московские улицы, яркое солнце. А у нас мороз и бурный снегопад. Засыпано все — не пройдешь. В некоторых местах сугробы в рост человека. Казалось, что прохудилось небо и все это сыплется в образовавшуюся дыру. Вчера на "Онегина" ходила Дуня. Она в своей жизни первый раз в опере. Я думал, что опера не дойдет до нее. Оказалось, "очень понравилось, и все время душили слезы". Конечно, восприятие ее и замечания совсем неожиданны и часто курьезны. Но это дела не меняет. Чайковский и Пушкин исторгали слезы! В этом их народность. Жалею я, что не могу стать постоянным газетным сотрудником. Для этого мой голос не звучит в унисон с общим оркестром».

8 апреля. «Милая Анюшка! Вчера мне рассказали о проведенном у Вас вечере: Ирина с папироской, бледная, зябнущая, кутающаяся в шаль, или, вернее, драпирующаяся в нее. "Фокстротный" Вовка и ты, моя милая сестрица, отвечающая по телефону официально-ледяным тоном! И так ясно представился мне уголок Вашей жизни. Ведь с августа я не видел вас и не видел очевидцев Ваших. Только отчего Вы не были на вокзале, как обещали? В этом моя тревога, напиши об этом».

12 апреля. «Chere Madame! Поведение Вашей дочери с докторами мне нравится. Докторам следует верить всегда с осмотрительностью, и особенно там, где идет речь об операции. Впрочем, ей, кажется, операции не предлагали. Во всяком случае, хорошо, что она осталась дома. Дома и стены помогают. Пожалуйста, только не рассказывайте всего этого тем, кто может быть моими пациентами. Напишите мне, отчего Вы так энергично распродаете Ваши вещи? Не люблю я, когда из Вашего окружения уходят вещи, так давно знакомые и связанные с Вами. На столе передо мною лежит большой красавец апельсин. Сегодня я разорился на него. Теперь буду любоваться и нюхать его неделю,

а затем уж съем, чтобы использовать затраченный капитал полностью. Наступает шестая неделя поста. Мне эти дни без церковной службы очень грустны здесь. В эти дни нужна церковь, а я третий год лишен ее. На будущий год приурочу свой отпуск к этим дням и проведу их по-иному. А пока будьте здоровы. Ночь. Пора. Перо покою просит».

25 апреля. «Голубчик Анюшка! Сегодня служба "Двенадцати евангелий" — "Слава страстям Твоим, Господи, слава". Горящие свечи и прославление "Разбойника благоразумного". А я третий год лишен этого. Грустно жить так и там, как тебе и где тебе не хочется! В квартире у нас убрано все по-праздничному. Дуня, нося праздник в душе, сделала это любовно. Должно быть, и ты там у себя проделала то же самое.

Однако довольно; поговорю о том, что за это время Вы хорошо привыкли жить без меня, и сами не пишете, и на письма не отвечаете. Ирина промолчала на три моих письма. Впрочем, что считать, и о чем говорить!

Собирается сюда Лихоносов, а я не верю ему — он едет сюда уже два года. А здесь неплохо сейчас: снег весь сошел. Кумса шумит, в парке сухо и "вечно-зелено"».

26 апреля (из дневника). Пятница Страстной недели. Дочитал второй том переписки Чайковского с фон Мекк и до сих пор нахожусь под действием этой книги. Ничего нет сильнее и ярче самой жизни. Разговорился на днях со стариком профессором Фурманом о Чайковском. Он был на похоронах последнего и утверждает, что там слышал от д-ра Бертенсона, лечившего тогда «весь Петербург» и Чайковского, что Петр Ильич отравился мышьяком. Холера же была принята как официальная версия. Кстати, ею болели тогда в Петербурге. В этой передаче возможна истина.

Володя кончил «Онегина». Лихоносову послана доверенность на его устройство в Госиздате. Было очень много ободряющего и лестного об «Онегине», но когда дело дошло до денег, то вышло, что легче хвалить, чем платить. Задержка с продажей «Онегина» выбила Володю из рабочей колеи, и он сейчас бросил все и отдыхает.

Мою корреспондентку и друга Наталью Павловну Вревскую, с которой я переписываюсь и дружу 15 лет, выслали из Ленинграда, куда — еще не знаю. Вина — в ее прошлом. Нельзя было быть баронессой. Боже мой, сколько жестокости может быть в человеке к человеку. Как будто ее мало в самой жизни.

6 мая. «Chere Madame! Праздники и недомогание начальства совсем выбили меня из строя моей жизни. Кроме того, и в санатории я остался один, и меня, как "единственного", больные

покачали 1 мая на демонстрации. Это, возможно, приятно в теории, а на практике и смешно, и неприятно лететь в воздух с палкою в руках, со шляпой на затылке. На днях сделал очень хорошую прогулку в автомобиле с начальством на Вой-губу в Пушсовхоз. Первое место служит летним лагерем для избранных пионеров, там же отличный загородный дом "дяди комбината" для высшего состава, ждущий гостей с готовыми комнатами, чистый, благоустроенный. Топится дом всю зиму. Даже не верится, что могут существовать сейчас такие загородные виллы. В Пушсовхозе чернобурые лисы, "танцующие фокстрот", очень забавны. Второго мая обедал у меня Осадчий и был растроган праздничным столом. Его сын, мальчик, в письме благодарит меня за ласку к его отцу. Что касается Володи, то он сейчас в томительном ожидании решения судьбы "Онегина". Она решается сейчас в Москве. В положительном случае это даст и деньги, и, возможно, положение, хотя силуэты и появятся безымянно в силу соловецкого прошлого Володи. Закончены также силуэты к "Повестям Белкина". Вы правы, меня можно поздравить с этим успехом. Работы эти настолько же Володи, как и мои.

Надеюсь, что операция Вашей дочери уже сделана и прошла хорошо».

9 мая. «Милая бедная сестринушка! А я еще сержусь на тебя. А ты там "одна за всех". Ясно представляю себе твое бытие и знаю, что если ты не отдохнешь летом, то не вытянешь зимы. Приезжай сюда полежать в гамаке и неторопливо со мною погулять. Что же ты ни слова не написала мне об "Онегине" и Лихоносове? Володя работает сейчас над "Годуновым" совсем в иной манере и мечтает получить большие деньги, уехать отсюда и искать себе доли в другом, "незачумленном" месте. Крепко обнимаю тебя и нисколько не завидую вашему московскому житию».

В этот же день. «Chere Madame! Спасибо за Ваше нечаянное письмо. Радуюсь, что операция Вашей дочери хорошо прошла. Ваши вести о дурной московской погоде, как это ни гадко, меня утешили и примирили с нашими холодами. Несколько вечеров с наслаждением читаю "Карьеру Дизраэли". Боже мой, какая культура и как долго не старятся там люди! Я же чувствую, как старею, и уже не огорчаюсь, когда Дуня громким шепотом говорит соседскому мальчишке — ее поклоннику: "Уходи, уходи, дедушка отдохнуть лег". Я это слышу и горько улыбаюсь, с чем и до свиданья».

11 мая. «Дорогой друг мой! Получил сегодня Ваше письмо с ужасным извещением о смерти Вашей дочери Александры Александровны и, вспоминая о том, какая она была, горюю вместе с вами. Конечно, она была самая лучшая и самая близкая Вам из

трех Ваших дочерей. Это была натура широкая, цельная, оригинальная. Она выделялась и в работе, и в жизни, и в быту. Это был крупный человек, и невольно думается, что таких вот жизнь не щадит. В ней было много мужского, барственного, простоты, самообладания, хорошего юмора.

И что же случилось, почему неудачна оказалась операция? Впрочем, теперь это пустые вопросы. Так было, так будет. Вспоминаю болезнь и смерть сестры Ольги Михайловны. Ведь то же что-то перемудрили. Сколько докторов ходили вокруг и запутывали друг друга. Когда умирает старый человек — ну, что ж: "Жила бабушка — не мешала, а померла, только место опростала". А смерть молодой, энергичной, смелой и крепкой Александры Александровны воспринимается тяжело. Я не уговариваю Вас не плакать. Это такие мгновенья, когда весь мир закрывается скорбной вуалью и нужно время, чтобы вновь вернуть себе обычное восприятие жизни. Буду очень рад, если Вы приедете сюда, и в этом маленьком путешествии отвлечетесь от горя. Деньги на дорогу я уже послал. Сделайте так, как найдете лучшим. Крепко Вас целую, мой бедный старый друг».

12 мая. «Ну и письмо от тебя сегодня, голубчик Анюшка! Что же это за упадок настроения? И от Луки почти такое же письмо с пересмотром всей прошлой жизни и плохой ее оценкой. В чем дело? Оба здоровы. На фоне текущей жизни благополучны, и вдруг депрессия. Ты чувствуешь себя "в отставке", Вова вырос, опекать тебе его дальше не нужно, и ты осталась не у дел. Ну, конечно, к этому состоянию нужно привыкнуть. Вся жизнь твоя ушла на детей. А теперь тебе нужно привыкать жить понемногу собою. Голубчик, Анюшка! У Александры Петровны страшное горе, пожалей ее».

17 мая. «Милая Александра Петровна! Все эти дни думаю о Вас. Тревоги, болезни, операция сменились ужасом смерти. Затем последний долг и связанные с ним хлопоты, а потом — вдруг все тихо, и в этой тишине опустошенное сердце, не вкладывающаяся в сознание потеря и отчаяние от жизни и смерти. Мы все проходим через это. Нам всем известно это состояние потрясения, и в конечном итоге мы все справляемся с этой бедою, ибо знаем: "Жить — это значит умереть". В различные возрасты жизни меняется и отношение к смерти. В наши годы оно становится глубже, больше, но и мудрее. Мы уже ясно понимаем: "Земнии убо, от земли создахомся и в землю тую ж де пойдем". Когда у Гете умер единственный сын и он в первые минуты пришел в отчаяние и искал выхода, он нашел его в обвинении себя в своей забывчивости: "Я забыл, что он смертен"* И мы все забываем эту простую истину.

А что, внучку Вашу подводили к гробу? Думаю, что нет. Сейчас мы все уж очень оберегаем наших деток от сильных впечатлений и сознательно и последовательно делаем их эгоистами и "ничевока* ми". Впрочем, это, возможно, хорошо для них и плохо для нас» стариков. Итак, будем доживать отсчитанные нам судьбою дни; Крепко Вас обнимаю».:

22 мая. «Милая Александра Петровна! Думая о Вас, не мог написать Вам за не досугом. Прибыла новая партия больных в санатории. Были общие собрания, какие-то совещания. Как-то целый вечер "отпевали околевшую свинью" и отпевали 50 человек целых 4 часа. Думаю, ни один знаменитый муж не удостоился такого внимания. А погода стоит ужасная. Ветер свистит так, как в "Бранде" в фиордах. Дождь хлещет в окна, холодно. Мы с Володей сидим по своим углам. Силуэты к "Онегину" приняты для 100-тысячного тиража. Оригиналы остаются за Володею, и их приобретает Пушкинский дом. Зима у нас не прошла даром. Лихоносов молодец — он многое сделал. Заработал на этом деле и он. Я рад за всех, в том числе и за себя.

Я представляю Вас на кладбище. Должно быть, свежей ране там всего легче. Но вот какое мое ощущение. Будь там погребено тело, я бы ощущал и близость к нему, я бы чувствовал его лицо, фигуру, одежды, словом, то, что я видел и опустил в землю несколько дней тому назад. А пепел, прах — это все кончено. К нему и ходить незачем. Это абстракция. Тут уж нет близости… Ну, крепитесь. Память о наших близких ведь жива лишь с нами».

1 июня. «Милая Александра Петровна. Что Вы получили пенсию после Александры Александровны — это чудесно. Вы приобретаете крепкое положение инвалида. Я уверен, что Александра Александровна порадовалась бы за Вас и сказала бы не без юмора: "Ну, Тюнечка, ведь это божественно". Я мечтаю, как о лучшем завершении моего земного поприща, получить звание инвалида и стать под высокую руку Собеса. Кто это вас надоумил? И главное, как просто, бесхлопотно. Я думал, что для этого нужны месяцы. Жизнь сурова и проста в своих законах, и только человек своим чрезмерно развитым интеллектом усложнил все. Неужто Вы думаете, что Александра Александровна не одобрила бы пенсии и захотела бы для Вас худшего, а не лучшего? Пусть будет ей легка земля, а самая глубокая печаль о ней — в Вашем сердце и ни в каком другом. И она это знает, если "им" положено что знать.

Видели ли Вы "Онегина" в "нашем исполнении"? Сейчас Лихоносов в Москве с оригиналами. Из 4-х тысяч, полученных за "Онегина", я получаю в свое распоряжение тысячу, и в связи с этим разбогатением всерьез подумываю о домишке в

Звенигороде. Окончу свое изгнание, приобрету свободу и осяду там. Впрочем, моим мирным наклонностям не суждено, кажется, сбываться. Ну, и последнее, о погоде. Весна здесь оказалась самым грустным временем года в году. Холодно так, что я мерзну в зимнем пальто. А Вы знаете, что я "незамерзавец на свой хрупкий организм"».

10 июня. «Chere Madame! Прежде всего, о Ваших глазах. Конечно, к окулисту пройти можно, ну, а прежде всего нужно перестать плакать. Со дня смерти Ольги Михайловны прошло пять с половиной лет, а до сих пор, как вспомню о ней, тоска у меня. Кажется, что в смерти есть какой-то свой закон. Она намечает и выбирает не по возрасту, не подряд со старшего, а по особым заключениям. Из нас восьмерых выбрала первым самого младшего, Гришу, Затем самую грустную в жизни, Олю, а по здоровью они были не хуже нас, остальных. И у Вас Александра Александровна была самая крепкая, а вот ушла первая. Разве Вы назвали бы ее, если бы у Вас спросили: "Вот одной из трех суждено умереть, угадайте, какой?" Вы, наверное, не назвали бы ее. Грустно на этом свете, грустно, а все же я ропщу, что до ста лет доживает лишь один человек на миллион. Как мало! Как мало!

Недавно вышла забавная история с проводами одного профессора здесь. На проводы не пришел сам "юбиляр". Так мы без него и проводили его.

P. S. В издательстве "Academia" вышел "Язык Пушкина". Обложка сделана Володей. Нужно получить авторский экземпляр».

25 июня. «Chere Madame! Сегодня ночь я не ложился спать совсем. В час был вызван к больному. По консультации с хирургом назначили экстренную операцию. Мне было интересно проверить себя, и я остался на операции. С операции пошел на вокзал встречать Максимовну. Конечно, постарела она, но шустра по-прежнему.

Скульптор Подерни настоял сделать с меня барельеф. Я согласился. Вначале выходило словно хорошо, а потом вдруг стало все хуже и хуже, и когда он мне вчера вечером доставил готовый барельеф, я увидел старую грымзу с горькой улыбкой, вовсе мне не свойственной. Конечно, я, должно быть, и есть такой, но трудно отделаться от иллюзии собственной молодости и красивости.

На днях с начальством мы сделали прогулку на машине километров на 120 вглубь Карелии. Выехали в прекрасную погоду. Дороги отличные, прогулка выходила очаровательная, и вдруг нахмурилось небо, пошел дождь, а затем повалил снег

хлопьями. Это в конце-то июня, и такой бессовестный, что не таял, а устилал землю плотным покровом. Пробыли мы в дороге больше восьми часов. Очень тяжелое впечатление от "спецпоселенцев". Это крестьяне, переброшенные с юго-западной границы вглубь карельских лесов. Они лишены всего: родины, церкви, отцовских могил; они забыли давно, как можно улыбнуться, и молчат, молчат…»

1 июля (из дневника). Чудесное летнее утро. Володя за работою над «Борисом». «Academia» заказала его. Успех полный. Но на Володе это отражается мало. Быть может, он и не равнодушен внутренне, но очень спокоен внешне. Слава не волнует его. Работа над «Борисом» трудна. Лето к работе не располагает. Володя неустойчив в настроении и в любой день может все сорвать. И несмотря на это, быть может, и благодаря этому, жизнь полна и моею работою, и творчеством Володи.

15 июля. «Chere Madame! Погода установилась. Окна все настежь, и в первый раз чувствуется сегодня лето. Мой отпуск идет по-стариковски. Я встаю на полчаса позднее и отдыхаю утром за своим письменным столом. "Грымзу" не послал Вам, потому что она годится лишь для намогильного памятника, чтобы прохожие не пожалели умершего, а сказали: "Пожил довольно, умер вовремя". Впрочем, если Вы настаиваете, я пошлю при первой оказии».

23 июля. «Что написать Вам о себе? Когда вечерами начинают сильно пахнуть левкои, мне кажется, что ни у кого нет такого уюта и тишины, как у меня. К огорчению, левкои все оказались не махровыми. Но я прощаю им это, лишь бы пахли. Переживая острый недостаток цветочных горшков, я с умилением вспоминаю мой алабинский фонд. Вот бы мне его сюда! Сразу же получился бы не я, а "девица в зелени"».

30 июля. «Хороший у вас характер, мадам! Хлопоты с посылкой Вы готовы почесть за удовольствие. Дуня пишет Вам письмо с благодарностью, и уже сегодня скроила себе присланную Вами материю. Кстати, домработницы из ББК изъяты почти у всех. Мне оставили чудом и благоволением.

Продолжаю делать очаровательные прогулки по лесам Карелии, на прекрасной машине. На работу в санаторий возвращаюсь после отпуска с неохотою. Не люблю ее. Но когда стал принимать больных, мне стало их жалко и ко мне пришло чувство долга и человеколюбия. Без этого наша работа немыслима».

11 августа. «Chere Madame! Когда мне эти недели подавали газеты "пустыми", без вложения Вашего письма, я становился сердит. Несколько дней назад в здешнем научном обществе

врачей был поставлен мой доклад. Подготовился я к нему слабовато, но тема и материал, данные мною, вызвали большие прения и весь вечер ушел на "меня одного".

Девятого сделал опять чудесную экскурсию и побывал в Данилове и Сергиево — старых старообрядческих поселениях, описанных Алексеем Толстым в "Петре I". Пробыли мы в дороге около 12 часов, и когда я встал с машины, меня качало, но насморка и недомогания, с которыми я выехал, не осталось и следа. Я сделал уже по Карелии около тысячи километров и так привык пользоваться машиною, что не купите ли Вы мне там по случаю "подходящую"? Можно даже "фордика". Очень хорошо лечите Вы ваши сердечные неприятные ощущения: "Приняла сердечные капли, стала стирать, и все прошло". Надо принять это к сведению и пробовать лечить не только каплями, но и трудом вместе. Впрочем, трудотерапия уже узаконена».

20 августа. «Вчера в театре шла премьера "Бесприданницы", доволен очень. Играли отлично. Постановка прекрасная. В театре московский порядок.

Сегодня у нас пирог по случаю Дуниного престольного праздника где-то на Дону. Разбогатею, пошлю ее на выучку к повару. Впрочем, она без "кухонного дара", хотя и говорит о себе, что "я в тесте выросла". Посылаю Вам свою фотографию. Снята она на высоком берегу Кумсы. Узнать на фотографии можно лишь мой полосатый галстук. Впрочем, видно, что человек этот не унывает, а смеется. Примите на веру, что это я. На прощанье маленькое поручение — подыскать в антиквариате старое коричневое блюдечко большого размера под наследственную чашку Володе».

1 сентября. «Chere Madame! Стоят чудесные дни. Полеживаю в гамаке, почитываю, подремываю. Вчера во время дремы так припекло, что мне приснился пожар, я схватился в ужасе и сбросил газету на землю, — она казалась мне пылающей. Сделал опять два больших автомобильных прогулки. Бодрости и удовольствия от них через меру.

Хочу рассказать Вам "о моей победе, и о ласке, и о милости побежденной здравотделицы Матильды". Вы слышали о ней в перт вый Ваш приезд сюда, как она была немилостива со мною. Теперь же несколько дней она добивалась по телефону, чтобы я зашел к ней. Пошел. Воркующий голос, глаза, полные ласки, комплименты, и под конец — пачка денег из ящика для меня. Я поломался немножко и, конечно, взял. Это была благодарность за консультации у ответственных работников района. Видите, как меняются отношения: от первого моего визита к ней до этого — "громадная дистанция".

Вы спрашиваете, слышен ли у нас бой часов на Спасской башне? Конечно, слышен. Даже о погоде в Москве мы пытаемся судить по звучности боя. Но представьте, мне даже не грустно, что Спас, екая башня так далека от меня. Она уже давно для меня стала "другой эпохой". Я помню ее и люблю во времена добродушно-провинциальной Москвы, в далекие годы студенчества, когда я так часто проходил по Кремлю и проходил без шапки под сводами башни. Что касается другого Вашего вопроса, о большей устойчивости семейного счастья при одинаковой профессии мужа и жены, ничего сказать не могу. Не думаю, однако, чтобы одинаковое занятие могло влиять на любовь. Она рождается и идет своими путями. Я лично не люблю людей своей профессии и не ищу их общества, и конечно, не на почве одинаковой профессии ценю их».

10 сентября. «Chere Madame! У нас радость. Освободили Осадчего. Известие это пришло вчера, и он едет теперь в отпуск в Москву. Нам таким безнадежным казалось его будущее: и возраст его, и здоровье трудны для лагерного бремени. Вот так гости мои понемногу "перегоняют меня". Сейчас получил телеграмму, что завтра со "Стрелой" приезжает Людмила Нифонтовна. Это для нас с Володей приятный сюрприз. Я люблю этого умного и тонкого человека.

Наступили холода: цветы на клумбах уже "жухнут", а очень жаль, они в самом цвету — нарядные и сочные. Едим дыни, их очень много в этом году здесь, конечно, привозные из Ташкента. Из "Вички" доставляют цветную капусту. Все находят, что я молод и красив. Я же твержу одно стихотворение из Жихарева:

Время нравиться прошло,
А пленяться, не пленяя
И пылать, не воспаляя,
Есть дурное ремесло.

Я и живу, не пленяя и не пылая, и нахожу, что это спокойно и почтенно. И последнее. В "Литературном современнике" печатается "Пушкин" Тынянова. Почитайте, любопытно».

1 октября. «Chere Madame! Не писал Вам давно, потому что у начальника комбината Успенского захворал, а затем и умер единственный ребенок. Лечил его педиатр — профессор Фурман, но я, на положении "домашнего врача и друга", тоже почти не выходил от него. И теперь еще каждый вечер провожу там. Горе там так велико и участие мое там так нужно, что я не ропщу, я вновь переживаю давно пережитое и лишний раз вижу, как повторяется жизнь. Ваш…»

6 ноября. «Chere Madame! Кушайте конфекты и смотрите на страшный мой барельеф. Вещь эта бездарная, и посылаю ее Вам по Вашему желанию. Не показывайте ее никому, а пуще всего Вашей дочери — она непременно скажет, что я очень похож».

13 ноября. «Задавила работа. На прием ко мне записывают 6 человек, а приходит 30. Регистратура сдерживает этот натиск, но он все же просачивается просьбами, ходатайствами, телефоном, записочками. А сердце не камень.

На днях с начальством осматривали новую гостиницу. Здание громадное, "импозантное". Ресторан, зал для банкетов, номера "люкс" в 2–3 комнаты с ваннами, словом, недурно иметь и в Москве. Здесь же это здание на пустыре производит впечатление не к месту. Читаю Андрея Соболя. Он отравил меня своим "Голубым салон-вагоном" и "Горбатым". Трагично, сильно, страшно».

29 ноября. «Готовлюсь понемногу к "вылету на волю". Написал Саввичу, чтобы достал мне справку из домкома, что мне есть, где поселиться. Вы в дружбе с преддомкома, посодействуйте. Очень рад, что Вы нашли себе старенький лорнет. Лорнетка пойдет к Вам.

Окончен "Годунов", и сегодня посланы последние силуэты в "Academia". Конечно, многое в нем хотелось бы мне видеть иным. Володя талантлив, но его одолевает столько страстей, что он не может быть ни достаточно серьезным, ни достаточно устойчивым. И вместе с тем, несомненно, "Годунов" хорош. Всего сделано 21 лист. Переделана заставка, где вместо царственного орла царя Ивана III вставлен старый московский герб — Георгий Победоносец. Изъяты "Academia" также два листа с "церковными мотивами"».

7 декабря. «Время идет, и "сроки мои" придвигаются. Что будет со мною? Успокаиваю себя тем, что Медвежья Гора не уйдет от меня, и на худой конец я брошу мой якорь здесь. Кстати, редко кто верит, что я могу бросить Медвежью Гору. Успехи мои в ней так значи тельны, что недавно мне кто-то сказал: "Безумно менять кресло на горшок с углями". Должно быть, это правда. А все же я не останусь здесь, если дадут Москву».

27 декабря. «Chere Madame! Надоело мне здесь все. Это, конечно, от близости срока. Осталось мне два месяца. От комбината послано в Москву ходатайство о разрешении вернуться мне в Москву, но надежды у меня на благоприятный ответ мало. Ведь посылали уже отсюда три раза о сокращении мне срока. Ни разу не ответили. Словом, я жду худшего. Унывать от этого не унываю, но и радости в этом немного. Планы мои таковы: если я получу Москву, уезжаю тут же, если не получу — возьму отпуск и

хотя бы на время поеду в Москву, осмотрюсь там и решу, что делать дальше. Кстати, 23 февраля сойдутся у меня два юбилея: 25-летие окончания университета и 3-летний "зде пребывающего града" — какое радостное совпадение».

1936 год

7 января. «Chere Madame! Засахаренные фрукты, присланные Вами, были так вкусны, что я все время жалел, зачем Вы их не скушали сами. Впрочем, это дело поправимое в ближайшем будущем. Вчера, в канун Рождества, я зажег маленькую елочку. У меня оставалось от давних времен две желтых восковых свечечки, я разрезал их на шесть частей и зажег. Боже мой, как безропотно и быстро они сгорели! Мне было грустно, что это грустное удовольствие так быстро кончилось.

Возили меня сегодня в Повенец к больной, помните, очень тяжелой, о которой я Вам писал раньше. Сейчас она здорова и хотела отблагодарить меня. Закрытый автомобиль, быстрая езда, моя новая шуба на шелку (я подкладке придаю большее значение, чем верху), сделали дорогу чудесной. Там же по-северному натопленная комната, шумящий самовар, горячий пирог и много привета. К сожалению, в народе узнали о моем приезде, и мне пришлось побывать еще у двух больных, и я, выйдя из дому в 9 часов утра, вернулся домой в 10 часов вечера. Каково, 13 часов в дороге и на людях! Впрочем, поездка была очень хороша.

Освободилась наша Дуня и после долгих мучений решила никуда не ехать. Перемучилась она со своими "прожектами" вдосталь. Так, впрочем, бывает со всеми, кто получает "путевку в жизнь". Ждут, ждут, а потом и не знают, что с собою делать. Так, пожалуй, будет и со мною "многогрешным"».

14 января. «Chere Madame! Сегодня "старенький Новый год". И вертится, в уме четверостишие:

Снова Новый год,
Снова пожеланья:
Встретить без забот
Этот Новый год.

А у нас за последние дни ряд неожиданных смертей. Умер директор санатория за утренним чаем. Умерла милая артистка в Театре. Сегодня играла, а на завтра "преставилась"; я не хоронил их никого. Я избегаю встречаться "лицом к лицу" с усопшими.

Помню, мальчишкой меня тянуло к "покойничкам". Страшно и жутко, а любопытно.

Сроки мои подходят, план действий обдуман. От комбината я, отказываюсь в день освобождения, иначе надо будет оставаться. В санатории возьму отпуск. Квартиру с Дуней и Володей оставлю за собой, устроюсь — Володя ликвидирует остатки и поедет ко мне, не устроюсь — вернусь сюда. Руководство комбината уже знает о моем уходе, и начальник его сказал мне вчера: "Устраивайтесь так, чтобы можно было поехать к Вам в гости". Я не прочь встретиться с ним. Человек он жуткий, но интересный».

23 января. «Спасибо за Ваше письмо. Оно так живо и обстоятельно написано, что я словно побывал у Вас в гостях, все узнал и все понял.

Володя сегодня уехал в Ленинград. "Academia" предложила ему большую работу над "Чайльд Гарольдом". И вот он поехал в Пушкинский дом, поговорить там о "Чайльд Гарольде". За "Годунова" "Academia" повысила плату до 400 рублей за лист. "Годунов" дал 7 тыс. рублей с небольшим, итого в год Володя заработал 13 тысяч. Это ли не достижение! "Годунов" должен выйти с посвящением мне. Думаю только, что едва ли это возможно по моему положению. В Медвежке многие встревожены моим отъездом. Я не хвалюсь этим, но это, конечно, приятно. Два года здесь меня сопровождал нарастающий успех. Прилагаю Вам кстати стихи, они позабавят Вас. Написаны они "бывшей" баронессой Буксгевден — моей больной, несчастной молодой женщиной с тяжелым туберкулезом легких:

Ревут и стонут пациенты
В палате нижней и других.
На кой им черт медикаменты,
Когда отнимут Вас у них.
Когда Вы входите в палату,
Им жизнь становится милей,
Вас вслух приветствуют, как брата,
А про себя — еще "нежней".
Не дай Вам Бог на вольной воле
Симпатий столько ж возбуждать.
Сошлют Вас снова поневоле
За то, что все начнут хворать».

31 января (из дневника). Неделю назад Володя уехал в Ленинград. Беспокоюсь, еще больше люблю, еще больше боюсь за него. За последние два месяца он сделал одну гравюру к «Скупому рыцарю», а вообще бездельничает самым пустым

образом. Где и при каких обстоятельствах может быть создана ему жизнь, его удовлетворяющая и дающая стимул к работе, не знаю. Ему нужна жена, подруга, товарищ. А где найти такую: и ему по плечу, и по его изломанной психике? Поражает в нем эта тяга вниз, на дно, к богеме. И это в нем — и по духу, и по внешности аристократе! Ведь он денди во всех своих проявлениях, по всему своему существу. Жаль, что нет у него честолюбия. То, что он выходит на широкую дорогу, его совсем не занимает. Трудно с ним. И любишь, и сердишься на него. И того, и другого вдосталь. В день приезда в Ленинград он написал мне свои впечатления от города: «Хоть в Неву головой». Вот и болит душа.

23-го февраля кончается срок моей ссылки. Я не ропщу на случившееся, но думаю, что это самое можно было проделать человечно, без семи с половиной месяцев тюрьмы, без лишней психической травмы, особенно, первых дней ареста. Первого марта я оставлю работу и уеду, а куда, еще не знаю. Хорошо бы встретить весну в Крыму, но это бескрылая мечта.

1 февраля. Только что ушел Юрий Васильевич Дьячков — художник из театра. Распили мы с ним бутылку вина, и «бросило» нас в воспоминания о наших испытаниях. Но странно, несмотря на всю горечь пережитого, оба мы не хотели, чтобы этого пережитого не было. Нет, пусть оно будет, и хорошо, что оно было. И в самом деле, исключать из моей жизни последние три года и вставить вместо них продолжение «алабинского бытия» — это было бы пресно, скучно, хотя, быть может, и благополучно. И вот я готов сказать вместе со Златоустом: «За все слава Богу».

2 февраля. «Chere Madame! Февраль на дворе, а мороз 44 градуса. В квартире тепло. Должно быть, это единственная такая квартира на всей Медвежке. Бедный Бубликов последние два дня отогревался у меня от своего барака. Сегодня пошел к себе, и жаль мне его от всей души.

А Дуня наша собралась выходить замуж, да так вдруг, да так спешно, что забыла и спросить, как "его" зовут. Я рассердился на нее не на шутку и это дело пока отложил, но баба пищит — замуж хочет: и сны вещие видит, и домовой ее душит — такой серенький, маленький, и кричит она по ночам благим матом, и я в свою очередь начинаю кричать: "Дуня, Дуня, проснись". Вчера ей приснился такой сон, что на тумбочке возле моей постели горят свечи, и сегодня она бесповоротно мне заявила: "Умирать, умирать Вам на днях, умирать беспременно". И уже начал думать, что не переживу ночь. И стало жутко, и стало жалко себя.

Праздновали "Татьяну". Приглашен был Пшибышевский и бывший секретарь нашего посольства в Париже — Нашатырь.

Первый занят постановкой "Царской невесты". Второй исключительно мил и культурен, хотя и Нашатырь. Вечер вышел очень удачен.

От Лихоносова вести о Володе очень одобрительные. Утром он занимается в Пушкинском доме, серьезен и обаятелен. Я днями не чувствую его отсутствия, но вечерами мне его очень и очень недостает».

3 февраля (из дневника). Получил письмо от Володи, и оно привело меня в хорошее настроение. Сейчас 12 часов ночи, а хочется пожить с хорошим настроением еще хоть немного. В центре мое го внимания — Центральный лазарет комбината. Помещение лазарета ужасное: холодное, вонючее, перегруженное людьми, но истинный интерес врача и человеколюбия в нем. Там лежит и туда обращается очень много крупных и интересных людей. Здесь мозг страны, а не в санатории, здесь «униженные и оскорбленные», которым даже запрещен вход в парк санатория.

9 февраля. Вечер. Час тому назад меня известили о том, что мне разрешено вернуться в Москву. Я даже и не представлял себе, как много значило это разрешение для меня. Горело лицо, кружилась голова.

Шестого вернулся Володя из Ленинграда — спокойный, приятный, дорогой. Работает над «Арапом Петра Великого».

10 февраля. «Chere Madame! Вчера меня известили о том, что я получаю право на Москву. Ночь спал плохо. Бедное человеческое сердце, которому и жить-то осталось пустяки, а взволновалось и билось зря, то радостью, то заботою. И забота эта, прежде всего, о жилище. Нужен отдельный угол, а его нет. Нужно попытаться договориться с живущими в моей комнате о переделе моей комнаты, и хорошо бы это сделать до моего приезда».

14 февраля. «Chere Madame! Наши письма разошлись. Я не стал ожидать Вашего и послал экстренной почтой свое. Переписке нашей конец. Очередная глава книги закончена. То, что я становлюсь опять москвичом, конечно, сняло с моей души большую тревогу. Тревожит лишь комната. Аня передала мне через Осадчего, что полкомнаты мне обеспечено, а быть может, и вся комната. Но в словах Осадчего не было уверенности, и он, мудрый, от себя ничего мне не пообещал, а я ему верю. Но будь, что будет. Анюшка уже предупредила меня, что я буду многим недоволен, и я это знаю тоже.

У нас стоит здесь лютый мороз с ветром, и даже чувствуется у нас в квартире. Спешу под одеяло, до свиданья».

26 февраля (из дневника). Завтра я уезжаю из Медвежьей Горы. Работу и в санатории, и в Комбинате прекратил два дня

назад. Последние дни был такой наплыв больных ко мне, что думал, «паду костьми». И вот теперь, когда все нити здешней жизни обрезаны и наступила тишина, и все окружение медвежьегорское отошло от меня и со стороны показалось в своем свете, я радуюсь, что уезжаю, и смешными и непонятными кажутся мне мои колебания. Часть вещей моих уже отправлена. Квартира приняла разгромленный вид. Володя и Дуня должны месяц прожить еще здесь так, будто ничего не случилось. А все же как грустно, как грустно переворачивать новую страницу!

Глава третья. ОПЯТЬ В МОСКВЕ (Март 1936 — 19 апреля 1937)

«Жизнь есть дорога, и состоит она из шагов, и каждый шаг уже был и его не будет. А потому никакого шага поправить нельзя».
В.В.Розанов

Да, «никого поправить нельзя». «И мне грустно, — продолжает В.В.Розанов, — что я сделал столько ложных…» Ну, «несть человек, аще поживет и не согрешит», а вот если ложный шаг кончается смертью, да еще не твоею — это уже не грусть, это уже трагедия и позднее раскаяние на всю жизнь.

Что меня влекло в Москву и что меня удерживало, когда я увидел, что ни мне, ни тем более Володе нет в ней места? Ведь я прекрасно мог устроиться под Москвою. Мне предлагали места в Дулеве, в Ясной Поляне, в Верее, — там был фарфор, музей, дача. Володя любил, как он выражался, «прованс» и ничего плохого не видел и для меня в нем. А я остался в углу за шкафами в своей комнате, и это стало роковым.

Однако буду развертывать события, как они шли. Начну с того, что возвращение в Москву казалось мне вершиною моих достижений. И друзья мои согласным хором тоже воспевали мою «удачу».

27 февраля. Воронеж. «Мишенька, дорогой. Как я рада, что все уже кончилось, и кончилось так блестяще. Знаю я, конечно, что первое время пребывания твоего в Москве будет много огорчений, что бывают осложнения и с пропиской и что к этому надо подойти осторожно. К.А.Петрову-Соловову так и не прописали в Москве несмотря на то, что вернуться ей туда разрешили. У тебя это будет, конечно, проще. Но все же, если дела эти затянутся, приезжай отдохнуть к нам в Воронеж. Любовь Вышипан».

«Дорогой М. М., — писал мне 5 марта из Ташкента астроном В.И.Козлов, бывший мой "сосиделец" по Бутырской тюрьме. — Поздравляю Вас. Очень Вас прошу известить меня о Ваших дальнейших делах и адресе, мне бы не хотелось потерять Вас. "Мои сроки" исполняются 11 апреля. В начале февраля я был в Москве и Ленинграде. Целью моей поездки был доклад в Академии наук о недавно сделанной мною крупной работе. Поездке предшествовали длительные хлопоты обсерватории о ее

разрешении, которое и было дано "в виде исключительного исключения". Однако несмотря на его наличие, без приключения в обоих городах не обошлось.

Смутны мои впечатления от этой поездки, не совсем что-то понравилась мне Москва. В первый приезд в Москву буду у Вас, радостно будет увидеться. Итак, до свиданья, снова поздравляю Вас. Ваш Козлов В.».

«Милый Митро, — писал я 14 марта Лихоносову из Москвы. — Не отвечал тебе, потому что был неустроен и выбит из колеи. Нехорошо мне здесь. Примиренности со столицей нет. Живу "на тычке" за шкафами в своей бывшей комнате. На лучшее надежд почти никаких нет. Но в Москве оставаться надо до окончательного оформления моего положения. С работою также пока не устроился. Забросил удочки там и сям, но клюет пока что слабо. В "Academia" дня четыре тому назад было собрание по "формализму". "Годунов" Володи принят единогласно и выйдет месяца через три. Володю думаю поселить у тебя в Головинском переулке до первой возможности сделать это у меня. Напиши, что думаешь об этом…»

16 марта (из дневника). Москва. Опять Вспольный, 5. «Мне из сердца не изгнать переулок Вспольный, пять».

Выехал я из М. Горы 27 февраля к вечеру. На вокзале небольшая кучка друзей. Поезд пришел вовремя, и проводы не затянулись.

Мягкое купе, полусвет, вдвоем с Хайнацким — начальником Земельного отдела Бело-Балткомбината; бывший помещик, культурен. Вообще, и с ним, в частности, очень приятно было ехать. В Ленинграде пробыл два дня. Впечатления самые тяжелые. Расстояния, из-за плохого сообщения, брали все время. И потом, поражали и оскорбляли общая грубость. Все злы. В Москву выехал с трудом в до отказа набитом бесплацкартном жестком вагоне, имея на руках мягкое место. В Москву приехал уже «обиженным». И зная, что меня встречают, вышел другим ходом, чтобы побыть одному и в себе разобраться. Дом на Вспольном одряхлел, запущен, грязен, не топится, со стен течет. Две маленькие комнатки Долгополовых переполнены: Анюшка, Саввич, Вова, Ирина с дочкой Марианной и нянею. Вселился и я.

Был сезон гриппа. На второй день слег Саввич. Стало еще теснее. Не теряя времени, уже со второго марта, стал я «вживаться в Москву». Получение временного паспорта и прописка прошли хотя и с противным чувством, но гладко. Шестого марта, после неприятного и сумбурного разговора с племянниками Лукичами, я перешел в свою комнату за шкафы. Выделили они мне треть комнаты. Выполнив эти дела, принялся

подыскивать работу. Более неприятного чувства, как «искать места», я не знаю. У меня есть какие-то письма к каким-то власть имущим людям, но… 58 статья дает себя знать. В коридоре Комиссариата здравоохранения встретил я доктора Петра Петровича Никольского. Несколько лет тому назад весь медицинский мир Москвы пышно праздновал его 25-й юбилей врачебной и административной деятельности. Теперь же он, как и я, вернулся из ссылки и так же искал место. Мы посидели вместе. И ему, и мне несколько лет назад в Наркомздраве все были знакомы. Теперь мимо нас шагали сотни сотрудников разного ранга, но все они были новы для нас.

Это порождало чувство «изжитости».

16 марта. Ленинград. «Дорогой Миша. Об устройстве Владимира Александровича на Головинском написал своим и просил обсудить этот вопрос и окончательно решить его вместе с тобою, для чего прошу тебя зайти на Головинский. Конечно, для моих дам было бы спокойнее, если бы с ними поселился ты, а не Владимир Александрович. А Владимир Александрович — на Вспольном за шкафами. Но отсюда мне трудно судить о возможности этого. Пожалуйста, напиши об этом и всем остальном, таком тревожном у тебя. Лихоносов».

17 марта. М. Гора. «Глубокоуважаемый М. М. С Вашим отъездом у Владимира Александровича все как-то не ладилось, и он де лал все ниже себя. А потом вдруг сразу дал несколько хороших иллюстраций. Мне кажется, что все это пока поиски стиля и себя к "Чайльд Гарольду". Очень меня порадовал совет Абрама Эфроса переходить Владимиру Александровичу на акварель. После того, как Владимир Александрович скопировал в Соловках для профессора А.И.Анисимова икону митрополита Филиппа и дал колорит и рисунок, которые не могли дать тамошние художники, я убедилась, что это еще одна из его неиспользованных возможностей. Сама я доживаю в лагере последние дни перед переходом в бурную и неопределенную фазу своего существования. Благодарю еще раз Вас за все то ласковое участие, которое я здесь видела от Вас. Елена Аносова».

23 марта. Ленинград. «Как мне приятно адресовать Вам письма по старому адресу. Ведь я Вам пишу на него уже 15 лет. Ответьте мне, только незамедлительно, как Вы устроились, — что со службою, как с квартирою. При этом я прошу уступить крупинку Вашего времени и мне, хотя сознаю, что Вам и своих хлопот по горло. Вы как-то обмолвились о том, отчего мне не заняться чем-либо "нехимическим", и эта мысль теперь меня преследует и ежедневно подкрепляется отвратительным моим самочувствием. Я возвращаюсь с работы совершенно разбитая,

сразу же ложусь, часам к 9 немного отхожу, а в 11 надо и хочется спать. Да, конечно, это не жизнь — ездить на работу за 18 километров, безумие торчать по 6 часов на ногах, вдыхать химическую отраву, надо переключаться на сидячую работу. Жду совета. Наталья Вревская».

30 марта (из дневника). Наконец, я устроился на работу в единый диспансер № 8 в Дорогомилове. Определилось это всего дней пять назад. Вчера побывал на конференции врачей диспансера, присмотрелся к ним, примерил себя и успокоился. Теперь о Володе. Несколько дней назад, как всегда неожиданно, пришел он ко мне под вечер, будто с прогулки — без вещей, без «дорожного состояния». В М. Горе ему без меня не ложилось. Кроме того, дама его сердца — «Испанка» — ехала на юг, и он должен был проводить ее до Москвы. Конечно, я ему обрадовался, конечно, он мил и дорог, как и всегда. Но как мне трудно с ним! Где-то нужно жить, как-то его нужно кормить! У меня все это невозможно пока, и когда будет возможно — не знаю. Поселил я его временно у Лихоносова, в глубоком подвале, без солнца, в унылом полусвете, с унылыми людьми. Правда, у него отдельная крошечная комната, но это так далеко от меня! Притом, это так ненадолго. Сам он производит впечатление растерявшегося, даже оглушенного, и мне больно наблюдать его таким.

4 апреля. Архангельск. «Дорогой М. М.! Очень меня волнуют за Вас и моего друга Володю Ваши бытовые неурядицы. Хочу верить, что и в столице Вы скоро будете устроены по достоинству, а нежелательная разлука с Володею прекратится. Часто вспоминаю Медвежьегорский Ваш дворец и Ваше обильное и теплое гостеприимство. Теперь я подхожу к перепутью, через которое Вы прошли. Мечтаю, что мне разрешено будет остаться здесь. Недавно закончил я две выставки и написал главу для сборника "Архангельск". Получил письмо от профессора А.И.Анисимова. Он чувствует себя получше и по-прежнему считает лапти на Сеннухе. Прошу не забывать Бориса Моласа».

7 апреля. Муром. «Был очень рад, дорогой М. М., получить от Вас уведомление о выезде Вашем в Москву. Вот Мамаев из "нашей организации" получил минус 28. Это меня встревожило, хотя "опытные" люди здесь говорят, что это ничего не значит и каждому надо хлопотать отдельно и обычно хлопоты увенчиваются успехом, особенно у врачей, да еще старых и опытных, ведь их не так много.

Видели ли Вы Славского? После смерти сына его письма стали очень мрачны и полны такой гордыней, что становится жутко за него. Вместо того, чтобы смириться, он загорелся ненавистью к Богу и хочет быть Его судьей, мечет громы и на

семью, как рассадницу "эгоистической любви", которая ничего, кроме горя, не приносит людям. "Надо уничтожить семью, — пишет он, — поменьше любить, и тогда будет легче жить". Крепко Вас обнимаю. Ваш Печкин».

18 апреля. М. Гора. «Дорогой и уважаемый М. М. Вы меня очень ругаете? Да, поругать меня следует, но уж Вы, пожалуйста, простите меня, как прощали в Медвежке мои прегрешения вольные и невольные. Малыши мои растут хорошо. Ну, а о себе много говорить нечего. Моя личная жизнь окончена, и для себя я больше ничего не хочу. М. М.! Скоро печальная годовщина смерти моего мальчика, и так хотелось бы мне в этот день быть около дорогой могилки. Помните, как вечером, накануне его смерти, мы поехали с Вами в По-венец, и Вы старались подготовить меня? Этого можно было и не делать — с первой минуты его заболевания я знала, что он умрет. Знала и все же надеялась. В первый раз в жизни я так близко соприкоснулась со смертью, ближе, чем в тот момент, когда она придет ко мне, и никакого утешения, никто не скажет мне, увижу ли я его хоть когда-нибудь. Никто! Хочется повидать Вас и поговорить с Вами о нем, но, наверное, если б увидала, так ничего и не сказала бы, ведь и в Медвежке я несколько раз приходила к Вам с желанием поговорить о нем, о всем, что лежало на душе, да так и уходила, ничего не сказав. Вот скоро увидимся. Я буду ехать через Москву, а пока что напишите, если не обиделись, как Ваши дела с комнатой, работою, и что читаете. У меня сложилось такое впечатление, что Вы немного подавлены и оглушены Москвою и что иногда у Вас мелькает легкая грусть о тихой, далекой Медвежке. Я лично не согласилась бы жить в Москве, и Медвежку ругаю, а расстаться с ней мне было бы трудно. Здесь родился мой мальчик, здесь он жил и умер, и здесь его могила. Нет, не хочу никуда уезжать из Медвежки. Ну, всего хорошего. Если Володя с Вами, сердечный привет ему, я надеюсь получить и "Онегина", и "Годунова" с его иллюстрациями. Наталья Успенская».

«Онегина» Наталья Николаевна получила. Свидание наше состоялось. А Медвежью Гору пришлось ей все же покинуть и вслед за этим письмом перебраться в Дмитров, где в то время полным ходом шли работы по каналу Москва — Волга и где муж ее занял руководящую роль.

Когда я приехал в Медвежью Гору, то чаще всего первое время слышал там два слова: «Беломорканал» и «Успенский». Увидеть последнего пришлось мне не сразу, уже после того, как меня завербовали на работу в ББК, и я стал достаточно «признаваем». Помню первый визит к нему и первое мое впечатление. По телефону сообщили, что за мной зайдет

начальник медико-санитарной службы Комбината, и мы с ним направимся к тов. Успенскому. Жил последний в так называемом «Доме руководства» — небольшом особняке, стоявшем отдельно и охранявшемся часовым.

Вошли. Небольшая квартира. Военные пальто на вешалке. В военном мой спутник. А я — ссыльный и в штатском. Как-то мне не по себе. В коридоре встретила нас худенькая, хрупкая молодая женщина с большими глазами на бледном личике, стриженая, в сапожках. Нигилистка! Нет. А что-то от курсистки 60-х годов. Встретила застенчиво и скромно. Это была Наталья Николаевна — жена Успенского. После она меня уверяла, что я принял ее за горничную.

Вошли к больному. Стены и потолок комнаты обтянуты голубой материей. С розетки потолка спускается шелковый фонарь. На большой кровати какого-то редкого дерева, покрытой шелковым голубым одеялом, сам он — легендарный Успенский. Упитанный парень, курносый, с копной рыжих волос, бритый, внимательно всматривающийся, чуть-чуть «презрительный», чуть-чуть «свысока». Последнее, верно, для фасона — по чину и должности. Заболевание оказалось легким, и больной весело и непринужденно посмеялся после осмотра чему-то смешному, мною рассказанному.

Так завязалось знакомство, перешедшее потом… во что? Ну, во всяком случае, в доверие не только врачу, но и человеку. Это с его стороны, — и в дружбу со стороны Натальи Николаевны. С нею мне было проще, интимнее, легче. С ним… даже с глазу на глаз никогда не было «от всей души, от всего сердца». А он ценил мое общество и почти со мною одним делил свой редкий досуг. На людях вообще мы были незнакомы. Вот подъезжаем, положим, к театру в его машине и выходим в разные стороны, уже совершенно не общаясь. А после убийства Кирова, пока не улеглась тревога, со мною были прекращены все сношения. Это была мимикрия. Я понимал это, как и то, что ему хотелось зайти иногда ко мне, как хаживала Наталья Николаевна, но он никогда не решился на это.

Так вот, вживаясь все глубже в эту семью, я не мог не чувствовать какого-то «трагедийного начала» в ее основе и с большим страхом думал о судьбе Натальи Николаевны. В лагере все заключенные знали ее как «Наташу Андрееву» и считали ее «за свою». Рассказывали так об этом браке. Успенский, «царь и бог» в Соловках, обходил как-то вечером женский барак. Все встали. Одна Наташа Андреева не поднялась и была наказана за это карцером. Повторилось это и во второй раз. «Да, я политическая заключенная. У меня по 58 статье 10 лет. Но

почему же я должна стоять при Вашем входе?» Это послужило началом романа, закончившегося браком. По-видимому, правовая сторона его была улажена, 10 лет отменены и брак признан законным.

При мне уже родился сын-первенец, названный в честь тогдашнего наркома внутренних дел Ягоды — Генрихом. При мне он и умер. Отца в это время не было дома, он был в командировке, и мне поручено было Натальей Николаевной встретить его на вокзале и сообщить ему о смерти сына. Принял он эту весть достойно. Мальчика он, несомненно, очень любил и, как Наполеон Орленку, прочил ему большое будущее. На похороны собралась вся Медвежьегорская партийная и служебная верхушка. Перед тем, как запаять цинковый гроб, Успенский сказал: «Смерть унесла от нас маленькую, но очень дорогую для нас жертву. Большевики многое побороли и многого достигли. Думаю, в последнем счете, поборют и смерть. С этою надеждою я только и примиряюсь с потерей моего сына и призываю вас надеяться и работать, не покладая рук». Сказано это было эффектно и сильно, хотя не знаю, поверил ли кто-нибудь, даже на мгновение, в возможность победы смерти. Процессия на кладбище тронулась уже в сумерки, вся на автомобилях. Могила на высокой горе. Рядом с ней поставлен электрический фонарь. Из «Дома руководства» видна освещенная могила. Это напоминало мне «Брандта» с могилою Альфа и страданием Агнес.

С кладбища Успенские, взяв меня с собою в машину, помчались до Повенца. В беге, свисте ветра мелькали очертания знакомого пейзажа. Чужое горе становится твоим, если сердцу твоему свойственно чувство жалости. А я жалел Наталью Николаевну, жалел за ее прошлое, жалел за ее настоящее и еще больше жалел за ее будущее. К этому времени она скоро опять ждала ребенка, но, ожидая его, ненавидела из любви и ревности к умершему. Остаток вечера и до поздней ночи мы провели также только втроем, причем Успенский был изумительно хорош в своем отношении к Наталье Николаевне, так неподдельно, так искренне, так тонко.

Прошло после этого немного времени, и я, вернувшись как-то поздно вечером к себе домой, нашел у себя Наталью Николаевну с огнестрельной раной в ногу. «Разряжала револьвер и нечаянно попала». Дело не подлежало огласке, и я, оказав нужную помощь, сообщил о происшедшем Успенскому. «Посоветуйте Наталье Николаевне в другой раз метить в сердце, а не в ногу», — ответил он мне.

Родила Наталья Николаевна в этот раз двойню: девочку я упросил назвать Наташей. Мальчика она опять назвала Генрихом.

Поражала в этой хрупкой женщине исключительная способность переносить физические страдания. Откуда только бралась у нее такая нечеловеческая сила! Так было и с ранением в ногу, так было и с тяжелыми родами двойней. Детей, конечно, Наталья Николаевна скоро полюбила, но не в ущерб памяти ушедшего.

В Дмитрове, в уютном коттедже, я наблюдал мирную, дружную картину детской комнаты: двойняшек, вывезенной из Медвежьей Горы подростка-няни и приемыша-девочки оттуда же, в обществе нескольких собачонок. Животных Наталья Николаевна любила, жалела, подбирала бездомных, воспитывала и устраивала в верные руки. Это ее отношение к животным все знали, уважали его и посмеивались над ним. Расставаясь с Натальей Николаевной в машине у дверей дома на Вспольном, мы условились и побывать вместе в театре, и походить по букинистам. Книгу Наталья Николаевна любила и с толком умела читать ее. Но скоро, очень скоро после этого поползли зловещие слухи: Наталья Николаевна была арестована, выплыли старые обвинения, нашлись новые. Сам Успенский тоже, будто, пострадал тогда немного по службе, но недавно я прочитал в газете о награждении его орденом Ленина. Он снова женился.

Вот какую «историю» подняло в моей памяти письмо Натальи Николаевны. Оно единственное у меня. Больше к ней вернуться мне не придется.

Итак, апрель все же прошел еще сносно. Правда, вызывали меня н милицию три раза и проверяли мое право на Москву. Особенно неприятно проверяли мое право перед маем, но не тронули. К маю же окончилась месячная прописка Володи в Москве, да и на Головинском переулке не захотели его дольше держать. Прописка на новом месте вовсе не удалась, несмотря на хлопоты Литмузея, и Володя оказался не только непрописанным, но и бездомным, и милиция ловила его у меня, конечно, не без участия моих соседей. Вот ту-то, испив горькую чашу московского житья, и нужно было мне бросить его. Но враг силен. Во-первых, казалось уже невозможным терять хотя бы часть комнаты в Москве, а быть может, и всю комнату, если посчастливится отстоять ее в суде, а такую возможность юрист сулил. Во-вторых, казалось нужным получить мне постоянный московский паспорт. В-третьих, казалось необходимым оставить в наследство Володе комнату в Москве, нужную ему по характеру его работы и связей с издательствами. И наконец, в-четвертых, казалось невозможным бросать мне Москву из тех побуждений, что, бросив ее, не вернешься, и буду я обречен навсегда жить вне ее, а человек я старый и одинокий. А Володя неустойчив, в любой момент может оставить меня. И все эти планы на дальнее отодвинули на задний

план ближнее. Конечно, уменье выжидать — это великое дело, и конечно, с обычным человеком это было рассчитано все правильно. Но я не учел, что имею дело с Володею. А с ним и для него это все было ошибочно.

Словом, Володя пока что устраивается в Воронеже. Я же остаюсь в Москве бороться за Москву и для него, и для себя. К 1 июня истек срок временного моего паспорта. Не без хлопот, но и без особых переживаний, получаю постоянный, но домоуправ не допускает его прописку в течение двух месяцев.

Будущее наше поколение, если узнает про эти наши «переживания», не поймет их внутреннего смысла, как, наверное, не поймут его и современный англичанин или американец. Это наше, «расейское». Два месяца хожу в милицию и то получаю разрешение на прописку, то теряю его. В Медвежьей Горе я встретился с однокурсником по университету — доктором Иваном Георгиевичем Дмитриевым. Так вот он, наблюдая все растущий мой успех там, говаривал мне при встрече: «Ой, не гордись, говорю тебе, не гордись». Это заставляло нас обоих весело смеяться. Ну, а Москва уж не шутила со мною, а учила меня делом не гордиться, и чувствовал я себя в ней последним из последних.

Между тем, жизнь Володи в Воронеже не пошла. Только теперь я понял, что она вообще и нигде не могла пойти. Единственно, и то с большим трудом, только я мог еще держать его на поверхности жизни. Я же лишил себя и его этой возможности. А в Воронеже для Володи были вовсе неплохие условия для летнего пребывания. Семья Вышипана, семья сестры Любы была радушна и гостеприимна. В Воронеже жили дядюшка Володи и кузина, с которой он был хорош. И наконец, к Володе пристрастился старик-сенатор Блюменау, нежно и отечески его опекавший.

«Добрейший Владимир Александрович, — писал он ему в Москву. — Возвращаюсь к идее графического изображения Конституции СССР. Взять на себя труд дать разработанную схему плаката я, конечно, не могу, для этого необходимо обладать художественной фантазией, которой у меня никогда не было. Это уж Ваше дело, если только Вы возьмете себя в руки, одухотворитесь идеей и проявите свой талант и художественное творчество.

Однако перехожу к существу дела. Конституция в целом — это свод основных положений, имеющих целью создать первое новое бесклассовое общество, пользующееся здоровой, веселой, счастливой, свободной жизнью, и притом многокультурное. И второе, монолитность и мощь нашей социалистической

республики».

Дальше следовало подробное и основательное развитие положений Конституции для вмещения и изображения их на плакате. Но Володе было не до этих тем. Его тяготили две вещи: неудавшийся ему «Чайльд Гарольд» и разлука с «Испанкой». Последняя в особенности. И вернулся он из Воронежа в Москву в еще более взбаламученном состоянии, чем выехал. И тут-то опять и опять мне надо было, забрав его, устроиться вне Москвы своим домом, и жизнь бы пошла. Но я, наметив себе впереди цель, вошел в азарт борьбы и, жертвуя настоящим для прочного будущего, искал временных выходов.

23 июня. Тифлис. «Дорогой М. М.! Дошли до меня вести о Вашем возвращении в Москву и при мысли о Вас не могу не радоваться за Вас и Володю и очень жалею, что мне не удастся скоро повидать Вас и познакомиться с Володей. Лето я проведу где-нибудь поблизости, возможно, в Дилижане, в Армении. Последнее мое выступление состоялось в Оперном театре с европейским дирижером Унгером. Играл концерт Шопена с успехом. Унгер хвалил и приглашал выступить с ним же летом в Ленинграде. Но мне не хочется из-за одного выступления ехать в такую даль. Не соберетесь ли Вы в сентябре к нам? Вот было бы складно. Жму Вашу руку. Жорж Бубликов».

М. Гора. «Дорогой и милый М. М. Обрадовался Вашему письму очень и отвечаю Вам с удовольствием. В Вашем письме огорчила меня фраза: "В Москве неприятно и трудно. Зачем я беру эти трудности — не знаю". Так и хочется воскликнуть: зачем же Вы торопились ехать отсюда? Но это поздние разговоры, и я продолжать их не буду. Мышиной пискотни и гадости везде в старых гнездах полно.

Здесь можно только сказать: терпение, терпение, терпение! Положитесь на судьбу. Приятно, что Ваша работа "достаточно интересна". Полжизни проходит на работе, и если она Вас удовлетворяет и прилично оплачивается, то получается положительное содержание жизни и можно мириться с отрицательным, памятуя исторический этап, который мы проходим. Жаль, что все Ваши усилия поставить Володю на твердые самостоятельные ноги дали так мало. Все же он кинулся вперед и, может быть, еще окрепнет и будет работать. Встретил недавно Вашу Дуняшу. Как полагается, она значительно похудела, лишившись мелентьевских хлебов. Конечно, она с благодарностью вспоминает о времени, прожитом у Вас. Поздравляю Вас с рядом исторических достижений на нашем этапе. Последнее — упразднение шарлатанской педологии и педологов. Крепко жму Вашу руку. Ваш Петр Осадчий».

22 июля. Ленинград. «Хотелось бы знать, как Ваш суд и дальнейшее устройство. Кажется, квартирные суды быстры. Приближается время отпуска, и мне хотелось бы узнать, где Вы будете в августе-сентябре. Дни бегут, бегут все быстрее и быстрее к "трем аршинам", поглощающим нас. Эта мысль не отходит и вьется, как августовская муха. Реакция — судорожное желание видеть дорогих сердцу людей. Хочется живого слова, близкой души и ласки. Ленинград пуст и холоден в этом отношении.

Часто думаю, как Вам неуютно и беспокойно. И за что такая напасть — бытовая и с Володею? Со щемящей грустью вспоминаю Алабино. Напишите же словечко. Наталья Вревская».

21 июля. Ташкент. «Дорогой М. М.! Страшное, тяжелое горе поразило меня. Седьмого июля умерла моя жена. Нет сил писать об этом и кажется, не хватит сил перенести это. Не только это. 19-го апреля здесь, в Ташкенте, покончил жизнь самоубийством мой единственный брат, а сейчас, как видно по полученным мною письмам, грозит смерть моей матери, и я обращаюсь к Вам с просьбой, великой просьбой. Сходите к моей маме и помогите ей. О смерти брата я не сообщал ей. Вы сами увидите, что это невозможно. Я верю, что Вы поможете моей маме. Ваш Владимир Козлов».

24 июля. Мценск. «Многоуважаемый Михаил Михайлович! Очень была бы рада помочь Владимиру Александровичу, но дело в том, что сейчас у нас необычайный наплыв дачников и они заняли положительно все углы и сараи и какой-нибудь угол, и то с трудом, можно будет подыскать с сентября, конечно, без воды, без света, с уборной во дворе, а то и совсем без уборной. Продовольствие же здесь значительно дешевле, чем в Москве, в особенности молочные продукты. Екатерина Коншина».

28 июля. Дилижан. «Дорогой М. М.! Я настолько напуган дачными ужасами, что мне хочется ответить на Ваш вопрос, куда Вам ехать с Володею, — лучше всего сидите дома. Наши кавказские курорты так неблагоустроены, что трудно рассчитывать на отдых. Ну, не безобразный ли это факт? За этот месяц отдыха, питаясь в ресторанах, я только испортил себе желудок и потерял в весе 2 кило. Это вместо того, чтобы поправиться. Разве что, поезжайте в Батум. Можно жить в благоустроенной новой гостинице и ездить в чудесные пригородные места. Около Тифлиса ничего нет, заслуживающего внимания. Грязь и полное отсутствие хотя бы минимального комфорта. Дилижан красиво расположен, но мне досадно, что я не могу этого оценить. Не трогает меня природа нисколько. Красоту человеческую я чувствую и понимаю, но здесь ее нет, и я скучаю безнадежно. Прочитал за это время "Контрапункт" —

книга, рисующая нравы современной Англии. Заканчиваю "Успех" Фейхтвангера. Книга замечательная, впрочем, что я расхваливаю, когда Вы, должно быть, их уже читали. В этом отношении перегнать Вас нет никакой возможности. Напишите, когда рискнете поехать. Искренне преданный, Жорж Бубликов».

5 августа. Муром. «Шлю Вам привет, М. М. Вы меня совсем забыли, а меня всего интересует Ваша жизнь. Как она устроилась? Загладила она неожиданно полученную брешь, свалившуюся к Вам на голову так себе, "здорово живешь", в виде награды за честную, за добросовестную и весьма доброкачественную работу Вашу? Мне передали, что Вы очень много работаете. Это, по-моему, хорошо. Вы ведь никогда не избегали работы. Удовлетворяет ли только Ваша работа Вас? Не забывайте друга, пишите. Я живу удовлетворительно, работаю в местной городской больнице хирургом. Материал здесь "аграмадный". Сотоварищи — молодые врачи — очень хорошие люди, но безграмотны. Июль месяц был в отпуску и провел его в купании, а сейчас задыхаюсь от духоты и смрада горящих торфяных болот. Итак, не забывайте старого друга. Ваш Печкин».

11 августа. Алабино. «Михаил Михайлович, дорогой мой! Что ни день, уменьшаются силы, и куда уж мне начинать жизнь сначала и приниматься за медицинскую работу! Быть может, врачебную работу я оставил раньше времени (даже вне всякого сомнения), но Вы же знаете, что меня "Союзмедсантруд" довел до этого. А начинать ее снова, не будет ли только смешно? Чего доброго, протянешь (не смею сказать — проработаешь) месяц, может быть, другой, и придет время умирать. Не только таким образом не получишь звания "героя страны Советов", а осрамишься даже курам на смех. Я предполагаю быть на днях в Москве, зайду к Вам, и тогда Вы сами, самолично убедитесь, что фрукт уж достаточно гнилой и пора бросить его в помойку. Живите долго. Константин Славский».

17 августа. Ленинград. «Сижу дома на бюллетене. От этого вынужденного безделья тоска гложет, мрачные мысли гнетут. Чего мне еще хотелось бы в жизни — это побыть с Вами не 15 минут, а подольше. Но все те же многолетние "но" царят и по сей день. Как глупо и зло разыгрывается в Вашей жизни история с Вашей комнатой. Бедный Володя! Пишите, что будет происходить у Вас. Н.Вревская».

А происходило следующее: вернувшись из Воронежа, Володя метался в поисках работы и комнаты и нигде не находил их. Так он съездил в Курск. Я проводил его туда без больших надежд. Но все же рассчитывал на какую-то передышку. Однако он вернулся оттуда через два дня и, мучаясь невозможностью «соединиться с

Испанкой», 19 августа женился на Тамаре Константиновне Поляковой, и опять я принял этот факт «как временный выход».

20 августа (из дневника). Вчера Володя женился. Всего неделю назад познакомился он со своею женою. Но я хочу верить в хорошее в этом браке. Все сумбурно, все сразу, но я привык к этому в Володе и хорошее здесь нахожу в том, что будет с ним близкий ему человек. Мне эта роль стала трудна. Беспокоит меня его любовь к «Испанке». Счастья бы она не дала ему, но сердце разве рассуждает?

Жизнь мою в Москве за это время я почитаю самой неприятной и тяжелой за многие годы жизни моей. С соседями моими мы молчим, и встречаемся и будем встречаться только в суде. Лето выдалось исключительно жаркое, и это еще более усложняет жизнь. Работа — платят хорошо, отношения в диспансере установились приличные, но и в работе мало удовлетворения. И нет того признания, что так дорого в отношении больного к врачу, ибо больной в поликлинической работе текуч и далек. Словом, я выбит из колеи и потерял себя, и потерял Володю.

22 августа. «Уважаемый и милый Михаил Михайлович! Мне не хочется ни с кем делиться, но сейчас уж очень тяжело, а Вы, как человек самый близкий Володе, поймете меня и не осудите за то, что я сейчас пишу Вам. Вчера с утра Володя пошел к Иенсен (отношения, которые были между ней и Володей, Вам вряд ли известны), вкратце же так. До моего знакомства с Володей Иенсен мне заявила: "У меня новая страница в романе, жгучая и изумительная. Я знаю, я погублю этого человека. Я умышленно и сознательно толкаю его в пропасть. Мне его не жаль. Я хочу его потопить и мучить. И когда я выпью всего, когда буду сыта, черт с ним, пускай спивается, стреляется или вешается". Знаю я Иенсен давно. Эта женщина страшна и развратна, и ей не дорого и не свято никакое чувство, и никого ей не жаль. Нужда и борьба в жизни ей не знакомы. Отсюда цинизм и жажда наслаждений. Тамара Полякова».

24 августа. Тревога, тревога! Вчера Володя уехал с женою в Краснодар. За три дня «семейной жизни» — ряд поступков, не дающих надежды на прочность этого брака. Плохо кончит он.

31 августа. Острогожск. «Дорогой Михаил Михайлович. Очень виновата, что долго не писала Вам, но у меня болела правая рука. Моя квартирная хозяйка за свой неуживчивый характер и любовь к сплетням и крепким русским словечкам снята с работы. Сидит теперь дома, и я ей стала ненужна, и она объявила мне, что я должна искать квартиру. Пришлось побегать — это с моими отекшими ногами, — пока нашла подходящий уголок. Я буду

стеречь квартиру. Стол, конечно, свой. В саду моего бывшего дома строят детские ясли. Лето было засушливое, урожай плох, картошки совсем нет. На базаре, по секрету из-под полы, 1 рубль 10 штук некрупных. И это теперь, а что же будет зимой? Как будем жить без милой картошечки, не знаю. Пожелаю всего хорошего, остаюсь, Софья Яковлева».

3 сентября. Бухта Нагаева. Город Магадан. «Дорогой Михаил Михайлович. Очень был рад после почти четырехлетнего перерыва воспринять Вашу разумную речь. Ваше письмо самое умное и во многом соответствует моим настроениям, полученным за эти четыре года. В Москву меня тянет не жить, нет, а повидать друзей и родных и за бутылкой хорошего вина поделиться теми колоссальными впечатлениями, которые я жадно впитывал все это время. Рад за Вас, что Вам удалось так легко проскочить через ниспосланное испытание. У меня иначе обстоит дело. Я прошел тяжелый путь лишений, непосильного труда и моральных ущемлений. Но тем не менее, должен также быть благодарен судьбе, так как молодость моя не сломлена, сил еще много, жажда жизни, развлечений, увлечений еще большая. В настоящий момент положение мое довольно сносное. Стоя во главе музыкального художественного вещания, работаю до изнеможения пианистом-солистом, аккомпаниатором, преподавателем, художественным руководителем бесконечных выступлений, рефератов и лектором. Мое излюбленное занятие — составление оперных монтажей. А сколько я написал о творчестве и жизни ряда композиторов, особенно Мусоргского — моего любимца. Плохие только у меня исполнители, малоквалифицированные.

Теперь несколько слов о другой стороне моей жизни. Живу я, как Вы знаете, там, где жизнь только что начинается. Климат скверный — летом сырой и туманный, зимой ветреный и морозный. Культурных людей единицы, но жизнь кипит, бурлит и захватывает своим бурным потоком. На днях вернулся из гастрольной поездки по Колымскому краю. Очень освежился, насмотрелся на северную природу, проделал на различных автоприспособлениях около тысячи километров. Здесь есть такие места, что Военно-Грузинская дорога бледнеет, а Магадан сам противен и мрачен, и "наше положение" в нем такое, что должны знать "свое место". Единственно там, что радует, это дивные виды на бухту Нагаева и Гертнера. Зимой красота эта неповторима и непревзойдена. Я очень жалею, что глупо прожил свою жизнь до ареста: воздерживался, соблюдал какие-то рамки условностей, ограничивал себя, "что-то переживал". Зачем и кому это нужно? Когда вырвусь на свободу, возмещу "все убытки". Всегда

помнящий Вас, Сергей Коншин».

6 сентября (из дневника). Ряд тяжелейших переживаний с комнатой. Бурлит житейское море, и бурлит всего-то в ложке воды, а покою не дает. И особенно противна «мелкость» всего этого. Ходишь, словно запачканный. И стыдно самому, и стыдно за других. Ну, не об этом хочу написать.

Вестей от Володи не было до вчерашнего дня. Вчера и от него и от его жены по открытке из Уч-Дере… «Сижу под закрытым небом, — пишет он мне, — Вышлите сто». Конечно, послал, радуясь и шутке, и вести от него.

10 октября. Уч-Дере. «Глубокоуважаемый и милый Дмитрий Григорьевич! До сих пор болтаюсь не у дел. Нахожусь в самых экзотических местах около Сочи. Жду на днях М. М. "Гарольд" у меня положительно не пошел. Вещь оказалась настолько не по мне, что я здесь за нее и не принимался. Чувствую себя очень виноватым перед "Academia", а вообще нахожусь в тупике. Происшедшее является не результатом "нерадивости", а неизбежным для всякого художника "случайным несовпадением темы". Конечно, мне следовало сразу отказаться от нее, но М. М. и прочие так настаивали, что надо пробовать. Просьба к Вам. Прошу Вас узнать адрес Монгольского представителя в Москве. Буду безмерно признателен. Ваш Свитальский».

29 октября (из дневника). 12-го сентября я уехал на Кавказ в компании Ирины Сергеевны Татариновой — давнего друга Володи и моего — и ее мужа. И душевно, и нравственно я был совершенно намучен. Беспокойство о Володе, неприятности в доме, без надежд скоро изжить их, собрались в такой комок в сердце, что трудно было дышать. В передвижениях, в смене мест, в беспокойстве о ночлеге и других заботах путешествия Москву «оттянуло» от меня. Володя же неотступно продолжает беспокоить, тем более, что я не имел вестей от него.

Однако начну по порядку. Маршрут наш был: Владикавказ — Военно-Грузинская дорога — Тифлис. В Тифлисе мы должны были решить возможность поездки вглубь Армении.

Трудно и утомительно путешествовать у нас. Пути сообщения берутся с бою. Чтобы попасть на автобус из Владикавказа в Тифлис, нужны бессонные ночи и сутки усилий. Гостиниц нигде нет, т. е. они и есть, но остановиться в них можно с рангом разве что «народного артиста» или комиссара. Нелегко и с едою — она дорога и малодоступна. Рестораны и столовые большею частью типа «закрытых». Так называемые «турбазы» в лучшем случае дают койку в общем помещении, часто без уборных и воды, чтобы умыться, не говоря уже о кипятке. Притом, на всей жизни страны, куда бы мы ни приехали, густой налет «вторичного

смесительного упрощения» (Константин Леонтьев). Она сера, примитивна, в ней что-то не то. Это не жизнь в движении вперед, это жизнь увядания. И вместе с тем, как велик и прекрасен мир, и как мы мало знаем о нем, и какое беспокойство испытываешь от этого малого знания, и как хочется пошире раскрыть глаза, чтобы пошире и глубже охватить все виденное.

Военно-Грузинскую дорогу я проезжал уже в 1928 году и теперь встретился, как со старой знакомой. Посидел у Казбека, около маленькой белой церкви времен Александра I. Покупался в Арагве, посмотрел на клубящиеся вершины гор. Эти курящиеся горы особенно кажутся мне эмблемами вечности. Здесь на земле все меняется, все умирает. А там из века в век одно и то же молчание, одна и та же неизменность.

В Тифлисе уходит старый Тифлис. С 1928 года город обстроился по-новому, но посерел в красках, самобытности, да и жизнь стала иною, много бледнее: нет нарядных магазинов, нарядной толпы. Хороши серные ванны — это одно из лучших удовольствий Тифлиса.

«Милая Александра Петровна! Пишу из Тифлиса. С трудом нашли мы здесь пристанище у старой учительницы-армянки. Если бы не она, не знали бы, что и делать. Была уж ночь, везде нам в ночлеге отказали. Пришли к учительнице. Она знакомая знакомых Ирины Сергеевны. На двери у нее замок. Сели на лестнице и стали ждать. Перед этим не спали две ночи да проехали Военно-Грузинскую дорогу, да прошли с мешками за плечами по всему Тифлису. Судьба сжалилась над нами. Учительница пришла ночевать домой и нас к себе пустила. Квартира ее высоко над Курой, и шумит она у самого дома. Вид с балкона изумительный, особенно ночью — стогны города и тысячи огоньков. Погода стоит с дождиком, но тепла. Встретил здесь Жоржа Бубликова и Волховского Бориса Федоровича, чтеца. Чтобы отблагодарить хозяйку, пригласил обоих "местных знаменитостей" на вечер. Хозяйка была в восторге, приготовила какое-то изумительное армянское блюдо из баранины и всякой зелени. Жорж сыграл Б'мольную сонату Шопена и сыграл отлично. Волховской прочитал "Невский проспект" Гоголя, немного сухо, но мастерски. Напишите мне в Эривань. Есть ли что от Володи? Беспокоюсь. В Армению, мы, кажется, едем. Там мечтаю где-нибудь в глуши у винограда посидеть не спеша. Пока же ежедневно беру серные ванны».

Однако ехать вглубь Армении нам отсоветовали, и мы отправились в Эривань через Караклис, Дилижан, по берегу озера Севан.

20 сентября. Дилижан. «Chere Madame! Все дни льет дождь.

Он идет за нами по пятам. Думали пожить несколько дней здесь, но так холодно и сыро, что сегодня трогаемся на Эривань, куда и прошу мне телеграфировать, если случилось или случится что. Я здоров и от дождя не очень унываю. Думаю, что я все же отдыхаю; по крайней мере, самое тяжелое в моей жизни — мои соседи и моя комната — далеко от меня. Дилижан красив. Но Боже мой, как трудно путешествовать у нас! Вы бы не вынесли этого удовольствия.

Хорошо, что в путешествии нет размеренной жизни. Вы можете и должны не спать ночь, встречать восход солнца, чувствовать прохладу раннего утра — все это Вас утомляет и вместе бодрит. Это же вносит и особую прелесть в дни путешествий».

В Караклисе. Чуть сереет утро. Деревенская улица. Перекликаются петухи. Новые невиданные дали. Кто-то выходит за ворота. Кто-то гонит корову. Кусочки жизни, с которой мы соприкоснулись на один час. Подана машина, и это уже «было» и никогда не возвратится.

В Дилижане горы, горные пастухи и с ними «прежнее», почти библейское, и новое — санатории с расхлябанными больными-здоровыми. Ну, а озеро Севан — угрюмое и беспредельное. Валил снег, свистел ветер. Открытая машина. Никогда, кажется, я так не промерзал. И наконец, ночные огни города с перевала и поиски турбазы в упраздненном армянском храме.

Так вот он, Арарат — библейская гора с ковчегом Ноя, с голубем, принесшим масляничную ветвь! Особенно поразил меня он в Эчмиадзине. Поразил неожиданностью величественной панорамы.

В высокой глинобитной стене маленькая калитка. Входишь и останавливаешься, пораженный. На заднем плане во всем своем величии и блеске Арарат. А здесь, вблизи, четырехугольный большой пруд с зелеными берегами и тенистыми аллеями вокруг. Уединенно и тихо. И как гармонирует с этим важная поступь осанистых монахов армян, что гуляют здесь небольшими группами. Все задумчиво, все гармонично и неожиданно красиво. Вспоминаю также с удовольствием и беседу с архиепископом там же, в Эчмиадзине, мудреное имя которого я забыл. У нас было к нему письмо. Это был ученый, мудрый, неторопливый. Член Армянской академии. Он собрал 25 тысяч наименований армянских рукописей и комментировал их. Его келья подтвердила мне истину: «Мир создан не только по Аристотелю, но и по Библии, не только рационально, но и священно, не только для науки, но и для молитвы».

А вообще, Эчмиадзин — резиденция армянского католикоса

— произвел тяжелое впечатление своей заброшенностью, разрушенностью, постоем солдат. И все же в его соборе идет служба, а вот в Троице-Сергиевой лавре закрыто все.

23 сентября. «Chere Madame! Здесь солнечно и тепло. Сидим на дворе старой мечети под чинарами и готовимся пить чай. Мне что-то невесело, и гложет меня воспоминание о Москве. Сколько времени пробуду здесь — не знаю. Куда дальше себя дену — тоже не знаю. Жизнь здесь, на турбазе, конечно, своеобразна, но до того мало удобна, что я готов бежать от нее ежеминутно. На почту хожу каждый день за письмами или телеграммой от Володи и ничего не получаю. Это меня угнетает».

В Эривани я оставил своих спутников и через Тифлис проехал в Батум. День в Тифлисе выдался мне особенно грустным. Провел я его один на уединенной горе Давида с могилою Грибоедова: «Ум и дела твои останутся вечно в памяти русской, но зачем тебя пережила любовь моя». А вечером отстоял тихую всенощную в древней церкви. Была суббота. Пели несколько русских монахинь. Служил старичок русский священник. После службы я подошел к ним и пожал им руки за то молитвенное удовольствие, что они мне доставили на далекой чужой стороне.

В Батуме, тоже мне знакомом, днем посидел я на берегу моря в парке, а вечером — на службе в католической церкви. И, сев на пароход, ночью выехал в Одессу. Четырехдневный переход до Одессы на пароходе был мне неприятен. Каюта второго класса на четыре человека была душна. Окно открыть было нельзя из-за «гомерического» воровства. Толкаться все время в кают-кампаний или на палубах было нестерпимо. Подъезжая к Сочи, я мучился желанием сойти и проехать в Уч-Дере, но побоялся это сделать. Моя телеграмма туда осталась без ответа, и я не был уверен, там ли еще Володя, а рисковать местом на пароходе при невозможности попадать на поезда, я не решился.

В Феодосии побродил по пристани, представляя себе одинокую, высокую и сутулую фигуру Грина, замечательного сказочника, создавшего именно здесь свою страну Гринландию, свои «Алые паруса».

В Севастополе мы были среди глубокой ночи. Я вышел на палубу, чтобы издали посмотреть на Графскую пристань и бывшую гостиницу Киста, где мы так уютно и еще молодо пожили в декабре 1917 года с Алексеем Николаевичем Сиротининым. Время тогда было бурное. Вскоре после нашего отъезда оттуда и врачи, и офицеры Черноморского флота жестоко пострадали, но в наши дни там все еще было на своих местах и Морское собрание по-прежнему оставалось фешенебельным и малодоступным.

В Одессе, куда мы пришли ранним вечером, безлюдная, тихая

пристань. Ни одного парохода в порту. Пустынные, темные улицы. Лающие из-под ворот и подъездов собаки. И в магазинах жалкое освещение в одну свечу на прилавке. Впрочем, освещение соответствовало пустоте на полках. А утром яркое солнце, и море и город во всей своей красе, с памятником Воронцову и памятью о Пушкине. Вечером в чудесном оперном театре на украинском языке «Богема» Пуччини. Ну, а потом по дороге Киев ночью. Где-то далеко-далеко вокзал. Поезд идет без расписания и звонков, и выходить из вагона рискованно. Постоял я в тамбуре вагона, вспомнил о Степане Долгополове, пристально вгляделся в темноту, словно поискал его там, и вернулся на свое место с единственным желанием поскорее быть в Москве. А подъезжая к ней, так хотелось чуда, так верилось, что в комнате поставлена перегородка и я приеду в свой угол. Но чуда не свершилось. Все оставалось по-старому.

14 ноября. Уч-Дере. Глубокоуважаемый Дмитрий Григорьевич! Был очень задержан и переутомлен по оформлению Сочи к Октябрьским торжествам. Выезжаю 17-го в Ленинград. Везу гравюру к "Гамлету". В скобках сообщаю, что хотя вопрос с моей женитьбой "открыт", тем не менее, с этим, надо думать, возиться не придется. Ваш В.Свитальский».

22 ноября (из дневника). 18-го приехал Володя. Поздно ночью, когда я вернулся домой, он ожидал меня в моем углу. Вся любовь и ласка прилили к моему сердцу. Он неплохо выглядит, красив и прожил в Сочи по-своему занятно. Здесь его ожидал сюрприз в 17 тыс. рублей за 600-тысячный тираж «Онегина». Вся задача состояла в прописке его в Москве, и это сегодня удалось. Вот то же, когда можно сказать «небывалое бывает». В Ленинград поездка, конечно, отставлена. Нужно строить жизнь в Москве. Впрочем, как пойдет все, не берусь предсказывать. Каждый день Володя собирается бросать свою вовсе неплохую жену и ехать к «Испанке».

Сегодня я обнаружил пропажу всех классиков в чудесных изданиях. Остались одни лишь картонные обложки. Украден костяк моей библиотеки. Огорчен, очень огорчен. Потеря книг — это потеря друга. И очень противно быть обворованным в своей комнате «своими людьми».

Дочитал биографию Байрона — Виноградова. Прекрасно сделанная вещь. Приведу одну строфу из последнего стихотворения Байрона:

Все дни мои, как желтый лист увяли,
Цветы, плоды исчезли, и на дне
Моей души гнездится червь печали.

Вот, что осталось мне».

«Володя! Я уезжаю в Калугу. Буду Вам очень благодарна, если будете писать мне туда. Вашу просьбу я исполнила, так что Вам есть письмо на почтамте от человека, умеющего видеть на расстоянии. Желаю Вам всего доброго и здоровья. Нина Николаевна».

Володя прозвал Нину Николаевну «Калужанкой». Она преданно любила его. Скромная, глубоко верующая, мистически настроенная. Володя прислушивался к ней, и она, несомненно, имела влияние на него, быть может, того же порядка, как баронесса Крюденер на Александра I. Она появлялась и исчезала как-то таинственно и умела находить Володю во всех местах его жительства. Было видно, что она с горечью и болью переживала все невзгоды Володиной жизни, по-своему истолковывала и по-своему старалась направить Володю на тот путь, который считала для него нужным и истинным. Видели, как иногда она что-то делала, что-то «колдовала» около Володи, у дверей его жилища, у ворот его дома. Но все это в Боге, в вере, не для себя — для него. И думаю, у нее было убеждение в особой «миссии» Володи, выполнить которую рано ли, поздно ли ему суждено.

22 ноября. Магадан. «Дорогой М. М.! Бухта замерзает, и я спешу вместе с ветром и снегом послать Вам последние строки этого года. «Ямщик лихой, седое время, везет, не слезет с облучка». А я вот все сижу на одном месте, за тысячу четыреста километров от родины, и ничего в моем положении не меняется. 11 декабря праздную знаменательную дату: ровно 4 года тому назад я беспечно возвращался с дружеской пирушки, где мило провел время. В голове были хмель, молодость, планы на завтра и послезавтра. И… вдруг все оборвалось. И не знал я, что последний раз ступаю на московскую землицу. И вот как будто всего этого достаточно, чтобы страдать и чахнуть. Но нет этого. Наоборот, бодр и весел. Скучно без хорошей музыки, своя надоела. Север наш все-таки хорош, и я его полюбил. Строг, суров, не располагает к неге и лени. Один только тут недостаток — очень уж у всех повышенная жажда любви. Разваливаются семьи, у бездетных рождаются дети, старые девы выходят замуж или просто начинают охотно грешить. Все это или от скуки, или в воздухе есть какой-то способствующий элемент.

Сегодня в журнале "Советская музыка" видел дружеский шарж на К.Н.Игумнова. Видитесь ли Вы с ним, и по-прежнему ли он бодр и юн? Желаю Вам радостной жизни и труда. Сергей Коншин».

17 декабря. Ленинград. «Дорогой М. М.! Я накануне того, чтобы стать аспирантом Ленинградской консерватории. На днях это должно окончательно решиться. Ввиду того, что я еще не оформился, мне могут не выдать стипендию за декабрь. Неловко мне опять обращаться к Вам за помощью, но Вы оказали бы мне большую услугу, если бы перевели 100 рублей телеграфом. Работать я готов, но бытовые неполадки мешают работе. Ни денег, ни рояля, ни комнаты. Плохо, очень плохо! При всем желании указать свой адрес, не могу это сделать и прошу писать на адрес уважаемой семьи. Жорж Бубликов».

27 декабря. Ленинград. «С тоскою не выхожу из постели. Сперва автобус сшиб и разбил бок и спину, а затем упала, зацепив за рельсы, и рассекла ногу. И вот сижу и лежу дома. Со службы ушла. Были места, не могла их взять. Теперь надо бы устраиваться, а так слабо себя чувствую, что и подумать жутко работать. Главное, страх от улицы. Прочитала за это время "Наполеона" Тарле. Вот человек, который, несмотря на море крови и отвратительное властолюбие, чарует силой ума, воли и огневым темпераментом.

Окружающая жизнь сера. "Сумерки", пожалуй, затянулись. Нева не замерзает, снега нет, тьма и слякоть. Как Ваши суды? Где и как Володя? Полтора месяца ничего нет от Вас. Наталья Вревская».

29 декабря. Тамбов. «Милый Мишенька! Страшно меня взволновало, что тебе так пришлось жить, бедному. В своей собственной комнате занимать угол! Квартирный вопрос сейчас ужасен. Мы четверо живем в малюсенькой комнатушке, спим на одной постели, подставляя стулья. Да, Мишенька, "веку протянется — всего достанется". Видно, надо привыкать к плохому. Вот раньше все были недовольны, все было не так, все чего-то хотелось лучшего, и вот теперь и достукались до лучшего. Живется, Мишенька, тяжело. Все, что было, заложили в ломбарде. Тяжело и трудно нам жить сейчас — нам, старикам. Но не так уж обидно — видели хорошее. А вот больно за наших детей. Собиралась все в Острогожск, да так и не собралась. Пишут оттуда, что и там жизнь плоха, с квартирами так же плохо, и на продукты тоже одна цена. Так я соскучилась о всех вас московских, так бы хотелось увидеться, но теперь уже до лета. Ну, будь здоров, не забывай. Я так бываю рада письмам. В них мне только и отрада. Сестра Паша».

31 декабря. Алабина. «Дорогой М.М.! Может быть, это даже неделикатно говорить человеку, что он прожил еще год и на 365 дней стал ближе к могиле, чем в то же время в прошлом году. Может быть. Но вспоминая Вашу квартиру в Алабине и былое

время и эти дни, я все-таки поздравляю Вас и крепко жму Вашу руку. К.Славский».

Декабрь прошел грустно. Володя и я были здоровы, оба работали. Оба были узаконены Москвою. Нас не тревожили. Внешне обстоятельства складывались как будто благоприятно, а в жизни был надрыв и чем дальше, тем глубже. Брюсовский переулок, где жил Володя с женою, был не по нем. Он страдал, а с ним страдал и я. И опять, и опять надо было взять его и уехать с ним, поселиться где-то и туда вызвать «Испанку». Сам он был бессилен устроить свое счастье с нею. Брак же его вышел просто жестом отчаянья. Он разрешил вопрос жилой площади и прописки в Москве, и только. Этого для Володи, человека не компромиссов, было мало. Но я упорствовал, быть может, и потому что ни минуты не верил в счастье Володи с «Испанкой», а главным образом, потому что видел постепенное достижение своей цели. Требовалось лишь терпеть и уметь ждать.

В канун Нового года собрались у меня. Были все старые друзья — алабинцы и Володя с женою. Пришли они позже всех. Володя в новом прекрасном костюме, высок, красив, изыскан и прост. Выло многолюдно, но весело не было. Объявленное сверху: «Жить стало легче, жить стало веселее», — было истиной лишь наполовину. Жилось всем нелегко. А что касалось веселья, то мы, старики, еще находили в себе какие-то источники его. Молодежь же была рано взрослая, худосочная, на нее слишком рано и слишком много взвалили забот и всяческих проблем. Хорошо в собравшемся обществе было то, что все мы были искренне близки и всем нам было приятно провести вечер вместе за столом, где было и вино, и вкусная еда, и большой крендель, испеченный Анюшкой для именинника. Разошлись, как водится, поздно.

1937 год

Наступил 1937 год. С грустью вспоминаю я ряд вечеров с Володею в это время. Он только что окончил небольшую работу к «Недорослю» Фонвизина. Далась она ему трудно, причем первые наброски были так слабы и неряшливы, что я просто уничтожил их. Это его как-то встряхнуло, и он в течение двух ночей сделал все заново. Следующей работой были заставки к «Королю Лиру». Не знаю, прочитал ли Володя «Лира», но я предложил ему посмотреть его в Еврейском театре. Мне казалось это не лишним для замысла и облегчения работы. И вот этот вечер на «Короле Лире», с особою публикою и особым восприятием ею «своего Михоэлса», помнится «двояко трагично» и по сцене, и по

состоянию Володи. Он посмотрел лишь два действия. Мы мало говорили. Мы оба страдали молча. Это было: Cum tacent clamant.

Чтобы порадовать его немножко, я купил ему в буфете большой апельсин. Сам он уже не мог доставить себе такого удовольствия. Он был уже без денег. И этот крупный человек обрадовался апельсину, как ребенок.

Второй памятный вечер с ним — это у его саратовской кузины. Он любил бывать у нее. Ему хотелось иметь родных. На стене у кузины я увидел ряд гравюр из алабинской комнаты Володи — подарок ей последнего. Нас ничем не угостили. Побыли мы недолго. Впечатление было такое, что кузина, счастливая жена и мать, была занята «своим» и уделить Володе от своего сердца не имела ни позыва, ни желания. Она была только мила и вежлива. Володя же хотел любить ее, как свое саратовское прошлое по матери, по семье.

Словом, вышли мы на Арбат. Было не поздно. «Володюшка, есть хотите?» — «Хочу, Михотя». Зашли в магазин. Купил я еду, вино. Пошли в Брюсовский, к Володе. Там жена, бабушка — работница с какой-то фабрики. Бабушка неплохая, но мало ли хороших людей, а с ними и скучно, и тесно, и не по себе. «И ни один, и ни вдвоем, и ни втроем». Пили вино, закусывали, а в крови у нас одно ощущение: «Не то, не то». Шли затем тихими переулками к Никитским воротам и решали, как быть. «Вот что, родной мой! После всех этих передряг, бессонниц, лишних рюмок водки, ложитесь в больницу. Оторвитесь от этой обстановки. Поберете ванны, придете в себя, а там видно будет. Так?» — «Так». — «Решено?» — «Решено». Я действую.

1 января. Архангельск. «Дорогой М. М.1 От души желаю Вам и моему юному другу Володе всего лучшего в Новом году, а Володе и успехов в его полезной и красивой художественной деятельности. Очень тронут Вашим желанием предоставить мне, что можно, из Володиных работ. Впрочем, "Бориса" я здесь имею. Этот экземпляр служит нам в театре для подготовки "Бориса" к Пушкинским дням. В конце месяца надеюсь повидать Вас в Москве. Остановлюсь в Академии наук, а работать буду в Историческом музее. Жалею, что не могу Вас пригласить сюда посмотреть наши новые театральные постановки. Впрочем, кто же из мировой столицы поедет даже к друзьям в наш скромный городок? Сердечно Ваш Борис Молас».

12 января. Острогожск. «С Новым годом, дорогой М. МЛ Желаю одного, чтобы этот год был легче прошлогоднего. У нас полный неурожай. Все очень дорого, все в поле погорело. За хлебом перед лавками громадные очереди с 2–3 часов ночи. Крупы в продаже нет никакой. Я устроилась у моей старой

хозяйки. Она горяча, но скоро отходчива. Перевод получила и очень-очень благодарю. За бумагу простите. Ни бумаги, ни конвертов у нас нет. Софья Яковлева».

14 января. «Глубокоуважаемый и милый Дмитрий Григорьевич. Делаю точный доклад. Половину Вы уже, верно, знаете от М. М. 1. Был в "Academia". В начале февраля дадут книгу. 2. В "Искусство" иду сегодня. 3. Был в Литмузее. Клавдия Борисовна, как всегда, была мила и в моем присутствии благополучно закинула удочку относительно издания Пушкинского альбома. Когда она заговорила о расценках, я выразил св'ою некомпетентность в этом и сказал, что деловая сторона зависит всецело от Вас. Кстати, быть может, Вас позабавят следующие стихи, полученные мною в музее:

Струею светлою кастальской Живой таланта бьет родник, И интуицией Свитальский В творенья Пушкина проник.

Врезаясь прорезью фигурной
В эпоху, в стиль и в дух поэм,
Он то дает нам образ бурный,
То в созерцаньи тих и нем.
В искусстве строгом силуэта,
В контрастах резких бланнуар.
Он тонко ловит блики света
И остроту глубинных чар…

4. В ближайшие дни ложусь, или вернее, сажусь в санаторий по совету М. М., где и буду производить всю текущую работу. 5. Это время также определяется на мой развод с Тамарой Константиновной, которой я намечаю пока 300 рублей в месяц, о чем надо будет озаботиться. 6. Сегодня постараюсь к Вам зайти днем, так как на ближайшие 3–6 дней до санатория мне понадобятся деньги. 7. Прошу не очень сетовать на неаккуратность, вызванную действительно срывом самочувствия. Ваш В. С.

P. S. Вспомнил, что мне желательно сегодня получить 100 рублей, необходимых на книгу по английскому костюму».

«Д.Г.Лихоносову. Прошу Вас, Дмитрий Григорьевич, передать Михаилу Михайловичу Мелентьеву на хранение, до моего востребования, остатки моих денег, полученных Вами на основании моей доверенности за рисунки к "Евгению Онегину", "Борису Годунову" и "Повестям Белкина" А.С.Пушкина, как от издательства "Academia", Гослитиздата, так и от Московского Государственного Литературного музея. В.Свитальский. 11 февраля 1937 года».

17 января. Ленинград. «Чем меньше занят, тем больше некогда. Это очевидно до нелепости. Почему с таким опозданием отвечаю Вам и Володе. Спасибо за присылку "Бориса". С удовольствием перечитала его и тщательно рассмотрела иллюстрации. Первое, что меня поразило, это несоответствие между изображением графическим и литературным. Нет созвучия. Рисунки интересны, может быть, по техническому исполнению, но как они холодны, как стилизованы в духе застывшего византизма. У Пушкина вся драма полна тепла, ума, задора, столько страсти и движения. Здесь все замерло, бездушно, бестелесно. Объясните мне, пожалуйста, почему именно так нужно иллюстрировать "Бориса Годунова"? Впрочем, византизм бывает разный. Вспомните иконы "строгановской школы". Ведь они живут мистическим духом каким-то. Второе. Детали: портрет Годунова. Ему приданы черты самого Володи — его рот, безвольный подбородок. У женщины с младенцем нет скорби и ужаса, у ребенка повисла голова. Самозванец в корчме — он зацепился ногой о порог, он застыл, а не бежит. А фигуры стражи "аплодируют". Марина с Самозванцем — сухие куклы, бестелесные, и кажется — дунуть, они упадут. И опять Самозванец какой-то безвольный, слабый. А ведь он сын XVII века, полный страсти, отваги, ума и предприимчивости. Но Володя его воспринял иным, не знаю, правильно ли. Так же и Борис всюду выведен неврастеником и глуповатым, а не тем сильным человеком, каким он был в действительности. Пушкин любит Самозванца и жалеет Годунова. Пушкин дает яркий образ Марины, а рисунки не выражают этого. Получилось — текст сам по себе, а рисунки сами по себе. Произошло это потому, что ни эпоха, ни люди не поняты Володей. Там все "характеры" все гармония целого, а это несозвучно его душе. Так ли? Ответьте. Жду с нетерпением "Евгения Онегина". Ирина сказала, что он сделан совсем в иной манере. Хотелось бы перебросится словечком с Вами по некоторым вопросам, но Вам, я думаю, и своего довольно. Как же с комнатой? Наталья Вревская».

30 января. Наро-Фоминск. «Здравствуйте, дорогой М. МЛ Шлю я Вам привет от Голубковой Ольги Сергеевны. Михаил Михайлович, я очень о Вас соскучилась, а приехать к Вам не могу, так как у меня не ходят ноги. Славский признал, что у меня болезнь от почек, а в Москве в больнице этого не признали, и они меня там рассматривали целых две недели и определили, что у меня опухоль на кишечнике. Профессор в Москве мне сказал, что такую опухоль он увидел впервые, и он просил, чтобы они разрезали мне живот и посмотрели бы, а помощи от этого никакой не обещали. А я у них попросилась на 10 дней домой, но

дома у меня заболели ноги, и ехать я уже никак не могла.

Дорогой Михаил Михайлович, как я приехала из больницы, уже прошло три месяца, и с тех пор я мучаюсь своею болезнею — болит поясница и вступает в ноги, так что не вижу ни дня, ни ночи. Даже не хочется на свете жить и хочется скорее умереть. Михаил Михайлович! Условия жизни у меня плохие, пенсию я получаю маленькую, в квартире нахожусь вместе с сыном, а у сына жена и ребенок. Помощи мне мой сын никакой не дает и говорит мне прямо и открыто: "Не дождусь я, когда ты умрешь". Дорогой М. М., я этого от него не думала и не ждала, так как я его растила в одиночестве. Ну, что делать, знать, пришло такое время. А на суд подать у меня не хватает совести — как я буду со своим родным сыном судиться? Михаил Михайлович, ведь я только десять лет и жила Вами. Когда Вы уехали из Петровской больницы, я так и знала, что без Вас здесь умру. Я за Вас день и ночь Богу молилась, так как Вы меня всегда вылечивали. Ведь таких людей встретишь на редкость, как были Вы. Дорогой М. М., я прошу Вас, чтобы Вы на меня не обиделись, так как пишу я Вам, не стерпя сердца. Я знаю, что Вы на меня не обидитесь. Затем до свиданья, и я буду ждать от Вас ответа. Михаил Михайлович, если бы над Вами не было такого случая, то я знаю, что еще бы 10 лет прожила. Но, что делать? Знать, такое мое счастье. Красен белый свет, когда бывает здоровье, а здоровья нет, то и не красен белый свет».

12 февраля (из дневника). Сегодня утром свез Володю в лечебницу. Это нужно было сделать недели две назад, но Володя все откладывал. День выдался сегодня теплый, капало с крыш. В 11 утра мы встретились у Никитских ворот — Володя с женою и я. Володя с чемоданчиком, весел и жизнерадостен. На ходу выпил кружку пива у киоска и вскочил в трамвай, когда уж мы тронулись. В приемной лечебницы чуждо, официально, а главное, очень равнодушно. Чемоданчик с разными милыми вещами взять не разрешили. Предложили проститься, и высокая дверь за Володей захлопнулась.

Сколько страданий причинил мне этот мальчик! Но хотел бы я, чтобы его не было в моей жизни? Нет, не хотел бы. И прав В.В.Розанов, когда говорит: «Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь».

18 февраля. Сегодня проведывал Володю. Красив, хорош в обращении. Пришел в себя. Охотно пошел в лечебницу и охотно в ней остается. Там им довольны. Но больше всего доволен я. Люблю его всем сердцем и озабочен, что делать с ним по выходе его из лечебницы? Он уже написал своей жене, что к ней не вернется. Вчера я сделал объявление в газете о комнате для него.

Как трудно даются сейчас такие простые раньше вещи, как отдельная комната.

Сегодня умер Орджоникидзе. В сумерках переезжал я Москворецкий мост. Высилась громада Кремля. В это время там как раз происходила очередная трагедия смерти — какой? Смерть Орджоникидзе произвела гнетущее впечатление, словно предвестник тяжелых переживаний. В диспансере у нас тоже «смертная» новость: умерла милая женщина-врач. Собирали на венок, и так это выходило «принужденно», что я попросил товарищей о двух одолжениях: не вскрывать меня и не собирать на венок мне.

20 февраля. Бийск. «Здравствуйте, дорогой Владимир Александрович! Ваше письмо было целым для меня праздником. Весь день у меня было прекрасное настроение. Попытку связаться с Вами я осуществлял еще в 1933–1934 годах, когда узнал Ваш адрес и написал Вам, но получил письмо обратно "за ненахождением адресата". Я был опечален. Мне смешно теперь вспоминать нашу встречу в московском трамвае. Мы, очевидно, оба были ошарашены неожиданностью "и молча встретившись, мы молча разошлись". Курьез, за который я себя потом отчаянно ругал. После Вологды, Архангельска, Сыктывкара сижу в Бийске и дохну от тоски, окружающей тупости и невежества. Можете себе представить, какое для меня счастье связаться с культурным человеком. Ведь это, дорогой, отдушина. Здесь я окреп материально, получаю от 550 до 620 рублей в месяц, тратить абсолютно некуда, купить нигде ничего нельзя, и делаясь "капиталистом", хожу в заплатанных штанах.

Однако заведу другую пластинку. Несколько слов о моей безвременно почившей литературной работе. Я тот же энтузиаст. Стихи для меня святая святых. Очевидно, "святая святых" и обуславливает их существование в моей собственной келье, и только. И знаете, В. А., на Соловках я чувствовал себя все-таки человеком, занимавшим какое-то место. А здесь я что? Червяк. Письмо разрешите мне закончить отрывком из стихотворения "Статуэтка", посвященного А.Пушкину, и пожать Вам крепко руку. А.Македонский.

Мне чудится застывший лес
И гулкий выстрел пистолета.
Надменный и пустой Дантес
И кровь великого поэта.
Смотрю в зрачки, безмолвный бюст,
Но жадно жду, вот дрогнут веки,
Вот шепот вырвется из уст

О нашем лучшем человеке.

Нет сердца в гипсовой груди!
Оно, я знаю, не забьется,
Но образ этот впереди
Горит, зовет творить, бороться».

В тот же день. «Володя! Последний раз убедительно пишу то, что тебе говорила раз двадцать, — ты совершенно свободен. По выходе из лечебницы ты меня не встретишь, и я постараюсь сделать все, чтобы ты не слыхал обо мне. Ведь этого ты хочешь? Еще раз повторяю, будет так, как ты хочешь, успокойся. А теперь прощай, мой бесконечно родной и любимый. Береги себя, не будь игрушкой в руках подлецов. Твоя жизнь не должна пройти пустоцветом. Твоя жена Тамара. Первый и последний раз пишу свой этот титул».

22 февраля (из дневника). Зима на исходе. Тепло. Через несколько дней уже год, как я вернулся в Москву. Выезжая сюда, я боялся жилищного вопроса, но никогда не представлял себе, что он затянется так долго и так неприятно. 11 февраля был суд по иску моих соседей о выселении меня из моей комнаты, а по-моему встречному иску — о разделе комнаты. Соседям отказано, мне же суд определили выделить 8 метров.

Идут Пушкинские юбилейные дни. Очень много музыки на его слова, прекрасного чтения его крупных вещей, ряд хорошо изданных книг — все это очень приблизило поэта и к сознанию, и к сердцу всех нас. Я по чувству долга сказал слово о Пушкине у нас в диспансере, долга, потому что так много читал о нем и так много накопил материала о его жизни и творчестве, что не поделиться этим считал грехом. На выставке Пушкинской еще не был, но очень туда собираюсь.

24 февраля. Нара-Фоминская. «Здравствуйте, дорогой Михаил Михайлович! Шлю я Вам свой привет и желаю всего хорошего. Михаил Михайлович, ответ я Ваш получила, за что благодарю. Михаил Михайлович, я не думала, что Вы так хорошо отнесетесь ко мне, бедной больной, и я на Ваше письмо очень сильно порадовалась и горько наплакалась. Вы пишите мне, почему я не в местной больнице? День ото дня чувствую себя все хуже и хуже. Температуры у меня нет, но у меня упадки сил и очень я худая. Ведь мне очень не хочется в больнице лежать, ведь там лежать тому хорошо, кто выздоравливает, а мне лежать там да смерти ждать. Дома я хотя и полежу и встану, и по стенке пройдусь по комнате, и что мне захочется поесть, свои рабочие

приносят. Пойдут на базар, я дам денег, и они мне принесут. И так я себя чувствую, что больница от меня не уйдет, что в больницу я скоро попаду, потому что мне день ото дня все хужеет. Михаил Михайлович, Вы написали мне в письме, в чем я нуждаюсь, и за это я шлю Вам большую благодарность. Мне ничего не нужно. Я только прошу Вас, пришлите мне рецептик ото сна, а то я совсем не спамши. Где эта опухоль у меня находится? Левая сторона не чувствует боли, а правая не дает никакого покою. Затем, до свидания. Прошу Вас, чтобы Вы на меня не обиделись, и желаю Вам всего хорошего. Пока и все. Ольга Голубкова».

Через неделю мне сообщили, что Ольга Сергеевна скончалась у себя дома.

На публикацию о комнате для Володи никто не откликнулся ни по телефону, ни по почте. Срок же его выписки из лечебницы приближался. О возвращении Володи на Брюсовский не могло быть и речи. И опять, и опять, почему я не бросил Москву в это время?

На помощь пришла Ирина Сергеевна Татаринова. Она предложила мне попытаться устроить Володю в Загорске к Плетнер. Наталья Валентиновна недавно потеряла отца с матерью и жила с тетушкой — княжной Максутовой — да прислугой в большом доме. Я ухватился за это предложение. Казалось, лучше трудно было и придумать. Подходила весна. Загорск Володя любил. Наталья Валентиновна знала Володю и меня. Мы несколько лет тому назад водили знакомство. Словом, через несколько дней Наталья Валентиновна заехала ко мне, и мы сладили дело с двух слов. Она брала Володю на полное свое попечение, я же обещался бывать каждую пятидневку и быть регулятором во всех затруднительных случаях. В первый же день нашего обычного свидания в лечебнице я рассказал обо всем этом Володе, и он с радостью со всем согласился.

4 марта. Загорск. «Многоуважаемый М.М.! Когда помимо личных переговоров имеешь сношения с людьми еще и через третьих лиц, всегда вкрадываются некоторые недоразумения. Что я говорила Ирине Сергеевне, точно не помню, может быть, и пошутила, что начинаю свою совсем самостоятельную жизнь с не совсем обыкновенным жильцом. Но желания отказываться от Владимира Александровича у меня нет и не было. Напротив, я его жду с известным удовольствием. У меня в доме сейчас очень тихо и пусто, я же привыкла заботиться о ком-нибудь, и надеюсь, что он внесет в нашу жизнь некоторое разнообразие. Если будет возможно, предупредите меня о точном дне его приезда, мне не хотелось бы, чтобы Владимир Александрович нашел дом пустым.

Итак, не пугаюсь, а если и пугаюсь, то по крайней мере не очень. Н.Плетнер».

Итак, выход был найден, и выход хороший. Лето было обеспечено Володе дачей, хорошим обществом, большой библиотекой и полны отсутствием забот для Володи о хлебе насущном, ибо эту сторону жизни я всецело брал на себя. Я съездил на Брюсовский, взял вещи Володи, собрал ему все необходимое у себя и почти с радостью и нетерпением ждал его выписки из лечебницы.

3 марта. «Милый Михо! После выписки из лечебницы для "просвещения" мне кажется лучше не непосредственно в Загорск, а мне хотелось бы недели на две-полторы поехать в Уч-Дере. Единственное неудобство — это Тамара, которая из личных соображений воспротивится. Нельзя ли это как-либо произвести незаметно? Мне кажется, для полного равновесия это было бы неплохо. Жду 6-го. Целую. Ваш В. С.».

4 марта. «Милый Михо. У Тамары в Лондоне умер брат. Труп будет доставлен в Ленинград, куда Тамара должна срочно выехать. Выдайте ей 150 рублей. Жду Вас 6. Ваш В. С.».

Одиннадцатого марта был день рождения Володи, по-старому, 26 февраля. Я поехал к нему. С горечью думаю я сейчас о том, что за все долгие годы жизни с ним ни разу не подарил ему что-нибудь ценное, но ненужное, какую-нибудь дорогую безделушку, книгу редкого издания, ну, наконец, какой-нибудь блистательный галстук. Я посылал ему хорошие посылки, тратил на все нужное, не жалея. А вот ненужного, чтобы вызвать у него восторг, я не подарил ни разу. И в этот день я свез ему торт, сандвичи и другую обильную еду и какую-то паршивую маленькую книжонку, не совсем обычную, но паршивую, на которую мне больно смотреть сейчас и которую тогда Володя взял вежливо, но совершенно равнодушно. Я даже не уверен, посмотрел ли он ее потом. Таков человек! А ведь дороже Володи у меня никого не было на свете. А вот, не умел я быть любящим «до дна», широко, от всего сердца. Хочу извинить себя только тем, что вещи и книги нравились Володе очень недолго, а затем он их бросал, а денег на него вообще нужно было очень много. А очень много я их никогда не имел. Володя в этот день, конечно, ждал меня, хотя день был неприемный, и вышел праздничным, свежевыбритым, затмевая всем своим обликом и старенькую пижаму, и серенькую обстановку приемной. Ему нравилось жить широко в лечебнице: угощать хорошим табаком и папиросами «спутников по палате» и персонал, импонировать им вышедшими книжками с его иллюстрациями и, конечно, угостить всем, что привозит ему так верно и преданно его «патрон» — и не отец, и

не дядюшка, и не брат, а именно «патрон», лицо не родственных отношений и тем более загадочное и интересное и чем-то напоминающее «приставленного к принцу». И я любил в нем эту маленькую суетность и радовался, глядя на моего принца, как он щедр, ласков с людьми, и как он готов помочь им и поделиться с ними, чем мог. Он, несомненно, всю свою жизнь спешил жить. Он всегда чувствовал, что непродолжительность своей жизни он должен возместить ее интенсивностью. Это было инстинктивно, но это верно чувствовалось и неустанно им проводилось.

В этот день Володя сказал мне, что еще на две недели, как решали мы раньше, он в лечебнице не останется. Я не противоречил. Выглядел он прекрасно. Лечебница сделала свое дело и была уже, по-моему, ему не нужна. Прикинув дни, когда бы я мог свезти его в Загорск, мы назначили выписаться 14 марта, а 16-го выехать в Загорск. Так все и сделали.

Тревога за Володю никогда не покидала меня. Два дня, что он провел в Москве, были с ним неспокойны. Я очень просил его не заводить знакомств в лечебнице. «Ну что Вы, Михотя, Вы же знаете, что я ни с кем не разговариваю». Однако вместе с ним выписался обиженный режимом и судьбой офицер из бывшего «хорошего общества». Володю всегда «такое прошлое и страдальческое настоящее» пленяло, пленило и в этот раз. Они условились встретиться. А после встречи и выпивки Володя обнаружил пропажу ряда ценных и милых его сердцу антикварных вещиц и довольно крупной суммы денег.

«Дорогой мой, — писал я Володе в Загорск, — думаю все время о Вас и не могу не думать. Последние 19 лет моей жизни, по существу, заняты Вами, только Вами. А вот найти такие слова, которые бы дошли до Вашего сердца, не могу. Ведь в этой истории с "бывшим" Вы потеряли не только Ваши вещи, но, что важнее, доверие к людям и уважение к себе. Берегите себя! Иначе позор, гибель, смерть ранняя и бесславная. Доверенность Вашу в "Искусство" этому проходимцу на получение денег я обезвредил. Деньги выдадут лишь Вам на руки. Когда я 15-го вечером пришел на Брюсовский и услышал у дверей разговор, я повернул обратно, дошел до ворот: уж очень мне не хотелось ни с кем встречаться в этом доме, но желанье получить бумагу для Вас заставило меня превозмочь мою брезгливость, и я вернулся. И до сих пор мне больно от воспоминаний, что я увидел: "Бабушка", "благородная личность" и Вы, мой милый, и в каком виде! Ну, довольно».

В этот же день Лихоносову. «Милый Митро. Свез Володю в Загорск. Будущее его страшит меня. Я не нытик, не пессимист, но порою теряю веру в него и в свою миссию при нем. Как прав Розанов, утверждая, что "таланты наши как-то связаны с

пороками, а добродетели с бесцветностью". Вот и выйди из этой закавыки. Конечно, не выйти и мне».

20 марта. Село Ново-Обинка. «Здравствуйте, дорогой Владимир Александрович! Не могу устоять против соблазна побеседовать с Вами в надежде получить от Вас письмо. Значение его для меня огромно. Затерянный в глуши, я чувствую от общения с Вами освежающий ветерок. Вот где я не бывал за эти годы! У самоедов был, плавал по хмурому Баренцеву морю, по реке Вычегде, на поезде изрезал тысячи километров и после всех этих длительных путешествий плюхнулся в болото. И вот —

Еще одна зима на свете,
Такая ж белая, как миллионы зим.
И за окном такой же колкий ветер,
На что-то злясь, расшвыривает дым.

Да, много их прошло со мною рядом,
Ведя в пути неумолимый счет,
Порой блестя расцвеченным нарядом.
Порой тускнея, как свинца налет.
Давно, давно я жду тепла и света,
Таких горячих солнечных лучей,
Такого жаркого, безоблачного лета
С цветами пряными и духотой полей.

А за окном то дождь шумит, то вьюга,
И полутьма окутала весь дом.
И у тебя ни одного нет друга,
А сердце замерло, подернутое льдом.

Такие-то дела, дорогой! О многом бы хотелось поговорить, многим поделиться. Помните Ваши рисунки на моих книжках? Они все со мною. А рисунки Ваши на листах украдены у меня в поезде под Свердловском. Я очень жалею, знаете. Желаю Вам доброго здоровья и дальнейшей прекрасной работы. Ваш А.Македонский».

В Загорске все оказалось приятным. И две дамы ласковые, расположившиеся к Володе, и большой дом, и много книг и старых журналов, семейных преданий, семейных фотографий. Нашлось общество и помимо дома — бывший моряк из Морского генерального штаба, «тонный» и несколько презрительно-пренебрежительный ко всему происходящему. Старый присяжный поверенный — умница и бывалый человек, и еще кое-кто из местных или заброшенных судьбою. О них и о себе в это время

так писал Володя «Испанке»: «Живу, главным образом, прелестями письменного стола и двумя-тремя хорошими стариками, так украшающими нашу бедную жизнь».

Но это было не все. Основным содержанием жизни Володи явилось возобновление переписки с «Испанкой». С женою, казалось, все было порвано. Объяснения Володи о женитьбе «Испанкой» было принято, и вновь воскресла надежда на любовь и счастье. «Я жду одиночества, как свиданья с тобою. Возможность без помехи прислушаться к собственной любви к тебе кажется лакомством».

Пытался Володя приняться и за работу. Его внимание с юных лет привлекала «Неоконченная повесть» Лермонтова. Он брался иллюстрировать ее несколько, раз, но оставался недоволен собою и бросал. Теперь он вновь принялся за нее. Передо мною лежать шесть небольших листочков из блокнота, на которых Володя спешно, карандашом набросал план своей работы над «Лугиным»:

«Отрывок из начатой повести. "Середа".

Третий день недели. Повесть не окончена умышленно.

Рецепт себе: сделать сразу всю книгу до макета и размера включительно.

Общие замечания: "не стиль", "не красивость", "дух". Лейтмотив: "Серое ноябрьское утро лежало под Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями. Дома казались грязны и темны. Сплин".

Темы. 1. Литературный бал. 2. Минская, Лугин. 3. Он три года лечился от гипохондрии в Италии… Пристрастился к живописи при чудных памятниках древних учителей… Он встал, взял шляпу и вышел. 4. Утренний Петербург — чиновник, полпивная лавочка и пьяница. 5. Зима. Мальчик с полуштофом. Лугин. 6. Я беру "эту квартиру"… В эту минуту он заметил на стене последней комнаты поясной портрет. 7. Он сел в кресло, опустил голову и забылся. Долго дворник стоял против него, помахивая ключами. 8. А он просидел против портрета до вечера. 9. До двенадцати часов он со своим камердинером Никитой расставлял вещи в квартире.

Глава 2. Виньетка: ряд профилей, туманных, но похожих. 10. Однако есть лица, у которых опытность ума "не действует на сердце". И Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий. 11. На дворе было темно. У бедных соседей тускло светились окна. 12. Поставлю клюнгер. 13. Среда (середина). 14. Не хочу (игра в карты, Лугин, старик). 16. Вопрос.

Инвентарь. 1830–1840. 1. Камин. 2. Рояль. Клавесин. 3. Патэ. 4. Кокушкин мост. 5. Ворота, надписи. Нет (дворник под воротами расчищает снег). 6. Позолоченная мебель (Екатерина).

7. Обои — попугаи и лиры. 8. Изразцовые печи (Екатерина). 9. Овальные зеркала (рококо). 10. Шандал. 11. Свечи.

Страничные иллюстрации: 1. Минская. Лугин. 2. Италия. 3. Дворник метет улицу. Лугин. 4. Портрет».

А перед тем, еще в М. Горе, Володя получил следующее письмо из Мурманска:

«Дорогой Владимир Александрович! "Шли годы. Бурь порыв мятежный" и т. д. Казалось, замел Ваш след, как вдруг… Сначала нахожу в Медгорском журнале Ваши рисунки к "Евгению Онегину", затем узнаю подробности о Вас от В.В.Гельмерсена и других. Крайне рад как тому, что Вы свободны, так и тому, что обретаетесь не столь вдалеке от меня. Пользуюсь случаем подать весть о себе. Я пребываю сейчас в Туломском отделении. Живу неплохо, творческая добыча без краю и меры ("не кажи гоп"). Разменяю остатки срока и думаю двинуться на Свердловск. Хотелось бы по дороге как-нибудь встретиться и повидаться с Вами. Продолжаете ли Вы работать над задуманной Лермонтовской серией? У меня хранятся Ваши наброски. У Гельмерсена видел один Ваш силуэт к "Штоссу". Не знаю только, более ранний или поздний, чем то, что найдено на бревнах Кемского взморья. От концепции круга или шара, я думаю, не стоит отказываться, тем более, что она как раз являет собою картину вселенной по новейшим астрономическим теориям (Джима, Леметра, Эдилтона). Моя статья обдумана во всех деталях и частично сделана. Могу доставить Вам основные положения в шести тезисах, чтобы Вы могли, в случае надобности, начать конкретные переговоры с издательствами и к концу года выпустить ее в свет. Только имейте ввиду, что заголовок (для фронтисписа) должен заключать в себе: М.Ю.Лермонтов. "Штосе", — и только. Никакого "отрывка", "Начальной повести" не должно фигурировать. Почему так, я обосновываю в начале статьи. Получится целая, вполне законченная, как бы вновь найденная (по крайней мере впервые прочитанная и оцененная) повесть Лермонтова, вершина его прозы и вообще шедевр мировой литературы — потрясающий сюрприз для публики. Давайте же за это возьмемся без отлагательства.

В.В.Гельмерсен просит Вам передать сердечный привет. Всего светлого Вам. Горский-Горностаев А.К.».

Однако работа над «Лугиным» не пошла и на этот раз. Володя набросал ряд эскизов, даже стал резать сцену «Штосе», но целого не дал и не успел дать. Тем, что он делал, был недоволен. Да это было и ниже прежнего, и это его угнетало. Он слишком устал от жизни, от невозможного тона Брюсовского переулка, от разлуки,

даже в переписке с «Испанкой», от всех передряг последнего года. И он отдыхал, просматривал иллюстрированные издания по искусству, подбирал альбом костюмов XVIII века, читал и вынашивал план большой работы «для денег» — внешний облик и быт Москвы наших дней, для которой вскоре и сделал первую пробную иллюстрацию.

Первого апреля я был у него. Светел, тих, содержателен. Около один из стариков. Обед в обществе дам дома и шутки наши «над приверженностью Калужанки к Володе», и грустные реляции наши по этому поводу. А Калужанка уже выследила место его пребывания, и ее видели в роще около дома за деревом, «несущей вахту». В дом она не посмела войти. После обеда прошли в лавру, а там уж надо было и уезжать мне.

«Милый Михо. Пишу в тот же день, когда Вы были. Поезд так неожиданно ушел, что я не успел Вас поцеловать…»

Дальше следовало несколько строк «деловых».

В Красюковке, близко от Володи, жила вдова А.А.Александрова, поэта и друга Константина Леонтьева. У нее был дом, и у меня возникли планы поселиться у нее или даже купить этот дом, полный литературных воспоминаний о Леонтьеве. Я побывал у вдовы, уже очень старой и больной, полечил ее, но разговор отложил до следующего приезда. Так вот, Володя должен был «организовать» этот разговор.

2 апреля. Магадан. «Дорогой М. МЛ В декабре получил Ваше письмо. В апреле отвечаю. Получается "замечательно оживленная переписка" уже в силу природных особенностей края, где я живу. Четвертая зима на севере прошла хорошо. Были моменты, когда жизнь казалась лучше московской. Чувствовал себя молодым и счастливым. Боюсь только, что когда выйду из магаданского масштаба, ничего не буду из себя представлять. И вот я стараюсь не думать о будущем, а если думаю, то только о моментах встреч с Вами и другими. Ради таких перспектив стоит и жить, не замечая невзгод. Не вижу я только скорого конца. Досталось мне крепче многих. Зачетов я почти не получаю, и, наверное, не раньше 1941 года состоится наша встреча. Надеюсь еще застать Вас в числе других милых и близких сердцу друзей в полном здравии, а себя я уж как-нибудь уберегу до этого времени. Открытия навигации жду с возрастающим интересом, она открывает связь с миром. Ваш далекий друг Сергей Коншин».

6 апреля. Архангельск. «Дорогой М. М.! Простите за запоздалый ответ. Житейская суета и работа отвлекают. Кончаю лекции одним студентам, начинаю другим, экзаменую, лечу и все время читаю и учусь сам. Конечно, наша архангельская суета несравнима с вашей московской — это тишина. Но для нас,

северян, она очень надоедливая. Я очень понимаю Ваше элегическое настроение и иногда сам впадаю в него же, но не поддаюсь настолько, чтобы терять бодрость и жизнерадостность. У нас уже пахнет весной, на улицах лужи, дорога по льду через Северную Двину испортилась. Охотники собираются на охоту на Белое море на гусей, уток, лебедей. Рыболовы начинают ловить налимов через проруби. Если думаете о даче, не забудьте о Воскресенске и его ближайших окрестностях. Ваш Д.Никитин».

Двенадцатого апреля пришла ко мне жена Володи и спросила его адрес. Помню тоску, сжавшую мое сердце. Но как можно было не дать адреса жене? В этот же день она, приехав к нему, нагнала на него жестокую хандру и условилась на завтра встретиться в Москве и пройти с Володей в ЗАГС, оформить развод.

На следующий день Володя в Москву не поехал, приехал четырнадцатого. После обеда мы пошли с ним в город. Был теплый весенний вечер. Зимняя шапка на Володе была уже не по сезону. Зашли в универмаг на Тверской за кепкою. Ярко помню кучу товара, немолодого продавца еврея и Володю перед зеркалом, примерявшего кепки и не знавшего, на какой остановиться — одна шла лучше другой. В зубах английская трубка. Кожаное темно-коричневое пальто, перехваченное в талии кушаком. На ногах такого же цвета полуботинки на толстой гутаперче. В руках трость с серебром. И чудесная голова Володи, небольшая на крупной фигуре. Продавец был польщен таким покупателем и «осмелился» спросить: «Что за табак курит гражданин, такого табаку никогда не нюхал в жизни?» Посмеялись, пошутили, завернули зимнюю шапку в бумагу, обновку же Володя одел и стал словно еще элегантнее. Начало вечера провели в ресторане, в глубоких креслах, в мягком полусвете. Налетела грусть. Беседа была нетороплива. Закончили вечер у К.Н.Игумнова воспоминаниями и музыкой. Ушли поздно. Чуть кружилась голова от вина и музыки Чайковского, На утро у Володи «дела и жена». Ушел с нею подавленный. Несомненно, ему тяжело было обижать ее разводом. Однако развод в течение дня не оформился. Володя долго пробыл в издательствах, взял спешную работу и спешно вечером того же дня вернулся в Загорск. А я в это время написал Лихоносову.

«Милый Митро. Апрель особенно нагружен всякого рода заседаниями с людьми. Устал я очень. У твоих был. Там монашеская тишина и суровость в обиходе. Володя в Загорске. За весь месяц впервые был вчера и сегодня здесь и сегодня же деловито уехал обратно. Он много спокойнее, жизнью там доволен, и его полюбили. Я бываю у него каждый выходной день и, по-видимому, пока это нужно. На месте оказалась хорошая

библиотека и обширный иллюстративный материал. Володя долго возился с ним, затем занялся "Лугиным" и сделал одну иллюстрацию "Москва" очень хорошо. В "Academia" застой, бумаги нет, в "Искусстве" то же самое. Володя получил для оформления книжку в "Молодой гвардии". Автор современный. Словом, в издательствах затишье. Такое же положение и у переводчиков. Все их договора отложены до 1939 года. Так-то, мой милый. Завтра схожу в "Изогиз" на Цветном бульваре. Быть может, там заинтересуются "Москвой". Ну, будь здоров. М. М.».

В Загорске Володя, прежде чем сесть за работу, привел свою комнату в порядок. На карикатуре, сделанной им по этому поводу, он сам дан длинным, как всегда, тощим, с непомерно маленькой головой. Он неумело протаскивает из комнаты в дверь медицинские весы, ему беспомощно помогает тетушка Максутова, прекрасно данная в своем облике. Я же шестнадцатого утром съездил в «Изогиз», а потом несколько часов пробыл на Пушкинской выставке. Выставка размещена в десятке больших зал, много интересного, много предвзято собранного и поданного. Смотрится с большим интересом, тем более, что столько обо всем читалось и слышалось. В отделе советской книги показан и «Годунов» Володи.

Следующий день был суббота — обычный рабочий день. Принимал больных, консультировал с врачами и знал, что в Загорске Володя работает над книгою, что книга должна быть готова к понедельнику и в понедельник Володя приедет в Москву и я его увижу. Дома нашел несколько писем.

Архангельск. «Давно не имел от Вас вестей, и это мне грустно. Что-то поделывает мой неверный друг Володя? Как его семейные дела и его работа? Может быть, он стал рантье, опочил от трудов и, наслаждаясь жизнью, окончательно забыл прежних друзей? Не вспомнит ли он, что я еще живу на свете. Б.Молас».

Магадан. «Дорогой М. М.I С удовольствием узрел в Ваших строках Ваше по-прежнему веселое и жизнерадостное лицо. Спасибо за экслибрис. Мечтаю повторить алабинские дни. Будет уютно трещать камин и звучать Шопеновские ноктюрны. Какая ирония судьбы! Был я в Москве, был Ваш Володя далеко, а теперь наоборот. Надеюсь, эта комбинация больше повторяться не будет. Когда я вернусь? Хочу думать, что раньше, чем перестану чувствовать себя молодым. Жизнь пролетает незаметно в работе, и только временами начинаю тревожиться, что так скоро и смерть подойдет. Еще неизвестно, что здесь ждет меня впереди. Может быть, тундра, лопата, тачка. Этот дамоклов меч всегда висит надо мною. Вы пишете, что ничего не знаете о наших краях. Они состоят из сплошных сопок, вечной мерзлоты, длинной и суровой

зимы, коротенького и плохого лета и большого людского энтузиазма и воли. Магадан, в котором я живу, на моих глазах из палаток, разбросанных землянок и деревянных строений вырос в город с каменными домами, звуковым кино, радио во главе со мною, парком культуры и отдыха, лимузинами, дамами с накрашенными губами и прочими признаками города. От Магадана тянется уже построенная на сотни километров трасса, которая несет освобождение краю. Там гудит аммонал, завоевываются кубометры, зимою там морозы 50–60 градусов, а летом около двух месяцев такая же жара. Жрут комары и растут лиственные деревья. Местное население — хилые задавленные юкагиры, арачеллы, якуты, вечно кочующие со своими оленями и собаками, становятся полноценными людьми, узнавшими жизнь и жадно воспринимающими культуру. Совершенно изумительные бывают тут зимние закаты солнца, которые словами не опишешь. Есть тут чудаки из нашего брата, которые тоскуют по цветам, фруктам, землянике. Я такой тоски не знаю. Фрукты мне заменяет рыба, которой тут изобилие, а цветы полей — человеческие цветы из мира "урок" и "блатных". Годы, прожитые здесь, приучили меня к местному климату и отучили от привычек, без которых когда-то, казалось, я не могу прожить. Предстоящий мне впереди путь меня пугает. Как это я поеду пароходом, потом поездом, а в Москве придется еще на метро ехать. Заедешь еще не в тот конец, улиц-то ведь не видно. Какие-то еще троллейбусы ходят, что-нибудь опять сложное. Как это Вы там во всем ориентируетесь? Не забывайте меня. Ваш Сергей Коншин».

Вечером этого дня я дочитывал книгу Андре Моруа о Байроне. Было устойчивое и покойное настроение и уверенность в завтрашнем дне. А он, мой голубчик, в это время уже окончил работу над книгой, написал большое письмо «Испанке», прошел с ним на вокзал, опустил его в почтовый ящик и посидел в буфете за кружкой пива. В письме он, между прочим, писал: «После счастья с тобою я снисходителен ко всем горям и невзгодам, так как все же самое главное было. А ведь далеко не все имели такую большую удачу».

Наступило воскресенье 18 апреля. Володя поджидал друзей из Литмузея. Друзья не приехали. Приехала Тамара Константиновна. Весь день она провела у Володи. Володя не вышел к завтраку. Не вышел к обеду. Отказался от предложения подать ему еду в комнату. Только в девятом часу вечера вышел он от себя и спросил Наталью Валентиновну. А она в это время пошла проводить своих гостей на вокзал. Володя оделся и пошел ей навстречу. Тамара Константиновна оставалась у него в

комнате. Вскоре Наталья Валентиновна вернулась домой. Володи с нею не было, и она не встретила его. Поднялась тревога. Пошли к вокзалу искать его.

Что происходило между Володею и Тамарой Константиновной в этот день, останется тайной. Первый унес ее с собою в могилу, вторая никогда не признается в том, что судьба наметила ее быть посланницей смерти Володи. Смерть настигла Володю по дороге к вокзалу. Электромотриса бесшумно, но смертельно толкнула его в спину и ударила головой о рельсы. Подали носилки. Еще теплилось сознание. «Боже мой, Боже мой!» — сказал он. И затем, когда поднимали: «Больно». Это было последнее.

А я в эти часы в Москве переживал, казалось мне, беспричинную гнетущую тоску. Не мог найти себе места, не мог уснуть.

Володю доставили в больницу. Туда же пришли Наталья Валентиновна и Тамара Константиновна. В 3 часа утра огонек жизни Володи потух. Это был понедельник 19 апреля.

Через час, перед тем, как выехать в Москву, Тамара Константиновна обшарила комнату Володи и выкрала переписку его. Велика сила любви, велика! И она все превозмогает. Любовь ли только это или ревность, и есть ли ревность-любовь и любовь-ревность?!

Для меня труднее всего в воспоминаниях о человеке тембр его голоса, но голос Тамары Константиновны, объявившей мне о смерти Володи, звучит во мне незабываемо. Она торопилась сделать это. Новость была слишком значительная для меня, и она, не успев перешагнуть порога моей комнаты, сообщила ее мне. Я не закричал, не заплакал, не упал. Я опустился на стул, сколько-то времени помолчал, а потом расспросил, как это было. «Будьте добры, — сказал я Тамаре Константиновне, — поезжайте обратно теперь же и сделайте там так, чтобы его омыли и одели». Я собрал все нужное для последнего его туалета и отпустил ее, а сам с Иринушкой поехал в похоронное бюро за гробом. Как длинен путь до Загорска! Как бесконечны улицы до морга больницы! И наконец, вот он: на голой лавке, в белой шелковой пижаме. Я опускаюсь рядом на пол. Красив и потусторонне важен Володя. Важен тайною гроба. И эта тайна встает между нами.

Похоронил я Володю вечером на следующий день в Загорске.

Глава четвертая. В МОСКВЕ БЕЗ ВОЛОДИ (19 апреля 1937 — 19 августа 1941)

После Володи особо выросла тоска о «настоящем человеке».

22 апреля (из дневника). На работу не пошел. Сегодня не мог. Пойду завтра. Сегодня же, как прежде, устраивал Володины дела. На Ваганьковском кладбище, нашел подходящую плиту со строгим крестом и заказал на ней выбить надпись славянской вязью: «Художник Владимир Александрович Свитальский. Родился 26.11.1904 г. Умер 6.IV.1937 г. старого стиля». На Дорогомиловском кладбище нашел металлическую решетку «на двух». Снес в переплет книгу, принадлежавшую М.В.Нестерову. Володя потрепал ее. Это был «Король Лир» Шекспира. Не хочу, чтобы осудили его за это.

23 апреля. Вечером побывала Вера Борисовна Пасонен. Она со школьной скамьи неизменно дружила с Володей. Принялся разбирать письма Володи. Как горько, что много писем его забрали у меня в Алабине при обыске в 1933 году.

Сегодня был на работе. Боялся за себя, думал — не смогу, а не только смог, а хорошо смог. И рад, что пошел, и нужно было пойти и для себя, и для других. Возможно, что никакая другая работа не была бы переносима, но «помогать другим — вот лучшее средство утешиться в собственном несчастии» (Тургенев).

В тот же день. Москва. «Дорогой М. МЛ Два дня тому назад узнала о несчастии с Володей и не могу придти в себя от этого ужаса. Мне понятна Ваша скорбь, так как у меня тоже отнято самое близкое моему сердцу. От всей души желаю перенести Вашу тяжелую утрату».

Так писала мне Татьяна Андреевна, моя приятельница и бывшая медсестра в Петровской больнице. Ее сын, доцент Греч, был вместе с Володей на Соловках и опять был взят, и мать ничего не знала в нем.

24 апреля (из дневника). До смерти Володи, несмотря на мои 56 лет, жизнь еще не казалась мне близкой к концу. Смерть его отняла эту иллюзию.

24 апреля. Загорск. «Дорогой М. М.! Все время думаем о Вас. Мы все знали Володю короткое время и все-таки не можем опомниться от всего происшедшего. Он как-то сумел совершенно войти в нашу жизнь, стать совсем-совсем своим, и теперь каждая мелочь так болезненно его напоминает. Дом оказался еще более пустым, и возвращаться в него ужасно тяжело. Что же должны переживать Вы! Третьего дня ко мне пришла Калужанка. Весть о

смерти Володи ее сразила. Она долго сидела в его комнате, расспросила меня о всех подробностях и очень обрадовалась, даже просияла как-то, когда я сказала, что его отпели и притом в настоящей православной церкви. Увидела на столе Володин рейсфедер, который привезла ему когда- то в Моршанск, и попросила его себе на память. Завтра она хотела приехать опять, чтобы вместе с нами пройти на могилу Володи. Мне кажется, что здесь, конечно, есть хорошее большое чувство.

Очень хочу, чтобы Вы не отказались от своего проекта приехать сюда на Пасху, боюсь только, что Вам будет тяжело входить в его комнату. А в голове все стучит мысль: вот, если бы сказала то-то, если бы сделала по-другому, то ничего бы, что случилось, может быть, и не было. Сердечный привет. Н.Плетнер».

25 апреля. Передо мною маленькая пачка пожелтевших писем матери Володи к ее родителям в Саратов из Петербурга и одно письмо к отцу Володи — Александру Григорьевичу Свитальскому.

Вот первое, 1902 года.

«Дорогие папа и мама!

Теперь я вижу, что в Саратов попаду нескоро. Всю зиму, вероятно, придется пробыть в Крыму (она болела туберкулезным кокситом), а быть может, и за границей. Я пришла к такому заключению, что нужно выбирать не там, где ближе, а там, где было бы полезней, чтобы скорее поправиться. Время провожу не скучно. Часто бываю у доктора Герзони. Вот вы все боитесь, чтобы я не влюбилась, и постоянно пишете об этом, а я до того озлоблена на всех мужчин, что решила во избежание неприятностей не иметь больше знакомых, исключая одного Свитальского, но смотрю на него, как на своего злейшего врага, потому что знаю, что нравлюсь ему. Правда, он очень симпатичен, но я все время так резко с ним обращалась, что довела его до ссоры».

Второе, 1903 года.

«Дорогая мама! (Это была мачеха, родная мать Ларисы Владимировны умерла молодой.) Если ты меня любишь, то должна желать мне счастья, которое теперь достигнуто, и должна быть спокойна. Приезжай к нам. Папа, должно быть, рассказал тебе все подробности случившегося. Платье было хотя и не особенно удачно, но шло ко мне и в Адмиралтействе все нашли меня хорошенькой».

Третье, 1904 года.

«Милая, дорогая мама! Кормилице сарафана не присылай. Теперь я жена и мать и должна сама думать о многом и поступать по-своему. Ты пишешь, что папа из-за меня имеет долги. Это

неправда. До замужества я лечилась на свои средства, так как получала доход от наследства после бабушки. После замужества мне три раза делали операцию тоже на мои средства, и рождение Люли и очень дорогой уход за ним — все тоже на мои деньги. Благодарю тебя за икону Св. Серафима и просфору от него. Очень рада, что ты мне прислала их».

Четвертое, 8 апреля 1905 года.

«Дорогие, милые папа и мама! У нас большая новость. Люли встает на ножки сам и начинает ходить около кроватки. Кормилицу мы отпустили и взяли новую няню, очень хорошую, и она хорошо умеет Люли кормить. Слава Богу, что так хорошо окончилось с кормилицей. Шура сегодня была в Оллиле, где снял на пять лет чудесную дачу на берегу моря со всеми удобствами, так что я всегда могу быть на берегу моря с мальчиком. Напишите, что у вас нового и кто уехал на войну».

Пятое, ноябрь того же года.

«Дорогой папа! Письмо твое очень огорчило меня, так как ты пишешь, что вы не собираетесь к празднику к Люли на елку. Доктор велел давать Люли рыбий жир, но мы думаем, что он его не будет пить».

И письмо к Александру Григорьевичу из Саратова, 1918 года.

«Если мне будет хуже, то я желала бы причаститься. Но принять причастие без покаяния перед тобою не могу. Прости меня. Раскаиваюсь перед тобою, в первый раз не обманывая тебя и в первый раз я теперь только прозрела и поняла, как глубоко виновата перед тобою. Мне страшно признаться, но только одна правда может еще спасти нашу жизнь. Я заблуждалась, находя всегда в наших ссорах виноватым тебя, и объясняла наши ссоры твоим характером, а сама себя во всем оправдывала. А когда я умоляла простить меня, то все мои мысли были направлены к тому, чтобы скорее возвратить тебя и прекратить страдания. Я никогда не была чутка к тебе, не берегла тебя, забывала твои просьбы и вызывала все новые ссоры. Сколько раз ты наказывал меня и прощал меня, умоляя исправиться. Я — преступница. Я была всегда виновата и только теперь поняла все это. Прости меня, Шура. Сердце мое разрывается от муки и нежности к тебе. Прости меня за все. Вернись ко мне. Сжалься надо мною».

Письмо это оказалось предсмертным.

24 апреля. Ленинград. «Дорогой друг мой! Сейчас узнала от Ирины все. Пожалейте себя для всех нас, любящих Вас, и приезжайте сюда хоть на несколько дней. Всей силой своего существа прошу Вас приехать. Удар жесток и особенно тяжел неожиданностью. Я не могу еще осознать его. Покорность: "Да будет воля Твоя", — приходит не сразу, до нее надо дойти

самому. Жду, жду. Наталья Вревская».

В тот же день. Ленинград. «Мой дорогой! Сообщением Ирины о Владимире Александровиче я совершенно разбит, иначе был бы около тебя. Во время бессонной ночи думал: неверно говорят, что привязанности детства самые сильные и что во взрослом возрасте они не складываются так легко. Последнее, пожалуй, верно. Но силу привязанности зрелого возраста я познал теперь, потеряв Владимира Александровича. Сейчас мне почувствовалось, что привязывал он к себе нежностью, деликатностью и чуткостью своей натуры. В отношении его ко мне я особенно это чувствовал, будучи слепотою своею выброшен из жизни и предоставлен самому себе. И вот не войдет он больше ко мне, всегда немного смущенный мыслью, что беспокоит меня. Думаю, он не знал, что меня больше занимают результаты его работы, чем моей собственной. Вчера я дал тебе теле грамму с просьбой приехать. Ах, если бы ты приехал хотя бы на майские дни. Лихоносов».

26 апреля (из дневника). Утром пришел ко мне незнакомец, оказавшийся отчимом жены Володи, с разговорами о наследстве. Девятнадцать лет жил у меня Володя, и я считал только то, что он тратил из своих денег, и никогда не считал того, что я сам тратил на него. Мне не пришло и мысли о наследстве. То, что осталось неистраченным из Володиных денег, как-то оскорбляет меня, и я спешно и щедро трачу их на оформление могилы. Я предложил «тестю», как оказалось, из породы «снабженцев», заявить права на художественное наследие Володи, но, по-видимому, ему нужна «наличность» в первую очередь, а потом уж права.

25 апреля. Архангельск. «Дорогой М. МЛ Только что получил ужасное известие о кончине Володи. Ошеломило оно меня и беспредельно огорчило. Мысленно с Вами в эти страшные дни и глубоко скорблю о потерянном друге. Очень прошу Вас, когда Вы придете немного в себя, описать мне все о нем: о его последних месяцах жизни, его болезни и последних минутах. Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания об этом чудесном товарище, редко талантливом художнике и верном друге трудных "соловецких лет". Не нахожу слов, как я огорчен. Буду ждать Вашего письма. Сердечно с Вами. Борис Молас».

26 апреля. Лихоносову. «Дорогой Митро! Письмо твое получил. На праздники уеду в Загорск — там пока мое место. Я работаю и считаю это лучшим в моем положении. Тамара Константиновна после похорон не была у меня. Вела она себя на похоронах странно и вторично выкрала переписку Володи. И когда успела? В ночь его смерти! Я передал ей патефон Володи, деньги за последнюю его работу в издательстве и ряд вещей Володи, оставшихся у нее на квартире, и на этом считаю все дела

мои с нею законченными. Отчима Тамары Константиновны мне сегодня охарактеризовали как дельца "черной биржи". Думаю, с ним мне нечего разговаривать. Пусть Тамара Константиновна сама подойдет к этому делу. Я ни на какое наследство не претендую».

27 апреля. Продолжаю получать и соболезнования, и предложения «размыкать свое горе». А мне только хорошо одному и страшно подумать быть где-то у кого-то в гостях. Телеграфирует профессор Ленский из Медвежьей Горы: «Приезжайте». Это в Медвежью Гору-то, где так творчески счастливо прожились с Володей, быть может, лучшие дни его и мои.

Наступила Страстная неделя. Церковь и только церковь, а дома его письма и его друзья.

Письмо от Ксении Сергеевны — «Испанки», 28 апреля.

«Мне трудно писать. Не могу поверить, что Володи уже нет. Я получила от него письмо 18-го. Письмо очень бодрое, с планами на будущее. Посылаю Вам его фотографии. Вы их переснимите и верните мне. Приезжайте сюда хоть на несколько дней, нужно о многом поговорить».

Страстной четверг, 29 апреля. Ночь после стояния на «Двенадцати евангелиях». Какое созвучное состояние души и тела. Оба утомлены, оба больны, оба ноют. Но это особое утомление и особая боль. И я начинаю понимать значение долгой молитвы и долгих стояний. «Как же я мог пропустить хоть один Великий Четверток простоять со свечечками!» — восклицает Розанов, а с ним и я. К счастью, я пропускал лишь «по обстоятельствам», от меня не зависящим.

Чудесное письмо от человека почти незнакомого — бывшей больной из санатория М. Горы.

«Дорогой М. М.I Хочется сказать Вам, как было больно и страшно узнать о гибели Владимира Александровича. Жить нужно только таким чудесным, значительным и ярким людям. И когда такие уходят, становится непонятным существование рядовых, ненужных, серепьких и бесцветных людей. Появляется чувство неловкости, неправды перед жизнью, и я не могу Вам пожелать даже меньшей доли горя, так как и невозможно это, и печаль оставшихся как бы искупает неизжитый ушедшим свет жизни. Мне только жаль, что не приложила я тогда больших стараний, и нет теперь хорошей его фотографии, но так трудно было с ним говорить. Татьяна Давыдова».

3 мая. Вчера вечером вернулся из Загорска, и душа моя полна могилой Володи и Воскресшим Христом. Приехал я в Загорск в весенние сумерки. Встретила меня Наталья Валентиновна, но не на вокзале, не на людях, а на просторе уже зазеленевшей

лужайки. Мы не могли говорить. Слезы душили нас. Прошли несколько шагов. Справились с собою и заговорили о чем-то постороннем. В доме нетронутая комната Володи с его постелью и столом, полным его вещиц. Сел к столу. Слез нет. В такие минуты не плачется. Посидел, взял коробку с его табаком, вдохнул его аромат. Никто меня не трогал. Никто ко мне не вошел. Темнело. Я вышел в столовую. Там свет и две дамы. Поцеловал им руки, и они ответили поцелуем в голову. Началась неторопливая беседа. Ночью в церкви Ильи на погребении Христа и на обедне Великой субботы. Эта единственная служба в году потрясла меня. Перед чтением Евангелия, когда духовенство уже сменило черные ризы на белые, дьякон, выйдя к Плащанице, провозгласил моление о «новопреставленном Владимире», и вслед за этим раздалось у Плащаницы: «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцах». Никогда эта служба не падала мне так на душу, как в этот раз. Сердце было истерзано. Рана была открыта, и церковь, углубляя скорбь, исцеляла ее надеждой на воскресение.

Днем в субботу, наконец, я у могилы Володи. Припал к ней и позвал: «Володя!» Могила, кладбищенская тишина и шум крови в ушах ответили мне вздохом, и я услышал из глубины земли: «Михотя». Я слышал это. Один раз, но слышал.

5 мая. Милая и деликатная Александра Федоровна Каржинская прислала мне сегодня всего две строчки: «Хочется крепко пожать Вам руку и этим выразить то, что трудно бывает сказать словами». И она уже умерла! Умерла в изгнании, далеко от своих, худенькая, измученная жизнью, вырванная из научного института, в котором много лет работала.

Ленинград. Дорогой Миша! Говорили эти дни о Владимире Александровиче с живущими в нашем Доме престарелых ученых и знавшими его. Эти разговоры и приходящий понемногу в равновесие организм позволяют уяснить основу моих отношений с Владимиром Александровичем. Понимаю, что эти разговоры и мысли — все это для себя, для своей жизни, но таков закон последней. Общение с В. А., участие в его творчестве умножали собственные возможности — видеть мир теми силами человеческого духа, которыми мать-природа не наделила тебя. Ежедневно любуясь архитектурной композицией Петербурга от Троицкого до Николаевского мостов, я хотел бы, чтобы она была нанесена на бумагу. Я ждал, что это сделает В. А., и имея эту возможность в нем, считал ее как бы своею собственной. А это давало большую близость с ним, с его одаренностью, с его исключительностью. А установление такой близости дело не простое. Оттого потеря таких людей так тяжела и незаменима.

Конечно, по железнодорожной насыпи ему одному ходить было нельзя. Он так глубоко внутренне сосредотачивался, что на шумной улице с трудом осваивался с обращенным к нему словом и просил повторить сказанное своим: "А, простите!" Но ведь не погиб же он во всех своих странствованиях и передрягах до последнего случая?! Довлеет над нами закон больших чисел. Лихоносов».

В тот же день. «Дорогой Митро! Письма твои получил. Как еще предполагал с Володей, первое и второе мая провел в Загорске. Комната его там нетронута, и было исключительно больно мне жить в ней и сидеть у его могилы, такой еще неустроенной, сиротливой, свежей могилы. Больше мне повторять жить в его комнате нельзя, если я решаю жить. Сегодня 15-й день, как его нет. В душе моей смятенье. Вспоминаю свою боязнь за него, за его будущее, и здесь больше всего нахожу опору для мыслей: быть может, так для него лучше. Хуже для нас, лучше для него.

Твои юридические советы по притязаниям Тамары Константиновны на наследство я принимаю, за исключением одного: не хочу ее видеть сейчас. Поведение ее для меня предосудительно. А в прошлом она выкрала всю его переписку за последний месяц его жизни. Она приехала к нему 18-го и явилась прямой причиной его прогулки по путям вечером в этот день. Я понимаю, что она не виновата в его смерти в прямом смысле, но она тяжела мне безмерно, даже в воспоминании о ней».

6 мая. Ленинград. «Я счастлива, что могу сегодня отослать Вам, дядя Миша, негативы с Володи в М. Горе. Все мои мысли и все мое внутреннее "я" все время с Вами и с ним. Лихоносов грустит, не получая от Вас ответа, я же все время кочую от него к Вревской и Чистович. Все они глубоко разделяют Ваше горе и, особенно этим, сейчас близки и дороги. Ваша Ирина».

7 мая (из дневника). Вчера мною была сделана попытка перенести прах Володи на другое место. После его похорон я не распорядился не хоронить с ним рядом (близко), и когда приехал прошлый раз, очень огорчился — его могила оказалась в тесном ряду. К моему при езду вчера приготовили другую могилу, а при мне стали откапывать его гроб. Дело шло быстро, но ближе к гробу стали выкапывать мокрую глину, а затем показалась и вода. Работали неумело, грубо, задевали лопатами гроб. Это было выше моих сил. Я не мог оставаться у раскрытой могилы и попросил друзей Володи, что случайно собрались, решить, что делать. Те посоветовались и сказали мне, что лучше оставить гроб на месте. Бросили цветы в могилу и вновь засыпали ее. Не могу сказать, как я жалею, что начал это дело. Не нужно было! Не нужно было

нарушать его покой! Мой чистый, нарядный, красивый мальчик и мокрая глина… И как было неуютно и холодно на кладбище… Пасмурный день, дул ветер, срывались снежинки…

8 мая. Был у М.В.Нестерова. И он, и семья искренне опечалены гибелью Володи. «Талантлив, очень талантлив! Красив и интересен, как человек. Как радовались мы, когда он приходил к нам более спокойный, хорошо одетый, и мы знали, что он опять с Вами».

8 мая. Бийск. «Уважаемый М. МЛ Я глубоко потрясен Вашим известием о смерти Владимира Александровича. Потрясен, потому что он был для меня воплощением и носителем той культуры, тех черт человеческой души, которые к нашей скорби слишком редки и необычны теперь. Я питал к нему глубокое теплое товарищеское чувство. Иначе нельзя было к нему относиться. Я искал его в течение нескольких лет. И вот теперь, когда возможность встречи была так очевидно близка, ужасная неожиданность оборвала все мои надежды и планы на будущее.

Владимир Александрович был для меня дорог не только как близкий товарищ, с которым мне довелось скрашивать долгие годы северных зим, я ценил его творческую энергию, страстность, с которой он отдавался работе, силу и четкость его творений, которые, безусловно, изобличали в нем большого художника. Я надеялся, что этот крупный талант долго будет служить правде.

Мы познакомились с ним в больнице на Соловках, где долго лежали в одной палате. Мне бросилась в глаза нервность движений его гибкой, высокой фигуры. Мое же искреннее восхищение "Цыганским табором", прекрасно сделанным им в больнице, расположило Владимира Александровича ко мне, и мы стали друзьями. Занимая более устойчивое положение на Соловках, я взял его под свою опеку. С большой грустью вспоминаю сейчас наши "пиршества" в маленькой моей комнате. Кипятили воду, выкладывали на стол кусочек сахару, пайку ржаного хлеба и что-нибудь из полученных посылок. Заброшенные на далекий остров, оторванные от близких, низвергнутые на самое дно человеческих переживаний, в эти часы мы жили полными чувствами радости и возмущения. Видя его неприспособленность к "прекрасным" особым условиям тамошней жизни, я никогда не выпускал его из поля моего зрения, и когда вылетел на материк в марте 1932 года, я вытащил туда и В. А., мотивируя это его замечательными способностями. В начале 1933 года, когда у нас появились новости с досрочным отъездом инвалидов, я убедил его пойти на комиссию, в результате чего В. А. получил возможность уехать. Его работу я узнаю из тысяч подобных работ, и когда мне попало в руки издание "Евгения

Онегина", я был крайне взволнован, увидев первую иллюстрацию — это он! Я решил искать фамилию художника и не ошибся. Я начал искать его самого и нашел.

Вы не поверите, что для меня первое письмо от В. А. было огромным счастьем. Во В. А. была замечательная черта большого товарища. Он очень любил хлопотать за людей, устраивать их, испытывая при этом внутреннее удовлетворение. Среда, которая окружала В. А. на Соловках, очень ценила его способности, относилась к нему с уважением, оказывала ему всяческое внимание. Во втором и последнем письме ко мне В. А. писал "о тяге к северным широтам, о грусти по ушедшем и, быть может, неповторимом во всю жизнь, о тоске по суровой красоте". Ваше печальное письмо ошеломило меня. Я подавлен горем. В полумраке надвигающейся ночи щемящее сердце пило тоску по невозвратным надеждам. Я посылаю Вам "тяжелые строки". В них одно достоинство — глубокая скорбь об ушедшем друге:

Ползет бесшумно полутьма.
Сжимая душу черной лапой,
Над строчкой траурной письма
Застынь слеза моя, не капай!
Тяжелый мрак осел вокруг.
Крадется хищным зверем рядом,
В твоих когтях погиб мой друг
С прекрасным сердцем, чистым взглядом.

Я вновь один. В огне тоски
Бреду сквозь ночь, теряя силы.
Что давит душу, как тиски.
Скрежещет по сердцу, как пилы.

Хохочет ночь под ветра пляс,
Гуляет горе по пустыне.
Вот почему во мне сейчас
Живая кровь по жилам стынет.

Прощай, прощай, тебя уж нет.
Ты скрыт холмом, остыл твой разум.
В глухой дали скорбит поэт.
Ушел таинственно и сразу.

Но я приду, приду к твоим полям,
Чтоб вспомнить жуткую невзгоду.
Сухую корку пополам,

Из кружки общей пили воду.

Да, я приду, чтоб в этот день
Сказать тебе, сжимая руки:
Пришел из русских деревень.
Храня их чаянья и муки.

Принес с собой из городов
Все, что не додала эпоха,
И буду я швырять свой зов
Вплоть до последней капли вздоха.

Кряхтит земля, по швам треща,
Зверей двуногих рыщет злоба.
Но ты — далек. Прости… прощай!
Я память сберегу до гроба.

Простите за чрезмерно длинное письмо, мне и сейчас не хочется отрываться. Я бы просил, если есть возможность, прислать мне его фотографию. А.Македонский».

9 мая. Лихоносову. «Милый Митро! Сегодня мой день начался с визита мамаши Тамары Константиновны. Это причинило мне боли в сердце и создало тяжелое настроение на весь день. И не потому, что она приходит с требованием денег ко мне, а потому, что позволяет себе все время дурно говорить о Володе, дурно, противно, четким, спокойным тоном. По ее словам, Тамара Константиновна нашла в бумагах Володи указания, что у него имеются два текущих счета в банках. Я показал ей книжку Володи из сберегательной кассы с вкладом 5 рублей. А о другом счете сказал, что едва ли он тоже где есть, так как с конца ноября до половины февраля за два с половиной месяца совместной жизни с Тамарой Константиновной им прожито около 14 тысяч рублей, а других денег у него не было. На этом мы и расстались. Разговор велся холодно, но спокойно. У меня одно желание, чтобы эти люди не приходили ко мне. Мне нужно стряхнуть их из своего сознания. Это мешает мне. Я еще в Алабине, когда Володя был на Соловках, начал писать книгу о нем. Ее забрали у меня при обыске. Сейчас я начну ее вновь, но для этого нужно, чтобы эти люди не приходили ко мне. Меня оскорбляет их вид, их речь. Я переносил их для Володи, для себя же терпеть не стану».

13 мая. Вчера я свез плиту и решетку на могилу Володи. Люди, помогавшие мне в этом, попались мирные,

доброжелательные, и все прошло хорошо.

15 мая. «Милый Митро! Не считай меня за задиру и глупца. Если бы эти люди вели себя прилично, и алчность не затмила их достоинство, мы, конечно, договорились. Вчера я был у юриста, и он сказал мне: "Гоните их от себя. Вы ничего не должны им давать. Деньги, переданные Вам Владимиром Александровичем, расходуйте, как считаете нужным. И непременно выступайте с Вашими правами на его художественное наследие. На худой конец, если не получите, то не получат и они, а права перейдут государству. Гоните их вон". Вот тебе программа действия. Они хотели ощипать курицу, прежде чем она закудахчет. Это им не удалось».

18 мая. «Дорогой М. М.! Все время думаю о Вас и продолжаю тяжко переживать горестное событие. Я любила Володю за его тонкую идеальную душу и столько перечувствовала разных этапов в его многострадальной жизни, что он стал и мне дорог. Ну, а затем и Ваше состояние страшит меня. Чем и как заполните Вы на склоне Ваших лет создавшуюся пустоту? Ведь лучшее Ваше "я" было отдаваемо Володе. И вот одиночество… Тяжко. Если слова человеческие, жалкие и беспомощные, могут все же дойти до души другого, то пусть эти строки напомнят Вам о далеком, но верном друге. Наталья Вревская».

24 мая. «Милый Митро! Был "отчим". Поговорили с ним спокойно и твердо. Я сказал, что посмотрю, как они будут вести себя и, сообразно с этим, поступлю. На его заявление, что я не должен был по закону тратить на похороны Володи больше 300 рублей, я спросил его: "Сколько раз и поскольку Вы брали у В. А. в долг и заплатили ли Вы ему что-нибудь?" Это его смутило, и смяло его наступление. Ну, не об этом мое письмо. Седьмого июня мне назначили в НКВД визитацию для получения моего архива, забранного в Алабино в 1933 году. Там много писем и рисунков Володи. Можешь понять, как нетерпеливо буду я ждать этого дня. Могила Володи приведена в порядок. Тридцать первого, в сороковой день его кончины, заказана обедня у Ильи Пророка, где его отпевали. Все там его помнят и особенно тепло ведут себя. Выходные дни я провожу у его могилы. Мне там всего легче. Приезжаю рано утром, уезжаю поздно вечером. Кладбище, обычно, совершенно безлюдно. Я работаю у могилы, читаю, лежу, и мне спокойно. Единственное место мне бы теперь на земле — это в монастыре. Мысль о самоубийстве — это не по мне. Я не люблю это слово — "самоубийца". А в моем возрасте кончать с собой — это просто неприемлемо. А вот зачем сердце переживает такие потери, не знаю?! Но знаю одно, что если ты обязан жить, то надо жить с достоинством и никому не в тягость. Я это и делаю

по мере сил. И еще одно. Никогда не нужно замазывать свои ошибки и в твоих поступках, планах и намерениях обвинять людей. Я вижу теперь ясно, что детскость Володи была мудрость. Моя же мудрость оказалась суетою и безумием перед Богом.

Ну, довольно.

В открытую дверь террасы я все еще жду его».

26 мая. «Как бы мне хотелось сказать Вам, дорогой печальный друг, хоть какое-нибудь слово утешения. Но таких слов нет, ибо я знаю, очень хорошо знаю, что нет и самого утешения. Потеря любимого — такая потеря безутешна. Это не горе и скорбь, боль души, которую излечивает только сама же смерть. Я особенно остро ощущаю свое сочувствие Вашей скорби теперь, потому что перепогребение праха моей дочери, равное почти надругательству над ней, разбередило мою душевную рану. И вот я понимаю, как Вам больно и скорбно, и не могу Вас утешить. Я могу сказать лишь одно: без веры в Бога, без надежды в загробную жизнь, как можно перенести это горе? Вот Вы как-то спрашивали меня, как же я верю, несмотря на массу непримиримых, казалось бы, противоречий в учении церкви? Противоречий, против которых будирует дрессированный в науке разум? Пусть эти противоречия будут в тысячу раз больше и абсурднее — я верю, и эта вера дает мне несокрушимую силу, чтобы переносить все тяготы, скорби и горе жизни, и дает мне надежду на свидание с моими ушедшими детьми, друзьями, родными и близкими, без которых жизнь на земле потеряла бы все свои краски, все свое очарование. Вы скажете — это наивно. Пусть так! Но отнимите меня эту веру, и я не могу жить ни одного часа. Смущает меня одна лишь мысль, что если я не сумею прожить свою жизнь так, чтобы заслужить на Божьем суде это счастье свидания в загробной любви. Тогда в самом бессмертии мои страдания будут страшнее здешней жизни. Я боюсь Божьего суда, но я всем сердцем хватаюсь за идею прощения, вложенную в таинство исповеди и причастия, и верю в милость "от века и до века к боящимся Его". И вот мне Вас жаль вдвойне, так как я знаю, что для Вашей скорби нет забвения. Девять лет прошло со смерти Веруши, а и до сих пор я постоянно слышу, как кто-то в моей душе все время горько-горько плачет. Суматоха обыденной жизни отвлекает внимание от этого плача, но как только я остаюсь сам с собою, слышу ясно, как плачет моя душа, и у меня на глазах слезы. То же, конечно, испытываете и Вы. Уже одна фраза Ваша в конце письма, "я рад, что горе пало на меня", одна эта фраза говорит, как Вы страдаете. Бедный друг! Ищите утешения в Боге. А конечно, Вы правы — Володя счастлив тем, что рано ушел из жизни, что вовремя закрылись его ясные детские глаза. Он,

бедняга, тоже немало вынес надругательств над собою, и если умер примиренный, захваченный вдохновением художника, счастливый и внезапно, то ему можно позавидовать. Мир праху его, и царство небесное его душе. Целую Вас. Печкин».

В тот же день из Ленинграда.

«Чтобы не плакать на людях, я должен писать тебе. Мои слезы — это, конечно, больные нервы, но мои мысли — это опыт личной жизни. Мы недостаточно берегли Владимира Александровича, а такие люди и для своей жизни, и для своей работы нуждаются в более берегущей человека обстановке, чем рядовое большинство. И беречь его мы должны были для себя. Сейчас у меня такое ощущение, что мне будет очень трудно, если я не найду замены того, что мне давало художественное творчество В. А. Лучший музыкант, лучший артист исполняют чужие композиции, художник же творит свое, новое, оттого так жадно ожидал я всегда результатов работы В. А. Заменить человека и своих переживаний с ним нельзя. Все другое будет иным. Но восполнить переживания, утраченные с творчеством В. А., надо, чтобы горечь его потери была непереносимой. Тебя иногда утомляли житейские заботы о В. А… Я не был обременен ими, и потому имел от общения с ним то, чем он делился, видимо, не с каждым, и что чаще всего носил в себе, мучаясь им, под внешностью иногда наивной, иногда беспечной и беззаботной. Какая обманывающая внешность! Один раз он пришел ко мне с фельетоном "Правды" и поразил меня вопросом: читал ли я его? Я был поражен, потому что думал, что он вообще ни в какие газеты не смотрит, тем более, как в "Правду". Из прежних бесед я уже знал, что "мировые вопросы" занимали его, но полагал, что заползают они ему в голову иным способом, помимо его сознательных желаний. И… вдруг покупка и чтение "Правды". Много надо поработать еще врачам и организаторам общественного уклада, чтобы создать обстановку, которая, возможно, надежнее охраняла бы таких людей и не убивала бы их о рельсы на узкой насыпи. Пожалуйста, пиши. Лихоносов».

27 мая. От него же. «Очень тебя прошу — приезжай ко мне дня на два, на три. Пошагаем молча по окрестностям, а если это будет 31 мая, вместе отстоим обедню сорокового дня. Мне это самое необходимое сейчас. Думаю, что и ты поступишь мудро, если не размышляя, оставив все суетное, как бы оно не казалось трудным и невозможным, последуешь зову души моей».

28 мая (из дневника). Буду верить, буду верить. Истек срок скитаний его души по мытарствам, и молюсь «о неосужденно предстати ему у страшного престола Господа Славы, о вселении его, иде же присещает свет лица Божия — в месте светле, в месте

злачне, в месте покойне, иде же все праведнии пребывают».

29 мая. «Милый Митро! "Нужно было беречь его". Боже мой, как это было трудно силами одного человека. Я не могу и не хочу никого укорять. Но когда я просил тебя поселить его у себя в Головинском, ты дважды отказывал мне в этом. Когда в Ленинграде зимою 1934 года Володя был беспризорен, кто приютил его из моих друзей, живущих там? Прошлым летом я должен был направить его в Воронеж, потому что ему негде было приклонить голову, а у меня по доносу милиция ловила его. Да что говорить, я попал в тяжелую полосу жизни по возвращении в Москву, и она лишила меня его. Я часто изнывал под бременем неразрешимых задач с Володей и разрешал, как мог и как считал лучше. В Загорске ему было хорошо, но я должен был бояться "пути", и я боялся их и говорил с ним, и предупреждал его.

Не нужно впредь говорить об этом».

В тот же день. Сегодня посидели у меня, не зажигая огня, доктор-психиатр Аронсон и Ирина Сергеевна Татаринова. Первый узнал Володю совсем недавно и привязался к нему. Вторая — друг Володи со школьной его скамьи 1918 года. Разговор был прост, непринужден и занимателен.

Ирина Сергеевна в революцию потеряла свою сестру, с которой вместе выросла, но никогда после похорон не побывала у нее на могиле и теперь не знает и забыла, где эта могила. Вот как разны люди, даже в любви и памяти к умершим.

30 мая. Архангельск. «Дорогой М. МЛ Получил Ваше письмо о Володе. Благодарю Вас. Но как стало больно, как тяжело. Какой это ужас, жестокий, несправедливый, к молодой, талантливой жизни, только что нашедшей свой путь и так страшно оборванной. Поверьте, дорогой мой, что я всею душою с Вами и в сороковой день его ухода от нас переживаю то, что чувствовали его друзья 19–20 апреля.

Как важно сохранить его художественное наследие. Я знаю, что Вы это сделаете. В Москву я собираюсь приехать в начале июня и очень хочу побывать с Вами в Загорске и положить цветочек на его могилу. До скорого свидания. Борис Молас».

В тот же день. «Милый Митро! Был у меня доктор Аронсон. Он пришел в ярость, когда я ему сказал о Тамаре Константиновне и "наследстве". Он давно уверял меня в том, что Т. К. играет самую тяжелую роль в жизни Володи, и самое его состояние последнего времени он относит на ее счет. Я раньше заступался за Т. К., и теперь он меня попрекает этим. Он взял с меня слово, что при малейших "неприятных движениях" Тамары Константиновны, отчима и мамаши я дам ему знать для каких-то его активных выступлений по этому делу. Аронсон предлагает

выпустить совместно книжечку о Володе "на правах рукописи". Это, будто, возможно. Поговорим. Сегодня я уезжаю в Загорск на два дня. Горюю, что тебя нет со мною».

Тридцать первого поздняя обедня у главного престола церкви Ильи Пророка в Загорске. Служил маститый священник, отпевавший Володю. Он плакал и тогда, поплакал и сейчас вместе со мною.

Пели 5–6 человек, и пели отлично старым напевом «обыденною». Это сильнее всякого другого пения. Церковь была пуста, и это было чудесно. Посторонних было 3–4 человека, да нас человек 6, в том числе сестра Люба, дамы-хозяйки Володи и Калужанка. После прошли на кладбище. Весна одела его в чудесный зеленый покров. Могила Володи в порядке. Переночевал я у Любочки в Вифании — теперь это «Птицеград», а на следующий день посидел в комнате Володи, собрал его вещи, одарил всех в доме и вернулся в Москву продолжать жизнь без него, но с ним.

4 июня. Смоленск. «Зайти к Вам попрощаться не успела. Теперь, когда в чужом городе я чувствую себя, как в пустыне, постоянно возвращаюсь мыслью к Владимиру Александровичу и его скитаниям.

Здесь, в Смоленске, квартирный кризис еще острее московского. Памятник Глинке цел. На памятнике же героям 12-го года все барельефы сняты, уцелел только чудный беклемишевский витязь с двумя орлами. Глупее всего здесь выглядят, при пустых улицах, фигуры милиционеров на "пьедестале-фонарях", которые в Москве приняты только в местах усиленного движения. Такое головотяпство! Бедняги радуются, если на горизонте показывается автомобиль, но это бывает не часто. Вот унизительная для человеческого достоинства никчемная затея! Новостью же для меня были хлебные очереди и разговоры о них колхозников и городских жителей, кто из них имеет больше права на покупку хлеба. Елена Аносова».

7 июня. «Милый Митро! Приехать к тебе сейчас не могу, да это и не нужно. Ты скоро будешь здесь, и мы с тобою как-нибудь утречком уедем в Загорск и там у Володи посидим, полежим на пригорочке и поговорим. Еду захватим с собою. Уединение, природа и несвязанность ни с кем и ни с чем очень хороша. На поездку же к тебе я сейчас совсем неспособен. И потом, мне нужна моя работа, она дает мне большое утешение. Я вижу людей страдающих, мне самому больно, и между ними и мною устанавливается незримое взаимодействие и понимание, так что ты уж прости, не жди и приезжай сюда. Да, кроме того, у меня масса начатых Володиных дел. Все они требуют многих трат, и

тратить на себя мне сейчас ничего нельзя. А что касается моих строк об уединении в монастыре, то напрасно ты их так остро принял. Монастырь с детства действовал на мое воображение многими своими сторонами и тянул к себе».

9 июня. Муром. «Трудная, мучительно трудная вещь — жизнь. Сегодня я нахожусь под тяжелым впечатлением прочитанной в "Правде" статьи о Дмитрии Дмитриевиче Плетневе. Какой ужас! Голова кружится, когда подумаешь, в какую пропасть позора свалился этот человек. Мне приходилось с ним встречаться, и мне его глубоко жаль. Вот уж именно "Sic transit gloria mundi". Если увидите Славского, поцелуйте его. Какие вы оба бедные, и какие дорогие для меня люди. Печкин».

10 июня. Тамбов. «Милый и дорогой Мишенька! Спасибо, родной, что вспомнил и написал письмо. Я так была ему рада и наконец узнала, что Вы все живы и здоровы. Спасибо за приглашение приехать к Вам. Страшно соскучилась о всех Вас и хочется повидать. Живется нам неважно. В маленькой комнатушке тесно ужасно и неудобно, а особенно теперь с ребенком. У Зины есть дочка, уже четвертый месяц, звать Ольгой. Только что родилась и пришла с матерью из больницы, а у нас, у хозяев, двое детей больны корью и коклюшем. И вот напал коклюш и на нашу крошку и так ее забивал, что делалась неживая и два месяца мы не знали с ней покою ни днем, ни ночью. Думала, что слягу от переутомления, но ничего, здорова, только ужасно стала худая, на себя непохожа и старая, сама себя пугаюсь. Словом, живется неважно, часом с квасом, а порой с водою, как говорит пословица. Спасибо дочкам, те нас не оставляют, а то была бы "труба". Мишенька, передай привет сестрицам и братьям. Всех люблю, помню и часто-часто вспоминаю прежнюю жизнь. Сестра Паша».

22 июня. Магадан. «Дорогой М. М.1 Что-то Вы замолчали. С открытием навигации начинается тоска по родине. Каждый из отходящих пароходов увозит людей, с которыми прожиты эти годы. Постоянно приходится переживать горечь разлуки. Я здесь теперь один из самых старых и засидевшихся колымчан. 24 июля будет ровно четыре года, как я вступил на колымскую землицу. Самое удручающее тут — это климат. До сих пор не распустилась как следует зелень. Туманы, холодный ветер и люди в зимних шапках и шубах на улице.

Что же делается у Вас? Может быть, Вы осуществили свою мечту и купили себе дачу, и вернулись алабинские дни? Как жалко, что не все так разумно и просто смотрят на жизнь, как Вы. Легко бы тогда жилось. С ужасом думаю о том, что старых друзей и привязанностей из-за долголетнего отсутствия растеряю, а

новых не приобрету и предстоит полное одиночество. Жду с нетерпением Ваших писем. Привет незнакомому знакомцу Володе. Ваш далекий, но преданный друг Сергей Коншин».

С Борисом Николаевичем Моласом были у Володи. До отказа забитый вагон. Мы взволнованы встречей и поездкой к нему. Внутренняя напряженность изолировала нас от толпы. Прошли на кладбище. Оно все покрыто цветущей ромашкой. Борис Николаевич рассказывал о Володе в Соловках.

Вчера с утра до позднего вечера пробыли с сестрою Анею у Володи. Был очень жаркий день. Мы спустились с холма в овражек у самой могилы и просидели там в зеленой траве много часов. Туда же подали нам и самовар. Перед вечером погуляли в поле и поднялись на курган, оставленный поляками после осады лавры в 1608 году. Вид оттуда чудесный и на лавру, и на кладбище с его маленькой круглой церковью, и у самого края холма далеко видна ажурная решетка Володи.

Бийск, Алтайский край. «У меня было много рисунков В. А., когда я уезжал из Соловков, но часть их у меня растащили, а затем в Свердловске украли все остальные. В память о нем у меня остались его оформления титульных листов и два фронтисписа. Один фронтиспис изображает, по-моему, его самого, сидящим с книгой перед камином, а за окном на черном фоне ночного неба пролетают снежинки (белый ливень). А на втором моя персона.

Пытаюсь ли я выбраться отсюда? Нет. Мой опыт говорит мне, что разве только слепой случай может выкинуть меня. А ведь мои однолагерники, т. е. те, кто имел хоть маленькое отношение к литературной работе, почти все в Москве. От В. А. Вы, вероятно, слышали о Казарновском, Гарри, Шарогородском, Могилянской. Казалось бы, чего проще и мне очутиться среди этого общества. Но в жизни это не так просто. А.Македонский».

5 июля (из дневника). Вернулся с кладбища. Хмурый день. Ветер. Набегал дождик. Невдалеке похороны с очень горьким плачем, и после этого ни души. Тоскливо безысходно. Печаль человеческой жизни обнажилась до основания. Уехал совсем больной, далекий от жизни, как никогда. А дома письмо от него, написанное Володей 28 марта и возвращенное «за ненахождением адресата».

8 июля. Читаю о В.С.Соловьеве. Где взять ту веру, которой он жил и которой служил? Умирая, В. С. сказал: «Трудна работа Господня». Но как еще труднее жизнь без Хозяина. Искап, его и не находить его.

12 июля. Калужанка по моей просьбе нашла дочь Володи и Зои Сергеевны Патрашкиной. Ей 15 лет. Очень похожа на Володю. Детский паралич исковеркал ей одну ножку. Живет она с

бабушкой. Я переслал ей деньги. Калужанка же передала мне, что бабушка не хочет портить жизнь девочки отцом, бывшим в ссылке. Девочка — комсомолка.

17 июля. Сегодня соседи выехали из моей комнаты после года и четырех с половиной месяцев неприятностей. Итак, кто-то сказал: «Ждать есть великая мудрость, конечно, если человек не засыпает при этом душою, а устремлен к цели». Мудрость ли? Гершензон пишет в «Ключе веры»: «Благ и чудесен неотступный ход науки, дающий человеку власть в малом круге, но этот круг обставлен "тьмою, где Бог". О ней забыл современный человек, упоенный научностью, и так упорно его самообольщение, что хотя неведомое поминутно нарушает его расчеты, он не видит знамений, но опомнившись, тотчас начинает строить вновь. Он поглощен заботой: вычисляет и мерит, кладет кирпич на кирпич, скрепляя цементом, трудится без отдыха, не поднимая головы. И вдруг низвергается молния, или силы, дремлющие в недрах, внезапно оживут и двинутся, покорные тайному велению: рушится Лиссабон от землетрясения, идет ко дну великолепный, тщательно обдуманный "Титаник", или в самом человеке родится необъяснимая страсть, и, обуянный ею, он кинется в добровольный костер. И ежеминутно роковая случайность — болезнь и самая смерть…». Что мне прибавить к этому? Все страдания за комнату для Володи, а Володи вот и нет.

24 июля. Смоленск. «Меня тоже потрясло известие, что письмо Володи пришло после его смерти — письмо после последней и вечной разлуки. Я очень понимаю Ваше состояние смертельной тоски, когда все сосредоточено на дорогом ушедшем. Ведь даже один факт смерти создает в нас совершенно необоснованное чувство своеобразной "вины" перед ушедшим за то, что мы живы, а он нет.

В таких случаях надо читать книги оптимистические и возвышенные, подходящие к "масштабу вечности". Как успокоительна мысль, свойственная всем временам и эпохам, лежащая в самых глубинах, в самых источниках человеческой души — "обожествление умерших, претворенное в наше время в чествование их памяти, в делах и поступках во имя их". И вместе с тем, жизнь должна тысячами нитей возвращать человека к жизни. И мое желание, чтобы Вы не противились этому буйному стремлению жизни. Есть такое немецкое стихотворение:

Ich grabe im Herzen tiefes Grab
und senke dem toten Freund hinaus.

Я вырываю в моем сердце глубокую могилу

и опускаю в него мертвого друга.

Мой первый отдых за долгие годы протекает внешне в неприглядных условиях. Комната моей приятельницы ужасна, но человеческое окружение искупает все — такой силы идеализма и духовной энергии человека встретить нелегко. Ей 64 года, она очень худа, но легка, жива, подвижна. Перспективы замены мною на июль приятельницы на работе лопнули — всюду мешает коротенькое словечко "бди". Как видите, положение мое незавидное. Елена Аносова».

26 июля. Магадан. «Грустно и обидно, что не могу быть около Вас при постигшем Вас горе, и грустно, что это письмо не скоро дойдет до Вас, чтобы быть Вам своевременно хоть маленькой поддержкой. Думая о Вас, меркнет все то, что кажется мне тяжелым в моей жизни. Хочется верить, что Вы смиритесь с неизбежностью судьбы и найдете себе в жизни утешение. В жизни все идет своим порядком — придут радости и сотрут горе. Благодарю Вас за программу концерта Игумнова, "Это Ваша трогательная забота и память обо мне. Я же рад, что могу быть тем, с кем Вы делитесь своим горем. Не унывайте, дорогой. Сохраним светлую память об ушедшем и ради этой памяти будем воспринимать от жизни только ее хорошие стороны. С.Коншин».

В тот же день. Белев. «Часто вспоминаю Вас. Захотелось написать. Пользуясь свободой перемещения безработных, мы поселились на лето в Белеве. Живем на окраине с обширными садами, на высоком берегу Оки. В трех километрах от Белева село Мишенское — родина Жуковского. Дом, в котором он родился, разрушен, церковь полуразрушена. Сохранилась часть парка, флигелек. В городе сохранился домик, где жила его мать и где Жуковский бывал наездами. Улицы, кроме главной, поросли травой. Жизнь как будто остановилась. В базарный день окрестное крестьянство, такого же облика, как 30 лет тому назад, везет свою "продукцию" в город и покупает здесь черный хлеб. По утрам, от 6 до 8, я провожу время в очередях за ним и наблюдаю местную жизнь. Интересно, какой облик имеет Ваш Острогожск и ему подобные города, так ли они порастают травою, как и Белев? Осенью хотелось бы проехать с Вами в Загорск. Часто вспоминаю погибшего Володю на заре его новой жизни после многолетних скитаний. Все же смерть его так необычна. Сердечно преданный, Петр Осадчий».

30 июля. Смоленск. «Спасибо за быстрый ответ. Я еще со времен незабвенных дней Медвежьей Горы, слушая Вам письма от пациентов и знакомых, мысленно сравнивала Вас с Гладстоном,

который не оставлял неотвеченным ни одного письма даже самого юного школьника. Во всяком случае, это те же добрые традиции джентльменства.

Видела колхозницу в очереди за хлебом, которая жаловалась, что с трудом продала, чтобы купить хлеба, за 6 рублей свою "мокрую курицу": "Она, бедная, мокрая вся, дожди, и два дня не кормленная. А все говорят: куда шесть рублей, плоха твоя курочка". С работой постоянной ничего не выходит, но урочками немецкого языка я обросла. Имей я здесь жилплощадь, могла бы зарабатывать уроками языков. Так всегда, — где есть заработок, там нет комнаты, а где, как в Малоярославце, есть комната, там нет труда. А с Плетневым что-то страшное: так много помоев, и вдруг 2 года условно. Точно не в тот бубен ударили сначала. Е.Аносова».

14 августа. Смоленск. «Теперь, когда понизилось у многих от всего пережитого чувство ценности жизни, я вспоминаю, как отнеслись немцы к смерти Артура Никита. Говорилось, что он вернулся на истинную свою родину, откуда приносил нам истинную музыку. Одна из речей оканчивалась: "Er hat das grosse Geheimnis des Todes enschaunt" ("Он узрел великую тайну смерти"). Так сильна у них вера, что познавательный аппарат внутреннего сознания остается и смертью не разрушается.

Володя оставил после себя память и своим творчеством, и жизнью в сердцах тех, с кем он встречался и которым он уделял часть своеобразной своей души. По-иному, но по светлости облика его можно сравнить с князем Мышкиным по тому впечатлению своеобразия и необычайности, которое он производил на людей. И все же я думаю, что Вам следует провести свой отпуск не в Загорске. Но я отношусь к другому типу людей. Для меня кладбища и могилы меньше связаны с личностью ушедших. Они всего ближе мне в моей комнате или на природе, даже во сне. Елена Аносова».

16 августа. Загорск. Кладбище. Жаркий ясный день, освежающий ветерок. Желтеющие нивы. Последняя работа на полях. Неспешная походка проходящих. Невдалеке копают могилу «повесившемуся». Это третий за месяц.

Тишина, птиц не слышно боле…

Четыре месяца назад я видел Володю последний раз. «Следы человеческой жизни глохнут очень скоро», — как хорошо и верно сказал это Тургенев, и как это со страшной очевидностью чувствуется у свежей еще могилы. Все кончено, ничего не осталось, ничего.

Вечереет. Чудесно заканчивается чудесный день. Тепло, ясно, красочно. Молчаливо и торопливо опустили в могилу гроб. Четыре-пять человек. Посыпались глыбы земли, сначала гулко, потом все глуше. Никто не поплакал.

Никто не поплакал горько и больно, когда опускали Володю в могилу — молча, оглушенно, и так же вечерело. Гроб закрыли в церкви. Там были произнесены и последние слова. А затем молчание всю дорогу и потом. Володя во многом опережал меня — в покупке книг, чем-либо замечательных, в манере повязывать галстук, часто в улавливании новых течений жизни, в тюремном стаже и ссылке, и наконец опередил и в смерти. А я грозил ему «христианским погребением и венчиком на лбу». Я и положил его ему. К нему все шло. Пошел и венчик. Он и глядел в нем царевичем.

9 сентября. Ленинград. «Дорогой М. М.! Я был настолько занят, что не мог собраться поблагодарить Вас за "Еврея" Фейхтвангера. Впрочем, я ожидал большего. Длинно и скучно. Если я соберусь приехать на конкурс, напишу заранее. Моя жизнь здесь постепенно налаживается. Работаю много и с настроением. Не думайте, что этот подъем обусловлен конкурсом. Отнюдь нет. "Чемпион в музыке" — нет, очевидно, это не по мне. В сущности, если вдуматься, в этих конкурсах есть что-то унизительное для музыканта, и мне не хотелось бы ехать "состязаться". Юрий Бубликов».

В 1930 году Сергей Коншин привез мне в Алабино ученика консерватории Жоржа Бубликова. Был он юн, высок ростом, красив, даже эффектен, и отлично играл на рояле. Мальчик прижился и стал сам наезжать в Алабино. В Москве он жил один, и жил плохо. Об отце долго ничего не говорил, пока не приобрелось доверие. Он оказался арестованным и в лагерях. Жорж очень скрывал это несчастье своей семьи, и везде в анкетах показывал отца умершим. Иначе и поступать было нельзя. Время требовало осторожности, выдержки и благоразумия, и ни для чего другого, а только для того, чтобы получить высшее образование или, в данном случае, музыкальное образование. Вечером, в день моего ареста в Алабине, Жорж приехал туда. Я много позже узнал об этом. И этот его визит в «страшный» дом в «страшный» день, заставивший его так много пережить, сделал его своим в нашей семье. В Медвежьей Горе я познакомился с отцом Жоржа, в прошлом — наш поверенный в Персии по торговым делам. Он имел 10 лет по одному из пунктов пресловутой 58-й статьи. Умный, деловой, спокойный человек. Мы сошлись и сами по себе, и на сыне. Летом 1934 года и Жорж приехал на М. Гору, концертировал, был неизменно умен, талантлив и приятен. После

моего отъезда из М. Горы отец Жоржа был направлен куда-то вглубь, подальше, и там очень быстро погиб от диабета. Жоржа эта смерть еще больше привязала ко мне. Казалось, наша дружба с отцом обязывала его ютиться около меня. Так дожили мы до весны 1941 года, когда Жорж окончил Высшую школу мастерства при Московской консерватории, блестяще играл на выпускном концерте и весело, молодо и самонадеянно собирался шагать в жизни дальше. Война. Призыв в армию и смешные, полные грации шутки Жоржа о том, как он будет «пах, пах», а они «будут падать». А военного в Жорже не было ничего. И все мы, его друзья и профессор Игумнов, называвший его «бывший Жорж, а ныне Юрий», очень скорбели о нем. Но время шло, о Жорже доходили хорошие, бодрые вести. Он оказался неплохим связистом. Весной 1944 года сидел я в ложе Большого зала консерватории. Дирижер Орлов изящно и весело вел вальсы Штрауса. Вошел Сережа Симонов и прошептал мне: «Убит Жорж». По телу поползли мурашки, онемела кожа на голове, а потом тут же обильно полились слезы. Мы вышли.

К живому человеку нужно быть внимательным, к умершему — справедливым. К Жоржу я часто был невнимателен, но к умершему хочу быть справедливым. Погиб чудесный музыкант, погиб настоящий человек по уму и таланту. И как я рад, что сохранились листочки его писем, и каким несчастным мне представляется человечество, убивающее таких своих сыновей. На что же оно может рассчитывать, и какая судьба его ждет?

10 сентября. Архангельск. «Бесконечно благодарен Вам за фотографии нашего незабвенного друга, которого я постоянно вспоминаю с самым теплым чувством и продолжаю оплакивать его безвременный уход от нас. Его портрет, кроме того, напоминает мне чудесные дни, проведенные мною у Вас в Медвежьей Горе, когда, несмотря на свое нездоровье, я был так счастлив быть у Вас. Часто вспоминаю и нашу поездку в Загорск и при этом люблю Вас. Борис Молас».

12 сентября. Ленинград. «Получил вчера от Вас телеграмму. Молчал об этом "из чувства страуса, сам себе боялся признаться". Адвокат Генкин, это один из лучших в Ленинграде, написал для меня ходатайство о снятии судимости. Получил письмо к Бонч-Бруевичу. Завтра получу письмо к президенту Академии наук. Мать, когда-то дружившая с Пешковой, дает письмо к ней. План мой такой: подам заявление о снятии судимости и обращусь в Наркомат за направлением на работу, затем обращусь в Академию наук. Если неудачно, то пойду в Советский контроль. Тут, по словам моего адвоката, успех обеспечен. Глеб Вержбицкий».

Бедный Глеб! Несколько слов о нем. Мы не виделись с ним с 1926 года, с Алабино. Он работал тогда в Пушкинском доме Академии наук и готовил диссертацию о П.А.Плетневе. Он был способен, остер, умен и многое обещал. Но арест и высылка в лагеря все изломали. Помню, как хорошо он изображал свою карьеру в университете. «Первый год я ходил по знаменитому коридору Петровских коллегий по стенке. Я был ничтожен и всего боялся. На втором году я перебегал зигзагом от одной стенки к другой, чтобы не пропустить какого-либо объявления о занятиях. На третьем году я шел уже по самой середине коридора, никого и ничего не боялся. Я уже знал, что мне делать и что я могу. А на четвертом году за мной шли уже толпой "подобострастники", или я слышал почтительно: "Это Глеб Дмитриевич"». А сейчас нет ему нигде ни места, ни работы. Перед этим приезжал он в Москву хлопотать о своей реабилитации, проситься на место учителя, газетного или журнального работника. Хлопоты вышли неудачными, и это его письмо явилось продолжением этих хлопот и ответом на мою телеграмму о «неудаче».

19 сентября. Вологда. «Дня через три отправляюсь на Медвежью Гору. Вот опять пытаюсь начать новую жизнь, которую по счету! Как хорошо, что я съездил в Москву. Встреча с Вами была для меня большой радостью и почти литературным фактом. Ведь Вы не только человек, которого я любил и люблю, Вы также персонаж моей повести "Голубые дачи". Над ней я работаю давно. Повесть эта о "Лебяжьем", о хороших, немного смешных людях, о соснах, грибах и морских камнях "пять братьев". Это мое (лакуна) от фельетонов, рецензий и прочих газетных дел. Наша встреча разрешила сразу одну из главных сюжетных линий. Я убедился, что шел в работе верным путем. Теперь о другом. Посылаю Вам рукописи. Будьте добры, пристройте их в Литературный музей. Материал, несомненно, ценный. Поэма "Солдатская жизнь" до сих пор, по-моему, считалась анонимной. На моем экземпляре указан автор, и кто он. Затем этнографические материалы: дневник слов сибирского купца, записи по народной медицине, хозяйственные и кулинарные рецепты. Кроме того, сборник романсов 1858 года, официальный документ 1820 года, и наконец литографированный сборник "Цеха поэтов" — "Новый Гиперборей", автографы и рисунки поэтов. Это очень редкая вещь — тираж всего 20 экземпляров. Думаю, что мои материалы будут куплены музеем. О цене не говорю — чем больше, тем лучше. Большое Вам спасибо за это. Ваш Глеб Вержбицкий».

23 сентября. Бухта Нагаева. «Я себя не чувствую счастливым, и мне Ваше горе понятно. Думая о Вас, я успокаиваюсь тем, что Вы среди людей Вам близких и родных. Если бы Вас постигло

такое несчастье в положении, в котором нахожусь сейчас я, было бы труднее его перенести. Пять лет я уже не знаю дома (за что?) и не имею угла, где бы мог отдохнуть и остаться сам с собою. Но тем не менее, я люблю жизнь, жадно вырываю у нее все, что можно, ловлю ее каждый теплый луч. Нужно жить, жить, любить людей, прощать им все пороки и слабости, не замечать зла, и будет всегда легко и отрадно. Как бы я хотел скорее увидеться с Вами и рассказать, что видел и пережил за это время. Этого не найдется даже в музыке Чайковского. Тот благословенный и счастливый день, когда я предстану перед Вами, всеми старыми друзьями, еще далек, но волнует меня сильно и вызывает сладкие мечты. Братья мои сейчас оба в отпуску. Маму же постигла неприятность моего порядка. Думаю, братьям очень грустно, и страдаю за них. Любящий Вас Сергей Коншин».

26 сентября. Уже неделю живу в Загорске, в доме, где жил Володя, но только в другой половине. Стоят чудесные осенние дни.

Каждый день, часам к четырем, я ухожу на кладбище. В это время оно пусто, солнышко идет к западу, прямо к изголовью Володи, и я, проводив солнышко, возвращаюсь к себе. По рекомендации М.М.Пришвина, жителя Загорска, нашел чудесного, всего в ласковых морщинках, иеромонаха лавры — садовника, и он посадил вокруг решетки березки и сплошной стеной боярышник. Какие мысли и чувства у меня на кладбище, не могу сказать. Смятение душевное не улеглось до сих пор, до сих пор мне трудно представить, что его нет, что я больше никогда его не увижу, что мне жить одному. Вчера приехал ко мне Лихоносов и побыл со мною у него. Два дня назад приезжала Александра Петровна и уже написала мне: «И место на кладбище, и плита, и решетка мне очень понравились. Все солидно и красиво. Но думаю, что ежедневные посещения В. А. должны Вас очень утомлять». А я решил прожить здесь до 19 октября, полугодовщины со дня его смерти.

28 сентября. Ленинград. «Сегодня вернулся из М. Горы. Ничего утешительного. Места я там не получил. Можете себе представить мое отчаяние. Я совсем растерялся. Прошу Вас написать мне, куда еще можно обратиться в Москве. Жена сидит в Вологде, ждет от меня ответа, а что я ей напишу? Я измучился и иду из последнего запаса. Выбился из сил. М. М., не сердитесь на меня за мою навязчивость, но мне по-настоящему тяжело. Прошу Вас написать хоть несколько строк. За рукописи в музее берите, сколько дадут, деньги крайне нужны. Десять лет мы не виделись, и вот я сразу же осадил Вас просьбами. Поймите мое отчаяние, у меня ведь почти готова книга, надо доделать два рассказа, а

потом и повесть на ходу. Неужели все так и бросить?! Ведь сколько вложено в эту работу. Простите за бессвязное письмо, но голова идет кругом. Ведь мне так немного надо. Ответьте поскорее. Глеб Вержбицкий».

5 октября. Идут тихие дни. По утрам перечитываю письма Володи и пытаюсь писать книгу о нем. Часам к четырем иду на кладбище.

Помощь моя Володе была постоянной, это правда, но никогда эта помощь не была «до дна», до «от всего сердца», всегда помощь была теплой, но не горячей, всегда с осмотрительностью. Вот в прошлом году, к осени, когда я мог взять уже отпуск, мне нужно было удержать его от женитьбы и, забрав с собой, уехать на тот же юг. А я… Впрочем, «что добровольным зовется на свете, а что неизбежным — не знаю». В.А.Жуковский по поводу смерти молодого Валуева написал: «В смерти есть что-то магическое. Сорвав с души тело и бросив его в гроб, она вдруг, как будто, снова по совершенно иному знакомит с душою ушедшего». Должно быть, в этом-то и заключается вся причина «поздних сожалений».

Вечер сегодня был исключительно тепл и тих. Я пробыл на кладбище до глубоких сумерек, много работал там, очень устал и тихо-тихо брел домой. Улицы полны ребятишек, детского гама и шума. Но Боже мой, как далеко это и чуждо душе моей, пораженной смертью.

10 октября. Испортилась погода. Хмурое, осеннее небо. Дождь. В доме холодно, неуютно и пусто. Дует изо всех щелей. Душа моя больна письмами Володи из Моршанска, его голодною, нищенскою жизнью, службою на кирпичном заводе и всем изяществом его ду ховного облика. Пора возвращаться в Москву. Пора.

12 октября. «Дорогой М. М.! СССР спешит, спешит, надеясь перегнать Европу и Америку. А письма из Москвы до Алабина не спешат. Ваше письмо совершило длиннейшее путешествие, побежало даже в Курскую область и добралось все-таки до меня. Живу как-то. Вашему приезду буду очень рад. Приезжайте посмотреть, как не стоит на месте жизнь даже в Петровском парке. Жму крепко руку. Славский».

18 октября. Весь день с одним событием, с одним явлением в душе. В полумраке раннего осеннего утра, во сне и не во сне что-то мучило, что-то переживалось с Володей. Я открыл глаза, и в одно мгновенье, один лишь миг я увидел его присутствующим у моего изголовья. Его тут же не стало, но я успел его увидеть и почувствовать. Я был потрясен, так это было «на самом деле», но только лишь один миг. «Открыл глаза, увидел, и его не стало».

21 октября. Позавчера в 6 часов утра пошел к ранней обедне у Ильи Пророка. Утро было чудесное, в церкви немного народу, и особенно трогательна служба буден. В церкви все знают меня, помнят Володю, и все помолились о нем со мною тепло и сочувственно. Исполнилось полгода со дня его смерти. В этот же день к вечеру вернулся в Москву. День 19 октября я почитаю каким-то рубежом в своей жизни. Не должно быть такого сосредоточия на одном, оно должно остаться, но не преимущественно, это против законов жизни, и я должен подчиниться этим законам, ибо должен жить.

«Со смертью мы отходим к Богу, под Его крыло. Из-под этого крыла мы вышли на свет и под него укроемся. Да будет» (Андреевский).

24 октября. «С тех пор, как мы виделись с Вами, я объездила в поисках работы и жилища целый район вокруг Александрова и все напрасно. "Чужака не берут". Так добралась я до Малого Ярославца и поселилась здесь в комнате за 35 рублей в месяц. Но это одна сторона дела. Есть другая — отсутствие заработка. Одиннадцать лет я уже протягиваю всем своим друзьям руку за подаянием. А я могу работать — и переписка, и статистика, и языки. На последние здесь меньше всего надежд, так как местные учительницы подверглись чистке, и разумеется, все частные уроки перешли к ним».

25 октября. Куйбышев. «Опять неудача. Здесь можно устроиться только на строительство за городом, жить в избе или бараке. Ни о какой литературной работе не может быть тогда и речи. Приняли меня здесь прохладно. "Смотреть в брови" как-то унизительно и боль но. Прошу Вас добыть деньги в музее. Брожу по городу. Такая тоска. Получу деньги, уеду в Керчь, к Наташе. Вместе все легче, да и комната там есть. А здесь из милости у совершенно чужих людей.

Город очень подновился. Полноводная матушка и проч. и проч. — Волга течет, как на картине. Да что толку в этом для меня? Глеб Вержбицкий».

Ленинград. «Дорогой М. М.! Глебу действительно трудно. Вся наша "система" не по нем. В 20-х числах ноября буду в Москве на совещании в Протезном институте, где я состою консультантом после моих работ над собою. Наша "монолитная" семья тихо, но верно расползается по швам. Собственная моя жизнь сложилась неудачно, и писать об этом не хочется. Перенес недавно две операции и восемь месяцев пролежал на койке. Подвижность, благодаря тренировке и весьма несложным приспособлениям, я приобрел почти нормальную. Сейчас работаю разнообразно и, пожалуй, интересно. Борис Вержбицкий».

Куйбышев. «Простите, что надоедаю Вам. Когда же музей выплатит деньги, и Вы пришлете их мне? Здесь я не устроился, надо ехать в Керчь, а на билет у меня нет денег. Здесь я измотался, прожился, и меня охватило безразличие ко всему. Спасает немного прекрасная библиотека. Там хороший кабинет для научной работы: лампы под зелеными абажурами, мало народу. Читал воспоминания В.Давыдова и старые театральные журналы. Глеб Вержбицкий».

7 ноября (из дневника). Хмурый, невеселый день. Праздничная сутолока, пустота и скука. Я не выхожу, спасаясь от всех и вся дома. Вернулся к работе. Встретили меня ласково и комплиметарно. Это ободрило меня. Я немного волновался после полуторамесячного перерыва в работе. Приезжал за это время два раза Глеб Вержбицкий. Он мечется в поисках работы. Вчера вечером у Игумнова. День смерти Чайковского, и Константин Николаевич чудесно сыграл несколько его вещей. Тридцатого был у Володи. Выпал чудесный день, и я много часов оставался у него. Подошли девочки с вопросами: кто похоронен, и не в камне ли лежит похороненный? Между прочим, одна девочка шустро сказала: «Вот все говорят, Бога нет». Другая же перебила: «Ну, как нет, я сама Его видела, как Он по церкви ходит». С кладбища в сумерки прошел к церкви Ильи Пророка. Синело небо. Церковь была еще заперта. Кругом ни души. Тишина. Потом пришли женщины, открыли церковные двери, по церкви замелькали огоньки. Женщины делали свое большое дело. Для меня эта церковь — последняя ночь на земле Володи.

9 ноября. Магадан. «Пишу Вам последнее письмо из Магадана, так как покидаю его и свою любимую работу и музыку. Предстоит работа, развивающая мускулы и закаливающая здоровье. Тревожусь за Вас. Здоровы ли Вы, и не изменило ли Вам благополучие? Мое здоровье как-то так себе. Годы непомерной работы без отдыха, с недоеданиями и недосыпаниями все-таки сказываются, так что может быть, и к лучшему происходящая перемена. Жизнь трудна и сложна, а все же прекрасна, и "неожиданную радость обнимем мы не раз". Итак, от рояля к кирке и тачке, а потом, может быть, стану лекпомом или поваром.

Мужу надо быть отважным —
Меньше слез и больше дел.
Против горя и напастей устоять твердыней надо,
Часто смертный безрассудством омрачает свой удел.

Всегда любящий Сергей Коншин».

11 ноября. Ленинград. «Дорогой Миша! Последняя беседа с

то бою в Москве удовлетворила меня, и я уехал успокоенным за то, что мы вместе будем проходить жизненный путь до часа, положенного каждому из нас. На праздниках читал историю Острогожска Склобовского, данную мне тобою, и переживал свою жизнь в нем, зало жившую добротные устои. Глава о религиозности и нравственности скудна, как скудна была практическими мероприятиями деятельность пастырей по поддержанию на должной высоте нравственности паствы. Характерно, что даже в храмах не сохранялось имен служивших в них. История земли нашей часто вынуждала нас быть в положении "Иванов непомнящих". Язык книги местами тяжел. Но труд почтенный и полезный, а для жителей города поучительно сладостный. Мир праху автора.

Соразмерять труд с силами было можно во времена моего дядюшки, который десятки лет служил директором банка, точно от 10 до 2. Наше время — время универсальной службы, темп которой — темп наиболее быстрой машины, управляющей жизнью людей, удаленных от нее за тысячи верст и даже не подозревающих ее существования и зависимости от нее. Лихоносов».

12 ноября. В Загорске я начал писать книгу о Володе. Дело у меня не пошло, и я скоро понял, что к книге надо подготовиться, книгу надо выносить, что так вот сесть и написать нельзя, даже если и хорошо знаешь, о чем хочешь писать. Набросал план книги, конечно, пока вчерне, приблизительно, и чувствую начавшуюся внутреннюю работу над книгой, как многое выясняется и становится на свое место. Книгу я начну писать со второй части, она больше всего выносилась и определилась.

М. Гора. «Дорогой М. М.I Постараюсь как можно скорее выслать Вам письма Володи. В моей жизни произошли большие перемены. Георгий Александрович — "тяжело заболел", но пока на М. Горе. Мне пришлось переменить квартиру. Живу совсем одна в углу, на самом берегу озера в бедной лачуге. Мама в Ленинграде, в больнице, ей оперировали катаракту обоих глаз, и неудачно. Я хотела просить Вас устроить меня на работу где-нибудь под Москвой. Чувствую себя очень плохо, все болею, и кажется, все, что выпадает на мою долю, уже мне не по силам. К.Хайнацкая».

15 ноября. Керчь. «Вот я и в Керчи. Кажется, это будет тихой пристанью Меламота-скитальца. На днях получу ответ о работе. Преподаватели русского языка здесь очень нужны. Пока мы с Натальей Сергеевной живем у ее матери. Я, наконец, почувствовал себя дома, а это много значит. Стоят теплые солнечные дни. Я хожу на бульвар к морю, сижу там с книгой,

пью бузу, от которой некоторые толстеют молниеносно. Надеюсь растолстеть и я. Собираюсь послать Вам копченых керченских селедок. Это, правда, восторг, баллада. Очень прошу Вас хоть изредка писать мне. Целую Вас. Глеб Вержбицкий».

17 ноября. Магадан. «Как я Вам уже писал, в моей судьбе наступила перемена. Отлучен от музыки и искусства и еду копать ямы. Все это меня мало волнует, так как нервы до того притупились, что ни свои, ни чужие горести не могут восприниматься больше чувствами, а только разумом, а разум ко всему привык. Ваше пребывание в Загорске трогает меня до слез. Вы сохраняете с Володей душевную близость, которой так редко умеют достигать люди. Милый К.Н.Игумнов бесконечно тронул меня письмом, шоколадом и нотами. Будущее мое письмо будет из новых краев и будет оно не скоро, когда пройдет здешняя жуткая зима — стало быть, в мае-июне. Не забывайте меня, М. М. Когда будете как-нибудь вечером сидеть в своей уютной комнате за бутылкой вина, вспомните о Вашем далеком друге, что он в это время вкалывает ломом и лопатою при 70 градусах мороза. Я Вам не завидую, нет, Я рад, что дорогие мне люди живут хорошо. С.Коншин».

М. Гора. «Спасибо за Ваше доброе письмо и ласковые слова. Мне сейчас трудно, и всякое сочувствие я воспринимаю особенно остро. Посылаю Вам письма Володи. У меня перед ним на всю жизнь осталось чувство вины. Конечно, нужно было мне иначе поступать. Ну, да теперь поздно обо всем этом думать. Исправить ничего нельзя, а укоры останутся навсегда. К.Хайнацкая».

21 ноября. Сегодня под утро сон: Сергиев Посад, старый доктор Посада Королев, какой-то клубный зал, ряды пустых мест, полусвет, Володя. Он осужден на смерть — одиннадцатого, а это за несколько дней перед этим. Сердце мое переполнено ужасом грядущего. Лицо Володи в тени. Вместе обсуждаем положение. Володя вспоминает о своем сыне, я говорю ему о смерти мальчика и напоминаю о его дочери. Какое-то светлое и удовлетворенное лицо у Володи, быть может, на мои слова о дочери. Близкое, бесконечно дорогое присутствие Володи, всегда волнующее особым чувством любви, заботы и попечения. С этим чувством я и проснулся.

Керчь. «Прошу Вас очень поторопить музей с отправкой мне денег. Сижу на мели. С работой все еще не клеится. Несколько дней дует здесь сильный ветер. Хожу на бульвар и освежаю свое поношенное лицо солеными морскими брызгами. Не забывайте меня. Глеб Вержбицкий».

24 ноября. Магадан. «Пребываю в ужасной тоске и унынии, так как четвертый день сижу на своей койке, никуда не выходя. Я

не болен, я совершенно здоров, полон желания жить, но по дурацким порядкам я, как отъезжающий и нигде не работающий, лишен права куда-либо выйти. Когда же пойдет машина, это таинственно и загадочно, во всяком случае, я накануне тяжелого психоза. Ну, это скучная проза, которой я невольно начал свое письмо, а мне хочется, чтобы мои письма доставляли Вам удовольствие. И мне, конечно, есть, чем Вас позабавить и посмешить, но это надо оставить до личной встречи. Дошло до меня, что братья мои женились и кое-как устроились, а брат Николай, подобно мне, тянет лямку. Ну, а с родительницей нашей совсем плохо, и я убит этим совершенно. Эти дни, как никогда, я чувствую, как много надо еще терпения в ожидании конца. Мне предстоит сейчас много трудностей, может быть, придется работать на приисках в забоях. Работа там лошадиная, и, конечно, моя работа на радио будет мне вспоминаться, как лучшая пора здесь. Сергей Коншин».

29 ноября. Москва. «Гражданин Мелентьев. Представляю Вам копию с моего нотариального свидетельства о моих наследственных правах на все имущество, оставшееся после моего мужа Свитальского В.А. и предлагаю Вам мирно, не вынуждая меня обратиться в суд, вернуть мне следующие вещи моего мужа…» — следует перечень банковских вкладов и вещей Володи. «Представляю Вам последний раз возможность избежать судебного процесса, учитывая Ваши интересы, и кончить дело мирно, тогда в смысле художественного наследия моего мужа я учту Вас и постараюсь не оставить в стороне. Ответа на это письмо буду ждать до 2 декабря. По истечении этого срока буду считать себя вправе обращаться в суд, так как Ваше поведение вынуждает меня к этому. Тамара Полякова».

Так как никаких денег на сберегательных книжках у Володи не было, а Володины вещицы, дорогие мне по принадлежности ему, я и не мог подумать отдавать в руки обитателей Брюсовского переулка, то я письмо оставил без ответа. На том и окончились все наши отношения. Тамара Константиновна в суд не подала, а через месяц или два вышла замуж.

7 декабря. Керчь. «Написал я сейчас дату, и сам ей не верю. Уж полчаса над городом шумит гроза: сверкает молния, гремит гром, в стекла окон хлещет дождь. Что во всем этом общего с декабрем?! Мне в диковинку зима без снега, декабрь с теплыми днями, без пальто, с грозами. Сейчас был на пристани, куда добрался через пустынный, мрачный базар. Прямо трущобы Сан-Франциско. Справлялся о пароходе в Тамань. Завтра утром пускаюсь в плавание. Плохи мои дела в Керчи! Преподаватели русского языка нужны, а все же для меня места не оказалось.

Везде отказ, очень любезный, правда, но отказ. Если бы Вы знали, как все это мне надоело, как хочется мне какой-нибудь устойчивости, возможности хоть ночью спокойно сидеть за письменным столом. Я не Джек Лондон, а Диккенс. Какое счастье сидеть с книгой в руках, писать, пить вовремя чай, пить его дома, а не в Доме крестьянина или рыбака. Чай я сейчас, правда, пью вовремя, но покою нет. Постепенно я теряю чувство собственного достоинства, дергаюсь и мечусь. Помните чеховского дьякона из "Дуэли": "Неопределенность положения способствует апатии". Вот у меня такая же апатия. Главное — это какая-то проклятая уверенность, что мне никак не устроиться. Куда бы я не пришел, везде от меня стараются отделаться. Не знаю, как быть. Нет ли у вас знакомого солидного юриста? Ведь должен же быть конец моим поискам. Не знаю, куда лучше написать, чтобы получить поддержку. Без поддержки мне не устроиться.

Наступит лето, приезжайте сюда, будем купаться, полезем на Митридат, заглянем в храм Деметры. Я жду Ваших писем. Глеб Вержбицкий».

15 декабря. Керчь. «Съездил в Тамань. Не устроился. Тамань небольшая станица, много свиней, гусей, домик Лермонтова. В саду огромный чугунный запорожец (памятник первым запорожцам, высадившимся в Тамани 25 августа 1792 года). Вино очень дешевое: 9 рублей четверть. Сойдя на берег, сразу попал на похороны. Хоронили жену начальника милиции. Несли покойницу в открытом гробу, играла музыка. Словоохотливый туземец сообщил мне подробности о жизни и высоких душевных качествах усопшей. В полчаса окончив свои дела, т. е. получив вежливый отказ, я мотался по станице, пихая ногами свиней, вспоминал лермонтовскую прозу и ждал парохода. Вечером возвращался в Керчь. Было темно. Огни, дождь, мне казалось, что я не на юге, а еду из Ораниенбаума в Кронштадт. Не знаю, что буду делать, а делать надо. Очень прошу Вас — пишите мне. Глеб Вержбицкий».

27 декабря. Морозный день. Огромное красное солнце и жуткие рассказы о Медвежьей Горе. «Жизнь там изменилась так, что жить страшно».

Вчера после пятилетнего перерыва побывал в Алабине у Славского. На перроне единственная бывшая там пассажирка назвала меня. Билетер прежний, тоже ласково узнал меня. Славский постарел, конечно, хуже слышит, но умен, в курсе жизни. Около него ютятся три русых головы — внуки. Со стороны я это очень одобряю, но в себе не нахожу того, что нужно для выращивания детей. Прошел к дому, где жил. В бывшей столовой огонь, в моей комнате темно, да она и разделена на три. Подошел

к крыльцу — темно, загажено, запущено. Десять лет прожил я здесь, из них семь — с Володей. Прислушался к себе. Все это безвозвратно прошло, и почти чужими глазами смотрел я вокруг. Очень выросли елочки, посаженные при мне у терапевтического корпуса.

28 декабря. Ленинград. «От Вашего письма, М. М., веет тишиной домашнего уюта. Из всего окружающего воспринято извечное живое и переходящее из века в век. Но оно не дает еще Вам гармонии духа. Я рада была прочесть Ваши строки, рада на минуту отогнать мрачные назойливые мысли. С приезда живу, потеряв счет дням и ощущение времени. Года прошли с октября месяца. Только ночью можно глубоко вздохнуть, сняв маску с лица, но оглушенность велика — ум бездействует, а сердце рыдает. Напишите мне еще такое же хорошее письмо. Я всегда рада Вашему вниманию. Н.Вревская».

31 декабря. Сегодня мне исполнилось 55 лет. Никаких «чувств» по этому поводу не переживаю. Перечитываю письма Володи к Ксении Сергеевне — «Испанке», и полон ими.

1938 год

Новый, 1938 год я встретил с одним желанием — написать «Книгу о Володе». Я считаю, что мне следует спешить идти дорогою жизни Володи, пока все мое существо полно им и дорога его во мне не заглохла. Живу я довольно уединенно и держусь того правила, что. работе нужно отдавать не больше положенных часов, а остальное время суток тратить на себя. Встаю около восьми часов. Сам убираю комнату «до блеска», привожу себя в порядок и к десяти иду на службу. Возвращаюсь в пятом часу и сразу же ложусь, считая, что до обеда сон золотой, а после обеда — серебряный. В шесть поднимаюсь к обеду, к своим, и обычно не засиживаюсь. Весь вечер до часу, как правило, в моем распоряжении, и эти часы — лучшие в дне. Убирать комнату и натирать пол по утрам мне не тяжело, и я, смеясь, говорил, что заменяю утреннюю верховую езду, массаж и гимнастику этою уборкою. Конечно, я охотно бы ее не делал, но найти человека на эту работу нельзя. Горничные и лакеи, и даже приходящая прислуга, исчезли из жизни. Гораздо неприятнее добираться до работы троллейбусом и трамваем. Ожидание в очереди, азарт при посадке, теснота во время езды — все это мучительно не только физически, но и нравственно. Ругань, дикие разговоры, отсутствие взаимного уважения пачкают вашу душу, как бы не старались не видеть, не слышать и не участвовать в этой

несчастной и злой жизни Москвы. Содержание рабочих часов разное, но в общем — гуманитарное. Век доктора Гааза с его девизом «Спешите творить добро», — особенно, конечно, касавшегося врача, явно устарел для нашего времени и нашего врача. Увы, современный врач не только лечит, но и «дает бюллетени», а это значит — улавливать симулянтов, аггровантов и прогульщиков. Дело не очень приятное и с «добром» не очень связанное. Однако и мотивов к добру тоже остается достаточно. Кроме того, на работе есть врачи хорошего человеческого сердца и подвига, общение с которыми не только приятно, но и душевно полезно. Вечера я не все остаюсь дома один. В театр я почти перестал ходить, но концерты серьезной музыки посещаю так часто, что в раздевальнях Большого и Малого зала консерватории меня знают, берут мою одежду, как у знакомого, и не дают номера. Кажется, у Пушкина есть такое высказывание: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает». И сколько раз я думал, переживая «музыкальные наслаждения», какое выпало мне счастье из 180 миллионов быть в числе нескольких сотен, чтобы слушать лучшую музыку в стране.

Самым частым моим гостем является Александра Петровна Баранова. Она живет рядом со мною через стенку, отделившую ее часть нашей прежней комнаты с Володею. Ей к семидесяти. Она перестала вечерами выходить, и «день ее нерадостный и ненастный давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи». Мне грустно в этом признаться, но старение ее становится скучным. Интересы и психика ее мельчают, и общение с нею становится долгом, а не потребностью.

Ну, затем бывают музыканты: Игумнов, Симонов, Егоров, Бубликов. Со всеми ними я связан многолетней дружбой, Алабиным и музыкой. Рояль приведен в порядок, и слушать музыку дома еще большее наслаждение, чем в концерте. Спускаются ко мне попить чайку Анюшка с внучкой Марианной, обе приодетые, подтянутые. Стиль моей комнаты немного строг, чуть чопорен и обязывает и к внешнему, и к внутреннему порядку.

7 января. Вчера в сочельник 20 градусов мороза. Туман. Одетые инеем деревья и багровое солнце, о котором маленькая девочка говорила своей матери: «Мама, мама, вон шар улетел». На кладбище очень красиво, и ни одной души. Проход к могиле Володи расчищен. Решетка кругом обставлена елочками, и на белом снежном покрове издалека видна темная гранитная плита. Мне эта ухоженность, «не заброшенность» его могилы доставляет радость. Вот он «безродный», а не покинут один на кладбище. Всенощная у Ильи Пророка, праздничная и нарядная. Много

народу. Зажженные паникадила. Служба с «Христос рождается» находит громадный отклик у молящихся. Это единственное проявление праздника. За стенами храма нарочитые будни. Нет ума у власти. Не было ума у царя, нет его и сейчас. Кому и зачем нужно это гонение на Бога и церковь?!

9 января. Муром. «Вы меня порадовали и утешили своим приветом. Я же боялся послать Вам новогоднее поздравление по почте, боялся своим писанием повредить Вам. Время такое, что даже невинное письмо с поздравлением от такого "врага народа", как я, может причинить поздравляемому много неприятностей. Чувствую, что начинает сказываться старость. Правда, вижу еще хорошо, и старческого тремоло рук нет. Но все же чувствую, что "наш век прошел, пора нам, братья". Все это было бы еще ничего, если бы не это постоянное ощущение "проклятого шиворота", который только и ждет, чтобы его кто-нибудь схватил. Мне думается, что "щедринский шиворот" был, по крайней мере, вдвое меньше. Целую Вас. Ваш друг Печкин».

13 января. Керчь. «Только вернулся из Симферополя. Ездил в Наркомпросс Крыма. Замнаркома послал обо мне куда-то запрос и теперь ждет ответа. Здесь задул норд-ост. На море черт знает что. С неба валится крупа, снега нет.

О "размахивании руками" — это Вы верно. Мечусь я и делаю много лишних движений, а все не могу застегнуться и терпеливо ждать. Попробую. За статью о Володе я с удовольствием возьмусь. Дело за материалом. Можно и нужно сделать хорошую вещь, настоящую. Глеб Вержбицкий».

Кстати, вот о «статье о Володе». Вскоре после его смерти, еще по горячим следам соболезнований, я обратился к его друзьям и почитателям с просьбой дать мне странички воспоминаний о нем. Все обещали, все находили, что Володя такой благодарный материал, который легко, занятно и интересно можно подать. И, конечно, никто ничего не написал. Я не удивляюсь этому. Я знаю, что ближайшее окружение Пушкина, его друзья, близкие, почитатели или ничего не написали о нем, или написали очень мало, очень слабо, не от полного сердца, что, по существу все, что мы знаем о Пушкине, обязано позднейшим поколениям почитателей поэта. Это они по крупинке собрали и воссоздали его жизнь. И это получилось с Пушкиным! В эпоху, когда у людей были досуг и возможности, несоизмеримые с нашими.

12 февраля. Год назад в этот день свез я Володю в лечебницу, а теперь занимаюсь книжечкой о нем. Собрал его стихотворения, написал коротенькую биографию, выбрал его кое-какие рисунки. Все вписал и наклеил в красивую, в коже и серебре, книжечку, и собираюсь к годовщине его смерти вместе с силуэтами к

«Дубровскому» передать в Литературный музей. Последние два вечера провела у меня "Испанка". Поговорили о нем. Вместе пострадали. Она привезла мне письма его к ней. В последнем своем письме Володя послал ей рубин с какими-то знаками на нем, как талисман. И Ксения Сергеевна заказала здесь перстень с ним, «чтобы взять его с собою в могилу».

14 февраля. Москва. «Не думайте обо мне плохо. Может быть, завтра будет подписан приказ о допущении меня к работе в МИИТе. Я оказываюсь пораженным в правах. Чтение мною лекций в текущем учебном году в МИИТе не признается возможным. А может быть, и лучше, что лекций не буду читать. Голос окрепнет. Ну, там посмотрим. В связи с "приказом", изменились мое "правосознание" и самочувствие, тонус и мой аппетит, апломб, самомнение, живость, болтливость, шутливость и даже находчивость и… чуткость различать друзей и врагов, умных и глупых. Избегает меня только сон. Я вспомнил, что в амбулатории МИИТа за десять лет был раз шесть. Надо наверстать упущенное и использовать водопровод, кстати, обогащенный волжской водой. Ох, сколько наболтал! Побраните и простите. Ваш И.И.Лавров».

27 февраля. Алабино. «Дмитрий Васильевич у меня не был и, думаю я, едва ли он мог и быть. Уж больно напуган он. А кустов боятся не одни пуганые вороны, а и люди, и люди еще сильнее ворон. Говорю так отнюдь не в укор Дмитрию Васильевичу, отнюдь не в укор. Живите. Славский».

11 марта. Сегодня день рождения Володи. Москва без снега. На кладбище глубокий снег. Бурый зимний день. Перезяб, изнервничался. Дома он, живой и прекрасный, смотрит со всех сторон моей комнаты. Там — хотелось скорее домой. Очень я устал. Одолели петербуржцы. Вслед за «Испанкой» приехал Глеб Вержбицкий со своей тяжелой долей, потом Н.П.Вревская. А приезды эти совпали с процессом Бухарина — Рыкова. И рад гостям, да гости не ко времени.

17 марта. Ленинград. «Пишу в Красном уголке электромоторного завода. Здесь 40 % слепых рабочих, а я приглашен на производственную конференцию как председатель Лен. Бюро секции интеллектуального труда слепых. Играет заводской струнный оркестр.

Молодежь танцует. Да, и слепая молодежь — молодежь. После нашего покойницкого Дома престарелых ученых я отдыхаю среди слепой молодежи и получаю удовлетворение пока еще только от желания быть ей полезным. Вместе со слепыми танцует и хозяин дела — директор завода, и это как-то особенно ощутительно подчеркнуло отсутствие противоречия между

хозяином и рабочим, капиталом и трудом. Да, это дорога в новую жизнь человечества с новой моралью в отношениях между людьми, между полами, между народами. Создается эта новая жизнь в невероятных муках, но что она рождается — это факт. Лихоносов».

19 марта. Ночь. Только что закончил биографию Байрона Моруа. Очень хорошо. Впечатление тем более сильное, что в характерах Байрона и Володи нашел схожие черты, и умерли они в тот же день, 19 апреля.

29 марта. «Многоуважаемый Михаил Михайлович! От имени Государственного Литературного музея выражаю Вам благодарность за переданные Вами в дар музею работы В.А.Свитальского и материалы о нем. Приходите и просматривайте рисунки и все материалы о В.А.Свитальском, как только Вы этого пожелаете. Всем указанным Вами в письме лицам мы напишем. Только к Вам просьба: не поможете ли Вы нам в смысле уточнения адресов лиц, у которых: находятся рисунки В.А.Свитальского?

В отношении могилы должен Вам сказать, что мы не имеем права регистрировать за музеем могилы, но я сейчас же напишу соответствующей организации и надеюсь, что могила В.А.Свитальского будет охраняться. Всего Вам наилучшего. Директор Гос. Литмузея Владимир Бонч-Бруевич».

10 апреля. Тамбов. «Дорогой Мишенька! Спасибо за приглашение. Очень буду рада увидеться с Вами. Напиши, родной, свой номер телефона, может, придется позвонить. Очень хочется посмотреть всех вас и Москву, все ваши чудеса московские. Хочется увидеть метрополитен — все в восторге от него. Мишенька, узнай, пожалуйста, у сестер, есть ли в Москве мануфактура и галоши. У нас здесь ничего невозможно достать. Ну, мой дорогой, бросаю писать. Внучка проснулась, и пошла работа. Она уж ходит и такая шустрая бедокурка, а комнатка маленькая и ей негде разойтись. Сестра Паша».

20 апреля. Среда Страстной недели. Дни перед девятнадцатым числом были мне очень тяжелы. Восемнадцатого рано, с утра, друзья мои и я выехали в Загорск. Была заказана обедня. После завтрака в ресторане пошли на кладбище. Тихо посидели, поговорили. Пошел дождик и прогнал нас домой. Смерть Володи и переживания Страстной недели переплетаются у меня в одно целое, взаимно усиливая процесс воздействия.

24 апреля. Пасха. Вчера с вечера, в Пасхальную ночь, поехал я к заутрене в Загорск. Мне хотелось в эту Святую ночь встретить восход солнца у могилы Володи. Провожал меня мой давний приятель — Мищенко Петр Григорьевич, скромный и милый,

больной туберкулезом, совсем еще молодой. Чудесную пасхальную службу отстояли мы в алтаре Ильи Пророка. Масса народу, приподнятое настроение. Тихий, полуосвещенный алтарь (не главный), древний красивый старик. Он в этот день провел в церкви 12 часов и «что-то устал». Служба закончилась в 4 часа. Темно, холодно, дождь шел, не переставая, всю ночь. Грязь невылазная. Идти на кладбище было невозможно. С болью поехал домой. Праздник кончился за дверями храма. Продрог, промок, устал. Дома показалось особенно уютно и красиво. Комната моя все время противопоставляет жизнь кладбищу. Вымылся горячей водой, выпил горячего чаю, лег в восьмом часу, а в девять встал и пошел, как обычно, на работу, нося в своей душе Пасхальную ночную службу, зажженные свечи во всей церкви и дружный гул «Воистину Воскресе». А затем полный вагон праздничных женщин с куличами, которые они освятили в церкви. Стало как-то светлее на сердце, легче. Перевалил какой-то рубеж печали. Надо вплотную приниматься за «Книгу о Володе».

1 мая. Ликующий город. Улицы заполнены демонстрантами. Окольными путями добираюсь до вокзала и еду в Загорск. Холодный день, холодная весна задержала озеленение. Деревья еще голы. Трава скудна. Пойдут ли мои насаждения — неизвестно. Сажал, копал, чистил. Кладбищенский сторож Федор Артемович, ставший моим приятелем, называет место погребения Володи «моей усадьбой».

22 мая. В душе вчерашнее пребывание у Володи. Со мною поехала Александра Петровна. Был серый, но теплый денек. На кладбище у своих могил несколько человек. Зеленели дали. Кукушка. В деревьях у церкви — соловей. А мои березки у решетки стоят все сухие. Пробыли мы на кладбище до вечера: поработали, позавтракали, полюбовались далями. Каждый раз в день поездки сюда у меня ноет сердце, словно перед свиданием, в котором я не уверен. В дороге это нытье как-то тише, но не проходит. И только здесь я успокаиваюсь и, уходя усталый, чувствую себя как после долгой и хорошей молитвы.

10 июня. О доме Плетнер в Загорске, где жил Володя. Одновременно с ним там поселился моряк Пешков. Он умер два месяца назад. Юрист Сокович, сосед, приятель Володи, лежит со сломанной ногой в больнице. Сама Наталья Валентиновна Плетнер гибнет от рака в Боткинской больнице. Перед приездом Володи в доме умерли родители Плетнер. Какой дом, а?!

Была проездом «Испанка». «Умирать, умирать надо», — говорила она мне с тоскою. Элегантная, вся не нынешняя. Муж арестован вторично. Мать ослепла. Средств никаких. Угол в хибарке на берегу Онежского озера… Все не по ней! А улицы М.

Горы, по которым она ходила с Володей! Пожалуй, и правда, ей лучше умереть.

25 июня. Похоронили Наталью Валентиновну Плетнер. Похоронили здесь, на Дорогомиловском кладбище. Сиротливо и оторванно от Загорска. А дня за три до этого умертвили Мурзилку, собачку, что спала у ее ног. Она тоже болела раком… А как проста становится для меня и смерть и могила, и холмик земли, что вырастает над вами!

Третьего дня приехала сестра Паша. Она самая старшая из оставшихся нас шести. Не видел я ее восемь лет. С нею связано мое детство и вся жизнь в Острогожске. Но Боже мой, как мало точек соприкосновения, и как труден с нею разговор! Однако я рад ее повидать и доставить ей радость встречи с нами. У меня перед нею такое чувство, что я для нее никогда ничего не сделал доброго…

5 июля. Уложил Федю в постель. Он давно прихварывает, но это скользило как-то мимо. А когда я его сегодня посмотрел, оказалось так плохо, что я пришел в ужас от нашего равнодушия к его кроткой смиренности. Он давно смущает меня своей исключительной выдержкой, скромностью и непритязательностью. По существу, он у могилы. Но ни одной жалобы, ни одного стона. Он ничего не просит и ничего не требует.

М. Гора. «Всегда помню о Вас, но не могла заставить себя взять: перо, чтобы поблагодарить Вас. У меня абсцессы на обеих ногах, ни на одном боку не могла лежать. Это было очень мучительно. Произошло это от плохого питания. Чувствую себя совершенно забытой и заброшенной, и на душе такой мрак, что невыносимо жить, и это не минутное настроение, а постоянное состояние. Мой последний друг Володя Бекман тоже недавно "выбыл", и стало еще тоскливее. Простите мое нытье и не забывайте меня. Ваша Хайнацкая».

17 июля. Острогожск. «Дорогой М. М.! Перевод получила и очень благодарна. Поручение Ваше исполнила. Могилы родителей оправила, панихиду отслужила. Жара у нас стоит невероятная, дождей нет, все сохнет. Картошка погибла, кукуруза до сих пор не вяжет кочанов, что будет зимой, страшно подумать. Чувствую себя плохо. Ноги отекают. Вчера по дороге из церкви меня нагнала Вера Трофимовна, служившая когда-то у Вас, и просила передать Вам и сестрицам поклон. Пожелаю Вам всего доброго, обнимаю и целую. Софья Яковлева».

1 августа. В душе неспокойный разброд. Нет точки опоры. Нахожу себя лишь у могилы Володи. Иногда чувство такое, что не на земле твоя жизнь, а под землею. Каждую пятидневку

паломничаю в Загорск, часто с кем-нибудь из своих или Володиных друзей. В остальные дни занимаюсь его письмами. Собрал все, что мог. Из писем сделал извлечения высказываний Володи. Получилось очень занятно, по крайней мере, для меня.

На этой неделе приезжал Борис Вержбицкий. Не видал его, 14 лет — после ранения в позвоночник в Кронштадтском восстании в 1920 году. День, прожитый с ним, был занятен. Я присматривался, что вышло из него. А Борис вышел в доцента Кораблестроительного института и состоит консультантом в институте Вредена.

«Глубокоуважаемый Михаил Михайлович! Отвечаю на Ваше письмо. В первый раз Владимир Александрович был у меня тотчас по возвращении своем в Москву. Он был с К.Н.Игумновым. В.А. произвел на меня впечатление очень нервного, издерганного жизнью человека. Его наружность, несмотря на убогий костюм, показалась мне привлекательной, изысканной, но что больше всего меня пленяло — это его чудесный дар, его силуэты, остроумные, выразительные, жизненные. Я был поражен не только техническими приемами его работ, но их содержательностью, композицией, изяществом… И я был уверен, что его работы будут скоро оценены, что и исполнилось.

В. А. бывал у меня не раз, преображаясь внешне и внутренне. Мое отношение к нему было неизменно искренне доброжелательное, и я был уверен, что он выйдет на большую дорогу в художестве.

Я и посейчас не могу забыть его, такого элегантного, умного особым умом, умом артиста.

Я очень, очень жалею о нем, о ранней и случайной его гибели.

Что же касается написания его портрета, то от этого отказываюсь, так как пишу только с натуры, и скажу Вам, что при жизни В. А. мне не раз приходила мысль написать с него. Он был благодатным материалом для красивого портрета, увы! не современного молодого человека.

Желаю Вам полного успеха в Вашем намерении почтить память чудесного молодого художника. С уважением остаюсь, Михаил Нестеров. 1938 г. 14 августа.

P. S. За фотографию благодарю, она не очень удачна — оригинал был иной. М. Н.».

21 августа. ДВК. Бухта Нагаева. «Спасибо, милый М. М., за письмо и память. Вот уже восемь месяцев, как я добросовестно работаю ломом, лопатою, топором, иными словами, работаю на строительстве телеграфной линии. Жизнь моя тяжелая, трудовая, полная лишений. Но я полон гордого сознания, что

непосредственно участвую в освоении нового, дикого, сурового края. Очень, очень трудно было первое время. Теперь освоился, хотя болею цингою, качаются зубы, сводит ноги. За все 8 месяцев не прочел ни одной печатной строки. И стал я матерщинником, первостепенным и изысканным, и думаю, что все вы, мои московские друзья, давно бы погибли на моем месте. А я живу, и у меня бывают радости каждый день. Достану лишний кусок хлеба — радуюсь, перейду бурную, глубокую речку благополучно — радуюсь, наберу полную шапку ягод — радуюсь, получу письмо от своих — радуюсь, попаду с ямами на легкий грунт — радуюсь, увижу цветок или деревцо происхождения родины, — радуюсь. Прибьет ветром комаров и мошкару — радуюсь. И верю я, что в жизни для меня впереди еще много прекрасного. Я люблю жизнь. Везде и всюду она хороша. Какое наслаждение после тяжелого трудового дня на морозе придти в свою палатку, накалить докрасна железную печурку, свернуть толстую папиросу из махорки и помечтать о Москве, Малом зале консерватории, концертах Константина Николаевича, магазинах, где все продается, ресторанах, где можно есть сколько угодно и что угодно, одним словом, дорогой М. М., я надеюсь, что оставшиеся годы не "загнусь" в тайге и мы встретимся, и это будет радость настоящая. Ваш любящий Сергей Коншин».

24 сентября. Лазаревское. «Сегодня часов в 8 утра приехал я сюда, а сейчас 12 дня, уже сижу "за своим столом", на террасе к морю, а оно передо мною плещется до горизонта. Хозяева комнаты и террасы бывшие петербуржцы с пушкинской фамилией — Гриневы. Они будут меня и поить, и кормить, и в чистоте держать. На вокзале, как только я вышел из вагона, ко мне подошел старик, назвал меня по имени и отчеству, взял мой чемодан и повел к милой докторше из моих подчиненных в Москве. Это она организовала встречу, накормила меня, а затем повела "по комнатам". Я выбрал эту. Она близка к морю, стоит высоко и, кроме меня, у стариков Гриневых никого нет на всей усадьбе. А главное, нет ни детей, ни радио. Доехал я также хорошо, т. е. спал всю дорогу, упорно молчал и этим, верно, покорил проводницу вагона. Несомненно, она полюбила меня, так как всю дорогу усиленно поила меня хорошим чаем. Ну, будьте здоровы».

28 сентября. «Chere Madame! Живу я здесь хорошо. И если даже начну хандрить, все равно проживу здесь до тех пор, пока не кончу "Книги". Сейчас 3 часа. Недавно выкупался и еще разок пойду, окунусь часов в 6 вечера. Больше как к морю я никуда не хожу и никого, кроме моих стариков, не вижу. Читаю только газету. Больше ни на что не тянет, так что приеду

полуграмотным. Имейте это ввиду. Писанием своим я занят умеренно и неторопливо, но оказывается, что для неторопливой жизни нужно очень много времени. Пишу на террасе. Не жарко. С моря веет прохладой. Солнышко за тучкой, и по небу "лучи Саваофа", а по морю чудесный солнечный блик. После купанья хорошо пообедал, съел три персика и нахожусь в хорошем настроении. Странно, что меня никуда не тянет, а люди просто непереносимы. Ведь этак, пожалуй, недалеко до "затвора"».

3 октября. «Chere Madame! Я здоров, погода отличная, купаюсь ежедневно. Толстею, молодею и от морской воды очень седею. Книга моя очень подвинулась, и числа 26–27 думаю быть в Москве. Купите мне на Кузнецком листов 200 бумаги, чем очень обяжете».

5 октября. Москва. «Дорогой Мишенька! Только сегодня, первый день за месяц, я сравнительно свободна. От всяких дел совсем не ходят ноги, и я с трудом передвигаюсь с места на место. Вот как, интересно, жить?! Подумать только, устроить себе такую жизнь, какую устроила себе я! Идет старость, ни работы интересной, от которой есть удовлетворение, ни спокойствия размеренной жизни, тишины душевной. Подумать даже страшно. Крепко целую. Аня».

Лазаревское. «Chere Madame! Ждал Ваших писем, беспокоился. Ходил даже на почту, справиться "до востребования". Сегодня, наконец, получил. Живу все так же уединенно. Встаю в 7, ложусь в 10. Весь день за письменным столом. По Лазаревке дальше почты не проходил, да и не пройду. Красиво ли здесь? Море, горы, покрытые лесом, дрянные домишки в три окна, которые так тускло и скучно светятся с наступлением темноты, да и то далеко не все, а очень мало, так как ложатся здесь спать с петухами. Купить здесь ничего нельзя, и жизнь здесь богата только солнцем и морем».

10 октября. Бухта Нагаева. «Живы ли Вы и здоровы, М. М.? Я по-прежнему веду жизнь дикого таежника. Я перебрался в новые места и сейчас нахожусь почти за тысячу километров от Магадана, города, где я столько милого любил. Около 200 километров выбил пешком с грузом за спиной по болотам, кочкам, гальке, бурелому и валежнику. Было очень трудно. Но всякое передвижение на новые места рождает новые надежды, новые чаяния, и посему настроение мое за весь путь бодрое и отрадное. Впрочем, прошлой зимой, когда я еле волочил ноги, и тогда я не переставал улыбаться. В Москве, наверное, уже начался театральный и концертный сезон. По газетам слежу, какие появились новинки, и был удивлен, что Камерный театр взялся за Шекспира. Должно быть, свою линию он потерял окончательно.

Очень скучаю по музыке. За 10 месяцев кроме дрянной гармошки и "блатных" песен ничего не слышал. Это самое обидное в моем положении. Свыклись ли Вы с потерей Володи? Впрочем, что это я, вопрос мой глупый. Такие потери не забываются. Надеюсь, что Вы порадуете меня еще весточкой в эту навигацию. Сергей Коншин».

13 октября. Горы-Горки. «Дорогой Миша! Пишу конфиденциально, главным образом, чтобы мои дочки не знали о содержании этого письма. Хочу посоветоваться с тобою относительно моего здоровья. В области аорты при малейшем волнении или при подъеме в гору я чувствую стеснение и одышку. Часто в спине слева тупая боль. В области сердца колющие боли и "тяжесть сердечная". Отмечаю также боль в пальцах левой руки. Голова у меня редко бывает свежая, все что-то там не в порядке. Очень сильно возбудим. Я быстро и резко реагирую на всякий вздор, быстро раздражаюсь, неожиданно даже для себя, и, главное, все это становится моим постоянным состоянием, и я даже перестал фантазировать о будущем. Конечно, Миша, я понимаю, что тут и возрастные изменения, и сердечный мой инфаркт, склероз и проч. и проч., но все же что-то необходимо делать. Прости, что беспокою своими немощами. Виновница этого — твоя сестра. А "в общем и целом", как выражаются теперь, я, видимо, угасаю. Но вероятно же возможно тормозить угасание? Ну, довольно об этом. Живем мы неплохо, квартира большая, питание неплохое, хотелось бы развернуться в работе, но чувство страха за сердце и аорту парализует все. Крепко жму твою руку и прошу написать, что ты думаешь обо всем этом. Дмитрий Вышипан».

«Дорогой Мишенька! Покойница бабушка так говаривала: "Обещанье лганье, а дуракам радость". Вот в таких дураках остались мы, поджидая тебя. Не откажи хоть письменно дать совет, что делать Мите. Возвращается он с лекций усталым, слабым, а болеть он не привык. А у меня от его состояния душа в пятки уходит. И грустно мне, что детей с нами нет, и рада я, что их нет, а то бы тряслись здесь вместе со мною. Как чувствует себя Федя? Мечтаем мы встретить Новый год со всеми Вами. Любовь Вышипан».

6 ноября. С неделю назад вернулся из Лазаревки и привез с собою законченную книгу о Володе. Вторую часть ее, «В Медвежьей Горе», я сделал здесь, в Москве. Первая же часть, «Путь до Моршанска», и третья, «Экзамен на Москву», написаны в Лазаревке. Свален камень с души и сердца. Сейчас уже первая часть напечатана на машинке, вторая печатается. Третью переписываю сам. Конечно, «Книга о Володе» ляжет в фонды

Литмузея, а дальше будь, что будет. Каждая книга имеет свою судьбу. Достоинство моей книги — она является правдивым человеческим документом и написана искренне, лаконично и без всякой тенденции.

Из Лазаревки ездил в Уч-Дере и Сочи. В первом бродил по парку с приятельницей Володи и плакал. В Сочи провел день с Лихоносовым и вынес впечатление от этого места, как «всесоюзного публичного дома».

Ноябрь. Америка. «Дорогой и хороший дядя Миша! У меня нет силы выразить Вам глубокую нежность и любовь. Все самое светлое, что было в моей жизни, почему-то связалось с Вами. Не думайте, что я пишу Вам красивые слова. Я совсем не сентиментальна. Здесь меня считают, что я по ошибке родилась женщиной. А вот о Вас всегда думаю с теплотою и даже со слезою. Родной, это вступление, а продолжение — это благодарность за внимание к маме и просьба продлить свою доброту к ней. О себе могу сказать одно! жить трудно, но по-эмигрантски мы устроились прилично. Чего это стоит — не стоит говорить. С мужем живем редко хорошо. Он знаком с Вами по моим рассказам и шлет Вам свой привет. У нас хорошая квартира, все современные удобства, но приходим мы домой поздно вечерами и отдыхаем только по воскресеньям. Если чем могу услужить, дайте знать. Ваша Нила».

Несколько слов об этом письме и о Ниле.

Неонила — Нила, старшая дочь сестры Паши, всего годов на восемь моложе меня. Курсистка из Петербурга. Рослая, видная, красивая, живая, веселая. Имела успех и всегда выходила за рамки своей среды и своего окружения. В Петербурге познакомилась со своим будущим мужем. Но революция загнала его в Америку, и он не успел за» кончить свой начавшийся роман браком. Прошло после этого несколько лет, и в году 1925—1926-м из Америки он нашел Неонилу и выписал ее туда. В это время она работала медицинской сестрой у меня в Алабине и, как всегда, была приятна и уютна в общежитии, почему и проводы ее устроили дружно и любовно. На вечере говорили речи и дали ей на память лист с нашими автографами, и помню, как Володя, скромно последним, написал тогда: «Ив Америке травка растет».

23 декабря. Загорск. «Глубокоуважаемый М. М.! Спасибо Вам; большое за Ваши заботы обо мне. Меня очень трогает Ваше участив и желание помочь мне. Я со своей стороны сделаю все, что от меня требуется, и в следующий выходной схожу к М.М.Пришвину, как мы с Вами говорили. В больнице возьму справку, за заявление, которое Вы мне написали, спасибо. Оно мне очень нравится по тону и вполне для меня приемлемо. Я его

и подам. Вы в нем сделали только две ошибки: мой отец Василий Васильевич Розанов скончался 23 января 1919 г., а должность моя формальная — курьер, хотя я и исполняю частично работу уборщицы. Вам не сразу отвечала на письмо, так как опять очень болела и вся измучилась. Сейчас легче. Пишу Вам в 6 часов утра, так как к вечеру так устаю, что ничего сообразить не могу. Я Вас мало благодарю, потому что слово не может выразить всего чувства моей благодарности к Вам за Вашу заботу и участие ко мне. Остаюсь с уважением, Татьяна Розанова».

Василий Васильевич Розанов в своих «Опавших листьях» не раз упоминает о нежной, умной Танечке — своей старшей дочери-школьнице. Так вот, об этой Танечке в свои наезды в Загорск я не раз слышал, что она терпит горькую нужду и очень плохо живет. Проходя как-то осенью по оранжерее в сопровождении заведующего, я увидел хрупкую немолодую женщину, неумело и бессильно выполняющую какую-то работу с землею. На ней была простая соломенная шляпа с широкими полями и грубый мешок вместо передника. Некрасивое, истомленное лицо с большими глазами посмотрело на меня спокойно и умно. «Кто это?» — спросил я у садовника. «Да это работает у нас Розанова». В этот раз я не решился подойти к ней. Но в следующий приезд разыскал ее на картофельном поле, где она с другими женщинами выкапывала картофель. Я подошел и позвал ее. «Иди, иди, — закричали ей женщины, когда она замялась и не знала, как ей поступить. — Иди, барин зовет». Так началось наше знакомство с Татьяной Васильевной. Ей во всем нужна была помощь, и помощь немедленная, и я занялся этим с того, что начал хлопотать в Союзе писателей о помещении ее в санаторий, назначении ей пенсии, а также о подыскании ей другого рабочего места. Т. В. была истощена физически и потеряла веру в себя и в свою работоспособность. Нужно было побороть и это.

28 декабря. Загорск. «Глубокоуважаемый М. М.1 Простите, что не сейчас ответила Вам. Очень устаю. Была у Пришвина. Он обещал поговорить с Фединым и ответ сообщить после. До этого просил ничего не предпринимать меня. Поэтому, и насчет Бонч-Бруевича подождем говорить. Что скажет Федин. Хорошо? У меня настроение очень хорошее. На службе меня любят. Книги я читаю хорошие. От холода я не очень страдаю. Желудок целую неделю не болит, и я счастлива. С деньгами переворачиваюсь, и все относительно у меня благополучно. Пишу Вам об этом, потому что знаю, что Вы порадуетесь за меня. Все время пью Ваше лекарство. Буду еще заказывать, если не вредно. Меня очень радует, что Вы ездите в Сергиев и бываете на моем любимом кладбище — это очень меня роднит с Вами. Татьяна Розанова».

1939 год

Перехожу к 1939 году.

«Печаль, — сказал кто-то, — подобна воде, она тянет к себе, но в ней мы видим отражение вечных звезд». Вчера вечером, после томительного дня главного врача областной города Владимира-на-Клязьме больницы, — а это вчера было 22 ноября 1944 года, я стал просматривать переписку и записи в дневнике за 1939 год и впал в такую печаль, что дурно спал ночь и с утра чувствовал себя в числе «отшедших отец и братии наших». Работа и суета дня развеяли это чувство: еще живу, еще работаю, еще борюсь. Но вот наступил вечер, и потянула опять «печаль», да и надо же дотянуть нить своей жизни. Осталось уже немного. К делу, к делу.

Муром. «С Новым годом, дорогой М. М.! Мира душевного желаю Вам. Сам я живу потихоньку и жду, когда кончится завод часов моей жизни. Жду с некоторым даже нетерпением, так как в перспективе ужасная, в буквальном смысле, война. Прочтите в "Советской хирургии" статью Бурденко "О первичном шве". Там он касается вооружения современных армий. От цифр, которые он приводит, на моей плеши шевелятся волосы. Страшно не погибнуть, а быть свидетелем гибели, разорения и надругательства над всем, что дорого и близко человеку. Горячо желаю, чтобы наступивший Новый год не принес нам этих "(неразб.)". Работаю много, но уже начал уставать: как-то нет аппетита к операциям и не радуют удачные результаты. Это причины, что пора кончать с хирургической работой и переходить на какие-то другие рельсы. Не забывайте старого друга. Н.Печкин».

Горы-Горки. «Дорогой мой именинник! Шлю тебе поздравление и с любовью низкий поклон. Очень я огорчена, что опять далеко or, Вас провожу этот день, но все складывается не по-нашему. Живем мы по-деревенски. Вечерами в столовой собираются все. За столом Митя что-нибудь пишет или рисует, я вяжу теплый шерстяной платок, у печки Палаша прядет шерсть, у ее ног Гога спит или смотрит на нее и вертит своим белым хвостом. В сумерки в спальне перед горячей печью сидим с мужем и вспоминаем о давно прошедших днях. На зимнего Николу устроили вкусный чай по случаю 27-летнего знакомства. Крепко целую. Сестра Люба»., 3 января. Архангельск. «Вы пишете о старости. Я много старше Вас и тоже знаю, что уже старик годами. Но душою не хочется считать себя стариком со

старческой мелочностью, скупостью, суженным кругозором и желанием лежать на печке, а не работать. "Есть еще порох в пороховнице", есть еще желание работать, преподавать, читать и думать. А у Вас душевная жизнь шире и глубже моей. Наступил уже Новый год, и я хочу Вас поздравить с праздником Рождества Христова, если для Вас это осталось праздником. Желаю бодрости и благополучия. Никитин».

10 января. Загорск. «Глубокоуважаемый М. МЛ Я сама о себе гораздо меньше забочусь, чем Вы обо мне, и меня это несколько удивляет. Разве стоит заботиться о людях, которые совсем не нужны миру, а к таким принадлежу я? Мне кажется, что не надо особенно стараться длить их жизнь — это ни к чему. Другое дело, облегчить их страдания, как, например, помогли Вы мне с моими болями. Такое мучительное для меня это чувство страха, что схожу с ума. Но и с этим я успокоилась. Я наблюдаю, что многие страдают похожими явлениями, которые у меня, только с той разницей, что не замечают этого и считают себя вполне здоровыми людьми. Насчет пенсии от Пришвина все не получила ответ. О "Моих темницах" Сильвио Пелдино свои мысли скажу при свидании. Татьяна Розанова».

12 января (из дневника). Мне хочется написать хоть несколько слов каждый день, а вот не выходит. А каждый день, несмотря на кажущееся однообразие, имеет «свое». Сегодня лютый мороз. Консультация на дому у больного сыпным тифом. Боязнь вши. Вот не хочу болеть «голодно-вшивою болезнью» и умирать от нее. Привезли из клиники Федю. Кроток, тих, мирен. Вечером зашла Катя Вышипан. Она работает в ВИЭМе и еще где-то. Две службы. Нам, старикам, сейчас, пожалуй, легче, а на их молодые плечи много взвалили. «Жить нам, дядя Миша, неинтересно и трудно». Остаток вечера провел у Ольги Александровны Кудрявцевой — научной сотрудницы Литературного музея. Знакомство это еще с Алабина. Комната ее обставлена из старой отцовской усадьбы чудесной карельской березой. Живет впроголодь. Кормят научных сотрудников плохо.

24 января. Читают сейчас «Книгу о Володе». Самую яркую оценку ее дал М.П.Сокольников, художественный редактор издательства «Academia», много имевший дела с Володей. Свез я ему книгу вечером. Знакомы мы были мало и при встрече не узнали бы друг друга. Мы были чужими, ему нездоровилось, и я чувствовал у него в передней, что он охотно принял мой отказ пройти к нему. К вечеру на следующий день звонок по телефону… Он. Взволнованным голосом сказал мне, что не мог не позвонить и не может не сказать, какую замечательную книгу написал я. «Всю ночь напролет я читал ее безотрывно, и сейчас

полон ею. Это лучший памятник Володе. Я скорблю, что в свое время не все делал для него, что мог. Книга проникнута таким теплом, что и в наше "волчье" время она трогает до слез». Не помню еще других его взволнованных и прочувствованных слов. Но слова его, закончившиеся «личным», сделали его близким мне.

И другие мои читатели мне говорят «о сильном впечатлении, о бессонных ночах, о том, что мне стоит писать». Понятно, как я рад этому впечатлению и со всей искренностью говорю: рад не за себя. Я рад, что написал книгу, достойную Володи.

Была на днях у меня Т.В.Розанова. Нервна, возбуждена, излишне говорлива. Но умна своим умом, своими наблюдениями, своим отношением к Богу и церкви. Я чту Василия Васильевича и плачу ему долг моего почитания заботой о его дочери. И я знаю, как бы он одобрил это, взывавший в свое время: «Читатель, накорми своего писателя».

Перебираю и привожу в порядок рисунки Володи из старых папок. Сколько боли от прожитого, прошедшего, минувшего.

6 февраля. Ленинград. «Дорогой Миша! Работаю в "ВОС" — во Всесоюзном обществе слепых, в секции работников интеллигентного труда, "СИТ". В одном Ленинграде насчитывается около 50 слепых вузовцев — историки, литераторы, физики, законоведы и другие. Много людей еще в рабочем возрасте и нуждаются в переходе на работу слепыми методами в соответствующем техническом вооружении. Дело это грустное и нелегкое.

15 февраля. Продолжаю письмо после долгого перерыва… Как-то во время прогулки в Летнем саду острая боль пронзила сердце — так напомнил о себе Владимир Александрович. Жизни я его только прикоснулся. Был он необычен в житейском обиходе и труден для общения. Провел ли я с ним 48 часов едва ли. А страдал после его смерти месяцы, и глубокая борозда осталась навсегда. В труде и быту В. А. было много страдальческого. Но природа и судьба блюдут такое равновесие в горести и утехах человека и на пути страдальцев ставят добрых людей. Думается, что во Владимире Александровиче происходила постоянная, глубокая, острая борьба между сознанием много и хорошо работать и какими-то силами, мешавшими осуществить эту работу. Он искал поддержки в этой борьбе. Это многие чувствовали и помогали ему, и остались с чувством недостаточно оказанной помощи. Пришли мне, пожалуйста, свой труд о В. А. Пожалуйста, пришли. Лихоносов».

21 февраля. «Дорогой, дорогой М. М.! Очень душою с Вами и с бесконечной благодарностью за все Ваши заботы обо мне. Вчера была в Литфонде. Они взяли мое заявление и нашли его

удовлетворительным. Я написала, как Вы мне составили, только прибавила перечень некоторых работ отца да объяснила, почему езжу в Москву работать курьером в Толстовском музее, а не могу устроиться в Загорске. Я все еще простужена, но общих болей невралгии нет. Я знаю, что она прошла от Вашего присутствия и присутствия Софьи Владимировны Олсуфьевой, — согрелась душа, и боль затихла. Михаил Васильевич Нестеров болен. Как бы мне хотелось, чтобы Вы его полечили. Я все думаю, откуда у Вас берется бодрость. Это для меня загадка. Т.Розанова».

26 февраля. «Вы пишите, что письма меня очень отражают, а мне кажется, что я себя каждый миг отражаю — отсюда все мое горе, отсюда вся моя беспредельная беззащитность, и это крест моей жизни. Но в этом вся моя сущность, и избавиться от этого я не могу. Что же Вы меня не поздравляете с повышением из уборщиц в машинистки? Я не верю, что мой успех будет долго продолжаться. Думаю, что "канцелярские крысы" меня съедят, как съедали везде. Научные сотрудники меня любят и ценят, — но ведь это научные сотрудники. Исполните свое обещание и зайдите к Сергею Алексеевичу Цветкову. Он совсем болен, к Вам придти не может, а хотел бы очень видеть Вас. Вы моего отца любите, а отец любил и очень ценил Сергея Алексеевича. Татьяна Розанова».

4 марта. «Когда я кончила читать Ваши воспоминания, очень плакала, и мне было очень-очень тяжело. Я два дня от них никак придти в себя не могла. Много думала о них и так, и этак. Прекрасны начало и конец. Письма Володи к Вам незабываемы, особенно детские. Я считаю, что в жизни он любил только Вас, хотя и застенчиво это выражал. Все его любви к женщинам одна фикция и искание любви, а не любовь. Письма к "Испанке" выражают тоску по любви, но не любовь, неспокойны и не настоящие письма любящего человека, а "закрученная сексуальность", и поэтому для меня были неприятны и тяжелы. Володя настоящий в первых письмах и такой, как он умер. Все остальное накрутила на него жизнь, и все не его. Жаль и Володю, жаль и Вас, жаль до бесконечности, что он не встретил в жизни таких людей, которые бы ему сумели показать и дать почувствовать, что в этическом начале заложены все нормы эстетических начал, что этика и эстетика связаны очень тесно, что это одно неразрывное целое. Для эстетических натур слова "труд" и "долг" вне вечных ценностей, неубедительные слова. Вот в этом Вы его и не понимали. Думаю, и то плохо, что он в молодые годы читал "Уединенное" и "Опавшие листья". Эти книги по-настоящему могут быть поняты, когда человек сам пройдет свой путь. Они, несомненно, болезненно сыграли в руку его

эгоцентрическим настроениям. Его же эстетические вкусы явно не могли быть удовлетворены современностью — отсюда трагедия. Плохие товарищи тоже помогли. Ваш инстинкт был верный — держать Володю при себе. Как ни тяжело об этом говорить, я думаю, последний шаг сделан им сознательно.

Интересны две мелкие подробности: он учился в том же пансионе английском, что и я. Пансион ни к нему, ни ко мне не подходил вовсе. Я тоже расстраивалась в молодости своей маленькой головой, так как пресерьезно была убеждена, что у меня мозг не развивается, так как ему тесно в маленькой черепной коробке. Потом, я также всегда очень любила маленькие вещи. В остальном я как раз противоположность Володе. Я больше всего на свете хотела быть, как все, и то, что я не была похожа на всех, было мое самое большое огорчение.

Книга, во всяком случае, очень замечательная, поднимает массу вопросов общего характера и важна, как память о бедном Владимире Александровиче. Татьяна Розанова».

11 марта. «Пишу Вам о своем посещении М.В.Нестерова. Произвел он на меня впечатление очень изменившегося, очень постарел, под глазами большая опухоль, и видно, жить ему недолго. Даже очень острая память стала ему заметно изменять. Но он все также бесконечно интересен в беседе, остро тонок в суждениях. Он дал мне прочесть свои воспоминания о моем отце — очень хорошо. Мне очень интересно, какие мысли и думы вынесет Михаил Васильевич по прочтении "Книги о Володе"? Он просил зайти за ней недели через две. О рисунках Владимира Александровича говорил, что они просто гениальны, что они умны тем умом, который бывает присущ настоящим художественным натурам в минуты творческого вдохновения. Т.Розанова».

19 марта. Москва. «Милый М. М.! Не знаю, с правом или без права, но я прочел книгу о Володе. Прочел сразу, не отрываясь. Я чутьчуть профессионал, поэтому меня, прежде всего, поразило то, я бы сказал, мастерство, с каким она "сделана". Но суть ее, конечно, не в этом, а в том, что, любя свой предмет, Вы заставляете и читателя полюбить его. Из Ваших воспоминаний вышла особая часть "Истории молодого человека", которую издавал у нас Горький. Это настоящий человеческий документ. Пусть, быть может, односторонний (ибо мемуары по своему существу всегда односторонни), но тем более сильный. Многое из того, о чем я только смутно догадывался, общаясь с Владимиром Александровичем, стало для меня ясным. Не скажу, чтобы я со всем в нем соглашался (я для этого сам скроен слишком "на свой фасон"), но я понял, и потому перестал осуждать. Бедная

заблудившаяся душа! Когда я читал Вашу книгу, мне часто приходили на память два отрывка — один из "Фауста": "Знай, чистая душа в своем стремленьи смутном сознаньем истины полна". И второй, не помню, откуда: "Когда я исчезну за жизни чертой, уйду от хулы и похвал, пришлите ту нежность, тот ласковый сон, которым я жил и дышал". Цитирую на память и потому, возможно, вру. Простите, если не должен был читать, и спасибо за то, что имел возможность это прочитать. Ваш Михаил Беляев.

P. S. Возьмите меня в Загорск. М. Б.».

19 марта. По утрам первая мысль о Володе, И последняя ночью — о нем же в тиши моей комнаты, с боем трех часов. «Книга о Володе» читается. Я в очень выгодном положении — сам выбираю себе читателя. Михаил Васильевич Нестеров передал мне, что «это роман, не уступающий Достоевскому». Профессор Осадчий взволнованно сказал мне, что они с женою «после революции не читали ничего сильнее моей книги и что они потрясены ею». Пусть эти отзывы преувеличены, я так их и принимаю, но я уверен в одном, что книга моя неплоха.

Вчера я закончил читать воспоминания Надежды Васильевны Розановой-Верещагиной. Они еще далеко не закончены и не отделаны, но читаются с волнением. Самого Василия Васильевича в них пока еще мало, но много о дочери его Вере, послушнице монастыря, покончившей с собой после смерти отца. Образ ее волнует меня, он родствен Володе. Читая же воспоминания, сравнивал две семьи — свою и Розановых. Как сложна и полна была внутренняя жизнь Розановых. Как примитивно и элементарно шла она у нас. Ну, конечно, и нравы и положения были разные. Петербург и прославленный писатель. Осторогожск и небогатая купеческая семья.

11 марта. День рождения Володи провел у его могилы. Намело горы снегу, и плита далеко видна на белом фоне. Принес мимозы — первые цветы столичного юга. Я шел к нему с волнением, почти похожим на прежние волнения при свидании. Была суббота. Перед всенощной была заказана панихида. В церкви за эти два года не произошло перемен. Служил тот же маститый отец Александр, что и отпевал Володю, пели те же четыре человека, что и на его погребении, и на том же месте, где стоял гроб, шла панихида. К поезду шел весенними сумерками, унося с собой картину «мимоз на снегу».

15 марта. «Помню, что дни марта для Вас очень тяжелы, и я всею душою с Вами. Кстати, забыла Вам сказать, что Михаил Васильевич ничего не находит слащавого в рисунках Владимира Александровича к "Евгению Онегину" и говорит, что силуэты

изумительно передают Пушкина и Чайковского.

Не оставляйте мысли писать дальше свои воспоминания. Я уверена, что "Книга о Володе" и воспоминания составят одно целое — очень нужное в наше время. Т.Розанова».

8 апреля. Муром. «Христос Воскресе, дорогой М. МЛ Шлю Вам пожелания душевного мира. Он в нашем возрасте — эквивалент счастья, но добиться его в нашей действительности не легко. Какой контраст между разливающейся по миру злобой и кровью и гимнами мира и любви к людям: "Друг друга обымем". Был у Пасхальной заутрени, но, к сожалению, не мог достоять обедни. Такая страшная теснота, давка и духота в уцелевшей в Муроме маленькой церкви. Я пришел домой и вижу: жена с зажженной свечой перед образом слушает заутреню по радио из Латвии. Епископское служение. Великолепный хор. И я стал рядом и простоял всю обедню. Это меня несколько утешило. Живу по-прежнему. Обучаю хирургическому искусству двух идиотов, которые думают, что они когда-нибудь будут хирургами. Крепко обнимаю Вас. Печкин».

13 апреля. «Сегодня утром я получила Ваше письмо и захотела сразу ответить Вам. По дороге в Москву думала о Вас и о Владимире Александровиче, и еще о березовой роще и о вечности, и мне так радостно именно сегодня утром было получить Ваше письмо. А еще читала замечательную статью о Толстом, и все вместе слилось у меня в такое хорошее чувство, что захотелось о нем Вам рассказать. Спасибо Вам, дорогой, что через Вас я получила радостное чувство жизни и обратила свой взор с благодарностью к Тому, кто создал нас всех. Мое чувство к Вам связано с могилой Владимира Александровича и еще дорогой в вечность, но дорогой не мрачной, а радостной и светлой. Татьяна Розанова».

15 апреля. Бухта Нагаева. «Очень давно не имею от Вас вестей. Я прошел еще одну зиму, живя кочевой, таежной жизнью в рваных палатках. А хорошо! Мороз около 60. Над головой в палатке выгоревшие дырки, видны звезды, луна, а железная печурка дает возможность сидеть в одном белье, чувствовать себя в Москве, в комнате с центральным отоплением. Сейчас не то весна, не то лето. Идут сильные дожди и ветрено. В работе, которая была горячей и спешной, сейчас перерыв, что дает возможность написать письма и привести себя в порядок. Дни летят, летят и годы. Мне остается только воображать, что мне всего лишь двадцать лет и вся моя жизнь еще впереди. Этим я живу, и потому бодр и не падаю духом. На сегодняшний день я абсолютно здесь одинок. Я не растерял, а лишился всех, и вот моя скудная серая жизнь не рождает больше мыслей для продления

письма. Будьте молоды и по-прежнему веселы. Надеюсь, до встречи с Вами Вы не погибнете. Сергей Коншин».

19 апреля. Ночь. Ну вот, пошел третий год. Весна, Страстная неделя, Пасха слились для меня в одно переживание — смерть Володи. В этом году Пасха пришлась позднее его смерти, и песнь Воскресения: «Смертию смерть поправ», — не пелась над его могилой. Пасхальную заутреню я провел уже в третий раз у Ильи Пророка. Всю Страстную неделю много бывал в церкви. В ночь с пятницы на субботу и в Светлую ночь я не ложился совсем. В маленькой церкви в Брюсовском переулке поразила меня мать Рафаила — старушка-монахиня из Страстного монастыря. Поразила своим служением «образу Страстной Пресвятой Богородицы». Монастырь Страстной разрушен, образ спасен и перенесен в другой храм. Она верно пошла за ним и продолжает служить ему, как встарь. Я видел ее заботу и ревность об этом образе и подивился ей, и позавидовал ей. В церкви Богоявления в Елохове в вечер Вербной субботы собрались тысячные толпы внутри и вне храма. Были лица времен «Тишайшего». Старичок один спросил меня: «А что, завтра будет шествие на осляти?» Я ответил ему: «Дедушка, откуда ты такой нетронутый? Патриарх давно умер, а ослятю давно съели».

Весна стоит пасмурная со снегопадом и холодом, но выпадают и теплые дни. Такой случился, когда я был у Володи. Шло бурное таяние, шумела вода и вспомнился Блок:

Ни о чем уж мы больше не спросим,
Пробудясь от ленивого сна.
Знаем, если не громко — там осень,
Если бурно — там, значит, весна.

Вчера я опять был у него, и опять был чудесный день. Со мною поехала Ирина Сергеевна. В Загорске встретила Розанова. Вот мы втроем и посидели у него. Распили бутылку вина, закусили апельсинами. На общем фоне кладбищенского запустения место погребения Володи нарядно, зеленеет милое самшитовое деревцо, цветут примулы, желтеет песок. Вернувшись домой, я заперся и при свете лампады долго просидел без дум и без движения.

25 апреля. «Глубокоуважаемый М. М.! Была у меня сегодня Таня — сестра. Она за последние месяцы очень окрепла, не говорит о своем безнадежном положении. Не знаю, как и благодарить Вас за нее. Как-то много лет назад писатель С.Н.Дурылин сказал в раздумьи: "Вот же живут на свете девочки Розановы, когда они, по здравому размышлению, непременно

должны погибнуть. Таково уж их духовное устроение, а однако Бог их бережет". Вот Бог и послал Вас к Тане в очень тяжелый момент ее жизни.

Я очень рада, что С.А.Цветков оценил Вашу книгу. Он, безусловно, умен и со вкусом, и очень требователен. И то, что Ваши воспоминания произвели на него такое сильное впечатление, подтверждает липший раз замечательность Вашего труда. Я лично не представляю себе, чтобы кто-нибудь мог прочесть без душевного волнения Вашу книгу. Я очень жалею, что вторично не могу ее прочесть. Я читала ее, не отрываясь, как пришла от Вас, до полдня следующего дня, не вставая. Теперь бы я хотела прочесть еще, уже иначе, преодолев "волнение", больше умом, а не сердцем. В настоящее время в современной литературе совсем нет "героев", т. е. обычно центральное лицо до такой степени неинтересно, тупо, вылощено, надуманно, что, прочтя, тут же забываешь, нет места для размышлений. Его проглатываешь, как бутерброд, с тою только разницей, что некоторые хорошо покрыты маслом и легко проскальзывают в горло, другие — плохо и застревают поперек. Ваша же книга, где говорится о живом человеке, который недавно жил рядом с нами, растравляет со страшной силой фантастику и сумасшествие нашей жизни. Образ Владимира Александровича полон такой силы трагизма, обаяния, его душевные провалы подняты на такую высоту силой его страдания, и с такой отчетливостью понимаешь неизбежность его судьбы. Пусть Вам не покажется странным, что образ Владимира Александровича как-то переплетается с образом сестры моей Веры, несмотря на все различие их путей. Но в них обоих было трагическое чувство красоты. Каждый пронес ее через свою жизнь и по-разному служил ей. В обоих было с детства чувство обреченности, фатальности своей судьбы. Однако надо кончать, еще многое бы хотелось написать Вам, но уже три часа ночи. Надежда Розанова-Верещагина».

5 мая. Ростов Великий. «Уважаемый М. МЛ Спасибо за Ваше желание познакомить меня с Вашей работой о Свитальском. Я прочел ее с пристальностью и волнением, какое вызывает человеческий документ такого рода, — прочел медленно, с карандашом в руках, ибо это помогало мне вдуматься в содержание, разглядеть форму и прислушаться к откликам, какие вызывает подобная исповедь и подобный отчет (ибо это исповедь и отчет) в моем, да и любом другом уме и сердце. Скажу Вам со всею прямотой (иначе ни к чему, не такова Ваша работа, чтобы заставляться конвенансами, и не этого, конечно, Вы ждете от читающего) — так вот, скажу открыто и по совести, что итог складывается от чтения двойственный, двусмысленный. Я вижу

двух героев: один — это Вы сами, тот, который пишет; другой герой — Володя, о котором Вы пишите. Первый герой уходит с читательского всегда оправданным и близким; второй герой вызывает отпор и отчуждение. И это в лучшем случае, это у тех, кто поверит Вам на слово, что в Володе было нечто, что омывало в конечном счете все то разложение, которое жило в нем и им холилось. А у тех, кто не поверит Вам на слово, у тех происшествия, письма, поступки, которые Вы приводите, вызовут чувство боли за Вас и других близких Свитальскому лиц и чувство неприязни (хотя бы смешанное с жалостью) к нему самому. Ваша любовь и Ваша забота вызывает в памяти стихи Петрарки: "Так не хлопочет мать над милым сыном, так над супругом верная жена" и т. д. И мы умиляемся Вам и радуемся, что есть на свете такая привязанность, которая может все простить, ничем не отвратиться, все превозмочь, даже самое, казалось бы, невыносимое и непревозмогаемое. Но сами мы не можем себя поставить на Ваше место. Нет у нас для этого ни поводов, ни потребности, и Вам не удается заставить нас и понять, и полюбить Володю в том его виде, в каком он предстает на Ваших страницах. Почему это? Конечно, потому что язык самих дел его и писем от него и к нему сильнее, много сильнее, чем тот комментарий, каким Вы их сопровождаете. И это главное. Так действует это даже на нас, на меня в частности, лично соприкасавшегося со Сви-тальским, воспринимавшего его живой, человеческий облик и ценившего первые проявления его художественных способностей. А что же будут испытывать чужие, далекие читатели, те потомки, до которых дойдет где-нибудь в архиве Ваша рукопись, и которые вдобавок к ней будут располагать для суждения двумя-тремя книгами, иллюстрированными Володей? Не воспримут ли они все это как "достоевщину" 20—30-х годов, как "финал декадентов"? Вот об этом я думаю прежде всего, ибо все больше и больше мучаюсь потомством, его судом над собственной моей жизнью и работой моих сверстников, современников моего поколения. Излишен ли такой документ, как Ваш, в руках этих страшных потомков? Нет, совсем нет. Отнюдь не излишен. Напротив, важен, раз люди типа Володи (ибо таков, например, до известной степени еще Б.Куприянов, замечательный художник, утонувший или утопившийся не так давно, своего рода старший брат Свитальского, только более даровитый и более мужественный; таков и здравствующий график М.Соколов) — в наши неимоверные годы жили, мучились и мучили других. Но только я не хотел бы быть сам героем рукописи, подобно Вашей, т. е. думаю, что лучше было бы и для Володи не быть для будущих

поколений "опытно-показательным образцом" подобного рода. Тем более убеждаюсь в этом, что внешне достоинства Вашего писания только делают выпуклее страшную картину душевного и физиологического распада, которую Вы рисуете на судьбе Володи. Каждый человек раз в жизни если пишет страстную исповедь, может создать хорошую волнующую вещь: у Вас это получилось при всех мелких промахах языка, построения и стиля. Но будь рукопись тусклее, оглядчивее, академичнее, было бы, быть может, лучше для существа дела.

Знаю, что это будет Вам нелегко выслушать, но мне было столь же нелегко читать, и это Вы тоже знаете. Вот мы и квиты. Поэтому, не обессудьте и примите все эти размышления и слова с тем же чувством искренней дружественности и к Вам, и к Володиной памяти, с каким я читал и откликаюсь на Вашу мучительную и этим драгоценную рукопись. Еще раз благодарю за доверие, побудившее Вас поделиться со мною написанным. Ваш Абрам Эфрос.

P. S. Кое-какие жизненные мелочи и отношения в части, соприкасающейся со мной, можно бы додать: и в Гослитиздате, и в "Academia", и в Прокуратуре — все это было труднее и сложнее, да и само появление Володи после лагеря в Москве и у меня было трагичнее. Ну, да это второстепенное».

Бухта Нагаева. «Как-то Вы там живете? "Горя завистливым желаньем в изгнаньи скучном каждый час, я к вам лечу воспоминаньем, воображаю, вижу вас…" Как видите, курилка жив еще. Здоров, бодр и по-прежнему любит жизнь и людей. Занят я ямками, столбами, долблю, рублю, таскаю, ворочаю и т. д. Сейчас "бригадирствую", так что немного "вылез кверху". Зима была лютая. Сейчас тепло, а на будущее, что Бог даст. Здесь я случайно встретился и случайно разговорился с товарищем по консерватории Жоржа Бубликова. Как много за это время "народилось" музыкантов, какие-то все новые имена, и все, говорят, "потрясают". Много народу умерло за это время, я даже не знал о смерти Станиславского. Каким я буду во всем отсталым дураком, если вернусь. Впрочем, на это что-то мало похоже. Нужно еще освоить тайгу и сопки. Не забывайте меня. Сергей Коншин».

Вагон между Загорском и Москвою. «Чем больше проходит времени, тем ближе становится мне Владимир Александрович, и тем более мне его жаль. Ах, какая нужная Ваша книга, нужная до предела! Блохи все время кусают таких людей и закусывают насмерть. Эфрос прав в том, что он подтвердил, что и в будущем блохи не поймут Владимира Александровича, и будут кусать его память, как кусает и сам Эфрос. А женщины, наверное, были

недостойны любви Владимира Александровича — грубы, а нежность основное свойство В. А. К этому прилагаю один из эпиграфов ко второму тому "Около церковных стен" В.В.Розанова: "Не замечали ли Вы в своих жизненных странствиях, что как только понежнее человек, поглубже, поутонченнее, то на него не только сыплются разные неожиданные беды, но даже — и это особенно поразительно — валятся на него самые болезни, частые, трудные, страшные, неисцелимые. А толстокожие, они и сыты, и почтенны, и наконец, даже почему-то редко и легко хворают. Магия, что ли? Но только так это было до Рождества Христова, так осталось и после Рождества Христова. Татьяна Розанова».

21 мая. Ленинград. «Запоем прочла Вашу книгу о Володе. Основной материал — его письма — волнуют, захватывают, потрясают. Цементирующее — лично Ваше писание — умно, умело, про сто до предела изысканности. Все же в целом дышит такой нежной человеческой любовью и возбуждает беспредельную жалость к Володе.

Хотя Вы нарочито остаетесь в тени, на заднем фоне, но значение Ваше ясно, и Вы не должны сомневаться в нужности этой книги. Именно Ваше отношение к Володе и должно остаться как пример для грядущих поколений. Если часты таланты — декоративные люди, то как редки гуманные нормальные люди. Хотелось бы, чтобы Вы теперь же написали "расширенно", так сказать, т. е. взяв за основу свою жизнь, а "Книга о Володе" вошла бы туда отдельной главой. Наталья Вревская».

7 июня. Ленинград. «Спасибо Вам за то, что дали нам возможность прочесть "Книгу о Володе". Читала ее с огромным интересом, еще большей любовью и глубокой печалью. Есть такие строки, которые выворачивают душу. В Вашей книге их много, и потому что они правдивы, они еще более велики и страшны. Я видела Володю как живого, с его манерами, застенчивой улыбкой, тем неуловимым, что было свойственно только ему. И впервые я поняла, как любовно написанная книга страница за страницей вскрывает душу человека. Я узнавала его все больше, любила все нежнее. Не знаю, что почувствовал бы человек, который Володю никогда не видел, но думаю, что все бы поняли. Эта книга обессмертила Володю, и какое счастье, что Вы могли это сделать. Но читать ее нелегко, горько, обидно, невыносимо от своего бессилия, от мысли, что уходит такая яркая индивидуальность, такой неповторимый человек. Тетя наша тоже ходила много дней под впечатлением прочитанного, Еще раз спасибо Вам за книгу. Татьяна Чистович».

Медвежья Гора. «Дорогой, дорогой М. М.! Я рада, что пишу Вам, что могу написать теперь. Прежде всего, спасибо, родной, за

Ваше письмо и то мудрое и доброе, что Вы нашли возможным сказать мне. Ваш совет в тяжкие времена думать о детях помог мне. После "ухода" Николая Антоновича полтора года живу двойною жизнью: одна жизнь реальная, тут; другая — рядом, сотканная из воспоминаний, жгучей жалости, страха и боли за дорогого. Жила надеждой, больше похожей на отчаянье, и только теперь дошел до меня намек о том, что Николай Антонович работает в Сибири, заканчивая стройку нового города. Вы мне писали, что это временная разлука, что я должна это понять. И вот в момент позорного падения жизненного тонуса, когда приходилось стоять "у последней черты", я твердила Ваши слова, веря им и не веря вместе. Мысль, что он сгорел в первом огне 1937 года, держала долго в тисках, но мне потом официально сказали, что "взяли досиживать". Вы помните 1935 год? Это лучший год Володиной, Вашей и нашей с Николаем Антоновичем жизни. Правда, было счастье, удача, всем все удавалось, была радость, тепло душевное, была милая-милая жизнь.

> Целая жизнь коротка для счастливых людей,
> а несчастным даже и ночь-то одна неизмеримо долга.

Это написано за четыре века до нашей эры. Если бы вы знали, с каким трепетом я читала Вашу книгу великой скорби и любви, как потрясла она меня — Ваша любовь и Ваша беспредельная скорбь, дорогой М. М. Конечно, нет слов на человеческом языке, чтобы выразить нежность, жалость и тоску о жизни Владимира Александровича. Нет ответа: Боже, зачем так случилось? Зачем так безвозвратно много ушло больших возможностей, зачем ему, незлобивому, кроткому человеку тонких чувств достался кусок черствой, грубой жизни, где, к счастью, Вы одни могли его согреть, успокоить, наладить его, подчас отвергающего и протестующего по отношению к нам — старшим. Все молодое поколение таково: приемлет нас, отвергая; соглашается, протестуя. Верно, так надо. Я Вам завидую. Завидую тому, что Вы вырвали у времени его оружие — забвение. У судьбы отняли Володю, своего любимого мальчика, не дали своей книгой навсегда уйти его образу, его мыслям, его таланту. Еще и еще вспоминайте все, что можно вспомнить, что удержало Ваше сердце о нем. Меня поразили письма Владимира Александровича: сколько в них оригинального, глубокого, трогательного, не по возрасту печального, уже философского. Я себе представляю его настолько живо, точно в последний раз видела его вчера. Говорят, судьба каждого человека неизбежно похожа на него самого. Мне кажется, Ваша судьба — кристаллизовать пережитое в науку и на

радость избранным, тем, кто может понять и ощутить этот сложный комплекс знаний, наблюдений, ума и опыта, который представляете из себя Вы. К слову сказать, с Вашего отъезда все врачи мне кажутся просто глупыми и неинтересными. Тетя наша стесняется написать Вам. "Книга о Володе" произвела на нее сильнейшее впечатление, она не помнит, чтобы другая книга так сильно ее захватила, а тетя читает на трех языках и думает в свои 80 лет очень много. С удивлением она говорит: "Как же это можно было пройти мимо этого, несомненно, выдающегося человека, и почему так мало о нем говорилось?!" Ксению Сергеевну она возненавидела и винит ее во всем. Дорогой М. М., кроме Вас не было никого, кто бы отдал жизнь за Володю, а казалось, его сильно любили несколько женщин. Вы терзаетесь тем, что не "уберегли". Может быть, Вы и ошибались когда-нибудь, но мы не боги. Человеческая наша сущность иногда туманит наш разум, закрывая настоящие пути. Спасибо, что в книге вспомнили меня. Ваша Ольга Ленская».

Загорск. «А мне вот иногда кажется, что я скоро потеряю Вас, что Вы уйдете так же таинственно из моей жизни, как и появились, и я начинаю молиться Богу, чтобы Вы не ушли душою совсем от меня. Стоит передо мною образ Анны Михайловны. Жаль ее, жаль всех Вас — осиротели Вы все там без нее. Как-то даже не представляю Ваш дом без нее — душа вынута. Напишите же, пожалуйста, хоть две строчки, как прошла ее операция, как состояние ее здоровья. Я мало знаю Ваших родных, видала их всего два раза, но очень уважаю — все старые и все поддерживаете друг друга — это так хорошо и отрадно было смотреть.

На днях была в Останкино и полна сильных впечатлений. Какая благородная роскошь, как прекрасен весь ансамбль, какой радостью наполняется сердце* когда думаешь о красоте тех людей, которые творили эту прекрасную жизнь, ибо не имея красивой души, нельзя создать таких красивых вещей. Душа этих людей жила во мне, когда я осматривала этот дворец. Экскурсовод, старая женщина, со сверкающим взором говорила о том, что вся эта роскошь создана руками крепостных, а я думала о том, что их страшный труд в красивой обстановке должен быть легче, что там все должно было становиться красивым от одного соприкосновения с красотой. Останкино, Софья Владимировна и Вы примирили меня с искусством. Пускай мучаются люди, пускай гибнут, пускай все это рождается через сгорание мук и невыносимых страданий, но пускай живет красота. А мы, те, кто пользуемся ее даром, должны день и ночь молиться за ее творцов, и не нам судить их жизнь. Меньше всего мы имеем на это права.

Думала и о том, что и Вас воспитало искусство красиво относиться к людям, и что поэтому Вы так много можете дать радости человеку, и с Вами так легко дышится. Я приняла Ваш дар сердца и чувствую, что облагородилась и очистилась моя душа. Эти дни мне совсем-совсем легко, я слилась с искусством. Мне казалось порою, что я сама создала все эти прекрасные вещи. Полное слияние между творцом и воспринимающим — это верх блаженства. Фон Мекк, наверное, тоже так временами чувствовала, поэтому и была счастлива. Первые ее письма были для меня болезненны, а потом все легче и легче становилось мне читать их. А разрыв, тоже, наверное, Вы правы — не тот и не в том плане, как его понимают люди. Тот, в душу кого вошла красота, уже может все перенести. Душа очень закаляется красотою, оттого-то Софья Владимировна Олсуфьева такая прекрасная, что она в полной мере прекрасно прожила свою жизнь. Татьяна Розанова».

После этого письма пришло время сказать несколько слов о Софье Владимировне Олсуфьевой. Вскоре после моего знакомства с Татьяной Васильевной Розановой, Софья Владимировна первая пришла ко мне, и мы вскоре стали друзьями. Уже немолодая, некрасивая, ничем не напоминающая известный ее портрет работы Серова, Софья Владимировна поражала предельной простотою в обращении. Это был не только аристократизм, но это было проявление ума и высокой душевной чистоты, высокой настроенности ее помыслов, ее сердца. В эти годы, в эти дни она была очень несчастна. Муж ее, Юрий Александрович, известный искусствовед, был заточен неизвестно где, неизвестно насколько, без права переписки. Единственный ее сын, Михаил Юрьевич, мальчиком попал заграницу, и она о нем тоже ничего не знала. Сама она работала реставратором в музеях Москвы и Кускова. Каждый день свой она начинала в церкви, и вечные слова службы церковной и молитвы были ее поддержкой. И никогда ни одной жалобы, никаких сетований на судьбу; всегда светла, ровна, нетороплива, доброжелательна. Жилось ей материально трудно, и питалась она скудно, одевалась она очень скромно, и все же из своего скудного заработка изыскивала возможности помогать своим близким — Трубецким, Комаровским, Мансуровым и другим. Муж ее никогда не служил, несмотря на близость ко двору и дружбу с великим князем Михаилом Александровичем с детства. Жили Олсуфьевы почти безвыездно в своем имении Буйцы у Куликова поля на реке Непрядве, и оба занимались искусством, много читали, вели свое хозяйство и корнями вросли в жизнь народа и деревни. После революции они переехали в Загорск, и Ю. А. работал в Лаврском музее, а С. В. — на огороде.

Буря, разразившаяся над Загорском в году 1930-м, выгнала их оттуда. Тут они почти все потеряли, но все же жили вместе. Последний удар лишил Софью Владимировну и мужа.

21 июля. Белев. «Захотелось написать Вам. Представляем себе, что Вы работаете над Вашими записками и мы одни из первых прочитаем их. У нас осталось неизгладимое впечатление после прочтения "Книги о Володе". Жаль будет похоронить ее в музейных архивах. Мы отдыхаем здесь в привычной, по прежнему году, обстановке. Белев мало изменился со времен Жуковского и Киреевских. Сегодня день "Казанской". В прошлом году верующие еще могли пойти в церковь, а сейчас здания церкви уже наполовину разобраны: старая статика жизни сменяется новой динамикой. Крепко целую. Петр Осадчий.

P. S. Статических конвертов в новой динамике нет. Посылаю письмо в "самоделке". Для заклейки ее послужил вишневый клей, снятый Андрюшей со старой вишни».

24 июля. Вечерний час с пианистом Егоровым. Рассказы его о семье Олсуфьевых и Глебовых (Софья Владимировна — урожденная Глебова). Мне его рассказы были интересны, и я проверял мои впечатления от поездки в гости к Софье Владимировне в Косино, где она живет: утлая комнатка с остатками чудесных вещей и старых портретов. Маленький клочок земли, так заботливо ухоженный ею и монашенкой матерью Таисией. Все «бывшие».

25 июля. Очень душный, жаркий день. Газеты полны «днем Красного флота». Большая статья о докторе Лубо. Я знал его по морскому госпиталю в Кронштадте и пренебрегал им. Теперь он орденоносец и проч. и проч. Подумал: хорошо ли я сделал, что ушел с флота, и завидую ли я орденоносному Лубо? Нет, не завидую нисколько. А хорошо ли, что ушел? А чем мне было плохо в радостном и просторном Алабино, в занятной Медвежьей Горе?! А теперешнее доживание не все ли равно, где и как, лишь бы в одном ряду с близкими.

Бухта Нагаева. «Очень, очень был рад получить Ваше письмо, которое шло не полгода, как мое к Вам, а всего два месяца. Вы мой верный корреспондент и не забываете меня вот уже почти семь лет. Нам нужно обязательно повидаться на этом свете, но что-то я все меньше и меньше в это верю. И чем ближе конец моего срока, тем мне дальше кажется наша встреча. Не оторваться мне от колымской земли. Вы пишете: не пора ли Вам начать хлопотать о себе? Но как, где и о чем хлопотать? Я полагаю, что семь лет моей честной работы, как за письменным столом, роялем, ломом, топором и киркой, могут вполне заменить всякие хлопоты. Я Вам уже писал, что теперь

полноценный связист: лазаю на когтях по столбам, вешаю провода, беру их на блоки, паяю и т. д. Ношу чин бригадира. Колонна моя состоит из одиннадцати человек — ребята все молодые, здоровые, крепкие сибиряки. Попал ко мне в колонну один певец, мой бывший воспитанник по магаданскому радио. Когда он достиг некоторого успеха в пении, я его много и с большим успехом выпускал в радио и на открытых концертах. Сейчас мы с ним вспоминаем эти дни — дни почета, духовного удовлетворения, красивого содержания. Теперь мы оба оброслые, загорелые, искусанные комарами, с крепкими словцами месим колымские болота, пробираемся сквозь тайгу и сопки и осваиваем дикий край. Ах, как хочется мне услышать Игумнова с новой вещью Рахманинова. Пожалуйста, напишите. Сергей Коншин».

5 августа. В музее Толстого в Москве. «У меня кое-что есть для Вас почитать — выписки из разных книг. Возможно, они покажутся Вам интересными. Мысли бродили о том, о сем, а когда мысли близкого по душе человека побродят по тем же местам, бывает очень приятно. Я вздумала читать переписку Чайковского с фон Мекк вперемешку с "Анной Карениной". Груба и неинтересна кажется "Анна Каренина" на фоне нежной переписки фон Мекк, но отдельные места в "Карениной" очень хороши. Хороша Долли, даже как-то хорош Стива своею правдивостью и естественностью. И как все в преклонных годах другое нравится, на другое обращается внимание. Помню, как в 18 лет читала с замиранием сердца на грязной лестнице, что вела в пансионскую кухню, "Анну Каренину". Я туда забралась, чтобы меня не отвлекали товарищи. Был летний разъезд в отпуск к родителям, а я не ехала — не могла оторваться от книги. И тогда особенно интересна казалась сама Анна Каренина и все ее чувства, в сущности, тогда еще мало понятные для меня, но именно своей непонятностью и волновавшие. Для меня особенно ощутимо прожитое именно при чтении "Анны Карениной". Татьяна Розанова».

10 августа. Горы-Горки. «Дорогая моя тещенька! Пишет тебе зятюшка и прочит дать совет. Дело мое вот в чем — чувствую я себя нехорошо. Слабость, нет аппетита, охотно лежу. Цвет лица (морды) грязно-белый, осунулся. При тщательном исследовании "домашним нашим врачом" — Галиной Дмитриевной Вышипан — найдено, что сердце помещается на законном, указанном ему месте и сокращается. Как видишь, она владеет вершинами знаний относительно исследований сердца.

Дорогой Миша! Разберись, пожалуйста, в этом деле, надоела мне эта история — работать мешает, мысли скверные, одно хорошо — потерял честолюбие, и стало спокойнее на душе. Слава

Богу, что Аня удачно выскочила из очень трудного положения. Передай ей горячий привет. Дмитрий Вышипан».

14 августа. Утром скончался Федя — брат. Последний год жизни он заметно сдал. Жить ему хотелось, а жизнь с каждым днем становилась все грустнее: болело сердце, нарастала одышка, к весне стали отекать ноги. Бывало лучше, бывало хуже, полежал в клинике, словно послышались прежние нотки в голосе. Держался все время достойно. В начале июля поехал погостить к брату Луке в Звенигород. Написал оттуда, что чувствует себя хорошо, а в начале августа сердце, истомленное непрерывными жаркими днями, стало ослабевать. Тринадцатого мы с Саввичем привезли его домой. Он умирал» Сознание временами уже терялось, уже не было радости ни от нашего приезда к нему, ни от возвращения в Москву. Всю дорогу от Звенигорода внимательно смотрел в окно, заметил, когда выехали на шоссе — «большак», справился об Ане. Комната ему была приготовлена, постель удобна и свежа, взята старушка для ухода — все заботы Анюшки. Моя задача была облегчить его страдания. Впрыснул камфару с пантопоном. Через полчаса успокоился и забылся после нескольких тяжелых дней и ночей. Утром стало ясно, что конец близок: сознание и слух были сохранены, но речи уже не было. На вопрос, болит ли что, отрицательно покачал головой, а потом два-три вздоха, и… жизнь оборвалась.

С Анею посидели мы тихо у его изголовья. Старушка шептала молитву. Я закрыл Феде глаза. Посидели еще сколько-то минут. Затем сделали последний туалет, одели его в белый костюм и положили на белоснежную постель. И то, что положили, и то, что перед этим одели — был уже не Федя, которого я знал всю свою жизнь с детства. Это был чужой небритый старичок с ввалившимся ртом, с немного обиженным морщинистым личиком. И только высокий лоб да красивый точеный нос напоминали Федю.

Умереть сейчас просто, но похоронить умершего сложно. К вечеру все трудности были преодолены — налажено с кладбищем, милицией, ЗАГСом, похоронным бюро и церковью. Стоял жаркий душный день. Затемненная комната хранила некоторую прохладу. У образа в изголовье горела лампада, в вазах вяли цветы. Разговаривалось шепотом. Смерть веяла здесь крылом тления и спокойствием могилы. И наконец, на следующий день к полудню холмик насыпан, все закончилось, делать больше нечего.

В который раз уж не страшна мне могила!

1 сентября. Муром. «Грустные вещи Вы сообщаете мне. Не только увеличивается число могил, могилка что (неразб.). Нет, там, в другом мире, лучшем, светлом мире, собирается все

больше и больше дорогих, близких, любимых и любящих нас душ. Они живые. Nicht Verloren nur Vergangen. Как бы мне хотелось увидеть это небо. Чувствую я его, чувствую, а вот хочется уже увидеть. Пора уже! В грусти, которую испытываешь, теряя оставшихся друзей, чувствуется оттенок некоторой зависти: "Эх, кабы ночь, вечная ночь поскорее", — чтобы видеть золотые сны и в них всех покинувших тебя друзей и близких. Иногда у меня рухнет эта вера, и тогда тяжело на сердце. Помогает мне церковь. Отойду там душой и опять верю, смиряюсь и надеюсь. Вот именно смирение, великое это чувство, приближающее нас к небу. Говорят, что из глубины днем можно увидеть звезды. Это справедливо только тогда, когда глубина очень большая и крутая. Так и в смирении. Чем глубже это чувство у человека, тем яснее он видит небо. Ваш Печкин».

2 сентября. Ничего больше не хочу в дне, как вернуться домой и не выходить из своей комнаты. Это самые уютные и полные часы. Перечитываю в который раз «Опавшие листья» Розанова. Умно, часто очень удачно и хорошо. Совсем поздно пришла попить чайку Анюшка. Грусть потери Феди гонит нас друг к другу.

Ленинград. «Нет радости на свете, дорогой М. М.! В химической лаборатории получила ожоги от взорвавшейся горелки. К счастью, глаза целы. Было очень больно и вообще больно от безобразного отношения врачей. Провела четыре дня за городом, чтобы придти в себя. Но четырех дней мало, просто даже незаметно, тем более, что сидеть в лесу, когда в городе все кипит и тревожно, не могу. Вот-вот заберут Бориса, и я судорожно боюсь, что живу с ним последние дни.

Перечитываю "Новую Элоизу" Руссо. Я люблю Руссо и как человека, и как писателя. Он созвучен мне. И как радостно, что века не могут уничтожить такого общения людей. Город отвратителен: очереди, остервенелая толпа, лицо "масс", все непереносимо. В лесу же горят болота, ликвидируются хутора. Я жила у моих давних знакомых под Лугой, и они под ударом.

Два слова о Глебе Вержбицком. Бодр, хорошо зарабатывае, и очень прославился, хотя и под псевдонимом, т. е. псевдоним здесь несколько современный: Глеб пишет "исполу" для одной легализованной бездарности. Тот все печатает под своим именем. Живет Глеб в Вишере, работает же в Ленинграде, на квартире у своего "патрона". Наталья Вревская».

23 сентября. Ленинград. «По приезде нашла Ваше письмо с прелестной репродукцией "книжного знака" В.А.Свитальского. Какой смысл его? Не в том ли, что невинная и радостная мечта, замысел вдруг сталкивается с жесткой и грубой

действительностью, что жизнь неизбежно скучнее ее. Я почему-то так его поняла, и мне он очень нравится.

Посылаю Вам книгу воспоминаний Ильи Львовича. Они не только художественны, но по тону своему очень благородны и любовны. Толстой недостаточно оценил этого своего сына. Это не Александра Львовна (терпеть ее не могу). В книге отсутствуют упреки, обвинения, обида, самолюбие, отсутствует вся "суета и улица", которые подтачивали толстовскую семью и уводили ее от "главного". Читая дневники Толстого и воспоминания его близких и его друзей и дневники Софьи Андреевны, только и повторяешь: "Вот пример, как не надо жить". Сейчас, в разгаре всех событий читаю каждый день "Семейную хронику" и "Детские годы Багрова-внука". Что за прелесть. Лучшее средство во время всяческих потрясений читать по странице хроники; нет лучшего лекарства. Надежда Розанова-Верещагина».

1 октября. Ленинград. «Какие трудные недели. Борис пока дома. Я перешла на работу в Педагогический институт, где если не интереснее, то денежнее. Дочь Нина мучается из-за непрописки. Последний этап — решение Прокурора СССР. Надо ждать, а это очень мучительно. Глеб сидит в Вишере, не мобилизован, но в рабстве у Евстафьева. Похоронила 12-ю тетку, близкую мне. Оглянулась на себя и ясно увидела, что годы считаны уже. Пора собираться в путь, пора каждый день проводить так, как будто он последний. Хочу эту зиму слушать много музыки, потому что единственно в ней нахожу, что мне надо. Наталья Вревская».

10 октября. Ленинград. «Ты хорошо надумал о санатории Академии наук близ Петергофа в "Заячьем ремизе". Зимний особнячок там уютный. От событий последнего месяца я постарел на полтысячелетия. Содержание жизни своей вижу в личных отношениях с близкими мне людьми. В "делах" принимал участие по необходимости. На привычку свою к газетам досадую. Лихоносов».

24 октября. Бухта Нагаева. «Наверное, в этом году это мое последнее писание. А там прощайте до весны. Вся жизнь катится по установленному ей пути без перемены. О будущем стараюсь не ду мать, мечтать уж надоело и устал. Вот о матери терзаюсь больше всего и бессилен помочь ей. У самого крылья обломаны. Брат Коля, верно, погиб, погибнет, верно, и мама. Стараюсь об этом не думать.

У нас второй день ужасная буря. Палатки, в которых мы живем, трепещутся, вздымаются и вот-вот сорвутся и полетят с нами через все сопки. Хорошо бы прямо в Москву, в Вашу комнату, и в ней переждать бы бурю. А сколько еще бурь за зиму

придется пережить. Сегодня на работе чуть не околели. Ветром у нас вырвало столб при подъеме; чуть не убил всех. Жизнь моя трудная, но я держу голову кверху и не теряю способности шутить и не считаю себя несчастнее тех, кто живет где-то там, в каменных домах, спит на мягких чистых постелях, слушает бой курантов, читает книжки и принимает гостей. Все в мире относительно, и растянуться иногда где-нибудь на оленьем мху или у железной раскаленной печурки, выкурить козью ножку бывает не менее приятно, чем в вольтеровском кресле перед горящим камином прочесть Пушкина или послушать Шопена. Будет ли еще письмо от Вас в этом году, мой старый, верный друг? Я должен, должен еще Вас увидеть и, как в старину бывало, разделить с Вами все, что нам дала жизнь. Увидимся мы обязательно, даже потому, что я этого страстно хочу. Но старыми мы будем, когда увидимся? Ну, ничего. "Тогда у старости отнимем все, что отнимется у ней". А пока сжимаю Вас в своих могучих объятьях, как сегодня столб при падении. Сергей Коншин».

25 октября. Серый, теплый дождливый день. Все недовольны, а я люблю такие дни, и с утра был рад и дождику, и хмурому небу. Думается, что в такие дни Пушкину «особенно» творилось. Вспоминаю минувшее лето. Выпало оно необыкновенно жарким и сухим. Прожил я его — на работе и у себя в комнате — с закрытыми окна ми и спущенными шторами. Тихо, прохладно, уединенно. Городские сумерки на меня всегда действовали удручающе. При таком порядке я их не видел. Выходные дни проводил у могилы Володи. Часто, даже чаще не один, а с кем-либо из своих или Володиных друзей — охотников всегда было много. В середине лета художница Сахновская зарисовала мне могилу Володи. Я часто себя спрашиваю, хорошо ли сделал, похоронив Володю в Загорске? Знаю только одно, что в Москве кладбища все под угрозой. Кстати, передали недавно, что при реставрации лавры открыли гробницу знаменито го митрополита Филарета (Дроздова), вынули его прах, а куда дели — не знаю. Вот судьба конечная всесильного, могущественного словом, делом и подвигом. А что же нам можно предусмотреть и предугадать?

Пробую писать свои воспоминания, но писать летом в городе, в комнате, как ни изолируемой мною, но обтекаемой густонаселенным домом и коридором — трудно, и я отложил эти писания до отпуска. События 1 сентября — война Германии с Польшей и Англии и Франции с Германией — чрезвычайно нарушили жизнь. У магазинов вдруг выросли громадные очереди, равно как и у сберкасс. Объявление мобилизации привело к

страшному спросу водки. У пунктов призыва старая картина — гармоника и плачущая жена! До чего живуч быт! Кажется, вся жизнь вывернута наизнанку, народ-богоносец стал народом-богоборцем, а вот загул с гармошкой остался и в серьезные минуты жизни народной опять и опять заявил свое право и власть.

11 ноября. Петергоф. Заячий ремиз. «Милая Анюшка. Я на месте, и все хорошо. На вокзале получил плацкарту в спальном вагоне и всю дорогу не спал, правда, но лежал. Ленинград встретил темным утром. День рассветал медленно и неохотно. Лил дождь. Я проехал к Наталье Павловне. Ее не было дома, но меня ожидали. Я вымылся, напился чаю и поехал к Лихоносову. С ним и провели день до 6 вечера. Дождь перестал, мы прошлись с ним по набережной до Летнего сада, посидели там, прошли к музею Александра III, опять посидели, осмотрели лежащий на боку памятник Александру III, прошли к Казанскому и опять посидели в сквере против него. Вечер я провел в кругу семьи Натальи Павловны. Пришел Глеб Вержбицкий. Его писания имеют успех, но печатается все это под другой фамилией. Глеб остр, насмешлив и умен. Последующий день, т. е. вчера, опять с Лихоносовым. Опять, как два старых рантье, тихо прошли с ним по набережной Невы. Я потащил его посмотреть усыпальницу русских царей в Петропавловской крепости. Какие имена! Какие дела! И в каком забросе и небрежении!

Погода стоит, на мой взгляд, чудесная. Воздух в Ленинграде, навеваемый с моря, свеж и чист. Температура около 7–8 градусов тепла. Сегодня я выехал в Петергоф. От станции не очень близко, но и не далеко. Утомил меня чемодан. Мы рабы наших вещей, когда берем — их мало, когда несем — их много. В доме-санатории и уютно, и тепло. Живет человек 10–12, точно не знаю. Я сразу же принял ванну и после обеда полежал 2 часа. После вкусного вечернего чая пишу тебе это длинное письмо. Словом, как видишь, все идет пока гладко. Петербург доставил мне удовольствие. Но, Боже мой, каким чувствуешь себя старым в местах, где давно не был и где когда-то "добивался жизни" молодым! Но, знаешь, у меня нет ни зависти к начинающим жизнь, ни желания повторить свою жизнь снова. Происходит естественное отмирание, и хочется только одного — мира и тишины, — и в себе самом, и в окружающем.

Хочу еще сказать тебе, как близка ты мне и дорога, и как уродлив человек в своих отношениях к своим близким, не умея и стыдясь проявить свое чувство и высказать его. Миша».

20 ноября. Москва. «Мишенька, родной, 17-го вечером девочки Вышипан получили телеграмму от Любочки: "Отец болен

воспалением легких. Приезжайте". Выехали, обезумевшие от горя, в тот же день. Вчера я получила телеграмму: "Плевропневмония, инфаркт в правом легком. Состояние тяжелое". Вот надвигается опять что-то тяжелое и страшное. Прими мои вести спокойно. С "этим" ничего не поделаешь. Тяжело думать о девочках, на них сваливается ужасное горе. Отдыхай, пожить еще тебе надо, а жить без тебя я никак, никак не хочу. Аня».

22 ноября. «Вчера вечером получила телеграмму: "Изменений нет, вышлите мандарины, виноград, одеколон". И вот я сегодня убила целый день, обегала весь город и только под вечер достала 2 десятка мандарин и 2 килограмма винограду. Грустно мне думать, что испортила твой отдых, но не дать знать, мне казалось, я не имела права. Кстати, Вышипану до сих пор не сказали о смерти Феди, и он часто справляется о его здоровье. Какой наш возраст стал: то болезни, то смерти. Аня».

23 ноября. «Сегодня ночью умер Вышипан».

25 ноября. «Получила твое письмо. Бывает так, что дойдешь до какого-то предела. Дальше, как будто, уж и терпеть невозможно, и нужна какая-то разрядка. Вот сегодня такой разрядкой и явилось для меня твое письмо. Я больше всего боялась, что ты решишь уехать к Вышипану. Ну, когда там нужно было больному оказать помощь, я понимаю, но ехать, когда там уже все кончилось, совершенно тебе невозможно. Теперь эти ангины у тебя!! Вот и обстановка прекрасная, и стол хороший, а отдохнуть тебе не удалось. Видно, действительно трудно нам отдыхать вне дома. Предложи, например, мне царскую обстановку и посади одну на несколько дней. Думаю, что я взреву и на другой день уеду домой, как дома ни плохо. Аня».

25 ноября. Горы-Горки. «Похоронили здесь. Собираемся в Москву. Отдыхай. Береги себя. Люба».

30 ноября. «Лучше, если бы ты был дома. Отдохнул, и довольно. События развертываются так быстро, как нам и не гадалось. Лучше, если бы ты был дома. Аня».

5 декабря. «Любимый дядя Миша! После ужасного сыпного тифа в Харькове отец всегда говорил: "Хорошо, что я выздоровел, а то бедному Мише пришлось бы опекать Любочку и Катерину". Теперь нас больше, и мы крепче стоим на ногах, но Вам все равно придется нас опекать. Отца мы похоронили там. Об этом у нас с ним был разговор. До самой последней минуты он был в памяти и шутил с нами. Он сознавал, что умирает, и просил похоронить его рядом с профессором Мечинским, который когда-то был его преподавателем. Хоронили и оплакивали его очень искренне и товарищи, и студенты. Ведь за три дня до смерти он еще читал лекцию. Аудитория и весь корпус были нетопленные, и он

схватил воспаление легких. Екатерина Вышипан».

В тот же день. «Дорогой Мишенька! Вчера ходила с детьми и Аней в церковь отпевать Митю. Венчик и разрешительную грамоту свезли к Феде на могилу и там закопали. Теперь все так делают — отпевают заочно или по необходимости, или из-за страха. Сколько раз во время болезни Мити решала я с детьми, позвать тебя или нет? Было ясно, что спасти его нельзя. Все хлопоты по похоронам взял на себя институт. Уезжать после похорон не хотелось. Чужое место стало близким и вспоминать одинокую могилу ужасно тяжело. Люба».

14 декабря. Вчера вернулся из Ленинграда. Ленинград затемнен. Город живет с наступлением темноты жуткой призрачной жизнью. Идет война с Финляндией, слышна канонада. Город представляет собою военный лагерь. Такая же картина была и в Петергофе: санаторий жил в полумраке синих лампочек. С первых дней пребывания в санатории я чувствовал себя плохо. Два раза перенес ангину. Умер Вышипан. Я прочел телеграмму о его смерти, и меня начала трясти лихорадка. Я завернулся в два одеяла, сел в кресло, закрыл глаза и год за годом прошел с ним 27 лет. За последние три месяца это третья смерть в нашей семье: Федя, дочь сестры Паши — учительница, и Вышипан.

16 декабря. «Вышла из больницы. Работаю. На службе меня встретили сочувственно. Каждый день думаю, как буду работать и добираться обратно до Загорска, так как нога моя все же очень болит. С грустью думаю, что когда были ноги, не нагулялась с Вами. Нигде-то мы не были, а так мне хотелось по травке погулять. Видно, не судьба. Недаром так сердце рвалось походить. Чувствовала словно, что больше не гулять мне, ведь ковылянье не ходьба. Татьяна Розанова».

20 декабря. Бухта Нагаева. «Мой бесценный друг! Сегодня на работе мой прораб передал мне Ваше письмо. Уселся я на пень и читал его, и радовался и грустил, и повалилась работа из рук и поплыли воспоминания. Все, что было семь лет тому назад, стоит так живо перед глазами, как будто вчера был среди Вас. И вот, придя "домой", несмотря на ужасный галман в палатке и кучу всяких неудобств пишу Вам, и мысли мои с Вами. Еще три года нужно мне терпеть, а что значит три зимы, которые всего страшнее и труднее?! Ведь выдерживать рабочий день на лютом морозе в неважной одежонке — не шутка. Спасает моя чертовская выносливость, терпеливость и подвижность в работе. Вот уже два года, как я стал рабочим. Мышцы стали крепкие, руки тяжелые, только сердце стало плохое и мешает работать. Вот уже два года, как я не видел себя в зеркале и мне предстоит интересная встреча

с самим собою. И все же я рассчитываю вернуться к жизни, если не поблекну для нее. Итак, мой дорогой, до весны, ежели буду жив. Живите лучше, веселее: "Играйте, пойте, вы, друзья, украдьте вечер скоротечный, и вашей радости беспечной сквозь слезы улыбнуся я". Сергей Коншин».

28 декабря. Острогожск. «Получила перевод и очень за него благодарна. Живется очень тяжело. Жизнь невозможно дорога. Везде очереди. Отпускают все только на одного человека. Никто не может получить за другого. Пропустишь очередь, когда дают, нигде уж не достанешь. Для меня на 8-м десятке лет это очень тяжело во всякую погоду стоять подолгу в очереди. В комнате у меня холодно, дрова безумно дороги, зябну по целым дням. Решила хлопотать о помещении в Дом инвалидов. Буду просить поместить меня здесь, в чужой город не поеду. Пожелаю Вам всего хорошего. Обнимаю и целую. Софья Яковлева».

Загорск. «Ваше намерение канун Рождества провести в Загорске очень меня радует. Мои знакомые говорили обо мне с Пешковой, и она хочет меня устроить в санаторий через Литфонд. Об этом мне надо с Вами посоветоваться, так как на службе дела очень сложные, все болеют, работать некому, администрация все новая, и уже о двух сотрудниках поговаривают, которые болеют, чтобы их уволить. Пишу Вам спешно на службе, хотя работы много, но дома нетоплено. Татьяна Розанова».

Муром. «Хочу передать Вам свои впечатления от Вашей работы о Володе. При чтении я буквально упивался той горячей, искренней и благородной любовью к умершему человеку, с которой написана каждая строчка, каждая буква. Любовь облагораживает все, на что падают ее лучи. Я знал Володю мало и не мудрено, что не видел в нем того, что видели Вы. Даже его недостатки и моральные промахи, скатывания и падения под лучами Вашей любви становятся такими понятными, что невольно читатель хочет простить и пройти мимо них. Вашу "Книгу о Володе" нельзя назвать биографией. Это не исторический труд, а эпическое художественное произведение — "Поэма о Володе", об искре Божией, которая горела в этом мальчике несмотря на то, что он сам это не вполне сознавал. Ваша любовь раздула эту искру в огонь. Я читал описание внезапно разразившейся катастрофы, и мне до слез было жаль Володю и Вас. Вас, потому что его скорбный день будет идти за Вами во всю Вашу последующую жизнь. Скорбь эта — и мука, и блаженство в одно и то же время. Наверное, Вы не хотите забыть Володю, чтобы избавиться о» этого горя. Скорбь эта усиливает любовь, а последняя приводит нас к Богу, а Он может дать удовлетворение этой любви и соединить нас с любимым

человеком. Печкин».

1940 год

Встретили мы Новый, 1940 год хмуро — слишком свежи были могилы. Наступающий же високосный год вовсе не настраивал на радужные ожидания. По народной примете, «високос» сулил год тяжелый и год трудный. Лично мне, казалось, не на что было жаловаться. Положение мое служебное было хорошее. Зарабатывал я на одного прилично, комната у меня была отлично обставлена и устроена. Питался я у Ани, и быт мой не был усложнен. Люди близкие и люди хорошие, и люди даже интересные в обиходе были. Читал я много, музыку слышал часто и… тем не менее, было душно, давила тяжесть. Какая, чего — это сложно, это в двух словах не скажешь, это заключалось в общем сознании предгрозового состояния, и каждый прятался в свою скорлупу, стараясь меньше быть замеченным, меньше быть на виду. Страшно упала общественная мораль. Человек падал все ниже и ниже в чести, правде, искренности, простой порядочности. Все стали остерегаться друг друга, и чувство зависти, национальное наше чувство, расцвело махровым цветом. И потом страшно обострилось состояние «отцов и детей». Дети настолько «ушли вперед», что совершенно перестали понимать родителей, как те не научились понимать детей. Москва надоела мне. Надоело каждый день брать с бою место в троллейбусе, слушать сплошную ругань в трамваях и видеть общее озлобление. Надоело в поликлинике ловить «аггравантов» и «симулянтов». С каждым днем «совесть здоровья» понижалась, «воля к болезни» повышалась. А дома — в доме заселены все углы разношерстными, равноправными гражданами, «чистыми и нечистыми» бок о бок. Все время сталкиваются интересы у плиты, уборки помещения, освещения коридоров и т. д. без конца. И воровство детьми, да и взрослыми, при первой возможности всего, что плохо положено, случайно забыто, неосмотрительно не заперто. И дети развинченные, растущие на дикой воле, без удержу дерзкие и наглые до удивления. Они уничтожили все растения во дворе, вытоптали всю траву, поломали все изгороди, и наш прежде такой уютный дворик, обвитый виноградом по всем дворовым постройкам, с кустами сирени и с зеленой травкой, — превратился в затоптанный, загаженный выгон, проходной со всех сторон. А на террасе у моих окон с утра до вечера толпа детей, доламывающая террасу, выйти на которую просто уже было

невозможно, разве только поздней ночью да ранним утром. И надо всем этим свободным раем свободных граждан рев радио, выставленных его любителями на окна и за окна. Нет, надоела мне Москва, и только несколько близких людей да музыка держали меня в ней. Да и, кроме того, куда деться и где устроиться, где было бы по-иному?

6 января. Москва. «В новогоднюю ночь читала "Книгу о Володе". От этого у меня осталось чувство боли, и я могла бы Вам это передать в не совсем подходящих словах: "Бродя слепыми в мире, не ведаем мы, какое огромное счастье проходим мимо". Что мы бродим — это так, что мы слепы — нельзя этого отрицать. И мы действительно не ведаем, что мы проходим — ах, как часто и безнадежно проходим мимо и после сожалеем. По гордости или по упрямству, или по беспечности проходим — этого я не знаю. Но это так. А огромное счастье — это тот человек, о котором я читала. Повторяю, мне больно от всего. Вы хорошо и просто пишете. Истомина».

Ленинград. «Канун Рождества. На набережной и Марсовом поле редкие пешеходы. Уже неделю стоят морозы 30–35 градусов. Город в белоснежной дымке. Шпиль Петропавловской крепости как бы висит в воздухе. В Летнем саду я в одиночестве. Картина сказочного, замороженного города-гиганта, оставленного жителями. Конец старого, начало нового года. Итоги, отчет и планы. 1939 год унес трех близких людей, с двумя из них работал вместе. Все трое почти сверстники. Уход их из жизни — это откол, откол большого куска жизни, последним ощущением которой стало приближение конца и твоей жизни. Лихоносов».

29 февраля. «Сижу одна на службе. Занятия кончились. Тепло, и я могу сосредоточиться. Дома же мне трудно писать: неделю уже, как не топят совсем. Холодно, и это мешает мне думать. Слушала на днях Четвертую и Шестую симфонии Чайковского. Первой давали Шестую симфонию. Слушая ее, думала о Вас, о строе Вашей души, о нашей встрече, о том, почему вы могли желать продолжения жизни Владимира Александровича несмотря на всю ее страдальческую суть, почти мучительную до крика души. Еще думала о фон Мекк, печальной и одинокой кончине Чайковского, такого властительного в творчестве и такого бессильного в жизни. Шестая симфония — это какое-то откровение, звуки с неба. Жизнь такому человеку была слишком бледна и сера. Самая богатая душевно жизнь бледнеет перед этими звуками. Он услышал их с неба. Может быть, тут разгадка всего его существа, так что сама его жизнь могла быть жалкой и даже пьяной, и даже, быть может, безобразной. Какой-то жестокий человек ненужно познакомил

Надежду Филаретовну с печальной действительностью, и не вынесла ее душа этого. Ведь она тоже тяжко заболела душевно после этого разрыва. Думаю, что сделал это подленький Пилсудский. Такие Смердяковы всегда есть, и бедная женщина замолчала, чтобы никто не мешал ей слушать все те же небесные звуки. Т.Розанова».

Март. Воронеж. «Мои дорогие друзья! Я получила Ваше письмо. Что я могу сказать сейчас? Что он был лучшим из лучших, что человек он был, каких не найдешь, самый честный, самый правдивый, самый прямой. Какой умный, добрый и какой сын! У нас были вчера его друзья психиатры и говорили, что его ждала большая будущность как ученого…

Мы приехали на его похороны и увидели его в гробу. Что мы испытали? Как не разорвалось мое сердце?! Как солнце, бывало, входило в дом с его приходом. Всегда радость от него. За все свои 24 года никогда не огорчил он меня. Никогда. Елизавета Станович-Миловская».

«Дорогой М. М.! Спасибо Вам, родной, за Ваше теплое письмо. Только очень хороший человек с ясной душой, много испытавший сам горя мог написать так. Да, наш Мика погиб ужасно. Две недели, как мы похоронили его, а на душе тоска, с каждым днем все больше и больше. Мысль бьется, как подстреленная птица. Мозг не мирится с утратой самого дорогого. Тоска, отчаяние. Сердце обливается кровью, глядеть на мать. Мне жутко, страшно. Дмитрий Миловский».

Далекое детство. Отрочество. Юность. Вся жизнь в Острогожске была связана с Лизой Станович. И Митя Миловский, менее близок, но все же знакомый, и хорошо знакомый, с пятого класса гимназии, живущий на нашей улице, выросший с нами вместе. И единственный сын их Мика. Он только что прекрасно окончил мединститут. Напечатал уже две работы по психиатрии. Был мобилизован, попал в какую-то юго-западную глушь и там покончил с собою. Лиза пишет: «Комиссар однажды спросил Мику, отчего он не ухаживает за девушками? Мика серьезно ответил: "У меня есть невеста, я ей посвятил жизнь"». Ну, как же так? Что же понудило его нанести такое горе матери, отцу, невесте? Покончить жизнь, когда он был «всегда праздничным, всегда радостным, точно луч света». И это не только восприятие матери, но и всех нас. Помню, с каким тонким юмором он как-то рассказал: «Гуляю я по перрону на вокзале в Сочи. Прошелся раз, другой мимо поезда и вижу: у окна вагона сидит, подбоченясь, товарищ Буденный. Сидит и скучливо крутит ус. "Молодой человек, а молодой человек, подите-ка вы сюда", — позвал он меня. Я подошел. "Вы узнаете, кто я?" — "Буденный". — "Товарищ

Буденный. Точно, это я. А вы куда едете?" — "В Воронеж". — "А, бывал я там, бывал. Кланяйтесь там всем от меня". Я поклонился и отошел». И вот этот мальчик, полный ума, юмора, любимый и любящий, кончает с собою. Здесь есть, конечно, какая-то тайна. Не будем доискиваться ее. Склоним голову перед судьбой и пройдем с горечью и раздумьем дальше.

10 марта. Острогожск. «Перевод я получила. Цены на все растут не по дням, а по часам. Заработка не хватает на самое скромное существование. Иду в Дом инвалидов, путевку никак не дождусь. Хорошо, еще добрые люди есть на русской земле. Нет-нет, и помогут. Хлеб привозят к 5 часам утра. Очередь громадная. Все получают в одном месте и возвращаются часов в 9. Это для меня невозможно. Я очень ослабела. Ноги не служат. Снегу эту зиму навалило много, сугробы наравне с заборами — ни пройти, ни проехать. Спасибо Вам, спасибо. Софья Яковлева».

24. марта. Только что ушел В.В.Черепанов. С предельной откровенностью рассказал он мне о своей страшной роли при Володе. Я взволнован.

Черепанов дурно одет, запущен, принес несколько силуэтов работы Володи. Я купил их у него. Он жалок и страшен в пьяном своем опустошении. Одна деталь… Собирается навестить могилу Володи, но не прежде, чем будет хорошо одет и приведен в порядок.

4 апреля. Загорск. «Спасибо Вам за сообщение о всех событиях около Вас. Черепанов мне противен, как противны все хищные и насильственные люди. Буду рада узнать, что он Вас оставил в покое. Владимир Александрович, несомненно, был благородный и, в сущности, терпеливый человек. Сколько он перенес, бедняжка, лишений и страданий. Его последние рисунки знаменуют поворот в его творчестве, но он не успел развернуться, а много нового сказал бы он в искусстве. Перечитываю "Афоризмы житейской мудрости" Шопенгауэра. Хороший он писатель и полезный, а пессимист не больший, чем сама жизнь. Никак не могла читать его основной труд "Мир, как воля и представление". Эта книга требует сосредоточенности. В выходной день не дает читать кричащее безумно радио, а по вечерам я ни на что не годна, очень и очень устаю после дороги в Москву и службы. Как-то на днях собралась читать, нагрела комнату керосинкой и думала блаженствовать. Не тут-то было. Пришла милиция, обыск у квартирантки, меня потащили в качестве понятой. Измучили, утомили физически и душевно. В результате Шопенгауэра не удалось почитать. Да и жилицу с милыми добрыми глазами увели, и я опять в убытке: некому мне сказать по-доброму: "Здравствуйте, Татьяна Васильевна", — а мне

не у кого спросить: который час? Поплакала я опять тихо, посетовала на свою горькую судьбу и утешила себя, как всегда утешаю, — значит, того заслуживаю. Татьяна Розанова».

Апрель. Бухта Нагаева. «Подаю Вам свой весенний голос. Жив, здоров и по-прежнему терпеливо тяну свою лямку. Осталось немного — 8 месяцев и 2 года. Неужто за это время Ваша бодрость, здоровье и любовь к жизни покинут Вас? Мне это время труднее будет прожить, чем Вам, но верю, что вытащу еще счастливый билет в жизненной лотерее на благополучие и удачу. В данное время командую 13-ю "гавриками", вдохновляю их личным примером на самых трудных работах, лазаю над обрывами по крутым перевалам, перетаскиваю по бездорожью на лыжах по 70–80 килограммов проволоки на 10–15 километров, и если справлюсь со своей задачей, то могу рассчитывать на какое-нибудь поощрение в дальнейшем. Молю Бога, чтобы весна запоздала и я успел сделать работу. Письма мои к Вам всегда связаны с каким-нибудь стихийным бедствием. Это дает перерыв в работе. И сейчас ужасный ветер продувает мою бедную палатку насквозь и вот-вот сорвет ее с меня и понесет в Москву. В своих мыслях я очень часто в ней. За 8 лет жизни в Москве было у меня тоже достаточно много душевных смятений и мало радостей. По существу, я не пожил для себя еще на этом свете и жалко, жалко, что молодость уже прошла. Утешаю себя всегда словами Пушкина:

Не вдруг увянет наша младость,
Не вдруг восторги бросят нас,
И неожиданную радость
Еще обнимем мы не раз…

Безумно скучно без музыки. За небольшой отрывок Бетховена готов отдать все, что угодно. Иногда приходится урывками слушать радио, да все передают какие-то грубые, топорные, не музыкальные вещи. Слушают у нас тут теперь и Москву, как-то удалось прослушать концерт для заполярников, и был поражен его бездарностью и пошлостью. Слаба, еще очень слаба у нас музыкальная культура… Жду с нетерпением Ваших вестей. Коншин».

Загорск. «Как мне приятно было в последний раз быть у Вас. Как все у Вас для меня было мило и дорого. Ваш рассказ о Черепанове и то, что Вы сумели подметить в нем хорошую черту, сумели отозваться добрым словом о нем, очень тронули меня. Ваши воспоминания и Ваш рассказ взволновали мою душу. Я долго в эту ночь не могла уснуть от радости. Татьяна Розанова».

19 апреля. Очередная годовщина. Мучился всю ночь какими-то неясными кошмарами, неясными обстоятельствами смерти Володи и, просыпаясь, успокоенно думал, что все это не так и я видел его умершим и хоронил его, и знаю обстоятельства его смерти.

20 апреля. Малоярославец. «Располагала быть у Вас, чтобы в эти дни побыть с Вами. Но судьба решила иначе. Очень трудно сейчас познавать свои жизненные пути. Отметила годовщину смерти Володи, перебирая немногие реликвии, которые у меня остались. Настроение у меня неустойчивое и "недоуменное". Что же дальше?! Нет спокойствия. Трудный год, роковой год! Скоро город уберется сам и уберет свои холмы в белую фату вишневых садов, но… не радует и это. Елена Аносова».

29 апреля. Понедельник. Пасха. Вечер. Только что ушел Сережа Симонов — старый друг. Он уже давно стал Сергеем Михайловичем, профессором консерватории, женат, а все Сережа по многим прошлым годам. Выпили вина, поговорили. Сережа поиграл, и только музыка была праздничным в «нашем празднике». Остальное все не только не весело, но просто уныло, как замолкнувший давно праздничный перезвон этих дней. В последние дни Страстной недели был на всех церковных службах. Молящиеся, чтобы попасть в храм, собираются за много часов до начала службы. У церквей толпы нищих. Ночная служба с пятницы на субботу опять открыла в себе новый смысл и новые слова для меня. Вышел я из храма около пяти часов утра. Город раннего утра. Неметенные грязные улицы, и уже пьяные. После долгого пути трамваем комната показалась раем.

Ленинград. «В жизни, во взаимоотношениях осталось то, что называется в кино "крупный план", т. е. "жив, здоров, служу" и т. д. Писать так скучно, а на "иначе" не хватает сил. Замерзла я за эту кошмарную зиму. Боюсь всего — и всякого звонка, повестки, открытки и т. п. Недавно хоронили академика Шокальского. Он дальний родственник Вревским. 84 года. Полная ясности голова. Кипучая работа и жизнерадостная доброта. Таков он был до последнего дня, когда сказал: "Дайте мне теплой воды хорошенько помыться, сегодня я умру". Сам закрыл глаза, руку сложил в крестное знамение. Такое спокойное, слегка улыбающееся лицо. Хорошо так умереть, но для этого надо так же хорошо жить.

Была на Софроницком-Скрябине. Хорошо играл, но Скрябин сам показался "далеким". В симфонических вещах он интереснее. Когда-то он был мне созвучен. Его смерть поразила в сердце. Дело было летом в Тригорском. Среди тишины полей и торжественного заката подали мне газету с известием о его

кончине. До сих пор помню и ощущаю эту утрату. А музыка его стала мне чужда. Душа просит гармонии, завершенности, нужен Бах.

Видаю Глеба, который работает теперь самостоятельно над историей бумажной фабрики Варгунина. Интересно, и хорошо заплатят. А дальше еще и еще есть возможности. Он полон сил и энергии. Наталья Вревская».

8 мая. Москва. «Меня интересуют Ваши записки, и очень бы хотелось их почитать. Надеюсь получить такое же удовольствие, как и от "Книги о Володе". Мне сейчас лучше, и я лежу на воздухе. Я приятнейшим образом поражен был Вашим диагностическим талантом. Я всегда ценю тонкую и ювелирную работу мысли, да еще с неожиданным выводом. До сих пор чувствую удовольствие, хотя результаты и не были утешительными для меня. Я способен быть объективным даже в неприятные минуты. Я очень Вам благодарен, по крайней мере, знаю, чем болен и что нужно делать. Сергей Цветков».

Сергей Алексеевич Цветков, близкий к В.В.Розанову, после его смерти разобравший все его литературное наследие, болен туберкулезом легких. Я нашел его стареющим, большим, грузным, с живым интересом ко всему, умным и наблюдательным насмешником. Он сиднем сидит у себя на окраине Москвы, на Бухвостовой улице, в деревянном флигельке во дворе. Низенькие его комнаты завалены книгами и массою папок с бумагами. Сергей Алексеевич много знает, во многом разбирается. В студенческие годы он собрал и обработал «Русские ночи» В.Ф.Одоевского. Общение с ним всегда интересно и приятно. Путешествовать к нему на Бухвостову улицу всегда целое событие, но я время от времени пускаюсь на него, и получаю у С. А. неизданные вещи В.В.Розанова и переписку его с «РЦЫ», со священником Устьинским, К.Леонтьевым и другие материалы «по Розанову». Изредка С. А. поднимается ко мне, и это бывают вечера «табачного дыма» и многих рассказов о многих интересных людях и вещах.

15 мая. Ночь. Только что ушел К.Н.Игумнов. Ему 68 лет, но он полон жизненных сил, бодр, деятелен и лучший пианист в стране. Мне очень приятно было провести с ним вечер, и приятно было часа в два ночи проводить его по тихим московским переулкам, столько «хоженным».

20 мая. Поселок Кокошинский. В этом году душа моя не вынесла лета в Москве, и я сбежал на дачу. Хозяева мои — учителя местной школы. Они знают меня с Алабина, приверженны ко мне и заботятся обо мне бескорыстно и внимательно. Домишко их утлый и дырявый. Полы в щелях и

дрожат, как клавиши. Двери так низки, что я хожу с подбитым теменем. Но в доме чисто, тихо, нет маленьких детей и радио. А усадьба большая, уединенная, с березками и дубами. У самого моего крылечка стоят четыре деятельных улья и посажено много цветов. И решил я никуда в отпуск не ехать, а сидеть на своем крылечке и писать о 1918–1923 гг. Хочется показать, как отразились они на мне и ближайшем окружении.

Загорск. «Кладбище. Что же? Как ни бесконечно тяжело это, но ведь покойника не будешь перевозить с одного кладбища на другое до бесконечности. Сегодня закрывается одно, завтра другое. События столь грозны, что заставляют нас ни к чему не привязываться, а смотреть внимательно в вечность. Знаю, дорогой мой, что Вам это очень тяжело, но нужно это принять. В утешение скажу Вам одно, что от решения и постановления о закрытии кладбища до проведения в жизнь этих решений проходят годы. Так было и есть с Вознесенским кладбищем здесь, так будет и с Вашим Никольским. Следы материнской могилы я и до сего времени нахожу на Вознесенском кладбище.

Была на докладе о Толстом в Институте мировой литературы. Вынесла более, чем грустное впечатление о бездушии и бездарности людей. Жутко, жутко и жутко. Татьяна Розанова».

6 июня. Загорск. «Сегодня была на могиле у Владимира Александровича. Три деревца клена засохли да боярышник один. Остальное позеленело и пошло. Было ветрено и холодно, и все же самое спокойное место на земле — это кладбище. А как хорош и чуден вид лавры оттуда. Незабываемый, с холодным и грустным солнцем над нашей землей.

Что Вам увеличили рабочий день до 8 часов, надо с этим мириться. Конечно, разумно искать меньше дела в жизни, а не больше. Но если нам посылается много работы — значит, это для чего-то нужно. Мудрость заключается не в том, чтобы искать созерцательной жизни, а в том, чтобы в суете житейской оставаться спокойным и созерцательным и не вносить хотя бы большей путаницы в мировой хаос. Татьяна Розанова».

Таруса. «Каждое Ваше новое письмо меня еще больше убеждает, что Вы прирожденный писатель и не напрасно имеете вкус к писанию. У Вас есть и свое собственное лицо, ни на кого не похожее. С нетерпением жду возможности прочесть Ваши воспоминания. Вы спрашиваете о Тарусе. Хлеба в ней пока нет. Есть на рынке мука, яйца, картофель, бывает рыба. Несмотря на это, дачи почти все разобраны, так она обаятельна и так к ней привязываются раз побывавшие. Сейчас Таруса имеет очень печальный вид. Она утопала в фруктовых садах. Зимой ее постигло бедствие — вымерзли все яблони, вишни, сливы. В лесах

пострадали дубы, орешни. На дубах появились листья только на толстых ветках. Тургенев рассказывает, что точно такая же катастрофа была ровно сто лет назад — в; 1840 году. Он описывает будто бы наши дни. В Тарусе хорошая библиотека. Читаю с величайшим интересом 8-томную историю XIX века Лависса и Рамбо. Она дает ключ к пониманию современных событий на Западе и войны. Сергей Цветков».

Загорск. «Меня очень радует, что Вы стали ежедневно читать "Вечную книгу". Вы увидите, как постепенно изменится строй Вашей души к лучшему. Только не огорчайтесь никакими движениями сердца, как будто идущими в обратную сторону тому, что читаете. А что Вы пишете "о некоторой наивности этой книги в отдельных местах", я совсем не думаю, что она наивна, а наивны мы со своим маленьким умом, думающим, что понимаем и знаем больше, чем "рыбаки с Геннисаретского озера". События показывают удельный вес нашего разума.

Сегодня выходной день, и я часа три сижу в маленьком, закрытом уютном огородике и чувствую сильно природу. За 20 лет я впервые разрешила себе эту роскошь и счастлива безмерно. Очень люблю я Ваш книжный знак работы Владимира Александровича. Сначала он мне не понравился, и я попросила его у Вас, так как хотелось иметь какой-нибудь Ваш портрет. Он мне казался шаржем, а потом я разобрала, что он сделан с большой любовью к Вам. Очень тонко и глубоко улавливает самую сокровенную и неуловимую Вашу сущность. И Владимир Александрович через этот портрет стал мне еще дороже, и я его уважаю за его честность, правдивость и глубину.

Кстати, я сделала для Вас кое-какие выписки из Шопенгауэра. Современные события рассматриваю хотя и с болью в сердце, трансцендентально, а потому "с чувством розового заката солнца" Т.Розанова».

24 июня. «Сегодня яркий солнечный день и так ясно, особенно сегодня, вспоминается Алабино и его обитатели. Хочется повидать Вас, дорогой М. М., посидеть рядком, поговорить ладком. Я так давно лишена этого. Уже два с половиной месяца я в санатории и хорошо, что скоро этому "благу" подходит конец. Места здесь очень живописны, гуляю много. И хорошо, что целые часы можно никого не видать. В санатории сейчас 140 человек, в большинстве это хозяева времени: самоуверенные строители "счастливой жизни" с любовью к патефону для западных танцев и аккомпанементу баяна для песен. И музыка воспринимается напряженно, и скованные серьезностью фигуры тяжело подвигаются парами. Смотреть скучно, а действовать, наверное, тяжело. Массы имеют

через день кино: устаревшие агитки 1926 года. Библиотека здесь слабенькая, но, повторяю, огорчения эти полностью забываются в лесу. Но пора, пора домой. Хочется в Вашей компании побывать на тихом кладбище в Загорске. Наверное, там все зазеленело. Возьмите меня с собою к Володе. Людмила Маслова».

Бухта Нагаева. «Мой дорогой друг! Первые весточки из родных краев: конечно, от брата Толи и Вас. Вы оба не забываете меня, как не забывала когда-то моя несчастная мать. В обоих Ваших письмах я почувствовал тепло, любовь и человеческие искренние чувства. Спасибо Вам за программу юбилейного концерта Константина Николаевича. Как приятно, что его так ценят. "Рапсодия на тему Паганини", это новое в творчестве Рахманинова и в репертуаре К. Н.

Моя жизнь идет по-прежнему, и путь мой обильно поливается потом. Воз, который я тяну за собою, становится все тяжелее, сил становится меньше. Работаю все время вдоль реки Колымы, которая полна величественной красоты. По линии, где мы работаем, бродят медведи, и того гляди, придется с ними бороться и остаться без головы. Наконец, состоялась у меня встреча с самим собою через найденный осколок зеркала. Я еще молод, свеж и, стало быть, буду еще жить и благодарить Создателя, что родился мужчиной. Через два с половиной года я опять приобрету право на жизнь. Вот они, мечты! Но не только ведь гимназистам мечтать. Целую крепко. Коншин».

Загорск. «Пишу Вам раненько утром. Радио еще не играет. Чудесный вид из окна. Ваша дача в Кокошкино мне очень понравилась, очень хорошая, особенно березки и травка высокая хороша. Жалко Ваших хозяев, приласкайте их. Ах, Боже, как замучены люди! Татьяна Розанова».

Острогожск. «Вышло распоряжение привести в порядок кладбище. Могилы надо поправить и зарегистрировать, иначе они будут считаться "бесхозяйственными" и уничтожаться. Я договорилась со сторожем прибрать Ваши родительские могилы и зарегистрировать.

Церковь летнюю, что стояла в центре кладбища, разбирают. Очень больно это видеть. Дожди у нас частые, и сильные грозы. Растения все идут хорошо, но цены на базаре высоки. Хлеба получаю 300 грамм в день, крупы никакой нет. Жду с нетерпением решения моей судьбы с инвалидным домом. Софья Яковлева».

9 августа. Кокошкино. Состояние «в отпуску», т. е. состояние блаженное. Утрами пишу свои воспоминания на маленьком крылечке, завитом вьюнками. Рядом деловито жужжат пчелы. Тихо и уединенно. Часам к 12 подают газету, затем ранний обед и

отдых в гамаке с книгой. Прочитал о буддизме, разговоры Гете с Эккерманом, «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра, всю прозу Лермонтова и заучил его «Тучки небесные» и «Ангел» наизусть. И когда мне было очень хорошо, а было это здесь на даче очень часто, я с горечью думал, почему лето 1936 года, когда Володе и мне было худо, а Володе и жить было негде, почему я тогда не поехал на дачу и не увез его с собою.

Загорск. «В прошлое воскресенье читала "Книгу о Володе" в саду в Хамовниках, на усадьбе Льва Толстого. Давно мне хотелось повидать ее, а все не удавалось, и, кстати, начать там читать Вашу книгу. И я рада, что смогла прочесть ее без физической боли, а с любовью к Вам и Володе. И передо мною он все мальчик, каким пришел к Вам в первый раз, и все для меня живо и реально, и все дорого до бесконечности. Живу я по солнышку. Часы испортились. И так мне хорошо. Жизнь совсем фантастическая, а я это больше всего люблю. Книгу я дочитывала у себя дома до глубокой ночи. Хотелось раз полностью прочитать, не делая больших интервалов, чтобы не разбивать впечатления. У жильцов сейчас меньше играет радио, видно, и у них появились нервы и некоторая чувствительность. И стоит сейчас мое любимое время года — все воздушно до бесконечности. Т.Розанова».

31 августа. Таруса. «Нужно думать, что Вы вернулись с дачи и сделали ошибку. Осень-то и нужно сидеть на даче. Разговоры Гете — одна из великолепнейших книг на свете, и Эккерман — один из талантливейших писателей и лучших людей и праведников на свете. Дурачье его унижает, но так всегда и водится. Лучшее издание советское. Здесь, в Тарусе, одна московская тарусянка мне показала свои лучшие книги. Среди них оказался "Онегин" с рисунками Свитальского. Она заметила их, несмотря на дурное издание, и не знала фамилии художника. В библиотеке же оказалось на более хорошей бумаге. Сергей Цветков».

4 сентября. Ленинград. «Переживаю угрозы принудительного выселения из квартиры, сокращение по службе, приезд внука и, наконец, нездоровье. Жду вызова прокурора, ищу жилплощадь. Состояние оглушенное. Да, конечно, Вам нужна иная комната — келья, потому что внешнее оформляет внутреннее, а отъединение "от водоворота" совершенно необходимо. Итак, отвлекаюсь стихами символистов. Пытаюсь понять Хлебникова. Увы, глупо непомерно. Наталья Вревская».

Загорск. «Здравствуйте, во-первых, и еще раз здравствуйте. Сегодня так хорошо прошел служебный день и так радостно душе, что хочется Вам написать несколько строчек. Очень радуюсь, что Вы на даче и Ваши хозяева очень приятные и настоящие люди. Недавно открыла надпись на Вашей книге, подаренной мне в

первые дни нашего знакомства — Щеголев о Гоголе — и удивилась пророчеству Вашей надписи: "В надежде на лучшее будущее", — тогда я с горестью думала: разве это возможно? А вот оказалось, возможно, и я вижу, какое значение в жизни играет надежда: будем жить надеждой вопреки всем фактам и всей действительности. Т.Розанова».

14 сентября. Ленинград. «Твое письмо прочитала мне Агнесса Яковлевна. Сам я ни читать, ни писать больше не могу по-зрячему. Учусь по-слепому. Лежание на спине в течение целого месяца, возможно, остановит процесс отслойки сетчатки, но не дало улучшения зрения. Через улицу сам переходить не могу. Суета жизни в Доме престарелых ученых очень утомляет, но лежачему бежать от них некуда. Лихоносов».

Острогожск. «Вот уж три недели я в Доме инвалидов. Мне очень хорошо. Я всем очень довольна. Работаю свою работу. В комнате нас 14 человек. Бабки по большей части простые. Я очень рада, что так устроилась. Не надо заботиться о базаре и топке. Вам спасибо за Ваши многолетние заботы обо мне и за помощь и поддержку. Не забывайте меня и впредь. Софья Яковлева».

24 сентября. Загорск. «Читала "Уединенное", и остановило мое внимание то, что эта книга несмотря на многообразие тем едина и цельна. Она лицо человека, и с этой стороны она впервые меня поразила. Я впервые почувствовала отца покойно, ясно, живо, как-то по-вечному, беседовала с ним. Выборки из "Книги о Володе" сделаны мною по чувству, а не по рассудку. Искала я лирических и чистых моментов. И то, что было мне особенно дорого, я и переписала для себя. Когда в первый раз читала, я уж тогда хотела переписать конец, но не посмела без Вашего разрешения, а сказать Вам постеснялась. Теперь же я стала смелее и переписала, думая, что когда мне будет грустно, чужая любовь пригреет меня. Особенно хороши там страницы о девочке Летте. Я жалею, что не успела переписать их. Интересны все высказывания Владимира Александровича об искусстве. Да и много там, не перечтешь всех чудесных строчек. Есть над чем призадуматься. Т.Розанова».

Ленинград. «Мой родной! Твоя тревога за меня потрясла меня. Как видишь, я еще могу сам писать, но злоупотреблять этим не надо. Делаю это, чтобы успокоить тебя. Буду беречь остаток зрения, чтобы только видеть тебя и других, близких мне людей. Лихоносов».

13 октября. Бухта Нагаева. «Получил несколько Ваших строк с дачи, полных тишины. Рад за Вас. Я же существую только для работы, нормы и процентов выполнения. Единственное, что больше всего заботит меня — это желудок и его требования. У

нас давно зима. Первый снег выпал 6 сентября и так и не сошел. Пора мне, пора в родные края, а я перестаю верить, что когда-нибудь уеду отсюда. Тоскую я денно и нощно, и нечем развлечь свою тоску. Читать приходится мало — некогда и нечего. Как-то попались два романа Лескова "Островитяне" и "Некуда". Почему Лесков не стоит в ряду с Толстым и Достоевским? Он особенно близок и хорош всем обиженным судьбою. Если хотите, чтобы душа Ваша была чиста и спокойна, читайте Лескова. Что за новая опера "В бурю" Хренникова, и идет ли она на сцене? Счастливы Вы, что можете все видеть и слышать. Теперь прощайте надолго. С.Коншин».

Ленинград. «Была у Лихоносова. В обществе слепых он ведет большую работу. Учится сам писать на пишущей машинке. Читают ему окружающие дамы, коих слишком даже много, по-видимому. Мне полезно было видеть его. А я бегаю, устаю, и снова бегаю. Так, верно, и умру на ходу. Собираю все силы на забронирование себя. Хоть бы в стальной келье с пробковыми стенами, вот мечта. Ну, а пока что радуюсь возможности поговорить с Вами, и особенно буду радоваться письму. Как ни редки Ваши письма, они попадают всегда, когда я чем-либо удручена, и облегчают. И за это надо быть благодарной судьбе. Умрете Вы, и того не будет. Н.Вревская».

18 октября. Загорск. «Сколько незаслуженного удовольствия получила я вчера и от чтения у Вас воспоминаний Юрия Александровича Олсуфьева, и от самого общения с Софьей Владимировной и Вами. Я все время мучительно испытывала чувство стыда: да за что это столько удовольствия — ведь его надо тоже заслужить, как и все в жизни. Радовалась я очень, что Софье Владимировне приятно было читать, и она не очень сильно волновалась, только вначале. И не было ей тяжело, а только приятно, и это так хорошо. Спасибо Вам обоим за все. С. В. готова опять читать в четверг, если Вам это будет удобно и приятно и не слишком утомительно. Т.Розанова».

20 октября. Архангельск. «У нас глубокая осень, идет дождь. Серо. Хмуро. Но я тоже люблю такую осеннюю погоду. В институт больше смятение внес указ о платном обучении. Вероятно, часть студентов младших курсов уйдет. Сейчас студенты берутся за всякие работы — идут в санитарки, гардеробщицы, дворники, истопники. Часть студентов уйдет, а следовательно, должно быть сокращено и число вузов. Не знаю, как будет с нашим институтом. Заболеваемость у нас большая ввиду плохого питания. Есть пеллагра и другие авитаминозы. Работаю много и не успеваю переделывать за день всего. Д.Никитин».

4 ноября. Кокошкино. «Теперь только я поняла, почему это

время года наводит на меня щемящую сердце тоску. В природе все говорит о приближающемся холоде, смерти, зиме и о том, кто и насколько приготовился к ней. За окном тихо стучат капли дождя, булькает струйка воды с крыши, попадая в кадку. Осеннюю темноту ночи ярко прорезывает колеблющееся и немного зловещее пламя факелов, с которыми шагают люди с поезда и к поезду. Ну, будем ждать зимних каникул. Тогда и Вы сможете выбрать денек и приехать к нам. Девочки выбегут с саночками Вас встречать. Они уже и теперь говорят, что нужно для елки, чтобы было красиво, как любит М. М. А.Крюкова».

Александра Владимировна Крюкова, учительница сельской школы, моя хозяйка дачи в Кокошкино. Ее отец был священником в Бурцеве, рядом с Алабиным. Там была чудесная церковь — двухэтажная, времен Алексея Михайловича, суровая в своей простоте, строгая по линиям. Отец Владимир, с ясными глазами прекрасной и чистой души, был очень любим за свою простоту, за свою преданность Богу. Он долго держался этой любовью своих прихожан. Ну, а потом произошло, что стало обычным. Маститый, красивый старик ждал «это» давно и встретил «это» спокойно. Для него «как Богу угодно» было непреложным законом. Александра Владимировна, раненая «такой» потерею отца, нуждою, непосильным трудом, похожа на воробья из тургеневского стихотворения в прозе. Своим маленьким трепещущим телом она закрывала от жизненных бурь своих двух девочек, и последние давали ей силу жить и бороться.

5 ноября. Несколько четвергов Софья Владимировна Олсуфьева читает воспоминания своего мужа. Род Олсуфьевых 250 лет с лишним владел имением Буйцы. Воспоминания Юрия Александровича построены не от людей, а от вещей дома в Буйцах. Переходя из комнаты в комнату, он описывает обстановку комнаты и по ней людей, поставивших ту или иную вещь. Это очень характерно для него — искусствоведа и историка материальной культуры. Воспоминания писались уже в Сергиевом Посаде, когда Буйцы были прошлое, и когда Ю. А. знал, что Буйцы неповторимы. И боль, и грусть густо приправляли страницы воспоминаний, хотя Юрий Александрович и держит себя в них с большим достоинством.

10 ноября. Только что пришел от поэта Бориса Садовского. Живет он в склепе под алтарем трапезной церкви в Новодевичьем монастыре. Это обширное помещение со сводами и крепостными стенами разделено легкими перегородками и ширмами на ряд комнат. Тепло, светло, уютно. Сам Садовский с парализованными ногами, сухонький, маленький, живо и остро сверлит нас своими глазами. Умен, понятлив, очень эрудирован. Жена его, бывшая

придворная дама (как говорят), любовно ходит за ним и носит его на руках не в переносном, но в буквальном смысле этого слова. Борис Александрович «поэт самовара», и у них он чудесно долго шумит на столе, и чай у них крепкий и вкусный. Это, кажется, единственное, что они могут разрешить мне. Нуждаются они очень.

Бухта Нагаева. «Дорогой мой друг! Не успел я Вам отправить письмо, как получил Ваше. Я Вас очень люблю, и больше всего хотел бы повидать еще Вас на этом свете. Верю в эту встречу, надеюсь, но кусочек разума, который еще сохранился, подсказывает: едва ли это возможно, не мечтай о невозможном, смирись с этим заблаговременно. То, что измеряется годами, — невозможно. Надо полюбить здешние края и считать их родными. Тем более, Вы хотите, чтобы я стал Джеком Лондоном и воспел бы здешние вечно серые сопки, болота, шестидесятиградусный мороз, комариные тучи. Я их и воспел уж достаточно самыми отборными словами, каких Вы не встречали и не встретите ни у одного поэта, какого бы направления он ни был. Бывает, Михаил Михайлович, вылезешь на какую-нибудь сопку, вид с нее замечательный. Куда глазом не кинь, еще сотни таких же сопок торчат. Стоишь и любуешься, и вспоминаешь родную реку Оку с ее заливными пахучими лугами, серпуховской бор, березовые рощи и не веришь, что это когда-то было, и это был не сон. Скучаю я, Михаил Михайлович, безумно скучаю по родным краям и природе. Прощайте до весны 1941 года. 12 декабря пойдет 9-й год. В Серпухове я прожил 15 лет, в Москве — 8, а сколько тут проживу* неизвестно. Наверное, тут я и помру.

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать.
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

Что-то не весело пишите Вы о всех друзьях. Все что-то без дела, без денег. Правда, все это люди "неполноценные" — артисты да музыканты. Устроены, видно, относительно, хорошо только Вы. Очень радуюсь за Вас:

Богами Вам даны
Златые дни, златые ночи.
И томных дев устремлены
На Вас внимательные очи.
До будущей весны. Сергей Коншин».

16 ноября. На днях Катя Вышипан вышла замуж за Корфа, Николая Георгиевича… «Вышла замуж». Но они не только не об венчались в церкви, потому что этого нельзя, но и не зарегистрировались в ЗАГСе, потому что это неприятно, это не по душе. Корф переехал к Любочке в комнату, где «молодым» отвели угол за шкафом, а для Гали над материнской кроватью сделали «нары» — второй этаж. В воскресенье собрались пять-шесть человек родных, поднесли молодым скудные подарки и распили бутылку шампанского за их здоровье.

17 ноября. Чита. «Добрый день, многоуважаемый М. М. Шлю я Вам свой пламенный привет и наилучшие пожелания. М. М., я очень и очень сожалею, что не было возможности увидеть Вас перед от правкой в армию, поэтому чувствительно благодарю Вас в письмен ном порядке. М. М., я не любитель льстить, поэтому прошу Вас искренне верить, что я в Вас влюблен, как в девушку, очень рад тому случаю, который свел меня с Вами, так как время от времени я чувствовал неодолимую потребность в Вас и, главное, тогда, когда был морально разбит. Из такого положения я выходил только тог да, когда встречался с Вами и от Вас получал необходимую зарядку. М. М… я за 23 гола своей жизни не встречал лучшего человека, как Вы, и Вам я, М. М., обязан тем, что Вы мне помогли в расширении жизненного кругозора. Я Вас уверяю, что никогда не забуду Вас до последнего дыхания, и буду стараться подражать Вам во всем и всемерно повышать свое образование. Я не прошу Вас писать ответа, но прошу дать знать моей жене, что Вы это письмо получили. А.П.Подосинников».

Как-то ранней весной один из врачей поликлиники привел мне на консультацию молодого рабочего паренька. Уж довольно много времени он держал его на больничном листе, но чем был он, собственно, болен, врач разобраться не мог. Посмотрел я паренька, поговорил, расспросил его о всей недолгой его жизни, и мне стало ясно, что болела у паренька душа. И вспомнил я сам себя в такие же годы на втором курсе университета, когда так мне нужен был «врач», который бы все понял, все объяснил, не посмеялся бы над тобою и помог. И пошел я тогда к известному Рыбакову — невропатологу и гипнотизеру — на дом. И не посмел позвонить ему в квартиру, а увидел лишь, как он вышел, спустился по своей шикарной лестнице, сел в экипаж и уехал. Так и не нашел я тогда «доктора-человека», вернее, «человека-доктора», а как был он нужен!

Паренька я тщательно провел через все обследования, доказал ему, что он здоров, и предложил брать почитывать у меня книги. Подосинников, несомненно, был тонкой душевной организации. Его круг людей был для него не по нем. Рос он

одиноко, рано женился и перед визитом ко мне потерял первенца-сына, а он его сердцу был ближе жены. В этом и была его душевная травма. В общении он был приятен, умен, сдержан и восприимчив. Война прервала нашу переписку. Жив ли? Едва ли! Да благословит Бог жизнь и смерть простых и добрых людей.

30 ноября. Медвежья Гора. «Сегодня скончалась мать Ксении Сергеевны. Тяжело это очень, тяжело также и то, что здесь мы не имеем никакой возможности отпеть ее. А так как я придаю этому значение, да и воля покойной была такова, хочу просить Вас, если в Москве есть костел, закажите там заупокойную мессу, известив нас заранее, чтобы мы знали, в котором часу это будет, и мы мысленно могли бы помолиться в это время. Имя покойной Мария Долорес. Если Вам самому неудобно это сделать, может, вы сообщите нам адрес ксендза или священника, к которому я уже сам обращусь со своей просьбой письмом. Ваш Косткевич».

8 ноября. Архангельск. «Я тоже переживал толстовский день смерти, как и Вы, и с грустью смотрел на то, что Толстого, в сущности, забыли и помнят только как великого художника слова. Здесь, в Архангельске, день этот прошел весьма бледно. Вы пишете о докладе "ласкового старичка Гусева". Этот ласковый старичок ненавидел Софью Андреевну, а из того, что он был секретарем Льва Николаевича, всю жизнь извлекает выгоды для своего существования. Он человек двоедушный, и ему вообще верить нельзя. Я понимаю внучку Толстого, которая стояла с красными пятнами на щеках. Своими воспоминаниями о Льве Николаевиче я с Вами поделюсь устно, когда буду в Москве. Ваша пословица о "хорошей жизни и собачьей смерти" во многом верна. Я к этой собачьей смерти готовлюсь, но еще далеко не готов. Ваш Д.Никитин».

9 декабря. На днях был зван к Михаилу Васильевичу Нестерову, как врач. Прославленный художник встретил меня острыми глазами, живыми движениями, ясным умом. Но стар, очень стар, до хрупкости. Огонек в нем едва-едва теплится. Маленький, худенький, в шелковой профессорской черной шапочке… Зашел, между прочим, разговор об Абраме Эфросе. Я заметил, что после ссылки он помудрел и присмирел. А Михаил Васильевич возразил: «Ну, это не надолго, опять апломб все покроет». Это очень остро и метко. Вспомнил Михаил Васильевич и о Володе и тут же прибавил: «Вот умру, и сколько покойников умрет со мною совсем навсегда, ибо о многих помню и знаю только я один».

10 декабря. Вторник. Начну с пятницы, 6 декабря. Егоров, давний приятель, алабинец, в Малом зале консерватории играл Листа, прислал билеты. Получил, как всегда, большое

удовольствие. В субботу 7-го, в день Екатерины, пришла Катя Вышипан. Выпили по рюмке вина и погрустили, и потужили, и руками развели. Дело в том, что семейное счастье Кати уже кончилось. Медовый месяц ее оказался не только первым, но и последним. «Виза времени!» — что я могу сказать, кроме. В воскресенье с Т.В.Розановой поехали к Садовскому. Вечер этот в склепе был очень приятен. Там душевно и физически очень тихо. Шумы жизни не проникают в склеп. И там тепло, светло, чисто и чай у самовара. Вчера вечером посидели у меня Игумнов и Егоров. Первый несет тяготу своей славы — «его пишут, его лепят», он брюзжит, но доволен. А брюзжит, когда каждое утро к приходу Корина надо быть в «концерном параде» — во фраке и лакированных туфлях — и сидеть часа полтора-два за роялем. Сегодня иду в свой абонемент слушать фуги и инвенции Баха в исполнении профессора Фейнберга. В пятницу же Игумнов играет пять сонат Бетховена — тоже надо пойти. Вот как идет жизнь.

16 декабря. Мирно поработал над своими дневниками времен студенчества. Эта работа располагает меня и дает грустное наслаждение.

Вчера вечером отдал визит приятелю М.М.Пришвина Чувеляеву, Федору Куприяновичу. Он через Разумника Иванова прочитал «Книгу о Володе» и после этого пришел ко мне. Убегая от людей и много часов проводя в лесу один, Федор Куприянович нашел в природе чудесное скульптурное явление: в наплывах, в болячках, в сплетениях ветвей и сучьев, в образованиях у стволов и корней он нашел такое разнообразие скульптурного творчества природы, что никакой Коненков не может спорить с ними. Работа Ф. К. заключается в «глазе», в высматривании, подборе, а затем некоторой обработке чисто туалетного свойства — снять кору, отполировать, выявить фактуру дерева, что-либо обрезать, удалить, не приделывая, не приклеивая, ничего не прибавляя. И я увидел у него изумительную коллекцию птиц, зверей, людей, чудовищ, такой фантастики, что разве только творчество психических больных художников может сравниться с ними.

20 декабря. Загорск. «У меня большая радость. Вернулась, относительно благополучно, староста Ильинской церкви — Александра Ильинична. Она такая милая старушка и так самоотверженно трудится для церкви, что ее возвращение меня очень утешило. И "другие" церковники вернулись. Только налог наложили на них, правда, большой. Читаю с особенным чувством "Подросток" Достоевского. Когда я была молода, совсем не могла понять эту вещь, а теперь она меня захватила. Многое в себе, свою неправду, вижу я при чтении этой книги. Я думаю, Достоевский очень полезен в зрелом возрасте и для тех, кто идет

к преодолению "подполья". В молодости же он мне много испортил крови и жизни, оттого я всего Достоевского, принадлежавшего отцу, подарила сестре Наде. А сейчас вновь его для себя открываю. До чего полон! До чего могуч! Все Роденбахи кажутся пигмеями с ним рядом. Просто удивительно. Но Достоевского нельзя повторять в литературе. Он, как и Гоголь, неповторим. Всякое подражание ему — наиболее далекое отдаление от него. Т.Розанова».

Чита. «Добрый день, М. М. Во первых строках моего письма спешу сообщить, что я Ваше письмо получил, за которое сердечно благодарю. Ваше письмо я читал три раза, но этого недостаточно, так как оно для меня во многом является проблемой, над которой необходимо поработать. Большое спасибо за "книжный знак", но для меня это не знак, а "образ нерукотворный". Я не имел достаточно смелости просить Вас об этом, но Вы без слов меня поняли. М. М., постараюсь оправдать Ваши надежды, постараюсь поработать и выучиться, не покладая рук. Здесь есть, у кого поучиться, и есть чему, только надо приложить максимум прилежности и упорства. А.Подосинников».

20 декабря. Москва. «С начала войны мы все очень много времени уделяем последним известиям. Особенно внимательно следил я за событиями в Польше и во Франции. Жена моя называла меня "главнокомандующим", и это звание я нес до вступления немцев в Париж. Но так как немцы вошли в него на три дня раньше, чем я предсказывал, то я лишился этого звания. Дочь Елена наша вышла замуж, а жить с мужем негде, и мы выбились из сил, чтобы обменять нашу комнату на большую. Но это нам не удается, и это нас угнетает. Искренний привет. И.Лавров».

25 декабря. Острогожск. «Очень обрадовалась, получив Ваше письмо. С сентября не имела от Вас весточки, и ужасы лезли в голову. Удеревка — родовое поместье Станкевичей. Я была там лет 12-ти. Могила Николая Владимировича в церкви, с правой стороны, и над могилой стоял тогда крест. Теперь церковь разорена. Имение же Марки куплено Станкевичами позднее. Наша старая церковь на кладбище сломана, и кирпич свезен на винзавод. Осталась одна колокольня. В палате у нас тепло. Кормят нас просто, но сытно. Я рада, что не надо стоять в очередях, мокнуть и зябнуть. Целую. Софья Яковлева».

31 декабря. Муром. «С Новым годом! Прошедшая осень была богата для меня потерями, и это настораживает меня тревожно перед встречей Нового года — кому он будет последним, и какие еще ухабы придется пережить, пока доберемся по ухабам 1941 года до 1942 года? Хотелось бы лучше самому уйти из этой

жизненной давки, чтобы не плакать об уходящих друзьях. Живите, живите в мире, окруженный любовью вашей большой и дружной семьи. Н.Печкин».

1941 год

«Боже, вся земля — великая могила».

Алабино. «Новогодние пожелания — я хотел бы: для себя, одного, чтобы зима не была так по-немецки свирепа, как была она в прошлом году, чтобы мне поменьше канителиться с пилкой и колкой дров… и ничего больше. Вам и другим, кто мне дорог, я желал бы, чтобы нашли они смысл в настоящей бессмыслице, и чтобы нашли они Бога и получили ощущение путей и мыслей Его. Иначе как же жить… По диамату?! Думать, что эти тысячи ежедневно убиваемых детей и стариков, женщин хорошо удобрят почву для будущего сытого демократического рая? Так будь он проклят, этот рай, для которого нужно такое удобрение. Константин Славский».

8 января. Москва. «С чувством величайшего огорчения расстался, боюсь, на долгое время, с Мишей Мелентьевым, закончившим гимназию. Дневник его дает много, и почти все интересовавшее объяснил. Читать же было тем интереснее, что описываемое время — мое время, но в иных местах. Читал, "захлебываясь". Жду продолжения и приношу Вам благодарность за разрешение прочитать. Пожалуй, самая яркая глава — "Город". В ней есть вдохновенные страницы, они должны попасть в хрестоматию. Сергей Цветков».

11 января. Загорск. «Продолжаю переживать наш визит к Садовскому. Он и его жена стали мне родными. Как мне жаль, что печальный след моей прошлой жизни оставил мне рассеянность я беспамятность, которые мешают мне приносить пользу людям, И которую мне так хочется приносить. Надежда Ивановна со мною о многом по-хорошему ночью поговорила, и так мне хорошо, по-родному, по-детски было с ней. Она совсем удивительная женщина и очень мужественная. Она на Бога надеется. Не будет Литфонда, будет другое. Ведь Борис Александрович особенный и не погибнет. И Бог из другого места пошлет средства и напитает этих достойных людей, так много переживших и такую работу проделавших над своею душой. А ведь это самое главное в жизни. Душа человека — это все. Т.Розанова».

23 января. Москва. «Переживаю очередную маленькую

неприятность "настоящего" — снижение зарплаты жене, хотя и небольшое, на 40 рублей при той же работе. Настроение неважное. Не хочется теперь вспоминать переживания прошлого. Не отменяя уговора "о серии вечеров по процессу Промпартии", отложим на некоторое время наше свидание. Петр Осадчий».

Чита. Автобаза. «Получил Ваше письмо. Вы поняли из моего предыдущего письма, что паруса моего корабля жизни натянуты. Воля крепнет, цель поставлена, и ослаблять я их не буду. Победителем в жизни я думаю стать, но прошу Вас не ждать от меня большой "быстроты и натиска". Кто-то сказал:

Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда,
То вознесет его высоко,
То бросит в бездну навсегда.

Мне одно время везло, ну а потом я потерпел крушение, не то был бы лейтенантом. Мой старший брат пишет мне: "Александр, не унывай. Если ты имеешь цель, идею, то действуй так, как действуют большевики — в дверь не удастся, лезь в форточку, и ты добьешься своей цели. Главное, используй все свое свободное время над интересующей тебя техникой". Получил я письмо от матери, которая поздравляет меня с новорожденным сыном. Я потерял сына раньше и не мог его забыть. Лучше детей не иметь, чем их терять. Вы пишете, что бываете в концертах и любите серьезную музыку. Слушал я оперу "Царская невеста". Она свела меня с ума, и после этого я перестал ходить в кино. С приветом, Подосинников».

Архангельск. «Я так рад, что повидался с Вами и со Славским и не могу Вам сказать, как я за все это благодарен Вам. Был также устроен чай Остроумовских ординаторов. Нас собралось 9 человек, и нам вместе было около 600 лет. Чай прошел очень хорошо, только профессор Бурмин очень важничал. Д.Никитин».

28 февраля. Загорск. «Желаю Вам встретить наступающий Великий пост в душевном сосредоточении и мире и спрашиваю у Вас по-христиански прощения во всем, в чем виновата перед Вами.

Теперь о другом. Читаю чудесные письма Блока к Е.Иванову. Очень искренно и изящно. Я все лучшее из них выпишу для Вас. Радуюсь, что у Вас есть новая фотография Володи. Может, еще удастся издать полностью его работы. Вот бы для Вас и для всех, кто знал его и кто любил его, было бы утешением в таком общении с ним. Т.Розанова».

10 марта. Ленинград. «На днях Игумнов играет здесь

Чайковского, и мне так хочется послушать его, не столько ради Чайковского, сколько ради того, чтобы пережить воспоминания об Алабино, связанные с ним. Но ноги меня не несут после трех болезней этой зимы. Борис преуспевает в научной работе и пении параллельно. Недавно я была на докладе профессора Жукова о работе всей его лаборатории и вынесла жалкое впечатление. Какая жалкая мысль, какие тщедушные экспериментальные успехи, как темны и какое падение науки, просто невыносимо. Нет, в тысячу раз лучше "потрясти сердца" двух тысяч человек романсами Чайковского, чем дать в результате нескольких лет сомнительные диаграммы. Это я к науке и пению Бориса. Верккя у него и в то, и в другое, но дело вкуса и таланта. Была на "Большом вальсе". Поплакала немного, но в зале темно, и я одна. Это почти событие для меня. Впечатление освежающее и, быть может, лекарственное. Надо фиксироваться на светлых сторонах жизни, как говаривали в старину. Н.Вревская».

20 марта. Звенигород. «У меня была температурная вспышка, и хотя срок моего пребывания здесь в санатории закончился, но доктора набавили мне еще две недели. А не мешало бы пролежать здесь, пока сойдет снег, но мороз еще крепится, хотя и прошел Герасим Грачевник. А грачей и не видно. Из лесу больные приносят ветки с барашками. Время все же берет свое. Сейчас ранее утро, а я пишу при дневном свете. Утрами всегда встречаю восход солнца. Вот в Москве этого нет. Вечерами читаю газеты. Посмотришь, что делается в театре: "Концерт К.Н.Игумнова", а через несколько дней "награждение его званием". Ну, думаю, М. М. побывал на концерте и на вечере.

А о лете тебе нужно обязательно подумать и выехать за город, как прошлый год. Как было ни тяжело ездить, а вид, М. М., у тебя был прекрасный и самочувствие бодрое. Я при виде тебя всегда радовался за твое здоровье. Конечно, нет слов, в комнате твоей в Москве уют, красота, тишина и все манит к покою, но лето обязательно проживи за городом. О себе я не думаю, так, куда вывезет кривая. А видно, кривой везти некуда. Всем моим лечащим друзьям-врачам привет. Петр Мищенко».

Милый Петр Григорьевич… Предан без лести, без корысти. Вот привязался человек и на всю жизнь, деликатно и скромно. От искренней любви у него это и «ты, Михаил Михайлович» ко мне. С Алабина началось наше знакомство. Совсем мальчиком был он начальником станции на Апрелевке в форменной фуражке с красным околышком. Тянулся к свету, к красивым вещам, людям не своей среды. Вырос в Кремле при дворе «великой», как звалась в семье Мищенко великая княгиня Елизавета Федоровна (отец Мищенко много лет состоял при ней в служителях). И будучи

настоящим пролетарием, П. Г. не носил в себе никакой классовой вражды, ни пролетарского самосознания. Мы не встречались иногда годами и, встретившись после моего возвращения в Москву в 1936 году, уже видались постоянно. апреля. Великая суббота и день смерти Володи. В среду был у него. Там ручьи, шум весенний, солнце, простор. У могилы уже сухо и желтеет песок. Сегодня и все эти дни шаг за шагом прохожу с ним последние часы его жизни. Но Боже мой, как тускнеет его образ! апреля. Муром. «Христос Воскресе, дорогой мой М. М.! Мне особенно радостно писать Вам это приветствие, так как я мысленно слышу Ваш ответ: "Воистину Воскресе". Да, да, "я верю, Он придет и в наши дни и чудеса свершит другие". Без этой веры в наши дни жить нельзя. Можно умереть от ужаса перед лицом того человеказверя, которого вскормила и выпестовала западноевропейская цивилизация. Я верю, но знаю, вернее, чувствую, что верите и Вы. Для меня уже не страхом, а тоской звучит вопрос: "Скоро ли? Когда же конец?" Особенно я это чувствую весной, в дни, когда страдала и умирала в Алабино моя Веруша. Вы и не знаете, какую великую помощь и поддержку оказали мне тогда Ваша ласка и Ваше участие. Хоть прошло уже 13 лет, а переживается так, как будто это было вчера. Все еще vivit sub pecvore vulnus. И устал я! Работаю пуще прежнего, ибо в Муроме поразительное "безврачье". И врачей мало, и уровень их знаний поразительно низок. Н.Печкин».

20 апреля. Пасхальную заутреню прослушал, как и вся Москва, под открытым небом — у храма в Брюсовском переулке. Движение по переулку было прекращено. Милиция (да, да) наблюдала за порядком, а громадная толпа, не попавшая в храм, с зажженными свечами благоговейно ждала начала службы и всколыхнулась, заслышав: «Воскресение Твое, Христе Спасе». Двадцать лет убивают Христа, распинают Его вновь, но не убили, да и не убьют.

Чита. «Трудовой день наш заполнен, но дельного на пользу ничего не вижу. Сижу на шее народа и потребляю все, что народ создает своими руками для себя, и мне делается стыдно. С другой стороны, я готовлюсь для грядущих битв с врагом. Поэтому, народ должен кормить меня, и в этом случае я начинаю чувствовать себя "боровом", которого специально откармливают на "зарез", на мясо, и неприятно бегут мурашки по телу. Паршивая штука эта война, сколько она уносит молодых людей, сколько средств расходуется на нее. Я не страшусь войны, только бы быстрее уже начиналась, хотя она и так не за горами и ждать ее долго не придется. До свидания. А.Подосинников».

Загорск. «Спасибо за стихотворение Садовского. Мне хочется

взять у Вас и его "Каменку".

Читая "Войну и мир", все время сравнивала с нашим временем. Как там все прозрачно, и как у нас густо и как плотно — не продохнуть. Там даже походы как-то легко описаны, есть какая-то струя бодрости. Замечательно описан Николай Ростов в сражениях. Какая ясность, наивность и чистота души. Еще легкая душа была у автора. Видишь, ценишь и любишь Кутузова. Замечательно милы все Ростовы. Вот Вы не любите сумерек, а для меня ужасно тяжело утро в выходной день. Столько скучной работы — и стирки, и уборки, и грязи — и так мало сил привести все в исполнение. Татьяна Розанова».

Чита. «Ваше "медицинское письмо" получил и остался очень доволен ответами на мои вопросы. А недавно я получил и опровержение в отношении моего сына "Рыжего" от жены и матери, которые, оказалось, решили посмеяться надо мной. Этими днями был занят чтением "Наполеона" Тарле, уделяя этому 20–30 минут ежедневно, другими словами, все свое "личное время". Но если бы дни были в пять раз длиннее, то от этого было бы не лучше и "личного времени" было бы не больше, так как наше начальство постаралось бы заполнить и это время. Третьего мая пришлось посмотреть в Чите, за семь километров, "Без вины виноватые", но на обратном пути я уже каялся, что пошел в Читу. Либо "цветущее Забайкалье" показало себя забайкальским адом — был ужасный шторм, идти было невозможно, дышать тоже. Песок проникал во все поры тела, глаза открыть было невозможно. По приходе домой еле отмылся. Александр Подосинников».

6 июня. Два теплых дня за всю весну — это первый день Пасхи, 20 апреля, и 1 мая. До сих пор не зацвела черемуха, деревья почти не одеты. Холод, хмурое небо, дождь. Аня выехала с Марианной на дачу. Отъезд откладывался день за днем. Наконец, стало невмоготу. С отъездом Ани «дом развалился». Вся семья лепится около нее. Она всех кормит и греет, она нужнее всех в семье.

8 июня. Обедал у Любы. Грустно у нее. Катя завалена работою, она «глава семьи», добытчица. Каждый день со своих двух служб приходит в половине двенадцатого ночи, и это с семи утра, а ведь ей всего 27 лет. Галя держит экзамены на четвертый курс. Тоже утомлена и разбита. Любочка обслуживает их и тоскует их безрадостным девичеством.

10 июня. У Володи. Дали застраиваются, и скоро кладбище будет окружено жильем. Это предвестник того, что его закроют и нарушен будет вечный покой погребенных. Впрочем, и в Москве, как и по всей России, закрываются кладбища, срываются могилы и умершим, как и живым, нет покою.

12 июня. Только что ушел А.К.Горский — писатель и философ. Он вместе с Володей был в Кеми, и собирались там выпустить книгу о "Лугине". Горский рассказал кое-что о жизни Володи там. «Удивительно, как добродушно и снисходительно относилось к Владимиру Александровичу лагерное начальство. Эта его история с "побегом", когда он запоздал на кладбище, отыскивая там на крестах резьбу по дереву, была ближайшим начальством воспринята очень мягко, и наказание Владимира Александровича последовало сверху, по команде. В. А. все время был там борд, деятелен, творчески настроен». Полагаю, что отсутствие женщин так действовало на него благотворно. Его все любили там и звали «Светиком». Книгу мою о Володе он очень одобряет и собирается сам писать о нем.

13 июня. Вечер с профессором Осадчим. Рассказ его «о процессе Промпартии». Он был привлечен, как «министр просвещения» предполагаемого нового строя в стране. Совершенно дьявольская выдумка и дьявольская игра. Я подавлен тем более, что не понимаю, за чем это было нужно. Рассказ Осадчего еще не окончен и займет еще один-два вечера.

15 июня. Несколько недель тому назад ко мне обратились за помощью и советом для Софьи Михайловны Акимовой, дочери бывшего председателя Государственного Совета. Я сделал, что мог, а главное, выписывал ей рецепты на морфий, без которого она не может жить уже в течение многих лет. Сегодня она пришла поблагодарить меня с маленьким букетом цветов. Я напоил ее кофеем, присмотрелся к ней и любовался ее мужеством и ее нравственным обликом. В 16 лет она впервые была оперирована в Берлине профессором Корте и с тех пор всю жизнь оперировалась вновь и вновь, что-то раз 17–18, у профессора В.А.Оппеля. Сейчас она с кишечным свищем и постоянными болями, старая, одинокая, без средств, не имеет даже своей комнаты и живет в углу со своей бывшей гувернанткой, которая не оставила ее. Но надо было видеть, сколько достоинства, такта и душевной женской грации в этом человеке! Я готов был поклониться ей до земли за ее страдания и за ее нравственную красоту.

17 июня. Прочитал в который раз Фромантена «Доминик». Вот книга, которая не устареет, в ней нет элементов старения, как их нет, положим, в хороших воспоминаниях.

19 июня. После концерта Жоржа Бубликова пришли мы с К.Н.Игумновым и проговорили до трех часов утра. Затем я проводил его. Светлело. Самые глухие часы ночи. Ни одного человека в затихших переулках. Люблю предрассветную Москву после бессонной ночи и дружеской беседы.

20 июня. Перед вечером доктор Николай Николаевич Печкин

из Мурома. До чего хорош, чист и искренен этот человек. Начав коммунистом, он кончает свои дни глубоко верующим человеком. В Муроме закрыты сейчас все церкви, и группа верующих там собирается в «катакомбах» — в подвале за городом, где идет служба ночами. Впечатление и настроение от этой службы, говорит Печкин, потрясающее.

А вечером — профессор Осадчий с продолжением «о процессе Промпартии». Страшно — «после многих репетиций на Лубянке, повезли нас, наконец, в день суда, в зал заседания. Привезли в отдельную комнату. Врач. Валериановые капли, и снова и снова убеждения говорить и действовать как заучено, как указано, как условлено… "Это нужно для Родины"». Финал известен.

22 июня. Немцы перешли нашу границу. Началось страшное, началась война с немцами. Я лег поздно, долго не мог уснуть. Часы пробили четыре. Это был час первого выстрела «неожиданной ожиданности». Объявление войны последовало в полдень. Я был на работе. Шли больные. Суетились врачи, и вдруг — поликлиника опустела, вдруг жизнь стала страшно серьезной и сразу же в первые минуты установились очереди у магазинов и сберегательных касс. После работы прошел к Любочке. На городе печать тревоги. Всех в первую очередь пугает голод. Вечером Ирина со срочным заданием вылетела в Ленинград, и по телефону звонок давнего приятеля — врача-скрипача Евгения Сергеевича Медведева: «Уезжаю сейчас на фронт. Прощаюсь с близкими людьми. Увидимся ли?» Разлука с этими людьми таила уже в себе элементы грозных событий и неожиданностей. Объявлена мобилизация 12-ти возрастов. Введено военное положение, полевые суды.

23 июня. Утром приехала Анюшка с дачи. Она разрывается в своем сознании между нами в городе и Марианной на даче. «Миша, ведь всего два дня тому назад было спокойно, а мы и не сознавали своего счастья».

24 июня. Ночью первая воздушная тревога. Сирены. Предрассветная муть. Прохлада ночи и в небе разрывающиеся снаряды. Жутко. Ютились в подъездах, в подвалах, но никто не плакал очень. Скорее, было любопытство бесстрашное, а может быть, и русское бесшабашное. Я тяжело перенес это крещение с воздуха. У призывных пунктов плач, стоны, пьяный разгул и гармошка с плясом. Люди посуровели. Сводки с фронта предельно кратки.

25 июня. С утра поехал к Володе. Поезда ходят без расписания. Денек стоял свежий, ветреный. На кладбище ни души. За две недели, что я там не был, земля великолепно оделась, буйно зелено. Даже безымянные и брошенные могилы

нарядно одеты. С лишком четыре часа пробыл я у Володи. Дела у него там всегда много. Поговорил и с Федором Артемовичем, кладбищенским сторожем. Он знает мои среды и поджидает меня. Посидел тихо и одиноко и подумал о настоящей нашей страшной жизни. Подошла старая простая женщина и сказала: «Ах, как хорошо ему, и как плохо нам. Вот вы и горюете, и помните его, но пусть это горе будет о себе, а не о нем». В дороге, на вокзалах впечатление тяжелое. Поздно уж вечером полчаса беседы с Сережей Симоновым — все о том же нашем положении.

26 июня. Издан ряд указов, по-новому регулирующих жизнь. Заготовляем песок и воду против зажигательных бомб. Во дворах роем себе «могилы» от всяких других видов «бомб». Москва на три четверти деревянная, и что может значить бочка воды и ящик песку? А о «могилах» и говорить не приходится. Это попытки страусов спрятаться.

27 июня. Люди ищут сейчас себе опоры и некоторого успокоения в обществе. А мне бы только лежать в своем углу с книгами. Принялся за «Войну и мир». Чудесно!

Ограничен въезд в Москву. Запрещены ночные хождения. Сводки с фронта туманны и кратки. Вернулась Ирина из Ленинграда.

29 июня. Обычный рабочий день, настолько, что порой забываешь о войне. Впрочем, очень-очень ненадолго. Вывозят из Москвы детские учреждения. Приказано сдать радиоприемники.

Вечером на Новодевичьем. Там сейчас чудесно цветет сирень. Б.А.Садовского вынесли на воздух. Он бодр, весел, остроумен и вообще мил. Встретил у него биографа Константина Леонтьева — Коноплянцева. Уговорились повидаться и всласть поговорить о Константине Николаевиче. Я наивно думал, что Коноплянцев видел его когда-нибудь.

Дома, уже ночью, погрустил я со своими. Масса слухов, тревожных и нерадостных. Под утро сон: лечу сам с помощью рук над улицами Острогожска, пугая редких прохожих. Прилетаю в отцовский дом. Вхожу по нашему парадному. Встречает Ирина и подает мне конверт, надписанный рукою Володи, с пометкой в углу: «Париж». Просыпаюсь со счастливым ощущением, что он жив и я нашел его.

1 июля. Ночью воздушная тревоге. Но страшный рев сирен не так уж страшен. Сама тревога не так остра. Но Боже мой, какой далекой и чужой становится комната с дорогими и милыми вещами. Все вдруг делается ненужным перед этой тревогой смерти.

3 июля. Просидел два дня у Атношки на даче. Она ждала меня. Я издали увидел ее, и не столько увидел, как почувствовал,

что вот там — это она, и тогда ливший раз понял, как люблю ее и как нужен ей мой приезд. Природа тиха, величественна, в самом зените своего расцвета. Но в душе человека нет ни покоя, ни тишины. Конечно, не то, что в Москве, конечно, человечнее. Читаю о старце Зосиме Верховском. Чудесная «безавторная» книжка. У меня при обыске в 1933 году забрали золотообрезное, в тисненом сафьяне, издания 1731 года его Евангелие, Псалтирь и Апостол. Я до сих пор не могу примириться с этою потерею и человеческой злой волей, невежественной и глупой. Вечерняя Москва при возвращении показалась мне ужасной — везде грязь, везде толпы народу, переполненные вагоны трамваев — все выбиты из колеи обычной жизни.

5 июля. Воздушная тревога. Бессонная ночь. Сидим в полуподвальном помещении нашего дома. В бомбоубежище почти никто не ходит. Защита нашим полуподвалом, конечно, маленькая, но зато дома, без лишней травмы «наэлектризованной толпы». Перед вече ром К.Н.Игумнов за советом и помощью. Два-три месяца назад сот ни телеграмм «с любовью и преданностью» ему. А вот сейчас некому побеспокоиться об одиноком старике. А слухи тревожные множатся, и эвакуация учреждений идет полным ходом.

6 июля. Воздушная тревога и днем вчера, и минувшей ночью. Сведения с фронта — «отступаем на новые рубежи». Москва эвакуируется и самостийно разъезжается. Жилища под Москвой расхватываются с азартом. Мысль о том, чтобы оставаться мне в Москве и избежать выезда из нее, совершенно отстоялась. Ну, бомба в дом, и смерть. Что же поделаешь? Но зато смерть дома. А быть может, и не будет этой бомбы в дом. А очутиться на большой дороге с чужими людьми — страшнее.

7 июля. Вчерашний день, я закончил в Новодевичьем у Садовского. Это сейчас самое приятное место в городе — и географически, и по людям. Стоят исключительно душные дни и ночи. Люди изморены бессонницей, тревогою и плохим питанием. День начался слухами о наших успехах на фронте и закончился призывом в ополчение всех возрастов. Объявлено о широком развертывании эвакуации Москвы.

8 июля. Требование выезжать женщинам с детьми, женщинам беременным и женщинам старым. Распоряжения эти передаются населению домоуправления устно, и не разберешь, что здесь от истины, а что от глупости и усердия домоуправов. Ночь прошла без воздушной тревоги, но в небе все время гул моторов. Возвращаясь домой с работы, видел на Малой Никитской вереницы «дорожных» людей — с вещами, женщинами, детьми. Боюсь, что в Москве перестали и перестают работать. Идет одна

суматоха. Пожалуй, работаем одни мы, врачи. Вечером без огня посидела художница Е.В.Сахновская. Работы нет, питаться нужно. Просила выписать ей опиум для расчетов с жизнью, когда настанет особо тяжелый момент.

10 июля. Вчера день провел у Володи. Кладбище в расцвете лет ней красоты, тишина, покой, аромат полей и леса. Целый день ни одного человека, только невдалекё барахтаются в запруженной луже детишки, и их веселый крик еще больше уводил от войны и тревоги.

11 июля. И день, и ночь прошли без воздушной тревоги, но тишины в небе нет, и гремит там вовсе не Илья Пророк. К вечеру собрались: Сережа Симонов, А.А.Егоров и Людмила Нифонтовна. Люди жмутся друг к другу, «веселее на людях». Попили мы чайку, пошутили и посмеялись, как встарь, сами удивляясь своему легко мыслию. Плохо чувствуют себя сейчас музыканты, они оказались совсем не у дел. Сережа рассказал, что он попробовал сесть поиграть, и тут же пришли и сказали ему: «Идите лучше песок носить на чердак, чем заниматься такими пустяками».

13 июля. Вышло распоряжение приостановить эвакуацию Москвы. Первый испуг и растерянность прошли. Стало как будто бодрее и спокойнее. В доме больше порядка и сосредоточенности. Вот только ряд профессий остается без работы. Заходила С.В.Олсуфьева. Она работала реставратором в музее. Музеи закрыты. Она сокращена, и так со многими.

14 июля. Вчера объявлен договор «о совместных военных действиях с Англией». Город продолжает разъезжаться. А как страшен он вечерами своей темнотой и пустынностью.

15 июля. С завтрашнего дня вводятся карточки на питание. Опубликованы наши потери за 20 дней войны — 250 тысяч убитых и раненых. Потери немцев мы определяем в миллион. Можно ли в этом черпать утешение, не знаю. После двух-трех дней ничем, по существу, необъяснимого хорошего самочувствия у всех опять чувство угнетенности. Это что-то весьма неуловимое, подсознательное, может быть, верно передающее наше положение. Томительно душны вечера и ночи в темноте и еще томительнее при свете со светомаскировкой, когда уж совсем нечем дышать.

18 июля. Сутки у Ани, в тихой заводи, с неторопливою прогул кою, с купаньем в маленькой речушке, бодрым днем, зловещим вечером, когда объявили воздушную тревогу и Москва пылала заревом взрывов и пожаров. Анюшка близка, мила, заботлива. Вчера же в газетах — «Смоленское направление» и приказ о войсковых комиссарах. И то, и другое воспринято тревожно. В городе идут сокращения, идет снижение заработка.

19 июля. Вчера громадные очереди за хлебом. Воздушная тревога перед вечером и плохие слухи с фронта. И погода изменилась на холодную и хмурую. Ночи темны по-осеннему. Лил дождь. Все по давлены, и думаю, главным образом, непосредственной угрозою — отсутствием еды, ее дороговизной, трудностью ее добывания.

21 июля. Очереди за хлебом не меньше. Истекшие сутки обострили тревогу за близких. Кого-то возьмут, кого-то отправят, кого-то эвакуируют. Приехала Анюшка у дачи. До сих пор она держалась, но сейчас, как она говорит, потеряла себя. Ей боязно везти Марианну с дачи в Москву, а на даче она страдает о нас. Вот и прими непримиримое.

23 июля. И пришло «страшное» с заревом пожаров, с бомбежкою, разрушенными домами, со смертью многих людей. Как можно жить в такие дни и как можно долго переносить это? Ютимся в подвале нашего дома, жмемся друг к другу, разговариваем шепотом, словно боясь кого-то разбудить или чье-то внимание привлечь к себе. И затихаем совсем во время взрывов и «трепета» всего нашего дома. Сегодня, после бессонной и особенно страшной ночи, только что я лег в четыре часа утра, стук в дверь — Любочка с Галей. Я был у них накануне. Их квартира в ночь на 22 очень пострадала. В квартире не осталось в окнах ни одного стекла. В эту же ночь «страшное» повторилось с еще большей силой. Кругом все горело и рушилось. Их маленький флигелек чудом оказался цел, но оставаться в нем, и подойти к нему было опасно. Вот они и прибежали ко мне. Оставив Любочку у меня, мы побежали обратно. Нужно было попытаться спасти хоть что-нибудь из платья. На Новинском встретили Катю. Воздушная тревога застигла ее вне дома, и как только тревога кончилась, она бросилась домой. А там разрушенные дома и пожар, и дома уже никого не нашла. Надо было видеть Катю в момент нашей встречи. Она бежала высокая, гибкая, с распущенными волосами, с безумным лицом. Мы успокоили ее, пробрались в квартиру, навязали узлы и под разгул пожара громадного соседнего дома вытащили их на улицу и сели на них. Сейчас Любочка с девочками, отдохнувшие и вымытые, лежат у меня.

Вчера в сумерки незнакомый пожилой интеллигент ко мне — профессор А.А.Сидоров, известный искусствовед, читавший когда-то во ВХУТЕМАСе во времена Володи. Пришел сказать, что Горский давал ему на одну ночь книгу о Володе и что книга замечательная. Просмотрел работы Володи, говоря, что он «исключительный и единственный». Я подарил ему три оттиска книжных знаков работы Володи, чему он очень обрадовался.

26 июля. Прошедшую ночь не было налета на Москву, но мы его ждали, и эта тоска ожидания в темных комнатах, измученными, невыспавшимися, полуголодными людьми тяжка сверх меры. Сгорел и разрушен на Новинском бульваре дом Гагарина постройки Бове и пострадал дом Грибоедова. Прошедшие пять дней причинили очень большие разрушения, и тысячи людей стали несчастными. Дом наш пустеет. Во время воздушной тревоги оставшиеся большей частью бегут в бомбоубежище. И только старая баронская прислуга да я с Любочкой и ее девочками сидим в нашем подвале. Во время взрывов и других страшных событий старухи крестятся, шепчут молитвы, я мысленно с ними.

28 июля. Вчера в 9 часов вечера возвращался с Новодевичьего. Улицы Москвы были пустынны и жутки. У собора в Новодевичьем и у метро очереди в бомбоубежище. На хмуроватом небе молодой серп луны. И все в небе и в городе пугало ожиданием воздушной тревоги. Не разговаривалось и не шутилось. Было одно желание — добраться скорее домой. С 12-ти до 4-х был налет. Светало. Поднялся к себе в комнату с совершенно опустошенной душой. Уснуть не мог.

2 августа. Налеты каждую ночь. В понедельник 28-го к 10 вечера вызвали меня в милицию. Шел туда и уже знал, что начали, значит, чистить Москву от неблагонадежных элементов и что очередь дошла до меня. Допрос и запись моей биографии не были еще закончены, как началась воздушная тревога. Спустился в ближайшее бомбоубежище и вынес тяжелое впечатление. Грохота орудий и взрывов, правда, там не было слышно, но толпа страшна и тяжела. Вернулся домой в пять утра — по улицам, заполненным народом, с постелями и чемоданами. На следующий вечер опять милиция. Какое будет решение — не чувствую, гоню мысль об этом. Среду провел в Загорске. Это было чудесно. Лежал невдалеке от Володи, читал, дремал, бродил по лесу. Ночь провел на сеновале у Федора Артемовича и утром вернулся в Москву.

3 августа. Ночью воздушная тревога. Взрывы, зарево. Нас, десяток человек, жалось в полуподвале дома. Говорили шепотом, не радовались, но облегченно вздыхали, если взрыв раздавался где-то. «Христианского милосердия хватало, чтобы перенести несчастие других». Перед этим читал о пожаре Москвы в 1812 году. Сколько простоты и человечности было тогда и сколько отвлеченной жестокости сейчас.

8 августа. Десять часов вечера. Часы ожидания воздушной тревоги. Тысячи людей идут в метро и ждут спуска. Я тоже «приготовился». Вымылся, сделал свой «ночной», а быть может, и

последний туалет. Комната в прежнем строгом порядке. Предыдущие ночи были жуткие, опасность для жизни становится все реальнее. Утром сегодня выехал в Нальчик К.Н.Игумнов вместе с другими знаменитыми стариками, так называемым «золотым фондом» страны.

11 август. Минувшую ночь воздушная тревога продолжалась больше четырех часов. Зарево пожаров покрывало полнеба. В ночь на 10-е бомбы разорвались через два дома по Вспольному. Весь наш дом всколыхнулся, и мы — полуподвальцы — вскочили, закрестились, замолились даже и те, «кто отрицает». А ночи чудесные, лунные, звездные, и когда воздушная тревога кончается, мы собираемся на дворе с облегченным сердцем, с пережитым ужасом. В эту ночь коротенький разговор с Абрамом Эфросом. «Вывезли ли Вы Вашу библиотеку?» — «Ну, куда же, конечно, нет. Да если она сохранится, так "историчнее" будет».

17 августа. Сумерки. Прожил сутки в Кокошкино. Прожил мирно, в любовном окружении и внимании хозяев. Днем лежал в гамаке, ночью сидели у душистого стога сена и ждали воздушной тревоги. А в четверг на работу позвонила Любочка и передала, что меня срочно требуют в милицию. Стало ясно, зачем. Заняло сердце.

И когда в милиции предложили в 24 часа покинуть Москву, это уже не было для меня неожиданностью. После переговоров срок отъезда продлили до 19-го. Судьба бьет человека в самое больное место. Так, по крайней мере, ему кажется. Я не люблю переезжать. Люблю жизнь оседлую, с архивами, с устоявшимся строем жизни, и вот опять перемена, большая дорога в мои годы и в дни военной разрухи. Все меня ободряют и завидуют возможности покинуть Москву. А у меня ноет сердце и не хочется уезжать от беспокойных ночей с воздушными тревогами и от пустеющих улиц Москвы, в которых столько жути.

Часть третья. ГОДЫ 1941–1946

Глава первая. В ЧКАЛОВЕ — ОРЕНБУРГЕ (19 августа 1941 — 22 апреля 1943)

Мы — дети страшных лет России —
Забыть не в силах ничего.
И пусть над нашим смертным ложем
Взовьется с криком воронье…
А.А.Блок

25 августа. Ночь. За столом Аня и я. За спиною мирно похрапывает Марианна. Аня раскладывает пасьянс и гадает о дальнейшей нашей судьбе. Я же «тоскую в письмах» и ропщу на людскую неправду, приведшую меня в Чкалов. Вечер темен и прохладен. На балкон открыта дверь. Слышен стук колотушки ночного сторожа — такой мерный и древний. Я не слышал его с детства, и он уносит меня на Богоявленскую улицу Острогожска в отцовский дом.

Выехали мы из Москвы 19 августа, во вторник, с великим напряжением и трудом. Ехали трое суток в переполненном вагоне, духоте, давке, грязи. Спасал меня в дороге «Давид Коперфильд». Я наслаждался им до слез. Здесь на вокзале нас встретила машина и доставила в уже приготовленную комнату общежития Комиссариата станкостроения. Такое счастье выпадает немногим эвакуированным, и оно доставлено нам служебным положением Ирины. В общежитии длинные коридоры, запах неопрятного жилья.

Сердце мое тянет песню ту же,
И его облапила не хуже,
Чем паук, — смертельная тоска.

26 августа. Загорск. «Добрый день. Шлем вам горячий привет, М. МЛ Очень жаль, что так далеко от нас Вы уехали. Мы Вас каждый день вспоминаем. В тот день, как мы получили от вас открытку, жена ходила на могилу Вл. Алекс., подмела опавшие листья, посидела на лавочке, поплакала о Вас. День был такой солнечный. Но что делать? Верно, судьба. Бог даст, вернетесь опять в Москву. Теперь только спрошу я Вас — почему Вы уехали? Сами, добро вольно, или командировали? Потом напишите нам, Чкалов как назывался раньше? Пламенный привет Вам от всех нас

и большая благодарность за Вашу добродетель к нам. Ваши друзья Федор и Анна Кутькины».

27 августа. Почему в Чкалове, почему с Аней и с Марианной? Ирина давно настаивала на отъезде матери и дочки из Москвы. Аня упиралась. Когда же мне приказали выехать, Аня решила ехать вместе со мной. А Чкалов, потому что здесь обосновался филиал Комиссариата станкостроения — место службы Ирины. Она нас привезла, устроила и тут же уехала. Город переполнен беженцами. Заняты все углы. Цены на рынке растут, не знаю уж, пропорционально или нет растущему населению. Положение на фронте угнетает. Немцами занят Новгород Великий, неделю назад — Никола ев. Москву продолжают эвакуировать.

2 сентября. В конце прошлой недели прописка паспорта прошла гладко. С души свалилась большая тяжесть. Начинаю подыскивать работу. Это тоже мучительно.

Стоят чудесные яркие дни. Посиживаем на высоком берегу Урала. Доцветают табаки и астры, пестреют деревья. На развале купил за бумажный рубль «Пушкин» Тынянова. Всего дешевле сейчас книги, конечно, не в магазинах, а на рынке, где устанавливается реальная цена всему.

О Москве, о далекой могиле в Загорске, стараюсь не думать. От бывшей комнаты-музея — «осколки разбитого вдребезги» — две фотографии Володи, его рюмки, стакан, табакерка.

5 сентября. Жаркие дни, и такой пыли, что болит кожа лица от нее. Тоска! С работою задержка. Врача столько набежало, что его некуда девать.

9 сентября. «Загорск. Милый М. МЛ Очень грущу, что Вы тоскуете. Читайте почаще "Вечную книгу", и тоска Ваша пройдет. Всю читайте и повнимательней, да ходите по утрам почаще в природу. Это очень живительно действует на душу. У меня тоже не сладко. Денег осталось десять руб. и мало надежды на службу. Хлопочу о пенсии и не унываю. Совсем напротив — думаю, что всякое испытание на пользу. Спасибо Вам за тарелочку и картинку. Только теперь я поняла, как в тяжелое время могут утешать красивые вещи. Ваша Т.Розанова».

10 сентября. Ничего плохого в жизни здесь нет. Неудобно лишь отсутствие своего угла, хотя совместная жизнь с Аней и Марианной многим и поучительна. Анюшка своим терпением, кротостью, трудолюбием, своим отношением к людям многому меня учит. Я не уютен. Нелюдим. Ко мне никто не зайдет. Мне все здешние люди в тягость, а она любвеобильна, приветлива, честна во всем.

Безработица меня угнетает, а возможная предстоящая работа пугает — условиями, обстановкой, опять же людьми.

Читаю Тынянова «Пушкин»: «Ха-ха-ха, хи-хи-хи — Дельвиг пишет стихи».

Москва. «Дорогой М. МЛ Ваш отъезд из Москвы явился для нас весьма неприятным сюрпризом. Воскресенья наши лишаются теперь одного из интереснейших гостей. Сочувствую Вашим слезам при чтении "Коперфильда", но от Тынянова вряд ли заплачете. Правда, я готов был заплакать при чтении первых глав, но слезы мои вызваны были тупоумием и невежеством автора. Желаю Вам бодрости и здоровья. Борис Садовский».

12 сентября. Утро. Сегодня иду на работу. Жалкая поликлиника, но я предпочел ее педагогическому институту, уж слишком в последнем «ключом бьет жизнь», а я помню изречение в храме Дельфийского оракула: «Ничего слишком».

Эти дни встретил многих врачей из многих мест — Киева, Одессы, Днепропетровска и т. д. Бедствие такое повсеместное, что мое перемещение из Москвы сюда может почитаться верхом благополучия.

13 сентября. Принимал больных шесть часов подряд. Принял пятьдесят два человека. Это и трудно, и очень утомительно. Какая нищета! Какая убогая жизнь! Идут люди к врачу с голодными отеками, а им нужно идти не к врачу, а на рынок. Работа поликлинического врача серая, но нужная. Недаром говорят, что поликлинический врач «не ведущая, а везущая» фигура здраво охранения.

С фронта сообщения о взятии немцами Чернигова.

15 сентября. Кокошкино. «Уважаемый М. М. Ваш отъезд из Москвы особенно тяжел для нас своею неожиданностью. Ученье у нас отложено, а на нас возложили обязанность вырыть два бомбоубежища для школьников и заготовить в лесу дрова для школы. Работа эта ложится всецело на учителей. А у меня уже приключилось огромное несчастье — лопатой я срезала часть своей новой галоши. Поймите, ведь никаких карточек мы не имеем! Галоши — это ценность, и все усилия залить оказались напрасны. Приближается осень с дождями, грязью и холодом. Расстояния наши вы знаете, а чтобы получить хлеб, приходится иногда и вторично пройтись. Кроме этого, каждую пятницу дежурю около школы, и дом наш совсем обветшал, и у нас холодно. Личико Милы похудело и стало похоже на "уйди, уйди". Сама же я так устала, что если бы не тихие ласки детей, вряд ли хватило бы у меня силы жить. Пишите о себе, как приспосабливаетесь на новом месте. А.Крюкова».

16 сентября. Утро. Аня с Марианной ушли на рынок. Я люблю, когда они уходят и могу побыть один, но люблю, когда они и возвращаются, и скучаю и беспокоюсь, если их долго нет.

Вернулся я вчера с приема поздно. Очень устал. Анюшка вслух читала Марианне. В комнате чисто и порядливо. Накрыт стол для ужина, а настроение у нас с Аней, в итоге дневных переживаний и впечатлений, из рук вон плохое. После ужина Анюшка «раскинула карты» на одного, на другого. Это глупо, но это развлекает, а иногда и успокаивает. Потом почитал Грина — «Жизнь Гнора», «Сто верст по реке». Я читал Грина и раньше, но перечитываю его с удовольствием. Сны минувшей ночью были также смутны и печальны, как и мы вечером. Виделся Володя, как всегда в грустном положении.

Отдан Кременчуг. По Чкалову предупреждения о возможной «ВТ». Наблюдал я опять народ на приеме. Сколько добродушия, терпения, простоты! И при том он нищ, голоден, оборван. И царское правительство не могло управиться с таким народом! Или тогда он был другой?!

18 сентября. Муром. «Я очень обрадовался, получив Ваше письмо, дорогой М. М. Теперь я спокоен — Вы живы, здоровы и со своими. Я душевное равновесие нахожу в работе. Эта страшная бойня удручает меня. Надругательство над человеком и человечеством до такой степени доведено до крайних пределов, что иногда вызывает чисто физическую тошноту.

Получил я извещение, что скончался мой старый однокашник Марьян Дитрих. Мы в один день с ним поступили в приготовительный класс, сели на одну парту и тут же подрались, за что были поставлены в угол и оставлены "без обеда". Вместе затем окончили гимназию и университет и всю жизнь постоянно встречались. Царство ему Небесное! А вы, друже, беритесь за какую-либо работу — будет легче. Обнимаю Вас и желаю целу и невредиму изжить это ужасное время. Ваш Н.Печкин».

22 сентября. После жарких дней холод и дождь — и то, и другое в степени неумеренной. С утра по радио извещение о взятии немцами Киева.

Мне предложили место главного врача в поликлинике. Я отказался. В работу свою я втянулся. В окружении осмотрелся и, как всегда, нашел свой интерес и смысл.

Получил несколько открыток из Москвы от родных и друзей. В них звучит надежда на скорое свидание. Или они там очень оптимистичны, или я настроен плохо, но не вижу скорой возможности связать наши концы.

Налеты на Москву продолжаются. А ночи там сейчас темные, холодные, осенние. Еще в Москве мерещились мне такими в часы воздушной тревоги. Уж тогда я думал о них, и когда мне пишут: «Хорошо, что Вы уехали», — я почти верю этому.

Дочитал Грина и жалею об этом. Он подошел в эти дни к

моему внутреннему состоянию.

Ты, земля, стала твердью пустой.
Рана в сердце, седею… прости!
Это твой
след такой.
Ну, и прощай, и пусти.

Общений вне службы никаких. Не интересно. А народу наехало и продолжает наезжать очень много.

24 сентября. Деревня Старое Московской обл. «Милый М. М.! Я сильно огорчен твоим отъездом. Мне очень хотелось проводить тебя, но не удалось и это. В Москве пока все по-старому, и живет она, как жила. Трамваи, автобусы, троллейбусы бегают, народ суетится. Налетов больших нет, так как угощают немцев еще далеко до Москвы. У нас 7 августа был над деревней воздушный бой. Как дали тревогу, я вышел на улицу. Была темная, но звездная ночь. Слышу — идут "тяжелые", еле-еле везут. Не прошло несколько минут, как послышался шум нашего "ястребка" и так быстро, так мгновенно застрочили пулеметы и стало слышно, как начал давать перебои мотор.

Я подозвал к себе мальчишек и рассказал им, чтобы слушали, как дает перебои мотор, как бьют пулеметы. А у самого душа замирает, как бы не завалился на нас. Слушаем и наблюдаем за небом. Смотрим — начали капать огненные капли. Удар в воздухе, большое пламя летит вниз, и взрыв на земле большой силы. Ну, говорю, ребята, попал один, капут. Наутро выяснилось, что сбит один бомбардировщик в пятнадцати километрах от нас. Летчиков долго искали. Они были разбросаны в ста пятидесяти метрах от самолета, а один висел на большой березе с разорванным животом и медалями на груди. Вот так и попробовали они побывать в Москве! А сбил их молодой летчик Талалихин, лет 21–23. Остался жив. Теперь он герой.

Вот так часто сидишь под елкой и слушаешь, что делается, как начнут им давать жару под Москвой, а они поворачивают и давай куда попало бросать бомбы — в лес или поле, только земля трясется да гул и воздушная волна идет — то прямо к земле прижмешься, а ребятишки в яме жмутся.

Плохо! Наступила осень, темнота, дождь идет каждый день, слякоть. Птички улетели. Ласточки уже покинули с неделю, скворцов не видно. Царствуют грачи и галки на полях, да деревню навещают сороки. Щеглы да синицы своим чириканьем напоминают о холоде. Листья желтые и уже осыпаются. Так быстро прошло лето, так незаметно. Я так на него надеялся.

Думал поправиться, а вот 15 сентября получил "по чистой". А если бы было здоровье, думается, проехал бы к тебе. Здесь мне все так надоело. Очень жалею, что не смог я повидаться и поговорить с тобою, а теперь когда увидимся, и увидимся ли?! Конечно, все судьба. Мое пожелание тебе быть здоровому. Всего доброго. П. Г. Мищенко».

27 сентября. Загорск. «Дорогой М. М.! Побывала я на кладбище. Посидела у могилы Володи. Подумала о вас обоих с любовью и желанием пользы для душ ваших. Могила в исправности. Сильно разросся боярышник. Думаю, что если мы встретимся когда-нибудь, то будем уже совсем другими людьми. Т.Розанова».

30 сентября. Алабино. Дорогой друг мой, М. МЛ Открытку Вашу получил, и вот как отвечу на Ваши реплики: первая, а что, пане брате, увидимся или не увидимся? Не увидимся, конечно. Первое: стар я, как собака. Второе, в районах военных действий вероятность скорой и безмятежной кончины надо увеличивать, по крайней мере, процентов на сто.

Второе: "интересная эпоха"! Эх, сказать надо лучше, словами Некрасова: "Бывали хуже времена, но не было подлей"! Деток, маленьких деток рвать на клочья тысячами. Я не могу себе представить ценностей моральных или материальных, которые бы стойлу таких жертв, и не может быть таких ценностей. Живите, дорогой, долго. К.Славский».

1 сентября. Горький. «Дорогой М. М.1 Очень рад был получить от Вас письмо. Еще более рад тому, что Вы не в Москве и в безопасности, ибо скажу откровенно, после своих родных я всегда больше всего боялся потерять Вас. Живите возможно дольше. Один Ваш вид и Ваши речи, которые иногда говорятся каким-то особым, не сколько легкомысленным тоном, так нужны (я уверен, что не толь ко мне), что Вам не надо было там оставаться.

Тоска! Я понимаю, но все же она лучше опасности. Тоска пройдет, а опасность может стоить жизни. Посылаю Вам мою книгу о Чайковском. Ваш А.Стойко».

2 сентября. Поселок Косино. «Дорогой М. М.! Очень жалею, что не могла с Вами проститься, так как узнала о Вашем отъезде уже поздно. О себе сказать утешительного ничего не могу. Поступила в пошивочную артель шить мешки вещевые для армии. Зарабатываю мало, так как не очень опытна в этом деле. Но душевно стараюсь бодриться, надеяться на лучшее и принимать все возможно благо душнее. Когда бываю у Кудринской, живо вспоминаю уютные вечера в Вашей красивой комнате и долгие разговоры, полные простых и дружеских чувств. Любящая Вас

С.Олсуфьева».

10 сентября. «Дорогой М.М.! Не могу сказать, как обрадовалась, получив Ваше письмо, из которого видно, что Вы знаете, что я в Загорске. Почему я уехала к себе? Да я с самого начала Вам говорила, что буду жить в Москве до тех пор, пока Вы там. Вы уехали, и я уехала. Живу тихо. Служу работницей на производстве и полу чаю 165 руб. жалованья и рабочий паек. Это почти равняется моему заработку в музее. Работа мне трудна в смысле грязи, но обстановка морально хорошая — нет мелкой интеллигенции, которая меня всегда раздражает, хотя я и сама принадлежу к ней, но я выродок. Была два раза у Володи, очистила сухие листья, посидела на скамеечке. С "Книгой о Володе" я не расстаюсь. Крепко жму Вашу руку. Т.Розанова».

11 октября. Отдан Орел. Бои под Вязьмой. Это значительно и страшно. Боязно за Москву. В газетах тревога. Для армии требуются теплые вещи. Население должно одеть ее. На собрании в поликлинике партийная тетя, чиновная и глупая, вела себя бестактно и вызвала заявление одной из санитарок: «Я получила за полмесяца на руки 45 руб. и пошла купить на рынок шапку бойцу, а за шапку просят 65 руб., а ведь у меня двое детей. Научите, что мне делать? Килограмм мяса стоит 25 руб., литр молока — 4 руб. Хлеба по карточкам мне не достает». Наступило неловкое молчание.

Работа моя в поликлинике налаживается. Надо лишь держать себя в состоянии «желающего творить добро», а это мне часто удается. Дочитываю «Анну Каренину» с новым чувством и интересом. Толстой не устает подчеркивать ум и красоту Анны, и все это, конечно, для оправдания эпиграфа: «Мне отмщение и Аз воздам».

19 октября. Происходят события исторической важности. Окружена Москва. Говорится о баррикадах в ней, о боях на улицах. Их еще нет, по-видимому, но они предполагаются. А впрочем, мы очень плохо осведомлены, что происходит в Москве. Знаем только, что оставшиеся там в смертельной опасности. Состояние душевное такое, что дверь в прошлое захлопнулась, и нет сожаления ни о каких материальных потерях. Пропали — мой архив, библиотека, фарфор, а у меня нет даже горечи об этом. Очень трудно сейчас в городе с хлебом. Карточки на него есть, а хлеба нет. Нужны часы, чтобы достать его. Цены на продукты растут в геометрической прогрессии, и все же — жизнь вертится, рабочая и домашняя. Дочитал «Анну». Роман построен по сценам всегда изумительным, но иногда и лишним. Например, эта противная сцена у адвоката с молью. Вообще, обрисовка третьего элемента у Толстого неприятна. Он признает или аристократов,

или крестьян. Нашего брата, интеллигента, он не любит и живописует его карикатурно.

26 октября. Жизнь с каждым днем становится грознее. Правительство переехало в Куйбышев. О Москве страшные и позорные рассказы «в дни — 15–16 октября», конечно, по секрету с глазу на глаз. Сюда бегут и едут толпы людей. «Мобилизация жилплощади» идет беспрерывно. Угроза сыпного тифа так же велика, как и вшивость. И нужно быть чуду, чтобы пережить войну, голод, тиф. И, конечно, чудо это свершится. Русский народ не погибнет.

Читаю Чехова. Я давно не читал его. Какое мастерство и как «революционно» восприняли его. А он ведь сам вовсе «не клонил» к этому.

29 октября. Загорск. «Милый, дорогой М. М.I Спасибо за Ваше желание помочь мне, но я еще пока остро не нуждалась, так как служила и получала паек. Теперь меня сократили, но вперед загадывать нечего. Настроение у меня самое благодушное, и я стараюсь отсыпаться, чтобы набраться сил для трудной жизни. Вы пишете, что читаете "Вечную книгу" без чувства восторга и преданности. Что сердце Ваше холодно. Так вот, чтобы оно не было холодно, и дана нам эта жизнь, так я смотрю на происходящее. Жму Вашу руку, возможно, в последний раз. Если не будет писем от меня, думайте, что меня нет в живых. Всего, всего Вам доброго. Т.Розанова».

3 ноября. Московских газет нет с 23 октября. Телеграмма-молния шла из Москвы 15 дней. Чкалов объявлен на угрожаемом положении, и последние дни введено затемнение. Приехавший вчера эшелон из Москвы был в пути 17 дней. То, что просачивается от ужасов эвакуации ко мне в кабинет, поистине ужасно. Письма исчезли из жизни и доходят лишь случайные открытки. И не будь работы и желания расширить и углубить ее, было бы совсем невмоготу. Вчера Анюшка купила мешок картофеля за 240 руб., а я зарабатываю в месяц всего, всего «за ненормированный рабочий день» 500 руб., а за вычетом — на руки две трети этого. Что же стоит моя работа, и как мы будем жить дальше?!

11 ноября. Загорск. «Дорогой, милый М. МЛ Пишу Вам, чтобы дать знать, что я жива, в своей комнатке, окружена милыми и дорогими книгами и всякими дорогими моему сердцу реликвиями. Недавно переписывала в тетрадочку все такие поэтичные и выразительные надписи на книгах, сделанные мне отцом на память. Все так живо и трепетно памятно о далеком и внутренне столь близком детстве. Чем старше я становлюсь, тем ближе мне становится детское состояние души и даже понятнее,

чем более зрелый возраст. Читаю Симеона Нового. Сколько дивных мыслей, какой тонкий психолог. Какое изящество мысли и выражений, что я оторваться не могу от него. Пишите, дорогой! У нас все тоже, что и везде. Т.Розанова».

17 ноября. «Уважаемый М. МЛ Мы пока целы. На руки нам выданы трудовые книжки, дан расчет и совет эвакуироваться. Как? Куда? Сейчас начались разговоры о возвращении к работе, и мы начинаем понимать, какая черная туча отодвинулась от нас. Как живем материально? Что ж об этом писать! Расчет получили, карточек не имеем, вместо хлеба дают иногда рожь, иногда пшеницу. Варим из них кашу. Только теперь мы оценили хлеб. Сама я так похудела, что скоро бренной земной оболочки совсем не останется. Кстати, производя здесь перепись населения, сколько раз пришлось услышать мне благодарность, пожелания здоровья и желания отблагодарить Вас от Ваших, когда-то бывших больных. Ну и пусть, все эти пожелания от доброго, простого сердца несутся к Вам через далекое пространство и навевают на Вас легкое и спокойное настроение в минуты тяжелых душевных невзгод. А.Крюкова».

19 ноября. «Дорогой М. МЛ Нас с Вами постигла большая печаль, а меня даже скажу, великое горе — нашей дорогой Софье Владимировне Олсуфьевой пришлось "уехать" к мужу. Об этом мне сообщила ее знакомая. Она же и принесла ее письмо ко мне, полное нежной заботы обо мне. Сердце мое скорбит невыразимо. Не знаю, в чем уехала она. Есть ли у нее валенки, и удалось ли ее собрать — так поспешен был ее отъезд. Сегодня слышу точно ее голос — она не позволяет мне плакать и унывать, и я в душе своей стараюсь рассеять скорбь, чтобы не огорчать ее — ведь человек и на расстоянии все чувствует. Поддержите и Вы наш дух и не забывайте нас скорбных — очень прошу и молю Вас об этом. Т.Розанова».

23 ноября. Загорск. «Милый, дорогой М. М.1 За две недели до отъезда С. В. мы побеседовали с нею на многие темы и вспомнили все то доброе, что мы видели от Вас и как последнее свидание Вы мило старались меня утешить, что мы еще увидимся. Дорогой мой! Вряд ли это будет. Здоровье мое не таково, что я смогу перенести все трудности жизни. Я к смерти своей отношусь очень спокойно. Я так нравственно устала жить. Всего, всего доброго. Т.Розанова.

P. S. Боясь не смочь сохранить "Книгу о Володе", я передала ее старому моему знакомому С.А.Волкову, преподавателю литературы».

30 ноября. После долгих колебаний согласился занять должность главного врача поликлиники. Занят с утра до вечера.

Насколько я дорожил своим временем в Москве, настолько рад здесь не иметь его.

21 декабря. Деревня Старое. «Милый М. М.! Соскучился я о тебе, и письма твоего нет. Хочется узнать, как живешь. Зима навалила снегу много, везде чисто, бело, только чернеет лес. В избе тепло. Дровишки есть. Ложимся спать в девять. Я еще иногда часок почитаю, да и тоже на бок. Кругом глубокая тишина. Фронт отодвинулся. Не стало слышно орудийной стрельбы, не слышно гула моторов. Последний раз немец бомбил днем в конце ноября. Шел паровоз против деревни. Откуда возьмись, самолет. Машинист с полного хода остановил паровоз в выемке, и все сброшенные бомбы, штук 10, попали в стог сена, в коровник, штук 5 — в переезд около линии, а остальные вокруг. Будка путевого и семья остались целы, а паровоз пошел своим ходом. Все произошло быстро, на глазах. Ребята принесли мне хвост от бомбы. Тревог не стало. Выйдешь ночью на улицу, темно, тихо, все спят спокойно. Уже стали забываться и тревоги, и бомбежка, и бессонные ночи. Как-то был в Кузьминской больнице. Получил одно удовольствие от езды в розвальнях и тулупе на сене. Лошаденка все бежала рысцой, а день был на чудо прекрасный. Легкий морозец, солнышко, деревья все в инее, как нарочно убранные, и стояли точно на картинке. Поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю здоровья и скорейшего возвращения. Петр Мищенко».

27 декабря. Муром. «С Новым годом, дорогой М. М., и дай Бог Вам дожить до окончания этой ужасной войны, пожалуй, самой ужасной из всех бывших до сих пор. Меня приводит в страх и смятение эта неистовая злоба, с которой ведется нынешняя война. Можно еще понять личную злобу против врага, грозящего тебе смертью, когда судьба тебя столкнула лицом к лицу. Но разорение памятников старины, надругательства над могилами и памятниками светочей человечества — это мне не понятно. Разорение Ясной Поляны, Музея Чайковского в Клину — как это понять?! И это делают немцы — нация, давшая миру Гете, Шиллера, Канта, Бетховена! Вероятно, они вертятся в своих могилах от стыда за своих потомков.

Судя по последнему Вашему письму, Вы работаете вовсю. И я не работал никогда с таким подъемом душевным, как сейчас. Оно ведь и понятно: если надо мною есть кров, если я сплю в своей кровати, пользуюсь своими книгами, то это только потому, что в 300 км от меня десятками, сотнями тысяч гибнет молодая человеческая поросль, которая так дорога стариковскому сердцу. Я надеюсь, что эта война будет последней в истории человечества. Пусть только поскорее наступит "мир и в человецех

благоволение". Что ни говорите, а у Гитлера хребет уже надломлен и здравый смысл и логика требуют его конца. Позвольте мне крепко-накрепко обнять Вас со всей теплотой и лаской, на какую только способно старое сердце. Н.Печкин».

28 декабря. Загорск. «Дорогой М. М.! Счастлива узнать, что Вы живы, здоровы. Работаете. И я стала веселее, так как стала жить только сегодняшним днем. Вся моя ошибка жизни в том, что я всегда жила в ожидании будущих бедствий, а они всегда приходили не с той стороны, откуда я их ждала. Вот я боялась, что у Софьи Владимировны сгорит ее домик, а сама она будет ранена, а несчастье случилось совсем другое. Вы пишете, что я все же — "Самобытная", а что же Вы представляли, что я буду стоять в очередях и накапливать себе всяческое продовольствие? Этого никогда не будет.

Просмотрела еще и еще иллюстрации Володи к "Борису Годунову" и только перечтя текст, оценила и поняла их. Прочитала так же с захватывающим интересом В.Розанова "О войне 14-го года". Читаю "В мире неясного и не решенного" и "Около церковных стен". Замечательные статьи в первом томе о Филарете, о Толстом, Достоевском и Талмуде. Все это нужное и дорогое я прочитала в книгах, принадлежащих Вам, и я Вам очень благодарна.

Я не служу, но за квартиру у меня заплачено. Продала лишнюю керосинку и живу пока "барыней". Болит сердце только очень о Софье Владимировне, но утешаю себя тем, что как мне Бог помогает, так поможет и ей. Т.Розанова».

31 декабря. Загорск. «Простите, глубокоуважаемый М. М., что я без Вашего ведома прочел "Книгу о Володе". Разрешила мне это Т.В.Розанова. В ряду книг, как "Дневник" Амиэля, "Мемуары" Башкирцевой, "Уединенное" и "Опавшие листья" Розанова и т. п. интимных и задушевных произведений, Ваша книга займет свое место. В ней показана история двух жизней, спаянных родством душ, прошедших рука об руку нелегкий, но в тоже время незабываемый и серьезно ценный путь. И я не знаю, кто ближе и дороже мне по прочтении — Володя или Михо. По возрасту я ближе к Володе, но душой и переживаниями скорее нахожусь вместе с Вами. Вы — основная мелодия всей Вашей книги, которая звучит хоть и пиано, но является ведущей, тогда как Вашему талантливому другу принадлежит все богатство вариаций и инструментовки. Володя заполняет всю Вашу жизнь до конца, хотя и не исчерпывает ее полностью. Вам еще надо жить и написать книгу, или несколько, о своей жизни. Мне хотелось бы подробнее написать Вам об исключительной "камерности" Ваших переживаний, данных в книге, о том, что мало было природы

вокруг Вас и Володи, что культура изысканного держала Вас в плену, а только леса, поля, горы и море могли устранить те коллизии, которые печально привели к трагедии 19.IV.37 г. Завистливая судьба, подстерегающая счастье счастливчиков, погубила Володю, а он был именно счастливчиком, имея постоянно около себя Вас. С таким Вергилием не страшно опуститься даже к кругам ада. И стоило только ему отойти немного от Вас, как все погибло. Нет места и возможности написать Вам подробно все мои мысли о книге. Я сделаю это в специальном письме, а пока позвольте просить Вас, многоуважаемый М. М., извинить меня за мою дерзость, что я читал Вашу книгу и позволяю себе писать Вам, не будучи с Вами знакомым. Желаю Вам счастья, поскольку оно возможно в наши дни. Сергей Волков».

1942 год

1 января. Прошедший месяц был темен. Электричества не было ни дома, ни в поликлинике. Освещались «газиками» — фитильком в пузырьке. Это освещение располагало к раздумью, сну и грусти. Давно приехал Саввич, как всегда благородный и скромный. Жизнь в Москве скудная и тревожная. Здесь же мы на днях перешли из четвертого этажа в бельэтаж и заняли хорошую комнату с большим крытым балконом, передней и соседями очень дружественными — семьей главного инженера Комиссариата А.И.Игнатенко.

Работа моя, главным врачом, идет успешно. Я освоился со своим положением и делом, делаю меньше лишних движений и нахожу удовольствие не только в том, чтобы работать самому, но уметь заставить работать и других.

2 января. Загорск. «Дорогой М. М.1 День Вашего рождения очень помнила и весь день посвятила на то, чтобы привести в порядок Ваши книги В.В.Розанова. Все разорванное подшила, обернула в газеты, теперь их удобнее будет читать. Мне казалось, что этот день я провожу с Вами и отцом, и мне так хорошо было, что я даже не оторвалась целый день, чтобы напиться чаю. Если Ваши книги не сохранятся почему-либо, не вините меня, я все сделала, чтобы их сберечь для Вас, даже если я умру. О Москве Вы не грустите, я уверена, что Вам удастся вернуться в нее, только, может быть, не в прежнюю вашу комнату. Когда я в ней была последний раз, она уже ничем не напоминала Вас. Я посидела и поплакала там о невозвратном. К старости я тоже, как и Вы, ищу среди безобразного прекрасное. Это сберегает душу и

поддерживает любовь к жизни. И как я не страдаю, я благословляю все, это душа Софьи Владимировны чудес но перелилась в меня. Т.Розанова.

P. S. С.А.Есенина написала мне, что Толстовский музей в Москве пострадал не сильно, а Ясная Поляна сильно, и сгорела библиотека Льва Николаевича. Тяжело об этом писать».

16 января. Воронеж. «Дорогой Миша! Из письма дочери я узнал, что она и мать, истощенные дорогой, нашли приют у Вас. Вот когда в твоем выезде я увидел руку Промысла. Нина пишет о тяжких условиях их жизни. В степи, среди гор и волков, в землянке с худою наружною дверью. Сами ломают кустарник и топят дымящую печь. Помоги им перебраться в более выносимые условия жизни, поближе к Чкалову. За приглашение приехать, благодарю. Трудности передвижения на новые места знаю, и обстановка требует выезда отсюда. Куда, как двинусь и успею ли — не знаю. Еще холода большие, а на мне ботиночки и осеннее пальто. Целую. Д.Лихоносов».

25 января. В Саратов. «И.С.Татариновой. Милая Ирина Сергеевна, радуюсь, что Вы в тепле, у своего дела и со своими. Эти простые вещи сейчас даны не всем. Пути человеческой жизни глохнут очень скоро, говаривал Тургенев. Где же найти Вам пути Володи в Саратове? Надо начинать с деда его, Владимира Федоровича Никитина. У него был свой дом там и многочисленная родня по купечеству. А прадед Володи, кажется, Горюнов по фамилии, был в свое время городским головою. Конечно, там остался кое-кто из этих "бывших". Нужно только найти ниточку, чтобы потянуть.

Зима у нас лютая. Работаю я много. Совсем не слышу музыки, одичал и не вижу конца своей эмиграции. Не ленитесь еще написать мне. Ваш М. М.».

В тот же день (из дневника). Воскресенье — день переписки, и я не встаю из-за стола по несколько часов. Пишу я на людях, под жизнь пятерых обитателей нашей комнаты. Но все равно это мне нужно, это отдых, это переключение от «мышиной» беготни главного врача поликлиники. Я и не выхожу в этот день, чтобы не видеть людей и отдохнуть от их благословений и от их проклятий.

Будние дни заняты тысячами больных и сыпным тифом, а город — без воды, нет мыла, бани не топятся, ибо нет дров и везде холодно.

Возвращаясь домой к 9 часам вечера, отдыхаю за «Посланиями апостола Павла». Читаю я их при утлой керосиновой лампочке. Как трудно, однако, браться за эти маленькие книжечки. Мы можем читать целые тома дребедени и

не собираться за всю жизнь прочитать книги Нового Завета.

Уезжает в Москву наша Иринушка. Отъезд ее бередит мои московские вожделения, хотя я и убеждаю себя, что весною и летом здесь, на берегу Урала, будет лучше, будет по-дачному.

30 января. Чкалов. «Дорогая Ольга Александровна! Несколько дней у нас мороз до 40 градусов, и замерзли не только руки и уши, но и душа. Вот Вы в Вашем письме совсем не жалуетесь на жизнь, но я чувствую, что Вам плохо, это сказывается помимо Вас. Боюсь я, что у Вас нет денег, что продать ничего нельзя, что Вам холодно и Вы голодны. А вышивая, Вы согреваете Ваши пальцы дыханием и Вам не на чем даже согреть себе чаю. Не так ли это? Но я верю, что настанет день, что я буду сидеть в Вашей картинной галерее за Вашим столом и пить чай из "золотой" чашки. Хороша жизнь даже в этих контрастах, хотя вовсе не знаю, зачем она. Что касается апостола Павла, то, конечно, его "Послания" — это не Евангелие, но это основа догматического христианства. Его Послания читались, изучались и будут читаться, это — вечное, как и само христианство. А Павел, несомненно, блестящий ум и блестящий писатель».

1 февраля. Тамбов. «Милый, дорогой брат Мишенька! Получила твою открыточку и обрадовалась, что Вы живы и здоровы. Я день и ночь думала о всех Вас, моих родненьких. Мы живем, Мишенька, очень и очень плохо. От своих из Америки не получаем ничего. И вот такая у нас сейчас жизнь кошмарная. Зина работает, но что же ее заработок при такой дороговизне?! Мяса теперь и не видим, масла или сала тоже не можем купить, хлеба тоже не хватает, потому что приварка нет никакого. Миша, пиши, родной, поцелуй всех. Сестра Паша».

В тот же день. Загорск. «Дорогой М. М.! Пишу Вам, чтобы утешить Вас насчет себя. Я временно работаю на машинке в нашем музее. Атмосфера очень приятная. Работа сдельная. Надеюсь заработать настолько, чтобы оплатить за этот месяц комнату и выкупить паек, то есть 500 г черного хлеба в день, 300 г сахара в месяц, 1 кг крупы и 200 г масла. И еще одно утешение: у нас топят. Правда, свет выключен и кипятка нет, но какая-нибудь добрая душа даст кипятку. Сейчас мы с Вами ближе к Володе и больше понимаем степень его лишений и страданий. Судьба нас многому учит. Я настроена кротко и благодушно. Вам в наши края пока не советую возвращаться. Как бы я рада была в эти грозные дни быть подле Вас и, может быть, умереть около Вас. Если от меня не будет писем, — напишите А.М.Флоренской. У нее же находятся и Ваши книги. Ну, всего хорошего. Т.Розанова».

3 февраля. Дзержинск. «Дорогой М. МЛ Живу временно в

Дзержинске. Пробирался в Ковернино к своим, но навигация закрылась. Проехать же туда на лошадях — почти невозможно для меня: стоимость проезда 500 рублей. Живу здесь в семье нашей бывшей домработницы, теперь она домовладелица, муж ее хорошо зарабатывает и наши роли почти поменялись. Вот к чему привело былое "рабство" домашней прислуги и "кровопивство" бывших господ.

Здесь мне пришлось обратиться за помощью к врачу, на вид девушке лет 20. На мой вопрос: "Где и когда закончила медицинское образование", — получил ответ: "В июне 1940 г. в Выборге". На мое изумление, как мог возникнуть медицинский университет в Выборге, получил ответ: "Туда был эвакуирован мединститут из Петрозаводска". А другие учреждения эвакуировались в Медвежьегорск, который был временно столицей Карелии. Это напомнило мне недавнее по годам, но давно прошедшее по ходу исторических событий прошлое, когда Медвежья Гора представляла собою единственное в своем роде собрание тысяч лучших людей своего времени, отобранных "умелыми руками" сотрудников "вождя" Ягоды. Помните его на белой гипсовой колонне в цветнике против центрального дома ББК? Волна воспоминаний о прошлом, в котором видное место занимает МММ, и побудила меня написать Вам это письмо.

Буду обрадован, если Вы вспомните время нашего знакомства и напишете о себе, своем самочувствии и перспективе восстановления' фарфорового музея во Вспольном переулке. Когда я зашел в него теперь, был неприятно удивлен превращением его в обыкновенную жилую комнату. Какие вести получаете из Москвы? Обнимаю и целую Вас. П.Осадчий».

6 февраля. Загорск. «Дорогой М. М.I Я очень радуюсь, что Вы читаете "Сочинения Павлова", для меня эта книга была всегда величайшим утешением, в ней я черпаю для себя силу жить. Люблю эту книгу очень. В больнице я очень тосковала об этой книге, но стеснялась Вас просить доставить ее мне. Дальше Вы спрашиваете о рукописях отца. "Мимолетное" С.А.Цветков взял в Тарусу, а где теперь, оно — не знаю. Цветкову отдали рукописи, так как отец ведь хотел, чтобы он занимался над ними после его смерти, кроме того, он был единственный свободный человек и имел время и досуг, и любовь приложить свои силы и труд к этой работе. Вот почему у нега все и было. Кроме того и Надина, и моя жизнь была очень непрочная, полная лишений и неопределенностей. Я боялась на себя взяты ответственность и перевезти все к себе. Теперь часть я перевезла и оставила у А.М.Флоренской, там, где рукописи были раньше. Часть рукописей осталась у С. А. в Москве на квартире. Я прошу Надю

съездить и узнать об их судьбе. Книги отца я читала и раньше, но я была молода и не могла иметь своего суждения об этих книгах. Я очень хочу перечитать их, но — нет света и времени. Немного работаю в музее, немного стою в очередях, стараюсь достать где-нибудь кипятку, чтобы напиться чаю и постирать. Вот моя жизнь, дорогой мой. Спасибо Вам за все бесконечно. Спасибо бесконечное и за разрешение делать отметки на книгах Розанова. Мне это важно и дорого. Т.Розанова».

В тот же день. Деревня Старое. «Милый М. М.1 Ну, наконец, дождался письма, спрашивал каждый день. Все нет, нет и нет. Сначала думал, что переехал или собираешься в Москву. Взялся терпеть, и вот 3-го — письмо, чему рад без конца.

Зима нынешний год снежная, морозная. Мороз доходил до 35 градусов и сейчас все держится пятнадцать градусов, но солнышко берет свое. Дни стали длиннее, и днем пригревает. Прожить бы еще как-нибудь два месяца, а там побежит и водичка. Живу все в Старом. Тревог нет, тихо. Выйдешь ночью — тишина мертвая, все занесено, ну, и скорей прячешь нос в избу, в тепло. Ты пишешь, М. М., что соблюдай очередь и раньше старых в могилу не суйся, но у каждого своя судьба. Мне рассказали новость, что мой отец развелся со второй женой, с которой жил 12 лет, и женился на третьей — на молодой, лет 38–40. А ему — 73 года. А я скоро-скоро превращусь в землю. Теперь не пару слов, а двести о моем здоровье. Температура по утрам у меня — 36,5—36,1, вечером до 39. Вес такой, что мои ребра мешают мне лежать, сон плохой, ем насильно и все невкусно. Беспокоит горло. Месяца полтора назад был у Вас в поликлинике. На туботделении — замок, никого нет. Пошел в тубдиспансер, вхожу. Сидит сторожиха. "Здравствуй, бабка, как живешь?" — "Да слава Богу, видишь, ем картошку и пью чай с белым хлебом". — "Ну, кто есть?" — "Есть я да старик на все участки. Запись на десять-двенадцать дней. Ну, и все". Теперь о болезни тебе все ясно. Ну, как судьба! Будем живы, увидим. Не хочу только терять надежды на свидание. Пожелаю здоровья и возвращения. Петр Мищенко».

15 февраля. Загорск. «Дорогой, дорогой М. М.! Писала я Вам о возможности для Вас устроиться в Загорске, а потом подумала и хочу сказать: судьба сама все устроит. Не будем ни о чем заботиться, мы теперь все "как птицы небесные". Все земные расчеты и мудрования рассыпаются в прах. Читаю с совершенно захватывающим волнением "Темный лик" В.Розанова. Книга, несомненно, диалектического мышления, и там одного положения нельзя проследить, или если и есть одно положение, то отдельные фразы можно понять иначе. Во всяком случае, разбирается не понимание только христианства людьми, но самое

христианство в самой его сущности. И все так великолепно сделано, так блестяще, что глаз и слух невольно зачаровываются. Это какая-то титаническая борьба с Богом, такой силы, такой мощи, что даже не понимаешь, как один человек мог продумать и промыслить. Вы спрашиваете, когда будет Пасха? Пасха будет 23 марта по старому стилю, 5 апреля по новому. Завтра начало Великого Поста.

Сергей Александрович Волков учился в здешней Духовной академии. Мать его была учительницей. Сам он очень понимающий и начитанный человек, был все время педагогом, а сейчас без работы. Знавал очень многих известных людей.

Я пока работаю сдельно в музее. В воскресенье пройду на могилу Володи. Два месяца тому назад розовая церковка на кладбище и могила были целы. Т.Розанова».

22 февраля. Все дни слились в одно ощущение — вечер-утро, утро-вечер, встаешь в темноте, возвращаешься из темной поликлиники в темную комнату. Жизнь идет под уклон. Сережа Симонов пишет: «Узнаем ли мы друг друга, если удастся увидеться? Люди меняются не по годам, а по неделям».

А Елена Борисовна Сахновская — художница: «Если бы не чужие вещи (все уезжавшие мне оставили) и не долги, мы бы с мамой давно покончили с собою. Очень страшно так долго мучиться. Сколько близких уже умерло от истощения».

Мы с Анюшкой пока как-то еще сыты, но сыты случайно, с помощью черного хода одного магазина, где заведующий привязался ко мне благодарностью пациента.

Узнал, что Люба Познанская с дочерью ехала к Ташкенту, заболела в дороге крупозным воспалением легкого, в Чкалове ее сняли и отвезли в больницу. Здесь она и скончалась. Ее спутники, оставив ее больную здесь, продолжали свой путь дальше. А на здешнем кладбище гора трупов из больниц незахороненных. Там, по закону вероятия, должен быть и труп Любы. Боже мой, как мудро сокрыто от человека его будущее.

Вспоминаю один вечер в гимназические годы у нас в гостиной на ковре в полумраке лампады. Тася Кистер, Люба и Галя Познанские, Аня, Люба, я, Степан долгополое и мы гадаем о нашем будущем и предсказываем его друг другу со всем глубокомыслием до 20-летнего возраста, и ни у кого не достало фантазии на такой трагический конец Любы Познанской, нежной и избалованной девочки. И вот небывалая Мировая война — она брошена на дороге, и труп ее, в куче других трупов, ждет на кладбище весны, когда не так трудно вырыть яму и забросить эту кучу землей.[2]

12 марта. Загорск. «Дорогой М. М.! Вчера, в день рождения

Володи, по Вашему желанию была на кладбище. До самой могилы дойти не могла, но издали поклонилась ей и послала привет от Вас. Ветер завывал неистово, и очень мело. Зашла потом к Федору Артемовичу. Я захожу к нему, чтобы он был уверен, что Вы вернетесь, и чтобы он охранял могилу, а то ведь все сломают, если будут знать, что никто эту могилу не посещает. За денежки Вам бесконечное спасибо. На службе — тепло. Дома — мороз до 5 градусов, хотя за топку плачу круглый год очень исправно. Кое-что продаю, чтобы оплатить квартиру. К сожалению, одежда моя слишком проста для крестьян. Они меняют продукты только на шелк и отрезы шерсти, да и менять у меня нет сил и уменья. Вот Вам точное описание моих расходов и жизни. По вечерам читаю книги отца в городской библиотеке, где пока тепло, светло и довольно тихо. Это общение с душою отца очень меня поддерживает и, думаю, дает мне силы переносить мои условия. Благодарная Вам Т.Розанова».

20 марта. Не работаю с 6-го. Перенес гриппозное воспаление легкого. Собрался умирать, все было безразлично, даже смерть здесь, в Чкалове. Сейчас возвращаюсь к жизни, накапливаю силы. Сегодня утром Аня подсчитала, что для того, чтобы нам продолжать жить, как мы живем сейчас, — без сахара, без белого хлеба, без мяса — нужно 3000 тысячи рублей в месяц. Я получаю 600 руб. Это ставка главного врача. Треть из этих денег идет на вычеты: военный заем, подоходный и культналоги, союз, ну и еще, и еще куда-то. Решили не считать, не мы одни в таком положении, а «на миру и смерть красна». А сыпной тиф растет. Вчера не вытерпел и пошел на заседание по сыпному тифу. Ночь была чудесная, звездная, предвесенняя, морозная, но уже не по-зимнему. Луч прожектора ловил где-то в небе гудящие машины. Это внесло в ночь войну, тревогу и смерть. И как это далеко от: «Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда с звездою говорит».

Меня этот выход в жизни развлек и приобщил опять к жизни. Нужно работать, пусть даже работа и не кормит. Пока носят ноги — нужно работать.

26 марта. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Воспользовавшись командировкой в Петровское, зашла к Славскому. "Вся больница только и держится у нас Славским", — слышны разговоры. А он… едва-едва двигает ногами, но все тот же взгляд, ясность мысли, вдумчивое отношение к жизни и радушное гостеприимство. Диккенс говорит: "Каждый возраст человека, как и каждое время дня, имеет свою красоту". Константин Георгиевич красив, ему 76 лет, а он полон энергии, целыми днями работает в больнице и много добра приносит людям. Посещение его доставило мне редкое удовольствие.

Погода у нас ужасна, как и сама жизнь. Зима легла рано, сильные морозы стояли всю зиму, снежные бури засыпали все следы и почти целиной приходится пробиваться в школу, а это — вперед-назад — 6 километров. Приладив веревочками книги за спину, шагают маленькие фигурки гурточком, сбиться так страшно, нарыты окопы.

Теперь порадуйтесь со мною моими радостями: получила за февраль муку, это стоило трехдневной прогулки после школы еще километра по 2. Имею коробку спичек, стирки на 3 мыла. Завтра испечем хлеб и будем есть досыта. А в общем — так хочется как бы проснуться от тяжелого сна. Всего хорошего. А.Крюкова».

23 марта. Алабино. «Дорогой М. МЛ У меня пока все целы, хотя два месяца сидели рядышком с "пожаром". Нельзя сказать, чтобы это было жутко, страшно, но все же не без неприятностей было. Амбулатория и дом с квартирами среднего медперсонала разрушены весьма. Во всех зданиях больницы выбиты стекла. Бесчинствовали здесь немцы средне. Их скоро выбили, и они оставили на наших полях трупов до 300. Вот все, что здесь было между 1 и 20 декабря. Обнимаю Вас крепко. К.Славский».

23 марта — 5 апреля. Как и в 1915 году, 27 лет назад, день Пасхи — 23 марта. Какой памятный день, день трагического ухода Лидии Александровны Сиротининой в «никуда», чтобы умереть вдали от дома. Она была умна, красива и не стара. Была война тогда, и сейчас война. Всю мою рабочую жизнь была война, но насколько мои позиции того времени были выгоднее теперешних. Прежде всего — я был молод, у меня было будущее, ну… не буду об этом.

Здесь нет ни одной церкви. Страстная неделя прошла глухо и немо. Всю неделю душа ныла о «Воскресни, Боже, суди земли, яко наследеши во всех языцах» и о стоянии с 12 евангелиями. Последние я прочитал сам, но нужны церковь, народ, зажженные свечи и «благоразумный разбойник».

День стоит сегодня хмурый, небо тяжелое и неприветливое. Пробовал выйти и вернулся. Прочитал о «Воскресении» у всех четырех Евангелистов. Каждый дает свое «Воскресение», но Воскресшего Христа — никто не дает. И все же как сильно, непреходяще, вечно.

Телеграмма из Москвы. «Сегодня Мищенко умер. Похороны Барыбино. Матвеев».

Вот и унесли вешние воды Петю Мищенко. Как мил, скромен и честен был этот человек.

Сахновская пишет мне: «Каждый день узнаем о чьей-либо смерти и относимся к этому уже совершенно равнодушно. Очень мало сил у самих, чтобы реагировать». По-видимому, у меня еще

настолько сил, что я продолжаю «реагировать», а главное, начинаю понимать, что трагедия заживших людей заключается в том, что они лишаются своих друзей, сверстников, своего привычного окружения и постепенно остаются одни. Это поистине страшно.

12 апреля. Чкалов. «Дорогая О. А.! А что же в апреле стало жить веселее или нет? Вот вы сейчас находите "тишину, покой, радость, счастливое сознание жизни?" И я думаю, как ни трудна жизнь, а все же что-то из этих чувствований непременно находишь, если не дома, то в музыке, или в храме. Торжественное чувство праздника было и есть у нас здесь, несмотря на его "немоту". Весь вечер накануне и день отрешились от будней. Нарядно внешне, с внутренним содержанием "Вечной книги", особенно значимой в эти часы. Сейчас же работа и работа. Весны нет, холодно. Капели только в полдень. А все же "весна идет, весна идет". Читаю Гарина "Студенты". Город очень беден книгами, или мы их не можем найти здесь. Жду книжной оказии из Москвы. Но пока ее нет. Итак, будем жить, будем жить, хотя бы для той любопытной встречи, которая может состояться. Будьте здоровы. М. М.».

18 апреля. Ночь. Пять лет тому назад последние часы жизни Володи. Он еще дышал в это время, но сознания уже не было. И он ничего не узнал из того, что жизнь кончилась и наступила смерть. Нужно ли, чтобы он жил сейчас? Нет, не нужно. И нам, уравновешенным и душевно здоровым, трудно, а ему и вовсе было бы не под силу.

Послесловие к «Книге о Володе» — Михо

> «Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце.
> Как это ни странно, а без этого пуста жизнь».
> В.В.Розанов

И вот прочтена эта книга, написанная столь искренно и с таким сильным чувством. Образ Владимира Александровича Свитальского, художника и человека, ясно вычерчивается перед глазами, четкий и определенный, чем-то до странности схожий с его собственными гравюрами, выдержанными в строгих тонах «черного и белого».

Было многое дано ему и природой, и жизнью. То немногое, что успел он сделать за недолгие годы своего странствия по земле, — только абрис неуловимый невысказанной до конца полноты души артиста, только намек на неосуществленные, пожалуй, упущенные возможности, о которых можно очень и очень сожалеть.

Путь человека и художника не сложен. Он развертывается постепенно, подобно старому свитку, на котором запечатлены радости бытия, житейские треволнения и невзгоды, сладкая отрава творческих наитий, стремления к единственной, для каждого искателя, красоте в образах природного и творимого совершенства и горькая услада любви и дружбы. Человек преобладает над художником. Перед последним лишь начинают раскрываться просветленные горизонты, разум лишь намечает пути своего сотрудничества с интуицией, как этот свиток неожиданно обрывается трагической случайностью.

Такие книги нужны. Не только автору, для которого все изложенное тесно связано с заветным и сердечным, но и всякому, кто любит и умеет мыслить о жизни, приподнимаясь над ее изменчивой текучестью, прозревая затаенные символы в многообразных и быстролетящих явлениях МАЙИ.

Наряду с литературой синтетической, кристаллизующей в типическом образе черты индивидуальных лиц и ситуаций, может и должна существовать литература аналитическая, фиксирующая «мимолетности» внешних событий и внутренних переживаний и мгновенное запечатлевающая неповторимое своеобразие различных лиц и явлений жизни, детализирующая для того, чтобы сам читатель смог стремиться к желанному синтезу, — литература факта и биографии. Такие произведения могут быть не менее художественны, нежели создания великих мастеров классического наследия, а своею интимностью содержания и задушевностью изложения возбуждают в душе читателя подлинное лирическое волнение и философические раздумья. Такова сила всех тех творений, где ярко преобладают следы «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет».

Накануне событий 1917 года некий безвестный автор обратился к читателям с призывом: «Пишите книгу своей жизни». И до него, «после него были такие опыты. Одни из них удачны, другие нет.

«Книга о Володе», эта своеобразная монография и вместе с тем автомонография, принадлежит к числу первых. Она интересна не одним только образом «Володи», но и образом самого автора. Он мало говорит о себе и совсем почти не старается показать себя, упоминая о себе лишь для того, чтобы лучше оттенить и объяснить своего героя. Но невольно и неизбежно из-за хрупкой и красивой фигуры безвременно погибшего художника встает другая фигура — его друга и водителя в жизни — «Михо». Это человек большого чувства, серьезного ума, с безукоризненным благородством и с редкой в наши дни любовью и способностью к организованности. Такие

люди и создают, а еще более укрепляют подлинную культуру. Если они и не творят сами, то изумительным богатством всего своего существа они ферментативно вызывают и поддерживают экстаз неустанного творчества в других. Автор книги сумел на переломе своего Оытия, в трудные годы всеобщей тревоги и сумятицы на фоне переустройства русской жизни, открыть, поддержать и направить своего юного талантливого друга и оставался его Вергилием на всех путях его земного странствования.

«Володя — самый яркий эпизод в жизни Михо». Он не исчерпывает этой жизни до конца, хотя наполняет ее целиком. Их встреча — одна из тех провиденциальных встреч, которые определяют всю дальнейшую судьбу участников с первого же дня и до самого конца.

Стоит вспомнить слова В.В.Розанова, которого они оба любили: «Общество, окружающие, убавляют душу, а не прибавляют. Прибавляют только теснейшая и редкая симпатия, "душа в душу" и "один ум". Таковых находишь одну-две за всю жизнь. В них душа расцветает».

Такое редкостное созвучие душ дано в этой искренно написанной книге. И если все разнообразие вариаций стало уделом «Володи», то основная, хотя и затаенная в глубине мелодия, звучит в «Михо». Он безгранично преданный, безмерно любящий, с чисто сократовским майевтическим мастерством воспринимает и пестует нарождающуюся и формирующуюся душу художника, создавая ей необходимый фон и окружение, разгоняя сумрачные облака, согревая ее солнцем не остывающей и неустанной любви. Он сопутствует физически и душевно своему другу в его «страннические годы», разделяя участь гонимого, забывая о себе, думая только о том, как бы лучше устроить участь своего друга, чьи радости и печали, заботы и упования становятся для «Михо» самым главным содержанием и смыслом всей его жизни. И стоит лишь на минуту ослабеть водительству этого Вергилия, как завистливая судьба, постоянно подстерегающая счастье счастливчиков, обрезает сверкающую и трепещущую нить жизни художника весеннею ночью на окраине Загорска…

Приходится пожалеть об одном: слишком мало природы было в жизни обоих друзей, комнатная обстановка — будет ли это interior их сменяющихся, но всегда одинаково уютных и изысканно красивых квартир или богемное украшение кафе, ресторана, или же обманчивое сверкание театра и кино, — мир предельной и изощренной красоты, замкнутой в четырех стенах, создает неизбежно своеобразную камерность в музыке души и творчестве, с трудом переплескивается через преграды красивых

книг и вещей, ища выхода в неизведанных горизонтах. Здесь, в тисках вековой цивилизации города-гиганта, вырастают ядовитые цветы страстей, утонченные изломы и сверкающие капризы, причудливые гротески мысли и настроений — все то, что несказанно «остраняет» и украшает, но также надламывает и губит жизнь.

Если бы было больше полей, лесов, моря и гор в жизни героев книги, она была бы крепче, сильнее и ярче. Сознание, взращенное в шуме влажного ветра, шелеста листьев и блеске солнечных лучей, увидело бы сквозь призрачность форм их мудрую и бодрящую сущность, и отвергла бы те призрачные соблазны, которые окутали душу художника, причинив навсегда неисцелимую боль его другу.

Можно очень сильно пожалеть, что так преждевременно оборвалось пребывание Володи в Загорске, где синтез единственной в своем роде Троицкой лавры и задумчиво ласковой окрестной природы даровали мудрое примирение и ясное наитие немалому числу художников, изголодавшихся по дивной тишине и измученных бездушием цивилизации наших дней. Все могло сложиться иначе… но события совершились, дни и годы прошли. Нет одного, другой далеко. И только книга повествует о них, да грусть березовой рощи на Красюковке и простор полей за Никольским кладбищем, с теряющейся в голубоватой дымке лаврой.

Ночь 12.XI.1941 г.

Сергей Волков

* * *

30 апреля. Загорск. «Милый М.М.! Вчера, 19 апреля, посетила могилу Володи, слушала журчание бегущей воды, смотрела на солнышко, слушала щебетание птичек, которое я так люблю, и думала о Вас и Володе, и о странной судьбе всех нас. Думала и чувствовала, как больно Вам в этот день и как Вы обрадуетесь, что я пришла к нему… Посылаю Вам веточку с кустика его могилы. Я жива, хотя очень слаба. Получила пропуск в столовую и два дня обедаю — может, выживу.

Духом бодра и имею много утешения в "Общении с вечностью". Т.Розанова».

23 апреля. Чкалов. «Дорогая Ольга Александровна, Ваше Пасхальное письмо получил. У Вас было "единое на потребу", у нас намеки на пасхальный стол. И поверьте, я их, не задумываясь, променял бы на… Я больше всего люблю в кругу церковных служб — обедню и Страстную субботу. Среди всех церковных служб это есть самое гениальное творение духа и веры. И только мы, русские интеллигенты, глухие и косные, не знаем и не понимаем этого. У простого народа к этому больше чутья и вкуса, быть может, потому что он больше живет непосредственными восприятиями. Я много лет мечтаю иметь возможность провести Страстную неделю вне города, без людей, в келье у церкви с хорошею службою. Придет ли это когда ко мне, — не знаю.

Второй день — чудесная погода. Земля так дышит, что, кажется, исходит дымом. Открыли балкон и как ни худо в жизни, а все же чудесные дни действуют примиряюще своим теплом и небом.

Просыпаюсь с утра рано, ставлю электрочайник и дремлю под его шумок, а потом — дорога в поликлинику. И там меня охватывает масса дел и людей. Подсчитал работу поликлиники за первый квартал этого года. Прошло через поликлинику 62 тысячи человек, и помощь на дому оказана 7880 чел., тогда как до меня, в четвертом квартале прошлого года, соответствующие цифры были 27 тыс. 1500 чел. Это ли не успех в работе? Всего хорошего».

10 мая. Холодные дни, хмурое небо, и наше нетерпеливое «тыловое» ожидание событий на фронте. А вестей с фронта никаких.

Был на днях на «Пиковой даме» ленинградского Малого оперного театра. Оперу эту я люблю превыше всего. Исполнение было неплохое, но, Боже мой, как вела себя публика театра! А как нужна музыка в нашей жизни, полной тревоги за близких.

20 мая. Алабино. «М. М., дорогой. Я полагаю, что правдиво описывать состояние Петровской больницы в военных обстоятельствах — не стоит. Пусть это останется "военной тайной".

А вот моя работа… Я все не могу решить, что это — хирургическая помощь больному человеку или преступление. Примерно: палата № 5, четыре молодых женщины, и у всех четырех три ноги и семь рук. Разрешите-ка эту загадку? Молодая, с хорошим лицом женщина имеет дочку 6–7 лет, но мной у нее ампутированы обе ноги и левая рука. Серьезно, как это называть? Неужели "врачебной помощью больной", и неужели в истории болезни при выписке больной можно без стыда написать: "Исход болезни — выздоровление"? И весь "хирургический материал" настоящего момента такой. А по железной дороге идут и идут на запад поезда с танками большущими, танками поменьше, с автомобилями, с орудиями, с воинами. Идут и идут… Да. Цивилизация, прогресс, технические достижения, будь они прокляты. Это они пропускают "материал" через мои стерильные руки… Воин средних лет… Минометом изрешетило все тело, оторвало ногу, разорвало задний проход… Выздоровел. Нога ампутирована в верхней трети бедра (Аз многогрешный), рубцовая ткань, стягиваясь, закрыла задний проход… Нужна новая операция, не сейчас, а пока выписан с "выздоровлением". Живите и здоровы будьте. К.Славский».

25 мая. Тамбов. «Милый и дорогой брат Миша! Письмо твое я получила и так рада, что ты меня не забываешь. Знаешь, Мишенька, настроение ужасное, руки не поднимаются и мысли путаются, с чего начать. Живется нам очень, очень тяжело и все на почве питания. Дошло до того, что еле хожу. Сделалась скелетом. Все так дорого, что не можем купить не только жиров, но даже и картофеля. Боже мой! Что сделал с нами проклятый Гитлер, весь мир перевернул, все порастерялись, и не знаю, кто и где. От моих из Америки нет уже год писем. И они там страдают за нас. Прости, родной, что, может, и тебя расстроила своим письмом. Миша, если знаешь о всех моих родненьких — Лукаше, Любочке, то напиши. Так всех люблю и помню, и плачу, и так хочется всех видеть. Все уже стали старые, что теперь и не узнаешь, видно, никого. Всех потрепала жизнь. Ну, дорогой, будь здоров. Сестра Паша».

30 мая. Загорск. «Дорогой М. М.! Пишу Вам после долгого перерыва. Очень болела. Было воспаление легких. Поэтому, очень слаба сейчас. Когда думала, что умру, вновь взяла перечесть Вашу "Книгу о Володе", и опять новое впечатление. Вот резюме: 1. Такая у него тяжелая была жизнь, что все требования к нему должны

умолкнуть; 2. Несомненно, очень умен и не созвучен эпохе. Отсюда главная трагедия жизни; 3. Очень талантливы все высказывания об искусстве; 4. Никакой, собственно, испорченности нет, есть естественное желание иметь свою семью; 5. Несомненно, любил Ксению Сергеевну, и она на него хорошо влияла. В "Борисе Годунове" его лучшая вещь, эта любовь сказалась; 6. Ужасно груба и вульгарна Т. К.; 7. Перечитывая "Бориса Годунова" с рисунками Володи, я была удивлена, до чего глубоко схвачена им идея Бориса; 8. Вся "Книга о Володе" показалась более прозрачной и легкой, чем раньше. Основная ее тема — любовь и жалость к Володе.

Вы спрашиваете, что делать Вам дальше? Думаю, что теперь самое хорошее, что ничего не надо самому решать. Наше дело лишь покоряться. А вообще, Вам следует привыкать к мысли, что вряд ли Вам удастся вернуться в Москву — и Вам нужно смириться. Смириться как следует. Жить более внутренней жизнью, оставить свое самолюбие и перестать занимать административные посты. Простите за мои высказывания. Не грустите и не малодушничайте. Т.Розанова».

31 мая. Чкалов. «Дорогая О. А. Письмо с некрологом Вашего кота Непомука получил. Он был стар, и вы о нем не грустите. Гораздо важнее то, что наступило тепло. У нас в тени до сорока. Вторая новость — это персональная телеграмма мне из Наркомздрава с вызовом на работу в Москву. Получается довольно любопытно — одна рука тащит, а другая держит. Напишите — выезжают ли москвичи на дачу? Бываете ли Вы в концертах? Я всегда вспоминаю, как в свое время ценил часы, проведенные в Большом зале консерватории. Как не будет меняться жизнь, — искусство останется вечным. И что может мешать нам быть участниками в этом вечном?! Будьте здоровы. М. М.».

3 июня. Москва. «Мои милые. Надолго ли, но настала мирная и покойная жизнь. Мы уже месяц живем в своем углу. Последнее время на Вспольном было очень тяжело. Не было газа, электричества, воды, дрова кончились, не было спичек. Ночами, когда бывала тревога, так даже гасик нечем было зажечь. Все страшные минуты скрашивались близостью дорогих людей. Начнется, бывало, тревога, я впотьмах натягиваю на себя шубу и ощупью пробираюсь, считая ступеньки, вниз к Вове. Там горит маленький ночник. Мирно спит в колясочке малыш, а я сяду на стульчик у печки и дремлю или раскладываю с кем-нибудь пасьянс. Девочки же мои совсем не поднимались и ворчали на меня, что я впотьмах хожу туда-сюда. С едою было жутко тяжело. Теперь немного отдышались. Вы не беспокойтесь, родненькие, о

нас. У каждого своя судьба. В Москву не торопитесь возвращаться. Я что-то затосковала о провинции — ближе к природе там и к простым людям. Не нравятся мне люди Вашей Москвы. Крепко целую, Люба».

Июнь. Москва. «Мне хочется написать Вам, дядя Миша, о том, что мысли мои и сердце принадлежат родителям и Вам и свой дом, своя семья в общепринятом смысле для меня уже невозможны.

Были и пока еще будут только "эпизоды" — игра в семью. Это серьезно. Это продуманно. Это потому, что в этом не может быть всей души. Я не хочу никогда об этом говорить и Вас также прошу об этом.

Дорогой! Мне все ясно. И если не удовлетворит работа, книги, любимые вещи и будет слишком тяжело, я… допускаю многое.

Кругом в комнате Ваши вещи и книги. Думаю, вспоминаю и стараюсь не давать просачиваться той боли, которая в таких случаях неизбежна. Целую. Ваша Ирина».

16 июня. Острогожск. «Дорогой JVL M.1 На прошлой неделе я была в городе и очень неудачно. Погода не давала ничего сделать — все дождь и холодный ветер, никуда не доберешься. Ведь Вы знаете нашу грязь невылазную. Галош и зонта нет, и мокнуть неохота. На кладбище не могла добраться. Там полное запустение, пасутся лошади и все топчут. Решетки и памятники железные все снесены. Церковь в глубине кладбища еще в прошлом году сломали до основания. Церковной службы уже давно нет. С питанием у нас очень плохо. Нет жиров, молоко 40–50 руб. кувшин, яйца 50 руб. десяток, баранина 200 руб. килограмм, масло 500 руб.

Относительно Вашего замечания, что тянет Вас на родину, скажу — заезжайте, посмотрите сами все. Пора бы Вам поработать на родине для Ваших сограждан.

Пожелаю Вам всего хорошего, крепко обнимаю и целую. Ваша С.Яковлева».

27 июня. «Рад был получить Ваше письмо, дорогой М. М., и хорошо, что перед Вами такая перспектива, как скорая поездка в Москву. Охотно бы обменялся с Вами возможностями, да увы — видит око да зуб неймет! Меня до такой степени тянет в Москву, что сердце и ум отказываются понимать, как можно колебаться и раздумывать, и взвешивать. Я поехал бы немедленно на любых условиях — лишь бы к себе в милый город. Впрочем, скажу вам и то, что знаю нескольких людей, которые в нашем положении получили вызов и отправились и живут и работают без помех и недоразумений.

Нет! Надо Вам ехать! Ну, будьте здоровы. Абрам Эфрос».

29 июня. Ковернино. «Дорогой М. М.! Ваше письмо с извещением о предстоящей поездке в Москву доставило мне и радость за Вас, и тревогу о Вашем бытовом устройстве и, представьте, вызвало зависть. Я уже послал в Москву заявление разрешить выдать пропуск в нее и получил ответ стереотипный: "Впредь до особого распоряжения въезд в Москву не разрешается".

Поезжайте, и да благословит Вас Создатель на новом этапе… боюсь, не последнем географически — ведь Вы гражданин страны своей…

Я, после трех дней путешествий на своей паре бревен, чувствую, что у меня убыло пятьдесят процентов моих прежних московских сил. Буквально с трудом передвигаю ноги-бревна. Даже о меркузале мечтаю. Видите, до чего дошел. Часто задаю себе вопрос: зачем приехал? Свою слабость объясняю не только состоянием сердца, но и пустотой желудка. Если бы я его наполнял, т. е. поел, скажем, два яйца в день (20 руб.) и поллитра молока (15 руб.), — вероятно, поправился бы, но таких средств не имею. Ожидаю с огромным нетерпением весточки от Вас. Обнимаю и крепко целую. Петр Осадчий».

20 июля. Москва. «Небывалое бывает», и я вторую неделю живу на Вспольном. Как грустна и как трагична Москва! Улицы пустынны. Дома изранены, многие без стекол. С наступлением сумерок в небеса медленно поднимаются аэростаты заграждения и все спешат укрыться к себе. К десяти часам вечера жизнь на улицах замирает.

Все погружено во мрак, и только какие-то очень спешащие автомобили мчатся и тревожно гудят и голод, «голод пайковый», не живы не мертвы, а пришиблены. Еще отогрело немного лето. Вокруг Москвы съели крапиву, лопух. А картофель на рынке стоит 80 руб. килограмм. И вести с фронта не хороши, и пугает, пугает зима.

Что в доме на Вспольном? Моя комната занята кем-то из НКВД, и я хожу мимо «окаменело». Вова, племянник, худ, некрасив, но хорош «внутренне», спокоен, неговорлив, честен, трудолюбив. Глаза его — душа его, чисты. И хочется облегчить его жизнь, и бессилен. И это бессилье горько.

Первые дни приезда сюда у меня был подъем. Были первые свидания с друзьями. Удачно пришелся ряд концертов. Сейчас большую часть дня лежу на диване, хандрю и не знаю, что с собою делать. Побывал в Загорске. Пробыл там два дня. Могила Володи в чудесном зеленом шатре. Посидел у него там не то с думами, не то без дум. И… Вот, будто все сделал. Надо возвращаться в Чкалов, и тянет уже меня туда. А из Чкалова от

Ани сегодня открытка: «Миша, родной, не хочу думать ни о чем плохом. Хочу думать, что тебе хорошо дома, что ты сделаешь, что нужно, и вернешься к нам. А у нас как-то очень пусто и не верится, что уехал один человек, а кажется, что много. В комнате у нас много цветов, прохладно, и мне все кажется, что ты войдешь. Ну, Бог с тобой! Я ничего не прошу у тебя и только хочу, чтобы ты поступил так, как тебе лучше».

3 августа. Ковернино. «Дорогой М. М.I Ваша открытка из Москвы так насыщена содержанием, что стоит длинного письма и благодарности по телеграфу. Она особенно интересна для меня именно своею "эгоцентричностью", давшей мне полную картину Ваших переживаний. Думаю, предполагаю, что сумма всех впечатлений Ваших на старом пепелище, и особенно утрата "помещения музея фарфора", дала перевес в колебаниях — остаться или вернуться в примитивный Чкалов — в сторону последнего.

Головокружительная быстрота движения исторических событий тяжело отражается на психологии всех мыслящих граждан. Каждый день с большой тревогой берешь в руки свежий номер газеты и пробегаешь строки первой и последней страниц, где концентрируются сводки истории, развивающейся на грудах человеческих костей. Тяжко на душе! И из Ковернино мне единственный путь на тот свет, по этому пути мне легче всего выбраться отсюда. Однако я стараюсь "убеждать себя в жизни". Жду вестей. Душевно преданный, Петр Осадчий».

9 августа. «Дорогая О. А.I Прошло уже две недели, как я покинул Москву, но в этих днях столько много дел, событий, лиц, что, кажется, прошли месяцы. Дорога была тяжела. Кроме того, роман Анри де Ренье "Воля короля", взятый мною, оказался неудачным, хотя я и люблю этого автора за XVIII век. К тому же роман очень скоро оказался прочитанным. Оставалось, лежа, смотреть в окно на наши просторы. Но лежать было жестко, неудобно, а просторы однообразны и вызывали докучливые мысли. Наконец, не без задержки, дотянулись к Чкалову — солнечному, пыльному, жаркому. Дорогой я до того оброс пылью и бородой, что А. М. испугалась меня и признала своим лишь после душа и бритья. Начальство хотело было сделать недовольный вид мои долгим отсутствием, но скоро передумало. Это, до некоторой степени, оправдывает мое возвращение сюда.

Прошлое воскресенье с утра и до вечера я пробыл на нашем огороде. Это далеко за городом. Уединенно. Рядом лес, вода, изумительно пахучая вереском и донником трава. И дорога туда хороша — почти все время у воды. Так что, удовольствие я получил полное.

Жизнь была бы неплоха, если бы не положение страны и народа. Читаю мало. Света нет. Это отняло у меня самые счастливые часы дня — с лампою и книгою в постели на балконе. Переключаюсь на утро, и сегодня ранним утром побывал в Риме на Пасхальной службе в соборе Святого Петра. Это из "Итальянских впечатлений" Розанова.

Вот нет ничего ценнее человека на земле, и в какой он сейчас опасности. Спасибо Вам за московскую ласку. М. М.».

23 августа. Нездоровится. Ночью какой-то «мистический сон», сложный и умный. После таких снов я укрепляюсь в вере и в жизнь бесконечную. Была раньше, будет после. Дано забвение и дано незнание. И лишь маленький отрезок сознания бытия — от-до — наш удел.

Из Москвы я уехал, потому что это было легче, чем организовывать там жизнь. И потому что там я не мог иметь даже такой возможности, как предложить своим друзьям стакан сладкого чая с хлебом. За три недели отсутствия моего отсюда мне никто не изменил и никто меня не предал. Люди и дело остались мне верны, и я с той большею охотой принялся за свою работу.

Читаю «Пугачева» Пушкина. Какой ум! Это чарует. Почитал и о Лермонтове. Как странно, что Пушкин не встретился с ним, тем более, что они были одного круга. А ведь Лермонтову по его короткой жизни было уже немало лет, и многое уже было написано им. И Лермонтов не пошел к Пушкину. Конечно, это оттого, что Лермонтова не успели еще рассмотреть, а Лермонтов не успел себя осознать.

В тот же день. «Дорогая О. А.! Ну вот уже одна неделя канула в вечность. Странно летит время, и не могу понять, почему оно так летит и почему столько мучений посылается на человека и человечество. Разрушен Острогожск. Судьба городов сейчас почти библейская, как города Гоморры. Огонь там и здесь с неба, только там от Бога, здесь же еще безжалостней — от человека. Кстати, не продавайте Библию и поищите мне письма Пушкина. Лучше бы советское издание — оно полнее и с комментариями. Будьте здоровы. М. М.».

31 августа. «Москва. Милый М. МЛ Хорошо, очень хорошо Вы сделали, что уехали обратно. У нас неважно и, наверно, будет хуже. Газ еле теплится. Воды нет. На дрова, говорят, дадут ордера, но как их доставить — тоже вопрос. Спасибо Вам, что сохранили фарфор. Я им существую и питаюсь. Ваши вещи я аккуратно положила обратно. Будьте здоровы, и желаю всего хорошего. А.Баранова».

2 сентября. Москва. «Дорогой М. М., наконец-то и Вы,

оптимист, почувствовали наши ужас и отчаяние. Почувствовали, по Вашему удачному выражению, библейскую жизнь. Но для этого Вам надо было узнать о разрушении Острогожска.

Письма Пушкина я Вам нашла. Это последнее их издание 1938 года. Не хорошо оно тем, что большого формата — "настоящая лошадь", по определению Вашего Владимира Александровича.

М. М. Недавно я перечитала книгу о нем. На этот раз меня увлекли совершенно его письма. Они интересны почти так же, как письма Пушкина. А "Книга о Володе" написана так, что и второй раз я не могла читать, не обливая ее слезами. О.Павловская».

13 сентября. Полевая почта. «Дорогой М. М.1 Прошло 16 месяцев, как я позвонил Вам, прощаясь, перед отправкой на фронт. Это был первый день войны, и все было неожиданно, и все было жутко. Много воды утекло за это время. Часто вспоминаю Вас, хотелось бы встретиться и поговорить. Где наши другие добрые алабинцы? По моим расчетам, Алабино должно быть цело. Я в тыл не уезжал еще ни разу. На душе пасмурно. Работаю гл. терапевтом одной из армий. Крепко жму Вашу руку и жду ответа. Евгений Медведев».

13 сентября. «Дорогая О. А. Ваша "неделя о Володе". Как это хорошо, душевно. Осеннее увядание и воспоминание о дорогом ушедшем сливаются в одно. Я до сих пор помню дни мои в Загорске осенью 1937 года к полугоду смерти Володи. Я прожил тогда там месяц.

"Все прошло, как с белых яблонь дым".

Настоящее страшит. Темные, холодные вечера и ночи накладывают зловещие тучи на нашу жизнь. Что будет? Впрочем, ответ на это очень прост: "А вот что будет, что и нас не будет". Что может быть проще этого.

Читаю воспоминания современников о Пушкине, и нашел новые материалы, несмотря на массу читанного прежде. А вообще, томительно! Даже сны деловые стали сниться — куда же хуже? Впрочем, это томление, должно быть, всероссийское — оно есть и у Вас. Ваш М. М.».

26 сентября. На днях объявлено «угрожающее положение». В области введено обязательное затемнение. Наступила осень с холодом, дождями и темными ночами, а в мире продолжает накапливаться злоба, и того гляди, что она перехлестнет через край и обернется междоусобной бранью.

27 сентября. «Дорогая О. А. Ваша высокая оценка писем Володи и книги о нем дороги мне необычайно. Это меня взволновало, а чтение воспоминаний о Пушкине показало мне, что никто не написал о нем такой книги, как я о Володе. Никто.

Самые близкие друзья его — Вяземский, Жуковский, Соболевский, Пущин — оставили отрывочные заметки о нем. А брат Левушка несколько страниц сухих, чисто протокольных. И теперь рот я понимаю, почему мне не удалось никого из друзей Володи упросить и заставить написать о нем хотя бы коротенько. Для того, чтобы написать, оказывается, нужно не только быть другом, но по особому любить человека, любить так, чтобы он был частью твоего сердца, а не только ума, или писать из честолюбия из-за знакомства со знаменитым человеком. Большинство воспоминаний о Пушкине имеет эту подкладку. По отношению к Володе это не могло иметь места. Впрочем, и бурная эпоха наша, отсутствие досуга у всех нас и уверенности в завтрашнем дне — все это оставит наше время без мемуаров. Не пишу я и своих. Куда там! Разве это возможно сейчас?

Теперь о нашем положении здесь: 12.IX город перед вечером был объявлен на "угрожаемом положении". Затемнен. Угрожаемое положение было снято на следующий день. Затемнение оставлено. Установлены зенитки. Бомбоубежищ у нас нет. Дом наш в пять этажей стоит отдельно на фоне одноэтажного форштадта и служит прекрасным ориентиром км на 25–20. Словом, "от человека ничего, все от Бога".

Что у Вас? Будут ли Вас отапливать? Единственное, что нам сейчас нужно, — это уметь ждать. Терпеливо, настойчиво, до "ясных дней и новых откровений".

Слушал "Риголетто". Идет эта опера здесь в прекрасном составе. Есть места от "Вампуки", а все же хорошо. Чудесная мелодия итальянской музыки захватывает. И страсть проста и естественна — это не "Пиковая дама" и не "Онегин", где "любови" так трагически неудачны. Ваш. М. М.».

29 сентября. Загорск. «Милый М. М.! Рада, что Вы здоровы. Не гневите судьбу и не ропщите, что Вы в Чкалове. Трудности жизни здесь так велики что Вам не выдержать здешней жизни. Судьба Вас бережет для будущего. Все грустно, а природа дивно хороша. Была дважды на могиле Володи. Убрала там. У могилы его я ближе к Богу и вечности, и все зовет там туда, "где нет ни болезни, ни воздыхания, а жизнь бесконечная".

С моей гряды на огороде я собрала три ведра картофеля. Это при моем положении и длительной голодовке сущие пустяки. Целые дни у меня уходят на то, чтобы стоять в очереди за обедом и хлебом. Пугает зима. Батареи в доме сломаны, и дом топить не будут. И все же не беспокойтесь обо мне. Хотя мне и трудно, но невидимая река посылает мне помощь — кто картошечки даст, кто капусты, кто даст сварить на своей плите, и за все спасибо. Т.Розанова».

3 октября. Москва. «Дорогой М. М.1 Отправила, наконец, Вам письма Пушкина. За это время я прочла и сравнила письма в двух изданиях — в новом, что Вам купила, и в старом, что у меня есть. Сначала мне показалось, что разница только в том, что в старом выпущены некоторые слова и фразы, приведенные в новом издании en toutes lettres. Но это не так. В новом есть письма, и некоторые интересные, не вошедшие в старое издание. Например, письмо к Вяземскому. Так как я обезьяна и хочу сделать тоже, что Вы, то я сейчас читаю Вересаева "Пушкин в жизни". И, конечно, Вы правы. Из окружения Пушкина, из всех его друзей никто не удосужился написать о нем настоящую хорошую книгу, как Вы написали о Володе.

У нас холодно. И если бы Вы знали, какая идет на кладбище заготовка топлива! У наших православных людей ничего святого нет. К зиме, я думаю, на кладбище не останется ни одного деревянного креста, ни одной деревянной решетки. Желаю Вам всего хорошего. О.Павловская».

4 октября. «Дорогая О. А. Идет разговор о нашем переезде отсюда, но это "улита едет, когда-то будет", а пока живем жизнью всей страны, войной, зимою. Перечитал "Дубровского". Он у меня с рисунками Володи. Присмотрелся к ним, подумал над ними. Сделаны они на чердаке Московского университета. Ряд вещей отражены из нашей комнаты — их не трудно узнать, и начинаю жалеть, что отдал силуэты в Литмузей — надо было подержать у себя до смерти. Ваш М. М.».

16 октября. Кокошкино. «Уважаемый М. МЛ Возможность выйти вам на пенсию — это большое событие в жизни человека, это почти свобода располагать собою. Думаю, что если Вы уйдете работать в деревню на скромное место без излишней ответственности и суеты, то больше войдете в мир красоты и покоя. Приезжайте в командировку и узнайте, где можно в хорошей глуши устроиться участковым врачом с отдельной квартирой и участком земли, а я помогу Вам от наших коз и Вам завести "Зойку" или "Катьку". Будет возможность завести и пчел. А иметь дело с растениями и животными — это отдых от людей.

Стоит чудесное бабье лето. Нет в природе той жажды жизни, как весною, но разлито спокойствие во всем и отдых. Природа отдыхает. С полей и огородов убран урожай. Растения и деревья приготовят почки и семена, сбрасывая свой весенний наряд, теперь уже не нужный. Повторяю — все отдыхает и греется в последних теплых лучах солнца. Хочется и самой вслед за природой как можно полнее насладиться теплыми днями. Ведь они последние. И как хороши, и как полны своеобразной красоты. Эти дни вселили в меня уверенность, что в моей жизни будет

"бабье лето", и чем хуже стоит погода моей жизни теперь, тем продолжительнее и лучше получится мое бабье лето. А.Крюкова».

20 октября. Москва. «Дорогой М. М.1 Живу бурно. Целый месяц проявляла колоссальную энергию, чтобы заработать пуд овса (это был максимум желаний). В конце концов, вместо овса получила два пуда картошки, а так как хранить ее негде, то съедим ее, не дождавшись "Крутого подъема". Научилась делать печные трубы (железо таскала с Вашего двора), сама сложила времянку, набрав на нее по кирпичику. Теперь дело за дровами. Но это не железо и не кирпичи — их на улице и на дворе не подберешь.

Читала Ваш "Случай цинги" как Шерлока Холмса. Всучала для прочтения двум докторицам, но они категорически отказались.

Видимо, такое же профессиональное равнодушие, как у меня к картинным выставкам. Надеюсь, что в следующем письме Вы опишете мне такой какой-нибудь медицинский случай, который бы потряс меня до основания и надолго бы отбил аппетит к еде. Е.Сахновская».

22 октября. Была Иринушка и уехала. Последние месяцы она жила в Ленинграде и рассказала о жизни в нем много страшного. Осталось жителей в Ленинграде 700 тыс. Выбыло 2,5 миллиона. Часть из них вывезли, громадная часть вымерла. Чудесный город на краю гибели. Неужто исполнится проклятие старообрядцев, «что быть Питербурху пусту»?..

Наша жизнь скуднеет со дня на день. По существу, живем каким-то чудом. Нашего совместного заработка хватает сейчас на один килограмм масла. Хлеба нам не достает. Пуд же муки ржаной стоит две тысячи рублей. Вся забота о питании легла на Аню. И ее мужество, выдержка, доброе отношение к людям — удивительны и поучительны. Мне часто хочется обнять ее с любовью и благоговением, а вот не подойдешь и не сделаешь этого.

Много народу всякими путями возвращается в Москву. И худо там, и трудно, а едут. Это недавние речи Рузвельта и Черчилля внушили веру в победу над немцами.

Восемнадцатого октября умер художник Михаил Васильевич Нестеров. Он был стар и давно болен, смерть его не неожиданна, и тем не менее, даже в наши страшные дни смерти его смерть, замечательного художника, переживается как большое горестное событие. Я был у него один раз. Он был мне дорог по Володе. Я читал его страницы воспоминаний «не для публики», и эти моменты сблизили меня с ним. А его «Сергий» и все направление его живописи давно сделали его любимейшим художником. У меня есть два его письма — одно к Володе, другое мне, и я берегу

их, как реликвии. А небольшая картина его кисти, подаренная мне О.А.Павловской, с задумавшейся женской фигурой у воды всегда со мною, и сейчас вот я смотрю на нее и у меня чувство — да будет воля Твоя.

24 октября. Москва. «Дорогой М. М.! Пишу Вам в "пустой" день, который я очень не любл, ю, а именно: в следующий день после концерта. Напрасно Вы искали в московских газетах рецензии на мой концерт, ибо о концертах, устраиваемых консерваторией, московская пресса обычно молчит. Мой Шопеновский концерт прошел удачно, особенно второе отделение. Публики было много, и концерт окупился. Вчера был мой третий концерт с очень большой и серьезной программой — Бах, Бетховен, Брамс, Рахманинов, Лист. Удались мне особенно трагические пьесы Брамса. В ближайшее время предполагается и 4-й мой концерт. В том, что я играю, черпаю силы к жизни, которая у меня не усеяна розами. Живу я скверно. Внутреннее состояние тяжелое. И кроме музыки нет ничего, что давало бы какое-то успокоение. Последнее время часто думаю о дорогом для меня Константине Николаевиче Игумнове. Скучаю о нем очень, хочу его видеть и дать ему тепло и ласку, которые всегда к нему жили в моем сердце. Живу отшельником, что не всегда бывает легко. Вспоминаю ибсеновскую фразу: "Сильнее всего тот, кто более всех одинок". А у меня, видно, кишка тонка. Сидя вечерами в обществе двух привыкших ко мне мышей, страстно хочу видеть близких мне людей, а Москва для меня пуста, все близкие далеко. Ваш Александр Егоров».

24 октября. Кокошкино. «Уважаемый М. М.1 Письмо Ваше от 11.X оставило тяжелые мысли. Да, жизнь страшна. Чтобы не погибнуть, надо быть хищником, как это в мире животных, используя все, что дано природой для приспособления к жизни. А кто не может приспособиться, — этим приходится умирать. В этой борьбе за жизнь человек черствеет и начинает уж хладнокровно относиться к гибели окружающих, хорошо зная, что и тебе самому не на что рассчитывать, да и не на кого. Сможешь, выживай; ослаб, погибай. Следующие волны, следующие толпы шагают уже по тебе. Такова жизнь. Вот выживем мы эту зиму? Не знаю. Обуви и одежи нет. Ходить во всякую погоду нужно порядочное расстояние. По поселку гуляет дифтерия.

Ваши решения о дальнейшем Вашем устройстве еще не созрели. Положитесь на Садовника. Он сорвет плод, когда он дозреет. Нужно время. Терпеливо подождите. А.Крюкова».

28 октября. Тамбов. «Дорогой мой братец Мишенька!

Наконец-то я собралась написать тебе. Живется нам всем, видно, одинаково. Боже, что всем нам приходится переживать,

особенно молодежи! Зина работает на узкоколейке. "Мобилизовали" ее от производства. Работает с шести утра до восьми вечера, да 22 километра надо проделать пешком взад-назад. Шутка ли это?! Ходит на работу с кусочком хлеба. Питание плохое. Дороговизна страшная, и вот решили стать донорами — это нас и поддерживает. Я целый день тоже не приседаю, работы непочатый угол, а вечерами нет свету никакого. Приходит Зина — темно, и в темноте обедает. Это уже больше всего донимает. Керосину не выдают, и купить его негде. Это не жизнь, а прозябание. Как жить в дальнейшем, не знаем. Все уж продали, нечего уж и продавать. Зима страшит. Обуви нет, купить не в силах — все теперь стоит тысячи. Господи, да когда же это окончится война!!. Ну, мой дорогой, кончаю писать. Напиши мне большое, большое письмо, как я написала тебе, и поцелуй всех моих близких и родненьких. Сестра Паша».

30 октября. Москва. «Дорогой М. М.! Ваши письма идут ровно неделю, и каждое воскресенье я получаю их. Вы скучаете о "родине" и продолжаете читать Пушкина. Конечно, "Годунов" — шедевр. Ведь сам Пушкин, окончив его, прыгал и кричал: "Аи, да Пушкин"…

Вы спрашиваете, будут ли нас отапливать? Обещают, но до сих пор наше отопление не починено, и так как наш управдом дама — полька интересной наружности, которая то смеется, то плачет, то больна, то кокетничает, — то я не знаю, сумеет ли она при таком многообразии занятий починить отопление до морозов. Мы мечтаем только о том, чтобы сохранить водопровод и канализацию, а о тепле и не думаем. Скоро заживем, как эскимосы, по прошлогоднему не раздеваясь. Но у нас еще и другая "Сибирь". Мы получили лимиты на электричество. Будем освещаться небольшими лампочками и не будем пользоваться никакими электроприборами. А так как у нас нет дров, керосину, газа, то готовить нам пищу не на чем. Если мы при всем этом ухитримся прожить до апреля, то, пожалуй, можно себя будет начать уважать. Таковы наши перспективы. Но я что-то слишком много про себя наговорила? "Голос глупого познается при множестве слов", — сказал Екклесиаст. И еще — "уста глупого губят его же". Из этого Вы видите, что я сейчас читаю Библию, и Екклесиаст, по-моему, очень любопытное произведение. Ольга Павловская».

1 ноября. Чкалов. «Милая Ольга Александровна, отвечаю на Ваши последние две открытки, и спасибо Вам за письма Пушкина. Кстати, помните из "Маленьких трагедий" его?

Было время, процветала

В мире наша сторона:
В воскресение бывала
Церковь Божия полна;
Наших деток в громком хоре
Раздавались голоса.
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.

Ныне церковь опустела;
Церковь глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит,—
Тихо все — одно кладбище
Не пустеет, не молчит…

Простите за длинную выписку и некоторую перемену Пушкинского стиха.

Не могу удержаться — так это близко сердцу. Разве я не показывал Вам "Дубровского" с рисунками Володи? Пожалуйста, только не говорите о смерти и не умирайте. Мир для меня и без того много опустел, и пустеть ему дальше не должно. Умер Нестеров, и его уход — страшное обеднение нашей жизни. Это была большая моральная сила. И жизнь такого человека была важна и для других людей. Мне очень горька эта смерть.

Разговор о "переезде" — это разговор о нашем возвращении в Москву. Но это только разговор, как дань некоторому перелому настроения и учету положения. Ирина что-то предпринимает для этого, но думаю, никто не знает и не скажет, когда это может случиться… "Все едут, и мы решаем ехать". Эта болезнь оказалась заразительной. А между тем, стоят здесь чудесные, солнечные дни, с легкими заморозками по утрам и температурой днем на солнце до 20 градусов тепла. И только страшно, что это вдруг обернется дождем, холодом, грязью.

"Заготовка топлива" на Дорогомиловском кладбище поразила меня. Не могу забыть ее несколько дней. Это борьба за жизнь за счет "вечного покоя". Думаю, столетия не было этого, а быть может, и никогда.

Не знаю, писал ли я Вам, что здесь через понедельник идут симфонические концерты. Мы с сестрой бываем на них и решили не пропускать.

"Из наслаждений жизни — одной любви музыка уступает".

Любовь ушла, музыка, слава Богу, еще осталась. Концерты вполне приличные, только "туземцы", не зная, что это такое — "симфонический концерт", но желая узнать, платятся крепким сном до первого антракта и потом быстрым бегом домой.

Очень большая работа развертывается в поликлинике. Число врачей с одиннадцати человек дошло до 47. Расширяю помещение, и в прошлое воскресенье я не писал из-за "аврала" по этому случаю. Работа занимает меня и мои помыслы до того, что я никогда и не думал быть таким службистом. Пожалуй, в этом есть "спортивность". Столько нужно преодолевать препятствий, что поневоле втягиваешься в эту борьбу.

Какие есть у Вас запасы на зиму? С огорода ведь Вы ничего не сняли. У нас, по крайней мере, есть 15 тыкв, кадушка соленых огурцов, капуста и картофель. Это все заботами Владимира Саввича. Ну вот, кажется, и все. Будьте здоровы. М.Мелентьев».

2 ноября. Ковернино. «Дорогой М. МЛ Письма наши перемещаются не скоро, но в этом есть и хорошая сторона — мы успеваем соскучиться по ним. Один вид конверта со штемпелем "Чкалов" обрадовал меня. Переменив в Ковернино три комнаты, я очутился во флигельке интерната школы в теплой комнатушке с тремя кроватями и оценил домашний уют. В августе жена со своим отрядом в 20 человек была на работе в колхозе, где самой пришлось готовить питание для всего отряда. Вставала она в 4 утра, до 7-ми готовила питание на весь день, а затем вела отряд на колхозные работы. Ночь проводили в местной школе на голом полу. Теперь Андрей (сын) по вечерам растапливает русскую печку в кухне флигелька и варит картошку. Моя обязанность чистить ее. Такой быт, несомненно, уютнее теперешнего московского: газ не горит, керосину и дров нет.

Рад узнать, что Ваш уют в Чкалове усовершенствовался: есть свой столик у окна. У меня его нет. Заменяет собственноручно прилаженная широкая доска на спинке кровати. Такое же устройство и у Андрея на его кровати.

Интересно, какие новые издания достали Вы по Лермонтову? И неужели в Чкалове, большом областном центре, не осталось ни одной церкви?

После Вашего письма я успокоился за Вас. Мне показалось, что Вы пускаете корни в Чкалове и обживаетесь там, а у Вас в душе тревога и новые планы. Печально отсутствие света у Вас. Это тоска. Но и тут применимо Ваше философское "уменье ждать". Проникнитесь Вашей идеей, и Вам будет легче. У Вас есть перспективы будущего. У меня их нет. Могу ждать только естественного конца и смиренно жду его, семейный уют скрашивает это ожидание. Стараюсь наполнить жизнь полезной

работой — хотя бы штопкой чулок и переработкой литературного материала для Института мирового хозяйства, а также не оставил мысли и о "воспоминаниях". Кончаю. Не взыщите за мелкое писание — это свидетельствует об истощении запаса бумаги. Крепко обнимаю. Петр Осадчий».

4 ноября. Сегодня подтвердилась весть о смерти в Ленинграде Глеба Вержбицкого и Бориса, его брата. Первый умер в феврале дома от голода — дистрофии. Второй в марте в тюрьме. «Он был бодр, у него была энергия, были широкие научные замыслы, и он бы выжил, если бы не катастрофа, случившаяся с ним». Так пишет мне его сестра.

А Глеб накануне своей смерти был у Натальи Павловны Вревской, посидел у нее вечер и не раз возвращался к тому, что он скоро умрет.

Ветер в чаду своеволъя
В звенящее бьет окно.
С тихою скорбною болью
Что-то из сердца ушло.

Жизнь не веселая шутка,
Людям ее не понять.
Только до ужаса жутко
Ничего впереди не ждать.

Города спит громада.
Улиц пустынных сеть.
Скоро уж будет не надо
Ни о чем, ни о чем жалеть.

Бедный, бедный Глеб! Это его стихотворение. И еще:

Вырезал несколько слов
На березовой белой коре.
В глубине заповедных лесов
Умирают легко на костре.

Полотняный мешок у бедра.
Голубые глаза горды.
Только кто-то плеснул из ведра
На горящие угли воды.
На ладонях кровавый след,
И молитвой его не смыть.
Может быть, через тысячу лет
Люди будут иначе жить.

На березовой белой коре
Вырезал день и час.
И хотел умереть на костре.
Но костер золотой погас.

Жена и сын Глеба еще перед войной уехали в Керчь и погибли там от бомбежки. Так, по крайней мере, уверяет брат жены Глеба. А сестра Глеба пишет мне: «Не знаю, насколько это верно. У меня есть основания сомневаться в этом». В браке Глеба не все было обычно. Он жил всегда один и с любовью говорил о жене и сыне. Следующее его стихотворение я склонен считать автобиографичным:

Жил на свете муравей
С перехватом в талии.
Спи, Ирина, слез не лей.
Жил на свете муравей.
Кроткая ракалия.

Упросил он быть женой
Муравейку черную.
Дом построил под сосной
С кухней и уборною.

Провозился ночи три.
Ползал днем за пищею.
Приколачивал драпри,
Украшал жилище.

Муравейка в дом вошла
Властною походкою
И за правило взяла
Быть супругой кроткою.

Муравей же все терпел,
Нежный и внимательный.
Ах, всегда такой удел
Муравьев мечтательных.

Так и жили, но всему
Есть конец положенный.
Вдруг подняло кутерьму
Сердце в сумке кожаной.
Муравейке вспала блажь

Бросить дом супружеский:
«Собирай-ка мой багаж.
Помоги по-дружески.

Не хочу я на луга.
Прячь любовь под кителем.
Мне противен муж-слуга,
Жажду повелителя.

Здесь я чувствую тоску
И пройду над безднами
К темно-синему жуку
С лапками железными».

От невыносимых мук
Изменяясь в счастии,
В тот же день ее супруг
Проводил туда, где жук
Держит в лапках счастие.

Возвратился… в горле ком.
Ночью страшной, темною
Муравей разрушил дом
С кухней и уборною.

И травой ножа острей
Перерезал талию…
Так скончался муравей.
Кроткая ракалия.

«Во время своей болезни, если постепенное умирание от голода можно назвать болезнью, Глеб много говорил о своей повести "Голубые дачи", собираясь закончить ее, когда поправится. Ведь он не знал сначала, что умирает. Рукопись этой повести я не видела и не знаю, где она». Так пишет мне сестра Глеба.

Тревогу, голод — все на слом,
В глухие стены, переплета.
Историк, горбясь над столом,
Начнет неспешную работу.

И каждый выстраданный день,
Глубоко спавший по архивам.

Положит на страницы тень
Тяжелым вычурным курсивом.

Таблицы, цифры и слова,
Исписанной бумаги ворох.
Простая строгая канва
Для циклопических узоров…

Историк, больше приготовь
Чернил и перьев для работы.
На камни пролитую кровь
Замкни в тугие переплеты.

«Где и как умирал Борис, — продолжает сестра Глеба, — мы не знаем, как не знаем, где зарыто и его бедное тело. Знаем только дату его смерти — 8 марта…»

Голову казненного на блюде
Городу за пляску протяни.
Жестким камнем вымостили люди
На землю уроненные дни.

Намочила ты на эшафоте
Алой кровью шелковый платок.
Только книга в тесном переплете
Уместила, что сказал пророк.

аблудились в улицах Предтечи,
Истины не смея передать.
И никто не выбежит навстречу
Платье новое тебе поцеловать.

Разве можно говорить Иуде
Холодны и тяжелы, слова.
Точно камень на широком блюде
Мертвая застыла голова.

И еще два последних стихотворения Глеба. Это все, что случайно сохранилось из его творчества.

Я ищу средь улиц бесконечных
Девушку с каштановыми косами.
Останавливаю хмурых встречных

Своими расспросами.

Вы не видели девушки в синем берете
С меховой сероватой опушкою?
Ушла рано она, еще на рассвете,
С моим сердцем — ее безделушкою.

Нет, не видели… Дальше, измученный,
Я иду до следующей встречи,
Углубляюсь в городские излучины,
Ставлю в часовнях свечи.
Мимо мчатся, мелькая, прохожие.
Точно снежные хлопья метели.
Бездарные породы Божий,
Недостойные своей модели.

На углах крича, как сумасшедшие.
Пристают мальчишки с папиросами.
Мгла… тоска… Да где же ты, ушедшая
Девушка с каштановыми косами?
И последнее стихотворение:
Молится девочка скромная
Справа у тихих колонн,
Кроется радость огромная
В ласковых ликах икон.

Глазки задумчиво синие
Смотрят на черный канун.
Ярких огарышей линии
Гасит мальчишка-шалун.

Сзади старуха убогая
Шепчет: «В раю упокой».
В трауре женщина строгая
Крестится тонкой рукой.

Голос колышется диакона:
«Властен гигантский Христос».
Многое в жизни оплакано
Тихими струями слез.

Густо по улицам мечется
Жизни уродливый сон.
Ясною верю светится

Угол у тихих колонн.

Делает сердце отзывчивым
Кротость Царицы Небес,
Девочка в платье коричневом
Ждет небывалых чудес.

9 ноября. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Я предупреждала Вас, что буду молчать, когда слишком замучают люди. Замучили! Замучили так, что я пришла в отчаяние от безысходности положения. Мне некоторое время дня, как и Вам, необходимо побыть в одиночестве, среди природы. Ах, эти скверные остатки старого воспитания! Никак не выдерешь их с корнем. А вообще, жизнь такова, что я не знаю, как бы могла жить без глаз моих девочек. Это единственный уголок после смерти отца, где я нахожу в себе силы на хорошее.

В жизни много хорошего. В этом Вы, конечно, правы, но Ваше выражение: "Уметь находить хорошее", — я бы заменила: "Уметь искать хорошее". Работа, долг, обязанности — это прекрасно. Это опиум в жизни. Это помогает забыться… А вот отчего забыться?

И звук этой песни в душе молодой
Остался без слов, но живой…

Однако догорает последний керосин. Что будет со светом дальше — не знаю. Буду в темноте лежать и строить воздушные замки. Этим наслаждением я пользуюсь, как пьяница… Кругом все тихо, только за окнами гудит и воет непогода. Тени дорогих для меня одной людей обступают и ведут со мной беседу. Исчезают расстояние, время, заботы. Яснее работает голова, уляжется все, что раздражало и волновало в течение дня… Все это бывает сильнее, когда удается перед этим выпить стакан хорошего чаю. Ну, всего хорошего.

13 ноября. Письмо не успела послать и пользуюсь свободным часиком, чтобы сообщить Вам хорошие новости.

Неожиданно в нашей школе освободилось место учительницы. Рассчитывая личные выгоды не давать квартиры, заведующая предложила устроить Милу (дочь). Я согласилась, хотя в конечном счете это не выгодно. Даже дрова, которые нам так нужны, мы при этих условиях не получим. Но Вы знаете, как жестки лапы жизни! К концу рабочего дня у меня болит грудь, горло так пересыхает, что даже дыхание режет его. Мечтаю о больничной койке хотя бы дня на два, на три. Удовольствие и

отдых доставляет лишь дорога в школу. Минут сорок туда и столько же обратно. Слежу лишь за тем, чтобы не нарушалось мое одиночество. А.Крюкова».

В тот же день. Чкалов. «Дорогая Ольга Александровна! Отвечаю на Ваш запрос о Ренане.

"Верую, Господи, помоги моему неверию… К несчастью моему, неверия у меня больше, что и не пускает меня к причастию с гимназических лет". Позиции Ренана, его положения, его отношение к церкви (он говорит: "Не будем трогать из здания церкви ни одного кирпичика. Будем беречь и чтить, как чтили тысячелетия") — близка мне. Его ум, красота изложения, искренность и правдивость — пленительны, Он прожил в Палестине 6 лет. Это самый добросовестный исследователь жизни Иисуса и самый образованный. Вам нужно почитать его же "Апостолы", "Антихрист", "Марк Аврелий", "Апостол Павел". И Вы увидите и поймете его истинную любовь к Иисусу в бытие, жизнь и учение которого он глубоко верит. Все, конечно, в том, что для Ренана Иисус не Сын Божий (не Бог), а человек, самый великий человек на Земле. Вот это последнее и вызывает протест у Вас, как вызвал и запрещение книг Ренана и в католической церкви, что не мешает, понятно, ознакомлению с ними всех священников там. Митрополит Антоний Петербургский посетил в свое время Николая Морозова в Шлиссельбурге, и тот передал ему свою книгу "Откровение в грозе и бури". Антоний взял и сказал: "Всякий труд, если он честен, почтенен. Почитаю и я Вашу книгу, хотя она и не в вере моей". Вот и Вы почитайте Ренана, он стоит того, но зачем же Вам идти за ним, когда у Вас своя дорога?

У меня здесь два тома "Жизни Иисуса" Ревиля. Если бы Вы знали, как хорошо введение к этому труду. Введение с историей Иудеи ко времени Иисуса. Это так раскрывает Его эпоху и Его окружение. И, конечно, куда значительнее книги Виппера (нашего историка) "О возникновении христианства". "Изучение же меня по Ренану" имеет ту неоспоримую истину: "Скажи, что ты читаешь, — я скажу, кто ты таков".

Я ищу и хочу найти ИСТИНУ и удостоверяюсь в одном, что дар веры дается не простецам, или мудрецам. А вот нам, междоумкам, при нашем полузнании, вера дается с трудом. Почему я и начал со слов Василия Великого. М.Мелентьев».

20 ноября. Архангельск. «Дорогой Михаил Михайлович! Ваше письмо, как всегда интересное, получил вчера. Спасибо за него. Сегодня день смерти Л.Н.Толстого. Думал ли кто-нибудь, что через 30 лет после смерти великого проповедника мира наступит время войн и всяких ужасов озверевших людей?

Нестерова я лично не знал, но знаю хорошо его талантливого

ученика П.Д.Корина, достойного последователя М. В. Когда будете в Москве, познакомьтесь с ним и его картинами.

В Москве я видел Толстых и многих других своих друзей. Хочу ли я вернуться в Москву? Конечно, хочу. Ведь там у меня все родственники и дружеские привязанности, и хотелось бы последние годы, а быть может, месяцы или недели, быть близко к ним.

Жаль бросать кафедру и нужно передать ее кому-нибудь. Подожду еще, да и жизнь московская сейчас очень не привлекательна и тяжела, и примитивна. Очень буду рад, если будете писать. Ваш Д.Никитин».

25 ноября. Москва. «Дорогой М.М.! Если бы не было Ваших писем, — жизнь не имела бы никакой цены. Мы все здесь думаем и говорим только о "меркантильностях" — еде, холоде, темноте и т. п. И ничего другого. О смерти Нестерова я знала и подумала о Вас и моем муже. Меня поразила и поражает его прозорливость, что Вас интересует искусство именно Нестерова. Ведь он Вас не знал.

Заготовка топлива на Дорогомиловском кладбище кончилась. Благочестивые старушки теперь крестами самовары ставят. Из деревянного на кладбище осталась только скамья у могилы мужа. Боюсь, что теперь и ее очередь.

Библию я читаю отрывками. Я предпочитаю Ренана и в зависимости от его ссылок читаю то Евангелие, то Екклесиаста. Ренан возмущает меня не меньше, чем раньше. И я читаю его не для изучения его, а скорее Вас. Мне хочется понять, что может Вам нравиться в нем? Его ум? Что он любит Христа? Но Вы не можете не видеть, что он совсем не любит Христа Спасителя, а если любит, то Иисуса, которого сам же и выдумал. Несмотря на его ум и красоту изложения, многое у него совершенно неприемлемо. То он сравнивает Христа с каким-то французским Zamennais — журналистом, то строит предположения о фальсификации чуда в Вифании с участием Христа. А некоторые места, например, целый абзац на стр. 220–221, начиная "не говорите, что такое толкование подсказано снисходительностью" и кончая "простим же его веру" — выворачивают меня наизнанку. Эта французская самоуверенность — невыносима. Напишите же мне еще раз, в чем значение и достоинство Ренана. О.Павловская».

28 ноября. Загорск. «Милый М. МЛ Послала Вам вчера "Литературные изгнанники". Хочу Вас утешить, что мои дела поправляются: 1. Стали топить; 2. Есть электросвет; 3. Софья Андреевна Есенина-Толстая прислала мне огромную посылку — овсяной крупы, пшена, чаю, настоящего кофе, два больших куска

сахару и буханку хлеба; 4. Получила Ваши денежки сто рублей и очень Вам благодарна.

Только почему Вы пишете, что "должны мне посылать"? Это не так. А что судьба посылает Вам возможность мне помочь, то возблагодарим оба ее за это.

Работа в музее моя кончилась. Устроилась в инвалидной артели, но норму выполнить не могу — вижу я плохо, освещение "фитюлькой", не ложилась спать ночи, а много сделать не могла. Если не отнимут у меня работу, то все дела мои устроены блестяще.

Я, ожидая зимы, уже собралась умирать, и такой поворот моих дел меня потрясает до основания. И если бы я узнала об улучшении положения Софьи Владимировны Олсуфьевой, была бы совсем счастлива. Крепко жму Вашу руку. Пишу все это Вам, чтобы Вас порадовать. Татьяна Розанова».

29 ноября (из дневника). Эта неделя — неделя добрых вестей с фронта. Все приободрились, повеселели и пуще прежнего засобирались в Москву. Муравейник нашего общежития зашумел, зашевелился, и наша комната тоже. Появились весенние ожидания, перемены, и стало милее жить. К тому же всю неделю был свет, а это значит, и горячая вода и чай, и обед. По знакомству достал два литра керосину за 160 рублей, а получил жалованья за полмесяца 300 руб. Вот и живи!

Начинается сезон сыпного тифа. Я лично что-то перестал его бояться — к добру ли? Все вшивы, помыться негде, везде не топлено… Вся надежда на русское «авось» — авось вывезет.

В тот же день. Чкалов. «Дорогая Ольга Александровна! Письма Пушкина я давно читаю. Спасибо Вам за них. Письма из Михайловского особенно значительны. Жизнь в столицах очень снижала. Пушкина.

В центре моего внимания, конечно, наши успехи на фронте и ремонт поликлиники и ее дела. Кроме того, из Москвы сообщили, что в ближайшие два месяца мы эшелонами должны последовать туда. Перспектива эта улыбается всем. Желание вернуться созрело у всех. Я радуюсь тоже, но радость моя "блеклая" — ведь "климат Москвы вреден для меня". И что получится со мною — не знаю.

Нигде и никогда не видел я "стеклянных" деревьев, как здесь. Много улиц обсажено здесь американским кленом. "Буранный дождь", а потом мороз остекленили их, и такими они и стоят уже дней десять, погибая под тяжестью льда и ломкости веток. Но красиво это сказочно. Я только негодую на мальчишек, "доканчивающих" гибель насаждений.

Дома у нас тепло, и нередко бывает светло. На поле в

передней лежит десяток тыкв. Есть картофель. Очень трудно с приготовлением пищи. Керосин дошел до ста за литр. Последнее написал Вам лишь для того, чтобы Вы не очень нам завидовали. Будьте здоровы. М.Мелентьев».

4 декабря. Москва. «Дорогой М. М.! Вы извините меня за такое обращение. Но время моей работы с Вами останется в моей памяти, как время очень приятное и дорогое мне. В Вашем лице я встретила, наряду с хорошим администратором, "Человека" с большой буквы, что в наше жестокое время для меня было чрезвычайно ценно. Я не могу похвастаться влюбленностью в человека, не особенно ему доверяю, не верю в его человечность, а потому спасибо Вам за Вас.

Наряду с этим, ценно и Ваше уменье заправлять не маленьким Вашим учреждением. Постановка дела в поликлинике № 3 г. Чкалова может конкурировать, пожалуй, с любой поликлиникой Москвы.

В Москве, как в Чкалове, все живут по-разному. Есть категория людей прекрасно обеспеченных, а есть категория совершенно противоположных. О детях в Москве проявляют большие заботы. Школы работают. Детсады и ясли безотказно принимают детей.

Дома отапливаются не все, в частности, наш дом не отапливается совершенно. Печурки я пока не поставила, да и дров достать негде.

Питаюсь я удовлетворительно, так как имею обед в поликлинике, и что вернулась в Москву» — не жалею, а наоборот. Все же хорошо в Москве. Трудно только с транспортом. На переезд на работу в обе стороны я ежедневно трачу до трех часов.

Простите за некоторую нескладность моего письма. С большим приветом к Вам, уважающая Вас, В.Юнович».

6 декабря. Архангельск. «Дорогой М. М.I Сегодня получил Ваше письмо. Хорошо, что Вы здоровы, хорошо, что работа захватила Вас. Плохо только то, что мы так далеки друг от друга, но я верю, что скоро жизнь вернется в более спокойное русло.

Иван Георгиевич Дмитриев скончался 15.IX в М. Горе. Последний месяц он лежал в постели, очень страдал от удушья и ничего не мог есть. Стеноз гортани прогрессировал, и ему сделали трахеостомию. После операции было лучше, но скоро стало все хуже и хуже, и умер он от истощения. А сколько перестрадал этот человек раньше! Как гнала его судьба, а ведь был вовсе не плохой человек. Пишите. Г.Косткевич».

8 декабря. Таруса. «Дорогой М. МЛ Вот что значит прошло много времени — Вы произвели меня в "уважаемые", но мне разрешите по-старому назвать Вас "дорогим".

Не двигаясь с места, мы пережили здесь все, что полагается: бомбежки, жизнь на фронте, немецкий плен и освобождение от немцев.

Я несколько раз чудом спасался от немцев.

Два месяца я имел возможность изучать высшую расу и пришел к заключению, что она, во-первых, совершенно не похожа на тот идеал, каким себя считает, во-вторых, имеет удивительную склонность к воровству, в-третьих, творит бессмысленно жестокие дела, и в-четвертых, неизвестно куда дела просто добропорядочных людей. Целыми днями они табунами ходили по домам, стуча подкованными сапогами, как лошади, и грабили, вызывая отвращение, ненависть и ужас за человека.

Жизнью в маленьком городке на природе я счастлив. Скучаю» только за московскими своими книгами. Ваше письмо был очень рад получить. С.Цветков».

12 декабря. Загорск. «Милый М. М.! Не писала Вам недели полторы. Было холодно, потом темно и не уютно в комнате. Сейчас временно дали свет. Читаю историю древних народов и совершенно потрясена рассказами некоего Даниила и его сказаниями — даже мелкая дрожь пробегала по телу, так как когда-то в молодости, когда читала Достоевского. Помните, я привозила Вам эту книгу, но Вы не удосужились ее почитать? А жаль, право, жаль.

Когда на улице бывает ветер и холодно, всегда думаю о моей бедной и фантастической сестре Варе. Где она? Что с нею? За что?.. Она своего рода большой ребенок, очень беспокойный, шумный мучительный и при том забавный ребенок. Отношение ее к миру и жизни наивное, детское — отчего ее особенно жаль… Я всегда о ней; помню, и всегда болит о ней сердце. Т.Розанова».

15 декабря. Лазаревское. «Получила весть о Вас от К.Н.Игумнова, лишь попав сюда. До тех пор с июня 41 года ничего о Вас не знала. Здесь прописалась, имею угол, но работы найти не могу. Из Ленинграда в июне с. г. уехала с величайшим трудом, добралась сюда в августе. Пролежала пять недель больная под обстрелами. В Ленинграде ослепнула на один глаз. Здесь зрение восстановилось. Сейчас здесь тихо, спокойно, светло, тепло. Есть знакомые ленинградцы. Но… в общем, Кавказские горы и два моря отрезали совершенно от Союза не только географически, но и психологически…! Провал, бездна, тьма определяют прошлое. Жизнь надо лепить по-новому — одной совершенно. Сережа, сын, умер. И лепить в совершенно новой обстановке… и не химиком, а уборщицей.

Интересно посмотреть жизнь людей "снизу", так сказать. Сил мало — покорности много. И… никаких желаний, что упрощает

жизнь. Не верится, что пишу Вам. Наталья Вревская».

23 декабря. Архангельск. «Дорогой М. М.! Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и от души желаю всем нам благополучного окончания ужасов войны, мира и спокойствия. Вам же я особо желаю здоровья, сил и возвращения в Москву, куда стремлюсь и я.

Получил письмо от Славского. Хорошее, философское письмо, в котором он подводит свое "кредо" по части религии. По-видимому, период скепсиса прошел, и он окончательно пришел к подведению итогов своих религиозных исканий. Оригинальный он человек.

Умер профессор Н.А.Кабанов. Он был не столько философ, как книжник со всеми недостатками книжника, но человек, безусловно, яркий и одаренный. О смерти его я очень сожалею.

Я частенько стал прихварывать. Пришла старость с ее недугами, а хотелось бы еще пожить. Будьте здоровы. Д.Никитин».

25 декабря. Муром. «С Новым годом, дорогой М. М.I Желаю Вам в наступающем году вернуться в родную Москву на старое пепелище и сил перенести выпавшее на нашу долю лихолетье.

Имею сведения о Славском — он болен и еле таскает ноги. Сам он, описывая свое заболевание, заключает словами "рака, по-видимому, нет".

Никитин хочет заниматься английским языком. Это в 70-то лет. Я ему посылаю к Новому году учебник английского языка.

Позвольте обнять Вас и расцеловать. Н.Печкин».

27 декабря. Чкалов. «Милая Ольга Александровна, а скоро нашему "роману" в письмах конец, ибо все же поездка на Москву, кажется, выходит, и в начале января, мы думаем, нас повезут. Я лукавлю, хитрю и боюсь "мудреца, на которого довольно простоты". Нужно, чтобы меня пустили здесь, нужно, чтобы включили в эшелон и т. д. А тут подкинули новую оплату, и для меня создается солидная сумма до двух тысяч в месяц, какой мне в Москве, конечно, не получить. Сумма, в основном, не большая, но все же это "кое-что"… Ну, я не в первый раз начинаю жизнь сначала, и всегда выходило неплохо.

Я привезу Вам "Завещание чудака" — Жюль Верна, так там герой говорит: "Мне везло всегда, я верил, что и в этот раз повезет", так и я хочу верить.

До свиданья и с Новым годом. М. М.».

31 декабря. Загорск. «Милый М. МЛ Пишу Вам в день Вашего Ангела. Хотела пойти в церковь и помянуть Вас, но прихворнула и не пошла. Но провела день Ваш в тишине и памяти о Вас. Прочитала жития Вашего Святого и пророка Исайя. Очень жалею,

что когда я давала Вам эту книгу, Вы в нее и не заглянули. А нас всем так нужно в нее заглядывать.

Я работаю на дому, но нет у нас света, и я за день не справляюсь с делами и не вырабатываю норму. Пока рабочую карточку получаю и пропуск в столовую. Талончиков в столовую хватает на 20 дней. Но Бог дает еще силы жить. Я стала бережливее относиться к жизни, увидав, что и в нищете есть свои радости, которых я раньше не знала.

Варя, сестра, прислала письмо. Она оказалась в Рыбинске, лежит в больная бараке. Я послала ей все, что могла.

У меня впереди предстоит трудное дело — проходить инвалидную комиссию: прохожу целый месяц, ничего не заработаю и утрачу рабочую карточку.

Крепко жму Вашу руку и еще раз поздравляю Вас. Т.Розанова».

1943 год

Тбилиси. «"Друг мой, друг далекий, вспомни обо мне". Вот и 43-й год наступил… Но не год, а целая эпоха пережита за 41—42-й годы… Когда-то, что-то, кто-то были…

Вы не испытали этих "провалов", потому что рано уехали и с трудом поймете нашу психику…

Притулилась я в уголке, имею в своем пользовании кровать и угол стола, и если бы было теплее, а главное, светлее, было бы хорошо. Но и так неплохо, и наше пожелание на Новый год, чтобы не было хуже.

Самое дешевое здесь — вино. Потому, выпили "кахетинского", закусили черным хлебом и возблагодарили судьбу.

Грустно на чужбине, среди чужого народа, непонятной речи и холодного отношения.

Написала К.Н.Игумнову (он приезжает с концертом — 2-м Рахманинова) просьбу, как бы увидеть его. Он — Вы — Алабино. Может быть, грустно будет встретиться, но тянет к нему.

Напишите о себе, о своих, Ирине. О моих всех ничего не знаю. Работы у меня нет.

Крепко целую Вас. Н.Вревская».

6 января. Кокошкино. «Спасибо за ласку за тихую и красивую. Я так нуждаюсь в ней. Мне, занятой работой и дрязгами, не до праздника. Суетится одна Катерина (дочь). Из леса принесла елочку, сбегала за елочными украшениями… Стук почтальона и крик Кати: "Мама, мама, мне и Миле от М. М. Правда, мама, мне. Посмотри, как написано?" И с некоторым маленьким

удовольствием добавляет: "А тебе нет, нет тебе и письма".

Но письмо-то надеюсь получить, подарком для меня является радость моих девочек.

Да, большое это дело, доставить радость другим. На этом нужно строить жизнь, с этого нужно ее и начинать.

Рождественские дни всегда переносят меня в Вашу прежнюю, московскую красивую комнату… Я посылаю Вам елочку прямо из леса — свежую, смолистую. Девочек со всеми игрушками посылаю я Вам заранее. Украшения выбираются ближе к природе — звери, сосульки, грибы. На Вас возлагается обязанность выбрать музыку — торжественную и красивую. Раздача подарков, выбором которых руководят не деньги, а внимание и любовь, завершает вечер за скромным, но красиво собранным чаем… Фантазия! Конечно, фантазия, но она дает мне свет и радость. И в нашей действительности она нужнее всего… Нельзя же все время думать о том, как бы это на час-полтора иметь возможность зажечь пятилинейную лампочку керосиновую. Купить крепкие валенки, в которые бы дорогой не набивался снег… О теплых рейтузах и шпильках, гребенках — иначе, скоро придется ходить с распущенными волосами..

Ну, всего хорошего. А.Крюкова».

7 января. Загорск. «Милый М. М.! Шлю Вам сердечное поздравление с дивным праздником Рождества Христова.

Читала сегодня толкование Иоанна Златоуста на Евангелиста Матфея и только теперь поняла, почему он называется "Златоустом".

Думаю, что скоро придется мне умирать, и скорблю о том, что не так жила. Много времени провела праздно. Ужасно дорого время, всего дороже, и как его нужно беречь, особенно смолоду. В старости его все равно не хватает.

А Вас я прошу не надеяться очень на перемену места. Все зависит от нас, не от места.

Ваши книги В.В.Розанова в трех связках лежат у А.М.Флоренской. Если вернетесь, а меня не будет — она Вам отдаст. А может быть, мы еще и увидимся, и, может быть, Вы меня еще и похороните. Мне предсказано, что жизнь моя будет плохая, а похоронят меня хорошо.

Будьте здоровы, бодры, спокойны. Т.Розанова».

9 января. Таруса. «Дорогой М. МЛ Вы делаете величайшую ошибку, стремясь вернуться в Москву. Люди, находящиеся в Вашем положении, должны сидеть там, куда занесла их судьба, если жизнь их сносна.

Прекрасная Ваша профессия позволяет заниматься ею, где угодно. Если бы я был врачом и при том таким хорошим, как Вы,

то поселился бы в маленьком городке. В Москве врачей и так много.

Главная же задача — глядеть внутрь себя, создать свой собственный мир и не зависеть ни от кого.

Я живу в положении отшельника. Если бы семья была ближе, и письмо бы не шло до нее три недели, — я никуда бы не стремился. Мне отказали в переезде к семье в Москву, и я примирился. Конечно, временами томит — не с кем слова сказать. Ведь все же много мыслей рождается в душе. Несмотря на все пережитое и переживаемое, это время одно из лучших в моей жизни, и духовно я бодр, как никогда. Туберкулез не съел меня, несмотря на все лишения.

Вы напрасно думаете, что у меня много досуга. Весь день уходит на очереди, хозяйство, уроки английского языка и т. п. Рок продолжает меня бить. Я начал писать воспоминания — немцы унесли, нужно думать, на растопку, или того хуже. В Москве во второй раз ограбили квартиру. В моей комнате по колено лежит сожженная бумага. Грабители ее жгли, чтобы освещать комнату. Так катастрофически всю жизнь погибает все, что пишу. Я привык не огорчаться, памятуя, что до нас не дошло ни одной рукописи Платона и Шекспира… Вот почему давно не вижу никакого смысла писать — судьбу не победишь…

Я стал лучше переносить холод и впервые по-настоящему наслаждаюсь красотою зимы. В этом году она, как сказка.

Всего Вам доброго. С.Цветков».

9 января. Алабино. «Дорогой М. М.I Я работаю и здоров настолько, насколько природа это позволяет таким, как я — старцам Божиим. Только вот истомилась душа той злобой, той ненавистью, которая на полнила до краев все человеческое население нашей планеты. Я пони маю, что победить немцев мы можем, когда ненависть ко врагу достает до потери рассудка. Но все же: змея родит змеенышей, война родит только новую войну, и злоба родит ответную злобу… Да…

О Петровской больнице мне не хотелось бы и писать. Все, что я в ней видел и вижу, говорит о том, что больница, как определенного построения организация, умерла, похоронена и в ее труп забит осиновый кол. А теперь и сами здания больницы бомбочками немцев весьма попорчены.

Все это очень горько.

Живите. К.Славский».

10 января. Чкалов. «Дорогая Ольга Александровна! Новый год мы встречали с водкой и ликером, досидели допоздна. Ведь в этот день я рождаюсь и именинничаю, так что у меня праздник "тройной".

С поездкой в Москву дело осложнилось. Вчера в исполкоме вынесли мне благодарность и тысячу рублей в поощрение. Понятно, что "таких" работников не отпускают. Мои без меня не едут. Как обернется все — не знаю.

Читаю Гроссмана "Пушкин". Книга хорошая и любопытная для сопоставления с Тыняновым.

О Ренане поговорим при встрече.

Как Вам нравится "первоиерарх" Введенский? У меня от этого человека мурашки по спине. Ваш М. М.».

В тот же день (из дневника). Тридцать первого декабря, по старому стилю 18.XII, мне исполнилось 60 лет. Второго января я подал заявление о пенсии по старости. Пятого получил ее. Карьера закончена.

Новый год встретил уютно. Горела маленькая керосиновая лампочка, было тепло, празднично и даже весело.

Под Рождество опять собрались празднично — нас четверо и двое гостей. Были даже "Рождественские подарки". Я подарил Ане и Марианне по маленькому флакону духов, гостье два носовых платка, а гость одарил нас билетами в симфонический концерт — на 4-ю симфонию Чайковского.

В нашу тихую и мирную семью раздором вошел отъезд в Москву. Отправляется два вагона семей. Я не попал в семью. Мои не хотят уезжать без меня, а мои хлопоты о пропуске — безрезультатны. Это положение становится тягостным.

Читаю Гроссмана «Пушкин». В нем нет тыняновского гротеска, что в Тынянове в конце концов начинает раздражать и утомлять.

В «Чкаловской коммуне» от 21 января помещено следующее сообщение: «20-го января войска Воронежского фронта сломили сопротивление блокированного гарнизона противника и овладели городом Острогожск. Захвачены большие трофеи». Бедный Острогожск. Есть слухи о полном его разрушении.

Много лет подряд мне снился один и тот же сон — ищу могилу матушки и не могу найти. Думаю, что этот сон сейчас может стать явью. Хотелось бы побывать на родине, побродить там с тоскою и очиститься в этой тоске. А ведь там никого не осталось…

22 января. Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь. Моя поездка в Москву то налаживается, то разлаживается. В конечном итоге, думаю, все «образуется». А тут пришли такие морозы, что нос высунуть страшно — птицы, и те падают на лету. Строю планы на Загорск, на житье там с огородом и грядкою цветов. Ведь зима и следующая будет военной, и надо переходить на подножный корм.

Последние недели меня захватили здесь, а это очень обязывает. Я не рад этому, а терпеть приходится. На 26-е назначен «банкет» в поликлинике с пивом и бутербродами для «прославления» поликлиники и ее главного врача. И вот новая забота — не ударить лицом в грязь, чтобы было тепло, нарядно и даже уютно.

Наш симфонический сезон в разгаре. Прошлый концерт шла чудесная 1-я симфония Калинникова, вариации Чайковского и его же «Каприччио». Дня три назад был на «Пиковой даме». Читаю романы Тургенева. Чудесно. И как проста фабула!

Сегодня собираю и отправляю отсюда с оказией книги. Их столько накопилось, что пора разгружаться. А первое время совсем нечего было читать. Подарили мне «Батыя» Яна, а также и «О тех, кто предал Францию». Новинки эти достаются здесь «по блату». Вообще, в провинции главное обжиться, тогда и жить можно.

25 января. Загорск. «Милый М. М.! Получила вчера Ваши денежки и бесконечно Вам благодарна. Очень меня тронуло, что Вы помнили, для меня, дорогой* день моих именин. Спасибо Вам.

У нас топят. Я работаю в артели, но дома темно, и я изнемогаю от темноты и невозможности поделать свои дела.

Последние две недели испытываю мучительное недомогание. По-видимому, я отравилась лаком на производстве по своей неосторожности. Сегодня чувствую себя получше… А еще две недели не могла читать "Вечной книги", и это тоже подорвало мои силы.

Надеюсь, дорогой мой, что мы с Вами еще встретимся в жизни и будем истинными друзьями. Т.Розанова».

27 января. Кокошкино. «Спасибо Вам за Вашу отзывчивость к моим горестям и печалям. Это теперь такое редкое явление, что невольно на себя обращает внимание. Справка написана Вами идеально, но… сделать ничего невозможно. Действительны лишь справки из сумасшедшего дома да еще о смерти.

Предложила я себя военруком вместо Милы. Что же в детсаду плясать под бубен с ребятами, сумею и тут делать вылазки по снегу, разбирать винтовку, бегать на лыжах и т. д., лишь бы сорвать Милу и со здоровья, и с учебы… Но взглянув на мою наружность, не позволили это сделать. Опишу эту наружность: надвинутая на самый лоб шапка-ушанка, к которой нет времени пришить завязки, и они застегиваются или булавкой, или концы разлетаются при движении в разные стороны. Шубейка на вылезшем меху, сшитая фасоном тех времен, когда еще справлялись православные праздники. Когда-то хорошее сукно с честью выдерживает непосильную нагрузку: носка на занятиях и

одеялом. Но все следы этой нагрузки стали ясно обрисовываться. На рваные валенки одеты такие же калоши. Оторвавшаяся подошва одного звонко прихлопывает при каждом моем шаге, или тянется за мной веревочка, которой я бесполезно стараюсь прикрепить подошву. Да, бедность прошла — настала нищета. К бедности я привыкла, нищета страшна.

А этот год для меня является зенитной точкой моей работы. Класс выпускной. Приходится долго и много готовиться, на что я не жалуюсь. Недавно был у меня показательный урок, прошел он прекрасно. Отметили, что класс и учительница — одно целое. Работа ведется с огоньком, который зажигает и ребят, и присутствующих. Видна и большая методическая работа. Работают все весело и охотно, будто не учатся а отдыхают. Ну что же, это все правильно. Я люблю детей и нахожу отдых с ними. Собственные мои девчонки выходят ведь в жизнь. И моя цель вовремя отходить от них все больше и больше, так как дальше они меня, старуху, будут утомлять, а я им буду мешать жить и ошибаться. А дети школы — мои дети до смерти.

Ну, всего хорошего. А.Крюкова».

29 января. Муром. «Спешу сообщить Вам печальную новость, дорогой М. М. Сегодня скончалась от апоплексии Александра Федоровна Каржинская. Очень она была хороший и добрый человек. Завтра хороним ее. Умерла на чужбине, вдали от дочери, внуков, "без вины виноватая". Силы ее давно были надломлены, и давно на ней лежала печать и грусти, и утомления.

Крепко Вас целую. Н.Печкин».

3 февраля. Москва. «Дорогой М. М.! Как живете? Кончились ли у Вас сорокаградусные морозы? Вы спрашиваете меня, что я думаю о Загорске для Вас? Из жизни в провинции я признаю лишь грядку с левкоями. А все грезы о курах, козе и примитивной жизни мне кажутся недоразумением. Вы не знаете этих примитивов. Первобытная жизнь так сложна, что я не понимаю, как могли прародители наградить нас первородным грехом — у них для этого, по-моему, не могло быть времени. Я говорю это с полным знанием дела. Сейчас я именно живу такой жизнью. У нас нет воды, канализации, отопления, электроприборов. Освещение, правда, есть, но всего на несколько часов по вечерам. Чтобы приготовить что-нибудь горячее, надо проявить массу энергии, а главное, потратить массу времени…

Однако вести с фронта так отрадны, что есть надежда на окончание всего дурного.

О Вас же я думаю, что Вам надо сделать все возможное и невозможное, чтобы весной приехать в Москву и устраиваться в ней.

Итак, до скорого свидания. Ольга Павловская».

7 февраля. Стоит лютая зима. Морозы до 40. В комнате у нас, однако, тепло. Кончаю романы Тургенева. Я не брался за них с 1917 года. Тогда я укрылся Тургеневым от тяжелых воспоминаний. Сейчас очень скрасил им мои вечера при маленькой керосиновой лампочке.

Двадцать восьмого был «банкет» в поликлинике. Присутствовало свыше 150 человек. Меня хвалили и премировали дурным серебряным подстаканником.

Из Москвы приехала одна моя докторша и рассказала о ней дурное и хорошее, что не перебило у меня желания вернуться в нее, а пожалуй, даже подхлестнуло его. Когда это может случиться? Хочу думать — в марте. Я умеряю свои порывы и приучаю себя терпеливо ждать. По-прежнему охотно работаю. Только к старости я понял, что значит: «Спешите трудиться — жизнь есть труд». Эта надпись на памятнике доктору Исаеву в Кронштадте казалась мне раньше утрированной.

Слушал недавно «Тоску». Не понравилось. Хорош кардинал. Но Боже мой, как одинаковы приемы сыска, допроса и устрашения во все времена и у всех народов.

Сегодня в поликлинике воскресник. Я подаю пример и иду с лопатой по городу, браво распевая: «Соловей, соловей, пташечка».

10 февраля. Голодно, холодно, довольно безнадежно. Правда, на фронте победы, но это пока не улучшает нашего положения. В еде не хватает хлеба, нет совсем сахара, жиров — даже картофель, и тот ограничен. И готовить еду не на чем. Нашего содержания с Саввичем хватает на четыре литра керосина. Живем каким-то чудом и находчивостью Ани. Она на рынке, что-то продаст, что-то сошьет, как-то обернется. Света нет ни дома, ни на работе…

Хочется к Страстной неделе быть в Москве и церковно провести ее. На работу бы пока не поступал, осмотрелся: Москва — Загорск. Устроился бы в своем углу уже теперь бы до «последнего новоселья» — до домовины.

14 февраля. Вот и дожили до широкой масленицы, а мороз все ниже 20 градусов. Говорят о каком-то новом законе о въезде в Москву. Как он для меня хорош ли плох, не знаю. Одна тревога пока от него. По «картам» выходит дальняя дорога — да вот нужно картам верить.

Угнетает темнота по вечерам. Приходится думать о грехах своих, но времени для этого столько много, что и грехов столько не наберешь. Одно утешение — вечерний самовар. Шумит, бурлит, пахнет угарцем.

Закончил романы Тургенева. Умно, тонко, грустно. Но…

слишком много он разъезжал, слишком хотел идти нога в ногу с современностью, а это ему часто не удавалось, и при том он вне «вечных истин». Все это сказалось на нем и звучит, порою, в нем диссонансом.

Взялся опять за Розанова. Надо добывать у букинистов Н.Н.Страхова, все, что найдется его, а главное «Борьба с Западом в нашей литературе», и собрание сочинений Гилярова-Платонова изд. 1899 года в 2-х томах.

17 февраля. Тбилиси. «Получила оба Ваших письма. Спасибо, дорогой далекий друг. Спасибо. Хотелось бы написать многое, что томит и мучает меня, но боюсь затруднить цензуру. Факты же таковы: после долгих поисков работы по химии нанялась в роддоме табельщицей! (Сидеть одиннадцать часов в холоде с тарелкой супа или кашицы и 400 грамм хлеба с минимальной оплатой. Жить более, чем трудно.) Я плачу за комнату 150 руб. Картофель 25 руб. кило, и все в том же стиле. Подожду тепла и, может быть, двинусь еще куда-либо.

Сравнительно здорова. Нервы держу в железных руках. Ни на что не реагирую. Ничто не страшно, не опасно… Только бывает обидно и хочется участия. От Вашего письма пахнуло этим, и я сразу должна была заставить себя "окаменеть" — так легче жить. В Ленинград я не хочу и не мечтаю возвратиться. Ни к чему и не к кому ехать. Хотела бы совершенно иной жизни где-либо под Москвой. Вспоминается Ваша алабинская знакомая игуменья Афанасия с ее книгами и стеганьем одеял. Я хочу нечто подобное теперь устроить… Впрочем, планов я не строю, лишь бы уцелеть теперь.

Я живу, как птица на ветке. Имею кровать в чужой семье, и все. Чемодан пустеет с каждым базаром, хотя ем более, чем скудно. Стараюсь не думать о завтра. Никто из детей не может мне помочь. Да я и не знаю, где они… Фу, как устала писать. Молю силы Высшие помочь мне. Н.Вревская».

21 февраля. «Дорогая Ольга Александровна. На мои стремления в Москву столько льется ушатов холодной воды, что я начинаю думать об их крушении.

Потеплело. Потемнели дороги, прибавился день, и это все радует. Скучны очень вечера без света, пропадает два, три часа, а жизнь и так коротка.

"Примитивная жизнь на лоне природы", конечно, для нас сложна и трудна. Но когда в ней есть "рабыня", как она хороша. В Алабино я прожил 10 лет. Не было воды в доме, первое время не было и электричества, порой, бывало трудно с дровами, а как хороша была жизнь там — жизнь усадебная. Я всегда считал тогда, что живу комфортабельнее москвичей и чище, и уютнее, и

вымыт, и ухожен так, как им и не снилось. Повозиться в саду, огороде — это такое удовольствие… И поверьте, что примитив в городе, если он Вас настигнет там, труднее, чем в деревне. Здесь он в природе вещей, а в городе он просто непереносим. Да это Вы сейчас знаете по себе.

Будьте здоровы. М. М.».

22 февраля. Москва. «Дорогой М. М.! В поликлинике у нас новая потеря — умерла Вера Александровна Тарбеева. Погибла от алиментарной дистрофии, благодаря ее принципиальным установкам. Она не поддалась никаким нашим уговорам и доводам и ничего не хотела принимать сверх того, что имела наравне со всеми, а здоровье было надорвано. Работала она добросовестно много.

Не стало еще одного верного товарища. И таких людей, как Вера Александровна, не будет уже. Она слишком чиста и честна по нашей жизни.

А мы уже все ждем Вас в Москву и на Вашу работу к нам. Ксения Максимова».

27 февраля. Сухобевводное. «Уважаемый М. М. Пишет Вам дочь Веры Александровны Тарбеевой… 20-го января умерла мама. Болела мама всего три дня, чувствовала же себя плохо давно, с трудом ходила от слабости, но работала. Диагноз "авитаминоз", умерла она во время сна. Конца она, по-видимому, не ожидала. Последнее письмо от нее было 14 января с сообщением, что она собирается ложиться в больницу. Просила не беспокоиться. Меня же эта открытка, написанная очень дрожащим почерком, страшно обеспокоила, и я сейчас же написала соседке по квартире с просьбой написать о маме… А через несколько дней телеграмма о ее смерти.

Так тяжело М. М., передать не могу. Всю жизнь я с мамой прожила вместе, жила душа в душу. Моя эвакуация с детьми была наша первая вынужденная разлука… И вот в самый тяжелый и нужный момент около мамы не оказалось никого из близких ей людей. Я ездила на мамины похороны… Ваш адрес я нашла, перебирая мамины бумаги, и зная отношение к Вам, решила написать. У меня к Вам просьба, М. М., написать мне, не писала ли Вам что-нибудь мама в последнее время своей жизни. Мне хочется знать, для себя хочется выяснить, чувствовала ли она приближение смерти, или она пришла внезапно, без мучений во время сна. Конечно, это утешение слабое, но все же легче знать, что перед смертью она не ощущала чувства полного одиночества и покинутости.

А Вам, М. М., очень большая благодарность за хорошее отношение к мамочке. Она всегда очень тепло говорила и писала

о Вас.

И очень прошу ответить мне. В.Пометелина».

28 февраля. Вот и еще две недели прошло таких же бедных материально, заполненных работою, борьбою за примитивную еду, чтением урывками и… снами, то прошлого милого, то страшными настоящего, от которых я порою кричу по ночам. Отрадою являются симфонические концерты Малого оперного театра из Ленинграда, сюда эвакуированного. Мы с Анюшкой ходим на них, не пропуская ни одного (раз в неделю), несмотря ни на мороз, вьюгу, пургу. И становимся от них моложе, веселее, и будто чем-то значительнее. В оперу мы так же ходим, но менее охотно. Там что-то раздражает, что-то коробит как на сцене, так и особенно в публике. Последняя страшна своею первобытностью и семечками… Да простит ей Бог ее темноту.

Наступили «Володины дни». Наступили последние недели его жизни, когда шаг за шагом рок вел его к смерти. И вот теперь, когда все полно разговорами о реэвакуации и в моих возможностях отдаленно маячат Москва — Загорск, я обдумываю свою возможную жизнь в Загорске, а быть может, не жизнь, а приготовление к смерти… Ну, что Бог даст… Ясно одно, как стихийно мы выезжали сюда, так стихийно и бурно волна понесет на обратно.

28 февраля. Пасха будет поздняя, и я еще не теряю надежды быть к ней в Москве. Хотя… голос ли старости, или благоразумия от старости, что все равно, говорит мне — не надо спешить. Однако, если случай представится, конечно, уеду. Из Загорска вчера телеграмма: «Продается дом с усадьбой за 50 тысяч». Это сторож с кладбища Федор Артемович, друг, заботится обо мне. Конечно, дома отсюда я не куплю, и денег у меня нет, да и нужно там сначала осмотреться, а прежде всего попасть туда да прописаться.

Здесь же затеваю отстройку квартиры для главного врача поликлиники. Делаю это не для себя, а для какого-то преемника, но это нужно для дела, нужно, чтоб главный врач жил при месте работы. Пусть помянут добром.

7 марта. Загорск. «Дорогой М. М.I Сегодня "прощенное воскресенье". Простите Вы меня, дорогой мой, в чем виновата перед Вами в мыслях и недостаточной благодарности Вам за Ваше добро.

Завтра "чистый понедельник". Наступают серьезные дни для души, страдные для тела. Наступает время года самое тяжелое по голоду и холоду. Когда я думаю об этой зиме, какая тяжелее — прошлая или эта? Пожалуй, эта. В ту зиму до января был свет, а это очень много значит. Неустройство жизни стало больше,

помощи откуда бы ни было меньше.

Много есть, о чем написать Вам, но устала. Варю освободили и дали литер в Алма-Ату. Ее находят психически больной, потому так снисходительно отнеслись. Но в дороге все вещи ее украли. Все, все с нею очень печально… А как и чем она будет жить там?

Тургенев прекрасен. Лучшими его вещами я считаю: "Яков Пасынков", "Два приятеля", "Затишье", "Первая любовь", "Вешние воды", "Ася" и, конечно, "Дворянское гнездо". А вот на днях прочитала я "De profundis" Уайльда, дивная книга.

Крепко жму Вашу руку. Т.Розанова».

8 тот же день. Чкалов. «Дорогая О. А. Завтра, возможно, Вы пойдете на эфимоны и от души скажете: "Помилуй мя, Боже, помилуй мя".

А слышали ли Вы, что умерла В.А.Тарбеева? Уезжая в прошлом году, я думал, что это случится. Бодрым духом нельзя жить долго. Немощная плоть все же сильнее его. Вечная память этой труженице. Крепкий и настоящий была она человек… Вот и еще прибавилась могила. Какая по счету?

Вы спрашиваете, окончились ли морозы? Неделю было тепло, а сегодня с утра 22. А я вчера вечером выходил в осеннем пальто и не мерз. Это я по своему обыкновению "делаю весну".

Клевета! Клевета, что мои успехи здесь служат тормозом к моему выезду отсюда. Конечно, лучше жить здесь с успехами, чем без них, а все же мой выезд отсюда зависит не только от меня. Я готовлюсь и к Москве и готовлю квартиру здесь для главного врача поликлиники. Куда вывезет.

На Женский день устраиваю большой концерт в поликлинике. Приглашены настоящие артисты оперы. Это я облагораживаю местную публику. Ведь многие здешние люди и не слышали об опере».

14 марта. А все же жизнь неплоха, даже когда она тянется по краю бездны — войны, холода, голода, смерти от сыпного тифа… Вечерами собираемся все у шумящего самовара. Какое «спасительное» это изобретение. От него кипяток, тепло, уют. И какими ничтожными средствами это достигается! Лучинка, есть угли — хорошо, нет — чурочки, и самовар готов… После чая Анюшка раскладывает пасьянс, а то и погадает на присутствующих и отсутствующих… Сейчас все в ожидании виз на выезд в Москву, на пропуск туда… И вот на картах «выпадает» мне: дальняя дорога, перемена жизни, полное исполнение желания… Это Анюшка знает, чего хочет моя душа, и не хочет портить мне настроение другими предсказаниями. И письмо Ирины продолжает эту линию. Она пишет, что будет в главной милиции и добьется для меня въезда в Москву. И я так

настроился на отъезд, что совершенно не допускаю мысли задержаться здесь и не быть в Страстную неделю в церкви, а в день смерти Володи — у него на могиле. Пасха в этом году 25 апреля.

21 марта. Есть сведения, что Иринушка достала мне пропуск в Москву, а это значит, легализация и почти обеспеченная прописка в Москве. И у меня на душе поют жаворонки, хотя март в Чкалове «настоящий марток — одевай пару порток». Морозы изо дня в день ниже 20. Холодно дома, холодно везде.

Перечитывал эти дни «Литературные изгнанники» Розанова. Перечитывал с наслаждением и почтением к обоим корреспондентам — Страхову и Розанову. Я читал эту книгу лет 10 тому назад еще в Алабино и помнил из нее ряд страниц. Впечатление и тогда было сильное. Оно касалось «вечных истин» и строки: «Что же "вечнее" кельи старца у ворот шумного пригорода? Что же "вечнее" Александрийской библиотеки? Что "вечнее" астронома, рассматривающего в трубу небесные "туманности", или святого, читающего вечернюю молитву? Они никуда не идут, потому что "всего достигли". Они "в пристани", и эта пристань просто чистая совесть, вера в Бога, мудрая жизнь, и некоторое требование к "пригороду", или молитва о том, чтобы там власти были не бесчинны». Повторяю — эти строки незабываемы.

В тот же день. Чкалов. «Дорогая О. А.! Когда нет долго писем от москвичей, я всегда думаю — значит им холодно, голодно, темно… Почта работает очень плохо, медленно и неаккуратно. Живешь все время ожиданиями общими и личными. Бодрюсь, веселю сам себя, что рекомендую делать и Вам. Ирина из Москвы пишет о хлопотах о пропуске для меня. Этими днями этот вопрос должен решиться. Если порог московский будет перепрыгнут, останется еще порог чкаловский. Могу споткнуться и на него. Есть же такие "густопсовые счастливцы", которым все дается просто, идут, как по паркету.

Зима продолжает морозить. Утренники 18–20 градусов, среди дня тает, но слабо. Снегу навалило горы. Ветер дует, не переставая, холодом и ознобом, "Когда же вновь увижу я тебя, Москва?.." Обещайте мне поездку на весь день в Загорск. Посидим там у Володи, поедим хлебца, побываем у Ильи Пророка. Да, будет это! М. М.».

25 марта. Тбилиси. «Дорогой М. М.! Нового о житье-бытье мало. Живу, будто читаю старинную рукописную книгу, толстые, тяжелые листы которой перевертываются с огромным усилием и содержание которой доходит с трудом. Одним словом, одуревающий труд (11 часов и более), снова дистрофические

расстройства, и вся воля сконцентрирована на том, чтобы ни на что не реагировать — окаменеть. Удается.

На днях (22.III) игра К.Н.Игумнова прорвала защитную броню, но стало так невероятно больно, что я убежала во мрак и слякоть улицы одна. Попытки его повидать окончились ничем. Да и что ему я? Я же стремилась его увидеть, чтобы побольше узнать о Вас и об Еревани…

Погода у нас все время самая ленинградская — дождь, снег, ветер. Солнца очень мало. Повсюду холодно — и мало света. На базаре все не по карману, а на службе один суп, тоже ленинградский. Ждать помощи не от кого… Получаю утешение в церкви.

27-го марта. На работе меня сократили. Устала, изголодалась. Пишите, дорогой друг. Н.Вревская».

29 марта. Загорск. «Дорогой М. М.1 Благодарю Вас за присланные денежки и спешу Вас порадовать, что мне немножечко стало легче жить. Сестра Наденька привезла от Софьи Андреевны Толстой-Есениной пшеницу, картофель, пшено и мясо, так что неделю я ела мясной суп. Тяжело мне было в пост это делать, но я так проголодалась, что думала, вот-вот упаду, да и обе руки в нарывах от истощения. Сейчас не работаю, бюллетеню, что дальше буду делать, не знаю. В цеху нет больше подходящей работы, и у меня заберут рабочую карточку, т. е. 600 грамм хлеба. Сейчас мне дали в столовую пропуск, пока на это имеют право только рабочие и служащие, и это дает возможность использовать 300 грамм жиров, которые фактически по карточкам мы не получаем. Дома очень холодно и сыро — не топят.

Читаю Златоуста, как все велико и как далеко от настоящего, и все думаю о сестре Варе и ее судьбе. Жива ли? Она всегда говорила: "Я старухой никогда не буду". Вот и напророчила себе. К ней старость и болезни действительно не идут — всегда она беззаботна и весела… Хотела кончать, но не могу не высказать еще одного… Если бы Вы знали, как меня огорчает, что я не имею мужества не принимать помощи и этим обделяю людей нужной им пищей и средствами. А я человек, бесполезный для общества. В общем, пожалуй, самое мое большое горе. Кроме того, мне рисуется смерть от голода не этичной, хотя я и не представляю себе тех физиологических явлений, которые сопровождают эту смерть. Благодарю только Бога, что получаю помощь случайную и часто от случайных людей, и это хоть отчасти примиряет меня с обстоятельствами: я чувствую, что это помощь от Бога…

Пишите о Ваших делах. Т.Розанова».

4 апреля. Пропуск в Москву у меня на столе. Когда мы выедем, еще не знаю, так как мы зависим от вагона, а время его

отправления еще не известно.

Теперь, когда самое главное получено и поездка стала въявь возможной, я понял, как дорога мне эта поездка туда — к себе. Сегодня буду разговаривать об этом с местным начальством. Это неприятно, но я несу с собою книжечку законоположений «О социалистической дисциплине труда», и книжечка эта за меня… Кстати, есть слушок, что в Москве собралось столько врачей, что их некуда девать, и врачи ходят безработными. Вот придется в дворники поступать!

9 апреля. Архангельск. «Дорогой М. М.1 Спасибо Вам, прежде всего, за "многое о себе". Оно мне особенно дорого. Как хотелось бы и мне поведать Вам обо многом, но не в письме, а задушевной беседе.

О жизни моей здесь можно написать и очень много, и очень мало. С внешней стороны, жизнь однообразна. Один день похож на другой. Все начинаются в семь с половиной утра и кончаются в 10–11 вечера. Кончаются в усталости и потере самого себя. Самые же дни полны суеты, мелочей, преодолений гигантскими усилиями карликовых проблем, полны людей маленьких, чужих и серых, и лишенных "себя". Это опустошает, но имеет и один плюс — создавая своего рода "наркоз", в котором многое "обезболивается". Так… я и не заметил, что уже скоро полтора года живу в Архангельске.

Среди этого существования редко бывают минуты полноты, минуты книг, минутки обретения души человеческой.

Большой радостью оказалась для меня встреча с Дмитрием Васильевичем (Никитиным). Я сразу почувствовал его, и хотя редко вижу его, но всегда освежают и укрепляют мгновения общения с ним.

Второе, в чем хочу найти себя и полноту жизни, — это искания в науке. Со страстью занимаюсь рядом исследований, близких мне еще с тех медвежьегорских времен, когда, если помните, я начинал в тех трудных и примитивных условиях искать разгадки многих скорбных и тогда непреодолимых вопросов истощения, о которых, кажется, при Вас я тогда докладывал на наших научных совещаниях при Санотделе ББК. Сейчас возможностей изучать у меня гораздо больше, возможностей найти "истину" тоже больше, но радость "обретения" истины омрачается и чужестью восприятий моих исканий клиническими и институтскими "шефами", и халтурностью всего научного антуража. Кажется, Захарьин когда-то сказал, что медицинская наука без терапии — это созерцание смерти. Этим созерцанием я и занят, и оно и замораживает, и околдовывает так, что от него не оторвешься, и вместе с тем

рождает тот скепсис, от которого часто бывает трудно отделаться.

Вереницы мыслей и итогов иногда так отчетливо строятся в ряды и образы, что рука тянется к iiеру и хочется писать. Но знаю хорошо, что эти писания едва ли нужны и наверняка не увидят свет. Запросил письмами ряд редакци журналов и издательств, но мне даже никто не ответил.

В часы скепсиса часто думаю о тому что не лучше ли было бы заехать куда-нибудь в маленький городок — какой-нибудь Усть-Сысольск или Устюг Великий — и там, отдавшись тишине, природе, созерцанию, книгам и мыслям, доживать свой век, оставив искания истины, суету и чужое растлевающее убожество?

"Дома" жизнь тоже грустновата. Ксения Сергеевна ("Испанка"), вновь пережив свою болезнь осенью и зимой 41–42 годов, худа, нервна. С трудом удалось снова "подлечить" ее. С весны 42 года не работает — целые дни читает, лежит, переживая трудности жизни.

Живем мы в маленькой грязной комнатушке среди чужих людей, шума, гама. Бытовые и продовольственные дела сложны. Близких нет почти никого.

Простите за длинное, скучное и безалаберное письмо. Хотелось бы очень увидеть Вас. Ваш Г.Косткевич».

12 апреля. Кокошкино. «"Да, думать Вам о своем будущем"… Частенько задаются жизнью Вам такие задачи… Но вот Ваше выражение: "Обдумываю свое будущее положение. Оказывается, оно, это будущее, может быть даже и в мои годы", — мне нравится. Ну, что за годы? В настоящий момент они самые молодые и свободные — Вы сохранили то, чем не обладают и многие из молодежи.

Думать о будущем, наслаждаясь хорошим настоящим — это искусство жить. Что же бы мне иначе делать? Ведь жизнь меня, как льды, сжимает со всех сторон. Хорошим минуткам в настоящем я предаюсь от всей души и живу надеждой на лучшее будущее.

Если сравнить 42 года с прежними двадцатью, — что же стара? Да нет, моложе. Видно, жизнь сильно била, посыпая солью с добавкой селитры, что так сохранилась. Препятствия, которые одолела, дают уверенность в своей силе и надежду, что и впредь справлюсь. Тяжелое, оставленное позади, усиливает даже маленькое удовольствие в настоящем. Выдержанность во всем, вероятно, причина того, что организм сохранил физическую легкость и гибкость во всем. Вот и Вам советую не думать о своих годах и смерти. Да и что думать о ней?

Ваши книжечки доставили и мне удовольствие, и ученицам, которым я их читала. И напрасно Вы такого скромного мнения о

своем подарке. Но не балуйте меня, не стоит — я уже привыкла теперь для себя ничего не ждать. А вот за девочек спасибо. Живут они в недопустимых условиях. Домишко гибнет. Помещение наше худое, в котором нельзя по-человечески даже печку топить. Труба развалилась. Дымоход самоварный обвалился. Грязь в доме страшная. Посуда почти вся ликвидировалась. Все ведра и тазы текут.

От плохого устройства стойла у коз родилось по мертвому козленку. Нет белья, обуви, даже несчастный самовар свой кран на бочок и медленно, но постоянно капает и поспевает не раньше, чем через полтора часа (накипь, надо лудить)… Ну, дошло до точки… Глаза страшат, руки делают возможное, и я радуюсь хоть маленьким моим успехам.

Итак, до скорого свиданья. А.Крюкова».

13 апреля. Через недели уезжаем в Москву — Аня, Марианна и я. Саввич остается заканчивать свои дела. Что сулит нам Москва — кто скажет? По существу, мы возвращаемся к тому, от чего уехали. Фронт все еще близок. На фронте какая-то заминка. Настроение кругом, после некоторого подъема, сильно пало. Анюшка определяет наше положение так: «В случае чего, погибнем вместе, всею семьею».

Уезжая, попытаюсь подвести итог чкаловским дням. Чкалов-Оренбург — город большой, широко раскинувшийся, без зелени, без воды, без транспорта: нет ни трамвая, ни автобусного сообщения, с одной-единственной асфальтированной улицей и невылазной грязью и пылью на других. Ряд улиц носит название «Буранных». Это возвращает нас к «Истории Пугачевского бунта» и «Капитанской дочке»… «Чкаловский дождь» — это пурга летом и бураны снежные зимою. На улицах города верблюды и много инородцев. Никогда не видел такого разлива реки, как Урала. Это было величие стихии, оставившее за собою заболоченность и малярию. Таких форм малярии, как в Чкалове, бруцеллеза и сыпного тифа не видел нигде.

Поликлинику № 3 я принял заурядной провинциальной амбулаторией с шестью врачами. Оставляю с приемом по всем специальностям с 46 врачами. С участковым обслуживанием населения, с мощными санэпидотделениями, с рентгеновским кабинетом и прекрасной лабораторией. Приезд в Чкалов Харьковского мединститута дал мне возможности ввести в поликлинике еженедельные научные конференции, а поликлинику включить в число учебно-вспомогательных учреждений института. Успех в работе получился у меня большой. Отношения с начальством и товарищами установились отличные. Под конец работы даже материально я был обставлен

хорошо. Все предвещало мне прочное и почетное положение… Вчера сотрудники поликлиники попросили меня сфотографироваться с ними. Низший персонал вздумал «качать» меня. Ощущение не из приятных. Не знаю, почему «качание» стало знаком любви и уважения.

Общежитие эвакуированных сотрудников Комиссариата станкостроения не было приятным. В нем было и не тепло, и не светло, и не чисто. У нас было отдельное, отличное помещение вместе с прекрасным семейством главного инженера Комиссариата Акима Ивановича Игнатенко. Вместе нам было отлично.

Отношение коренного населения к эвакуированным не было доброжелательным. Наехавшие увеличили трудности жизни, подняли цены на продукты, в принудительном порядке заселили все излишки жилой площади. Все э\р стало стеной между теми и другими и вызвало ряд взаимных обвинений. Даже между врачами «туземцами» и приехавшими чувствовалась рознь.

«Пупом» всей жизни города является, конечно, базар. Приехавшие продавали на нем вещи. «Туземцы» — продукты. Есть еще «центр жизни» — пивной завод с «пивными боями» в дни продажи пива около него. Бои эти бывают жестокими с членовредительствами и битою посудою… У меня от чкаловских базаров одно приятное воспоминание — это дыньки-комсомолки, маленькие, но очень душистые и сладкие.

В городе нет ни одной церкви, над городом не высится ни одно го креста. Мечети тоже все закрыты. На моем пути Чкалов оказался самым «передовым городом». И нравы в нему и люди жестоки, косны, невежественны… Нет, не могу и не хочу я жить и доживать в этом городе.

19 апреля. Загорск. «Дорогой М. М.! Поздравляю Вас с наступающим праздником и желаю всего доброго Вашей душе. Надеюсь, что Ваше горячее желание вернуться в Москву — исполнится.

Сегодня я у Ильи Пророка поминала Володю, как Вам обещала, и как того просило мое сердце от всей души.

Побывала и на могиле Володи. Почистила в оградке от желтых листьев, вытерла плиту, посидела, подумала о Вас обоих…

Насчет места могилы отца — я его не знаю. Лет десять тому назад Евдокия Тарасовна Александрова (жена А.А.Александрова — друга Константина Леонтьева) вместе с М.М.Пришвиным и со мною ходила искать место, где была, думается, могила. Пришвин снял план местонахождения могилы, но верен ли он и сохранился ли он у Пришвина, не знаю.

Сочинения Н.Н.Страхова, как я Вам писала, я послала С.А.Есениной-Толстой. Уж очень я ей многим обязана и хотела ее чем-нибудь отблагодарить.

Крепко жму руку. Т.Розанова».

22 апреля. Таруса. «Дорогой М. МЛ Я не верю в Ваш переезд в Москву и потому отвечаю в Чкалов.

В.В.Розанов собирался продолжать "Литературных изгнанников". Во 2-й том должны были войти К.Н.Леонтьев, в следующий — И.Ф.Романов (РЦЫ), Шперк, Флоренский, В.А.Мордвинова (кажется) и я. Разбирая архив В. В-ча, я наткнулся на переписку, из которой узнал, что в голодные годы он вел переговоры с Леманом, намереваясь издать мои письма. Я был от него тогда оторван расстоянием и фронтом и ничего не подозревал. Сделка не состоялась только потому, что Леман обезденежил, и трудно было издавать. До революции он печатал мои письма, но я запретил.

Страхова у меня ничего нет. По-моему, он очень скучный писатель. Может быть, в свое время и было интересно его читать, но за годы он совершенно выцвел.

Трудно со многим согласиться у Леонтьева. В корне я не согласен с чернотою его мировоззрения, но писатель и мыслитель он блестящий, и трудно оторваться, начав его читать — о чем бы он не писал. Страхов же какой-то тусклый и "не вкусный" при всех его личных достоинствах.

Кладбище, где похоронены В.В. и К.Леонтьев, снесено. Могилы их уравнены с землею. Один человек, знакомый с землемерным де лом, в свое время сделал точный план и переслал его в Пушкинский дом. Не знаю, уцелел ли он. Я хотел взять копию к себе, но это не удалось.

О судьбе писем В. В-ча к Страхову и другим ничего не знаю. Все письма, полученные В. Вчм, сохранились, приведены мною в порядок и сданы в Литературный музей. Я вернул письма не только многим, кто был жив и с кем был знаком. Кроме того, оставил сугубо интимные письма и много лет ломаю голову над тем, как с ними быть. Наша переписка также пока что цела. Цела и еще более интересная с Флоренским. Нужно думать, много писем В. В. попало в архивы, например, ленинградские. Я получил запросы в порядке экспертизы даже из провинции.

Страховский архив несколько лет тому назад был передан государству в Киеве, но сохранились ли письма В. В-ча, узнать мне не удалось, хотя я и писал несколько раз. Возможно, что да, но в архиве тогда еще не разобрались.

Я много труда потратил на поиски писем В. В-ча. Кое-что удалось найти и передать в архивы. Но все-таки не удалось найти

таких важных архивов, как И.Ф.Романов (РЦЫ) или Шперк.

С. А.М.Коноплянцевым я встречался в Москве, и у нас приятельские отношения. Человек он очень добропорядочный, милый и хороший, но не глубокий, не яркий и без особых талантов. Он у меня бывал, и видел я его всегда с удовольствием.

Славянофильство обойдено в литературе. Я много им занимался и много читал, но вот на вопрос, что прочитать, ответить затрудняюсь. Все ценное рассеянно по журналам и сборникам. Больше всего сведений о славянофилах рассеянно в "Жизни и Трудах Погодина" — Барсукова. Чтение 20 томов их — одно из приятнейших и покойнейших занятий. Вы и не заметите, как доберетесь до конца и огорчитесь. Это культурно-историческая хроника эпохи, а не только описание Погодина. Автор пишет как летописец, приводя целиком письма и не мудрствуя лукаво о них. Обрывается она чуть ли не на половине жизни Погодина. Если есть в Чкалове, начинайте читать — не пожалеете.

Самый термин "славянофильство" — фикция. 1) Дело вовсе не в славянах. 2) Не в отрицании Запада. 3) Нет никакого единства между, скажем, П.В.Киреевским, Леонтьевым и Василием Васильевичем.

Можно говорить о каком-то основном устремлении духа. Тогда и Гете, и Бах, и Рабле, и Карлейль (вот кого рекомендую Вашему вниманию, если уже Вам не знаком), и многие другие славянофилы, как и Толстой. В то же время славянофильство проповедовал хотя бы тот же Милюков, но он не славянофил, да и сам отказывается от сего титула.

Так я всегда смотрел. К сожалению, в письме не все скажешь о таком сложном вопросе, но надеюсь, поймете. Так называемое славянофильство духовно и умственно — водораздел и только, а в нем все дело.

Кажется, ответил на все существенное в Вашем письме. Несмотря на все трудности жизни, я вполне счастлив. Бытовые условия катастрофически ухудшаются, но я как-то втягиваюсь в них, и они не отражаются на духовном состоянии. Я начинаю думать, что известный цыган, учивший лошадь, был прав. Она сдохла лишь только потому, что не вполне правильно был поставлен опыт. Ведь живу я, не разделил судьбу этой лошади и духовно лучше себя чувствую, чем до войны. Я нашел свое место в жизни. Нужно смириться с неизбежным и свободно принимать лишения, как пост. Тогда они идут на пользу. Без жертв ничего не обходите. Если их принять, то сразу легко становится жить. Я прошел хорошую школу: немецкий ад и бомбежку. Я так и смотрел на них и учился. В результате многому научился и выть,

как многие, никогда не буду. Готов к худшему. Мне скажут: "Сытый голодного не разумеет", — но я именно голодаю и разумею свое положение. Пословица ко мне не относится.

Всего доброго. Пишите. С.Цветков».

13 мая. Москва. Двадцать пятого апреля, в чудесный день, светлый, теплый, в день Пасхи, приехали Аня, Марианна и я в Москву. На вокзале радостно и хлопотливо нас встретили Ирина, Вова с женою и два приятеля Ирины. Багаж с нами был очень большой, и его нужно было пронести, минуя контроль. Молодежь занялась этим и успешно выполнила задание.

Уезжали мы из Чкалова хлопотливо. Не было уверенности в том, нужно ли ехать и хорошо ли мы делаем, что едем. Кроме того, мы оставляли в Чкалове Саввича, и это было грустно. Весь день отъезда шел дождь. Дорога до вокзала была длинна и трудна. Лошаденка еле плелась, а нужно было этот путь проделать дважды. На багажной станции темно, мокро, грязно. Все злы, грубы, багаж тяжел, багажа много. Наконец, посадка… Боже мой, что это было! А затем переполненный вагон, густые волны махорочного дыма, масса детей, крик, ругань… А в дороге невозможность достать кипятку и купить за деньги какую-нибудь еду. Лишь меняли на соль и хлеб, яйца, молоко и масло. И вот после четырехдневного томления — перрон московского вокзала… Красивая Ирина, хлопотливость молодежи, дельной и приспособленной к жизни… До дому доехали на грузовике и оплатили его водкою и продуктами… Дом в ужасном виде, но комнаты принаряжены, и главное, Пасха и чудесный день. И казалось, как можно было раздумывать — ехать или не ехать? И хорошо сделали, что приехали. И было ощущение «праздника из праздников и торжества из торжеств».

Ну, а потом… начались хождения по мукам. Аню прописали через две недели. Меня не прописали совсем и приказали выехать из Москвы и Московской области. Как-то ночью, часу в двенадцатом, после мирного и тихого вечера, когда мы с Анею собирались уже ложиться спать, нагрянула на нас Милиция с понятыми, составила протокол и забрала меня с собою. В милиции долгий допрос и предложение в 24 часа покинуть Москву и Московскую область. Вернулся домой под утро. Встретила меня Аня, с такою мукою пережившая это событие со мною, что я вновь и вновь почувствовал в ней самого дорогого мне человека на свете.

А через день меня опять забрали в милицию «за нарушение паспортных правил» и продержали там сутки на скамье у дежурного по милиции. Аня за эти/сутки поседела, а Ирина развила невероятную деятельность и, совершенно измученная,

добилась моего освобождения с тем, что я немедленно выеду из Москвы. В милицию за мной пришла Аня, ей и выдали меня на поруки, и ведя меня из милиции домой, расплакалась она на улице от перенапряжения, бессонных ночей и, думаю, от обиды. А я, сидя на скамье в милиции, приходил в себя от боли в сжатых челюстях, разжимал их и опять ловил себя на этом.

Сейчас это уже пережито. Мы успокоились. Меня без всяких добавочных наказаний выпускают из Москвы во Владимир-на-Клязьме, который мы выбрали сами. Завтра я туда выезжаю.

Обида. Ноет сердце, и все же опять и опять:

Живу ли я,
умру ли я,
все мошка
я счастливая…

Глава вторая. ВО ВЛАДИМИРЕ-НА-КЛЯЗЬМЕ (16 мая 1943 — 31 мая 1946)

«Переписка, письма — золотая часть литературы. Дай Бог этой форме литературы воскреснуть и в будущем».

В.В.Розанов о переписке с К.Н.Леонтьевым.

20 мая. Москва. «Родной мой! Как грустно, грустно и места себе не нахожу. А пока не услышала твой голос по телефону, и спать не могла совсем. Дождь идет, холодно, поехал ты без пальто… И кому это нужно было, чтобы "ехал", когда не хотелось ехать? Надеюсь, что ненадолго ты там… А впрочем… ничего не известно.

Будь здоров. Аня».

25 мая. Владимир (из дневника). В воскресенье 16 мая, часов в 11 вечера поезд подошел к станции Владимир. Вагон был не освещен, до отказа набит людьми и вещами, и я с трудом пробился к выходу. И вокзал, и город затемнены. Только что прошел хороший весенний дождик. Воздух свеж и душист от распустившихся тополей. По дороге к гостинице гора, и на ней белые стены монастыря…

В общей комнате гостиницы получил койку. Все спят, темно, разделся и лег ощупью. Первый шаг удачен. Есть койка, умывальник, крыша над головой. Самый страшный для меня момент «бездомья» пройден…

А на утро пошел в горздравотдел и сразу получил ряд предложений на работу. Доктор Борисовский, заведующий горздравотделом, познакомившись со мною, так и заявил мне: «Я давно Вас жду. Если бы Вы знали, как мне нужен такой человек, как Вы». И мы сразу стали приятелями. С 19 числа, со среды, работаю главным врачом 2-й Советской больницы на 110 коек терапевтических больных. Это лучшее, что я мог получить здесь. Поселился я в самой больнице и в ней же питаюсь. Это блестящий выход в моем положении. Квартиру в городе и питание получить нельзя. Карточки лишь на хлеб и сахар, причем последний не дают. На рынке цены «военные» и мало ста рублей в день, чтобы быть сытым.

Тяжелое впечатление произвела на меня больница и ее окружение при первом посещении. Помещается больница на тюремном дворе. Высокие кирпичные стены, часовые, арки ворот — словом, все атрибуты этого учреждения. Больница, заваленная дистрофиками, грязна, запущена, с затемненными окнами… И я

проворочался ночь, решая, браться мне за нее или не браться. Однако поборол чувство и сейчас лишний раз вижу, как не следует поддаваться первым впечатлениям.

Комната моя помещается в общем коридоре с больничными палатами, но при входе с парадного. В ней самая необходимая мебель, совершенно голые стены и окно с решеткою, из которого виден часовой на вышке. Мне эта скудность обстановки и голые стены в комнате нравятся. Я чувствую себя в ней сосредоточенно и серьезно.

Я сыт, вымыт, на столе у меня горит лампа и лежат две книги из местного музея о Владимиро-Суздальском крае и Успенском соборе. С Москвою говорю по телефону, вечерами брожу по соседнему полю и кладбищу — провожаю солнышко. Соседи у меня значительные, можно сказать, «центральные в жизни» — кладбище, психиатрическая больница и тюрьма. Все это «сочетание» — КВТ — заставляет меня воспринимать мои текущие дни оптимистически, держит меня в приподнятом состоянии. Я радуюсь, и как не радоваться, что я не захоронен на кладбище, не кричу истошным голосом под забором психбольницы и не сижу в тюрьме.

Город мне нравится, и народ крепкий, русский, окающий тоже нравится. Когда бываю в городе, непременно заворачиваю к Успенскому собору, вглядываюсь в него и вспоминаю рисунок собора Володи. Собор в тяжелом состоянии. Текут желоба, частично побиты стекла, но, Боже мой, до чего он хорош. Изумительно хорош! Внутри не был. Доступ туда затруднен…

Итак, не буду роптать и не за что роптать. Ничего плохого пока не получилось. И я не жалею, что оставил Чкалов, — все же Владимир не Чкалов.

26 мая. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна, живы ли Вы? Мои московские мучения закончились Владимиром. Слава Богу, мне здесь все по душе. Здесь начались истоки нашей государственности… Одни купола — полусферами, и греческие кресты Успенского собора делают город родным… Грустно, конечно, быть одному здесь, но и это бывает полезно. Я в хорошем, сосредоточенном настроении и деловом. Напишите… М. М.».

29 мая. Москва. «Дорогой мой! Очень грустно, что сегодня Ирина не сможет выехать к тебе. Ее отправили на завод. Третью ночь я одна сама с собою. Такая тоска, такая скука, что и сказать не могу. Света нет. Читать не могу. Спать не могу. Одолели какие-то мысли, что-то беспокоит неясное и темное. Что делать лето? Неужели сидеть здесь, в вонючем доме? Перестала работать последняя уборная, нет воды, не работает канализация… Ну,

ладно. Бывает много хуже. Я за все благодарю Бога.

Сделала перестановку в комнатах, и получилось очень хорошо. Ловлю себя на мысли, что все мои труды понял и оценил бы только ты.

О том, что произошло здесь, не хочу и вспоминать. А что из Чкалова уехали — все-таки неплохо. Не правда ли?.. Не знаю, как ты, а я хочу быть только всем вместе. Ты в жизнь мою вносишь многое, чего не дают мне дети и Володя. А я от всей души хочу, чтобы тебе со мной было тепло и уютно. Как мне удастся это, не знаю, но хочу этого я очень. И старость нам надо проводить вместе и, по возможности, скрасить ее друг другу. Тебе одиноко… а я себя чувствую безумно обиженной и порой плачу от жалости к себе.

Ну, будь здоров. Да хранит тебя Господь. Аня».

2 июня. Загорск. «Дорогой М. М., спасибо Вам, что наконец написали. Я очень тревожилась. Хотела ехать в Москву узнавать, что с Вами. А моими ногами — это очень трудное дело; у меня, по-видимому, цинга, и я почти не могу ходить.

Владимир — замечательный город. О нем мне много рассказывала С.В.Олсуфьева. Там хороший музей — сходите.

О себе что и писать? Радуюсь чудной погоде из окна. Не работаю из-за ног. Да я, верно, больше уже и не смогу работать. На Пасху провела день у могилы Володи, убрала ее и очень хорошо провела день.

А вас я прошу не скорбеть и знать, что это Вам полезно, пожить самостоятельно и менее избалованно. Анну Мих. же очень жаль. Очень она огорчается, что Вас не опекает и не с Вами.

Посылаю Вам выписки из отцовских книг, которые для Вас сделала в прошлом году и которые, вместе с чтением Псалтири, дали мне возможность перенести нечеловеческий голод прошлого года.

Думается мне — в преддверии вечности стою я, и хочется молчать, молчать. Простите, если больше не буду писать. Хочется слушать одно молчание. Не обижайтесь и не огорчайтесь. В молчании больше правды. Все наши слова — пустая болтовня. А жизнь так серьезна… Ужасная потребность молчать. Т.Розанова».

5 июня. Ковернино. «Уважаемый Мих. Мих. Вы правы в Ваших опасениях. Петра Семеновича Осадчего больше нет. Он скончался 21 мая. В этом году он очень ослабел, больше лежал — все зяб. Месяц тому назад у него поднялась температура до 40 градусов, и он потерял сознание. Оказалось рожистое воспаление. Пошли затем нарывы, пролежни, перестал спать. Нужно было все время переворачивать его, менять белье. Когда меняли белье или приходилось сажать, — это было вроде "снятия со креста". Когда

стало совсем плохо, свезли в больницу. С 20-го перестал говорить, не отзывался, изредка только оглядывался и лежал с полузакрытыми глазами. К ночи глаза его уже не смотрели… Труп перенесли в мертвецкую. Кругом поле, нет никого. Мы с сыном Андреем вымыли его и одели, а потом с ним же в две лопаты вырыли могилу. Только не работала голова. Вырыли в ряд с другими, а можно было вдали на полянке. Кладбище среди полей, окружено соснами. 22-го мая в военкомате достали лошадь и человека опустить гроб. Провожать вышли медсестра и наши воспитательницы, а мне хотелось быть только с Андреем…

Желаю Вам здоровья. Н.Иваненко».

8 июня. Москва. «Миша, родной мой! Жизнь в Чкалове кажется мне сказкой. Сейчас меня пугает и не дает жить Володя. Он приехал из Чкалова в жутком состоянии — вероятно, все время был голоден. А что я могу дать ему здесь? У нас одна картофелина на трех. Устраиваться на работу на 400–350 рублей в получку, плюс карточка служащего — голодная карточка — это тоже не выход из положения. Он решает вернуться в Чкалов на свою работу, запастись там овощами и к осени вернуться сюда. Это, может быть, и правильно, но жить ему там "на птичьем положении" одному с паршивой столовой — тоже свалится, а свалится, так и не встанет. Думаю, организм его уже потерял свою сопротивляемость. Нет ли чего около тебя во Владимире? Ему нужно только отдышаться, подкормиться, и он будет опять работать.

Тебе на рынке достала мыла по 220 руб. за кусок. Кофе не нашла. Ну, пиши. Я рада за тебя. Господь с тобой. Аня».

12 июня. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Получил Ваше письмо с "молчанием". Я понимаю его настроение и преклоняюсь перед ним, но хочу верить, что жизнь еще не уйдет от Вас, а с нею вернется и желание общения с близкими Вам людьми.

У меня три дня погостила Ирина. Ее приезд окончательно примирил меня с Владимиром. Она внесла в мою суровую комнату столько тепла, столько душевной близости, что я долго буду чувствовать их. И она сказала мне как-то во время прогулки: "Дядя Миша, все красивое в моей жизни связано с Вами, или исходило от Вас". И я верю этому.

Теперь буду ждать приезда Анны Михайловны. Вы, должно быть, еще не знаете, что я никогда "не скулю", не впадаю в уныние и, конечно, огорчать А. М. нытьем никогда бы себе не позволил. Да и почему мне ныть? Господь все так устроил, что я могу лишь радоваться. И моим в Москве я помогу, и пожить мне одному неплохо. И церковь рядом на кладбище. Правда, поп там рыжий и

противный, и "живоцерковный", да я что-то верю, что он долго не останется.

Будьте здоровы. М. М.

За выписки спасибо».

13 июня. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Наконец, получила известие от Вас. Ведь не в Ваших правилах не отвечать на письма. Много воды утекло за это время. Ваше письмо дышит покоем и отдыхом настоящего и тяжелыми воспоминаниями о московских неделях. Душевно рада, что Вы обеспечены питанием и имеете отдельную комнату. Я ни о чем подобном и не мечтаю и на свою жизнь смотрю, как на хороший материал для "писанины". Это помогает в жизни многое переносить. Порой становится в очень тяжелые минуты смешно — ну, и задалась же жизнь! Но эта жизнь создала между мною и девочками чудесный душевный мирок, где они являются часто более старшими, так как они ближе к современности. Если нам удастся в жизни встретиться, мы устроим чаепитие, достанем манной крупы и кашу сварим на молоке… Вот что будет!

Всего хорошего. А.Крюкова».

14 июня. Архангельск. «Дорогой М. М.! Письма мои не могут за Вами угнаться. Я написал Вам в Чкалов, дважды в Москву и вот третьего дня узнал Ваш новый адрес. Ваше описание Владимира очаровало меня. Я вспомнил, как когда-то давно проезжал мимо него, любовался им и Клязьмой, и так захотелось из холодного, чужого Архангельска перебраться во Владимир. Подумайте об этом и напишите. Я рассчитываю побывать в Москве, может быть, мне удастся на денек пробраться к Вам. Ваш Г.Косткевич».

19 июня. Москва. Торфоразработки. «Дорогой М. МЛ Я Вам сто лет не писала. Это потому, что с января я устроилась работать (бесплатно, за питание) в госпиталь в Москве. Все условия нашего быта были таковы, что все равно нельзя много работать, а следовательно, и зарабатывать. Когда госпиталь перевели в другое место, мечтала опять так же устроиться — художником, как вдруг мне предложили ехать на торф "для наглядной агитации и пропаганды". Работа бесконечно интересная и столь разнообразная, что даже трудно перечислить все то, что за это время сделала. Устала я, однако, зверски. Вытягиваю всю эту громадную, напряженную работу только потому, что нас очень хорошо кормят… Вы чувствуете по этому письму, как я бодра и полна энергии?! Я совсем ожила… Всего, всего хорошего. Е.Сахновская».

23 июня. Тифлис. «Дорогой М. М.! Всегда Ваше письмо придет "в минуты жизни трудной" и дает, даже краткими словами, моральную поддержку тем хотя бы, что узнаешь о

Вашем житье-бытье и Вашем отношении к жизни — к Вашей и моей… О, Господи, какую фразу навернула! Потому только, что вокруг сидят и говорят, и нет у меня угла своего. Ирина приняла все меры, чтобы устроить меня на работу на завод, и мне предложили лабораторию в хромировочном цеху, а там температура до 70–80 градусов в ваннах, плюс t тифлисского лета. Боюсь, не выдержу… Не могли бы Вы меня вызвать на работу в Вашу больницу? Ведь Вы печалитесь о моей горькой участи? Я не могу больше бороться с жизнью. Устала. Снова всего боюсь. Неуверенность в себе во всем. Здесь на жизнь я и стара, и языка не знаю, и не нужна, как честный работник. Вообще никому не нужна. Прошу Ирину узнать о Доме престарелых работников-ученых. Туда я имею право попасть. Но хотелось бы поближе к Вам. Право, мне надо минимально быть не обиженной на работе и сытой. Два года без сладкого абсолютно, и очень мало жиров. Вот и результат. Куда девалась былая удаль? Я очень Вас прошу — пожалейте.

Страшно писать все это, но в этом луч надежды не погибнуть. Н.Вревская».

28 июня. Кокошкино. «Итак, уважаемый М. М., вы увлечены Вашей работой. Это хорошо. Беда, когда человек ни холоден, ни горяч. Я помню всегда слова моего любимого писателя: "Чем труднее слагались условия жизни, тем крепче и даже умнее я чувствовал себя". И это действительно так. Человек преодолевает препятствия, а не препятствия человека.

Нам всем хочется Вас видеть. Комната Ваша в порядке. В сенях трещит сверчок. На терраске стоят ульи, и слышно гудение пчел. Молоко есть, а если выдадут хлеб — ну, совсем Луккуловский пир. Ведь я думала — в Чкалове Вас захвалили, материальное положение улучшалось, квартира для главного врача ремонтировалась, новые знакомства завязались, что Вы не уедете оттуда, а для Вас все это оказалось ничем…

Всего хорошего. А.Крюкова».

25 июня. Чкалов. «Уважаемый и дорогой друг! Повеяло родным, когда увидела Ваш неразборчивый почерк. Ах, М. М., зачем, зачем Вы уехали от нас! Подчас журили, строги были, но работать с Вами было приятно. В поликлинике сплошной стон стоит, и все беспрерывно вспоминают М. М. А Вы, пожалуй, променяли на лучшее: климат лучше, работа в стационаре интереснее, к родным ближе. А нас совсем доконали, совсем. Крепко жму Вашу руку. Полина Левенсон».

30 июня. По газетным сведениям, 20 января нами был с боем занят Острогожск. Там оставалась у меня моя приятельница Софья Федоровна Яковлева. В Чкалове я еще имел письма от нее.

Фронт разъединил нас. Эти полгода я наводил справки о ней и ничего не получил. По-видимому, свидетельница дней моей юности погибла. С января 1899 года мы крепко и хорошо знали друг друга. Чему, чему не был я свидетелем в жизни С. Ф. — счастливого брака, очень недолгого, а затем смертей — мужа, сына, сестер, матери и даже старых преданных слуг. Одиноко кончала С. Ф. свои дни в Доме инвалидов. Хочу одного, чтобы смерть к ней пришла не с муками голода, а смерть «военная». Она заслужила ее всею своею честною жизнью…

1 июля. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Последние три дня жил в Москве. Было мне там очень тяжело. Жаль Анну Михайловну. Ей труднее всех. Болеет Ирина, а она мечется на своих больных ногах.

В Москве я был по делам, и мне в ней не было покойно. Я чувствую себя там затравленным зайцем и таким же виноватым, как заяц. Я не ночевал дома ни одной ночи… Во Владимир вернулся с радостью, привез книг и думаю продолжать свои воспоминания. Дело идет к вечерам, лампа у меня на столе горит — пора кончать неоконченную главу "После Володи". Ваш М. М.».

2 июля. Муром. «Получил Ваше тревожное письмо, дорогой М. М., и порадовался, что "страшное" осталось уже позади и Вы во Владимире, и все благополучно.

Дорогой мой, мне больно за Вас и за многих таких людей, как Вы. Таких нужных и полезных, особенно в настоящий момент.

Я живу по-прежнему. К хирургической нагрузке прибавилась огородная. Устаю здорово. Крепко Вас обнимаю. Ваш Н.Печкин».

5 июля. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Как я рад Вашему письмецу. Вы хотели лишить меня общения с Вами — я не смел настаивать и покорился этому, как и многому другому в жизни. Думаю, что все Ваши настроения связаны с физическим состоянием. Лучше оно, лучше и настроение. Я понимаю это и только обвиняю себя за мое бессилие быть Вам полезным.

О себе скажу, что работаю очень много. Взял еще заведование другой больницей. Дела масса, но работаю с увлечением. Сейчас ремонтирую и реставрирую прекрасное здание конца XVIII — начала XIX века с бывшей церковью. Это меня очень занимает. Связался с местным музеем. В ближайшие дни покажут мне Успенский собор. До сих пор я еще не мог проникнуть в него.

В свой ближайший наезд в Москву смогу побывать в Загорске. Теперь ведь на сто километров можно ехать свободно.

Анна Мих. до сих пор не может добраться до меня. Огорчает это меня очень. Ваш М. М.».

8 июля (из дневника). «За все слава Богу». Больше мне нечем охарактеризовать мою жизнь здесь, мою работу, мое

самочувствие. Преуспеваю. Поработал я за это время хорошо и утвержден главным врачом и 1-й Советской больницы. Это оттого, что я сумел 2-ю больницу сделать светлой, чистой, с хорошим воздухом, с подтянутым персоналом и обслуженными больными. Это же предстоит сделать мне и в 1-й больнице, но только в большем и трудном масштабе.

Побывал за это время в Москве. Я травмирован ею, и у меня там создается тревожно-мнительное настроение. Вернулся сюда с радостью и вновь почувствовал себя уважаемым человеком. Вечера в Москве прошли так: был на концерте в Большом зале консерватории. Сорок лет хожу я в этот зал. Сколько перемены во мне, сколько событий в мире произошло за эти 40 лет!

Москва с наступлением сумерек страшна… А музыка звучит вечностью «vita brevis ars longa»… Второй вечер провел у Любочки.

У нее в гостях «настоящий генерал», и мне было любопытно посмотреть на эту породу людей. Наконец, третий вечер провел у Сережи Симонова. Там были пианисты Софроницкий, Оборин, ученый секретарь консерватории И.И.Любимов, которого я очень люблю. Последний рассказал много занимательного о положении и состоянии церкви. Трудное и скользкое ее положение. Настоящий народ вымер. Остались оборушки, приспособленцы, хорошо еще, если они честны, но ведь нет и этой уверенности.

Читаю с наслаждением Барсукова «Жизнь и труды Погодина».

8 июля. Кокошкино. «Тяжело мне было узнать, уважаемый М. М., о гибели Георгия Диомидовича Бубликова. Вспоминаются его детски радостная улыбка при примерке Вашей белой шляпы, или закутанная в плед фигура за столом. Много в нем было детской непосредственности. И с каким наслаждением он впитывал дни в Кокошкине. Вы, конечно, были к нему несправедливы, услав его отсюда. Дни радости человек воспринимает редко, и не надо их нарушать. Перевоспитывать?.. Да, воспитывать человека и то можно до 8—10 лет… А сколько при этом нужно любви к нему и снисхождения, и в то же время справедливости. Ну, что же делать — прошлого не вернешь. В память его и Володи будем осторожнее с другими. Не нам перевоспитывать людей. Перевоспитает их жизнь без нас. Если же можно дать радость человеку и возможность отдохнуть душой — должны дать, чтобы светлые воспоминания об этом согревали его в скорбные и тяжелые дни. Всего доброго. А.Крюкова».

15 июля. Тифлис. «Дорогой М. М., нет писем Ваших, беспокоюсь. Сведения из Москвы о Вас дают пищу всяким домыслам. Я писала уже Вам — благодарила за деньги. Я получила их. Силы совсем ослабели. Голодаю, ем один хлеб

почти, столовой нет. Жара, клопы, пыль, отсутствие воды — все омерзительно в этом городе. Одно хорошо — нет пиратов воздушных… Одиночество меня страшит, чужой язык угнетает. Вообще, нет сил и больно это сознание.

Привет. Н.Вревская».

22 июля. Полевая почта. «Дорогой М. М., получил Ваше хорошее, теплое письмо, ношу его в кармане и перечитываю. Улыбнулся, читая о Вашем треугольнике — КВТ. Да, действительно счастье, что Вы живете между его углами.

О Егоре Егоровиче Фромгольде прочитал строки с ужасом. Внутренне же не совсем уверен, что он не натворил дел в критические дни для Москвы 15–16 октября 41 года.

Жаль, что очень мало пишете о Сереже Симонове. Его я искренне люблю и много связано хорошего, музыкального, спокойного и умного с ним. Он действует, как теплая ванна.

Читая Ваше письмо, переношусь в другую жизнь. Очень ярко выплывают образы прошлого. Настоящего там у Вас я себе не представляю, так, как и Вы, вероятно, нашей жизни. Попробую рассказать Вам о себе и антураже. Представьте Вы себе верзилу в форме медицинского подполковника, с седеющими волосами и сильно поредевшим теменем. Ношу кирзовые сапоги, именуемые у нас "тиграми", револьвер на боку, стетоскоп в кармане. Володя сейчас же нарисовал бы на это чудище карикатуру.

Работа у меня сложная, но больше всего меня тянет на передний край — видимо, голос крови — я ведь из военных. Масса бесконечных разъездов на машине или лошадях. За 25 месяцев ни разу не ездил по железной дороге. Только один раз видел полированную поверхность рояля. Первого июня был свидетелем сильнейшего современного боя со всеми техническими средствами. Впечатление большое, тяжелое — много гибнет людей.

С начальством не лажу, и здесь только я понял, что не всегда удобно быть лицом, ну хотя бы с профилем Вашим, или Сережи Симонова.

Дела у немцев дрянь, и это покрывает все личные неудачи и неприятности. Надо много, много работать, а это дается только в том случае, если в основе жизни и деятельности лежит большой принцип. Не упрекайте меня в доктринерстве и простите за эту философию. Она-то, в общем, примитивна, но в наших условиях и простые вещи приобретают громадное значение.

Так вот заскучал по музыке. С громадными трудностями достал скрипку и минут сорок нахожу время играть в сумерки. Это большая отрада. Совершенно почти не читаю, но вчера достал "Гамлета" в переводе Пастернака и с наслаждением

перелистываю. Общество окружающих: есть замечательные, есть и очень плохие. Это огорчает, потому что какая там ни война, а без быта не обойдешься… Один умный человек сказал, что война — это прежде всего ожидание, и это верно. Больше всего приходится ждать, иногда по очень долгу, а это надо уметь. Сейчас мне надо уезжать, а я с Вами не наговорился. Ваш Е.Медведев».

2 июля. Муром. «Пользуюсь оказией, дорогой М. М., чтобы послать Вам "нецензурную" записочку. Может быть, и Вы черкнете такой же "нецензурный" ответ.

Подательницы записки — мои операционные санитарки. Поехали они во Владимир провожать сошедшую с ума мою операционную сестру. Муромские головотяпы из военкора некоторое время тому назад ее мобилизовали и в 24 часа отправили на фронт, а она, бедняга, там заболела "мозгами набекрень", и ее привезли обратно для помещения в психбольницу. У меня же в результате в течение двух недель ни одна операция не прошла без нагноения. Да и сейчас я еще не вполне устроился и не залечил нанесенную хирургическому отделению рану.

Живем мы со старухой, дорогой друже, пока сносно, поспели овощи на своем огороде, ну, а все же с большим страхом ждем наступающую зиму — ни полена дров нет, и не предвидится, да и пищевые запасы наши не ахти как велики и не обещают даже полуголодную зиму. В больнице мы дошли до последней степени разорения и развала. Без воды (это в хирургическом-то отделении), нет часто света, нет спирта, нет никакого наркоза, не хватает белой марли. Об инструментах я уж не говорю. Шелк достаю у местных женщин, которые когда-то вышивали шелками. Ведь, вероятно, и во Владимире те же условия. Воображаю, как трудно Вам работать. Даже московские институты жалуются на слабость снабжения. Кстати, знаете ли Вы, что Бурденко и Юдин избраны членами Королевского Хирургического общества в Лондоне? В Москву приезжала целая делегация крупнейших хирургов Англии и США и привезли им дипломы и тоги. Юдин "угостил" гостей операциями на желудке и пищеводе. По отзывам очевидцев, это был блестящий показ. Молодец Сергей Сергеевич! Кроме того, он демонстрировал 5000 инородных тел, удаленных из пищевода. Имейте ввиду, что он не имеет ни одного советского ордена…

Ну, желаю Вам, дорогой и родной М. М., счастливо пережить грядущую зиму. Ваш Н.Печкин».

30 июля. Кокошкино. «Уважаемый М. МЛ Вот я никак не могу понять, зачем Вы себе берете так много работы? В настоящее время ведь всякая работа рассматривается лишь с точки зрения

необходимости и материальных благ. Неужели для одного недостаточно того, что дает заведование одной больницей, и является необходимость взять еще такую же работу? Или это стремление к работе является с возрастом, или увеличиваются потребности человека? Ведь Вы были так скромны в своем обиходе.

Вот если судьбой суждено, чтобы мы увиделись, то я очень боюсь прочитать в Ваших глазах пренебрежение к моей особе. Но я надеюсь, что Вы призовете на помощь весь свой такт и выдержку. Ведь нас, учителей, прикрепили на лето работать в колхозе, как рядовых колхозниц. Босая, в худеньком вылинявшем платьишке, с грязным мешком за спиной для выполотой травы… Счастье мое, что никогда я не делала себе маникюра, иначе не могла бы защититься от заболевания пальцев. Возвращаюсь с работы такая усталая, что едва хватает сил вымыть растрескавшиеся ноги от сухой глины, Добавьте: что питание все тоже, а зарплату выплачивают в половинном размере. Итак, я получила 104 рубля и на это не могу купить даже куска мыла. Работаю, конечно, не силою, а нервами, и поэтому получается как волны — вслед за подъемом, падение…

Ну, будьте сыты и здоровы. А.Крюкова».

3 августа. «Милый М. М.I Лежу в городской больнице в Загорске. Здесь очень голодно, но мило. Провожу время на деревянном крылечке на сене, читаю серьезные, полезные книги и наслаждаюсь. Положили меня с дистрофией и авитаминозом и, наверно, скоро выпишут — здесь уж слишком голодно, чтобы можно было долго выдержать, а жаль, можно бы хорошо отдохнуть, а я с моими больными ногами никуда не годна. От пилки дров в лесу меня освободили. Милая Софья Андреевна Толстая-Есенина прислала мне 10 кило сахарной свеклы, и сестра Наденька заботится обо мне. И вот благодаря помощи всех понемногу, в том числе и Вашей, все еще живу.

Была я в Косино в доме у Софьи Владимировны Олсуфьевой и там узнала, что зимой она очень болела от голода. Жива ли она?

Были бы средства, поехала бы к ней. Болея все больше, люблю природу и Бога. И счастлива этим. На темные стороны жизни стараюсь не глядеть. Любящая Вас Т.Розанова».

4 августа. Москва. «Дорогой М. М.! Пишу Вам в четвертом часу ночи. Не спится. В комнате душно. Пахнет увядающими цветами. Спокойно и бесстрастно тикают прадедовские часы. Тишина. Опустошенная только что прошедшим концертом, душа мается и тоскует. После нескольких часов радости с болью, она еще острее ощущает действительность.

Знаю, что Вы уже неплохо устроены и, как всегда, приобрели

общее расположение. Рад за Вас и завидую этой Вашей способности. Говорят, мир — это зеркало, как в него смотришь, так оно тебе и отвечает. Я, видно, не умею, не умею смотреться как нужно, хотя и имею много данных взглянуть иначе.

Крепко Вас обнимаю. А.Егоров».

10 августа. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Наступают длинные одинокие вечера, и я, как встарь, принимаюсь за общение с близкими-далекими. Представляю себе очень ясно Вас в больнице. Кругом дали, должно быть, различимо и кладбище… Все это мне и дорого, и близко, и когда хорошо Вам, хорошо и душе Василия В-ча. Он Вас любил больше всех.

Возможно, что скоро я повидаю Вас. Мечтаю посидеть и помолчать у Володи и поговорить с Вами. Ваши выписки из писаний В. В-ча прочитываю и, как всегда, подпадаю под очарование его стиля, его мышления, его гения. Как долго я жил рядом с Вами в Ленинграде и не посмел придти пожать ему руку. Итак, до скорого свидания. М. М.».

20 августа. Муром. «Дорогой и милый М. М., направляю Вам опять одного сумасброда, покушавшегося на самоубийство от прелестей окружавшей его жизни. Несчастный сдал под напором "вольного дыхания" нашей удивительной страны… А как моя бедная операционная сестра? Вправили ей мозги-то?

А я с каждым днем в работе молодею и молодею. Боюсь, скоро буду ходить под себя.

Хочу рассказать Вам маленький эпизод в моей работе, где Господь совершил явное чудо. После операции зоба больной надо было сделать переливание крови — 0/1/. Я велел готовить, а сам вышел по делам из операционной, а переливание крови должна была сделать молодая врач-практикантка. Уверенная в себе, она решила не ожидать меня и начать переливание. Игла введена, начато переливание — вдруг лопается резиновая трубка. Почему, неизвестно. Быстро меняют систему, вновь начинают вливание. Влито 5—10 грамм. Вдруг игла выскакивает и падает на пол. Почему? Врачиха растерялась, а кровь льется из ампулы на пол, и вылилась почти вся. В этот момент больная заявляет, что у нее появились боли в пояснице. Хватаю ампулу и вижу на ней — А/11/, но двойка смазана… Все обошлось благополучно… Не можете себе представить, как я был потрясен этой явной Божьей милостью…

Крепко обнимаю Вас и крепко целую. Ваш искренно любящий Вас друг, Н.Печкин».

21 августа. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Отметкой, поставленной Вами за последнее мое письмо Вам: "Непосредственно и живо", — я довольна. Откуда эта сила в нас?

Отвечу словами Полонского:

Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним;
Но солнца нет — и по земле
Тьма стелется, как дым.

Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним;
Но нет любви — и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.

Да, Вы правы, любовь творит чудеса. Велика сила и мощь женского сердца. Откуда же иначе мы можем, когда потребуется, находить силы на ряд бессонных ночей около ребенка, у кровати умирающих, тяжелобольных, производя своею лаской больше пользы, чем лекарства… Вот Катюша говорит мне: "Ах, мама, как холодно без валенок и шубы. Счастливые девочки, какие в шубах". Слышать эти слова ужасно, и понятны они нам, у кого сердце болело о ком-нибудь… Пересмотрела все мои юбки, вышедшие из употребления старые одежды. Из одних взята вата, откуда-то выдран воротничок, юбки пошли на подкладку, а небольшой отрез, предназначенный для моего костюма, при помощи великих ухищрений и маскировки, пошел наверх… Вышла шубка — коротковата, узковата, но теплая. "Ах, мама, спасибо тебе", — уже с не детским выражением в глазах обняла девочка мою шею… Вот Вы спрашиваете, не послать ли Вам денег мне? Отвечаю просто — когда очень нужно будет, попрошу. А.Крюкова».

21 августа (из дневника). Дорога в «мою больницу» шла мимо громадной старинной усадьбы 1-й Советской больницы. Старые деревья парка и чудесный, русского ампира, белый дворец с колоннами в глубине — вызывали мое восхищение, зависть и, казалось, несбыточную мечту пожить в этом дворце с окнами в парк под сенью купола и столетних лип… И вот теперь я хозяин и дворца, и парка… Привожу их в порядок, и мне отделывают комнату с окнами в парк, а через него на шоссе, идущее в Горький. Тюрьма, кладбище и психбольница отошли на задний план. И я готов сказать моим милым москвичам словами князя И.М.Долгорукова:

Как, чаю, душно Вам в Москве.
Я, лежа здесь на мураве,
Быть в вашей не желаю коже.
В столице стук один карет

И пыль несносная замучит
Опричь того, что так наскучит
Театр вседневных там сует…

25 августа. Загорск. «Милый, милый М. М.I Благодарю Вас за присланные денежки. Меня продержали в больнице 8 дней и выписали больную. Нет мест и нет там питания. Два раза была в лесу, набрала там грибов и желудей. В лесу было очень хорошо, но заблудилась, ночевала в лесу одна, очень устала и простудилась.

Читаю Игнатия Брянчанинова, поверяю себя и русское общество и вижу, как далеко мы ушли все от истины и как все испытания нам полезны, если мы захотим их уразуметь. Т.Розанова».

8 сентября. Тифлис. «Выполняю Ваше предписание по оформлению вызова отсюда. Одновременно пишу академикам Комарову и Байкову. Тот и другой могут быстро продвинуть дело в собесе. Пока я тружусь — заведую химической лабораторией. Имею комнату, 700 грамм хлеба и суп из макарон пожиже и макароны на второе погуще. Очень редко полселедки вместо макарон. При большой ответственной работе — питание не соответственное. Базар недоступен. Ну, да это — скучно…

Где мир, одной мечте послушный?
Мне настоящий опустел…

Вижу утрами и вечерами облака, выплывающие из-за ближайшей горы. Ловлю отсветы солнца и луны… вот и все мгновения общения с природой. И благодарю Создателя, и да будет воля Его. Остальное время в работе и в одиночестве среди людей.

Видаю редко и на лету Борю (сына). Он напоминает Вас своею морскою формою, наше путешествие из Краснодара, Дон… И грустно, и отрадно.

Мне не хочется терять свою самостоятельность и переходить на иждивение Дома престарелых ученых. В Ленинграде последнее время он был жалок. И потом, компания ученых снобов, главным образом женского рода! Это для меня преддверие кладбища… Конечно, внешние обстоятельства долго еще будут трудны даже и по окончании войны… Но ведь квартира в Ленинграде цела, Университет вернется, ведь Борис демобилизуется… Мечты, мечты! Впрочем, Вы правы: "А там видно будет".

Не пишу благодарностей, а скажу, что письмо Ваше ношу в

кармане и щупаю время от времени, и тепло делается на угрюмой душе. Н.Вревская».

12 сентября (из дневника). Ночь. Холодный, хмурый осенний день. Встал в восемь. Вышел к больным в десятом. Все заняты копкой картофеля, и всюду тишина. Нет даже воскресных посетителей у больных. Побывал на рынке. Масло русское — 900 руб. кг. Лук — 60 руб. Кусок простого мыла — 300 руб. Стакан соли — 25–30 руб.

Вторая Советская больница переведена на территорию 1-й, и я неделю назад переехал в чудесную комнату с отдельным тамбуром и полою, в «Белый корпус» больницы. Построен он при Павле. Открыт 2 июля 1802 года князем и губернатором Владимира И.М.Долгоруким. В «Хижине на Рпени» читаем:

Вот двор, где пылкий Глеб княжил —
Батый пришел и в гневе яром,

Как волк ягнят, одним ударом
Владимир весь испепелил.

Мой взор от сих печальных сцен
Других искать стремился видов.
Новейших памятник времен —
Встречает замок инвалидов.

Тут состраданье и любовь
Дают убежище заслугам.
Голодным хлеб, врача недугам,
И юную питают кровь…

Через несколько палат от меня по коридору, под куполом, двухсветное помещение бывшей церкви Петра и Павла. Оно было в страшном запустении, обращенное в кладовку и склад старых вещей. Я сделал из него конференц-зал, вернул ему прежний вид, выкрасил в два цвета и хожу любоваться его линиями, его простором, его общим гармоническим ансамблем.

28-го августа горисполком вынес мне благодарность и премировал «костюмом на заказ»… Вообще успех, успех…

31-го августа уехала от меня Анюшка. Прожила она здесь две недели. Вечерами я читал ей свой дневник студенческих времен, и мы с нею в «карете прошлого» далеко, далеко… Побывали у соборов, в церкви на кладбище, посидели над Клязьмою — «быстрой реченьки» — и оба со страхом считали уходящие дни.

Она отдохнула, попиталась, ее опухшие ноги вернули свою форму, а морщинки на лице разгладились и стали не такими заметными. Какое счастье иметь возможность приютить, накормить, приголубить близкого человека!

12 сентября. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Тридцать пар детских глаз много ждут от меня, а я чувствую, что работой владею и не обману их.

Летняя работа в колхозе расширила кругозор, сблизила с населением и выработала из меня агитатора в деревне. Вот только заботы о быте поглощают много внимания. Тут, пожалуй, дела побольше, чем Вас с двумя больницами. Ведь я "девочка для всего".

А вот, что работа Ваша отмечена, — я горжусь этим. Знаю, ведь, какая работа и какие люди сейчас отмечаются.

Письмо хочу закончить картинкой: "Как мама доставила удовольствие Катюше".

На Катю целиком легла забота о козах. Пасти два раза в день 5 животных очень серьезная работа, и очень надоедливая. Девочка все лето просила взять ее в Москву в кино. И вот 5 сентября мы с нею собрались. Решили выехать поездом в 6 вечера. Весь день, ожидая предстоящее удовольствие, девочка быстро и весело управлялась со своими обязанностями. Несмотря на холод, ее нельзя было заставить одеться потеплее — это, по ее мнению, нарушало красоту ее костюма. Часов в 8 прибыли в Москву. В сгущавшихся сумерках дошли до квартиры, где предполагали остановиться. Неожиданная неприятность: встречает незнакомая личность и сообщает, что приятели мои здесь больше не живут, а в Ростовском пер., дом такой-то, квартира такая… Идем разыскивать Ростовский пер., а оказывается их семь. "Какой Вам нужен?.." Все темнее, все холоднее… Есть еще знакомые, но их может и не быть в Москве. "А если их не окажется, куда мы, мамочка, денемся ночью? Посмотри, как страшно. Какие все большие дома. Пойдем скорее на вокзал и поедем на последнем поезде домой". Побежали к трамваю. Трамвай переполнен. "Нет, мама, не сяду, не поеду на нем — все они ругаются там, пожалуй, подерутся". И вот, озираясь во все стороны, в темноте спешим к вокзалу. Наконец, мы на вокзале… Через час были дома. Как хорошо дома. "И кисонька, видя меня, рада. Никогда больше не поеду в Москву. У нас лучше…" И снова бодро и радостно выполняет свои делишки.

Ну, будьте здоровы. А.Крюкова».

23 сентября. Таруса. «Дорогой М. МЛ Не отвечал Вам не по лености, а из-за огорода. Я люблю огород, копаться в земле, возиться с растениями, и все в этом году довел сам до конца и

горжусь этим. У меня весною не было ни денег, ни картошки, потому я посадил много махорки, надеясь менять ее зимой. Махорка оказалась самым трудоемким из мне известных растений — и уход, и последующая обработка. Иногда я хотел поднять голову и начать выть… Ничего не читал, никому не писал и находился в тоске по письменному столу. Живых людей почти не вижу… Словом, одичал.

В августе моя приятельница, когда-то известная артистка Малого театра Н.А.Смирнова, заставила меня выручить ее и выступить в ее драмкружке. Так родился новый маститый артист. Играл я прохвоста немецкого врача… Публика здесь забавно относится к спектаклю и по-боевому реагирует на действие. Все время слышишь из зала реплики. Все это напоминает старинный театр — зритель участник.

Всего доброго. С.Цветков».

25 сентября. Харьков. «Милые мои тети и дяди! Не знаю даже, к кому обращаться после двухлетней полной оторванности и неизвестности. Хочу Вам сообщить о себе, что несмотря на все ужасы войны, оккупации немцев, переходов фронтов, бомбардировок, мы все каким-то чудом уцелели, и наша семья продолжает бороться за существование с новыми силами и светлыми надеждами после прихода наших избавителей — Красной Армии.

О том, сколько было пережито, сколько перемучились, сколько потеряли сил и здоровья, какими нищими мы остались — можно было бы написать очень много… но не хочу вспоминать и переживать все это вновь. Самое главное — живы. Немногие семьи из окружающих могут это сказать о себе. Сейчас все мы работаем в Сельскохоз. институте. Зима наступающая очень нас страшит — нет ни топлива, никаких запасов, нет галош, но мы все вместе — и это дает силы… Напишите же и Вы о себе. Мне почему-то кажется, что тети могли и выехать из Москвы, а вот дядя Миша наверняка не поехал никуда.

Крепко, крепко целую и жду ответа. Ольга Гайдарова».

28 сентября. Загорск. «Милый М. М., хочется сказать Вам, как мне приятен был Ваш приезд и наша встреча. Теперь я стала очень старенькая и стала больше понимать Вас. Я потом очень смеялась, вспоминая, как Вы сказали: "Если бы Вас, Т. В., все время кормить мясом, чтобы было это при вашем темпераменте". Я очень смеялась и подумала: слава Богу, что никогда не любила мяса и никогда много его не употребляла.

Хочу Вас очень поблагодарить за богатые подарки и за консервы. Одну баночку я отдала симпатичному монтеру, и он наконец, поправил мне электричество. Лет десять я мучилась с

неисправной проводкой, и теперь такое счастье, что у меня есть свет. Вас я напоила холодным кофеем. Жалею об этом очень и надеюсь, что Вы в другой раз приедете, и я Вас хозяйственно угощу всем горячим и вкусно. Я так об этом мечтаю.

С.А.Толстая предлагает мне поехать погостить в Ясную Поляну, когда она будет там, чтобы мне было удобно и хорошо. Вот сколько впереди удовольствий. Пишите. Т.Розанова».

3 октября. Владимир. «Милая Т. В. — Вы не предупредили меня письмом. Такая шустрая. Что Вы стали "старенькой", я этого не нашел. И поведение Ваше — привезти в Москву столько книг и так быстро — говорит против Вас. Да и зачем Вам стареть? Живите, пожалуйста.

Я рад, что Вы поедете в Ясную Поляну и потом мне расскажете о ней. Только, пожалуйста, не горячитесь там и не суйтесь куда не надо, а сумейте отдохнуть степенно и покойно, чтобы и окружающим Вас был отдых, а не "трепыханье".

Я завтра еду в Иваново. Мне очень не хочется, но "положение" обязывает. Вернулся я сюда с радостью и живу как-то полно внешне и внутренне. Привез с собою кое-какие вещи, и комната моя здесь с окном на юг, в парк, становится мне родной.

В здешнем музее мне вчера сказали о смерти Юрия Александровича Олсуфьева. Слухи эти идут из Третьяковской галереи, где собирают сейчас реставраторов. Меня познакомили с ним в 1926 году у Троицы. А его "Афоризмы" и описание, или лучше — воспоминания "Буйцы", и затем Софья Владимировна сделали его образ близким. И больно сжалось сердце от этой смерти… Как страшна и же стока жизнь!.. Но… в человеке три начала: человеческое, животное и Божеское. Отсюда все страшное в нашей жизни, ибо животное побеждает в человеке и человеческое, и Божеское. Пишите. Всегда рад Вашим письмам. М. М.».

7 октября — 25 ноября. День преподобного Сергия. Загорск. «Помните у Ключевского: "Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам Великим Строителем нашего нравственного поряд ка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота Лавры Преподобного затворятся, и лампады погаснут над его гробницей только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его".

И вот ворота лавры закрыты. Лампада над его гробницей погасли…

На днях была на кладбище. Боярышник подрезан, все убрано и могила производит впечатление ухоженной. Верно, Ваша любящая рука произвела это. Я пользуюсь чудесной погодой и

много времени провожу на воздухе.

Любящая Вас Т.Розанова».

8 октября. Алабино. «Дорогой М. М., счастливый Вы человек, дорогой мой! "Ибо жизнь — это радость", — говорите Вы… Это как… сказать. Моим старческим мозгам рисуется другая картина.

Единственный момент в истории нашей планеты я мог бы поставить рядом с настоящим положением на ней — это тот, который носит название "Всемирного потопа"… Кончился период ледников… Чуть не часами поднимается температура воздуха. Вскрыты области вечной мерзлоты… Открылись хляби небесные. 40 дней льет дождь. Затоплены все равнины… Стада животных, стаи птиц… и… стада людей в животном ужасе несутся в горы… их догоняют волны… и… губят… Да!.. Тогда вода… Теперь огонь… с неба, из-под земли… на всей планете… Картина из "Апокалипсиса"… Какая тут радость!.. К.Славский».

15 октября. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Спасибо Вам за письмо с преподобным Сергием. И за строки о могиле. Они меня утешили. День, как помните, был очень дурен. Я вымел все листья, вытер все, но сделал не так, как сделал бы в другую погоду. И потом, обрезая боярышник, могли не убрать после. Значит, убрали? Ну, дай Бог им здоровья. А я буду знать, что "ухожено", и мне легче будет "груститься".

Вечера длинные, одинокие, и я "утешаюсь" своим уютом и тишиною. С Анною Мих. разговариваю по телефону, слышу ее голос, ее заботу, и мне веселее. По возвращении из Москвы не могу попасть в свою колею — "покойного созерцания". На душе "смятение чувств", или что-то подобное…

Ездил в Иваново. Это тоже меня "дисгармонировало". Не по мне все большие собрания. Уж очень в них много "скрытых пружин действия". И на чтение не попаду, гармоничное душе… Я знаю, что Вы скажете, и сам думаю тоже, а вот приняться вплотную не могу.

Пишите. М. М.».

19 октября. Москва. «Родной мой! Жизнь есть преодоление трудностей. Никогда, как сейчас, я чувствую это. А их так много, что они становятся не под силу… Ирина, отец, Марианна, мысли всегда о тебе. В жизни с тобою соприкосновение в жизненных мелочах — гго моя радость. Но мысли о тебе такие тревожные, такие грустные, что не дают мне спать… И все в нашей жизни идет, все строится помимо нас.

Вчера и сегодня горит у нас электричество. Радостно. Но, Боже мой, какая страшная квартира! Как закопчена, какая сырая. Углы все черные. А за столом при большой лампе какие мне все показались — страшными, усталыми, замученными. Надо думать

о затемненных абажурах и не слишком ярких лампах.

У отца нет работы. Сказали, что "такие не подходят"… Возится с печкой, дровами и молчит. У Ирины — "попала в жуткий переплет с заводом" и не знает, как выскочит. Я? Злая, нехорошая, часто отравляю всем жизнь и ночами не сплю, молюсь Богу, прошу помочь мне, прошу о том, чтобы ты был около меня — с тобою я лучше. С тобою есть у меня радость, а не только будни, как сейчас.

Ну, будь здоров, родной. Сохраняй свою бодрость и жизнерадостность. Крепко целую. Аня».

22 октября. Муром. «Шлю привет, дорогой друг, М. М. Что-то Вы замолчали? Здоровы ли? Благополучны?.. Недавно получил письмо от "орденоносного деда" (Славского). Тяжело переживает старик войну. Пишет кошмарные письма. Д.В.Никитин был в Москве и пишет, что Славский очень постарел, ходит медленно, сгорбившись, еле передвигает ноги… А Славский пишет: "Дм. Вас. ужасно подряхлел. Больше, чем можно было ожидать"… Должно быть, оба хороши — наши старички. Ну, да ведь и мы с Вами не молодеем.

Кстати, шлю Вам сердечное спасибо за Вашу ласку и прием моих санитарок. Они до того были тронуты необычным в настоящее время ласковым приемом, что, рассказывая мне, прослезились.

Получил сегодня письмо от Льва Куприяновича Хоцянова. Он потерял свою дочь — врача на фронте. Бедный! Мне до глубины души жаль его. Я потерял свою Верушу 15 лет тому назад, а душа болит так, как будто это было вчера. До сих пор во мне сидит горько рыдающий человек. Живешь, работаешь, обращаешься с людьми, а стоит остаться одному, с самим собою, и слышишь эти рыдания, и на глазах слезы…

Пишите, друже, не забывайте меня. Н.Печкин».

23 октября. Загорск. «Милый, милый М. М. Вы пишете о своем душевном состоянии как смятенном, а у меня покой и тишина на душе. Есть свет, правда, только вечерами, но как он меня утешает! Сознание, что я могу написать письмо, прочесть несколько страниц серьезной книги — какое это утешение.

На работе у меня все благополучно Простые люди стали ко мне привыкать и считать меня своею — это меня радует.

О Ясной Поляне не знаю, что сказать Вам. Подкормлюсь там немного, но отдохну ли — не знаю. Мне всегда нужна соответствующая атмосфера, а будет ли она там, не знаю… Наступает для меня самое трудное время года — лицо и ноги остаются отечными, все болит. Пишите. Т.Розанова».

24 октября. Вчера состоялось открытие «Научного общества

врачей Владимира» во вновь отремонтированном мною зале-церкви. Еще за час до начала я был в тревоге из-за задержки проводки электричества в зал и люстру, вывезенную мною из Москвы. Однако все удалось. Зал был эффектен, народу собралось много, был делегат из Иваново от облздравотдела. Председателем Общества выбрали меня. А заведущий Владимирским здравотделом доктор И.М.Борисовский, подойдя ко мне после заседания, сказал: «Обещаю Вам, М. М., пока я останусь на своем месте, не допущу ни одного плаката в эту залу». Я молча пожал ему руку.

Живу я «бурно». Иногда сам удивляюсь своей настойчивости и энергии. Недаром кое-кто из местных зовет меня «московским чертом»… А чего стоило мне «сколотить» научное общество и обставить его открытие и торжественно, и красиво… И вот я сегодня отдыхаю, взял ванну, напился вкусного чаю и раньше обычного лягу в постель. Осень стоит восхитительная… Иногда гуляю немного за городом. Это единственное, чем я себя балую.

Иваново. Село Богородское. Дом престарелых ученых. «Здравствуй, дорогой Миша! После более чем двухлетнего странствования я причалил снова к берегам "ДПУ", и мы снова оказались с тобою земляками. Хочу хотя бы еще один раз в жизни обнять тебя и побеседовать с тобою. За годы войны приобрел на почве плохого питания болезнь сердца и отеки ног. Хотелось бы и полечиться у тебя. Мой диагноз у здешнего врача: "алиментарная дистрофия". Жилищные и бытовые условия моей жизни здесь мало удовлетворены.

Желаю тебе сохранить работоспособность до конца дней твоих. Пожалуй, это самое ценное для человека. Обнимаю тебя. Лихоносов».

28 октября. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Вот Вы пишете:

Протянуло паутину
Золотое бабье лето.
И куда я взгляд не кину,
В желтый траур все одето…

Не это видят наши глаза. Во все щели худого дома пробирается холод. Дров на зиму нет. Сырые дрова в печке не столько горят и дают тепло, сколько шипят, пищат и дают дым по всему дому, требуя при этом столько времени, сколько не имеется. Животные требуют утепления. Огород под зиму нужно удобрить, перекопать — ведь жизнь поддерживается этим клочком земли… А одежда? А обувь?.. И очень отвлекает и увлекает прямая работа. Тридцать человечков, которых нужно

научить мыслить, преодолевать трудности и приобретать привычку работать… И детские глаза, заблестевшие от радости, что и он понял, что и он может работать — редко забываются… Вот девочка, похожая на репку, так не хотела идти в школу, а теперь тихая радость светится в ее глазах при встрече со мною. "Ты наша мама (ведь им по 8 лет), только ты на нас совсем не ругаешься". А это желание угостить меня своим завтраком! "Попробуй — он ведь вкусный какой"… Вот мальчуган, так похожий на жука-плавунца, никак еще не поддается мне. "А разве ты будешь проверять, сколько у нас памяти накопилось?" — с серьезным видом спрашивает он меня. "Обязательно", — и объясняю ему, как иуду это делать. Задумывается, личико серьезное. Вызываю с более лучшим учеником его отвечать. "Нет, еще у меня мало памяти накопилось. А когда еще будешь проверять?"… Так незаметно, шаг за шагом, где игрой, где строгостью, двигаемся в работе. И как легко в это время загубить их. Но "Книга о Володе", сам Володя так много мне говорят всегда. Я помню ее постоянно. Хорошо, что Вы ее написали. А.Крюкова».

31 октября. Харьков. «Дорогой дядя Миша! Очень мы все обрадовались, получив Ваше хорошее ласковое письмо. Очень рады, что Вы все живы и здоровы, все работаете… А наша судьба за эти два года была ужасна. Началось с того, что мы все эвакуировались. Голодали, продавали вещи. Я попыталась пойти на село в 25 градусов морозу "на менку", как у нас говорят, но вернулась ни с чем, а только с опухшими ногами. Торговать мы не сумели. Огород нам ничего не дал. В январе свалился Николай Николаевич. Ему нужно тепло, покой, а тут от бомбежки обвалился потолок, вылетели все стекла. На дворе холод, снег, а спрятаться некуда. Запасов в доме никаких, и выйти на улицу нельзя. Пили растаявший грязный снег, так как от пожаров и разрушений снег был черен… Я до того дошла, что едва ходила. И вот тут-то пришла очередь Танюши спасать нас. Она бросила учебу и пошла уборщицей и судомойкой за стол и хлеб. Тяжело ей было, но приспособилась, делилась с нами каждым куском, и я отошла около нее, и отец поправился.

Теперь все это позади. Мы остались нищими, но живы и смирились. Пишу под коптилку. Электричества нет у нас два года. Рядом на счетах считает что-то Ник. Ник. Старичок он стал совсем, сгорбился, согнулся.

Ну, крепко, крепко целую Вас. Ольга Гайдарова».

В тот же день. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна. Письмецо Ваше получил. Вы очень метки в Ваших определениях неустройств Вашей жизни, и я всегда ясно представляю Ваше

бытие. А литературный талант Ваш от отца. Думаю, в другое время бы Вы писали.

Я дочитываю с наслаждением "Литературные очерки" В.В.Розанова. Изумительный он писатель. И сколько грусти, сколько мудрости и красоты в его писаниях!

И я принялся за свой скромный труд. Пишу главу "Медвежья Гора". Пользуюсь письмами того времени и получаю неизъяснимое удовольствие. Оказывается, использование старых писем в литературе называется "палеографией". Я этого не знал. Это мое писание очень скрашивает мои длинные одинокие вечера… А знаете — эта разлука с Анной Михаил., как никакая другая, показала нашу близость с ней. Мы оба скучаем и грустим друг о друге.

Работа и дела мои здесь идут так хорошо, что я и не ожидал. И правда, я прилежно поработал. Скучаю только о музыке. Оказывается, хорошая серьезная музыка есть только в Москве да еще в Ленинграде… Как это страшно и как грустно.

Падает снежок. Зима, но все же я и сегодня открывал окно… Днем был в городе и с радостью вернулся к себе. Вот уж действительно, я домашнее животное, и это от юности.

Ну, будьте здоровы. М. М.».

10 ноября (из дневника). Семь часов утра. Чудесное утро. Морозное, но солнечное и ясное. Листья еще не все опали. Не хватает антоновских яблок, крепких, пахучих, русских. Впрочем, многого не хватает. Жизнь нища и голодна. Третьего дня я приехал из Иваново, так там у меня в лучшей гостинице города в камере хранения выкрали сумку с едою. Пальто и портфель не тронули, еду украли. На вокзале по командировкам нам дали «обед». В глиняных мисках на первое что-то серое с капустою на дне. На второе — мелко порезанная редиска, на третье — в такой же миске «суфле». Мы ели это «страшное», а кругом нас ходили как-то просочившиеся в это привилегированное место молодой парень и женщина с детьми. Мы отдали им остатки, но хлеба дать не могли, ибо и сами не имели…

От поездки в Москву впечатление тоже сероватое. Москва очень скромно начинает зализывать свои раны. Жизнь там трудна. И старому, одинокому человеку совсем не под силу. Для жизни сейчас прежде всего нужна физическая сила.

12 ноября. Загорск. «Дорогой М. МЛ Утешу Вас — жить мне стало гораздо лучше. У нас топят, есть свет, есть мешок картофеля и впереди немного денег. В Ясную Поляну вряд ли поеду — мало привлекательно. Зависеть от произвола и каприза Софьи Андреевны не так-то весело. Ее вульгарная любезность бывает тяжелее, чем самый грубый окрик рабочего человека. Она

типичная барыня. И хотя я ей бесконечно благодарна и она спасла меня от голодной смерти, но все же мне хочется как можно меньше от нее зависеть.

Вы в предыдущем письме, между прочим, писали: "Хочешь жизни хорошей, а смерти собачьей, — оставайся холостым". Ну, если в совести своей Вы покаетесь в грехах своих, то думаю, и смерть Ваша будет светлая и хорошая. Вы пишете также о моих литературных способностях. Думаю, Вы ошибаетесь — я слишком нетерпелива, чтобы стать писательницей. Для этого надо иметь большое терпение и любовь к людям дальним, а у меня этого нет. В письмах же своих я всегда стремлюсь правдиво описать факты, что всегда делает сильным и красочным перо.

В праздники наслаждаюсь Игнатием Брянчаниновым — его честностью в слове и удивительной художественной выразительностью.

Пишите о себе. Денег не посылайте. Теперь я живу лучше. Т.Розанова».

13 ноября. Полевал почта. «Многоуважаемый М. МЛ Вчера принесли Ваше письмо. Среди армейской жизни я довольно сильно, как мне кажется, огрубел. Письма вообще пишу редко. Написать Вам у меня несколько раз возникало желание, да вот чего-то не хватило для этого.

Ваше письмо сразу перенесло меня в "Историю Государства Российского" и влило бодрость в мое существование. Вспомнил сразу Ваши огромные книжные шкафы. Вашу комнату, где стены являлись шедеврами (как у Бальзака). Маленький столик у окна с неразрезанными до конца номерами журналов, или новоизданного Дантова Ада, кресло времен директории, гофрированный абажур и знаковый профиль Вашего "книжного знака".

Мне нравится в Вас, вернее — мне хочется проникнуться тем же жизненным духом, который при переселениях на новое место заставляет Вас браться за его историю, развернуть книгу.

Читать я стал мало. Кажется то, что забыл — забыл. Жду Вашего письма на мое пробное письмо. Юрий Вихляев».

15 ноября. Богородское. Дом престарелых ученых. «Дорогой Миша! Потребность беседы с тобою подвигла на готовность передвинуться к тебе несмотря на большое изнурение, но, видимо, придется обождать твоего служебного приезда в Иваново и посещения нас в Богородском, которое является, в сущности, пригородом Иваново. Наши семидесятилетние престарелые делают этот путь пешком. На ночевку мы устроим тебя у себя. Обеспечение престарелых здесь много хуже, чем известное тебе по приезду в Ленинград. Но регулярное, хотя и недостаточное

питание, и постельный режим мне обеспечен.

Мы, пожалуй, должны отпраздновать с тобою сорокалетний юбилей нашего знакомства. Непростительно, но я запамятовал, в 6-й или 7-й класс Острогожской гимназии ты поступил? Напомни мне. Сдается, в 7-й. Я благословляю те времена. Большая часть жизни позади. Большая часть трудностей, возможно, впереди. Но для преодоления их у меня еще достаточно бодрости, а вот страшны мне — темные людские страсти, а так же дела людские, противные природе человека. Мне пришлось быть около них. Они так поразили душу, что она нуждается в особом целительном лекарстве. Буду ожидать встречи с Тобою. Хочется ощутить теплоту твоих рук и пожить воспоминаниями нашей юности. Береги себя. Обнимаю. Д.Лихоносов».

16 ноября. Принялся писать свои воспоминания и пишу с азартом. Кому это нужно, кому это понадобится — не знаю, но мне это нужно. Это очень скрашивает мою жизнь здесь, и притом никому не во вред.

Прочитал за эти дни Бородина «Дмитрий Донской». Вышла эта вещь года полтора назад. Хорошая книга. Хорошо о Дмитрии и, особенно, хорошо о преподобном Сергии. Для автора он не Святой, и трактует он его не по «житийному», но ставит очень высоко и по уму, и по государственной мудрости.

Выпала красивая зима. Воздух чудесен… Плохо одно — нет музыки здесь. Сегодня прочитал в «Правде» о возвращении К.Н.Игумнова в Москву. Пишу ему и искренне радуюсь его благополучному возвращению и мечтаю, что он будет играть в «моем зале». Для этого нужно иметь приличный инструмент, а не то негодное пианино, что достал я, и нужно, чтобы К. Н. приехал сюда, но… тихонько, тихонько все будет…

18 ноября. Москва. «Миша, родной! Утро, еще все спят. Отец пошел за хлебом, а я хочу урвать несколько минут, чтобы написать тебе. В течение дня вырвать хоть одну минуту совершенно невозможно. Жизнь так полна, так насыщена бытом, что остается одна усталость, тревога и ничего больше. Когда я имею возможность остановиться — это в очереди у магазина, — и немного одуматься, у меня на сердце обида, обида, что нет со мною тебя, что кому-то нужно было сделать это, и я вот без моральной помощи, без проблеска юмора, праздника, радости мечусь как угорелая. Но то, что ты во Владимире, а не в Москве — это такое твое счастье. Кругом больные. Сейчас у Любочки воспаление легких. Катя тоже на больничном листе и с матерью. Вчера у Любочки температура снизилось, и отлегло немного от сердца. Слегла вчера Люлечка, тает у меня на глазах Максимовна. Комната у нее не топится, и сегодня отец идет ставить ей

железную печку и протягивает трубы через коридор в кухню. Она верит, что в тепле сразу выздоровеет и будет еще "выполнять норму". А пока она все время почти у нас, лежит на диване, очень часто дышит и шепчет что-то без конца… Вот наша жизнь! Вот наш быт — целый день печурка, картофель, самовары… Руки такие страшные, что смотреть противно… Ну… Ты не огорчайся. Многие, многие живут еще хуже, а я за все благодарю Бога… Ну, жду. Хочу видеть. Приезжай, родной. Аня.

P. S. Заходил сейчас А.С.Корчагин. Боже! Просто бог. Упитанный, молодой, благополучный шофер. Мы все рядом с ним пролетарии несчастные».

20 ноября. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Радуюсь Вашему теплу и свету. Дай Бог и впредь такое благополучие. Вот о чем я думаю — как помочь С.В.Олсуфьевой? Хоть немного помочь. Узнайте ее адрес и пошлите мне. Отсюда можно посылать посылки в какие-то "скорбные места". Боюсь, что ей никто ничего не посылает. Пожалуйста, пришлите мне ее адрес.

Живу я хорошо. Не хватает мне только своих да музыки. Был здесь два раза в гостях у врачей-хирургов. Вы знаете, я не охотник до "гостей", но положение обязывает, да и гости были устроены для меня. Угощение было обильное, но "духа настоящего" не было. Все же долгая жизнь в провинции среднего человека накладывает на него густую провинциальную патину.

В Загорск ехать зимою мне не хочется. К Володе не подойдешь, а быть в Загорске и не быть у него — это невозможно. Вот что будет весною. Еще раз спасибо за добрые вести о себе. Будет нужда в деньгах — напишите… М. М.».

22 ноября. Таруса. «Дорогой М. МЛ Все собирался ответить Вам на Ваше письмо, но не удавалось. Дни коротки, и не успеваю. Много времени отнимают хлебные очереди, столовая и дрова. Последнее мне не по силам, и минутное дело отнимает часы. Вечерами ни читать всласть, ни писать не могу. Уже почти два года сижу с коптилкою. Глаза резко изменяют и болят, а окулиста здесь нет. Керосин кончился, с трудом занял поллитра. Приходится уже экономить и на коптилку. Перспективы проводить бесконечные вечера во мраке и холоде навевают ужас.

Моя семья вернулась в Москву в разворованную квартиру. Исчезло все, представляющее хоть какую-нибудь ценность. Из бумаг моих и книг устраивали костры для освещения "воровских действий". Что уничтожено из архива — могу определить я один.

Я сейчас ломаю голову над тем, что мне делать? Работу здесь найти нельзя. Пропуска в Москву пока получить не удается… Счастливая у Вас профессия. Куда бы Вас судьба не закинула, везде есть ей применение, и везде Вы нужны.

Желаю доброго. С.Цветков».

26 ноября. Живу под постоянной угрозой остаться без топлива для больницы. И тогда сразу сырой, холодный воздух в палатах, нежилые коридоры, замерзшие окна и… больные, не встающие с постели, одетые, кто во что горазд… И всем нехорошо, а мне, глав ному доктору, горше и хуже всех. Упущений моих здесь нет. И власти всякие, и партийные и не партийные, впрочем, таких теперь не бывает, знают положение больницы и помогают, как могут, но по мощь эта недостаточна. Весь Владимир без топлива — и общественный, и личный… И вот на фоне этого бедствия как-то в своем служебном кабинете в конторе между всякими деловыми и неприятны ми разговорами, я услышал «Трио» Чайковского с К.Н.Игумновым у рояля. Боже мой, как разбередило это мою рану… И понял я тут, между прочим, что провинциальное отупение — это не от провинции самой, а от людей, постоянно в ней живущих… И отсюда… надо их бояться и быть от них подальше.

Вчера выступал на большом собрании в театре с докладом «О донорстве и работе Станции по переливанию крови». Сошло очень успешно. Сегодня этот доклад передают по радио. Словом, шумим, братец, шумим.

27 ноября. Загорск. «Дорогой М. М., здравствуйте! Спасибо Вам за Ваше письмо. Как грустно, что мы не можем с Вами встретиться и поговорить об очень многом. Здесь никому не интересен тот мир идей, в котором я живу и дышу.

Я читал "Дмитрия Донского" Бородина и считаю его одним и* лучших исторических романов в нашей литературе. Он не хуже не только "Петра I" и "Степана Разина", но и многих классических вещей, как "Князь Серебряный", "Юрий Милославский" и др. Автор сумел дать почувствовать колорит, можно даже сказать, аромат эпохи и своим языком, и образами.

О преп. Сергии есть хорошая монография проф. Голубинского. "Житие Сергия", написанное его учеником Епифанием (было фототипически издано в конце XIX века). Об Андрее Рублеве есть интересное исследование И.Э.Грабаря, и есть много у Ровинского: "Обозрение Иконописания в России", у Буслаева и, особенно, у Муратова. Кстати, Вы помните замечательное стихотворение Гумилева "Андрей Рублев"?

По вечерам я много читаю. С Москвою связь слабая. Не хватает, ох, как не хватает полумиллионной библиотеки Московской Духовной академии… Увы! Это до счастливого момента нашего возрождения невозможно будет иметь. Сейчас перечитываю "Воспоминания" Репина. Изумительны его "Молитвы на Акрополе". Сколько грусти и горькой неотвратимой правды.

Слышал я, что умерли Р.Роллан и М.Метерлинк. Обоих я очень любил. Их мысли — мои мысли. И немало утешения в скорбях дали мне они. А вообще, живу, бродя по отрадным лугам воспоминаний. Горькая услада!

Желаю Вам всего хорошего. Сергей Волков».

29 ноября. Тбилиси. «Получила вызов из горздрава Владимирского с обязательством явиться к 1.XII. Я была больна, лежала (нас отравили в столовой). Немного оправившись, поехала в Тбилиси и там свалилась основательно — с рожей и флегмоной на ноге. Ясно, что выехать не могла. Это письмо пишу, лежа на постели. Вообще, выехать по вызову так скоро мудрено — ведь надо здесь закончить все дела и по работе, и по жизни. Спасибо Вам. Ваша Н.Вревская».

Иваново. ЦПУ. «Спасибо тебе, родной, за твои лечебные советы. Я их очень ценю. Вчера врач ясно поставил диагноз моего заболевания как эксудативный плеврит. Выкачала немного жидкости. Гноя нет.

Я вспоминаю эти дни наш гимназический сквер-садик, который был между зданием гимназии и оградой на улицу — его посадили на моей памяти. Посадкой руководил преподаватель Макеев Тимофей Матвеевич. К концу наших гимназических лет садик уже поднялся, а лет через 7–8 буйно разросся. Что с ним теперь стало?.. Желаю тебе здоровья, долгой еще жизни по примеру наших "престарелых", и крепко тебя обнимаю. Мыслями всегда с тобою, Д.Лихоносов».

5 декабря. Муром. «Мой дорогой друже! Я почти уверен, что мы с Вами никогда больше не увидимся, но это не мешает мне ценить в Вас своего друга, который всегда поймет меня и поддержит дружеской лаской, когда я в этом буду нуждаться. Дороги друзья детства и молодости, но они становятся особенно ценными, когда увеличивается плешь и седеют волосы.

Все холоднее становится в мире. Злоба и ненависть разливаются по Божьему миру и морозят старую кровь. Вы зовете меня во Владимир, и не так он далек, а сделать это совершенно невозможно. Я, как каторжник к тачке прикован, так я прикован к больнице. Больница не может обойтись без меня ни одного дня, да я как-то и не представляю себя вне больницы. Ведь хирургов в Муроме-то кроме меня совершенно нет. Нет уж, подождем — окончится война, тогда отдохнем и, Бог даст, повидаемся. Вот тогда "друг друга обнимем, рцем братие и ненавидящим нас простим". Ну, а Вы, дорогой мой друже, смогли бы вы приехать ко мне, принимая во внимание, что расстояние от Мурома до Владимира тоже, что и в обратном направлении? А хорошо бы посидеть и поговорить. Тем много. Если и хочется жить, то

только, чтобы вновь повидать и вступить в общение со старыми друзьями… Ну, довольно. Пишите почаще.

Крепко обнимаю и целую. Ваш Н.Печкин».

8 декабря. Москва. «Дорогой М. М.! Как хорошо, что на Вас напало рвение писать. Конечно, Ваш досуг и уединение от родных и друзей надо использовать именно на это. Мне кажется, что тот, кто пишет, не должен никогда задаваться вопросом — кому это нужно? Если нужно ему самому, то будет нужно и миру, а если ему не нужно, то, конечно, и никому не нужно. Кстати, это нужно мне, и я надеюсь успеть прочесть прежде, чем умру.

Положение с топливом все тоже — нас не топят, но перебираться в темную переднюю не думаю. Я и раньше спала там больше от страха, чем от холода. Теперь немцев никто не боится, и я спокойно сплю в большой комнате, хотя и не у окон.

В Вашей "милой провинции" Вы лишены лучшего, что есть в жизни — музыки. Я, правда, нигде не бываю, но могу быть, и это уже много. Простите, что бережу Вашу рану — такое у меня сейчас замысловатое настроение. Ольга Павловская».

13 декабря. Загорск. «Милый М. М.! Беспокоюсь я о Вас. Административная работа в настоящих условиях не по Вас и подорвет Ваше здоровье. Как бы я хотела в Вас видеть меньше суеты и деятельности и больше созерцательной и серьезной сосредоточенности. Необходимо Вам почитать Игнатия Брянчанинова. А он есть у Вас? С продовольствием и со всеми делами продолжает делаться то же, что прошлую зиму. В комнате холодно. Временами замерзаю, особенно утрами. Сегодня согрелась чаем с конфеткою у С.А.Волкова. Мы с ним дружим молча, а когда разговаривать начинаем, то ссоримся.

Известие о гибели рукописей отца очень огорчило меня. На все воля Божия! Сколько усилий было спасти и сохранить их столько лет, и так нелепо погибнуть им! Расстроилась я очень. Браню себя за вечную доверчивость. От доверчивости вся наша семья погибла.» Ну, вот и все.

Пишите. Т.Розанова».

20 декабря. Полевая почта. «Дорогой М. МЛ Поздравляю Вас с наступающим Новым годом, новым счастьем и новыми победами» которые в 1944 году уже наверное вернут нас к мирной жизни и труду- Знакомству нашему, по моему расчету, исполняется 20 лет. Это дата солидная. Много за это время было пережито и радостного, и горького, а все-таки живы и не потеряли самого главного — ощущения радости бытия, борьбы и, у меня лично, стремления к общению с Вами.

Вы, М. М., оказали большое влияние на формирование меня, как личности. И Ваш хороший вкус во многом способствовал

моему воспитанию. Я Вам за это благодарен. И врачом-то я стал из-за Вас. Некоторые наши "расхождения" никогда не отдаляли меня от Вас, и я был уверен, что в отношении некоторых вопросов мы, в конце концов, придем к одному и тому же, потому что в основе все-таки лежит Россия, Родина и наш русский народ. Война и отношение к ней нам это сказали, а остальное все второстепенно.

Недавно праздновали мое награждение — я с благоговейным чувством принял орден Отечественной войны. Название его уж очень хорошо. К тому же это за мой родной Смоленск.

От души желаю Вам здоровья и радости всякой. Ваш Евгений Медведев».

23 декабря. Загорск. «Здравствуйте, дорогой М. М.1 Рад, что книга Голубинского доставила Вам удовольствие. Это суровый, немного черствый, но обстоятельный и верный источник. Я Голубинского в Академии не застал. Он уже умер. В мое время Историю Русской Церкви читал Н.И.Серебрянский. Это был изумительный лектор и блестящий эрудит, не уступавший Ключевскому.

Теперь относительно Ваших вопросов: "анлав" и "параманд" — понятия идентичные. Так в монастырской практике называется плат с изображением орудий "страстей", его монахи носили на груди. "Библиофика" = библиотека. Это рейхлиновское произношение, близкое Византийскому, принятое в церковном мире. Античное произношение красивее Византийского и современного церковного: в нем певучесть, тогда как в последнем — шепелявость. Что Вы читаете еще сейчас? Во Владимире должны быть хорошие книги — это древний город.

Будьте здоровы. Сергей Волков».

26 декабря. Иваново. «Дорогой Миша! Давно пора мне ответить на твое письмо, но одолели немощи. Температура снизилась, понемногу возвращаются силы, но в комнате не тепло — еще милует сиротская зима. Недостаточно питание. Бьемся за дополнительный паек научного работника на время болезни, но упираемся в бездушие и формализм. Сколько понапрасну уходит сил! Больно и горько… Чем мы держимся?.. Тургенев после беседы с Хорем пришел к выводу, что русский человек так верит в свою силу и крепость, что не прочь себя поломать (скажу от себя — "до хруста костей"). О прошлом своем не думает; склонен перенять все хорошее и разумное, чье бы они не было. Со своим здравым смыслом не прочь посмеяться над сухопарым немецким рассудком, хотя и тут находит кое-что полезное для себя. На этом основании и Петра Великого Иван Сергеевич считает русских человеком в его преобразованиях. Я заметил, что у писателя

большого часто в нескольких строках находишь ответ, которого не дают тома историков.

Духом бодр — укрепляюсь "отеческим чтением" и размышлениями. В детстве и юности наше нравственное воспитание было формально-обрядовое: не развивало устремлений к изучению законов нравственной жизни и путей их исполнения, а вся система школьного образования направляла ум на усвоение законов внешнего мира.

А ведь у нас с тобою и учителя, и батюшки были почтенны, и в семьях были благоприятные условия… Но нужно нечто большее.

Береги здоровье. Обнимаю, Д.Лихоносов».

В тот же день. Владимир. «Моя дорогая Татьяна Васильевна! Каракули Ваши я разбираю дословно. Раньше, правда, Вы писали значительно разборчивее. Напишите мне о Вашем друге — Татьяне Михайловне. Лицо это для меня загадочное. Вы любите играть в "секрет" и много лет прятали от меня Волкова, тогда как раньше, когда я часто мог бывать в Загорске, мне было бы очень интересно походить с ним по лавре и ее окрестностям. Ну, да Бог с Вами. А что Вы дружите с ним молча — это занятно. Не знаю только, кто из Вас кислота, а кто — щелочь. Пожалуй, Вы — "кислота".

Ваш совет перейти мне на другую работу — покойную — не приемлем. Покойная работа сейчас не кормит. А кроме того, я давно решил умирать на ногах. Так оно лучше и для меня, и окружающих.

Ну, а за сим будьте здоровы. М. М.».

27 декабря. Загорск. «Милый, милый М М.! Поздравляю Вас с днем рождения и наступающим праздником Рождества Христова.

Очень замучили меня бытовые условия — уж пять дней не топят у нас. Сыро, холодно и неуютно. Три недели сильные перебои с хлебом, и неделю я вставала в три часа за хлебом. Словом, каким-то чудом живу. Спасает хорошая книга. Читаю сейчас Чулкова "Годы странствий". Я ведь очень близка была с Г. И. и сейчас очень дружна с его женою.

Свет у нас горит последние дни, а свет и тишина для меня самое главное в жизни. Пишите. Т.Розанова».

1944 год

«Здоровый инстинкт должен находить радость везде, где есть хоть малейший намек на нее».

5 января, среда (из дневника). К Новому году ездил в Москву. Не был там и не видел своих три месяца. Анюшке хотелось день моего рождения и Новый год встретить вместе. Собрались: К.Н.Игумнов, А.А.Дубенский, О.А.Павловская, Ирина, Аня с Саввичем. Любочка с девочками не могла придти — были свои гости. Константин Николаевич постарел, как я говорю, ногами, но жив, мил и обаятелен по-старому.

Дубенский, давний приятель Володи, как-то проще и милее стал. Вечер прошел очень приятно. Всех нас связывало прошлое, и собрались мы впервые после таких страшных и страдных лет. Вспомнили об «отошедших» близких. У каждого свой «некрополь» в сердце. В глубоком молчании посидели несколько минут…

В Москве же я узнал о смерти сестры Паши. И странно, из всех смертей эту смерть я воспринял почти покойно. Что же — это старость? Близость собственной смерти порождает равнодушие?.. Тяжело одно обстоятельство. Сколько раз думал я послать денег Паше и… не послал. А нужно это было сделать. Она не просила. Мне самому нужно было это сделать, а вот не сделал… И знал, что буду каяться потом. И не послал не из скупости, а вот почему?

В последний раз я видел Пашу в 1938 году, когда вызвал ее в Москву. Беззубая, старая, но все еще видная, со следами былой красоты и со всеми черточками чеховской «Душеньки». Она была самая старшая из нас восьмерых. Теперь осталось нас четверо — Лука, Аня, Люба и я.

Вот словно и равнодушно пала на душу смерть Паши, а вовсе не равнодушно… С Пашею умерла и часть тебя самого… И навязчиво лезут строки Блока:

Всё это было, было, было.
Свершился дней круговорот.
Какая ложь, какая сила
Тебя, прошедшее, вернет…

Вернувшись, принялся за свои воспоминания. Разбираю эти дни старые письма. Дошел до времени «Москвы с Володею» (март 1936 — 19 апреля 1937). Много волнующего. Перечитывая письма, несколько раз всплакнул.

Вернуться во Владимир был рад. С теплым чувством вышел на привокзальную площадь. Была ночь. Пустынно. С немеркнущей красотою высилась громада Успенского собора… Я чувствовал себя дома… Что может быть лучше этого чувства?..

5 января. Тифлис. «Дорогой М. МЛ Ваше обращение — "Голубчик" — тронуло до слез. Как глупо предавать значение словам, но все же иногда они выражают, а не скрывают мысль. Так хочется верить, что где-то в пустынной безбрежности есть человек, который пожалел, так хочется немного участия. Помимо этого, не имею никаких планов. Болезнь ослабила. Я еще не поправилась, но не в силах возиться с амбулаторией и гражданами врачами, а потому приступила к работе и кое-как работаю. Мысли мои вертятся у Дома престарелых ученых… Жутко болеть на чужбине. Только глубокая покорность меня, спасает… Под Новый год очень думала о Вас, и теплится надежда на встречу с Вами. Н.Вревская».

В тот же день. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Ваш приезд на Новый год к нам огорчил нас известием, что Вы уже на другой день выезжаете во Владимир, и к нам приехали всего на один час. Осталось столько не спрошено, столько не рассказано. Очень я расстроилась и тем, что из привезенных Вами лакомств я ничего не успела приготовить для Вас… Вот белый хлеб использован замечательно: "Мама, можно мне белого хлебца взять?" — говорит Катя. Видя, с каким наслаждением она его уничтожает, отдала ей весь. Глаза ее заблестели — это была ее давнишняя мечта. Да и хлеб был так хорош. Интересная же Ваша книга дополнила наслаждение; "Что, Катя, пожалуй, лучше, чем ты встречала у подруг Новый год?" — "В тысячу раз, мама. Ты бы только послушала, как там выли-то. Убежишь".

Ну, желаю Вам также измениться и в следующие годы, как Вы изменились за эти. Видно, провинция более Вам полезна, чем Москва. А.Крюкова».

14 января. Алабино. «Дорогой М. М.! Почему-то (причуды старого мозга) мне вспомнились вечера у Вас в Алабине в день именин Ваших. И мне очень хотелось пожать Вам руку и поздравить Вас с Новым годом, с новым годом Вашей жизни. Всего Вам хорошего. Будьте здоровы и живите долго, долго. К.Славский».

16 января. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Наслаждайтесь жизнью и дальше. Читайте хорошие книги и благодарите Творца — это достойно жизни. День Татьяны, как день Московского университета, я помню всегда.

В Москве я был на короткое время с массою дел и не мог повидать Вас. Надеюсь быть в Загорске на Святой неделе — к дню

смерти Володи 19 апреля. Пасха у нас 16 апреля. Мечтаю не торопиться.

Москва мне не понравилась, и я с радостью вошел в свою уединенную комнату здесь. Рождество встретил в маленькой кладбищенской церкви, что рядом со мною, очень радостно и тепло. Очень доволен остался народом в церкви — он был так же светел и горяч к Богу, как и их свечи, горевшие у образов.

Будьте здоровы. М. М.».

20 января. Кокошкино. «Вот прошло столько времени, а я все думаю о Вас, о том, что Вас так изменило… Живете без забот о быте, удовлетворены все материальные потребности, но и в Москве Вы ведь жили так же. Что же изменило, что наложило свою печать?.. Вы не молодитесь, но какою молодостью дышит от Вас! Вы не надушились, но какою свежестью и энергией веет! Серьезная ли работа, вдумчивые, уединенные вечера отразились на Вашем лице, в Ваших глазах… Когда-то у Вас вырвалось: "Я тянусь". Вы сделали крупные шаги в этом направлении… Да вот в этот Ваш приезд я из-за Вас обратилась из заботливой Марфы во внимательную Марию… Словом, я так рада, что в Вас ожило то, чем я так восхищалась, лежа на койке в Петровской больнице. Я всегда верила, что Вы будете жить две жизни… Да, вот Ваши слова, мысли о Володе, о его воспитании запали, воплотились в жизнь, и 22 человека передают их в другую школу, и мною получена благодарность за то, что в них заложен правильный и твердый фундамент для дальнейшего развития их. А все это Ваши слова, Ваши мысли.

Ну, неожиданно принесли поллитра керосину, горит в этот вечер лампа. Кипит самовар, хотя и инвалид второй группы. Девочки со мною… Чего же еще больше?.. Но меня беспокоят Ваши вечера. Берегите себя и не засиживайтесь долго. А.Крюкова».

22 января (из дневника). Продолжаю «переживать» Москву… Хорошо сложилась моя жизнь здесь. Жаловаться мне нельзя. А обида на Москву все же теплится и готова всегда вспыхнуть. Продумываю еще и еще, почему я не поехал в Загорск прошлою весною в критические для меня дни в Москве? Пропуск туда у меня был, направление на работу туда так же было… И посиди я у могилы Володи, думаю, и жизнь бы моя сложилась иначе. У него я там нахожу правильные решения. Ну, не стоит об этом…

Несколько дней просматриваю Библию, изд. 1751 года при «Елисавет Петровне» с гравюрами на дереве и очень занятным и курьезным фронтисписом. Купить эту Библию большая охота, владеющие ею держат ее страха ради на чердаке в хламе, но расстаться с нею не хотят.

26 января. Загорск. «Дорогой М. М.I Спасибо Вам за денежки. Они всегда приходят в крайне нужную минуту. Я купила на них: 1 кг моркови, кружку молока, масла сливочного кусочек, отруби и немного углей. И очень рада была денежкам. Хлеб получать очень затруднительно, особенно в выходные дни. Толстая-Есенина прислала мне недавно буханку хлеба и мешок картофеля. Так что, как я только начинаю голодать, — откуда-то приходит помощь: жизнь — сказка чудесная.

Взяла обратно часть своих вещей, бывших на хранении, и в том числе фото с работы Володи и выписки из книги о нем. И один зимний пейзаж как-то по-особенному поразил меня, сказался моему сердцу особо родным. Утишилась острая боль по С.В.Олсуфьевой и сестре Варе. Личное горе слилось с общим горем, сказалось сердце о многих несчастных и умерилась моя безмерная печаль, стало тише на сердце. Повесила я этот пейзаж над столом и, лежа в постели, подолгу смотрю на него. Вновь перечитала отрывки из "Книги о Володе", и все родное и понятное там. И жаль мне Вас обоих. Простите эту жалость — она вызвана нежным чувством к Вам и Володе.

Любящая Вас. Т.Розанова».

30 января. Москва. «Приготовила тебе книги Барсукова о Погодине и решила написать несколько строк тебе, родной мой! Ни о ком я так много не думаю ночами как о тебе, и все построение моей жизни в последние годы, наши годы старости, около тебя. Дети по психологии так далеки, и мы для них так непонятны со своею усталостью и своим отношение»} к жизни, к людям, окружающему, что вспоминается, как никогда, вечная тема "отцов и детей" у Тургенева — это был лишь намек, в наше же время это стало трагедией.

Наш быт сейчас — разговоры о "коммерческих магазинах" и отсутствии продовольствия по магазинам даже литерным. И самый большой мой ужас — конец запасов картофеля. Последний мешок так угнетает, что и сказать не могу. Ну, будь здоров, родной, хороший. Мечтаю жить около тебя и никогда, никогда не огорчать ничем. Аня».

4 февраля. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Письмо о Володе получил. Спасибо Вам за него. Я, помимо чтения Барсукова, усердно пишу свою книгу. Мне хочется этою зимою окончить основное…

Раннею весною жду к себе Анну Мих. с Марианною и уже обдумываю их размещение и быт. Живу я деятельно и внешне, и внутренне. Зима подходит к концу. Она была легка мне и так комфортабельна, как никогда. М. М.».

8 февраля (из дневника). Ночь. Второй день переживаю

«трагедийную судьбу» крестницы князя Петра Андреевича Вяземского, дочери графа Сергея Дмитриевича Шереметева — Анны Сергеевны Сабуровой. Она год лежала у нас в больнице ради угла и стола. Год тому назад она ночью сломала себе ногу у шейки бедра. Ей 70 лет, сращения ноги не получилось, и она со сведенной и другой ногой — недвижима. Я ее заметил при первом же обходе больницы — ее выделял и облик, и манера держаться. Во Владимире при ней никого нет. Два ее сына в лагерях. Дочь выслана в Казахстан. Я дал телеграмму дочери о тяжелом состоянии матери, и, о чудо, ее отпустили, и она смогла забрать мать из больницы. Вчера я был у них, в жалкой комнатушке, на окраинной улице. Люди, знавшиеся с царями, подошли к трагической черте своего существования. И… ни одной жалобы, ни ропота, ни стона. А… в комнате не топлено… обеда не бывает… хлеба еще не получили. И с утра мать и дочь ничего не ели. Дочь Ксения Александровна пробыла несколько часов на рынке, продавая свои вещи, но никто ничего не купил, и она вернулась при мне с пустыми руками. Мать, утешая ее, сказала: «Плохое перед хорошим» и продолжала спокойно разговаривать со мною — умно и интересно… На стене у кровати, на которой Анна Сергеевна проводит свои дни, образа большие и маленькие. На столике у изголовья — молитвенник…

10 февраля. Иваново. «Дорогой Миша! Поджидал твое письмо с нетерпением. С плевритом я справился и хочу поделиться с тобою очередной моей "серьезной фантазией"… Я мечтаю, что наш Дом вернется в Ленинград и ты будешь иметь в этом Доме отдельную комнату и жить свободным от забот о пище и одежде, а заниматься тем, что будет по душе и по силам. Результаты самой добросовестной работы сейчас неизмеримо меньше по сравнению с затраченными на нее временем и трудом, и думаю, не стоит остатки дней так неблагодарно убивать на нее.

Напиши, что думаешь ты об этом. Д.Лихоносов».

10 февраля. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Новая вспышка энергии, и в доме 5 литров керосину. Но после энергии полнейший упадок сил и нервных, и физических. К тому же Катя моя заболела. Температура две недели 39. Нужен врач, нужны знания, чтобы не напрасно за много километров таскать больную девочку. Пошла сначала сама в нашу амбулаторию. Замок. Висит записка: "Врач уехал на курсы. Обращаться к старшей медсестре". Иду. Дожидаюсь: "У больной воспаление в легких. Самый кризис", — поясняет сестра. Узнаю в ней прежнюю техничку. "Какое же у Вас образование?" — задаю я вопрос. "Два класса сельской школы только. У нас лекарств нет никаких, лишь одни рецепты. Только Вы не приходите к нам по вторникам — врач

выезжает в дальнюю деревню. По средам на комиссии, по четвергам на курсах. Воскресенье у нас выходной"… "Ну, мама, будем лежать дома", — говорит Катя. Пришлось мне лечить ее Вашими продуктами. Довольную улыбку выздоравливающий больной и улыбку матери — примите за свой счет.

Девочек своих я уважать могу. Уважают и другие, кто только знает их. Однажды приходит Катя. "Мамочка, как у нас одной девочке плохо: папа бросил, а маму положили в больницу. Ты подумай, мама. Девочка совсем, совсем раздета. У нас есть мои башмачки, мне они малы, пальтишко, в котором я пасла коз, — давай, отдадим ей". Видит по глазам, что я не согласна: всякая даже дрянь мне так нужна, а башмаки думала продать: деньги так нужны. "Эх, мама, тебе Мих. Мих. столько привез, разве ему-то самому не нужно?" Смелы, уверены в своей правоте эти серые глаза. Колеблюсь. "Ты не думай только долго, а сразу делай. Я сейчас позову ее сюда". Девочка через несколько минут приведена. Положение действительно плохое. Даже наши рваные чулки тут оказались роскошью — "мама-то в больнице".

Картина Вашего возвращения во Владимир так хороша, мирна и редка по современным условиям, что всем этим надо дорожить. Жизнь ведь страшна. Мы, вот, не успеем вытащить ноги — глядишь, увязла голова. Вытаскиваем голову — с ногами неладно.

Всего хорошего. А.Крюкова».

15 февраля. Тифлис. «Получила Ваше новогоднее письмо. Завидую уютной встрече 44-го года — "весело, сытно, пьяно". Ваши близкие все вместе и целы — у меня наоборот, и это делает совершенно несоизмеримым наше мироощущение. Какой Вы молодец, что прилежно пишете Вашу книгу. Я же после одиннадцатичасового рабочего дня + домашняя возня — в изнеможенном состоянии, читаю тупо и поверхностно что придется, ибо выбора нет. С очищением Ленинграда приходится думать, как бы перебраться туда, чтобы спасти квартиру. Ведь нельзя терять кров. Довольно этой "угловой жизни"… Вот все за этот месяц. Погода стоит холодная, ясная. Горы зимой красивее летних. Но как надоели дела и дела… Только утренние и вечерние зори дают минуты приятного отрешения от суеты. Спасибо за заботу и память. Н.Вревская».

20 февраля. Загорск. «Дорогой М. МЛ Вы как-то интересовались моим другом Татьяной Михайловной Некрасовой. Она работает в Толстовском музее. Господь послал ее мне, чтобы утолить мою безмерную боль о С.В.Олсуфьевой и сестре Варе… Узнала я еще об одной безвременной кончине — Михаила Владимировича Шика. Это замечательная личность еврея-

священника. Скончался он в лагерях еще в 1938 году, а удалось это узнать только теперь.

Всего доброго. Т.Розанова».

27 февраля. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Сидеть мне во Владимире придется, по-видимому, долго. Бумаги мои о "снятии судимости" вернулись обратно, правда, не с отказом, а с требованием дополнительных сведений. Впрочем, как никогда я понимаю, что мне не надо возвращаться в Москву. Реставрировать жизнь там не по силам и не по возможности мне. Володя понимал это давно, а и все еще "ершился".

Здесь у меня завязалось знакомство с Анной Сергеевной Сабуровой-Шереметевой. Старушке за 70 лет, но она бодра, умна, своеобразна. Беседовать с нею можно часами. Она вращалась всю свою жизнь в кругу лиц исторических — дурных или хороших, это уже другое дело. Сейчас ее жизнь полна лишений. Мы возбудили ходатайство о персональной пенсии ей, как внучке Лермонтова (прабабки были Столыпины). Ваш М. М.».

1 марта. Москва. «Дорогой М. МЛ На днях был у Ваших. Анна Мих. бедная, в грустном настроении — выключили свет. Вид у нее усталый, чувствуется, как смертельно надоело ей вечное выкручивание из трудных положений.

Побывал на выставке в Третьяковской галерее. Видел портрет Игумнова работы Корина. Общее впечатление от него хорошее, но не больше. Две вещи не понравились мне в нем. Первое — голова, вернее, лицо. Написано оно тоньше, мягче, чем все остальное, но если смотреть издали — голова пропадает, смазывается, и выражение задумчивости лица не разберешь. Если же подойти близко — лицо хорошо, но остальное резко, грубо, раздражает глаз, чувствуется картина, письмо. Второе — неопределенный с красным фон просто не нравится по цвету, глухому тону. Композиция хороша, руки нервные, живые… Очень хотелось бы с Вами пройти по Третьяковке. Работа с Вами в Чкалове и наши разговоры вечерами — свежи в моей памяти. Пишите мне, М. М. Ваши письма всегда большая радость для меня. Ваш Игорь Игнатенко».

6 марта (из дневника). Ночь. Только что вернулся из НКВД, куда носил целое досье по делу о «снятии с меня судимости». Помещается это учреждение в древнем Рождества Богородицы монастыре. Место молитвы на наше восприятие стало «страшным местом». Но народ там по-провинциальному добродушен, или он обертывался таким со мною. «Тов. Мелентьев до окончания войны все эти дела, пожалуй, не будут рассматриваться». — «Но я стар, ведь не доживу». — «Ну, Вы герой». — «Это верно, что я герой, но мне шестьдесят второй».

7 марта. В четвертом часу ночи разбудили меня к доставленному с железной дороги инженеру годов 25–27, рослому красавцу. Его толкнул на смерть паровоз. Он умирал, но был в сознании и последние его слова были: «Как я хочу жить, и я умираю». Прожил он у нас в больнице всего полчаса. Сестры и санитарки плакали над ним, а они видали виды. Мне тоже было жутко и страшно от этой смерти, но Боже мой, как это далеко по самочувствию от переживаний своего горя. Я мог тут же пойти и уснуть. Правда, не вдруг, правда, не очень спокойно, а все же уснуть.

А вечером сегодня «торжественное заседание» по случаю Международного Женского дня. Присутствовало 12–15 человек женщин из 155, работающих в больнице.

Окончил 10-ю книгу «Жизни Погодина» Барсукова. Читаю с наслаждением.

8 марта. Напряженный рабочий день, и к тому же «гость» с полудня. Из Коврова приехал Лебедев, знакомец еще из Алабино, из породы «чудаков». Уж лет 15 находит меня всюду, пишет всегда, а теперь вот, работая рядом, приезжает еженедельно — посидеть у меня на диване, полистать мои книги. Я потчую его рюмкой водки, пою кофеем, иногда кормлю, времени у меня на него нет, разговор идет урывками… И так до следующего раза. Он покорил меня своею верной привязанностью. К тому же, он порядочен, не глуп и своеобразен.

К трем часам пришла Ксения Александровна Сабурова. Мне приятно накормить и обогреть ее. Она во многом уступает своей матери и, особенно, в уме. Сегодня она мне рассказала: «Мама родила моего брата Алексея под день зимнего Николы, как раз, когда ударили в колокол ко всенощной, но не назвала его Николаем. С тех пор мама верит, что Угодник Николай глух к ее молитвам, что он гневается на нее за такое неуважение к нему, и она никогда, никогда не обращается к нему»… Замечательно! И это рассказывается ведь совершенно серьезно.

9 марта. С утра больничная конференция. Собираю я ее в помещении бывшей церкви. Там нарядно и торжественно. Первое время врачи и старшие сестры собирались неаккуратно и даже неохотно. Теперь зал полон. «Все места заняты». Привыкли и даже вошли во вкус. Собираю я конференцию раз в неделю, готовлюсь к ней и очень утомляюсь, т. к. «конференция — это я». Вечером заседание чрезвычайной комиссии по брюшному тифу. Выступал.

11 марта. Сегодня день рождения Володи, и ему бы было 40 лет. И был он «из таких», кому не идет ни стареть, ни быть старым… Думаю сегодня о нем чаще и больше обычного. Поминки по нем справил у Сабуровых. Я принес еду, вино, кофе,

сахар. Пили вино из рюмок Володи и мило проговорили около трех часов у постели не встающей Анны Сергеевны. «Книгу о Володе» они обе прочитали.

Вчера было заседание Научного общества врачей. Я председательствовал. Заседание затянулось. Устал очень и отдышался уже ночью за Погодиным. Что-то сердит становлюсь и требователен. Тянуть за собою 200 человек сотрудников — дело нелегкое, да еще на нашем поприще — служения страждущему человеку… Скоро год, как я здесь. Год! Думаю, что и будущую зиму проживу здесь. А пора, пора где-то закрепиться на постоянно… Ах, если бы иметь свой угол!

17 марта. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Конечно, Вы правы — я не одинок. Вы умница с каким-то чутьем — верхним или нижним — не знаю уж. И конечно, никакая семейная жизнь не по мне. И здесь около меня есть люди, в которых я чувствую к себе и заботу, и привязанность… И… все же на днях здесь был случай, когда погиб всеми уважаемый и любимый учитель (одинокий) оттого, что при нем не было просто своего, близкого человека, не было родной души.

Большое событие во Владимире. Открывается наш знаменитый собор. Прислан священник от патриарха, предполагается установление епископской кафедры. В связи с этим я перенесу свою поездку в Москву на Святую неделю, ибо служба здесь на Страстной неделе будет мне доступнее. Событие это ждалось и подготовлялось давно.

То грустное, что пишете Вы о бессонных ночах в очередях за хлебом, здесь не наблюдается. Хлеб доставать трудно. Хлопотно, но не "бессонно".

Спасибо за письмо. М. М.».

20 марта (из дневника). Самые твердые намерения — писать дневник ежедневно, хоть несколько строк — не удаются. Устаю, а кроме того, был занят подготовкой к двум докладам, да почитать хочется. Достал «Русский вестник» с 1857 года и с интересом его просматриваю. Сейчас закончил чтение статьи А.И.Шингарева «Жизнь и деятельность Н.И.Пирогова». Грустно, искренно, типично для 1910 года. Теперь бы так не написали.

В горисполкоме было назначено собрание верующих по вопросу открытия собора. Собралась громадная толпа. Начальство «задумалось» и перенесло собрание на другой день, не назначив точно времени. Все равно уследили и собрались.

Вчера побывал у Сабуровых. Слушал рассказы о прошлом. Хороший очень штрих. Граф С.Д.Шереметев с супругою Екатериной Павловной (Вяземской) перед сном читали Евангелие по очереди вслух. С. Д., читая, пропускал сцену с «богатым

юношей» и сердился на Е. П., когда та все же прочитывала ему: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Сама Е. П. после революции и смерти С. Д. не приказала прятать ценностей. И когда к ней в дом на Воздвиженке заявился Цюрупа отбирать ценности, он нашел все на столе в ларце у кресла Е. П. Цюрупа забрал, вышел, а Екатерина Павловна перекрестилась и сказала: «Ну, теперь, слава Богу, и с богатством все покончено».

В тот же день. Тбилиси. «"Мудрено, родимый братец, на чужой сторонке жить". Прозябаю. Все тоже и тоже, вернее, не лучше, если не хуже. Недавно пережила хорошую встряску не без пользы для познания людей и для более энергичной попытки уехать отсюда: здорово живешь — повлекли в кутузку, где пребывала в обществе воришек и тому подобных людей несколько дней — до прокурора, который послал меня на работу. И все сие из-за пропажи платинового тигля из лаборатории. Буду биться уехать от подлой азиатчины во что бы то ни стало. Пишу в Ленинград, прошу "вызвать", но раньше августа, сентября нечего ждать. А пока… надо терпеть? Да? Отобрали часы, цепочку, брошь… Надо выцарапывать. Фу, как противно, если бы Вы знали!!

О Саше (сын) с декабря нет вестей. Он был в партизанах, два года я о нем ничего не знала… Снова тревога и неустанная мысль о нем. Неужели вытерпеть плен и погибнуть тут?.. Нет, нет — не буду так думать. О, Господи! Н.Вревская».

22 марта. Кокошкино. «Уважаемый М. МЛ Сегодня получила Ваши деньги и, не заходя домой, пустила их в ход. Как необходимы и дороги оказались Ваши деньги в данный момент!! Ведь только моя переписка с Вами держит меня на поверхности жизни… А как много людей не выдерживают и погибают. Свезли в психиатрическую больницу одну, другую. Искромсала себя ножом третья… Да, что говорить! Спасибо. А.Крюкова».

24 марта. Москва. «Дорогой М. МЛ Вы так "растрогали" меня своим письмом, что на душе веселее стало. По этому поводу не могу не сказать Вам, что я Вас нежно люблю за то, что Вы всегда для всех что-то делаете и делаете как-то по особому — легко.

В Москве я такая издерганная, несчастная, что всякий выезд из нее, даже в очень тяжелые условия (как было на торф) являются чем-то вроде санатория. Одна надежда на скорый конец войны… Какие Ваши планы на дальнейшее? Неужели комната погибла безвозвратно? Неужели мне больше не придти к Вам в гости в Ваш уют и не послушать обольстительный бой часов?

Напишите, какое у Вас настроение? У меня такое, что мечтаю взорваться на мине. Елена Сахновская».

24 марта. Загорск. «Милый М. МЛ Вы пишете, что погиб уважаемый учитель, потому что жил одиноко. А я думаю, что это случилось потому, что он вообще был замкнутый человек. В семье бы, наверное, он был бы еще более одинок. Душевно никогда одинокий человек не может испытывать той степени одиночества, какую может испытывать семейный человек в своей родной семье, если она не сродна ему. А как часто это бывает! В семейной жизни уживаются люди доброго характера, не очень интеллигентные и очень терпеливые и любящие. Или же люди очень высокого параллельного чувства долга. Вообще, брак есть величайший подвиг христианский, который вместить не дано всякому человеку. А то, что называют обыкновенно "браком", — это ведь неизвестно что. Какое-то недоразумение и, конечно, не брак. Я очень уважаю и преклоняюсь перед настоящей семейною жизнью, но это единичные явления в жизни, так же как и настоящее монашество… И как ни трудно мне на старости лет, больной, быть одной — я не могу подумать без содрогания о совместной жизни с кем бы то ни было, и благодарю Бога, что Он не допустил меня смолоду в брак и тем сделать величайшую ошибку в своей жизни.

Вся моя теперешняя жизнь утверждает меня в моей идеалистической настроенности, ибо, если бы я не была духовно настроена эти годы, то ни за что бы не выдержала того голода, какой я испытывала эти годы… Чудесно!

Книг Страхова у меня нет. Думая умирать, я переслала их в Толстовский музей, не зная, что он для Вас интересен.

Все хочу и забываю Вам написать, что зимой в Свердловске скончалась Татьяна Сергеевна Готовцева, которую знавали Вы, и которая очень любила Володю. Всего, всего доброго. Ух, устала от длинного письма Вам. Т.Розанова».

26 марта (из дневника). Снежная пурга и мороз. Все занесло, замело. Здания больницы не топим. Больные притихли и сжались на своих кроватях. Болит душа от этого зрелища и бессилия помочь. Вся зима шла с угрозою замораживания, со страшным напряжением достать топливо. Бывали дни отчаяния, бывали и радости, когда батареи были теплы. Но увы — радость эта бывала не часто и непродолжительно.

Сегодня день у меня тих и спокоен. До обеда за книгой. После прошел в город полечить престарелого товарища, а затем зашел к Сабуровым. Там дурная погода «помешала поторговать на барахолке». Денег нет, есть нечего. Хорошо, что я зашел с хлебом и деньгами. Прекрасна у них манера пользоваться таким одолжением — достойно и просто, без лишних слов. Мне приятно и занятно бывать у них… Домой едва дошел — так замело все

пути.

Несколько дней прожил у меня доктор Георгий Александрович Косткевич. Мы с ним приятельствуем с М. Горы. Он киевлянин, сын профессора, рос вместе с «Испанкой» — Ксенией Александровной Хайнацкой (теперь его жена). Брак этот какой-то логический. Заброшенные оба в Карелию, обездоленные, осиротевшие, надломленные — «оба на краю жизни» — они не могли, встретившись, не пожениться. Вышло это неплохо, и я радуюсь за того и другого. Они взаимно берегут друг друга. А что может быть ценнее этого в человеческих отношениях?

26 марта. Москва. «Двенадцать часов ночи, но решила написать тебе, родной мой! Завтра с утра неотложные дела на целый день. Спасибо тебе за такие чудные сухари. Они спасают меня, когда нет белого хлеба. От черного хлеба чувствую себя плохо и стараюсь его не есть. Характера болей своих понять не пойму: то болит натощак, то болит после еды, болит от усталости, от тяжестей, которые приходится носить, а иногда просто ни с чего. Хочу к тебе, хочу знать, что это такое. Если это конец — рак, то… что же, на все воля Господня. Главное, мне нужно спокойствие и быть около тебя. Пожалуйста, не бей тревоги, не волнуйся. Оставим все до приезда моего во Владимир. Месяца через полтора я буду там.

Буду здоров, целую. Аня».

4 апреля (из дневника). Когда и как промелькнула неделя — не помню, не знаю. Дни так полны и работою, и чтением, и людьми… Словом, надо всем «довлеет дневи злоба его». Погода стоит дурная, холодно и сыро, морозит и тает. Солнца нет. О весне не слышно. Читаю Барсукова и «Русский вестник». Видался с Сабуровыми. Разговор об убийстве Распутина, Феликсе Юсупове-Сумарокове, событиях ранних и поздних, связанных с убийством. Все это еще свежо в памяти и «волнительно».

8 апреля. Кокошкино. «Уважаемый М. МЛ Зима взбесилась, и с 5 апреля по сей день не перестает буран. Меня в школу закутывают вдвоем мои девчонки. Поверх моей знаменитой ушанки затягивают, как маленькую, платком. Дыру на валенке, которая в обыкновенное время имеет мало значения, завязывают шарфом… ну, настоящая кикимора… "А все-таки ты, мамка, лучше всех. И люблю только тебя и себя", — говорит старшая, Мила…

Такая прогулка взад-вперед по часу, без дороги, в сугробах здорово профильтровывает всего человека. А теперь послушайте повесть "Булочки, или Как мама вновь доставила Катюше удовольствие".

Необходимость купить всем чулки заставила поехать в

Москву. Покупка была небольшая, и я решила забрать с собою и девочку. С двенадцатичасовым поездом доехали прекрасно, но трамваи, украшенные гирляндами людей, пришлось пропускать один за другим. Наконец, кое-как втиснулись. На рынке волны людей. Раздались свистки, и конный наряд милиции стал лошадьми разгонять народ, шарахнувшийся в стороны всею массою. Перепуганная насмерть Катя судорожно уцепилась за меня: "Мама, мама, пойдем отсюда — задавят"… По дороге: "Посмотри, мама, какую булочку продают, совсем белую, завитую". Цена 25 рублей. "Мама, купи". Просьба так робка, так тиха. Девочка не настаивает. Я прошу подождать — все покупки еще впереди. А она все шепчет: "Какая она белая да завитая"… Спасаясь от давки людьми и лошадьми, стараюсь встретить нужные вещи. Напрасно. Остановиться невозможно. Да и с Катюшей совсем плохо: тошнит, кружится голова, не стоят ноги. "Мама, сесть бы где?" Прошу мужчину уступить на несколько минут место на лавочке. Нахальный смех… "Мама, я на трамвае не доеду, поедем домой скорее". — "Ну, давай я тебе куплю булочку. Подожди". Но булочки уже не встречаю нигде… "Не надо мне ничего. Мне нехорошо. Меня тошнит"… Доходим до метро, спускаемся. Рвота. Увожу за колонны, боясь санитарного надзора. Потемнело личико. Пожалуй, сразу заподозрят дизентерию, холеру — пойдут анализы, изоляторы, и девочку не найдешь. Кое-как оправилась, вышли на Смоленском, надеясь в коммерческом купить булочку, но очередь, а сил у девочки нет. Спешу скорее, скорее домой. На вокзале толпы осаждающих поезда. "Мамочка, посмотри, мороженое", — раздался какой-то детский голосок. И нежные детские ручонки повелительно повертывают подбородок матери в сторону, где носят мороженое. Приподнятая на руках девчурка лет пяти не сводит глаз. "Да ты не смотри туда. Сейчас пускать, будут, — шепчет мать. — Какое еще мороженое за 35 рублей!" — "Зажмурить глазки, мама?" Но и зажмуренные глазки глядят в одну сторону. Переговаривается с братишкой: "Правда, Алик, правда, мороженое". Не выдержала мать. Купила на двоих одну порцию, хотя зашитые донельзя чулки ясно говорили о других потребностях. В поезде против нас расположилась женщина с авоською, полною булочек, которые она так небережливо уничтожала. "Мама, посмотри, сколько у ней булочек, и она их ест, как черный хлеб", — тихо шепчет Катя. Обращаюсь к женщине продать одну. "Сорок рублей". — "Нет, мама, нет, не надо мне за сорок рублей". — "Но ведь ты у меня отличница и заслужила ее". Покупаю и кладу ей в портфель. Сама отворачиваюсь. Рученьки все время открывают портфель, и понемногу принимается моя Катя за булочку… Вот еще — мать

разламывает булочку пополам и половину дает малышу, а другую: "Будешь дома есть. Ты опять там захочешь". Быстро управился малыш с половинкой и поглядывает в сумочку матери: "Мамочка, дай сейчас. Я никогда, никогда больше не захочу". Глаза так просят… Улыбаясь, отдала ему остальное. А у Кати дело шло своим порядком. Доехала здоровая, веселая и скоро, перекинув сумочку для сбора лекарственных растений, побежала в лес с козочками: "Мама, я думаю, мне лучше не ездить больше в Москву. Мне в ней не везет".

Простите за пачкотню. А.Крюкова».

9 апреля. Москва. «Дорогой М. М., перед отъездом из Москвы хочу написать Вам. Предлагаемая мне работа во Владимире страшит меня. Вы учтите, что я бесконечно устал от пережитого. Не найдете ли вы возможным устроить меня у Вас в больнице? Работа у Вас была бы мне радостью, и я помог бы Вам, чем могу. В моем же лице Вы имели бы во всяком случае честного и преданного Вам сотрудника, и вместе, может быть, нам обоим было бы легче и жить, и работать. Это мечты. Они не означают отказа от тубобъединения, а только являются мыслями вслух… Простите меня и будьте снисходительны, памятуя, что я человек с "ушибленной психикой", быть может, преувеличенными страхами, напуганным дерзанием и большой усталостью от жизни. Глядя на Вас, я Вам завидую — Вашей жизнерадостности, энергии, смелости. Быть может, мне надо попросту отдохнуть физически и морально в дружеской среде, и я снова обрету импульс к более смелой жизни.

А к Вам во Владимир меня потому тянет, что мне кажется, с Вами и возле Вас я нашел бы мир душевный, дружескую теплоту и немного бы пришел в себя.

Целую Вас крепко. Г.Косткевич».

12 апреля. Муром. «Христос Воскресе! Дорогой М. М., желаю провести Вам Пасху как подобает православному христианину: с заутреней, пасхой, куличом и красным яичком… У нас яички желто-рыжие, крашенные луком, так как красной краски у нас нет…

Как идет Ваша работа? Какие новые достижения и награды?

Передайте Анне Михайловне наш сердечный привет. Еще сегодня жена рассказывала мне, как она приходила к А. М. во время нашего сидения в тюрьме, и как ей было уютно сидеть часами в мягком кресле под лаской А. М… Как под этою лаской утихали горе, страхи и сердечная боль. А Ваше участие и дружеская ласка и поддержка в тяжелые дни смерти моей Веруши — я этого никогда не забуду, и да не забудет их и Господь!

Я предполагаю, что мне удастся сходить к заутрене, хотя это

и очень нелегкая задача. Церковь одна на весь город и район. Народу у заутрени будет столько, что в храм не пробраться. Настоятель церкви говорил, что в этом году он думает одновременно служить две заутрени — одну в храме, другую вне его. Значит, так или иначе, а заутреню я услышу.

Живем мы со старухой по-прежнему. Ну, конечно, стареем, и за последний год — это старение идет как-то особенно быстро…

Работы очень много, а обстановка стала значительно тяжелее. Устаю, но что делать — война.

Не один я устаю. Вся Россия устала. Еще бы, этакую силищу одолеть, как Германия! Подбадривает мысль, что наши победы являются преддверием мира. О, если бы это так было! Пока прощайте, дорогой дружище! Крепко целую Вас трижды и обнимаю. Ваш Н.Печкин».

13 апреля. Великий четверг (из дневника). Ночь. «60 раз толь ко, в самом счастливом случае, я мог простоять в Великий Четверток "со свечечками" всенощную: как же я мог хоть один четверг пропустить?!!» — так говорит Розанов в своем «Уединенном». А я вот пропустил в 1942 и 1943 годах, но это грех невольный — Чкаловский. А в Алабине я не уехал в Москву на стояние за 10 лет один раз сознательно, вольно, и до сих пор помню этот весенний вечер, когда я бродил по парку, и мне было «не по себе», и в ушах моих все время звучало: «Слава Отрастем твоим, Господи, Слава».

Сегодня, наконец, состоялась первая служба в Успенском соборе, и именно «со свечечками».

Разговоры и слухи об открытии собора шли давно. Приурочивали открытие к Вербному воскресенью, но это не состоялось. Когда я пришел сегодня в 4 часа в собор, толпы народа стояли у собора и ждали открытия его. Передавали, что секретарь горисполкома, гулящая дама, куда-то ехала и завезла ключи с собою. Наконец, двери собора распахнулись. Величественный храм, холодный и сумрачный, сразу заполнился людьми плечом к плечу, и по храму побежали огоньки свечей. А монтеры в это время еще продолжали проводку электричества в храме. Ни люстр, ни подсвечников не было. Во всем чувствовалось «все с начала». Прошло два часа в ожидании начала службы… Наконец, монтеры унесли свои лестницы. Открылись Царские двери… А с хор раздалось мощное пение, чудесно согласное, тропаря «Боголюбимой Божией Матери»: «Боголюбимая Царица, моли за ны, подать нам м!рови мир, земли плодов изобилие, на враги одоление, пастырем святыню и всему человечу роду спасение. Грады наши и страны Российския от нахождения иноплеменных заступи и от междоусобныя брани

сохрани. О, Мати Боголюбивая Дево!»

Началось освящение храма… Хор никто не собирал. Все певшие когда-то в соборе сами пришли. Пели и плакали, как плакали и все мы, стоявшие в храме… Ну, а затем началась всенощная — «Двенадцати евангелий». Пришел я домой в 12 часов — умиленный, потрясенный и растроганный… Устал, иззяб, но все это ничто в сравнении с тем глубоким народным чувством, которое я наблюдал сегодня и причастником которого сподобил и меня Бог.

14 апреля. «Многоуважаемый М. М.! Моя дочь стесняется с Вами говорить, а я решаюсь. По случаю предстоящей Пасхи, распутицы (мешающей торговать на базаре) и дня ее рождения, прошу, если можно, заимообразно ссудить нас деньгами, которые с хорошей погодой надеемся Вам с благодарностью отдать. Анна Сабурова».

26 апреля. Алабино. «Христос Воскресе, дорогой мой М. М.! Привет запоздалый, ибо… ибо не только стал стар, как седая собака, но и приобрел дурную привычку по возможности почаще при хварывать.

Несколько строчек, надеюсь, напишете? Я люблю Ваши и Печкина письма — двух неисправимых оптимистов… активистов несмотря ни на что.

Жму руку Вашу. К.Славский».

В тот же день. Загорск. «Дорогой М. МЛ Ваше письмецо и денежки на праздники получила. Была очень тронута этим… Читаю "Дневник Амиэля". Вот Вам бы понравился… Настроение бодрое, живу сосредоточенно. С хлебом наладилось, свет есть, а вот пищу сварить не на чем. Т.Розанова».

27 апреля. Таруса. «Дорогой М. М.1 Рад, что Вам понравились книги Барсукова. В корне нелепая затея превратилась в целую культурно-историческую хронику, в которой сам почтеннейший М.П.По годин погребен под горой фактов, часто не имеющих к нему прямо го отношения. Неуклюжий, нечесанный, он был не только хитрым, себе на уме мужичонкой, добравшимся до генеральства, но и умным человеком. И тем не менее, анекдот в русском стиле — писать его биографию в несколько десятков томов и в то время, когда великие писатели не сподобились иметь хорошей однотомной биографии…

И вместе с тем — благодаря тому, что писалась не хроника русской жизни, а биография Погодина, многое не попало в нее важного и помещено несущественное. Это нужно помнить читателю. Но я если и жалел о чем, то только о том, что дело не было доведено до конца. (Удивительно еще, что столько томов вышло.) Прискорбно обилие ошибок, неправильных датировок и

цитат. Мне приходилось сличать подлинные не напечатанные документы с приведенными в книге, и оставалось только удивляться… В этом отношении всякие рекорды побил "издатель и составитель" (не редактор) "Русского Архива" П.И.Бартенев. Мне в руки попалась пачка писем Бр. Киреевских, частью напечатанных в "Русском Архиве". Боже мой, чего только я не открыл. Несколько писем разных лет были соединены в одно письмо с произвольными датами. Не датированные письма неправильно датировались, хотя сразу было видно, к какому году они относятся. Не оговаривал, делал пропуски и вставлял для пояснения свои слова. Выбрасывая большие куски, заменяя своим изложением. Трудно перечислить все сотворенные им грехи и еще труднее понять причины этих грехов. В те времена на это смотрели легко. Сам же Петр Иванович считал, что редактор имеет не только право, но и обязан исправлять. Он как-то мне сказал: "Вот у Федора Ивановича Тютчева я подправил плохой стих, и какой шум мудрецы подняли. Соберись сам покойник издавать, и уж, наверное, бы сам исправил, а Бог ему смерть послал, так наше дело позаботиться о нем, коли писатель уважаем. Теперь все наоборот. Со всеми бывают грехи, и великие люди могут обмараться в штаны; так сохранят такие немытые штаны и подхватят их в музей, под стекло выставят и, скажем, так под ними напишут: "В сии штаны такого-то числа такого-то года по такой-то причине обо…лся Федор Иванович Тютчев". И напишут, конечно, не по-русски, а по-нынешнему: "сделал экскременты", или как это там говорится по-ихнему — не знаю точно. Не только гадость сделают, но и опоганят непотребным словом не по-русски".

Велик подвиг Петра Ивановича, и неоценимы его заслуги, но я больше не доверяю ни одной строчке в "Русском Архиве". Даже и предположений не могу строить, что и почему он "исправлял". Так произвольно он поступал и с документами.

М.О.Гершензон был человеком вполне добросовестным и добропорядочным и документы печатал по всем правилам, но грехи его были еще более тонки. В собрании сочинений Ивана Васильевича Киреевского он печатал только избранные письма, с его точки зрения самые значительные и характерные. Впоследствии мне удалось изучить подлинники (я много занимался семьей Киреевских), и я подумал: "Как жаль, что письма не попали Гершензону в свое время". Но оказалось, что он отлично знал их и отсеял. Письма эти были особо идеологические, многие в Оптину Пустынь, и потому-то оказались для М. О. "не существенными". Они попросту были совсем не тем, что ему хотелось видеть в Киреевском, и были ему

неприятны.

Случайно мне удалось проникнуть в "творческую лабораторию" Гершензона. Прямо непосредственно от него ко мне перенеслись на время письма Печерина, по которым он писал большую книгу о нем. На склоне дней Печерин изображен патером, ушедшим в свою пастырскую деятельность и нашедшим в ней и католицизме разрешение всех вопросов. Так ему показался художественно разрешенным облик Печерина, пережившим за свою долгую жизнь много потрясений. Оказалось же совсем другое. Печерин переживал в последние годы тяжкий кризис. Он внутренне отошел совсем от католицизма и его идеологии и пришел к эволюционизму, чему-то, напоминающему необуддизм, распространившийся потом в Западной Европе. Оставался же он в церкви, потому что трудно было бы ломать в старости и перед близкою смертью жизнь, по привычке, из потребности добротворения и сострадания, ради той тишины жизни, которую он обрел и по многим другим причинам. Гершензон должен был бы написать еще одну главу — "Последняя пристань", но тогда он сам подсек бы идею своего "романа". Его книга субъективно роман и стилизация. Так всегда у Гершензона. С одной стороны, он попадает во власть материала и так стилизует, что пишет невольно языком того человека, о котором пишет. Часто трудно отличить, где кончается цитата и начинается текст самого Гершензона. С другой же стороны, он ради той же стилизации переделывает сам и жизнь человека. Несмотря на это, мы должны быть глубоко благодарны Гершензону. А критически должны относиться к книгам даже любимых нами авторов…

Событием в Тарусской библиотеке было получение "Литературного наследства", посвященного Герцену. В нем интересны только письма Огарева к Герцену. Письма эти скучны, вялы, тягучи и тусклы, но освещают личную и семейную жизнь их — запутанную и тяжелую… Написал эти слова и подумал: "А у кого из русских писателей была она иная?"…

Всего вам доброго. С.Цветков».

30 апреля. Чкалов. «Дорогой М. М., минул год, как Вы уехали. Как быстро пролетело время, и как мало радости было лично у меня. Но я бесконечно радуюсь, что так хорошо на фронте, и люди свободно вздохнули. А здесь с Вашим отъездом ни одного доклада, ни одного общего собрания врачей, ничего нет. И даже по четвергам кое-кто собирается, но мало — неинтересно, мертво. Многие украинские врачи еще здесь. У них как-то пыл отъездной прошел, вероятно, из-за квартирных условий. Отъезд Харьковского мединститута назначен на июнь — вот уж будет тускло и тоскливо в медмире! Ваша Полина Левенсон».

Тбилиси. «Дорогой М. М., получила Ваше письмо с советом перебраться на север. Университет возвращается летом. Квартира моя будет под угрозой заселения. Ее надо спасти. Нужен вызов, и нужно ехать туда. По дороге в Ленинград мне очень хотелось бы повидать Вас и пожить около Вас хоть недельку, но мечты… Конечно, мечтать не возбраняется, но в суровой действительности лучше не надо.

Под Пасху ветер (ураган). Немыслимо было вырваться в город, а здесь церкви нет. Яйцо 10 рублей. Денег не платят два месяца. Мамалыга как роскошь… Я легла, закрывшись с головою, чтобы не слышать свиста ветра, и все. Н.Вревская».

15 мая (из дневника). Весна зовет, и я иду за нею… И не пишу никому, и не читаю. Как хорошо жить в мае! И когда на днях несли «гроб с музыкой» — я не мог не пожалеть беднягу, лежавшего в нем. Чудак! Умирать в мае! Это во всяком случае безвкусица. Да, должно быть, он и жил безвкусно… А сколько дела! Сколько дела! Опять новые начинания. Ремонт. Достижения красоты… Выживаю кур с больничной усадьбы… Коз выжил… Но чего мне это стоило! Сколько обид и обиженных самолюбий!.. Привожу усадьбу в порядок и иду сам в первой паре с граблями и метлой.

С 10 мая Анюшка с Марианной здесь, но видимся мы только за послеобеденным кофе да за ужином. Живем раздельно: она «на даче» — комната с террасой тут же на больничной усадьбе. Я у себя. У Анюшки большая комната, у террасы старые липы. С террасы вид на Клязьму, зеленые луга и дальние леса… Приготовили большую клумбу под цветы и посадили несколько грядок овощей… Анюшка уверяет, что у нее не было ни одной такой хорошей дачи в прошлом.

4 июня. Загорск. «Дорогой М. М., за недосугом нельзя нам часто друг другу писать, а поэтому как ценишь каждую строчку письма. Второго мая была у сестры Наденьки, и она согрела меня своей любовью. Трудно, бедняжке, ей очень. Комнаты нет. Вещей никаких нет. И я такая больная… И Варя вряд ли жива. Боль и жалость в сердце о ней ужастная.

Была на могиле у Володи. Могила прибрана. Кусты подрезаны. Подметено. Хотелось мне там посидеть, но не могла войти. Подумалось мне, что это Вы были, убрали все, а ко мне не зашли…

Выпишу Вам две заметки из "Амиэля", которые Вам, я знаю, понравятся: "Доброта есть основа такта и уважения к другим — первое условие уменья жить".

И… "Обоюдное уважение включает скромность и сдержанность в самой нежности, заботу соблюсти наибольшую

часть свободы тех людей, жизнь которых разделяешь. Надо не доверять своему инстинкту вмешательства, потому что желание преобладания своей воли часто скрывается под видом заботливости". Т.Розанова».

10 июня. Москва. «Дорогой М. М.I Завтра уезжаю в командировку в Киев на месяц, на полтора. Хочу сделать по Киеву серию пейзажей, надеюсь на очень острые впечатления, и поэтому на творческий подъем. После Киева мечтаю приехать к Вам. Владимир в моих творческих планах занимает большое место. Осенью будет выставка "Памятники русского зодчества", и я хочу дать Владимир. Елена Сахновская».

20 июня. Кокошкино. «Уважаемый М. М.I Вы не писали мне месяц, и я стала думать, что причиной явился мой долг Вам. Видите, как я стала болезненно чутка к "нутру" человека, и особенно "мужскому нутру".

Не могу понять, как же Вы находите возможным в такое время, когда отец считает в тягость собственного ребенка, находить силы позаботиться еще о двух сравнительно не близких людях — сестра и внучатая племянница. Не жена, ни дочь! По моим современным выводам — понять не могу.

Закончена огородная кампания на все 100 процентов. Удивляюсь, как мы могли справиться с этим. Это отчаяние придало нам силы. Ведь за три года не было ни грамма масла, ни крупы, только мои 500 грамм хлеба. И вся жизнь была сведена к "хлеб наш насущный даждь нам днесь"… Утешение одно — радости было больше у тех, у кого было больше лишений. А.Крюкова».

23 июня. Тбилиси. «Давно, давно нет писем Ваших. Здоровы ли Вы? Я тоже молчала, потому что был хаос. Теперь же со службы уволили — в связи с пропажей тигля. Возня с юстицией окончилась: уплатила за пропажу, и вернули и часы, цепь и другие вещи. Итого 4 месяца пытки и ожидания кары, хоть и незаслуженной. Будто гвоздь вытащили из головы. Стало свободно и легко. Обещают вызов в течение лета. Пока не служу. Взялась за лечение. Как-то странно думать и делать что-то для себя. Но в Ленинграде предстоит много трудностей, и надо быть здоровой. Нину (дочь) надеюсь вызвать из Бийска, где она работает на огороде, пройдя 500 км пешком и голодная. Вот где незаметные герои тыла! В глубине шевелится надежда на что-то человеческое, наконец. Жадно и внимательно читаю газеты… Пишите, пожалуйста. Я в самом деле беспокоюсь. Ваша Н.Вревская».

4 июля. Муром. «Вы совсем забыли о моем существовании, дорогой М. М.! А за это время сколько печальных и неприятных

известий. Умерли ряд наших общих знакомых врачей. Паралич разбил А.Ф.Михайлова. Старик лежит в очень тяжелом состоянии с пролежнями и просит, чтобы его отравили. Действительно, такая болезнь для него — подвижного, энергичного человека — высшая пытка.

За последнее время я очень устал и хочу отдохнуть. Что Вы скажете, если я нагряну к Вам? Напишите, когда мне лучше приехать, чтобы не помешать Вам и побыть с Вами и посмотреть Владимирский собор и Владимирские древности.

Крепко целую Вас. Н. Печкин».

10 июля (из дневника). Весь мой досуг уходит на моих милых дачниц — Анюшку и Марианну. К 60-ти годам мы, наконец, научились с Анею понимать, что каждый из нас «может сморкаться по-своему»… Это долго не давалось нам при всей нашей близости и взаимному тяготению. Наконец, это пришло и сделало нашу совместную жизнь радостной, веселой и легкой. Дачею своею Анюшка довольна, да она и действительно неплоха. Вот только когда я оценил вполне «положение и возможности» главного врача.

24 июля. Идут бодрые, веселые в труде, общении с моими милыми дачницами и сведениями с фронта, недели. Гитлеру скоро конец. Дай Бог дожить до времени, чтобы и имя его забылось.

Работаю много и много сержусь. Хорошо еще, что быстро отхожу. Надоело мне быть «главным врачом». Главное ведь не во «враче», а в хозяйстве — прямом и подсобном. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Обдумываю о переустройстве своей жизни, конечно, пока в рамках Владимира.

6 августа. Загорск. «Милый М. М.! Ждала Вас очень. Вы не приехали. Очень жалею, очень чувствую, что надо повидаться.

Скончался мой любимый юноша-сосед. Для меня он много значил. Я таких чистых и детских глаз у взрослого не видала и очень скорблю о нем, а еще больше разрывается мое сердце от жалости к матери. Когда хоронили его, я подходила к могиле Володи: запущена она — заросла, много желтых сухих листьев, но замок висит и я не могла проникнуть за решетку. Привезите новый замок и оставьте мне ключ, я буду часто бывать на кладбище.

Приезжайте же. Так хочется поделиться с Вами своими переживаниями. Т.Розанова».

15 августа. Полевая почта. «Дорогой М. М.! Давно Вам не писал и ничего не получал от Вас, но связь с Вами хочу сохранить и после войны реализовать, как говорят, встречей. Хочется думать, что у Вас все хорошо с работой, жизнью внешней и

внутренней. Владимир представляется мне местом, способствующим этому. У меня пока все благополучно. Пока везет. Превратности войны все бродят около, но не обижают.

Радуют дела фронта. Стоим близко от границы, и не будем стесняться, чтобы перешагнуть ее и пойти в "берлогу". Надо кончать с этим делом поскорее и возвращаться к мирной жизни. Так хочется успеть еще кое-что сделать. С интересом присматриваюсь к новым местам. На Западе мне не приходилось бывать — край хороший, польки красивы и элегантны, вода в Немане холодная. Если сообщите что об общих знакомых, — буду рад. Евгений Медведев».

26 августа. «Только несколько строк…

Хочется выразить Вам все то, что давно накопилось и трудно на словах.

Прежде всего благодарить и без конца благодарить за Мама, за Юрия, за всю нашу семью (или, вернее, остатки ее), за все добро, которое Вы для нас сделали и продолжаете делать… Оставайтесь таким, как Вы есть, — милый, добрый, умный, хороший, но знайте, что без Вас грустно и как-то пусто. А видеть Вас на народе как-то даже больно. Лучше совсем не видеть.

Вы будете удивлены, я знаю, но Вы чуткий и тонкий — поэтому, поймете. Ксения Сабурова».

28 августа. Муром. «Привет Вам, дорогой друг М. М.I Хорошо отогрелась душа моя у Вас в обстановке дружеской любви и ласки. Спасибо Вам, дорогой мой друг. Я никогда не забуду Владимира с его собором, с уютной комнатой и приветливой террасой с ее милыми обитательницами.

Если, паче чаяния, Анна Мих. и Марианна у Вас — поцелуйте их покрепче за меня. Ваш Печкин».

3 сентября. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Не разговаривали мы с Вами с мая по сентябрь. Немного времени прошло, а сколько пережито, передумано. "Илья Пророк — уже два часа уволок". Страшно впереди. Мелкий дождь, холод. Падают желтые листочки… Думы… о дровах, керосине, валенках, та же печь, домишко без ремонта — все более и более приходит в упадок. Порывы ветра сносят железо с крыши, а иногда выламывают целые бревна из стены, правда, пока двора, а не дома… Везде протекает.

Из колхоза прихожу такая прозябшая, усталая, грязная. В то же время мысли переносят в детские годы: тепло в низких уютных комнатках. Удлиняются вечера. Лампа под зеленым абажуром уютно освещает комнату. Мама шьет. Отец или читает нам, или клеит, мастерит что-то для нас по образцам, присланным детскими журналами (каждому из нас, детей, выписывается

журнал). А это чаепитие поздним вечером, к которому допускаются только старшие! С каким выражением на лице отец приносил к нему что-нибудь особенно вкусненькое… Разве забыть это дорогое лицо! И в старости оно сохранило свою привлекательность. Да, слово "старость" к нему нельзя было приложить. "Нутро" у него оставалось молодым.

Как у нас с урожаем на огороде? Печально. Сказалось засушливое лето. Не надеюсь много получить и из колхоза, хотя заработано там 30 трудодней. Ну, не хочу думать о "далеком". А.Крюкова».

6 сентября. Психиатрическая больница на 5 км Северной жел. дор. «Милый, милый М. М., как Вы меня вчера утешили своим приездом! Так утешили, что и сказать не могу. И порадовали, что не побоялись психбольниц. Знаю, что туда здоровые люди боятся заглядывать. А я сейчас, наблюдая больных, замечаю, что нет резкой разницы между психическими больными и так называемыми "здоровыми людьми".

А устроилась сюда, чтобы облегчить себе жизнь и побыть на воздухе. Здесь мне назначили йод пить и впрыскивать мышьяк. Я этому очень рада. Йод я не могла пить дома — молоко редко бывает в моем обиходе и боюсь сбиться, сколько принимать и как принимать.

Перечла "Запечатленного Ангела" Лескова. В молодости я его не так поняла — замечательная вещь. Впереди предстоит прочитать "Обрыв" Гончарова. Давно собираюсь, и здесь он есть… Ну, вот и все. Дорогой мой, благодарю также за ключик от ограды у могилы Володи. Я буду ходить за ней, и мне будет радостно писать Вам о ней. За денежки спасибо. Вы не можете себе представить, как я Вам благодарна за них. Т.Розанова».

10 сентября (из дневника). Неделю назад свез Аню в Москву и проехал в Загорск. Переночевал там в гостинице и два дня почти целиком пробыл у могилы Володи. Побывал в горздраве, посмотрел больницу там и примерил себя мысленно к Загорску. Решений никаких не принял, с тем и вернулся сюда. Ранним утром побывал в лавре. Разрушение и запустение этой русской святыни продолжается. Мне рассказал там С.А.Волков, бывший студент Духовной академии, о судьбе праха Великого Филарета, митрополита Московского. Храм над его могилой сломали. Могилу вскрыли. Кости Филарета ссыпали в мешок и держали их в шкафу музея, не зная, что с ними делать, пока очередная «музейная девка» не сожгла их в печке…

Я два дня не мог освоиться с таким «концом» Филарета.

Нехорошо в Загорске. Нет людей там подходящих. Затоплен он и заплеван базарными толпами. Это грязный пригород

Москвы. И показался мне Владимир со своим собором, далями, Клязьмой, Сабуровыми, со своею степенностью и тишиною — и значительнее, и интереснее.

Могила… конечно, дорога мне, но… молчит она. Она лежит тяжелым, могильным камнем у меня на сердце, давит, но уже не живет в нем так, как жила раньше…

12 сентября. Итак, лето кончилось. Терраса моих «дачников» опустела. Я иногда захожу в нее, посижу и только бережу этим свою «осеннюю грусть»… Погостила у меня О.А.Кудрявцева из Московского Литературного музея, давняя моя приятельница. Она два раза выступила на наших четверговых конференциях со сказаниями о «Куликовской битве» и «Городе-Герое Севастополе» и выступила талантливо, сильно, ярко. Мы все сидели, словно завороженные, горя любовью к своей Родине и своему прошлому и нестоящему.

17 сентября. Тбилиси. «Дорогой М. М., 11 сентября я срочной телеграммой взмолилась к Вам, как последнему прибежищу, прислать мне вызов во Владимир. В Ленинград ехать сейчас нельзя.

Оставаться тут тоже нельзя. Нет ни квартиры, ни службы. Дороговизна. Одиночество. Перманентное недомогание и полнейшая бесперспективность жизни:

Куда мне голову склонить?
Покинут я и сир…
Н.Вревская».

18 сентября. «Дорогой М. МЛ Приехал в Москву и простудился, слег и не разу не был в городе. С пропискою нудная и трудная история. В домоуправлении потребовали пройти санобработку в бане. Ближайшие не работают, нужно переть куда-то… куда и прямых нет трамваев. От такой "обработки" я вновь слягу или отправлюсь на тот свет. К чему эта "обработка"? Было бы еще понятно, если бы я приехал из Китая или Турции, а то приехал я почти что из-под самой Москвы.

Был в тубсанатории и узнал, что за время войны я потерял 23 кило 200 грамм веса. Хотел бы знать, сколько миллионов кило потеряло все население по милости немцев.

Если бы Вы знали, как я отвык от Москвы за годы уединения. Чувствую себя как дикая птица, попавшая в зоологический сад. Единственно, что меня радует, — это книги и вечерами электрический свет. Продолжаю разбирать рукописи. Из бумаг В.В.Розанова сохранилось все, бывшее со мною. Здесь оставались копии — они так же целы.

Всего доброго. С.Цветков».

21 сентября. Рождество Богородицы (из дневника). Чудесный солнечный день, и с раннего утра люди, масса мелких забот, прием нового областного начальства, ибо Владимир с недавнего времени стал областным центром. «Рюмка» водки для начальства у меня. А он, хрипловатый и одутловатый от частого общения с Бахусом, ел мясо руками и ласково поругивался в пространство «матом»… Визит его затянулся надолго… И вот только вечером я смог остаться один и отдышался за иллюстрациями, собранными Володей для «Чайльд Гарольда».

30 сентября. Алабино. «Дорогой М. МЛ На днях я получил письмо от Н.Н.Печкина, в котором было несколько слов о г. Владимире и о Вас, и мне захотелось спровоцировать Вас настоящими строками хотя бы на коротенькую, ответную открытку… Кругом уходят в тот край, "откуда путник к нам не возвращается", друзья и знакомые, и жить становится все жутче и жутче. А ну, как все сверстники переселятся в этот самый край, а ты останешься один, ненужный и никому неинтересный? (Завтра мне стукнет 74 года — семьдесят четыре — легко сказать.) Но как это ни странно — работаю и могу работать. Условия же работы, ей-богу, не жуткие. Такие, о каких и думать не мог. Жизнь больницы проходит в двух зданиях — инфекционном и хирургическом бараках. В хирургическом бараке автоклава нет, спирта вечно нет, марля бывает редко, инструмент в высшей степени изношен.

Для операции больные должны приносить из дома марлю и водку для мытья рук. Водопровод и канализация не работают. А все же оперируешь и немало, и на исходы операций как будто нельзя очень жаловаться. Чудеса! Крепко обнимаю Вас. К.Славский».

5 октября. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Ваша беленькая открыточка хотя на короткое время подняла мне настроение. Жизнь так нелегка, нет "нелегка" — это слово слишком мягко для нее. И лишь отступя от нее на некоторое расстояние, начинаешь понимать, осознавать весь ее ужас… В такое страшное время возможно жить лишь "гурточком", поддерживая друг друга и материально, и нравственно… И приходится бороться, защищаться… особенно упорно и жестоко… Убираем картофель, как-то готовимся к зиме. Все дни нагружены до предела…

Желаю Вам уютно и тепло провести зиму… А.Крюкова».

10 октября. Алабино. «Дорогой М. МЛ Открытку получил. За три дня до ее получения отправил Вам глупое (по обыкновению) письмо.

Пока жив и, как это ни странно, здоров. Нет болей в сердце

несмотря на небольшую, но нервную работу хирурга — не все ведь больные после операции продолжают жить. Нет и желудочных болей несмотря на пищу жвачных животных… Но, конечно, уж недолго нам (мне) травку топтать…

Это было где-нибудь на Востоке. Ученик спросил учителя: "Скажи мне, что такое смерть?" — "Как мы можем знать, — ответил учитель, — что такое смерть, когда мы не знаем, что такое жизнь".

Что такое жизнь???

Что такое смерть? Как подумать хорошенько, нельзя будет не признать, что смерть — величайшее благодеяние, которым награжден от Бога человек в сем лучшем из миров.

"Живи, пока я не приду!"

Мороз дерет по коже при одной мысли прожить тысячу лет в этом сумасшедшем доме, который создала людям их мудрость…

Тотальная война! Неужели Рузвельты, Черчилли серьезно думают, что они в силах сделать эту войну последней войной? Последняя война будет сверхтотальной. Настоящая только предпоследняя. Последняя сверхтотальная война должна начисто смести с земли весь род людской — до последнего человека… Тогда, может быть, будет "Новая земля и Небо новое".

Тотальная настоящая война накопила и продолжает накоплять в людях злобу, ложь, бессовестность, жажду крови, крови для последней войны.

Люблю Вас, люблю письма Ваши. К.Славский».

16 октября. Муром. «Шлю Вам крепкий дружеский привет, дорогой М. М., с оказией. Оказия — это девочка с саркомой верхней челюсти. Нужна резекция челюсти, операция, дающая у детей колоссальную смертность, и моя старческая рука уже не поднимается на такое "злое дело". Пусть покажет свое мастерство хирург областной больницы. Если сделает — честь ему и хвала.

От Д.В.Никитина сегодня получил письмо. Он перенес у Н.К.Холина (помните, какой он был в Бутырской тюрьме в наше там с ним время?) операцию грыжи без каких-либо послеоперационных осложнений, а ведь Никитину 73 года. У Ник. Конст. действительно "золотые руки".

Я сейчас в очень расстроенных чувствах — начинаются прелести зимы. Испортилась электропроводка, и операционная осталась без света. Нет дров, и не предвидится — только обещают "завтра привезти". Перегорели провода и у автоклава, и я сижу без стерильного материала. Просто жуть! Видите, какая у меня обстановочка.

Как здоровье Шереметевой-Сабуровой? Удалось ли вытянуть и разогнуть ее ногу? Напишите, пожалуйста, о ней и передайте ей

большой привет.

Вам желаю успеха. Наша завздравотделом в восторге от Ваших выступлений. Особенно ей понравилась Ваша характеристика молодых врачей. Она женщина не глупая, и нутром хорошая.

Крепко жму Вашу руку. Обнимаю и целую Вас, дорогой старый друг. Хочется повидаться. Ваш Н.Печкин».

20 октября. Харьков. «Милый дядя Миша! Спасибо за память и участие. Горя у меня хватает. Семь месяцев болеет Ник. Ник. Что у него, никто не знает, но он медленно слабеет, уже не встает, сам не поворачивается, пролежни, ничего не ест. Таня все лето работала в совхозе. Сейчас начались занятия, но учиться, в общем, некогда, больше приходится работать, чем учиться. Поступила она в комсомол, да и хорошо сделала. Надеяться ей не на кого, а комсомольцу шире везде дорога… Подходит зима… нет дров, обуви… В общем, весело. Простите, что пишу так мрачно, но я падаю духом. Если не трудно, напишите еще. В горе все люди страшно одиноки. Ольга Гайдарова».

23 октября. Москва. «Родной мой! Живем!.. Порой тошно и невыносимо. Денег не хватает, а страшная жажда помочь всем, накормить. Ирина мечется по рынкам — продает какое-то тряпье, и ни у кого нет тишины душевной, спокойствия. Я иногда сажусь за рояль читать ноты, и это меня успокаивает. На днях иду на Софроницкого — это тоже самое, что собор во Владимире.

Хочу ли тебя видеть в Москве — не знаю, но к тебе во Владимир — хочу.

Целую. Аня».

24 октября (из дневника). В связи с переходом Владимира на областное положение происходит глубокая перестройка всех учреждений. Понаехало много чиновного народу. Жить и работать в областном центре становится с каждым днем труднее. Я «девица с прошлым», судимость с меня не снята, я беспартиен — это все не на плюс мне, а на минус. Надо убираться подобру-поздорову. Меня останавливают и просят не делать никаких шагов в этом направлении до окончания войны. Вот вернется молодежь с фронта и примет от нас работу, а нам, старикам, будет покой и обеспеченная старость… Что же, подожду пока…

Купил ряд редких книг, и в том числе — «Историю Русской Церкви» Голубинского. Я много лет искал ее и вот здесь нашел у старой, вдовой попадьи.

25 октября. «Дорогой М. М., я не могу читать ни старой, ни новой так называемой художественной литературы… Новая не талантлива и беспринципна. А старая событиями трех последних лет так отодвинута в сторону допотопную, что как бы вовсе

задряхлела и умерла. Развивать эту тему не буду, а вывод из нее один, может быть, не совсем последовательный, сделаю.

Вам следует свои записки отпечатать в нескольких экземплярах и один подарить мне. Думаю, что Вашу рукопись я прочитал бы с большим вниманием и с чувством теплым. Я ведь хорошо помню талантливую "Книгу о Володе"…

Дальше пускай идут дела Петровско-Алабинские. И да пошлет мне Бог силы писать о них, добру и злу внимая равнодушно, не, чувствуя ни милости, ни гнева.

С первых дней войны из больницы Петровской выбыли все врачи мужского пола и операционная сестра Е.А.Бессонова. Последняя была два раза в окружении и вернулась распухшая, как бочка… Цинга! Явления цинги до сих пор резко выражены — шатаются зубы, по всему телу кровоподтеки. Несчастная жалкая девушка! Голодает. В квартире ее не работаю печи. Во время бомбежки один снаряд попал в фельдшерские квартиры, выбил везде стекла в окнах. Повредил печи. И вот она живет без стекол, и огонь горит (но не греет) в самодельной печурке.

Ваш преемник — А.П.Сарычев — военных удовольствий в полной мере попробовал только в начале военной службы. Но в полной мере! Где-то их госпиталь угощали всеми блюдами военной кухни. Затем он был переброшен в глубокий тыл, где с ним скоро соединились бежавшие из Петровского жена и сын.

Главный врач Н.М.Головин первые месяцы войны получал орден за орденом. Теленочек он, как известно, ласковый. А потом пропал без вести… Но он жив, ибо такие фигуры в огне не горят…

Продолжение следует. К.Славский».

4 ноября. Кокошкино. «Деньги получены. Уважаемый М. М., лишние слова, я думаю, не нужны.

Тема Вашего доклада "Влияние личности врача на больного" очень интересна. Будь я поближе или знай пораньше, я могла бы подбросить Вам материал… Надо понимать состояние больного человека, как все у него в это время обострено, как он ищет во взгляде врача и его движениях утешения. Как часто незаметное движение руки врача действует сильнее сильного лекарства… "Влияние личности врача на больного" — это ведь и послужило началом нашего» знакомства. Ваш жест, в котором чувствовалось и уважение к человеку, и сочувствие — неизгладимо врезался в сердце. Наблюдение за отношением к Вам всех больных в Петровской больнице, которые ожидали только Вашего обхода. Возгласы больных, выходивших из Вашего кабинета в 8-м диспансере… И вдруг Ваш возглас: "Пора, пора в могилу"… Было больно слышать и по-братски хотелось сказать: "Нет, Вы не банкрот. Вы устали, устали давать, но в Вас много; энергии, и

много должны Вы еще испытать радостей жизни от приносимого Вами добра". А.Крюкова».

8 ноября (из дневника). Несомненно, что праздники нужны в первую очередь для молодежи. Она ждет их. Они сулят ей и встречи, и любовь, и разнообразие интересов. Не то праздники для стариков — ну, это лишний отдых для них, а главным образом, скука. Вспоминаю, как, бывало, мы детьми приезжали к деду и бабке «на катамарию» в первый день Рождества. Для нас этот день блестел всеми цветами радуги, а там мы заставали мирную тишину, тиканье часов, горящую лампаду и дрему от праздника, скуку от ничегонеделания.

Так вот и со мною… в эти дни Октября. Провожу я их один… Поговорил раненько утром с Анюшкой по телефону. Полежал в постели лишние полчаса. Обошел больных и больницу, прочитал газеты, написал несколько писем… Я редко бываю в городе, но сегодня пошел туда. Впечатление ужасное… Толпы пьяной молодежи, подростков. Поножовщина. Ходить по улицам небезопасно. За день доставили в больницу семь человек, раненных на улице. Грабят при первой возможности, особенно у вокзала и на путях к нему. Словом, кажется, что живешь на маленьком утлом острове, и вот-вот и тебя захлестнет волнами жизненной мути.

Читаю «Историю Русской Церкви» Голубинского, и многое из прошлого — неясное, бывшее без очертания — приобретает форму. Но Боже, сколько недостойных людей «на трудной ниве Господней»!

15 ноября. Харьков. «Дорогой дядя Миша! Вот уже скоро три недели, как умер Николай Николаевич. Смерть его была ужасно тяжела и мучительна. Умер он в сумерки. Два дня длилась тяжелая агония, и два дня он не отпускал меня ни на минуту… Похороны были самые бедные, какие себе только можно представить. Сосновый некрашенный гроб, казенная лошадь и мы с Таней за гробом.

Осталась я без топлива, картофеля, зимней обуви… Жизнь не дает передышки! Сейчас же стала продавать вещи Ник. Ник. Сейчас же меня переселили в одну комнату… Отгородила себе уголок около печки. Некогда задуматься, проанализировать, вспомнить. Да это и к лучшему. Так как все это тяжело… Мучает меня и то, что как можно бы было скрасить последние дни Ник. Ник., будь у меня лишние деньги…

Проклятые немцы! Это они принесли нам столько горя. Разорили нас, сделали нищими. Ну, довольно… Найдете свободную минутку — напишите. Ольга Гайдарова».

26 ноября. Алабино. «Дорогой М. МЛ

1. Рукопись с моим бредом о пережитом и думах земского участкового врача есть у Н.Н.Печкина. Будете у него — пробегите ее и мне сообщите, о какой форме сумасшествия, по ней судя, можно думать.

2. Фотографии… После смерти, которая стучится уже настойчиво в мои двери, не должно оставаться от человека, так я думаю, ничего, абсолютно ничего. Фотографии, какая бы изображала бы меня как старца Божия, поднявшего ногу над глубокой ямой-могилой, у меня нет, но память о хороших годах, с Вами вместе пережитых, мне очень дорога, и мне приятно будет эти годы еще раз помянуть добром, сняться и послать карточку Вам.

Продолжение сказания о Петровской больнице. Может быть, с некоторым опозданием из Петровской больницы я, как знаете, ушел. И настойчиво вел линию — удаляться от нее все дальше и дальше. Шутя, мне приходилось не один раз говорить, что за скальпель я только тогда возьмусь и снова стану у операционного стола, если начнется при моей жизни еще раз война и оба Петровские хирурга будут мобилизованы в армию… Увы, это случилось… Финляндская война… Пришлось согласиться на роль консультанта и взять в свои руки хирургический барак.

Главный врач Н.М.Головин для прославления своей фигуры был не дурным изобретателем (очковтирателем). В бараке работало 2 хирурга и гинеколог. Но рентгеновский кабинет оказался разрушенным, часть оборудования пропала, другая часть приведена в негодность. Фотографическая комната стала свалкой всякой дряни. Автоклав с текучим паром поместили в ожидальне, и пар тек повсюду, где течь ему не полагалось. Цистоскоп пропал, тоже случилось и с пантостатом. Перевязочная заставлена ненужной мебелью. Раковины разбиты, краны обмотаны тряпками. В операционной нет ни одного исправного примуса. Краны тоже попорчены и обмотаны бинтами. Ванн нет, больные не моются. Уборные — это грязный, вонючий нужник трактира 3-го разряда. Комплектов белья на 25 коек оказалась 21 (двадцать один). Перемена!..

Пока кончаю на этом. Но это еще не история сама, а предыстория… Продолжение, если Вы от скуки не умрете, последует. Живите долго и хорошо. К.Славский».

30 ноября (из дневника). Получил я сегодня письмо от С.А.Цветкова, и он пишет мне: «Вы, наверно, слышали о печальной судьбе, постигшей Варю Розанову. Теперь тоже самое случилось и с Таней».

Как мне это горько и больно.

1 декабря. Лазаревское. «Вот уже три недели, что я здесь.

Увы! Тетя писала, что бытовые условия здесь хороши. На деле оказалось: мне не дают здесь моего спецпайка (500 грамм хлеба — I- остальное в закрытом магазине), а дают всего 200 грамм. Купить что-либо можно или в Сочи, или в Туапсе, что мне не по силам (висеть на подножках). Дров нет, света нет, дом полуразрушен бомбежкой, вода достается с трудом. Жизнь как в Ленинграде в 1941 году, но сил совсем мало и с каждым днем все меньше. Сидим на кукурузе, и то в ограниченном количестве. Денег почти нет из-за канцелярской волокиты — ни пенсии, ни аттестата, и неизвестно, когда переведут. Продать ничего нельзя — некому. Так трудно, что и сказать не могу.

Посоветуйте, как быть… Н.Вревская».

3 декабря (из дневника). Нет времени, нет времени!! И все нахожусь в «трех волнениях», но волнения эти несколько иного порядка, чем «той дамы». Топливо, белье и питание. Кругом лес, торф, а топлива нет. И кажется порой, что города отжили свой век, так как нет возможности их снабдить не только едою, но и светом, теплом и водою. Недостаток во всем.

Поздно вечерами урываю часок побыть «Пименом». Тороплюсь писать свое, хочу больше успеть… Нужно ли это, не знаю…

Сегодня день воскресный, и скука от скуки других людей. Я лично не умею скучать, но боюсь «скучливой заразы» и потому никогда не хожу в кино, так как уверен, что туда сносится вся скука и пустота человеческая…

5 декабря. Алабино. «Буду продолжать. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Да и самому не мешает ориентироваться в том, во что превратили добрые люди Петровскую больницу. Итак:

Я совершенно не могу понять, как Головин, главный врач больницы, мог до такой степени разболтать то отделение больницы, в котором он работал главным образом.

Картина, однако, еще не дописана… Сестры… Они исполнители многих врачебных функций. Например, они давали больному наркоз. Но что же это за сестры? "Сестра, сколько капель в минуту надо давать хлороформа больному?" Ответы получались жуткие, невероятные. "Что Вы будете делать, если во время наркоза расширятся зрачки больного?" Все четыре дурехи на этот вопрос дали одинаковый ответ: "Широкие зрачки, значит, больной просыпается и надо прибавлять хлороформ"… И по всем сторонам ухода за больными сестры в такой же мере были ориентированы.

Но в Финляндскую войну не эта сторона жизни барака меня особенно заинтересовала. Меня заинтересовали посетители больных. Ни один посетитель не являлся к врачу отделения без

каких-либо приношений, которые отдавались или бесплатно, или за хорошо пониженную цену. Чего тут только не было? Целый универмаг! Все это шло не через парадный ход, а другими путями.

В бараке производилось, достаточно много и достаточно серьезных операций. Врач-гинеколог (женщина) горела желанием научиться хирургическому делу, но к моему некоторому недоумению она, не раз бывавшая в Москве на гинекологических курсах, ни единой гинекологической операции не делала, если не считать выскабливание беременных несколько месяцев маток… И вот пришлось вплотную стать у операционного стола и взять скальпель в свои руки. И какая история! Сделаю я операцию, а в Нарофоминской газете "Сталинец" корреспонденция о том, как в Петровскую больницу поступил тяжелый хирургический больной и как гинеколог Федюкина К.С. не растерялась и его блестяще прооперировала. Что за черт! Федюкина после такого пассажа как будто чувствовала себя сконфуженно. Нехорошо! И когда Финская война окончилась и приехал домой один из хирургов, с большою радостью я счел свою миссию оконченной и убрался в свою келью под елью к картошке, грибам, козам.

Шло время. Психоз у народов Европы и у их правителей развивался во все более бурных формах. Война Германии с Польшей, Францией, Англией… У нас с немцами мирное, дружеское соглашение. Где-то там далеко рвутся бомбы, гремят орудия, трещат пулеметы… Далеко, далеко… У нас не слышно, у нас тишина и спокойствие. Накануне почти перехода немцами нашей границы ко мне заехал Н.Н.Печкин. В разговоре о войне мы предвидели все, кроме того, что в действительности получилось. В самый день перехода немцами нашей границы нанес мне визит мой племянник, крупный инженер в Москве. Очень я люблю этого парня с приемами студента доброго старого времени. Хорошо с ним провели время. Но когда я провожал его на платформу Алабино, война уже, к нашему изумлению, началась. Немцы нашу границу уже перешли…

Продолжение будет. Будьте живы и здоровы пока. Вы один из немногих остающихся здесь мне родных. К.Славский».

10 декабря. Богородское Ивановской обл. «Дорогой Миша! С помощью твоих ним и шапки я и Агнесса Яковлевна прибыли к старикам в Богородское. Здесь нам дали тоже кое-какую одежонку, и мы в тепле понемногу приходим в себя от столичных хлопот и сутолоки.

Я недоволен тем настроением, какое у меня было при встрече с тобою — отсутствие свободы в передвижениях и действиях — слепота главная причина такого моего состояния.

Престарелые проявляют большую телеграфную и эпистолярную деятельность, чтобы вернуться в Ленинград, где освободилась часть их помещения.

Условия жизни здесь не хуже прошлогодних, и по моему мнению, старикам нашим нужно Бога благодарить.

Пиши. Обнимаю. Д.Лихоносов».

12 декабря (из дневника). Вчера среди ночи телефонный звонок. Голос Анюшки: «Миша, умерла Люлечка!» — «Какая Люлечка?» — я не понял и не мог да и не хотел понять, что умерла милая, так крепко привязанная к сердцу — Людмила Нифонтовна Долгополова-Маслова.

«Завтра ее будут кремировать, так как в Новодевичьем не хоронят больше трупов…» Голос из эфира умолк. Голос такой родной… Анюшка забеспокоилась — я не мог две недели к ней дозвониться…

И страшная весть о смерти, и забота о мне живом — слились в одно…

Уснуть, конечно, я больше не смог. И ночь, и утро, и сегодня день мысль одна — «кремация»… Это уже совсем «ничто». Когда дорогое тело бездыханное, но все же образ любимого, покрывается могилою — Вы знаете, Вы чувствуете, что оно там есть, покоится… А здесь «ничто», горсть пепла…

А человек Людмила Нифонтовна была большой душевной тонкости… Остроумная, живая, элегантная… Всегда в черном шелке… Веселая… да, веселая, но в этом веселье всегда чувствовался, как и в ее комнате, — траур…

Ее первый муж литератор Батуринский Василий Павлович был намного старше Л. Н., но они были «единое». Он долго болел туберкулезом легких и умирал, как тает свеча — грустно, тонко, тихо…

Много лет спустя давняя дружба с человеком много моложе ее перешла в союз, ничем формально не связанный… Петр Павлович Сементовский — красивый молодой военный, коммунист, был на уровне Л. Н. по своей культуре, тонкости душевной организации, деликатности. Я помню единственный его приезд в Алабино и каюсь до сих пор, как мы тогда, и я в частности, не пощадили коммунизма П. П. А он молчал и знал свое, чего не знали мы. Очень скоро после этого он покончил с собою…

Людмила Нифонтовна была частой гостьею в Алабино и живала там подолгу, переживая свои душевные тревоги… Их дружба с Володею была изящна и мила в своих очертаниях. Они нашли свой тон, свой язык. Л. Н. понимала Володю и никогда его не осуждала. Она, одна из немногих, и хоронила его…

И вот я в последний свой наезд в Москву не навестил ее как обычно, и даже не позвонил по телефону ей… А знал я, что хрупка она, знал, что больна она… «Это значит испытывать приближение рока, заключенного в противоречии поступка».

В.В.Розанов говорит: «Старость, в постепенности своей, есть развязывание привязанности». Это глубоко и верно, и глубоко трагично.

Голубушка Людмила Нифонтовна, да успокоит тя Христос во стане живущих и врата Райская да отверзит ти…

28 ноября —13 декабря. Москва. «Дядя Миша! Из Вашего письма дошло только одно слово "Ирен". Как много напомнило оно — Володя, Алабино, Ваша комната в Москве, Медвежья Гора… все то, что осело в числе самых дорогих воспоминаний глубоко, глубоко внутри… Любовь моя к Вам тоже отсюда… На этом бы хотелось поставить точку, ибо, как говорил Володя: "Не любит, ох, как не любит Михо, когда с ним не соглашаются"… Он дерзал, дерзну и я — на 35-м году своей жизни…

Два письма почти в один день — от мамы и от Вас. Я бы сказала так — одна тема у двух разных композиторов. Главное, тема — от нее не уйдешь. Тема — это я. Каждый из Вас придумал свой образ, который так не похож на действительность… больно, почти драма — плохая, такая, сякая… Попробуйте взять да понять такую, какая есть, принять эту "злую действительность". Ведь 35 лет, и вся такая. Ведь знаете — есть люди "сами по себе", с ними ничего не сделаешь… Я с ранних лет такая и любила Володю без памяти за то, что он это понимал.

Самые близкие самых дорогих не критикуют. Их просто любят. Милый, родной Михо, я очень люблю Вас. Очень часто последнее время Вы делаете мне больно, но я никогда не разлюблю Вас.

Мама. Отбросим меня. Душа мамы с Вами. Ей скучно. С нами ей скучно, ибо с нами нет радости, ибо характеры у нас похожие, ибо есть у нас "дело", которое отнимает нас целиком… Маме нечем "жить" с нами. Она приехала в Москву, оставив душу у Вас, и все, что она делает, делает "без души", чего раньше не было. "Хозяйственный долг", Марианна, заботы — все это "ценности", которые нужно переоценить.

Тетя Люба в этом отношении живет проще без надрыва — не делая "главным" то, что не следует делать. Жизнь заставляет сейчас пересматривать эти "ценности", ибо они настолько сложны, что на них не следует обращать внимания. Я называю это "инстинктом самосохранения".

13 декабря 1944 года. Писала, как думала, помешали и думать, и писать.

9 и 10 декабря страшны смертью тети Люли. Мне безумно тяжело. Она, единственная из всех, последние полгода давала мне и тепло, и ласку. Мне стала она за последнее время особенно дорога — и вот ее нет. Вероятно, за всю жизнь я не наплакала и половины тех слез, которые пролила за это время…

Мне очень трудно жить сейчас. Я не могу жить только ради семьи, Марианны, но я бы не жила уже, если бы не было их. Мне кажется, что я нужна им… Вот и ясно, по-моему… Не всегда держу себя в руках — верно, от боли, которая иногда прорывается. Кроме Вас, у меня нет никого (мама, отец, Вы, дочь), и только любовь, долг, сознание того, что без меня будет еще хуже, заставляют делать минимум жизненных движений.

Разве я живу? Разве я работаю? Я заставляю себя двигаться, что-то делать, читать… Не заставлю — буду смотреть в одну точку часами. Скажите, где сопротивление… Почти год я борюсь с этим состоянием и с каждым днем хуже, а не лучше.

Голова налита свинцом… а что уцепиться, родной, скажите.

Пускай мама, Вы будете со мною немного поласковей… мне будет чуточку легче… Критика, сплошная критика и недовольство..

Такая, какая есть, Ирина».

17 декабря. Москва. «Дорогой М. М.! Мы надеемся с Наташей на Ваш приезд к Новому году и начали уже отсчитывать дни. Их осталось не так много. А вообще, все время приходится отсчитывать дни: ждем отдаленную весну, ждем 22 декабря, когда дни начнут удлиняться и этим дадут некоторую моральную поддержку. Ждем каждое воскресенье, когда не надо рано вставать и можно лишний часок провести в теплой постели.

Последнее время "перенапряжение", о котором Вы пишете, достигло у меня крайних пределов: я не спал ночами, зато дремал днем и не в состоянии был работать… Тут я решил бросить все и поехать на неделю к Вам — посидеть в тишине и одиночестве в тепле и со светом. На счастье, я заболел, дела бросились сами собою, а я отсиделся дома, отдохнул и теперь изменил стиль работы. Но мысль о поездке не оставил, а только отложил до свидания с Вами.

Музыкальный сезон идет вяло. Симфонических концертов мало. Играют и поют больше солисты. Много играет Софроницкий. Начал выступать, и с большим успехом, Нейгауз. Константин Николаевич Игумнов ходит взъерошенный и хмурый. Собирается договариваться с Филармонией о концертах. Ревнует концерты других. Собирается Вам писать.

М. М., приезжайте к концу месяца обязательно. Ждем с нетерпением. Сергей Симонов».

Кокошкино. «Последние дни старого года. Грипп, переносимый на ногах, вымотал окончательно. А тут новая забота — последние дни года, и… талоны все будут аннулированы. Как на грех, вышло распоряжение, первый раз за три года, получить по 400 грамм льняного масла и по 3 литра керосину. Ценность большая. Учителя соседних школ уже получили. Понадобилось четыре дня настойчивости и упорства, чтобы получить и керосин, и масло. Правда, масло порядочно отзывает керосином, но это не страшно: хорошая порция лука, пережаренного в этом масле, все выправит, и на порядочное время будет разнообразие в питании.

Сегодня суббота. Проверила, пока горит наша семилинейная лампочка, 60 тетрадей. Пока час-другой тепло, но скоро оно уйдет, и тогда жизнь замирает и одно желание — залезть под гору теплого в постель.

Напишите мне, каким путем Вы ездите из Владимира в Москву и обратно. Мы пробовали проехать в Загорск и вернулись обратно с жутким чувством — влезать приходится "тигром", пролезать — "медведем", лаяться "собакой" и вылезать "драной кошкой". А.Крюкова».

20 декабря. Алабино. «Продолжение, дорогой мой!.. Хотя должен сознаться, что тошно мне не только работать в Петровской больнице, но даже думать о ней и писать о ней.

"Значение врача в жизни и работе больницы"… Головин и после него Федюкина… Первый примерный мальчик, наделенный всеми добродетелями, аккуратненький, чистенький. Все его гладят по головке… Совершенно, однако, пустой человечишко, совершенно не авторитетный в больнице, лгунишка, самохвал… но ласковый теленочек и, думаю, за ласковость его больные "любили".

Вторая — аморальная Мещанка… И покатилась больница по наклонной плоскости, и катится, и едва ли остановится. И в каком виде остановится?!

Итак, война. Мужчины-врачи мобилизованы, но врачей в больнице еще достаточно — три человека, все женщины… В бабье царство добавился и я в чине консультанта. Федюкина — главный врач… Жизнь пошла в приличных тонах. Правда, Федюкина по-прежнему облагала подаяниями беременных женщин и женщин абортируемых. Но это происходило как бы где-то там, в особом уголке, и жизнь и лицо всей больницы не пачкало.

До осени больница жила почти нормальной жизнью. Врачи время от времени собирались на совещания. Снабжение больницы продовольствием и медицинскими предметами было удовлетворительным. Хозяйством больницы ведал — циник, жулик, пройдоха, умница — Сиваш (он был при Вас?). Про немцев

жуткими рассказами еще не был насыщен воздух.

Изменился состав больных. Гражданское население выздоровело, почти целиком койки больницы заняли воины из частей, гото вившихся на фронт на полигоне.

Немцы быстро двигаются… Калуга, Можайск.

Я держался и держусь мнения, что врачи не смеют оставлять больных ни при каких обстоятельствах. Ни даже тогда, когда их жизни грозит прямая опасность. Противны мне те фигуры врачей, которые думают только о собственных животишках.

Калуга, Можайск… Вот тут-то и стало обнаруживаться, чего стоили тогдашние Петровские врачи… Паника, бегство. Повторяю — рассказов про немецкое варварство в то время еще не было.

Первая уехала врач еврейка, ссылаясь на то, что евреев немцы поголовно убивают. Вторая "храбрая врачиха". Она уговаривала санитаров больницы запастись револьверами, дабы в нужный момент стрелять немцев из окон бараков. Третий врач, захватив свою худобишку, так же убежал.

Продолжение следует. К.Славский».

25 декабря. «Продолжимте скучную историю.

Итак, врачи с фамилиями драпанули из больницы. Остались Федюкина, Славская и я, старец Божий, со старухою своею.

Опустели от воинов палаты. Местные жители перестали думать о своих недугах. Больница опустела. Кучечка хроников и хирург в бараке. Кучечка поменьше в заразном отделении, да десяток-другой амбулянтов, больше из беженцев.

А немцы все ближе и ближе. Занята Нара, занят Можайск.

Первого декабря хорошая бомбежка аэропланами района Петровской больницы. Две бомбы попали в больничные здания. Разбита амбулатория. Разрушена часть квартир персонала. Во всех зданиях начисто разбиты стекла. Больничное население попряталось в подвалы больничных зданий. Мою дачку заняли беженцы, которые, к слову сказать, ее (дай им здоровья, Боже) начисто обокрали.

В больнице остался я, две-три сестры и несколько санитарок. Дворники… Жизнь Петровской больницы после бомбежки не буду описывать. Перейду прямо к тому, до чего дошла теперь больница и какие силы и мотивы ее до настоящего положения довели.

После бомбежки не было поставлено никакой охраны больничного имущества, и все богатство больницы было расхищено. Белье и хорошие запасы материала для белья… На нем погрели руки, главным образом, Федюкина и кое-кто из среднего персонала. В эти же руки пошла больничная посуда. Мебель растащил низший персонал и столь любящее больницу население близлежащих деревень. Многое из мебели пожгли

просто в печурках.

От библиотеки не осталось ни единой книги. Но что мне причиняет особую боль — это порча обоих микроскопов, ценности почти музейной. Один связан с именем А.Г.Архангельской, другой, Вы помните, был отдан нам почти бесплатно Л.А.Тарасовичем, имея на станке выгравированным его имя.

Дальше так. Терапевтический корпус хороша восстановлен военными и занят под гарнизонный госпиталь. Усилиями собственно больницы за эти три года отремонтирована только заново квартира главного врача.

Жизнь больницы пошла под одним влиянием: заработная плата безумна мала. Пайки ничтожны. Персонал должен сам своими силами и возможностями спасать себя и своих, если не сказать от голодной смерти, то от голода и последней степени нищеты. Вот на такой почве и развернулись "художества".

Обнимаю Вас крепко. Продолжение будет. К.Славский».

1945 год

4 января. Встретил я Новый год со своими в Москве. Собрались: Любочка с дочерьми, все Долгополовы, К.Н.Игумнов и Сережа Симонов с женою.

Задача моя была накормить всех досыта. Напоить — это и доступнее. Жизнь в Москве продолжает быть трудной. Газа нет. Воды в доме нет… «Бабушка, — говорит Марианна, — нигде воды не дают. Ходила по всем соседям». Электричество строго лимитировано. Дров в обрез. На меня быт московский и тяжелое переутомление москвичей действуют угнетающе.

За три дня моего пребывания в Москве я никуда не пошел, ни у кого не был и просидел на диване у печки с воспоминаниями Ф.И.Буслаева. Воспоминания эти очень хороши…

Вернулся я сюда с радостью. На вокзале меня ждала бойкая лошадка в санях… В светлой зимней ночи высились громады собора и стены Рождественского монастыря… Ехали по Щемиловке, а над головой у обрыва старый храм бывшей семинарии… А вот и чудесно раскинувшееся колонное здание больницы. Светятся все окна… Старые каменные ворота с аркой… и все такое знакомое, близкое, потому что много труда моего и заботы вложено во все это. Встречают меня ласково. Сестры, санитарки — мы близки друг другу. Нас сближает многое — и работа, и отношение к ней, и то, что я не краду и ничем, для себя

не положенным, не пользуюсь. Моя жизнь в коридоре больницы у всех у них на виду, каждое мое движение им известно. И меня уважают. А мое отношение к церкви и религии делает меня своим всей этой низшей братии.

Вчера посидел у меня проф. Н.П.Сычев, бывший директор Русского музея в Ленинграде. Мы встречались с ним на М. Горе. И вот он вчера рассказал мне свою историю с 1936 года. Что Одиссей с его странствованиями и приключениями! Все это меркнет перед тем, что испытал и пережил этот человек. Перед тем, что' может дать наша действительность.

5 января. «Дорогой М. МЛ Смерть Людмилы Нифонтовны меня весьма опечалила. Людей, дружески к Тебе относившихся, остается все меньше и меньше. Близок день (Боже упаси), когда не останется ни одного близкого человека.

Я не благословил бы Вас перебираться в Загорск. Делайте большое врачебное дело во Владимире. Умершие родные и близкие имеют какую-то таинственную власть над оставшимися в живых. Они всегда с нами, как бы далеко от места их успокоения мы не отъехали. И тем ближе они к нам, чем меньше дней жизни нам остается. Так, думаю, не у меня одного, к недалекой уже смерти пока не подготовившегося: не принявшего в сердце Христа Воскресшего. К.Славский».

В тот же день. «Алабино. М. М., дорогой мой, посылаю Вам сразу два письма… И больше писать о Петровской больнице не буду, не хочу. Да и зачем? Петровской больницы больше нет. Есть квартиры, где живут люди, называющие себя рабочими и служащими Петровской больницы и которые по-своему стараются пропитать себя и своих присных. А больницы нет. Одни живут припеваючи — главный врач, завхоз, персонал кухни. Другие (большинство) все более или менее нищают (кроме молодых и пригожих санитарок). Врачи встречаются более или менее случайно и, по-возможности, редко на дворе больницы. Судите по следующему хотя бы пустяку. С зубным врачом я первый раз встретился и познакомился после года его работы, при посадке картофеля на больничном поле.

Хирургический и инфекционный бараки заняты больными (как это ни странно). Но как их кормят, как за ними ухаживают! Вода и кислая капуста — это щи. Картошка и вода — это суп.

Хирургические больные оперируются лишь тогда, когда приносят из дома марлю и денатурат или водку (на грыжу марли 6 метров, на операцию на желудке 10 и 200 денатурата или четвертинку водки). Срамота!

Петровской больницы нет, и писать о ее развалинах не хочу. Противно. Молю Бога, чтобы поскорее вернулся кто-либо из

Петровских хирургов, дабы мне можно было последние дни моей жизни не ощущать жуткой тоски, "работая" в больнице, которую когда-то мы держали в блестящем состоянии.

Ваших писем жду и буду ждать. К.Славский».

15 января. Харьков. «Милый дядя Миша! Письма Ваши я получила, а перевода нет до сих пор. Отвечаю на Ваши вопросы: похоронила я мужа рядом с мамою и Тонечкой… Кладбище это было закрыто перед войной, но теперь на нем стали вновь хоронить.

Квартиру свою на Дзержинской мы оставили сами, так как она пострадала от бомбежки, и нам не под силу был ее ремонт.

Теперь я имею комнату с маленькой печуркой, которая плохо греет. Не знаю, как и зиму переживу.

Таня учится в Электротехническом институте. Живая, энергичная, самоуверенная. Со мною она хороша, не требовательна, помогает мне и всем делится со мною. Вам она не понравится — слишком современна.

Сама я живу интересами Тани. Друзей растеряла. Да и не тянет меня к людям — раны еще свежи, и только бы Вас всех повидала, но это невозможно. Найдите минутку и напишите мне еще. Ольга Гайдарова».

19 января. Москва. «Мишенька, родной! Твоя забота и помощь бывают всегда как-то очень вовремя. У меня по карточкам 4 кг жиров, и до сих пор не дали ничего. И вдруг твои жиры сегодня. Была в этот момент у меня Любочка, и я так счастлива была половину передать ей. О том, как мы благодарны, говорить нечего. Приготовила тебе маленькую посылочку — коробочку какао… О нашем приезде ты рано загадал — еще ведь три месяца впереди, и невесело мне как-то думать, что я опять брошу беспризорного отца. Работа у него трудная, большая, без отдыха…

Крепко целуя. Аня».

22 января (из дневника). Письма от меня и ко мне доходят лишь наполовину. Что за причина, сказать не могу… Возможно, и военная цензура… Москва становится недоступной не только территориально, но и «почтарно». Приходится пользоваться «оказией, как с Азией».

Ну, как видно, война кончается… Сколько у всех надежд и упований на послевоенное «эльдорадо»! А мне думается, что мы все ошибаемся. Не может сразу придти житейское благополучие.

24 января. Лазаревское. «Получила сообщение из Ленинграда, чтобы готовилась к отъезду в Ленинград. Обстановка там такова, что колебаться нельзя, и как мне не претит это возвращение, упрочение моего материального положения — не

шутка. Здоровье неустойчиво. Здешняя сырость, холод, тьма — трудно переносимы. Настроение "вегетативное". Н.Вревская».

28 января. Москва. «Дорогой М. М., вместо того, чтобы сидеть сейчас с Вами, — я сижу дома в валенках, ватнике, пальто и в перчатках. В комнате у нас 4 градуса тепла. Рука моя в гипсе, я поскользнулся, получил трещину в некой кости и выбыл из строя на месяц. Огорчен до крайности. Напишите, можно ли мне приехать к Вам в конце февраля? С.Симонов».

5 февраля. Москва. «Родной мой! Зима стоит лютая. В комнатах холод. Реву порою от холода и внутреннего, и внешнего. Гоняем за дровами и нигде достать не можем. Часто отапливаюсь керосинкой. Утешаю себя мыслями о весне, тепле и Владимирском солнышке. О помещении там — решай сам. Тебе виднее. Мне все хорошо около тебя.

Наши новости — Вова "меняет походку" и переходит на работу в Госплан. Там "литерное питание", а через два месяца "абонемент". Отец пролежал дома неделю и, видимо, пролежал с удовольствием, несмотря на боли.

Крепко целую. Будь здоров. Аня».

10 февраля. Москва. «Добрая ночь! Пишу Вам, потому что сегодня справила тризну по Владимиру. Сварила суп из последнего владимирского гриба и сейчас с черным хлебом доела последний чеснок, подаренный мне Вашею добродетельной секретаршей Юдифью. И стало грустно тем более, что в эту грусть вкрапливается и имя Анны Мих. Никак не думала я, что она в таких цепких руках семейного круга… Свидание наше никак не может состояться… Салют за салютом… а нам все не легче.

В закромах моих хоть шаром покати. Одежда моя ползет по всем швам, но в работе есть моменты хорошие… Ну, вот и все. Крепко жму руку. Ольга Кудрявцева».

15 февраля. Алабина. «Дорогой М. М., обещанное исполняя, посылаю фотографическую карточку. Похож весьма, и страшен тоже весьма! И не думал даже, что представляю из себя такое огородное пугало. Не следует старцам моего возраста и нашего времени сниматься, ибо нет у нас благообразия… Порядочный человек не должен бы жить так свински долго в сем лучшем из миров. 75-й год наполовину — легко сказать. И как это ни странно, чувствую себя более здоровым, чем в прошлом году. Но устал. Жутко устал и войной, и работой не по возрасту. Хирурги не должны быть моложе 35–40 лет и старее 55–60.

Жму Вашу руку, и да здравствуют больницы, во главе которых не бабы, а мужчины 45–60 лет. К.Славский».

18 февраля. Владимир. «Милая Ольга Александровна! Да что же это такое с Вами? Хворать, да еще крупозным воспалением

легкого! Да ведь так, не спросясь, и умереть можно. А я написал раз, написал другой… И только вчера от Анны Мих. узнал, что с Вами. Поберегитесь, очень поберегитесь после пневмонии. Боюсь я Вашей нетопленной квартиры, Вашей неустроенной жизни. Эх, Вы бобыль, как и аз грешный.

В природе — "как ты, февраль, не злись", а все равно масленица на дворе, и среди дня капели и воробьи повеселели… Давайте, и мы повеселеем. Ваш М.Мелентьев».

20 февраля. Муром. «Дорогой М. М.! Каждый день собираюсь Вам написать, но работаю до 7 часов вечера, а дома темно, а если и дадут когда свет, то хватаешься за чинку, штопку и шитье. Живу отвратительно. В течение 4-х лет, что я здесь, — ни одной знакомой семьи. Прихожу "домой", и там две сумасшедших старухи. Послушаешь их, плюнешь и ляжешь спать. Ну, все бы перенесла, если бы была хоть маленькая надежда на мое "освобождение", а ведь и этого нет. Даже конец войны мне ничего не обещает… Хочется мне посмотреть на Владимир. Последний раз я там была с Володей в 27–28 году… Как быстро пролетели годы! И как, кажется, недавно было Алабино. Боже, как там жилось, и как там работалось! Напишите. Татьяна Бессонова».

22 февраля. Кокошкино. «Уважаемый М. М.1 Суеты, суеты без конца, и казалось бы, она все должна убить, ан нет — тоска по красоте остается, "и звук этой песни остался без слов, но живой"… Природа дает и отдых, и покой. Да еще работа с детьми — мелкая, кропотливая, но творческая и живая. Во время последнего обследования школы крупный методист заинтересовался моею работою и просил написать о ней. Это мои девочки и "Книга «у Володе" дали мне возможность понимать других детей и строить свою работу с интересом для них. Вот "Книга о Володе" живет, живет в моей работе… И Мила часто говорит мне: "Мама, надо бороться, иначе будешь, как Володя".

Неделю у нас бушевала метель. Потом сразу изменилось все, и настали тишина и покой в природе. Хочется думать, что и для людей должно наступить время, после всех этих метелей, тишины и покоя. Без надежды этой и жить не хочется. А.Крюкова».

29 февраля (из дневника). Сегодня уехал Сережа Симонов. Пожил он у меня неделю и пожил мирно, содержательно, со вкусом. Давно этот человек верно идет со мною нога в ногу, и я люблю его спокойно, просто, как часть самого себя. Грустно было, что негде было ему поиграть, а мне — его послушать. Владимир — город не музыкальный, хотя здесь и имеется старейшая в стране музыкальная школа. Впрочем, это, должно быть, не так. Имеется же прекрасный хор в Успенском соборе… А рояль и Бетховен просто не пришли еще к нам по нашей бедности и

культурной, и материальной.

1 марта. Лазаревское. «Вот и ночь прошла долгая, бессонная, темная. Снова розовеет за морем край неба и свет, как-то неожиданно, врывается из-за горы. Еще холодно… Быстро затапливаю "буржуйку", готовлю мамалыгу, дети уходят. Я тотчас же готовлю (экономия) суп на обед, убираюсь. Затем час-другой пыхчу над глупейшим английским романом или ухожу в поиски пропитания. Задача эта томительна и трудна… День промелькнет быстро. Наступает тьма. Зажигается коптилка, при которой читать почти невозможно. В 9 часов все ложатся. Я же, придвинув к самому носу коптилку, читаю и пишу до позднего часа. И так день за днем. Иногда только письмо всколыхнет однообразие. Редко приятное письмо.

Погода резко изменилась. Шторм, холод, грязь, дождь. Все силы небесные против нас. Дом дрожит. Стекла звенят. Вдруг одно вылетает… Беда! Нечем заткнуть. Всю ночь топлю (с дымом). Утром заменяю разбитое стекло переплетом от книги… Вот как мы живем у моря… Дом разваливается. Тетка тоже. Меня терзают малярия и какие-то болячки по телу, должно быть, от плохого "питания". (Ненавижу эти слова — питание, витамины и т. п.) Здешний черкес на мамалыге, орехах и фруктах процветает, а мы, измотанные городом, нуждаемся в каком-то особенном "питании"…

За эти годы я увидела действительную жизнь. Оказывается, люди живут лишь "для себя" и "моя хата с краю"… Мир идей совершенно чужд. Книги редкость даже в так называемых интеллигентных семьях. Так было в Тбилиси. В Лазаревке еще упрощеннее. Газеты, радио — редкость. Церкви нет. Живут день за днем, подгоняемые заботой о куске хлеба на завтра. И таких миллионы, и диву даешься, как все же движется сложная государственная машина. Москва — голова, а остальное руки.

Несколько дней спустя. Погода четвертый день ясная, только холодно. Море тихое, лазурное. Зимний пейзаж с буро-желтыми тонами и снежными горами — хорош. Цветут розы, а примулы, крокусы и фиалки появились как предвестники весны…

Эх, кабы воскресить Алабино, поющий самовар, цветы, тишину и Ваш оживленный разговор. Н.Вревская».

5 марта. Муром. «Шлю Вам, дорогой М. М., свой привет. Хочу перекинуться с Вами словечком. Уж очень здорово я загружен. За февраль соперировал 99 операций. Это очень много на полтора врача, так как своего помощника я считаю за полединицы. Доказательством этому служит бывший на днях случай. Помощник решил срочно оперировать под видом ущемленной грыжи гонорейный орхо-эпидидимит. Хорошо, что я успел

вовремя отвести вооруженную хирургическую руку от несчастного триперитика…

Так вот работа поглощает все мое время. Остаются какие-то жалкие обрывки дел и мыслей… Я всегда удивлялся на Вас, откуда Вы, черт возьми, берете и досуг, и энергию на все Ваши занятия… У меня нет ни того, ни другого.

Я вот не понимаю, как могут жить старики "атеисты"? Если бы не искренняя вера в Бога, которая так согревает душу, я бы задохся в окружающей нас атмосфере ненависти, вражды и какой-то уж совершенно бессмысленной злобы. Крымская конференция удручила меня объявлением войны всему германскому народу, германской культуре. Я понимаю, что с фашизмом, гитлеризмом и его кликой следует бороться, но объявить вне закона весь, германский народ, раздавить его, ограбить — вряд ли это честно и благоразумно. Как Вы думаете об этом, дорогой мой дружище? А как Вам понравилось выступление Ильи Эренбурга — ведь это же проповедь погрома, идущая из уст еврея? Черт знает что творится!

Позвольте Вас крепко обнять, дорогой друг, а весною, может быть, удастся и расцеловать Вас. Ваш Н.Печкин».

7 марта. Москва. «Глубокоуважаемый и дорогой М. МЛ Спешу Вам написать о Тане.[3] Таня через небольшой промежуток времени была направлена в Институт имени Сербского. Пробыла здесь до конца февраля. Комиссия признала ее психически больной, невменяемой и направила для принудительного лечения на Столбовую. Пока она была здесь, я 2 раза в неделю носила ей передачу. Сейчас дожидаюсь теплых дней, чтобы поехать в психбольницу к ней, повидаться и утешить ее. Настроение ее, судя по запискам здесь, было очень покойное и высокое, каким всегда отличается она в минуты самые тяжелые, самые ответственные. Она всегда обнаруживала в такие моменты внутреннюю ценность и просто героику. Сейчас она без передачи, и я беспокоюсь. Все, что мне будет известно о судьбе ее, я напишу Вам. Н.Розанова-Верещагина».

10 марта. Москва. «Дорогой М. М.! Ваша открытка до меня шла ровно 17 дней. За это время письмо могло бы дойти пешком взад-вперед.

О Тане я слышал, что она переведена в психбольницу — не знаю, для чего: для экспертизы или для лечения. Можно надеяться, что это ей поможет. Бывают случаи в жизни, когда психиатрическая больница оказывалась счастьем, и можно порадоваться за попавшего в нее. Некоторые и позавидовать имеют право. Сергей Цветков».

12 марта. Лазаревское. «Спасибо за открытку. В чем Ваша

вина? Вы были, есть и будете образом, созданным моею фантазией, и не надо его материализовывать… Я ни в коем случае не хочу оборачиваться назад, ни в каких смыслах. Не хочется доживать дни мои совсем по-новому и по-иному. Житейские привязанности слишком связывают и отвлекают от главного. Тянет к жертве, жертве, и томится дух от духовной и душевной пустоты.

Вот Вы какой молодец, продолжая писание книги. Вот это действительно организованность внутренняя и внешняя. Я всеми силами стремлюсь к этому и работаю над собою… Хорошо бы нам серы езно и не спеша повидаться… Н.Вревская».

* * *

Передо мною десяток листов, наспех вырванных из тетради и исписанных то карандашом, то чернилами. Исписанных небрежно, наскоро, помеченных полевой почтой, без обозначения числа и месяца написания, и только на последних трех листках значится: Польша, Германия, Берлин. Я думал опустить их, не давать здесь, но за ними живой человек. За ним право двадцатилетнего знакомства и привязанности бескорыстной, дружеской и верной.

Николаша, Николай Михайлович Артемьев, деревенский мальчик из-под Алабино. Крепкая, хорошо слаженная семья. Отец, мой тезка, кустарь и крестьянин. Разумен, прост, деловит. Четыре сына, две дочери. Дом если не богат, то хорошо зажиточен. Николашу 16-летним мальчиком доставили мне в больницу с плевритом. С этого и началось наше знакомство. Это были 1924–1935 годы. Скоро деревня, где жила семья, была выселена. Пошли колхозы… Материальное положение резко ухудшилось, но старик держался еще и приспосабливался к новым формам жизни и ее требованиям. Запил старший сын. Николая взяли в армию. Семья оскудела работниками, но все еще держалась. Когда я вернулся в Москву после высылки в 1936 году, Николай тут же нашел меня и как-то привез отца полечиться. Но было уже поздно. Я увидел тень человека, изъеденного раком. Вскоре Николай остался старшим и стал запивать. Каялся, плакал, зарекался и пил. Началась война. Началась переписка.

* * *

«Многоуважаемый М. МЛ Получил Ваше письмо — за что от всего сердца благодарю. Зимовать в Берлине нежелательно. Мы все хотим закончить войну как можно быстрее и вернуться домой если не к своим женам, то к товарищам… Насчет весны… откровенно говоря, уже четвертую весну не замечаю ее природы. До того мы огрубели. Ну, а пока все хорошо — цел и невредим, хотя враг упорно сопротивляется. Еще наградили орденом Славы и медалью "За отвагу" — это за последние бои. Пишите, как живете. Бываете ли в Алабино? Какие смотрите вещи в театрах? Крепко жму Вашу руку».

«…Насчет того, чтобы выпить с Вами рюмку вина — это, конечно, неплохо. Я думаю, мы все же встретимся, ведь война на

Западе идет к концу, но на Востоке, я полагаю, должна скоро начаться… и вот дадут нам перерыв, или нет… Трудно сказать, как я представляю свою жизнь по возвращении. Я представляю Вашу жизнь сейчас там, а свою не представляю и не думаю о ней. Это дело будущего. Недавно были бои. Штурмовали Кенигсберг. Сейчас все очищено, и мы в тылу. Что будет, увидим. На жизнь мало шансов. Еще раз наградили "Красной Звездой". Не знаю, придется ли носить. Пишите. С приветом к Вам…»

Польша. Полевая почта. «Шлю я Вам чистосердечный привет и желаю счастья и здоровья. Михаил Михайлович, давно нет от Вас письма, и поэтому скучно. Второй месяц я в госпитале — это после взятия Кенигсберга немножко контузило, но уж поправился почти. Имею возможность читать, и уже прочел "Войну и мир" и "В горах и лесах" и каждый день слушаю рояль. Начальник отделения женщина очень славная, тоже с 10-го года. Все пока хорошо. Можно надеяться, что с Вами выпьем рюмку водки».

Германия. «…Шлю Вам горячий привет и множество наилучших пожеланий в Вашей жизни. Как Вы живете? Теперь война ведь кончилась, и жить стало лучше и веселее. Ну, я живу, как и все солдаты. Насколько я помню, Вы ведь тоже знаете солдатскую жизнь. Теперь есть надежда возвратиться домой. Воевал я ничего, следственно, домой возвратиться не стыдно. Имею три ордена и медаль «За отвагу». Дадут еще два. Но вот плохо, что семьи моей осталось мало в живых. Два брата умерли раньше, и третий погиб на войне. Осталась мать-старушка… И вот как вспомнишь все прошлое, как жили раньше хорошо — так сердцу больно. Крепко обнимаю…»

Германия. «Примите горячий привет и наилучшие пожелания. Как Вы живете и как проводите свободное от работы время? У нас, конечно, обстановка изменилась. Теперь уже не спим в земле и раздеваемся, чего раньше на фронте не было. Находимся в лагерях, занимаемся учебой, что очень надоело, так что лучше два месяца воевать, чем один месяц заниматься. Сначала думали, что скоро отпустят домой, были все рады, но отпускают только стариков от 53-х лет до 40, а мне еще только 36, так что еще придется служить. Очень тяжела мне эта учеба — в голове то, что у молодых… Хочется хоть маленький остаток своей жизни пожить по-человечески. И нет никакого развлечения: "ни рюмочки, ни юбочки". Все одно и тоже: "Сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум". Жду от Вас ответа. С горячим приветом к Вам…»

«…Как протекает Ваша жизнь, и как Ваше здоровье? Дайте ответ на это письмо. Видите ли Ваших прежних знакомых, и кого? Жив ли Славский? Видите ли К.Н.Игумнова? Я живу сейчас

неважно.

Очень скучно. На войне было веселее, и время шло быстрее. То поход, то в наступление, то вышел из боя жив и рад, что живешь на свете. А сейчас все одно и тоже — учеба и учеба. Домой пока не отпускают — наверно, будем ждать, пока закончится война с Японией… Жду ответа…»

Ну, конечно, я ответил, но ответа уже не получил… Что-то произошло, и не стало еще одного из многих хороших русских людей…

20 марта. Екшур. «Многоуважаемый М. МЛ Вы, вероятно, удивитесь, получив мое письмо, но на днях я получил письмо от брата Сергея, который спрашивает о Вас, и хотел бы узнать Ваш адрес и, думаю, был бы очень рад получить письмо от Вас. От Сережи почти три года не было никаких вестей, и мы, все его близкие, очень болели за него душою и не знали, что думать, и вот этим летом он объявился… Спрашивает он и о К.Н.Игумнове, но я ему ничего кроме того, что он жив, сообщить не могу. Летом, будучи в Москве, несколько раз проходил мимо его дома, однажды окна в его комнату были открыты, но зайти к нему я постеснялся.

Теперь несколько слов о себе и брате Анатолии. Мы оба с ним потеряли наших жен от туберкулеза легких. У меня остался сын, у него годовалая девочка. Семью нашу продолжают постигать несчастья.

Адрес Сергея — Бухта Нагаева ДВК. Поселок Палатка.

Уважающий Вас Алексей Коншин».

22 марта. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Все думы, как сохранить жизнь трем. Картошечка вся. На рынке 600 руб. мешок. Вместе с Милой мы получаем 570 руб. Катюша ходит в первую смену и до трех часов ходит без еды. И видеть это потемнелое личико с морщинками выше моих сил. За летнюю работу получила 2 кг овса и 6 кг ржи, но работа на поле в знойную сырую погоду отозвалась на руке, рука теряет движение, даже выпадает мел.

Наблюдаю возвращение мужей и отцов с фронта. Даже не завидно, а только отдыхаешь на этих светлых явлениях жизни. Возвратился без ноги муж. "Ну, теперь-то мое горе позади, сам вернулся". Действительно, и без ноги быстро нашел себе должность и все заботы о семье взял на себя. "Вот мой-то, когда пьяный, Вы знаете, какой бывает, а только бы дождаться хоть больного". Дождалась и она. Пришел с язвою желудка и осколком в легких. Пришел, и за дела! Приладив обрубок дерева, перекалывает дровишки, а мальчуганы их убирают. А в избе уже налажен и токарный станок, хотя человеку и стоять прямо нельзя.

Зашел попить с поезда отец с моей ученицей. Раздробленная челюсть позволяет есть только жидкое. Зашел выпивши, шатается. Под мышкой валенки лучшего сорта… "Смотри, какие купил своей бабе — пусть понимает, что хозяин теперь дома. А портфель хорош у дочки? Учись только, ничего не пожалею". — "Пойдем, папаня, там мамка ждет", — тянет за рукав пьяного отца с любовью и заботой о нем 9-летняя девочка, уминая булку за булкой… Да, сам дома, чувствуют дети.

"Трудно Вам троих-то растить?" — спросила я как-то. "Ну, для чего и жить-то? Пусть растут", — отвечает отец… "Он их совсем у меня избаловал, — вставляет мать, — да и меня-то жалеет. Никогда я у него за дровами не хожу и не колю. Все он мне приготовит в выходной день".

Да, не вышла своя жизнь! Что же делать? Найдем "иную", "где Рафаэль и Данте, и Шекспир". И пожелаем простым людям покоя и простого счастья, и вырастить хороших, дельных, без всяких нервов, людей…

А Ваши беленькие открыточки что-то стали редки? А мне они нужны. Вы — единственный, что готов помочь мне. А.Крюкова».

24 марта. «Дорогой М. М.! Уже месяц, как нахожусь в психиатрической больнице имени Яковенко на Столбовой. Работаю в мастерской пошивочной. Чиню белье. Находят у меня психостению, и благодаря ей я тут — поблизости Москвы…

Чуть топят. Количество еды для меня достаточно. Труднее всего отсутствие удовлетворения всяких культурных потребностей. Не знаю, как выдержу. Боюсь окончательно разболеться психически.

25 марта. Поздравляю Вас с праздником, и не грустите обо мне. Мне хорошо. Есть минуты уединения и любимые мои две маленькие книжечки со мною, и я не грущу. Во всяком случае, самое тяжелое пережито. От Бога много видела я помощи, и не буду унывать и малодушествовать.

Известие о деньгах от Вас получила. Спасибо, дорогой мой, буду беречь эти денежки до выхода из больницы. Письма пишите мне через Надю.

Вы, верно, угадали, что болезнь моя в чрезмерной впечатлительности и в неумении уложиться в рамки обыкновенной действительности.

Крепко жму Вашу руку. Т.Розанова».

13 апреля. Алабина. «Дорогой М. М.! С 10-го числа этого месяца не работаю в Петровской больнице… Выставили, как это ни странно. Больница, и в частности хирургическая работа в ней, хирела. Было скучно и глупо, но я все же предполагал дотянуть до конца войны — благо, он не за горами, и затем мирно умереть,

может быть, чуть-чуть подумавши: "Исполнен мой долг, завещанный от Бога мне, грешному". И вот вдруг 10-го после только что сделанной мною операции главврач, известная вам Федюкина, мне заявляет, что она и райздрав решили уменьшить мне зарплату. Федюкина, вообще-то, толковостью и джентльменством не грешна, но все же такого фокуса я от нее не ожидал. Фокус меня оскорбил весьма. Тут же я вручил записку с просьбой не считать меня отныне в составе врачей Петровской больницы. Чтобы можно было распрощаться с больницей не на людях, заявил, что мои сердечные припадки очень обострились.

Такие-то дела… Живите долго и не забывайте глупого К. Славского».

15 апреля. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Получил Ваше письмо и перевел Вам деньги. Не могу сказать, как я рад был сделать это. Не отказывайте себе в необходимом. Деньги, пожалуйста, тратьте и не падайте духом. Это испытание Вашей веры и Вашего мужества.

Я живу по-прежнему в большой работе. М. М.».

24 апреля. «Милый М. М.! Вы пишете, что нужно терпеть. Знаю, что терпеть и терпеть нужно, но не понимаю, почему я помещена в исправительную колонию, это отделение больницы имени Яковенко, отчего меня нужно исправлять? Т.Розанова».

2 мая. Владимир. «Дорогая Татьяна Васильевна! Получил Ваши письма и надеюсь скоро увидеться с Вами.

Я недавно из Москвы, а в день смерти Володи 19 апреля был у него. Там все в порядке. Спасибо Вам — это Ваша осенняя забота о могиле.

Пожалуйста, сообщите мне о переменах в Вашей жизни и не падайте духом. Помните Златоуста с его: "За все Слава Богу".

Быть может, сгущенную атмосферу у Вашей комнаты в Посаде нужно заменить переменой в более спокойном и простом доме? Вам это будет грустно, но эту грусть надо побороть, перешагнуть через нее. Кое в каких вещах в жизни приходится уступать.

На праздник Воскресения я остался здесь — так лучше мне — больше уединения, сосредоточенности и возможности побывать в храме без давки. Службы я не менял. Вас смутила "областная больница"… Это 1-я Советская больница стала областной — отчего еще труднее и ответственнее работа. Пока справляюсь, но тягощусь. Буду теперь ждать вестей от Вас. М. М.».

В тот же день. Москва. «Дорогая Ольга Александровна! Что и как Вы в "освещенной" Москве? Веселее? Спокойнее? Страшное позади. Можно об этом страшном писать воспоминания. Не каждому поколению приходится переживать "немца у Москвы"…

А весна холодная, ветреная. Клязьма не разливалась, и

старики, ох, уж эти старики, пророчат плохое.

Что со мною? Много работаю и хочу спать — от старости ли, от весны? Что-то не разберу. С 15 мая к нам из Москвы ежедневно поезд. Думаю, что за этим последует и отмена пропусков. Я Вас, в связи с этою свободою, жду сюда, а сам чаще буду наведываться в Москву.

Всего Вам хорошего. М. М.».

В тот же день. Харьков. «Дорогой дядя Миша! Веселого в моей жизни нет ничего. Слава Богу, что зима кончилась. Мерзли мы отчаянно. Питание у нас очень скудное, и обе мы постоянно с головными болями от недоедания. И еще обокрали нас. Взяли наши выходные платья и обувь — словом, все, в чем мы могли иметь приличный вид… Это удар для меня ужасно тяжелый.

Сейчас пришла с кладбища. Поплакала там обо всем и обо всех сразу. Могилы бы надо привести в порядок, но денег у меня нет. Вы когда-то предлагали прислать мне на это — вот теперь и пошлите.

Работаю я много, очень много, но прожить на заработок мы не можем, и каждый месяц я что-нибудь продаю… В общем, долго не писала, и это, пожалуй, лучше было, но все равно пошлю это письмо.

Крепко целую, Ольга Гайдарова».,

9 мая. «Мой дорогой М. М.! Поздравляю Вас с днем Победы. Я около Берлина. Так далеко занесла меня судьба — от родных мест. Хочу посидеть и поговорить с Вами, хочу видеть Вас, но когда вернусь — неизвестно. Ф.Истомина».

13 мая. Москва. «Дорогой М. М.! Окончилась война, и можно надеяться, что Вы скоро вернетесь в Москву… У букиниста видел книги В.В.Розанова, в числе их — "О понимании" (800 руб.). Раньше никогда их не встречал. В Тарусу, увы, не еду — не по силам:, переезд, прописка, получение карточек. Сергей Цветков».

15 мая. «После заключения мира, я окончательно повернулась к жизни. Хочу работать, хочу людей, музыки и т. д. Доживаю в Лазаревке последние дни. В Москве зайду на Вспольный, как ни грустно быть там без Вас, дорогой друг мой!

Погода потеплела. Все сразу зацвело, но столь же быстро и облетает. Море не манит, красоты здешние не прельщают. Хочется на моховую кочку, в березовый лес с ландышами и кукушкой. Н.Вревская».

17 мая. Москва. «Дорогой М. М.! Поздравляю Вас с Победою, окончанием войны, Пасхой, весной… Весна очень холодная и мокрая, но это ничто в сравнении со всем остальным. Что такое пророчествуют владимирские старики? Мы тоже старики и говорим по-старинке: "Май холодный — год хлебородный". Что же

Вашим старикам еще нужно? Ольга Павловская».

22 мая. Столбовая. «Милый М. М.! Спасибо за письмо. Я уже начала беспокоиться о Вас. Пенсию я получила, но на нее можно купить только молока, да и то изредка. Хлеб здесь, конечно, только черный, и очень плохого качества. В Пасху и молока нельзя было купить. Как я буду жить дальше, не знаю. Бог все устроит. Поработала несколько дней на огороде на полке и свалилась. Буду чинить опять белье. Больная я не выгодная, и ко мне может измениться отношение. Т.Розанова».

25 мая. Владимир. «Дорогая Ольга Александровна! Погода — "люблю снежок в средине мая…". И Анна Мих. не едет ко мне, и нет у меня Ваших "победных настроений"… Забот у меня полон рот… Ремонт, разные перемещения, всякая "злоба дня"… Впрочем, есть одно большое событие, относимое к радостным. Вчера некий чин принес ко мне в мои приемные часы в поликлинике индульгенцию с отпущением грехов, конечно, только прошлых, но не будущих… Да и еще радость — возможность, наконец, иметь отпуск. Так вот и держится какое-то равновесие в жизни. М. М.».

30 мая. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Огород вскопан, и посадила с девочками под лопату 2 мешка картофеля. Но наши планы посадить еще 2 мешка у школы, и тогда уже не будет так страшно жить.

Состоялось профсобрание. Эта организация за эти годы совсем распалась. Теперь же выслали представителя от района, чтобы произвести выборы нового селькома. Собрание предложило меня. Представитель из района замялся: "Она за три года не платила взносов, а в прошлом году явилась к нам с просьбой дать ей денег. Из кармана сейчас же мы не смогли ей предложить, а ожидать она не стала". Вношу поправки: "Мне необходимо было обуть дочь школьницу. Имелись талоны на обувь. Я просила дать мне талон. Мне отказали. Поезд отходил, ждать было бесцельно и неразумно — я и уехала"… Товарищи настаивают на моей кандидатуре… Благодарю за доверие, но отказываюсь тем, что мой костюм не позволяет мне это. А что представляет мой костюм — Вы знаете… Удалось отклонить свою кандидатуру. После собрания вновь избранный сельком предложил мне подать заявление в союз о помощи. Подала с просьбою помочь мне приобрести 6 метров подкладки. Но как и ожидала — безрезультатно: "В настоящее время все средства израсходованы, и в просьбе отказать". А состою я членом союза с 1918 года!!

Много думаю о Вашем отпуске за 4 года такой напряженной работы. Чем могу быть Вам полезной? Ведь Вы помогли мне сохранить веру в человека в такое ужасное для меня время… А

мне вновь придется летом работать в колхозе: нужны дрова, нужно сено, а лошади только в колхозе. Как хватит сил справиться! Иногда падаю духом, но все думаю не о смерти, а о жизни и борьбе до "победного конца". А.Крюкова».

4 июня. Харьков. «Дорогой дядя Миша! Война окончилась, а жизнь все еще остается сложной. Перевод на деньги и письмо получила. Приглашение приехать на лето очень нас тронуло и обрадовало. Возможность провести лето в культурной обстановке с Вами и тетками — это просто замечательно. Но скорей всего опять придется работать в колхозе.

Крепко целую и благодарю за все. Ольга Гайдарова».

7 июня. Москва. «Дорогой М. МЛ Умер Сергей Николаевич Булгаков. Умер несколько лет тому назад, но узнал я только теперь. Умер он от рака горла. Ему сделали удачно операцию и вставили трубочку. Он мог продолжать служить священником и читать лекции…

Вот и уходит постепенно старшее поколение.

В том, что Вы не торопитесь возвратиться в Москву, — есть смысл, но многие из Ваших знакомых пожалеют об этом. К их числу принадлежу и я. Давно предвкушал удовольствие прочесть Ваши воспоминания. Надеюсь, вы дадите.

Всего доброго. С.Цветков».

14 июня. Столбовая. Психбольница им. Яковенко. «Дорогой и милый М. МЛ В библиотеке я прочитала учебник по психиатрии Неймана и очень расстроилась. Там написано, что шизофрения кончается всегда слабоумием. А у меня находят шизофрению… Утешаю себя только тем, что мне осталось не так уж долго жить. Напишите мне что-нибудь, чтобы утешить меня. Кругом меня все время грубая речь, ругань, вульгарные песни, и Вы не можете себе представить, как тяжело все это.

Один час в неделю я имею возможность ходить в библиотеку. Там сегодня прочла все о душевнобольных людях у Бундта. Там все не похоже на то, что у меня. Нужно не падать духом. Напишите, дорогой мой, что Вы об этом думаете. Вообще, не оставляйте меня письмами. Вы не можете представить, как важны мне Ваши письма, Ваше участие… Ведь многое, что относят у меня к болезни, объясняется тем, что я человек иной среды, иной культуры, чем те сестры и няни в больнице, которые окружают меня. Меня никогда не оставляют одну, боясь, что я покончу с собою — не понимая меня, что я стремлюсь к уединению не от того, что больна, а потому, что много есть о чем подумать. Достоевский в записках "Мертвого Дома" пишет, что самое тяжелое там для него была невозможность побыть одному. Я умудряюсь час-полтора побыть одной, но как это трудно сделать

и чего это стоит. И это ставится мне в вину, как недостаток моего характера и признак моей болезни. Часто вспоминаю экзамен Володиных умственных способностей. Совсем аналогичное было у меня. Мое спокойствие приняли за ненормальность, не понимая его источника — крепкую веру и уверенность, что все, что ни бывает с нами, нам необходимо и полезно.

Крепко жму Вашу руку. Т.Розанова».

16 июня. Алабино. «Мих. Мих., дорогой мой! В Вашей открытке не понял одного слова — репрессирован… нет его больше в сем лучшем из миров!

Разваливаюсь. Что ни день, уменьшаются силы. Не хочу жить и не могу жить.

Вас обнимаю крепко. К.Славский».

25 июня. Кокошкино. «Уважаемый М. М.! Два дня льет дождь, но и в такие дни не могу позволить себе такую роскошь, как написать Вам письмо. Наша очередь пасти стадо коз поселка в 60 голов, в 240 быстрых козьих ног. "Хоть умри, а выполнить это надо". Надо накормить и всех доставить хозяйкам в целости и сохранности. Но и мы пользуемся такими же услугами. Выручает тут Катюша. Два с половиною дня выдерживает с честью под проливным дождем. "Мама, мне надо справиться, и я почувствовала уверенность в своих силах. Вот посмотри, какие небольшие ребята справляются и как они уверены в себе. А мы с книгами удалены от такой жизни. А попробуй плохо накормить или рано пригнать — заедят бабы"… Да, бабы загрызут за плохую работу. Сами-то хорошо справляются, и нам надо. Работа в коллективе воспитывает прекрасно. Измочили всю одежду, всю обувь — ведь ни плаща, ни сапог в доме не имеется. "Кому до этого дело, мама. Надо справляться, надо быть сильны ми". Жизнь строга, и только скажешь: "Господи, пошли сил и здоровья". А.Крюкова».

27 июня. «Дорогой М. М.! Мы "сели на мель", безвыходное положение: нет ни денег, ни продуктов, ни топлива! Дожди мешали мне ходить на "барахолку", а частным образом ничего не продается. Если можете, одолжите рублей 200… За последние две недели мы очень бьемся. Стараюсь выскочить из создавшегося положения, но пока не удается. Я-то не беда, но мама очень ослабела.

Простите за беспокойство. Вы хотели нас забыть, а мы напоминаем о себе. Ксения Сабурова».

1 июля. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! Вы запретили мне писать на больницу, равно как перевести Вам еще денег… Я хочу ослушаться и деньги перевожу и пишу. О жизни Вашей в дальнейшем — не беспокойтесь. Я Вас устрою здесь, если Вы

этого захотите. Мне очень нужен библиотекарь. Работа самостоятельная, одинокая. Угол я Вам дам и кормить буду. Не беспокойтесь об этом. Проехать сюда можно без пропуска. Выходите на волю, а там все "образуется".

У меня живут Анна Мих. с Марианною. Я им очень рад, и живем мы отлично. У меня, как всегда, много работы и никакой посторонней нагрузки выносить уже не могу. И устал, и постарел…

Напишите мне толково о Ваших делах — я не очень в них разбираюсь. И когда выйдете — напишите. Будьте здоровы и спокойны. М. М.».

20 июля (из дневника). Закружили дела и люди. Побывал наскоро в Москве и вспоминаю о ней «кошмарно». По-видимому, мне нездоровилось, я ничего не мог есть и только пил кофе, предусмотрительно взятый с собою. А лето уходит, и только последние несколько ночей теплы и лунны. Пишу о ночах, потому что дней я не вижу. А поздними вечерами мы с Анюшкою посиживаем на террасе у нее. Цветут и пахнут липы. Радио часто передает старенькие вальсы, а они нагоняют грусть о пережитом и часто думается, что зажились мы и пора, пора под холстинку… Но наступает утро, и жизнь вновь вступает в свои права и заставляет работать и бороться. Вот так и текут дни.

Жду Игумнова к себе. Он уже телеграфировал мне, что свободен.

6 августа. Алабино. «Дорогой М. М.! Получил Вашу открытку. Хочу дать коротенький, но, сколько могу, полный отчет о своем положении.

Анна Иосифовна (жена) умерла 6 мая, через две недели после моего ухода из Петровской больницы. И это вышло даже очень хорошо, ибо умирала она очень тяжело, и агония тянулась бесконечно долго. Не любила Анна Иосифовна говорить о своих болезнях. Какие-то боли в области желудка после всякого приема пищи, поневоле не весьма квалифицированной. Желудочное кровотечение и затем медленное, медленное таяние — под морфием, который мы для нее не жалели… И умерла, и зарыта в землю на старом Петровском кладбище, рядом с могилой сына Костика.

И горе не умершим, а оставшимся. Я живу пока в своей "келье под елью". Хочу, чтобы московские внучата провели лето так, как это было при жизни бабушки.

Я и стар, и дряхл. По совести полагаю, что ни к какой работе больше не годен. Ни к какой. Переутомился работой в годы войны, устал от самого факта войны, устал от разрушения до состояний помойной ямы Петровской больницы. Последнюю

каплю в стакан положила смерть Анны Иосифовны.

Устал от войны… Старческие мозги видели в ней — не победы и одоление, не торжество "свободолюбивых, мирных демократических наций", а миллионы убитых, в жестоких муках погибших людей и… только. И ничего больше. И пускай бы то были старые люди, вкусившие от древа познания добра и зла. Дети, много миллионов маленьких деток, даже не подозревающих о существовании такого дерева.

Не много, но все же я видел и муки раненых воинов, и этих, пострадавших от войны деток… В Петровской больнице пребывали медсанбат и санитарные роты, и полевые госпитали. Последние, главным образом, размещались в хирургическом бараке, где в рентгеновском кабинете (бывшем) имел приют и я после бомбежки больницы. Каждые сутки прибывали сюда 200–300 раненых. Часто ночами здесь оперировал. Оперировал больше только раны живота и головы. Каждая партия оставляла 8—11 человек умершими. Барак был на 15–20 коек, вмещал 200–300 взрослых мужчин. На полу, в коридоре, на носилках плечом к плечу… И что любопытно, и что поистине страшно и жутко — эти изуродованные люди говорили, что они попали в рай… Спят, но не от морфия… Зрачки широкие, широкие…

Немцы стали отступать… И вот почти от Смоленска к нам повезли пострадавших из мирного населения… Тоталитарная война!! Тут были и раненые, но больше было обмороженных, проведших зиму в холодных "убежищах". И это было жутко еще более… Не помню я всех оперированных мною когда-либо больных, а этих даже очень помню… Девочка 6-ти лет Лиза и брат трехлетний Володя. У девочки чуть-чуть обморожены ручки, а у Володи обе ноги до половины голени обморожены начисто. Ампутировал обе ножки… Из Нары дети одной семьи — старшая девочка, прехорошенькая — обморожены обе ноги, ампутировал. Лет ей было 13–14. Брат 10-ти лет — глубокое обморожение обеих пяток, сестренка 5—6-ти лет — обморожены пальцы на обеих руках… Ампутировал… Что это? Операции? Врачебная помощь? Или преступление?

Палата женская. На одной стороне 4 молодых женщины. У всех четырех только три ноги и семь рук. Ноги ампутированы в середине бедра. Рука вылущена в плечевом суставе. Врачебная помощь? Не лучше бы просто умереть без такой помощи?

И много, много всего другого.

Кажется, стар. Кожа должна быть толстой. Мозги пропитаны известью. Кажется, все эти чувствительности, жалости, чужое горе не должны тебя смущать. Не тут-то было! Суммируясь, накопляясь, все это довело меня в конце концов до полного

изнеможения, до полной прострации.

Хочу одного — на Петровское кладбище, рядом со своей старухой и сыном. Говорю это совершенно чистосердечно.

До 15 сентября проживу здесь в лесу, а что будет дальше, не знаю сам. Ну, устал. Горячий привет Вам. К.Славский».

7 августа (из дневника). День именин Анюшки. Ждали москвичей — не дождались. «Именины состоялись с местными силами».

Вторую неделю живет у меня К.Н.Игумнов. Мы помещаемся с ним в моей небольшой комнате, но это нисколько не нарушает моего самочувствия. До того он тонок, мил и непритязателен. А игра с ним в «простые дураки» по вечерам — это истинное удовольствие не только для Марианны, но и для нас с Анюшкой. Как горько и как жаль, что он физически стар и не может в полную меру пользоваться прогулками. А он их так любит и делает всегда один, внося и в это что-то свое, единственно ему присущее.

Предполагалось, что Константин Николаевич выступит с концертом на областном съезде врачей. Но осмотр рояля в помещении «Офицерского собрания» (бывшее Дворянское собрание) показал полную его непригодность. Кстати, один штрих — не так давно из Москвы сюда приехал симфонический оркестр с 4-ю симфонией Чайковского. Было продано всего полтораста билетов. Концерт начался почти при пустом зале и не мог быть закончен, потому что и пришедшие понемногу разошлись.

16 августа. Владимир. «Милая Татьяна Васильевна! С удовольствием вспоминаю часы, проведенные с Вами в Загорске. Страшное у Вас осталось позади. Не будем вспоминать о нем. Одно скажу. Спасла Вас Ваша глубокая вера. Ваше совершенное спокойствие было непонятно, а Ваше равнодушие сбило их с толку. Жалею я об одном, что не мог оказать Вам настоящей действенной помощи. Кстати, это последнее обстоятельство удерживает меня от возвращения в Москву. Жить там — это значит, не мочь помочь уж ничем никому из друзей. Это невыносимо.

По возвращении сюда меня опять захватила работа. Мое отсутствие не изменило ко мне деловых отношений, и встретили меня приветливо.

Перечитал на днях "Итальянские впечатления" В.В.Розанова. Перечитал с пользою и наслаждением. Сколько Вам было лет, когда В. В. ездил в Италию? И что Вы знаете по семейным преданиям об этой поездке?

Будьте здоровы. Вспоминаю о Вас с теплом. М.Мелентьев».

20 августа. Москва. «Дорогой М. М.! Хотя Вы на меня давным-давно поставили крест, но должен Вам сказать, что редкий день проходит без того, чтобы я о Вас не вспомнил и не погрустил о Вашем отсутствии. В тяжелые, грустные, наполненные тревогой моменты моей жизни я всегда писал Вам. Писал, потому что знал, простите за смелость, что Вы любите меня и что многие годы близких отношений связали, как мне кажется, нас на всю жизнь.

Я живу последнее время один в Москве. Семья моя на даче. Живу разнообразно в смысле полноты чувств и яркости впечатлений. И сегодня у меня нет никаких оснований для дум, что есть на свете беды и печали. Но что же? Где-то глубоко, в день, когда, может быть, мы особенно радостно воспринимаем жизнь, грызет какой-то червячок, и несмотря на свой маленький размер, здорово отравляет хорошее… Вот в такие минуты мне особенно недостает Вас, Вашего оптимизма и у меня многое перенести из одной категории в другую. Мне многое бы хотелось рассказать Вам, но не написать. Ибо в живой речи много можно сказать не только словами, а напишешь, прочтешь, и мысль, волновавшая и казавшаяся значительной, иной раз оказывается такой плоской, пошлой и незначительной.

Напишите мне когда-нибудь хоть несколько слов — я буду очень рад им. Целую Вас нежно. Александр Егоров.

Константина Николаевича поцелуйте. Как он себя чувствует?»

1 сентября. Полевая почта. «Дорогой М. М.! Я Вам не писала, да и никому не писала. Работы много, все меня беспокоит, все не удовлетворяет. А работа моя такова: я начальник корпуса терапии и туберкулеза, и при мне 4 молодых врача. Больных свыше 200 чело век, а мою клиническую подготовку Вы знаете, а административные мои способности тоже весьма слабые. Лишь изредка вечерами могу урвать часок — пробежаться отдохнуть. Но природа здесь скудная, унылая, безлесная — никакой радости. А климат дурацкий — всю весну и лето холодные дожди. Сейчас уж чувствуется осень, и стало еще унылее. Мне здесь все не по душе. Идешь и видишь злобные взгляды, чужие лица, чужую речь, чужие интересы. Ненавистна мне эта сторона. Эта паршивая земля и люди на ней. Не хочу и видеть. Хочу отсюда домой даже на Дальний Восток.

А Вы как? Как работаете? Напишите.

Обнимаю. Ф.Истомина».

12 сентября (из дневника). Анюшка, Константин Николаевич и Марианна покинули меня. Терраса опустела. Комната Анюшки стала чужой. А я принялся удвоенно за дела и переписку, которую очень запустил.

Константин Николаевич очень поправился, стал много

бодрее, с большим вкусом отдохнул, погулял, много раз побывал в соборе, как всегда не говоря об этом. Хорош он, очень хорош. Ему 73 года, а сколько милого, молодого и умного в этом человеке, или, быть может, надо сказать — в этом чудесном пианисте, музыканте. Дай Бог ему долго жить.

Незадолго до отъезда Анюшка свела Марианну к старому священнику, моему пациенту, и без лишней огласки окрестили ее. Назвали ее Мариамной, чья память свершается 17 февраля (ст. ст.).

20 сентября. Загорск. «Дорогой и милый М. М.I Дала Вам сегодня телеграмму, что приеду к Вам, и тут же узнала, что Вы болеете, что Вы перегружены работой, и мысль быть Вам в тягость, доставить Вам много хлопот, а быть может, и неприятностей, испугал меня. Буду стремиться опять устроиться куда-нибудь в больницу, 4 лучше бы всего в богадельню, потому что больше я никуда не гожусь.

Была у Володи и убрала его могилу. Посылаю Вам стихотворение Вячеслава Иванова "Могила":

Тот вправе говорить «я жил»,
Кто знает милую могилу.
Он в землю верную вложил
Любви не расточенной силу.

Не оскудеет в нем печаль,
Зато и жизнь не оскудеет.
И чем он доле сиротеет,
Тем видит явственнее даль.

Бессмертие ль? О том ни слова.
Но чувствует его тоска.
Что реет родником былого
Времен возвратная река…

Т.Розанова».

28 сентября. Алабино. «Дорогой мой М. МЛ Вчера я получил Ваше письмо. Мне очень хочется побеседовать с Вами, но боюсь я, что, может быть, не надо людей, которых я чту, как друзей своих, омрачать теми мыслями, которые в последние месяцы целиком овладели мной.

Тяжко мне!

Первое. Через несколько дней мне стукнет 75 лет. И нищий я, так долго проживший, — не смею сказать, что человек бессмертен и что наш удел не один только лопух, который вырастает из

нашего трупа.

Я не могу сказать, что есть Бог, Отец мой, любящий меня Отец, без воли которого не выпадает даже волос из моей головы. Не имею права сказать по совести, что когда-то давно-давно по земле в образе человека ходил так называемый Сын Божий.

Второе. Смерть Анны Иосифовны. Я хотел, чтобы Анна Иосифовна умерла раньше меня и не осталась с моею смертью одинокой, беспомощной. Мое желание исполнилось, но я сам погрузился в бездну, где задыхаюсь… Казалось бы — не произошло ничего сколько-нибудь значительного. Умерла исстрадавшаяся и старая женщина но она все, что держало меня в известном равновесии, унесла с собою. И одно, чего я теперь желаю, — это умереть, умереть скорее; К горю, однако, я не нахожу в своем состоянии ни единого симптома, который бы давал мне надежду на скорую смерть.

Третье. Но третье не по важности, а по случайному счету. По важности, может быть, даже первое — это война. Только что окончившая собственно военные действия, но еще царящая в своих последствиях во всем мире. Сошло с ума, сбесилось все человечество. Миллионы (миллионы) убитых воинов и многие миллионы убитых и вообще погибших, кого страшно назвать мирным населением. (Война народов, не армий, а народов, тоталитарная война не знает мирного населения.)

Наша старая японская война позволяла гадать, какой будет новая война. Старые войны России, Франции, Англии, Соединенных Штатов опытному глазу могли рисовать картину новой войны — этой отгремевшей мировой бойни.

Бомбы, атомная бомба… Я не знаю, что это значит: "атомная бомба", но вижу уже новую войну с "атомными бомбами". И не верю я, что объединенные нации, во главе которых стоят настолько противоположно настроенные как наша родина, США, Англия, чтобы они могли переделать, скажем, японцев и согласовать свои действия, чтобы вновь созданный термин "военных преступников" мог сколько-нибудь серьезно послужить делу мира во всем мире. И во время войны, и вот сейчас я чувствую, что мы живем в сумасшедшем доме и что как змея родит только змеенышей, так и война может родить только войну и ее предтечи — ненависть и злобу.

Что же, настанет когда-нибудь день, что немцы полюбят французов, или японцы североамериканцев, или нас?! Не настанет никогда!

И тяжко, тяжко мне. И не нужно мне утешение. На одно уповаю: отец мой прожил 73 года. Мать тоже 73 года. Не жить же мне до ста лет…

Обнимаю Вас. Не забывайте старика. К.Славский».

1 октября (из дневника). С 9 мая считаемся на мирном положении. Полагается радоваться, а радость что-то не приходит. Жизнь продолжает оставаться всячески трудной, и самым трудным в ней стал человек. Нет уважения к нему, и от этого жизнь особенно сера.

Я по-прежнему продолжаю работать «главным врачом». Устал и разменялся по пустякам и мелочам быта больницы — и жнец, и швец, и на дуде игрец.

9 октября. Владимир. «Надежде Васильевне Розановой-Верещагиной…Татьяна Васильевна пишет мне, что хотела бы на зиму поместиться в больницу. Я предлагаю, если Т. В. будет трудна жизнь в Загорске (не будут топить и не будет света), пусть приезжает ко мне на зиму. Комната ей и еда обеспечены. Ей надо будет только обслужить себя, что она делает и у себя дома. Кстати, мы ее тут и полечим. М.Мелентьев».

II октября. Ленинград. «Вы, вероятно, стороной слышали, что я жива и здорова. О Вас не знаю и этого, но если бы Вы умерли, мне бы сообщили. Итак, напоминаю о себе и прошу откликнуться. Жизнь ползет — хмуро, уныло. Ни цели, ни желаний, ни чувств, ни мыс лей… И даже не вегетирую, потому что из одного недомогания пере хожу в другое. Истощена — глюкоза, витамины — все ерунда. С бы том ни с места. Окна без стекол, нет дров. Борюсь с попытками заселения… Скучно говорить об этом.

Читаю "Путешествие на о. Таити и в Индию". Заманчиво. Н.Вревская».

8 ноября (из дневника). Праздник Октября. После шумной и хлопотливой к нему подготовки — тишина, по крайней мере у меня. Я не визитирую и никого не зову к себе. Приехала Т.В.Розанова. Хочу, чтобы было ей хорошо, бесхлопотно и бездумно, но думаю, что не удастся это мне. Есть люди, не рожденные для тишины и покоя — они все время в «трех волнениях». Такова и моя гостья. Слишком много тяжелого было у нее в жизни.

Веду переговоры об освобождении меня от работы главным врачом. Возвращаются с фронта коренные владимирские врачи. Все они партийные, с орденами, фронтовыми заслугами. Присматриваясь к ним, чувствую, что я «не к шубе рукав», что трудно мне будет с ними, всячески трудно… Ни к какой борьбе честолюбий и интриг я не способен, а здесь сейчас начинает это расцветать. Зачем мне это? Старому, беспартийному, опороченному 58-й статьей? А то, что я хожу в церковь, — разве это дальше простится? Пока с этим мирились, но скоро это станет несовместимым с моим званием, если не преступным… Нужно

предупреждать некоторые события в своей жизни. Нужно предвидеть… Нужно улавливать не настроение общества, такового сейчас нет, а курс ведущего корабля. А курс, несомненно, будет со ставкой «на своих», которых, кстати, так много освободится с окончанием войны. Кроме того, что прощалось во время войны, с чем мирились по военному времени, валя на него, теперь станет недопустимым… А ведь все равно — топлива нет, крыши все текут, больничное белье в жутком состоянии, питание больных из рук вон плохое… Канализация и водоснабжение больницы каждый день дают аварии… Словом, тысячи прорех, все требует средств и других возможностей. И за каждую прореху главврач может быть притянут и опорочен. Месяца два тому назад по жалобе одного из работников обкома занялись положением больницы в обкоме и облисполкоме. Был проведен ряд собраний больших и малых с шумом, треском, со звоном. Виновных не оказалось. Был вынесен, как теперь говорят, ряд «развернутых решений» о материальном улучшении и снабжении больницы… И что же, прошло полтора месяца, и я получил для больницы — один чрезседельник. Я никого не виню. Я знаю всю руководящую верхушку области. Я всех их лечу. Знаю их семьи, их быт, их желание помочь мне, но они бессильны. Мы пока слишком бедны. Но в конце концов виновный должен быть найден… На этот раз горькая чаша меня миновала, но насколько времени — кто скажет…

Так вот, не надо ждать «катастрофы». Мне больно бросать больницу. Я много и от всего сердца поработал в ней, но бросать пора…

23 ноября. Ленинград. «Дорогой М. М.! Упав на днях на улице, разбилась. Пролежала, но опять ползаю. Раскачиваюсь написать биографию Михаила Степановича (мужа) — не официальную, а для себя, т. е. для дома, для внуков. Кстати, на днях родился 8-й. Я не пылаю к нему нежными чувствами. Слишком горько страдать за остальных полуголодных, нищих. Посылаю крохи (отрывая) с болью сознания, что этого мало и что нет сил у меня помочь больше. Еще недовольна недостаточной внутренней работой. Читаю ежедневно Евангелие, но надо быть проникновеннее, и когда нападают уныние и грусть, — шепчу святые слова, и отходит… Зачем пишу это? Вы, который знаете мои метания за 25 лет (жутко сказать), порадуетесь за меня, за тот покой который я иногда обретаю. Н.Вревская».

6 декабря. Кокошкино. «Хочется, уважаемый М. М., поделиться с Вами радостью. Приобретены новые валенки за 700 рублей. Понять и оценить это можно после того, как походишь по снегу с голыми пятками да посидишь 8 часов в нетопленном

помещении школы… Да… 700 рублей! Вещь очень серьезная. Когда мы сложили с Милой наше месячное жалованье, нам не хватило на валенки 200 руб. Нашлись люди которые выручили. И вот, валенки есть. Кости не ноют от холода. Носим мы их с Милой, т. к. работаем в разные смены. Нужна еще шубенка. Выйти из положения возможно: после дяди имеется шуба, но за работу надо 400 руб. Но такой жесткий режим экономии два месяца — невозможен. Появляется неудержимое желание хотя бы по выходным дням напиться чаю с сахаром. Пока выхожу из положения, надевая две опорки — один плох в одном месте, другой в другом. Все это скрепляется веревочками по талии и груди. Конечно, лишь большое уважение ко мне позволяет мне работать в таком виде… Рада за всех, кто пользуется сытостью и теплом, а еще больше за Вас, что Вы и другим можете это дать. Ну, а меня свет и тепло, вероятно, встретят лишь при переходе в другой мир. Физические силы таковы, что порой нет сил держать ложку, а делать надо все самой: колоть дрова, поднимать тяжелые мешки, даже плотничать. Если же хотите чистого белья, то ночь для стирки: употребляю лекарство — довольно крепкий чай с молоком и, если возможна такая роскошь, немного сахару. Чай стал сильно влиять. Порой думаю — ну зачем это дети? Какой смысл их иметь и столько в них вкладывать? Сама себе отвечаю: лишь зажегся огонек новой жизни, только тут она узнала, сколько сил и огня в ней оно скрывало.

Ну, будьте здоровы. А.Крюкова».

18 декабря. Палатка. «Дорогой М. М.! Все жду Вашего письма. Надеюсь, что Вы все-таки пишете, и письма где-то блуждают.

Моя жизнь с половины ноября опять изменилась, и на этот раз к лучшему. Я опять музыкант-пианист того же клуба, через который пришлось пережить столько беды и проработать несколько месяцев молотобойцем. Правда, зато я теперь имею еще одну специальность — может быть, пригодится когда-нибудь.

Я все терпеливо жду своего возвращения к прежней жизни, и пока все тщетно. Грехи мои все не пускают меня в рай. Очень это грустно! Ведь годы все идут и идут, и так незаметно состаришься. А пожить еще хочется, ведь пожил я еще очень мало.

Как-то Вы живете и чувствуете себя? Я Вас представляю все таким же жизнерадостным, веселым, остроумным, как и встарь… Как себя чувствует К.Н.Игумнов? Я слышал, что он продал один рояль, и представляю это себе как очень большую нужду и неблагополучие. К. Н. я никогда не забуду и всегда буду его прославлять, хотя слава его и без меня велика.

Хорошо бы, мне удалось прочно и надолго остаться у пианино, от этого зависит вся моя будущая жизнь. Но

благополучие в моем положении неминуемо влечет за собою новые беды, и я всегда нахожусь в ожидании таковых. Часто я удивляюсь, почему я не сошел с ума, а наоборот, еще умею быть веселым, смеяться и по-прежнему любить жизнь.

Как мне хочется скорее Вас увидеть и провести с Вами так же мило и хорошо время, как, кажется, совсем недавно в Алабине. Доживите обязательно до моего возвращения. Сергей Коншин».

31 декабря (из дневника). Сегодня мне пошел 64-й год. Когда не считаешь слишком важным ни жизни своей, ни своей особы — смерть не кажется страшной. Страшнее старость. Но что же мне пока жаловаться на нее? Я здоров, я работаю… А там, что Бог даст. У А.В.Никитенко я прочитал: «Думать постоянно о трудностях своего положения — это только усугублять их». И вот я не хочу думать и считать, что некоторая доля легкомыслия, даже после 60-ти лет, очень полезна в жизни.

1946 год

«Жить — не значит предоставить лодке плыть по течению, а значит неусыпно бодрствовать у руля».

1 января. Муром. «С Новым годом, дорогой М. М., друг мой. Шлю Вам самые лучшие и сердечные пожелания, главным образом, здравия и мира душевного.

Мы со старухой живем по-прежнему. Живем воспоминаниями о милом прошлом, не смеет роптать на настоящее и побаиваемся будущего, неизбежно связанного для нас с потерями и скорбями.

Провел отпуск в Москве ужасно. Повидал старика — Конст. Георг. (Славского). Погрустили с ним о прошлом, и тепло стало у меня на душе от ласкового взгляда его умных глаз.

Был в Художественном театре, в Третьяковке. В консерватории слушал 4-ю симфонию Рахманинова и его поразительные "Колокола". Сидел, как очарованный. Слушал 3-й фортепьянный концерт Рахманинова, исполненный Игумновым. Старик меня поразил: какая мощь, какая рафинированная красота отделки. Так и хотелось как психопатке броситься к нему и расцеловать его. Будете ему писать — скажите ему от меня сердечное спасибо за истинно художественное наслаждение, которое я получил, слушая его.

Будьте здоровы. Крепко-накрепко обнимаю и целую Вас. Н.Печкин».

3 января. Алабино. «Дорогой М. М.! С Новым годом! Какая неприличная чепуха — 76-й раз видеть, как увеличиваются дни.

76-й раз, как они начинают уменьшаться… А дней-то и ночей-то сколько. Не сочтешь. И все же, ей-богу, не понимаю, зачем и для кого, и для чего нужна была эта скучная канитель!

Несмотря на такое настроение все еще раз: с Новым годом. И долго, долго живите… К.Славский».

15 января. Бухта Нагаева. «Мой дорогой М. МЛ Так все и нет от Вас вестей. Это меня огорчает. Во-первых, так хочется услышать Ваш голос хотя бы и на бумаге, а во-вторых, очень беспокоюсь — живы ли Вы и здоровы, и все ли с Вами благополучно?

Как безумно давно мы не виделись с Вами, и как я мечтаю о нашей встрече. Но судьба продолжает быть ко мне жестокой и будет такой впредь. Я что-то начинаю терять надежду на перемену своего положения. Разумнее всего, конечно, в моем положении — полное смирение и отрешение от всех надежд и мечтаний. Жизнь все равно уже прошла. Правда, чувствую себя еще очень молодым и бодрым, но это уже остатки… Я уже Вам писал, что опять вернулся к музыке. Это, конечно, удача и возвращение к благополучию. Но работаю я не как музыкант, а как тапер и халтурщик. Приходится Бог знает какой музыкой заниматься. Но во всяком случае это не работа молотобойца.

У нас теперь очень хорошо работает радио и прекрасно слышно Москву. Но я все время занят в клубе и попадаю только на бой часов Кремлевской башни.

Я все время очень горюю, что Константина Николаевича (Игумнова) я уже, наверное, не увижу и не услышу. Ведь до ста лет он не будет жить.

А как не повезло моим обоим братьям — оба овдовели. Вообще, над нашей семьей тяготеет рок — она почти вся погибла. Из жителей Чистого пер. буквально остались рожки да ножки.

Несмотря на то, что прошли многие годы, я всех помню из круга моих знакомых. И рад бы забыть — да сил нет забыть. Это плохая сторона человеческого устройства, что не в силах побороть потребность вспоминать. Может быть, для этого нужны новые увлечения, привязанности, интересы, а главное, конечно, чтобы настоящая жизнь была не хуже прошлой. Ведь у голодного человека всегда над всем преобладают личные воспоминания о съеденной когда-то пище вкусной и обильной.

Если этому письму суждено дойти до Вас, то ответьте мне сразу. Теперь навигация у нас не прекращается. Крепко Вас целую.

Ваш всегда помнящий, Сергей Коншин».

16 января (из дневника). Новый год я встречал в Москве, где проводил и свой месячный отпуск с половины декабря. Там я

печатал на машинке у Н.В.Плетнер свои воспоминания. Работали мы каждый день по три часа. И вот как-то разговорились о Тару се, куда меня все время тянет Цветков. Оказалось, что в этой же квартире живет С.А.Станкевич, двоюродная сестра С.В.Герье, а последняя продает свой дом в Тарусе, где она жила вместе с артисткой Малого театра Н.А.Смирновой. У меня было настроение «кончать» с Владимиром. Переходить из «попов в дьяконы» и оставаться в больнице рядовым врачом я считал для себя и для дела неприемлемым. Оставаться дальше главным врачом я про сто не мог. Искать работу где-то в другом месте было не по годам, да и не к чему… А вот приобрести свой угол и обосноваться там уже до смерти у себя — это было и заманчиво, и почетно, и логически оправдываемо.

После знакомства со Станкевич и Герье выяснилось, что дом в Тарусе уже запродан. Я успокоился и отложил решение вопроса со Владимиром на неопределенное будущее. Прошла неделя, и я получил приглашение от С.В.Герье зайти к ней. Живет она в особняке покойного ее отца проф. В.И.Герье, оставленном советской властью за его семьей. Большой кабинет. Старинная обстановка. Большие портреты маслом В.И.Герье и его жены. Много книг и Софья Владимировна — породистая, высокого роста, с бледным тонким лицом. Порывистая и покойная. Простая и не простая в обращении. Уже очень не молода, но подтянута, держится прямо, улыбается молодо… Дом оказался не проданным. Хотят продать человеку «преемственной культуры»… Нужно переговорить с Н.А.Смирновой — она в больнице со сломанной ногой… «А вы, Софья Владимировна, будете за меня?» — спросил я, расставаясь. «Да, я свой голос отдаю Вам»…

29 января. Владимир. «Милая Анюшка! Сегодня уже две недели, как я здесь. А в памяти… расставание с Тобою. Маленькая (худенькая с тонкой шейкой) и… и-и-и, что скрывать, старенькая. И болит мое сердце от всего этого и от трудностей московской жизни для тебя.

Что я нашел здесь? Никто меня в мое отсутствие не предал, не оклеветал и ни в чем не обвинил. В первую же неделю я стряхнул с себя — главного врача. Новый главный врач — маленький, паршивого вида, как всегда это бывает, поднял симпатию к старому, ушедшему главному врачу. Но я держусь в стороне и четко выполняю свои обязанности заведующего отделением, т. е. то, что я делал и раньше. Но общая врачебная обстановка здесь создается "хорошей провинциальной склоки", причем врачебной — самой злостной из склок.

Очень огорчила меня смерть медицинской сестры Моторжиной. Ты, верно, помнишь ее? Такая заботливая и умная

мать, наш парторг. Ее грузовая машина придавила к забору. Страшное это явление в нашей жизни — пьяный шофер… Ведь остались два мальчика совсем одни… Эта смерть и другие смерти, о которых не пишу, обострили у меня чувство непрочности нашей жизни, и я начинаю бояться, что мы так и пробираемся приблизить ее к природе и устроить ее независимо в своем углу.

Мне скучно здесь стало. Скучно не по себе, а вообще скучно. Скучно от людей, скука в людях, в страшное однообразие жизни (впрочем, она такая и в Москве), в сером фоне ее, в какой-то безнадежности личной и общественной. Думаю, такому "восприятию жизни" помогает нездоровье, до сих пор не могу выправиться от кашля, насморка, общего недомогания. Лечусь, как всегда, водою, горячим молоком и чтением в постели. Последняя поблажка особенно заставляет ценить мою болезнь.

Завтра уезжает Татьяна Васильевна. Я рад, что помог пережить ей трудные зимние месяцы. Интересный она человек, но и трудный человек. Должно быть, такое сочетание в природе вещей.

Напиши мне, какие вести из Дрездена от Ирины. Вот запомнился мне вечер ее отъезда из Владимира… Были августовские сумерки. Я пошел ее проводить на вокзал. Шли мы по Щемиловке, прежней улице семинаристов. Там есть маленький садик железнодорожников. Отцветали табаки. Мы посидели на скамье… Сердце ныло разлукой… Мы только что оставили уютную террасу, тебя, Константина Николаевича, Марианну… Гудели паровозные гудки, и впереди нас ждал вокзал, а затем Ирину — Германия и Дрезден…

Пиши, пожалуйста. Теперь, когда отменена цензура, письма пойдут скорее и, возможно, аккуратнее. Спасибо тебе, милая, за всю твою "московскую заботу" обо мне. Я чувствовал ее непрерывно. И эта лишняя нагрузка на тебя, несомненно, и утомила тебя, и шейку твою утончила.

Напиши о "тарусских делах". Не знаю, как я буду жить, если они провалятся. Миша».

30 января. Москва. «Родной! Вопрос о продаже дома нам разрешен положительно. Герье говорит, что дорожиться они не будут. Дело за нотариальным оформлением, которое нужно выполнить или в Тарусе, или в Калуге. Думаю, что тебе надо бросать Владимир теперь же. Володя (Саввич) побывал в Тарусе, ночевал в доме. Скорее в Тарусу! Я живу уже там. С деньгами как-то уладится. Аня.

Владимир в жизни сыграл свою роль, и теперь отпадает сам по себе. Надо скорее кончать с ним. Для меня это — дважды два

четыре. Аня».

1 февраля. Алабино. «Уважаемый М. М. — 24 января умер Константин Георгиевич Славский. 27-го его похоронили. Тяжело весьма. Ольга Славская».

Ну, вот и свершилось. «Скучная комедия» кончилась. Ушел из жизни мудрец. Высокой души человек. Прекрасный врач и хирург.

…Все больше их в листке за упокой,
Все меньше их в заздравном поминаньи…

Я всегда гордился дружбою Константина Георгиевича. Он был для меня мерилом меня самого. И это чувство не изменило мне ни разу за 23 года нашего знакомства. Тоска.

5 февраля. «Дорогой мой! Письмо мне твое не понравилось. Верно, ты очень не здоров. Это меня тревожит.

Владимир изжит. Мне это ясно, и надо "формировать" Тарусу. Надо, надо туда.

Из Дрездена приехало начальство Ирины и рассказало, что она здорова, бодра и много работает.

О том, что мне с тобою было хлопот больше, чем обычно — это неправда. Жизнь с тобою для меня праздник, и я тебе так благодарна за этот месяц, который ты был в Москве.

Ну, будь здоров. Береги себя. Давай, поживем еще немного. Аня».

8 февраля. Владимир. «Милая Анюшка! Комнату "твою" здесь я пока оставляю за собою. Кто знает, быть может, лето еще поживем здесь. Но о Тарусе надо помнить и надо делать все, чтобы переселиться в нее.

Я думаю вперед. Наступила старость, и при том не обеспеченная. Скоро цена нам будет маленькая, и нам заранее нужно подготовить свой угол, чтобы дожить и умереть в нем с достоинством. Вергилий говорит: "Блаженны владеющие — beati posidentes". И это нужно делать теперь, не затягивая и не откладывая, пока есть силы. Не знаю, понятно это тебе или нет? Ты оторвана от официальной службы и работы… Я не мнителен и веру в себя еще не потерял, но чувствую и знаю, что многое в службе для меня уже становится морально тяжким и неприемлемым… Словом, пора, пора отступать на заранее приготовленные позиции.

Умер Константин Георгиевич Славский. Мне очень горька эта смерть. Его место в моей жизни останется навек незанятым. Миша».

17 марта. Москва. «Милый М. М.! Спасибо Вам за те милые строки, в которых Вы говорите обо мне лично. И меня порадовала

встреча с Вами. Очень буду рад, если судьба снова занесет Вас сюда и Вы дадите мне знать о своем приезде.

Как Ваши мемуары? Надеюсь, Вы их продолжаете. Было бы более, чем жалко, если вы их бросите. Льщу себя надеждой еще раз послушать их в Вашем простом, но выразительном чтении.

Очень хочу Вас повидать и не прочь сделать это в скором времени. Весь Ваш, Беляев».

Загорск. «Глубокоуважаемый М. МЛ Наступают дни Великого поста. Рассматривая свою жизнь во Владимире, чувствую себя очень виноватой перед Богом, собою и Вами. Вот в той части, где виновата перед Вами, приношу покаяние, сознавая, что я Вам доставила одни огорчения, массу забот и большие денежные издержки. Мне хотелось доставить Вам и полезное, и приятное, а вот я ничего не сумела Вам дать. Простите меня великодушно — Вы были и терпеливы, и добры, и внимательны ко мне.

Я очень слаба душевно. Мне нужна религиозная поддержка, и Вы мне дать ее не могли — отсюда все трудности. Я могу жить или в религиозной атмосфере, или в очень тяжелых физических условиях, как это было на Лубянке,»в больнице им. Яковенко, где суровость уравновешивала душевные страдания…

Спасибо Вам, что Вы дали мне возможность повидать чудесный собор, о котором так много говорила мне С.В.Олсуфьева. Благодарю очень и за фуфаечку, так как у меня в комнате стоит полярный холод, и она очень помогает переносить лютую стужу. Очки тоже такие, каких нет ни у кого. Материальная помощь Ваша огромна. Я очень поправилась, сердце исправно, нервы приходят в порядок.

Посылаю Вам маленький подарочек: "Лирику 18 века" с отцовским автографом. Она, думаю, будет Вам приятна, как память об отце моем. Т.Розанова».

22 февраля. Москва. «Дорогой М. М.! При всей своей любви к благословенному городку Тарусе, я раздираюсь сомнениями и никак не могу решить, правильно ли Вы поступаете, думая забраться в такую трущобу. До нее всего 125–130 километров, но доехать труднее, чем, скажем, до Ленинграда, и ехать дольше. Поездки туда целое путешествие. Зимою она и вовсе отрезана. Сами Вы, сделавшись сановником районного масштаба, получите право проехать на грузовичках, когда они будут посылаться в Серпухов, но Вашим родным и знакомым будет казаться, что Вы живете где-то на китайской границе.

Может быть, правильнее выбрать другую богоспасаемую глушь? Есть же еще красивые и более достижимые, в любое время года, места. Потому, может быть, правильнее пожертвовать всеми "совершенствами" Тарусы и не забираться "на край света". Все это

обдумайте, прежде чем что-либо решать. С.Цветков».

25 февраля. Ленинград. «Я очень рада, М. М., за Вас, что Вы больше не администрируете, и за себя — так что, надеюсь, Вы теперь сможете написать не открытку, а большое письмо. Ваши намеки на Тарусу мне нравятся. Таруса исключительно красивое приокское местечко. Неудобство сношения с Москвой отпадает, если взять ее как базу, а не как временную дачу.

Я вожусь с архивами семейства — хочется воскресить былое. Кругом ничего не дает пищи ни уму, ни сердцу. Приятнее всего среди архивных фигур XVIII и XIX веков. Ведь все так бесконечно давно "когда-то" было. Геологическая эпоха прошла с 1900 года. Дв и жили ли, и действовали мы тогда? Не плод ли это фантазии?.. Но по боли иных воспоминаний вижу, что жила. Не знаю, какое у Вас ощущение от воспоминаний…

Зима холодна и очень снежна. Дома сносно. Вспоминаю Ваше наставление: "В холодную ветреную погоду не выходить". Тогда я смеялась… А теперь выхожу в такую погоду с трудом и неохотой.

Ну, хватит. Привет, 20-летний друг. Наталья Вревская».

26 февраля. Москва. «Дорогой М. М.! Из письма моего приятели из Тарусы я убедился в истинности уже известной истины: врачи везде нужны, и всегда их не хватает. Так что, безработным Вы не будете, Я потому время терпит. Самое правильное вот что: в начале апреля Я предполагаю уехать до осени в Тарусу. Когда начнут ходить пароходы» когда "иссякнет вода на земле Тарусской", и Вы, как голубица, можете "найти место покоя для ног своих" (это происходит значительно скорее, чем при Ное), я пришлю Вам телеграмму. Вы приедете. У меня к Вашим услугам есть отдаленная комната, и Вы на практике (чтобы не сказать, на собственной шкуре) изучите способы переезда, узнаете Тарусу и все необходимое. Тогда и решите окончательно.

Таруса имеет редчайшее для Подмосковья достоинство, которое я чрезвычайно ценю: в ней совершенно нет комаров. Был только один год, когда проявилось очень немного кустарей-одиночек, а не колхозы, как везде. Потом они исчезли. Им негде разводиться — полное отсутствие болот. Лес в Тарусе начинается в 3-х минутах ходьбы от моего дома.

Когда потеплеет, я навещу С.В.Герье и узнаю о ее доме. Дом её отличный, на прекрасном месте. Он (редчайшее в Тарусе) имеет теплую уборную. Из одного этого стоит купить. Всего хорошего. С. Цветков».

27 февраля. Владимир. «Милая Анюшка! Беспокоюсь о твоем здоровье. Вид у тебя в последнее мое посещение был очень плохой. Летней поправки хватает тебе лишь на первую половину

зимы, а потом начинаешь жить за "счет основного капитала". Вообще, впечатление у меня от деда, бабки и внучки — невеселое. Изнашивает Москва человека чрезвычайно! Возможно, я ошибаюсь на свой счет — стар и я, конечно, но не такой "леший", как Саввич. Так, по край ней мере, воспринимаю себя в зеркале.

Мысли о "будущем" не дают мне покоя. И будущее-то коротенькое, но тем труднее его устраивать. Быть может, оставить мысли о Тарусе и бросить якорь в Загорске? Тут уж "совсем и замужем, и дома". Конечно, нет реки, конечно, Загорск пригород Москвы, пыльный и вонючий… Но неудобство в одном искупается в другом. А быть может, я напрасно тормошу Вас с выездом из Москвы — сидеть Вам в ней и сидеть. Подумайте об этом, и я тогда по-иному руслу направлю свои мысли и деяния.

Читаешь ли ты мою книгу? Хочу, чтобы прочитала — без предубеждения хорошего или плохого, — и отметила, что неверно, фальшиво, неискренно. Хотя фальши и неискренности в ней не может быть. Ты первая получила ее во всем объеме. Отрывки читали многие, всю — никто… А не почитается — не читай. Я не обижусь. Но начни, попробуй… Не пойдет — брось, это и будет оценка.

Ну, будь здорова. Миша».

28 февраля. Муром. «Я тоже не думал, дорогой М. М., что мне будет так горька смерть К.Г.Славского. Я даже сам не знал, что так люблю его. Я рад, что мне удалось навестить его в конце октября прошлого года. Он принял меня как-то необычайно ласково, и, прощаясь, мы оба с ним прослезились, но не потому, что были старые, сентиментальные дурни, а потому, что при прощании К. Г. сказал; "Вероятно, Николаша, мы с тобою больше не увидимся в этой жизни". Ну, как тут не прослезиться? На Новый год мы обменялись с ним письмами. К. Г. закончил свое пожеланием: "А все-таки, не живи очень долго, милый и дорогой друг". Мир праху его и царстве ему небесное.

Вам, дорогой друже, я такого желания не посылаю, ибо мне очень хочется повидаться с Вами. Приезжайте. Я Вас крепко обниму и обласкаю, как только могу. Н.Печкин».

28 февраля. Владимир. «Достопочтимый Михаил Михайлович! Сегодня день моего тезоименинства, поэтому осмеливаюсь просить Вас посетить меня.

Епископ Владимирский и Ивановский Онисим».

3 марта. Владимир. «Милая Анюшка! Как твое здоровье? Побереги себя после ангины и гриппа.

Окончилась масленица и завтра: "Помилуй мя, Боже, помилуй мя". Сегодня с утра отстоял обедню с наслаждением, а вчера всенощную. Служил Владыка Онисим. А на днях я был у

него на именинах. Приглашено нас было шесть человек. Ни одного попа, а старая интеллигенция. Было предложено очень обильное угощение. Торт из Мурома привезли монахини — превкусный и огромный. Фрукты, вино, сардины, шпроты, рыба всякая — все из Москвы. Очень приятно закусили, в меру выпили и не скучно провели время до часу ночи. А я не хотел, было, идти, но нисколько не жалею, что пошел… А ведь еще совсем недавно Онисим спал на полу без подушки и ел кислую капусту с черным хлебом… А теперь у него и свой дом, и "полная чаша".

Мечтаю о твоем приезде сюда на Пасху — и весна, и собор, и служба чудесная, и звон пасхальный. Соблазнись, право, соблазнись. Миша».

11 марта. Загорск. «Дорогой М. М.! Не могу Вам сказать, как я обрадовалась, когда получила Вашу открытку. Было мне грустно читать описание Ваших дел и что атмосфера больничная тяжелая. Меня многое тревожит в Вашей жизни и очень многое хотелось бы видеть в другом виде, но вручаю Вашу судьбу, как и свою, в волю Божию и в душе только молюсь о Вашей душе — да управит Господь ее на все полезное и хорошее.

Вы пишете, что хотели бы пожить — как я — свободно. Но моя свобода проистекает из моей ненужности миру. Что же тут хорошего? А свободного времени у меня тоже мало, ибо я должна каждый день вертеться, чтобы его прожить. Бытовые условия у меня очень тяжелые, главным образом, из-за света, да мучает еще меня радио из соседней комнаты. Но ведь, что-нибудь все время нужно терпеть.

Крепко жму Вашу руку. Т.Розанова».

12 марта. Владимир. «Милая Анюшка! В больницу приезжает хирург, и мне пришлось отдать ему твою комнату. Я долго думал, какую отдать — твою или мою. Мне посоветовали остаться в моей. Уж очень здесь воруют, и могли бы меня очистить там дочиста, Словом, тебе летом жить здесь уж негде. Надо утрясать дело с Тару сой. Жить мне здесь становится неприятно, хотя, в сущности, ничего плохого не произошло. Очень неприятны возвращающиеся с фронта врачи-туземцы. Они резко изменили весь дух и течение жизни здесь… Я отсиживаюсь от них в своем углу, но это возможно, конечно, временно. Миша».

13 марта. «Мишенька, родной! Вот уже 4-й день читаю твою рукопись, и творится со мною что-то такое сложное, большое, в чем разобраться никак не могу. Ясно одно — пережить свою жизнь опять сначала нелегко, трудно, а порой, просто невыносимо больно. Я начинаю понимать, что некоторые моменты в моей жизни (смерть первой девочки) поставили где-то, не знаю, где, перепонку, отделили одну часть моей жизни от

другой. И то, что было там, за перепонкой, от меня ушло и только изредка во сне выплывало и делало ужасно больно. А потом в целях самосохранения я днем боялась сделать напряжение, чтоб вспомнить, и жила настоящим. Я, например, забыла все мелочи страшного события с первой девочкой. Я была уверена, что лекарство дала сама, а не Аксюша, и всегда чувствовала себя преступницей и надеялась только на милосердие Божие. Совершенно не помню, что было потом… Была в Острогожске, жила с Вами. Смутно только помню рождение Ирины, смерть мамы и свою жуткую головную боль, а жизнь опять какая-то неясная, в тумане, без рельефа.

После смерти Верочки — второе страшное событие. Опять все в тумане, и только страшное напряжение — надо жить… Ирина, Вова, отец, ты… И жить надо так, чтобы не отравлять жизнь Вам. Чтобы быть всем полезной, а горе… ужас — это на ночь, когда тебя никто не видит.

Забыто это… я не забываю никогда. Это по эту сторону перепонки, и это всегда больно.

Вот… осталось дочитать немного. Олюшка всегда говорила мне: "Счастливее тебя я не знала, и несчастнее тебя тоже не знаю никого".

О Тарусе. Отец был у С.В.Герье. Участок хорош. Дом мал, но пока хватит. Мы как-то всеми помыслами там. Надо держаться одной линии. Рассеянное состояние ни к чему. У меня лично нет никаких колебаний.

Будь здоров, родной мой. Аня».

13 марта. Москва. «Милый М. М.! Сейчас получил Ваше письмо и сразу отвечаю. Я последние полтора месяца нахожусь "в упадке", а потому ласковое дружеское слово для меня далеко не лишнее. Особых причин для моего "упадка" нет, но ведь это приходит и беспричинно.

Сейчас меня вызвали в музей, а потому тороплюсь сказать Вам одно: продолжайте, продолжайте, продолжайте Ваши воспоминания. То из них, что Вы мне читали, безусловно хорошо и по содержанию, и по форме. Кроме того, для будущего читателя они важны уже одним тем, что явятся записками среднего человека, т. е. как раз тем, чего всегда недостает истории и без чего история неполна и непонятна. Поймите это и восполните этот пробел — "Кураж, кураж, мои брав!" И при том поспешайте, "ибо не знаете ни дня, ни часа". Вот Вам мой дружеский совет. Пока же крепко жму руку с пожеланием покоя и здоровья. Пишите. Ваш М.Беляев».

15 марта. Владимир. «Милая Анюшка! Сегодня я получил твое письмо. Если бы ты знала, как оно было нужно мне.

Последнюю неделю мне здесь совсем не по себе, и я жду момента, когда смогу сказать: "Я уезжаю". Ничего плохого внешнего нет, но внутреннее мое состояние из рук вон плохо. Хочу к себе домой, в свой угол, а там, что Бог даст. И письмо твое уверило меня и в Вашем стремлении "держаться одной линии".

Доктор Зельгейм подал сегодня заявление об уходе. Возвращается он в Ленинград "на ура". Я никакого "ура" не хочу. Довольно его было. Попроси Саввича скорее договориться с Герье и кончить дело у нотариуса. Жить лето здесь я уже не могу.

Рукопись… В который раз прочитывал я ее, правя, и не могу в некоторых местах не плакать вновь и вновь. Пусть ей будет не суждено поведать о нас и наших страданиях нашим потомкам. Пусть почитаем только мы — и то я не сочту ее лишней. Приведу, кстати одно стихотворение:

Мечтанья не обманут.
Все сбудется в веках,
Из камня зданья встанут,
Творимые в мечтах.

Как воск растают узы.
От голубых небес
Пленительные музы
Рассеют рай чудес.

Но нас тогда не будет,
Поникших в смертный сон,
Нас к жизни не разбудит
Пасхальный перезвон.

Нам надо жить в обиде.
Не ждать земных наград.
Тебя мы не увидим.
Земля, — цветущий сад.

Письмо твое перечитал много раз, вдумываясь в твои переживания и решая, вернее, гадая, на чем ты остановилась… Эпизод — смерть Верочки… Он дан очень кратко, но всякий понимающий — поймет, сколько скрыто за ним. Для тебя же эти строки самая трагическая "песня без слов". Ну, вот ты нашла свое, кто-нибудь "чужой" найдет "общечеловеческое" и тоже переживет его с нами. На этом покоится значение "типа", "положений", "доходчивости книги".

Как-то в минуту уныния я подумал: на Вспольный путь мне

заказан. Там неусыпно стерегут мое появление. К Любочке — им их угол и для них мал. Здесь — мне невмоготу… Остается Таруса… А вдруг, сорвется она? И стало страшно.

Целую, Миша».

18 марта. Москва. «Мишенька, родной! Я глубоко верю, что нашу судьбу вершит кто-то. И сейчас где-то, что-то плетется новая в нашей жизни. Страшно переходное время… Мысли мои одни и те же — поскорее тебе бросать Владимир и начинать налаживать свой собственный домишко. Где? В Тарусе? Новом Иерусалиме? Или еще где? Думаю, в Тарусе. Дом там неплохой, электричество проведено, участок прекрасный со старыми липами, ягодником, розами. И главное, дом без "начинки". В доме осталась прекрасная женщина, готовая к услугам. Будет скоро весна, зацветет сирень, запоют соловьи… Ехать, ехать!

Крепко целую, Аня».

31 марта. Ленинград. «Назойливые звуки вальса с соседнего радио. Как невыносима эта скученность! Как невыносимы все, решительно все привычные звуки, шумы, виды… Все опостылело. И так как уехать нельзя, то остается уйти в прошлое, т. е. писание. Оно дает такой отрыв от действительности, такое переключение на былое, что с трудом возвращаешься к действительности — пришедшему человеку, делу и т. п. И на улицах я не вижу окружающего, а слушаю, что у меня внутри. Это своего рода болезнь.

Пишу свое и о роде Вревских. Много вожусь с архивом, но мало толку. Одни факты. Свое же мучает чрезвычайно, потому что воспоминания перемешиваются с дневниками и одно перебивает другое, и я не знаю, где истина. Думаю что-то, что через много лет вспоминается с такою силою и яркостью — истина. Так тогда и было. Писание захватывает меня, но не для печати оно выходит. Вы хоть на машинку перенесли, а мои каракули — кто прочтет?

Вчера концерт. Четвертая симфония Чайковского. Ойстрах — слабенький, сладенький, лысый. Совсем лауреат. Зал чужой, неподвижный, какая-то очередь в "Особторге"… Половик между креслами особенно за пошлость противен — пенька из Мосторга бурого цвета, а кругом алый бархат. Вообще, потуги на роскошь с убожеством вкуса. Гадость непереносная. Не досидела и вышла на темную площадь — "тоскливо до слез и пусто в душе"… Итак, скорее в трам, скорее в комнату… Ночь, наконец, тихо… Читаю. Что? Больше всего XVIII век. Екатерина П. Павел. Эмигранты французы. Иезуиты.

Теперь то, с чего надо было начать письмо, т. е. "со спасибо". Давно, давным-давно не получала такого удовлетворения от

Вашего письма. Старый, давний М. М. вдруг предстал предо мною. О, Господи! Таруса, Ока, тихий угол, пропитанный чувствами и мыслями… Может быть, и неплохо. Замирающий самовар, черносмородиновое варенье и мы — "с двадцатишестилетней давностью"… И сладко, и жутко подумать.

Дай Вам, Боже, здоровья, а мне сил. Ваша Н.Вревская».

2 апреля (из дневника). Поздний вечер. Только что закончил работу над годовым отчетом по отделению больницы. «Работою проверил» прошедший год, и стало грустно, как вообще теперь часто грустно. Лежит больна Анюшка. У нее закупорка вены на ноге. Сегодня она мне пишет: «Вчера и сегодня хожу по комнате. Спустили с постели на два часа. Ногу не больно, но состояние не очень устойчивое. Ты не беспокойся, это пройдет».

Стары мы становимся, стары, но не совсем это еще сознаем… А я сейчас весь в замыслах «о перемене походки»: бросать Владимир и селиться до смертного часа в Тарусе. Пытаться вернуться в Москву я даже не могу и помыслить. Она мне любезна за прошлое и ненавистна на настоящее. Да я сейчас уже и не выдержу «экзамена» на Москву. У меня нет и угла там, от которого я мог бы начать танцевать.

14 апреля. Вербное воскресенье. Владимир. «Милая Анюшка! Не рано ли ты встала? Похаживай, а сама за собой поглядывай. И чуть что — в постель. Читать тебе не возбраняется — вот ты и воспользуйся этим вынужденным отдыхом для чтения, а не для хандры.

Теперь о Тарусе, Что там не рай — я это тоже знаю. Да и где он сейчас, этот рай на земле? Жизнь везде трудна. Леля Гайдарова пишет мне: "Вспоминаю последние пять лет как какой-то кошмар. В воскресенье пошла на кладбище, а потом проплакала всю ночь. Хуже нет праздников. Крутишься, как белка в колесе, некогда задуматься, и жить можешь". А ведь она молода, а что же нам, старикам, ждать?!

В Тарусе же есть милый обжитой и культурный дом — притом, доступный нам по цеце. Ни в Загорске, ни во Владимире нам дома, даже плохонького, не купить. Нам доступна только Таруса. И нужно воспользоваться там, быть может, единственным случаем — домом Герье.

Ты пойми, голубчик, одно: важно, чтобы человек чувствовал себя своим в той среде, где он живет, не чувствовал себя изолированным от нее и психически с нею связанным. До последнего времени у меня все это было здесь, а сейчас обрывается день за днем все больше и больше. Происходит это потому, что переменилось руководство в области и городе, что понаехало много фронтовых врачей. Что борьба за существование

стала политически и возрастно острее. Мне надо шаг за шагом уступать свои позиции и переходить здесь на вторые роли. А может быть, и на третьи. И лучше с этих ролей начинать на новом месте. Но кто же возьмет меня в мои 64 года? Мой путь единственно лежит в Тарусу. Вот, голубчик мой, как трудно бывает понять друг друга даже, казалось бы, в "понятных положениях". Ты зовешь меня в Москву поговорить. Но наступает Страстная неделя. Дни ее для меня священны, и я сейчас не поеду. Крепко обнимаю. Выздоравливай и накапливай силы. Миша».

15 апреля. Ленинград. «Ну вот, наконец, Вы обернулись на меня, и так хорошо потянуло старым, алабинским, таким грустным и милым… Хороша наша встреча! И как многое мне не ясно в Вашей жизни, и как, тем не менее, чувствую Ваше нутро (простите прозаизм).

Лейтмотив: ощущение старости, желание уйти от гремящей сутолоки. Приготовиться к концу. Это все Вам понятно. Кстати, об ощущении старости. Если оно выражается в наилучшем, в наиострейшем ощущении жизни (ее красоты), то да, я очень стара. Верчусь я среди инвалидов, научных работников, в самой гуще людей доживающих, казалось бы страдающих, на деле же большинство достойно встречает свое угасание… Впрочем, всем правит сила жизни. Она вопреки всему и всем выравнивает все уклонения и дает необходимую равнодействующую. Н.Вревская».

19 апреля. Великая пятница. Владимир. «Милая Анюшка! Сегодня день смерти Володи… Вчера вечером стояние на "12 евангелиях". Устал, замерз. Ночь не была покойна, и под утро в полусне, в полуяви загадал: будет сегодня какое известие о Тарусе — значит, судьба, значит, нужно переезжать в нее, значит, это хорошо. Через полчаса телефонный звонок: "Саввич выехал в Тарусу. Ждите телеграммы". Я принял это за "судьбу", за указание Володи. И день этот обернулся для меня праздником: солнечное утро, открытое настежь окно, звучание с вечера — "благоразумного разбойника" — и преддверие Воскресения. Победа жизни над смертью и надежда на вечную жизнь.

Письмо мое начато утром. Кончаю его вечером. Произошло одно событие — едва не пресекшее мою жизнь. На маленькой американской машине меня домчали в Ставрово к больному, крупному районному работнику. На шоссе на нас налетела громадная грузовая машина… Как мы уцелели, не знаю. Господь спас. Машину же нашу так смяло, что ездить на ней больше нельзя. Я вернулся во Владимир попутной машиной и испуганный, и как-то странно уставший… Вот какой сегодня выпал денек. Значит, суждено пожить еще. Будь здорова. Миша».

20 апреля. Москва. «Дорогой М. МЛ "В четвертый раз мне ска зали, что у С.В.Герье урок, его уже прерывали, и потому не могут ей сказать о моем приходе".

В пятый раз она оказалась больна, и ей Ставили банки.

В шестой раз сподобился увидеть.

У нас с С. В. давнее знакомство. В Тарусу мы приехали одновременно лет 17 назад. Дом она твердо решила продать.

Я: С. В., Вам дом нельзя продавать, кому попало.

С. В.: Совершенно согласна.

Я: К Вам приходил такой человек. Он мой добрый приятель, но попал к Вам независимо от меня. Он специально создан для Тарусы и Вашего дома. Трудно найти другого такого кандидата.

С. В.: Кто это? (Заинтересовавшись…)

Я: М. М. М.

С. В.: Вы так думаете? (Оживленно.) Вы убеждены?

Я: Вполне. Сама судьба его к Вам привела.

С. В.: Мне так же так показалось. Я продам ему. Его родственник Влад. Саввич Долгополов должен поехать смотреть…

А мне хочется, чтобы Вы побывали сами в Тарусе, и я Вам покажу ее. Почему вопрос о ней передавать в руки В. С., а не самому решать его… Всего доброго. С. Цветков».

21 апреля. День Пасхи (из дневника). Прослушал я Пасхальную заутреню и обедню в Успенском соборе. Волнующая ночь. Изумительная мистерия о Воскресшем Христе. У всех приподнятое настроение. Все хотят забыться и на время службы действительно забываются, и чувствуются светлые и радостные гимны Воскресшему, и призываются все обнять друг друга и как один запеть: «Христос Воскрес»… И толпы, громадные толпы народу… И вспоминается детство, семья и сколько нас за Пасхальным столом народу… И вспоминается первая Пасхальная ночь без отца — он умер Великим постом. Прошло с тех пор 48 лет… Срок большой, конечно, и скольких уж нет…

И давным-давно от Пасхального стола осталась одна форма, а содержание ушло от нашего сознания, и наши дети уже не знают волнующих чувств этой ночи. И не стали они от этого счастливее, беззаботнее, спокойнее. Нет, они обеднели, заменив праздник серыми, беспросветными буднями…

Вся обслуга больницы, конечно, чтит день Пасхи, но потаенно, шепотом, и только своим шепчется: «Христос Воскресе».

Я послал кулич Сабуровым-Шереметевым. Роздал яйца приближенным, а сам пошел «разговляться» к епископу Онисиму. Приглашено было человек 6–7. Нарядная комната. Парадный стол. Бывалые не глупые люди, и у всех приподнятое праздничное настроение, не остывшее еще после ночной службы…

22 апреля. Москва. «Родной мой! Поживем, значит, еще. Так угодно Богу. Какой ужас получился с Тобою. Не могу придти в себя.

Володя побывал в Тарусе, и все ему там понравилось. С Герье все улаживается. После разговора со Смирновой — обещала позвонить. Улаживай и ты свои дела, и торопись домой, пора.

Крепко целую. Аня».

24 апреля. Москва. «Дорогой М. МЛ Сейчас получил Ваше письмо. Мне нравится горячность, с которою Вы принялись за "Тарусское дело", и я начинаю верить в правоту его. Очень часто безрассудные поступки (купить дом за тридевять земель в "дыре", не повидав ни дома, ни "дыры") и бывают правильны. Таким поступкам "по наитию" (чего? — не знаю) больше верю, чем "зрелым" поступкам и строительству.

В комнате Герье, в доме в Тарусе, Вам покажется, что она для Вас ее строила, в особенности, когда перевезете Вашу библиотеку и обстановку. И приметесь здесь за свои "Воспоминания". Я завидую Вам и предвкушаю удовольствие, и молю небо — да не оскудеют плоды Вашего пера. Что касается судеб Вашей книги, то она ясна:

Когда-нибудь еврей трудолюбивый
Найдет Ваш труд усердный.
Правдивые сказанья тисненъю передаст…—

и сопроводит вступительной статьей, послесловием и примечаниями, равными 10 объемам Ваших воспоминаний…

Всего доброго. С.Цветков».

29 апреля. Муром. «Дорогой друг! Я очень встревожен Вашим молчанием. Что с Вами? Здоровы? И где Вы? Думаю — Вы не исчезнете с горизонта, не повидавшись со мною. Так ведь?.. Потом этот Ваш "план" тоже меня тревожит. Конечно, пошли Вам Господь всякую удачу на всех Ваших путях, так как они не могут быть дурными, а все же как-то страшновато. На старости становишься трусом… Не поленитесь — черкните весточку.

О себе могу сказать только: "Без перемен", — идем. Старуха моя все похварывает и пугает — вот-вот останусь без старухи. Конечно, это дело неизбежное, и не сегодня, так завтра… но… пусть будет все-таки завтра. Такова уже стала страусовая психология у меня.

Ну, будьте здоровы и благополучны, и да благословит Вас Христос на всякое доброе начинание. Ваш Н.Печкин».

1 мая. Загорск. «Ночь. Затихли патефон и радио в трех комнатах, и могу писать Вам, дорогой М. М.

Спасибо за письмецо к празднику. Первый день Пасхи провела на кладбище. Посидела у могилы Владимира Александровича, почитала молитвы, но войти к нему в ограду не могла. Она была заперта, а ключ я забыла…

Могила в следующем состоянии: с металлической решетки постиралась краска. Деревянная зеленая немного поломана у входа. Желтых листьев за решеткой мало. Вот и все. Побрела я от могилы, грустная за Владимира Александровича, что Вы уезжаете еще дальше от могилы, а я очень плоха и с трудом добралась до могилы.

У нас важное событие в городе… Открыт Успенский собор, перенесены туда мощи преп. Сергия. Служба суровая, монастырская. Т.Розанова».

2 мая (из дневника). Грустный праздничный вечер. Холодно. Идет дождик. Никакого праздничного настроения нет, и не было. Оба два дня праздника не выходил. Писал письма и упаковывался для предстоящего отъезда в Тарусу, хотя еще не знаю, когда — 15-го или 31-го. Это когда отпустят.

Дело с Тарусой почти закончено. Дня четыре тому назад я был в Москве. Побывали мы с Саввичем у Герье и, что называется, «ударили по рукам».

В Москве повидал Ирину. Она в отпуску из Дрездена. Нарядная, красивая и болеет сердцем. Диета, глюкоза, режим. Работа у нее большая и трудная, но бытовые условия отличные. Ехала она в Москву с желанием не возвращаться, но осмотревшись, решила ехать обратно.

У Любочки читают мои «Воспоминания» и полны ими. Мне было уютно посидеть у нее вечерок.

3 мая. Загорск. «Поздравляю Вас, М. М., с благополучным окончанием Вашего предприятия. Очень радуюсь за Вас — там чудесные виды и патриархальный быт, который Вы так цените. Радуюсь, что и С.А.Цветков будет около Вас. Он Вам сполна заменит "Погодина".

Всего, всего Вам доброго. Т.Розанова».

11 мая. Москва. «Мишенька, родной! Что-то мне после твоего письма стало грустно, но думаю, что грустить нам с тобою нет оснований. Все идет так, как лучше и не придумаешь. Судьба покровительствует нам. Поблагодарим Бога и станем строить новую жизнь. Владимир — Господь с ним. Пожил, поцарствовал, роль в жизни свою он сыграл, и довольно. Устраиваться на старость нам там не подходит.

Попробуем Тарусу. Уж очень как-то все складывается в Тарусу. Мне грустно только, что я не могла сразу поехать с тобою, чтобы и ты не был один, и чтобы устраиваться вместе, а

устраиваться с тобою мне так интересно, так приятно, просто праздник.

Целую. Аня».

13 мая. Владимир. «Милая Анюшка! Отвечаю на твое последнее письмо. Ну так вот, никакой грусти и сомнений, связанных с Тарусою, у меня нет. Еду туда с верою и охотою. И когда мне сегодня приснилось, что я останусь здесь и у меня ничего, кроме Владимира, на примете нет, я пришел во сне в тихое отчаяние..

Я не имею оснований быть недовольным Владимиром. Он дал мне дом в Тарусе, рояль, успех в работе, довольно широкую и разно образную жизнь. Он дал мне персональную пенсию… Таруса, по-моему, есть логическое завершение Владимира… И ты права — милосердное провидение своими путями шаг за шагом привело меня к ней… И не только меня. Таруса нужна и Долгополовым, и Вышипанам. Это пристанище на всякий случай в нашей семье… Теперь, как я буду добираться до Тарусы? Обком дает машину до самой Тарусы. По дороге в Москве я подберу кое-какие мелочи к тому, что возьму отсюда. А дальше такой план. Приезжаю, осмотрюсь и еду в Москву ликвидировать часть библиотеки и забирать свои остальные вещи, и побывать в Загорске.

Ну вот, голубчик, и все пока. Миша».

25 мая (из дневника). Вечер. Тоскливо. Недавно пришел с кладбища, где побродил. Зашел в церковь. Она старенькая, низенькая, теплая. Горит несколько лампад. Полумрак. Шла всенощная. Народу 20–25 человек, все женщины. На клиросе 3 человека — поют неумело и неуверенно. Выводит их из затруднения старичок священник. Я его знаю. Он лечился у меня. Знаю и недавнюю тяжелую драму его жизни — у него повесилась старушка жена. Он приходил ко мне поделиться своим горем, а главное, спросить — не оставит ли ее милосердие Божие, если она это сделала «не в добром уме и рассудке».

Тут же в другом пределе покойник. Канун, свечи, слезы предстоящих. Служба скорая, «обыденкой», но как неотразимо сильно действует все это на душу.

А кладбище в буйной зелени. Запущенное, разгромленное, но не заброшенное, ибо другого кладбища в городе нет. И в городе восьмисотлетней давности самые старые надгробия половины прошлого столетия… А в Острогожске были и половины XVIII века. А героический 1812 год был представлен там очень хорошими памятниками и по форме, и по эпитафиям.

Но это было до революции. Революция не пощадила кладбищ. Этого разгрома кладбищ я никак не мог понять, если не принять

всерьез «раскулачивания могил».

Занимаясь немножко историей Владимира, я должен был узнать и о докторе А.В.Смирнове. Он много поработал по истории Владимиро-Суздальского края. Его книги и архивные материалы были у меня. Живы еще и люди, хорошо его знавшие и рассказывавшие мне о нем, а вот могилу его сколько раз я искал, а так и не мог найти. А умер он после революции. Так…

Нива смерти быстро зарастает,
Зато цветет нива жизни.

Комната моя разгромлена. Все уже уложено. Вопроса о Тарусе уже не существует — он уже решен. По Вольтеру: «Плоды поэзии растут лишь весною, холод и печальная старость созданы только для здравого смысла»… Вот и посмотрим — обманул ли меня на этот раз здравый смысл, или нет.

19 мая исполнилось три года моей работы здесь. Я имею все основания быть довольным этими годами. Это мое внутреннее сознание. Но и общее мнение, что я «покидаю Владимир победителем». Ну, а дальше, что Бог даст. Дмитрий Васильевич Никитин пишет мне: «Вот Вы какой праздник устраиваете в своей жизни. Я его очень одобряю».

А сердце последнюю неделю в состоянии «стенокардии». Уж очень меня замучили больные. И главное, ночами. Ну, подается машина, ну, повезут туда и обратно… А боли в сердце, левой руке, и двигаться трудно, и настроение из рук вон плохое… Кто-то сказал, что старость приходит лишь тогда, когда мы поддаемся ей. У меня твердое намерение не поддаваться ей.

Эпилог к Владимиру

Последние дни во Владимире вспоминаются мне так. У подъезда больницы машина во всякое время дня и ночи. Болеет начальник НКГБ и идет обследование областной верхушки для санаторно-курортного лечения. Живет начальник на обрыве за собором. Нужно подниматься к нему в гору, а сердце мое болит, и мне самому впору звать к себе врача. Особенно трудны были ночные вызовы… Но ночи стояли чудесные. Страдающий человек ждал от меня помощи, и я приносил ее по мере моих сил.

30 мая вечером меня вызвал к себе 1-й секретарь обкома Г.Н.Пальцев. В громадном его кабинете я нашел его, председателя облисполкома Брандта и В.В.Сыроватченко, его заместителя. В лестных выражениях меня поблагодарили за работу, а Брандт

поднес мне медаль «За трудовую доблесть». Прощаясь, Пальцев сказал мне: «Будет нужда, обращайтесь ко мне — всегда помогу».

Признаюсь — меня все это растрогало. В напряженной обстановке последних дней это было признанием не зря потраченных усилий, не зря прошедших трех лет. Ведь мы так скупы на одобрения.

31 мая я вернулся домой в полночь после осмотра председателя облисполкома. А в четыре часа 1 июня подали машину, нагрузили вещи, и я, провожаемый дежурным персоналом больницы и главным врачом Ялиным, последний раз покатил по такой знакомой и изъезженной мною дороге.

Вот твердыни бывшего монастыря, музей, сквер, собор Дмитрия Солунского в лесах. Красавец Успенский собор с полусферами куполов и греческими крестами… Золотые ворота…

Щемило сердце. Все это стало дорогим. К этой старине так тянулась вся моя душа…

Ну, вот и Ямская слобода. Церковь, где венчался Герцен с Натальей Александровной… Теперь это лагерь для пленных немцев… Проволока, часовые. Но я не хочу видеть этого… Я вижу былое… А вот и застава… Лес… Мчится машина… Какое знакомое шоссе… М.А.Кузмин говорит: «Сами поступки ничего не значат, а важны причины, их породившие, а главное — люди». Это неправда. Важны и поступки. Я вот был волен поступать так или иначе… И вот, будто теперь впервые я начинаю понимать, что поддался чувству и еду, сам не зная, куда и зачем…

А машина мчится… Вот поворот и на Ставрово… Здесь сбил меня «Туде-Беккер»… За последние годы я слишком привык чувствовать себя нужным. Быть на вершине гребня работы и… вот я ничто… Ведь мне даже и не ответили из Тарусского райздравотдела… на мой запрос о возможности получить работу… Это мне-то, «из-за которого спорили города»…

А машина мчится… И растет расстояние между мною и Владимиром…

Воркуют голуби, светит солнце,
Когда увижу тебя, любимый город!

Часть четвертая. ГОДЫ 1946 — 1964

Глава первая. ТАРУСА (1946–1948)

«В настоящее время самое лучшее, что может сделать человек — это построить не слишком дорогой дом в какой-нибудь части света, где нет золота, нефти, угля и других полезных ископаемых, и где нет поблизости спорной границы или стратегически важных участков суши или воды. Здесь, если ему посчастливится, он найдет покой в собственных стенах и, быть может, здесь его осенят мысли, которые окажутся полезными для истерзанного враждой мира».

Э. Синклер

Мою повесть о Тарусе я начну словами: «Прочь малодушничанье! Уважение к самому себе! Все прочее не стоит тени дыма, если тебе удалось избежать болезни и нищеты. А чтобы их избегнуть, — нужны труд и работа».

Первого июня 1946 года моего заезда в Москву из Владимира по дороге в Тарусу с нетерпением ждали на Вспольном. Захватив там Саввича и Марианну, и еще подгрузив машину, мы с самым радужным настроением двинулись в путь.

Дорога до Серпухова по прекрасному шоссе шла весело. В Серпухове на наши расспросы, где лежит дорога на Тарусу, нас направили на станцию Тарусскую. Правда, мы скоро спохватились, но время шло, уже темнело, и мы по дороге к Дракино, уже ночью, пали духом, нам показалось, что мы опять заблудились, и Савич пошел искать ближайшее жилье. Скоро он вернулся. Оказалось, едем правильно, двинулись дальше, переехали Протву и покатили по Тарусскому шоссе, принимая по дороге чуть не каждую деревню за Тарусу. И до чего же далека она нам показалась! И с каким ужасом начал я думать: куда же это я забираюсь! И как же это я буду жить в такой глуши!

Во втором часу ночи подъехали к дому. Дом в глубине усадьбы, Калитка закрыта. Стали стучать и стучали очень долго. Наконец, вошли на усадьбу. Громадные цветущие кусты сирени. Масса зелени. Ароматный воздух. Большая открытая терраса. Вошли в дом. Вонь, беспорядок, грязь. Обитатели — кошка, собака и старая дева, Оглянулся я, где бы и как прилечь, и… не

решился. Подошел к окнам, выставил одну, вторую зимние рамы. Распахнул окна. Положил спинку привезенного с собою дивана на табуреты и прилег на нее. Во вторую половину наступившего дня машина, а с нею и Саввич, уехали обратно. Остались мы с Марианной. А у меня одно чувство: «Что я наделал, что я наделал!!» И казалось, вот ушла машина, и со всем миром порвалась всякая связь…

Но дело сделано… Прочь малодушничанье… Надо разбирать вещи, надо устраивать дом… И я принялся за это.

Муром. «С грустью прочитал Ваш новый адрес, дорогой М. М. Я очень рад за Вас, что исполнилась Ваша мечта о тарусском домике, но себя я чувствую осиротевшим… Ну, пошли Вам Бог помощь в устройстве Вашей новой жизни. Может, все-таки мы еще увидимся на этом свете, хотя езда по железной дороге похожа на пытку, в теперь, когда ожидается разрешение свободного проезда, она станет совершенно невозможной.

Моя жизнь в Муроме течет по-прежнему. Отдых в работе. Это парадоксально, но это так, ибо вся наша жизнь сплошь парадокс. Отдых в работе, а утешение в молитве — значит, уж настоящая глубокая старость…

Целую Вас крепко. Да благословит Господь Ваше новоселье. Н.Печкин».

Прошли неделя, вторая, третья… Мы продолжаем оставаться вдвоем с Марианной. Саввич заболел, и около него в Москве задержалась Аня. Дом немного приведен в порядок — во всяком случае, вымыт и проветрен. В саду посажены летники. Познакомился с соседями. Всмотрелся в общее окружение. Начал беспокоиться о работе.

И вот я начал ловить заведующего райздравотделом — туземца, старого военного фельдшера, маленького, юркого человечка с манерами провинциального трагика старой школы. А он был и скользок, и неуловим… А я с высоты моего бывшего владимирского положения долго не мог понять, в чем дело, и искренно недоумевал, как это я не нужен и как можно не использовать меня на работе….

Увы, увы… я не все учел. Я не учел подозрительности мелкого, мещанского люда, составлявшего Тарусу; маленьких штатов; боязни конкуренции и, что всего важнее, очень сложных служебных отношений между райздравом и главным врачом больницы. Словом, мои попытки увидеться, поговорить, выяснить ни к чему не приводили—

А между тем, слухи о моем приезде, о покупке мною дома, о «громадных золотых часах», стоящих у меня на столе, и моей обстановке наполнили Тарусу, и она не поверила, что приехал я

добровольно. Таруса привыкла к «зонникам» и сопричислила меня к ним. И это вошло прочно в сознание даже и до сегодняшнего дня…

Словом, дело с работою обертывалось безнадежно. Оставалась так называемая частная практика. Ну, какая она могла быть в городишке, где обыватели жили тем, «что друг другу белье стирали»? Ею занимался фельдшер-райздравотдел. Это была его монополия. Он был «своим», ходил по домам, угощался, выпивал и получал какие-нибудь пустяки «натурою».

Вот так хмуро начиналась тарусская жизнь…

«Посылаю Вам на новоселье, дорогой М. М., три автографа из отцовских сочинений (В.В.Розанова). Их выбрала сестра Наденька для Вас, по-моему, очень удачно. Они напечатаны, но это подлинники, и я думаю, что Вам будет приятно иметь их у себя. А также посылаю и монетку из нумизматической коллекции отца. По-моему, она интересна, хотя я и не знаю, кто на ней изображен… Только она древняя и редкая. Ваша Т.Розанова».

9 июня. Псков. «Ваше сообщение, дорогой М. М., о переезде в Тарусу взволновало меня, а жена даже всплакнула. Через год хочет съездить к Вам посмотреть, как вы устроились на новоселье.

Если бы я оставался во Владимире, я приложил бы все усилия к тому, чтобы удержать Вас на месте… Отсюда же рассуждаю так: хорошо, что Вы осели вдали от суеты и хлопот. Завидую Вам.

Сегодня в Пушкинских Горах празднуют 147-ю годовщину со дня рождения поэта. Но я не поехал. Я очень утомляюсь. Здесь слишком много дела. Все приходится начинать сначала. Псков восстанавливается очень медленно, на это потребуются десятилетия. Собираем все по крохам. И мало врачей, а хороших врачей почти нет.

Часто очень тепло вспоминаем Вас. Ваш Борисовский.

P. S. Когда я утрами иду на работу, мечтаю встретить нужного мне главврача в больницу. Но это посчастливилось мне только один раз в жизни с Вами во Владимире».

Наконец, приехала Аня. Дорога на Тарусу произвела на нее «ошеломляющее впечатление». И в самом деле: три часа езды железною дорогою до Серпухова. С вокзала пешком за рикшею с вещами нужно пройти 5–6 километров до пристани. Там ждать отхода парохода 3–4 часа, да затем пароходом три часа — вот и получается 12 часов пути в 105 километрах от Москвы. Целое путешествие, требующее притом здоровья и выносливости.

Вслед за Анею приехала и Любочка с Катей и Галей.

Труден путь, но Ока, заокские дали, лес, тишина — примирили с дорогою, а установившееся жаркое лето и чудесное

купанье пленили всех.

Трудно было с едою, главным образом, с хлебом. Действующая карточная система в Калужской области ничего не давала, кроме хлеба, да и то для очень ограниченного круга населения… Ну, как-то справлялись. Жизнь нас всех уже приучила к лишениям. Были еще кое-какие запасы из Владимира. Кое-что оказией доставляли из Москвы.

Репутация приобретенного мною дома в Тарусе была высока. Прежние его владельцы — Софья Владимировна Герье и артистка московского Малого театра Надежда Александровна Смирнова — для Тарусы были «белыми воронами». Общество около них собиралось отборное. Кроме того, дом их был центром теософического общества, куда паломничали из многих мест. И вот случилось так, что бывавшие в доме раньше пришли к нам, и как-то само собою сталось, что Поленовы, Крандиевские, Федорченко, Цветаева, Снегирева и т. д. стали нашими или добрыми друзьями, или знакомыми… Не могу не помянуть добрым словом попытки Е.В.Поленовой-Сахаровой устроить меня на работу через местного начальника милиции, члена райкома. Из этого ничего не получилось, но, несомненно, расчищало дорогу для дальнейших шагов в этом направлении.

В начале июля я уехал в Москву за моими вещами и для продажи части моей библиотеки. Туда и написала мне Анюшка:

«Мишенька, родной мой! Если сказать по совести тебе, я рада, что тебя нет здесь сейчас. Уж очень как-то людно в доме. За стол садится девять человек. Пусть пока все образуется и уляжется… Приехала вчера Кудрявцева Ольга Александровна и "очумела от восторга". Ходит и все спрашивает: "Вишни тоже ваши, смородина ваша?"…

А ты там не переборщи со своею работою и ничего не таскай сам — надо же еще пожить здесь.

А мы вчера компанией сделали чудесную прогулку в "Долину грез", и нужно сказать, что это такие места, какие я редко в жизни видала. Купаюсь, плаваю и довольна своею прытью, и сплю как убитая.

Приезжай, родной, и привези с собою отца хоть денька на три».

В Тарусу я вернулся вместе с К.Н.Игумновым. Чувствовал он себя очень плохо, и мне было страшновато везти его, но горячее солнышко, чудесный воздух, благожелательное и почтительное окружение сделали свое дело, и через неделю он принялся готовиться к концерту, а вечерами стал играть и для нас.

«Дорогой М. М.! Вы меня приводите все в большее и большее восхищение: оказывается, ухитрились привезти всю свою

обстановку и уже устроились на новом месте так, будто и всегда жили в Тарусе, принялись за сад. А я еще не успел "очухаться" от восторга, как Вы в два счета, не тратя времени на осмотр Тарусы и дома, доверившись моим описаниям, купили заочно дом и прямо поехали на житье.

Описание этого события будет самым волнующим в Ваших воспоминаниях. Я тщетно пытался вспомнить в мировой мемуарной литературе и беллетристике случаи, даже отдаленно напоминающие Ваше переселение, и не смог. Я на самом деле восхищен Вашею решительностью, деловитостью и последовательностью и, как писал Вам раньше, завидую.

Я указал Вам все обратные стороны Тарусы, так хорошо изученные на собственной шкуре. Теперь же, увидев Вашу энергию, могу спокойно сказать, что они Вас не коснутся.

Я думаю, что работа Вам в Тарусе в конце концов найдется. Вы — клад для Тарусы. Вы, слава Богу, учились во времена, когда узнавали болезнь без рентгенов и анализов — потому Вам и место в Тарусе. В Москве с рентгенами и лабораториями и я могу быть не дурным врачом.

Надеюсь, Вы перевезли Вашу библиотеку? С книгами плохо в Тарусе. Интеллигентных постоянных жителей, кроме обитателей Вашего дома, почти не было в Тарусе. Были книги у "московских тарусян", но имущество их было разорено в дни пленения, пропали и их книги… Ваш С.Цветков».

В конце июля приехала знакомиться с нами внучка Бреусочки — Таня Гайдарова. Я видел ее ребенком в 1929 году на похоронах Бреусочки. Теперь она писала мне:

«Дорогой дядя Миша! Первым долгом, получив Ваше приглашение, я достала карту Московской области, нашла на ней Тарусу и отметила на ней свой будущий маршрут. С огромным интересом жду дня отъезда. Так хочется познакомиться со всеми Вами. Я комсомолка. Мечтаю о поступлении в партию. Татьяна Гайдарова».

В это же время ее мать писала мне:

«…Таня продукт современный, оторванный от жизни нашей большой, когда-то, семьи, не знакомый с нею. Правда, я много рассказываю ей обо всем, что помню, но это не то. Она слушает как интересную повесть, но за сердце это ее не хватает. Ведь ей некого любить, не о ком заботиться. Я как-то не в счет. Я живу для нее и только ею, и это вошло для нее в привычку, а сестер, братьев, родных, близких никого нет. Это делает из нее эгоиста. Она любит институт, занимается с охотою, но ни сентиментальности, ни мечтательности в ней нет. Ее мысли заняты тем, чтобы пробить себе дорогу в жизни… Письмо ее к

Вам характерно для нее… А все же Вы ее полюбите и приласкайте. Ольга Гайдарова».

Седьмого августа отпраздновали день именин Анюшки. Лето подходило к концу. Удлинившиеся вечера проводили с керосиновой лампочкой. Углы дома тонули во мраке, и все чаще вспоминались слова романса: «Лето прошло, цвет в полях опал, и так тоскливо стало на душе…». Конечно, москвичи с началом учебного года возвращались в Москву, и зиму мне предстояло жить одному… И надо немедленно было приниматься за ремонт печей, без чего немыслимо оставаться в доме.

Помню день отъезда… и внимательно-грустный взгляд Константина Николаевича. Зашумел мотор, машина двинулась, я постоял у калитки. Машина спустилась с горы и опять поднялась, и скрылась за поворотом…

4 сентября. «Милая Анюшка! Как грустно мне без тебя! Ты часто сердилась на меня. Месяц не разговаривала со мною. Мне не было легко с тобою: у тебя не было душевного покоя, и это передавалось мне. Вообще лето, эти три месяца, не были легки, и я устал и от себя, и от людей. Запас наших сил невелик, и все истощает нашу нервную систему. А ведь, по существу, жаловаться нам нельзя, недопустимо. Мы здоровы, благополучны, имеем свой угол, лето подарило нас теплом и чудесной музыкой чудесного Константина Николаевича…

Вечер Вашего отъезда был очень грустен мне. Лил дождик, хмуро, темно, но я помолился, вымылся, почитал, а утро встретило меня солнышком, цветами и туманной далью.

Ты должна подарить мне недельку своего общества без Марианны. Всю жизнь ты с "приложением", в заботе о нем, расстройстве, тревоге и никогда сама по себе. Это, должно быть, хорошо. Отсюда, ведь, "смерть хорошая", но жизнь-то… У тебя она, конечно, не собачья, но душевного мира она не дает — по пословице: малые детки — малые бедки, а большие детки — большие бедки… Приезжай с Саввичем на недельку, поживи с нами, только не привози с собою тревоги о Марианне.

Что здесь? Полная луна. Чудесная погода, ежедневная работа в саду, книги, газета и часто, часто сознание отжитости и ненужности… С последним я борюсь, но оно настойчиво.

8 сентября. «Родной мой! Половина души моей осталась в Тарусе. Много думаю о тебе, и сердце полно тревоги. Как ты? Как себя чувствуешь в темные вечера — такие уже длинные? Как живешь ты без денег? Все, все беспокоит меня. Мне вырваться отсюда не удастся, а отец выедет к тебе на днях. Тебе же самому надо будет приехать сюда перед закрытием навигации — пожить с нами, походить в концерты, запастись необходимым, и потом

"на зимнюю сказку" в Тарусу.

Звони, Христа ради. Мне тревожно и скучно. Звони и пиши — только не молчи- Аня».

14 сентября. «Около одиннадцати часов ночи. Прекрасно горит свет и не моргает, и совсем светло.

Сегодня, милая Анюшка, получил твое письмо. Спасибо тебе за него. Мне так дороги и нужны были твои строки, твоя забота обо мне. Ничто другое мне так не нужно, как это… А живу я здесь хорошо, и если бы не мысли о безработице, то сказал бы, совсем хорошо. Вечерами все же немного почитывал и под керосиновую лампочку часов до одиннадцати, с тем, чтобы утром порадоваться свету, тишине, миру и покою. Природа в своих чередованиях — солнца и дождя, ясного и хмурого неба — действует, конечно, по-разному, но в итоге все равно приводит к душевному равновесию, а что же больше нужно нам, старикам? Вот, забываем мы о своей старости!

Есть у тебя в письме такая фраза: "Мы стары, и одна должна быть задача — не мешать". Не мешать, конечно, молодым в их жизни — так я понимаю. Но дальше ты продолжаешь: "А чем же жить тогда?" Да неужто "помехою" можно жить? Нет, жить нужно, уже готовясь к "переходу", и радостью, и вниманием, и нужною помощью тем же молодым, но только не путаясь между ними… И сейчас хочу одного, чтобы ты вырвалась сюда и в погожие осенние деньки побродила бы и по саду, и по лесу.

Сегодня прохладное, но солнечное утро. Ясные осенние дали, падают листья, но еще очень зелено вокруг. В комнате у меня полно цветущих астр ярких, свежих, а под окном роза, окопанная и обложенная навозом, дала еще четыре бутона. Итак, голубчик мой, будет погожее бабье лето, приезжай».

20 сентября. «Милая Анюшка! Райздравотдел предложил мне место главного врача. Я расспросил, и ясно стало, да он и сам стесняется, что брать больницу без топлива, воды, питания, белья, с заколоченными окнами — нельзя. Договорились, что я иду на полставки консультантом с тремя приемами в неделю и обходом с врачом терапевтического отделения. Лиха беда — начало. Нужно, чтобы меня узнали, а там видно будет. 24 октября будет районное совещание медработников, я выступлю с научным докладом, с этого и начнется мое "служение". Хочу думать, что тяжелый вопрос с моей безработицей заканчивается. Электричество горит у нас исправно. Работа в саду подвигается. Конечно, бывает, что я перерабатываю, но удовольствие от работы таково, что забываешь о "дурных возможностях".

Осень, хмурые дни, дождь не действуют на мое настроение. "Вечность" в природе, в смене ее явлений, сливаются с нашим

возрастом, с его психикой. Есть особая прелесть в разумном однообразии деревенской жизни. И я молю Бога, чтобы Он и тебя привел под конец твоей жизни сюда. Проживя весь годовой круг жизни здесь, ты поймешь все глубокое значение "усадебной жизни". Сколько замечательного дала она для страны в прошлом… И моя цель, обеспечив здесь некоторую материальную базу, сманить Саввича сюда. Москва ему явно вредна. Ему необходимо отдохнуть здесь, у земли и леса. На нем, говорят, лица нет…»

25 сентября. Мякит. «Мой дорогой М. М., получил сегодня Ваше первое письмо из Тарусы. Приветствую Вас на Вашем новом поселении. Вы теперь живете в моих родных краях, где я провел лучшие годы своей жизни. Недалеко от Тарусы есть деревня Кислино, там я и родился на берегу Протвы. В Тарусе я бывал не раз. Зависти моей, что Вы там живете, — нет конца. Вы описываете весенний пейзаж перед Вашим окном, а у меня щемит сердце от этих строк.

Дорогой мой далекий и настоящий друг! В Ваших письмах много грусти, но жизнь Ваша все-таки неплохая. Хорошего кругом Вас много — не знаю, умеете ли Вы это ценить. В каком Вы теперь живете чудном уголке России. Рядом музей Поленова — цел ли он? Я очень любил в нем бывать. Помню, помню я Тарусу хорошо. Недалеко от Тарусы есть Гороховый кабак — и там я бывал.

Мои дела что-то все не важны. Летят годы, а я все "ЗК", но всяких слухов, а с ними надежд, очень много, и я еду на терпении и ожидании. Тринадцать лет я живу в "разреженном воздухе", много лет в непосильной физической работе. Восемь лет я провел как зверь, в глуши, среди настоящих варваров, без чтения, без каких-либо хоть малых культурных удовлетворений своих потребностей. Мой клуб, в который я сейчас попал, казался мне сначала раем небесным. С какою жадностью набросился я на кино, книги, пианино. А сейчас я уже всем насытился и опять томлюсь о другом. Вот Вы и подумаете, что я пал духом. Нет, я еще высоко держу голову и люблю еще жизнь очень. И строю еще себе иллюзии, что я еще молод и кому-то могу быть нужным. Когда меня кто-нибудь назовет "молодой человек" — как это мило сердцу моему. Но зато, если меня назовут как-нибудь вроде "батя" или "отец", — я сразу мрачнею. Сейчас, слава Богу, меня опять больше зовут "молодой человек", потому что, работая в клубе, я очень поправился, ожил и по-прежнему:

Не могу на красоту смотреть
без вожделения,
робкой нежности и тайного волнения.

Будьте, мой дорогой друг, таким же бодрым и жизнерадостным, каким я знал Вас. Сергей Коншин».

29 сентября. «Милая Анюшка! Сегодня стоял чудесный день. Утренний заморозок сменился почти жарким солнышком, и я целый день пробыл на воздухе: копал, планировал, жег костер, читал газету и жалел, что Саввичу не выпало ни одного такого дня и он свои героические труды провел в хмурые и дождливые дни.

В пять вечера, побрившись и переодевшись, пошел на именины к соседке Людмиле Александровне Харитоновой. Там "осколки разбитого вдребезги". Старый фарфор, акварели и графиня Бутурлина в гостях. Какое имя, какой французский язык и какая непринужденная манера держаться!

В Тарусу приехал на житье старый художник А.В.Григорьев. Говорят, что он когда-то занимал одно из видных мест по искусству в Союзе, ну а теперь прибыл из лагеря. Должен зайти ко мне. Я не скучаю, но от культурного человека не откажусь.

Сейчас 9 часов вечера. Электричество горит отлично. Прослушал по радио трио Мендельсона и романсы в исполнении Козловского и Константина Николаевича. Радио звучит хорошо.

Мой приезд в Москву я откладываю на половину ноября, когда будет закончен ремонт печей и поставлен у меня камин.

Последние дни получил что-то очень много писем, и со всех сторон — не радостно и не счастливо. И вожусь я со своим домом и садом, и радуюсь всякой сделанной мелочи и хорошо помню, что "счастье только на путях обыкновенных"».

4 октября. «Милая Анюшка! Вчера приехал Андрей Файдыш-Крандиевский. Переночевал у меня, порассказал, и у меня одно чувство: "Господи, помилуй народ Твой". Я ждал трудной и голодной зимы, но не настолько. Первого числа при выдаче хлебных карточек у нас произошло "избиение младенцев". Не знаю, как у Вас, но здесь очень многих лишили хлеба. Мне дали 400 грамм, на домработницу не дали. Как с этим делом обстоит у Вас? Цена на картофель растет непомерно. Жиров нет никаких, а если что и выносят на рынок, то очень плохое русское масло по цене 220–240 рублей кг.

Ну, довольно об этом. Это дань тревоге за Вас и весь люд православный.

Конференция медработников не состоялась. Фельдшера-заврайздравотделом не сыскать и с собаками. У меня впечатление, что он прячется от меня. Печник до сих пор не приступил к работе, и температура у меня в комнате уже пала до

8 градусов».

7 октября. «Дорогой мой! Зашел Андрей Петрович и рассказал о Тарусе и о тебе. Здоров, бодр, на жизнь свою не жалуешься… Мне так отрадно слышать это, ведь у меня всегда болит душа о тебе, и порою я начинаю роптать на Тарусу.

Жизнь стала очень сложной и у нас. Хлеба нам не хватает, а купить ужасно дорого и негде, и такие очереди, что достать невозможно. В таком положении, как твоя домработница — миллионы женщин. Под Москвою не дали хлеба женщинам до 50-ти лет и детям, иногда трем-четырем в семье. Не понимаю вообще, что делается. Народ в очередях просто воет.

Ну, Христос с тобою. Аня».

15 октября. «Милая Анюшка! Побывал в райкоме у 1-го секретаря. Неприветлив. "Данные у Вас большие. Назначен новый райздравотдел — врач. Сейчас он в Калуге. Вот вернется — поговорим". Вот как обертываются дела. Кстати, старый райздрав исключен из партии и похож на загнанного зайца. Побывал в больнице, поконсультировал там больных. Впечатление более тяжелое и убогое, чем ожидал. Развал полный. Окна до сих пор не вставлены, белья нет, ванна (одна) не работает, воды нет. Словом, беда, и что страннее всего — "к этому привыкли", и никого это не беспокоит.

А печник до сих пор не приступил к работе… Подождем — "день веселья, верь, настанет". И все же ты не беспокойся обо мне. Мне хорошо, совсем хорошо, правда, лишь тогда, когда я забываю о своей безработице.

15 октября. «Мишенька, родной! Скучно, свожу концы с концами. Гоняюсь за хлебом, продаю все время какое-нибудь барахло, чтобы иметь за столом сахар и масло и иногда белый хлеб, и считаю, что я из тысячи единственная, которая может позволить себе это.

Единственное отвлечение в музыке. Купила два абонемента, сижу в концертах, вспоминаю старые, старые времена, и это не тяжело, А приятно. И в музыке нахожу полное спокойствие и отдых от мелких повседневных забот и дел.

Ну, крепко целую, будь здоров. Аня».

21 октября. «Милая Анюшка! Горячка этих дней кончилась. Картофельная кампания, в общем, удалась. Саввич во взбудораженном состоянии. Хожу около него с осторожностью и жалением. Не отдохнул он за свой отпуск. Ему нужно было провести его весь здесь. Здесь бы он ушел от письменного стола, давней усталости, был бы на воздухе, больше бы спал, и не беспокоил бы его телефон… И он отошел бы здесь и успокоился.

В Москве мне надо побывать, но настроение мое вовсе не

московское. И лишних расходов я должен избегать. Прошлую неделю мы жили здесь без хлеба. Были сухари, пекли лепешки из картофеля. Меня это не удручало, и жизнь от этого не казалась мне плохой. Я стою на той позиции, что жить сейчас хорошо — совестно. Ты сама помнишь о тех миллионах, что живут значительно хуже нас.

Два слова о нашей собаке. Мы решаем ее отдать. К сожалению, животные требовательнее человека. Жить пес на одной картошке не может, да и картошки мало. Я вспоминаю теперь, как Поленова-Сахарова сказала мне: "Содержать собаку я не могу — это удовольствие дорогое". Я тогда что-то удивился этому и только вот теперь понял, что она права».

25 октября. Владимир. «Дорогой М. МЛ Вот я и получил Ваше прелестное письмо. Читая его, целиком вошел в Вашу новую жизнь. От души радуюсь, что она слагается благоприятно. У Вас, философа и эстета, надо учиться жить. Что у меня? Наступающая зима приводит в ужас — ни топлива, ни еды. Иной раз думается — не переживу я ее.

Вам трудно представить ту радость, какую доставили мне подаренные Вами экслибрисы. Большое спасибо. Увлекся я ими вовсю. И очень рад, что есть у меня такое влечение. Вы глубоко правы, когда говорите, что в "наше глухое время всякое увлечение — это цель и утешение".

Чем привлекают меня экслибрисы? Какую прелесть я вижу в них? Я чувствую за ними владельцев их, или художников, создавших их. В общем, все фантастиков, оригиналов, людей, отъединенных от происходящего вокруг них и не похожих на других. И это так интересно.

Ваш подсвечник на экслибрисе И.И.Дмитриева я узнал. Кстати, у Дмитриева помимо стихов и басен есть интересные мемуары. На меня до сих пор производит впечатление сделанное им там описание своего отрочества и юности. Проживая в мелкопоместной Симбирской глуши, а затем находясь двенадцать лет нижним чином на военной службе, он полюбил навсегда книгу и литературу. Есть весьма интересный портрет, изображающий поэта в молодости с пышной прической и в костюме екатерининского времени.

От души сочувствую Вам по поводу отсутствия в Тарусе церкви. Сам я чрезвычайно втянулся в посещение нашего собора и в курсе его жизни и о сане священнослужителей. А вообще, хочется "бегства от жизни" и реальной действительности… Но я, возможно, утомил Вас. Поэтому, кончаю. Леонид Богданов».

26 октября. Загорск. «Милый М. М., давно не писала Вам. Занята перепиской семейных писем. Так интересно. Вся жизнь

снова проходит и вновь по-новому освещается. Ближе душой к умершим и легче за них молиться.

Читаю это время Константина Леонтьева. Действительно, замечательный писатель и мыслитель. В воспоминаниях особенно интересен рассказ врача о сдаче Керчи, несомненно, автобиографический.

Наконец, узнала о сестре Варе. Она умерла в 1943 году от дистрофии и поноса. А ей так хотелось жить! И вот с ее смертью я поняла, что никому ничего нельзя советовать и ничего от человека нельзя требовать. Вот у Вари была психология девятилетнего ребенка, а я требовала от нее мышления и поступков взрослого человека и сердилась на нее, и молилась за нее: "Управь, Господь, ее путь на разумное". А теперь вот плачу все время и каюсь. Отец с гениальностью провидел судьбу своих детей. Варе он написал на выпуске первом "Из восточных мотивов", что она должна идти героически в жизни — она так и кончила. Проза жизни была не для нее.

Пишите о себе. Т.Розанова».

28 октября. Владимир. «Уважаемый М. М., здравствуйте! Весьма обрадован Вашим письмом и благодарю Вас за внимание ко мне, грешному.

Нам грустно было расставаться с Вами, и мы скоро заметили, что в нашем древнем соборе не видно человека, который своим присутствием как бы поддерживал наш авторитет, ободрял нас, когда мы унывали, а иногда своими умными и дельными замечаниями старался исправить то, что мы по неопытности, нерешительности допускали. Теперь, кстати сказать, бумажных цветов на иконостасе в нашем соборе нет — их выбросили.

Оставив как-то все свои дела секретарю, я сумел на шесть деньков съездить к себе на родину в село Заястребье, на родные могилки. Там хорошо отдохнул, забылся от своих обычных дел, насладился природой, которая там девственно хороша, купался в реке, ловил рыбу… Одним словом, использовал коротенький отпуск очень хорошо.

Итак, М. М., желаю Вам всего доброго с точки зрения вечности, по молитвам Святых князей Владимирских.

Уважающий Вас, Ваш молитвенник, епископ Онисим».

29 октября. Киев. «Дорогой М. М.I Спасибо Вам за письмо и добрые пожелания. Ваши письма мне особенно радостно получать — в них я чувствую теплоту и близость душевную.

Киев, несмотря на зияющие пустыми окнами развалины, несмотря на горы кирпича и железа на месте бывших домов, по-прежнему очарователен. Условия жизни трудные. Комната маленькая, мебели у нас нет, но на все невзгоды мы смотрим

философски, и настроение у нас хорошее от одного сознания, что мы в Киеве. А когда пойдешь в парк над Днепром, побродишь по старым, тенистым аллеям, — голова кружится от радости.

Работаю в Институте клинической медицины. Оснащение и руководство прекрасные. Портят дело мои коллеги, да наличие привилегированных больных известного Вам стиля.

Вообще, чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь, что избранный Вами путь — тишины и уединения в Тарусе, книги, и природа — это самое лучшее и самое радостное. И потому, должен сознаться, я завидую Вам. А Вы пишете еще о летнем пребывании у Вас Игумнова, пианино и музыка — это уже совершенный идеал, который может только сниться. Впрочем, и мне есть чем похвалиться — это колокольным звоном в Киеве, которого я не слышал лет двадцать.

Увидеть Вас в Киеве было бы для нас величайшей радостью. Пишите, дорогой, не забывайте. Георгий Косткевич».

30 октября. Мякит. «Дорогой М. М.! Ура! Ура! Наконец, первая часть моей Одиссеи закончена. Мне возвращена свобода. И вот я хотя кричу "ура!", но на душе не радостно. Рассчитывал, что удастся выехать отсюда, но пока надежды мало и надо браться за какую-то работу. А 14 лет срок достаточный, чтобы заслужить покой и» окружение родных. Все меня поздравляют, жмут руку, некоторые даже обнимают и целуют, как будто бы я завершил большое и полезное дело, а на самом деле всего-навсего потерял больше трети своей жизни, потерял лучшие годы.

Все Ваши письма получил и продолжаю верить в нашу встречу; на берегах родной Оки… Ваш, пока далекий, любящий Сергей Коншин».

1 ноября. «Милая Анюшка! Наконец, печь сложена, и я у себя в комнате за своим столом. У меня тепло, и печь, по-видимому, вышла удачной. Камина я еще не топил — нет к нему принадлежностей, и я их заказал. Очень тяжела была уборка, как и процесс кладки печи — ведь все время я носил сам и песок, и глину, и кирпичи, словом, был подручным у печника. Ну, печка на месте, и "за все слава Богу".

Повидался я с новым райздравотделом. Он работал во Владимирской области и, конечно, знает меня. Кроме того, ему дали в Калуге указания насчет меня. Встретились мы дружелюбно. Работа мне обеспечивается — ему нужно только разобраться в штатах и выкроить ставку для меня.

Очень мне грустны наши денежные дела. Там, где "недостатки, там и неполадки". Не будем идти по этому пути. Мне "узко" сейчас в жизни. Такая полоса безработная. Она пройдет. Будем иметь терпение. Пока же вот что, если Саввич соберется

сюда, — пусть захватит сколько-нибудь соли. Здесь ее не купить.

6 ноября. «Милая Анюшка! Что-то давно нет вестей от тебя. Жизнь одолела? Так вот, чем труднее она становится, тем нужно быть покойнее. От этого и себе легче, и другим. В этом направлении и нужно себя тренировать, или, во всяком случае, помнить постоянно.

На днях пришли ко мне познакомиться внучка М.Н.Ермоловой и бывшая артистка московского Малого театра З.А.Сахновская. Они обе здесь на работе в Доме культуры. Первая поет. Вторая руководит драмкружком. Живут они в классе Дома культуры, неотопляемом, без кипятка и прочей "культурой" такого же стиля. Послушал я их, посмотрел и сказал за себя от всей души — "за все слава Богу"».

11 ноября. «Милая Анюшка! Твои слова о смерти, твоя усталость от грязи, московского быта, нужды — чрезвычайно больны мне. С нуждою пока делать нечего — ее надо терпеливо переносить. Покойный Славский говаривал: "Стоя на рогоже — делай вид, что стоишь на ковре". Ну, а от московского быта нужно время от времени отдыхать здесь. И так черно ты описала старость, мелочность, жадность. А я этого не чувствую и не хочу видеть этого за собою, как не вижу и за тобою. Напротив, по пословице: "понимать" — значит "прощать". А понимать старость и может, и умеет. И на этом ее свойстве основана мудрость стариков. Я, например, уже давно не стремлюсь кого-либо переделывать на свой лад. Я понимаю, что этого делать не следует, а мирюсь с человеком таким, каков он есть, а если это не приемлемо, то просто отхожу. И так во многом, многом в жизни. Нет уж, не хули ты старость».

10 декабря. «Милая Анюшка! Доехал я домой отлично в кабинке машины. Дома все в порядке. Ждем тебя на каникулы.

Мое впечатление от вашей жизни вовсе не такое "узкое", какое я имел по твоим письмам. Здоровы, в тепле, сыты. Саввич прилично зарабатывает. Ирина не только балует, но и помогает. Не надо гневить Бога "желанием смерти". Надо благодарить его.

Москва утомила меня чрезвычайно. Всячески утомила — и физически, и нравственно. Не надо мне бывать в ней без особой нужды. Вот только Вас повидать с Любочкой и Вашими семействами. Так обидно, что наш остаток дней я оторван от Вас. А только около Вас мне и тепло».

12 декабря. Мякит. «Мой бесценный М. М.! Итак, я вольный гражданин своей родины. Мое многолетнее терпение, наконец, увенчалось успехом. Но осталось сделать еще большой и трудный шаг — это покинуть навсегда эти милые края. Только Вам я напишу все откровенно: из меня стало сейчас как бы два человека

— один тоскует и рвется к родным, друзьям, на родину, к солнцу, теплу. Боится, что последние друзья уйдут в могилу, гнетется одиночеством и неприглядностью здешних краев. А другой человек панически боится — длинной трудной дороги, морской качки, обнаруживает в своей душе какие-то привязанности, невольно нажитые за эти годы… И в результате миллион терзаний, колебаний и, может быть, очень глупых решений. Но все-таки думаю, что первый человек победит и я пробью лбом все стены и сначала направлюсь к братьям, а потом к Вам. Ваши письма очень меня к этому подстегнули. Конечно, надо спешить. Работаю я здесь в клубе, и жизнь моя течет в занятиях скверной музыкой. Зарабатываю мало, но имею много дорогого свободного времени, много читаю, много валяюсь без дела и как-то отдыхаю от пройденных многочисленных трудов.

Итак, Бог даст, скоро увидимся и вместе пропоем славу дарующему нам жизнь. Ваш Сергей Коншин».

15 декабря. «Милая Анюшка! Неделя прошла с морозом до 25 градусов и без снега. В доме не холодно, но и не тепло. Должно быть, в такие морозы везде так. Впрочем, "дыхание" видно бывает только утрами, до топки печи.

Сегодня кузнец принес мне решетки для камина. Изделие это "каменного века" по массивности и красоте, но назначение свое выполняет полностью. Вечером сегодня я читаю лекцию в клубе, на днях — в школе, но заработки мои плохи, и живу я "рантье", хотя от народу "дверь хоть не закрывай". К Новому году я жду тебя сюда. Погода, надо думать, к тому времени потеплеет, выпадет снежок и все в природе будет "по-рождественски". Письмо это тебе передаст З.А.Сахновская. Она расскажет тебе и о себе, и обо мне. Приласкай ее и кофейком напои и, если найдутся папиросы, подари ей коробочку. Она несчастный и достойный человек.

Я по утрам засел за письменный стол и очень доволен этими часами. Жаль только, отрывают очень часто».

19 декабря. «Милая Анюшка! Я писал уже тебе, что тромбофлебит повторяется. Ты целый день на ногах. Боюсь я за тебя, боюсь. Нужно лечь в постель дней на десять. Побережись, пожалей себя и нас.

Ехать мне к Вам к Новому году — опять выселять Саввича с его постели, нарушать его режим — не могу. Да и к тому же надо сказать, что чувствую я себя что-то не бодро. Боли в сердце, шее, перебои. Будто здоров, будто нет, а Москва действует на меня плохо, и я там как-то не при чем и призраки прошлого одолевают меня в ней.

Стары, мой друг, стары становимся. И боюсь одного, что

дойдем то такого состояния, что будем хворать и умирать каждый в своем углу, ибо не будем иметь силы добраться друг до друга. Однако не надо печалиться будущим, а оно у нас остается только печальным, портить себе и другим жизнь. Смерть наша непреложна и недалека. Смиримся и с достоинством перенесем положение. В Москве у меня не было ни настроения, ни времени поговорить с тобою на эту тему. А поговорить нужно. И готовым быть нужно. Нитей, связывающих с жизнью, все меньше.

Посторонних людей не очень уговаривай ехать сюда. Все устали, все ищут отдыха, а я боюсь, что здесь может показаться и скучно, и холодно, и не вкусно. Всегда берешь на себя обязательство перед тем, кого зовешь.

Итак, уговаривать меня приехать в Москву не надо. Я бы поехал, если бы чувствовал, что это получится хорошо, а я в это не верю и не хочу творить безвкусицы. Москву я оставляю до Страстной недели, когда побываю и в Загорске.

23 декабря. «Мишенька, родной! Я вот что решила. Жить тебе одному в Тарусе совершенно невозможно. Оставаться одному очень много со своими мыслями, воспоминаниями, которые бередят душу, — нельзя. Я хочу верить, что судьба, подсунувшая нам Тарусу, не хотела играть с нами злую шутку. Таруса должна сыграть свою благодетельную роль, когда мы вдруг захвораем, когда заживемся и будем лишними среди близких нам людей… А сейчас… все ведь сложилось пока не так, как мы себе представляли. Думалось, что ты будешь работать, добывать деньги на жизнь, а отец займется вплотную хозяйством. Начнем совместную трудовую жизнь. Практика показала другое — тебе нет в Тарусе работы, а отца загрузили работою выше головы. И бросить сейчас отцу работу, и перейти ему на натуральное хозяйство совершенно невозможно, и переезжать нам в Тарусу и думать не приходится. Что же надо делать? Тебе бросить Тарусу до весны и приехать в Москву. Найдем комнату или приличный угол, ты займешься какой-нибудь работою в библиотеке. Жить будешь не спеша, ко мне пешком по бульварам будешь ходить обедать и завтракать а кофе будешь пить дома. Бульвары чистые, безлюдные, покрытые снегом не хуже Тарусы, и будем мы вместе — это самое главное… Теперь дальше. Жить на что? Продать "пифагорейцев" рояль. Зачем это хранить? Для кого? Так до весны, а весной на все лето поедем вместе копать огород, кушать ягоды, купаться в Оке… Ну что, скажи — плохо я придумала?..

30 декабря… Письмо не дописалось. Все съехало с рельс. Захворал отец. Шесть дней температура 39,5. Вчера упала до нормы. Страхи миновали. Вот так и бывает. Решили ехать в Тарусу, а решение пришло помимо нас. Целую тебя крепко. Аня».

27 декабря. «Милая Анюшка! Наша новость: был у меня третьего дня зав. райздравотделом и предложил мне с первого числа работать в больнице. Сегодня-завтра мы должны оформить это предложение. Читал лекцию в школе старшим классам и учителям. Прошла с "блеском". А мне понравилась аудитория. Просили выступить еще. Я обещал и "выношу" сейчас тему "Об искусстве жить". Для этого я перечитал, между прочим, "Дядю Ваню" Чехова, а заодно прочитал и "Вишневый сад", и знаешь, действие пьесы на меня было такое, что я должен был прерывать несколько раз чтение от того впечатления, которое на меня производила жизненная правда-нелепица, так трудно было ее переносить, и так она подана Чеховым. Перечитай его пьесы обязательно.

Из слов Сахновской я опять понял, что тебя беспокоит мое одиночество. А я вот нисколько им не тягощусь. У Сенеки есть: "Беги от толпы, потому что толпа вызывает на худшее, но пусть человек доведет себя до состояния, когда для него достаточно двух, достаточно одного, достаточно никого, то есть, когда ему достаточно самого себя". По-видимому, я довел себя до такого состояния. Конечно, люди нужны, но какие люди?.. Сейчас у моего дивана горит, и неплохо, лампа, я, лежа, укрытый пледом, читаю все вечера. Днем пишу, газета, какие-то дела по дому, больные. Читаю много и хорошо, а это интереснее любого собеседника. Я живу в своей комнате, а в ней слишком много содержания, чтобы скучать.

Прочитал последнюю новинку "Грач птица весенняя". Это книга о Баумане. В 1905 году я "хоронил" его, и мне захотелось узнать, кого я "хоронил". Книга "сделана" Мстиславским, и сделана не художественно — на примитивном сопоставлении двух путей, двух категорий людей… Я давно не читал ничего современного, и эта книга не заставила меня жалеть об этом.

Утром по радио передали о присвоении звания Народного артиста Константину Николаевичу Игумнову. Позвони ему и поздравь его. Он очень хотел быть "народным СССР".

Ну, голубчик мой, "благословивши венец лета благости Твоея, Господи". Дай Вам Бог все быть живу и здорову, а остальное приложится».

31 декабря. «Милая Анюшка! В твоей телеграмме мне дорога забота о ее своевременной доставке, и послала ты ее срочной. Вы все думаете там, что мне тоскливо, одиноко, заброшенно, я этого не чувствую. Грустно мне бывает — это правда, но старики все с грустью. Конечно, жаль, очень жаль, что не приехали Вы сюда на каникулы. Это могло быть очень уютно.

День своих именин и рождения встретил и провожу хорошо.

Вчера вымылся, одел все чистое, пахнущее воздухом, зажег лампадочку, вспомнил всех Вас, вспомнил ушедших. Часов в 9 затопил камин и слушал Моцарта "Дон Жуана". Утром сегодня праздничный кофе с пирожками и праздничным настроением, а затем большая почта и какие-то посетители. К обеду — заведующий райздравотделом, выпили по рюмке водки, после обеда кофе и разговоры о делах. Второго в 10 утра пойду в больницу и приступлю к работе.

Получена физиотерапевтическая аппаратура, выписаны медицинские журналы и, что самое главное, есть желание улучшать положение. Вот мы и начнем потихонечку двигаться вперед, и Таруса в этом движении приобретет свой смысл и свое назначение.

Новый год я никак не буду встречать — никого не хочу и никуда не хочу. Я почитаю лежа на своем диване, и буду знать, что Вы собрались и вспоминаете меня. Этого мне и достаточно».

В тот же день. «Милый дядя Миша! Что же это за встреча Нового года без Вас? Быть может, для первого года не нужно такой большой дозы Тарусы? И не пожить ли Вам в Москве лютые и скучные месяцы — январь, февраль? Нам кажется, что Вам рано уходить в воспоминания и "созерцания", а сейчас в Тарусе больше и делать нечего. Пускай Вы и уверяете, что никогда не скучаете, ладно, но зато грустите, вероятно, там в большой дозе. Не понравилось нам и Ваше стихотворение — пожелание себе:

В лесу болото,
А также мох.
Родился кто-то,
Потом издох.

Словом, просим Вас — спасайтесь сюда от заснеженного одиночества в Тарусе. Возобновили бы старые, завязали бы новые связи. А так, что не говорите, а Вашу жизнь в Тарусе иначе как "отшельничеством" не назовешь. Кстати, Игумнов очень часто и много стал играть — не иначе, как после Тарусы помолодел. Желаем, чтобы и на Вас Таруса произвела молодящее действие — это наше Вам новогоднее пожелание.

Теперь о Вашей книге. Прочитали мы ее запоем, взволновала она нас очень. Галю потрясли две главы — "Кронштадт" и "Тюрьма". Она долго находилась под впечатлением этих станиц. Мое общее впечатление от Вашей повести таково, что Вам стоило ее писать. В книге много истинно художественных зарисовок. Безусловно, очень хороши "Острогожск" и сильная страшная глава "Тюрьма". Симпатии к людям у нас с Галюшкой тоже оказались

общие: бабушка Екатерина Матвеевна, игуменья Афанасия, конечно, Коншин, умная и приятная Вревская. Тот профессор, что шагал босиком по лужам, Печкин, студент в тюрьме и еще, еще. Обижены мы за Игумнова и дядю Володю, которых вы даете вскользь. Как хорошо Вы сказали о "спокойном достоинстве нашей матери". Конечно, интересны главы о детстве. Прекрасно отображена в Вашей книге эпоха и Вашим описанием, и особенно письмами, которые так ярко иллюстрируют, что "бытие определяет сознание". Хороши страницы о войне — кратко, но ярко. Словом, нам эта книга очень интересна, потому что там все родное и все близкое.

Как истинно русские люди, мы замыслили о Вашей книге сочинение в 10 томов, но реализация замысла свелась к очень немногому, и наспех написалось не то и не так, как хотелось. Мечтаем при свидании еще поговорить о Вашей повести. Катя и Галя Вышипаны».

1947 год

«Размеренный труд есть главный ключ к человеческому счастью».
Доктор Уильям Мейо

Мы пришли к Вам ночью новогодней
И стучались в переплет окна.
Хорошо припоминать сегодня
Аромат вчерашнего вина!
И дивана мягкие подушки,
Люстры свет, картины, пух ковров…
Ум и вкус сошлись здесь. И послушно
Мерит время маятник часов.
И в камине трепетное пламя.
Хризантемы в вихре золотом…
А портрет Володи в темной раме
И живет… и все живит кругом.
Ласковы прикосновенья тканей.
Очарован ненасытный глаз,
Время здесь летит быстрее лани
И в минуту превращает час.
Чудный сон! Шехерезада сказкой
Увлекает нас и вдаль, и ввысь —
Мы в бреду. Под черной полумаской,

Если можешь, от судьбы таись!
ласково встречает нас хозяин.
Есть вино и блюдо с пирогом…
Неужели так необычаен
темно-серый с мезонином дом?
Нина Подгоричани

5 января. «Милая Анюшка! Я работаю. После Алабино я не лечил "простых людей". У меня были или "ответственные работники", или консультации, и это стало душно во Владимире до того, что я покинул его. А здесь идут ко мне "простые люди", простые как сама природа, и мне легко с ними, отрадно и хочется быть с ними "утешителем" их маленьких и больших скорбей. И, присматриваясь теперь шире к населению, я вижу совершенно ясно, что думать здесь о "частной практике", дающей постоянный заработок, нельзя. Бедность вокруг перешла в нищенство, и некому идти к частному врачу.

Твое последнее письмо я получил. Жаль, что ты не спала ночь и придумала что-то поистине смешное. Удивительным оказалось для меня, как Вы по-ложному расценили мое положение здесь. Саввич изобразил меня маньяком тряпки и швабры и человеком, собирающимся жить на чужой счет. Ты предлагаешь мне "переехать в какой-то угол и не спеша ходить к тебе обедать и ужинать"… Да я ведь всю жизнь жил один и до Алабино, и после него и никогда не тяготился одиночеством и люблю его. А во Владимире кто был со мною? И вдруг в Тарусе, по-вашему, "я стал задумываться и не походить на себя". Мысли о смерти — законные мысли в 64 года. Толстой Лев 30 лет каждый день начинал с трех букв "Е. б. ж.", то есть "Ежели буду жив". Я люблю жизнь, вовсе не хочу умирать, но думаю, что умирать как-то придется, и нужно как-то к этому приготовиться — хотя бы так, чтобы и девочки Вышипаны получили что-то после меня. Ирина и они. Конечно, если я не проживу все, что имею до смерти. Вот об этом мне и хотелось поговорить с тобою, только с тобою. А ты усмотрела в этом что-то такое, от чего мне надо бежать в чужой угол. Конечно, у меня много больше возможности и времени для сосредоточения, чтения и обдумывания "всех вопросов жизни". Вы ведь там вертитесь и живете день за днем калейдоскопично. Это всегда было не по мне, и я в 19 лет намечал кончать жизнь не в большом городе. Ну, кончим это смешное недоразумение.

Утром сегодня я внес елочку в комнату, и запахло праздником. Завтра справлю сочельник — приглашу Сахновскую с Подгоричани и Людмилу Алекс. Моя домоправительница очень

этого хотела — она тщеславна и все хочет поддержать славу "первого дома в Тарусе".

В ночь под Новый год, уже в первом часу, пришли ко мне "ряженые" — Сахновская и ее компания — было мило и неожиданно весело и оживленно. А с утра сегодня один посетитель за другим — Поленова, Сахновская, врач из лагеря немецких военнопленных (приятный молодой человек), еще кто-то. Привезли дрова из Академстроя. Хлеба в этом месяце я буду получать по-старому, 400 г, а с будущего месяца — 500 г, все же станет "хлебнее"…»

7 января. Ленинград. «Я часто думала о Вас это время. И не из-за мыслей о моих "Записках", а просто так — по всякому случайному поводу. Хрустит снег под ногами — вдруг Алабино, вечер первый, когда я бреду со станции в Ваш дом. Или музыка — Игумнов — лето — Алабино. И все-то Алабино. Вас, в сущности, нет, но ощущаю незримо… Ну, а Ваша открытка дала ясное ощущение Вашего духа (что ли). Вы точно и твердо формулировали план моей работы и укрепили, в сущности, то, что думала я сама. Я снова сегодня взялась за прерванный труд. Да, именно труд, ибо чем больше вглядываешься в далекое (словно чужое) прошлое, тем труднее делается вживаться в него, вспоминать оттенки впечатлений и даже детали фактов. У меня выпадают некоторые годы — будто их и не жила. Жаль, перемерли современники. Иногда одно слово, фраза оживляют память.

Насчет февраля? Конечно, будет светлее, но еще не теплее, и главное, еще не сытнее. Бр. Бр. И это мое узилище… И еще мне снился сон: женщина безликая читает что-то в серых листах. "Что Вы разбираете?" — спрашиваю я. "Смотрю, сколько Вам жить". — "Года два проживу?". — "Нет, два месяца". Проснулась от волнения, что "не успею" чего-то сделать. Чего? Дописать. Каково? А что я умру в марте какого-то года — это мне сдается давно.

Ну, не смейтесь. Наталья Вревская».

12 января. «Милая Анюшка! Дни и недели мелькают как верстовые столбы в окне вагона. Прибавил день и час. И когда я думаю о весне, то не могу отделаться от одного представления, что приедешь ты опять сюда в конце июня… и решаю про себя не реагировать на это и не говорить об этом.

Вживаюсь в Тарусу. Успех мой, правда, не материальный, растет. Вчера читал лекцию в клубе. Полный зал. Порядок, тишина. Лекция была платная. Я ничего не взял за нее, кроме большого успеха… Работа моя в больнице налаживается. Имеется целый ряд рабочих замыслов. Приобретен микроскоп. На районном собрании медработников назначено мое выступление.

Так вот и живем. Большую радость доставляет мне камин. В комнате часа на 3–4 душисто и особенно "по-сухому тепло". Надоела зима. Трудна она во 2-й половине нам, старикам».

14 января. Кокошкино. «Что же пожелать Вам, М. М.? Необходимого прожиточного минимума: тепла, пищи и одежи.

28-го отпустили ребятишек. Последние дни пришлось работать с 8 утра и до 7 вечера. А тут вновь валенки худые, нога чувствует снег. Отдала подшить отцу ученика, с которым так много возилась. Ну, и уважил! Учительницу! Поставил такую дрянь, что вновь надо тратить деньги на эту же работу. На днях свезли в Петровскую больницу коллегу. Грипп с осложнением на легкие. Болела и работала. Холодная квартира. Картинка: по дороге тащится лошаденка, простыней покрыта больная, плетемся сопровождающие. Вид больной ужасен. Сама она хочет только умереть… Вот и спета песенка. Много Вам хочется рассказать.

> Тень высокого старого дуба голосистая птичка любила,
> На ветвях его, поломанных бурей, она кров и покой находила.

Но нет сил, нет энергии. Жить не по силам. Все дело в прожиточном минимуме. Холодное, дымное наше жилище наводит грустные мысли. Тепло ли у Вас, и как с дровами у Вас лично и в Вашей местности вообще? А.Крюкова».

В тот же день. Мякит. «Мой дорогой друг. Мысли мои всегда с Вами. Всегда грущу, что жизнь нас разметала так далеко и так надолго. Молю Бога, чтобы сохранил нам жизнь до нашей встречи.

Застрял я в своих проклятых краях и, по-видимому, не выберусь из них раньше мая-июня. Зима у нас в этом году очень суровая, все трещит от морозов. Жду тепла с огромным нетерпением. Всегда вспоминаю вечера у камина в Алабино. Какие это были хорошие дни. Как многих нет уже в живых, кто тогда и не думал о смерти. А я радуюсь, что жив до сих пор, и не только жив, но и молод крепок и, как будто, еще могу попадать в

> сети, расставленные Кипридой,
> и не исправлен стократной обидой…

Когда появляюсь на народе в клубе, чувствую на себе дамские взгляды, хоть и плохо одет. Но мои взгляды отсюда очень далеки… Здесь у меня много учеников детишек, и я с ними

дружен, и они меня любят, но сына, который так далек от меня, они заменить не могут…

А Ваших писем опять нет давно. Целую крепко. Прощайте до весны. Сергей Коншин».

19 ноября. День крещенья. Утро воскресенья и праздника. Вчера день смерти матушки. Горела лампадочка, тикали часы, сгущались лиловые сумерки, и кругом была разлита грусть и тишина. А затем пришли «осколки разбитого вдребезги» все «бывшие». Бывшая поэтесса, артистка, бывший Онегин из оперы Зимина. Стол хорошо накрыт, печенье из жмыхов свеклы, картофельные котлеты и ни кусочка хлеба. Но все довольны. Отмечается хорошее: уют, белая скатерть, зажженная елочка, и никто не говорит о недоедании. Пения у бывшего Онегина не вышло. Зато артистка хорошо прочитала стихи Гумилева, полные предчувствия близкого конца и отражения настроения первых годов революции. Шумел самоварчик, догорали свечи, пахло разогревшейся елочкой, а кругом витали отошедшие, и их присутствие было почти ощутимо.

Работа моя определилась. Принимать «простых людей» не трудно и приятно, но их слишком много, «простых людей», и они очень однообразны даже и в своих печалях, а это бывает утомительно.

О моих выступлениях в клубе и на районном совещании «говорит весь город». Районное совещание оставило очень грустное впечатление. Какой серый и «скудный» народ… А из Владимира письма с вестями, что отделение мое совсем опустилось, что вспоминают обо мне ежедневно, что до сих пор удивляются — как это я ушел, и почему меня отпустили. Нехорошая там атмосфера. До сих пор «ивашененки» отравляют ее.

22 января. «Милая Анюшка! Надеюсь, Саввич доехал благополучно и не простудился, и на нас ничем не огорчился… Но какой вид у него! Истомлен, устал. Это грипп доконал его. У него намерения с апреля взять отпуск, продолжить его здесь больничным листом на месяц, а что дальше, там видно будет. И тебя в половине апреля думает направить сюда. Ах, если бы все это было исполнено! Не забывайте наши годы. Не забывайте, что наша жизнь, особенно сейчас, "как цветок полевой — ветер подул, и не стало ее". Сегодня солнечный, тихий морозный день. Деревья все убраны инеем. Окна не замерзшие, и мир Божий виден мне на восток и на юг. Пишу целый день письма. Написал одиннадцать, получил четыре, и все четыре чем-то хороши. Из Ленинграда, Киева, Владимира, Архангельска.

С Саввичем встреча была здесь сердечная. И я по первому

взгляду увидел, что приехал он другом. Радуюсь этому, и не потому, что ожидал другого, а потому что другого не случилось и не могло случиться.

Приехала ли Ирина? Очень хочу повидать ее. И хотя на первых порах моей работы мне не хочется отпрашиваться в Москву, а придется, если Ирина там».

26 января. «Милая Анюшка! Сегодня рухнула моя последняя надежда повидать тебя здесь, значит, до весны, до лета. Ну, что делать! Перейдем к очередным делам.

Работою своею я, в общем, доволен. Посильно творится доброе дело. Утомляет меня очень прием. Народ валит скопом. Он прост, непритязателен, но его слишком много. А мешок картофеля сегодня на базаре стоит уже 550 рублей. Каково? Что же будет дальше? Бедные мы, бедные… А Сахновская лишилась работы здесь. И что она будет делать, никто не знает. И в Москву ей нельзя, и здесь оставаться незачем.

Читаю в рукописи переписку художника В.Д.Поленова. Она уже печатается и скоро выйдет отдельной книгой. Письма носят характер несколько случайного собрания. Я люблю такого рода чтение, мне оно интересно, но сравнивая мой "материал", чувствую, что он человечнее, глубже, интереснее, хотя и не касается прославленных людей. Ведь большинство их, помимо своего прямого таланта, часто бывают и мало приятны, и даже не всегда умны. Кроме того, интерпретация писем дана его дочерью скупо, сухо, "с поджатыми губами"…

Пиши мне, милая, хоть разок в неделю. Возьми пример с меня, какой я "письменный". Остаток зимы бывает утомителен, и нужно его "разрешать" взаимным вниманием».

1 февраля. «Милая Анюшка! Проскочила еще неделя. Сумерки стали голубее и длиннее, а утра не так темны. К весне идем, к весне! И съели уже весь картофель, и завтра надо идти за ним на базар… Наблюдая теперь широко население, я вижу, как тяжело всем. И сколько достоинства в отношении к этому несчастью, и как даже детишки умеют молчать о нем. Недавно старик дедушка привел на прием голубоглазую милую дочурку и шепотом спросил у меня: "А хлебца в больнице дадут?" — "Шестьсот грамм", — ответил я. "Кладу". А девчурка на обходе на следующий день на мой вопрос, "когда она ела хлеб", шепотом ответила мне: "Никогда". И какое удовольствие выражало ее личико.

На днях подвезли мне машину дров. Мы убираем их. Идет одна баба по воду, поставила ведра и стала помогать нам. Идет другая и тоже ставит ведра и молча принимается за дело. Так миром кончили эту тяжелую работу.

Кстати, очень метко население прозвало лепешки из картофеля — "терунки", "тошнотики", "рвотики", а из мороженного картофеля, нарытого теперь в поле, — "кавардашки". Ведь это гениально».

8 февраля. «Милая Анюшка! Жизнь идет, как заведенные часы, в разумном однообразии. Конечно, есть и отвлечения и неожиданности, как есть дни морозные и потеплее, но все это в пределах, мало нарушающих порядок дня. В сильные морозы я больше времени провожу у себя на диване. В дни потеплее больше у письменного стола. Из Владимира архиерей прислал мне для прочтения несколько номеров "Вестника патриархии". Из местной библиотеки доставляют новинки, и я, можно сказать, в курсе жизни. Твое письмо получил, и все мне в нем больно и понятно. Я всегда с горечью думаю — ну, сколько нам осталось жить, а мы не можем лишний раз пережить "радость встречи и разлуки горечь". Ну, приедет Ирина, прояснятся горизонты, и все как-нибудь "образуется".

Мороз сегодня 36 градусов. Купили меру картофеля за 150 рублей. Думаю с ужасом о Вове — вот доедят они картофель, а у него шесть ртов. Беда».

16 февраля. «Милая Анюшка! Вот и масленица наступила, а морозу 16 градусов и окна совсем зимние — узорчатые. А все же "Сретение", и через месяц жаворонок запоет "между небом и землею" свою песню. Снегу напало сугробы, и "дворник Михаила" недаром ворчит: не успеешь размести дорожки, как опять все засыпано. А галоши у него приходят в ветхость, и хорошо бы достать их ему "по лимиту". Так вот и переплетается природа, или погода, с бытом. Поэзия с нуждою.

Получил вчера от Константина Николаевича Игумнова прекрасное письмо. Написано оно в тихие минуты раздумья и одиночества. А все не терпится старику, и тянет его на поездку в Ленинград за успехом. Беда, эта артистическая жажда аплодисментов. Никто ведь из них, за исключением разве очень крупных, не может оторваться от них.

Старики ждут раннюю весну и думают, что Ока тронется в конце марта. Вот тогда я на Страстную неделю уеду в Загорск. Ужасно только боюсь, чтобы не расстроилось это.

24 февраля. «Милая Анюшка! На воздухе 2 градуса тепла. Капает с крыш, оседает снежок. Словом, начался Великий пост и звучит во мне молитва Ефрема Сирина: "Господи, владыка живота моего"…

"Широкая масленница" прошла не широко, а узко. Вместо блинов ели "тошнотики" и "рвотики". Впрочем, это блюдо вовсе не было масленичным — оно стало повседневным.

А я третий день хожу с гамлетовским вопросом — "быть или не быть" мне главным доктором больницы? Ответ на этот вопрос я должен дать теперь же. И я решаю — "быть", впрочем с целым рядом оговорок. Работа предстоит трудная, но в наши еще более трудные времена получить какие-то крохи материального благополучия очень важно.

Ты поджидаешь меня? Не жди, голубчик! Дал бы Бог мне выбраться на Страстную отсюда. Это будет зависеть, главным образом, от дороги. По приметам рыбаков, Ока вскрывается через месяц после того, как "закричали коты", а они уже закричали в прошедшую субботу. Египтяне считали кошку священным животным. За что же нибудь они считали ее таким! Поверим и мы в нее.

28 февраля день Вашей свадьбы с Саввичем. Вы, верно, соберетесь в этот день. Примите и мои поздравления с 38-м годом счастливой семейной жизни. Это дается не всем. И такие сроки не часты. Дай Бог дожить Вам до золотого юбилея. Это вполне в пределах человеческой жизни. А мне в связи с этим вспоминается мой приезд домой в Острогожск уже после Вашей свадьбы. Была масленица. Были званные блины у Бреусочки. Мне, после восьмидневного сидения в заносе, не здоровились. Вы уехали в свадебное путешествие. Я вернулся в Москву, куда вскоре приехали и Вы… И все это было… И осталась нас горсточка… Я сегодня не выходил из дому. Писал письма. Читал внимательно и не торопясь Евангелие от Иоанна. "Мы спустились в долину преклонных лет". Мы на закате… В хирургическом отделении лежит больной раком желудка. Хирург сказал ему об этом (напрасно), и он перед тем, как лечь на операцию, заказал себе гроб и сам доставил его домой. Это я называю естественной реакцией, и она наблюдается только у простых деревенских людей…»

В тот же день. «Мишенька, родной мой! Как никогда, сердце мое полно тревоги за тебя. Разговоры с Сахновской, ее состояние, сведения о твоей жизни, вся ситуация в Тарусе вообще — все тревожно и страшно. Успехи твои от лекций меня не радуют. Бог С ними, с успехами. В Тарусе, как и везде сейчас, необходимо затеряться, а не наоборот — прослыть самым богатым, самым интересным, самым культурным человеком, обладающим самым уютным, культурным домом. Воспоминания об успехах в Алабине так ужасны… И я безумно боюсь повторения — времена сейчас жуткие, не лучше тех. Подумай об этом. Не принимай, Христа ради, в своей комнате… Кругом такие разговоры. Тревога меня заела.

Круп тебе не купила. На рынке два стакана пшена стоят 35'

рублей. С ума сойдешь. У нас в распределителе ничего нет. Любочка же обещала принести для тебя селедки. Не знаю, как жить будем. Но думаю, приспособимся, как приспосабливались и выживали раньше, и на этот раз тоже выживем.

Заходила ко мне Т.В.Розанова. Живет ужасно… голодает, но не жалуется. Думаю, тоже выживет.

Письмо получилось жуткое — все потому, что меня раздирает тревога…

Ну, будь здоров. Аня.

P. S. Вчера позвонил К.Н.Игумнов, сказал, что оставил мне два билета на свой концерт. Он перенес грипп. Чувствует себя отвратительно. Голос хриплый, усталый, но играть надо. В концерт я не пошла без тебя и потому, что три часа простояла в очереди и так устала, что не могла подняться. Слушала его по радио. Играл он сонаты Бетховена, и так играл чудесно, как никогда. И стало мне грустно, что пропустила его концерт, которых, вероятно, на этом белом свете осталось не так уж много».

5 марта. Загорск. «Дорогой и милый М. М.! Настал Великий пост, и я у Вас прошу прощения, в чем огорчила и обидела Вас. Много я Вас озабочивала, много Вы для меня сделали. В 1938 году Вы спасли меня от самоубийства, величайшего греха для христианина, ну а если этою весною суждено мне умереть от голода, то я на это смотрю спокойно. Основные дела мои поделаны, все пришло к единству и собранности, в мире оставлять мне нечего, и от земли я! уйду спокойно и без сожаления.

До сего времени я жила сносно, но сейчас положение резко ухудшилось в связи с непомерным холодом в квартире, отсутствием света и громадным стечением народа у нас в квартире, что сильно расшатало мои нервы. Кроме того, был у меня припасен на весну мешок картофеля, и он у меня исчез… У сестры течет крыша, будут ломать потолок, и она в ужасе и тоже подавлена физическим бессилием, безденежьем и моим положением. Ну, прощайте. Пишите. Если не отвечу — значит, слишком плохо. Т.Розанова».

15 марта. «Милая Анюшка! Дошли слухи о приезде Иринушки. Радуюсь твоею радостью и от всего сердца хочу, чтобы было все хорошо. "Будем целовать друг друга — пока текут дни. Слишком быстротечны они — будем целовать друг друга. И не будем укорять: даже когда прав укор — не будем укорять". Поцелуй ее крепко от меня и пожелай ей покойного восприятия жизни на родине.

Живу я как-то хорошо — со вкусом. Работа с простыми

людьми приятна. Кроме того, я неторопливо и спокойно завоевываю "авторитет". Приемы, в начале меня утомлявшие, сейчас не перегружены и дают мне удовлетворение. А дома после обеда и кофе чтение. Внимательно слежу по газетам о происходящем в мире, кроме того, прочитал ряд прекрасных мемуаров, которые рассчитываю на пето передать тебе. Из дома выхожу только в больницу и изредка на дом к больным. Тепло и приближающееся лето чрезвычайно радуют и сулят ряд прекрасных "садовых и огородных" удовольствий… Ведь я всегда считал, что "живу лучше всех", хотя всегда моя жизнь была скромна. Вот как мне хочется порой хорошего белого хлеба со сливочным маслом (кому этого не хочется?), но я гоню эти желания и искренно говорю — "за все слава Богу".

Сегодня вечером у горящего камина я прекрасно вымылся. Радио передавало "Волшебную флейту" Моцарта, и было тепло, душисто от камина. А перед этим я побывал у тяжелого больного — работника райкома — и после его болезни и неопрятного его жилища мой уют и мое здоровье особенно показались мне "милостию Божией".

В моих планах выехать отсюда числа 5–7 апреля. Раньше нельзя. Боюсь только, что Ока преградит мне дорогу. И если это случится, я восприму это с болью и горечью: соскучился я о тебе, о церкви, да и пора побывать мне и у Володи. В этом году десять лет, как умер он. И Страстная неделя, и Пасха очень для этих планов подходящие дни. На второй день Пасхи — 14 апреля, я обещал товарищу по "Бутыркам" Ивану Ивановичу Лаврову вечер. Он всякий раз из моего визита к нему делает "настоящий прием", и обмануть мне его нельзя.

Сегодня началась весна. Целый день температура 3–4 выше нуля. Шел дождик, снег сразу осел. А вчера вечером я ездил в санаторий Велегово к больному главному врачу по такой снежной дороге, что лошадь едва шла, а со встречным мы едва разъехались — лошади боялись сойти с дороги.

23 марта. «Милая Анюшка! "Весна идет, весна идет!" Прилетели грачи. Для скворцов приготовили "дома" на липах у дома. Вычистили их, починили крыши, приделали "леток"… А таяние довольно дружно. Несколько ночей уже нет морозов. И боюсь я, что Ока не пропустит меня на Москву.

Впечатления от окружающей жизни тяжелые. В прошлое воскресенье я был в деревне Алекино и побывал там в избе, где мать сорока лет больна тяжелым, не операбельным раком. Муж убит на войне, а четыре детских головки с любопытством и страхом смотрели на доктора. Хлеба давно нет, картофель на исходе. Старшей девочке 15 лет. В избе предельно пусто… Мать

взял в больницу, а детишки из головы не идут.

Сегодня на рынке купили полторы меры картофеля за 255 рублей. Появилось масло по 200 рублей килограмм. Рынок пуст. Продавать, по-видимому, нечего. Из Владимира письмо от моей секретарши Юдифи. Пишет: "Счастливый Вы человек, что бросили Владимир. Больница в полном развале, а Ваш заместитель такой хам, что ужиться с ним невозможно".

Здесь же мои дела идут морально хорошо. Материально все еще "ниже среднего". Третьего дня выступал с большим докладом на районном совещании медработников. Ты пишешь мне — "спрятаться", "стать незаметным", "затеряться". Да разве это возможно здесь для меня? Конечно, это невозможно. Вопрос с "главным врачом" я еще не решил. Не стоит мне завязать в той грязной гуще, в которой находится больница. Понятно, думается иногда, что сумел бы я быть полезным? Конечно, сумел бы, если бы дали возможность работать, но ведь не дадут. Здесь мне стало ясным, как труднее во много раз работать в районе — и по скудости средств, и по малому кругозору районных работников, по их запуганности и по "быту", тесно оплетшему все деловые отношения в районе.

Положение теперешнего зав. райздравотделом отчаянное и морально, и материально. Живет он за 5 километров от Тарусы в деревне. Его жена — врач, вот уже месяцев 9 не может получить работы здесь. Дети его, как живущие в деревне, не получают хлеба. Он на одной ставке, а "сам шестеро". А в больнице обокрали продуктовый склад, нет дров, белья и ужасные сестры… Ну, все это к слову пришлось. Дома у себя я забываю о всем этом и живу своими интересами. Да вот, кстати, "о жалобах на современного врача". В современном враче нет "нравственного стержня", а без этого, по Гуфеланду, "врач есть чудовище"… Ну вот, какое длинное письмо. Это месть за твое долгое молчание».

31 марта. «Милая Анюшка! Ока тронулась. На днях пойдут пароходы. Мой выезд отсюда становится реальным. Ты не пугайся: у меня будет командировка, да кроме того, я и остановлюсь не у тебя, а у Любочки, а главное, я тут же и уеду в Загорск, где и пробуду три последних дня Страстной недели и только после Пасхальной заутрени вернусь в Москву.

Погода стоит чудесная. Вчера уже читал на террасе. Прилетели скворцы и заняли свои квартиры. Ока разливается до горизонта. Я что-то уже пытаюсь делать на усадьбе, но только пачкаюсь, отдавая дань своему нетерпению.

Итак, до скорого свидания. Миша».

* * *

Радостно, совершенно с молодым мироощущением выехал я 9-го, в среду, пароходом до Серпухова. Пароход шел еще без расписания, по далеко разлившейся реке. Светило солнце. Зима, безработица, недостаток хлеба, скудная еда — все это померкло перед теплом и солнышком.

В Москве в отпуску была Ирина. Она уже два года живет и работает в Дрездене, и «дым Отечества» ей немножко ел глаза. Между нами было прошлое и не оказывалось настоящего. Ну, а все же встретились мы хорошо. На следующий день в четверг я уже выехал в Загорск. С вокзала прошел к могиле Володи, убрал ее, а вечером выстоял службу с чтением Двенадцати евангелий. Служба шла в Трапезной церкви Троицкой лавры. Монастырь вновь начал свое бытие. И начинали его после тяжелой разрухи. Пел мужской хор. У раки преподобного стоял глубокий старик монах в схиме, да и все церковнослужители были «ветхи деньми». Служба эта, как и всегда, дошла мне до самого сердца, всколыхнула всю жизнь и растрогала до слез «разбойником благоразумным».

Следующие два дня я провел почти целиком в церкви. Мне нужно это стояние там. Меня это приближает к Богу, к вечности, к истине… Отстояв Пасхальную заутреню, уехал в Москву. Праздник кончился. Еще в вагоне он чувствовался в народе с узлами куличей и пасох, освященных в церкви, но Москва прогнала и этот призрак.

К 12 часам собрались все у Ани — Вышипаны, Вова с детьми и женой, Саввич, Марианна, Ирина… Это была дань прошлому без настоящего содержания, обряд без веры, оболочка без ядра.

Муром. «Как Вы встретили Светлый день, дорогой М. М.? Я был у заутрени, под конец которой у меня закружилась голова от духоты и тесноты, и я вынужден был с печалью уйти домой. И представьте себе мою радость: прихожу домой и слышу передачу из Праги обедни, как раз перед Евангелием. Архиерейская служба, великолепный хор. И мы с женою отслушали всю обедню до конца.

Грустно думать, что мы больше не увидимся. Столько бы надо обсудить вместе и продумать, да и просто повидать милые и дорогие черты дружеского лица. Крепко Вас обнимаю и целую. Н.Печкин».

20 апреля. Владимир. «Досточтимый Михаил Михайлович, здравствуйте! С чувством благоговейной радости приветствую

Вас, дорогой М. М., со светоносным днем Христова Воскресения и от всей души желаю Вам благоденствия* со здравием.

Мое долгое молчание не сочтите за невежливость. Была большая занятость, иногда сопряженная с поездками служебного характера. А сейчас не могу умолчать о возникшей надобности во Владимирской епархии в школе художественного мастерства по реставрации и изготовлению иконной и стенной живописи и различных предметов церковно-богослужебного обихода, проектом которой я был занят значительное время. Школу я думаю открыть в Мстере Вязниковского района, некоторых мастеров которой, я полагаю, Вы знаете. Это Модоров Федор, В.Н.Овчинников, Андрюшин, Бороздин. Второй из указанных — Овчинников, работавший минувшим летом в Кремле по реставрации живописи в Большом Успенском соборе, соглашается быть у меня руководителем школы.

Волна религиозного подъема, наблюдавшаяся в период войны, хоть и не спала, но храмов стало открываться меньше. Возбудили особое ходатайство о колоколах для нашего собора.

Не видим мы Вас, Михаил Михайлович, в нашем древнем соборе, но чувствуем, что Вы в наши праздники мысленно с нами, и помним Ваш испытующий, умный взгляд. Думаю, что Вы опять отдались великому делу служения больному человеку, и молю Бога о помощи Вам.

Остаюсь, уважающий Вас епископ Онисим».

20 мая. Москва. «Дорогой М. М.! Наконец, я принуждена была перехоронить мужа и свекровь. Они перенесены на Армянское кладбище без кремации, чего я так желала. 1937–1947 — десять лет! Я не могла решиться трогать могилы, пока меня не заставят это сделать. От Дорогомиловского кладбища в моей душе остался след неизгладимый. Должно быть, я так много там перечувствовала, что оно мне и дорого, и мило, дороже нового. Там все было священно, а здесь уже нет. Трудно это выразить в словах. Одно только хорошо, что это случилось, пока я жива. Без меня заняться этим будет некому.

Желаю Вам здоровья. Ольга Павловская».

24 мая. «Родной мой! Так досадно, что мечта моя не сбылась. Я так хотела хоть на денек перенестись к тебе в комнату, посидеть у камина, вообще переключиться совсем в другой мир, в другую обстановку. Жизнь здесь такая скучная, такая скудная и при том такая тревожная, что я часто хочу плакать, что со мною бывало редко. Одна мысль о том, что народ кругом голодный, что Вова извелся, что дети бледные и больные от недостатка питания, не дает мне покою… А перспективы какие?

…Ну, я не выбралась… Ну, чтобы вдруг открылась дверь, и

вошел ты? Нужно сказать, Таруса — это не то, что надо. Сколько бы раз я могла побывать у тебя, побыть с тобою — будь ты поближе, достижимее. Надо Тарусу "пересмотреть" и найти городишко на линии железной дороги. Аня».

31 мая. Мякит. «Мой дорогой М. М.! Как мне хочется скорей на родину, скорее к Вам! Но увы! Я попал опять в тупик. Осенью, дурак, не решился ехать из-за холода, остался до весны, до тепла, ждал все первых пароходов. И когда пароходы пришли, появилось распоряжение не отпускать "нас", правда, "временно". Сколь продлится это "временно" и чем оно вызвано — никто не знает. И вот я теперь рву и мечу, и нахожусь в скверном состоянии.

19 июня. Дорогой М. М., время идет, а я по-прежнему далек от Вас. Тянет в родные края сильно, и тосковать я еще не разучился. К здешним краям я привык, но полюбить их не смог…

Ваши письма читаю всегда с большой грустью. Они мне напоминают, что жизнь уходит и все любимое дорогое и неповторимое осталось далеко, далеко. Хоть Вы и пишете, что Тургенев говаривал: "Умный человек не может не грустить", — однако, лучше это чувство побороть совсем, тогда легче будет жить… Но с Вами мы должны погрустить, и о многом. Дай Бог дожить до дня нашей встречи и не растерять последних сил молодости. Целую крепко. Сергей Коншин».

16 июля. «Мишенька, дорогой! Дела мои складываются так, что я задержусь здесь надолго, но вчера позвонил Константин Николаевич и сказал мне, что он собирается в Тарусу в воскресенье 20 июля. Тогда я надумала съездить с ним на несколько дней — повидать тебя и сделать кое-какие запасы продуктов.

Что у нас? Плохо чувствует себя отец. Болел. Была Температура до 40. Что это было, не знаем. Семья Вовы на даче, все по-настоящему голодают. Честно говоря, мне надо оставаться здесь и не ехать в Тарусу. Не сердись ты на меня за это. Аня».

К.Н.Игумнову Таруса, 30 июля

«Ноябрь» играли Вы вчера
(Довольно скучная пора.
Пора дождей, пора ненастья,
Пора томительного сна),
Но слушать Вас такое счастье?
И мне казалось, что весна,
Что светит солнце, небо ясно,
Что вся природа расцвела
И жизнь по-прежнему прекрасна,
И жизнь по-прежнему мила…

5 сентября. Москва. «Милый, дорогой М. М.I Московские докучные дела и хлопоты уже затянули нас в свою орбиту, и наша беспечная, поэтичная жизнь в Тарусе особенно резко контрастирует с здешним существованием и кажется нам коротким чудесным сном. За все восемь лет нашей жизни с Сережей мы еще ни разу не проводили так хорошо летний отпуск, как в этом году. А так как Вы явились главным инициатором этого, то мы приносим Вам самую горячую благодарность. Но Вы были не только инициатором и организатором нашего отдыха: чудесные вечера в Вашем уютном доме то в полумраке гостиной, когда душа оттаивала и растворялась в родных мелодиях Чайковского, льющихся из-под пальцев доброго волшебника Константина Николаевича, то за круглым столом при ярком свете лампы, озаряющей веселые, смеющиеся лица и вытянутые персты, указующие на Вас — единственного, упрямо избегающего общей участи "дурака". То в Вашем фантастическом "дворцовом" кабинете у пылающего камина за интимной беседой в кругу милых людей — эти очаровательные вечера остались одним из лучших воспоминаний нашего тарусского жития. Да будет благословен Ваш гостеприимный дом.

Мы очень, очень сожалеем, что нам не пришлось встретиться с Вами в Москве. У Константина Николаевича не хватило "практичности" даже на то, чтобы осуществить эту встречу. Разумеется, это не в укор ему, а лишь как одно из доказательств его неприспособленности к теперешней жизни. В первую встречу с К. Н. в консерватории он рассказал нам о своем "сказочном" возвращении из Тарусы, но был не менее удивлен и нашим путешествием с преодолением множества препятствий, о чем когда-нибудь расскажем Вам.

Крепко целую Вас. Наталья Домашевская.

P. S. Сережа кланяется Вам и собирается писать "самостоятельно"».

15 сентября. «Мишенька, родной! В субботу 20-го отец и Вова едут в Тарусу. Один копать картофель, другой закупать на весь зимний сезон. Как они сумеют его вывезти — не знаю. Какая это мука, как подумаю о том, что один старик 65-ти лет и другой молодой, совершенно измотанный, обессиленный, будут таскать мешки. А что я могу сделать? С ними говорить трудно, и жизнь такая, что игрушек не допускает. А человеку так много надо.

Очень плоха Максимовна. Руки перестали работать, пальцы немеют, и только голова прилично работает. Думаю, на этой

неделе поисповедывать ее и причастить.

P. S. Отец не очень здоров. Кашляет, чихает, не спит, слышу, как ворочается всю ночь. Посмотри его и достань мужика таскать мешки.

Целую, родной. Аня».

21 сентября. «Мой дорогой М. М.1 А я все еще сижу на благословенной Мякоти, но вот-вот должен пуститься в далекий путь. Уже год, как я опять гражданин, и все еще не привык к этому положению, вернее, не отвык от 14-летнего багажа. Живу однообразно. Занят музыкальным оформлением пьесы, которую ставит наш клуб. Работы очень много, а условия работы трудные и неблагоприятные.

Краснотурьинск будет у меня трамплином к Вам. Надеюсь, что к тому времени ни благополучие, ни здоровье Вас не покинут. Господи, как я хочу Вас видеть. Неужто эта мечта может осуществиться? Говорят, все сбывается, чего сильно хочешь. Посылаю Вам свое фото, и Вы на нем убедитесь, что со мною ничего страшного не произошло кроме постарения.

До скорого свидания. Сергей Коншин».

28 сентября. «Дорогой М. МЛ Пишу Вам все еще под впечатлением Вашей Тарусы. Мне мерещатся тишина, зелень, чистый воздух и прелестная Ваша усадьба. Проведенные мною у Вас несколько дней — лучшее во все лето 1947 года.

Затем докладываю Вам следующее: в руководствах и энциклопедии по жизни растений не нашла я, как нужно пересаживать и культивировать декоративные растения. Узнала только, что душистая козья жимолость, называемая каприфолией, которая и есть у Вас, имеет "супротивные" листья и пригодна для разведения в средней полосе. Привезенные мною веточки каприфолии я посадила, но имею мало надежды, что она пойдет.

Доехала я до Москвы с приключениями — пароход сел на мель и долго сидел на ней, пока не сдвинул нас буксир "Политотдел".

Желаю Вам всего хорошего. Ольга Павловская».

29 сентября. «Милая Анюшка! Радость бытия от хорошего сентября продолжается. Сегодня с утра 12 градусов тепла. Все свободные часы я работаю в саду, вожусь с цветником. Устаю, косточки ноют, но я доволен. Пожалуйста, только не направляй ко мне больше никого. Хочу побыть один: "Воздух застаивается, гость засиживается — одинаково душно". Настроение у меня тихое, ровное. Свет дали, и в доме стало совсем широко и просторно… Поражен "Литературной газетой" с ее статьями о Трумэне, Бовине, Черчилле. А зима опять обещает быть трудной, и жизнь — серьезной. Вы в очередях и московской суете не

видите этого. Мы здесь ближе к толще народной и видим и чувствуем, как живет он.

Будь добра, когда Ирина и Марианна дадут тебе знать об отъезде из Дрездена, — дай знать и мне. Я буду спокоен и за тебя, и за них. Миша».

5 октября. Москва. «Дорогой М. М.! Вы продолжаете быть "весь в гостях", и скуке нет места в уютном домике на Пушкинской (Вам к лицу жить на Пушкинской улице).

А мы живем скверно. Как и у всех, у нас не хватает витамина "D". Уплату этого необходимого нам всем витамина задерживают, и потому нам всем "нездоровится".

Данте я плохо знаю, он мне скучен, только и знаю одну строчку:

Оставь надежду навсегда.

Строчка эта мне сейчас подходит.

На именины Александра был у нас Константин Николаевич. Элегантный, в сером плаще, веселый и милый — перед ним все похожи на дворников. Я с ним tie чувствую, что он почти на четверть века старше меня. Привет от всех нас. Н.Левонович».

10 октября. Моршанск. «Дорогой М. МЛ Проезжая по этим местам, вспомнила, что здесь жил Володя, и дальше нить воспоминаний увела к первым дням знакомства с ним и Вами. Апофеоз его жизни — памятник за оградкой в Троице-Сергиевом Посаде, а у меня не будет даже и этого, да и не нужно.

С большим удовольствием вспоминаю Тарусу и сердечный, простой прием ее хозяина. Желаю здоровья. Истомина».

12 октября. «Родной мой! У меня одно на душе — это картошка и просьба закупить ее, сколько только возможно. Вова в ближайшие дни уезжает в Германию, оставлять семью без картошки — совершенно невозможно, и он, бедный, так мечется, что и сказать нельзя — она же дорожает на рынке каждый день. Сегодня он на машине от учреждения едет в Тулу за картофелем для сотрудников. Удастся там ему сделать что-нибудь или нет, неизвестно, и сколько он сможет привезти на свою долю — тоже неизвестно. Ты не сердись на меня, но ты совершенно не представляешь себе тот темп, который вырабатывает город Москва.

Ну, будь здоров. Крепко целую. Аня».

14 октября. Покров. «Милая Анюшка! О картофеле. Он дорожает и здесь с каждым днем, да его и не доставляют на базар — не на чем; А по деревням шныряют московские машины и вывозят картофель с места. А кроме того, все насторожились, все ждут войны, ждут обещанной продажи хлеба и ничего не выпускают на рынок. Возможно, что эта тревога ожидания войны

напрасна. Мы же ничего не знаем, но факт остается фактом: в природе международных отношений — предгрозовое состояние, и оно страшит и накладывает на жизнь свою страшную печать.

Я направляю к Саввичу заведовавшего местными заготовками. Он должен звонить ему, и он может быть очень полезным в картофельном деле. Больше я ничем помочь не могу».

15 октября. Утро. Опять чудесное утро. Температура 9 градусов тепла. Продолжаю о картофеле для Вовы. Здесь в городе на базаре его купить нельзя. Надо использовать заготовителя, и с ним можно договориться. Пробовал я пополнить свои запасы картофеля, покупая его в коммерческом магазине, но он уже поднялся там в цене до3-х рублей кг и очень плох. Словом, что Бог даст. Много, много людей, у которых ничего нет, и думаю, в первую очередь у Любочки.

Ну, прости скучное письмо и будь здорова. Миша».

22 октября (из дневника). Десятый час вечера. Горит электричество. Тепло. По радио передают романсы Глинки, и в том числе всегда волнующее «Уймитесь, волнения страсти».

Комната моя оштукатурена, светла, чистая, нарядная.

Сегодня первый день «ненастной осени». Падал снег, шел дождик, ветрено и сыро. В больнице не топлено, хмуро, убого. Такое же безотрадное впечатление и от быта людей Тарусы.

До чего же бедна наша жизнь!

Тяжела была прошедшая зима. Не легка будет и эта. Неурожай прошлого года сказался весною «отечною болезнью». Пухли старые и малые. Ели «кавардашки», «тошнотики», «рвотики» — это все из мороженой картошки. Урожай этого года пока не сказывается ничем, никаким обилием.

Домохозяйки как не получали хлеба, так и не получают…

Мое личное существование, конечно, очень скромное. Был хорош урожай овощей на огороде у меня, и это мне в большую помощь.

Прекрасное общество было летом, и было много первоклассной музыки — скрипка, рояль, пение. Таруса оказалась очень нужной и для моих друзей. С ранней весны и до последних дней кто-нибудь, да нуждался в ней. Вчера только уехала Зоя Александровна Сахновская. Бесприютная и безработная, бывшая артистка московского Малого театра…

Вспоминаю свою поездку ранней весной в Загорск. Прожил я там три дня и каждый день бывал на могиле Володи. Кладбище было беспредельно уныло — лежал грязный снег, топко, холодно, ветер. И мне до сих пор больно, что я не смог посидеть у могилы неторопливо. Кстати, недавно прочитала «Книгу о Володе» Цветаева Валерия Ивановна, сестра поэтессы Марины Цветаевой,

и она написала мне: «М. М.! "Книга о Володе" очень интересна, волнующая, читается залпом. Хорошо, что Вы ее написали, хоть и очень скорбная вещь. Спасибо. В. Ц.».

24 октября. «Мишенька, родной! Как-то ты недавно возмутился моими словами, что на свете близких людей нет, что каждому гораздо ближе прыщик на своем носу, чем глубокая рана у другого человека. Своим письмом ты подтвердил мои слова. У меня тревога, беспокойство. Вова мечется перед поездкой в командировку, чтобы достать своей семье картофель. Я обращаюсь к тебе, деньги есть, надо только достать, и чем же ты мне помог? Все кончилось. Вова съездил в Тулу, промучился пять дней и с большим трудом достал 10 мешков картошки. Впрочем — я не хочу, чтоб что-нибудь лежало между нами и сколько-нибудь портило наши отношения. Ты мне близкий, родной, как никто. И я знаю только одно, что я всю жизнь твоя должница, что все, что сделано тобою для меня, я отплатить не сумею. А вообще, я начинаю думать, что язык нам дан для того, чтобы запутывать отношения, и надо много, много молчать. Давай беречь друг друга — может, еще взаимно пригодимся…

Ну, будь здоров. Крепко целую. Пиши. Аня».

10 ноября. «Мишенька, родной! Прошли праздники, и на этот раз мне жалко, что они прошли, так тихо и мирно на этот раз протекли у нас с отцом. Была ужасная погода. Шел снег, лил дождь, под ногами мокро, и людям хотелось сидеть дома. К нам никто не зашел, хотя я накрыла стол и ждала с кофеем. Любочка захворала, и девочки сидели с нею. Ребята Зовы также не пришли — там захворала бабушка…

Вчера Н.В.Крандиевская пригласила меня на вернисаж выставки картин в Третьяковскую галерею. Народу там было так много, что мы попали только благодаря директору галереи, который провел нас в свой кабинет, где мы и разделись. Тематика выставки очень однообразна — война, современность…

Вечером вчера же проведали Любочку. Чувствовала она себя плохо, температура 39,5. Сегодня жду целый день звонка, но девочки не позвонили, следовательно, все в порядке — обошлось гриппом.

Максимовну поместили в Боткинскую больницу, и она очень довольна. Вова доехал хорошо и сейчас в Дрездене у Ирины. Ирина с Марианной приедут числа 20-го. Я так устала их ждать; что сейчас и думать о них не могу… Пиши. Аня».

10 ноября. «Дорогой М. М.! Я знаю, Вы ждете ответа относительно "Книги о Володе", но то я была в отпуске, то Владимир Дмитриевич уехал на Кавказ, а вернувшись, заболел.

Я впервые вижу Вашу книгу в таком настоящем виде, и

прочитала еще раз. Говорю правду. Мне очень понравился автор — душевной тонкостью, умным своеобразным языком, мягкостью и теплотой тона — нечто от свечей в старинном зале… Я не льщу Вам, все это истина.

Печатать, конечно, нельзя, и не будут, какие бы вступительные статьи не предпослать… А жаль. Для музея, для будущих поколений, думаю, она будет приобретена.

Как прошло у Вас лето, как Вы себя чувствуете? Буду рада узнать. К.Сурикова».

10 ноября. «Милая Анюшка! Хочу думать, что сегодняшний день есть день свидания твоего с Ириной и Марианной. Пусть будет он безоблачен и ясен. Поцелуй за меня обеих, а Марианну поздравь с днем рождения: "И пошел ей 13-й год".

По нашим "тарусским данным" хорошо бы Ирине расстаться с Западом. Конечно, советовать легче всего, но и прислушиваться к совету иногда не мешает. Да это, кажется, и не идет вразрез с ее намерениями. Нужно только, чтобы на этот раз не был вымощен ими ад.

Ну, чтобы Ирине на какой-либо дружественной машине подъехать сюда на вечерок к камину. И гусь висит у меня на перекладине. А зима сказочна. Два дня деревья стоят, осыпаны инеем. Мальчишки по всем направлениям несутся с гор на салазках…

Праздники у меня прошли очень тихо. Сидел за письменным столом часов по восьми. Кончил главу о Чкалове. Что-то даже доволен ею:

> Когда мы в памяти своей проходим прежнею дорогой,
> все чувства прежних дней вновь оживают понемногу.

Люлечка, Осадчий, Мищенко, Тарбеева, сестра Паша и еще, еще — все ушедшие.

Принялся за "Владимир". Материал большой, главное на тему — быт во время войны. Им никто не занимался. Все внимание было на фронте, на переживаниях там и действиях. Но ведь миллионы жили-то в тылу. Разве можно сбрасывать их со счета?! Между 15 и 20 декабря я смогу начать свой отпуск. Хочу побывать на выставках, концертах, в музеях. Вообще, это меня привлекает, только пугает жилище. Всего бы лучше иметь номер в гостинице, но ведь это недостижимо. Миша».

14 ноября. Кокошкино. «Не пишется что-то, М. М. Много думается, много делается, а жизнь остается по-прежнему трудна. Работа дает мне 491 руб. и 500 грамм хлеба. Дает работа и 6 куб. дров. Получили пока лишь 1, а сколько на него потрачено

нервной энергии. Пришлось ехать в РОНО и целую неделю ходить к председателю колхоза, и лишь взятка возчику устроила дело с подвозкой.

Прожиточного минимума работа не дает и не оставляет ни сил, ни времени на что-либо другое. Вот обычный рабочий рядовой день: в 8 часов надо уходить. Спешу до этого времени чурочками согреть самовар и напиться чаю с кусочком сахара. Работа выматывает так, что шатаюсь, и к двум, иногда к трем попадаю домой и несу с собою сто тетрадей на просмотр. Обед: щи пустые и овощи пареные, но свежий воздух все делает вкусным. Сразу после обеда приниматься за какие-нибудь домашние дела не могу, но к 6 часам надо затапливать вновь маленькую печку, готовить к ужину картошку с рыбьим жиром (других жиров нет) и чай…

Знаете, о чем мечтаю — сразу очутиться в Тарусе и заснуть моментально дня на три на трех мягких перинах, на которых уложили меня летом, утонуть в них да и закрыться ими от людей. Укатали сивку крутые горки. А.Крюкова».

16 ноября. «Милая Анюшка! О том, что Ирина не приехала, я уже знал. Ты слишком давно и напряженно ее ждешь и устала от этого ожидания. А ждать есть великая мудрость, и не дается всякому… Последнее время я замечаю у тебя склонность к пессимизму. Это ты пожила более сосредоточенно, более одиноко. Внимательнее поглядела вокруг и свернула на дорожку грустного восприятия жизни. Не углубляй этого. Не стоит. У тебя особенно нет к этому причин.

Ваши "одинокие праздники" удивили меня. Ну мне, отшельнику, это положено, а в людной Москве остаться, с накрытым к тому же столом, без гостей — что-то необычно. Я не люблю и люблю праздники. Одинокому человеку в них больше грусти, сильнее проявляется желание быть в кругу близких. А люблю по старой гимназической привычке к празднику, дню особенному, дню свободному…

Сегодня воскресенье, праздник. Встал в свое время, как обычно, в 7 часов, еще утро серело, размел дорожки на усадьбе. Идет снежок, погода милая. Убрался в комнате, почитал "Форсайтов". Книга любопытная, в ней много зла, ума, насмешки… Вечерами прилежно пишу. В уюте моей комнаты в полной тишине и одиночестве — так отлично вернуться к прошлому. Живу сосредоточенно. Бывает у меня лишь художник А.В.Григорьев. С ним интересно. За ним большое прошлое. К огорчению, он только курит, и от этого мне бывает "томно". В больнице по-прежнему все "вон из души". Радует только отношение больных. Общение с ними — это есть "упражнение в

делании добра".

Кстати, что сталось с портретом Константина Николаевича, написанном здесь Крандиевской? Миша».

28 ноября. «Мишенька, родной! Три дня назад приехала Ирина. Приехала всего на шесть дней, и ты себе можешь представить, как она загрузила меня. Комнаты мои сразу превратились в кладовую, а я во что? Даже не знаю. Домработница проделывать работу, какую я несу сейчас, не согласится никогда.

5 декабря. Эту неделю не знаю, с чем можно сравнить. События развертывались с такой быстротой, как не бегут даже в кино…

Болела Ирина и выехала больной. Второго декабря скончалась в больнице Максимовна. Вчера вечером мы ее похоронили на Ваганьковском кладбище. Я ходила к ней, пока она была дома, два-три раза в день. В больнице она пробыла последние четыре дня в очень хороших условиях. Умерла тихо в полной памяти. Отпели в церкви. Были извещены все ее родные и друзья. Были и мы с отцом. Думаю, что долг нам по отношению к Максимовне мы выполнили сполна.

Сегодня тихий день. От всех событий чувствую себя разбитой. Марианна не радует. Жизнь в Дрездене очень ее разболтала, и подтянуть ее будет трудно. Жду теперь твоего приезда в отпуск. Аня».

3 декабря. Ленинград. «Получила Ваше письмо. Что же? Хорошо, что Вам хорошо. Ясно представляю отдельные моменты Вашей жизни, и легкая зависть овевает меня. Да, зависть и грусть. Ну, что поделать — тепло, свет и интерес к жизни, который вы изливаете на окружающих, всегда проходят мимо меня… Так было, так будет… И не только расстояние причиной… Хорошо, что написали. И за малое большое спасибо.

Наступающую осень, зиму встречаю более уверенно, смело и спокойно, чем прошлые годы. Вообще, состояние устойчивое. Муки от военных лет отошли, и организм снова хочет света, тепла, радости бытия. Так странно наблюдать это оживание. Казалось, все умерло, убито… держался на поверхности жизни, реагируя очень поверхностно, а теперь снова включена вся психика, и ничего — оказался цел дух человека. И это сознание невероятно радует и дает отраду и внутренний мир. Я решительно всем довольна (самым малым). Ощущаю и благословляю каждый миг.

Одна моя приятельница советует приготовляться к смерти, как к цели земного существования… Нет, не понимаю я этого.

Смешно молчать, молчать и вдруг прорваться. Это оттого,

что, наконец, я снова одна в своей келье, могу располагать местом за столом и временем. И видите — душой обернулась к Вам, дорогой М. М. Ничего не поделать — мало нас остается, и тянет повидаться. Н.Вревская».

8 декабря. «Милая Анютка! Умерла Максимовна. Вечная ей память до нашей гробовой доски. 36 лет ютилась она около нас, ютилась приверженно, крепко, верно. А последние годы, по существу, никого у нее и не осталось кроме нас, особенно после смерти сына. Она цепко боролась за жизнь и долго не сдавала и жила, и умерла "самостоятельно", без нагрузки на других… 36 лет прошло с нею. Чужая она — была своя, близкая, родная. Да, будет ей легка земля.

Часто, очень часто и мысли, и сердце около тебя. И это особенно, потому что перечитываю старые письма, дневник, и каждый вечер — прошлою жизнью живу я…

Работаю сейчас над "Владимиром". И что надо отметить — самые близкие люди, своя семья представлены письмами или очень слабо, или совсем не представлены. Особенно семья Вышипанов и молодое поколение Долгополовых. Их нет, они вне круга моей жизни, переписки, отношений. А ведь я так охотно и внимательно откликаюсь на всякое обращение, и с людьми "чужими" дружба и общение держатся десятилетиями. Это, конечно, не ново. Здесь и причина "двух поколений — отцов и детей", и чрезмерная загруженность молодого поколения борьбой за существование, борьбой за положение в жизни. У стариков это уже определилось. Борьба почти закончилась, и внимание может быть уделено и другому.

Почти заканчиваю первый том "Саги о Форсайтах". К первому моему впечатлению прибавлю следующее — это серьезная попытка дать "Историю Англии" на протяжении ста лет на примере одной семьи. Есть страницы волнующие. А образ старика Джолиона — потрясающ. Прошло уже Введение, запели уже "Христос рождается". Дело к "Спиридону-повороту". Осень эта прошла как-то легко. И настроение у меня все время спокойно-тихое. Я очень занят, и дня мне не хватает. Удручает наш электросвет. Он до того тускл и так часто не горит, что, по-существу, мы живем с керосиновой лампочкой.

Ну, будь здорова. Миша».

11 декабрь. «Стоит погода на нуле. Тихо и бело. Обещали по "Покрову" сиротскую зиму. Пока она и стоит такая.

Сумерками топлю камин, и часа два у него очень приятны. Стоит особая тишина, и веет миром и покоем. Многое передумается за эти часы, о многом вспомнится. Работа моя кончается к двум. В два я обедаю в обществе художника

Григорьева, который "прижился к дому", и который пишет у меня натюрморты.

Я часто задаю себе вопрос — хорошо ли я сделал, бросив Владимир? И ответить на него так и не могу. Пожалуй, у меня и не было лучшего выхода. Мой возраст, мое "ссыльное прошлое", наконец, особенности моей натуры — привели меня в Тарусу. Не хорошо, конечно, что она так отрезана от Москвы и что в ней нет церкви.

С 15-го ухожу в отпуск, уезжаю в Москву и уже начинаю думать, как я до нее доберусь».

14 декабря. «Поленово. Спасибо за память и доброе слово, дорогой М. М. Мне тоже очень недостает наших дружеских бесед с Вами, которые всегда помогали что-то уяснить и поднимали в ту область над обыденщиной, без которой нам трудно жить. Теперь в музее есть лошадь, и когда, наконец, встанет река, я ее за Вами пришлю как-нибудь в хорошее воскресенье без метели.

Я сейчас в большом ничтожестве после месячного гриппа на ногах. Состояние отравленное, и слабость сердца ужасная. А мне недавно перечислили гонорар за 15-летний труд над книгой и нужно работать над ней. Не придумаете ли Вы чего-нибудь экстраординарного? Будьте мне добрым гением.

Я читала интересные вещи. Между прочим, прочла "Жизнь Иисуса" Ренана. Оказалась удивительно свежая вещь, полная какого-то чистого воздуха и света. Мне она очень много объяснила в творчестве отца.

Сердечный привет. Ваша Сахарова.

P. S. Дети оба пока здоровы, и двигаются своими путями».

18 декабря. Ленинград. «Многое доступно человеку, а вот как трудно бывает заставить себя написать письмо. Сижу дома с гриппом. Скоро неделя, а протянулась за долгий, долгий срок. Просто места не нахожу. Гложет да гложет тоска. Отвлекаюсь и книгой, и пустопорожней обывательской беседой, но нет — тоска. Говорят, предсмертная бывает тоска? Но я на этот раз, ведь, поправляюсь? Не без влияния оказалась и денежная реформа. Я умудрилась потерять свои маленькие сбережения. Вот теперь и не стало денег к Вам на поездку. А я-то уже позволяла себе мечтать о тарусских далях, о пушистом снеге, об уюте Вашего дома и, наконец-то, поговорить с Вами, не спеша, и до конца так, чтобы надоело. Впрочем, я начиталась Рериха и снова укрепилась в вере в психическую энергию, о которой он говорит совершенно точно. Эта книга написана в 1931 году на Гималаях, где он прожил пять лет.

А как все надоело! Опротивела ложь и людское стадо, эти "гомункулусы", как черви, сидящие в своих земляных норах. И это

ужасное радио с шумами вместо музыки, и эти книги — многословно пустые, заставляющие жалеть об изобретении книгопечатания. На улице серо, бело, холодно… бр… бр… Не глядели бы глаза, не слышали бы уши… прилип бы язык… Жуткая пустыня, по которой носятся призраки за белыми булками — авось, поймаю. Однако хватит злиться. Н.Вревская».

20 декабря. Муром. «Дорогой М. М.! Недавно вернулся из Владимира, где была так называемая конференция онкологическая, а по существу, нудная, скучная и совершенно бездельная болтовня, в которой, однако, Ваш покорный слуга должен был принять участие. Владимир грязен, как политика, дороги ужасные. Возвращаясь с конференции, я шлепнулся в огромную лужу и искупался в ней. Можете Вы представить, каким я явился на ночлег?

Из разговоров с владимирскими врачами я вижу, что там Вас вспоминают очень тепло и очень жалеют, что у них оборвалась с Вами связь с Вашим отъездом. Я боюсь того же, как бы Вы не перестали мне писать. Вы один из самых близких мне людей, оставшихся пока живыми, и я очень дорожу даже этой неполноценной почтовой связью.

Своей поездкой в Москву в этом году я недоволен. Я ехал, так сказать, "морским путем": из Мурома до Горького по Оке, от Горького до Ярославля, затем от Ярославля до Рыбинска (теперь город Щербаков) и от Рыбинска до Москвы по так называемому "Рыбинскому морю". Но это не море, а лужа, затопившая чудные, плодородные, богатые дичью и лесным зверем места с громадными массивами строевого леса. Все это под водой. Ярославль и Рыбинск (моя родина) носят следы разрушения. Но об этом всего не напишешь.

Желаю Вам всякого успеха. Н.Печкин».

Москва. «Дорогой друг мой, М. М.! Спасибо, спасибо Вам еще раз за Ваше милое, полное участия к моим переживаниям письмо. На последнюю Вашу фразу: "За что? И когда же он перестанет гневаться на Вас?" — я Вам отвечу словами П.И.Чайковского к фон Мекк:

"Посылаемые нам бедствия и страдания не суть бессмысленные случайности, они нужны для нашего же блага, и как бы это благо не было далеко от нас, но когда-нибудь мы узнаем и оценим его. Опыт уже научил меня, что даже в этой жизни весьма часто конечный результат многих страданий и горестей — благо… Быть может, только там поймем мы все то, что здесь нам казалось непостижимо несправедливым и жестоким. А покамест мы можем только молиться и благодарить, когда Бог посылает нам счастье, и покоряться, когда приходится

терпеть горести. Благодарю Бога, давшего мне это понимание".

Простите за длинную цитату, но это полностью ответ на Ваши слова.

Я очень много хлопочу об устройстве своей судьбы, реабилитации и работе, много препятствий на своем пути преодолеваю и верю, кто ищет, тот всегда найдет.

Два раза была в театре: на балете "Франческа да Римини", музыка Асафьева, и на "Летучей мыши" Штрауса. Последняя "роскошное убожество". Уйма денег истрачена на роскошь костюмов и декораций, но ни то, ни другое не искупает скуки недаровитых исполнителей. Ни блеска талантов, ни яркого юмора. Вспомнились Потопчина, Шувалова, Кавецкая, Пиантковская, Клара Юнг — те без декораций зажигали, восхищали, восторгали, а нет таланта — нет и спектакля. Музыка — да, но музыку Штрауса мы с Вами слушали, сидя у камина, и насколько это было лучше.

Примите мой привет. Зоя Сахновская».

* * *

В половине декабря я уехал в месячный отпуск в Москву. Вставал грозный вопрос с пропиской. Две недели ходил я в милицию, прошел ряд инстанций и, наконец, к концу отпуска был прописан у Ани на Вспольном. Все мне было тяжело в этом доме — и стены, и люди давили меня, и тревожно-мнительное состояние являлось доминирующим в моем самочувствии. Кроме того, заболел Константин Николаевич Игумнов. Я посещал его каждый день и наблюдал одно — болезнь обертывалась тяжело и не давала надежды на выздоровление. Дня за два до дня моего рождения 18/31 декабря К. Н. уже слабым голосом сказал мне: «Посмотрите там, у рояля, я приготовил Вам подарок». Год тому назад я похвалил старые вышивки у его древней тетушки, и вот он помнил об этом.

Новый, 1948 год встречали у Ани своею семьей. Мне исполнилось 65 лет. В Москве я их чувствовал значительно острее, чем дома, у себя в Тарусе. Я в Москве старел и от воспоминаний, и от дома, и от всего окружения, и все меня там утомляло, и все мои намерения и планы на Москву, такие дерзновенные, остались невыполненными.

Январь стоял морозный и вьюжный. 'Дорога на Тарусу была занесена, и только 22-го числа я смог вернуться домой. Уезжал я в Москву с удовольствием — вернулся в Тарусу с наслаждением…

Таруса
8 марта 1952 г.
1948 год

«Старость, в постепенности своей, есть развязывание привязанности».
В.В.Розанов.

22 января. «Милая Анюшка! Спасибо тебе за ласковое и спокойное гостеприимство и прости за беспокойства и лишние хлопоты.

В московской жизни много удобств — и газ, и белый хлеб, и много другого, но на мой взгляд, в ней еще больше неудобств, которые очень усиливаются лишним человеком. Я все время чувствую в Москве причиняемые мною неудобства и оттого устаю от нее больше обычного и с радостью возвращаюсь к себе.

Дорога сюда прошла гладко. Сел в первый же автобус, в вагон ж. д. вошел не спеша, и были места даже у окошек. Почитал три часа и очутился в Серпухове. У вокзала машины на этот раз не оказалось, и я пошел к бору, где и сел на грузовую машину до Тарусы. Дома я был в 6 вечера. Дом я нашел в порядке, чисто, тепло. Тут же самоварчик, а затем камин и мытье у него, чистое белье, чистая постель и удивительная тишина, и отсюда в телеграмме тебе — "наслаждаюсь". Я и в самом деле наслаждаюсь и благодарю Бога за все.

Новости здешние: с 1 февраля пойдет автобус от вокзала в Серпухове до Тарусы и обратно. Вот тебе разрешение дорожного вопроса. Сколько раз в сутки он будет ходить, не знаю, но лиха беда начало. Жизнь не стоит на месте — все течет, все движется.

Снегу в полях мало. Зима с оттепелями, боятся за озими. Суши сухари. Пригодятся. Сейчас это доступно и возможно, особенно в Москве. Подводя итог московским впечатлениям, скажу: я понял Вашу жизнь с Любой с Вашим окружением и Вам не завидую. Жизнь московская — "искусственная жизнь". Она выхолащивает и душу, и тело. В ней люди часто в тягость даже себе. А вечная суета этой жизни — она просто невыносима.

Ну, Христос с Тобою. Поцелуй и поблагодари Саввича. Миша».

28 января. Ленинград. «М. М.I Неожиданно появились деньги за когда-то сделанный перевод, и я начинаю думать о поездке к Вам. В марте будет светлее и теплее, начнет таять, моя любимая весенняя пора — прогалины черной земли среди снежных полей, наст по утрам и ручейки на припеке, и припекающее сердце, и шалый ветерок… Хорошо. И если удастся почувствовать все это —

навек буду помнить. Ну, а об остальном не говорю — Ваши два слова живят душу, застывшую и бронированную, но… слышала о болезни Игумнова. Это не нарушает Ваших планов?

Читала Иоанна Дамаскина. Обет молчания хорошая школа для самоуглубления, и даже в миру надо выучиться молчать, особенно мне с моей экспансивной натурой. Ну, да ладно. Может быть, поговорим еще. Наталья Вревская».

В тот же день. «Мишенька, родной! Грустно мне, что тебя не покидало у нас чувство "лишнего человека". Вот уж это ни к чему. Мне все время было грустно, что ты уедешь и что я не могу тебе предоставить таких удобств, чтобы тебе было хорошо, уютно, тепло и ты бы жил, не задумываясь, и не стремился бы в Тарусу. Несколько дней по твоем отъезде я страшно чувствовала твое отсутствие, и мне было грустно и не по себе. Сейчас же опять втянулась в нашу сутолоку, и кажется, что ты был с нами год тому назад. Таруса бывает мне порой страшна и ужасна, и я едва-едва мирюсь с нею. И вместе с тем, тянет меня иногда в нее — в тишину с широкими далями, в кресло у камина, треск дров… Но… у каждого свое.

Ежедневно звоню к Ушаковым и справляюсь о здоровье Константина Николаевича. Температура вечерами до 38,6, слабеет ужасно. Аня».

1 февраля. «Милая Анюшка! Мое стремление в Тарусу вызывалось вовсе не отсутствием комфорта у тебя, ты сделала все, что могла, а… сроки мои приближались, отпуск мой кончился, меня ждала работа, эту работу несли мои товарищи, это была лишняя нагрузка на них, и надо было мне иметь совесть. И я рад, что уехал вовремя и все получилось, как "подобает". Тебе страшна Таруса. А чем? Оторванностью? Этот страх должен уступить покойному отношению к "возможному". Мы в таком возрасте, что каждый день может принести "сюрприз ожидаемый". Такая развязка неизбежна. И бояться ее можно, конечно, но нужно сцепить зубы, когда она придет, а до тех пор радоваться, что живешь и благополучен. А я не теряю надежды, что у Вас с Саввичем нодойдет минута решения быть ближе к природе и Богу. Я вижу, что последний год уже произвел в Вас перемену. Вы ближе стали друг другу. Вы поняли, что дети отошли от Вас, что им до Вас меньше дела, чем Вам друг к другу, и Вы начинаете беречь Ваш покой и единение. И это разумно. И это должно идти дальше, раз Господь благословляет Вас долголетием. И я бы понемногу бы готовил Тарусу на старость, чтобы всегда был готов и "стол и дом". И радость от общения с детьми и внуками будет полнее, не омраченная ежедневными расхождениями и по возрасту, и по вкусу.

О Константине Николаевиче я имею регулярное сведения, и сам пишу ему каждые два дня. Миша.

P. S. Я потерял веру в выздоровление К. Н. Он не жилец на этом свете, а сколько у него интереса еще к жизни, и как ему хочется еще жить! Мне радостно было наблюдать его здесь летом. Никакая мелочь не ускользала от его внимания. Он не говорил, но все замечал. И когда комната моя, после ремонта, приводилась в порядок, я часто заставал его в ней — войдет и наблюдает, что и как делается в ней…

А дни бегут и бегут. Уходит жизнь, уходит! Особенно я остро это чувствую в часы ночные. И все мы кажемся мне тогда песчинками — несет нас, несет и вот-вот бросит в "Господня земля и все, что наполняет ее…". Крепко обнимаю тебя, моя голубушка. Будь здорова, не суетись очень».

8 февраля. «Дорогой М. МЛ Беседовал я о К. Н. с Владосом. На положение его он смотрит пессимистически, хотя и не безнадежно. Предложил еще ввести 5 миллионов пенициллина. Состояние К. Н, нервное и довольно раздражительное. Он изверился в том, что его лечат правильно и что врачи понимают его болезнь. Очень раздражен новым курсом пенициллина. Считает, что болеть ему придется еще три месяца. Сказал мне, когда я ему принес цикламены, что больным не следует дарить цветы. По-прежнему всем интересуется и очень внимателен к друзьям. Что же делать-то М. М.? Напишите, как Вы смотрите на состояние К. Н. Румнев».

8 февраля. Загорск. «Милый М. М.! Достоевский сказал: "Каждому человеку нужно, чтобы было, куда ему пойти". Так вот, и мне нужно все рассказать Вам. Грустно смотрю я на мир. Старики уходят из этой жизни, и так жаль их терять. Больна Надежда Григорьевна Чулкова. Она прошла через всю мою жизнь… Вам тяжело терять Игумнова… А всем нам очень тяжело с молодыми.

Дома у нас тепло, но нет света и в квартире шумно, беспокойно, суетливо. Я как-то сыта, но с одеждой трудно, все так износилось, что не знаю, что дальше делать…

Рукописи отца принципиально в Литмузее решено купить, но когда это оформится, никто не знает. Татьяна Розанова».

13 февраля. «Дорогой М. МЛ Ну вот, я нахожусь от Вас совсем близко — в Новосибирске. Ехал долго и тяжело, но радостно. Сейчас окружен вниманием жены и сына, и все кажется сном. Через три дня выезжаю к брату Анатолию, а оттуда в Москву. Конечно, окончательное счастье будет, когда попаду в края, где родился и вырос, и встречу людей, которые дороги с детских и юношеских лет, и в первую очередь с Вами.

Впечатлений и переживаний у меня со вступлением на Большую землю масса. Я чуть не заплакал, когда в Находке увидел первую сосну, а пение петухов показалось мне нежной музыкой из далеких прошлых времен. А первый паровозный гудок разлился по мне сладким трепетом. На каждой станции я покупал что-нибудь из того, чего не видел 15 лет — семечки, все молочные продукты, морковь, соленые огурцы, лимоны, мандарины и проч. К сожалению, мне пришлось рассчитывать каждую копейку, так как реформа и два месяца ожидания парохода угробили меня совершенно. Приехал я фактически совершенно нищим, но зато, как всегда, богатый верою в свою счастье, бодрый, с большим желанием жить и люблю жизнь еще больше. Одним словом, М. М., родился я второй раз на свет и, быть может, теперь более удачно.

Обнимаю и крепко целую, теперь уж близкий, почти счастливый и любящий Сергей Коншин».

21 февраля. «Субботний вечер, в окна смотрит луна, усадьба тоже залита лунным светом… Как я жалею, что не побудете Вы с Саввичем здесь ранней весною. Мне просто жаль Вас… В начале апреля нужно Вам приехать сюда недели на две. Это просто необходимо…

Жизнь до того тускла и сера, что только в природе можно находить оправдание для нее. Здесь лежит неисчерпаемая радость для души. Даже не в церкви (там не всегда), а здесь. В церкви часто бывает много досадного — не в службе (хотя бывает и в этом), а в окружении. Там бывают только моменты "взлета", а здесь — в тишине под небесным сводом все гармонично, и все говорит о том, что ты часть целого… Только души очень загрязненные не могут почувствовать этого.

Воскресенье, 22.11. Очень тянет меня подъехать к Вашему празднику "свадебной годовщины" 28, но ничего не решаю и все оставляю "на случай".

В больнице у меня нелады с нашим главным врачом. Все пустое мелкое, но тем не менее, портящее настроение. Все жду каких-либо перемен в "настроениях и направлениях" в районном масштабе, а их все нет, хотя репутация "верхушки" заставляет ждать этого.

Дочитал "Сагу" Голсуорси. Прекрасно! Я радуюсь тому удовольствию, какое получишь ты от этой книги. Не надо читать ее только залпом — тогда получишь удовольствия и дольше, и больше. Миша».

В тот же день. «Родной мой! Так долго не было писем от тебя, что стало грустно, и опять, опять затосковала я от Тарусы, от твоей оторванности от всех нас. А все бы могло быть иначе. Пусть

поезд будет идти 2–3 часа, но можно всегда приехать и часто быть вместе. Годы бегут, пришла старость, конечно, пришла, я так ее чувствую… и хочется одного — быть вместе.

Морозы, холодно, гриппую. Хотела сегодня навестить Константина Николаевича и побоялась заразить его гриппом. Состояние его плохое. Исхудал он так, что на него страшно смотреть. Ничего не ест.

К нашему сорокалетнему юбилею жду тебя непременно. Будут только свои… все участники этого "важного события".

Возвращаюсь опять к Тарусе. Надо стремиться к тому, чтоб найти другой дом на ж. д., чтобы мы, живя там, не рвали связи с детьми, чтобы они могли помочь нам на случай болезни, а после нашей смерти могли иметь дом, где могли бы отдыхать и где на каждом шагу они чувствовали бы нашу думу, нашу заботу о них, продолженную даже из потусторонней жизни. Надо только хотеть это делать, и давай, давай хотеть.

Крепко целую. Аня».

29 февраля. «Дорогой Мишенька! Вчера мы отпраздновали 40 лет Аниной и Володиной свадьбы. Прожить сорок лет — не шутка, но щи прожить, как прожили они душа в душу, без единого темного пятна — не всякому удается. Володя сварил брагу, да такую крепкую и вкусную, что все мы изрядно подвыпили. Я до самой последней минуты думала, что ты подъедешь, и твое отсутствие было единственным огорчением этого дня. Все остальное удалось на славу. Пироги были вкусны, торты сладки и пышны, свежие цветы украшали стол… Аня пригласила Луку с Настей, и это было очень трогательно и мило. Жаль, жаль, что не приехал.

Целую. Люба».

29 февраля. «Милая Анюшка! К твоему юбилею я написал, кажется, очень грустное письмо. Прости за него.

Представляю себе, как ты сегодня хлопочешь и готовишься, а у меня тихий воскресный день, на солнышке 12 градусов тепла, долго сидел на воздухе и читал "Два капитана"… Солнышко разбудило во мне надежду на твой приезд, но, конечно, это мечты "одинокого старика".

Художник Григорьев вот сегодня огорчался, что его все зовут стариком. Это оттого, конечно, что он плохо выглядит и плохо одет. Ведь он на 10 лет моложе меня. А я вот и не обижаюсь на "старика", хотя меня здесь никто не зовет так, ни в глаза, ни за глаза, благо, весь город и район знает: "Мих. Мих. — доктор", а "старик" достанется Григорьеву. Он без денег, без работы, голоден. В Москву ехать не решается, там на его квартире ловит милиция. Я его пою чаем и кормлю, когда он заходит ко мне, и

жалею своим вниманием и ласкою.

Сгущаются сумерки. Из труб валит дымок. Опять заморозило. Ну, Христос с тобою. Не стой в очередях — у нас здесь утверждают, что очереди опять появились в Москве. Миша».

1 марта. «Мишенька, родной! Как мне было грустно! Как я расстроилась, когда получила твою телеграмму! Но я все ждала тебя, когда уже сидели за столом — все казалось, что ты войдешь. И опять должна сказать: "Проклятая Таруса"… Пили за твое здоровье, и мне вспомнилось, как ты не попал на нашу свадьбу. Вот и на "юбилей" не попал, такая, видно, судьба.

А все были такие нарядные, красивые, довольные и веселые. Лука был такой торжественный, седой, благообразный. Настя говорит, что он собирался на этот вечер три дня. Марианна в этот день была очаровательна, в школу не ходила, очень помогла мне в приготовлениях и молодым красивым обликом радовала всех. Сидели мы с отцом во главе стола, я не хозяйничала и только радовалась на всех.

Крепко целую. Аня».

5 марта. Краснотурьинск. «Дорогой мой М. М.! Вот я уже и получил Ваше письмо по новому адресу. Очень мне стало грустно, прочтя его. Значит, Константина Николаевича мне и не увидеть. Случилось, по-видимому, то, чего я все время так боялся. Как было бы хорошо, чтоб К. Н. приехал к Вам, и, может быть, Вашими заботами он еще долго проживет. И вдруг, когда он будет у Вас, неожиданно появлюсь и я у Вас… А Вы говорите, жизнь плохая… Теша себя такими мечтами, уже на душе делается радостно.

Здесь у брата Анатолия очень хороший приемник, и я сейчас наслаждаюсь прекрасными концертами, которых столько лет не слышал. К большому своему огорчению все время убеждаюсь, что ужасно я отстал, так много нового, хорошего появилось за это время. Современная мне молодежь носит высокие и заслуженные звания, и я никак не могу себе представить хорошо знакомых мне юношей в положении профессоров, лауреатов и заслуженных артистов. Но самое обидное, это то, что хорошо знал, позабыл и часто, слыша знакомые мелодии, мучительно вспоминаю, что же это такое. Наверно, когда побуду в Москве, растеряюсь совсем.

Пока же что я переживаю большие финансовые трудности, так как дорога мне стоила дорого и на мне теперь еще два существа — жена и сын, а не работаю я уже с 10 января и тут уже сижу безработный две недели. Ну, своего счастья я все-таки дождался. Заботами брата я опять прилично одет и чувствую себя опять человеком. Итак, дорогой, ждите меня. Раз я уже сумел проделать такой большой путь: Магадан — Краснотурьинск, то от

Краснотурьинска до Тарусы доеду. Ваш любящий Коншин».

7 марта. «Милая Анюшка! Получил Ваши — твое и Любы — "юбилейные письма", порадовался хорошо прошедшему празднику и, конечно, погоревал, что не удалось мне побыть с Вами. То не было дороги из-за пурги, то дорога начинает портиться из-за тепла и весны.

Ты что-то давно ничего не пишешь об Ирине. Думаю, что отвыкла она от всех нас. Легко сказать — четвертый год живет она в Германии полнокровною и личною, и деловою жизнью, при том в условиях, таких отличных от наших.

С хлебом здесь невесело. Очереди за ним с ночи. Да, кажется, и у Вас такая же картина. А "преступная Таруса" поражает обилием преступлений. И, конечно, не потому, что она служит "зоной", а загнила здесь "верхушка". Сейчас сняты ряд работников и из райкома, и из торгующих организаций. Давно здешний аппарат требует смены.

А что же ты ничего не написала мне о состоянии здоровья Константина Николаевича? Я полон тревоги».

11 марта. Сегодня день рождения Володи.

Хмурое, серое утро. Хлопьями падает мокрый снег.

Умирает Игумнов. Вчера вечером я получил такую телеграмму: «Положение тяжелое. Берут в больницу. Приезжайте скорее».

Третьего дня вечером «видение» с Медвежьей Горы. В открывшихся дверях — Георгий Владимирович Нашатырь. Расстались мы с ним на Медвежьей Горе 12 лет тому назад. В прошлом секретарь нашего посольства в Париже. Петербуржец. Сейчас приехал, Колымы с томиком французского романа в руках, сохранив при том весь «шарм» парижанина, несмотря на четырнадцатилетний лагерный стаж.

Его приезд на один вечер, конечно, тронул меня, и мы чудесно поговорили с ним у камина.

21 марта. «Милая Анюшка! Прошла неделя после моего отъезда из Москвы, а все еще я живу одним — тяжелым состоянием здоровья, боюсь сказать, умирания Константина Николаевича. В последний мой вечер у него я долго пробыл с ним. Поговорил о завещании, и он тут же отозвался на это. Увезли его в больницу, и в каком он был состоянии? Дома оставлять его уже было нельзя. Он был не ухожен.

А вчера к вечеру со станции Тарусской пришла пешком Сахновская Зоя Александровна. Она потерпела полный крах — ее "попросили" выехать из Московской области, и она вновь без работы, без угла и без куска хлеба. Держится молодцом, бодра, остроумна, просто "героична".

С наслаждением читаю "Иван Третий государь вся Руси" Язвицкого. С первою же оказией пошлю тебе первый том.

Мой голубчик! Ярко светит солнце. Тепло. Ведь это весна. Не обмани меня и приезжай.

25 марта. Вчера вечером по радио объявили о смерти Игумнова.

28 марта, воскресенье. Аня! Напиши мне, что дало вскрытие тела Константина Николаевича? Тяжелое чувство осталось у меня от московских знаменитых эскулапов. Зажиревшее сословие. Они даже забыли о первом долге врача "не вредить". Нельзя же было месяцами вводить пенициллин каждые три часа. Да ведь этого и здоровый человек не вынес бы. И вводили-то пенициллин наугад, не определив болезни.

Со смертью Константина Николаевича, ух, как много ушло из нашей жизни, и как мы обеднели!!

Со дня его смерти хожу "сомнамбулой", ничего дома не делаю, сижу часами у камина, молюсь вместе с Вами о его душе, а вчера провожал его гроб до могилы… Я знал, что он умирает. Прощаясь с ним 14 марта, я поцеловал ему обе руки. Он не протестовал, он понимал тоже, что больше нам не увидеться. У двери я обернулся, еще раз посмотрел на него, оглядел комнату… 25 лет бывал я в ней… После смерти Володи это самая тяжелая утрата для меня.

Напиши мне подробно, что ты видела, что слышала о последних его минутах, о пребывании его в больнице, о похоронах, где похоронили».

28 марта. «Родной мой! Такая тоска, что места себе не нахожу. Думаю только, что это не в связи со смертью К. Н. Что ж, умер человек — ему больше ничего не надо. Тревожит только мысль, что если бы не было около него врачей, если бы не мудрили они, не мучили его уколами, анализами, а питали бы его хорошо да не беспокоили бы — гляди, он дольше бы протянул.

Тревожат больше живые. Отцу не платят жалованья третий месяц. Вова заработал 6 тысяч, а получить и копейки не может. Ходит мрачный, как туча… У отца все время повышена температура, а он работает 24 часа в сутки. И ты там один, когда нам нужно всем быть вместе. Много вообще грустных вещей на свете. Иногда их не замечаешь, а иногда они делаются выпуклыми и мешают жить.

Ну, теперь о похоронах, хотя думаю, что тебе все это уж так описали, что ты все знаешь лучше меня.

Чудесная была заупокойная всенощная на дому. Я такую в жизни еще не слышала. Был хороший священник, который понял,

где и около кого он выполняет обряд. Очень хорош был и хор певчих. Народу было очень много. Я с трудом выстояла 2 с половиной часа. В консерватории мы были с Марианной. Сели мы наверху, и оттуда К. Н. был похож на прежнего. Масса цветов, много чудесной музыки — все это действовало так, что я не могла поехать на кладбище. Похоронили его рядом со Скрябиным.

Ну, а теперь об Ирине. Она вышла замуж. В Дрездене была отпразднована свадьба. Как будто все по-хорошему, но обстановка там все усложняется, и я, слушая передачи из Англии и Америки, прихожу в ужас и хочу одного, чтобы она вернулась домой.

Ну, не грусти, родной. Скоро лето, будем все вместе, и нам будет веселее. Аня».

Ленинград. «Только что прочитала в газете сообщение о смерти К. Н. Больно стало на сердце… и не за него, которому уже не плохо и память о котором будет долго, долго жить среди народа… а за себя — вот еще современник, еще поредели ряды, и теперь воочию видишь, кто еще маячит, и невольно прикидываешь — чей-то черед…

И сегодня, и вчера сильная тоска глушила меня. Мысли неотступно вертелись на смерти… Мне надо поговорить с Вами, дорогой М. М., на эту тему… Я приеду к Вам, когда Вы немного переживете свое горе и когда, может быть, останется в душе место и для сочувствия мне, многогрешной.

Крепко жму руку и очень, очень жалею, что не с Вами сейчас. Н.Вревская».

Муром. «Я давно не писал Вам, дорогой М. М., а сегодня известие о смерти К. Н. вынуждает взяться за перо, чтоб поделиться с Вами ощущением горя. Я даже не знал, что мне так дорог этот сухонький старичок со строгим лицом, которого я видел последний раз за роялем на концерте, посвященном Рахманинову, осенью 1946 года. Мне больно, до влаги под глазами, что ушел из жизни этот, несомненно, хороший и чистый человек. Царство ему небесное, которое он заслужил, будя в людях чувство стремления к прекрасному своею игрой. Вы любили его, и Вы поймете мой порыв и скорбь.

Прощайте, дорогой, старый и любимый друг. Н.Печкин».

29 марта. «Милая Анюшка! Радуюсь вестям хорошим об Ирине. Ах, если бы этот брак с Александром Александровичем обернулся счастливо. Создалась бы крепкая, настоящая семья! Ничего другого не желаю для Ирины. Это самое главное в ее возрасте и состоянии. Напиши ей приглашение в Тарусу. Пора ей пожить с нами, а не то спохватится, да поздно будет.

Мое здоровье выправилось. Полежал, помылся, почитал, поработал, и все стало на свое место. А с первым пароходом и

тебя жду — это вернет мне энергию и бодрость. А тебе надо понюхать нарциссы, послушать болтовню скворцов и посмотреть на Окское море. Нам, гарикам, надо ценить все это. Пожалуйста, приезжай.

Меня все спрашивают, почему я не поехал на похороны К. Н.? Я не поехал не "по дороге", а не хотел. Лучше. Не мог видеть его мертвым. И после твоего описания — как он не был похож на себя, — чувствую, что верно мне подсказал инстинкт — не ехать. Уже при жизни, как я и говорил тебе, болезнь его так изменила, что он уже не походил на себя… Он умирал в "ложном окружении". Все окружающие его интеллигенты делали вид, что болезнь его вовсе не болезнь, что это эпизод перед санаторием в Барвихе и что жизнь будет катиться и дальше так, как она шла. А разрушение, страшное, двигалось вперед, и смерть наступила неожиданно быстро, это, должно быть, и создало то выражение его лица, которое тебя поразило… Думаю о нем беспрерывно с горечью и тоскою, и недоумением. Недоумением перед тем, как проста и строга жизнь, и как этого мы не понимаем и никогда не поймем… И мне грустно сейчас и одиноко. Миша».

Тула. «Дорогой М. М.! Примите от меня самое глубокое сочувствие по поводу кончины К. Н… У вас есть утешение: последнее лето он душою и телом отдохнул у Вас. Вы один сумели создать ему замечательные условия отдыха, комфорта и покоя. Он насладился до конца красивой природой, вашей дружбой, вашим садом, вашим домом. У Вас есть сознание, что Вы скрасили ему последние месяцы жизни, а это так огромно, что может служить утешением. Я слушала недавно "Осеннюю песнь" Чайковского в его исполнении, и такой светлой, хрустальной грустью повеяло на меня от этих звуков, что даже моя печаль неустроенной жизни, разбитых надежд, крушения всех ожиданий, показалась мне легче. И проще "делать то, что тебе предназначено, и не думать о том, что есть связь между заслугами и воздаянием"… К. Н. будет жить, конечно, и в своих учениках, и в своем творчестве. Как гениальна наука, что изобрела эту запись на пленку. Слушаешь и плачешь, и молишься, и слышишь его самого. Зоя Сахновская».

4 апреля. «Милая Анюшка! Вся прошедшая неделя прошла в памяти о Константине Николаевиче. Все, кто меня знает поближе, — все написали мне сочувственные строки. Ряд писем, написанных под непосредственным впечатлением смерти и похорон — очень сильны, и трогали меня до слез. В вашей московской толчее, конечно, "это уже прошлое". Здесь же в сосредоточенной тишине продолжает еще жить страданием и горечью утраты…

Ну, а весна идет. Прилетели скворцы и сегодня осматривали квартиры. А перед этим воробьи весело щебетали у исправленных домиков, но занять их не успели, так что дело обошлось без драки. В грядке уже зеленеет лук, оживают анютины глазки и нарциссы поднимаются все выше со дня на день. Везде, везде идет пробуждение жизни. На будущей неделе, говорят, пойдут пароходы. Помни свое обещание. Миша».

Поленова. «Дорогой М. М.! Грущу за Вас и за себя об уходе от нас Константина Николаевича. Это крупная фигура нашей культуры, и много с ним связано безоблачных воспоминаний. Но… "за благом вслед идут печали"… "Надежда не покидает, что печаль есть радости залог"…

Работаю, привыкла к заточению и относительному безлюдью. Гранки моей книги пришли. Дело с книгой подходит к концу… Когда же мы посидим с Вами и побеседуем о разных тонких и незаурядных вещах? Но, видимо, это роскошь, без которой надо привыкать обходиться. Ваша Е.Сахарова».

Москва. «Дорогой М. М.! Читаю Вашу книгу внимательно и с карандашом в руках… В литературе я профан, но мое впечатление от книги сильное, как и от "Книги о Володе". Увлекает самобытность, оригинальность способа изложения событий, и то, что книга отражает образ автора, как хорошая картина дает облик художника. Вы спрашиваете, что понравилось больше и что меньше. Сильное впечатление от "Кронштадта". Мы о нем ничего не знали. В Москве у нас этого не было, а если и было, то мы были и слепы, и глухи, и ничего не видели. В Вашем таком, я бы сказала, скупом изложении получилась яркая и жуткая картина. Возможность в скупых выражениях дать яркое представление и есть талант. Например, у Вас Вышипан — о нем несколько строчек в нескольких местах книги и два его письма, а я будто вижу его перед собою, хотя до сих пор не имела о нем ни малейшего понятия. Затем очень хорошо, что приведены письма к Свитальскому и письма к Вам после его кончины от людей, с которыми ему приходилось сталкиваться в жизни. Мне это открыло новую сторону личности Володи — его значение для окружавших его людей. Этого не было в "Книге о Володе".

Письма Ваших корреспондентов, по большей части, очень интересны. А кто этот Сергей Коншин, и что сталось с ним? Неожиданны для меня письма Розановой: какое несоответствие ее внутреннего содержания с внешностью. Все ее письма глубоки и интересны.

Дорогой М. М., то, что остается в моей душе по прочтении Вашей книги, я хотела бы передать Вам в личном разговоре. Написать все, что нужно, я не умею. И еще одно — разве книга

кончена? Ведь это 1941 год, а Чкалов, Владимир и Таруса? О.Павловская».

10 апреля. Москва. «Тепло, но расхворалась и никак не соображу, когда я могу попасть в Тарусу. Идет 5-я неделя Великого поста. На 6-й будут давать муку и еще какие-то блага. Пропустить их совершенно невозможно — ты ведь понимаешь. Возможно, мы поедем вместе после Пасхи. Ирине написала письмо и разбила ее намерения звать нас на лето в Дрезден. Предложила отдыхать ей с мужем в Тарусе. Описала красоты Тарусы, удобства, культурность налаженной жизни, твое общество и, думаю, мое предложение будет принято. Напиши и ты Ирине приглашение.

Ну, Господь с тобою. Ходила на Благовещение в церковь и так нагрешила, что лучше бы сидела дома. Аня».

Рудянка. «Дорогой мой М. М.! Итак, Константин Николаевич ушел от нас. Я думаю, как тяжела для Вас эта утрата, и Вы поймете, как я переживаю это очередное горе. Узнал я о смерти К. Н. из случайно попавшейся мне газеты. А Ваше письмо еще блуждает по Краснотурьинску.

Похвалиться своей жизнью пока не могу. Живу очень трудно и в больших лишениях. В место я заехал глухое и дрянное. Приходится отчаянно изворачиваться, чтобы не голодать. Так плохо я еще не жил никогда. С братом Анатолием расстался с большой грустью. Его дела сейчас тоже не блестящи, но он, тем не менее, очень мне помог. На прощание были с ним на очень занятных уральских именинах, где, напившись до одурения браги, мы с ним отплясывали уральскую кадриль. Сначала я с изумлением смотрел, как Анатоль лихо отплясывает, а потом и сам оказался усердным танцором. Анатоль шефствовал надо мною, объяснял, как нужно себя вести, чтоб не обидеть хозяев, и в результате предложил "на потребность" любую из присутствующих баб вплоть до именинницы 70-летней бабушки.

Большие надежды возлагаю на продажу своего рояля в Москве. Я его продам в клуб, в котором здесь работаю, получу командировку в Москву для его доставки, и тогда мы с Вами увидимся. Ваш любящий, Сергей Коншин».

5 мая. Рудянка. Мой дорогой М. М., не подумайте только, что мое положение Робинзона приводит меня в отчаяние. В отчаяние приводят, пожалуй, меня только клопы, которые нас заедают "по-уральски". Моя Рудянка — это большая деревня со всеми деревенскими нравами и обычаями, да еще с большой примесью кержацких традиций. Прочтите Мамина-Сибиряка "Три конца" и получите полное представление о моих местах. Клуб, в котором работаю, внешне близок к конюшне. Самое культурное, что в нем

есть — это я…

Напишите мне подробную инструкцию, как к Вам ехать. Я бывал в Тарусе, но или "на собственном выезде", или на велосипеде. Теперь все это не подходит для меня, и наверно, есть какой-либо другой способ передвижения. Побывать у Вас — это моя мечта. Со смертью Константина Николаевича Москва для меня опустела…

Жена сидит рядом и с большим любопытством старается заглянуть в письмо, а сын пришел с улицы с жалобой, что девчонки его дразнят: "Мишка-медведь, научи меня петь". Надо этот конфликт разобрать.

Итак, жду от Вас путевых указаний. "Не печалюсь, не сержусь". Жду от жизни новых радостей и благодарю Бога, что живу.

Ваш всегда любящий, Сергей Коншин».

7 мая. Таруса. «Милая Анюшка! Я верил тебе, а ты меня обманула. Пароходы идут давно, а тебя нет. Ну, Бог с тобою.

Ирине я написал. Очень искренне у тебя вышло: "Боже мой, если бы ты знал, как мне хочется сделать, чтоб всем было хорошо". Ну, и сделаем. Это возможно.

Работаю на усадьбе вовсю. Вчера доработался до сердечного припадка. Это ничего. Хорошо умереть весенним солнечным днем и не в постели, и не с докторами, а с Богом, под небесным куполом, где носятся жаворонки…

Встал сегодня в 6 часов, солнце, а подморозило. Клубника по «крыта белым морозным налетом, а почки распускаются "зверски", все спешит в природе уложиться в короткий срок тепла. Погреб полон воды, и мы пока блаженствуем.

А все же нехорошо обманула ты меня, лишила меня радости обнять тебя и побыть с тобою раннею весною здесь. Миша».

6 июня. Рудянка. «Мой дорогой М. М.! Ваши путевые указания получил. И дело теперь не за большим — выехать с Рудянки. Моя жизнь здесь совершенно никуда не годится. Ошибся я в ней жестоко. Платят мне гроши, а работа в клубе огромная. Все тут дорого, и я уже не раз пожалел, что поторопился с выездом из Колымы. Духом не падаю, но жалко, что из куля попал в рогожку… Завел кое-какой огородик, но к сожалению, он за 7 километров, и очень туда не набегаешься. Жители все на одну колодку — говорят нараспев с ударениями на последнем слоге, ходят, независимо от погоды, всегда в галошах, и дома в шерстяных носках — галоши снимаются при входе в дом, очень много молятся, соблюдают все старинные обычаи, но истинных христианских душ я еще не видел.

Представляю себе, как сейчас хорошо в Тарусе. Прекрасный

Вы себе выбрали уголок, и цель моя как можно скорее посетить Вас в этом уголке. А может быть, 15 лет разлуки и нас сделали чужими? А все же я одной ногой чувствую себя уже в Тарусе…

Ваш любящий, С.Коншин».

29 июня. Кокошкино. «Привет Тарусе с ее цветами, вероятно, и ягодами, с ее хозяином, под руками которого не только больные, но и растения оживают. Дом полон жизни, чистоты, порядка, и у Вас каждое утро вырывается: "Как хорошо жить на свете".

Я? Ну, что же сказать? Вырывается: "Как же я устала". Страшное слово — "прожиточный минимум". Сейчас законы диктует он. Страшно вспомнить малюсенькую долечку хлеба под Вашими, делящими ее, пальцами. Ведь врач! И могла бы быть семья!.. Страшны эти промежутки с хлебом по две недели у нас, мои распухшие ноги, а работать на полях колхоза надо… надо сено, нужен транспорт… И нет уже желания ходить на работу в школу с подвязанными веревочками галошами, в старомодном пальтишке, надевая поверх него спорок с мужского пальто в холодную погоду. Катя босиком в лесу целый день с козами, там и уроки свои учит. Дрожь пробирает при воспоминании о коммунальных условиях этою зимою. Дымящая печь, неприкрывающаяся дверь, отсутствие света и сто тетрадей ежедневно… Вам теперь ясно, как много мне достается. А отпуск? Прошел уже месяц. Строгий учет всех расходов, увы, неожиданно нарушается. 14 июня учетная за год выставка рабочего года в нашей школе. Ну, а после выставки "неофициальная часть" обошлась с обследуемых по 30 рублей! Но ведь не я одна такая! А.Крюкова».

«Уважаемый Михаил Михайлович! Я кончила читать Вашу "Книгу о Володе". Она меня поразила! Какой несчастный неповторимый человек! И как исключительно талантливо и скромно Вы сумели воскресить его и заставить жить. Все это для меня совсем неожиданно.

Я не решаюсь послать с посторонним Вашу чудесную рукопись, и я хочу говорить с Вами о ней. Если бы Вы нашли минутку времени и пришли ко мне? Спасибо Вам. Жду. Софья Федорченко».

8 июля. Рудянка. «Мой дорогой М. М.! Откуда Вы взяли, что я упал духом? Я только здорово упал "брюхом". А духом буду падать — только уж, когда совсем помирать буду. За последние 40 дней мы еще ни разу не варили обеда, потому что капиталы наши позволяют покупать только хлеб — полтора кг в день на двоих. Были силы, ходил в лес за ягодами и грибами, но сейчас и на это сил не стало. Только бы нам прожить июль, а там недалек

урожай картофеля — это будет уже громадной помощью… А на сегодня положение отчаянное. Я уже еле ноги таскаю, а работать надо очень много и энергично, чтобы все-таки выбиться в люди. С пустым желудком, без курева нужно давать веселые концерты и быть душой самодеятельности.

Ну вот, мой дорогой М. М. Написал Вам скучное письмо. А в Серпухове мы с Вами погуляем. Если Вы знаете, где там Соборная гора, то она рядом с отчим домом, и с нее как на ладони все хозяйство.

Пока крепко Вас целую и не теряю надежды на скорое свидание. Сергей Коншин».

Июль. Москва. «Дорогой М. М.! Большое Вам спасибо за милую ласковую открытку, принесшую мне столько тепла из близкой, но до сих пор неведомой мне Тарусы… Как приятно чувствовать, что, несмотря на столь часто прерывающуюся между нами переписку, существуют между нами невидимые нити, видимо, крепко нас связывающие. Благодарю Вас за приглашение быть у Вас преемником Константина Николаевича. Поверьте, что эти слова мне особенно дороги.

Четыре месяца, прошедшие со дня кончины моего старшего друга, в зависимости от настроения, кажутся мне то вечностью, то мгновением. С уходом его закончилась целая полоса моей жизни, и я стал старше на добрые десять лет. Никто теперь не назовет меня "Шуркой", никто не выругает меня и почти ни с кем я себя не чувствую ничего не значащим мальчиком. Жизнь моя, путаная и внутренне сложная, вдруг осиротела, и многое, что иной раз требует выхода, принуждено, выражаясь словами цыганского романса, "застыть и замолчать".

Вся моя семья на даче — тишина в моей комнате, разбегаются мысли, и тихая грусть, навеянная воспоминаниями, охватывает меня. Как я люблю эти минуты покоя, которыми не избалован. Как люблю я эти мгновения "отхода" от суеты жизни. Пусть все проходит, но я благодарен и за то, что есть, что проходит… До свидания, мой милый М. М. Посылаю Вам несколько Ваших писем к Константину Николаевичу. Шура Егоров».

Ялта. Никитский сад. Конец июля. «Под всей мишурой и сутолокой жизни существует иная жизнь — в юности мечты, в старости воспоминания, от настоящего бежишь в прошлое… Глядя по вечерам на огоньки Ялты, Ливадии, Алупки до маяка Фороса — Зеленого — мысль моя неизменно переносится к 1928 году. Как давно — и как близко — огоньки рейда до Новой Гаспры, огоньки высоко в горах, пряные ароматы южной флоры и шум ручья, журчавший всю ночь у домика, давшего ночной

приют. Как мне хотелось остаться тут… и как вы спешили уехать дальше: "Делать веселое лицо". Такова мудрость жизни… Вот и в Тарусе надо было делать его, а я не сумела… поддалась впечатлениям. А потом, не надо было читать "Вашу жизнь". Я написала Вам по приезде из Тарусы в Ленинград очень горькое и жесткое письмо, но не отправила, но зато и другого за 4 месяца не написала.

На обратной дороге придется несколько часов пробыть в Москве. Ах, если бы сообщение было — заглянула бы в Ваш скит. Перебирайтесь, М. М., в другое место. Цветы всюду разведете.

У меня появился 9-й внук и еще один правнук. Здорово! Другие бы радовались, а мне… грустно. Не хочется умирать, тем более, стареть. Несоответствие это подчас мучительно, но надо делать веселое лицо.

Крепко жму руку. Ваша Н.Вревская».

25 июля. «Дорогой М. М.! Рудянка моя — дыра и страшно бедна. Канифольный завод, вокруг которого зиждется жизнь, очень беден и вечно не выполняет плана. Народ здесь очень некультурный, замкнутый и жадный. Я верчусь здесь по-прежнему как белка в колесе. Работаю в клубе, детсаде, хожу за природными благами — "по грибы и ягоды", бегаю на огород, ухаживаю за ним и пользуюсь кое-какими его дарами. Но все-таки жить можно, и многое зависит от собственной энергии и предприимчивости. Рудянки у меня в плане не было, попал я на нее случайно, и постепенно стану обеими ногами твердо в жизнь. Конечно, очень грустно не доехать до родных краев, но эта перспектива продолжает быть моей отрадной мечтой, которая меня утешает во всех горестях. Особенно сильно хочу видеть Вас. Вы, конечно, понимаете, что только с Вами могу поделиться свободно и откровенно во многом пережитом и разделить свое духовное одиночество.

Итак, мой дорогой друг, мы еще поживем. Дай только Бог здоровья и сил. Сергей Коншин».

21 августа. «Милая Анюшка! Я не очень верю, что ты скоро приедешь. Это дело твое. Лето подходит к концу, и можно до некоторой степени подвести итоги "дачного сезона". Начиная с марта месяца, Таруса дала приют двадцати двум человекам, в том числе Вове с женою и детьми, Ирине с мужем и пасынком, Саввичу, тебе с Марианною и, наконец, целому ряду моих друзей: Вревской, Павловской, Перовской, Татариновой с мужем, и сейчас около меня ютятся Владимир Сергеевич Белов и Игорь Акимович Игнатенко. Музыка у меня каждый день, и превосходная. Белов первоклассный пианист, играет все. Трудностей для него не существует, и при том образован, умен. Он привел и прекрасного

скрипача, и теперь у меня звучит не только рояль, но и рояль со скрипкой.

Мое огорчение с сокращением меня на работе закончилось. "Неустранимое последствие войны", как назвали студенты-практиканты нашего главного врача, прислал за мною. По-видимому, ему нагорело. Словом, я снова работаю, а этот эпизод носит характер скверного анекдота.

Ну вот, мой голубчик, бегло обо всем. Напиши мне, как "отъехали" твои — Ирина с семейством — в заграничный вояж. С каким чувством и отношением восприняла свой отъезд Марианна? От Ирины у меня впечатление большой выдержки. Она за эти годы за границей очень "выросла", очень. Миша».

1 сентября. «Москва. Родной мой! Наши уехали. Было много волнений и суеты. Сейчас прихожу немного в себя. А вот уехали, а у меня такая тоска и пустота, что и сказать не могу. Ну, чем я наполню свою жизнь? В Тарусу мне хочется, и отец идет в отпуск, но раньше числа 15-го мы к тебе не попадем.

Христос с тобою, будь здоров и не сердись на нас с отцом. Аня».

14 сентября. Москва. «Дорогой М. МЛ Вчера в консерватории в память Константина Николаевича состоялось открытие мемориальной доски и портрета в классе № 45, где К. Н. работал в течение 49 лет. Церемония прошла очень строго и организованно. Собралось около ста человек профессоров консерватории. После вступительного слова директора консерватории Свешникова открыли мемориальную доску и большой портрет К. Н. Затем сказали слово А.Б.Гольденвейзер, Яков Зак и Мильштейн. После этого были прослушаны пьесы Рубинштейна, Лядова и Чайковского в исполнении К. Н. (запись его последнего концерта). В конце августа мы с Наташей были в Загорске и зашли на кладбище к Володе. Был вечер, заходило солнце, было пустынно и тихо. Многое вспомнилось, и стало так жаль, что в это лето не удалось повидать Вас. Ваш С.Симонов».

16 сентября. «Милая Анюшка! Стоят чудесные осенние дни. В цветнике еще много цветов. Летает паутина "золотого бабьего лета"… Гости мои — Любочка и Игорь Акимович — "чирикают", ходят за грибами и вполне наслаждаются безмятежными днями. А сегодня получил телеграмму от Ивана Ивановича Лаврова о приезде его тоже сюда. Я жду его с интересом, хотя уже и довольно гостей. Люди-то, правда, все хорошие, и гости не плохие, но сейчас время рабочее и усадьбе и дому нужно уделить большое внимание, а его отнимают гости.

Будь здорова, голубушка. Миша».

27 сентября. «Голубчик Анюшка! Я так уверовал в твой

приезд, что заказал варенец и настроился на "встречный лад", и вот машина с роялем, с О.В.Перовской, но без тебя. Накрапывал дождик. Я позвал двух соседских подростков, и с ними и шофером внесли. рояль. Тут же его вытерли и поставили на место. Как звучит, не пойму. Звучит он для меня по-новому — из "крикуна стал тихоней". Я похожу, похожу и опять подойду к нему и попробую… Много связано с этим инструментом. 23 года назад был он куплен и многому был свидетелем — хорошему и плохому… И больше всех играл на нем Константин Николаевич.

Вашего приезда с Саввичем жду. Приезжайте. Ты давно не видела осенней природы. Выпадают дни большой красоты. Миша».

В начале октября собрались у меня Аня с Саввичем и Н.Н.Печкин… Прожили что-то около десяти дней. Незабываемые дни! Саввич днями возился на усадьбе, и было отрадно его наблюдать в каких-то хозяйских делах и замыслах… Николай Николаевич или гулял, или читал на усадьбе, а дни стояли тихие и солнечные. Аня что-то хлопотала по дому и вкусно нас кормила. Сходились за едою и вечерами. Было нам в совокупности лет 260. И в этих годах крылась мудрость и умение наслаждаться тишиною, покоем, неторопливою беседою, уютом и теплом жилища. Нас никуда не тянуло, а пережитое всеми нами давало неистощимую тему для беседы. У Николая Николаевича умиленное выражение лица так и не сходило, и часто, часто он говорил: «Батюшки, да как хорошо. Вот сколько лет не отдыхал так.

8 октября. Кировоград. «Дорогой М. М.! Итак — Кировоград. Жизнь здесь понемногу налаживается. Музицирую направо и налево и очень занят. Теперь уж музыка стала моей окончательной специальностью, и я этим очень удовлетворен. А зря я ушел из Рудянки. Сейчас бы получил командировку в Москву. Теперь же это уже неизвестно, когда будет.

В ноябре прибавляется еще мое семейство, а еще у нас ничего не приготовлено и не знаю, с чего начинать. Жена говорит, надо в первую очередь большой таз, а по-моему, пеленки и какую-то кроватку.

Желаю Вам, дорогой и лучший друг, покоя, сил и здоровья. Сергей Коншин».

Октябрь. Поленова. «Очень обрадовалась Вашему письмецу, дорогой М. М. Я это время часто Вас вспоминала и хотела написать, но письмом не заменишь беседы, полной уюта и теплоты. О пенициллине расскажу при свидании, а о свидании мечтаю, когда выпадет снег и станет река — тогда: "не велеть ли в санки кобылку бурую запречь", — и прислать за Вами? Может

быть, Катерина-санница путь накатает. Письмо Ваше шло до меня десять дней. В Париже, бывало, я получала на четвертый день.

Я это время много работала. Одна тема очень интересная, это совершенно нетронутая и мало освещенная эпоха — начала упадка в передвижничестве, метания молодежи в поисках новых путей и начало соблазнов с Запада, начало декаданса. Все это отражено в переписках, в живых словах, пережито, выстрадано, кем-то потеряно, кем-то найдено. Очень было увлекательно вытащить эту темную страницу на свет.

Никитенко я читала, пользовалась им и многое люблю. Очень сильно начало, как он выбивается из рабства. Люблю все, что о Бородине и Поленовых. Особенно хороша Елена Матвеевна Бороздина, мачеха моего деда, которая приняла пятерых птенцов сиротливого гнезда как своих родных, и внесла столько теплоты в их жизнь, что они прожили счастливые годы детства и юности. Очень люблю их богомолье к Троице. Так живо написано.

Будьте здоровы. Очень буду рада Вас повидать. Е.Сахарова».

На ноябрьские праздники я уехал в Москву. Анюшка писала мне перед этим: «Не приезжать, когда можно приехать? Ну, разве это можно! Конечно, дорога страшная, но я так хочу, чтобы ты приехал. Мы не будем никуда выходить, а будем звать гостей к себе и дома слушать музыку. Привезли изумительное пианино — звучное, мелодичное. А ты приезжай, приезжай непременно». За многие годы старики — Аня и Саввич — жили без молодого поколения, одни. И жили очень мирно, за многие годы только для себя. День оба работали, вечерами раскладывали пасьянс, читали, иногда шли куда-либо в гости. Писали своим в Дрезден, ожидали писем от них. Они, несомненно, оба отдыхали, и было приятно быть в их дружном обществе — они оба будто расцвели. Жизнь у Ирины на чужбине была и сложна, и трудна. Недаром наше время — «стальное время». Это выражение я слышал недавно, как противовес времени «фарфоровому», бывшему когда-то. Конечно, это беспокоило «стариков», держало их на стороже, а все же они отдыхали.

19 ноября. «Мишенька, родной! Вот уж вторая неделя, как ты уехал из Москвы, а все еще не соберу себя, не налажу жизнь так, чтобы она ровно и покойно вошла в свое русло. Прихварывает все время отец, не здоров и не болен… У меня была большая срочная работа на машинке для него. Беспокоюсь, конечно, за своих. Словом, жизнь полна. Пиши чаще. Аня».

20 ноября. Москва. «Дорогой М. М.! Что же, говорят, Вы были в Москве, а к нам не заглянули. Почему? Очень нас вы этим огорчили.

Комната Константина Николаевича не тронута, и все вещи

по-прежнему разложены по местам. Все очень тяжело. Ввели нас в наследство, но рушить не хочется. Как будто, дядя Костя уехал. Все так же тяжело, а жизнь с ее мелочами и заботами не остановилась. Приходят ученики, просят помощи старушки и т. д. На могиле стало сейчас пусто, положили там елочки. Недавно нашли в вещах К. Н. коробочку — в ней земля и подпись: "Бросить в могилу, когда умру. К.Игумнов". Записка написана, по-видимому, давно, так как с твердым знаком. Вырыла я в могиле ямочку и землю высыпала туда. Жаль, что никто не знал об этом раньше.

Всего Вам хорошего. Ваша Нина Ушакова».

26 ноября. Загорск. «Милый М. М.! Должна сообщить Вам об очень грустном и тяжелом для меня — о смерти С.В.Олсуфьевой. Я знаю об этом уже месяца полтора, не писала же Вам оттого, что ее родные, проговорившись мне нечаянно, не велели никому говорить.

Умерла она в лагере. Господь взял ее к Себе, и ей, конечно, лучше, что она умерла. Нам только жаль ее терять. Возврат же ее домой был бы очень печален. Мне ее всегда недоставало, и я остро чувствую ее отсутствие из своей жизни. Бог помог мне увидать духовника Софьи Владимировны, которого она очень любила. Он ее записал в памянник, и ее будут каждый день поминать за упокой, что меня очень утешает. В церкви ее очень любили и чтили. Т.Розанова».

5 декабря. «Дорогой мой бесценный друг! Москва у меня в нереальных мечтах, но хорошие мечты часто сбываются, и может быть, суждено сбыться и этим. Кировоград для моей музыкальной работы оказался очень удачен. В любом другом месте, ближе к Москве, я был бы ноль…

Читали ли Вы переписку П.И.Чайковского с фон Мекк? Я ею сейчас увлечен. Я нахожусь в очень дружественной переписке с племянником П. И. — Юрием Львовичем Давыдовым. Он был когда-то на Колыме, где мы с ним и познакомились на музыкальном поприще и подружились. Сейчас он хранитель дома-музея Чайковского в Клину. Ему уже 75 лет, но еще бодр. В переписке его Чайковский часто поминает, как очаровательного племянника Юру. Тот самый Давыдов, который пленял своим тенором в Мариинском театре, но который он скоро сорвал. В Магадане он участвовал во всех наших концертах, изумляя школой и культурой.

Ах, как тянет меня к Вам и как приятно предвкушение этой поездки и встречи с Вами! Хорошо, что ходит автобус Серпухов — Таруса, но я бы это расстояние и не задумался сделать пешком. С наслаждением бы вдохнул воздух соснового бора и окских лугов.

Ну, а пока что вдыхаю кировоградский воздух, насыщенный газами и копотью. Здесь нечем дышать и опасно для легких.

Как всегда, крепко целую, люблю и всегда помню. С.Коншин».

7 декабря. «Мишенька, родной! Первый день нет сегодня дождя. Все время ужасная погода. Сегодня Екатерины. Утром сходила в церковь. Отстояла панихиду. Помолилась "об умерших и живых", попросила прощения за все, за все и поблагодарила за все, что есть.

Живем мы с отцом тихо, иногда ссоримся, иногда понемножку прихварываем. Вечером сегодня надо идти к Кате Вышипан на именины. Трудно выходить вечером, но пойти надо обязательно.

Что ты пишешь мало? Мне очень грустно и скучно, когда ты молчишь.

Жду, жду, когда ты приедешь в отпуск. Аня».

8 декабря. Владимир. «Дорогой М. М.! Вопреки возможным предположениям, я все еще состою в наличии на земле. Живу крайне замкнуто. Ни с кем совершенно не общаюсь. Народу в городе появилось великое множество, но этот народ приводит меня состоянием своих моральных центров в великое изумление. И я счел за благо погрузиться в одиночество. Так лучше… В материальном отношении, как все теперь, живу неважно. Доходы свои все растерял.

Можете верить, можете не верить, но Вас все время вспоминаю, со всем Вашим исключительным антуражем! Бывая по каким-либо делам в восточной части города, я всегда прохожу мимо окон бывшей Вашей квартиры.

Вашим постоянным, как Вы пишете, воспоминаниям о достопримечательностях Владимира — не удивляюсь. Один Успенский собор чего стоит! Я постоянный и неизменный посетитель его и не представляю, как бы мог жить без него, и не представляю, как Вы можете жить в городе, где нет церкви.

Маленькие новости о соборе: год тому назад он обзавелся стареньким, купленным после Мещовского Благовещенского собора колоколом в 105 пудов, которым 4 декабря 1947 года и огласил соборную площадь своими звуками.

Как идет мое собирательство? Вы, вероятно, имеете в виду собирательство экслибрисов? Движется, но очень медленно. Кстати, не найдете ли возможным подарить мне два экземпляра своего экслибриса, а также сообщить отчество В.Свитальского, когда родился и умер он, в каком году был отпечатан Ваш книжный знак?

От души желаю Вам всего хорошего. Л.Богданов».

10 декабря. Поленова. «Большое спасибо за письмецо. Очень

тронута приглашением на пирог, ночевку и в кино. Все три пункта с радостью бы выполнила, и думаю, что мы с Вами провели бы время не скучно и "молодо", но увы, мне все это попало не в темп, так как я уже третью неделю барахтаюсь, вылезая из ямы очередного гриппа. Одно меня удивляет, что несмотря на такое общее отравление инфекцией, я не теряю не только творческой мысли, но скажу, что особенно складно слагаются в голове те работы, за которые берусь. Очевидно, что под конец жизни так меня разобрало литературное творчество, а времени остается мало. А прежде была нагрузка ежедневности и не было той эрудиции, которая создается теперь. Все торопимся оставить след, в который перейдет наше бытие, когда нас не будет, "а бытие его останется и переходит в то, что он сотворил" (художественное завещание В.Д.Поленова).

Я нарисовала Вам любимый мотив Тарусы под снегом. Если он Вам нравится, приткните его куда-нибудь в уголок Вашего окружения.

Привет, дорогой М. М., и будьте здоровы. Е.Сахарова».

12 декабря. Кировоград. «Мой дорогой М. М.! Бесконечное спасибо за бандероль. Все ноты очень для меня хороши и полезны, вплоть до сборника опереточной музыки, который пойдет у меня в ход на музыкальных занятиях в детсадах. Под мелодии Легара и Оффенбаха пойдут у меня уличные хороводы и пляски. Одним словом, я теперь богат, чему очень рад.

Не могу не поделиться и другою радостью — наконец, сумел купить себе приличный костюм и принял приличный вид, что поднимает меня морально. Вечером здесь должна будет идти "Кармен" (из Свердловска), надеюсь, что она состоится. С 1932 года я оперы еще не слышал, и это будет мой первый выход. Скоро Вы будете я Москве, а мы опять не встретимся…

Крепко обнимаю и целую, С.Коншин».

21 декабря. Брамбах. «В санатории доживаю последние дни. 26-го уже буду дома.

Так казалось много — целый месяц, а прошел быстро, несмотря на полное одиночество. Читала, гуляла, вспоминала… Дочитала "Ивана Грозного". Ваше письмо получила 19-го. Привез Саша.

Неужели об этом нужно думать, дорогой! Ничего не боюсь, а вот думать на темы, "отдающие смертью", боюсь, ужасно боюсь. Тем страшнее стало, когда поняла там, у Вас в Тарусе, и еще раз здесь, продумав и вспомнив всю свою жизнь до последних мелочей, что все самое главное в жизни, интересное, яркое, так или иначе связано с Вами, что это уже такая связь, которая становится частью самой себя и от которой "некуда деться".

Много раз за это время пыталась написать Вам — не получалось. И так часто было больно, что не удалось поговорить, рассказать Вам о том, что нахлынуло, что пережилось в Тарусе… А здесь Алабино. Выпал снег, лежит белый, спокойный, пушистый, согнулись под ним ветки старых огромных елок, и тишина. Хожу одна в лесу и вспоминаю дороги, ели, повороты, сочетания красок, "келью под елью" и многое, многое другое. Вспоминаю ощущения радости, огорчения… Всю жизнь знала, что есть остров, где всегда сумею найти самое себя.

Принуждаю тебя подумать: если оторваться — становится пусто и холодно. Потому и так страшно, потому так боюсь. Заменить невозможно. Вы же знаете, дорогой, что и настоящего в жизни не удалось найти, и единственная радость — это дочка. Жизнью же своею — та, что прошла, — недовольна. Каждую минуту ощущаю боль оттого, что не могу сейчас быть с мамочкой, отцом, Вами. Самое дорогое, близкое, нужное, родное и так далеко. Бунтовать, искать что-то, не могу, не хочу, устала. Хочу быть с Вами — больше ничего не хочу.

Скоро Новый год. Ваш день. Берегите себя. Берегите маму и живите долго, долго — так нужно, дядя Миша.

Вспомните обо мне в канун Нового года. Крепко целую. Ваша Ирина.

P. S. Относительно Вашего вопроса (о завещании) — пусть решает мамочка за меня. Я с ней согласна в том, что все должно сохраниться в целом — душа не разбирается на части. Я согласна на все, лишь бы это было так, а деньги меня не смущают».

Глава вторая. КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ИГУМНОВ

«К живым мы должны быть внимательны. К мертвым справедливы».

Вольтер

Познакомились мы с Константином Николаевичем в конце 1922 года. Ему было под пятьдесят, мне на десять лет меньше. В такие годы дружба завязывается нелегко. Наша завязалась.

Об Игумнове впервые я услышал в 1902 году в Москве. Уже тогда его имя было известно тем, кто любил музыку и посещал концерты. Затем многие годы в моей памяти провал, и лишь только я 1918 году я впервые его увидел и услышал. В это время Игумнов уже пользовался славою лучшего пианиста в стране.

Жизнь в эти годы военного коммунизма была героична. Старый быт был нарушен. Новый еще не сложился. И в эти-то годы становления нового порядка в стране я часто слушал Игумнова в разных клубных концертах, то у медработников на Тверской, то в клубе писателей на Поварской, то где-то еще. Помещения клубов были нетоплены, но народ, собиравшийся там, был горячий, отзывчивый. И Игумнов всегда имел большой успех. И часто мы видели его, уходящим с бумажным свертком в руках. То был гонорар — кусок хлеба, селедки, реже масло, мясо.

Выступал он всегда в пиджаке, держался просто. Иногда выходил в зрительный зал и бывал в каком-то окружении. Он не был красив. Но сама его некрасивость была особенная: высокий рост, не толст, открытый большой лоб. Крупные черты лица, брит. Темные волосы, и притом особая посадка фигуры и только ему присущая походка и жестикуляция рук. Угловат, но весь как-то сам по себе, ни на кого не похож. Увидишь — раз и навсегда запомнишь, что это Игумнов.

У меня сохранился от того времени такой его стихотворный портрет, по-моему, хорошо его передающий (В.А.Свитальского):

В ногах пружинки шантеклера,
Поклоны, тики Паганини,
На Вас гляжу я из партера
Сквозь многочисленные спины.
И вижу Вас совсем не здесь.
Бокал вина, остывший чай,

Варенье вот, а сахар здесь.
И вы брюзжите невзначай.
Причудливо плетенье ног,
В плечах каприз и в жестах спазма.
Замрет веселый анекдот
Улыбкой горького сарказма.
Как мало знают Вас с эстрады,
Великий милый человек,
Сухой и чопорный микадо,
Так редко говорящий нет.

Жил Константин Николаевич в то время в двух небольших комнатках в квартире академика Д.Н.Ушакова на Сивцевом Вражке. Одна комната с двумя роялями — приемная. Другая — спальная. Обстановка была очень скромна, как скромен был и весь быт его. Своей прислуги и своего хозяйства не было. Обслуживала много лет его Маша с верхнего этажа этого же дома. И обслуживала плохо. Пыль не всегда была стерта, обед холодный и невкусный, белье часто не свежее. А у самого Константина Николаевича никаких хозяйственных талантов не было. И забавно было наблюдать его, беспомощного в своем желании принять и угостить гостя. Он помногу раз ходил то за чашкой, то за ложкой, забывая по дороге, что ему нужно и зачем он пошел.

Позднее семья Ушаковых приняла более живое участие в его быте, ну а все же он оставался неухоженным старым холостяком.

В 1926 году Константин Николаевич переменил две своих комнаты на одну большую в той же самой квартире и тогда же вывез чудесную старую мебель из Ленинграда, и у него стало очень просторно и красиво, но в обиходе ничего не изменилось — та же Маша и тот же остывший обед, и та же неухоженность одинокого человека.

Начиная с 1925 года, Константин Николаевич каждое лето стал проводить у меня в Алабино, а к осени уезжать на Кавказ — в Нальчик, Тиберду, Тифлис. Он очень любил эти места.

Алабино, бывшее имение Демидова, князя Сан-Донато, в 40 км от Москвы, было выстроено известным зодчим Казаковым при Екатерине II. Там был изумительной красоты центральный, восьмигранный дворец с колоннами и куполом и четыре флигеля по малым граням дворца с полукружиями входов. К усадьбе вели двое въездных ворот, и по линии въезда высилась церковь-усыпальница Демидовых. Усадьба примыкала к старинному парку, спускавшемуся к реке Десне.

Все было запущено. Дворец понемногу разрушался. Веяло

грустью прошлого, и было тихо, уединенно и очень красиво.

Константину Николаевичу полюбилось Алабино и летом, и зимою. Здесь у него был свой уголок. Он был избавлен от забот о быте, и он здесь готовился к своим концертам и много, одиноко гулял. Здесь же он часто принимал и своих гостей и учеников. Тут у него побывали: академик Д.Н.Ушаков, его бывшая ученица В.В.Бахрушина, артист Камерного театра А.А.Румнев, братья Коншины. И ученики: Егоров Александр, Берлин, Иохелес, Бубликов, Мидынтейн, Пульвер и еще, еще кого я не помню.

Играл Константин Николаевич каждый день, за редкими исключениями, по шести часов. После ужина, часам к одиннадцати ночи, садился играть «для нас». И на эту ночную музыку окрестный народ собирался у дома. Он не любил, чтобы его просили играть. Просьбы его сердили, но после ужина, собираясь у меня в комнате, очень большой и с камином, мы рассаживались по своим местам и постепенно прекращали разговаривать. К. Н. понимал, к чему это ведет. Делал ряд кругов по комнате и у рояля садился за него, долго еще елозил по стулу, словно приноравливаясь к инструменту, и затем начинал играть. Не могу не отметить одной черты. Никогда К. Н. не «бренчал» на рояле, не шалил. Всякий раз ему нужно было время, чтобы «собраться», но раз он сел, он уже начинал играть серьезно.

Заканчивал он свою игру «для нас» всегда «Колыбельной песней» Чайковского. И мы уже знали, что это конец его игре и уже никто из нас не решался просить его играть дальше.

Играл он чаще всего Чайковского, Шопена, Бетховена, Шумана. Одно время листа, потом Шуберта, Рахманинова. С годами он вещи технически трудные постепенно оставлял играть. Помню, мы были как-то с ним на концерте его ученика Пульвера. Играл он между прочим труднейший концерт Брамса. «Боже мой, — сказал К. Н., — мне бы его технику, что бы я мог дать».

Музыкальная память К. Н. была очень большая. Он много играл для нас и всегда без нот, и репертуар его был велик.

Гулял он в Алабине много, и чаще всего один. Природу он знал и любил. Он умел вглядываться в небо и по облакам (цирусы и нимбусы) и по направлению ветра предсказывал погоду. Он очень много знал растений с их латинскими названиями, и если и не был заправским ботаником, то не был чужд ботанике. Он с живейшим интересом отзывался на все в природе, следил за переменами в ней, и забавно было наблюдать его волнение весною в ожидании квакания лягушек, и как он ходил «проведывать» их на пруд в парке.

И еще одна черта. Он никогда не стремился показать своих знаний, похвалиться ими, и потому часто поражал нас

сведениями, которых у него никто не подозревал. Он был начитан. Знал литературу. Читал не быстро, но постоянно. Следил за новинками, проявлял к современности искренний и постоянный интерес.

Он безоговорочно принял Октябрьскую революцию, и никогда я от него не слышал никакого брюзжания или недовольства на советскую власть. В этом особенно сказалась его мудрость и мудрое восприятие жизни.

Как в своей внешности, так и в проявлении своего внутреннего «я» — он имел свой шарм, единственный ему присущий. Тонкий юмор, уместная насмешка, ничего слишком, хорошая шутка, ничего лишнего. Умно, неторопливо, с пошибом степенного старомосковского стиля. И как он врос в Москву! Какими тысячами нитей он был связан с нею! Сколько он мог рассказать о прежней дореволюционной Москве.

Молодым профессором Московской консерватории К. Н. дает уроки музыки в богатой семье Ремизовых в Замоскворечье. Ученица — горбатенькая Лизочка, уже на возрасте. Амфилада комнат — гостиная зеленая, голубая, концертный зал. Лизочка за роялем. Профессор похаживает, посматривает, но профессору приключилась маленькая нужда. Куда идти? Под каким предлогом отлучиться? В доме особо строго стыдливый стиль. Там даже слово «пьяный» считается неприличным, грубым для произнесения его вслух и заменяется: «Он был п», или «немного п». И вот профессор, задержавшись у одной из пальм в соседней гостиной, выходит из затруднения, и урок продолжается без нарушения приличий.

Проходит много лет. Брат Лизочки, старый, одинокий чудак из тех, кто, по Анатолю Франсу, украшают жизнь, занимает пост председателя Общества вспомоществования бедным студентам Московского университета. Он весь благоволение и доброта. Ну, а затем революция, и он становится военным писарем какой-то небольшой воинской части, выслуживает пенсию и является в концерты Константина Николаевича во фраке, красноармейских сапогах и в защитного цвета штанах. К. Н. неизменно посылает ему билеты на свои концерты и встречается с ним за чашкою чая. Конечно, он помогает ему. Заботится о нем. А он, умирая, отказывает К. Н. последнее, что осталось у него — чудесные старинные большие часы. К.Н. очень гордился ими и любил их.

И сколько таких старых обломков прошлого ютилось около К. Н… Я думаю, что и сама его бережливость и скупость для себя проистекали из желаний выкроить пенсии этим старикам.

В 1930 году Константин Николаевич, переходя зимою от консерватории Большую Никитскую, упал и потерял сознание.

Что явилось причиною — осталось невыясненным. То ли это был микроинсульт, то ли удар оглоблею в висок. К. Н. внесли в квартиру профессора Ламма, тут же в здании консерватории. Здесь он пролежал три недели, после чего я с большим страхом перевез его домой к нему. Дело обошлось на этот раз благополучно. Последствий никаких не осталось. Раннею весною К. Н. переехал в Алабино и прожил там до осени.

Последний раз К. Н. довелось быть в Алабине под старый Новый 1933 год. Мы были одни. Сидели у горящего камина и неторопливо разговаривали, и не предполагали, что мы накануне разлуки на три года с лишним. В стране шли аресты. Хватали направо и налево. Уверенности в завтрашнем дне не было ни у кого. Шли аресты и врачей, притом из близкого ко мне круга. Конечно, это отражалось на нашем самочувствии. Оно не было подавленным, но тревога и беспокойство не оставляли нас. После двенадцати часов К. Н. сел за рояль и долго играл. Закончил, как всегда, «Колыбельной песнью».

* * *

8 января 1934 года. Клин. «Дорогой Михаил Михайлович! С Новым годом, и желаю, чтобы он в Вашей жизни был более легким, чем прошлый. Пишу Вам из Клина, из дома-музея Чайковского, куда я выбрался на три дня.

Сегодня ходил гулять, дышал чистым ароматным воздухом, не похожим на московский. Вспоминал Алабино. Я здесь редко бываю, но всегда чувствую себя взволнованным, когда попадаю в комнаты Петра Ильича. Вообще, здесь много возбуждает воспоминания, связанные с молодыми моими годами. Здесь все тот же неутомимый директор Жегин, который стал что-то прихварывать — у него склероз, и он мне что-то мало нравится. Мы с ним одних лет, но, думается, он гораздо прочен, чем я. А впрочем, кто знает?

Чувствую себя довольно хорошо и гораздо лучше, чем летом. К профессору Хорошко мне не хочется идти. На меня эти осмотры действуют удручающе. К Фромгольду я, может быть, и зайду, потому что он пришелся мне по душе. Да и пичкать он, по-прежнему, не охотник.

В Ленинграде я был. Играл три раза (симфонический, сольный и для студентов консерватории). Очень волновался перед первым концертом, но на эстраде чувствовал себя удовлетворительно. Частично очень удачно играл и на прием не могу пожаловаться. Надеюсь, что путь мой на ленинградский

рынок теперь значительно расширился.

Может быть, еще поеду на Украину, но это еще журавли в небе.

Не помню, писал ли я Вам, что с лета тяжело болен Нейгауз. У него после дифтерита приключился полиневроз, с августа месяца лежал без всякого движения. Теперь ему значительно лучше, и его удалось устроить в Кремлевскую больницу.

В двадцатых числах января выпускные экзамены. Кончают: Егоров, Сорокин, Флиер и другие, кого Вы не знаете. Из-за этого мне и на каникулах приходится заниматься педагогикой, которая мне зело надоела. А знаете ли? Ваш проект моей поездки к Вам мне не кажется таким уж неосуществимым. Все дело в том, как сложится с самочувствием и прочим к весне.

Пока прощайте. Ваш К.Игумнов.

P. S. Меня очень радует спокойный и какой-то просветленный тон Ваших писем. Нечто подобное я замечаю и у моего тифлисского приятеля Ананова. У него тоже явилась какая-то мудрая нота. Не всем удается ее в себе выработать.

На днях мне сообщили одно стихотворение Сологуба, которое мне нравится. Не ручаясь за полную точность, хочу его Вам привести:

День только к вечеру хорош,
Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.
Закону мудрому поверьте:
По утру — все смятение и ложь
И копошащиеся черти,
День только к вечеру хорош,
Жизнь тем ясней, чем ближе к смерти.

Хотел бы, чтобы это ощущение ясности, иногда мне знакомое, упрочилось бы окончательно».

3 октября 1934 года. Москва. «Дорогой Михаил Михаил Михайлович! Шлю Вам свой "шоколадный привет". В ближайшем будущем напишу Вам или по почте, или с оказией. Живу благополучно. В Тиберде я все-таки подправился, но в общем, конечно, приходится соблюдать более правильный режим. Всего Вам лучшего. К.Игумнов».

27 августа 1935 года. Горки, близ Апрелевки. «Дорогой Михаил Михайлович! Мне хочется написать Вам письмо из местности, лежащей по соседству с Алабиным, а именно из Горок, куда я, вопреки своей всегдашней манере уезжать на юг, попал на летний отпуск.

Живу в бывшей усадьбе Кругликовых в двух комнатах под

присмотром (питательным) родственницы Веры Владимировны (Бахрушиной). Перевез рояль с немалыми волнениями и тратами. Не знаю, хороши ли будут результаты отдыха.

Жить мне здесь покойно, местечко красивое, но, конечно, это не то, что отдых в Тиберде. Во-первых, я переехал только 23 июля. Во-вторых, погода на половину времени угнетающая, в-третьих, я много занимаюсь.

Что касается нервной системы, то она, несомненно, пришла в нормальный вид, ну а так что-то физическое — не все мне нравится. Хорошо было бы протянуть отпуск на сентябрь и уехать хотя бы к морю, да я как-то совещусь начинать об этом речь. А между тем, год будет, как всегда, перегруженным, да и выступать я собираюсь. Думаю, что в музыкальном отношении Горки сделали свое дело. Отсутствие желания и способности сносно играть, бывшее у меня весною и наводившее меня на мысль о полном постарении, ликвидированы. И я знаю, что сейчас, после работы, стал играть лучше.

Вот тут-то и вопрос: прекратить ли работу для поездки на юг и для запасения силами, или же продолжать ее и попутно еще полечиться?!

Надо Вам сказать, что к концу года у меня наступил большой упадок настроения. Как-то все надоело и ничего по-настоящему не занимало. Причин этого можно назвать несколько: однообразие впечатлений, связанных только с музыкой и еще более с педагогикой, утомление от работы и жюри. Всесоюзного конкурса, консерваторские "мелочи жизни", после января почти полная артистическая бездеятельность, наконец возраст, в котором острее ощущается одиночество, образовавшееся вследствие смертей и отъездов близких лиц. В результате получилась большая апатия. Не знаю, не из-за нее ли я и сюда попал. Впрочем, это не совсем верно: мне нужно было проверить себя работою — могу ли я еще двигаться вперед. Иначе бы я, конечно, уехал в Тиберду, где всегда молодею и встречаюсь с людьми из другого мира. Это ведь ужасная вещь: или видишь только людей своей профессии, или пользуешься домашним окружением людей хотя и очень милых, но которые совершенно далеки от двигающих пружин твоей жизни, как художественных, так и личных и всяких иных. По-видимому, надо все-таки урывать время и бывать на людях, а то ведь последний год ни ко мне никто, ни я никуда.

Ну, будет изливать свои настроения. Жду от Вас письма с большим интересом. Очень мне хочется сходить в Алабино, но пока все грязь мешает. Ну, пока, всего лучшего. Жму руку. Ваш К.Н.Игумнов».

* * *

В начале 1936 года я вернулся в Москву, и в первый же день моего приезда Константин Николаевич пришел ко мне.

Все тот же. Постарения я не заметил. Может быть, в ногах чуть-чуть меньше уверенности. Но голова свежа. Интерес ко всему большой. Смешное в жизни схватывается и отмечается ярко и живо.

Тургенев говорит: «Сохранить до старости сердце молодым и трудно, и почти смешно. Тот уж может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянство воли, охоты к деятельности». У К. Н. все это было налицо. Он жил полною артистическою жизнью и играл с каждым годом все лучше и лучше. А это давалось ему мудростью возраста, познанием неузнанного раньше и крепким стремлением вперед.

Он был бодр. Весел и мил в обращении. Успех сказывался в нем благородною уверенностью в себе, скромным достоинством и доброжелательностью к людям.

Последующие затем годы мы постоянно общались в общем кругу знакомых, бывая и у него, и у меня. Встречались в концертах. После своих концертов К. Н. приглашал к себе своих друзей, и эти вечера у него бывали очень приятны. Компания собиралась мужская. Разговор был непринужден, прост, весел. Подавалась легкая закуска, сухое виноградное вино и чай. Хозяйничали сообща. Музыки, как правило, не бывало. Засиживались допоздна и расходились с чувством хорошо проведенного вечера.

Живя часть лета в Москве, К. Н. любил бывать за городом и особенно любил Коломенское. Там он бывал подолгу и часто. Одно лето жил на даче под Истрою, и я погостил у него. Помню чудесные зеленые просторы, реку, купанье, молодежь с ее веселым гамом и К. Н. как душу всего этого.

Большим событием этих предвоенных лет в жизни К. Н. было награждение его званием Народного артиста Республики и юбилей его по поводу 45-летней артистической и 40-летней педагогической деятельности.

Я не стану повторять того, что всем известно. Отмечу только, что в этом юбилее было много искреннего признания и настоящего дружеского участия. Мне особенно нравился в эти дни торжеств юбиляр. У него нисколько не закружилась голова от большого успеха. Конечно, ему было приятно получать сотни приветственных телеграмм, слушать превозносящие его речи, получать много подарков, но это не мешало ему вносить свою поправку в «юбилейную шумиху» и с юмором передавать

смешное, неизбежное во всех этих случаях.

Наступило лето 1941 года. Константин Николаевич поселился в отдельном домике у композитора Василенко на даче в Туристе.

Ему было там одиноко. Он хандрил. Не знал, куда ему поехать. Затем начались воздушные тревоги. Переносил он их тяжело. Тянуло в Москву, из Москвы на дачу. И в это время благодетельная забота правительства увезла его с другими лицами так называемого «золотого фонда страны» в Нальчик.

* * *

17 сентября 1941 года. Нальчик. «Дорогой Михаил Михайлович! Получил от Вас весточку из Чкалова. А я ее ждал из Москвы. Ну что же, видно, на старости обоим нам пришлось покинуть привычную жизнь.

Я пока живу здесь неплохо, но, конечно, не радостно и очень одиноко. Никого по душе как-то нет.

Насколько прочно и окончательно ли мы тут засели — кто скажет? Между прочим, здесь Качалов, Немирович и т. д.

Живу в гостинице. В доме отдыха не пришлось устроиться из-за комнаты. Таким образом, я на отлете, а быть может, это и лучше, чем быть там всегда на виду. Всего лучшего. К.Игумнов».

2 октября. Нальчик. «Дорогой Михаил Михайлович! Вы спрашиваете, какие мои планы на зиму? Да ведь я ничего не могу сам строить, так как все зависит от Комитета по делам искусств.

На этих днях несколько человек выхлопотали себе разрешение на возвращение в Москву. Комитет такого возвращения не поощряет. И я думаю, что причин для возвращения сейчас действительно нет, так как для нашей жизни в Москве ситуация нисколько не лучшая, чем в тот момент, когда Комитет принял решение о посылке нас сюда.

Здесь пока живем нормальной жизнью. Бытовая обстановка хорошая. Но погода за последние полторы недели совсем закапризничала не по сезону. Стоят холодные, дождливые (ленинградский ноябрь) дни, а за последние два дня даже все покрылось мокрым снегом. Горы серебряные даже там, где этого не полагается. Сегодня появилось солнце, и вокруг все стаяло, конечно, на равнине.

Насчет Ташкента у меня сейчас особого намерения не имеется. Два месяца назад — может быть, это и было целесообразно, но теперь туда, по слухам, переведены все музыкальные учреждения Ленинграда. И следовательно, там я

мог бы оказаться абсолютно не у дел. Здесь я все-таки с коллективом и, следовательно, имею гарантию не быть забытым.

Вы спрашиваете меня — есть ли здесь у меня близкий мне человек? Ответ, в сущности, может быть только отрицательный, если иметь ввиду связь, коренящуюся в прошлых совместных переживаниях. Ламм и Нечаев живут в доме отдыха в трех километрах с лишним отсюда, и их я почти не вижу. Среди остальной публики есть люди просто неприятные, и есть люди — неврастеники, или просто чужие. Во всяком случае, нет никого, кто знал бы меня близко как человека, так что дружеского общения здесь у меня нет. Это очень, конечно, жаль и даже страшит, если случится болезнь или еще какая-нибудь беда.

Вчера получил от брата Сергея Николаевича письмо и беспокоюсь о нем. Он в Харькове, а там, конечно, очень беспокойная обстановка. Письмо хотя и лишенное нервозности, но очень печальное, почти прощальное. Ему ведь 77 лет, жене 71, и я не знаю, как им пособить, и боюсь, что я бессилен.

Напишите, что знаете о Шуре Егорове. Я ничего о нем не знаю. И вообще мало знаю о москвичах, так как все ограничиваются краткими открытками. Всего хорошего. Ваш К.Игумнов.

P.S. О моем времяпровождении сообщу дополнительно. В общем, без дела скучновато. Физически чувствую себя хорошо. Пожалуйста, пишите».

2 ноября. Нальчик. «Дорогой Михаил Михайлович! Надеюсь, что Вы мое заказное письмо получили. Живу я в Нальчике по-старому, хотя после нашего приезда общая картина несколько ухудшилась. Я бы лично хотел провести зиму здесь, если ничто не изменится. Но за последнее время имеется тенденция переселиться всею группою в Тбилиси. Это должно разрешиться на днях. Ушаковы и мои Леоновы уехали в Ташкент. Как бы не попал туда и я.

Против Тбилиси я ничего не имею, только там дорого и менее удобно, чем здесь, ну а здесь нет заработка. Зарплата от консерватории поступает туго, да и надолго ли.

Мих. Мих., я дам адрес на случай если со мною прервется связь, для справок обо мне. Не сердитесь.

Целую. К.Игумнов».

23 ноября. Нальчик. «Дорогой Михаил Михайлович! Сообщаю Вам, что вся наша группа уезжает завтра в Тбилиси. Оснований для отъезда в наличности нет, но Немирович взгромоздился, а за ним потянулись (как бы не сдуру) остальные.

Я-то в Тбилиси, вероятно, неплохо устроюсь, ну а наши многосемейные середнячки там завоют, так как там жизнь дорога.

Давно о Вас ничего не знаю — писал Вам трижды. Ваш К.Игумнов».

19 декабря. Тбилиси. «Дорогой Михаил Михайлович! Уже две недели, как вся наша группа переехала сюда. Здесь сейчас жизнь течет почти обычным порядком. Устроился я хорошо. Имею комнату с роялем и домашний стол. Минус, что я в не нагорной части, что немного далеко, и что в комнате (как и везде здесь) не тепло. Очень приятно, что здесь можно выступать. Когда найду конверт, напишу закрытое письмо. От брата из Харькова нет вестей. Боюсь за него.

Всего доброго. К.Игумнов».

2 мая 1942 года. Тбилиси. «Дорогой Михаил Михайлович! Я давно Вам ничего не писал и очень в этом каюсь перед Вами. Живу я благополучно. Питаюсь хуже, чем два месяца назад, но все же сносно. Похудел сильно, но как будто здоров. Вот не знаю, насколько мне при похудании полезны будут серные ванны, которые мне хочется брать, чтобы ликвидировать кое-какие подагрические неполадки. Настроение, в основном, конечно, не радостное, но все же спокойное. Своей работой на фортепьяно я удовлетворен. Выступал очень удачно (кроме одного раза), играть стал лучше и нашел кое-что новое. От педагогической работы все же совсем удержаться не удалось. Имею в неделю семь часов. Убедился я, однако, что эта область мне стала еще более чужой, чем раньше.

Пока мы все здесь сидим, и думаю, что раньше августа-сентября нас никуда не перебросят. Осенью, однако, если только Москва окажется нереальной, можно ждать, что нас переселят в Саратов, где сейчас находится часть Московской консерватории. Меня это мало радует. В Саратове жизнь хуже здешней, да и зиму там переносить будет труднее.

В смысле атмосферы здесь, правда, не так уж хорошо. Сочувствия кругом мало, но все же здесь нет тех тягот, которым подвергаются саратовцы.

Как вообще сложится моя жизнь после войны — не ясно. 17 апреля умер Д.Н.Ушаков. Это большая утрата. Прежде всего умер человек, выражаясь стилем Лескова, правильный, до конца правильный. За двадцать лет я не помню случая, когда бы эта "правильность" его покинула. Так кое-когда я с ним не во всем согласен, но это были случайности. Словом, пока в Москве в нашей квартире все было благополучно. Как бы теперь не заселили ее.

Мне вчера стукнуло 69 лет. Цифра эта в своем значении мне делается чужой. Однако люди моего возраста не очень уж устойчивы.

Вчера у меня были кое-кто из москвичей: Ламм, Нечаев. Посидели, попили вина, но закусить можно было только как-то уцелевшими персиковыми консервами. Мне приятно было видеть московские лица.

Ну, вот и все. О брате моем Сергее Николаевиче и жене его ничего неизвестно… Ну, будьте здоровы.

Целую. К.Игумнов».

18 августа. Тбилиси. «Дорогой Михаил Михайлович! Чувствую себя благоприлично. Акклиматизировался, и жару не чувствую. Пока живем благополучно, но обстановка все усложняется. Как бы не опоздать с отъездом, который возможен в случае необходимости. Но никак из центра не получим указаний, на какой город ориентироваться. Пока остаемся, но надолго ли?

Всего доброго. Ваш К.Игумнов».

6 сентября. Еревань. «Переехал Еревань. Адрес консерватория. Привет. Игумнов».

27 сентября. Еревань. «Дорогой Михаил Михайлович! Совершенно неожиданно для себя я оказался на работе в Ереване. Случилось это, вопреки взятому было решению ехать в Ташкент. Вся группа выехала из Тбилиси 31 августа через Бревань, Баку, Красноводск. Выбор города для переезда не был строго определен Центральным комитетом искусств. Указывали — Ташкент, Саратов (он, конечно, никого не привлекал), Свердловск, Фрунзе и т. д. Я неохотно уезжал из Тбилиси, долго колебался (мне предлагали там профессуру). Наконец, решил ехать в Ташкент. Правда, там я едва бы хорошо устроился, но там Ушаковы, и мне представлялось со всей ясностью, что я им могу быть моральной поддержкой. Затем там семья сестры, наконец, там Ленинградская консерватория и связанная с этим возможность общения и вращения в музыкальной среде. Все это я учел и выехал на Ташкент. Условия посадки в Тбилиси были жуткие: затемнение (поезд отходил в 2 часа ночи), отсутствие носильщиков, вещи, которые оказались разбросанными по разным местам и т. д. Словом, я разнервничался и, вероятно, это сыграло роковую роль и вызвало во мне неспособность выдержать характер: я дал себя уговорить остаться в Ереване встретившим нас на вокзале, при поезде, представителям здешней консерватории и комитета. Мои сотоварищи меня не удержали от этого шага и по большей части сочувственно относились к моему поселению в Ереване. Так, например, Ламм, Мясковский, да и Гольденвейзер, думали, что мне здесь лучше. И вот я в один час сломал маршрут и уже месяц здесь.

В бытовом отношении жаловаться нечего, но морально чувствую себя очень тягостно.

Здесь тихо и спокойно пока, и в случае осложнений обещают переправить, но сейчас я связан: с первого ноября начну работать. Угнетает то, что нельзя быть уверенным в соединении со своими близкими. Что делать? Ехать один я никуда не в силах. Я сделал рискованный шаг — на всякого мудреца довольно простоты.

Вашу открыточку получил. Спасибо. Скоро еще напишу, а пока прощайте. Глупо, пожалуй, поступил, ну да Бог милостив. Ваш К.Игумнов».

1 ноября. Еревань. «Дорогой Михаил Михайлович! Живу я в Ереване очень спокойно. Недоедания не чувствую. Работаю в консерватории без утомления пока, сам для себя работаю часа три в день или около того. Жизнь течет размеренно, без суеты и без тбилисского крика. Словом, характер бытия подходящий к старческому возрасту. В лунные вечера выхожу (был в опере и балете), в трех симфонических концертах, еще в трех-четырех знакомых семьях. Утром сегодня был в живописном музее, а вечером смотрел опять "Большой вальс". Пишу по возвращении из кино. Картина напомнила Ленинград, где я ее видел впервые, и снова почувствовал, как невозвратно ушло все прошлое и как мы далеко в недолжной мере ценили блага мирной жизни.

Как видите, жить в Ереване неплохо. Очень восхитительная погода. Сегодня было градусов 15 тепла. Ночами перепадают дожди, днем солнце. Как будто, судя по некоторым сведениям, зиму проживем спокойно. Ну, а насчет зимы предсказать трудно.

Физически чувствую себя благопристойно, и килограмма три вернул. В смысле настроения днями чувствую раскаяние, что не соединился с ташкентцами. Иногда грущу и вспоминаю далекое и близкое прошлое. Иногда опасаюсь, что уйду из жизни, не увидев ближних. В общем, далек от истерии и спокоен.

Знаете ли Вы, что 11-го умер ленинградский Николаев. Мне жаль его. Он ведь был мой старый приятель (моложе лет на 7–8).

Ну, простите, всего доброго. Ваш К.Игумнов».

23 апреля. Еревань. «Дорогой Михаил Михайлович! Не писал я Вам целую вечность. Даже не знаю, когда писал последнее письмо. За то время центральным событием была моя поездка с 20 по 30 марта в Тбилиси. Поездка была удачна, выступления прошли хорошо. К сожалению, погода была убийственная: сплошь мокрый снегопад, сырость, грязь.

Как у Вас обстоят дела с Москвою? Я одно время был уверен, что к осени буду там, а сейчас что-то опять уверенности нет. А все-таки, пора бы возвращаться. Как только там сложится моя жизнь теперь? С квартиры давно сведений не имею.

Живу я благополучно, но очень вяло и обособленно. Годы берут свое, и физически чувствую себя хуже, чем осенью. Питаюсь

удовлетворительно, хотя очень все вздорожало.

Недели две назад я, было, очень расстроился. Дело в том, что я решил показаться врачу. Обратился к уже пожилому, имеющему очень солидную репутацию, и поведал ему все свои немощи. Он меня осмотрел и назначил лечение. Когда я к нему пошел за повторением лекарства, случайно увидел свою историю болезни, где отмечалось: "нереагирование зрачков". Хотя никаких новых, не бывших ранее болезненных явлений не испытываю, но все же я очень взволновался и подумал, что я получил билет на поездку в область паралитиков. Попросил разъяснения. Мне сказали, что изменения это не сегодняшнего дня, что это ничего не имеет общего с параличом и что йод не даст развиться каким-либо тяжелым явлениям. Не знаю, так ли все, как он сказал, но понемногу я ожил и начинаю думать, что все наладится. Вы можете себе представить мое настроение — в чужом городе, без близких, в возрасте 70 лет.

Сейчас я ободрился. Да и кто знает — не ошибся ли он со зрачками? Я же решил никаким невропатологам больше не показываться — ну их, все равно кровле йода ничего не придумают. Очень досадно, что Ваше мнение по поводу этого инцидента я не смогу узнать скоро. Конечно, многое могло бы иначе сложиться, если бы мы встретились 30 лет назад. Завтра пошлю Вам телеграмму и возвещу, что посылаю нужное и важное письмо.

Теперь — обо всех и обо всем. Румнев в Алма-Ате и спрашивает о Вас. Месяц назад в Ташкенте умер мой зять Д.Н.Леонов в возрасте 86 или 87 лет. Есть еще слух (сообщил из Саратова Мильштейн), что будто бы убит на фронте Юра Бубликов. Если это так, то жаль его. Несуразный он был, но талантливый и, по сущности своей, неплохой Ну, довольно. Будьте здоровы и благополучны. Часто вспоминаю алабинский быт. У меня здесь в архитектурном сборнике есть фотография дворца. Вообще, старых друзей и старые переживания я очень оценил, а в эти дни особенно. Жму руку и крепко целую. Ваш К.Игумнов».

* * *

А 24 ноября 1943 года Сергей Михайлович Симонов написал мне: «Приехал Константин Николаевич. Приезд этот ожидался давно и с нетерпением, но произошел скромно и незаметно.

К. Н. появился среди нас так, как будто двухлетней отлучки не было. По первому взгляду он мало изменился, и только с

эстрады заметна старость в фигуре и походке, но не в игре. За неделю по приезде он выступил два раза: в симфоническом с «Фантазией» Чайковского и сольным концертом Чайковского. Играл изумительно. На фоне наших светил он является, безусловно, самым своеобразным пианистом и самым тонким музыкантом».

3 декабря того же года я получил второе письмо из консерватории от Н.А.Домашевской. Она писала мне:

«Была на концерте Игумнова. Играл он дивно, и только Чайковского, особенно хорошо прозвучали "Времена года". Лучшее исполнение этих пьес невозможно. Программа концерта была колоссальная. Впечатление осталось незабываемое. После концерта мы пошли его поздравлять. У него в артистической была масса народу. Симонов подошел к нему после всех, и ему уже завидовали, что он пожмет последний руку Константина Николаевича. Но вышло иначе. Сначала К. Н. меня не узнал, но кто-то подвел меня к нему, и мне на долю выпала честь коснуться руки этого гения».

Увиделись мы с Константином Николаевичем на встрече Нового 1944 года у меня в мой приезд в Москву из Владимира. Все также мил, жив и обаятелен. Засиделись допоздна. Глубокою ночью пошел его провожать старыми московскими переулками от Вспольного до Сивцева Вражка. Сколько раз было хожено этою дорогою, тихими безлюдными часами в предрассветные сумерки.

Еще продолжалась война. Как все изменилось вокруг нас и в нас самих. А скольких не стало. И Боже мой, как скоро глохнут следы человеческой жизни. Ну, а вот мы оба живем.

У Константина Николаевича не было ощущения скорого конца. Отец его жил долго, что-то лет до восьмидесяти шести. Константин Николаевич полагал последовать его примеру. Это была завидная и мудрая установка. Он как-то нутром понимал, что старость приходит тогда, когда ей поддаются. И в этом была его сила и его секрет молодости.

Жил я в те годы во Владимире, лишенный права жительства в Москве. В Москве бывал не редко и не часто, и всякий раз бывая, встречался с К. Н.

Летом 1944 года К. Н. собрался ко мне во Владимир и 19 июля писал мне:

«Дорогой Михаил Михайлович! Вот уж и июль кончается, а все еще не разделался с консерваторией. Планы мои на дальнейшее все еще не приняли стабильную форму, но полагаю, что хотя бы часть. августа я смогу провести у Вас. Поэтому очень Вас прошу, если ничего в Ваших предположениях не изменилось, сообщить мне, что нужно мне для поездки и для жизни во

Владимире подготовить. Раньше начала августа я выбраться не могу, так как мне нужно кое-что подработать с Мильштейном. Мне предлагали прожить август в доме отдыха в Поленове, но я, несмотря на уговоры Симонова, отказался. Во-первых, потому что, думаю, во Владимире спокойнее, и во-вторых, потому что и Вы были бы вправе на меня обидеться. Долго я у Вас едва ли смогу прожить, так как в сентябре собираюсь в командировку в Еревань и Тбилиси. В это время там будет не утомительный конкурс, и меня зовут в жюри. Думаю, что не стоит отказываться, хотя и колеблюсь иногда в связи с дальностью расстояния.

В общем, чувствую себя в среднем, но думаю, что я бы совсем помолодел, если бы на мне не лежал груз литературных обстоятельств. Ведь даже во Владимире мне придется что-то расписывать о своем "творческом пути", как теперь принято говорить. А право это скучно и, думаю, бесполезно в сущности. Надо все-таки с этим покончить, чтобы свалить эту обузу. Вообще, будущая зима не сулит мне спокойствия. Класс собрался большим, чем мне надо и желательно. Играть еще не собираюсь перестать, а для этого необходима свежесть, а откуда ее взять?

Ну, довольно скулить. Буду ждать от Вас подробных указаний — путевых и прочих. Ваш К.Игумнов».

Шли недели, прошли все указанные Константином Николаевичем сроки, а он все не ехал. Наконец, 24 сентября я получил от него такое письмо:

«Дорогой М. М.! Вы на меня, наверное, махнули рукою и, конечно, вполне правы. Виновата не обычная скверная черта моего характера, а скорее всего, то болезненное физическое и психическое состояние, в котором я находился последнее время и из которого только теперь начинаю вылезать.

Все лето были лаборатории, рентгеновский кабинет, консультации, йод, витамины, хвойные ванны, массаж.

Вот этим я и занимался.

Тонус улучшился, и на полтора месяца я уезжаю в Еревань и Тбилиси. Особого желания ехать нет, но отсюда надо исчезнуть, а то я моментально опять скисну. Зимы побаиваюсь — она у меня будет загруженная, а сил очевидно поубавилось. Ну, будет об этом.

С неделю назад открылась выставка армянских художников. Она оставляет очень хорошее впечатление. Много свежего. Каким-то радостным отношением к жизни от нее веет. Моя небольшая статуэтка, не понравившаяся Вам по фотографии, в действительности оказалась очень живой и удачной и встречает сочувствие.

Ну, пока прощайте. Хорошо бы с Вами поскорее встретиться.

Всего доброго. Ваш К.Игумнов».

Приезд Константина Николаевича во Владимир состоялся только в следующем году. В июле я получил от него телеграмму:

«Свободен с двадцать пятого. Можете ли прислать машину, и когда. Сообщите. Игумнов».

К указанному сроку я выехал за ним на прекрасной машине Владимирского облисполкома и благополучно доставил его к себе. Намечалось, что К. Н. выступит на областном съезде врачей, созванном в это время, но когда мы посмотрели с ним инструмент, это оказалось невозможным.

Пожил он у меня месяца полтора, и пожил отлично. Его многое занимало во Владимире, древней столице Владимиро-Суздальского княжества. Знаменитый собор XII века с фресками Рублева. Золотые ворота. Княгинин монастырь. Село Боголюбово. Церковь Покрова на Нерли. Наконец, само здание областной больницы, в которой К. Н. жил, построенное при Павле. Здание это было воспето губернатором и писателем в 1802 году князем Иваном Михайловичем Долгоруким в его стихотворении в «Хижине на Рпени»:

Вот двор, где пылкий Глеб княжил.
Батый пришел и в гневе яром,
Как волк ягнят, одним ударом
Владимир весь испепелил…

Мой взор от сих печальных сцен
Других искать стремился видов
Новейших памятник времен
Встречает замок инвалидов.

Тут состраданье и любовь
Дают убежище заслугам,
Голодным хлеб, врача недугам,
И юную питают кровь.

Да и люди, каких К. Н. встречал во Владимире, тоже занимали и развлекали его. А я писал тогда в своем дневнике: «Две недели уже живет у меня Константин Николаевич. Мы помещаемся с ним в моей небольшой комнате в самом здании больницы. Сожитель он прекрасный. В нем нет ничего старческого. Он непритязателен. Деликатен. Очень мил и ровен в обращении. Жить с ним одно удовольствие.

По вечерам он, моя сестра и внучка играем на террасе у сестры в простые дураки ("играть в подкидные — полнительно").

К. Н. эта игра доставляет истинное удовольствие. Его увлечение игрою заражает и нас. Все входим в раж и весело и беззаботно проводим час, другой. Обидно одно, что К.Н. не может уже делать длительных прогулок, как он любил. Гуляет, но недалеко, и всегда один».

В начале лета 1946 года я переехал в Тарусу, маленький городок на Оке.

Константин Николаевич знал это место. В 1914 году гостил у Перцова в его имении Игнатовское, бывшее графа Бутурлина, и как только я поустроился в купленном мною доме, приехал ко мне.

Приехал больным. С трудом вышел из машины. Беспокоил радикулит. Слабость, головные боли.

Лето 1946 года было жарким и сухим. К. Н. сначала полеживал в саду. Затем в песке на берегу Оки, и очень скоро «вернул себя себе». И как встарь в Алабино, принялся за работу. Играл ежедневно не меньше четырех часов в сутки, а вечерами играл еще для нас после отдыха за карточной игрой все в те же простые дураки. Ставили и шарады. Это было наследственно в купленном доме. Он раньше принадлежал С.В.Герье и Надежде Александровне Смирновой, артистке московского Малого театра. От них оставался кое-какой театральный гардероб и реквизит. К. Н. принимал в шарадах самое живое и непосредственное участие, и я вспоминаю его, между прочим, в роли священника у аналоя, венчающего юную пару. На нем вместо епитрахили — полотенце. Вместо фелони — фартук. А он с самым серьезным видом вычитывает знаменитые слова: «Жена да убоится мужа». И как это было подано! И как он волновался!

11 февраля 1947 года. «Дорогой Михаил Михайлович! Давно все думаю написать Вам, но я неисправим и все откладывал. Спасибо за поздравление. Как будто мой путь завершен и чего-либо еще ждать или желать не приходится в области жизненного положения. Теперь я подошел к эпилогу, и будет плохо, если я проживу его самотеком, как, к сожалению, прожил всю жизнь.

Никогда я не умел, а пожалуй, и не очень к этому стремился, себя организовать, а сейчас в старости это было бы легче по причине затихания страстей и вместе с тем и труднее из-за понижения жизненного тонуса и убыли физического благополучия.

Пока меня поддерживает сознание, что творчески я еще жив, но долго ли это продлится? Я поневоле вспоминаю Л.Толстого, когда-то сказавшего мне, что только добившись в искусстве и вообще в жизни осуществления своих желаний, человек способен служить Богу. Я не хорошо передаю его мысль, но уточнять не

стану. Факт в том, что на конец жизни хотелось бы прочно обрести душевный мир и как-то повернуть свое отношение к людям и миру на более деятельный путь.

В сущности, я, по чьему-то выражению, "человек, который хотел", и моя лень в переписке — яркая к тому иллюстрация. Я всегда хочу письменно беседовать с друзьями, но не делаю этого. И так в очень многом.

Видите, тон мой сегодня довольно минорный. Отчасти это может быть обострено болезненным состоянием. Я последнее время часто гриппую и даже не выхожу по нескольку дней. Форма не тяжелая, только трахеит и нос, но все же это неприятно.

Последний мой Бетховенский вечер (4 февраля) очень мне удался и на многих оставил исключительное впечатление. Но сейчас я немного завял. Я должен был ехать играть в Ленинград (на 26 февраля), но едва ли поеду, так как боюсь, что к этому сроку еще не развяжусь со своим недомоганием. А знаете — мои ноги и все суставы в этом году совсем умно себя ведут. Видно, хорошо прожарило чти я тарусское солнце.

Как приятную новость сообщу, что Вера Владимировна Бахрушина восстановлена во всех правах и на днях окончательно водворится здесь.

Вообще же кругом много тяжелого, и у нас в доме атмосфера не веселая.

У меня посетители довольно редки. Рад был недавно повидать Родионова. Он на меня очень благотворно действует. Видаю кое-когда Шуру Егорова. Ему нелегко, но он молодец, не раскисает. Румнев часто уезжает в Ленинград, где принимает участие в постановке кинокартины «Золушка».

Ну, до свидания. Будьте благополучны во всем. Кланяйтесь "хранительнице Вашего очага". Всегда Ваш, К.Игумнов».

Мое поздравление и «завершение пути» в приведенном выше письме касаются получения К. Н. ордена Ленина.

Летом 1947 года Константин Николаевич опять пожил в Тарусе месяца полтора. На этот раз он приехал еще слабее и еще больнее, и поправка его давалась труднее. Беспокоили глаза. Головные боли, кашель. Вял, слаб, раздражителен. Но понемногу день за днем все это ушло. И он снова стал играть и готовить на этот раз уже свой последний концерт. Общество этим летом в Тарусе собралось большое и ему приятное. Молодая художница Файдыш-Крандиевская предложила ему писать его портрет. К. Н. охотно согласился. Портрет писался на воздухе, у меня на террасе, К. Н. терпеливо позировал и очень доволен остался своим портретом.

По вечерам играли «в дураки». Желавших принять участие в

игре было так много, что не стало хватать колоды карт. Душою игры по-прежнему оставался К. Н… Это были веселые и полные смеха и шутки час-полтора. К. Н. очень отдыхал и развлекался за этою немудрою игрою, и она ему была просто необходима. Читать вечерами он не мог, как не мог и гулять по темноте. А тут общество веселое, молодое, оживленное — все в смехе, шутке и движении. И со всех сторон Тарусы тянулись москвичи на эти «дураки».

В начале сентября К. Н. собрался домой. Подали машину. Отъехали пять километров, и машина не пошла дальше. Подвернулась райкомовская машина и привезла К. Н. обратно. Вечер этого дня прошел очень уютно у горящего камина. К. Н. не сердился на неудачу с отъездом. Был в духе, вспоминал Алабино и вдруг прочитал на память стихи Володи Свитальского:

Термометр века — фабрик трубы
Взамен задумчивых колонн,
И положил на полку зубы
В рабочей блузе Аполлон,

Не занавес, а тишь антракта
Совсем не смерть, а только сон.
Промчится тройка прежним трактом,
И бубенцов раздастся звон.

Ветшают моды на идеи
Как на толстовки, на штаны,
Предугадать никто не смеет
Бутонов будущей весны.

Докурят индустрии трубы,
Умоет руки Аполлон,
И улыбнутся снова губы
Спокойной стройности колонн.

От камина перешли к роялю. Прозвучали «Времена года» Чайковского. А затем, как всегда, К. Н. закончил свое выступление «Колыбельной песней». И никто, никто из нас, слушавших его, затаив дыхание, не мог себе представить, что мы слушаем его в последний раз…

На следующий день Константин Николаевич уехал в Москву.

Увидел я его в половине декабря. Ему нездоровилось. Держалась температура до 37,5—37,8. Чувствовать себя больным начал уже в начале декабря и концерт 3 декабря провел уже с

трудом. Я забеспокоился. Врач из поликлиники «ученых» трактовал это заболевание как грипп. Анализов не сделал. Я связался с ним, вызвали лаборанта и на другой день получили очень неблагоприятный анализ крови, дающий основание думать об остром заболевании крови.

Начался ряд консультаций с видными врачами Москвы, и начались бесконечные вливания пенициллина, такие утомительные для больного.

В больницу, даже Кремлевскую, К. Н. ехать отказался. Серьезно больным себя не считал и сердился, что пропускает сроки для назначенных концертов в Ленинграде. Одетым полеживал он на диване, интересовался всем, что делается на Божьем свете, немного почитывал и принимал своих друзей.

Шли недели, и температура не только держалась, но становилась все выше и выше. Слабел, но на боли не жаловался. Самое тщательное обследование не дало очага болезни. Повторные анализы крови продолжали быть очень плохими.

В половине января с тяжелым сердцем уехал я к себе на работу в Тарусу. Ушаковы держали меня в курсе состояния здоровья К. Н.

27 января 1948 года. «Температура все время высокая. Настроение плохое. Очень худеет. Получил Ваше письмо. Благодарит и думает, что в Тарусу попадет не раньше, как месяца через четыре».

На следующий день Константин Николаевич сам написал несколько строк: «Дорогой М. М., по словам Марии Сергеевны (врач) мое состояние находится в таком виде: 1) есть похудание, 2) печень заметно уменьшилась. Температура держится. Козлом еще не скачу и не собираюсь».

9 февраля. «У нас дела такие: температура утром и вечером — 38,4. Ворчит ужасно. Все надоело, и надо обратиться к тайнинскому старику. Ест плохо. Всеми и всем интересуется. Пенициллин через 4 часа круглосуточно, а это ему очень тяжко».

19 февраля. «Не понимаем, почему Вы нам не пишете. Константин Николаевич волнуется. Самочувствие у него плохое. Глотать ему больно, и болит язык. Ест со скандалом. Напишите ему, пожалуйста».

23 февраля. «Самочувствие плохое. Слабость ужасная. Сильно выросла печень. Опять будет консилиум. Мы Вас ждем».

5 марта. «Дорогой М. М.! Мы так и не дождались Вас, а как бы нужно было Вам еще повидать Константина Николаевича.

Я был у него сегодня после перерыва в 12 дней и убедился в резком ухудшении его состояния. Он почти не может говорить и потерял веру в свое выздоровление. Уже и взгляд у него по ту

сторону. И ясно, что он умирает.

Сколько продлится это состояние — неизвестно, но оно безнадежно. Еще пробует спрашивать о каких-то вещах земных, о музыкальных делах, но где-то он уже вне этих интересов.

Если Вы хотите застать его еще со свежей головой — поторопитесь приехать. Мне кажется, что конец близок. Лечить его, вроде как, уже и нечем больше. Ваш А.Румнев».

Десятого марта я получил телеграмму: «Положение тяжелое. Берут в больницу. Приезжайте скорее».

Пятнадцатого марта вечером я вошел в комнату Константина Николаевича. Полумрак. На месте дивана кровать. В комнате воздух тяжелобольного. К. Н. один. Я подошел к нему — он дремал. Я сел около и стал ждать, когда он откроет глаза. Ждал я недолго. Хриплым чужим голосом К. Н. сказал: «Пить». Я подал ему. Он с трудом сделал несколько глотков, посмотрел на меня молча и вновь закрыл глаза.

Прошло сколько-то минут. К. Н. опять открыл глаза и спросил: «Когда приехали?» И помолчав, добавил: «Рано Вас потревожили». Я поцеловал его в лоб. Поцеловал ему руки.

Пробыл я у него долго. Присмотрелся к нему. Обслужил его. Ушел поздно ночью с одним чувством — «все кончено».

Последующие три дня, бывшие в моем распоряжении, я не отходил от него. Сознание его было ясным. Он во всем отдавал себе отчет. Его личное «я» оставалось нетронутым, игумновским. Жестокая слабость часто повергала его в забытье, но когда он открывал глаза — владел всеми своими пятью чувствами.

По его просьбе я написал письмо к его далекому другу с теплым прощанием и приветом, а также мы поговорили с ним о его «последней воле». Эту тяжелую тему он провел спокойно и вдумчиво и в тот же день поручил своему приятелю Родионову оформить завещание.

18 марта я уехал на свою работу, а Константина Николаевича на следующий день перевезли в Кремлевское отделение Боткинской больницы.

22 марта. «Дорогой М. М.! Сегодня в консерватории видел Егорова, и он рассказал мне, что был у Константина Николаевича в больнице. Лежит от в Кремлевском отделении, что всего там три человека, но все три очень тяжелые. К. Н. плох. Видно, нам уже не встретиться с ним.

Ужасная потеря для искусства и для консерватории. Сергей Симонов».

24 марта. «Дорогой Михаил Михайлович! Сегодня придя в консерваторию в шесть вечера — узнал о смерти Константина Николаевича.

Как ни естественна смерть человека в 75 лет, к тому же тяжело больного, все же эта весть прямо ошеломила.

Я не мог ни слушать, ни что-либо делать в консерватории. Да и не я один. У всех чувствовалось состояние пришибленности. Ощущение какой-то катастрофы. Непоправимого несчастья.

Потеря эта для нас совершенно незаменимая. Сергея Ивановича Танеева в свое время называли "совестью консерватории". Такой же совестью был и Константин Николаевич.

Такой образец служения искусству, служения страстного и бескорыстного, как потребности всей своей натуры — у кого теперь встретишь? И при всей мягкости и деликатности, какая несгибаемая принципиальность, стойкость и ясность убеждений.

Э, да что говорить! На кого мы теперь будем смотреть, с кого пример брать?! Сергей Симонов».

27 марта. «Дорогой Михаил Михайлович! В пятницу 19-го Константина Николаевича увезли в больницу. С утра в этот день у него собрались: Мильштейн, Эльяш, Ушаковы, я. Его приодели. Пришла машина, принесли носилки. Я, чтобы немного разрядить атмосферу, предложил всем выпить по глотку вина за его здоровье и за благополучную дорогу. К. Н. тоже чокнулся и пригубил. Потом простился со всеми.

Уложили его на носилки, закутали в одеяла и вынесли… Это было очень тяжело, так как все понимали, что живой он сюда больше не вернется никогда.

В больницу с ним поехали Ушаковы. Поместили его там отлично. Уход и питание превосходные. Чувствовал он там себя прилично.

В среду 24 марта мне позвонили из больницы о резком ухудшении его состояния. К трем часам я был там. Это был час обеда, и к нему не пустили.

В вестибюле собрались — Ушаковы, Егоров, Мильштейн и я. Здесь мы узнали, что ночью у Константина Николаевича было сильное кровотечение и он очень ослаб.

И вот, когда мы ждали — подошла няня и сказала: "Что же Вы здесь. Он скончался…".

Лежал Константин Николаевич спокойный и строгий. На следующий день было вскрытие, показавшее, что К. Н. умер от миллиарного туберкулеза. Все его органы были им поражены.

27 лет связывала меня с ним самая близкая дружба. Его сердечность и разумный совет. Его юмор. Его тонкое понимание людей — сколько раз они помогали мне и играли решающую роль в моих поступках.

И "Колыбельная песнь" Чайковского, которой он заканчивал

обычно свои "клавирабенды" в Тарусе и которой он закончил свой последний концерт 3 декабря, звучит в ушах и сердце. Александр Румнев».

'В тот же день. «Дорогой Михаил Михайлович! 5-го в пять часов вечера мы перевезли тело Константина Николаевича в его комнату и положили на двух столах, покрытых белым.

В 9 часов вечера началась первая панихида. Собралось больше 20 человек. Настроение у всех было приподнятое и возвышенное. Очень горячо отнеслись ученики старые и юные.

На следующий день в девять вечера состоялись Парастаз и отпевание.

Раздал я 340 свечей, и их не хватило. На отпевании были и пели Обухова, Степанова, Козловский, Мигай. Пел большой хор певчих. Служба прекрасная. Казалось, что огонь в душах горит. Многие плакали.

Дорогой М. М., грусть у меня глубокая. Все время чувствую, что перед ним и за него виноват. Пишу рассеянно и больше писать не могу. К.Родионов».

27 марта. «Дорогой Михаил Михайлович! Сегодня мы хоронили нашего Константина Николаевича. С утра его тело было перевезено в Большой зал консерватории. Около 10 часов пройти в зал и даже приблизиться к консерватории уже было нельзя. В 12 часов началась гражданская панихида. Половина залы, у эстрады, где стоял гроб, утопала в зелени, венках и живых цветах. Музыка длилась четыре часа. Все виды и роды музыкального искусства послали последнее "прости". Оркестр. Квартет. Орган. Хор. Певцы. Певицы.

Перед лицом смерти все опять и опять звучало неразрешимой загадкой…

Жизни новой
Заря блестит и мне.
И встретимся мы. Скоро
В неведомой стране…—
пела Обухова.
Подожди немного,
Отдохнешь и ты…—
пел Козловский.
Сердце молчит,
путь не ведом…
— пела Дорлиак.

В четыре часа похоронная процессия двинулась по Никитской. Огромные толпы народа стояли вплоть до

Кудринской площади, откуда машины с телом, венками и провожатыми пошли быстрее.

Могила Константина Николаевича была приготовлена в ряду со Скрябиным, Рубинштейном и Танеевым.

Стоял яркий солнечный день. Блестели на солнышке древние купола и башни монастыря. Начались речи. Их было немного, и это было хорошо.

Наступила минута молчания. Гроб стали опускать в могилу. И в это время гулко ударил колокол монастыря. За первым ударом протяжно раздался второй, и начался мерный звон ко всенощной. Это была последняя музыка на земле, проводившая Константина Николаевича в могилу.

Как мне горько, что в этот тяжелый час я не могу обнять Вас и пожать Вам руку. Сергей Симонов».

Глава третья. ТАРУСА (1949–1953)

Тысяча девятьсот сорок девятый год мы встретили с еще не угасшей скорбью о Константине Николаевиче и нарастающей тревогой о здоровье Саввича. А он болел и не болел. Работал и полеживал. Молчал и не жаловался. А жизнь со своими «злобами дня» и жутким существованием советского человека при «культе личности» не давала времени на чем-либо долго остановиться и задуматься.

Уже третий год я работал в Тарусской больнице, но за все годы моей врачебной деятельности не чувствовал себя так не у места, как здесь. Коллектив больницы был неплохой. Пришибленный, конечно, робкий, ну а все же хирург Павел Дмитриевич Ивановский был личностью незаурядной и прекрасным хирургом. Большой честности и чистоты, этот человек совсем не сумел взять от жизни ему положенное. Не сумел, а быть может, и не захотел. В описываемое время ему уже ампутировали одну ногу (эндоартериит). Это же грозило и второй ноге. Кроме того, он перенес тяжелую семейную драму. Все это, конечно, давило на него, но не сделало из него ни брюзги, ни меланхолика. Он мог и хорошо посмеяться, и хорошо отозваться на шутку.

Инфекционист Ольга Петровна Черняева, из хорошей семьи, была глубоко порядочным и скромным человеком. Она уже была на закате врачебной деятельности и дорабатывала до пенсии.

Педиатр Ганыпина и терапевт Степанова были людьми и врачами новой формации, не очень культурными, но добродушными и неплохими. Ну а главный врач, он же заведующий райздравотделом, Симонов — молодой парень, коммунист, да при том раненый в последнюю войну в ногу и вследствие этого «свой в доску» — был страшным явлением. В глубокой провинции он окончил рабфак, а затем мединститут в Смоленске. Был чудовищно безграмотен и невежествен. Считался он акушером и гинекологом. Брал взятки. А надо было послушать его выступления!!! И я до сих пор не понимаю, как долго не могли его разглядеть ни районные власти, ни областной отдел здравоохранения. Но когда разглядели, выгнали в чистую. Тут уже не помогли ни «красная книжечка», ни «боевые заслуги».

Один разговор с ним.

Я: «Школьники вернулись с копки картофеля грязные и завшивленные. Необходимо предоставить им бесплатно баню и санобработку, потому что не всякая семья может заплатить за баню по два рубля за человека».

Симонов: «Заплатють. Пусть меньше булок жруть»…

А булок как раз-то и не бывало в Тарусе тогда.

А вот он, этот современный герой, и убогая обстановка больницы чрезвычайно меня угнетали. И здесь я впервые понял, что не только человек красит место, но и место красит человека.

Жил я в Тарусе круглый год, выезжая в отпуск обычно в декабре. Но где было проводить его? В Москве меня ловила милиция. И тогда я стал выезжать в Ленинград. Там было проще. Я останавливался у доктора Ольги Павловны Ленской, на Моховой. И былмне там хорошо, как дома. А Петербург я любил и много часов, проводил и на улицах его, и в Эрмитаже и Русском музее. Там было плохо топлено. Очень скудно освещено. Не хватало служителей, и часть зал бывало закрыто. И все же очарование Северной Пальмиры было велико.

А жизнь в Тарусе укреплялась. Становилась с каждым годом удобнее. Процесс этот шел медленно, но шел. С питанием тоже становилось понемногу легче, но понемногу. Ни сахару, ни жиров еще не было. Деревня все время подвергалась организационным перестройкам и не успевала приходить в себя. Мясо и картофель покупались на рынке и, конечно, по рыночным ценам. Спрос превышал предложение. Рыбы с каждым годом становилось все меньше. Ее долго позволяло себе глушить толом районное начальство а затем в Оку сливались отработанные отходы с заводов. И у Калуги рыба пахла одеколоном, а у нас керосином.

Работою я себя не загружал и ни на какие совместительства не шел. Я очень ценил и свой досуг, и свое осенне-зимнее одиночество. Дом постепенно становился уютным и обжитым, где каждая вещь обстановки нашла свое место и приобретала характер постоянности. Нехороши были подозрительность местного органа НКВД и его постоянный надзор за мною. Приставленный к дому милиционер «полтора Ивана» был моим частым посетителем. Придет всегда сконфуженный. Посидит. Посмотрит домовую книгу. И неловко заминаясь, как-то неловко и уйдет.

А из Москвы от Ани шли вести.

14 февраля 1949 года. «Отец последние три дня оставался дома. Уверяет, что здоров, а я не верю ему. Принимал кальцекс, немного работал, а больше полулежал на диване».

14 марта. «Болел отец, да и сегодня с температурой ушел на работу. Что было с ним? Грипп? Мне кажется, что врачи, когда не разбираются в болезни, то говорят "грипп" или "нервы". Но в сущности говоря, ничего другого у отца не обнаружили. В легких спокойно. В горле чисто. Кашля не было, болей каких-либо тоже не было. Желудок в порядке, а температура 39,3—38,2. И так в

течение десяти дней. Ушел сегодня на работу. Удержать не могла».

19 марта. «Отец болен. После гриппа был выписан на работу. Сходил один день и вот неделю лежит с воспалением легких. Высокой температуры не было. Самая большая была один день 38,4, а потом держалась 37,2—37,4. Два дня температура утрами нормальная».

29 марта. «Что у нас? Вчера отец был в комиссии. Продлили больничный лист еще на неделю. Нашли, что в легких все в порядке, и посоветовали выходить на воздух. Проделали все анализы, был на рентгене. Нашли, что сердце соответствует возрасту. Надо жить тихо, не переутомляться… А он устал, замучился без работы — и я его понимаю. Работает сейчас дома. Около него все время люди… Не скажу, чтобы мне это нравилось, но ничего не поделаешь».

24 марта. «День смерти Константина Николаевича. Была в консерватории на вечере воспоминаний и открытии выставки его памяти. Выставка произвела на меня удручающее впечатление. Чувствуется, что никто не приложил ни времени, ни любви. Поставили две или три витринки, где поместили какие-то мелкие снимки личного характера. Собралась толпа народу, но никто не сказал ни слова — потолкались и разошлись. Вечер воспоминаний тоже не лучше. Единственный человек, который тепло и с любовью нарисовал творческий путь К. Н., — это Мильштейн. Неплохо сказал еще А.А.Егоров, но этот больше касался личных отношений. Все остальное длинно, скучно, не нужно. Затянули эту часть ужасно, и времени для концерта почти не осталось. На другой день была на панихиде в церквушке, где К. Н. имел обыкновение говеть. И опять почувствовала, как все это без души. Да и время было назначено неудачно, когда все еще были на работе. Панихида была маленькая, без певчих. Священник был хорош. Из консерватории был один Райский… Аня».

Пасха в 1949 году была 11/24 апреля. За несколько дней до нее я, как обычно, поехал в Москву и Загорск. Саввич не работал и числился выздоравливающим после воспаления легких. Я осмотрел его. Никаких остаточных воспалительных явлений в легких не нашел. Температура у него была нормальная, общий вид — да, бледен, будто истомлен, но бодр, считает себя здоровым и стремится работать. В Начале мая ему предстояла командировка в Беловежскую пущу. Обставлялась она комфортабельно, и я подумал, подумал и разрешил ехать, если, конечно, не будет перемены к худшему. Так и порешили. Саввич уехал в Пущу. Аня же на неделю поехала ко мне в Тарусу.

15 мая. Москва. «Мишенька! Неделя прошла в тревоге. В день моего приезда у отца температура к вечеру поднялась до 38, а затем через два часа снизилась до 37, и все время в этом держится. Сделали электрокардиограмму. Просветили легкие. Анализ крови показал падение гемоглобина с 75 до 62 и высокое РОЭ — 50. Перепугалась я безумно. Врач-терапевт, частный и очень хороший, считает, что все дело в сердце, что возможен даже маленький инфаркт. Хочу знать от тебя, можно ли его в таком виде везти в Тарусу?»

26 мая. «Ну вот, родной! Часа два тому назад свезли мы отца в Яузскую больницу. Мне трудно было решить, что лучше сделать: везти ли его в Тарусу, или устраивать в больницу. Мнения врачей сошлись на одном: лучше проверить все сначала в клинической обстановке, а потом уже ехать на отдых. Главное, высокое РОЭ… Сколько его продержат в больнице, никто сказать не мог. Ты думаешь, что я поступила неправильно? Но и отец так хотел…

Написала сегодня Ирине все подробно. Нужно, чтобы она знала в каком состоянии отец».

1 июня. «Мишенька, родной! Что же теперь будет дальше? Последняя электрокардиограмма показала на инфаркт сердца. Уложили в постель так, что и шевелиться нельзя. Чувствует он себя хорошо. Температура днем и утром нормальная, вечерами 37. Чего можно ждать?

Я жду, что вот-вот появятся мои из Дрездена, и тогда при первой возможности я увезу отца в Тарусу».

3 июня. «Дорогой мой! Состояние отца приличное. Четыре дня нормальная температура весь день. Болей нигде нет никаких. Хорошо спит.

Вчера звонила Ирина по телефону из Берлина. Ну, ты представляешь в каком она состоянии. Обо мне не беспокойся — я здорова».

13 июня. «Дорогой мой! День сегодня порадовал меня. Анализ крови хороший. Обследовали ухо, горло, нос, глаза — все хорошо. Рентген грудной клетки ничего плохого не дал. Посев на туберкулез отрицательный. Температура несколько дней нормальная. Одно время думали, что инфаркта сердца нет, но вчера смотрел его профессор с группою врачей, и опять решили, что инфаркт был. На этом основании решили задержать отца в больнице еще недели на четыре, а то и на пять. Я огорчилась ужасно, ну а потом мне стало стыдно — это все-таки лучшее из всего, что могло бы быть, и я поблагодарила Господа Бога».

23 июня. «Мишенька, родной! В последний мой визит к отцу он ужасно мне не понравился: бледный, замученный, — и мне безумно захотелось увезти его из больницы. Обстановка там

типично больничная. В палате девять человек. Воздух плохой, разговоры противные. И в глазах у отца тоска. Болей нет никаких. Позволили ходить, сидеть. Единственно, что у него еще не наладилось, — это температура: вечерами бывает 37,0—37,1.

Я решила, что довольно, и поговорила с палатным ординатором о выписке. А он так на меня наорал, что я не знала, куда мне деться. Проще вышло с профессором. Тот сказал: сделаем ему еще электрокардиограмму и к первому выпустим.

От Ирины телеграмма: "Теперь уж скоро увидимся"».

28 июня. «Мишенька, родной! Дела у нас такие — отец дома. В больнице оставляли еще на месяц, чтобы еще проделать все анализы и искать причину температуры и высокого РОЭ, но мы решили искать дома.

РОЭ 64. Самочувствие плохое. Болей нигде нет, но слабость ужасная.

Вчера был у нас профессор из Первого мединститута. Солидный дядя, не старый, серьезный. Расспросил очень подробно, назначил лечение. Мне трудно написать тебе все, что он говорил, и я хочу, чтобы ты приехал и разобрался сам в состоянии отца. Настроение у отца отвратительное. Необходимо чем-то поднять дух, и ты можешь сделать это».

В начале июля я, наконец, смог вырваться в Москву и пробыть там несколько дней. Саввич на этот раз произвел на меня впечатление уже тяжело больного. Ни в больнице, ни смотревшие его дома врачи и профессора болезни его не определили. Диагноз сердечного инфаркта был совершенно не убедителен, да и в больнице в конце концов отказались от него. Недаром там «обыскали все», даже мокроту на туберкулезную палочку, и предложили больного оставить еще на месяц для дополнительных поисков.

Для меня эти давние подъемы температуры и ее характер, падение гемоглобина, высокое РОЭ и нарастающая кахексия при отсутствии в организме каких-либо объясняющих это причин и явлений говорили за злокачественное заболевание — рак или лимфогранулематоз. Я так и высказался и на этом строил свое предположение — не держать Саввича в городе, а тем паче не помещать его в больницу, а везти в Тарусу и там на лоне природы дать ему доживать отсчитанные ему судьбою дни.

Этого Аня не приняла, да по существу и не могла принять. Это значило, как у Данте — «оставь надежду навсегда». Это было выше ее сил.

5 августа. «Миша, родной! Все у нас так плохо, что и сказать нельзя. Через несколько дней после твоего отъезда у отца опять начала подниматься температура — утрами до 38,2, вечерами до

38,6. Врачей просит не звать. Сердце в порядке. За ним следит Галя Вышипан. Больше лежит. Чувствует большую слабость. Спит прилично. Ночами часто бывает испарина. Решили опять сделать анализы и посев крови. Ведь успокоиться на твоем диагнозе невозможно. Надо что-то делать. Жду очень Ирину. А ты на меня не сердись. Ехать в Тарусу, конечно, мы никак не можем. Посмотрим, что будет дальше. Страшно, что не знаю, куда кинуться, с кем посоветоваться, что предпринять… Вероятно, так надо, чтоб мне Бог послал такое испытание».

16 августа. «Родной мой! Дела наши таковы. Температура дошла до 38,7 и так его изнурила, что он лежал, не двигаясь. Лечащий врач сказал мне, что для него становится ясно, что это то, что предполагаешь ты, и что процесс идет в таком месте, где он протекает безболезненно и не поддается лечению. Проревевши целый день, мы решили с Галей пригласить хирурга и вновь обследовать больного всего. Хирург был у нас, обследовал отца самым внимательным образом и сказал, что ручается головой, что никакого рака нет, есть какие-то микробы в крови, осложнение после гриппа и застарелая малярия, на что указывает большая селезенка. Назначил лечение — пенициллин и хину внутрь.

Последние дни температура у него 37,1—37,0. Хорошо ест, немного двигается по комнате. Врач-хирург обещает — вылечу. Необходимо только провести курс лечения малярии и достаточное количество пенициллина.

Подумать только — уехали бы мы в Тарусу. Вы с Забугиным пришли к определенному решению и ничего другого бы не искали, и он, конечно, погиб бы. Какая страшная жизнь — все зависит от случая. Ирину я вызвала телеграммой, и она прилетела с Марианной на аэроплане. Мечется по Москве и много помогает мне у отца.

P. S. 20 августа. Отцу то лучше, то опять хуже. Но хирург уверен, что отца он поставит на ноги. Приезжай ты хоть на денек».

21 августа. «Таруса. Голубчик Анюшка! Сейчас шофер привез твое письмо. Ну, что сказать?! Дай Бог, чтобы оказалась малярия. Во всяком случае, лечение малярии хинином и пенициллином отчего не провести. Я приеду дней через пять-шесть. Жалко мне Вас всех до слез… Миша».

* * *

В начале сентября я был в Москве. За то время, что я не видел Саввича, он еще сдал и очень сдал. Большие миллионные дозы

пенициллина внутримышечно каждые три часа круглые сутки и хинин внутрь тоже большими дозами эффекта никакого не давали. Температура совершенно причудливого типа продолжала держаться и изнуряла больше всего, нарастало малокровие, и РОЭ держалось на высоких цифрах. Хирург явно занялся несвойственным ему делом терапевта, и будучи уверен в своей непогрешимости, и сам не поставил вопроса об обследовании желудка и рентгеном, и анализом желудочного сока, и отклонил мое предложение сделать это, как совершенно излишнее.

Ирина, пораженная видом отца и его состоянием, со всем пылом и энергией, любовью и верою в науку бросилась лечить его. И остановить и задержать ее на этом пути было совершенно невозможно…

Инъекции пенициллина вконец истощали больного, а затем проведенное лечение серебром не выдержало и основного положения врачебной этики: «Прежде всего не вредить».

Словом, вернулся я к себе не только с сознанием безнадежности Саввича, но и уверенностью в том, что все, что делают с ним, чем лечат его — не нужно. И одно оправдание могло быть этому — это то, что Саввич не протестовал и покорно и с надеждою лечился.

17 сентября. «Родной мой, мы измучились! Но как же отцу должно быть хуже, чем нам! Я еще удивляюсь ему: никогда ни одной жалобы, ни одного стона. Лежит человек вот уж больше трех месяцев, и никто не скажет, где корень болезни и как с нею бороться.

Вчера Ирина привезла профессора Владоса, специалиста по крови. Диагноз его таков: хронический сепсис. Лечение пенициллином до тех пор, пока не установится нормальная температура.

18 сентября. Продолжаю. Со вчерашнего дня начали вливать английский пенициллин. Ночью была ужасная испарина. Температура поутру 37,2 и целый день была 37,6. Хочется верить, что будет хорошо. А во время лечения серебром температура поднялась до 39,7—39,9. Думали, просто конец. Как все-таки вы, врачи, могли нам разрешить удариться в этакую авантюру?! За неделю лечения серебром мы довели его сердце до черт знает чего. Пришлось отдельно вплотную заняться им — опять глюкоза, кальций и т. д. Ирина не отходит от отца и все делает так разумно, так хорошо, что и сказать нельзя. Доктор хирург приезжает почти каждый день и всею душою желает помочь и сейчас верит, что скоро все будет хорошо».

1 октября. «Таруса. Голубчик Анюшка! Живу все время с тревогою и страхом в душе. Все время думаю: ну, что Саввич?

Этот шквал, налетевший на нашу семью, оказался неожиданнее и страшнее возможного. Как-то верилось, что "мы еще поживем". И вот какая угроза! Да и не изжили мы еще себя. Мы еще "не конченные люди". Мы еще можем излучать и деловую, и сердечную энергию. И чтобы судьбе пощадить еще нас?! Но… ее законы другие, чем наши.

Прошла неделя, как я из Москвы. Каждый день для Саввича — это жестокая борьба за жизнь. Чуда, чуда прошу! И нельзя жить без "чудесного" в жизни. Чуда в жизни не знают и не замечают только слепые люди.

Здешняя жизнь на фоне чудесной природы, в труде и разнообразии интересов полна и не утомительна. Здесь можно уставать, но нет того чувства изношенности, что я постоянно ощущаю в Москве… Наталья Павловна еще здесь. Жду Луку. Больше никого не хочу. Настроение совсем не для общества…»

1 октября. «Ленинград. Дорогая Анна Михайловна! Наталья Павловна из Тарусы сообщила нам некоторые сведения о здоровье Владимира Саввича. Вам, должно быть, понятно наше желание проявить возможное участие, хоть самое малое, в Ваших усилиях сохранить жизнь дорогого всем нам человека.

Мы живем среди пожилых, больных людей, и наше ежедневное, долголетнее наблюдение над состоянием их здоровья заставляет придти к выводу, что главное при болезнях пожилых людей — это не медицинские процедуры, а покой, заботливый бытовой уход и свежий воздух, особенно, когда медицинские светила сами не уверены или не знают характера заболевания.

Мы знаем людей возраста Владимира Саввича, жизнь которых чуть теплится, а они живут вот уже годы в обстановке покоя от всяких дел и забот и ухода со стороны близких людей в домашней обстановке. Может, и Вам дать организму Вл. Савв, отдых от всяких медицинских процедур, особенно сильно действующих, если в них нет крайней необходимости и полной уверенности в их пользе.

Целуем Вас. Лихоносовы».

10 октября. Родной мой! Что у нас? Сказать, что очень хорошо — нельзя, но состояние больного много, много лучше, чем было, положим, месяц тому назад. Пенициллин сделал что-то, но совсем снизить температуру не смог. РОЭ высокое. Считаем, что выздоровление идет, но ужасно медленными шагами».

15 октября. «Дорогой Мишенька! Состояние Володи мне лично кажется таким: что его героическими усилиями держат над пропастью, которая его притягивает, а оттолкнуться от нее у него нет уже сил… Очень жаль Ирину, и деньги, и силы — все уходит

на эту борьбу, а у самой дела запущены, и жить негде, и к вещам уже наведались. Вообще, нехорошо.

Аня делает вид, что она спокойна, читает больному вслух и вся настороже, чтобы ему еще сделать… Я редко там бываю. Помочь ничем не могу, а надоедать не люблю. Да, сказать по правде, и некогда.

Жду тебя к праздникам. Люба».

«Дорогой дядя Миша! У дяди Володи больших перемен нет, но мелкие перемены, по-моему, в сторону ухудшения. Два раза переливали кровь, но гемоглобина как было 18, так и осталось 18. Нашли какую-то женщину врача, которая лечит всякими травами. Обещала помочь. Не верю я ей, но по крайней мере это безболезненно.

Крепко целую. Галя».

20 октября. «Мишенька, родной мой! В слизи носа у отца нашли кокки, диплококки и зеленый стрептококк, и сейчас идет борьба с ними. Послезавтра, то есть в субботу, опять будут переливать кровь. Температура хоть и небольшая, держится по вечерам. Завтра опять будет Владос, и он решит, сколько раз и поскольку будут переливать кровь…

Будет очень приятно, если дни Октября ты проведешь с нами. Конечно, у нас не весело, больше — тревожно и тяжело, но может быть, к тому времени отцу станет лучше, и мы все вместе порадуемся. Аня».

Третьего ноября — это был четверг — я приехал в Москву. Саввич не производил впечатления выздоравливающего. Свежая голова. Неугасающий интерес к тому, что делается в мире и в Тарусе, и при этом слабость безмерная, боли в спине, а в глазах безнадежная покорность, хотя он и старается скрыть ее. Ну, конечно, осмотрел, выслушал, ободрил.

На субботу, 5 ноября, в 3 часа дня было назначено переливание крови. В этот день Саввич уже с утра подавлял в себе волнение и неохоту к этой процедуре, но сдержанно и покойно. Я почитал ему выдержки из утренних газет, спросил ряд советов по хозяйству в Тарусе, а ровно в три часа пришли хирург и Галя-доктор и стали готовить аппаратуру для переливания. Волновались все. Говорили полушепотом. Аня и Ирина удалились в соседнюю комнату, а меня попросили чем-то помочь.

Не ввел хирург и трех кубиков крови, как получился шок — гемоклазический шок. Вывести из состояния шока Саввича не удалось. Он не дышал, сердце перестало биться. Саввич был мертв…

Отпели усопшего дома на следующий день вечером. Все дни и ночи у его изголовья перед образом до похорон горела

лампада… Увядали запахом тления цветы. Ночами при усопшем оставались только мы с Анею. И за эти тихие ночи продумался весь пятидесятилетний путь с ним…

Последнее десятилетие девятнадцатого века. Острогожск, Богоявленская улица. Скамейка у ворот дома под тополями. Долгие жаркие летние дни. Тянет на реку, а купаться не пускают из боязни — «потонешь и домой не приходи». И завистью полно сердце, когда видишь как мимо, босые и загорелые, в широкополых соломенных шляпах (брилях) идут целой ватажкой мальчишки купаться — это были братья Долгополовы со своими приятелями. Жили Долгополовы недалеко, тут же за углом, но люди они другого круга. Отец их секретарь Земской управы. Мать, по нашему представлению, «барыня». И кажутся они нам людьми другой планеты…

Прошло сколько-то лет. Сестра Анна в седьмом классе гимназии. Один из братьев Долгополовых, Володя, кончает гимназию. Они уже знакомы, и мы знаем, что Володя поступает в Лесной институт и едет в далекий, сказочный Санкт-Петербург, в котором никто из нас, да и из близких наших, не бывал. На Рождественские каникулы Володя приезжает домой уже в форме студента Лесного института. И он уже приходит к нам, и понятно то впечатление, которое он производит на всех нас. Но он не «заносится». Это ему не свойственно. А ведь он кроме того «революционер» и знает такие «тайны», о которых мы и представления не имеем. В одни летние каникулы Володю вместе с другими студентами сажают в тюрьму. Держат там какое-то время. Мы горды им, ходим к тюрьме, становимся сами будто соучастниками революции, и когда Володю выпускают из тюрьмы, мы встречаем его, как героя… Но он опять не «забирает высокого тона». «Поза» не в его натуре.

В наши студенческие годы с Анею происходит сближение семей Долгополовых и нашей. В городе образуется большой кружок студенческой молодежи. Познанские, Поповские, Марченко, Журавлев, Вменьевы, Долгополовы, Мелентьевы. Все молоды, у всех впереди вся жизнь. Все с направлением жить на благо близким, и вечера наши полны пения. Песня несется и революционная, и украинская. Жизнь полна песни, и сама жизнь — торжествующая песнь. Володя не часто с нами. Зимами институт. Летом практика, но это не отдаляет. Когда он в городе, он у нас в доме, и он уже свой — близкий и родной. В это время он уже совсем «определился». Он как-то по-своему устойчив. На него можно положиться и в слове, и в деле. Он не выдаст. Не предаст. И он близок к природе, как никто. Он свой в лесу, в поле, он не заблудится и он все там знает…

В 1907 году Володя предложил мне посмотреть «императорский Петербург». Я поселился у него в Лесном. «Студенческая вольница».

Лесного института очень пришлась мне по душе. Совсем особый народ эти лесники. Высокие сапоги, часто бороды, блузы с кожаными поясами и простота в обращении и добродушие. Никакого «политесу». Ведь вот что делает лес с человеком, думалось мне. Это не наш анатомический театр. И все какие-то большие, крупные… И само их общежитие, далеко за городом, напоминало своим духом и порядками Запорожскую сечь.

Окончен Лесной институт. Женитьба на Ане. Экспедиция в Сибирскую тайгу. Война 1914 года. Осада Ново-Георгиевской крепости. Плен и побег из него. Совершенно героическая страница. Ну, а затем революция. Работа с солдатскими массами, эмиграция и возвращение на родину и к семье только в 1923 году. Тяжелейшая полоса, жизни времени военного коммунизма. Минуло и это. Пошли годы мирного труда с их радостями и горем… И вот болезнь и смерть…

Похоронили Саввича на Ваганьковском кладбище 8 ноября рядом с матерью его Верою Михайловной и Верочкою, его дочерью.

13 ноября. «Родной мой! Останавливаться мыслями на всем том, что пережито, страшно. Кажется порой, что сердце не выдержит и разорвется. И я бегу от мысли, бегу воспоминаний. Целый день мыс Ириною перебираем тряпки, передвигаем мебель, чтобы только занять себя, чтобы только не остаться с самими собою.

Ездили сегодня на кладбище, служили панихиду. Могила еще в^ цветах, но уже увядших… Я не могу больше плакать. Мне жаль Ирину, жаль Вову, и я стараюсь сохранить спокойствие, сохранить бодрость.

Последние вечера, когда мы остаемся без посторонних, наши мысли витают около тебя. Надо иначе устраивать жизнь. Надо жить всем вместе. Мало, мало осталось нам жить. Детям так страшно терять еще кого-нибудь из нас, и мы придумали одно, — это купить дачу близко от Москвы, с ранней весны жить всем там, а зимою наезжать туда при всякой возможности. Тебя снять с работы, хватит одной пенсии. Будешь заниматься садом и никогда не будешь один…

14 ноября. У нас такая тоска… места не находим себе. Как никогда, ты нужен нам, и мы мечтаем о твоем приезде. Приезжай скорей. Ждем тебя. Аня».

15 ноября. Москва. «Дорогой М. МЛ Всею душою понимаю Вашу скорбь и тысячу горестных и сладких воспоминаний и

страданий представляю. А мысль о неистовой тоске Анны Михайловны, как черная гора передо мною. И моя немота перед Анной Михайловной неизбежна и неизлечима. Какое великое счастье, что у нее есть дети, внуки! Даже если бы не все они были одинаково хороши, все же — своя кровь, и когда отрывается кусок от живого тела, как важна, вероятно, своя кровь. А время, великое время! В 19 году я потеряла отца, и с тех пор боль какая-то обтекаемая, но все же боль ужасная. На прошлое Рождество я потеряла ближайшего друга, вместе росли и старились, и уж нет у меня времени деформировать свою боль, стара я.

Как-то Вы там в Тарусе, Михаил Михайлович? Верно, в работе по возможности. И эти ранние сумерки, и все же одиночество… А я даже и проститься не могла с Владимиром Саввичем… Так выходит, что когда мы начинаем отчитываться перед собой, нет у нас спутников, а вот в молодости, в безотчетности, рядом с нами излишек людской. Ну, Господь с Вами. Ваш друг Софья Федорченко».

23 ноября. «Москва. Дорогой моя дядя Миша! Мне хочется попытаться ответить на Ваше письмо, но писать очень трудно. Вы правы. Нет собранности и нет ясности в самой себе… Попытаюсь по плану Вашего письма… В тревоги мирового масштаба я не верю, а если бы они и оказались возможными, то Таруса в этом плане не может пригодиться. Она станет нашей обузой в этом случае.

Будем говорить в плане сегодняшнего дня. Сейчас же ясно, что Ваша отдаленность и оторванность от нас особенно тяжелы и трудны. Нужно быть вместе. Это главное. Как это сделать — пока не знаю. Нужно превратить "Тарусу" хотя бы в "Алабино". Это дало бы возможность постоянного общения с Вами, а в случае необходимости — быть вместе в любое время… Вопрос прописки Вас самый серьезный вопрос в этом деле, и с него, конечно, надо начинать, давайте подумаем.

Десять дней уже работаю. За четыре года я достаточно отстала от отечественных порядков, и пока мне трудно и довольно скучно. Однако не теряю надежды, что будет интересно.

Очень огорчена Вашим проектом отпуска в Ленинграде. Мне очень хочется попросить Вас побыть это время с мамою. Ей очень тяжело, и мне страшно за нее. Мы ждем Вас, дядя Миша! Очень ждем, а каникулы мама с Марианною будут у Вас. Мамочке нельзя сейчас быть одной, нельзя.

Целую Вас. Ваша Ирина».

Начиная с 1936 года, года моего возвращения из ссылки, мы с братом Лукою состояли в ссоре и не общались. По существу, и ссоры никакой не было, а вот перестали встречаться, и только.

Сознавать и вспоминать об этом было тяжело. Причины раздора давно отошли в прошлое. И я в марте т. г. написал Луке и просил его забыть и простить, что было неприятного между нами.

«Дорогой брат Миша, — написал мне Лука тут же, — человечество забыло заповеди Христа. Мы с тобою, родные по крови братья, тоже нарушили их и уподобились гоголевским Ивану Ивановичу и Ивану Никифоровичу, и на сердце у нас гноилась рана, которая, несмотря на всемогущее время, давала о себе знать кровотечением и не зарубцевалась. Своим письмом ко мне ты исцелил ее. И хорошо сделал. Это даст нам обоюдный душевный покой, необходимый нам в наши годы. Прости и меня в моих прегрешениях, и не будем никогда вспоминать об этом кошмаре и поставим над всем этим точку.

Спасибо за приглашение приехать к тебе. Сделал бы это с удовольствием, но я пока работаю, и хотя зарабатываю очень немного, но все же чувствую себя самостоятельным человеком, да и морально чувствую себя лучше. В феврале мне минуло 73 года, и если верно изречение какого-то философа, "что тот, кто не боится смерти, тот почти всемогущ", то я могу считать себя таковым. Единственное мое удовольствие — это чтение. За эти годы я многое перечитал и всего больше люблю историю и мемуары.

Будешь в Москве — приходи вечерком попить чайку по-прежнему, по-старому».

И второе примирение. На страницах о «Владимире» я упоминал о знакомстве с Анною Сергеевной Шереметевой-Сабуровой и ее дочерью Ксенией Александровной. Знакомство это было мне интересно и приятно, и я с удовольствием бывал у них и приглядывался к людям чуждого и недоступного мне раньше мира. Под конец же пребывания моего во Владимире я перестал навещать их и уехал, не попрощавшись. Вызвано это было условиями политической обстановки» и некоторою болтливостью Ксении Александровны. Текущею весною дошли до меня слухи о болезни Анны Сергеевны, и я написал ей. Вот, что я получил в ответ.

«Многоуважаемый М. М.! Ваше письмо получила. Не думала я, что Вы когда-либо напишете. Жаль, что поздно. Мама уже нет. Мое горе безутешно. Все это произошло так неожиданно. Последнее время мы жили гораздо лучше (после денежной реформы). Мама чувствовала себя хорошо. Давала уроки, читала, писала и получала письма от старых друзей и двух племянников — Андрея Гудовича и Василия Шереметева. Мама восемь дней мучилась. У нее отнялись язык и правая рука. Лечили ее плохо и невнимательно. И вот она не вынесла.

Не думайте, что мама ушла с недобрым чувством к Вам. Нет, этого не было. Еще на этой Пасхе мама сказала: "Он еще к нам вернется"…

Мама всегда говорила, что в смерти нет ничего мрачного. И действительно, отпевание моей дорогой матери не было мрачным. Она лежала во всем белом, в белых цветах (только что распустились вишни и черемуха), с прекрасным покойным лицом, и совсем молодым к тому же. И выражение лица совершенное особенное, какое-то светлое. Отпевал ее епископ Онисим. Пел дивный хор. Все вышли в белых облачениях и пели "Христос Воскрес". Мама умерла на Пасхе. Народу на отпевании было очень много. И за такое отпевание мама с меня никто не взял ни копейки. И это все сделал епископ Онисим за свой счет.

Желаю Вам всего хорошего. К.Сабурова».

Переписка с моими старыми друзьями и корреспондентами так же была оживлена, как и прошлые годы.

Сергей Коншин после Колымы осел в Кировограде и там напрягал свои силы в борьбе за существование: «Мой дорогой и верный друг! Приехать из Колымы — это еще не все. Там я представлял' себе все гораздо проще и доступнее — "лишь бы море переплыть"… А житейское море гораздо бурливее, опаснее и глубже. Но все-таки я должен и его переплыть, прежде чем "вечные воды" поглотят меня…».

Хороши его зарисовки уральского быта: «Здесь много своеобразного и занятного в народе. Сначала на меня все местные нравы и обычаи производили впечатление большой отсталости и азиатчины, я был настроен к ним иронически. Но теперь я нашел во всем много трогательной непосредственности и, главное, цельности в соблюдении традиций, что теперь редко. Мужчины тут в привилегированном положении. Например, когда я на Рудянке ходил сам с ведрами за водой, это вызвало у баб большое осуждение моей жены, а меня очень уронило в их глазах. Мужчина, который не пьет, — дурак и тряпка. За то, что я как-то в магазине вслух высказал, что безобразие, что столько сахара переводят на брагу, мне чуть глаза не выцарапали, раздавались возгласы: "А как справлять свадьбы, именины, поминки и проч.". А какие тут забавные свадьбы! Тратятся на них безумные деньги, созывается родня со всего света и продолжается пиршество не менее трех суток сряду, при чем тут это служит достаточным поводом, чтобы безнаказанно не ходить эти дни на работу. Соседей по улице и не состоящих в родстве не приглашают, но крепко на них обижаются, если они в момент приезда жениха за невестой не заглядывают в окна. Поэтому, дом невесты в самый патетический момент ее жизни бывает облеплен народом. Не зная

этого обычая, я возмущался бесцеремонностью. Затем гости должны над невестою что-нибудь "учудить", то есть вымазать ее сажею, протащить за ноги в венчальном платье по грязи. Одна женщина мне е восторгом рассказывала, что ее на свадьбе протащили через весь огород, а потом бросили в речку. Это считается верхом остроумия, которое должно запечатлеться на всю счастливую жизнь молодых. Невеста, желающая сберечь свое платье, или просто не расположенная к таким шуткам, заранее прячется, тогда всему этому подвергается ее мать. В доме делается тесно русскому раздолью, вся компания наряжается в самые невозможные костюмы и с гармошкой и постоянными одними и теми же частушками идет на улицу. И надо сказать, что это зрелище очень яркое и в нем подлинно русско-уральский фольклор.

Так же с шумом и громом справляются поминки. И вообще; здесь очень чтут покойников. В какие-то определенные дни ходят всей родней на могилы и приносят подарки съестные вплоть до той же браги.

Страшно любят на Урале пляски, затем песни, которых, кстати, своих мало. Я записал только знаменитые частушки, уральскую кадриль и одну песню про Невьянскую башню. Знаменитую башню, построенную Демидовым. Она вся с большим наклоном набок и стоит так уже десятки лет и не рушится. Говорят, где-то есть в мире вторая такая башня…

Ну, а все-таки, как не занятно наблюдать за местными обычаями,—

да нет ровнее родного края,
березки русской красивее нет…

Если Бог даст, что новые потрясения не нарушат моих планов, то скоро увидимся. Как жалко, как жалко, что во встрече не будет участвовать ни Константин Николаевич, ни Жорж Бубликов, как, я об этом мечтал. Ведь я уже одною ногою чувствую себя у Вас и думаю, что мое огромное желание и другой ногой очутиться у Вас» придаст мне разворотливость… Приятно мне будет проехать и через родной Серпухов. Где-то там сохранилась одна завалявшаяся тетушка. Надо будет и ее навестить. Наверное, автобус идет через бор и минует Майскую (раньше Райскую) долину… "места, где столько милого любил", и где прошло много беззаботных, счастливых дней детства… Итак, встречайте. Или, лучше, я появлюсь неожиданно…»

Прошел месяц, другой, и бедный Сергей написал мне: «Мне очень грустно, но в этом году мы с Вами не увидимся. И Бог

знает, что будет на будущий год. Я так был уверен, что в это лето побываю в родных краях, что огорчение мое сейчас очень велико. Помню Ваши слова из Пушкина: "Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись… день веселья, верь, настанет, в день уныния смирись". Пусть это и будет нашим девизом».

Татьяна Васильевна Розанова… Это о ней ее знаменитый отец Василий Васильевич Розанов написал: «Таня… вся чиста как Ангел небесный и у нее вовсе нет мутной воды. Как и вовсе нет озорства. Озорства нет от того… что она много потихоньку плакала, ибо много себя ограничивала, много сдерживала, много работала над собою и себя воспитывала. Никому не говоря». Теперь это утлая старушка, о «всех печальница», а как сама «обертывающаяся» в жизни — одному Богу известно…

«С пособия меня сняли на общих основаниях. Теперь, кто получает пенсию больше 150 рублей, с пособия снимается. Надо искать службу из-за того, что на 125 рублей я прожить не могу. Комната и электричество стоят мне 75 рублей… Но настроение у меня почему-то очень хорошее. Потому что совесть ни в чем меня сейчас не упрекает и погода стоит дивно красивая».

«…У нас дома очень тяжело. В квартире все увеличивается количество людей. Теперь уже дошло до 12 человек в четырех комнатах. Вечный стук, шум, гвалт. Но ничего не поделаешь. Все время утешаю себя мыслью, что в аду еще хуже, еще больше народу будет…»

«…С хлебом плохо — хлеб очень плохой, и трудно его доставать. Сахару нет, и все приходится возить на своем горбу из Москвы…»

«…С сестрой Наденькой все неважно. Из больницы ее выписали. Числится на работе (художница), но не работает, и потому, что работы нет, и работать не может… Одно ясно, что у нее полный моральный крах во всем… И на инвалидность она не хочет выходить. Впрочем, толкуют, что ей не дадут ее. А я думаю, что самая мысль об инвалидности убивает ее. Не знаю, как она переживет свое положение».

«…Получила продление пенсии на 6 месяцев с пометкой: "2-я группа, к регулярному труду не способна". Осматривали меня комиссия — хирург, рентгенолог, терапевт. По нервным болезням врач отсутствовал, но у меня было направление от профессора, областного психиатра. Это помогло. Хотя хирург был свирепого вида и зло спрашивал меня, почему я не работаю, а ведь сама же комиссия в прошлом году дала бумажку о полной нетрудоспособности. Это все же очень курьезно звучит, но я уже стараюсь логику в жизни не искать — не доищешься».

«…То, что Вас восхищает в Лунине, мне кажется совсем

обратным. Христос не от мира сего, а потому правилен путь Православия и в корне неправо католичество. Из декабристов очень трогателен до последней минуты Рылеев. А вообще, теперь всех этих людей направили бы лечиться к психиатрам. С расширением и прогрессом в области науки "психиатрии" на многие явления исторические можно смотреть иначе. Многое становится понятным и уясняется, а о многом еще нужно подумать и подумать…»

«…У меня кругом так много горя, что не знаю, что сказать и как поразить свое душевное состояние. Стараюсь бодриться и не показываю вида чужим людям, что у меня на душе. А скорбь и печаль такая, что и выразить не могу от всего вместе…

Была на могиле у Володи. На песке, и то выросло много травы — наверное, благодаря дождям. Хотя Федор Артемович и подрезал ветки, но опять все густо заросло. Я долго побыла у могилы. Всю ее почистила, почитала заупокойные молитвы, погрустила о нашей пустой и суетной жизни, о том, что все так заняты и погружены в житейские дела, что не можем часто посещать могилы. А кто не занят, как я, тот слаб и мало имеет душевных и физических сил на какое-то ни было дело».

Не могу пройти мимо отзыва Татьяны Васильевны о Лунине… Она осудила его с ортодоксальных позиций Православия. А я приведу следующее его замечательное высказывание: «Греко-российская церковь все равно привержена ко всякому правительству, которое учредится в России. Не имея в себе начала законной власти, она по необходимости должна покорствовать придержащей власти, но она препятствует водворению представительного порядка, который повсюду развился под влиянием католицизма».

Не могу не привести также ряда отзывов о Лунине, чтобы дать представление о нем и возбудить интерес к нему.

Пушкин называл его «замечательным человеком» и так охарактеризовал его:

Друг Марса, Вакха и Венеры,
Им Лунин дерзко предлагал
Свои решительные меры…

Герцен говорит о нем: «Лунин — один из тончайших умов и деликатнейших». «Могила его, — сказал Волконский, — должна быть близка каждому доброму русскому… Надо еще отметить, что на всех допросах Лунин, один из немногих декабристов, проявил удивительную твердость духа, не выдав никого из своих товарищей». Потом он говорил: «Я любил справедливость и

ненавидел несправедливость, и потому нахожусь в изгнании». Умер Лунин в Акатуе в декабре 1845 года.

Наталья Павловна Вревская конец лета и начало осени прожила у меня. Уезжая, она написала мне: «Хорошо на склоне лет, оглядываясь на прожитое, вспомнить все хорошее, полученное от Вас в течение почти тридцати лет».

«Что сказать Вам о "внутреннем житии"? Можно и долго, и коротко. Если коротко — то спокойно гляжу на заканчивающиеся дни… "и не жду от жизни ничего я"… "Слушаю музыку. Иногда брожу поздними вечерами по пустынным углам города одна и не одна, ибо в эти часы воспоминания и видения со мною… И горько и грустно, грустно… А если бы и не одна была — вряд ли нашелся бы отклик в другом… Со стороны глядя, верно, кажется: "Бедная Нат. Павл., — в каких тряпках она, как печально ее лицо, как худа"… Пусть так, а на душе — ясно и тихо…»

«…Мое многочисленное потомство прозябает. Отсутствие денег огорчает и беспокоит меня из-за них. Одна, я бы примирилась с недостачей — не впервой. Особенно жалко смотреть на дочь Нину, которая надрывается на работе, едва-едва выколачивая на хлеб…»

Екатерина Васильевна Поленова-Сахарова. «Дорогой М. М., приветствую Вас в Новом году и посылаю "исполненный труд, завещанный мне от Бога". Книга вышла, и читатель проявляет интерес и "младое племя" читает и не фыркает (Е.В.Сахарова. «Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания»). Книга имеет большую, положительную рецензию в журнале "Советская книга". На днях примусь за статью-лекцию об Елене Дмитриевне Поленовой к столетию со дня ее рождения в 1850 году… а затем пущусь в долгое литературное плавание — набираю дух на капитальный труд о творческой жизни отца. Читаю "Путешествие в Пальмиру" Абомелек-Лазарева, его спутника в путешествии 1881–1882 гг. Прочитала "Путевые поэмы" Бунина — маршрут путешествия 1899 г. Смотрю на этюд "За старым Каиром": над розовыми песками и древними постройками, которые "покрыла пустыня", синее небо с лиловатым маревом у горизонта, впереди мостик и скудная чуть голубеющая водица. Большая правда жизни в этих вещах. А за моим окном и над рекой те же сочетания розовато-бурой пустыни с синей под ветром, или тихой, отражающей оголенные берега, зеркальной рекой. Понятно, как это было ему близко и созвучно могучим впечатлениям культуры, которую "покрыла пустыня".

Живу сейчас особенно: совсем одна в пустом и холодном большом доме, но у меня тепло, уютно, даже красиво!.. Вспоминаю юность, когда, окончив гимназию, жила также в тех

же комнатах с отцом. По вечерам он с фонарем уходил в свое "аббатство", а я оставалась одна в пустых комнатах полутемного дома, полная мечтаний юности… Теперь их нет, но на их месте большие замыслы, о которых упоминала выше».

«…В наши годы и "транспорт определяет бытие", и расстояние в 4 километра с перевозом уже преграда, которую не перескочишь. Было время, когда мы бегали в Тарусу (20 минут до почты) так себе, с легким разговором и для того, чтобы увидеть кого-то, перекинуться словом — тогда был мост и ноги туристов. Теперь это все воспоминания. Я дважды порывалась к Вам и… не решилась. Ваше посещение летом "Поленова" тоже только огорчило меня. Не все люди хорошо сочетаются. И весьма достойные люди в некоторых композициях тяжелы…»

«…Я сейчас своей обстановкой довольна. Мне не нужны перемены. Это нужно неврастеникам. О хандре, или сплине, у меня не может быть и речи — это не поленовские аксессуары. Это спутники праздности, а Поленовы — работники, труженики до последнего вздоха. С осени я написала около шести листов печатных научно-художественной литературы. Музей получил благодарность из Комитета за мои статьи-лекции».

«…Я рада, что Вы в Москве побывали у С.З.Федорченко. Это очень незаурядный человек. Зная ее более 30 лет с весьма оборотной стороны ее личности, я все же ценю ее как интеллект и дорожу общением с нею. У Вас же гораздо больше точек соприкосновения, хотя бы на общей "предметности"…»

И еще вот старый мой друг Николай Николаевич Печкин. Ему 74 года и пишет он мне: «В этом году я как-то больше, чем обычно, поглощен кутерьмой, и именно письменной. Пишу лекции, доклады, отчеты, докладные записки и т. д. К чернильнице и перу чувствую личную неприязнь, а "бумагопоклонничество" растет и растет, и я устаю от него до такой степени, что в этом году не удосужился даже отстоять службу с "Двенадцатью евангелиями", которую так люблю… А в связи с моим хождением в церковь, идут шероховатости по службе. Возможно, что в конце концов и выкинут. Ну, на это уже Божья воля. Я этого не боюсь, а вот всякие связанные с этим неприятности сильно досаждают».

И дальше. Сахновская Зоя Александровна… 13 лет пробыла она в лагере. Вернулась. Я писал уже, как она пришла ко мне здесь в Тарусе. Началась погоня за куском хлеба, за работою. Начались мытарства — Таруса, Серпухов, Тула, Косая Гора… «Играла Кручинину и "Без вины виноватые". Из Тулы приезжали записывать на пленку, а потом передавали по радио. Значит, было неплохо? А я опять без работы, и впереди у меня нет ничего

определенного. А "я жить люблю и жить хочу, утратя молодость свою"…

Ну, довольно. Затянулся 1949 год. Конечно, из Тарусы я никуда не двинулся и пройдет еще три года, девять месяцев и 13 дней, прежде чем мне дадут право на проживание в Москве и пропишут в ней на постоянное местожительство в том же Девятом отделении Московской милиции. Но это не решит моего расставания с Тарусой. Прописать меня прописали, но комнаты мне не вернули и уже не вернут никогда.

Итак:

Благословляем мы богов
За то, что сердце в человеке
Не вечно будет трепетать.
За то, что все вольются реки
Когда-нибудь в морскую гладь.
1950–1952 гг.

1950, 1951, 1952 годы прошли под декретом: «Жить стало веселее, жить стало легче». Возможно, это и было так для кое-кого — немногих. В массе же этого «легче» что-то было незаметно. Времена Федорушки держались прочно, и казалось, им не будет конца:

Чтобы я прикинула.
Чтоб я не пикнула.
Чтобы не выла жалобы,
Чтоб ура кричала бы…

Дом в Тарусе, как говорил я, посмеиваясь, купил вместе с домработницей Надеждой Федоровной, бывшей учительницей в Москве. Уже не молодая, она отказалась, имела мужество, вести антирелигиозную пропаганду. Тут же она была уволена из школы. Затем выселена из Москвы и с «волчьим билетом» пущена на волю. Прожила она у меня почти три года, и ее сменила писательница Ольга Васильевна Перовская. За какие провинности эта дошла до домработницы — я не знаю. Сердечно она не долго продержалась на этой работе. Потом ее реабилитировали. Стали снова издавать ее, но выправиться после пережитого Ольга Васильевна не могла. А как мила и с каким легким нравом была этот человек, и ее книжка «Ребята и зверята» будет еще читаться не одним поколением детей.

Летом пятидесятого года познакомился я с детским

писателем Николаем Владимировичем Богдановым. Он и его жена Вера Дмитриевна стали потом моими задушевными приятелями. У последней прекрасная и редкая по подбору русская библиотека. Он писатель не крупный, но очень приятный человек, завзятый рыболов. Они несколько лет по неделям живали у меня, пока не приобрели свою дачу. Они первые же послушали мои воспоминания и одобрили их. Николай Владимирович написал мне после:

Привет тебе, кусочек рая,
Капризом созданный в Тарусе,
Где келья белая скрывает
Поэта уходящей Руси.
Кудесника, что может к ночи
Камин заветный возжигать
И тени милых, если хочет.
Волшебным словом оживлять.

Лучами вечного восхода
С картины старой озарен
Пусть молодеет год от года
И вечно процветает он.

С «картины старой» — это большое полотно, оригинал Бронникова «Гимн пифагорейцев».

В день Татьяны 1951 года умерла Александра Петровна Баранова. Закат ее жизни вышел очень печальным, и смерть для нее давно была желанна. Она несколько последних лет пролежала со сломанным бедром в постели. Это были годы страшного недуга и страшной жизни.

Из богатой семьи Ушаковых (химические заводы на Каме), в замужестве за богатейшим владельцем ситценабивной фабрики в Карабанове, Александра Петровна владела тремя европейскими языками, была начитана. Много живала за границей. Путешествовала по Египту. Революцию семья Барановых встретила, как давно ожидаемое событие, спокойно и покорно. Конечно, она могла эмигрировать. Средства за границей были обеспечены. Семья не сделала этого: она была слишком по духу русская и любила свою родину. Все, конечно, было отобрано, и Александра Петровна доживала свой век на маленькую пенсию, полученную после смерти мужа.

Осенью этого же 1951 года приехал ко мне Яков Бунин. Не виделись мы с ним сорок лет и, конечно, встретившись на улице, не узнали друг друга. Приехал старый и некрасивый человек.

Ничего от артистизма в Якове не осталось, как и не осталось голоса, баса, которым он так пленял нас в гимназические годы. Он страдал приступами грудной жабы. Жилось ему плохо — скучно и нудно. Встреча наша была любопытна. Четыре дня просидели мы с ним у камина, и Яков много и красочно говорил о пережитом. Я был внимателен к нему, но без жару. Корю себя, но это уже поздно. Провожаю. Стоим у автобуса. Оба стары, и увидеться вновь, конечно, не придется, а на сердце нет ни тоски, ни слезы. А я ведь отлично понял мотивы визита Якова:

О милый гость, святое «прежде»,
Зачем в мою теснишься грудь?
Могу ль сказать — «живи» надежде?
Скажу ль тому, что было — «будь».

Наступил пятьдесят второй год. Я продолжаю работать в больнице. Время от времени меня Симонов сокращает, но затем под напором всех и вся берет. Я возвращаюсь с еще более постылым чувством, но мне еще хочется работать, хотя мне уже и семьдесят лет.

В январе приехал ко мне погостить Василий Павлович Шереметев, последний граф Шереметев, оставшийся в России. Ему 32–33 года. Он окончил Суриковский институт. Художник. Небольшого роста. Милой внешности. С округлыми шереметевскими глазами, ласковыми и серыми. Застенчив. Скрытен. Своеобразен. Живет в одной из башен Новодевичьего монастыря. Я бывал у него не раз, и громадной высоты круглый и мрачный каземат приводил меня в ужас. Холодно, темно. Амбразуры окон очень глубоки, и окна с решетками. На стеллажах при входе громадная старинная библиотека и архив. Старые портреты, старая мебель и невероятная запущенность всего помещения. Подрамники, начатые картины, разбросанные книги. Сам хозяин неряшливо и бедно одет. Но это его не стесняет — он выше этого. Не служит и нигде не работает. Живет очень скудно и зарабатывать не умеет: не приспособлен к этому рядом поколений предков. Пишет белыми стихами поэму о Параше Жемчуговой и вообще пишет стихи.

Прожил он у меня месяц. Писал этюды. Написал очень милый интерьер моей кухни-столовой. Работал над своей поэмой.

Несколько раз за нами присылали из Поленово лошадку. В это время там хворала Александра Саввишна Мамонтова, сестра девочки с персиками с серовского портрета. Это была изумительно и милая, и тонкая старушка. Я очень любил встречаться с нею. В феврале она умерла, и мы с Вас. Павл.

хоронили ее. Так вот деревенские похороны: в убогой ризе, поверх резинового плаща, священник, путавшийся в чине погребения. Апостола прочитала племянница покойной Елизавета Александровна Самарина-Чернышева. И прочитала так, что мы все прослезились… А потом длинная дорога на кладбище в Бехове по заснеженной широкой равнине. Крепкий мороз. Гроб на розвальнях ныряет на ухабах. Длинной лентой растянулись провожатые. Глубокая могила. Гроб опускаем — Дмитрий Васильевич Поленов, Василий Павлович, я и столяр, делавший гроб. Трудно это было нам и страшно, чтобы не упустить. Но опустили. Полетели комья мерзлой земли… Конечно, поминки. Конечно, водка. Конечно, русский сумбур и поминовение усопшей с пьяными слезами.

Таруса
28 января 1954 г.
1953 год

Повествование о 1953 годе начну с половины декабря 1952 года, когда я взял свой отпуск и уехал в Москву.

Два предыдущие года большую часть своего месячного отпуска я проводил в Ленинграде, чтобы избежать неприятностей «заячьего положения» в Москве. В этом же году Аня уговорила меня не ехать, и я, ночуя у Любочки в Панфиловском переулке, дни проводил на Вспольном. Так шло утомительно, но гладко до 26 декабря, когда часов в 6 вечера, вернувшись только что с «Гоголевской выставки» в Литмузее и расположившись попить чайку с двумя гостями, услышали стук в дверь, а затем и увидели входящего участкового: «Ваши документы». На гостей участковый не обратил никакого внимания, а паспорта Ани и мой опущены в карман и нам предложено следовать в 9-е отделение милиции… Знакомая дорога, двери, коридоры, знакомый воздух и рой воспоминаний… Началась обычная процедура — вежливая, но очень официальная… Опрос в кабинете, записи показания, протокол. Пока это тянулось, а тянулось это долго, подъехала Ирина с мужем. Оба крупные, авантажные, гораздо более смелые, чем мы с Анею, коммунисты, они сразу же вошли в кабинет опрашивающего, меня выслали, и из-за дверей послышался оживленный разговор, результатом которого получилась подписка о выезде моем из Москвы в 24 часа без лишних осложнений и неприятностей… Ну, и за это слава Богу. Могло ведь быть и хуже. Не могу не привести эпизода, который случился с нами, когда участковый вел нас в милицию. На Вспольном нам встретилась дама в трауре, средних лет, хорошо одетая.

Поравнявшись с нашим конвоиром, она вздрогнула и бросила ему в лицо: «Проклятые, проклятые»… Конвоир на секунду задержался, но прошел, ничего не сказав. Мы с Анею оценили этот поступок. Конвоир был молод. Лицо у него было доброжелательное, и в нем не угас еще «дух человеческий»… Нечего и говорить, с каким настроением вернулись мы домой. «Все» вернулись, и то хорошо.

Двадцать восьмого утром — Аня, писатель Н.В.Богданов, его жена и я выехали в Тарусу. Который раз пришлось Ане не бросать меня в такие горькие минуты! Благодарен был я и Богдановым за их желание встретить Новый год в Тарусе… «И на черта сдалась Вам эта Москва? — бранила меня Вера Дмитриевна. — Чем Вам плохо в Тарусе?..» Да, в Тарусе было хорошо, но это хорошее было «внешним». Свой дом, уют, камин, нарядно, тихо, чисто… Но уже второй год шел сыск за мною. У меня служила несколько лет простая деревенская девушка, очень привязанная к дому и всей нашей семье. Так вот ее во время моих отлучек вызывали в районное отделение МВД и там допрашивали о моем быте, гостях, переписке. Требовали, чтобы она служила им, пугали и заманивали. И в это мое отсутствие опять вызывали ее, и не только отделение МВД, но и врач Симонов, заведующий райздравотделом, с этими же целями и заданием. Я никому не говорил об этом, переносил эту неприятность молча и только недоумевал, чем это вызвано и что затевается против меня. Мое поведение политическое и всякое другое было безукоризненно. В Тарусе я нигде не бывал и у себя никого из местных жителей (туземцев) не принимал. С утра я уходил в больницу, из больницы к себе домой — и все. Никаких разговоров, никаких обсуждений текущих событий, никаких передач новостей…

Ну так вот, Новый 1953 год встретили мы в Тарусе. В присутствующих не было никакого диссонанса. Умно, уютно, вкусно и нарядно. Со встречею Нового года отмечали и день моего рождения 18/31 декабря. Круглая цифра в 70 лет не портила мне настроения. Я ее не чувствовал, хотя и сознавал.

Что дней моих уже лампада догорает.

На Новый год приехали в гости брат Лука и И.И.Лавров. Оба приятные и не лишние. И в доме стало совсем людно, празднично и даже весело.

В четверг 15 января кончился мой отпуск, и я с утра, аккуратно, вышел на работу. Вышел с тяжелым сердцем. Скрепя его. В эти дни как раз разыгралась непонятная и тяжелейшая история с виднейшими профессорами и врачами в Москве. Появилось правительственное сообщение о них, как о врагах народа, шпионах, вредителях и отравителях. Впечатление было

невообразимое… Ну, словом, когда я пришел в больницу, главный врач Степанова шепнула мне, что распоряжением из Калуги я снят с работы и чтобы я шел в райздравотдел. Я пожал ей руку и тут же пошел в райздрав, где мне Симонов прочитал приказ облздравотдела об увольнении меня «за бездушное и формальное отношение к больным». Я выслушал это со смешанным чувством обиды и облегчения… Обиды, потому что не мог себя укорить ни в формализме, ни в бездушии. А облегчения, потому что мне давно было тяжко работать в больнице с тупым, злобным и невежественным руководителем Симоновым… Весть о моем увольнении тут же облетела город, и эффект от этой новости, связанной сейчас же с московским «врачебным событием», был велик. Напуганное воображение жителей разыгрывалось вовсю. На некоторое время вокруг меня образовалась пустота. И только когда испуг прошел и пришли другие, и более важные события и заслонили собою это маленькое, я, между другими выражениями сочувствия, получил следующее письмо от завуча Яблоновской 7-летней школы И.Ф.Коновалова:

24 марта 1953 года. Яблоново. «Дорогой Михаил Михайлович! Только 20 марта я более точно узнал о том, что у Вас обстоит все благополучно, а до этого времени до меня доходили разноречивые, и одни мрачнее других, сведения, касающиеся Вас, а поэтому я не решался, чтобы не навлечь на Вас еще больших неприятностей, не только посетить Вас, но даже не осмеливался писать.

20 марта я был в Тарусе и от многих лиц узнавал о Вас, но без Вашего разрешения не мог быть у Вас дома.

Не только я, но все, кто хотя раз был у Вас на приеме, искренне жалеют о том, что Вас нет в Тарусской больнице. Да и не только пациенты, но другие люди, сознавая, что от Вашего отсутствия страдает дело врачебной помощи. Неужели Вы больше не будете работать в Тарусской больнице? Я окончательно пал духом, когда услышал о том, что Вы не будете работать. От имени многих, многих лиц желаю Вам доброго здоровья и мужественно пережить тот удар, который выпал на Вашу долю. Остаюсь безгранично благодарный, Вами спасенный от смерти…»

Когда я сообщил моим москвичам о случившемся со мною «пассаже», тут же приехали Аня с Ириною, и Аня осталась со мною «выхаживать меня». А я был действительно болен и душевно, и физически… Сделало меня больным не увольнение. Оно было обидно, было неприятно, но не в нем был центр тяжести. Тревожило поведение начальника районного отделения МВД Филимонова и его подголоска Симонова.

Я еще забыл сказать, что через несколько дней по моем приезде из Москвы меня вызвали в угрозыск милиции. Допросили о «нравственных качествах» моей домработницы и предложили уволить ее, как «имеющую связь с уголовным элементом». Я выразил свое удивление, но согласия на увольнение совершенно ни в чем неповинного человека не дал. Этот эпизод показал только лишний раз на какие-то замыслы, плетущиеся вокруг меня. И это ожидание какой-то другой развязки было не только у меня, но и у близкого ко мне окружения до того, что советовали немедленно покинуть Тарусу и уехать, но… куда? Я остался. Я ни в чем не считал себя виновным и «бегство» ничем не вызванным… Аня поселилась со мною в комнате, чтобы быть поближе. Так нам обоим было и легче, и уютнее. Днем мы занимались нашими несложными текущими делами, непременно гуляли, а вечерами Аня вслух читала «Старые годы в селе Плодомасове», «Захудалый род» и «Островитяне» Лескова, что было отдыхом и удовольствием ей и мне. Так шли дни… Смятение во мне и вокруг стихало. Никто меня не беспокоил, а сочувствие мне проявлялось при всякой встрече.

«Дорогой М. М.! Весь январь у меня было глухое беспокойство за Вас. Чем черт не шутит? И потому меня ничто не удивило бы, как бы не нарушилась Ваша жизнь, как бы Вы не захворали, как бы "не ушли с работы" и т. п. Могло бы быть и хуже. Дорогой М. М., бывает и бывало хуже. Правда? И все же как досадно, как противно. Вревская».

Прошел февраль. А 5 марта скончался Сталин. Дни его короткой болезни, а потом смерти и погребения были потрясающи… Тридцать лет он был «всем» в жизни страны. Возвеличивание его личности превосходило всякую меру, и думается, что только эпитет «ди-винус» — божественный — не был применен к нему. И так быстро и так неожиданно, как всегда в этих случаях, разразилась эта катастрофа.

«Мишенька, дорогой! — писала мне Любочка. — Эти дни я совершенно выбилась из строя. Смерть Сталина потрясла всех нас. И я со скорбью в сердце целые дни слушаю траурную музыку по радио. Все проходит, и смерть не щадит даже и такие личности, как Сталин».

Да, четверо суток непрерывно звучала траурная мелодия. Дальше это было бы уже почти «смертельно» для слушателей. Но что страшнее всего — эта траурная музыка звучала не только по покойном, но и по массе человеческих жертв, которые были принесены в эти дни на улицах Москвы.

На смену Сталина пришло новое руководство, и с первых же шагов его почувствовалось не «продолжение прежнего», а своя

линия, будто разумная и простая. Понятно, как это все волновало и захватывало… Не прошло и месяца, как врачи, объявленные врагами народа, были выпущены, обвинение их признано ложным, а методы ведения следствия преступными… И опять от всего этого было впечатление разорвавшейся на людной площади бомбы.

Ну, а как я решил поступить с «обвинением меня»? Конечно, я мог его обжаловать и по союзной, и административной линии, но не стал этого делать. Возвращаться на работу в Тарусе я не думал, а затевать «дело» для чего-то другого не считал нужным. Чтобы закончить с этим «эпизодом», добавлю, что в течение лета были сняты с работы и Симонов, и Филимонов. По-видимому, оба уже не отвечали «духу времени».

Пасха в текущем году была 5 апреля (23 марта). Пароходы по Оке еще не ходили, дорога расквасилась, Протву надо было переезжать на лодке… Все это было «уже не по моим костям», но не побывать в дни Страстной недели в храме для меня было немыслимо. И я преодолел эти трудности.

Расскажу о своей попытке, хотя бы и по «протекции», попасть ік Пасхальной заутрене в Богоявленский собор в Елохове. Поехал я туда к 10 часам (начало службы в 12 ночи). Уже за несколько кварталов движение трамвайное и другое совершенно приостановлено. Мои попытки подойти к храму, даже с «паролем», оказались наивными. Конная и пешая милиция облегли собор до того, что «ни птице пролететь, ни зверю пробежать». А тысячи народа, выстроенные по четыре человека, заняли несколько кварталов. Вот Вам и антирелигиозная пропаганда в течение 35 лет, и «религия есть опиум для народа». Словом, постоял я, постоял и вернулся домой с горькою обидой. Так и не пришлось мне в этом году приобщиться к православному люду в «торжестве из торжеств».

В мае я поехал на машине на несколько дней во Владимир. Знакомая дорога. Старые города и поселки. Хмурый лес. Ямская слобода. Золотые ворота. Потянулись улицы. За эти годы, что я не был в нем, город явно одряхлел. Обывательские домишки ушли глубже в землю, покосились. А как хмуры лица, и как плохо одеты люди! А какая грязь на улицах — «областная грязь», говорят здесь.

Но вокруг старого города строится молодой город. Пустырь за тюрьмою, кладбищем и психбольницей, где я погуливал и где радовался, что не сижу в тюрьме, не лежу на кладбище и не кричу в психбольнице, уже застроен небольшими двухэтажными домами, озеленен. Правда, скучны и убоги эти застройки своим однообразием, но уж такова природа «равенства».

На улице Менделеева — широкой и пустынной — знакомый домишко в четыре окна. Я не без волнения вошел в него после восьмилетнего перерыва. Ксения Александровна Сабурова, к которой я приехал, потеряла мать, но она достойно перенесла эту потерю. Не растерялась. Выхлопотала себе пенсию, как внучка Лермонтова, в чем ей помог Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Правда, пенсию мизерную, в 250 рублей, но она явилась основой ее бюджета, и стала успешно прирабатывать уроками английского языка. Комнату, в которой они долго жили с матерью, она превратила в алтарь ее памяти. Все необычно для этой улицы и для этого домишки.

Четыре дня напитывался я грустью, бродя по улицам и памятным для меня местам. Был в гостях у епископа Онисима. Был на службе в соборе. Он, единственный во всем городе, блистал своею немеркнущей красотой.

В июне наша Марианна окончила десятилетку с золотой медалью и тут же после коллоквиума была принята в Энергетический институт. За эти две победы мы ее чествовали. Это был праздник молодости и радость старости, дожившей до «аттестата зрелости».

В это же время я получил следующее письмо: «Исполняя завещание Яши, сообщаю Вам, уважаемый М. М., скорбную весть о его смерти. Он умер 10 июня после двухмесячной тяжелой и мучительной болезни. М.Бакунина».

Ушел из жизни «русский неудачник». Из него не вышло ни профессионала певца, ни хорошего агронома. А пел он хорошо! Мешали в жизни «рюмочки и юбочки». В последнем своем письме ко мне он между прочим писал: «У меня Оль, Кать, Зин много встречалось на пути. Даже Люба не одна. У Пушкина в его "донжуанском списке" числится 34 женщины. У меня их было больше, и только этим я выше Пушкина. Пошлость, разврат, тупость и однообразная недалекость меня отталкивали, и я искал все нового».

Среди десятка «зонников», осевших в то время в Тарусе, не могу не упомянуть о двух — художнике А.В.Григорьеве и бывшем начальнике кавалерийской школы в Новочеркасске В.И.Микулине. Первый, старый коммунист, после большого взлета «по искусству» попал в лагеря, сколько там пробыл, не знаю, и вернулся к себе в Тарусу, где он имел дом и где жил раньше. Жить было нечем. Сразу приняться за работу А. В. не мог. Терпел он горькую нужду, а тут еще начальник РМГБ Филимонов возымел к нему особое пристрастие: все время вызывал его к себе по ночам, не раз посылал зимою плохо одетого на грузовике %в Калугу, называл его «стариком» и обращался с ним «угрожающе».

Александр же Владимирович мог на это отвечать только жалкими угрозами. Бывало, выпьет, а это бывало с ним не редко, тащится по улицам Тарусы и кричит: «Где этот негодяй Филимонов — я ему морду набью»… Ну, подберет его кто-либо и уведет куда подальше. В 1926 году А. В. был в числе трех, ездивших к Репину в Финляндию. Задач этой делегации я не знаю, но направление Репина было далеко «не советское». Книги, привезенные ему в подарок и напечатанные по новой орфографии, Репин бросил под ноги и потоптал их. Между прочим, Григорьев как-то рассказал мне: в 1918 году, когда правительство переехало из Петрограда в Москву, Третьяковскую галерею посетил Ленин. Переходя из залы в зал, он дошел до залы с картинами М.В.Нестерова. Он надолго задержался у его картин. А потом обратился к сопровождающим и сказал: «Придется убрать. Это идет в разрез с нашим мировоззрением». И пошел к выходу из зала. На пороге, однако, остановился. Обернулся и, взмахнув рукой, сказал: «Не трогайте. Оставьте. Пусть пока висят».

Милый мягкий нрав А. В., самый его вид «христосика», вызывали к нему общую симпатию. Он был самым ярким представителем художественной богемы. Пришли хрущевские времена — А. В. был восстановлен в партии. Получил хорошую пенсию и возможность лечиться в санаториях. Но… все это было уже поздно. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.

В.И.Микулин, кавалерист. Большой закалки человек и больших способностей, не вызывал к себе такого участия, как Григорьев. В нем была и порода, и кавалерийский гонор, и знание трех европейских языков, и мастерство на все руки. Работал он часовщиком, слесарем, электриком, фотографом. Жил в ужасных условиях. Одет был в рубище. Слегка прихрамывал на одну ногу и был колоритной и страшной фигурой нашего времени. Мы часто встречались с ним. Он взял на свое попечение всю техническую часть моего дома. Он не жаловался. Не роптал. Но все время боролся за восстановление своих прав гражданина и воинского звания. Он писал умно и дерзко в разные инстанции. И в конце концов победил: ему дали чин полковника и хорошую пенсию, а затем вскоре и место на Тарусском кладбище.

Зимою этого года я как-то спустился в город. В центре города слышу крик: «Доктор Мелентьев, доктор…» Ищу глазами — кто, а навстречу мне спешит «полтора Ивана». На нем еще милицейская форма, но уже без погон и в таком беспорядке, что сразу видно — не служака. «Я хотел к тебе домой сходить, попросить у тебя прощения. Но ведь я тебе ничего плохого не делал? Правда, не делал?» Выпимши. Крепко жмет мне руку и не выпускает ее. А глаза детские, безвольные. И головка у этого «полтора»

маленькая. И улыбка просящая, жалкая. «Я не обиделся на Вас, я понимал, что приходите Вы ко мне не по своей воле». — «Да Вы ничего плохого мне и не причинили. Спасибо Вам за это». С тех пор мы стали друзьями с ним.

К концу этого же пятьдесят третьего года ясно определилось, что отставить меня от больницы было легче, чем отставить больных от меня. Я никогда не занимался частной практикой. Не любил ее. При некоторых положениях осуждал ее, ну а вот жизнь привела меня к ней. Я ее не искал. Я нигде не объявлял о приеме у меня на дому, а больные шли и сами установили мне гонорар. Деньги мне были нужны, но я не гнался за ними. И часто, где я видел бедность, я не брал. Так вот и пошло — даже и по сегодняшний день.

Глава четвертая. ТАРУСА (1954–1957)

Годы 1954, 1955, 1956, 1957 прошли спокойно. В стране после «культа личности» режим стал человечнее. Условия жизни медленно, но налаживались. Питание «рвотиками и кавардашками» отходило в прошлое. И даже в Тарусе стало как-то обстраиваться, заботиться о благоустройстве города, приводить в порядок шоссе до Серпухова. И в Москву стало возможно доехать не за 12 часов, как раньше, а за три с половиной, за четыре часа. Много последнему делу помог своею статьею в «Правде» писатель К.Г.Паустовский. Он купил в Тарусе полдомика и обратил на нее внимание властей предержащих.

Поселился в Тарусе в эти годы и мой давний приятель Георгий Владимирович Нашатырь. После Петербурга, Парижа, Москвы, Соловков, Кеми, Медвежьей Горы и Колымы он бросил свой якорь недалеко от меня. Это мой самый милый и желанный собеседник. Только десятилетия лагерей не прошли ему даром. Человеческое сердце все же имеет пределы своей выносливости…

За эти годы в моем дневнике имеется ряд записей о хорошо проведенных летних месяцах с чудесными людьми, когда имели место и хорошая шутка, и серьезная музыка.

Опять прибился к нашему берегу Евгений Сергеевич Медведев. Теперь он профессор в Медицинском институте, но скрипку не бросает. Наша дружба с ним тянется с 1922 года.

В сентябре умерла Ольга Александровна Павловская. Это был верный и преданный друг. Вспоминаю ее квартиру в первый год нашего знакомства в Мерзляковском переулке. Громадная комната по стенам сплошь покрыта прекрасными картинами. Бронза, много часов, чудесная мебель. Ну, а потом постепенно картины и вещи начали таять. Стало сдавать и здоровье. Тяжелы были годы войны.

В ноябре умерла Александра Николаевна Ушакова, вдова академика Д.Н.Ушакова и близкий человек К.Н.Игумнова.

Я был на ее отпевании в такой памятной мне квартире. Посидел несколько минут в комнате Константина Николаевича. В ней еще остался ряд вещей, принадлежащих ему. Его бюст, его знаменитые часы. На камине его керамика.

Умер и Абрам Маркович Эфрос. Сосед по Вспольному переулку. Желанный гость в Алабино. Благожелательный и расположенный к добру человек. Хоронило Эфроса много народу, и это была справедливая дань крупному искусствоведу и хорошему человеку.

Наступил 1955 год.

В феврале мы отпраздновали золотую свадьбу брата Луки Михайловича и его жены Анастасии Петровны. Юбиляры сидели во главе стола старые, седые, но еще достаточно шустрые. Только сестры и я были свидетелями в 1905 году в Старом Осколе их свадьбы. Чего, чего только не вспомнилось в этот вечер.

Причудливо складывается жизнь человеческая. И по какому закону одним суждено уцелеть, другим погибнуть? Какая это рука одних щадит, других уничтожает? Это тайна жизни, которой никогда не разгадать.

Возвращались мы из гостей поздно. Живем мы друг от друга, недалеко, и решили подышать свежим воздухом и пройтись пешком. Ночь была не холодна, тиха. Мы были на радостном подъеме. И жизнь в эти минуты казалась легкой и веселей.

А на утро у Ани боли в ноге, высокая температура, и определился глубокий тромбофлебит.

Много тревожных и печальных дней пережили мы. Мне выпало быть, впрочем, медсестрой, сделкой. И видит Бог, с какою охотою и любовью нес я эти обязанности. Очень помог нам в эти дни болезни Иван Сергеевич Тургенев. Оставаясь одни целыми днями, мы перечитали все его романы и ряд повестей. Это было прекрасное лекарство.

В конце мая Аня уже смогла выехать в Тарусу.

Лето в этом году выпало сухое и жаркое. В саду у меня пышно, цвели розы. Было много ягод, вишен, спаржи, цветной капусты. Жили с нами: Н.П.Вревская, С.В.Герье и Г.И.Телепнева. Все или к семидесяти, или за семьдесят. Но это не мешало нам радостно воспринимать жизнь и с сожалением провожать каждый прожитый день.

Но если небо над нашим домом и садом было безоблачно, то вовсе не таким оно было в мире. Продолжающаяся холодная война грозила ежедневно обернуться войной настоящей. И этот страшный призрак то вырастал, то сникал, но не исчезал совершенно.

У Тютчева есть стихотворение в четыре строки «Последний катаклизм». Вот таким катаклизмом рисовалась нам грядущая беда:

Тогда пробьет, последний час природы.
Состав частей разрушится земных,
Все зримое опять покроют воды
И Божий Лик изобразится в них.

Этим же летом приехал в Тарусу на четыре дня Сергей Николаевич Коншин. Это было событием и для него, да и для

нас. — С 1932 года пробыл он на Колыме. Затем в каких-то глухих местах под Свердловском. И лишь последние два-три года живет в Петропавловске в Северном Казахстане. Я выезжал встретить его в Москву, и всем нам хотелось обласкать его и побаловать. Долгие годы лагерей и ссылки сказались на нем излишней робостью и внезапной задумчивостью и тревогой.

Очень ласково обошлась с ним С.В.Герье. Она даже села играть с ним в четыре руки сонаты Бетховена и послала потом в Петропавловск нужные ему ноты.

Аня вернулась в Москву в половине октября, а я, как всегда, остался на осенние работы в саду.

24 октября 1955 г. (из дневника). Встаю рано. Пишу письма. В полдень выхожу в сад и с небольшим перерывом на обед остаюсь в нем до глубоких сумерек. Погода стоит отличная. Вечерами прочитал «Золотую розу» Паустовского. Он мастер небольшого рассказа. Много путешествовал, много знает, много видел, и читать его всегда интересно. Сейчас на руках у меня «Жизнь Николая Лескова». Написана она его сыном Андреем — Дронушкою. Судьба книги очень сложна. Десятки лет ее не печатали, и только счастливый случай сберег ее нам. Я всю жизнь читал Лескова и всегда интересовался им лично. И книга эта полностью удовлетворяет этот интерес, но читается она не легко. Язык книги своеобразен и труден.

16 ноября. Ночью выпал снежок. Деревья покрыты инеем. Ни с чем не сравнимая естественная декорация. Отошли Октябрьские праздники. Марианна приехала ко мне на эти дни с компанией студентов-энергетиков в 21 человек. Было так — пляши, хата, пляши, печь, — хозяину негде лечь. Весело, шумно, молодо. Все физкультурники, закалены, не неженки. Просты в обращении, и что мне особенно отрадно отметить — никто из них не курил и не пил водки.

Возможно, что эта новая порода людей будет специалистами «узкого профиля», не будет иметь широкого общего развития… Не беда, лишь были бы здоровы и телом, и духом.

Гуляя в окрестностях Тарусы, студенты натолкнулись на целое поле неубранной кукурузы, уже сильно подмороженной. До сих пор колхозы не вырыли картофель. А осень стояла сухая, теплая. Ходит такая частушка:

Я с миленочком гуляла от утра и до утра,
А картошку нам копали из Москвы инженера.

Очень скудно с продуктами в Тарусе. И не то, что в этом году, а все годы. В магазинах кроме консервов и водки нет ничего. К

«Октябрю» какая-то часть населения с боем получила по поллитра подсолнечного масла и по килограмму сахару. Белого хлеба нет и в помине.

Наступил 1956 год.

Двадцатого февраля отпраздновали восьмидесятилетие брата Луки Михайловича. Этот бывший крупный коммерсант, богач и по сие время не растерял своих даров ума и сердца. Он много читает и с большим разбором. Внимательно следит за жизнью в стране. Самостоятелен в своем мышлении и восприятии сущего. Не брюзжит. О, нет. Он давно пересмотрел установки прежней жизни, внимательно прочитал Ленина, считает себя его последователем и хочет только одного — большей честности в руководстве и труде.

На майские праздники приехали ко мне в Тарусу Толстые — Сергей Сергеевич с женою Верою Хрисанфовной. В Москве мы встречались неоднократно, и я бывал у них каждый свой приезд в Москву. Он — профессор английского языка в Институте международных отношений. Она — переводчица. Это очень милая и дружная пара. Религиозная, скромная, не совсем обычная в общем понимании этого слова. И обстановка их квартиры со старыми семейными портретами, старою мебелью, книжными шкафами и видами (маслом) Ясной Поляны — тоже выпадает из общего ряда. Сергей Сергеевич несколько восторжен и суетлив, скороговорчив. Вера Хрисанфовна — покойна. Неторопliва, и в ней наблюдается какая-то застарелая усталость. Надломленность.

Их записи у меня в тетради для посетителей отражают их очень ярко.

Сергей Сергеевич размашистым, порывистым почерком, написал:

«Чего хочет сердце человеческое? Оно хочет прежде всего тепла и ласки. Трудно представить себе большое тепло и большую ласку, чем, которые дает Михаил Михайлович.

Чего хочет душа человеческая? В наше время душа человеческая, может быть, хочет больше всего — покоя, отдыха…

Чего жаждет ум человеческий? Он жаждет больше всего умной сочувственной беседы, беседы с таким собеседником, который и слушает, и сам говорит…

Чего, наконец, жаждет тело человеческое? Увы, столь многого, что это трудно перечислить…»

Я не заканчиваю вопросов ответами — это неумеренный панегирик мне».

Вера же Хрисанфовна написала следующий отрывок из Вальтера де ля Маре:

Мир твоим путям,
Мир твоим очам,
Мир душе твоей

В вечном часе пробужденья
— я цветок мгновенья,
Мир в душе моей…

В один из вечеров Сергей Сергеевич, по нашей просьбе, рассказал, что помнил о своем великом деде — Льве Толстом. В год смерти деда С. С. было тринадцать лет, и встречи его с ним не были часты. Нового о Льве мы ничего не узнали, но бытовые черточки и то, как Лев Николаевич, приехав в Москву и навестив своего внука, который жил у деда по матери, не пошел дальше кухни, а охотно, долго разговаривал с кухаркой, были интересны; было хорошо и то, как просто, я бы сказал аристократически просто, был построен рассказ Сергея Сергеевича.

В конце июня Толстые опять прожили у меня несколько дней. И опять это было интересно и содержательно.

Летом этого года было очень много музыки.

В Тарусе жила профессор Ленинградской консерватории, заслуженный деятель искусств Надежда Иосифовна Голубовская. Прекрасная пианистка и милая женщина. Она была близка к нашему дому еще по прежней его хозяйке Софье Владимировне Герье. Она играла не только у нас, но мы упросили ее дать концерт и в местном Доме культуры. Концерт вышел на славу. Народу было полно.

Второй пианист и композитор жил от нас через дорогу — это Пантелеймон Иванович Васильев. Старый холостяк из хороших чудаков. Он очень пришелся к нашему дому и привязался к своим хозяевам — простым людям, которые его любовно за глаза называли «Пантюхой». Он мило ухаживал за нашими старыми дамами. Писал шутливые стихи и очень умело читал их. Композитор он был серьезный. На пустяки не шел. Локтей крепких не имел, да и с современностью был не в очень большом альянсе. Каждое утро приходил он к нам и неизменно играл Метнера, с которым его, кроме всего, связывало личное знакомство. Играл самозабвенно, отдаваясь музыке весь. Он многое мог рассказать, и интересно рассказать, о прежней музыкальной жизни. О Танееве, учеником которого он был, о Гедике, с которым дружил… Конечно, и он побывал там, куда Макар телят не гонял. Потерял свою комнату в Москве, жил по углам и зарабатывал уроками. Все эти невзгоды, к счастью, не

испортили его общительного и веселого нрава.

К этим двум пианистам присоединились и две скрипки.

Подъехал на своей машине и стал «флигелем» в малиннике Евгений Сергеевич Медведев. А из Поленова, из дома отдыха приезжал несколько раз первый скрипач Большого театра Тросман. Поражала меня в нем разительная перемена в быту и во время игры на скрипке. В быту совершенно карикатурен. Но как только брался за скрипку — это был артист, вдохновенный и порывистый. Даже маленький его рост становился высоким. Его игра доставляла нам истинное наслаждение.

Во второй половине августа начался разъезд наших музыкантов и не музыкантов. Лето, по крайней мере для москвичей, окончилось. 24 августа езжала и Софья Владимировна Герье. Это лето она особенно была легка и светла. Старый человек, она была пленительна и внутренне, и внешне своею свежестью чувств, своею породистостью. Отец ее, Владимир Иванович Герье, профессор историк. Мать, рожденная Станкевич, портрет которой висел в кабинете Софьи Владимировны, пленяла своею красотою и «усадебным» благородством…

Сама Софья Владимировна десять лет прожила в Италии, была профессором итальянского языка в Институте иностранных языков и была теософкой. Первые годы эта ее теософичность с некоторым привкусом нетерпимого сектантства как-то стояла между нами. Но за последние годы это ушло. Софья Владимировна становилась все мягче, окрыленнее, и становилась нам все ближе и дороже. Особенно крепла дружба между нею и сестрою Анной Михайловной.

Итак, провожая Софью Владимировну в Москву, мы стояли на углу улицы, поджидая «Победу». Все были немного возбуждены, даже, быть может, немного излишне веселы и болтливы. Разлука не казалась долгой, не огорчала и обещала радость встречи. Подошла «Победа». Последние пожелания и поцелуи.

Увы, что нашего незнанья
И беспомощней, и грустней?
Кто сможет молвить: до свиданья,
Чрез бездну двух или трех дней?

31 августа Софья Владимировна скончалась.

От нас скрыли и болезнь С. В. — тяжелый инфаркт сердца, и ев смерть. И мы не присутствовали на ее похоронах. Это скрывание было не нужно, и потеря была не менее от этого тяжела. Особенно тяжело переживала эту смерть Аня. И я думаю, что ее последующее заболевание тахиаритмическим трепетанием

предсердий связано с этим.

Ноябрь особенно был для нас тревожен. Не тревожилась, кажется, только сама больная. Это было прекрасно в ней. Что же касается меня, то вот тютчевские четыре строчки:

Все, что сберечь мне удалось
Надежды веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи!

К Новому году состояние Ани было таково, что ей позволили посидеть за новогодним столом и выпить… рюмку «боржома».

Наступил 1957 год. Мне пошел семьдесят пятый… Пора, пора кончать.

Эпиграф к этому концу беру опять у Тютчева:

Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы.
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих — лишь грезою природы.

Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной.

В середине января мы с Анею и Надеждою Васильевной Крандиевской выехали в Тарусу на «нах кур» и прожили здесь до конца февраля. Погода стояла чудесная. Мы ежедневно не спеша гуляли. Писали письма, читали. На нашей же улице это время пожили и Симоновы — Сергей Михайлович с Натальей Александровной. А к нам затем подъехал Е.С.Медведев. Опять два пианиста и скрипач. В зимние вечера особенно была приятна музыка. И особенно игра в четыре руки Симоновых.

А в конце марта, как полагается, посев в ящики левкоев, цветной капусты, помидоров.

Пасха в этом году была 21 апреля. Девятнадцатого апреля — день смерти Володи. В четверг на Страстной неделе я выехал в Загорск и выехал оттуда после Пасхальной заутрени и обедни. Жил у Татьяны Васильевны Розановой…

Двадцать лет минуло со дня смерти Володи. Никогда не думал, что после него проживу так долго. Убрал его могилу. Посидел около нее. На кладбище больше не хоронят. Оно закрыто

и постепенно приходит в большой упадок. А деревья у могилы очень разрослись несмотря на то, что их ломает каждый, проходящий мимо.

И вот что ждет могилу? И не нужно ли мне, пока жив, еще раз заняться прахом Володи?

Служба Страстной недели самая моя любимая. Она трогает меня до глубины души, до слез. Она сближает меня со всеми ушедшими и делает сопричастником жизни вечной… Я дни и ночи проводил в церкви. Устал, конечно, очень, но усталость эта была просветленной и радостной.

Домой на Вспольный вернулся я в семь утра. Все еще спали. Я тоже с наслаждением растянулся на своей постели. Комнаты на Вспольном были уже опустошены. Дело было в том, что Ирина месяц тому назад получила ордер на отдельную трехкомнатную квартиру, и нам сегодня предстояло перебраться туда окончательно. Бросать комнаты на Вспольном нам с Анею было очень и очень грустно. Тридцать пять лет прожили мы в них. Мы были молоды, въезжая в них, оставляем их старыми. Постарел и очень одряхлел и дом. Его лестницы и коридоры напоминают своею ободранностью ночлежку. В комнатах у нас постоянно текли потолки, и все же:

Переулок Вспольный, пять,
Нам из сердца не изгнать…

К вечеру мы были уже в новом жилище. Большие комнаты, цельные окна, светло, просторно. Круглые сутки горячая вода. Прекрасно оборудованная кухня, мусоропровод. «Жить, да веселиться». Район — юго-западная окраина Москвы, Воробьевы горы. Новый социалистический город. Восьмиэтажные громады расположены на широких озелененных площадках. Ни дворов, ни ворот, ни заборов. Скука однообразия. И какая-то жестокость и безжалостность в этих безымянных просторах, не то улицах, не то закоулках… Здесь уже не найдешь паперти церковной, маленького деревянного особнячка или какой-либо другой милой неожиданности.

К маю Толстые собрались со мною в Тарусу. 28 апреля я позвонил к ним. К телефону подошла Федосья Григорьевна, старая монахиня, их обслуживающая. Говорил я из автомата. Слышимость была очень плохая, но тем не менее я разобрал, что «Вера Хрисанфовна была в поликлинике, вышла оттуда, упала на тротуаре, и ее увезли в больницу. Сергей Сергеевич при ней в больнице».

На следующий день Вера Хрисанфовна скончалась.

* * *

Лето 1957 года в Тарусе шло своим порядком. Приезжали и уезжали милые, старые друзья. Постоянно живущими в доме были лишь Симоновы. В начале июля приехала Голубовская с дочерью ленинградского писателя Виталия Бианки — Еленою Витальевной. Несколько раз заходил Паустовский с женою. Лето текло приятно. Аня чувствовала себя прилично, интересы были разнообразны. В середине августа подъехал со своим «флигелем» Медведев, и разговоры на террасе за едою удлинились во много раз. Все не могли решить вопроса — почему так упала «порядочность» в человеке? Почему он так опустился? Или, как говорила мать (монахиня) царя Михаила Федоровича, после смутного времени «измалодушенствовался народ».

Двадцать седьмого августа я поехал в Москву, проведать Лихоносова. Нашел я его в прежнем его подвале на Большом Головинском пер. на Сретенке. Он приехал на лето из ленинградского Дома престарелых ученых.

Горестным вышло наше свидание. При первом же взгляде на Лихоносова было ясно, что он уже не жилец. Да он и сам понимал это и сказал мне: «Хочу умереть. Довольно. Уже соскучился о тех, кто там…»

Умер он 7 сентября. Похоронили на Ваганьковском кладбище. Я побывал на кладбище вместе с его дочерью и двумя внуками — пяти и семи лет. Чудесные мальчуганы, «посыпая дедушку песочком», неумолчно болтали. Это была непреоборимая сила жизни и радости роста. И я… около них с пятидесятилетним грузом дружбы с их дедом.

Сентябрь в Тарусе мы прожили втроем — Аня, Люба и я. Весть о смерти Лихоносова пережили вместе. Это была общая потеря. Мы не плакали. Мы молча просидели вечер при свете лампады. Огонек лампады прошел через всю нашу жизнь — от дней с матушкою. Не раз и не раз сидели мы с Лихоносовым у нее в комнате при трепетном свете… И это связало нас на всю жизнь.

Конец октября и ноябрь я провел в Москве.

Дни эти вспоминаются мне, овеянные грустью потерь сверстников, знакомых, соседей. Умерли один за другим: доктор Уколов, одного со мною выпуска, кронштадтец и очень милый человек.

Умерла Анна Павловна Поленова. Близкая по Тарусе. Крупная, красивая, с легким, доброжелательным нравом. Двенадцать лет мы дружили с нею.

Умер на Вспольном и наш сосед Михаил Петрович, с которым мы тридцать лет прожили без единого недоразумения…

И от этих потерь, следующих одна за другой, стало страшно и за близких, да и за самого себя… Мы ни у кого не были на похоронах. Это было свыше наших сил.

Как-то я в воскресный день проехал в Донской монастырь. Там открыт старый собор, времени царя Федора Ивановича. Служба подходила к концу. Было очень много причастников (перед Рождеством, Филиппов пост). И шли они один за другим, сложив крестообразно руки на груди. Народ все простой и в большинстве не молодой («Религия простых и бедных людей»). А певчие время от времени тянули: «Тело Христово приимите, Источника бессмертного вкусите…».

А рядом крематорий. Парадно расчищена дорога. У подъезда машины. Пустой зал. У люка у открытого гроба небольшая толпа народа. Звучит орган. Гроб опустился. Народ повернулся к выходу. Как все комфортабельно, удобно. Без «Источника бессмертия»… Некоторые даже шапок не сняли у гроба.

Шестнадцатый век и вторая половина двадцатого. Но ведь можно их слить. Ведь веру в загробную жизнь, в источник бессмертия — кремация не исключает.

* * *

В начале декабря я с радостью вернулся в Тарусу. Здесь я себя не чувствую «оконченным человеком». В Москве я — пенсионер. Здесь — популярный и нужный населению врач, и день для меня здесь мал.

Девятнадцатого декабря получил от брата Луки письмо. Он писал:

«Дорогой Миша! Получил твое письмо. Спасибо. Но ты напрасно извиняешься, что не зашел. Расстояние между нами увеличилось и стало не так удобно меня проведывать. Да и дело наше стариковское, и скакать по автобусам и троллейбусам не так-то легко. Так что, в будущем не стесняйся в своих визитах и заходи, когда будешь близко от нас, тогда и поговорим о происходящем кругом нас. Ведь мы теперь только зрители.

Сейчас читаю Тарле "Талейран" и думаю, как он был умен и как это не вяжется со скаредностью в нем и страстью к приобретению. Зачем? Для того, чтобы оставить своим племянницам миллионы и, возможно, сделать их несчастными!

Много мы за это время нового прочитали и много страшного даже для нас, стариков, а что же думает молодежь, читая и живя под угрозой этой проклятой, войны? Впрочем, я не верю в нее и думаю, все это обойдется благополучно и люди заживут

человеческою жизнью, не боясь просыпаться по утрам и не думая, ложась спать, проснуться вне сего мира — скорбей и ужаса.

Нового много ежедневно. Целыми днями просиживаю за газетами, а чувствую себя даже лучше, чем раньше. Вот-вот 82, и думаю, что пора и честь знать и очищать дорогу молодым. Боюсь, что мы уже мешаем им.

Будь здоров. Л.Мелентьев».

Двадцать первого, это было в субботу, к вечеру телеграмма от Ани: «Лука в тяжелом состоянии».

Наутро выехал в Москву. Дверь в квартире мне открыл Александр Александрович. Ни Ани, ни Ирины, ни Марианны не было дома.

«Смерть?..» — спросил я. «Да», — ответил А.А. И мы молча разошлись по своим комнатам.

В этот день я не пошел на Трехпрудный…

Плохо себя почувствовал Лука в ночь с четверга на пятницу. В пятницу боли в сердце стихли. В субботу утром, обманув дежурящих, сам вышел в коридор. Выпил стакан чаю, а к полудню тихо скончался. Мы, Мелентьевы, не хвораем долго. Отец, матушка, сестры Паша и Оля, брат Федя — все «убирались» скоро. Не изменить бы нам трем, оставшимся, этой хорошей семейной традиции…

В гробу брат был благородно хорош.

Похоронили его на далеком подмосковном кладбище в Кузьминках. Похоронили молча…

Тридцать первого декабря встречали Новый 1958 год и праздновали день моего рождения. Родился я 18 декабря по старому стилю в 1882 году.

Ошибки нет — мне исполнилось семьдесят пять лет.

Глава пятая. ТАРУСА (1958–1964)

Три года тому назад я решил больше не продолжать своих воспоминаний и закончил их так: «Автор воспоминаний умер такого-то года, отпет и кремирован».

А получилось так, что я и не отпет, и не кремирован еще, и мало того, меня потянуло продолжать мои воспоминания. Ну что же, попробую.

С чего же только начать?

Мне пошел 77-й год.

«Надвинулась старость с ее вынужденным смирением, последними вспышками протеста и… все более возрастающей печальной покорностью неизбежного».

Понятно, при таком самочувствии и настроении меня тянет помянуть почивших друзей.

Георгий Иванович Курочкин.

Познакомились мы с ним в 1918 году в Петрограде на Всероссийском съезде медицинских работников. Он — большой, рослый, с бородою, земец, санитарный врач Ярославского губернского земства. В сапогах и косоворотке. Я — подтянутый морской врач, почти юношеского облика. Оба мы в президиуме съезда, и оба переживаем поражение от воспрянувших фельдшеров. И вот что-то протянулось между нами, что не порвалось и до 1958 года.

Ярославль. «Мой милый Михаил Михайлович! Спасибо за память. Прочитаешь письмо — сам напишешь, и точно с человеком поговоришь. А еще у меня сейчас и такая манера: мысленно перенестись вечером, когда ложишься в постель, в общество своего приятеля и представить себе: а что вот он сейчас делает? Читает? Разговаривает? Может быть, мысленно унесся в свое прошлое и вспоминает его в деталях?

Вот утром в постели, проснувшись в шесть часов, люблю вспоминать гимназию в деталях. Характеры учеников, их способности, манеру входить в класс, отвечать учителю. А характеры были разные — кого называли прозвищем: михрюка, салоха, богодельник. Иных — Серега Неустроев, Пашка Белоградский. А иных — Володя, Валя, Боря. И все это создает какую-то приятную картину! А сколько студенческих воспоминаний! Это было время, когда сердце работало как у собаки, а впереди была целая жизнь. А сейчас… Зима да старость — такая гадость!

Не хочет сердце считаться с моими желаниями, как они ни скромны. Вот дней 10, как прокис. Днем не каждый день выезжаю

в город, а только похожу около дома, а вечером и совсем перестал выходить. Навздеваешь на себя всякой тяжелой одежды, и начинает давить на грудину: возвращайся домой.

Вчера в театре был творческий вечер молодежи, сколько там знакомых, а я не был. Была сестра. Говорит, интересный вечер, много знакомых в театре, кланяются мне, недоумевают, что меня нет. А мои желания стали так приглушены, что я даже и не взгрустнул. А чтение как-то не по-прежнему занимает. В газетах читаешь с интересом только о заграница, остальное просматриваешь.

За последнее время прочел "Брат мой, враг мой" и "Вторая древнейшая профессия". Не понравилось. Кинематографично и как-то клочковато. Да и мы выбираем для издания те произведения, где с большей тенденцией изображается частица американской жизни. И "Новый мир", и "Современник" (я их выписываю) мало интересны. "451 градус по Фаренгейту" у меня есть. Не скажу, что это недалекое будущее заманчиво. Остальную Вашу рекомендацию постараюсь использовать. Глубоко убежден, что войны не будет. Помните мудрых римлян: "Vis pacem — para bellum", — и Бокля: "Чем ужаснее орудия войны, тем войны реже".

"Идиота" очень люблю. К "Подростку" отношусь с холодком. А Вы, дорогой, в Тарусе чувствуете себя в своей скорлупе? Вот передо мной Ваше фото: Вы восседаете в кресле. На руках кот. Сзади целая коллекция фарфора. Слева картина, должно быть, Бронникова, а в соседней комнате, в отворенную дверь, видны тоже какие-то картины. Ну, вот и чувствуете себя в своей тарелке.

А все-таки жаль, что не были на Художественной выставке. Интересно, как там отражается борьба стариков с молодежью. Кое-что я от ярославских художников знаю. Наши ярославцы там затерялись.

А от Печкина давно ничего не получаю. Вероятно, тоже зима тяжела. Да будет наступивший Новый год всем нам в здравие и благополучие. Ваш Г.Курочкин».

10 марта 1958 года. Ярославль. «Дорогой Михаил Михайлович! (Письмо карандашом, изменившимся почерком.) Ваше письмо застало меня в постели. Был припадок не то грудной жабы, не то инфаркт, хотя электрокардиограмма и не показала его. Вот и лежу. Врачи находят, что хоть и медленно, а положение улучшается. Я сижу в постели, немного привстаю на ноги. Аппетит неплохой, но слабость, слабость! И очень скучно лежать, хотя и почитываю. Я в-сем завидую, кто идет мимо окон. Завидую и Вам, ибо Вы прямо второй спутник! Куда хотите, туда и пойдете. А Коля Печкин, Никитин и я — развалины былого. Но вот они были у Вас под Новый год, а я? Огорчает то, что когда

лежишь и вспоминаешь прошлое и как мало осталось в живых из тех, кто когда-то были твоими приятелями и друзьями. Все прошло.

Живите, милый, и радуйтесь Божьему миру, и я с вами мысленно. Г.Курочкин.

P. S. Позвоните Печкину, ведь мы с ним одноклассники, и скажите, что я в постели».

17 апреля. Ярославль. «Дорогой мой Михаил Михайлович! Вы вернулись от Троицы и принялись за цветы. У нас с южной стороны у дома стаял снег, обнажилась клумба, опоясанная желто-зелеными зимниками, и кажется, что они уже помаленьку прибывают, — хотя вблизи утром лужа под ледком. А с северной стороны нашей хаты сугробы снега. Зима была снежная, и мы думали, что нас затопит. И снег сошел разом — даже воды не было, где она обычно бывает. А у Вас весна недели на две раньше нашей. Я еще не слышу пароходных свистков. Значит, Волга не готова, хотя против Ярославля парами пароход перевозит.

У меня сейчас такая манера: мысленно перенестись от воспоминаний о прошлом, перенестись к картинам настоящего. И вот в первый день Пасхи представить себе, а что делает сейчас Них. Мих.?

Представил себе битком набитый храм Сергия, идет Светлая заутреня. Все радостные стоят со свечами. Вероятно, идет служба и на улице. У нас служат в двух церквах и на улице. И в этой толпе — Вы, погруженный в вечность со всей грустью и радостью».

Я уже врачом никогда не пропускал 12 евангелий, полных тихой и поэтической грусти и со словами: «Исшел вон и плакался горько»; Снятие со Креста (Благообразный Иосиф); Погребения Христа, и наконец, Светлая заутреня.

Было и осталось только в воспоминаниях. И вот, когда я узнал о Вас, что Вы у Сергия, радовался с Вами и печально думал о себе. Хотя мои дела не так уж плохи! Я стал выходить на крыльцо и греться на солнышке, правда, в валенках и в теплом пальто с поднятым воротником, но слабы ноги и болит поясница. Сижу много, а мышцы слабы, ну и спине не нравится мое сидение. Я очень благодарен Вам за Ваше письмо. О, если бы мне было 50 лет! Или годы нашей встречи в Петербурге, на съезде. Какими мы были молодыми! Тогда часто были съезды, и сколько было встреч с интересными большими людьми. Теперь остались их имена в названиях институтов.

Вот и К.Ф. Юон умер! И как трудно представить его в гробу! Он мне ровесник. А Турчанинова прислала мне бодрое, живое письмо. Едет в Болгарию на гастроли, а ей 88 лет.

Будем жить, пока живется. Первый том "Шаляпина" мои московские друзья мне прислали. Читает сестра, а я лишь внимательно просмотрел. Хорошо! Его второй семьи здесь нет. Мы ведь с ним у Ермоловой М.Н. встречались. Тогда еще он был скромен и охотно пел у нее в зале.

С увлечением читаю воспоминания о Салтыкове. И он очень сложен и интересен по характеру, и необычайно интересна та эпоха: "Губернские очерки" и вице-губернатор. Государю не понравилась его административная деятельность, он выходит в отставку и ему дают "действительного статского советника", 1000 рублей пенсии и т. д. Чудно! Обязательно почитайте. А как бурлила мысль и как скрещивались идеи. И там хороши характеристики "вспоминателей".

Сегодня получил письмо Печкина. Беспокоится обо мне, а как сам живет — не пишет.

Милый, напишите мне, как прошло Ваше пребывание у Троицы. Будьте удачны в цветоведении. Ваш Г.Курочкин».

28 июня. Ярославль. «Дорогой Михаил Михайлович! Георгий Иванович Курочкин скончался 20 июня в 10 часов вечера. У него к Вам было особое отношение. Он относился к Вам с любовью. Глубокие душевные чувства и переживания, душевные размышления, замкнутые от другой жизни, были направлены к Вам. Потому что было взаимное понимание и уверенность в этом. Так думаю я.

Всегда говорил о Ваших письмах к нему, читал или говорил: "Прочти письмо из Тарусы". Но его писем к Вам не давал. Вот это и говорит о глубоких интимных чувствах, направленных к Вам… Самые глубокие, самые замкнутые.

Георгий Иванович определенно и тяжело болел с 6 февраля текущего года. Сначала полагали, что дело в склерозе сердца и аорты, а финал: опухоль средостения. Страдания его были в постоянной одышке и тяжелых хрипах. Болей не было, только "давило" за грудиною. Слабость была огромная сознание полное до последнего дня. Он говорил о Вашей дружбе, как о чем-то очень хорошем и даже удивительном. Говорил душевно и тепло.

Я не пишу Н.Н.Печкину. Я боюсь ему писать — уж очень он слаб. За два дня до смерти Г. И. диктовал ему письмо, в нем вкрапливались и Вы. Оно осталось незаконченным.

С сердечным приветом, Агния Курочкина (сестра Георгия Ивановича)».

Николай Николаевич Печкин, хирург «Божией милостию». Талантливый оратор. Не только хорошо музыкально образован, но и сам хорошо играл на рояле. Друг знаменитого пианиста Гофмана. Коммунист до Октябрьского переворота, но жестокость

его отшатнула Николая Николаевича, а смерть сына и дочери Верочки привели его к церкви. И я не знаю лучшего христианина, чем он. На страницах моих воспоминаний я много раз приводил его письма ко мне, и его дружбою и расположением гордился. Кстати, не могу не вспомнить, что на встрече Нового, текущего года, он с удивлением отметил: «А Вы знаете, друже, ведь за 30 лет нашего знакомства я ни разу не рассердился на Вас. Этого, кажется, у меня ни с кем не было». Для меня в этих словах удивления — весь Н. Н., с его принципиальностью, прямотою и горячностью. Не могу не привести его записи при первом посещении им Тарусы в 1948 году в моем домашнем журнале: «Прекрасно воспитанный, учтивый джентльмен, один, из числа моих многочисленных знакомых, пришел ко мне в страшную ночь на 28 мая 1928 года (смерть Верочки) и рукой "любящей женщины" положил первую повязку на мою душевную рану, и тогда я вдруг увидел в этом джентльмене удивительного, доброго друга. Прошло 20 лет. Немало еще ран было нанесено и Вашей, и моей душе в процессе развития трагедии, переживаемой нашей любимой нами родиной. Дорогой друг, и вот я снова приехал к Вам — пора переменить повязку, раны болят.

Я увидел дорогой образ моего друга в рамке чарующей настоящей Русской красотой элегической Тарусы в уютном, изысканно изящном уголке и… раны зажили…

Живите же долго и счастливо в милой Тарусе, дорогой друг, а я буду приезжать к Вам на перевязки, пока сама собою не исчезнет в них нужда по воле Божьей. Н.Печкин».

Второго октября этого года мы с доктором Дмитрием Васильевичем Никитиным поехали навестить Николая Николаевича в Кунцево, где он жил. Лицо его было синюшно. Дышал он с трудом. Ноги опухли. Он едва двигался, но был на ногах, при галстуке и как всегда встретил нас с любовью и радостью. Я осмотрел его. Посетовал на районного врача, который так невнимательно лечил его. Написал последнему письмо с предложением поместить немедленно Н. Н. в больницу и выписал лекарство, и… мы уехали.

А пятого октября телеграмма от Никитина: «Доктор Печкин умер сегодня вечером в больнице Склифосовского».

Похоронили Н. Н. на кладбище на Введенских горах рядом с его дочерью Верочкой.

Двадцать четвертого марта была десятая годовщина со смерти К.Н.Игумнова. Консерватория отметила этот день концертом. По радио передали записи его игры. Намеченный сборник его памяти не вышел, да, похоже, никогда и не выйдет. Кажется, кроме меня, никто не почтил его словом воспоминаний.

И снова, и снова приходят на память слова о том, как скоро глохнут пути человеческой жизни.

Ну, а теперь о друзьях живых… За последние два-три года «прибилась к дому в Тарусе» Надежда Иосифовна Голубовская. Пианистка. Профессор Ленинградской консерватории. Тонкий музыкант, широко образованный человек.

Пятьдесят восьмой год она начала «раковыми переживаниями» и 7 января писала мне: «Уайльд говорит: "Беда не в том, что мы стареем, а в том, что остаемся молодыми, не изжив себя за положенный срок. Душа растет, а тело чахнет". Не умею я с этим примириться. Через три недели операция. Знаю — похудела, аппетита нет. Но последнее, думаю, больше за счет морального гнета, который не могу превозмочь. Не гожусь я никуда, дорогой М. М. Нет во мне смирения. Оптимизм мой только нравственный. Верю в добро, в добрых людей, в доброе начало. А физического мира всегда боюсь и считаю его почти враждебным. Перед физическими препонами склоняю голову, падаю духом и особенно перед миром болезни и распада.

"Лотту в Веймаре" обожаю. У меня весь Томас Манн на немецком языке. Очень рада, что и Вы ее прочли. Я читала два раза кряду. Один раз взасос, второй с чувством и толком, и расстановкой. А вот "Шаляпин" Розенберга показался мне дешевым и по поднесению материала, и по языку — дешевым и фальшивым».

Телеграмма: «Дорогой Михаил Михайлович, операция в среду пятого февраля. Обнимаю. Голубовская».

5 февраля. Онкологический институт. «Дорогой, дорогой М. М.I Спасибо Вам за Ваши ободряющие письма. Главная тревога в руке. Она болит и стянута у плеча как железными обручами. Я ее "разрабатываю" через боль.

Обстановка здесь угнетающая. Лучше лежать в обыкновенной хирургической больнице. В нашей палате 16 человек. Она большая, но воздуху, конечно, мало. Все разговоры о раке и мертвых. Вчера проплакала целый день: отняли ногу у 16-летней девочки из нашей палаты — саркома выше колена.

Родных и друзей пускают только два раза в неделю. Живу в отуплении тюремного заключения. Молю о мужестве и терпении. Живу "без завтра". А кругом такие страдания, и человек представлен только в одной животной своей природе. Точно лагерь прокаженных. И нет у меня дара веселой надежды и бодрости…

Воображаю, как хороша Таруса. Вижу Вас, улыбающимся снегу и солнцу. Милый, милый М. М.! Поддержать бы Вашу руку — я бы поплакала, а потом посмеялась бы, или хоть улыбнулась.

Я ведь это умела».

21 февраля. Онкологический институт. «Дорогой М. М.! Я еще не знаю, сколько времени пробуду в этом лагере. О доме не смею и думать, тем более о дальнейших благих возможностях. Пока я калека. Рука очень болит. Гимнастикой увлекалась вначале, а теперь боюсь из-за незаживающей раны. Там и инфильтрат, о котором проговорилась сестра.

Здесь гнусная казенщина. Никогда не думала, что в больницах сестры чувствуют себя гувернантками или пастухами над надоевшим стадом больных. Нянечки почти все хорошие. Но их там мало, они сбиваются с ног. Грошовая экономия на чем? Врачи — метеоры. Вчера умерла больная вечером, и во всей больнице не нашлось врача, чтобы оказать ей помощь. Формализм! Бездушие! Человек растаял в броне официальных должностных упражнений!

А на дворе солнышко, снег — преддверие весны. Институт на Каменном острове. Кругом деревья. Нева близко, а мы дышим взаимным дыханием и живем в центре канцера и саркомы. Здесь, может быть, режут хорошо, но послеоперационный период, самый главный по-моему, проводится стандартно.

Какой сказкой представляются мне наши летние три недели в Тарусе. Обнимаю Вас, мой дорогой».

9 марта. Онкологический институт. «Дорогой М. МЛ У меня все стоит на месте. Не верю абсолютно своему лечащему врачу. Молодая. Неряшливая. Думаю, что внесли инфекцию. Врач перед повязкой никогда не моет рук, например. Выпустить меня не могут, а я в этой обстановке не поправлюсь. Вчера зашла в послеоперационную палату. Окно настежь (24 градуса на улице). Больные раскрылись. Закрыла окно, больная просила воды. Графин пуст. А персонал занят приготовлением к празднованию 8 марта. Праздновали днем в ординаторской, пели песни. Оставили дежурным молодого, самого неопытного и грубого врача. От него разило вином. А он же и переливал кровь. Кругом одни осложнения… Прославленный институт!

Уже пять недель после операции и почти 4 месяца, что я не живу, а жду наступления жизни, а она машет ручкой издали…»

21 марта. «Наконец, пишу из дома. Три дня, как меня отпустили из "Мертвого дома". У меня не все в порядке, но несмотря на это, здесь все другое и я другая. Не полностью прежняя, но и не безликая тень в пижаме среди других теней. Гуляю понемножку. Я ведь забыла вкус воздуха. Общее состояние гораздо лучше, вот только скованность на левой стороне — плечо, грудь, подмышкой. Но рука действует. Первый стул, на который я села дома, был стул рояля. Играть могу — это главное.

Радуюсь, что Вы едете скоро в Тарусу. Милая, милая Таруса! Она ведь живая, у нее есть благостная душа — кроме красот и радости для глаз. Нежная она, дружественная к человеку. Попаду ли нынче летом туда? Мечтаю, но боюсь пока загадывать. Живу маленькими этапами.

Крепко жму Вашу добрую руку».

18 апреля. Комарова. «Дорогой М. МЛ Давно Вам не писала, а думаю о Вас часто. Я вот уже две недели на природе. Дни стоят чудесные: солнце, снег, голубые тени и птичий гомон. Нежность разлита во всей природе, нежность и ожидание. А мне пора уже на работу. Здесь и шов мой зажил, и психически я ожила, перестала думать о себе, о своей болезни. Познакомилась с новыми людьми и включилась в чужие жизни. Два месяца предстоит напряженных — экзамены. А потом собираюсь в милую Тарусу. Не мыслю не повидаться с Вами.

И вот еще что. Нынче приедет в Тарусу скрипач Рейсон, и скрипач превосходный, и человек хороший. Обещаю Вам все десять сонат Бетховена, включая Крейцерову.

Представляю себе Вас среди оживающей природы, весны, света и воды. Здесь сосны и море. Море далеко. Летом я не люблю эти места — народу много, машин, суеты. А сейчас — тишина и запахи снега, земли. В городе — вонь, дым. Но вот третьего дня ехала я по набережной Невы часов в 7 вечера, и в какой-то бронзовой дымке предстал противоположный берег. Так хорош был Ленинград».

23 мая. «Дорогой М. М.! Я была в Москве. Ездила туда, чтобы еще раз послушать Ван Клиберна. Чудесное, божественное дитя. Такое создание можно только выдумать — и вдруг оно существует на самом деле. Это было большим радостным переживанием, звучащим во мне и сейчас. Это удивительное сочетание чистоты и огня. Душа — горящий факел и сама нежность. Всех он покорил, все его полюбили и все рядом с ним или в мыслях о нем становятся хорошими.

Поговорим еще в Тарусе о нем. Там и окружение подходит. Через пять дней я даю свой концерт — 4 сонаты Бетховена. Вот бы Вас иметь в зале своим слушателем!

Приехать полагаю в начале июля. Рада предстоящей встрече с Вами, дорогой друг, с которым я уже связана и горем, и радостью».

/ 7 июня. Ленинград. «Дорогой М. МЛ Закрутилась с экзаменами, не выберусь написать. А 28-го и еще давала концерт. Приеду в июле. А для Елены Витальевны Бианки комнатку и открытую веранду надо попытаться снять у старушки за прудом. Вас воображаю уже черного, вернее, медного, среди цветов и

запачканного милой землей.

Берегитесь, М. М., буду Вам без конца рассказывать о Клиберне. Этот божественный мальчик завладел моим сердцем, и я счастлива, что он существует.

Июнь простоял дождливым и холодным. Авось, "там" берегут тепло на июль.

Сердечный привет. Ваша Голубовская».

В начале июля Голубовская была уже в Тарусе. Приехал и скрипач-профессор. Конечно, десяти сонат они мне не сыграли, но Крейцерову сонату сыграли три раза. И сыграли отлично, с большим подъемом и без нот. Это был настоящий праздник. Я мог гордиться таким ансамблем у себя в доме и в Тарусе. И в глубине души я и гордился.

На счастье артистов, июль выпал на удивление жарким и ровным по температуре и сухим. С утра они шли на Оку, брали лодку и где-то далеко купались. К 12 часам Надежда Иосифовна приходила заниматься. Играла свое до часу, а потом я входил, и она играла для меня час. Бах, Бетховен, Шуберт и Моцарт. Ни Чайковского, ни Рахманинова не играла. Да и Шопен был не част в ее репертуаре.

К концу своего пребывания в Тарусе Надежда Иосифовна дала концерт в местном Доме культуры. Зал был полон. Слушали отлично, а когда конферант объявил о «Лунной сонате», то по залу пронесся шепот одобрения.

Играла Голубовская у меня дома и для писателя Паустовского. Перед этим он несколько раз заезжал ко мне, и мы пригласили его с женою. Небольшого роста, коренаст, широкоплечий. «Гомо квадратус». Хороши глаза, умные и ласковые. Хороша и улыбка. Говорит неторопливо, вдумчиво. А приступы астмы и тяжелое, затрудненное дыхание вызывают к нему повышенное внимание и участие. Уже далеко не молод, уже он давно «спустился в долину преклонных лет», но еще не сдается и полон творческих планов.

Словом, лето шло не только хорошо, но отлично. В семье все были благополучны. Аня была бодра, и мы весело отпраздновали и ее рождение, и ее именины.

Приезжал дней на десять из Днепропетровска Евгений Сергеевич Медведев, приятный и своею привязанностью к Тарусе и давностью нашего знакомства.

Все приходящие в дом приносили фотографии Ван Клиберна, и разговоры о нем шли без конца. Без конца все читали и Экзюпери «Земля людей». Мы впервые узнали его и оценили все «без изъятия».

Упомяну еще о своей поездке во Владимир. Архиепископ

Владимирский и Суздальский Онисим, старый мой приятель и пациент, прислал за мною машину, и я 4 дня прожил у него. Походил по Владимиру, побывал в больнице. Повидался с Анатолием Коншиным и обсудил с ним вопрос о переезде из Казахстана Сергея, его брата, что позднее и было выполнено. Конечно, каждый день бывал у Ксении Александровны Сабуровой в ее «келье-музее», такой мне памятной. Жилось ей нелегко. Перед этим она писала мне: «Живу исключительно на нервах. Вы знаете — я подала о братьях… Мысль о Юрии меня не покидала ни днем, ни ночью. Теперь многих реабилитировали и многие возвращаются, которые считались умершими. О Борисе мы знали, и мама его отпевала в 1938 году. Опять пришло подтверждение, что он умер и что свидетельство о его смерти я могу получить во Владимирском ЗАГСе, куда его переслали. Я еще не ходила… меня страшит эта бумажка. И я оттягиваю. Пойду, когда буду посильнее.

Пришел ответ относительно Юрия: что был осужден "необоснованно", оправдан и… реабилитирован. А о его судьбе надлежит справиться в МВД СССР… Слава Богу, что мама не пережила то, что пережила я, получив это письмо. Я искала его по следам, где он был. Его долго не могли найти. Тогда, в 1944 году, при Вас, было известие, что он тоже умер, но подтверждения об этом не было, а если это действительно так, то я хочу знать — где? Все эти годы я все думала — вдруг он жив и где-нибудь лежит больной и не может дать о себе знать. На днях я получила известие о Юрии: он умер от крупозного воспаления легких. Год указан на этот раз не 1944, а 1941. Теперь уже нет сомнения. Надо отпевать.

Подала я также о себе. Прошу пересмотреть дело и реабилитировать… Ко всему этому у меня были большие неприятности на квартире: попалась ужасная соседка — врач, между прочим, которая вместе с хозяйкой устроила мне форменную травлю. Издевались, как только могли. Пришлось обратиться в облисполком. Там взяли мою сторону. Написали завгорздравотделом Мартыновой. Та тоже очень хорошо ко мне отнеслась и сказала, что она меня поняла. Моей соседке сделали выговор, и пока у нас тишина».

Что касается моего хозяина архиепископа, то у него дом — полная чаша. Большая комната приспособлена для приема делегаций. Углы полны образов. Горят лампады и тишина. Владыка много читает. Выписывает толстые журналы. Покупает книги. Неторопливо вдумчив и осторожен в суждениях. Смеется не часто, но если уж засмеется, то как-то искренне и просто, и хорошо. От его смеха становится весело и тебе. У него интересно

мне было узнать о широком движении на Западе за «Соединение церквей». У нас об этом молчат. Недавно избранный папа Иоанн XXIII возглавляет это движение и, как слышно, готов поступиться двумя догматами католической церкви — это "непогрешимостью папы" и "непорочным зачатием Девы Марии".

Каждое утро до завтрака я уходил в собор. Там шла строгая великопостная служба. Скупо освещенный храм. Тонущие во мраке своды храма и крипты погребений. Служба в приделе. Поет хор монахинь, и поет хорошо. И замечательная литургия прежде освещенных даров. И "да исправится молитва моя" при открытых царских вратах, коленопреклоненных у престола церковнослужителей и кадильный дым. И затем слова, трогающие меня с детства до слез: «Заутра услыши глас мой царю мой и Боже мой».

Словом, здесь в воздействии вся сила синтеза всех искусств: архитектура храма, живопись, освещение — лампады, пение, чтение, пластика движений и искусства дыма.

Только глухой и слепой сердцем не мог этого понять и не преклониться перед гением человеческого духа.

«История 58 года» что-то затянулась, а все же хочется еще сказать по нескольку слов о многолетних моих друзьях и корреспондентах — Розановой, Поленовой-Сахаровой и о Наталье Павловне Вревской.

Татьяна Васильевна Розанова, старшая дочь В.В.Розанова, единственная оставшаяся в живых из всей семьи, живет в Загорске в малюсенькой комнате бывшей их квартиры. Старая, одинокая, больная, но духом не угасшая. Житье ее скудное, бедное, пенсия маленькая, но… как-то живет. Много читает. Многим интересуется. Вот она в одном из своих писем:

«Была в Переяславле-Залесском на один день. Средний храм на площади, похожий на Владимирский, но какое кругом убожество и запустение. Страшно смотреть. Озеро прекрасное.

Была в Архангельском. Красиво, но жутко в парке. Все умерло и с укоризной смотрит на нашу жизнь. Прекрасный храм XVII века оставлен в запустении. Кругом грязь и бумажки. Полное пренебрежение и презрение к дивному памятнику искусства. Кажется, надо быть зверем, чтобы не тронуться такою красотою, а вот человеческое сердце не умилилось, заплевало…

От этих двух поездок приехала потрясенная и убитая. За это время прочитала Владимира Соловьева "Оправдание добра" и Лосского "Мир, как целое". Ясно и понятно. Точка над всем поставлена этими книгами. Вам посылаю в подарок и утешение "Новеллы" Голсуорси. Что наиболее интересное — читайте сначала.

Была я на кладбище. Была на могилке Владимира Александровича и увидала Вашу заботливую руку. Могила прибрана. Могила в порядке».

Екатерина Васильевна Поленова-Сахарова, автор ряда статей и книги о жизни отца, художника В.Д.Поленова. Вот одна страничка ее жизни:

«Алеша с Тамарою (сын и невестка) уехали в Поленово и пишут мне, что попали в рай. В большом доме тепло, светло, тихо. А зима самая настоящая — белая, снежная. Лес захвачен лосями, всюду следы лежки, деревья без коры, о которые они трутся. Вот вдруг пришло им какое житье. Верно, ненадолго. Они ведь большие вредители на такие жиденькие леса, какие у нас остаются.

Еду молодежи пришлось везти с собою, и не только для себя, но и для тамошних жителей. Где же хваленое московское снабжение Тарусы? Миф! Миф! А мне с их отъездом досталось немало хлопот. А скоро они вернутся, и прощай "какой простор"! А как трудно жить в тесноте и суете. Мне ведь так давно хочется сказать "ныне отпущаеши", но нет, видимо, нельзя 70 лет считать пределом жизни, а надо перестраиваться на другие сроки, которые кругом видишь в полной реальности. Время стариков в 40 лет, по Толстому, миновало. Да и раньше это были обыватели, а люди искусства, науки, творческой мысли жили до конца. Ренан писал, когда ему было 80 лет, что ему надо еще изучить китайский язык.

Моя рукопись на днях будет вся напечатана на машинке и радует душу своим "организованным" и удобочитаемым видом и своим интересным содержанием. В Академии Художеств вновь открывается издательство, и вдруг да выйдет чудо и моя работа увидит свет. Ко мне много народу приходит за справками по разным темам и говорит, что если я при жизни не увижу ее изданной, то после она все равно будет издана. Но это не все равно, так как посмертные издания теперь бывают плохи, халтурны, бездушны и порочат автора.

…А со мною случилось следующее: за страшным переутомлением физическим в связи с отъездом и сборами молодежи и уборкой после них, и несмотря на зловещую головную боль, я принялась за проверку подброшенных мне рукописей. Сидела ночами и спала только под утро со снотворным. Хлынула из носа кровь фонтаном, лила с перерывами четверо суток, заливались целые полотенца по 6 штук сразу. Процессия "неотложек" была мольеровского характера и больше, как гоголевские крыши "пришли, понюхали и ушли". Наконец, ночью в субботу "скорая помощь" утащила меня в

больницу, где по моему настоятельному, агрессивному требованию врач через сутки остановил мне кровотечение, смазав прижигающим составом. Отчего это не могли сделать специалисты-горловики из помощи на дому и надо было тащить меня и пытать в больнице — ты, Господи, веси!

8 больнице меня простудили, не в пропускнике, там было жарко, как в бане. Самая страшная была уборная, под названием "Туалетная". На полу там стояла вода с плавающими нечистотами и настежь открытым окном. Грубость медперсонала и низкий уровень профессорского обхода — просто удивительны. Так как мест не было, меня под названием "бабки" сбросили на койку без подушки в коридоре, и мимо меня дефилировали, зацепляясь за койку, все, кому не лень. Понадобилось вмешательство "сверху", и с главврачом вдруг произошла метаморфоза, но я уже вырвалась домой.

Сердечный Вам привет. Вы, верно, живете в своем "эрмитаже" той собранной и внутренне насыщенной жизнью, которая так дорога и мне».

Наталья Павловна Вревская. Ей 80 лет. Она мать четырех детей и множества внуков и правнуков. О всех печется. Всех ставит на жизненные рельсы. Женит, выдает замуж, и все это с горячностью и энергией неукротимой и душой неспокойной и мятежной.

«Получила Вашу открыточку, дорогой М. М., и рванулось мое сердце в Тарусу, так рванулось, что слезы проступили… Ведь как не заколачивай себя делами и "долженствованиями" — жизнь чувства таится где-то и томится подчас».

И затем 22 апреля 58 года: «Писать Вам действительно вошло в привычку. Здесь в Лазаревке, куда я переехала месяц назад, подвожу итоги жизни. Конечно, моя жизнь в основном прошла "под знаком рода" (как Вы пишете). Но рядом, вернее, под этим, стояла жизнь интеллектуальная и интересы научные и политические. В этой сфере было много борьбы и достижений. Я пробовала описать именно эту основу моей жизни — эволюцию духа, так сказать, любопытный образчик среднего интеллигента на переломе двух веков. Фактическую историю жизни хочу обработать по старым записям теперь же. Возню с Вревскими закончила. Из архива оказалась актуальной история Ю.П.Вревской, которой Тургенев посвятил стихотворение в прозе. Болгария заинтересовалась очерком о Ю. П. Оказывается, ее портрет находится у них в музее. Ведь 80 лет тому назад погибла она, а вот помнят ее там, и мне хочется, чтобы узнали о ней пошире и полюбили ее».

9 июня 1958 года. Ленинград. «Вот снова 4-й этаж. Крыши

перед глазами. Серо и прохладно. Вернулась из Лазаревки три дня тому назад, едва живая от парной жары, невыносимой для сердца. Редактирую и исправляю мой очерк о Бестужевских курсах, восьмидесятилетие которых отмечается осенью текущего года. Он пролежал несколько лет и вдруг понадобился. Работы над ним еще много, но Вы знаете мой характер: чем больше препятствий, тем интереснее их преодолевать. И ни дождь, ни мороз не остановят меня. Сам очерк меня мало интересует, но надо, чтобы осталась память о курсах и людях, их создавших».

12 июля. «Одни неприятности с изданием статьи. Вот уж действительно: "Коготок увяз — всей птичке пропасть". Началось с малого, то есть с одного редактора, а разрослось в ряд лиц, к которым надо ходить, от "коих" зависит и т. д. Нудная история. Все одобряют, говорят интересно, нужно и т. п. Я все же не унываю и продолжаю "проталкивать в печать". Какие термины-то знаменитые!

Попутно редактирую кое-что и еще привожу в порядок (обрабатываю) архив Михаила Степановича для Академии наук. Это очень больно и расстраивает. А надо, надо сматывать в клубок то, что есть. Ясно представляю себе, что будет. Одним словом, понятно, что подстегивает.

Сколько мне жить? Впереди неизвестность,
Жизненный пламень еще не потух,
Бодрую силу теряет телесность,
Но, пробудясь, окрыляется дух.

Грустны и сладки предсмертные годы!
Это привычное мне бытие,
Эти картины родимой природы,
Все это словно уже не мое.

……
……
Словно хожу по цветистому лугу,
Но ни цветов, ни травы уж не мну.

А.М. Жемчужников (умер 88-ми лет. Писано на 78-м году жизни).

Написала письмо, и потом попали эти стихи. Как раз в точку… Да? Вревская».

1959 год

Большую часть зимы 1958–1959 года я прожил в Москве. Бывал в концертах, видался с друзьями, ходил с Анею в кино, благо кино рядом. Но в основном время шло дома. По утрам — небольшая прогулка «кругом и около», а вечерами чтение. В круг нашего чтения тогда вошли: Владимир Солоухин с его «Владимирскими проселками» и Виктор Некрасов «Первое знакомство» и «Битва под Сталинградом». Это было то немногое, чем порадовала нас советская литература. В кино очень удачно прошли «Евгений Онегин» и французский фильм «Отверженные».

Бывали, конечно, у Вышипанов. Они получили две комнаты в Колошном переулке на Арбате в старом, разваливающемся доме во дворе, но все же это было лучше, чем «Панфил-стрит». И Катя, и Галя несли свою большую работу, а в свободное время старались развлечься. Слава Богу, не хандрили, а если и хандрили, то не очень. А все же, конечно, эта жизнь «жалмерок» была неполноценна.

17 апреля 1958 года умерла Анастасия Петровна, жена брата Луки Михайловича. Перед этим она кротко и тихо пролежала неделю без сознания после кровоизлияния в мозг.

Пятьдесят четыре года прожила она в нашей семье. И ни одного упрека я не могу послать в ее адрес. Она не интриговала, не настраивала Луку против нас. Любила и нашу покойную мать, свою свекровь и с первых же дней стала называть ее купечески ласково «маменька». Все эти «добродетели» могут назваться мелкими, но в нашей жизни мелочи играют не последнюю роль. А как она могла отравить всем нам в семье наше существование! Она этого не сделала и прошла с нами нога в ногу. Да упокоит ее Христос в (неразб.) живущих и врата райские да отверзит ей.

Не успели мы похоронить Анастасию Петровну, как из Ленинграда пришла весть о смерти Ольги Павловны Ленской.

Татьяна Алексеевна Чистович, ее племянница, а наш друг, так написала нам: «В ночь с 16 на 17 января скоропостижно скончалась наша Масенька, тихо, никого не позвав. С вечера она мыла голову, шутила, читала. А утром, когда я, испугавшись тишины, подошла к ее постели, она была уже мертва. Глаза закрыты, лицо спокойное, рядом книга».

С 1933 года, с М. Горы, знал я Ольгу Павловну. Тогда ее муж, профессор Николай Антонович Ленский, отбывал «свою повинность» в лагере. Ольга Павловна последовала за ним и работала врачом в тубсанатории рядом с лагерем. Их сын, «Николай младший», кончал в то время школу. И это была самая приятная и культурная семья в М. Горе. В 1937 году «во время великого набора» Николая Антоновича опять «взяли», и он бесследно исчез навеки. Ольга Павловна переехала в Ленинград.

Коля учился в институте. А затем война. Колю взяли в армию, и он был убит. А Ольга Павловна самоотверженно работала врачом во время блокады в Ленинграде и получила звание «Заслуженного врача Республики».

Ну, а затем предоставим слово самой Ольге Павловне. В письме ко мне она пишет: «Настал момент объяснить Вам причину моего окаянного молчания. После "исчезновения" Николая Антоновича из Медвежки главная установка моей жизни стала медицинская работа. Ею зарабатывалось, ее жилось. После ухода Коленьки на войну — работа спасала, уводила, от страха, тоски, выводила на несколько часов из состояния горя, захватывала глубоко и серьезно. Ежедневное общение с людьми всех слоев и категорий давало много впечатлений, встреч и было значительно не только с медицинской, с общественной, но и с личной стороны. Ощущать себя нужной, полезной стало первейшей необходимостью. Радовало и общественное признание.

Все сгорело в один день. Я была снята с работы как дежурный врач по сокращению штатов дежурных врачей. Довольно быстро выяснилось, что это "мероприятие" придумала наш зав. — молодая женщина, карьеристка, очень неприятная и злая. Один из сокращенных наших же врачей судился с нею и суд восстановил его на работе. Судиться я не стала. Месяц по сокращению я сидела молча дома, не читала, не говорила — трясли меня припадки пароксизмальной тахикардии, привязался вегетоневроз — онемение правой руки. Лечиться нет охоты.

О последней дороге думаю часто с некоторой долей отвращения. Вот сейчас дочитала о композиторе Бородине и позавидовала молниеносному концу его жизни».

* * *

«Старость в постепенности своей есть развязывание привязанности», — говорит В.В.Розанов. Не успели мы примириться со смертью Ольги Павловны, как получили письмо, на конверте которого под адресом «чужою рукою» было написано: «Смарагда Аргильевна умерла 10 мая».

Несколько лет тому назад Смарагда Аргильевна Уколова «зонницей» приехала в Тарусу. Познакомились. Уроженка Таганрога, гречанка, с большим жизненным опытом и юмором, умница, прекрасный собеседник. Сблизило нас и то, что она оказалась женою моего университетского товарища, встреча с которым вдвойне была приятна. В 1957 году Смарагда Аргильевна потеряла мужа и переносила эту потерю тяжело.

Больше я ничего не стану добавлять к портрету этого человека. Смарагда Аргильевна своими письмами сама «постоит за себя».

14 октября 1958 года. «Анапа. Солнце, температура + 26. Утро.

Доброе утро, дорогие мои, незабываемые и далекие Анна Михайловна и Михаил Михайлович. Мой привет Вам и всему Вашему, под сенью лип старых, вигваму. Не писала Вам, не звонила, не была у Вас, будто годы, а вот здесь я Вас вспоминаю каждый день! Как только я где-либо прохожу мимо беленького домика, за белой оградой среди клумб ярких георгин, табака, петуний, астр — так вот сейчас и всплывет в памяти Ваш домик, сад, цветы. Но я всегда останавливаюсь, точно мне не хватает дыхания, я смотрю и думаю, что если бы сюда всех Мелентьевых, с их уютом да под это небо?! Пишу Вам сейчас во дворе, едва одетая, тепло отовсюду — с неба, от земли, от камней, от нагретого забора, стен дома, деревьев. Эта теплота, как благость непостижимого Бога, пронизывает всю душу.

Из Москвы в конце сентября меня выгнали — сырость, холод, я стала не только психически угнетена, но и физически очень ослабела, ослабела от приступов удушья, от постоянного чувства озноба. Топила печи, пила и ела, что хотела, но до того удушающе было на душе, что я оставила всех и все и уехала к югу. Конечно, прежде всего заехала в Таганрог. Там я имела столько огорчений, что не знала просто, куда себя деть. Писать не буду — расскажу лично. Словом, не хотелось на мир смотреть, хотя ярко светило солнце. Я уехала на бахчу и виноградник к своим близким, старым друзьям. Давно, очень давно я мечтала остаться одной среди неба и земли. Я жила в шалаше, спала на собачьей шкуре, укрывалась бараньим тулупом. Тихо тлели на костре сухие стержни уже обезглавленного подсолнуха (будылки). Рядом спал пес Каштан, выше меня ростом. Он целыми часами лязгал зубами, выдирая из лохматой шерсти живность. Но я была предусмотрительна и овеяна ароматом "дуста". Днем я или читала, или спала, как косарь на сенокосе. К вечеру, не доверяя моей сторожевой бдительности, приходил ночной сторож, дед 85 лет. Когда-то в молодости он был писарем у воинского начальника, и у него еще осталось что-то от старой галантности: так, поднимая пластмассовый стакан (он приносил с собою в руках мне "горячего", которое по дороге остывало, а за пазухой нес холодное вино, которое он называл "глюкоза жизни" и сам делал) как бокал "Баккара", — произносил учтивую фразу, желая мне здоровья и прибавляя "льщу себя надеждой" и т. д. вроде "салфет Вашей милости"… Обычно он приходил к вечеру, быстро надвигалась темнота. В созвездии Змееносца вспыхивал Сатурн,

потом кровавый Марс. Небо казалось ближе, я зажигала фонарь "летучую мышь", и мы ужинали. Вино приводило меня, смотря по количеству и качеству, либо в самое бесшабашное настроение, либо в дико мрачное, когда я начинаю неуместно разрешать "проклятые вопросы". Как то, так и другое были не к месту, поэтому я незаметно выливала свою порцию либо под себя, либо Каштану в миску. Дед пил и разглагольствовал, пока не одолевал его крепкий сон. Каштан тоже засыпал, а я шла на виноградник, где среди шпалер "алигатэ", "рислинга", "чауша", "пухляковского", "ладанного", "дамских пальчиков" и т. д. просыхала, высоко задрав платье. Простите этот вульгаризм. Так я часто бродила до утра, не желая будить деда, а собака, хлебнувши вместе с ужином мое вино, во сне только вздрагивала. На заре ярко начинала блестеть Венера, я ходила к выгону, откуда была видна "чугунка", и вспоминала Чехова, где-то в его письмах он писал: "Я люблю донецкую степь, знаю там каждую балочку и чувствую себя там, как дома". Я сказала бы по-гамлетовски: "И я себя чувствую здесь так хорошо, как дома, то есть, как никогда не чувствовала себя дома". Потом дед уходил. Просыпался Каштан, с похмелья носился за бабочками, искал гнезда перепелок.

Земля отдыхала теплая, утомленная солнцем, пахло мятой, чебрецом, любистоком, виноград наливался, но… бюро погоды уверенно предупредило, что ожидаются заморозки, и рекомендовало всем виноградарям ночью делать "дымовые завесы", поджигая сухой навоз, листья и т. д. Мои друзья не захотели возиться с дымом, приехали и срезали еще недозревший виноград. Оставаться на бахче ради одних "бадражан" я сочла ниже своего достоинства. Как бессменный сторож, я объелась всеми сортами всяческого винограда до колик в животе. Ехать в Москву, снова в слякоть и мрак — никак не хотелось, и я поехала в свою любимую Анапу. Я могла поехать в Ялту, где у меня кузина врач, чудная квартира и прочее. Могла поехать в Кисловодск, Сухуми или в сверкающие Сочи, но ничего и никто меня там не привлекало, ни встречи, ни люди, и даже припомаженная природа. Я люблю Анапу уже давно, особенно в осенние дни. Небо, море безмятежно спокойное, почти безлюдно на улицах, санаторные больные все распластаны на теплых камнях малой бухты, где даже в дни порыва "Норда" всегда тихо, тихо и тепло. Многие лежат на золотистом и чистом песке Вимлюка, многие на детском пляже, всюду вы видите голые тела, впитывающие в себя солнце, воздух, энергию. К сожалению, я лишена этой благоговейной радости — принимаю морские ванны в санатории, хожу в темных очках и от зари утренней до вечерней не расстаюсь с зонтиком. Камни зовут. Только иногда услышишь

шорох ящерицы, да тихий прибой воды. Вечерами отовсюду слышна музыка та же, что в Москве. Утесов не перестает благодарить сердце, что оно "умеет так любить", а Шульженко, разрывая сердце и грудь "скорбит об ушедшем счастье"… Крохотная пристань с каботажными суденышками, свежепромасленными лодками, бочками из-под вина, канатами, рыбаками, у которых дубленая кожа и от которых так аппетитно пахнет соленой рыбой и водорослями… На берегу сушатся сети, рыбаки сучат нитки для "камсы", или с треском играют в кости, либо молча, либо дико громко разговаривая. И над всем этим лазоревая ширина неба, моря, блеска. Тишайшее волшебство мягких еще, еще горячих дней. Цветы благоухают. Деревья еще зелены, зелены. Бываю я всюду, куда только не поворочу головы.

Анапа возрождается после страшного, почти до основания, фашистского разрушения. Всюду много санаториев, домов отдыха, учебных заведений, частных изящных белоснежных домиков, улицы асфальтируются, автобусы ходят из конца в конец города. Несколько кино, из них самый солидный у самого базара. Любой колхозник, ожидая автобуса, или просто отдыхая, может найти забвение на полтора часа от коммерческих комбинаций, созерцая "Фанфары любви" или "Симфонию страсти". Наряду с этой иностранной чепухой идут и наши содержательные, умные картины. Я видела здесь "Во власти золота" Мамина-Сибиряка и "Поединок" Куприна. Базары, правда, еще далеко от показательных, но полные самоцветных фруктов и овощей, винограда, молодого вина. Виноград особенно сладок, чуть приваленный на солнце, чуть тронутый ржавчиной. Запах опять же рыбы, арбузных корок, горячей пыли и степных трав.

Анапа мне раньше чем-то напоминала кусочек древней Эллады, когда здесь у каждой харчевни, в каждой кофейне слышалась греческая речь или греческо-итальянская-украинская речь. Было много оживления на пристани, много горластого и праздного люда, а главное — теплота и синь небес и аквамариновая чаша воды. Я могла бы много и долго писать о юге, Анапе, но боюсь Вас утомить многоречием. Была я в библиотеках. В детской библиотеке спросила девочку, что она любит читать; "Фантастику", — ответила девочка, а ее крохотная сестричка серьезно повторила: "Я тоже люблю фалтастики и стих Бартомчевой" (Варто). А мальчик спросил книгу о партизанах. Когда я у него спросила, читал ли он и знает ли писателя Богданова, мальчик важно-фамильярно ответил: "А как же, мы всем классом читали его "Коршунок". Так и передайте Николаю Владимировичу.

Я надеюсь всех Вас видеть здоровыми и бодрыми. Была я в

греческой церкви — смотрела, как сразу крестят 10–12 детей, смотрела венчание колхозников, но это уже до встречи на праздниках Октября.

Жаль до слез покидать лазоревый край…»

6 мая 1959 года. «Золотое утро. Пишу полулежа. Дорогие друзья! "Забыть так скоро"… Поет радио, и мне захотелось послать Вам и упрек, и привет. Вот уже скоро два месяца, как ученые пригвоздили меня к постельному режиму и только на днях разрешили "лежа сидеть". Это несколько туманное определение того полугоризонтального положения, которое дает мне возможность немного писать. Я много читаю, а чаще всего роюсь в старых тетрадях. Я нашла несколько стихотворений, которые когда-то писала в Тарусе. Я хотела сделать маленькую поэму, но в суете житейской не удосужилась внимательно посидеть и поработать. Я посылаю их Вам. Мне кажется, у Вас есть "книга дома", маленький дневник, в который каждый по силе разума и таланта, вносил свои записи. Пусть эти черновые наброски будут хоть и скромно, но благодарно лежать среди больших, "крупных" и известных имен.

О своей хворобе ничего не буду писать или рассказывать до тех пор, пока все или будет далеко позади, или покроется налетом тумана или юмора.

Да, смерть металась у меня в сознании и перед глазами. Сейчас я выгляжу как после тяжелой, изнурительной, смертельной болезни, да и ослабела, без кровинки до предела. В июне, по-видимому, придется ехать в санаторий, а быть может, и в больницу. Короче, дела неважнецкие. Мне кажется единственным, что меня бы еще хоть относительно подняло, — это сухой и теплый воздух. Именно сухой и теплый. Ученый же синклит категорически против поездки на юг и придерживается Подмосковья или рижского взморья. Они забывают, что я выросла на шелковице, на сучках акации и в тени заборов. Сырость и прохлада, смена температуры убивают и угнетают мою психику, мои клетки.

Конечно, из всего Подмосковья мне ближе всего и роднее Таруса, но в таком состоянии, когда я нуждаюсь в "обслуге", я в Тарусу ехать не могу. Зовут меня в Малоярославец, но там не обойтись без надрывающих сердце и мысли воспоминаний о пережитом. Тягостно и неприятно мне то, что скоро нас переселят в один из новых казарменно однообразных домов. Эти дома уже поднимаются со всех сторон. Осталось три дома, как оазисы среди густой зелени и бревен. Каждый день, каждые 10–15 минут я вижу из своего широко открытого окна как увозят щебень старых домишек. И я вспоминаю, сколько в этом серо-грязном

щебне человеческой ненависти, злоязычия, доносов, судов, сплетен, злобы. Сколько здесь загублено даже сердец. Нет ни одного домика, с виду уютного, в котором бы не дрожала фанера от взаимной лютой ненависти. За каждой стеной таилась злобная месть, хоть на каждом окне, особенно солнечном, пышно росли комнатные цветы. И все эти ведра, бочки, ящики, кирпичи старые, гнилые, уже взметнулись ковшом, и увезлось куда-то на свалку. Скоро наш вигвам, как зеленым шатром, закроет нас от новых домов, а потом и нам вежливо предложат "собираться". Куда девать эту мебель, книги, массу посуды, хлама — даже думать жутко.

Конечно, будет жалко вот этих кустов сирени, что глядят прямо в окна. Жаль пышных пионов, роз, сирени, зелени винограда, лилий. А больше всего жаль старого красавца клена — в жаркий день какая уютная была у него тень. Но будем надеяться, что все к лучшему на белом свете.

Прочла ти тома воспоминаний Никитенко — читала с запоем. Прочла письма Берна, воспоминания о Гете Эккермана до устали в глазах.

Кто у Вас сейчас в гостях? Какая погода, что цветет в саду? А самое главное, как Вас обоих здоровье?

Желаю Вам сил и бодрости.

Всегда помню Вас. С.Уколова».

P.S. Если Н.В.Богданов бывает у Вас, передайте ему маленькую картинку, трагическую для наших дней. Ее рассказал вчера врач: в одну из поликлиник доставили мальчика 9—10-летнего возраста с пробитым насквозь глазом. Дети играли в войну. "Я не сержусь и прощаю Ваське, у меня будет стеклянный глаз, и я им буду видеть. Я не сержусь — ведь мы играли в войну"…

Николаю Владимировичу, как психологу детских душ, это маленькая тема о большой детской душе.

P. P. S. "Наброски" не посылаю. Чего-то в них не хватает. Приеду, сама прочту, и Вы скажете, достойны ли они Вашей "Домашней книги". Смарагда Уколова».

* * *

Передо мною книга, небольшая, в 137 страниц. В сероватой обложке. Издана в Киеве Комитетом Юго-Западного фронта Земского союза. На обложке вязью: «Софья Федорченко. Народ на войне (Материалы фронта 1915–1916 годов)». Книга вышла в 1917 году, по-видимому, перед Февральской революцией, и автор

книги сразу «получил имя» и утром проснулся «известностью».

И книга в самом деле хороша по замыслу, и дерзновенна, и смела по прежнему времени, и до сих пор не потеряла своего значения и интереса.

Ты лети, лети газета
Во деревню бедную.
Расскажи родне, газета,
Про войну победную.
Чтобы знали нашу долю,
Про сынов бы, ведали,
Чтоб воину дали волю,
А в обиду б не дали…

Впрочем, моя задача — не книга, а автор книги Софья Захаровна Федорченко. Познакомились мы с нею в Тарусе, где она уже много лет владела прекрасной усадьбой с редкими породами деревьев и небольшим, но со вкусом построенным домиком. К этому времени Софья Захаровна уже могла сказать про себя: «И дней моих уже лампада догорает», но еще не сдавалась и продолжала работать над своей большой исторической трилогией «Детство, отрочество и юность Семигорова».

Надо сказать, что судьба не милостиво обошлась с писательницей Федорченко. После первого успеха «Народа на войне» Федорченко не имела успеха с дальнейшими своими писаниями и многие годы чувствовала себя обиженной и обойденной. И эти тяжелые чувства были основными в ее переживаниях и настроениях, что отражалось не только на ее состоянии, но и на окружающих.

Умная, с огромным запасом наблюдений, широко знающая жизнь, она чувствовала себя не у дел и помириться с этим не хотела, да и не могла. Она досконально знала всю писательскую братию от мала до велика. Жила в доме писателей, непосредственно соприкасалась с ними и по праву считала себя не хуже, а то и лучше их… А вот их издавали, а ее нет. Это были муки таланта — человека гордого, самостоятельного, а таковою Софья Захаровна была от пят до головы. Я часто соприкасался с нею и как собеседник, и как лечащий врач. Мне всегда была интересна ее беседа. Разговаривать она и любила и умела, но быть у нее долго было тяжеловато. И эта тяжесть, напряженность обстановки вокруг нее, к огорчению чувствовалась не только мною одним, но всеми, и бывать у нее избегали, что порождало новые и новые обиды.

Шли годы. Стало сдавать зрение, да и другие нарастали старческие немощи, но дух оставался прежним — гордым и неукротимым.

В одном из своих писем ко мне она, очевидно, отвечая на мое замечание о ее деспотизме, так пишет:

«Что касается моей "угнетательности" для Николая Петровича (мужа), то поверьте мне, что и в свое время, да и теперь в некоторой степени, во мне есть те качества, которые все-таки, хотя и слегка, компенсируют так устрашающую Вас мою деспотичность».

Наконец, долгое «непечатание» разрешилось, и в 1956 году вышел первый том «Семигорова», в следующем году — второй том, и в 1960 году — третий, уже к огорчению, после смерти автора. Эта удача с романом, конечно, очень сказалась на самочувствии Софьи Захаровны. Она привыкла жить широко. И в данном случае удовлетворенное самолюбие и материальная обеспеченность были последним подарком жизни. Даря мне свои книги, Софья Захаровна на втором томе так написала мне: «Дорогому моему целителю Мих. Мих. Мелентьеву с просьбой извинить вид этой книги. Я дарю эту книгу Вам, рассчитывая на то, что "по одежке встречают, по уму провожают"».

Умерла Софья Захаровна 12 июля при сборах в Тарусу. Двенадцать дней она пролежала, для наблюдающих ее, без сознания, но «свое» в мозгу что-то теплилось и она была агрессивна и неспокойна. Ушел из жизни, конечно, незаурядный человек, и знающие Софью Захаровну потеряли много ярких красок, не так уж частых в нашей жизни.

Это была четвертая смерть в 1959 году, но есть еще и пятая: умер Иван Иванович Лавров. О своем знакомстве с ним в Бутырской тюрьме в 1933 году я уже писал. Двадцать шесть лет после этого общались мы с ним. Не раз он гащивал в Тарусе, не раз он «пышно» принимал меня у себя. Уверяют, что смерть каждого человека на него похожа. Иван Иванович своею смертью подтвердил это наблюдение. Человек он был легкого характера. Горяч, но быстро отходил. И веселость, шутка и добродушие редко изменяли ему. В нем много было от широты и особого барства прежнего инженера путей сообщения. И покутить был не прочь, и в картишки перекинуться, и широко пожить, и угостить, и копейку «ребром пустить» — все это было в его манере.

Перед Бутырской тюрьмой, за неимением мест «в местах заключения», он 50 дней просидел в подвалах под Ярославским вокзалом. Затем несколько месяцев в Бутырской тюрьме, и это не сломило его. Вернувшись на работу в МИИТ, он с увлечением отдавался ей, и слушатели его — студенты — очень ценили его.

Двадцать четвертого декабря Иван Иванович, после напряженного рабочего дня в институте, был на спектакле в Малом театре. Пьеса была не хмурая, и Иван Иванович в хорошем настроении вернулся домой, живо делился своими впечатлениями. Затем на ночь читал «Семью Тибо», а утром, когда его пришли будить, — он был мертв…

* * *

Венок возложен. Память почтена. Это облегчило сердечную тоску по усопшим.

Перейду к другим событиям 1959 года.

В феврале Марианна отлично защитила дипломную работу в Энергетическом институте и получила звание инженера.

А первого апреля она вышла замуж за Александра Михайловича Фихмана, тоже энергетика. Пара вышла прекрасная: оба и молоды, и красивы, и умны. Событие это не было ознаменовано ни «свадьбою», ни «горько». Молодые тут же уехали в Тарусу. Была весна, и лучшего нельзя было придумать.

Летом месяц прожила в Тарусе Татьяна Васильевна Розанова. Она впервые за 14 лет решилась на этот шаг и потом не раз жалела, что так поздно приняла мое приглашение. А мне было радостно наблюдать, как этот нищий, старый и одинокий человек впервые за многие годы спокойно дышит, не заботясь о завтрашнем дне. «Я никогда в жизни не отдыхала так хорошо», — повторяла она все время. А я, зная всю сложную обстановку семьи Василия Васильевича, верил этому… «Читатель — накорми своего писателя», — взывал Розанов в 1918 году. На этот раз читатель приютил и накормил его дочь.

Конечно, гостил недели две и профессор Б.С.Медведев. И жила в Тарусе Голубовская. Да и много еще народу наезжало на день, на два. И все мы были здоровы, и дни текли радостно.

Как-то я приехал летом на несколько дней в Москву и позвонил Д.В.Успенскому, бывшему «царю и богу» М. Горы. Мне было любопытно узнать, что с ним, а главное, с его бывшей женою Натальей Николаевной. По телефону мне неприветливо ответил женский голос. Затем подошел «сам». «Говорит доктор Мелентьев. Вы меня помните?» — «Как же, как же». Называет меня по имени-отчеству. «Хочу с Вами повидаться. Как Вы отнесетесь к этому?» Он охотно, не приглашая меня к себе, согласился приехать ко мне. И вот я его поджидаю у троллейбуса. Вышел «дядя» толстый, одутловатый, в штатском и в мягкой шляпе. Все сидит на нем мешкотно. И показался он мне чем-то

похожим на тамбовского помещика прежних времен. Проговорили мы с ним четыре часа. Его заставили выйти на пенсию в чине подполковника с небольшой пенсией, и он «в оппозиции». Семейные дела тоже, как видно, не радостны. О Наталье Николаевне выразился зло и цеохотно. Сын и дочь его, которых я «принимал» в М. Горе, уже закончили институты. Живет Наталья Николаевна в Новгороде-Северском.

Мне интересно было наблюдать этого человека и сравнить с тем — медвежьегорским. По-прежнему умен, но сильно слинял. Он отлично понимает, что «его время ушло, что он уже не по времени», но еще не примирился с этим. Между прочим, он рассказал, как командовал на Печоре лагерем: «Зима и голое поле. Народу наслали тысяч до пятидесяти. Надо было начинать всю жизнь сначала. Ну, половина вымерла и вымерзла, а остальные задание выполнили…».

В конце сентября Аня уехала в Москву. Я оставался один. Осень выпала ясная, теплая, и я много работал в саду и радовался жизни. Пятого ноября что-то занездоровилось. Появились боли в правом боку, поднялась температура. Шестого вызвал врача. Приехала милого облика женщина. Я спросил о ее специальности. «Я акушер», — смущенно ответила она мне. «Ну, я много не спрошу с Вас. Послушайте мне правое легкое и решите — нет ли там плеврита или воспаления в легком». Врач не нашла ни того, ни другого. На этом мы и расстались. А восьмого к вечеру стало совсем худо. Я попросил Н.В.Богданова позвонить в Москву. Ночью часа в два приехали Ирина и Галя-доктор (Вышипан). Стали собирать меня в дорогу, а у меня обморок за обмороком. К машине меня уже вынесли, а у меня одно в голове: «Что будут делать со мною, если я дорогою умру, а паспорта не нашли, и где он, неизвестно». И тут я понял, что как ни нужен паспорт живому, но он еще больше нужен мертвому. Дорогу я перенес хорошо. А при высадке опять обморок, и меня на пятый этаж тащили в раскладушке. Это было совсем не весело. Встретила меня Аня спокойно, только как-то горько улыбнулась и сказала: «Ну вот…» И не закончила. Паспорт нашли в тумбочке возле моего дивана, и я перестал бояться умирать. И в самом деле, не было страшно. Доктор Галя потом хвалила меня «за мое мужское самообладание». Заболевание мое так и осталось не расшифрованным. А сколько врачей перебывало! Самые мучительные четыре дня были с икотою. К первому декабря температура почти снизилась, и я стал выздоравливать. С благодарностью вспоминаю Анастасию Васильевну Дмитриеву, жену моего университетского товарища. Она сестрою милосердия пришла и продежурила около меня все тяжелое время. Да и все, я

не говорю уже об Ане, были ко мне добры. А архиепископ Владимирский Онисим распорядился молиться о моем выздоровлении теми умилительными словами, которые я знала с детства: «Не хотяй смерти грешника… воздвигни его от одра болезни…» И я к середине декабря свободно уже двигался по комнате.

Новый, 1960 год мы встретили в тесном кругу своей семьи. Мы все устали и хорошо поняли чудесную пословицу: когда в гости зовут, не знаешь, во что одеться, а когда в гости придут — не знаешь, куда деться».

1960 год

Первые недели Нового года я все еще чувствовал себя переболевшим и не окрепшим. Выходил мало и все дни коротал с Анею и около нее.

Болезнь была не долга, но порою мучительна. Смерть казалась если и не очень желанной, то вполне возможной и по возрасту, и по болезни. И естественно, что о ней много думалось и казалось необходимым «подвести итоги».

Т.В.Розанова принесла мне сборник молитв, и я несколько раз принимался за него, но он не только ничего не давал моей душе и моей религиозной настроенности, но часто раздражал «кружением» около одного и того же догмата «непорочности Девы» и «бессеменности зачатия». Были, конечно, и «хорошие молитвы» и своей гармонией слов и глубиною, трогающие душу, но их было мало!

Я уже давно «Символ веры» кончаю на первом члене: «Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли видимого и невидимого». И точка. Бог Отец един во всех религиях и народах. Форма же Его почитания различна. Суть же остается одна и та же. Религия — это различные формы: Богопочитания и общения с Богом, и нравственный кодекс поведения человека.

Личность Христа — был ли Он на самом деле или создан гением человека — высок и недостижим. Я больше хочу верить, что он был, и преклоняюсь перед ним, независимо от того, Богочеловек Он или человек.

Церковь для меня и церковное действие (во всех религиях) со всеми ее таинствами и обрядами — это мудрое установление, облегчающее общение с Богом и приближающее к Нему. Установление, отвечающее слабому человеческому сознанию и потому необходимое звено во всякой религии. А последняя — это все то, что вносит истинную перспективу в разрозненные и

измельченные эпизоды существования. Икона же для меня — образ, образ почитаемого мною. Она — представление о Божестве. Или по Ю.А.Олсуфьеву: «Икона есть творчески запечатленная тайна метафизического бытия».

Вот коротко и приблизительно то, что окончательно оформилось в дни болезни и потом. И что, быть может, охватывает давним понятием «деизма». Но я кроме того и христианин. И еще по душе мне такое определение: «Вера есть сущность того, на что мы надеемся; очевидность того, чего мы не можем видеть».

У Ревиля я прочитал: «Можно исходить из такой идеи, что религия в какой бы то ни было форме составляет часть человеческого ума и что человеческая природа, а следовательно, и общество, поплатится рано или поздно страданиями за ее исключение». Это вот мы прекрасно видим сейчас на примере русского народа. Коммунистическая партия, в нашей трактовке марксизма, по легкомыслию и невежеству, борется, по ее терминологии, с «религиозным гнетом» и пожинает плоды этой борьбы полностью. Все мы свидетели массового морального разложения русского человека, и особенно лично для меня удивительно, женской половины русского народа. Ложь, воровство, нежелание работать, половая распущенность и полное религиозное одичание: без веры, чести и порядочности. Ну, к этому я еще вернусь, когда придется дальше говорить об итогах государственной жизни страны за 1960 год.

В начале января получил я письмо от Георгия Георгиевича Журавлева. С 1929 года я не встречался с ним и ничего о нем не знал. Дружба детства, юности несет в себе незабываемый аромат. А я Егора любил многие годы и мучительно ему завидовал, когда он после окончания уездного училища пошел в гимназию, а я — в аптеку. Ну, а потом наши линии в жизни выровнялись. После гимназии Егор поступил в Одесский университет, а я — в Московский.

Егор стал агрономом и застрял в провинции навсегда. Встречи наши становились все реже и реже. И годами мы ничего не знали друг о друге…

И вот письмо. Осел он в рабочем поселке Анна, Воронежской области. Конечно, пенсионер, конечно «pater families» — два сына, дочь, внуки. Последний раз мы случайно встретились в Воронеже в 1929 году. Он мне показался тогда «очень провинциальным», да так оно и есть и по его письмам, но дружба с детства… сильна. В ней есть такие чувства, которые не сравнишь ни с чем.

Конечно, я тут же ответил. И дальше узнал, что жив и проживает в Киеве и Миша Марченко. С этим мы учились еще в

приходском училище. Корни у нас с ним были еще глубже. Начались разговоры о встрече в Москве. Но поздно нашли мы друг друга. Марченко скончался в следующем году. А Егора унесла крупозная пневмония в 1961 году.

Последние нити с детством полностью порвались.

Одиннадцатого января в Москве скончался Дмитрий Васильевич Никитин. Свалился последний земский могикан. Ему было 87 лет, и он долго занимал передовые позиции в московских врачебных кругах.

Двадцатого сентября 1959 года я получил от Дмитрия Васильевича письмо с приглашением на день его рождения 27 сентября: «Я очень бы хотел в этот день видеть Вас у себя. Приходите».

Я был в Тарусе и не поехал. Ах, если бы человек знал, если бы он предвидел! Дмитрию Васильевичу многие верили как врачу, и многие у него лечились. Он был «врачом врачей». Он лечил Толстого и Горького. В нем был воплощен образ врача гиппократовского. Вдумчив. Не тороплив. Благообразен и, конечно, доброжелателен.

И он не хотел делать никакой карьеры и сидел два десятка лет в Звенигороде, никуда не стремясь.

В конце марта я выехал в Тарусу. После болезни хотелось скорее на воздух, на поправку. Праздновать Пасху приехал ко мне Пантелеймон Иванович Васильев, композитор. И были мы «единомышленны». И было у нас одно настроение, и было нам душевно тихо и хорошо.

Лето прошло обычным порядком. Было многолюдно, хлопотливо, но дружно и весело. Приезжали, уезжали. Одни были приятными «во всех отношениях», другие — наоборот.

К сентябрю все потянули в Москву. Остался я в Тарусе один.

23 октября 1960 года. Ночь. Один в доме. Глубокая осенняя тишина. Недавно закончился тяжелый приступ пароксизмальной тахиаритмии. Болей не было. Но было состояние — вот-вот остановится сердце. В горле горечь. Слабость. Настроение строгое и сосредоточенное. Без страха. Это после болезни в ноябре-декабре прошлого года третий приступ.

25 октября. Целый день падал снежок при небольшом морозе. Что же зима?.. Читал Симонова «Живые и мертвые». Волнующе хорошо и тонко.

Днем зашел попрощаться молодой писатель Юрий Казаков. Его книжка «Манька» с восемью небольшими рассказами очень мне понравилась. Очень. Осень он прожил здесь где-то в глуши. Обслуживал сам себя и работал над второю своею книжкою. Кряжист. Не красив. Ласковые близорукие глаза. Заикается.

Учился музыке. Много времени провел на севере. Его в конце лета привел ко мне Федя Поленов, он же принес мне для прочтения его книгу… Признания и денег у Казакова еще нет, но я верю, что читать его будут.

Приходил и Николай Владимирович Богданов. Этот «промышляет» на пионерах, издается и процветает, конечно, в меру своего таланта. Общение с ним всегда приятно.

28 октября. Несколько раз заходил Федя Поленов. Он теперь директор Поленовского музея. Знал его я с восьмого класса средней школы и последние четырнадцать лет его жизни протекли если не на моих глазах, то в моем сознании близкого мне человека. Его только что «отхлопотали» из моряков. И он наследственно стал директором. Видеть его я всегда рад. Забегает он мимоходом между делами в свои наезды в Тарусу. Рослый, сильный, усатый. Приветливый, в еще недоношенной морской форме. На флоте печатали его стихи. А он прекрасно читает стихи, свои и чужие. В этом мужественном человеке нежная лирическая душа — и вышло милое сочетание.

Морозы поубавились. Сегодня тихий чудесный денек. Немного поковырялся в саду и во вкус одиночества вхожу глубже и часто бываю счастлив в своем душевном покое.

29 октября. Суббота. Поздний вечер. Читал «Живые и мертвые». Много волнующего. Раздражает только «партбилет» Синцова. До чего же это мне противно и неприятно.

За день было у меня два посетителя: Нашатырь Георгий Владимирович и Шевляган Сергей Иасонович. Первый — европеец, космополит. Воспитан. Умен. Но он тяжко болен, и мы свою встречу потратили с ним на обсуждение его положения… Сергей Иасонович восьмидесяти пяти лет, кряжист. Крепок. Доцент по древним языкам. Вежливости не нынешней. Ласков и предельно спокоен. Кто из них лучше — не знаю. Каждый хорош на свой манер.

Сергей Иасонович принес мне письмо и сладости от своей жены Валерии Ивановны Цветаевой. Милой Валерии Ивановны — внучки историка Иловайского, дочери знаменитого строителя Пушкинского музея в Москве Ивана Владимировича Цветаева. Наконец, сестры знаменитой Марины Цветаевой. Вот о ком нужно еще написать.

Перед вечером попил чайку у своих соседок: Людмилы Александровны Харитоновой и ее старой домработницы и компаньонки Васёны. Первая — учительница рисования на пенсии. Местная уроженка. С ясной головой и хорошей памятью. Это летопись Тарусы и ее уезда.

31 октября. Теплый хмуроватый денек. Туман. С

удовольствием спустился в город, в котором не был очень давно. Походил по магазинам. Скудно, очень скудно. И как дорог картофель, а его в районе осталось невыкопанным 80 га. В магазинах я мог купить только баночку горчицы. Есть консервы. Очень плохая селедка и… нодка.

Зашел к Нашатырю. До чего же грустно наблюдать этого человека, заброшенного лагерями и здоровьем в свою «келью под елью». А в этой «келье» полки с книгами на трех европейских языках, а ни стенах гравюры по балету… Бедный Георгий Владимирович!

5 ноября. День смерти Саввича. Минуло одиннадцать лет. На праздники Октября приехали ко мне Медведев и Симонов. Первый из Днепропетровска, чего я не могу не ценить. Проговорили сегодня целый день. О чем? Да все же на тему — как плохо строится наша жизнь. Ложь, воровство. Пьянство. Никто не хочет работать и нет заинтересованности в работе. Что-то будет? Что-то будет?

29 декабря (запись уже в Москве). Вчера вечером собрался народ из разных мест. Беда с питанием. Архиепископ Онисим пишет мне: молоко отпускается только детям по талонам врачей. Ни мяса, ни крупы, ни масла нет. Такие же сведения из Рязани, Калуги, Тулы, Ярославля. В Москве, хотя и с перебоями, но мясо и масло есть. Нет крупы. Но Москва, что насос — она высасывает из страны все, что только можно, а страна тощa и голодна.

Ползут слухи о болезни Хрущева и его угнетенном состоянии (и есть отчего).

1961 и 1962 годы

1961 год начался болезнью Натальи Павловны Вревской. В начале это не вызвало опасений, но каждая последующая неделя приносила все худшие вести.

Двенадцатого февраля я позвонил Борису (сын Н. П.) и узнал, что нарастает декомпенсация сердца, увеличиваются отеки. Время от времени теряется сознание. Положение явно определялось безнадежным. Был поднят разговор о поездке моей в Ленинград. Но Наталья Павловна и я уже хорошо умели смотреть вперед и «поездку» взаимно замолчали.

А четвертого марта телеграмма: «Мама сегодня скончалась. Саша. Борис». Это сыновья Натальи Павловны — Александр Андреевич Рихтер и Борис Михайлович Вревский.

…Седьмого января 1947 года Наталья Павловна написала мне: «А что я умру в марте какого-то года — это мне сдается

давно».

Я читал где-то о возможности таких «предчувствий». Знаю, что знаменитый Филарет митрополит Московский так же предсказал основные даты своей кончины. И вот Наталья Павловна… Она много думала о своей смерти. Но так же много думал о ней и Лев Толстой…

Потянулись дни хмурых переживаний потери. Образ Натальи Павловны был неотступен. И был конец зимы — всегда такой нудный, затянувшийся…

В конце марта уехал в Тарусу. Она встретила своими далями, тишиною. Чудесным воздухом. А летом было много старинной музыки на виола-ди-гамба в исполнении И.А.Морозовой, тридцать лет тому назад игравшей у меня в Алабино на виолончели. А кроме того, Голубовская и профессор Рейсон много раз проиграли Крейцерову сонату. Играли ее без нот с подъемом и великим мастерством.

* * *

1962 год начался опять грустно. В день Рождества умерла Евгения Николаевна Аратовская. Десятого января я был на ее похоронах. Е. Н. я знал лет сорок. Она работала у меня машинисткой в «Санитафлоте». С нею связаны переживания холода и голода времен гражданской войны. Затем она выручила меня комнатою, после моего возвращения из ссылки, уступив свою большую и заняв маленькую в нашем доме на Вспольном. Она была крепко привязана ко мне. Над этим подшучивали, но это не меняло ее отношений. Месяц тому назад я зашел проведать ее, и она была «молодцом». В церкви я к гробу не подошел. Мне хотелось сохранить ее образ, каким он остался у меня после нашего последнего свидания, с ее радостью, что я зашел и с ее надеждами на ее еще долгую жизнь. Началась обедня. Шла она гладко. Выученно. Пел небольшой хор, и пел стройно. Но в этом «церковном действии» не было вдохновения. Исполнители были ремесленниками, серыми и скучными. А какого облика вышел священник на погребение! В нем не было даже и начатков благопристойности. Погребение сразу шло над семью гробами, налажено и споро. И вот я, такой податливый на впечатления от церковной службы, вышел из церкви только уставшим и безразличным.

Пасха была 29 апреля. За неделю до нее мы приехали в Тарусу с Голубовской. Стояли весенние дни. Заходил Юрий Павлович Казаков. И Пасхальную ночь мы встретили и провели

втроем. Рассказы Казакова продолжали выходить и были так же хороши, как и первые. А его «Северные дневники» были выше всякой похвалы.

С 10 по 15 июля прожил у меня в Тарусе Василий Витальевич Шульгин. Личность почти легендарная. Личность почти легендарная. Я знал о нем не меньше пятидесяти лет как о редакторе и издателе правой газеты «Киевлянин». Как о члене Государственной думы трех созывов. Как об авторе трех замечательных книг: «Дни», «Двадцатый год», «Три столицы». Наконец в «Известиях» появились его «Письма к эмигрантам». А затем Сергей Коншин начал мне писать о Шульгине, что он во Владимире, ходит по улицам и что он, наконец, познакомился с ним и в восторге от него. Я написал Василию Васильевичу и пригласил его погостить с женою. И вот они приехали. Ему 84 года. Своим обликом он напоминает Бернарда Шоу. Небольшая бородка. Все понимающие глаза и довольно кокетливый вид. Держится предельно просто и доброжелательно. Не дряхл. Нет, вовсе не дряхл ни физически, ни душевно.

История его последних лет такова: в 1944 году наши войска захватили его в Югославии и по приказу Сталина направили его в Москву на Лубянку. Здесь он просидел три года, а затем его перевели в тюрьму во Владимир-на-Клязьме, где и продержали девять лет. Врачи много раз его «актировали» и по возрасту, и по здоровью. Нет, не выпускали. В 1956 году выпустили и поместили в один из домов для престарелых. Позволили затем жене В. В. приехать из-за рубежа к нему и дали отдельную однокомнатную квартиру и пенсию. Были написаны письма к эмигрантам. Из Владимира не выпускали. Однако на XXII съезд компартии Шульгин получил билет журналиста и предложение от Хрущева выступить. В. В. отказался, как отказался и от встречи с Никитою Сергеевичем (сам подтвердил мне эти слухи), считая ее не нужной ни ему, ни Никите. Беседовать с В. В., конечно, одно наслаждение. Его не покинули ни юмор, ни хорошее наблюдение настоящего. Писать о нем нужно и можно очень много, и я уверен, что когда-то книга о нем будет написана. Я же хочу только в заключение рассказать, почему В. В. «завел себе бороду».

«В тюрьме сидел сектант старик, и его борода была его ритуальной принадлежностью. А его каждую субботу насильно валили на пол и эту бороду стригли. Я долго терпел это поругание, а затем при случае спросил начальника тюрьмы, чем и кому мешает борода этого несчастного старика? "Но помилуйте, это же некультурно и неопрятно". — "Товарищ начальник, Вы забыли о Марксе. Ведь он же носил бороду. И я вот решил в память марксовой бороды и себе завести". Ни меня, ни старика

больше не трогали».

Очень мало, очень мало пожил у меня В. В. Но его жена Мария Дмитриевна плохо себя чувствовала и стремилась домой.

Перед отъездом В. В. я прочитал ему свою главу «Кронштадт». Он слушал, не прерывая, и по окончании сказал мне взволнованно: «Великолепно, великолепно».

А в середине июля в Тарусе произошел такой «литературный эпизод». Стало слышно, что в Тарусу приехал студент из Киева и ставит памятник Марине Цветаевой. Слух был до того необычен и немыслим в наших общественных отношениях, что его приняли с усмешкою. Но шли дни, и стали рассказывать подробности, а потом ко мне пришел и сам «постановщик», действительно — студент из Киева Сеня Островский, поэт и поклонник Марины, решил поставить памятник Марине, согласно ее желанию, выраженному в статье «Кирилловны», помещенной в недавно вышедшем сборнике «Тарусские страницы». Сборник имел большой успех и покупался нарасхват. Однако правящие круги сборника не одобрили, запретили его дальнейшее печатание и кое-кого наказали из Калужского издательства.

Сеня добрался до Тарусы, «голосуя». Денег для постановки памятника, конечно, никаких не имел, но «Завещание» Марины имело для него обязательно нравственную силу:

«Я бы хотела лежать на Тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в тех местах земляника.

Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловны шли к нам в Песочное, а мы к ним в Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень:

"Здесь хотела бы лежать
МАРИНА ЦВЕТАЕВА".

Париж, май 1934 года».

И вот Сеня своим энтузиазмом заразил директора каменоломни. Ему подобрали подходящий камень. Привезли его к выбранному месту, а резчики по камню вырезали на нем последние две строки из завещания Марины. Дело сделано. Девятнадцатого июля камень установлен, и пожелание Марины Цветаевой исполнено. Но, но… Председательница исполкома, давшая разрешение на постановку камня, по-видимому, испугавшись, сообщила в область, и камень, на который уже стали класть цветы, ночью исчез. Сказывали, что по дороге он вывалился из грузовой машины и валялся сутки на кургане, а затем нашел себе место в выбоине при въезде в гараж, где и по сию пору выполняет свою служебную роль. Попытки найти концы

и доискаться, кто запретил, кто распорядился убрать камень, ни к чему не привели. Союз писателей, куда обратилась с запросом группа интеллигенции Тарусы, отписался ничего не стоящей бумажкой.

В середине декабря я поехал во Владимир лечить архиепископа и повидать своих владимирских приятелей. Прожил я там неделю. Много хорошего осталось у меня в памяти от этой поездки: и чудесный баритон, певший в соборе «Ныне отпущаеши», и вечеринка у архиепископа на зимнего Николу. Пришли два приятеля владыки еще по семинарии и Сергей Коншин. Были коньячок и хорошая закусочка, и разговоры о далеком прошлом. Под конец вечера один из гостей пропел старый романс «Город воли дикой, город бурных сил, Новгород Великий тихо опочил». И пропел так, что у всех нас покраснели глаза и мы старались не глядеть друг на друга.

Ну, а затем я впервые увидел всю семью Сергея Коншина. Побывал у Анатоля Коншина, оба они, кстати, встречали меня на вокзале и доставили на «ЗИМе» владыки к нему. И наконец, Ксения Александровна Сабурова, очаровательная и своею церковностью, и своим ничем не сгибаемым аристократизмом. Словом, во Владимире мне было хорошо. Меня все там «хорошо привечали». В том числе и Шульгины. У них я даже обедал. А от разговоров с ним — не оторвался бы. Дорогу на Москву я проделал во «владычной машине» с тяжелым приступом тахиаритмии — это была расплата за шуструю неделю. А 27 декабря скончалась в Харькове Лиза Станович-Миловская. Скончалась почти на ногах, без лишних страданий. С 1896 года Лиза бывала у нас со своим братом Колей. Жизнь разбросала нас в разные стороны, но мы никогда не выпускали друг друга из вида. Судьба не была милостива к Лизе. Она много раз била ее, но самый страшный удар она нанесла, отняв у нее сына — талантливого врача-психиатра. Да будет им обоим легка земля.

Свое восьмидесятилетие 31 декабря 1962 года я пережил без особых чувств. Только старался, чтобы поменьше было хлопот и поменьше народу. То и другое удалось мне. Только не удалось мне побороть про себя удивление, что «ведь восемьдесят лет — это не шутка».

1963 год

Вот и 1963 год. Это уже совсем недавно. Ведь пишу я это в феврале 1965 года. В Москве бушует грипп. Мы с Анною Михайловною болеем им. Болеют в семье и другие, а мне не

терпится — хочется довести свою повесть до конца. Ведь так немного осталось.

Итак, шестьдесят третий год. В марте умер Георгий Владимирович Нашатырь. А как ему хотелось жить, и как он страдал! Блестящий был этот человек, и режим страны погубил его. И очень жаль, что он не успел написать своих воспоминаний. Круг его общения о людьми был очень широк и в Петербурге, и потом в Париже. С кем он только из крупных людей не встречался, и кого он только не знал! Переводчиком он начал работать еще до революции. Последняя его работа, сделанная в Тарусе, был перевод книги Рихарда Штрауса.

Года за полтора до смерти судьба порадовала его встречей с сестрою, приехавшей туристом из Парижа. Ну, а затем тут же нанесла ему и последний удар — потерю сестры! Она умерла в Швейцарии, возвратившись из России.

Георгий Владимирович часто заходил ко мне, посидеть на скамье под сиренью и поделиться «злобами дня», и последние его слова мне из больницы были: «Нет, не посидеть мне больше с Вами под сиренью. Прощайте. Прощайте».

А девятнадцатого июня скончалась милая Надежда Васильевна Крандиевская. Эта смерть была неожиданна и нанесла нам тяжелый удар.

Еще в гимназические годы в «Журнале для всех» я прочитал рассказ Крандиевской «Письмо». Рассказ произвел на меня настолько сильное впечатление, что я, забыв его содержание, на всю жизнь запомнил фамилию автора и заглавие рассказа. И вот в Тарусе встреча с Надеждой Васильевной и ее семьей. Оказалось, что автор рассказа «Письмо» мать Надежды Васильевны, а сама она, как и сын ее, скульптор. Дочь — художница. Завязалась милая дружба — веселая, легкая, доброжелательная до самых корней. Надежда Васильевна не была уже молода к началу знакомства, было ей к шестидесяти, но она была всем своим существом молода. А пережить ей пришлось очень много тяжелого: арест и смерть мужа в лагере. Голод и холод дней гражданской войны. И страх, страх за себя, за детей. Страх за весь период «культа личности». А ведь он длился долгие годы. Все поборола и «духа не угасила», и детей вырастила талантливыми художниками.

В декабре 1962 года была выставка скульптуры Надежды Васильевны в связи с ее семидесятилетием. Мы, конечно, были на открытии выставки. Радовались ее успеху. Радовались радости Надежды Васильевны, что она свалила с плеч большую заботу. Ранней весною мы вместе выехали в Тарусу, как это делалось и в прошлые годы. Надежда Васильевна жила совершенно одна в

своем обширном доме и очень часто бывала у нас. Намолчится, наодиночествуется, накопит каких-либо смешных наблюдений и придет поделиться. И как мы бывали рады ей каждый раз.

Семнадцатого июня Надежда Васильевна уехала с сыном в Москву. Вечером в этот же день тяжелый сердечный инфаркт. Через день утром смерть. Кремация. Прах похоронили на Тарусском кладбище.

А мне Таруса после этой смерти стала казаться Некрополем.

И куда бы я не шел — Сердце тянуло песню ту же. И его облапила не хуже, чем паук, Смертельная тоска.

Осенью я не мог долго оставаться один в Тарусе, как это обычно любил, и выехал в Москву, большой город безличен. Маленькая Таруса на каждой улице хранила следы Надежды Васильевны.

* * *

А 4 октября у Марианны родился крепыш-мальчик, и назвали его Максимом, а в ЗАГСе записали его Максимом Александровичем Осиновым. И его часто приносили в нашу с Аней комнату, и мы радовались, как он красив, как он начинает улыбаться и узнавать нас — прабабку и прадеда.

«Нет беднее беды, чем печаль», — говорит народная мудрость. Печально начался и шел 1963 год. Радость новой жизни скрасила эту печаль.

1964 год

К концу января Симонов с женою, Е.С.Медведев и я выехали на несколько дней в Тарусу. Были вузовские каникулы, и гости мои хотели отдохнуть от работы, города, от слухов и «успехов» Никиты Сергеевича.

С продовольствием дело обстояло плохо. Хлеб закупали в Америке, Канаде и Франции. Даже в Москве не было никаких круп, а хлеб выпекался из каких-то смесей и был невкусен. Жизнь дорожала. И денежная реформа, проведенная перед этим, — не удорожила рубль, а снизила его ценность.

Словом, жизнь была и серовата, и скучновата, и главное, без надежд на лучшее.

Три дня по приезде в Тарусу мы прожили молодо и как-то беззаботно. А 30 января к вечеру телеграмма из Владимира:

«Умер Сергей Коншин». Нас эта весть всех пришибла. Бедный Сергей Коншин! Во Владимире он хорошо и прочно устроился. Сразу завоевал общее признание и как педагог-пианист, и как человек. И вот… смерть на улице по дороге на работу от инфаркта сердца. А ему и было всего 53 года. Четырнадцать лет Колымы, Казахстана, непосильной работы не прошли даром.

Бедный Сергей! Бедный Сергей!

Одиннадцатого января Сергей Николаевич обедал у меня в Москве. На нем давно лежала печать многолетней усталости, на этот раз она особенно бросалась в глаза. Но Сергей бодрился и тут же от обеда уехал на концерт своего приятеля Оборина. Бедный Сергей!

Сергея пышно хоронил весь Владимир. И весь Владимир позаботился об участи его семьи.

А мне весна в Москве была тяжела. Участились и удлинились припадки тахиаритмии. Это не было больно, но это очень ослабляло. В Тарусу, в Тарусу!

К середине мая мы, наконец, выбрались в нее, а затем привезли нам Максима. И пошли чудесные дни. Лето выпало сухим и жарким. Марианна и Саша приезжали к нам каждую неделю и привозили белый хлеб и сахар. В начале июля приехала Голубовская. Затем профессор скрипач Рейсон. В Тарусе жили Румнев с сестрою, физик Горбатов — да мало ли кто не жил в Тарусе, и многие заходили к нам. Было, конечно, и много музыки.

А в середине августа сообщили, что умер Сергей Алексеевич Цветков. Был он давно болен и достаточно стар. Вот человек, который ничего не дал из того, чем наделила его природа. А умен был. Остер. Эрудирован. Встречался со многими интересными людьми. Да и недаром В.В.Розанов приблизил его к себе и сделал своим душеприказчиком. Кстати, одна деталь. За несколько дней до смерти позвал он к себе католического священника из церкви Людовика в Москве. Пробыл с ним часа полтора вдвоем. Очень остался доволен беседою и исповедью и завещал себя отпеть в католической церкви.

* * *

Татьяну Алексеевну Чистович я узнал в Медвежьей Горе. Она не была сосланной туда, но приезжала к Ленским. Крупная, порывистая и как-то неисчерпаемо доброжелательная. Она сразу становилась «своей», да такой и осталась все последующие тридцать лет нашей дружбы. Из «династии» петербургских Чистовичей — профессоров, академиков, ученых, врачей —

Татьяна Алексеевна являлась лучшей представительницей старой русской интеллигенции, увы, увы, так настойчиво истребляемой в годы «культа».

Много раз Татьяна Алексеевна была в Тарусе, и ее приезд был праздником для всех. Я отлично помню ее последний приезд в 1962 году. Она много гуляла. Все ее приводило в «восторг», а ее жадные расспоры о всех наших общих знакомых приводили в изумление — она всех помнила и о всех хотела знать.

А в 1963 году в печати (у Эренбурга, у Любимова «На чужбине») в докладах Никитинских субботников появились сведения о Матери Марии. Рожденная Кузьмина-Караваева Елизавета Юрьевна приходилась двоюродной сестрой Татьяне Алексеевне. «Нас только двое и оставалось из всей нашей когда-то большой семьи. Мы вместе росли». В рассказанном о Матери Марии были неточности, выдумки. Татьяну Алексеевну это очень волновало. Она хотела истины, а не легенды. Появились репортеры. Появился автор романа о Матери Марии. Все это будоражило. А сердце отвечало приступами грудной жабы. И под 1 октября 1964 года Татьяна Алексеевна скончалась.

Она последняя в моем синодике.
Зов сердца не мог не поместить ее.

notes

Примечания

1

Мелентьев М.М. Книга о Володе/Предисл. Е.Вилька. — СПб.: Всероссийский музей А.С.Пушкина; СПб. обществ. Фонд Культуры; Изд-во «Серебряные ряды», 2001.

2

А Тася Кистер умерла от голода во время блокады Ленинграда, а Степан Долгополов расстрелян в Одессе в 1917–1918 гг. — Примеч. автора.

3

Татьяна Васильевна Розанова. — Примеч. автора.